

БЕЛЫ

енрисс

Г БЕНЛЪ
енрисс



Г. БЕЛЫЙ
Кенрисе

Г БЁЛЬ

серия

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

А. В. КАРЕЛЬСКИЙ

Н. С. ПАВЛОВА

И. М. ФРАДКИН



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1996

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПОВЕСТЬ

РОМАН

РАССКАЗЫ

ЭССЕ

РЕЧИ

ЛЕКЦИИ

ИНТЕРВЬЮ

1964-1971

Перевод с немецкого



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1996

ББК 84.4Г
Б43

HEINRICH BÖLL

Составление

И. М. ФРАДКИНА

Комментарии

В. М. БЕЛОУСОВОЙ, А. В. КАРЕЛЬСКОГО,
М. Л. РУДНИЦКОГО

Оформление художника

Ю. Ф. КОПЫЛОВА

Б 4703010100-041 Подписное
028(01)-96

ISBN 5-280-01219-X (Т.4)
ISBN 5-280-00825-7

- © Состав. Фрадкин И. М. 1996 г.
- © Оформление. Копылов Ю. Ф. 1996 г.
- © Комментарии. Белоусова В. М., Карельский А. В., Рудницкий М. Л. 1996 г.

ЧЕМ КОНЧИЛАСЬ ОДНА КОМАНДИРОВКА

Перевод Наталии Ман и С. Фридланд

ПОВЕСТЬ

ENDE EINER DIENSTFAHRT

© Перевод. Ман Н., Фридлянд С.
1996 г.

В суде первой инстанции города Бирглара ранней осенью прошлого года слушалось дело, о котором до публики дошли лишь самые скудные сведения. Все три газеты Биргларского округа — «Рейнише рундшау», «Рейнишес тагеблат» и «Дуртальботе», — под рубриками «Из зала суда», «В зале суда» и «Новости из зала суда» обычно печатавшие подробные репортажи о таких делах, как кража скота, крупные дорожные катастрофы и драки на ярмарке, в данном случае поместили лишь небольшую заметку, текст которой странным образом совпадал во всех трех газетах:

«Отца и сына Грулей судил снисходительный судья. Личность весьма популярная в общественной жизни нашего окружного города, д-р Штольфус (о его заслугах мы еще будем говорить) в последний раз перед уходом на пенсию председательствовал на процессе Иоганна и Георга Грулей из Хузкирхена, чье непонятное преступление, совершенное в июне месяце, взбудоражило некоторые умы. В конце однодневного заседания суд вынес приговор обоим Грулям: полное возмещение убытков и лишение свободы сроком на шесть недель. После краткого совещания со своим защитником, адвокатом д-ром Гермесом из Бирглара, они решили не опротестовывать этот достаточно мягкий приговор. Поскольку им было зачтено предварительное заключение, обоих правонарушителей немедленно освободили из-под стражи».

Местные редакции «Рейнише рундшау» и «Рейнишес тагеблат» еще за несколько недель до начала процесса пришли к соглашению на сей раз друг с другом не конкурировать и не особенно «раздувать» это дело, поскольку оно, собственно, «не стоит выеденного яйца». На случай — хотя этого опасаться не приходилось, — если читатели станут высказывать недовольство отсутствием

информации о процессе, обе редакции заготовили отговорку, которая, как выразился редактор «Рундшау» Крихель, «будет пригнана не хуже, чем коньки на ногах чемпионки мира по фигурному катанию», а именно: одновременно начавшийся слушанием в соседнем большом городе процесс детоубийцы Шевена для читателя куда более интересный.

Попытка привлечь к этому соглашению главного редактора, издателя и наборщика «Дуртальботе» господина д-ра Хольвега потерпела неудачу. Д-р Хольвег, примыкавший к своего рода либеральной оппозиции округа Бирглар, учуял — и не безосновательно — в этом соглашении сговор между клерикалами и социалистами и предложил своему тогдашнему репортеру, бывшему студенту евангелического богословского факультета Вольфгангу Брезелю, который предпочитал судебные репортажи всем остальным, взять это себе на заметку.

Внимание Брезеля на внезапность назначения этого дела к слушанию обратила супруга защитника д-ра Гермеса, и она же после доклада «Вселенский собор и нехристианские народы», сидя за кружкой пива вместе с докладчиком, прелатом д-ром Кербом, и Брезелем, разъяснила последнему, что именно в этом процессе примечательно и о чем ему следует писать: полное признание обвиняемых, их преступление, их личности, но прежде всего тот факт, что прокурору угодно было усмотреть в этом странном поступке Грулей всего лишь «нанесение материального ущерба и нарушение общественного спокойствия», игнорируя фактические обстоятельства дела, то есть поджог.

Далее супруге адвоката, которая и сама *sum laude*¹ защитила диссертацию на степень доктора прав, показалось существенным помимо спешного назначения разбирательства помещение обвиняемых в здании суда, где временно были оборудованы две тюремные камеры, в которых им, как то стало известно в Биргларе, жилось как рыбе в воде, а также то обстоятельство, что дело назначено к слушанию в суде первой инстанции, да еще под председательством уходящего на пенсию д-ра Штольфуса, на все лады прославляемого за гуманность в прошлом и настоящем.

Брезелю, хотя он только-только начал разбираться в основах судопроизводства, тоже подумалось, что такое

¹ С отличием (лат.).

дело должно было бы слушаться при участии судебных заседателей, а не разбираться одним судьей. Адвокатша это подтвердила, но тут же обернулась к докладчику, прелату д-ру Кербу, которому, видимо, уже наскучили эти провинциальные пересуды, и попросила его дать два-три основных положения господину Брезелю для его статьи о сегодняшнем докладе, ибо, не будучи католиком, он-де весьма интересуется всем происходящим в христианском мире.

В тот же вечер Брезель говорил в редакции со своим шефом д-ром Хольвегом обо всех этих юридических тонкостях, диктуя ему прямо в наборную машину статью о докладе прелата, — редактор любил на деле доказывать, что он как свои пять пальцев знает ремесло наборщика и печатника. Хольвег, которому энтузиазм Брезеля нравился, хотя, как он выражался, временами и «давил на мозги», счел необходимым изменить в его статье выражение «весьма оптимистично» на «не без надежды», а «с великолепным либерализмом» — на «не без доли свободомыслия» и поручил ему написать для «Дуртальботе» отчет о процессе Грулей.

Затем он вымыл руки с той детской радостью, которая всякий раз его охватывала после праведного «истинного труда», сел в машину и укатил за несколько километров в Кирескирхен к товарищу по партии и депутату, пригласившему его обедать.

Хольвег, человек лет пятидесяти с небольшим, благодушный и обходительный, хотя по природе и несколько апатичный, не подозревал, от какой неприятности он избавил своего приятеля, первым заговорив о странном деле Грулей. Больше всего его удивляло, что государственная власть, суровость которой, в чем бы она ни проявлялась, он всегда клеймил позором и будет клеймить и впредь, на этот раз выказала себя столь мягкой; чрезмерная предупредительность властей, продолжал он, представляется ему не менее подозрительной, чем их чрезмерная суровость; как либерал, он считает своим непосредственным долгом и в данном случае разбередить рану.

Хольвег не в меру разговорился, но хозяин деликатно остановил его, заметив, что не стоит переоценивать события в Биргларском округе, как то уже не раз с ним случалось, — к примеру, в деле Генриха Грабеля из Дульбенвейлера, которого Хольвег без долгих размышлений объявил мучеником свободы, тогда как на деле тот

оказался всего лишь мелким аферистом и жалким хвастунишкой, любителем схватить то, что плохо лежит. Хольвегу пришлось не по вкусу напоминание о деле Грабеля: для этого типа он, что называется, землю рыл, сделал ему невероятную рекламу, более того, привлек на его сторону своих иногородних коллег и даже одну центральную газету.

Он поцеловал руку жене депутата, когда та, зевнув, извинилась и попросила разрешения уйти из-за стола — ей всю ночь пришлось прободрствовать у постели маленькой дочки, — и на некоторое время занялся камамбером с луком и паприкой, к которому было подано отличное красное вино.

Подливая ему вина, депутат сказал:

— Мой совет — не связывайся с делом этих Грулей.

Хольвег запальчиво возразил: ему ясно — не настолько же он глуп, — что такое предложение делается неспроста и его, страстного либерала и журналиста, это тем более побуждает заняться упомянутым делом. Хозяин помрачнел и сказал:

— Послушай, Герберт, помнится, я никогда не просил тебя, как редактора газеты, ни о каком одолжении.

Хольвег, несколько озадаченный, вынужден был с ним согласиться.

— Теперь, — продолжал хозяин, — я впервые обращаюсь к тебе с просьбой, и, заметь, *в твоих же интересах*.

Хольвег, которого частенько поддразнивали за его местный патриотизм, стыдился репутации закоренелого провинциала и пообещал сыграть отбой своему репортеру, если депутат объяснит ему подоплеку всей этой истории. Никакой здесь подоплеку нет, отвечал тот; Хольвег волен идти и слушать процесс, а там пусть решает, стоит ли давать о нем отчет в газете; глупо, если какой-нибудь репортер бог знает как его раздует.

На Хольвега напала зевота, как только он себе представил зал суда, это промозглое помещение в старом здании рядом с церковью, все еще пахнущее школой, старика Штольфуса и его кузину Агнес, неизменную посетительницу судебных заседаний; но помимо всего прочего: разве плохо, что у Грулей будет снисходительный судья и процесс не вызовет шумных толков?

А как обрадуются все любители старинной мебели в округе Бирглар, да и за его пределами, когда Грульстарший выйдет на свободу и его умелые руки, его безупречный вкус будут снова служить обществу.

Наливая гостю кофе, теперь уже в кабинете, депутат поинтересовался, помнит ли он некую Бетти Халь из Кирескирхена, впоследствии она еще стала актрисой.

— Нет,— отвечал Хольвег,— да и не удивительно, как-никак между нами разница лет эдак в пятнадцать, ну, а что, собственно, происходит с этой Халь?

— Она выступает в близлежащем городе в какой-то польской пьесе. Пресса у нее блестящая.

Хольвег принял предложение съездить в театр.

На следующее утро, часов около восьми, Хольвег позвонил Брезелю и распорядился, чтобы тот не писал о деле Грулей, а поехал бы в соседний город, где в этот самый час начался сенсационный процесс детоубийцы Шевена. Брезель в первую минуту удивился столь раннему звонку своего шефа, который слыл отъявленным соней, но потом сообразил, что отъявленные сони по большей части поздно ложатся спать, и решил, что Хольвег, по всей вероятности, только сейчас вернулся домой. Вдобавок голос Хольвега показался ему что-то чересчур энергичным, почти повелительным; оба эти обстоятельства его озадачили. Вообще-то Хольвег был человеком покладистым и спокойным, волновался он только, когда в один день поступало три или четыре отказа от подписки.

Брезель не стал долго размышлять над этими минимальными отклонениями от нормы, побрился, позавтракал и поехал на своей малолитражке в соседний город; он немного нервничал, не зная, удастся ли ему найти место для машины, и еще потому, что побаивался королей международного репортажа, которые съехались туда со всех концов света. Хольвег его заверил, что пропуск для него уже приготовлен. Раздобыл его ранним утром путем телефонных переговоров все тот же депутат, состоявший членом парламентских комитетов по делам обороны и прессы.

Дело Грулей слушалось в самом тесном из трех небольших судебных залов, в котором присутствовало не более десяти человек, причем все они состояли в родстве с обвиняемыми, свидетелями, экспертами, членами суда или другими участниками процесса. Местным жителем не был лишь один из публики, стройный, не броско, но изящно одетый мужчина средних лет, известный только председательствующему, прокурору и защитнику как

член судебной палаты господин Бергнольте из соседнего города.

Комната для свидетелей была некогда учительской в четырехклассной школе, построенной в восьмидесятых годах прошлого столетия и в начале этого века превращенной в шестиклассную; в конце пятидесятых годов школа переехала в новое здание, старое же было передано суду первой инстанции, бедность которого давно уже вошла в поговорку, ибо ранее он усердно вершил правосудие в бывшей школе унтер-офицеров. В этой комнате, рассчитанной на шесть, от силы на восемь человек, теснилось четырнадцать свидетелей самого различного социального и морального достоинства: старый священник Кольб из Хузкирхена, две его прихожанки, одна из которых слыла женщиной баснословно добропорядочной и рьяно преданной церкви, другая же пользовалась репутацией сверхчувственной особы (причем приставка «сверх», усиливающая прилагательное «чувственный», здесь применялась отнюдь не в значении чего-то метаэмпирического), кроме них — офицер, фельдфебель и ефрейтор бундесвера, экономист, судебный исполнитель, чиновник финансового ведомства, коммивояжер, окружной дорожный инспектор, старший мастер столярного цеха и содержательница бара.

Когда суд начался, судебный пристав Штерк, специально командированный сюда из близлежащего большого города, вынужден был запретить свидетелям прохаживаться по вестибюлю: если в зале суда говорили громко, в вестибюле было слышно каждое слово.

Это обстоятельство уже не раз приводило к безрезультатным перепалкам между судьей д-ром Штольфусом и вышестоящей инстанцией. Когда слушались дела о кражах и авариях или велись тяжбы о наследстве, суд мог установить истину, лишь используя противоречия в свидетельских показаниях, и потому судебный пристав бывал вынужден обходиться со свидетелями куда более сурово, чем его коллега в зале суда с обвиняемыми.

Случалось даже, что в комнате для свидетелей дело доходило до рукоприкладства, грубой брани, взаимной дискредитации и взаимных подозрений. Единственным преимуществом отслужившей свой век школы было то, что, как не раз уже иронически упоминалось в заявлениях, подаваемых в вышестоящую инстанцию, «в туалетах там не было недостатка».

В близлежащем большом городе, где вышестоящая судебная инстанция помещалась в новом здании с явно недостаточным числом туалетов, стало уже стандартной шуткой советовать каждому, кто ворчал на это неудобство, взять такси и съездить за двадцать пять километров в Бирглар, изобилующий подведомственными министерству юстиции туалетами.

Среди публики в зале суда царило настроение как перед спектаклем в любительском театре, поставившем классическую пьесу,— благосклонная напряженность, хорошо темперированная благодаря отсутствию риска в этом начинании: всем известен сюжет, известны действующие лица и исполнители, никаких неожиданностей не предвидится, и тем не менее все напряжены; окажется спектакль неудачным — беда невелика, разве что любительское рвение растрчено понапрасну, окажется хорошим,— что ж, тем лучше. Всем присутствующим были известны результаты дознания и предварительного следствия благодаря болтливости причастных и непричастных к этому делу лиц — явление, неизбежное в провинциальных городках. Каждый знал, что оба обвиняемых полностью признали свою вину, больше того, как на днях сказал прокурор в кругу своих друзей, оба они оказались самыми откровенными из всех встречавшихся ему обвиняемых, даже «побили рекорд откровенности». Еще во время предварительного следствия они безоговорочно соглашались с показаниями экспертов и свидетелей. В общем, добавил прокурор, судебное разбирательство, как видно, пройдет без сучка и задоринки, что, разумеется, не слишком интересно опытному юристу.

Лишь трое из сидевших в зале суда знали то, что, конечно, уже было известно «наверху»,— иными словами, в близлежащем большом городе, а именно: тамошние власти сочли за благо включить в обвинительный акт лишь нанесение материального ущерба и грубое бесчинство, без упоминания о поджоге, далее, предоставили судье Штольфусу возможность единоличного решения по этому делу — короче говоря, странным образом «спустили дело Грулей на тормозах». Двумя посвященными в эти хитросплетения были супруга прокурора д-ра Кугль-Эггера, всего несколько дней назад, после того как ее мужу удалось наконец найти квартиру, перебравшаяся в Бирглар, и супруга адвоката Гермеса, дочь местного

коммерсанта, которая еще накануне вечером выложила репортеру Брезелю все, что ей удалось узнать. А именно: «наверху» было решено слушать дело без судебных заседателей и уж конечно не в судебной коллегии, но так как каждому ясно, что ни один адвокат, зная, что его подзащитных будет судить такой старый испытанный «рыцарь гуманизма», как Штольфус, не потащит их в уголовный суд к этому «шелудивому псу» Прелю, то «наверху» постановили — «не раздувать» дело Грулей. За этим, надо думать, кроется явная поблажка, а в какой-то мере и просьба о поблажке, но Гермес, ее муж, решил оставить за собой право, смотря по тому, как обернется дело, не принимать ни поблажки, ни просьбы о таковой и настаивать на новом рассмотрении хотя бы при участии судебных заседателей.

Третий человек из публики, информированный об этих хитросплетениях, член судебной палаты Бергнольте, никогда бы не разрешил себе вдаваться в подобные размышления. Обладая недюжинной восприимчивостью и таким знанием буквы закона, что оно вошло в поговорку среди судейских чиновников, он, конечно, понимал, что облеченная властью и призванная охранять и восстанавливать право юстиция в данном случае, как выразился один его коллега, «ушла в кусты». Но такие понятия, как «поблажка» или «просьба о поблажке», в этой связи он решительно отверг.

Когда судья и прокурор вошли и заняли свои места, все присутствующие встали, однако в том, как они встали и снова уселись, чувствовалась фамильярная небрежность, с какой разве что монастырская братия выполняет давно знакомый и привычный обряд. Не произошло в зале большого движения и тогда, когда ввели обвиняемых. Почти все присутствующие хорошо знали их и знали также, что в течение десяти недель предварительного заключения самая хорошенькая девушка, когда-либо расцветавшая в Биргларском округе, носила им завтрак, обед и ужин из лучшего ресторана на площади. Так хорошо они не ели уже двадцать два года, со дня смерти жены и матери. Поговаривали даже, что, когда в камере не было других заключенных, которые могли бы проболтаться, Грулей, случалось, звали в комнату судебного пристава Шроера посмотреть какую-нибудь особо интересную телевизионную передачу. Шроер и его жена,

правда, опровергали эти слухи, но не слишком энергично.

Из всей публики только жена прокурора и Бергнольте не были знакомы с обвиняемыми. Жена прокурора за обедом объявила мужу, что прониклась к ним живейшей симпатией. Бергнольте вечером заметил, что «отчасти даже против воли вынес о них впечатление самое положительное». У отца и сына был здоровый, спокойный вид, да и одеты они были хорошо и опрятно. Казалось, они не только сохраняют самообладание, но и отлично настроены.

Опрос протекал сравнительно гладко. Конечно, д-р Штольфус делал то, что делал обычно, то есть просил обвиняемых говорить громче, отчетливее и не злоупотреблять местным диалектом, тем более что для прокурора, человека приезжего, приходится переводить некоторые диалектизмы; в остальном ничего достойного упоминания не происходило и ничего особенного или нового не выяснилось. Обвиняемый Груль-старший на вопрос об имени и возрасте отвечал: Иоганн Генрих-Георг, пятьдесят лет. Затем этот узкоплечий, даже хрупкий человек среднего роста с темновато мерцающей лысиной заявил, что, прежде чем ответить на поставленные ему вопросы, он хочет сделать небольшое сообщение, в полной уверенности, что господин председательствующий, которого он знает, ценит, более того — почитает, не поставит ему этого в вину. То, что он сейчас намерен сказать, — это правда, чистая правда и ничего, кроме правды, хотя она и носит несколько личный характер. Итак, он должен сказать, что до права и закона ему никакого дела нет, ни вот столечко, и он не стал бы отвечать на обращенные к нему вопросы, даже своего имени и возраста бы не назвал, если бы тут — дальнейшее Груль произнес таким тихим и беззвучным голосом, что в зале вряд ли кто разобрал его слова, — если бы тут не сыграли роль личные мотивы. Первый из этих личных мотивов — его глубокое уважение к господину председательствующему, второй — его глубокое уважение к свидетелям, и прежде всего к полицмейстеру Кирфелю, который был другом, можно даже сказать, закадычным другом его отца, фермера Груля из Дульбенвейлера, и, наконец, он не хочет подводить или ставить в затруднительное положение свидетельницу Лейфен, свою тещу, свидетельницу Вермельскирхен, свою соседку, а также свидетелей Хорна, Грэйна и Кирфеля — только поэтому он и дает свои показания, нимало не рассчитывая, что

мельница правосудия смелет хоть одно зернышко правды.

Во время чуть ли не всей этой преамбулы он говорил на местном диалекте, и ни председательствующий, ни защитник, к нему благоволившие, его не прерывали, не требовали, чтобы он говорил отчетливо и понятно. Прокурор, уже не раз беседовавший с Грулем, но все равно не научившийся разбираться в его диалектизмах, слушал его, что называется, вполуха; протоколист Ауссем на данной стадии разбирательства, наводившего на него тоску, еще не вел протокола. Отдельные места из речи Груля, произнесенной почти беззвучной скороговоркой, в публике поняли только двое его коллег, да еще госпожа Гермес и пожилая, даже старая особа фройляйн Агнес Халь, хорошо с ним знакомая. Далее Груль назвал свою профессию — столяр-краснодеревщик, место своего рождения — Дульбенвейлер, Биргларский округ. Там он посещал начальную школу, в 1929 году окончил ее и поступил в ученики «к уважаемому мастеру Хорну», на третьем году учения он стал ездить еще на вечерние курсы при художественно-ремесленном училище в близлежащем большом городе; в 1936 году, когда ему стукнуло двадцать один, открыл собственное дело, в двадцать три года женился, в двадцать пять — «раньше все равно не положено» — сдал экзамен на мастера. В армию его призвали только в 1940-м, и прослужил он до 1945-го. На этом месте председательствующий впервые прервал монотонные маловразумительные показания Груля, слушая которые протоколист Ауссем, как он потом признался, с трудом подавлял зевоту, и спросил обвиняемого, принимал ли тот участие в боевых действиях во время войны, а также занимался ли до войны или во время ее политической деятельностью. Груль угрюмо и почти беззвучно — хотя д-р Штольфус настойчиво призывал его говорить громче — отвечал, что по этому пункту он может сказать то же, что говорил о праве и законе; он не принимал участия в боевых действиях и никакой политической деятельностью не занимался, но здесь он хочет подчеркнуть — голос его звучал теперь несколько громче, так как он начинал сердиться, — что причиной тому был не героизм и не безразличие, просто этот «идиотизм» для него уж слишком идиотичен. Что касается его солдатской службы, то он почти все время проработал по специальности, то есть отделявал офицерские квартиры и клубы «в их, для меня отнюдь не бесспорном, вкусе», но главным образом реставрировал в оккупированной Фран-

ции «краденую или конфискованную мебель в стиле Директории, ампир, а иногда даже Людовика Шестнадцатого» и упаковывал ее для отправки в Германию. Здесь прокурор заявил протест против термина «краденая», имеющего целью укрепить и воскресить давно изжитые представления о немецком варварстве. Как известно, вывоз достояния французского народа из оккупированной Франции был запрещен законом и подлежал суровой каре.

Груль взглянул на прокурора и отвечал, что он не только знает, он готов присягнуть, если уж нужна присяга, что большая часть мебели — вопреки существовавшему запрету, о котором ему хорошо известно, — переправлена в Германию, в основном на самолетах «самых видных» рекордсменов. К этому Груль добавил, что ему «плевать с высокого дерева», высказывает ли он сейчас общее мнение или свое личное.

Что же касается его политической деятельности, то он, собственно, никогда политикой не интересовался и «уж конечно не интересовался тогдашним идиотизмом»; его покойная жена была женщиной религиозной и часто говорила об «антихристе», в таких вещах он ничего не смыслил, хотя очень любил жену и уважал «за то, что она все принимает так близко к сердцу», сам он, разумеется, всегда «держал другую сторону», но это, как он подчеркивал, «само собой *разумеется*».

После войны с помощью голландских друзей — он тогда находился в Амстердаме — ему удалось «не попасть кое к кому в плен», с 1945 года он снова жил в Хузкирхене и работал столяром. Прокурор спросил, что он, собственно, подразумевает под этим «само собой *разумеется*». Груль отвечал: «Вам этого все равно не понять».

Прокурор, поначалу, казалось, несколько уязвленный, заявил протест против недопустимой критики его умственных способностей со стороны подсудимого. Когда после замечания председательствующего д-ра Штольфуса Грулю было предложено ответить на вопрос прокурора, он отказался: это-де для него слишком затруднительно.

Далее прокурор, уже начинавший злиться, спросил, находился ли когда-нибудь Груль в конфликте с законом; тот отвечал, что вот уже десять лет пребывает в постоянном конфликте с законом... о налогах, но к суду, если таков смысл вопроса, заданного ему про-

курором, никогда ранее не привлекался. Когда ему довольно энергично было указано на то, что суждение о смысле вопроса следует предоставить самому прокурору, Груль добавил, что ничего обидного не хотел сказать; другое дело, что он неоднократно подвергался принудительным взысканиям и на его имущество налагался арест; вообще же пусть об этом выскажется Губерт.

Губерт, в свою очередь уже раздражаясь, отвечал Грулю на вопрос прокурора, — это господин судебный исполнитель Губерт Халь, проживающий в Биргларе, кстати сказать, двоюродный брат отца его, Груля, тещи. Когда адвокат задал Грулю вопрос относительно его доходов и состояния, тот добродушно рассмеялся и попросил разрешения ответить на этот, очень непростой, вопрос предоставить свидетелям Халю и экономисту дру Грэйну.

Сын Груля Георг — белокурый, на голову выше отца, плотнее его, несколько склонный к тучности — ничуть не походил на своего родителя, но до такой степени напоминал мать, что кое-кто из присутствующих «видел ее сейчас, как живую». Лизхен Груль, урожденная Лейфен, — дочь мясника из Хузкирхена, белокурые волосы и нежная бледность которой, равно как благочестие и кротость, вошли в поговорку, так что жители окрестных деревень, говоря о ней, и поныне прибегали к таким поэтическим выражениям, как «златокудрий ангел», «слишком хорошая для земной жизни», «почти святая», — родила только одного этого сына.

С несколько деланной, по мнению кое-кого из публики, веселостью Георг показал, что до четвертого класса ходил в начальную школу в Хузкирхене, затем перешел в реальное училище в Биргларе, впрочем, он с раннего детства помогал отцу и, по договоренности с цехом столяров, сдал экзамен на подмастерье одновременно с выпускными экзаменами в реальном училище, точнее же — несколькими неделями позднее.

После этого он три года проработал у отца, а в двадцать лет был призван в бундесвер; когда «это случилось», он уже был ефрейтором. В остальном он присоединился к тому, что показал отец.

То, что было кем-то сочтено за «несколько показную веселость» Груля-младшего, в одной из частей протокола, написанной стажером Ауссемом скорее «для себя», как своего рода литературный набросок, было названо — и к тому же неоднократно — «фривольной развязно-

стью». В таком же тоне Груль-младший отвечал и на ряд вопросов прокурора. Не причинило ли ему содержание под стражей психической травмы или телесного ущерба?

Нет, отвечал Груль-младший. После военной службы он был рад побыть с отцом, а поскольку им еще было дано разрешение выполнять разные мелкие работы, то он даже кое-чему подучился; вдобавок отец давал ему уроки французского, «телесно» же они оба ни в чем не терпели недостатка.

Хотя слушателям, сидевшим в зале, было известно чуть более того, о чем так спокойно и без всякого пафоса говорили оба Груля, они с увлечением слушали их показания, а затем сочувственно выслушали обвинение, из которого тоже ничего нового не почерпнули.

В один из июньских дней 1965 года обоих Грулей видели (здесь председательствующий поправился и сказал «застигли») на дороге, идущей через поле и удаленной на равное расстояние — около двух километров — от деревень Дульбенвейлер, Хузкирхен и Кирескирхен; они курили, сидя на межевом камне возле догоравшего джипа бундесвера, водителем которого, как выяснилось несколько позднее, являлся Груль-младший, и смотрели на пожар «не только с полным спокойствием, но и с очевидным удовлетворением» — так, по крайней мере, записал в своем протоколе полицмейстер Кирфель из Биргара.

Согласно письменному заключению профессора Кальбурга, эксперта по пожарной части и выдающегося пиротехника, «бензобак джипа сначала был продырявлен заостренным стальным предметом» и затем, что, по всей вероятности, произошло уже на месте преступления, снова наполнен бензином, кроме того, «джип, видимо, был весь облит, даже насквозь промочен горючим», ибо огонь, вспыхнувший в порожнем баке, не мог бы привести к повреждениям, равным тем, кои были установлены экспертизой.

Благодаря этой дерзко задуманной перфорации, писал далее профессор Кальбург, возможность взрыва можно считать почти исключенной. Несмотря на то что оба Груля преднамеренно выбрали место, отстоявшее, как сказано, на добрых два километра от окрестных деревень, а значит, «относительно» уединенное, «высокое пламя» в удивительно короткий срок привлекло на место пожара большую толпу крестьян, работавших на полях.

Школьники, возвращавшиеся домой из Хузкирхена

в деревушки Дульбенховен и Дульбенкирхен, и прежде всего шоферы, заметившие пламя с дороги, государственной автострады второго класса,— все бросились к месту пожара, чтобы оказать помощь, удовлетворить свое любопытство или потешить свой взор видом «высокого пламени».

Будучи спрошены, оба обвиняемых подтвердили, что вся картина обрисована правильно, им нечего к ней добавить; некоторые же существенные для них детали выяснятся позднее из показаний свидетелей. Когда председательствующий призвал их наконец высказаться, несмотря на запирательство во время предварительного следствия, и объяснить свой необъяснимый поступок, каждый из них в отдельности отвечал, что это сделает в своей заключительной речи их адвокат.

Не желают ли они, по крайней мере, возразить против порочащей их формулировки «с полным спокойствием и очевидным удовлетворением» или хотя бы ограничить значение таковой, осведомился председательствующий. Нет, полицмейстер Кирфель запротоколировал все, как было. В таком случае, признают ли они себя виновными в соответствии с формулой обвинения? В соответствии с таковой — да, отвечали оба.

Когда председательствующий, против обыкновения уже начинавший нервничать, спросил еще, должен ли он понимать это «в соответствии» как некое ограничение, оба обвиняемых ответили утвердительно.

На вопрос, раскаиваются ли они, оба с готовностью и уже без всяких ограничений отвечали «нет».

Прокурору, потребовавшему, чтобы ему разъяснили, кто из двоих и каким образом продырявил бензобак, ибо это все еще оставалось невыясненным, Груль-старший ответил только, что, согласно экспертизе, бак был продырявлен заостренным стальным предметом, к этому ему нечего добавить.

Груль-младший на вопрос, являлись ли обе канистры, найденные на месте преступления, собственностью бундесвера, отвечал, да, являлись, одна, как положено, всегда находилась в машине, другую ему дали с собой перед отправкой в «длительную командировку». Отправился ли он в эту командировку? Да, но, доехав до дому, ее уже «более не продолжал».

Защитник спросил было Груля-младшего, какого рода была эта командировка, но тут прокурор заявил протест, считая, что, если дело слушается при открытых

дверях, подобные вопросы неуместны, посему он вносит предложение либо снять вопрос, либо удалить публику.

Тогда председательствующий предложил защитнику задать этот вопрос Грулю-младшему в присутствии его бывшего начальника обер-лейтенанта Хеймюлера, вызванного в суд для свидетельских показаний; согласны ли защитник и прокурор принять его предложение? Оба кивнули в знак согласия.

Первым давал свои показания свидетель Хейзер, окружной дорожный инспектор, настоявший на том, чтобы выступить незамедлительно, так как у него назначена встреча, затрагивающая наиболее животрепещущие интересы округа.

Хейзер, полный курчавый блондин, одетый не без вычурности, на вопрос о возрасте и профессии ответивший: двадцать девять лет, специалист по социологии коммуникаций, показал, что «уже через пятнадцать минут после предполагаемого момента поджога», то есть около 12.45 пополудни, на месте происшествия собралась толпа в сто человек, к тому же времени на шоссе образовалась пробка и выстроилась длинная очередь машин — двадцать пять, ехавших в южном направлении, и сорок — в северном.

Тот факт, что хвост, вытянувшийся в северном направлении, на пятнадцать машин превосходил хвост, вытянувшийся в южном, служит подтверждением, обстоятельно и самодовольно излагал Хейзер, «опыта по части передвижения транспорта, накопленного в нашем округе», и уже хорошо известен широкой общественности как «наиболее уязвимое место проблемы коммуникаций», поскольку с ним связан неравномерный износ дорожных покрытий.

Далее Хейзер перешел к вопросу, видимо очень его занимавшему: в чем секрет «перевеса северного направления над южным» в смысле количества машин, перевеса, постоянно равняющегося шестидесяти процентам, как это было установлено в деле Грулей.

Хейзер называл машины, которых недосчитывались в южном направлении, «уклонистами» и «отклонистами», а также «циркулянтами» (что звучало почти как цыгане), объяснял же он это явно огорчительное для него обстоятельство тем, что севернее Хузкирхена, в силу социологически легко объяснимых причин, возник некий

своеобразный пункт скопления коммивояжеров и что, направляясь на север, эти коммивояжеры пользуются государственной автострадой, возвращаясь же обратно на юг, предпочитают боковые дороги.

Он проглядел жест председательствующего, который на этих словах попытался остановить его, и, воздев правую руку, крикнул в зал, словно грозя невидимому врагу: «Но я еще выслежу их и выведу на чистую воду!» Он уже велел записать номера машин «этих господ» и начал расследование их образа действий, мотивов «уклонения» и «отклонения», а также, разумеется, и проблемы «циркуляции», поскольку одностороннее использование автострады «на долгий срок совершенно недопустимо». Такой неравномерный износ дорожного покрытия затрудняет переговоры с Федерацией и с отдельными землями, каковые стараются свалить эту неравномерность на специфику нашего сельского хозяйства.

Здесь он наконец сделал паузу в изложении своей теории, чем поспешил воспользоваться председательствующий, чтобы задать тот простой вопрос, к ответу на который, собственно, все и сводилось: вызвал ли поступок обоих обвиняемых затруднения в дорожном движении? Хейзер без обиняков на него ответил: «А еще бы! И очень значительные». На месте происшествия произошли две аварии. Малолитражная машина наскочила на притормозивший «Мерседес 300-SL», посыпались взаимные оскорбления, водитель «мерседеса» крикнул водителю малолитражки, что «ему только кроликов возить», тот — «с вашего разрешения, господин председатель», — огрызнулся: «а вам только прохожих засерать», после чего водители подрались.

Вдобавок от него, Хейзера, не укрылось, что на месте пожара водитель машины, груженной цементом, и его напарник завязали дружбу с обоими водителями машины пивного завода и «с ходу» приступили к обменным операциям, надо надеяться, в пределах той части груза, которая им причиталась в качестве натуральной оплаты. Что на что менялось, пиво на цемент или цемент на пиво, ему, к сожалению, установить не удалось. Зато два дня спустя он видел, как один из водителей пивной машины, некий Хумперт из Дульбенховена, ремонтировал свои ворота цементом той самой фирмы.

Водители же цементовоза, «нахлеставшись пива», двинулись дальше, километрах в трех от места происше-

ствия съехали с шоссе и врезались прямо в полевое овощехранилище. Еще один несчастный случай произошел с грузовиком, везшим керамические трубы, и маленьким «опелем». Семь штук керамических труб... но тут он взглянул на свои часы, испустил отчаянный вопль: «Бог ты мой, а депутаты ландтага уже дожидаются!» — и взволнованным голосом попросил разрешения удалиться.

Председательствующий вопросительно взглянул на прокурора и защитника — оба они рассеянно кивнули головами, — и Хейзер покинул зал, на ходу еще бормоча: «Бедственное положение с транспортом». Никто не жалел об уходе Хейзера, и всех меньше его жена, сидевшая в публике.

Показания старого полицмейстера Кирфеля были столь же краткими, сколь и четкими. Место происшествия, сказал он, известно всей округе под названием Кюпперово дерево, хотя никакого дерева там и в помине нет и никогда не было, даже во время его детства, но он позволил себе упомянуть это название, поскольку оно помечено даже на полевых картах. Учитель Гермес из Кирескирхена, известный как талантливый краевед, объясняет это название следующим образом: в далекие времена там, надо думать, стояло дерево, на котором повесился или был повешен некий Кюппер.

То, о чем столь обстоятельно разглагольствовал Хейзер, Кирфель подтвердил несколькими фразами: затор на шоссе, несчастные случаи, нанесение взаимных оскорблений, потасовка; к нему уже поступили две жалобы на nepозволительные выражения, кроме того, два требования возмещения убытков от крестьян, чьи поля граничили с местом аварии. При столкновении грузовика с керамическими трубами и «опеля» люди, к счастью, не пострадали, но возникло крупное недоразумение при составлении протокола. Ко всем прочим неприятностям прибавилось то, что проезжавший мимо крестьянин Альфонс Мертенс ободом заднего колеса своего велосипеда зацепил керамический осколок и, разумеется, «непреднамеренно» поцарапал им лак на крыле новехенького «ситроена», причем «эти царапины, надо признать, очень и очень не безобидны».

Кирфель подтвердил также, что несчастный случай с овощехранилищем действительно имел место, но под-

черкнул, что «нетрезвое состояние за рулем» категорически отрицается соответствующей экспертизой, причиной аварии явились гнилые овощи, валявшиеся на шоссе. Далее он несколько раз кряду назвал овощехранилище «мокрой яминой» — выражение, общепринятое в тех местах, но для прокурора, лишь недавно приехавшего из Баварии, такое пришлось перевести.

Кирфель, седовласый и уже несколько отяжелевший полицейский чиновник, в кругу своих знакомых сокрушавшийся из-за «горькой необходимости» в последний раз перед уходом на пенсию давать в суде показания против сына и внука своего старого приятеля Груля, Кирфель, в котором еще сидел деревенский полицейский старых времен, сообщил также, что джип, пока длилась вся эта суматоха, сгорел почти что дотла и уже только чадил и разбрасывал искры, так что ему пришлось подалее отогнать ребятишек-школьников.

Прибывшие на место происшествия полицейские Шникенс и Тервель тем временем не без труда заставили двинуться в путь все скопившиеся машины, задержав для составления протокола водителей «мерседеса», малолитражки, «опеля», «ситроена», грузовика с керамическими трубами и крестьянина Альфонса Мертенса, которого, впрочем, скоро отпустили, так как все его данные были им хорошо известны.

Более всего старика Кирфеля удивило, «даже возмутило», что оба Груля не сделали ни малейшей попытки выдать ими содеянное за несчастный случай, а без всяких околичностей заявили, что подожгли джип преднамеренно.

Тут слова впервые попросил защитник, молодой адвокат Гермес, уроженец Бирглара. Он задал вопрос Кирфелю: как это может быть, что вы, опытный полицейский чиновник, непременно ожидали услышать лживый или уклончивый ответ, и не следует ли защите сделать из этого вывод, который послужит ему, адвокату, руководством в дальнейшей жизни, а именно: ложь в таких случаях дело самое обыкновенное, и не исключено, что немедленное признание его подзащитных также было ложью.

Прежде чем удивленный Кирфель, разумеется знавший Гермеса с малолетства и потом в кругу друзей охарактеризовавший его вопрос как «неджентльменский, но очень ловкий», с прибавлением «этот малый далеко пойдет», итак, прежде чем Кирфель, чья осмотритель-

ность к старости обернулась тугодумием, успел ответить адвокату, прокурор д-р Кугль-Эггер поднял брошенную перчатку и строгим голосом заявил протест против диффамации государственного служащего, чья честность и политически безупречное прошлое ставят его выше подозрений.

Негодование свидетеля ему вполне понятно, безоговорочно признаться в столь постыдном и наглom преступлении, не выказав раскаяния, не стремясь к самооправданию,— все это, вместе взятое, не может не возмутить здорового восприятия человека из народа. Он, прокурор, еще будет подробно говорить о преступлении, но сейчас считает себя обязанным в свою очередь выразить негодование по поводу этого «неприкрашенного признания», проливающего свет на порочный образ мыслей обвиняемых.

Защитник отвечал ему, что, во-первых, здоровое восприятие заставило бы человека из народа отнестись к поступку Грулей не как к возмутительному преступлению, а разве как «к несколько далеко зашедшей шутке», во-вторых, он, разумеется, и не помышлял о диффамации, ибо высоко ценит Кирфеля и почитает его образцовым чиновником, а просто хотел извлечь для себя некоторую пользу из его многолетнего психологического опыта работы с преступниками, пойманными на месте преступления.

Тут слушание дела пришлось прервать, ибо в зале возникла небольшая суматоха. Обвиняемый Груль-старший бесцеремонно и неприметно, поскольку «никто все равно своим глазам не поверил», как стояло в протоколе, составленном Ауссемом «для себя одного», зажег свою трубку и принялся «курить ее с дерзким и веселым видом».

Судебный пристав Шроер, желая предупредить скандал, попытался отобрать трубку у Груля; Груль оказал сопротивление, скорее инстинктивно, чем злонамеренно, и высоко поднял трубку, отчего горящая табачинка крупно резанного трубочного табака пронеслась по воздуху и упала в декольте одной дамы из публики.

Дама эта, госпожа Шорф-Крейдель, юная супруга водителя «Мерседеса 300», явилась в суд с единственной целью — буде представится такая возможность — вписать в протокол, что ее муж после «коммунистических угроз» нервно заболел, что может удостоверить лечащий врач, профессор Фульброк. Социально

прогрессивные убеждения ее мужа общеизвестны и одинаково внушают страх правым и левым, так что же тут удивительного, если он слег от оскорблений, нанесенных ему этим парнем из Хузкирхена, чьи убеждения не менее хорошо известны во всем округе.

Дама взвизгнула, что опять-таки заставило Груля испуганно двинуть рукой, отчего несколько табачинок упали на колени другой дамы и прожгли дыру в ее новом шелковом платье; эта дама тоже завизжала.

Короче говоря, возникла небольшая суматоха и судебное разбирательство было прервано. Какой-то парень из публики, наряженный в воскресный костюм, — позднее выяснилось, что это был мясник Лейфен из Хузкирхена, то есть шурин Груля, — выходя из зала, крикнул обоим обвиняемым то, что кричат при деревенских драках: «Валяй, бей, гони их взашей!»

Однако председательствующего, который воспользовался вынужденным перерывом, чтобы позвонить жене и несколько раз затянуться своей сигарой, поджидал еще один досадный инцидент: как только суд и представители обвинения заняли свои места, дама в прожженном шелковом платье встала и обратилась к нему, бесцеремонно называя его «Алоис, ты», с вопросом, кто должен возместить ей убыток: обвиняемый Груль, судебный пристав Шроер, она сама, суд или страховое общество.

Наиболее огорчительным для председательствующего было то, что дама, не без злонамеренности, как он предполагал, выдала тайну, долгие годы тщательно хранимую в Биргларе: дело в том, что для всех, кто называл его по имени, он был Луи. Даже его жена уже не помнила его настоящего имени, которого он так стыдился.

Эта дама, его двоюродная сестра Агнес Халь, чье тонкое девичье лицо все еще хранило нежную красоту, редко встречающуюся у замужних женщин ее возраста, вот уже двадцать лет не пропускала ни одного судебного заседания под его председательством. В городе ее прозвали Агнес Судейская Мебель. Она жила вполне независимо, в старинном патрицианском доме, где родилась мать Штольфуса, в девичестве Халь, и куда он частенько навещался еще молодым человеком, в бытность свою ассессором, обычно затем, чтобы пойти с Агнес на танцы или еще куда-нибудь поразвлечься.

Штольфус был окончательно сбит с толку: молчаливый доселе упрек за то, что он не женился на ней, облечь в форму публичного скандала! Он воспринимал все это

как нарочитую и злую выходку, тогда как на самом деле, узнав утром из телефонного разговора, что его ходатайство об отставке наконец удовлетворено, она захотела с ним проститься — ведь вряд ли им доведется еще встретиться,— в последний раз назвать его Алоисом — радость, не понятная для тех, кто не понимает платонической любви.

Штольфус, все более раздражаясь, неожиданно злобно реагировал на случившееся. В суровых словах он стал поучать Агнес, которую впервые в жизни назвал «фройляйн Халь», что в суде дожидаются вызова, прежде чем начать говорить, и что здесь дело идет об установлении истины, а не о банальных и второстепенных вопросах страхования.

Зная, что ее это красит, фройляйн Халь напустила на свое лицо выражение легкой насмешки, но, как видно, это не произвело впечатления, ибо Штольфус продолжал говорить поучительно, сухо и сурово; тогда фройляйн Халь стала проявлять явные признаки строптивости, досадливо поводила плечами, капризно вздергивала губку; кончилось тем, что Штольфус велел ей удалиться, и она, горделиво выпрямившись, покинула зал.

Вокруг царила смущенная тишина, когда эта красивая старая дама с видом воплощенного величия закрыла за собой дверь. Штольфус поглядел ей вслед сначала сердито, потом сконфуженно, откашлявшись, попросил старика Кирфеля вернуться к своим показаниям и суровее, чем тот этого заслуживал, предложил ему полностью исключить из них все второстепенные подробности, как-то: затор на шоссе и его последствия, правонарушения, вызванные этим затором, жалобы отдельных лиц, явившиеся следствием таковых, и предстоящие разногласия со страховым обществом.

Кирфель, с живейшим сочувствием отнесшийся к инциденту с Агнес Халь, тихим голосом попросил запроколировать, что после урегулирования «различных задержек» он тотчас же направился к обвиняемым, но тут подоспела пожарная команда и ему лишь с величайшим трудом удалось остановить пожарных, уже приготовившихся качать воду из протекавшей поблизости речки Дур, чтобы взять под «водяной обстрел» медленно догоравший джип и тем самым смыть все следы и доказательства. Пожарные, «разобиженные, как водится в подобных случаях», отбыли восвояси, и ему наконец представилась возможность подойти к обвиняемым. Не

доходя метров шести, он им крикнул: «Бог ты мой, да как же это случилось?» На что Груль-младший ответил: «Мы подожгли эту штуковину». Он, Кирфель, несколько удивленный: «Но почему, собственно?» Груль-старший: «Мы малость продрогли и решили за счет *harpening*¹ обогреться». Кирфель: «Слушай, сынок (его отец был моим закадычным другом, я обвиняемого знаю, можно сказать, с пеленок и говорю ему «ты»), понимаешь ты, что говоришь?» Груль-старший: «Очень даже понимаю, это *harpening*, и все тут». Кирфель Грулю-младшему: «Отец-то, видно, заложил за воротник, а?» Груль-младший: «Да нет, Генни (меня Генрихом зовут, господин председательствующий), он уже давно таким трезвым не был». Кирфель добавил еще, что все эти переговоры велись на местном диалекте. Позднее он рассказывал, что его последнее показание в суде было «приблизительно пятисотым при председательствующем Штольфусе» и ему, да и Штольфусу тоже — он это заметил — нелегко было ограничиваться чисто деловыми вопросами, ибо они оба, Штольфус и он, «стараясь, по большей части тщетно, внести немножко порядка в этот сумасшедший мир», вступали в борьбу друг с другом в том, что касалось отдельной личности, но за справедливость всегда боролись плечом к плечу. А как часто ему приходилось заявлять, с занесением в протокол, что его крестное имя Генрих, когда обвиняемый обращался к нему просто «Генни»; не менее двухсот раз были запроколированы эти его слова.

Защитник попросил дозволения задать несколько вопросов свидетелю Кирфелю. Получив таковое, он сказал, что хочет заранее подчеркнуть: в его намерения отнюдь не входит расставлять западню Кирфелю, подвергать сомнению его служебные достоинства или выставлять его в смешном свете, ибо он Кирфеля уважает, считает высококвалифицированным полицейским чиновником и безупречным свидетелем; Гермес разгорячился и слегка сбился, говоря, что первый его вопрос многим, вероятно, покажется несущественным, тем не менее он имеет решающее значение для его подзащитных. Затем Гермес попросил Кирфеля объяснить ему, как им было понято выражение «*harpening*». Кирфель поначалу одобрительно кивал, выражая этим, что он не считает вопрос защитника некорректным, но теперь покачал головой и за-

¹ Происшествие (англ.).

явил, что не совсем понял это выражение, да и особого значения ему не придал. Впоследствии он, правда, размышлял над ним и пришел к выводу, что Груль, большой охотник пошутить, вечно сидящий без денег и вечно преследуемый судебным исполнителем, употребил это выражение как усеченное и искаженное «без пфеннига». Правда, и этот домысел не уяснил ему связи между пылавшей машиной и отсутствием денег, но все равно он принял малопонятное выражение Груля «за старую песенку на новый лад». Установить какую-либо связь между безденежеством Груля и его преступлением он, конечно, не сумел. Когда защитник спросил, как он пишет слово «happening» и как, соответственно, записать его в протоколе, через «е» или «а», Кирфель ответил, что в своем первом протоколе он об этом слове вообще не упомянул, а если ему велят его написать, то, разумеется, он напишет его через «е», потому что так произнес это слово Груль. Председательствующий, для которого после досадного недоразумения с кузиной эта проволочка явилась весьма желанной, сдвинув брови, заинтересованно прислушивался к диалогу между Гермесом и Кирфелем. Когда последний на вопрос о правописании слова «happening» ответил «е», председательствующий осведомился, почему защитник настаивает на этих фонетических деталях. Гермес зловеще намекнул, что его вопросы не преследовали цели поставить под сомнение достоверность сообщенного свидетелем Кирфелем, большего он на данной стадии судебного разбирательства сказать не может.

Прокурор с самодовольной улыбкой прислушивался к этой дискуссии об «а» и «е», бормоча себе под нос что-то вроде: «ничего не скажешь, хитро придумано — обсуждать этот рейнский воляпюк, которому грош цена». Ему так же, впрочем, как и председательствующему, спор о каком-то словце рейнского диалекта представлялся смешным и никчемным. В этом чуждом диалекте, о который, как ему казалось, «можно язык сломать», он, впрочем, временами замечал сходство с английским произношением, и слово «happening» напомнило ему английское слово «halfpenny». Когда защитник попросил протоколировать этот диспут об «а» и «е», на что председательствующий с улыбкой дал свое согласие, прокурор расхохотался, но тут же сделал серьезное лицо и обратился с вопросом к обвиняемому: всерьез ли он заявил, что продрог, ведь стоял жаркий июньский день, двадцать

девять градусов в тени. Груль отвечал, что ему всегда холодно, когда жарко.

Второй вопрос защитника, правда не занесенный в протокол, поверг Кирфеля — это было заметно всем и каждому — в полное смущение. Правда ли, что оба Груля пели, постукивая трубкой о трубку, и правда ли, что он, Кирфель, «на этой стадии пожара» еще слышал пощелкивание, как то показали другие свидетели? Кирфель — ему, видно, нелегко давалась ложь — обернулся, покраснел, взглянул на Штольфуса, словно взывая о помощи, а тот в свою очередь, словно испрашивая снисхождения для Кирфеля, вопросительно взглянул на Гермеса. Адвокат, видимо желая пойти навстречу Кирфелю, заметил, что ответ на этот вопрос крайне важен для его подзащитных в смысле «благоприятствования», к тому же он тесно связан с вопросом о написании слова «*harpening*», и если Кирфель, проявляя заботу о благе обвиняемых, умалчивает об этих подробностях, то он, Гермес, должен его заверить, что эффект получается обратный, а покажи он правду, это пошло бы им на пользу.

Тут Груль-старший попросил слова и стал уговаривать Кирфеля, фамильярно называя его «дядюшкой Генни», не мучить себя, не стесняться, надо же ему после стольких лет беспорочной службы обеспечить себе и беспорочный уход в отставку, а потому пусть говорит «в открытую». Кирфель, впоследствии отозвавшийся об этой сцене как о «весьма тягостной», запинаясь и подыскивая слова, начал свое показание: да, он видел, как обвиняемые постукивали трубкой о трубку, и слышал, что они при этом пели. Спрошенный, происходило ли это постукивание в определенном ритме, он отвечал уже несколько развязнее: да, это было ритмическое постукивание — он, Кирфель, как известно, вот уже сорок лет состоит в церковном хоре и, конечно, хорошо разбирается в литургических песнопениях, постукивание трубок происходило в ритме *ога про nobis*¹ и повторялось достаточно часто, так что, подходя к Грулям, он имел возможность несколько раз себя проверить. Прекратилось таковое, только когда он задал Грулям свой первый вопрос — кстати сказать, добавил Кирфель опять несколько неуверенным голосом, пел только Груль-младший, — и совсем тихо присовокупил: ему удалось даже разобрать, что это было «Моление всем святым», и дово-

¹ Молись о нас (лат.).

льно далеко зашедшее, он уже добрался до св. Агаты и св. Люции. Что же касается пощелкивания, тут ему больше ничего «установить не удалось». Пощелкивание слышали только те, кто первым прибыл на место происшествия, а именно: коммивояжер Эрбель из Воллерсховена под Хузкирхеном и школьники Крихель и Боддем из Дульбенховена, на основании чьих показаний это и было занесено в протокол. Гермес с большой теплотой поблагодарил Кирфеля. Прокурор тотчас же осведомился, был ли запротоколирован весь «этот вздор», о котором свидетелю Кирфелю, как человеку разумному, надо думать, очень нелегко было говорить. Кирфель отвечал, что показания обоих школьников, как уже сказано, были запротоколированы, остальное может дополнить разве что свидетель Эрбель.

Прокурор тихим голосом, вежливо, но назидательно осведомился, не забыл ли господин председательствующий о замечании, которое сам же сделал Грулю за курение на скамье подсудимых. Д-р Штольфус поблагодарил его за напоминание и с отеческой строгостью в голосе попросил обвиняемого Груля объяснить наконец, о чем он, собственно, думал, закуривая свою трубку,— всем ведь известно, что его никак нельзя причислить (иначе это свидетельствовало бы против него) к людям неучтывым или невоспитанным. Груль все с тем же серьезным и достойным видом сказал, что просит прощения за свой поступок. Он ничего при этом не думал, напротив, в ту минуту находился в бездумном и рассеянном состоянии духа. В его намерения отнюдь не входило выказать неуважение суду, просто он задумался об одной небольшой работе, которую ему дозволено было делать во время предварительного заключения, — ремонт и подкраска старинной шкатулки для драгоценностей из розового дерева, с которой были сорваны замочки и шарниры, видимо сделанные из чистого золота, и неудачнейшим образом заменены медными во вкусе начала века. Эта шкатулка вдруг пришла ему на ум, а стоит ему только подумать о своей работе, как он вытаскивает трубку, набивает ее табаком и закуривает. На вопрос, способен ли он в этом бездумном и рассеянном состоянии следить за столь важным для него судебным разбирательством, Груль отвечал, что бездумное — это определение правильное, а рассеянное — пожалуй, не совсем. Ему случилось, будучи в бездумном состоянии, быть в то же время и вполне сосредоточенным, патер Кольб, приглашенный

в качестве свидетеля из его, Груля, родной деревни Хузкирхен, может подтвердить, что он иной раз закуривал трубку даже в церкви. Тут Груль обернулся к публике, попросил прощения у обеих дам, пострадавших от его небрежности, и предложил им возместить убытки — в случае, если у него неостанется наличных денег, — своей работой, тем более что он уже не раз выполнял различные заказы для госпожи Шорф-Крейдель и фройляйн Халь. Груль говорил тихо, по-деловому, но без приниженности, покуда прокурор, на этот раз уже довольно резко, не прервал его заявлением, что в манере, с какою обвиняемый предлагает здесь свои услуги, он усматривает некую скрытую advertising, иными словами, саморекламу — новое доказательство «недопустимого легкомыслия и развязности», и требует пресечь это хотя бы вынесением строгого выговора подсудимому именем государства, которое вершит здесь свой правый суд. Д-р Штольфус не слишком уверенным, но строгим голосом сделал замечание Грулю, которое тот выслушал, одобрительно кивая головой. Затем он вернулся на скамью подсудимых и вручил — это все видели — судебному приставу Шроеру трубку, кисет и спички, а тот в свою очередь одобрительно кивал головой, принимая у него из рук эти предметы.

Опрос Кирфеля подходил к концу. Он немедленно арестовал обоих Грулей, говорил Кирфель, и был очень удивлен, когда они пошли с ним не только без всяких возражений, но как будто даже и с радостью. По правде говоря, он колебался секунду-другую, но Груль-старший крикнул ему, что они намеревались бежать в Париж или Амстердам, — налицо, следовательно, «попытка к бегству». Однако он, Кирфель, и тогда еще не сразу решился арестовать Груля-младшего, одетого в военный мундир, в этом вопросе буква закона была ему не совсем ясна, но поскольку Груль-младший сопротивления не оказывал, он счел себя вправе до выяснения, подлежит ли военный служащий компетенции гражданских властей, подменить собою фельдъегеря. Возглас прокурора: «Правильно действовали», видимо, был Кирфелю неприятен. Председательствующий сделал замечание прокурору за недозволенный и не относящийся к делу выкрик: здесь не место для фамильярного похлопывания по плечу. Прокурор принес извинения, заметив, что после развязной веселости обвиняемых его привело в восторг, кото-

рого он не сумел сдержать, трезвое, проникнутое чувством долга показание заслуженного чиновника полиции.

По ходатайству защитника было еще раз подробно разъяснено правовое положение Груля-младшего. Утром, после взятия под стражу, молодой Груль был препровожден в свое подразделение и там посажен на гауптвахту, где и был допрошен своим командиром, но вечером того же дня его оттуда выпустили и, переодетого в штатское, переправили с фельдъегерями в Биргларскую тюрьму. Он, защитник, оставляет за собой право выяснить, было ли подразделение правомочно поручить фельдъегерям переправить в Бирглар лицо, единогласно признанное гражданским лицом. Теперь его ближайшая задача узнать, предстал ли Груль-младший перед судом как гражданское лицо, или же его ждет еще и военный суд. Председательствующий разъяснил, что вопрос о подсудности поначалу был не совсем ясен, поскольку преступление Груля-младшего рассматривалось как совершенное военнослужащим, однако же, когда был поднят вопрос, не совершил ли и Груль-старший преступления против бундесвера, в ротной канцелярии уже успели выяснить, что Георг Груль вследствие ошибки, допущенной ротным писарем, собственно, уже три дня назад подлежал увольнению в бессрочный отпуск, а следовательно, хотя субъективно и считал себя военнослужащим, но объективно в рядах бундесвера уже не состоял, а посему, хотя субъективно и имел право быть водителем джипа, объективно уже был такового лишен. Грулю следует рассматривать это обстоятельство как большую удачу: если бы его поступок был приравнен к саботажу, все дело приняло бы для него весьма и весьма неблагоприятный оборот. Теперь же бундесвер не выступает как истец, но, возлагая основную ответственность на Груля-старшего — здесь д-р Штольфус довольно кисло улыбнулся, — так сказать, «умывает руки». На данном процессе в суде первой инстанции бундесвер выступает лишь как «свидетель» в лице нескольких своих представителей. В остальном этот случай следует рассматривать только в связи с упомянутой командировкой Груля, о военно-правовом его аспекте мы еще будем говорить после того, как свидетель обер-лейтенант Хеймюлер даст свои показания, разумеется, при закрытых дверях. В одном он может заверить защитника: возмещения убытков бундесвер будет требовать с гражданского лица Груля через Биргларский суд первой инстанции. К нам уже

поступило соответствующее письмо командира полка полковника фон Греблоте. Молодой Груль попросил слова и, получив его, сказал, что ему безразлично, каким подарком его обойдет бундесвер, пусть то будет даже судебный процесс. Прокурор, даже не попросив слова, с яростью накинулся на Груля и обозвал его «неблагодарным щенком». Груль крикнул в ответ, что не позволит обзывать себя щенком, он-де взрослый человек и волен решать, хочет он принимать что-либо в подарок или не хочет, при этом он подчеркивает, что даже избавление от судебного преследования принимать в подарок не намерен. Прокурору было предложено взять обратно выражение «щенок», Грулю — не выказывать строптивости. Оба принесли извинения, но не друг другу, а председателствующему.

Коммивояжер Альберт Эрбель из Воллерсховена под Хузкирхеном, округ Бирглар, сообщил суду, что ему тридцать один год, женат, двое детей и «две собаки», шутливо добавил он. Председательствующий запретил ему впредь отпускать подобные шутки. Да, продолжал Эрбель, извинившись, в день, о котором идет речь, в 12.35 он, проезжая на своей машине мимо места, о котором идет речь, заметил огонь, притормозил, повернул — что позднее, когда ему нужно было ехать в обратную сторону, поставило его в весьма затруднительное положение, — затем прошел пешком метров пятьдесят в направлении горящей машины и увидел обоих обвиняемых, которые постукивали трубкой о трубку «точь-в-точь, как чокаются пивными кружками, провозглашая тост», слышал и как они пели, а вот что пели, не разобрал, возможно, по-латыни, но уж «безусловно не по-немецки и не на диалекте, я хорошо его знаю». Спрошенный о щелканье Эрбель сказал, что звук этот был очень странный — «даже красивый», скорее всего он «смахивал на барабан, а может, и на трещотку, несомненно одно: происходил этот звук от движения каких-то мелких предметов в полом жестяном корпусе и, пожалуй что, так ему теперь думается, — в ритме румбы. Разумеется, он спросил обоих обвиняемых, не может ли он что-нибудь для них сделать. Нет, отвечали те, это они должны что-нибудь сделать для него, а он пусть «слушает», нравится ему или нет. Вместо ответа он ткнул себя пальцем в лоб, уже более не сомневаясь, что либо они

оба спятили, либо «здесь разыгрывается какая-то шутка, для налогоплательщика, пожалуй, дороговатая», и направился к своей машине. На вопрос защитника, счел ли он обвиняемых сумасшедшими или счел, что они ведут себя «как сумасшедшие», Эрбель, подумав секунду-другую, отвечал: скорее второе — не сумасшедшие, а «как сумасшедшие». Какое у него создалось впечатление, продолжал спрашивать Гермес, что он стал свидетелем дорожного происшествия, несчастного случая или «сознательного акта»? Эрбель: происшествие или случай, по его мнению, исключаются, выражение «сознательный акт» в этой связи представляется ему не совсем точным, но в общем-то «достаточно приближенным»; так или иначе, но ему ясно, что все это было сделано преднамеренно. Когда прокурор напомнил Эрбелю его показания на предварительном следствии, значительно более подробные, тот хлопнул себя по лбу, извинился и сказал, что только сейчас вспомнил: Груль-младший действительно спросил его, от какой или для какой фирмы он разъезжает по стране, на что он отвечал: от одной известной фирмы, производящей экстракты для ванны, тогда Груль попросил дать ему пробный флакончик или тюбик, он эту просьбу отклонил, но Груль сказал, что хочет купить бутылку этого экстракта — не вечно людям купаться, надо же когда-нибудь и машину искупать.

Оба обвиняемых подтвердили показания Эрбеля словами: «точь-в-точь так и было». Далее Эрбель рассказал, что ему стоило немало трудов развернуть машину и попасть в ряд, движущийся в нужном ему направлении, поскольку там уже скопилось штук десять машин, — спасибо полицейскому Шникенсу, который указал ему объезд.

Прокурор, человек приезжий, всего одну неделю исполнявший свои обязанности в Биргларе, при попытке очернить личность Груля-старшего допустил роковую ошибку. За несколько минут до начала процесса председатель настойчиво посоветовал прокурору отказаться от опроса свидетельницы Занни Зейферт, но тот, учув коррупцию в здешнем судопроизводстве, настоял на вызове свидетельницы Зейферт. На самом же деле д-р Кугль-Эггер намеревался вызвать свидетельницу Зейферт по наущению редактора социал-демократической газеты «Рейнишес тагеблат», которого его партия за

такое наущение не только не похвалила, но резко раскритиковала и чуть не исключила из своих рядов. Эта самая Зейферт, уверял редактор, в любую минуту покажет, что Груль-старший пытался ее изнасиловать.

Итак, когда судебный пристав Шроер вышел, чтобы вызвать свидетельницу «госпожу Занни Зейферт», и у дверей комнаты свидетелей, нимало не чинясь, крикнул, да так, что каждое слово слышно было в зале: «Иди, иди, голубушка, твой час пробил», большинство сидевших в публике злорадно заулыбались, понимая, что прокурор сам себе расставил западню. Появление свидетельницы, хорошенькой, хотя уже немолодой особы, по моде одетой, в красных сапожках и с выкрашенными в темный цвет волосами, повергло в смущение председательствующего. При слушании дел об укрывательстве краденого, сводничестве, сутенерстве и совращении малолетних ему уже не раз приходилось допрашивать Зейферт, у которой имелся такой обильный запас диалектизмов для обозначения того, что в обиходе называется «половым актом», что даже самые бывалые люди заливались краской. Кроме того, он дважды допрашивал Зейферт в связи с подозрением в шпионаже, которое, впрочем, оказалось необоснованным; суд выяснил, что Зейферт просто поддерживала интимные отношения с американским офицером, который на аэродроме, расположенном к Бирглару ближе, чем близлежащий большой город, держал под замком атомные боеголовки, за что и был прозван «атомным Эмилем»; состояла она также в связи и с бельгийским майором секретной службы, но оба раза сумела доказать, что не преследовала иных целей, кроме профессиональных. Ее голубые глаза, по мере того как она говорила становившиеся все светлее и жестче и неопровержимо доказывавшие, что от природы она блондинка с вполне определенными наклонностями, смотрели на всех присутствующих мужчин, исключая обвиняемых и прокурора, презрительно и вызывающе. Председательствующий не позволил себе улыбнуться, когда на вопрос о профессии она отвечала «гастроном», о возрасте — «двадцать восемь лет». Прокурор, который уже при ее появлении осознал свою ошибку и мысленно осыпал проклятиями редактора социал-демократического листка за его наущения, решил при следующих выборах не голосовать за его партию и неуверенным голосом спросил Зейферт, не пристава ли к ней когда-либо обвиняемый Груль и, больше того,

не пытался ли совершить над ней насилие. При этих словах адвокат вскочил как ужаленный и возбудил ходатайство — не в интересах своего подзащитного Груля-старшего, которому не приходится опасаться показаний свидетельницы, но в интересах общественной благопристойности и нравственности, охранять каковые обязан прокурор, а не защитник, тем не менее он ходатайствует об удалении из зала суда не только публики, но и своего юного подзащитного, Груля-младшего. Волнение его было неподдельно, когда он выкрикнул, что считает беспримерно чудовищным то, как господин представитель государственной морали старается унижить отца в глазах сына. Прежде чем прокурор сумел подыскать слова для ответа, свидетельница Зейферт неожиданно кротким голосом заявила, что это ее профессия — побуждать мужчин к этому, но она... — тут председательствующий решительно прервал ее замечанием, что ей дозволяется только отвечать на вопросы, на что она, громче, чем раньше, возразила, что ей предложили вопрос и она на него ответила, а больше ничего не сказала. Между тем прокурор бросил взгляд на свою жену, сидевшую в публике, сухопарую особу в темном платье, не известную здесь никому, кроме жены адвоката. Жена взглядом дала ему понять, что настаивать на опросе Зейферт не стоит, и когда председательствующий осведомился, настаивает ли он на продолжении опроса, прокурор тихим голосом отвечал — нет, не настаивает. Председательствующий, не глядя на Зейферт, вежливо сказал, что она свободна. Но Зейферт с кротостью, впрочем уже давшей небольшую трещину, попросила дозволения ответить и на вторую часть вопроса, дабы не оставлять Груля-старшего под несправедливым подозрением. Поощренная кивком председательствующего, она заявила, что Груль-старший никогда к ней не приставал и уж конечно не пытался ее изнасиловать, он разве что работал на нее — отделявал ее бар в стиле *Fin-de-siècle* ¹, — она правильно выговорила эти слова, а уж так повелось, что всех мастеровых, на нее работающих, подозревают в том, что они состоят с ней в несколько иных, не только деловых отношениях. Впрочем, и молодой Груль работал у нее, и ей доставляло удовольствие стряпать для этих двух «осиротевших» мужчин. Когда Зейферт согласно распоряжению председательствующего покидала зал, чувствовалось, что ее,

¹ Конец века (фр.).

как говорится, «душат слезы». В зале суда возникло оживление, задвигались стулья, раздались какие-то неопределенные, но явно выражавшие одобрение возгласы, их председательствующий немедленно утихомирил. Выступление Зейферт, которая, как всем было видно, выйдя из здания суда, уселась в красную спортивную машину, дожидавшуюся ее на бывшем школьном дворе, и нажала на стартер, завершилось неловким молчанием, не нарушившимся даже тогда, когда протоколист Ауссем подошел к председательствующему и шепотом спросил его, должен ли он этот инцидент отметить как «шум в зале». Председательствующий в ответ лишь досадливо, поскольку этот шепот был слышен всем, покачал головой.

Довольно бесцеремонный стук заставил судебного пристава Шроера вскочить и броситься к двери. С порога он крикнул председательствующему, что прибыл комиссар полиции Шмульк и готов дать свои показания. Д-р Штольфус велел просить его в зал. Шмульк, в штатском, «подтянутый и высокоинтеллигентный», обрисовал кое-какие подробности преступления, доселе еще никому не известные. Подсудимый — старший или младший, это так и не удалось установить ни на одном из допросов — бросил «с безопасного расстояния заранее подожженную маленькую подрывную шашку из тех, что продаются у нас для карнавалов», в насквозь промоченную бензином машину, что и дало немедленный эффект. К сожжению были подготовлены даже покрышки, две из них, однако, не сгорели, а лопнули — видимо, от жара. Следствием, произведенным на месте преступления, было обнаружено: в бензобаке и двух запасных канистрах обгорелые остатки каких-то мелких предметов, напоминающих пистоны, а метрах в четырех, на поле — картонная гильза от подрывной шашки, в продаже именуемой «Пушечный выстрел». Обвиняемые, куда он их допрашивал, не запирались, но и не были особенно сообщительны; они настойчиво твердили, что действовали совместно, тогда как поджечь шашку и бросить ее в машину мог только один. Остов машины, признанной собственностью бундесвера, после криминологического исследования был отбуксирован с места преступления; разумеется, все отвинчивающиеся детали, как это водится, были еще до того сняты с машины юными обитателями деревни Дульбенховен; на спидометре в это время было 4992 километра. Председательствующий спросил

Шмулька, имеет ли смысл произвести осмотр места происшествия,— нет, отвечал тот, ни малейшего. Он еще в конце лета нашел спички, валявшиеся возле межевого камня, и жестяную коробку от сигарет американской марки, явно принадлежавших обвиняемому, но теперь, в пору уборки урожая, тяжелые сельскохозяйственные машины разворотили все кругом и там уже ничего обнаружить не удастся. Он посмотрел на свои часы и с деловой вежливостью попросил его отпустить: ему надо вовремя поспеть в близлежащий большой город, где он выступает свидетелем по делу детоубийцы Шевена, действовавшего также и в Биргларском округе, но, «по счастью, безуспешно». Ни прокурор, ни председательствующий не имели оснований возражать против его ухода.

Суд вызвал в качестве экспертов двух психиатров — одного профессора и одного крупнейшего специалиста без профессорского звания. Точно так же поступила и защита. Возможные разногласия в оценке поведения подсудимых были заранее исключены тем фактом, что приглашенный защитой профессор принадлежал к той же школе, что и непрофессор, приглашенный судом,— к школе, перманентно враждовавшей с той школой, к которой принадлежали профессор, приглашенный судом, и непрофессор, приглашенный защитой.

Много трудов было положено на организацию этой необычной экспертизы, которая должна была снискать председательствующему славу «наверху», в кругах специалистов стать известной как «метод Штольфуса» и помочь Бирглару, где он впервые был применен, а заодно и обоим Грулям навеки войти в историю права. Поскольку эксперты успели уже не раз проинтервьюировать обвиняемых во время предварительного заключения, то Штольфус, учитывая, что жили они далеко (Мюнхен, Берлин, Гамбург), по договоренности с защитой и обвинением разрешил им на суд не являться, а дать свои показания специально выбранному для этого судье. Итак, председательствующий заявил, что результат экспертизы известен сторонам, что в ней также не заключено ничего нового касательно личностей обвиняемых, поэтому он позволит себе не зачитывать текст полностью, а ограничится напоминанием, что все четыре эксперта, независимо друг от друга и несмотря на свою принадлежность к двум различным школам, пришли

к единому выводу, а именно: оба обвиняемых люди незаурядного ума и несут полную ответственность за свои поступки, никаких физических или психических дефектов у них не имеется, и самое их преступление — как это ни странно — совершено не в эмоциональном порыве, а с заранее обдуманном намерением, не исключено даже, что здесь речь идет о проявлении, пусть противозаконном, психологии *homo ludens*¹, что вполне соответствует артистическим натурам обоих обвиняемых. Один из четырех экспертов, а именно профессор Херпен, заметил в Груле-старшем — сейчас я цитирую текстуально, сказал председательствующий, — «известную ранимость социального сознания, обусловленную эмоциональным восприятием житейских обстоятельств, что, возможно, явилось следствием безвременной кончины его горячо любимой жены». Все четыре эксперта единогласно и безоговорочно отрицают пироманию как причину преступления. Итак, продолжал председательствующий, из четырех заключений экспертов мы должны сделать вывод, что преступление явилось сознательным актом; побуждения к таковому не были бессознательными и возникли не в подсознании обвиняемых. Это явствует еще и из того факта, что преступление было совершено обоими, хотя по своим склонностям и характерам они совершенно различные люди. Когда председательствующий спросил, имеются ли какие-либо вопросы по пункту «психиатрическая экспертиза», прокурор сказал, что не видит надобности в дальнейших экспертизах, с него достаточно признания экспертов, что обвиняемые полностью отвечают за свой поступок, так же как и термина «сознательный акт». Однако он предлагает считать выражение «человек добропорядочный», несколько раз встречающееся в экспертизе, медицинским, а никак не юридическим термином. Защитник попросил разрешения еще раз прочитать вслух тот пункт, в котором говорится об «артистических склонностях обоих обвиняемых». Когда председательствующий это разрешил, адвокат прочитал, подчеркнув, что во всех четырех заключениях экспертов нижеследующее совпадает почти слово в слово, об «удивительной способности Груля-старшего различать стили, их воспроизводить и имитировать», способности Груля-младшего, говори-

¹ Веселящийся человек (лат.).

лось далее, носят более творческий характер, о них можно судить по его деревянным скульптурам и некоторым произведениям беспредметной живописи. Председательствующий любезно, даже дружелюбно обратился к защитнику с вопросом, намерен ли он требовать дальнейшей экспертизы, дабы отец и сын Грули, совершившие столь непостижимое преступление, еще могли надеяться на признание их невменяемыми. После краткого совещания со своими подзащитными — все трое говорили шепотом — адвокат учтиво отклонил предложение председательствующего.

В стыдливой своей раздраженности (ведь и он знал обвиняемого Груля еще мальчишкой и всегда чувствовал к нему симпатию, а месяца за три или четыре до преступления даже пригласил его для реставрации великолепного ампирного комода, доставшегося ему после долгих споров из-за наследства с кузиной Лизбет, сестрой Агнес Халь. К тому же Штольфус считал себя вроде как должником Груля, ибо при расчете, зная, что тот с головы до ног засыпан исполнительными листами, сунул ему в карман довольно умеренный гонорар), итак, в стыдливой своей раздраженности д-р Штольфус позабыл объявить перерыв в положенное время и около 13.00 велел еще вызвать свидетеля Эрвина Хорна, старшину столярного цеха.

Хорн, пожилой господин, опрятно и благоприлично одетый, седовласый и краснощекий, имел вид столь жизнерадостный, что отлично мог бы сойти за отставного прелата. Возраст, сказал он, семьдесят два года, местожительство — Бирглар, обвиняемого, ходившего к нему в учение, он знает вот уже тридцать пять лет, ему, Хорну, даже довелось быть в экзаменационной комиссии, когда Груль «с отличными отметками» сдавал экзамен на подмастерье. Когда Грулю пришла пора сдавать на мастера, он, Хорн, по политическим причинам уже не был членом комиссии. Хорн хоть и не производил впечатления бодрячка, но поражал своим юношеским запалом и показания давал звонким, даже веселым голосом. Груль, говорил он, был смирным пареньком, смирным он остался и в зрелом возрасте, у них были общие политические симпатии, а во время войны, когда эти «паршивцы» оказывали на него «сильнейшее экономическое давление», Груль всемерно его поддерживал. Привез ему из

Франции масла, сала, яиц и табаку, а жена Груля, Лизхен, постоянно его снабжала молоком и картошкой, короче говоря, Груль не скрывал от людей своей приверженности к нему, но политически активным так никогда и не сделался. Хорн не скупился на похвалы и ремесленным способностям Груля: он принадлежит к вымирающей расе краснодеревщиков, таких, как он, теперь днем с огнем не сыщешь. Хорн не отказал себе в удовольствии заметить, что на протяжении последних сорока пяти лет немецкой истории столяры не раз подымались до высших государственных постов, а один так даже возглавил государство. Когда председательствующий спросил, кого он имеет в виду, ведь Эберт, насколько ему известно, был шорником, а Гитлер маляром, Хорн смутился и попытался прибегнуть к грамматической увертке, он-де сказал «возглавил», а не «возглавлял», вообще же он не имел намерения оскорблять профессию маляра, но Гитлер даже с малярной кистью толком не управлялся, а следовательно, ни один маляр его своим не признает, а уж *столяром* Гитлера даже и не вообразишь. Тут его прервал прокурор: прежде чем предоставить свидетелю возможность продолжать свои славословия и прежде чем ему удастся с помощью какой-нибудь новой исторической арабески затушевать свое только что сделанное чудовищное заявление, он, прокурор, считает необходимым со всей решительностью заявить протест против того, чтобы здесь «в зале немецкого суда беспрепятственно говорилось о советской зоне как о государстве», немецкий суд не вправе этого терпеть, он просит председательствующего поставить на вид свидетелю Хорну его поведение, а обвиняемому Грулю, чье лицо снова выражает «недопустимую веселость», напомнить об уважении к суду. У председательствующего, который только сейчас сообразил, о каком главе государства шла речь, вырвалось: «Ах, вот оно что!» — и он поспешил заверить, что понятия не имел, является ли «тот господин» столяром или был им когда-то, затем он скучливым голосом сделал замечание свидетелю Хорну и предложил Грулю-старшему «покончить с этими штуками».

На вопрос о финансовом положении обвиняемого Хорн отвечал, что в течение последних десяти лет оно является «перманентно катастрофическим», но он должен со всей настойчивостью заметить, что виноват в этом не один Груль, хоть он и правда человек нерасчетливый

и иной раз легкомысленно относится к деньгам, не в меньшей мере виновата в этом и «убийственная политика по отношению к ремесленникам». Тут прокурор снова прервал его: как представитель государства, он считал недопустимым использование судебного процесса как средства агитации против налоговой политики правительства, но председательствующий спокойным голосом указал ему на то, что устанавливать связь между субъективным положением обвиняемого и объективными обстоятельствами никогда и никому не запрещалось, даже если сущность этой связи излагают обывательским языком. Хорн, явно испытывая удовлетворение, продолжал не менее подробно: конечно, он не в состоянии вскрыть все взаимосвязи, это дело финансового эксперта; у Груля, не справлявшегося с многочисленными поборами, как-то: налог с оборота, промысловый и подоходный налоги, взносы в больничную кассу и тому подобное, — образовалась задолженность по уплате, а тут еще многократные описи имущества все время ее увеличивали. Далее начались принудительные продажи, у Груля с молотка пошли родительский дом в Дульбенвейлере, затем два акра пахотной земли и луг под Кирескирхеном, доставшиеся ему от крестной, и, наконец, его доля в ресторации «Пивная кружка» — то есть уже материнское наследство. Тем временем у него сволокли и всю домашнюю обстановку, описанную за долги, а там, среди прочего, имелась и очень ценная мебель, кое-что из этих вещей вдруг объявилось в биргларском музее. Прокурор попытался было заявить протест против формулировки «сволокли», примененной к государственной акции, но председательствующий движением руки остановил его. От дальнейших подробностей, продолжал свою речь Хорн, он готов воздержаться, только хочет сказать еще несколько слов о финансовом положении обвиняемого — при этом не затрагивая вопроса о долгах, — какое является столь же запутанным, сколь и запущенным. Дело дошло уже до наложения ареста на его гонорары, так что Груль утратил интерес к крупным заказам и порвал с лучшими своими клиентами, чтобы не вовлекать их во всю эту путаницу. На жизнь он стал зарабатывать мелкими поделками, а под конец, «находясь в естественном состоянии самозащиты», брал плату уже только натурой, продукты ведь описать не так-то просто. Прокурор энергично, уже почти невежливо запротестовал против выражений «естественно» и «самозащита» —

прибегать к подобным обозначениям для характеристики образа действий обвиняемого недостойно и недопустимо, в частности, возмутительным, прямо-таки вопиющим к небесам представляется ему в этом контексте выражение «самозащита», ни один гражданин, не вступивший в разлад с законом, не может находиться в состоянии «самозащиты» по отношению к своему государству.

Председательствующий, спокойствие которого все больше и больше выводило из себя прокурора, напомнил ему, сколько граждан и в наше время навлекли и навлекают на себя кару не тем, что они в прошлом придерживались закона, а тем, что они не прибегали к самозащите, единственному средству, каким тогда можно было отстаивать гуманизм. В демократическом государстве выражение «самозащита», правда, является «несколько преувеличенным», и посему он просит Хорна по мере возможности его избегать. Выражать ему порицание за слово «естественно» он, однако, считает излишним, ибо установить свое отношение к этому понятию можно, только предпослав ему точное определение, что следует считать естественном человеком; нет такого гражданина ни в одной стране на земном шаре, который воспринимал бы налоговое законодательство и его последствия как нечто «естественное», и не подлежит сомнению, что человек с житейским опытом свидетеля Хорна, человек, вынесший немало насмешек и нападок из-за своей честности, вправе воспринимать и характеризовать действия обвиняемого как естественные. Право и закон иной раз мощно ополчаются на отдельного человека, и трудно ждать, чтобы каждый гражданин относился к мерам, направленным против него, как к естественным.

До слуха Штольфуса, уже начинавшего впадать в проповеднический и довольно-таки скучливый тон, вдруг донеслось громкое покашливание адвоката. Это был их условный знак в подобных случаях. Итак, он оборвал свою речь на полуслове и обратился с вопросом к Хорну: неужели такой способный человек, как Груль, не мог заниматься своим делом, не испытывая постоянных финансовых затруднений? Мог, отвечал Хорн, но при нынешних обстоятельствах это предполагает хотя бы — он подчеркнул «хотя бы» — некоторое знакомство с основами экономики или по меньшей мере новое экономическое сознание. Наш столярный цех не только ставит себе задачей распространение этих знаний, внед-

рение нового экономического сознания, не только старается посвятить всех своих членов во всевозможные теперешние трюки, оно с этой целью даже организовало специальные курсы и рассылает разные циркуляры, да только Груль на эти курсы не ходит и циркуляров не читает. Он спрятал голову, как страус,— да оно и понятно, потому что в его положении никакие наставления уже помочь не могут, и перестал заносить в книги некоторые доходы, даже довольно значительные, это вышло наружу во время разных производственных ревизий и повлекло за собой высокие штрафы. В подобных случаях, а их больше, чем можно предположить, и в других отраслях, пострадавшему остается только одно — «идти в промышленность или до конца своих дней иметь дело с судебным исполнителем», а Груль от этого как раз и отказался, не пожелал занять даже хорошо оплачиваемой должности руководителя столярной мастерской в известной фирме оборудования и отделки квартир на том основании, что он-де свободный человек и хочет им остаться.

На вопрос председательствующего, была ли катастрофа неотвратимой, Хорн отвечал: «Отвратимой-то она была, но если бы вы увязли так же глубоко, как Иоганн Груль, от этого сознания вам было бы не легче. Где уж тут выбраться, вы только подумайте обо всех расходах из-за описи имущества, обо всех этих процентах, сборах и пошлинах — это бы вас обязательно доконало». Председательствующий тихонько усмехнулся и в самых вежливых выражениях запретил свидетелю употреблять в данной связи местоимение «вы».

Уязвленный прокурор не без горькой иронии сказал, что он все же просит «со смирением, здесь, видимо, подобающим ему, как представителю государства», позволения перебить свидетеля Хорна в его захватывающем описании хождения по мукам обвиняемого Груля и задать ему несколько вопросов. Он оставляет без внимания определение все «теперешние трюки», низводящее законы о налогах до уровня «наставления, как показывать фокусы», более того, порочащее эти законы, он не требует, чтобы за такое определение было вынесено порицание, а только хочет спросить свидетеля Хорна, знал ли он о системе ведения торговых книг обвиняемым Грулем, прежде чем таковая была обнаружена. Хорн отвечал без всяких колебаний, да, он знал об этом, Груль питал к нему полное доверие и все ему рассказы-

вал. Почему же свидетель Хорн не счел нужным сообщить об этом в соответствующие инстанции? Хорн, которому удалось сдержать свой гнев, отвечал, что он старшина столярного цеха, а не шпик из финансового управления, более того, он не только не шпик из финансового управления, а «вообще не шпик»; господину прокурору следует уяснить себе, если я вправе дать ему такой совет, что цех — это объединение, оберегающее интересы лиц одной профессии. Он, Хорн, предостерегал Груля, советовал ему навести порядок в своих делах и даже добивался в финансовом управлении соглашения о сторнировании, дабы его коллега Груль снова почувствовал почву под ногами и желание работать. Финансовое управление, видимо, готово было пойти ему навстречу, но тут положение Груля снова ухудшилось из-за того, что сына, его единственную опору, призвали на военную службу. Груль стал работать ровно столько, сколько было необходимо, чтобы спасти свой дом в Хузкирхене от продажи с молотка да еще оплачивать счета за электричество и необходимые материалы. Груль с тех пор производил на него впечатление покоровшегося судьбе человека, а сейчас он, Хорн, считает своим долгом еще раз подчеркнуть: он не шпик и не рожден быть шпином. Председательствующий предложил ему в связи с вопросом, который поставил прокурор, взять обратно слово «шпик», но Хорн от этого отказался, он-де достаточно хорошо расслышал требование: шпионить за своим коллегой. Председательствующий сделал ему вторичное предупреждение и затем миролюбиво посоветовал не ставить себя в затруднительное положение и взять это слово обратно. Нет, отвечал Хорн, за свою жизнь — до 33-го года, после 33-го и после 45-го, он тридцать шесть раз выступал как свидетель и не намерен отказываться от слова «шпик». Его тут же на месте приговорили к уплате пятидесяти марок штрафа в пользу государства. На вопрос, согласен ли он с этим приговором, Хорн отвечал: если правда обходится так дорого, то готов уплатить требуемую сумму, хотя, конечно, предпочел бы передать ее в пользу рабочей взаимопомощи. Штольфус заговорил уже более резким тоном, предлагая Хорну взять обратно это повторное оскорбление суда. Когда же тот в знак несогласия упрямо покачал головой, ему припаяли второй штраф, уже в размере семидесяти пяти марок в пользу государства. Согласен

ли он с этим приговором, его на сей раз не спрашивали. Председательствующий объявил обеденный перерыв на полтора часа и отпустил свидетеля Хорна.

2

Бергнольте, стройный мужчина средних лет, одетый изящно и не броско, все время молча сидел в публике, но за десять минут до того, как председательствующий объявил перерыв, неприметно покинул зал. Едва ступив на школьный двор, он ускорил шаг, потом взглянул на свои часы и пошел еще быстрее: телефонной будки у восточного фасада биргларской католической церкви он достиг уже беговым шагом легкоатлета, совсем недавно завершившего свою спортивную карьеру. В будке он не то чтобы запыхавшись, но торопливо вывалил содержимое своего черного кошелька на маленький пульт — две или три монеты отскочили от телефонной книги и скатились на пол, он нагнулся и поднял их. После недолгого колебания он решил опустить в автомат несколько грошей, а монеты покрупнее держал наготове. Итак, в щель для монет этого достоинства он семь раз сунул по грошу, уныло глядя, как они, скатившись по покатоному желобку, скапливаются друг за дружкой внутри аппарата, этот процесс напомнил ему другой, похожий, в игровых автоматах, называвшихся «Паяц», которые так забавляли его в юности (он играл украдкой, так как они большей частью стояли в пивных, куда ему запрещено было ходить); он бросил еще два гроша, они провалились — улыбнулся, оттого что в памяти всплыло слово «провалиться», набрал четыре первые цифры, затем шесть следующих, дожидаясь ответа секретарши Грельбера, правой рукой сгреб монеты покрупнее, сунул их в раскрытый кошелек, то же самое сделал с пятипфенниговыми монетами, начал кучкой складывать остальные — по пятьдесят пфеннигов и по марке, когда в трубке наконец послышался девичий голос. «Хелло,— быстро, даже таинственно, как заговорщик, проговорил он,— это звонит Бергнольте»; девушка переключила аппарат, отчего ее «сейчас» коротким и жалобным «сей» донеслось до Бергнольте; теперь уже мужской голос проговорил: «Грельбер слушает»,— и мгновенно утратил свою неприветливую официальность, когда Бергнольте вторично назвал себя.

— Ну, ну, валяйте!

— Так вот,— сказал Бергнольте,— движется все несколько медленно, но хорошо, в вашем смысле.

— Надеюсь, и в вашем тоже.

— Само собой. Представители прессы отсутствуют, обычный местный колорит, добряку Штольфусу он доставляет столько же удовольствия, сколько и хлопот. Короче говоря — никакой опасности.

— А новый как?

— Немного, пожалуй, ретив и путаник к тому же, ну да он человек пришлый, тут нечему удивляться, иной раз и глуповатый, но если его вежливо осадить — ничего, стерпит. И не в том дело, что он ошибается по существу, а в том, что он часто жонглирует политическими, я хочу сказать, государственно-правовыми понятиями, чего делать не следует.

— А Гермес?

— На высоте. Неизбежную адвокатскую демагогию ловко прикрывает своим рейнским выговором и постоянным расшаркиванием перед Штольфусом и свидетелями. Иногда не в меру хитер и расторопен. Различие между «э» и «е» вряд ли спасет его подзащитных.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ну, сделал он один такой выкрутас, я вам вечером объясню.

— Вы считаете, что я должен сказать Штольфусу о?..

— Разве что его поторопить, и притом осторожно. Он, прямо скажем, великолепен — но если оставшимся одиннадцати свидетелям позволить столько же говорить, ему понадобится еще четыре дня.

— Хорошо, останьтесь, пожалуйста, там еще и на сегодняшний вечер.

— Что слышно с делом Шевена?

— Ничего нового, он с упоением во всем признается, как и Грули.

— От их признаний упоением и не пахнет.

— А чем же, собственно?

— Безразличием, от которого волосы на голове шевелятся.

— Ладно, вечером расскажете, всего хорошего!

— До свидания.

Бергнольте ссыпал остатки мелочи с пульта в свой кошелек, повесил трубку, вздрогнул, когда два гроша из семи от падения рычага с шумом вывалились в желобок, вытащил их и закрыл за собой дверь будки. Затем он неторопливо обогнул церковь, вышел на главную улицу

Бирглара и после недолгих поисков обнаружил лучший дом на площади, рекомендованную ему гостиницу «Дурские террасы». Ему хотелось есть, а от перспективы пообедать за государственный счет — случая, не часто ему представлявшегося, — аппетит у него и вовсе разыгрался. В надежде на солнечную осень несколько белых столиков были оставлены на террасе над Дуром, их усыпали желтые листья, прилипшие после долгого дождя. Бергнольте оказался первым, пришедшим к обеду. В тихом зале с темными панелями старомодная печка распространяла приятное тепло, показавшееся ему символом традиционного гостеприимства. Из двадцати или более столиков пятнадцать были накрыты к обеду, на каждом в стройной вазочке красовалась свежесрезанная роза. Бергнольте снял пальто, кашне, шляпу и, потирая руки, направился к столику у окна с видом на Дур, ручешку, — назвать которую ручейком значило бы обидеть местных жителей, — протекавшую среди по-осеннему усталых, мокрых лугов, устремляясь вдаль, к электростанции. Дур был глубоким и быстрым, но здесь, на равнине, буйство его иссякло, он пожелтел и разлился вширь. Бергнольте погладил рыжую кошку, дремавшую на скамеечке возле печки, поднял одно из буковых поленьев, сложенных рядом, и понюхал его. Он еще стоял в этой позе, когда вошел хозяин, дородный человек лет пятидесяти, который на ходу отчаянно дергал свой пиджак за отвороты, покуда не надел его как следует. Бергнольте весь как-то сжался, но мужественно продолжал держать полено в руке и даже его обнюхивать, что, впрочем, сейчас получалось у него как-то менее убедительно.

«Да, — заметил хозяин, застегнув пиджак на все пуговицы и наново раскуривая свою сигару, — сама природа, тут ничего не скажешь». — «Да, да», — подтвердил Бергнольте, радуясь, что может наконец положить полено на место и пройти к своему столику. Хозяин принес ему меню. Бергнольте заказал кружку пива, вынул из кармана записную книжку и пометил в ней: «Поездка в Бирглар и обратно (перв. кл.) — 6.60. Такси с вокзала — 2.30. Телефон...», здесь он остановился, не без удивления смеясь над внутренним прохвостом, который ему шепнул вместо 50 пф. написать 1 м. 30; еще когда он утром записывал расходы на такси, внутренний прохвост ему нашептывал вместо 2 м. 30 поставить 3 м. 20, и тут же этот самый внутренний сожитель велел ему подумать

о том, что поездку на такси легко проконтролировать, ибо расстояние вокзал — суд в общем-то всем известно (когда расторопный таксист, у которого он попросил квитанцию, предложил ему написать пять-шесть, а то даже и восемь марок, Бергнольте покраснел и сказал, что хочет иметь только правильные данные, включая чаевые, исчисленные им в один пфенниг); но ведь телефонные расходы, продолжал шептать невидимый сожитель его души, почти непроверяемы, трудно предположить, чтобы фройляйн Кунрат, секретарша Грельбера, включила секундомер во время их разговора. Покачивая головой и смеясь — до чего же слаб человек, — он написал подлинную сумму 0,5 м., затем проставил одну под другой рубрики: «обед», «чаевые», «прочие расходы». Изучение меню окончилось, как он и предполагал, к удовольствию неисправимого ветрогона, тоже в нем укрывавшегося, второго сожителя его души, чье внезапное появление он всегда радостно приветствовал. Так как в десерте самых дорогих обедов, а их было четыре по цене от 4 м. 60 (рейнское кисло-сладкое жаркое) до 8 м. 50 (шницель из телятины со спаржей, ананасом и pommes frites¹), значилось одно из любимых его блюд: шоколадное парфе со сливками, то он, вздохнув, поддался уговорам ветрогона. Услышав, как за буфетной стойкой некая молодая девушка произнесла имена «Иоганн» и «Георг», Бергнольте наострил уши. Большие серые глаза этой особы показались ему не менее достойными восхищения, чем ее изящные руки, которыми она, едва ли не с нежностью, поглаживала большую четырехэтажную подставку для закусок (или для тортов). Не то чтобы ворчливо или сердито, но с оттенком досады в голосе хозяин говорил в это время молодой особе на местном диалекте: «Который раз я тебе говорю, что Иоганн не пьет кофе с молоком, это Георг до него охотник, а у тебя только Георг в голове». По-видимому, он намекал на содержимое красивого черно-красного термоса, так как заглянул в него, понюхал и уже тогда завинтил крышку. «На вот, возьми, — он сунул руку под стойку и вытащил изящную и с виду дорогую сигару из невидимого ящика, спрятанного там, надо думать, для собственного употребления, ибо другие сигары, в богатейшем выборе, стояли за стеклянной витриной, — и снеси Иоганну». Он аккуратно завернул ее в бумажную салфетку и засунул в металли-

¹ Жареный картофель (фр.).

ческую гильзу, которую опустил в карман пальто, уже надетого девушкой. «Смотри не забудь принести гильзу обратно».

Бергнольте невзначай окинул взглядом зал, и ему вдруг открылась удивительная его красота.

Изысканно обработанные филенки панелей отличались одна от другой тонкими нюансами протравки; в стену было вделано резное деревянное панно, занимавшее разве что двадцатую часть ее плоскости, оно изображало сцену уборки урожая. Вокруг него были разбросаны чайные кусты и кофейные деревья в различных стадиях цветения и зрелости. На втором поле панно цвели деревянные ромашки, мята, заячья капуста и липовый цвет. Между панелями высились стройные шкафы из вишневого дерева, светло-коричневые с красноватым отливом. Хозяин принес пиво, поставил его перед Бергнольте, проследил за его взглядом, сочувственно сложил губы трубочкой и сказал: «Да, тут любой музей может позавидовать». Когда Бергнольте спросил: «Но это ведь не старинная работа — кто же в наше время еще делает такие вещи?» — хозяин с загадочным видом отвечал: «Да, за этот адресок можно денежки заплатить». Затем он спросил Бергнольте, что ему принести на первое, консоме или спаржевый суп, Бергнольте выбрал консоме и, глотнув пива, решил, что свой вопрос задал слишком уж в лоб. (Позднее хозяин сказал в кухне своей жене, бывшей в полуобморочном состоянии после признания дочери, что она «отдалась молодому Грулю и понесла от него»: «Я этих судейских носом чую».)

В комнате для свидетелей в течение первого часа судебного разбирательства царило беспокойное настроение. Фельдфебель и ефрейтор бундесвера, несмотря на предостерегающие и довольно энергичные знаки своего начальника, подошли к Зейферт, раздобыли для нее стул и тотчас же завязали разговор о модных танцах. Когда выяснилось, что она не такая уж охотница танцевать, фельдфебель, поддержанный ефрейтором, перевел разговор на «drinks»¹, ефрейтор заявил, что «Bloody Mary»² с небольшой примесью водки предпочитает всем остальным. Зейферт хмуро, так как час был ранний и она не выпалась, тихим, но проникновенным голосом вну-

¹ Спиртные напитки (англ.).

² Кровавая Мери (англ.).

шала фельдфебелю, что терпеть не может мужчин, которые с утра пораньше пристают к женщине, а не то и под юбку лезут, да и вообще нахалов не выносит, а когда фельдфебель ей шепнул, что по ее виду этого не скажешь, она, уже погромче, заявила: «Булочнику не всегда охота булки есть, даже если ему их задаром дают»; фельдфебель этого не понял, а ефрейтор понял отлично, так как не без удовлетворения констатировал, что он — относительно, разумеется, ибо Зейферт и на него смотрела хмуро, — взыскан ее милостью; он напустил на себя вид бывалого человека, который, кстати сказать, был ему к лицу, и пустился в рассуждения о коньяках, тогда как фельдфебель в грубой своей мужественности признавал только пиво и водку, чем навлек на себя презрение Зейферт, пробормотавшей, что только вино истинный напиток любви. Ефрейтор был низкорослый хилый паренек в очках, но с мужественным ртом и очень характерным носом; фельдфебель, курносый малый с безвольным подбородком, тщетно пытался взглядами склонить юнца отступить от Зейферт в его пользу, на что тот отвечал едва заметным покачиванием головы и насмешливой улыбкой. Начальнику их обоих, молодому офицеру, блиставшему несколько, правда, холодной мужской красотой, эта группировка бундесвер — Зейферт была в высшей степени неприятна. Когда же до него донеслось слово «водка», он и вовсе расстроился. Ему давно уже не нравилось, что водка становится модным напитком. Ему казалось — по этому поводу он даже послал письмо в отдел пропаганды телевидения, — что за этой модой на водку и пропагандой водки таится недооценка и преуменьшение русской опасности, в связи с которой даже вошедшие в моду меховые шапки представляются ему подозрительными.

Старый патер Кольб из Хузкирхена тихонько беседовал со своими прихожанками, той, что помоложе, — вдовой Вермельскирхен, и той, что постарше, — тещей Груля, вдовой Лейфен, урожденной тоже Лейфен. Эти трое негромко обсуждали тему, которая вряд ли могла заинтересовать кого-нибудь из присутствующих, а именно: чья собака лаяла этой ночью в Хузкирхене. Вдова Вермельскирхен полагала, что это была овчарка Белло, принадлежавшая хозяину гостиницы Грабелю, вдова Лейфен подозревала бергхаузеновского пуделя Нору, патер же упрямо отстаивал тезу, что это Питт, колли тележника Лейфена; при этом он с добродушной улыб-

кой ссылался на то, что нередко проводит ночь без сна, впрочем, в его возрасте это не удивительно, и потому узнает лай любой собаки в Хузкирхене, а Питт тележника Лейфена, собака с исключительно тонким слухом и вообще животное умное и усердное, реагирует на любой шорох; он начинает лаять, даже когда ему, патеру, иной раз случается среди ночи открыть окно, чтобы выпустить табачный дым, а Белло, овчарка Грабеля, не просыпается, даже когда он среди ночи, что тоже бывает нередко, отправляется на прогулку «по своей спящей деревне», чтобы подышать свежим воздухом, и проходит от патерского дома до липы и потом еще раз туда и обратно. Что касается бергхаузеновского пуделя, то он слишком труслив, чтобы лаять, даже если и просыпается. Но всего прекраснее ночные шумы, доносящиеся из коровников: дыхание коров, их кашель, их зевота и даже те звуки, что у человека считаются неприличными, так умиротворяюще воздействуют в ночи, тогда как куры... кур мы терпим только потому, что они несут яйца; и еще приятно ночью видеть спящих птиц, за сараем Грабеля, не хозяина гостиницы, а крестьянина Грабеля, птицы часто усаживаются на ночь на яблони, правда, больше всего там голубей, которых он, патер, недолюбливает. Вдова Вермельскирхен, младшая из его собеседниц, толстая черноглазая особа, удивилась, как это она не знала, что патер совершает ночные прогулки, а знает ли об этом госпожа Лейфен? Вдова Лейфен сказала, что нет, не знает; люди ведь вообще мало знают друг о друге, и это очень жаль, им следовало бы знать больше, знать не только злое, но и доброе. От этих слов молодая вдова Вермельскирхен зарделась. В деревне она пользовалась некоторой симпатией, но отнюдь не доброй славой, и замечание вдовы Лейфен поняла превратно, как намек. Патер возразил, что он, напротив, знает много доброго о людях, хотя ночью и гуляет по деревне, а ведь ночь — время, когда обычно совершается не самое доброе. Вдова Вермельскирхен покраснела еще сильнее: мысль, что патер по ночам в своей черной сутане — точно черная кошка, только что глаза у него не светятся, — дозорным бродит или бродил по деревне, была ей не слишком приятна, но и патер ни о каких намеках не помышлял. Она заметила, что в исповедальне патеру приходится немало слышать о зле и ее удивляет, что он так хорошо думает о людях; ни хорошо, ни плохо о людях он не думает, возразил патер, разговоры же о том, что при-

ходится выслушивать исповеднику, почти всегда сильно преувеличены, ну «а ходить ночью по деревне, когда все спит кругом и разве что животные немного беспокойны», — ему это просто доставляет радость, и он проникается состраданием к людям, все равно злым или добрым. Желая успокоить вдову Вермельскирхен, у которой все еще горели уши и краска была разлита по гладким щекам, он положил руку ей на плечо и сказал, что не хочет показаться упрямым, но все-таки это лаял колли Лейфена, вдова не стала с ним спорить. Пренебрегая инструкцией для священнослужителей, запрещавшей им курить в общественных местах, патер достал из кармана трубку, обстоятельно набил ее табаком из жестяной коробочки, покрытой зеленым, уже изрядно поцарапанным лаком, на котором тем не менее еще можно было разобрать надпись «Шоколадные лепешки с мятой», втянул в себя воздух из нераскуренной трубки, вздрогнул, когда молодой офицер, считая весьма полезным завязать разговор с одной из образовавшихся здесь групп, мгновенно подскочил к нему, поднося зажженную спичку — как это делают все некурящие — к самому его носу. Патер вздрогнул и, немного раздосадованный этой поспешностью, равно как и опасной близостью спички, боязливо огляделся вокруг, задул спичку и, виновато глядя на молодого офицера, сказал: «Простите, пожалуйста, но мы тут уже договорились не курить». В ответ на его слова отовсюду послышался шепоток дружелюбного протеста, к которому громко и энергично присоединилась Зейферт, а также еще не покинувший свидетельской комнаты Хорн. Из этого шепотка можно было ясно расслышать, что для него, патера, все здесь охотно сделают исключение, во-первых — как для духовного лица, во-вторых — как для самого старшего. Он позволил себя уговорить на том условии, что курить по старшинству будут и другие курильщики, и теперь уже благодарно кивнул, когда обер-лейтенант, радуясь, что на сей раз его не осаживают, подсунул к нему со второй спичкой. Широким неподражаемым жестом, который он осуществил с помощью своей трубки, патер пригласил обер-лейтенанта вступить в круг хузкирхенских разговоров, и тот круто, как все по натуре застенчивые и молчаливые люди, и к тому же неожиданно резким голосом пустился в обсуждение термина «народный язык», удивившего его в последних церковных отчетах. Не приведет ли это к вульгаризации языка наших проповедников? Обе жен-

щины, из вежливости все еще прислушивавшиеся к их разговору, теперь с надеждой и ожиданием взглянули на своего патера, чьим умом так гордились, даже если не всегда умели понять или оценить его. Патер спросил, слышал ли когда-нибудь офицер выражение *vulgata*; да? — ну в таком случае ему известно, что наиболее распространенное может быть также обозначено словом «вульгарно»; сам он держится того мнения, что народный язык не может быть достаточно вульгарен, он уже начал переводить наиболее популярные воскресные евангелические тексты на хузкирхенский диалект, который отличается даже от кирескирхенского. Обе женщины гордо переглянулись. Гордостью их наполнил одержавший победу разум патера. Офицеру это толкование, видимо, пришлось не по душе. Он сказал, что имел в виду суровый, жреческий, изысканный язык Стефана Георге, более того, язык, доступный лишь элите, да, да, он не боится произнести это слово. Интерес женщин к этой теме мгновенно угас, вежливости тоже поубавилось, они сблизили головы за спиной патера, он немного подался вперед, чтобы им было удобнее, и заговорили о своих цветниках: как быть с георгинами, время уже выкапывать или *еще* не время? — спросила вдова Лейфен у вдовы Вермельскирхен, которая слыла опытной садоводкой; для *уже*, пожалуй, рановато, отвечала та, а для *еще* — так можно и до заморозков повременить. До этого она и не додумалась, сказала вдова Лейфен, хотя садоводством занимается вот уже пятьдесят лет. Как она добивается того, что розы у нее так долго цветут, продолжала расспрашивать вдова Лейфен, на что вдова Вермельскирхен отвечала, что сама не знает, как это у нее получается, правда не знает, ничего особенного она с ними не делает, вдова Лейфен подмигнула, и хитрая улыбка тронула ее губы, когда она охарактеризовала это как «непомерную скромность», разумеется, это тайна, и она очень хорошо понимает, что госпожа Вермельскирхен не желает выдавать ее, будь она обладательницей такой тайны, она, возможно, тоже бы ее не выдала, но у нее на цветы несчастливая рука. Меж тем господин патер и господин офицер обсуждали тему «Религия и богословие», которые патер определил как две совершенно различные области, что вызвало протест господина офицера. В это мгновение возглас: «Иди, иди, голубушка, твой час пробил!» призвал Зейферт на скамью свидетелей. Фельдфель, чьи мужественные повадки в конце концов «все-

таки проняли» Зейферт, как она сама выразилась, теперь уже без стеснения рычал на ефрейтора, так что тот счел за благо, сделав три шага, то есть ровно столько, сколько позволяло пространство, присоединиться к третьей, оживленно беседовавшей группе, которая состояла из дипломированного экономиста Грэйна, судебного исполнителя Халя, старшего финансового инспектора Кирфеля (сына полицмейстера), старшего мастера Хорна, пока еще не вызванного в зал суда, и коммивояжера Эрбеля. Все пятеро, надо думать, говорившие о Груле, в данный момент слушали главного своего оратора Грэйна, рассуждавшего о «структурных изменениях в ремесленном деле». Патер заявил, что он уже докурил свою трубку «после долгого поста, конечно, с непростительной быстротой», и сейчас первый на очереди Хорн, но так как он человек некурящий, то право закурить, по его скромным сведениям о возрасте присутствующих, сейчас принадлежит Халю, ибо госпожа Лейфен, следующая за ним, патером, по старшинству, тоже, разумеется, не курит. Халь с радостью воспользовался своей привилегией и схватил сигарету. Обе женщины встали, пошептались в дверях с судебным приставом Штерком и, хихикая, скрылись в глубинах вестибюля, еще памятного старшим из свидетелей — Халю, Кирфелю и Хорну — по школьным временам. Эти трое быстро переменили тему и, таким образом, временно исключили из общей беседы Грэйна и Эрбеля, людей молодых и к тому же приезжих, покуда через школьные воспоминания не подошли к вопросу, позволившему Грэйну снова вступить в разговор, — экономическому кризису двадцатых годов.

Вскоре после того, как были вызваны свидетели Эрбель и Хорн, ефрейтор, видевший в Грэйне специалиста, спросил его, как обстоит дело с кредитоспособностью мелких и средних предприятий в Биргларском округе, так же ли она велика, как в их краях; он родом из Бергишена, его отец банковский служащий. Грэйн охотно подхватил этот разговор, тогда как Халь и Кирфель предпочли наконец, после того как вызвали Хорна, договориться с Грэйном о «тоне» их показаний касательно Груля. Они с откровенным неудовольствием смотрели на ефрейтора, произносившего слова вроде «фактор колебаний» и «револьвирующая кредитная политика» с тем же небрежно-невозмутимым видом, с каким он только что щеголял перед Зейферт названиями коньяков, потом

отошли от обоих и образовали собственную группу у окна, шепотом принявшую решение «не вываливать в грязи ни Иоганна, ни Бирглар».

Когда вскоре после Зейферт были вызваны свидетели Эрбель и Хорн, во многих группах вздохнули с облегчением — и в первую очередь фельдфебель, которого его начальник выразительными взглядами побуждал встать у окна. Нравственные воззрения обер-лейтенанта, в гарнизоне прозванного Робертом Благочестивцем, были ему в высшей степени неприятны. Поскольку опрос Хорна затянулся, судебного пристава Штерка попросили сказать, в каком порядке будут вызывать свидетелей, это дало бы им возможность по очереди выпить кофе; когда Штерк отклонил эту просьбу на том основании, что засекреченная очередность исключает возможность сговора, Грэйи, снискавший себе в «Объединении дипломированных экономистов» славу «души общества», предложил своего рода игру в загадки, вернее, в фанты; он даже готов первым отвечать патеру на любые вопросы по катехизису, на что патер торопливо возразил, что никогда не знал на память катехизиса, да никогда и не мог бы его запомнить; старуха Лейфен отозвалась о предложенной игре: «Ну, это уже слишком»; энергичные жесты обер-лейтенанта послужили ей поддержкой. После этой короткой паузы, носившей несколько анархический характер, свидетели произвели перегруппировку: фельдфебель, ефрейтор и судебный исполнитель пристроились играть в карты на подоконнике; Грэйи смотрел, как они играют; обер-лейтенант, в высшей степени неодобрительно относившийся к игре в карты, не хотел сейчас, да еще публично, разыгрывать из себя начальника и потому снова подошел к патеру, который только-только собрался поговорить с Кирфелем, почетным казначеем своего прихода, о состоянии приходской кассы, и в первую очередь о том, что ставилось ему в вину — использование не по назначению средств, собранных на колокол, большая часть каковых ушла на финансирование переезда некой Фины Шурц, шесть лет назад перебравшейся в близлежащий большой город и там вышедшей замуж за этого самого Шурца, который бросил ее, беременную четвертым ребенком. Fiна Шурц, урожденная Кирфель, после этой истории дала волю своим легкомысленным задаткам, впервые сказавшимся в том,

что она, стремясь уберечь детей от горькой нужды, стала подрабатывать, служа кельнершей в ночном баре; короче говоря, родители вынуждены были забрать ее домой в Хузкирхен, ибо работодатель Фины, безответственный малый, по фамилии Келлер, присоветовал ей «временами включаться в стриптиз». Патер вел сейчас сугубо конфиденциальную беседу и появление обер-лейтенанта воспринял не то что «как назойливость», но все же заметил потом, что «у этого юноши странная привычка навязываться». Словом, патер истратил колокольные деньги не по назначению, чтобы помочь Фине Шурц вернуться в родимый Хузкирхен (напрасно, как он уже понимал, но в чем еще не решался себе признаться), ибо Фина Шурц, зная, что за детьми присматривает ее мать, ежевечерне уезжала скорым поездом в близлежащий большой город, чтобы, как выяснилось, «не только стриптизить».

Из-за поспешного вторжения обер-лейтенанта произошло небольшое, можно даже сказать, комическое недоразумение, в котором был отчасти виноват и Кирфель. Обер-лейтенант, «страстный связист», как он сам себя отрекомендовал, слово «включаться» знал лишь как термин, известный каждому рядовому связисту; в этом же и только в этом значении понимал его и чистый душою Кирфель II, словом, оба они, Кирфель и обер-лейтенант, некоторое время пребывали в уверенности, что Шурц работает ночной телефонисткой в частной телефонной компании, до подлинного смысла ее ночных «включений» они не додумались. У обер-лейтенанта немедленно возникло подозрение об известной службе в пользу «иностранной державы», у Кирфеля голова и без того шла кругом, главным образом из-за предстоявших ему свидетельских показаний, но еще и потому, что патер, не по назначению истратив колокольные деньги, попал в неприятное положение и сам еще не отдавал себе отчета, насколько неприятное. Наконец, старому патеру, который никак не мог взять в толк, почему оба его собеседника упорно говорят о телефоне, стало невмоготу слушать этот вздор, и он воскликнул: «Да полноте, милостивые государи, она же не call-girl¹, она ведь, так сказать, только включается». И с сарказмом, который делал его любимейшим гостем в домах всех духовных лиц, добавил: «Я, впрочем, до-

¹ Девушка на час (англ.).

пускаю, что ее хватает и на то, и на другое: и на телефонные, и на прочие контакты». Кирфель и обер-лейтенант в полном обалдении воззрились на патера; между ними начало устанавливаться нечто вроде взаимной симпатии, ибо слово «call-girl» в устах священнослужителя обоим показалось несколько странным, хотя смысл термина «подключаться» в его явно аморальном значении еще не до конца им открылся. Вот видите, голос патера, когда он обернулся к обер-лейтенанту, вполне утратил свою шутовскую интонацию, как важно знать вульгарную лексику; но, впрочем, добавил он, ему стало известно, что **Фина Шурц**, нравственное будущее которой он принимает очень близко к сердцу, в близлежащем большом городе предается своему постыдному занятию в злочном месте, где «кишмя кишит бундесверовцами, а также депутатами от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов», которые не стесняются в других местах «разыгрывать из себя стражей христианской морали». Обер-лейтенант раздраженно отвечал, что нельзя и не должно делать обобщения на основе таких «частных случаев». Большинство офицеров бундесвера отличается безупречным поведением и борется за чистоту нравов, к сожалению — при этих словах он бросил взгляд на стул, на котором недавно сидела Зейферт, а теперь восседала вдова Вермельскирхен, — не всегда успешно, ибо приказом никому моральной чистоты не предпишешь. Патер пристально на него посмотрел и сказал: «Из вашей глины кое-где лепят самых лучших коммунистов», слова, против ожидания, не вызвавшие возражений обер-лейтенанта, а, напротив, повергшие его в задумчивость.

О злополучной Шурц, еще более тихим шепотом, чем трое мужчин, беседовали также вдовы Вермельскирхен и Лейфен; характерно, что молодая Вермельскирхен высказывалась о ней куда более сурово, чем старуха Лейфен, которая основную вину возлагала на удравшего Шурца, тогда как Вермельскирхен, признаваясь, что она и сама «женщина чувственная, иной раз даже легкомысленная», вопиющую испорченность усматривала в том, что «Шурц делала такое за деньги». Лейфен с ней спорила, утверждая, что женщины, которые «такое делают за деньги», менее опасны, они только «обслуживают мужчин», те же, что деньги не берут, их «скручивают по рукам и ногам». Вдова Вермельскирхен, решительно все принимавшая на свой счет, отвечала, что она не скрутила

еще ни одного мужчины и всем предоставляла полную свободу. Но в момент, когда всеобщее возбуждение достигло критической точки — у картежников тоже, ибо у ефрейтора была просто неслыханная полоса везения и он несколько раз подряд объявлял большой шлем, тогда как к фельдфебелю карта не шла и он чувствовал себя вконец униженным, — судебный пристав Штерк распахнул дверь и объявил перерыв на полтора часа.

Прежде чем отправиться домой обедать, Штольфус предложил прокурору и защитнику пройти с ним на второй этаж, где в коридоре и устроил своего рода «пятиминутку» для обсуждения регламента опроса оставшихся девяти свидетелей. Как полагают прокурор и защитник, спросил он, если быстрее опрашивать свидетелей и более не ставить им прямо не относящихся к делу вопросов, можно ли будет еще сегодня покончить со всей этой процедурой или же лучше сейчас отпустить престарелых патера Кольба и вдову Лейфен, назначив им явиться завтра? Немного подумав, адвокат сказал, что ему лично для опроса ефрейтора, фельдфебеля, старухи Лейфен и патера понадобится не больше десяти минут на каждого, что касается обер-лейтенанта, которому предстоит давать показания по самой, так сказать, сути дела, то на него уйдет не менее получаса, зато на Грэйна и Кирфеля II он кладет не более чем по двадцать минут, так как они, собственно, даже и не свидетели, а скорее эксперты. Итак, опрос свидетелей защиты, по его мнению, может быть окончен уже сегодня, речь же свою он произнесет, видимо, только завтра; сказать, много ли времени уйдет на свидетельницу Вермельскирхен, вызванную противной стороной, он, конечно, не может. Прокурор, здесь уже казавшийся не таким бодрым и энергичным, как в зале суда, а скорее благодушным, отвечал, что на вдову Вермельскирхен ему вполне достаточно и десяти минут, а вот не согласится ли его уважаемый коллега несколько сократить опрос обер-лейтенанта, так как показания последнего приведут к излишней политизации дела, которое по существу уже можно считать законченным, на что адвокат немедленно отвечал, что не он, а его почтенный коллега склонен политизировать дело, «моральный вес которого не превышает значение дел о браконьерстве и контрабанде», и тут же вспомнил, что на послеобеденное время вызвал еще одного свидетеля, антиквара Мотрика из близлежащего

большого города, а также эксперта-искусствоведа, профессора Бюрена. «Ну ладно,— с нетерпением в голосе сказал председательствующий,— не будем никого отсылать домой, но, если позволите, пойдем навстречу нашим престарелым свидетелям и в первую очередь займемся ими». Оба юриста, люди еще молодые, помогли ему надеть пальто, висевшее в коридоре на старомодном крючке, на который стершекласники некогда вешали свои шапки,— каждый придерживал один рукав, чтобы старику удобнее было в него облечься; адвокат повесил на опустевший крючок судейскую мантию.

Свидетели и зрители в точном соответствии со своим социальным положением разошлись по ресторациям Бирглара. Покуда председательствующий проводил краткое совещание с представителями сторон, жена защитника свела знакомство с женой прокурора Кугль-Эггера и предложила ей вместе пойти в «Дурские террасы». Застенчивая Кугль-Эггер родилась в Биргларе, и не только сочувствовала желанию мужа перевестись в ее родной город, но и всячески его поощряла из-за своего старого дяди, некоего Шорфа, наследницей которого она являлась, очень хотевшего, чтобы «его любимица» жила поблизости. Госпоже Гермес были известны тайные причины перевода Кугль-Эггера, не удивила ее и застенчивость, с которой Марлиз Грабель — девичья фамилия госпожи Кугль-Эггер — вновь делала первые шаги по родной земле. Она и говорила-то теперь на баварском диалекте, тихим голосом рассказывая о маленьком баварском городке там, далеко за лесами, на языке господина Гермеса называвшемся «эта дыра восточнее Нюрнберга». Супруга адвоката энергично и в открытую атаковала Кугль-Эггершу, пройдя шагов пятьдесят, окончательно закогтила ее, а сделав еще с десятков, уже знала, что Кугль-Эггер тоже католик (в Баварии, как ей смутно мерещилось, имелись и протестантские прослойки), и затем с чисто рейнской словоохотливостью принялась рассказывать о своих планах относительно бала в день св. Николая в Объединении католической интеллигенции, на котором она решила устроить «внезапное вторжение новейших веяний», то есть прежде всего поход против бальных танцев «доброе старое время». Кроме того, она собирается организовать «откровенное обсуждение сексуальных проблем, включая противозачаточные средства». Еще не дойдя до «Дурских террас»,

а на дорогу туда требовалось не более пяти минут, она уже точно знала метраж хузкирхенской квартиры Кугль-Эггеров, в которую они въехали только вчера, знала, что им, «само собой разумеется, попался самый дорогой маляр в округе», что домохозяин берет с них очень высокую плату, но зато — и это, конечно, немаловажно — они оказались в приходе милейшего патера, лучшего, пожалуй, нигде не сыщешь. И конечно же — эта тема возникла сама собой, когда Кугль-Эггерша заметила, как трудно придется ее детям с их баварским выговором, — они обе подробно обсудили преимущества и недостатки монашек-воспитательниц в детских садах. Кугль-Эггерша, поменьше ростом и помоложе жены адвоката, позднее призналась мужу, что, «с одной стороны, ее как будто и околпачили, а с другой — она и сама была подхвачена той быстротою», с какой ее втаскивали в жизнь католической интеллигенции. Они пришли в «Дурские террасы», и сразу же им бросился в глаза Бергнольте, удивительно по-старомодному орудовавший ложкой, управляясь с шоколадным парфе. Да, заметила госпожа Гермес, много еще затхлых углов в Биргларе нуждается в хорошем сквозняке, впрочем, и «некоторые католические браки» не мешало бы как следует проветрить.

Кугль-Эггерша немного успокоилась, когда ее спутница заказала два martini со льдом, она опасалась более крепкого напитка, хотя и отметила, что пугающая напористость госпожи Гермес находится в странном противоречии с ее округлым и бесхитростным лицом типичной блондинки, в котором она при всем желании не могла обнаружить и следа злонравия. С облегчением констатировала она и то, что martini не было использовано для навязчиво-скоропалительного брудершафта. Адвокатша удовольствовалась обращением на «вы» и тогда, когда подняла свой бокал «за ваш приезд на родину», покуда Кугль-Эггерша, держа перед глазами меню и, собственно, его не читая, размышляла, уж не сидит ли с ней за столиком та крикливая белокурая девчонка, которая училась в четвертом классе, когда она еще ходила во второй, бойкая вечно хохочущая толстушка, в памяти у нее почему-то оставшаяся как «постоянно жующая яблоко». Ее отец — как же его звали? — на широкую ногу и, кажется, не совсем легально торговал удобрениями, углем и посевным материалом. Ну, да, впрочем, не позднее чем через четверть часа все выяснится.

Скоро в зале появилась группа, которую адвокатша, кстати довольно громко, охарактеризовала как «либерально-прогрессивную»: д-р Грэйнд, госпожа Шорф-Крейдель и протоколист Ауссем. Легкий кивок дамы, подчеркнуто почтительные поклоны мужчин, усевшихся за соседний с Бергнольте столик, — видно, их тоже тянуло полюбоваться глинистыми водами Дура, хотя госпожа Гермес уже успела сказать своей спутнице, что это не река, а каша, перебежавшая из кастрюли.

Хохоча над только что отпущенной соленой шуткой, в ресторан вошли Кугль-Эггер и Гермес. Гермес представился Кугль-Эггерше как «один из ее дальних-предальних родственников» через бабушку с материнской стороны, урожденную Халь из Обер-Бирглара, которая приходилась теткой ее дяде Шорфу, кстати, через него же она состоит в родстве еще и с дамой вон за тем столиком, которая скоро — Гермес захихикал не без злорадства — обнимет, может быть, даже и горячо обнимет «свою дорогую кухню Марго», это уже зависит от того, как ей удастся поладить с сей элегантною дамою, временами в приступах хандры мучающейся угрызениями совести, которые она афиширует довольно фальшиво и неуклюже. Гермес вряд ли уступал своей жене в словоохотливости, и его речевой поток представлялся Кугль-Эггерше «прямо-таки французским». Надо признаться, продолжал Гермес, что у него начисто пропал вкус к отечественной кухне, но тем не менее он может от души порекомендовать рейнское кисло-сладкое жаркое, впрочем, все, что здесь подают, отличного качества, хозяйка, госпожа Шмитц, умеет даже из такого примитивного блюда, как картофельные оладьи, или, поздешнему, тертые лепешки, более того, из дурацкой местной похлебки сделать подлинный деликатес (Гермес попал впросак со своим предсказанием — сегодня в первый, но не в последний раз госпожа Шмитц чуть ли не все перепортила, так сильно потрясло ее естество, ее мораль и ее душу признание дочери Евы, что она отдалась молодому Грулю и понесла от него, сознание же, что первый ее внук был зачат в тюрьме, и вовсе повергло ее в ужас; а Гермес в глазах Кугль-Эггерши навеки остался лжепророком и, что он воспринял еще болезненнее, — никудышным знатоком кулинарного искусства). Зато ей удалось наконец вставить словечко в его любезную и непрерывную речь, заметив, что не так-то легко вкусно приготовить местную похлебку, а тертые лепеш-

ки, пожалуй, еще сложнее: из сентиментальной любви к отечественным лакомствам она пыталась их жарить в «той дыре восточнее Нюрнберга», но у нее ничего не вышло. Ей бы очень хотелось знать — Кугль-Эггерша ринулась в образовавшуюся брешь,— действительно ли так велик интерес Гермеса к необычному делу Грулей, как это кажется, ведь она жена человека, состоящего на государственной службе и отнюдь не помышляющего о свободной профессии адвоката, однако... Но Гермес уже заполнил брешь и принялся рассказывать о традициях своей семьи: как его предок Гермес — трудно сейчас на него нанизать все «пра», ему причитающиеся, — сажал вместе с другими дерево свободы в Биргларе. Наполеона он, конечно, ненавидел, но еще больше пруссаков, которые не принесли с собой ничего, кроме жандармов, законов и налогов.

Тем временем адвокатша — «не могу себе в этом отказать» — заговорила с Кугль-Эггером о его промашке с Зейферт и предрекла ему такую же неудачу с Вермельскирхен. Кугль-Эггер рассмеялся, признал себя побежденным в случае с Зейферт и добавил, что не перестает удивляться не тому, что эта особа держится за такой городишко, как Бирглар, а тому, что она умудряется в нем продержаться хотя бы в финансовом отношении, тогда как дамам ее профессии и их потенциальной клиентуре близлежащий большой город предоставляет богатейшие и к тому же анонимные возможности. Госпожа Гермес на это заметила, что из истории права ему, верно, знакома граница действия гильотины — она совпадает с границей распространения борделей, которая, в свою очередь, является и границей определенной профессии, а граница действия гильотины, то есть с историко-правовой точки зрения граница действия кодекса Наполеона, моложе, чем старая граница «любовных утех»; по одну сторону этой границы больше процветает художественно-ремесленное, по другую — эмоционально-варварское начало. Но в данный момент ей кажется более важным — он, возможно, будет считать, что она действует в интересах подзащитных своего мужа, но это не так, — чтобы он избавил себя от конфуза с Вермельскирхен и задавал бы ей вопросы, относящиеся только к делу Груля, а не к его, Груля, личности. Когда Кугль-Эггер спросил: «А что, Вермельскирхен тоже «из тех», адвокатша воскликнула: «Нет, она, конечно, не из тех, Вермельскирхен не шлюха, она грешница, триста лет

назад ее сожгли бы на костре, как ведьму», в ней и правда есть что-то непостижимое, ее сад иной раз стоит в полном цвету, когда время цветения давно отошло. Хотя она себя и считает женщиной просвещенной, но даже для нее Вермельскирхен окружена какой-то тайной, в этой вдове словно воскрес древнекельтский культ матроны. Но она ведь даже не хорошенькая, вставил Кугль-Эггер; его собеседница рассмеялась и заметила, что в наши дни из сотни женщин и девушек девяносто три уж обязательно хорошенькие; но здесь речь не о миловидности, пусть-ка он, прокурор, всмотрится в глаза и руки вдовы Вермельскирхен, тогда он поймет, что такое богиня; нет, перебила она себя, с аппетитом уплетая свой спаржевый суп, эту свидетельницу лучше оставить в покое, Груль-старший, конечно, был с ней в связи, но какой прок господину Кугль-Эггеру, если это и обнаружится?

Госпоже Шорф-Крейдель тревожная заботливость юного стажера Ауссема о крохотной ранке у нее на шее в конце концов стала казаться несколько навязчивой и, как она выразилась позднее, «почти эротической» (он вскакивал с места, подходил к ней, сочувственно покачивая головой, разглядывал малюсенький красный пузырик, который уже и болеть-то перестал), так что она сочла за благо перевести разговор на дело Грулей, «загадочное дело», как она о нем отозвалась. Да, согласился Ауссем, загадочно-бессмысленное, будь на то его воля, он бы ввел для таких дел — когда обвиняемые во всем признаются и судебного разбирательства, собственно, не требуется — особые «скоростные» суды. Вдобавок то, что они сделали, является не криминальным, а разве что антиобщественным поступком, который ему лично представляется куда более опасным, чем поступок «чисто криминальный». Грэйн заявил, что он, конечно, не может предвосхитить свои показания, но «перед этим Грулем» — он просто готов преклоняться, ибо тот почти невероятно умен. Ауссем сказал, что не понимает, почему никто, даже Хольвег, не прислал репортера для отчета об этом своеобразном процессе, который он лично рассматривает только как прощальный вечер в честь достойного Штольфуса и не менее достойного Кирфеля. «По существу, это узкосудейский праздник», — добавил он, потом нервно вскочил и, многозначительно прищел-

кивая языком, стал опять рассматривать красное величиной с булавочную головку пятнышко на хорошенькой шейке Шорф-Крейдель; это пятнышко, сказал он далее, для нее и для всех ее поклонников будет служить вечным напоминанием о процессе Грулей. Группа чиновников и секретарш из окружного управления, посменно приходивших обедать в «Дурские террасы», принесла с собой шумное оживление и заставила сидевших за столиками говорить приглушенными голосами. Бергнольте за чашкой кофе размышлял, являются ли чаевые как статья расхода субъективным или объективным понятием. Конечно же, думал он, объективным, но вот какие существуют предписания на этот счет — ему неизвестно; с чисто абстрактной точки зрения его интересует вопрос, может ли государство санкционировать «щедрое» чаевые, наверно, это, вздохнув, подумал он, вопрос ранга, и президент должен давать на чай больше, чем чиновник судебного ведомства: в таких мелочах, видимо, еще называется устарелое понятие милости, которое неизбежно сопрягается с властью. попросту говоря, — чем человек могущественнее, тем больше он способен быть милостивым и щедрым.

Фельдфебель Белау тщетно пытался проникнуть в заведение Зейферт, которое он обнаружил в переулке под вывеской «Красный фонарик». После того как он долго барабанил в двери и яростно нажимал на кнопку звонка, в первом этаже открылось окно и какой-то ражий парень, без стеснения выставивший напоказ грудь, поросшую черными волосами, пригрозил подать на него в суд за нарушение общественного спокойствия, если он немедленно не уберется отсюда; по голосу этого парня можно было сразу сказать, что он иностранец — американец скорее всего; откуда-то из глубины дома отчетливо донесся голос Зейферт, говорившей «об этом поганце солдафоне». Белау признал себя побежденным и отправился в менее подозрительный и более дешевый трактир, куда, как он заметил, вошел и ефрейтор Куттке. Это заведение называлось «Пивная кружка», обедами, в точном смысле этого слова, там не кормили, зато подавали простую сытную и быстро приготавливаемую пищу: густой суп-гуляш, картофельный салат, сосиски, бульон и говяжьих котлеты; тамошнюю публику — шоферов и рабочих — развлекала музыка и игральные автоматы, удо-

вольствия, на которые в «Дурских террасах» рассчитывать не приходилось. Белау застал ефрейтора у стойки в оживленном разговоре с двумя шоферами грузовиков, которым тот в равной мере импонировал и внушал недоверие своим слишком точным знанием всего, что касалось марок машин, тормозного пути, системы смазки, грузоподъемности и сроков прохождения технического осмотра.

После ряда поражений, которые фельдфебель потерпел от ефрейтора сегодня утром, он не желал представлять себя под удар еще и в обед, а потому уселся на высоком табурете у противоположного края стойки, заказал три пирожка с луком и неожиданно, как для себя самого, так и для хозяина, мигом распознавшего в нем любителя пива, — бокал вина. Его сосед у стойки, коммивояжер средних лет и довольно меланхолической наружности, одной рукой скупчиво вертевший стакан с пивом, а другой скорбно поглаживавший свою лысину, спросил, каково сейчас на военной службе, так ли, как в его, коммивояжера, времена; недолго думая, фельдфебель отвечал: «Наверно, точно так же», и сразу же заговорил на свою любимую тему — неординарное денежное довольствие в войсках НАТО; это всем кровь портит, особенно когда дело касается женщин; придешь куда-нибудь, а там уже ами лежит в постели, к счастью, эти ами обычно женатые и высоконравственные, впрочем, беднякам французам и бельгийцам еще хуже приходится, чем немцам. На вопрос коммивояжера, как оплачиваются голландцы и датчане, Белау отвечал, что не знает, а знает только, что самые разнесчастные ребята — это итальянцы, но ведь их, насколько ему известно, никто и не равняет с этими парнями, которые в отличие от нас, немцев, и бедняг бельгийцев и французов швыряют доллары направо и налево.

Патер Кольб раздумывал, нельзя ли ему напроситься на обед и чашечку крепкого кофе к своему биргларскому коллеге; теоретически он ответил на свой вопрос немедленным «можно», но уже несколько минут спустя решил отступить от этого положения: недавно назначенный сюда священник, которого он только однажды видел на конференции настоятелей и нашел довольно симпатичным, был, как ему «шепнули наверху», уполномочен в ближайшее время произвести проверку «недоразум-

ния» с колокольными деньгами и визит патера Кольба мог бы истолковать как просьбу о снисхождении, что, в свою очередь, привело бы к унижительным для него, патера, последствиям. Посему он присоединился к обеим своим прихожанкам, которые устремились в кафе, известное только местным жителям или, вернее, небольшо-му числу посвященных, а именно: к булочнику Фрону, где в задней комнате, собственно, гостиной Фрона, было устроено нечто вроде кафе; там подавали отлично сваренный кофе, вкусные пирожные и, по желанию посетителя, превосходную густую похлебку или тарелку супа с куском шпика, а не то и мелко нарезанной копченой колбасой. Помимо всего прочего, Кольба влекла туда возможность обстоятельно и конфиденциально, не то что в свидетельской комнате, побеседовать с вдовой Вермельскирхен, которой ему очень хотелось внушить, что ни он, ни какой-либо другой любитель ночных прогулок по деревне за нею не шпионил. Он давно уже раскаивался и упрекал себя в том, что поспешил рассказать женщинам о своих ночных прогулках, на самом деле он гулял совсем не так часто, может быть, раз или два, самое большее три раза в месяц, когда бессонница уж очень мучила его, а читать или молиться уже не было сил. Однажды часа в три или четыре утра он видел некоего мужчину, выходявшего из дома вдовы Вермельскирхен, и даже узнал его, но не только никому не назвал его имени, а и себе запретил о нем думать, но так как ему нередко приходилось иметь дело с этим человеком, то он поневоле думал о его тайной ночной аванюре.

Булочная Фрона находилась вдали от модернизованной главной улицы Бирглара, в довольно грязной и еще совсем по-деревенски выглядевшей части города. Кольб предвидел — для этого ему отнюдь не нужно было обладать пророческим даром,— что Фроны пригласят вдову Лейфен на кухню к семейному столу, тогда как вдове Вермельскирхен из-за ее дурной репутации эта честь не будет оказана, что же касается его, то они сочтут, что для патера такое приглашение недостаточно почетно, и тоже не позовут на кухню. Расчет его оправдался только отчасти: Лейфеншу тотчас же увели на кухню, он и Вермельскирхен вошли в кафе, но там уже сидели двое гостей: чета Шольвен из Кирескирхена, приезжавшая к нотариусу по делу о продаже земельного участка; супруги немедленно завязали разговор с Вермельскирхен, славившейся своим умением продавать недвижи-

мость. Она приумножала свои доходы, по частям продавая унаследованные участки и в подходящий момент снова скупая более выгодные, ей и в этом пункте приписывали «шестое чувство». Патер принял предложение подсесть к этим троим за большой стол, накрытый плюшевой скатертью; супница с остатками овощного супа напомнила ему, что он голоден. Шольвены и Вермельскирхен на местном диалекте обменивались мнениями касательно цен на участки в Кирескирхене, где Шольвены, перестав заниматься сельским хозяйством, построили себе «бунгало». Огромный черный кошелек супругов лежал открытый на столе, явно свидетельствуя о том, что они собираются уходить.

Обер-лейтенант Хеймюлер заглянул было в «Пивную кружку», но не ощутил ни малейшего желания обмениваться со своими подчиненными полупьяными интимностями или, еще того хуже, выслушивать замаскированные колкости этого полуинтеллигента ефрейтора Куттке: Потому он неторопливо двинулся дальше по главной улице, миновал оба довольно больших новомодных кафе, которые кишмя кишели гимназистами, подмастерьями, а также учениками ремесленных и сельскохозяйственных училищ, и после долгих колебаний приземлился в «Дурских террасах», где за всеми столиками шли оживленные разговоры, так что он почувствовал себя не только несчастным, но непризнанным, почти что чужаком, и вздохнул с облегчением, отыскав свободный столик. Оживленный, перемежавшийся взрывами смеха разговор за соседним столиком, где супруги Гермес и супруги Кугль-Эггеры старались веселыми шутками скрасить себе неудачный обед; тихая, но весьма доверительная беседа между госпожой Шорф-Крейдель, д-ром Грэйном и стажером Ауссемом, даже сибаритская поза Бергнольте, который раскошелился на сигару (он питал тщетную надежду, что хозяин и для него достанет самую лучшую из-под стойки), — все это он воспринимал как происки врагов, хотя никто из присутствующих не высказывал и не таил злобных мыслей. Ему казалось, что чиновники окружного управления, которые сейчас встали из-за стола и заигрывали с двумя молодыми девицами, видимо секретаршами, с презрением смотрят на него, обер-лейтенанта. Он поднялся и снял со стенда одну из центральных газет.

Домой пошли обедать:

Хорн, которому жена подала оладьи, жаренные на свином сале, салат и лимонный крем; пообедав, за чашкой кофе он еще обсудил с ней проблему «совместного обучения в период наступления половой зрелости». На эту тему госпожа Хорн, бывшая учительница средней школы, собиралась сделать доклад в социалистическом рабочем кружке по вопросам воспитания. О денежных штрафах, на него наложенных, Хорн благоразумно умолчал. Грета Хорн, седовласая стройная дама с очень темными глазами, обозвала всех призванных участвовать в деле Грулей, не сделав исключения и для своего супруга, «недоумками», не понимающими, какие откроются возможности, если по-умному устроить паблисити этому делу. «Ты только представь себе,— спокойно сказала она,— что все солдаты станут сжигать свои машины и самолеты. Но эти балбесы социал-демократы, эти жуликоватые святоши, они же обуржуазились больше, чем сами буржуа». Хорн, привыкший к таким и даже более хлестким высказываниям, покачал головой и заметил, что его только одно интересует — по возможности скорее вытащить Груля из тюрьмы; она возразила, что год или два тюрьмы для Груля невелика беда, он и в тюрьме найдет себе работу, потому что «жены тюремных начальников», надо полагать, не менее охочи до стильной мебели, чем другие «дамочки». Вот от женщин ему в тюрьме, хочешь не хочешь, придется отказаться, только и всего, добавила она, как бы подводя итог разговора, с улыбкой, неожиданно украсившей ее строгий рот.

Уже по тому, что жена приготовила на обед его любимое блюдо — фаршированный перец,— судебный исполнитель понял: сейчас она опять будет просить за кого-нибудь из его клиентов, и как в воду глядел. Принеся ему десерт — кофейный крем со сливками,— она призналась, что у нее побывала госпожа Шёфлер и просила ее походатайствовать перед ним об отсрочке продажи с торгов ее малолитражки; за два, самое большее три дня она сумеет все это уладить, а он ведь и сам знает, сказала госпожа Шёфлер, как трудно выцарапать «из когтей этих гиен» уже назначенную к продаже вещь. Халь, к удивлению жены по-прежнему пребывавший в благодушном настроении, отвечал, что он ничем ей помочь не

может, сам не попав в крупную неприятность: эта Шёфлер уже не раз достаточно неблагоприятным образом срывала им продажу секвестрированного имущества, однажды даже заранее вынула лампы из уже описанного радиоприемника и за бесценок продала их старьевщику в близлежащем большом городе — на вырученные деньги можно было разве что выпить чашку кофе с пирожным; нет, нет и нет, денек еще он может подождать, но не больше, пусть так и скажет этой Шёфлер.

Свидетель Кирфель II, старший финансовый инспектор, личность еще более популярная в Биргларе, чем его отец, полицмейстер, застал свою жену в растрепанных чувствах, хорошо еще, что ее успели несколько успокоить их дочь Биргит и сын Франк, взявшие на себя заботу об обеде: они не дали пригореть вермишели, спасли соус из консервированного мяса, паприки и зеленого горошка от превращения в «гнусное месиво» и, «чтобы немножко подсластить горестную ситуацию», подали на десерт миндальное пирожное и кофе. Чувства госпожи Кирфель, которую почти все характеризовали как «роскошную» женщину, пришли в расстройство в половине одиннадцатого утра, когда один молодой художник доставил свои творения в квартиру Кирфелей. Кирфель, из-за своего податливого характера состоявший председателем чуть ли не всех биргларских кружков, в том числе и кружка поощрения художников Биргларского округа, после долгих переговоров и домогательств получил от вышестоящей инстанции разрешение устраивать в маленьком вестибюле финансового управления художественные выставки. На последнем заседании выставочного комитета (на котором госпожа Гермес снова зарекомендовала себя как смелая, изничтожающая все табу модернистка) решено было начать с индивидуальных выставок: каждые две недели художникам, намеченным жюри, давалась возможность демонстрировать свои произведения налогоплательщикам, вынужденным являться в финансовое управление: очередность устанавливалась жеребьевкой, и номер первый выпал художнику Терфелю, дальнему родственнику полицмейстера, который в одинаковой мере и гордился своим родичем, и чувствовал отвращение к его картинам. Молодой художник Терфель время от времени «заставлял говорить о себе»

прессу близлежащего большого города, да и центральная печать раз-другой упомянула его имя. Поначалу он намеревался отклонить предложение выставочного комитета, в каком-то усмотрел «попытку пригвоздить меня к этому захолустью», но потом критик Кернель (учитель рисования в биргларской гимназии, а следовательно, бывший учитель Терфеля и отечески благожелательный друг) убедил его, что отклонять такое предложение не следует, в конце концов, у людей в Биргларском округе глаза такие же, как у всех; кроче говоря, Терфель (его картины позднее были названы в «Рейнише рундшау» «пачкотней на половую тему», в «Рейнишес тагеблатт», где Кернель под псевдонимом Оптикус подвизался в качестве художественного критика,— «отважно сексуальными признаниями», и в «Дуртальботе» Хольвегом, который сам писал критические статьи по искусству,— «обнадеживающе безнадежными»), итак, Терфель с помощью своего приятеля около одиннадцати часов утра доставил к госпоже Кирфель свои картины (шесть штук, отобранных жюри, причем четыре из них размером три метра на три) и водворил их в и без того тесной гостиной кирфелевской квартиры, где он, к вящей своей досаде, обнаружил еще одну картину — своего коллеги Шорфа, которого называл не иначе как «халтурщиком от абстракционизма». Госпоже Кирфель внушал страх не столько возможный скандал, сколько сами картины; она и своим детям наказала остерегаться их; вернувшись из школы, они застали мать за несколько необычным занятием — она завешивала простыней «самую омерзительную» из шести картин. Это было одно из больших полотен (три метра на три), на котором с помощью ржаво-красной, лиловой и коричневой, как мастика, краски был раплывчато, но не настолько, чтобы его нельзя было рассмотреть, изображен голый молодой человек, который на грудях распростертой у его ног обнаженной дамы, смахивающих на газовые горелки — из них даже рвалось желтовато-синее пламя,— жарил яичницу-глазунью; картина называлась «Завтрак вдвоем». Почти все другие полотна, тоже с преобладанием ржаво-красных тонов, воспроизводили любовные утехы юных парочек: весь цикл носил название «Таинство брака». Кирфель, немного успокоив жену и санкционировав завешивание картин простынями, за обедом, который он ел без внимания, вдруг испугался своей собственной храбрости. Больше всего его страшил (как он счи-

тал, довольно справедливый) гнев налогоплательщиков, которые, явившись в финансовое управление не по своей воле и также не по своей воле натолкнувшись на это искусство, усмотрят в нем злоупотребление их налоговыми отчислениями. Часто, заходя туда по утрам, чтобы попросить занести в свои карточки данные об уменьшении доходов, они, вдобавок, будут возмущены и как родители будущих налогоплательщиков. (Он был очень удивлен, хотя и не разочарован, вопреки утверждениям редких его недоброжелателей, тем, что никакого скандала не вышло; только один юнец, впоследствии опознанный как внук булочника Фрона, прикрепил к картине «Завтрак вдвоем» записочку следующего содержания: «Наверно, она полным-полна природного газа, что сильно уменьшает расходы на газ».) Молодой художник Терфель был уязвлен, что в Биргларе скандал не состоялся, как это случилось даже в близлежащем большом городе. Кирфель, пообещав жене сегодня же препроводить картины «безусловно занавешенными» в свой служебный кабинет, где должно было состояться заседание жюри, пожелавшего еще раз «лучше взглядеться» в творения Терфеля, несколько ее успокоил, так что она, под хихиканье детей, даже съела свой обед. На расспросы касательно процесса Грулей Кирфель отвечал, что ничего не знает: им, свидетелям, не дают даже «краем уха» послушать, что делается в зале суда.

В кухне судебного пристава Шроера, выполнявшего также обязанности швейцара и тюремного надзирателя, сидели: сам Шроер, его жена Лиза, судебный пристав Штерк и старик Кирфель, с удовольствием поедая свиные котлеты с салатом и картошкой, мужчины без пиджаков, пододвинув к себе бутылки с пивом. Штерку, который совсем уж было собрался выложить принесенные с собой бутерброды и отвинтить крышку термоса, жена Шроера довольно энергично предложила «отставить это тонкое обхождение» и сесть со всеми за стол, она все равно на него рассчитывала, а если он видит что-нибудь обидное в приглашении пообедать, то она ничего не имеет против, если и он оплатит ей тем же при первом же ее приезде в близлежащий большой город. Когда Штерк спросил, не послать ли в таком случае его бутерброды и «очень хороший кофе» в камеру обвиняемым, да он и сам мог бы им отнести, у них ведь день как-

никак выдался тяжелый, то в ответ все присутствующие разразились хохотом. Кирфель, настроенный весьма благодушно, так как он считал, что своими показаниями не нанес особого урона ни своей чести, ни чести обоих Грулей, посоветовал Штерку вступить в ряды бундесвера, потом отправиться в командировку, сжечь машину, угодить в тюрьму, но сначала, разумеется, обзавестись сыном, которому удастся покорить сердце красивой девушки Бирглара, и к тому же дочери хозяина ресторана Шмитца и его жены, пользующейся славой лучшей поварахи всего округа. Штерку пришлось по вкусу стряпня госпожи Шроер, но намеков он не понял, и посему, когда раздался звонок, его попросили открыть дверь и провести молодую особу, которую он за нею увидит, к подследственным заключенным, согласно предписанию, предварительно осмотрев содержимое судков — тогда, заверили его, ему все станет ясно. Штерк так и сделал. Шроерша, воспользовавшись его отсутствием, спросила Кирфеля, как у него обстоит с сыном, ведь сегодня ему представлялась наилучшая возможность встретиться с ним в свидетельской комнате и отпраздновать примирение, а он вместо этого «с меланхолическим видом сидел у нее на кухне и дожидался, пока его вызовут». Кирфель, сначала вытерев рот большущим носовым платком и поглядывая на шоколадный пудинг, который хозяйка тем временем поставила на стол, зловеще отвечал, что сын — это его крест и крестом останется, у него в доме все такое парадное, что он даже ходить к сыну не решается. Для него, старого жандарма, который в первые годы своей службы, случалось, играл в скат с им же арестованными бродягами, все это уж больно быстро сделалось. И предательства он тоже забыть не в состоянии. Этими словами он намекал на прошлое, все еще его мучившее. Кирфель отдал сына в гимназию, желая, чтобы он сделался священником; тот, правда, сдал экзамен на аттестат зрелости (Кирфель сказал «экзамент») и даже в течение двух семестров изучал богословие, но потом втюрился в «первую попавшуюся расфуфыренную и размалеванную куклу», и вот этого (то есть куклы, «роскошной госпожи Кирфель») «я ему вовек не прощу».

За пудингом Шроер и его жена Лиза, укоризненно глядя на Кирфеля, уговаривали его наконец образумиться, сколько уж лет прошло, но он отвечал, что годы и разум тут ни при чем, решительно ни при чем. Шроеры

не нашлись, что на это ответить, к тому же в этот момент в комнату вернулся Штерк, ни слова не говоря, опустился на свое место, покачивая головой, съел все, что было у него на тарелке, и уже тогда, под пристальными взглядами супругов Шроер и Кирфеля, заметил, что, по его мнению, это уж, пожалуй, слишком: одна сигара художественно полторы марки стоит, а кушанья — нет, ему таких деликатесов и не надо; Шроерша энергично на него взглянула, и он тотчас же поправился: «таких дорогих вещей», но сразу, даже заикаясь с испугу, взял обратно и эти слова, просто он имел в виду, что очень уж господская это была жратва, но по глазам Шроерши понял, что снова дал маху, то есть низвел ее угощение до пролетарской жратвы, и проговорил: «Бог ты мой, вы же понимаете, что я хочу сказать,— женщине, которая так готовит, как вы, обижаться, право же, не приходится». Тем самым он кое-как примирил с собой хозяйку дома, ему положили пудинга и пододвинули чашку кофе, о котором он позднее отозвался: «Светленький, как будто его помыли».

Агнес Халь в своем просторном старинном доме предавалась довольно разнообразным занятиям; когда она вернулась из суда, на ее нежном лице уже не были написаны насмешка и строптивость, скорее горестное торжество; не снимая пальто и шляпы, она села за рояль и начала играть сонату Бетховена. Агнес не подозревала, никогда ни от кого не слышала и так до конца своих дней и не узнала, что она играет прекрасно; но вдруг она сделала то, что привело бы в ужас каждого любителя музыки: после второй части оборвала игру, закурила сигарету и заиграла снова — точно, даже немного жестко, при открытых окнах, надеясь, что звуки музыки донесутся до суда, хотя играла она не для «него», а для другого, о котором, кроме нее, никто не знал и о котором ни один дурак на свете никогда не узнает; она сделала перерыв и после третьей части, встала, закурила еще одну сигарету и опять села за рояль; не первый это был и не второй, а третий, ей в ту пору было примерно сорок (она улыбнулась оттого, что четверку, следующую за цифрой сорок, для себя перевела словечком «примерно»), что делать — война, катастрофа,— сейчас она в смятении думала об этом процессе и о Груле, который всегда нравился ей и теперь тоже. Она даст ему денег, чтобы

заплатить за машину, с которой он расправился так, как следует расправляться со всеми военными машинами, а именно: сжег ее; она захлопнула крышку рояля, засмеялась и решила попозже вечером снова пойти в суд, чтобы не огорчать еще больше доброго старого Алоиса. А этому Гермесу она скажет, что хочет оплатить сожженную машину, а также налоговую задолженность Груля и, пожалуй, еще одну машину и вторую... ах, если бы он сжег их все — эта идея показалась ей великолепной.

Она сняла пальто и шляпу, не подходя к зеркалу, ибо знала и так, что еще очень красива; на кухне вылила на сковородку два яйца, сбрызнула их мадерой и чуть-чуть уксусом, посыпала перцем, сверху положила кучку шампиньонов, к сожалению, из консервной банки, зажгла газ, поставила воду для кофе и, покуда яйца медленно набухали на сковородке, очистила себе яблоко: ничего, ничего, ничего не останется, только горсточка пепла, крохотная горсточка праха — столько, сколько вмещает ее маленькая солонка. В тостере что-то щелкнуло — значит, тосты готовы, она вынула их левой рукой, правой в это время помешивая яйца, затем левой же налила воду в кофеварку и пошарила в ящике — там, кажется, лежат помадки, вот одна, другая, нет, больше не надо, она хочет остаться стройной и прекрасной для всех дураков на белом свете, которые превыше всего ставят законы, писанные и неписанные, мирские и церковные. Смех ее звучал звонко, когда она с яичницей, с кофе, с помадками, двумя тостами и маслом в прехорошенькой масленке перешла в музыкальную комнату, где был накрыт стол, очень нарядно, с подсвечником и красным вином в графине. Агнес зажгла свечу, рядом положила изящную маленькую сигару, которую ей выбрал Шмитц; тоже дурак, знает толк разве что в табаке и ничего не понимает в единственно истинном, в том, что зовется любовью. Яичница удалась, вернее, почти удалась, уксусу многовато, наверно, попала целая капля, а то и две, зато тосты хороши, коричневые, как осенний лист, и кофе, и помадки, и сигара из страны господина Кастро, тоже, кстати, дурак, — все хорошо, даже свеча. Убрав со стола, она предалась самому странному из своих занятий: изменила текст завещания. Нет, не эта придурковатая Мария, так скоро отцветшая, не этот свихнувшийся милый старый Алоис и не монахиня, которая верит в Сына человеческого и любит его, все они уже очень стары и достаточно обеспечены — Груль станет наследником ее состоя-

ния при *одном-единственном* условии: раз в год он должен сжигать машину, это обойдется ему не так уж и дорого — в половину процентов с капитала. И хорошо бы, он ежегодно зажигал эту маленькую свечку, чтобы отслужить по ней огненную мессу, а если захочет, мог бы еще спеть — это, как же оно называется — моление по всем святым: св. Агнес, св. Цецилии, св. Катарине *ora pro nobis*; она засмеялась, вспомнила рассказ Кирфеля о том, как они пели оба, отец и сын. Небесно-голубыми чернилами, с изящной сигарой господина Кастро во рту, она стала неторопливо писать: «Настоящим завещаю все мое имущество, движимое и недвижимое, *Иоганну-Генриху-Георгу Грулю*, проживающему в Хузкирхене, округ Бирглар...» Это выглядело красиво: небесно-голубые слова, нанесенные ее четким, энергичным почерком на белый лист бумаги; удивительно и примечательно, сколько силы скрыто в одной солонке, в спичечном коробке праха, сколько злости, красоты и элегантности — и сколько от того, что зовется любовью. Всякий год пылающий факел, огненная месса во славу св. Агнес, покровительницы обрученных.

Погруженный в задумчивость, с потухшей сигарой во рту, Штольфус отправился домой, предварительно попросив секретаршу сообщить его жене, что он скоро придет. Много, много раз проходил он этой дорогой через маленький городской парк, мимо памятника павшим воинам, который вызывал столько споров, а потом две, или три сотни метров вдоль Дура по направлению к небольшому старомодному дому девяностых годов, унаследованному его женой, столько раз проходил, что он очнулся, лишь вешая в передней свое пальто и шляпу и ставя свою трость в подставку для зонтиков, но по-настоящему пришел в себя, лишь крикнув: «Мария!»; это было имя его жены, и в это время она по большей части находилась наверху, прибирая постели, или, по собственному ее выражению, «копалась» в ящиках своего письменного стола. Копуша было ее ироническое прозвище в Биргларе; она считалась нерадивой хозяйкой, но хорошей кулинаркой и страстно любила вязать. Результаты ее неумолимых трудов Штольфус носил на руках и на ногах, носил их на плечах в виде пуловера; даже в служебном кабинете у него лежала подушка в наволочке, связанной ее руками. В детской консультации тоже всег-

да были заготовлены впрок распашонки и чепчики для малышей, которые врачиха и медсестра распределяли среди молодых матерей; госпожа Штольфус предоставляла им самим решать, какая мать больше нуждается, но и ненуждающиеся матери тоже получали в подарок распашонки и ползунки.

О ней, Марии Штольфус, урожденной Хольвег, говорили, что она не поспевает за временем, подразумевая при этом как время, показываемое часами, так и время историческое, это должно было означать, что *теперь* она не такая, как *прежде*, но и не демократка, хотя ее прозвище не только Копуша, но и Миролюбивая Мария. Теперь она охотно подписывала самые различные звания, преимущественно обскурантистские. Об ее рассеянности ходили самые невероятные слухи: так, например, не только «стало известно», но и было подтверждено клятвенными заверениями слесаря Дульбера, что Штольфус, стремясь уберечь папки с делами, каковые ему иной раз приходилось изучать дома, от опасности быть куда-нибудь «закопанными», заказал себе стальной шкаф, «самый настоящий сейф»; один ключ он всегда держал при себе, а запасной передал приставу Шроеру.

В доме Штольфуса случались происшествия, которые «Рейнишес тагеблатт» определяла как, мало сказать, «почти скандалезные», — например, исчезновение некоторых документов по делу Бетге, предпринявшего, кстати, неудавшуюся, попытку ограбления Биргларского народного банка. Документы эти вынырнули (в буквальном смысле слова) на свет божий за пятнадцать минут до начала процесса. Знал об этом только Хольвег, преданный и молчаливый племянник Марии Штольфус, «газетчик», знал и никогда не проговорился о том, что его, Хольвега, и судебного пристава Шроера внезапно и одновременно осенила гениальная идея обыскать свалку между Кирескирхеном и Дульбенвейлером, где среди недавно свезенного мусора, к вящему удивлению Хольвега, и были без «особого труда идентифицированы» документы по делу Бетге, а заодно найден бумажник Штольфуса и в нем восемьдесят пять марок наличности, разные бумаги и конспект ведения процесса Бетге. Тот же Хольвег — иной раз даже ценою горьких компромиссов, как-то: обещания отказаться от резких нападок на Христианско-демократический союз и Социал-демократическую партию Германии — склонял своих коллег-газетчиков отнестись к его тетушке по-

снисходительнее, что ему и удавалось, тем более что у нее имелись покровители «наверху», Грельбер, например. Случалось, говорили в Биргларе, что она в девять часов утра начинала застилать постели, а просыпалась, когда было двенадцать, «как спящая красавица от своего заколдованного сна», все с тою же простыней в руках, которую она сняла в девять, чтобы стряхнуть или переменить.

К удивлению Штольфуса, на его зов она сегодня вышла из кухни в фартуке небесно-голубого цвета с розовыми бантиками, «немножко не по возрасту», как он всегда думал, но никогда не говорил. В воздухе запахло «чем это — уткой или индейкой?», но уж без сомнения — рисом и яблочным компотом; она поцеловала его в щеку и радостно-взволнованная проговорила:

— Он прибыл.

— Кто? — с испугом переспросил Штольфус.

— Бог ты мой, — дружелюбно рассмеялась она, — не Грельбер, как ты боялся, а приказ об отставке. Через месяц тебя торжественно проводят на пенсию, и, помяни мое слово, ты еще получишь от них крест, уж не знаю, на грудь или на шею. Что же ты не радуешься?

— Нет, почему же, — вяло отвечал он, поцеловал ее руку и провел ею по своей щеке, — мне только хотелось бы быть в отставке уже вчера.

— Ты не вправе был этого желать, что ж тогда случилось бы с Грулем? Нужен оправдательный приговор, при возмещении убытков, я же всегда говорила. Ты только представь себе, что он попался бы в руки какого-нибудь образцового демократа. Я стою за оправдание.

— Ты же знаешь, что это невозможно.

Он прошел в столовую, налил из графина две рюмочки шерри, протянул ей одну и с мягкой улыбкой сказал:

— Твое здоровье.

— Благодарю, — ответила она, — кстати, пять минут назад звонил Грельбер. Он держится моего мнения.

— Твоего мнения?

— Да, — подтвердила Мария, допила свою рюмку и сняла фартук. — По-моему, он навязал тебе процесс Грулей, потому что ты любишь выносить оправдательные приговоры и он это знает. Прощальный подарок! Учти это, и пусть они будут оправданы!

— Оставь, пожалуйста, — строго остановил он жену, — ты же знаешь, какая лиса этот Грельбер. Об оправ-

дательном приговоре и думать нечего. А что еще хотелось ему узнать?

— Есть ли в зале суда представители прессы.

— И что ты ему сказала?

— Что нет ни одного.

— Откуда ты это знаешь?

— Я несколько раз говорила по телефону с госпожой Шроер. Грельбер звонил мне с самого утра.

— Он что же, не один раз звонил?

— Да. Госпожа Шроер мне сказала, что, хоть глаза прогляди, там ни одного газетчика не увидишь, да и вообще ни одного человека с карандашом в руке — это, по-видимому, успокоило Грельбера. Но скажи, зачем тебе понадобилось так жестоко обходиться с Агнес? Пошли ей цветы.

— Ах, перестань, эта Агнес сумасшедшая. Она мне устроила пренеприятную сцену.

— Послушай меня, пошли ей цветы и напиши на записке: «Прости! Всегда твой Алоис».

— Оставь, говорю я тебе.

— В свете того, что мне еще рассказала госпожа Шроер, выходка Агнес — сущие пустяки.

— Не будем об этом говорить,— устало сказал он, налил себе еще шерри и, держа графин в руке, вопросительно на нее посмотрел, она покачала головой.

— Хорошо, тогда и я тебе ничего не скажу.

— Это касается суда?

— Косвенно.

— А, черт, в таком случае говори!

— По-моему, лучше, если ты будешь это знать. Можно вовремя принять меры.

— Это что-то *очень* плохое, *очень* неприятное, да?

— Нет, скорее комическое и *немного* досадное.

Ее широкое лицо под некогда белокурыми, а теперь седыми волосами, все еще прелестное и по-детски наивное, подергивалось от сдержанного смеха; она провела рукой по его лысой голове, обрамленной полоской редких седых волос, и тихо сказала:

— Эта особа — как же ее зовут? — Ева, кажется, из ресторации «Дурские террасы», которая каждый день носит им самые лучшие обеды,— она хихикнула,— не без гордости рассказывает направо и налево, что она «отдалась ему и от него понесла», цитирую слово в слово.

— Вот дьявольщина,— вырвалось у Штольфуса,— надеюсь, она хотя бы совершеннолетняя?

— С недавних пор. Очаровательная девчушка.

— Но ведь она всего каких-нибудь шесть недель носит им обед.

— Как раз тот срок, какой в этих случаях требуется, чтобы сделать первые горделивые предположения, как правило, они подтверждаются в дальнейшем.

— Надеюсь, это был младший?

— Да.

— Месяца полтора или два назад они с разрешения Грельбера получили отпуск на похороны его тестя, старика Лейфена. Надо заставить ее признаться, что именно тогда это случилось.

— Попробуй-ка заставь ее.

— А ты сама не хочешь попытаться?

— Попытаться-то я хочу, но удачливый любовник сделал бы это лучше меня.

— Что ж, он разумный молодой человек.

— И вкус у него, ей-богу, позавидуешь: более хорошенькой девчушки я здесь не видывала.

— Ах, эту обязанность Гермес снимет с меня. А вообще, закажи-ка по телефону цветы для Агнес.

— По телефону? Ты же отлично знаешь, что телефон у нас самый надежный источник информации: в «Пивной кружке» наверняка уже знают, что «мужской голос» говорил со мной о мере наказания, вернее, об оправдательном приговоре.

Они ели молча суп и второе (он был приятно удивлен, что это все-таки оказалась утка); он ел мало, она много. Вот уже сорок лет они молча ели суп и второе, он мало, она много; он выговорил себе эти двадцать минут молчания, будучи еще совсем молодым прокурором. И сейчас этот перерыв был ему необходим, чтобы сосредоточиться и обдумать дальнейший ход судебного разбирательства. Покуда она ходила на кухню за кофе и десертом, он быстро набросал на клочке бумаги: Хорн? или патер К., старуха Л., Вермельск.? трое солд., Грэ., Кир., Ха., потом перенумеровал эти сокращения, так что Грэ., Кир., Ха. оказались впереди солдат.

Этим ее яблочным штруделем с ванильно-сливочной подливкой он никогда не мог вдоволь наесться, а о хорошенький мейссенский кофейник вот уже тридцать лет любил греть застывшие руки, прежде чем накапать себе в рюмочку сердечные капли; и вот уже сорок лет смотрел он на это некогда миловидное цветущее лицо, теперь побледневшее и раздавшееся вширь, сорок лет сидел он

с нею за большим столом из темного орехового дерева, рассчитанным на множество детей, «по крайней мере на шестерых». Но вместо этого преждевременные роды, дети, не оставляющие даже утешительного земного следа — могилы, уголка, куда можно было бы прийти, бесследно сгинувшие в гинекологических клиниках: счета от врачей, «гормональные препараты», нахмуренные лица знаменитостей, покуда не исчезла и ежемесячная надежда, покуда она в сорок лет не вернулась к бескровному статусу десятилетней, и он перестал приходить к ней и тревожить ее своей мужественностью.

Она была болтлива и забывчива, он снова обратился в мальчика, но уже не мучился тем, чем мучаются мальчики. Даже на кладбищах не осталось земного следа, и все же оба они, вот уже сорок лет за обедом, когда он ел мало, она много, смотрели на пустующие стулья, словно ожидая, что сейчас начнутся ссоры, плач, привередничанье, зависть из-за мнимо лучшего куска, и так никогда и не подумали о том, чтобы приобрести столовый стол поменьше. Гости в их доме бывали редко, а стулья нерожденных детей все стояли вокруг стола, даже спустя двадцать лет, когда она снова сделалась маленькой девочкой; или чудо, свершившееся с Сарой, свершится и с ней, хотя у нее давно «прекратилось»? Редкие ее попытки посадить на пустующие стулья выдуманных, выношенных ее матерински истерической фантазией детей, сердиться на дочь Монику за неумеренный аппетит и заставлять сына Конрада есть побольше он в корне пресекал, окликаая ее, точно сомнамбулу, сухим трезвым голосом, каким зачитывал решения суда. Иногда, очень редко, не более двух, может быть, трех раз за сорок лет, она пыталась ставить приборы для этих выдуманных, выношенных ее фантазией детей, но он всякий раз собственноручно собирал тарелки и стаканы и швырял их в мусорное ведро на кухне, не грубо, не злобно, а так, словно это было самым обыкновенным делом, словно он убирал папки со своего стола, и она не плакала, не кричала, только кивала головой и вздыхала, как будто выслушивая справедливый приговор. Только одно обещание он ей дал еще до женитьбы и сдержал его: *никогда* не способствовать вынесению смертного приговора.

В других местах, где она бывала одна и где ее не знали, она, не стесняясь, рассказывала о покойной дочери и сыне, павшем на войне. Он один только раз узнал

об этом в маленьком пансионе среди баварских лесов, куда ему пришлось срочно выехать, так как ее с вывихом ноги отправили в больницу. За завтраком хозяйка пансиона принялась расспрашивать его о погибшем сыне Конраде, который учился на медицинском факультете и умер вблизи от города, называющегося Воронеж; из чужих уст и когда ее не было поблизости это звучало хорошо, даже правдоподобно. Белокурый и самоотверженный молодой человек заразился сыпным тифом в госпитале и скончался на руках своей возлюбленной молоденькой русской девушки: почему бы и не могло так быть? Почему бы ему и ей не взять себе в сыновья белокурого самоотверженного юношу, всеми давно позабытого, от которого не осталось даже горсточки праха? По-видимому, когда его не было с ней, она населяла эту землю покойными дочерью и сыном; а потом опять давала ей обезлюдеть. А то, что произошло с фройляйн Моникой, такой молоденькой, это же еще трагичнее; только подумать, что потерпел аварию самолет, на котором она летела «туда» к жениху, все уже приготовившему к свадьбе, а, кстати, что подразумевалось под словом «туда»? Уж не Америка ли? А если Америка, то какая — Северная, Южная или Центральная? Центральная, отвечал он, ложечкой помешивая кофе; жених ждал ее в Мехико. Нет, он был не немец, а француз и учился там в университете. В Мехико? Француз? Конечно, она не хочет быть навязчивой, да, собственно, ее это и не касается, но... не был ли он коммунистом?

Не надо обижаться на этот вопрос, она-то считает, что коммунисты тоже люди, но судьба этой молодой девушки пробудила в ней искреннее участие, после того как ее мать подробно ей обо всем рассказала, к тому же она где-то прочла, что в Мексике все «очень левые». Да, подтвердил Штольфус, он был коммунистом, этот француз по имени Берто, едва не ставший его зятем; Берто так и не женился, остался верен памяти Моника, погибшей где-то западнее Ирландии. Игра пришлось ему по душе — оттого, что не они вдвоем играли, а еще оттого, что от нее не тянулась нить к тем студенистым существам, что сгнули в клиниках городка в горах, городка в Вестфалии и близлежащего большого города. Один только раз узнал он об этой игре, один раз принял в ней участие на полчаса, за завтраком, перед тем как ехать в больницу, чтобы в больничной машине доставить ее домой. Это было единственным ее желанием: если уж

умирать, то там, где она жила ребенком, умирать на попечении монахинь, веривших в «Сына Пресвятой Девы». Одна из них была ее единственной еще оставшейся в живых школьной подругой, кроме Агнес, конечно, но общаться с Агнес ей «увы, увy» было запрещено; «обе, — говорила она, подразумевая монахиню и Агнес, — принесли бы тебе детей. Посмотри на их кожу: пигмент, гормоны, на их глаза, а мои все хуже видят и все больше выцветают; я буду стареть и стареть, и глаза у меня в один злосчастный день станут белесыми, как яичный белок». Да, глаза у нее постепенно белели, выцветали, как синева на английских почтовых марках. А что касается детей от этой Ирмгард и его кузины Агнес — нет, нет; может, так оно и лучше — без детей.

Право же, чудо что такое этот ее свежий хрустящий штрудель с яблоками, и как умело она сдобрила его изюмом и корицей, а соус из сливок с ванилью, густой, точно каша, пожалуй, и того лучше; в благодарность он дотронулся до ее руки, которой она помешивала для него кофе.

— Скажи, ты слышала что-нибудь про happening?

— Да, — отвечала она.

Он поднял глаза и строго взглянул на нее.

— Правда? Прошу тебя, говори серьезно.

— Конечно, правда, я вполне серьезно. Разве ты никогда не читаешь центральные газеты? Этот happening — новая художественная форма, новый способ самовыражения; взяли да и расшибли что-нибудь на куски с согласия того, кому эта вещь принадлежит, а нет, так и без оногo.

Он отложил вилку и поднял руки — заклинающий жест, которого она боялась, ибо этим жестом, что, правда, случалось очень редко, он призывал в суде свидетелей и подсудимых говорить правду, чистую правду и ничего, кроме правды.

— Клянусь тебе, это так, они выделывают удивительные штуки, сшибают паровозами автомобили, взрывают мостовые, брызгают куриной кровью на стены, расколотшмачивают молотком ценные часы...

— И что-нибудь сжигают?

— Об этом я пока не читала, но почему бы и не сжигать, если можно разбивать часы на мелкие кусочки и вырывать у кукол глаза и руки?..

— Да, — сказал он, — почему бы и не сжигать, в крайнем случае даже не спрашивая разрешения вла-

дельца; почему не передать дела, требующего по меньшей мере разбирательства с судебными заседателями, в мои гуманные руки, назначить прокурором приезжего человека, а протоколистом кого-нибудь, кто еще верит в правосудие, хотя и не слишком, ну, скажем, желторотого Ауссема, еще так недавно являвшегося к нам с самодельным фонариком в день св. Мартина? Почему бы нет? Почему? — Попросив еще кофе, он протянул ей чашку и расхохотался от души и так громко, как позволяла ему сигара (та самая, которую он закурил еще утром).

Она огорчилась, что он не спешит объяснить ей, что его так рассмешило, он ведь даже поперхнулся сигарным дымом, но Штольфус тут же сказал:

— Ты подумай только о своих центральных газетах: сожгли машину, справили по ней литанию и при этом постукивали трубкой о трубку, ритмично — не понимаешь, почему я смеюсь? Почему Грельбер не желает огласки, а Кугль-Эггер не должен понимать, куда это может привести?

— Ах,— воскликнула она, взяла помадку из серебряной вазочки и налила себе кофе.— Теперь-то я поняла, какие они хитрецы, хотя это скорее пахнет поп-артом.

Это он любил: когда она закуривала и пускала дым, как десятилетняя девочка, которая хочет казаться порочной, белая сигарета в зубах была ей удивительно к лицу. Сорок лет, а он так и не пробудил в ней жизни, не оставил земного следа, даже воспоминания хотя бы об одном насилии, когда он еще приходил к ней со своей мужественностью; очень, очень постаревшие дети. Он снова дотронулся до ее руки.

— Давно я не ел ничего более вкусного.— Он опять засмеялся, вспомнив о своей записке: Грэ., Кир., трое солд., п. К. Разве этот набросок не смахивал на поп-арт?

Он редко возвращался в суд так бодро и с таким легким сердцем. Не без шика надел он пальто и шляпу, взял трость, поцеловал бледное круглое лицо под некогда белокурыми волосами, все еще подергивающееся от смеха. Даже Бирглар казался ему сегодня менее душным и тесным, право же, Дур, пусть глинистый и ленивый, красиво вился по их городку, приятно идти вдоль него,

а вот и холм, откуда открывается широкий вид, памятник павшим воинам, о котором столько спорили, св. Непомук на мосту, северные городские ворота, южные городские ворота, место постоянных заторов движения и аварий, красивы даже ставни на здании ратуши, крашенные белым и красным; почему бы не жить и не умереть в Биргларе?

«Нет, роз не надо,— сказал он в цветочном магазине,— и астр тоже. Цветов любви не надо, так же как и цветов смерти... Да, да, вот этот прелестный осенний букет — адрес фройляйн Халь вам ведь известен?»

Единственным удачным блюдом в тот день оказалось шоколадное парфе, которое в утешение и в извинение подавалось даже тем, кто его не заказывал, приготовленное накануне в количестве, значительно превосходящем возможный спрос на него, руками той, которая до такой степени смутила сердце и душу матери гордым своим признанием, что «лучшей стряпухе округа» не удался даже ее коронный номер — кисло-сладкое жаркое. Подавал парфе сам хозяин, меланхолически, хотя и не безутешно приносивший извинения за незадавшийся обед: «Тут, видите ли, причины эмоциональные, их быстро не объяснишь». Сегодня он брал со всех меньшую плату, чем указанная в меню, даже с Бергнольте, который был ему противен. Он даже не выказал досады, когда один и тот же мужской голос заставил его на протяжении нескольких минут вызывать к телефону сначала Кугль-Эггера, потом Бергнольте, причем в первый раз этот голос осведомился, имеется ли в ресторане телефонная будка с достаточной звукоизоляцией; оба говорили подолгу, минут по пять-шесть, а то и больше; первый вышел из будки если не в смятении, то уж во всяком случае взволнованный, второй — удовлетворенно улыбаясь.

Небольшая задержка произошла, когда около 14.45 — все уже собирались уходить — неожиданно появился Хольвег, только что принявший ванну, хорошо настроенный, кивнул Гермесу и Кугль-Эггеру, издали поклонился дамам и подошел к столику, за которым сидели Грэйн, госпожа Шорф-Крейдель и Ауссем, посоветовавшие ему заказать глазунью со шпиком или омлет,

все остальное сегодня никуда не годится, даже салат. Шорф-Крейдельша, Грэйн, Хольвег и Ауссем, одинаково преданные либеральной оппозиции, договаривались, не слишком громко, о мероприятии, назначенном на завтрашний вечер, заодно высказывая надежду, что эта Гермес на него не явится и не будет своими бойкими прогрессивными вопросами «снимать пенки либерализма для католиков Биргларского округа». «Вот была бы нам радость,— шепотом произнесла Шорф-Крейдель,— если бы эту бой-бабу отлучили от церкви». Тут же она приветливо кивнула госпоже Гермес, под руку с Кугль-Эггершей покидавшей «Дурские террасы», и пообещала еще сегодня съездить в близлежащий большой город, чтобы предупредить докладчиков о возможных коварных вопросах упомянутой дамы.

Доклад на тему «Мировые продовольственные ресурсы — контроль над рождаемостью — государственное благосостояние» должен был делать очень молодой депутат — обстоятельство, которым, конечно, не преминет воспользоваться госпожа Гермес, или Противозачаточная Эльза, как ее вот уже несколько месяцев называли в Биргларе. Хольвег заявил, что от своей газеты явится самолично и в передовой, которую он напишет, «честное слово, не уделит и полстрочки этой самой Эльзе». Затем вскользь спросил, как идет процесс Грулей, на что Грэйн отвечал, что в свидетельской комнате было довольно весело, а Шорф-Крейдель с сожалением заметила, что Зейферт, единственную, кто мог внести хоть некоторое разнообразие «в эту скучищу», поспешили удалить. Она еще рассказала, как Груль, вдруг закуривший трубку, можно сказать, подпалил ее, но «так искренне извинился, очаровательный человек, ты же его знаешь». Хольвег засмеялся и сказал, что этот «чисто местный штришок» премило перекликается с темой «О курении в зале суда», тут вмешался Ауссем и спросил, нельзя ли ему под псевдонимом «Юстус» написать небольшую статейку «О бессмысленности сожжения автомобилей и бессмысленности известных процессуальных процедур», но Хольвег вдруг разозлился, сделался сух и прошептал, что «наши друзья» настоятельно просили ничего не писать о процессе, ему тоже придется отказаться от «местного штришка», так как курение в зале суда, да еще «если курильщик — подсудимый» — это недозволенное действие, уж слишком бросающееся в глаза.

По пути в суд Гермес спросил Кугль-Эггера, почему тот не ставит под сомнение компетентность данного суда и не выдвигает хотя бы такого минимального требования, как назначение суда с судебными заседателями, на что Кугль-Эггер с улыбкой заметил, что не станет возражать, если защитник, протестуя против этого, «что и говорить», странного правового казуса, потащит обоих Грулей в судебную палату Преля, чтобы вместо шести месяцев (адвокат немедленно его исправил: «четырёх») исхлопотать для своих подзащитных два года, хотя он и не верит в успех такого протеста, поскольку в обвинительном акте говорится всего лишь о «нанесении материального ущерба и нарушении общественного спокойствия»; он пожал плечами, зловеще усмехнулся и добавил: а это на весах правосудия весит не больше, чем контрабанда и браконьерство, правда, здесь речь может идти еще о кощунстве и богохульстве, так как петь литанию в данном случае было по меньшей мере непристойно. Где нет жалобщика — а он, прокурор, жалобы не поддерживает, — нет и судьи. Гермес же волен, если ему этого хочется, требовать более высокой меры наказания!

Между тем вконец запуганная Кугль-Эггерша, которой ни шоколадное парфе, ни превосходный кофе не могли возместить испорченный обед, почувствовала нечто вроде облегчения, когда они наконец вошли в зал суда, ибо это помещение служило гарантией, что госпожа Гермес, по крайней мере в ближайшие два-три часа, будет молчать. Бедняжку давно уже разбирала тоска по «этой дыре восточнее Нюрнберга», родина совсем не породственному обошлась с нею, а точка зрения этой Гермес на важнейшие вопросы современности была ей уже досконально известна и успела прискучить. К тому же за истекшее время ей удалось выяснить, что это действительно была та «вечно жующая яблоко» и очень подвижная белокурая девочка, которую в ту давнюю пору пришлось поспешно и надолго упрятать в интернат, в общем-то скорее симпатичная, не злая, только утомительно назойливая, а в ее звонком смехе всегда слышались слезы. Бывала ли она в Израиле, еще успела спросить Кугль-Эггершу госпожа Гермес, когда вошел суд; отвечать той уже не пришлось, она только отрицательно помотала головой, в ответ на что адвокатша с помощью

жестов успела еще дать ей понять, что она обязательно должна туда съездить, этого просто *нельзя* не повидать.

Обер-лейтенант решил заприходовать первую половину дня как весьма несчастливую, надеясь, правда, что его показания во второй хоть частично рассеют то подавленное состояние, в которое он впал оттого, что ничего ему не удавалось и все оборачивалось против него: разговор с патером, попытка призвать к такту и благопристойности своих подчиненных, а теперь еще этот испорченный обед — ни сниженная цена, ни шоколадное парфе на третье в должной мере его не утешили; поначалу он был склонен и в испорченном обеде усматривать проявление антипатии «как личной, так и идеологической» к нему и к институции, любезной его сердцу, но когда хозяин принес свои извинения и после шоколадного парфе подал еще бесплатно чашечку кофе, «чтобы до некоторой степени восстановить репутацию своего заведения, пошатнувшуюся от неожиданных душевных потрясений», он заглянул в его глаза, по-собачьи коричневатые, с где-то глубоко гнездившейся хитрецей, заподозрил насмешку, таковой не обнаружил, несколько успокоился, закурил и дочитал до конца передовую центральной газеты.

В кафе Фрона, еще до того как старуха Лейфен пришла из кухни и объявила, что пора возвращаться в суд, и после того как Штольвены наконец-то кончили держать совет с Вермельскирхен, последняя посвятила патера в исключительно драматическую историю своей жизни и наряду с этой исповедью, длившейся добрых двадцать пять минут, прочитала испуганному старику чуть ли не полный курс философии любви. Она вышла, вернее, была выдана замуж за унтер-офицера Вермельскирхена совсем еще девочкой — шестнадцать лет, веселая, молоденькая, жадная до жизни и до любви. Он, конечно, сначала обвенчался с нею «в церкви, все как положено», а потом уже ее совратил, но ничего не было путного в том, что он с нею проделывал, она замирала от страха — до чего только страсть не доводит мужчину. Два года прожила она с этим Вермельскирхеном, парнем лукавым и ленивым, в два раза старше ее, ему тогда уже тридцать два стукнуло, и успела убедиться: мужчина —

да, но не солдат, не земледелец, только мужчина, и в такой мере, в таких проявлениях, что у нее глаза от слез не просыхали. В последние месяцы войны его забрали из Бирглара, где он пристроился на автобазе, и через два дня его не стало; эту скорбную весть ей принес его товарищ, но не только эту, он знал еще — и немедленно поставил ее об этом в известность, — какая у нее кожа, какие руки; он знал ее тело не хуже, чем муж, который из смерти, через него, своего товарища, вновь овладел ею; «низкое предательство», с этого все и пошло: она как будто и не вдова, а по-прежнему жена Вермельскирхена, он все еще обладает ею, он, «давно запаханный в землю» где-то в Хюртгенвальде, без могилы, без креста, не оставивший даже следа на земле. Да, он жив, и не надо ей объяснять, что мертвые не мертвы, только временами она все-таки думает: лучше бы они были мертвы по-настоящему, а впрочем, ее благочестивые родители ведь перед алтарем отдали ее этому Вермельскирхену; и как же патер не может понять, что *он* иногда «овладевает ею», этот парень, предавший ее, раздаривший своим приятелям все, даже родимое пятнышко у нее на спине. Суп и кофе остыли, так что им пришлось долго и растерянно оправдываться перед госпожой Фрон, которая вошла в комнату вместе со вдовой Лейфен, что, впрочем, было излишне: булочница сразу поняла — здесь происходило нечто чрезвычайное. «Сидел там, — рассказывала она позднее, — и держал в своих руках ее до ужаса прекрасную руку, как влюбленный в кинозале, и ни он, ни она даже не притронулись к супу и кофе».

На втором этаже, где они трое снова встретились, чтобы надеть свои мантии, Штольфус объявил прокурору и защитнику, что намерен еще сегодня закончить разбирательство, и потому предлагает им уже сейчас обдумать свои заключительные речи и сделать необходимые заметки. Он полагает, что с показаниями свидетелей и экспертов — профессора Бюрена и антиквара Мотрика, — а также с повторным допросом Грулей можно будет покончить еще до 18.30 и уже затем сделать перерыв, можно, впрочем, объявить краткий перерыв еще и до этого. Кугль-Эггера этот план, видимо, вполне устраивал, Гермеса — не особенно: разумеется, он согласен с таким уплотненным расписанием, сказал Гермес, но беспокоится, сумеют ли его подзащитные без

ущерба для здоровья выдержать «столь сильное напряжение»; этот аргумент привел лишь к тому, что Штольфус улыбнулся любезно, а Кугль-Эггер — насмешливо; Гермесу, в свою очередь, осталось лишь кисло улыбнуться на учтивую просьбу Штольфуса не прибегать к таким трюкам, как обмороки или приступы слабости у подсудимых. Если Гермес действительно опасается подобных последствий, не без легкой угрозы в голосе сказал Штольфус, уже спускаясь по лестнице, то на этот случай имеется доктор Хюльфен, которого всегда можно вызвать из больницы св. Марии, благо она находится в каких-нибудь двух минутах ходьбы от суда. Кстати говоря, первую помощь может оказать и госпожа Шроер. Гермес, втихомолку надеявшийся посвятить в юридические странности этого процесса школьную подругу своей жены, которая, случалось, писала отчеты для центральных газет и в Бирглар должна была прибыть лишь поздно вечером — на следующее утро он хотел всеми правдами и неправдами провести ее в зал суда, — почувствовал, что его околпачили, и не слегка, а довольно основательно; посему он стал размышлять о возможных поводах для пересмотра дела.

3

Из дюжины слушателей утреннего заседания к вечернему осталось только трое: госпожа Гермес, госпожа Кугль-Эггер и Бергнольте, все еще не решивший, точно ли обед в «лучшем», как ему сказали, ресторане города был настолько плох или это впечатление следует приписать «патологическому состоянию его вкусовых нервов». Он даже представить себе не мог, чтобы Грельбер, чье гурманство было настолько общеизвестно, что его даже приглашали как эксперта-любителя разбирать случаи нарушения «закона о пищевых продуктах», рекомендуя ему этот ресторан, сладострастно причмокнул шуточки ради. Бергнольте задумчиво сел на прежнее место, сперва с удовлетворением, а потом чуть ли не с прискорбием констатировав, что ряды слушателей заметно поредели.

На вечернем заседании отсутствовали: супруга специалиста по транспортной социологии господина Хейзера, так как ей нужно было приготовить мужу реферат по проблемам действия светофоров, а для этого требовалось подытожить статистические отчеты, вставить

несколько лозунгов и упорядочить ход изложения; далее, отсутствовали: Агнес Халь по вполне понятной причине, шурин Груля, мясник Лейфен из Хузкирхена, так как ему предстояло забить для назначенной на завтра свадьбы свинью и теленка: далее, двое коллег Груля-старшего, которые очень бы хотели послушать выступление экономического эксперта, но не могли ухлопать на это весь день, а потому обратились к Грулю через посредство судебного пристава Шроера с просьбой при первом же удобном случае сообщить им все, что было интересного в этой речи; далее, госпожа Шорф-Крейдель по причине, тоже известной читателю, и, наконец, три пенсионера, которые положили себе за правило лишь до обеда уподобляться «студентам-криминалистам», а после обеда, укрывшись в тихой задней комнате трактира «Пивная кружка», готовиться к предстоящему турниру игроков в скат, организованному комитетом «Радость для наших престарелых сограждан» в соседнем окружном центре Воллерсховен и намеченному на ближайшее воскресенье; все три старика, из которых один был крестьянин, другой — учитель в отставке, а третий — ремесленник без малого восьмидесяти лет, независимо друг от друга сочли дело Грулей «несколько странным», но не заслуживающим особого внимания, поскольку оно им и без того было известно.

К прежним слушателям прибавилось двое новых: товарищ молодого Груля по военной службе фермер Хуппенах из Кирескирхена — ему все равно надо было зайти в окружную сберегательную кассу похлопотать насчет кредита — и господин по имени Лейбен, окружной старшина на пенсии и дальний родственник Штольфуса. Поначалу Бергнольте заподозрил и Хуппенаха и старого Лейбена в принадлежности к стану журналистов, но, бегло изучив их внешность и выражение лиц, отверг это подозрение.

Явные перемены к лучшему в настроении председательствующего и в настроении обоих подсудимых были достойны куда большей аудитории; оба Груля, еще утром казавшиеся спокойными и сдержанными, сейчас излучали такую радость, что даже защитник, несколько сникший, воспрянул духом. Неудачный обед не испортил настроения прокурору: он без долгих раздумий заказал себе на второй десерт знаменитый омлет-суфле, со-

бственноручно изготовляемый Шмитцем; Грули, как баловни судьбы, оказались единственными клиентами «Дурских террас», не пострадавшими от душевного смятения прославленной поварихи. Сообщение, столь пагубно отразившееся на качестве приготовляемых блюд, было сделано молодой особой лишь тогда, когда единственно удавшиеся в этот день телячьи шницели для обоих Грулей уже лежали в судке. Порадовал Груля-старшего и на редкость ароматный кофе, и одна из тех сигар, которыми Шмитц баловал его раз в год по обещанию: нежнейшая смесь табаков неслыханной чистоты.

Сообщение Евы Шмитц о том, что она ждет ребенка, повергло обоих Грулей в состояние, близкое к эйфории, они по очереди отплясали — один с невестой, другой с невесткой — веселый танец и несколько раз ее переспрашивали, не ошиблась ли она.

Прокурор, приятно взволнованный тем обстоятельством, что его коллеге Гермесу не удалась задуманная инсценировка, после перерыва вызвал первым Груля-старшего и шутливо спросил его, не ошибся ли он, когда сказал, что не имеет судимости, хотя и приходил в столкновение с законом — с налоговым законом. Груль повторил, что судимости не имеет, другое дело — бесчисленные исполнительные листы. Но прокурор ласково перебил его, заметив, что речь идет не об этом, а о загадочном факте, который поразил его, когда он перелистывал дело: как могло случиться, что Груль, призванный только в сороковом году, к концу сорок второго уже стал фельдфебелем, а к концу сорок третьего, непонятно почему, снова сделался рядовым солдатом. Ах вот что, весело воскликнул Груль, да это проще простого, его разжаловали летом сорок третьего, только и всего. Ах вот что, воскликнул прокурор не менее весело, не хотите ли вы сказать, будто всех солдат ни с того ни с сего подвергают разжалованию. Нет, почему же, сказал Груль уже не просто весело, а почти с ликованием в голосе. Его судил трибунал и приговорил к восьми месяцам тюрьмы, а отсидел он шесть в какой-то крепости.

Здесь вмешался защитник и спросил председательствующего, допустимо ли в таком случае говорить про судимость, на это прокурор ответил, что он пока не называл судимостью приговор военного трибунала, председательствующий же спокойно разъяснил защитнику, что здесь важно только одно — за какой проступок Груля судил военный трибунал. Прокурор с улыбкой спросил

Груля-старшего, хочет ли тот давать показания по этому поводу. Не посоветовавшись с защитником, Груль утвердительно кивнул и сказал, что хочет. На это прокурор: «Тогда расскажите мне, что там у вас произошло».

Груль рассказал, что уже во время строевой подготовки его неоднократно отзывали на столярные работы, либо прямо в квартирах офицеров и унтер-офицеров, либо в батальонной мастерской, потом его полк выступил во Францию, когда там кончилась война. (Прокурор перебивает его вопросом: «Вы имеете в виду боевые действия во Франции?» Ответ Груля: «Я имею в виду войну».) Сперва они стояли в Руане, потом в Париже; на него всюду был спрос, и по этой причине он поднимался все выше и выше, под конец он даже работал на одного полковника — «сплошной Людовик Шестнадцатый», жена полковника была просто помешана на Людовике, а потом для него конфисковали маленькую мастерскую в районе Пасси, совсем маленькую, но в ней было решительно все, что нужно краснодеревцу; по утрам он уходил туда работать, позднее он там и ночевал, а еще позднее подружился с коллегой, которому раньше принадлежала мастерская, и добился у полковника разрешения допустить этого француза к работе; звали его Эрибо, они по сей день с ним дружат. Сейчас Эрибо содержит антикварную лавку, и дела у него идут неплохо, — мысль открыть такую лавку возникла еще во время войны, когда они работали вместе. Эрибо хороший, можно сказать, отличный столяр, главным образом мебельщик, но стильной мебели раньше не делал, делать стильную мебель он научился у него, Груля. А научившись, стал работать «себе в карман», полковник ни о чем не догадывался, а Груль и не собирался ему докладывать, сколько времени уходит на ту или иную поделку; к примеру, на маленький комод, с которым дома можно было бы управиться за неделю, а то и за три дня. он испрашивал два месяца.

И вот однажды он сказал полковнику, что дома он запросто выгонял чetyреста — пятьсот марок в месяц и что содержание, положенное рядовому солдату, это не деньги при такой работе. Полковник в ответ рассмеялся и быстренько произвел его в ефрейторы, потом в унтер-офицеры, а там и в фельдфебели. Между тем в мастерской у Эрибо стал по вечерам собираться народ, мужчины, иногда женщины, приносившие с собой вино и сигареты; Эрибо его всякий раз отсылал на том основании,

что им, да и ему тоже лучше будет, если он никогда не узнает, о чем здесь говорят; на двери мастерской прикрепляли вывеску: «Немецкий вермахт» или что-то в этом духе. Когда его отсылали, он уходил то в кино, то на танцы и по просьбе Эрибо возвращался домой за полночь.

На ехидно кроткий вопрос прокурора, не казались ли ему, Грулю, подозрительными эти сборища, Груль отвечал: ничего не казались, хотя он, разумеется, понимал, что эти люди собираются у Эрибо не затем, чтобы обсудить текст верноподданнического адреса на имя Гитлера. Как-никак была война, и он, Груль, не имел оснований думать, что французы от нее в восторге, а Эрибо помогал ему и полковнику раздобывать мебель, он знал многих краснодеревцев, антикваров, да и вообще знакомых у него было хоть пруд пруди. На мебель были установлены закупочные цены в переводе на масло, кофе, сигареты, «и такие высокие, что даже соседям кое-что перепало»; за все платили маслом, кофе, сигаретами, вдобавок он, Груль, много разъезжал, ездил в Руан, Амьен, потом даже в Орлеан, и всякий раз прихватывал посылочки для друзей Эрибо: масло, кофе и тому подобное, пока Эрибо однажды не спросил его, не возьмется ли он доставить посылочку с маслом, наперед зная, что в ней нет ни масла, ни кофе, ни сигарет.

За это время они очень сблизились, он жил в семье у Эрибо, там и столовался, и жена Эрибо и маленькая дочка очень тепло к нему отнеслись, когда умерла его жена. Короче, он попросил Эрибо сказать ему, что в этой посылке, а тот ответил: «Ничего дурного, сплошь бумага, но то, что на ней напечатано, вряд ли придется по вкусу твоему полковнику». Ну что ж, он отвез эту посылочку, а потом и еще возил. Но тут один солдат из комендатуры, куда он являлся получать содержание и продовольственные карточки, посоветовал ему быть поосторожнее: за мастерской установлена слежка. Тогда и он посоветовал своему другу Эрибо быть поосторожнее. Эрибо немедленно исчез со всей семьей, а его, Груля, через два дня арестовали, он признался, что возил посылки, но не признался, что ему было известно их содержимое. После судебного разбирательства рухнула вся «мебельная фирма», оказалось, что шум поднялся именно из-за нее, полковника тоже понизили в чине.

На вопрос, счел ли он это наказание справедливым и испытывал ли он угрызения совести, Груль ответил:

нет, никаких угрызений совести он не испытывал, а что касается наказания, то справедливость — слишком высокое слово, не применимое ни к войне, ни к ее последствиям. Ах так, значит, слова «справедливый» и «справедливость» кажутся ему неприменимыми и по сей день? Да, ответил Груль, «и по сей день, очень даже кажутся». Но он ведь говорил суду, что не занимается политикой, как же он мог стать на сторону этих людей? Именно потому, что не интересовался политикой, а людей этих любил, «только вам этого не понять». Прокурор рассердился и заявил протест в связи со вторичной попыткой Груля судить о его, прокурора, умственных способностях, в остальном же он больше вопросов не имеет; взгляды подсудимого ему сейчас абсолютно ясны, если сопоставить их со взглядами Хорна — и того ясней; и еще он, прокурор, отмечает, что подсудимый находит «естественными» вещи самые невероятные, для него все подряд «естественно». Председательствующий сделал Грулю замечание за его реплику «вам этого не понять» и, несколько поутратив доброе расположение духа, ибо драгоценное время утекало между пальцев, позволил и защитнику задать Грулю следующий вопрос: «Что делал Груль в военной тюрьме и после освобождения из тюрьмы?» Груль устало и очень равнодушно ответил: «Реставрировал мебель, после тюрьмы — в Амстердаме». На вопрос защитника, принимал ли он хоть когда-нибудь участие в боевых действиях, Груль ответил: «Нет, я сражался лишь на мебельном фронте, главным образом на фронтах Людовика Шестнадцатого, Директории и Империи».

Прокурор попросил сделать подсудимому замечание за неуместное выражение «мебельный фронт», в котором он, прокурор, усматривает неуважение к памяти погибших в последнюю войну, в том числе и к памяти своего отца, павшего отнюдь не на мебельном фронте. Председательствующий спросил Груля, что тот может возразить на это справедливое замечание, и Груль по его требованию обстоятельно разъяснил прокурору, что у него и в мыслях не было оскорблять память погибших, что у него в семье тоже погибли брат, дядя, зять и, кроме того, его лучший друг, фермер Вермельскирхен из Дульбенвейлера, но он, Груль, сражался исключительно на мебельном фронте и много раз беседовал о своей деятельности с братьями, с шурином Генрихом Лейфеном, а его покойный друг Вермельскирхен, летчик унтер-

офицер, имевший много наград, даже не раз ему говорил: «Удерживай свои позиции на мебельном фронте!» — стало быть, выражение это пошло не от него, Груля, а от неоднократно награжденного унтер-офицера, павшего в бою. И потому он не считает нужным брать свои слова обратно.

Показания почти восьмидесятилетнего патера Кольба из Хузкирхена вылились в своего рода дружескую беседу, порою они напоминали богословский семинар для народных учителей, слегка приправленный сельским балагурством, но, к успокоению председательствующего и к великому огорчению госпожи Кугль-Эггер и Эльзы Гермес, почти не содержали в себе того, что прославило патера далеко за пределами Бирглара, — его «пламенной и бесстрашной оригинальности», которая хоть и проявлялась в ряде его высказываний, но отнюдь не проявлялась в манере держать себя. Бергнольте, единственный из присутствующих, кто раньше не знал патера (Кугль-Эггеры во время первого, официального визита в Хузкирхен уже имели возможность познакомиться с образчиками его темперамента), вечером в беседе с Грельбером охарактеризовал его как «первостатейного оригинала — вы, конечно, понимаете, что я имею в виду».

Штольфус со сдержанной любезностью, в которой даже самый злонамеренный человек не усмотрел бы ничего оскорбительного, предложил Кольбу стул, но тот отказался от поблажки с любезной сдержанностью, в которой не было ничего оскорбительного.

Патер сказал, что не знал Груля-старшего в первые годы жизни, но помнит его с десятилетнего возраста — поскольку Иоганн частенько навещался из Дульбенвейлера в Хузкирхен к своей тетке Вермельскирхен, а ближе он узнал его, когда Грулю исполнилось шестнадцать лет и он начал встречаться «с Элизабет Лейфен, своей будущей женой». Он, патер Кольб, всегда считал Груля человеком работящим, отзывчивым и положительным, немножко тихоней — но тут, возможно, сказались тяжелые впечатления детства. Когда прокурор спросил, какие это впечатления, Кольб ответил, что не хочет касаться этой темы, ибо подобные разговоры легко дают повод к кривотолкам. Когда прокурор, не решившийся настаивать на ответе, спросил его о религиозных устоях Груля, Кольб, уже начав проявлять свой про-

славленный темперамент, заявил голосом более громким, чем прежде, что здесь он стоит перед *светским* судом, а светскому суду не пристало задавать подобные вопросы; кстати сказать, он и церковному суду на такой вопрос не ответил бы и вообще никогда не отвечал. Председательствующий разъяснил ему, что он имеет право не отвечать на вопросы прокурора, но сейчас речь идет о том, чтобы получить представление о характере Груля, и, поскольку достопочтенный господин Кольб является как-никак священнослужителем, адресованный ему вопрос о характере подсудимого вполне уместен. Кольб столь же любезно отверг наличие взаимосвязи между характером и вероисповеданием, а затем, снова несколько возвысив голос, обратился к прокурору и заявил, что оспаривает само наличие взаимосвязи между вероисповеданием и порядочностью. Сказать он может только одно: Груль всегда был порядочным человеком; он никогда не позволял себе непочтительно или кощунственно отзываться о религии; что до светской стороны дела, то Груль немало порадел для своего прихода при восстановлении и реставрации сильно пострадавшей церкви; к тому же он нежно любит детей и «в тяжелые годы» собственноручно вырезал из дерева превосходные игрушки для ребятишек, которые и мечтать не смели о рождественских подарках.

Здесь Груль-старший движением руки попросил слова и, получив таковое, сказал, что, хоть его об этом и не спрашивают, он считает своим долгом сообщить, что к религии относится равнодушно, причем уже давным-давно, с тех пор как перед свадьбой ходил слушать проповеди достопочтенного господина патера, то есть примерно двадцать пять лет назад, не меньше. После этого патер сказал, что Грулю, быть может, и недостает веры, но он, патер, считал и будет считать Груля одним из немногих истинных христиан в своем приходе. Когда прокурор очень любезно, можно даже сказать, ласково и с улыбкой заявил, что ему странно слышать такие речи из уст священнослужителя и он позволит себе — «уж вы меня извините» — усомниться в том, что сей тезис правомочен и неуязвим с богословской точки зрения, да и где это слыхано, чтобы патер не скорбел при виде подобного равнодушия, патер отвечал так же любезно, можно сказать, ласково и тоже с улыбкой, что он, патер, скорбит при виде очень даже многого в этом мире, но не ждет в своих скорбях помощи от государства. Что же до

теологической правомочности или неуязвимости его утверждений, то господин прокурор, вероятно, «слишком многого понабрался в католических кружках». Председательствующий позволил себе пошутить и спросил прокурора, не желает ли тот затребовать богословскую экспертизу, чтобы разобраться в религиозных убеждениях Груля; прокурор залился краской, протоколист Ауссем хмыкнул и вечером того же дня рассказывал своим товарищам по партии: «у них чуть не дошло до скандала». Далее защитник спросил у патера, правда ли, что он однажды застал в церкви Груля, курившего трубку. Да, ответил патер, один раз, даже два раза он заставлял Груля в церкви с трубкой; Груль — наверно, он обещал это своей покойной жене — частенько приходит посидеть в церкви, когда там нет службы, и действительно, он заставлял его с трубкой: Груль сидел на одной из последних скамей и курил; сперва он, патер, испугался и даже рассердился, это показалось ему святотатством, позднее же, когда он взгляделся в выражение лица Груля, окликнул его и даже пожурил немного, он прочитал на этом лице выражение «почти целомудренного благочестия». «Он совершенно ушел в себя и явно витал мыслями где-то далеко, и знаете,— добавил патер,— это может понять лишь тот, кто курит трубку, я, к примеру: трубка становится как бы частью твоего тела, я и сам себя поймал однажды на том, что вошел в ризницу с горячей трубкой, и заметил это только тогда, когда начал уже натягивать через голову облачение и трубка застряла в узкой горловине, и не случись при этом служки и не будь горловина такой узкой, я, может, и взошел бы на амвон с трубкой во рту».

Суд, подсудимые и публика по-разному восприняли это признание: госпожа Кугль-Эггер впоследствии сказала, что ушам своим не поверила; Эльза Гермес сочла это «потрясающим»; Бергнольте вечером доложил Грельберу: «По-моему, у него не все дома»; председательствующий, защитник и подсудимые улыбнулись, прокурор вечером сказал своей жене, что его охватил «неподдельный ужас», молодой Хуппенах захохотал во все горло, а старый Лейбен покачал головой и впоследствии говорил, что «тут уж патер хватил через край».

На вопрос защитника, что он может сказать о Георге Груле, патер с улыбкой обернулся к Грулю-младшему и ответил, что уж его-то он действительно знает со дня рождения, ведь Георг родился в Хузкирхене, и он

крестил его на дому по желанию матери, которая уже была при смерти, затем Георг учился в хузкирхенской школе. Короче, он хорошо его знает: Георг скорее вышел в мать, чем в отца, «только характер у него необузданный»; а вообще парень он работящий, добропорядочный, с отцом жил душа в душу; сперва его еще воспитывала бабушка, а после войны, когда Георгу было года три, — один отец. Изменился Георг только когда ушел служить в бундесвер. Добавьте к этому, что его отец именно тогда окончательно запутался в долгах, но прежде всего «скука, невыносимая скука военной службы» тяжело поразила доброго и здорового мальчика, прежде очень жизнерадостного и прилежного, она изменила его, сделала «злым, я бы даже сказал, — злобным». Прокурор любезно, но твердо прервал патера и сказал, что если человек, который из-за прохождения службы в столь демократической институции, какую является бундесвер, стал злым и даже злобным — а это при более близком знакомстве с мировоззрением и жизненным путем Груля-старшего и со всей его вскрытой здесь жизненной философией отнюдь не кажется удивительным... — повторяю, если человек из-за военной службы стал злым и даже злобным, значит, он имеет к злобности особое предрасположение. Отсюда и вопрос к уважаемому господину патеру: в чем, собственно, выразилась злобность молодого Груля?

Патер не менее любезно, но твердо опроверг прокурорский тезис относительно предрасположенности ко злу, якобы необходимой для того, чтобы молодой человек озлобился из-за военной службы. Для молодого человека, сказал патер, нет ничего пагубней соприкосновения и знакомства с грандиозной организацией, смысл которой сводится к производству абсурдных никчемностей, другими словами, — к полной, почти абсолютной бессмыслице. Таково его мнение по данному вопросу. Вообще же, наверно, и он, патер, предрасположен к злобности, ибо в 1906 году он служил в артиллерии вольноопределяющимся и близкое знакомство с военной жизнью чуть не ввергло его «в полный нигилизм». Что же касается основного вопроса господина прокурора — в чем выражалась злобность молодого Груля, — то надо сказать следующее: он никогда не отличался благочестием, но был мальчиком верующим, преданным церкви и вдруг начал презрительно отзываться о ней. Виной тому его начальник, который явно был не в меру ревност-

ным католиком. Молодой Груль сказал ему, патеру, будто он, патер, даже представления не имеет о том, что «творится на свете»; Груль слушал только его, патера, проповеди, только у него учился Закону Божию, а теперь он предлагает ему, патеру, учредить новую независимую хузкирхенскую католическую церковь. Злобность молодого Груля проявилась в чуть ли не богохульных рисунках и скульптурах. А однажды он и вовсе прикрепил записку к деревянной скульптуре св. Анны с Марией и младенцем; они совместно с отцом реставрировали ее и в субботу вечером по поручению какого-то там торговца художественными изделиями сдали госпоже Шорф-Крейдель. В этой записке стояла дословная цитата из «Гёца фон Берлихингена», а скреплена она была подписью «Ваша Богоматерь».

С тончайшей иронией прокурор заметил, что выражение «не в меру ревностный католик» в устах достойного господина патера, да еще применительно к офицеру бундесвера, представляется ему по меньшей мере странным, равно как и мнение господина патера об институции, возникшей на демократической основе и призванной защищать те ценности, в сохранении коих прежде всего заинтересована церковь; вдобавок взгляды господина патера на данный предмет расходятся, как ни странно, с учением церкви, и поэтому он, прокурор, склонен расценивать высказывание господина патера как проявление пусть симпатичного, но более чем оригинального образа мыслей, и прежде всего он никак не может согласиться с конечным выводом господина патера: армия — как школа нигилизма, хотя всем известно, что именно армия призвана воспитывать молодежь в духе порядка и дисциплины.

Патер, забыв попросить слова, любезно, даже сердечно обратился к прокурору и сказал, что его, патера, высказывания никоим образом нельзя рассматривать как проявление пусть симпатичного, но весьма оригинального образа мыслей, что они неуязвимы с богословской точки зрения; а то, что господин прокурор именует учением церкви, продиктовано необходимостью ладить с мирскими властями, и это никакое не богословие, а обычное приспособленчество. Он, например, в свое время советовал молодому Грулю уклониться от военной службы, а Груль ему ответил, что человек может это сделать только по велению совести, его же совесть в данном случае не играет никакой роли, его совесть, если

можно так выразиться, вообще не имеет касательства к военной службе, а имеют касательство лишь его разум и воображение. Тут ему, патеру, пришлось согласиться, что в словах молодого человека заложена глубокая истина, ведь он и сам не очень высокого мнения о совести, которую можно повернуть и так и эдак, о совести, которая с одинаковой легкостью обращается то в губку, то в камень, тогда как разум и воображение суть высокие, божественные дары, коими Господь наделяет человека. Посему он ничем не мог утешить молодого Груля, ибо понял сам, как нелепо обращаются нынче с этими божественными дарами — разумом и воображением. Не следует также упускать из виду, в сколь тягостном положении оказался молодой Груль, вынужденный наблюдать со стороны, как его отец все больше и больше запутывается в долгах, ему же в это время за мизерную плату приходилось отделять бары для офицерских и унтер-офицерских казино; но всего тяжелее была для него эта командировка, о которой он... Тут председательствующий учтиво попросил патера воздержаться от высказываний по этому вопросу, поскольку они намерены обсуждать его при закрытых дверях и допросят в качестве свидетеля бывшего начальника молодого Груля. Тогда старик патер хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Да, да, конечно, конечно, как же это я упустил из виду! Да будь я немного моложе, этот начальник за неделю превратил бы меня в атеиста», после чего добавил, что, по его мнению, не следует делать тайну из этой командировки, если уж о ней знает вся их деревня.

Председательствующий разъяснил ему, какая разница существует между двумя положениями: вообще знает вся их деревня или узнала из-за несоблюдения тайны, — а прокурора сердито спросил, намерен ли тот заявлять протест по поводу разглашения тайны или считает возможным при открытых дверях обсуждать командировку, которая безусловно является служебной и тем самым секретной. «Ибо если мы, — продолжал он, — подвергнем эту командировку публичному разбирательству, она станет тем, чем никогда бы не стала, хотя бы о ней говорили три или четыре деревни, — она станет документом, то есть достоянием гласности, вот что в корне отличает судебное разбирательство от сплетен и слухов, безразлично, справедливы они или нет». А потому он не хотел бы сейчас касаться командировки молодого Груля. Тут сидевший в зале Хуппенах залился таким громким

и продолжительным смехом, что председательствующий уже после того, как Шроер смерил Хуппенаха очень пристальным взглядом, был вынужден сделать ему строгое предупреждение и пригрозил удалить его из зала.

Хуппенах сменил смех на усмешку, которая была квалифицирована прокурором как наглая и свидетельствующая о неуважении к властям. Председательствующий же сказал, что хотя и он, в свою очередь, находит усмешку Хуппенаха «малопочтительной», но для экономии времени предпочитает не подвергать скрупулезному разбору и моральной оценке усмешки присутствующих в зале. На вопрос, что он может добавить к высказываниям господина патера, молодой Груль спокойным голосом и все так же бодро ответил, что он благодарен господину патеру за точную характеристику своего душевного состояния и склада ума, избавившую его от необходимости самому говорить о себе, что он, кстати, не сумел бы сделать так сжато и точно. Ему нечего прибавить к высказываниям патера, патер, который действительно знает его с колыбели и которого он глубоко чтит, сказал все так хорошо, как ему бы в жизни не сказать. Патера с благодарностью отпустили. Перед уходом он чрезвычайно погрешил против норм поведения в зале суда, ибо обнял молодого Груля и пожелал ему вновь обрести смысл жизни подле доброй и красивой женщины, а Груль заверил патера, что это уже совершилось. Замечание председательствующего по поводу недозволенных в суде объятий прозвучало очень нежно, словно не замечание, а извинение.

Затем Штольфус объявил короткий перерыв и обратился с просьбой к прокурору и защитнику, чтобы каждый из них отказался по крайней мере от одного свидетеля; дело ему представляется совершенно ясным, так нельзя ли исключить из числа свидетелей хотя бы обеих дам — вдову Лейфен и вдову Вермельскирхен. После краткого размышления прокурор и защитник согласились удовлетворить его просьбу, и патер смог отправиться домой с обеими своими прихожанками, испытывавшими как облегчение, так и разочарование. Госпожа Кугль-Эггер, воспользовавшись перерывом, покинула зал суда, так как утром вызвала к себе на новую квартиру маляра, чтобы договориться с ним относительно покраски стеновых шкафов в кухне. В тоске по утерянной сельской простоте этой «дыры восточнее Нюрнберга» она решила

идти пешком и вспомнила по дороге, как она еще совсем маленькой девочкой, чтобы срезать путь, ходила задом к кладбищу через негустой кустарник, а потом вдоль Дура. Идя этой дорогой, она столкнулась с патером и обеими дамами из Хузкирхена, была опознана как Марлиз Грабель и слегка покраснела, оттого что в ее ответе на это сердечное приветствие явственно проступал баварский диалект; патер шутя обозвал ее «изменницей родины» и посоветовал на все столярные работы, которые потребуются в новой квартире, приглашать не Груля, а старого Хорна, ибо Груль окончательно погиб для столярных поделок.

Очередной свидетель Грэйн указал свою профессию: дипломированный экономист, имеет ученую степень, возраст — тридцать два года, а на вопрос председательствующего, случалось ли ему уже выступать при аналогичных обстоятельствах в качестве эксперта, ответил утвердительно: да, случалось. Густые белокурые волосы и симпатичное лицо Грэйна делали его похожим скорее на молодого врача, обаятельного и преуспевающего; длительное ожидание в комнате для свидетелей, в особенности же нудный разговор с обер-лейтенантом на философские темы, несколько утомили его и вывели из терпения, а потому на требование председателя коротко объяснить экономическое положение Груля-старшего он с чуть презрительным высокомерием специалиста ответил, что ежели от него требуют связного изложения, то он заранее не может сказать, будет ли его речь краткой или пространной, существуют, правда, устоявшиеся формулировки, но дело Груля как бы пребывает в «ледниковом периоде народного хозяйства», так что он попросил бы... Конечно, конечно, сказал председательствующий, говоря «коротко», он имел в виду «по возможности коротко», а отнюдь не искажение смысла в угоду краткости.

Язык у Грэйна был хорошо, даже очень хорошо подвешен, он на память приводил всевозможные цифры, но при этом смотрел не на председательствующего, не на подсудимых и даже не на зрителей, а на некий невидимый пюпитр или на анатомический стол, где терпеливо дожидался вторжения его искусных рук подопытный кролик; жесты, которыми он подчеркивал особо значительные места, были отрывисты и резки, но ничего грубого в них не было. Грэйн сообщил, что с согласия Груля-старшего он изучил все его бухгалтерские книги, а также

налоговые декларации и, предваряя последующие выводы, может сказать, что Груль — поскольку речь идет о его финансовом упадке — есть жертва беспощадного, немилосердного — тут он обернулся к Грулю и развел руками с видом любезным и как бы виноватым, — но, «как я нахожу и даже объясняю в своих лекциях», неизбежного процесса, кстати отнюдь не нового, ибо он уже неоднократно имел место в истории экономики, к примеру, при переходе от средневекового цехового строя к промышленному строю нового времени и позднее в девятнадцатом веке, короче говоря, объективно этот процесс не остановишь, народная экономика среди всех финансируемых музеев еще не завела ни одного для поддержки анахроничных ремесел. Так выглядит данный вопрос в хозяйственно-историческом аспекте. Аспект моральный он даже не хотел бы здесь затрагивать — в современной экономике моральных аспектов вообще не существует, иначе говоря, это — состояние войны, и налоговое управление тоже находится в состоянии войны с налогоплательщиком, причем финансовое законодательство время от времени выбрасывает параграф-приманку, «как бросают рукавицу волку, бегущему за санями, — не для того, чтобы отвлечь волка, — с улыбкой пояснил Грэйн, — а для того, чтобы тем вернее поймать его».

Итак, даже с моральной точки зрения Груля не в чем упрекнуть: он допустил всего лишь одну ошибку — позволил себя изловить, но эта ошибка не носит морального характера. Существует философия права, но не существует философии налога; финансовое законодательство щадит наиболее молочных коров и не забывает их раньше времени; если применить это сравнение к Грулю, можно сказать: коров грулевской породы осталось сейчас так мало, что закон о налогах не видит смысла оберегать их от убоя, а в случае необходимости и от преждевременного убоя. Если выразить это в цифрах, доступных для профанов, дело будет выглядеть примерно так: на предприятиях подобного типа слишком малы издержки производства, там почти не нужны машины и требуется совсем немного материала, доход в таком предприятии приносят главным образом руки, талант и художественное чутье, подобная расстановка сил, как ее ни рассматривай, с субъективной ли, с объективной ли точки зрения, приводит к абсурднейшим балансовым итогам; когда Груль еще работал вместе с сыном, его оборотный капитал составлял в год ни много ни

мало сорок пять тысяч марок; издержек же он мог в этом году указать всего четыре тысячи, иными словами, он получил сорок одну тысячу чистого дохода, отсюда и подоходного налога тринадцать тысяч, да церковного — тысяча триста, да налог с оборота — почти тысяча семьсот, вместе с обязательным страхованием это составит более пятидесяти пяти процентов от всего дохода, или, выражаясь популярно, из каждой заработанной марки в карман Груля попадало всего сорок пять, а бывали годы, когда всего лишь тридцать пфеннигов. Груль же к этому времени, опять-таки выражаясь популярно, успевал истратить, как свои «честно заработанные деньги», от семидесяти до семидесяти пяти пфеннигов на марку. Грэйн полагает, что он достаточно подробно охарактеризовал экономическое положение Груля, и только просит, чтобы ему позволили привести еще одно сравнение: сорока тысяч марок прибыли часто не имеют даже средние предприятия с оборотным капиталом в один миллион, а здесь ее добилась мастерская, в которой работало «всего два талантливых и трудолюбивых человека»; он приводит эти сравнительные цифры лишь для того, чтобы «наглядно изобразить», сколь «абсурдно с субъективной точки зрения», с объективной же сколь безжалостно и немилосердно, хотя это и диктуется необходимостью, обращаются народная экономика и налоговое законодательство с такими «анахроничными» предприятиями, которые не могут следовать великому закону: непрерывно увеличивать расходы на персонал, то есть, иначе говоря, увеличивать издержки производства.

Дело Груля, субъективно абсурдное и, по мнению народа, несправедливое, можно сопоставить с судьбой художника, когда тот — «я позволю себе оперировать общепринятыми, а не статистически стабильными ценностями», — затратив на картину каких-нибудь двести или триста марок, продает ее за двадцать — тридцать тысяч, а то и дороже. У Груля даже не было телефона, он не должен был платить за квартиру, издержки его производства складывались лишь из минимальных расходов на материал, потребный для работы, ему даже на «угощение» тратиться не приходилось, уж если кто кого и угощал, так не Груль, а Груля — его клиентура и торговцы художественными изделиями, потому что не он искал клиентуру, а клиентура искала его и его работу. Еще несколько слов, сказал Грэйн, и он закончит свое выступление. Ему хотелось бы под конец прояснить то,

что может показаться непонятным профану: каким образом у Груля накопилась недоимка в тридцать тысяч марок, сумма поистине невероятная, а если приплюсовать к ней судебные издержки и пени, то и все шестьдесят тысяч. Только за последние пять лет обороты Груля составили сто пятьдесят тысяч марок, чистая прибыль — сто тридцать тысяч, но если отсюда вычесть половину на налоги и прочие поборы, а из оставшейся суммы вычесть половину, «неосмотрительно истраченную Грулем на собственные нужды», то эта грандиозная сумма не покажется такой уж необъяснимой.

В последней части своего выступления, особенно четкой и внятной, Грэйнд часто бросал на Груля взгляд, в котором странным образом мешалось сострадание и восхищение. В заключение Грэйнд сказал, что современная налоговая политика редко вспоминает о налоговой морали; это понятие, правда, всплывает время от времени, но в основе своей оно смехотворно и, как он, Грэйнд, полагает, даже недопустимо; налоговая политика сводится к тому, чтобы увеличить меру издержек, которые, если рассматривать их с этической точки зрения, неизбежно покажутся абсурдными, и если бы ему, Грэйнду, было предоставлено право судить о виновности или невиновности Груля — он имеет в виду налоговый вопрос, а не тот проступок, который является предметом сегодняшнего разбирательства, — то он сказал бы так: с человеческой точки зрения — абсолютно невиновен, с этической, точнее, с абстрактно-этической — поведение Груля также ничуть не предосудительно, однако экономический процесс безжалостен и немилосерден, а финансовое законодательство не может позволить себе роскошь содержать на дотации «анахроничное сословие придворных шутов» и потому рассматривает чистую прибыль как чистую прибыль, и только. «Я не судья! — сказал Грэйнд, при его молодежавшей стройности он выглядел на редкость симпатичным и умным человеком. — Я не судья, — он поднял палец, не угрожая, а скорее указуя на Груля, — не судья, не священник и не чиновник министерства финансов, я всего лишь экономист-теоретик. Как человек, я при всем желании не могу не испытывать уважения к подсудимому; я удивляюсь, как ему удалось продержаться в такой запутанной ситуации более десяти лет, не запутавшись еще больше, но как теоретик, я останавливаюсь перед этим фактом, как... ну, как остановился бы врач перед безнадежным раковым больным, который по

всем расчетам должен был умереть пять лет назад». На вопрос прокурора, может ли свидетель уже не как начинающий, а как достаточно сложившийся теоретик отрицать понятие налоговой морали, Грэйнд довольно резко ответил, что, разумеется, этот термин до сих пор не вышел из употребления, но лично он даже в своих лекциях, за которые ему платит государство, всегда говорит то же самое, что сказал здесь, то есть категорически отвергает понятие морали в науке о налогах. Поскольку дальнейших вопросов не последовало, свидетелю разрешили удалиться.

Во время небольшого перерыва, который образовался сам собой, покуда вызывали очередного свидетеля — судебного исполнителя Губерта Халю, четвертый из четырех еще остававшихся слушателей, старшина Лейбен, на цыпочках покинул зал: выкладки Грэйнда надоели ему до тошноты, а от последующих свидетелей он также не ожидал ничего интересного. Хуппенах хоть зевал во весь рот, но остался в зале, так как все еще не уразумел, что при опросе обер-лейтенанта и фельдфебеля его все равно выставят за дверь.

Халь, судебный исполнитель, шестидесяти лет от роду, чьи густые темные волосы вечно стояли дыбом, потому что он то и дело их ерошил, произвел, как позднее сообщил Грельберу Бергнольте, единственный из присутствующих не знакомый с Халем ранее, двойственное впечатление, «я бы даже сказал, не двойственное, а прямо-таки подозрительное: вид у него был довольно неопрятный, растрепанный, словом — не внушающий доверия». На вопрос защитника, в состоянии ли он раздельно охарактеризовать свои человеческие и служебные взаимоотношения с обвиняемым, Халь ответил с наглым спокойствием, что изучил эту разновидность шизофрении досконально, ибо с большинством «клиентов» состоит и в тех и в других отношениях. Что до стороны человеческой, он, «само собой», очень хорошо знал Груля, они великолепно понимали друг друга, нередко сжились вместе за кружкой пива, причем, как правило, угощал он, так как на содержимое карманов Груля был наложен арест и ему, Халю, было неловко в пивной ревизовать кошелек Груля или его бумажник, а если понадобится, то и содержимое карманов. «Бог ты мой! — воскликнул Халь. — Мы ведь тоже люди», — и как раз

потому, что он тоже человек, Халь при всякой встрече платил за пиво и вино Груля. На просьбу защитника точно определить, что значит наложение ареста на содержимое карманов, так как это определение здесь неизбежно будет фигурировать, Халь зачитал соответствующие параграфы из памятки для судебных исполнителей, которую, видимо, всегда держал при себе: «Судебный исполнитель обязан обыскать платье и карманы должника, на это не требуется особой судебной санкции. Обыск лиц женского пола судебный исполнитель осуществляет с помощью надежного лица женского же пола». Эта инструкция, продолжал Халь, которого явно приободрила тишина в затаившем дыхании зале, имеет свое правовое обоснование в параграфах 758 и 759 гражданского процессуального кодекса, каковые гласят: «Параграф 758, пункт первый: Судебный исполнитель обязан провести обыск квартиры и вещей должника, пока и поскольку это необходимо для того, чтобы выполнить решение суда. Пункт второй: Он обязан настаивать на вскрытии или взломе закрытых дверей дома, дверей комнаты, а также шкафов и прочих предметов обстановки. Пункт третий: Если ему оказывают сопротивление, он обязан применить силу, для каковой цели может прибегать к содействию органов полиции. Параграф 759: Если при исполнении решения суда исполнителю оказывается сопротивление или если во время исполнения оно в квартире должника не присутствует сам должник, либо кто-нибудь из членов его семьи, либо совершеннолетняя прислуга, судебному исполнителю надлежит привлечь в качестве понятых двух совершеннолетних посторонних лиц или же одного муниципального чиновника или полицейского».

Пораженный мертвой тишиной, которая установилась в зале при зачитании столь знакомого ему текста, и воспользовавшись тем, что Штольфус его не перебивает и не задает ему вопросов, Халь продолжал рассказывать плаксивым голосом, причем пафос его речи только усиливал эту плаксивость, «господам присутствующим», как часто ему приходилось в хорошо известных суду заведениях конфисковать содержимое карманов «у дам определенной профессии»; эта акция преимущественно сводится к тому, чтобы, улучив момент, сорвать туфли с обыскиваемой дамы, «ибо, как правило, они хранят свою наличность именно в туфлях», быстро вытряхнуть содержимое таковых в заранее приготовленный кулек

и как можно скорее покинуть заведение, прежде чем о случившемся известят хозяина. При так называемых «карманных конфискациях», продолжал Халь, ему обычно помогает некая Шурц, пятнадцать лет прослужившая надзирательницей в женской тюрьме и знакомая со всеми уловками, включая тайники в нижнем белье, и к тому же обладающая незаурядной физической силой. С этой особой у него вечно происходят стычки, ибо она — за это ее, собственно, и уволили из тюрьмы — имеет «склонность наносить телесные повреждения», и это тоже хорошо известно суду. Вообще же, продолжал Халь, «карманные конфискации» — премерзкое занятие, и он не скрывает, что по возможности старается от них уклоняться, но есть кредиторы, которые считают его своим персональным агентом и настаивают на своем праве.

Что до человеческой стороны дела — теперь Халь говорил уже усталым, почти равнодушным голосом, — то любой человек в городе и в округе Бирглар, а его, Халья, клиентура куда обширнее, чем этого хотелось бы некоторым пророкам экономического чуда, любой знает, что он вовсе не изверг, а просто судебный исполнитель, руководствующийся решениями суда, хотя порой и прибегающий к содействию полиции, однако тот же Груль никогда на него не обижался. Груль подтвердил это выкриком с места: «Верно, Губерт, я на тебя никогда не обижался», за что и получил замечание от Штольфуса. Тут речь не о состоянии войны, а об отношении между охотниками и дичью, причем охотник должен прибегать к таким же уловкам, как и дичь, но у дичи положение более выгодное, если только ей хватает смекалки, ибо она не связана никакими законами и предписаниями, тогда как он, Халь, то есть охотник, находится под неусыпным контролем и должен держать ухо востро. В ответ на еще более резкое требование Штольфуса говорить только по существу дела и не «злоупотреблять весьма спорными метафорами» Халь, как впоследствии рассказывал Грельберу Бергнольте, извлек из кармана «неслыханно грязную, чудовищно смятую и уж во всяком случае не внушающую доверия записку» и зачитал по ней некоторые данные.

Из-за одних только пени, не считая издержек по описи, напоминаний и прочих почтово-телеграфных расходов, задолженность в 300 марок через семь лет возрастает до 552 марок, а через десять — до 660, то есть

значительно больше, чем в два раза. Когда речь идет о более крупных суммах — что в ряде случаев имело место у Груля, — к примеру, о сумме в 10 000, то таковая за десять лет возрастает до 22 000 марок. А если прибавить к этому штрафы за подачу неверных сведений, что тоже в ряде случаев имело место у Груля, ибо он не только не платил налогов, но и старался всеми правдами и неправдами уклониться от их уплаты, — тогда, ну, тогда, конечно... Халь испустил протяжный, очень протяжный вздох, этим вздохом, по позднему утверждению того же Бергнольте, «пропах весь зал». Особую категорию начислений составляют издержки по описи имущества и по напоминаниям, продолжал Халь. Размер их зависит от того, как часто высылаются напоминания и как часто производится опись. Существуют такие вздорные заимодавцы, которые, отлично зная, что с данного должника «нечего взять», тем не менее пытаются получить санкцию на все новые и новые описи, чем бессмысленно увеличивают размер долга; нагляднее всего это можно наблюдать на малых суммах, ибо минимальный расход по описи составляет одну марку, по напоминанию — восемьдесят пфеннигов, добавьте к этому почтово-телеграфные расходы и вы увидите, что за несколько лет долг в пятнадцать марок играючи вырастет в два-три-четыре раза. Возьмем, к примеру, случай с вдовой Шмельдера, муж ее, как известно, был кельнером и пользовался очень дурной славой, — так вот эта самая вдова... Председательствующий перебил его и попросил вернуться к делу Груля и говорить о «вменяемом в вину Грулю отказе от выполнения судебных решений», но на это Халь отвечал, что здесь нельзя говорить об отказе от выполнения в чистом виде, ибо Груль действует гораздо искуснее: он последнее время брал плату только натурой, каковая с трудом поддается конфискации, будучи же конфискована, доставляет судебному исполнителю одни лишь неприятности: так, например, Груль взял с одной крестьянской семьи двадцать килограммов масла за реставрацию буфета и восемнадцать из них сдал ему, Халю, при конфискации, он же, Халь, как дурак на это согласился, а ночью ударила гроза, все масло «раз — и прогоркло», и не просто упало в цене, но вообще потеряло всякую цену, а Груль еще пригрозил подать на него в суд за «халатное хранение конфискованных ценностей», аналогичный случай произошел и с окороком ветчины.

И еще один аналогичный факт: Груль по заказу нынешнего арендатора «Дурских террас», хозяина ресторана Шмитца, выполнил очень трудоемкую тонкую работу, точнее говоря, соорудил для зала ресторана высокоценную с художественной точки зрения мебель и панели, неизменно вызывающие восхищение всех посетителей, словом, заново отделал весь ресторан и стал утверждать, что это его подарок Шмитцу, старому другу, но этот номер не прошел — человек в положении Груля не имеет права делать такие дорогие подарки; тогда Груль поиному договорился со Шмитцем: он будет в течение двух лет ежедневно у него обедать на сумму в десять марок, что приблизительно равняется стоимости выполненной работы. Но из этой затеи тоже ничего не получилось, ибо человек, у которого наложен арест на имущество, попадает под действие закона о прожиточном минимуме, а прожиточный минимум отнюдь не предусматривает обедов стоимостью в десять марок; Груль и тут не растерялся и выговорил для себя и своего сына «трехразовое питание: завтрак, обед и ужин в течение двух лет». Шмитц проставил цену, не превышающую прожиточного минимума, но кормит их значительно лучше и даже посылает им обеды в тюремную камеру, что хорошо известно суду. Вдобавок Груль сократил фиктивный счет Шмитца еще на одну четверть, но и это, конечно, ему не поможет: найдутся понимающие люди, которые сумеют по достоинству оценить работу Груля, это не так сложно, как кажется. Однако, несмотря на все уловки и увертки Груля, *по-человечески* он, Халь, отлично с ним ладил: «Ведь и вам, господин доктор Штольфус, не доставило бы радости, если бы заяц на охоте подsunулся прямо под ваше ружье и ждал, когда вы его пристрелите».

Председательствующий еще раз сделал ему замечание за неуместное использование охотничьих терминов, которые «применительно к людям, а тем более к законодательным мероприятиям представляются ему весьма и весьма неуместными», после чего спросил, не имеют ли защитник и прокурор вопросов к свидетелю; прокурор более или менее внятно буркнул, что «сказанное вполне его удовлетворяет», а потом уже совсем невнятно пробормотал что-то о болоте и коррупции.

Неожиданный инцидент произошел при допросе следующего свидетеля, старшего финансового инспектора

Кирфеля, сообщившего, что его возраст — пятьдесят пять лет. Кирфель — кроткий, миролюбивый человек, — так же как и Халь, приготовился доказывать то, в чем, судя по его внешности, никто и не сомневался, а именно: он «не изверг». Всему округу было известно, что Кирфель любитель не только живописи, но и изящной словесности, что он — образец человеколюбия и незлобivosti, ходили даже слухи, хоть он и старался их опровергнуть, что он давал деньги из своего кармана иностранным рабочим, безнадежно запутавшимся в платежах по рассрочке, к тому же этим рабочим нередко грозила опись имущества за неуплату подоходного налога с приработка; давая деньги, он, конечно, не рассчитывал, что их когда-либо вернут. И надо же, чтобы Кирфеля, чье прозвище Добрый Ганс ни один человек еще не произнес с оттенком иронии, чтобы именно его после первых же слов Штольфус, спокойно пропустивший мимо ушей великое множество не идущих к делу отступлений, перебил с несвойственной ему резкостью, можно сказать, закричал на него тоном, не допустимым с точки зрения всех присутствующих, включая прокурора. Дело в том, что Кирфель начал свою речь словами: «Мы только выполняем свой долг». — «Долг? — закричал Штольфус. — Долг? В конце концов, все выполняют свой долг. Мне здесь не декларации нужны, а конкретные сведения!» Но тут, ко всеобщему удивлению, Кирфель обозлился и тоже закричал: «И я руководствуюсь законами, и я провожу их в жизнь. А вообще-то, — вдруг добавил он уже слабым голосом, — вообще-то говоря, я и сам знаю, что не кончил университета» — и... потерял сознание. Штольфус надтреснутым голосом принес свои извинения всем присутствующим, включая Кирфеля, и объявил перерыв, а Шроер побежал за своей женой, отлично знавшей, что надо делать в подобных случаях.

Шроер и Груль-старший — последний, не спросив разрешения, впрочем, даже прокурор не сказал ему ни слова — перенесли Кирфеля на кухню, где госпожа Шроер привела его в чувство с помощью компрессов из винного уксуса, прикладываемых к груди и к ногам. Штольфус решил было воспользоваться случаем и затянуться сигарой, но устыдился: он высоко ценил Кирфеля и был немало напуган его неожиданным взрывом, а посему поспешил на кухню, где госпожа Шроер, куда ее муж и Груль успокаивали Кирфеля, быстро

вытащила пирог из духовки и проверила его готовность с помощью шпильки. Штольфус еще раз извинился перед Кирфелем и уже в вестибюле перекинулся несколькими словами с Гермесом и Кугль-Эггером, после чего оба изъявили согласие не вызывать более Кирфеля как свидетеля. Кирфель пользовался безраздельной симпатией всех жителей округа, независимо от их политических и религиозных воззрений, такой популярности не снискал даже его отец, полицмейстер, и вообще ни один человек в Биргларе.

Когда стрелка часов подошла к половине пятого, заседание возобновилось и председательствующий заявил, что по ходатайству господина прокурора, который считает, что разглашение служебных тайн угрожает безопасности государства, он вынужден просить публику очистить зал; сейчас начнется допрос свидетелей — бывших начальников и бывших сослуживцев молодого Груля по армии. Собственно, этот призыв относился лишь к госпоже Гермес и молодому Хуппенаху. Госпожа Гермес не слишком огорчилась, ибо давно уже испытывала потребность в чашке кофе и в задушевной беседе со своей приятельницей, женой почтенного профессора; эта дама тоже была в числе заговорщиков, намеревавшихся с помощью всевозможных модернизмов взорвать католические студенческие союзы, и тоже принимала активное участие в подготовке бала в день св. Николая. По-настоящему огорчен был только молодой Хуппенах, что он и выразил в восклицании: «Вот те раз!» Уж очень ему хотелось поглядеть, как опростоволосятся обер-лейтенант Хеймюлер и фельдфебель Белау. Яростно протестуя — впрочем, этих протестов никто не слышал, — молодой Хуппенах покинул зал. Едва госпожа Гермес и Хуппенах вышли из зала, Штольфус заявил, что третий из присутствующих, Бергнольте, не может быть причислен к публике, поскольку он лицо должностное и находится здесь по делам службы. Ни защитник, ни прокурор против присутствия Бергнольте не возражали.

Первый из военных свидетелей, ефрейтор Куттке, вошел в зал с багровым лицом: после того как из комнаты для свидетелей вызвали последнего гражданского свидетеля, то есть инспектора Кирфеля, между обер-лейтенантом, фельдфебелем и Куттке вспыхнул жаркий диспут, в ходе которого последний громогласно, но,

впрочем, довольно-таки унылым голосом принялся защищать свою так называемую «сексуальную свободу». Умственные завихрения Куттке неожиданнейшим образом заставили фельдфебеля встать на сторону обер-лейтенанта; выражение «сексуальная свобода» привело его в ярость, лично он формулировал эту проблему иначе: «Все, что ниже пояса, министру обороны не подчиняется», но обер-лейтенант оспаривал его формулировку на том основании, что бундесверу нужен *весь* человек, с головы до пят, а не отдельные его части. Куттке же утверждал, что, как солдат бундесвера, он не только не (это двойное отрицание и стяжало ему впоследствии славу мыслящего человека) вступает в противоречие с христианской моралью, но что сама эта мораль, столь рьяно защищаемая господином обер-лейтенантом, уже две тысячи лет безропотно мирится с борделями, а он, Куттке, положил себе за правило обращаться с потаскухой, как с потаскухой (в ходе диспута выяснилось, что он уже договорился с Зейферт на следующую субботу). Вот почему он вошел в зал с багровым лицом, а поскольку он воспламенился душой и телом, у него ко всему еще запотели очки и ему пришлось надеть их не протерев, так что при входе в зал он споткнулся, но сумел выпрямиться, затем занял свое место. (Вечером, в разговоре с Грельбером, Бергнольте заметил, что Куттке отнюдь не производит впечатления образцового солдата, и это побудило Грельбера, в свою очередь, связаться по телефону с командиром части, где служил Куттке, майором Трёгером, и спросить, зачем они берут типов вроде этого Куттке, на что Трёгер ответил: «Мы берем, что дают, выбирать нам не из чего»). Куттке, низкорослый, хилый, subtilный, походил скорее на расторопного провизора, недовольного тем, что ему приходится торговать патентованными средствами. Куттке назвал свой возраст — двадцать пять лет, свою профессию — военный, звание — ефрейтор. На вопрос Штольфуса, сколько он прослужил в армии, последовал ответ: «Четыре года». Как же это он не дослужился до более высокого звания? Он дослужился до унтер-офицера, но был разжалован в связи с одной неприятной историей узкобундесверовского значения; на вопрос, что это за история, Куттке попросил позволения коротко охарактеризовать ее как «историю узкобундесверовского значения, в которой замешана женщина и лица различ-

ных воинских званий», больше он ничего добавить не может. Когда Штольфус еще спросил его, почему он пошел в бундесвер, Куттке отвечал, что сдал экзамены на аттестат зрелости, начал изучать социологию, но потом, прикинув возможности заработка в рядах бундесвера и учтя не слишком изнурительный темп работы, решил прослужить по меньшей мере двенадцать лет; в тридцать три года он демобилизуется, получив кругленькую сумму — а можно и самому поднакопить за это время, — и откроет тотализатор.

Штольфус, непонятно почему, не перебивал его, во время последующего изложения несколько раз качнул головой, несколько раз сказал «гм, гм» и «так, так» и продолжал слушать, не замечая ни отчаянных жестов Бергнольте, который сидел позади свидетеля, ни прокурорского постукивания карандашом по столу. Ему хотелось бы, разъяснял Куттке, популяризировать в Федеративной Республике идею собачьего тотализатора, ибо в связи «с неуклонной автоматизацией производства и неизбежным при этом сокращением рабочего дня» «федеративный житель», как выразился Куттке, «нуждается в новых стимуляторах»; идея старого тотализатора и лото давно себя исчерпала, да и вообще, по его мнению, игра с цифрами недостаточно насыщена магией, не говоря уже о мистике, а потому он считает необходимым занять мысли «федеративного жителя» чем-то другим. Куттке, снова «став самим собой», казался теперь толковым, но несколько заучившимся гимназистом, которого поймали за недозволенным занятием. Прежде чем его наконец прервал председательствующий, он успел сообщить суду, что пребывание в рядах бундесвера содержит как раз ту дозу концентрированной скуки, к которой тяготеет его душа, а если прибавить к скуке почти ничегонеделание, жалованье и кругленькое выходное пособие — это его вполне устраивает; он высчитал, что, помимо жалованья, обмундирования, квартиры, питания, отпуска и прочего, каждый день просто так, за здорово живешь, приносит ему десять марок выходного пособия. Он даже питает надежду, продолжал Куттке, что известное психологическое предубеждение, возникшее в связи с причиной его разжалования, рано или поздно исчезнет и тогда он, как и было задумано, начнет свою офицерскую карьеру, сможет рассчитывать на заслуженное продвижение, а поскольку он в дальнейшем намерен жениться и верит, что Бог «благословит его детьми», то,

отслужив двенадцать лет, он выйдет в отставку тридцатилетним женатым капитаном с двумя детьми и при выходе «положит в карман» почти восемьдесят одну тысячу пособия; в таком случае его дополнительный ежедневный доход возрастет до восемнадцати — девятнадцати марок, а пособие, как таковое, принесет ему ренту в пятьсот марок ежемесячно; отец у него банковский служащий, так что он, Куттке, может рассчитывать на предельно выгодное помещение капитала, а когда человеку тридцать два года, он еще совсем не стар и может начать новую жизнь с такой жировой прокладочкой, какую не нагуляешь на любой другой службе. Кроме того, он собственным умом дошел, что скука и ничегонеделание — лучшие, разумеется за исключением некоторых препаратов, эротические стимуляторы, а эротические, они же сексуальные, впечатления весьма его занимают. Женщина, заявил Куттке, — это континент наслаждений, еще недостаточно исследованный в странах западной цивилизации, другими словами — угнетенный, другими словами — недооцененный.

Тут Штольфус его прервал и попросил хотя бы вкратце рассказать, какого он мнения о Груле, которого, без сомнения, узнал в одном из обвиняемых. Куттке обернулся к Грулю-младшему, поглядел на него так, будто только сейчас его увидел, хлопнул себя рукой по лбу, будто только сейчас понял, зачем его сюда пригласили, после чего воскликнул: «Ну еще бы, Георг, старина!» — и, обратясь к председателю, сообщил, что Груль был «товарищ хоть куда», да жаль, не любил участвовать в беседах на сексуальные темы, наверно, «из-за сугубо католического воспитания», которое он, Куттке, считает абсолютно неправильным; он, правда, сам получил не лучшее воспитание, но только сугубо протестантское, ханжества в нем тоже хоть отбавляй, но все-таки... Здесь Штольфус вторично его прервал уже более резким тоном и предложил давать показания по существу; ну что ж, сказал Куттке, он может еще раз повторить: Груль был очень хорошим товарищем, но относился к этому «делу» слишком всерьез, эмоционально «страдал» от него. На вопрос, про какое дело он говорит, Куттке, получивший еще одно замечание за неуместную развязность, пояснил: разумеется, про эту тягомотину. Страдание в данной ситуации — категория бессмысленная, но Груль, представьте, *страдал*

из-за этой «тетралогии абсурда», то есть бессмысленности, бесплодности, скуки и лени,— всего того, в чем лично он, Куттке, видит *единственный смысл* существования армии. Тут Штольфус обозлился и даже прикрикнул на свидетеля, что пора наконец перейти к делу и не докучать суду своей доморощенной философией. Куттке щелкнул каблуками — не настолько демонстративно, чтобы это можно было принять за оскорбление суда, но достаточно молодцевато — и уже совсем другим голосом отрапортовал: «Отличный товарищ. Надежен. Готов на любой бесчестный поступок. Приносил кофе, делил хлеб, масло и колбасу тоже, всегда был исполнен альтруизма — другими словами, братских чувств. Страдал от бессмысленности, в чем не было никакой нужды, ибо, если взять ничто плюс ничто плюс ничто, все равно ничто и получится».

Защитник, обвиняемые и даже протоколист Ауссем, переставший по кивку председателя заносить в протокол высказывания Куттке, слушали его, затаив дыхание. Бергнольте, который сидел позади защитника и обвиняемых, так что видеть его могли только Штольфус, Кугль-Эггер и Ауссем, сперва просто качал головой, потом вдруг отчаянно замахал руками, призывая Штольфуса прервать допрос, но Штольфус игнорировал его сигнализацию, равно как и постукивание — под конец уже неприлично громкое постукивание прокурорского карандаша. Тут Кугль-Эггеру, чье громкое покашливание скорее смахивало на подавленное проклятие, удалось перебить Куттке и медоточивым голосом вставить вопрос, не страдает ли свидетель каким-нибудь заболеванием — имеется в виду нервное заболевание. Куттке обернулся к нему и с видом, который Ауссем вечером того же дня в доверительной беседе охарактеризовал как безмятежный, ответил, что у него хроническая неврастения, чем, надо думать, страдает и сам господин прокурор. (Свидетелю сделали замечание еще раньше, чем прокурор успел об этом попросить.) А теперь он, Куттке, позволит себе высказать гипотезу, что у его «бывшего товарища» Груля нервного заболевания нет и не было и что именно поэтому он и «страдал». Но одно он хочет подчеркнуть, и это «одно» засвидетельствовано рядом врачей, светил и не-светил: невменяемым его, Куттке, не признали, а это всего важнее, поскольку он подал заявку на открытие тотализатора, чего нет, того нет, ну а разница между...

Здесь Штольфус сжалился наконец над Бергнольте, так как бедняга начал в тоске ломать руки, и прервал Куттке, заявив, что больше вопросов к нему не имеет. Тогда Гермес спросил свидетеля, что послужило причиной той командировки, которая и является предметом данного разбирательства. Куттке вдруг сделался необычайно конкретен. Он сказал, что сам «подсиропил» Грулю эту командировку, потому что хорошо к нему относился. Он, Куттке,— в этом и заключаются обязанности унтер-офицера — своего рода бухгалтер по транспортной документации в армейском автотопарке, и не просто бухгалтер, а ответственный за боевую готовность всех транспортных средств, что может подтвердить и его непосредственный начальник, фельдфебель Белау. В число его обязанностей входит также своевременная подготовка транспортных средств к инспекторским осмотрам, другими словами — к очередной инспекции спидометры должны показывать требуемый километраж. Но из-за этого, продолжал Куттке, говоривший теперь размеренно, спокойно, четко и обращавшийся исключительно к защитнику, из-за этого порой случаются всякие неувязки, ибо некоторые машины поступают в распоряжение части позже, чем было запланировано, другими словами, позже, чем было обещано, а осмотр производится в точные сроки, и если его прозеваешь, неизвестно, когда он будет назначен снова; поэтому нам приходится «выгонять машины на шоссе и накручивать километры».

Понимают ли господа присутствующие, что он хочет сказать? Здесь Куттке с неслыханной элегантностью повернулся всем торсом одновременно к Штольфусу, Кугль-Эггеру и Гермесу. Все трое недоумевающе переглянулись, и Штольфус, который не раз во всеуслышание заявлял, что ничего не смыслит в автомобилях, пожал плечами. Хорошо, сказал Куттке, и его вздох вполне можно было истолковать как сострадательный, попробую пояснить на конкретном примере: случается, что машина, на которой еле-еле наездили тысячу километров, не далее чем через неделю должна предстать перед инспектором как прошедшая не менее пяти тысяч километров. Вот и приходится сажать кого-нибудь в эту колымагу, чтобы он нагнал недостающие километры. Такую работу, сказал Куттке, он чаще всего поручал Грулю, потому что Груль лихо водит машину и вдобавок очень скучал, так как ему с утра до вечера приходилось торчать в столярке, заново полируя мебелишку для офи-

церских кисочек и унтер-офицерских кобыл. Штольфус спросил Куттке, может ли тот в случае надобности клятвенно подтвердить, что говорит правду относительно характера командировки, это чрезвычайно важно для правильной оценки поступка, совершенного Грулем. Куттке ответил, что он всегда говорит: жратву, чистую жратву, и ничего кроме жратвы, но прежде чем председатель успел сделать ему замечание, прежде даже, чем смысл этой чудовищной обмолвки дошел до слушателей, Куттке исправил свою ошибку и принес извинения — он просто оговорился, он отлично знает, как звучит клятва, он хотел сказать: «Правду, чистую правду, и ничего кроме правды», — только его, пояснил Куттке с неподдельным, почти детским смущением, всю жизнь сбивали с толку звуковые ассоциации и поэтому он роковым образом всегда путал правду и жратву, у него и в школе из-за этого бывали неприятности, на уроках родного языка, но, по счастью, учитель... Здесь Штольфус прервал его и, даже не спросив согласия прокурора и защитника, разрешил ему удалиться. Прокурор и защитник постфактум выразили свое согласие. Свидетелю Куттке, который, уходя, кивнул Грулю-младшему и крикнул «салют», предложили немного задержаться в свидетельской комнате — на случай, если суд сочтет нужным его вторично вызвать. Штольфус объявил получасовой перерыв и добавил, что и после перерыва публика в зал допущена не будет.

Агнес Халь получила цветы около половины четвертого; она покраснела от радости, щедро дала на чай девушке, которая их принесла, и лишь тогда вспомнила про дыру, прожженную в ее новом шелковом платье терракотового цвета; дыра была величиной с пуговицу для мужской сорочки, и, растянув ткань на коленях, Агнес рассматривала ее даже с некоторой нежностью — ни дать ни взять цветочек с черной каймой. Выкурив за составлением завещания вторую сигарету, Агнес безудержно отдалась во власть тех сил, которые в среде специалистов именуется «эмоциями»; для того чтобы завещать Грулю все движимое и недвижимое имущество, понадобилось лишь несколько слов; трудней оказалось сформулировать единственное условие: «ежегодно 21 января в день св. Агнес сжигать джип, принадлежащий бундесверу, желательно на том месте, которое называет-

ся в народе Кюпперово дерево, служа огненную литургию в память неизвестного солдата, который два дня был моим возлюбленным и пал во второй мировой войне». Поскольку Хали, Хольвеги и все эти Шорфы наверняка будут оспаривать законность завещания, придется ей получить свидетельство у психиатра, удостоверяющее, что в момент составления такового она находилась в твердом уме и здравой памяти. Она несколько раз зачеркивала трудную фразу, после слова «бундесверу» вставила «или преемственной организации», в половине пятого собрала все записи и вышла из дому, так и не переменяв платья. Агнес побывала на почтамте, в цветочном магазине, на кладбище, у фамильного склепа Халей, где покоились и родители Штольфуса.

Эту гробницу из черного мрамора охраняли два гигантских бронзовых ангела в благородных позах. Она обошла вокруг церкви, двинулась по главной улице, вошла в телефонную будку, вызвала такси, приехавшее ровно через две минуты, наказала шоферу, молодому человеку, видимо не из здешних, свезти ее к Кюпперову дереву и объяснила ему, как туда ехать; поездка заняла примерно три минуты; у Кюпперова дерева она вышла из машины, велела шоферу подождать и, кстати, развернуться; был теплый и — что редкость в октябре — ясный день; она окинула взглядом проселок, увидела камень, на котором, должно быть, сидели оба Груля, окинула взглядом ровные поля репы — ее уже убирали, — вернулась к такси и велела отвезти себя к зданию суда. Поля с обильной зеленой ботвой, голубовато-серое небо над ними — красно-черное пламя хоть раз в году оживит это томительное однообразие.

Она вошла как раз в ту минуту, когда Шроер, согласно предписанию, закрывал изнутри двери зала, сквозь застекленную створку он кивком и пожатием плеч выразил свое сожаление, затем быстрым движением большого пальца показал ей на свою квартиру. Между супругами Шроер и Халь существовали близкие, даже дружеские отношения, ибо Агнес Халь — хоть и не каждый день, но по крайней мере три-четыре раза в неделю — присутствовала на судебных заседаниях, а в перерывах или когда публику просили удалиться из зала нередко сживала на кухне за чашкой кофе и развлекалась беседой с госпожой Шроер. Сегодня ей пришлось для начала выразить свой восторг по поводу на редкость удачного пирога, в какой-то госпожа Шроер, чтобы лиш-

ний раз доказать свое кондитерское искусство, вторично воткнула шпильку и без малейшего следа «липучки» — как она это называла — извлекла ее обратно. Госпожа Шроер подробно рассказала Агнес о горестях старшего Кирфеля и обмороке младшего; обе женщины, закулив сигареты, потолковали немного о том, что лучше употребить в таких случаях — камфару или уксус; госпожа Шроер придерживалась мнения, что это зависит от «типа больного», прежде всего — от его кожи; так, например, она никогда не рискнула бы натирать камфарой кожу младшего Кирфеля, то есть кожу рыжеволосого человека, хотя волосы у него с годами и потемнели: это может вызвать крапивницу; но вот ее кожу — и она с восхищением взглянула на Агнес Халь — она, без сомнения, натерла бы камфарным маслом; заметив дыру на платье Агнес, она сказала, что это бог знает что такое и она будет рада, когда Грулей заберут отсюда, из-за них происходит слишком много конфликтов. Должно быть, Агнес уже известно о последних событиях, и когда та ответила, что пока еще нет, госпожа Шроер посвятила ее в тайну беременности Евы Шмитц; чуть не плача, умоляла она Агнес пустить в ход все свое «немалое влияние» на Грулей, чтобы не выплыло на свет, что это произошло в тюрьме, иначе ее муж погиб, и Штольфус тоже, да и ее самое могут засудить за сводничество при отягчающих обстоятельствах: Халь пообещала — и при этом ласково положила руку на плечо госпожи Шроер — сделать все, от нее зависящее, чтобы уладить эту историю; она переживает с Гермесом, впрочем, у нее и без того есть к нему разговор.

Искусно вернув беседу в русло «случаи обмороков во время «судебных заседаний», она подивилась обширным познаниям госпожи Шроер, особы рыжеволосой, с яркосиними глазами, луковично-желтой кожей и толстыми ногами, за что биргларцы и наградили ее прозвищем Валек. Госпожа Шроер уверяла, что в случае надобности не побоится даже сделать укол, ведь когда публику удаляют из зала, как раз и происходят самые невероятные инциденты, случаются, конечно, и заурядные истерические припадки, но их она лечит просто — пощечинами, тем не менее доктор Хюльфен даже показал ей, как в случае надобности сделать вливание, хотя бы и внутривенное.

На вопрос, как чувствует себя в данную минуту Кирфель-младший, она отвечала, что он чувствует себя

лучше, но пойти сегодня на службу не сможет. Обе женщины подробно обсудили достоинства семьи Кирфель, безупречные репутации отца и сына, поговорили об «обворожительной жене младшего Кирфеля» и о том, что было бы недопустимым расточительством, можно сказать, «позором», если бы младший Кирфель стал священником. Тут их беседу прервал Шроер, пришедший сообщить о перерыве. Когда он вешал над очагом ключи от камер и решеток, вид у него был торжественный, а выправка почти военная; он налил себе кофе и поставил на стол чашку без блюдца, жена немедленно призвала его к порядку и заодно упрекнула в легкомыслии: уж слишком он легко относится к беременности Евы, да и вообще — в голосе госпожи Шроер зазвучали металлические нотки — он ко всему относится слишком легкомысленно, что и сказалоь на его медленном, просто черепашьем, продвижении по службе. Момент показался Халь наиболее подходящим для того, чтобы откланяться: она побаивалась острого язычка госпожи Шроер, ибо та, входя в азарт, не скупилась на самые интимные намеки. Агнес условилась со Шроером, что он ей позвонит, как только в зал снова допустят публику, а она надеется, что это произойдет еще до речей защитника и прокурора. Выходя из здания суда, она успела увидеть, как Штольфус с Ауссемом поднимаются на второй этаж. Ей удалось поймать Гермеса, прежде чем тот вошел в одно из двух новомодных биргларских кафе на главной улице. Она с огорчением про себя отметила, что еще ни разу не побывала ни в одном из них. То кафе, куда они вошли с Гермесом и оглядывались в поисках свободного столика, было огромных размеров, но переполнено, несмотря на ранний час, причем не школьниками, а крестьянками из окрестных деревень, уплетавшими пирожные; Халь, нигде не бывавшая и вообще редко выходившая из дому, не без удивления отметила, что их тяжелая стать, знакомая ей со времен молодости, со времен танцулек и крестных ходов, осталась такой, как прежде. Она последовала за Гермесом, который бережно взял ее под руку, растерянно заказала шоколад и достала из сумки наброски завещания. С неудовольствием, так как он собирался во время перерыва подготовиться к речи, Гермес выслушал Агнес Халь — он называл ее «тетей» — и все прикидывал, в который же это раз она показывает ему очередной вариант завещания — в одиннадцатый или в двенадцатый.

Бергнольте решил совершить небольшую прогулку, сперва он шел быстрым шагом, так как боялся, что не успеет за полчаса обойти по намеченному плану старый центр Бирглара, затем он пошел медленнее, когда понял, что старый центр города, а именно: церковь, кладбище, западные и восточные городские ворота, средневековую ратушу, в которой разместился ныне штаб бундесвера, он уже обошел, другими словами — осмотрел за двенадцать минут; правда, оставался еще прелестный маленький мост через Дур с реставрированной статуей св. Непомука — не совсем обычным, на его взгляд, для данной местности мостовым украшением, черные стрелки, указывавшие на римские термы, не сбили его с пути, но, поскольку оставалось еще добрых пятнадцать минут, а желания завести разговор со Штольфусом и Кугль-Эггером у него не было, он внял зову красных стрелок, посуливших ему «госпитальную церковь XVII века», отыскал эту церковь быстрее, чем предполагал, вошел в нее и, к своему удивлению, заметил, что, несмотря на двадцатилетний перерыв, почти автоматически совершает положенный ритуал: он окунул руку в святую воду, осенил себя крестным знаменем, мимолетно преклонил колена перед алтарем, постарался ступать бесшумным шагом, ибо заметил двух женщин, молящихся перед Скорбящей Богородицею; из достопримечательностей — ничего, кроме старинной, окованной железом кружки для бедных да вполне современного голого алтаря.

Когда медленным шагом — у него оставалось почти семь минут — Бергнольте возвращался в суд, по тому же мосту, мимо той же статуи Непомука, которая отчего-то, он не мог бы объяснить, отчего именно, казалась здесь неуместной, он решил гораздо энергичнее возражать жене, сегодня утром за завтраком выразившей желание, чтобы их перевели в «какое-нибудь укромное гнездышко вроде Бирглара». Больше всего его отталкивали грязные немощные улицы, начинавшиеся сразу же за старым центром. Ну, конечно, есть здесь несколько патрицианских домов, красивых и старинных, и, конечно, он сумеет настоять — если уж даст свое согласие на перевод, — чтобы его, как преемника Штольфуса, сразу же назначили председателем суда, и все же... и все же его сюда не тянет. После того как он еще раз посетил один из пресловутых судебных туалетов и снова вышел на школьный двор, он нос к носу столкнулся с обер-лейтенантом

Хеймюлером, который в самом мрачном расположении духа прохаживался под деревьями. Бергнольте ему представился, назвал свое имя и занятие — «инспектирующий чиновник судебного ведомства», покачав головой, заговорил о Куттке и заодно постарался выяснить, чего следует ожидать от показаний фельдфебеля. Обер-лейтенант поверил, что доброжелательство Бергнольте вполне искренне, и, признательный за доброе отношение, со вздохом сказал, что у Куттке бывают нелепейшие завихрения, согласился, что Куттке «в общем невозможный тип», сумел за несколько оставшихся минут развить свою любимую теорию об «элите чистоты», заставив Бергнольте удивленно вскинуть брови. А потом успел еще спросить, долго ли ему придется ждать, пока его вызовут, он, конечно, как и все солдаты, приучен ждать, но все-таки... Бергнольте его успокоил, заверив, что после перерыва он будет вызван минут через двадцать самое большее.

После перерыва, еще не входя в зал заседаний, Штольфус сумел уговорить Гермеса не вызывать в качестве свидетеля некоего Мотрика, антиквара. Ведь в способностях Груля и без того никто не сомневается, так пусть Гермес — здесь Штольфус понизил голос и не без горечи улыбнулся — оставит всякую надежду затянуть ход процесса более чем на один день, ибо это не имеет никакого смысла. Поджог, саботаж, сказал он уже в дверях, меньше чем четырем-пятью годами его подзащитные не отделаются. Неужели ему, Гермесу, так уж нужно устраивать рекламу Грулям? Гермес смиренно отказался от свидетеля Мотрика, который, не желая входить в эту «занюханную комнату для свидетелей», ждал в коридоре. Когда Гермес извинился за то, что они зря его побеспокоили, Мотрик, длинноволосый и не очень молодой человек в верблюжьем пальто и замшевых перчатках, воскликнул: «Вот паразиты!» — так что стало ясно — это слово не из его повседневного лексикона. Даже когда он шел к машине, зеленому «ситроену», ему все равно не удалось придать своим шагам то «безграничное презрение», которое он хотел ранее выразить в крепком слове: уж слишком он походил на человека, который тщетно старается выглядеть суровым и непреклонным.

Следующих двоих свидетелей — обер-лейтенанта Хеймюлера и фельдфебеля Белау — допрашивали по отдельности; но допрос, против ожидания, прошел гладко, без каких бы то ни было сенсаций. Белау, вызванный сразу после перерыва, был корректно одет и корректно держался, он сообщил свой возраст — двадцать семь лет, занятие — военный, звание — фельдфебель; в точных выражениях подтвердил высказывания Куттке: да, он, Белау, ведает транспортными средствами части, да, Куттке его непосредственный подчиненный и выполняет точно те же обязанности; подробное объяснение разницы между званием и должностью, которое казалось Белау необходимым в свете того факта, что ефрейтор Куттке выполняет одинаковые с ним обязанности, было вежливо отвергнуто Штольфусом, поскольку «эта разница всем понятна». На вопрос защитника Белау подтвердил «накручивание километров», которое лично он назвал «подгонка спидометра», и, не дожидаясь вопроса, добавил, что хотя Куттке, возможно, и «показался несколько странным», но в отношении службы на него грех пожаловаться, и если их часть считается образцовой по состоянию автотопарка и неоднократно отмечалась в приказах, то здесь немалая заслуга принадлежит Куттке.

Такая объективность Белау вызвала одобрительные кивки Бергнольте и Ауссема. На вопрос, часто ли в моторизованной части «подгоняют спидометр», Белау отвечал: два-три раза в год. На вопрос прокурора о Грулемладшем Белау ответил, что ревностным служакой его, конечно, не назовешь, но таких в бундесвере вообще почти не встретишь, во всяком случае смутьяном он не был, скорее был всегда угрюмо-равнодушным, несколько раз он опаздывал из отпуска, за что на него и налагались взыскания, но ведь преступлением это не назовешь, это, так сказать, в порядке вещей. Белау, который держался здесь совершенно иначе, чем в комнате для свидетелей и в пивных, оставил по себе хорошее впечатление. Он был деловит, корректен, без излишней молодцеватости; его предупредили, что в случае надобности он будет вызван вторично.

После того как Белау ушел и в зал пригласили обер-лейтенанта Хеймюлера, защитник д-р Гермес в самой любезной форме опротестовал удаление публики, он подчеркнул, что удалили фактически только его жену, которая, будучи его правой рукой, как юрист по образованию,

и без того в курсе всех судебных дел и, разумеется, знает, что такое профессиональная тайна, да еще молодого фермера Хуппенаха, который точно так же в курсе всех дел, поскольку он в одно время и в одной части с Грулем отбывал воинскую повинность; но главное — и тут он с ироническим видом указал на пустующие места в зале, — главное, здесь шла речь о предметах, составляющих не столько военную, сколько административную тайну, а это как раз и может привлечь интерес публики, ибо тут дело не в разглашении стратегической или тактической тайны, а в разоблачении абсурдности администрирования вхолостую. Хотя Хеймюлер уже вошел в зал и скромно дожидался, когда к нему обратятся, Штольфус обстоятельно разъяснил защитнику, что явления, квалифицированные им, защитником, как «абсурдность администрирования вхолостую», как раз еще и не созрели для гласности: государство имеет право — и он, Штольфус, по представлению прокурора воспользуется этим правом — не посвящать посторонних в неизбежную порой работу на холостом ходу, поскольку таковая отнюдь не выражает сути дела, а является всего лишь приводящей печальной необходимостью. Во всяком случае, он не может удовлетворить требование господина защитника допустить публику в зал заседаний. Затем он предложил обер-лейтенанту Хеймюлеру пройти вперед, извинился перед ним за непредвиденную задержку, так как мотивы, вызвавшие ее, обнаружились уже после вызова свидетеля. Хеймюлер указал свой возраст — двадцать три года, занятие — военный, звание — обер-лейтенант войск связи; не дожидаясь вопроса, он сверх того указал и свое вероисповедание — римско-католическое.

Это дополнительное сообщение, сделанное чрезвычайно энергичным голосом, вызвало среди присутствующих законовевдов некоторую растерянность, они переглянулись, и председательствующий быстрым шепотом предложил протоколисту Ауссему вычеркнуть из протокола эти лишние сведения. Ауссем позднее говорил, что голос Хеймюлера, когда тот заявил о своей принадлежности к римской церкви, звучал «как хлопанье знамени на сильном ветру». Обер-лейтенант, во время своего выступления неоднократно бросавший почти трагические взгляды на молодого Груля, по сути подтвердил все, что было сказано Белау о свойствах Груля как солдата, хотя и в других выражениях. Он признал его «на редкость одаренным», а на вопрос защитника, в какой области,

уточнил: «одаренным солдатом». Тут Груль-младший громко рассмеялся, но вместо замечания ему пришлось выслушать пространное разъяснение обер-лейтенанта, который напомнил, как он, Груль, помогал ему, обер-лейтенанту, во время маневров разрабатывать и вычерчивать схемы расположения точек связи, после чего Груль, ни у кого не спросясь (за что он позднее получил замечание), вмешался и заявил, что все это — абстрактные забавы, не лишённые своеобразной, можно даже сказать, художественной привлекательности. Ведь в конечном счете искусство — таково его философское убеждение — и заключается в умении разделять единое ничто на множество упорядоченных ничтожностей, а составление и вычерчивание планов имеет свою графическую привлекательность.

Увидев, что семи еще нет, следовательно, заседание можно будет закончить к восьми, и почувствовав даже некоторую гордость от того, что заседание, несмотря на все неожиданные и порой досадные срывы, протекало по заранее намеченному плану, Штольфус набрался терпения и прервал молодого Груля лишь тогда, когда тот и сам уже заканчивал свои объяснения. Обер-лейтенант продолжал давать оценку молодому Грулю, назвал его «солдатом толковым, исполнительным, но злостно равнодушным»; вел себя Груль в общем и целом неплохо, правда, несколько раз, «а точнее, довольно часто, еще точнее — пять раз», опаздывал из отпуска, «из них три раза — на довольно значительный срок», за что и понес заслуженное наказание. На вопрос защитника, кем был Груль в день «происшествия» — солдатом или штатским, — Хеймюлер отвечал, что в «момент совершения проступка» Груль был де-факто солдатом, де-юре — штатским, и бундесвер — он еще раз снесся со своим начальником и получил от него вторичное тому подтверждение — не выступает здесь в качестве потерпевшего, а следовательно, не собирается наказывать Груля по военным законам. Уже впоследствии выяснилось, что из-за ошибки в расчетах — а такие ошибки неизбежны — Грулю, который в это время уже подлежал увольнению из рядов бундесвера, полагался дополнительный отпуск, чтобы он мог навестить отца, больного тяжелой формой бронхита, но ему по ошибке оформили эти четыре дня как очередной отпуск, следовательно, де-факто к «моменту совершения проступка» Груль уже был штатским.

А не намереваются ли представители бундесвера, спросил защитник, обвинить Груля в незаконном ношении формы и в незаконном использовании армейской машины — ибо юридически Груль повинен в этих двух проступках, и для выяснения правового момента здесь необходимо, пусть даже чисто формальное, разбирательство. Обер-лейтенант не уловил иронии в словах защитника и объяснил подробно, серьезно и корректно, что Груль не отвечает за эти два действительно совершенных им проступка, во всяком случае вины Груля здесь нет, и он, обер-лейтенант, ничего не слышал о том, чтобы против Груля было возбуждено новое дело. На вопрос защитника о некоторых обстоятельствах, по поводу которых Куттке и Белау уже высказались почти одинаково, обстоятельствах, касающихся пресловутых командировок и накручивания километров, Хеймюлер отвечал утвердительно: да, такие командировки практиковались, потому что гораздо неприятнее передвинуть срок очередного осмотра, чем «нагнать нужный километраж». Защитник: «Можно поспорить о том, в какой степени уместно выражение «очередной» для подобного осмотра»; очередным — он сам автомобилист и в этих делах знает толк — бывает такой осмотр, когда машина естественным путем, то есть нормально, наезжает потребное для периодического техосмотра количество километров; а этот метод представляется ему — с вашего разрешения — абсолютно бессмысленным. Тут прокурор заявил категорический протест против рассмотрения не идущих к делу аспектов и казуистических вывертов со словом «очередной»: в такой организации, какой является бундесвер, превыше всего стоит аспект мобильности и боевой готовности, и потому явная бессмыслица — судить о которой не подобает неспециалисту — оборачивается порой высоким смыслом. Такие случаи известны в любой организации, включая «судейскую».

На вопрос о некоторых деталях вышеупомянутой поездки Хеймюлер отвечал: да, Куттке и Белау предложили ему кандидатуру Груля, и он отправил Груля в пятидневную испытательную поездку одного, что хотя и не вполне соответствовало инструкции, не только не было запрещено, но даже поощрялось на деле. Как выяснилось впоследствии, Груль ехал по шоссе лишь из Дюрена до Лимбурга, затем он свернул к Рейну, направился по берегу Рейна домой и уже в шесть часов

вечера был у отца, где и оставался вплоть до совершения проступка.

Прокурор спросил Груля-младшего, что тот может сказать по поводу запротоколированных показаний, которые утверждают, что он загнал джип в пустой сарай и оставил его там на четыре дня, сам же все это время жил дома и помогал отцу в работе. Груль подтвердил верность показаний вдовы Лейфен и вдовы Вермельскирхен до мельчайших деталей, то же сделал и его отец; на вопрос защитника, подлежит ли Груль наказанию за уклонение от предписанного маршрута, Хеймюлер отвечал, что подлежать он, конечно, подлежит, вообще же на такие дела принято смотреть сквозь пальцы, а кроме того, задание у Груля было только одно — нагнать на спидометре нужную цифру, а в вопросе, куда ехать, ему хоть и не безоговорочно, но практически предоставлялась полная свобода действий; впоследствии судебная экспертиза, ознакомившись с вещественными доказательствами, то есть с остовом машины, установила, что на спидометре была цифра 4992. Этой цифры Груль добился таким путем: поставил задний мост на козлы и пустил мотор, а выхлопные газы выводил наружу через шланг; звук работающего мотора, хотя и видоизмененный непривычными акустическими условиями, то есть охапками сена и соломы, подтверждается как свидетельницей Лейфен, так и живущей по соседству свидетельницей Вермельскирхен.

Тот факт, что раньше на суде об этих подробностях не говорилось, председательствующий объяснил необходимостью соблюдать военную тайну. Идея поднять задний мост принадлежит Грулю-старшему, который в 1938—1939 годах на сооружении так называемого Западного вала ознакомился с этим способом и даже был одним из его исполнителей; начало свое этот способ берет в практике недобросовестных владельцев транспортных контор, которые в свое время таким образом взвинчивали километровые тарифы. Груль-старший и Груль-младший подтвердили и это, причем последний показал, что сознательно нагонял на спидометре цифру 4992, что цифра 4992 есть элемент композиции, а значение ее откроется в речи господина защитника. На вопрос о характере ефрейтора Куттке и достоверности показаний последнего обер-лейтенант отвечал, что хотя это может показаться неправдоподобным, однако ефрейтор Куттке выполняет все задания с предельной четкостью, почти пе-

дантично, что руководимое обер-лейтенантом подразделение неоднократно бывало отмечено в приказе за образцовое состояние автотопарка и это — заслуга Куттке, а если рассматривать Куттке как личность — ну, тут уважаемые господа, вероятно, и сами все поняли. Хеймюлер пожал плечами не столько раздраженно, сколько с искренним прискорбием и добавил, что лично ему видятся совсем другие принципы отбора солдат-кадровиков, но Куттке является солдатом по праву или, точнее, по закону, и тут уж к нему не придерешься. Ему, обер-лейтенанту, видится армия чистоты, армия добропорядочности, но здесь, пожалуй, не место излагать свою философию идеального воинства, председательствующий утвердительно кивнул, после чего взглянул на защитника и на прокурора — оба заявили, что обер-лейтенант Хеймюлер как свидетель им больше не нужен. Председательствующий поблагодарил молодого офицера и просил его передать своим подчиненным, что они тоже могут быть свободны.

Штольфус пригласил Кугль-Эггера и Гермеса для короткого совещания к своему столу и, даже не понизив голоса, спросил у них, что они предпочитают — объявить сейчас короткий перерыв или без перерыва приступить к допросу последнего свидетеля, профессора Бюрена, а потом объявить большой перерыв минут на тридцать — сорок, прежде чем приступить к заключительному акту: последнее слово подсудимых, речь защитника и оглашение приговора. Гермес заметил, что речь профессора может занять немало времени, а Кугль-Эггер недовольным голосом заявил, что вообще считает излишним допрос профессора-искусствоведа. После кратких переговоров со своими подзащитными (Груль-старший выразил мнение, что ужин им все равно подадут холодный, да и вино за это время не прокиснет) Гермес изъявил согласие безотлагательно заслушать свидетеля Бюрена. Штольфус подозвал Шроера и спросил, не может ли его жена, как уже не раз бывало, наскоро соорудить легкую закуску и сварить кофе, чтобы они могли подкрепить свои силы. Шроер отвечал, что жена его будто сердцем чуяла, какой сегодня предстоит «маршбросок», и потому в любую минуту готова выдать кофе, за пивом тоже дело не станет, имеются «даже сосиски и уж наверняка бутерброды, бульон, картофельный салат и — если я точно информирован — гуляш, правда, из консервной банки, и еще крутые яйца». Затем Шроер

спросил Штольфуса, который только одобрительно кивал головой, слушая это сообщение, можно ли вновь допустить в зал публику, другими словами, можно ли отпереть дверь. «Разве публика ждет?» — спросил Штольфус. «А как же, — отвечал Шроер. — Фройляйн Халь «очень интересуется исходом дела». Ни Кугль-Эггер, ни Гермес против открытия дверей не возражали. Даже Бергнольте, первый раз за все время дав понять, что его присутствие носит отчасти служебный характер, утвердительно кивнул.

Шроер открыл дверь, вошла Агнес и скромно села в последнем из четырех рядов. Она переделалась, теперь на ней была юбка из темно-зеленого твида и светло-зеленый жакет свободного покроя, отделанный по вороту и манжетам узкими полосками шиншиллы. Впоследствии шел спор о том, кивнул ли ей Штольфус, или же это спорное движение головой означало лишь «углубление» в дела, протоколист Ауссем утверждал, что в этом движении наличествовали элементы того и другого: он не может считать его «просто углублением» — оно выглядело недостаточно привычным, недостаточно автоматическим, но он не может и считать его просто кивком — оно выглядело недостаточно выразительным. Во всяком случае — и это он может сказать с уверенностью, ибо неоднократно наблюдал, как Штольфус углубляется в дела, — это не было и не могло быть «просто углублением». Шроер высказался позднее в том смысле, что это был кивок и только кивок, — он, слава богу, изучил все движения головы Штольфуса, а Гермес категорически отрицал «наличие каких бы то ни было элементов кивка». Агнес Халь, единственное лицо, которому, помимо вышеупомянутых господ, могло быть интересно это спорное движение, истолковала его исключительно как кивок, про себя еще снабдив его эпитетом «дружеский».

Выступление Бюрена в слабо освещенном зале суда было достойно не только более широкой, но самой широкой аудитории. Впоследствии между Ауссемом, преданным литературе, и Гермесом, равнодушным к подобным тонкостям, даже возник спор по поводу одной детали в описании бюреновской речи, причем Гермес энергично возражал против определения бюреновской речи, данного Ауссемом, который усмотрел в ней рассчитанную небрежность, тогда как Гермес утверждал, что понятие «небрежность» совершенно исключает «рассчитанность».

На это Ауссем, в свою очередь, возражал, что «небрежность» как раз и нуждается в «рассчитанности», а «рассчитанность» в «небрежности», подтверждением чему служит понятие «эффектность», «эффектность» совмещает в себе и небрежность, и рассчитанность, и если он не охарактеризовал выступление Бюрена как эффективное, то потому лишь, что это понятие представляется ему слишком затасканным, но все равно он остается при своем мнении: выступление Бюрена отличалось рассчитанной небрежностью. Никто из присутствующих, кроме Гермеса, которому уже приходилось несколько раз встречаться с Бюреном по данному делу, услышав, как вызывают «профессора», не ожидал увидеть ничего подобного. Даже оба Груля впервые за все заседание проявили признаки любопытства.

На Бюрене была горохового цвета куртка, а так как Гермес сказал ему, что ради такого случая следует надеть галстук, он завязал под горлом на гороховой же рубашке толстый золотой шнур из тех, которыми обвязывают коробки с рождественскими подарками. Брюки на нем были салатного цвета, туфли из редких кожаных ремешков, почти сандалии, зато его темные волосы были причесаны и подстрижены самым добропорядочным образом, и еще он был гладко выбрит и не носил бороды, а его здоровое смуглое лицо с «ласковыми собачьими глазами», по выражению Агнес Халь, лучилось добродушием. Хриплым голосом он сообщил о себе следующее: тридцать четыре года, женат, семеро детей, не состоит с обвиняемыми ни в родстве, ни в свойстве. По требованию защитника рассказал, что изучал разбираемое здесь «происшествие», более того, ознакомился со всеми показаниями, включая самые для него главные — показания коммивояжера Эрбеля. Впоследствии он узнал от господина защитника, что наиболее для него важные детали этого показания, занесенные в протокол, были позднее подтверждены служащими полиции в ходе сегодняшнего заседания. В показаниях Эрбеля описаны чрезвычайно любопытные элементы, так вот, нельзя ли ему задать подсудимым один вопрос.

Штольфус сказал: «Да, пожалуйста», — и Бюрен, чье лицо никогда не утрачивало сияющего выражения, спросил у молодого Груля, как ему удалось создать тот музыкальный шум, который Эрбель обозначил как «сма-

хивающий на барабан или на трещотку, и даже красивый».

Груль-младший пошептался сперва с Гермесом, потом встал и ответил, что не может выдать свою тайну, ибо в ней содержится один из немногих элементов стиля, который он намерен развивать и совершенствовать. В этой области у него далеко идущие планы, он уже присматривался на свалке к большим котлам «размером с паровозные», чтобы дать концерт, как только у него будет на то время и возможность. Описанный и инкриминируемый ему как «нанесение материального ущерба» проступок — это всего лишь «первый удавшийся эксперимент», и он, Груль, намерен его продолжить. На просьбу Штольфуса довериться присутствующим — а также сидящей в зале фройляйн Халь — как лицам, обязанным хранить тайну, и ответить на вопрос «господина профессора» Груль отвечал, что «свидетель Бюрен», без сомнения, замышляет плагиат, как это частенько случается с людьми искусства. Но и этот выпад не омрачил жизнерадостности господина Бюрена, он согласился, что его любопытство не совсем бескорыстно, однако дал понять Грулю, что он, Бюрен, придерживается в искусстве совершенно иного направления и торжественно обещает подсудимому не разглашать его тайны за пределами судебного зала.

Груль-младший еще раз пошептался с защитником, и тот попросил Штольфуса разрешить занести высказывания Груля-младшего в протокол и таким образом «оставить в деле своего рода авторское свидетельство». Штольфус, находясь в чрезвычайно добром расположении духа, предложил Ауссему занести слова Груля-младшего в протокол. И тогда Груль-младший, чья мрачная подозрительность вновь сменилась радостным возбуждением, показал, что эти звуки он производил с помощью солодовых леденцов, а также сливочных карамелек, причем леденцы шли на низкие тона, карамельки — на высокие. Он, значит, опорожнил обе канистры в машину, просверлил каждую в нескольких местах, завинтил крышки, после чего пламя — целый столб пламени — и создало нужный ему звуковой эффект; прежние попытки с фруктовой карамелью и атласными подушечками, уложенными в большую консервную банку, не дали никакого эффекта — конфеты растаяли и превратились в кашу, вместо того чтобы «творить музыку». Еще раньше он экспериментировал с козьим

пометом и обломками сахарных щипцов — тоже безрезультатно. Прокурор, не только потеряв терпение, но и заметно помрачнев, поскольку — как он признавался впоследствии — «начал раскаиваться, что позволил рейнским лисам навязать себе этот процесс», спросил Бюрена, кто он, ординарный профессор или экстраординарный. Бюрен, у которого вырвалось поистине идиотское хихиканье, спокойно отвечал, что он ни то и ни другое, что он университетский профессор в близлежащем большом городе и приказ о его назначении на эту должность подписан премьер-министром: конечно, он не имеет этого приказа при себе, но «дома он, ей-богу, где-нибудь валяется», и право на пенсию у него тоже есть, и — тут Бюрен еще раз хихикнул, — хотя его обошли на последних ректорских выборах, зато для следующих у него «есть все шансы». Его скульптуры, добавил Бюрен, стоят — одну минуточку, сейчас я вспомню, где они «выставлены», и он, бубня себе под нос, досчитал по пальцам до семи — «в семи музеях, из них три — за границей. Как видите, я и в самом деле состою на государственной службе», с безоблачной улыбкой обратился Бюрен к прокурору.

Прокурор, даже не пытаясь скрыть свое раздражение, спросил у председательствующего, нельзя ли ему узнать, если не у него, то у уважаемого коллеги Гермеса, с какой целью был вызван в качестве свидетеля профессор Бюрен. Гермес ответил: профессор Бюрен вызван сюда засвидетельствовать, что «деяние» — Гермес искусно выделил голосом кавычки, — деяние, уже поименованное здесь «происшествием», следует на самом деле рассматривать как художественное творчество. Штольфус кивком подтвердил слова защитника, а Бергнольте, на которого Кугль-Эггер, воздев руки к небу, бросил молящий взор, подло ушел в кусты, другими словами — опустил глаза и притворился, что делает пометки в своем блокноте. Только тут, «только в эту минуту» Кугль-Эггер понял то, в чем он вечером признался жене: его «продали и предали».

На просьбу Гермеса дать точное определение того нового направления в искусстве или, может быть, новой его разновидности, которая известна во всем мире под названием *happening*, Бюрен ответил, что лично он придерживается добрых старых традиций беспредметной скульптуры и выражает себя именно в такого рода искусстве. Он — это явно адресовалось прокурору, правда,

с любезно-иронической интонацией — получил две премии и, следовательно, не является представителем школы happening, хотя и занимался этим искусством, которое декларировало себя как антиискусство. Если только он правильно информирован — а кто в наши дни правильно информирован? — это попытка создать спасительный беспорядок, не образное, а безобразное творчество, можно даже сказать, искажающее, но искажающее в направлении, предопределенном художником, другими словами — творцом, и потому творящее из безобразности новые образы. Если судить с этой точки зрения, то происшествие, легшее в основу данного разбирательства, «является, без сомнения», художественным творчеством, незаурядным, ибо в нем наличествуют пять измерений — архитектурное, скульптурное, литературное и музыкальное, да, да, в нем содержится ярко выраженный музыкальный элемент и, наконец, элементы танца, которые, по его мнению, состояли в ритмичном постукивании трубки о трубку. Лишь одно — и здесь Бюрен неодобрительно сдвинул брови, — лишь одно ему мешает — выражение «согреться», употребленное одним из обвиняемых. Это, на его взгляд, пусть и не очень значительно, но все-таки заметно ограничивает рамки искусства, уж как вы хотите, а произведения искусства создаются не для того, чтобы подле них согреваться, и еще один факт его смущает — что речь идет о новой, почти не бывшей в употреблении машине. То, что речь вообще идет о машине, и вдобавок годной к употреблению, ему вполне понятно, ибо бензин — машина — пожар — взрыв выступают здесь как элементы современной техники, художественно скомпонованные с почти гениальным размахом.

Здесь прокурор прервал его, хотя и не с прежней яростью, однако дрожащим от необходимости сдерживаться голосом, и спросил Бюрена, является ли его оценка субъективно снисходительной или хотя бы наполовину объективной. Бюрен же с неизменной улыбкой отвечал, что оба эти выражения суть термины художественной критики, которые для данного направления искусства неприемлемы. А нельзя ли было, спросил далее прокурор, избрать какой-нибудь другой инструмент, зачем им обязательно понадобилась машина. Тут Бюрен зловеще улыбнулся: каждый художник сам выбирает себе материал, никто не может переубедить или разубедить его, и если художник считает, что ему нужна машина, и только новая машина, значит, это должна

быть новая машина, и больше никаких. А принято ли, продолжал прокурор, чья глубоко горестная интонация вновь сменилась бодрой, принято ли, чтобы художник воровал материал для своего художественного творчества — «художественного творчества» он произнес с нескрываемой насмешкой. Бюрен отпарировал и этот выпад все с той же рассчитанной небрежностью, которую Ауссем позднее охарактеризовал как феноменальную. Бюрен сказал: потребность творить — это такая могучая страсть, что каждый художник в любую минуту готов украсть нужный ему материал. Пикассо, например, продолжал он, нередко отыскивал материал в мусорных кучах, а один раз даже сам бундесвер в течение нескольких минут участвовал в создании аналогичного произведения искусства силами своих реактивных истребителей. К этому, пожалуй, нечего добавить, одно он знает твердо — речь идет о выдающемся произведении искусства, и даже не о пяти измерениях, а о содружестве пяти муз. Конечно, мы должны стремиться к девяти музам, но соединить в одном творении пять — тоже «совсем не плохо», а поскольку в этом творчестве участвовала и религиозная литература, представленная молением всем святым, он, пожалуй, не побоялся бы сказать, что это вполне христианское произведение, ибо содержит как-никак призыв к святым.

А теперь, спросил Бюрен с очаровательным смирением, нельзя ли ему уйти, у него сегодня — неловко даже говорить, прямо «черт знает как неловко», — но у него сегодня свидание с господином премьер-министром, которого он, правда, предупредил, что задержится по очень важному делу, но слишком задерживаться, сами понимаете, неудобно. Прокурор сказал, что больше у него вопросов нет, что он оставит при себе свое мнение, но намерен пригласить другого эксперта, ибо при всем желании не может считать Бюрена экспертом, а разве лишь свидетелем. Гермес попросил разрешения задать еще только один вопрос: он вкратце напомнил Бюрену, как Груль-младший выпросил у коммивояжера Эрбеля из его товаров пробный флакон экстракта для ванн. Впоследствии подзащитный сообщил ему, что использовал полученный флакон как дополнительное средство художественного воплощения, отсюда вопрос к господину свидетелю: нельзя ли «изрядную дозу» экстракта, который, как известно, дает желто-зеленую или синюю пену, рассматривать как элемент живописи, другими словами, как шестое измерение — живописное, или как присутствие

шестой музы. Бюрен отвечал утвердительно и назвал идею подлить экстракта в огонь мудрым усилением эффекта. После чего выслушал благодарность председательствующего и с разрешения последнего удалился на randevу с господином премьер-министром.

4

После ухода Бюрена произошла ужасная сцена, которую Ауссем даже не занес в протокол. Не адресуясь непосредственно ни к Штольфусу, ни к Бергнольте и совершенно пренебрегая нормами поведения, прокурор вдруг завопил, что намерен отказаться от участия в этом процессе, что его гнусно «подвели», и подвел не столько коллега Гермес, чья прямая обязанность всеми правдами и неправдами стараться представить своих подзащитных в наиболее выгодном свете, сколько — тут он заклинающе простер длани и возвел очи горе, как бы моля о помощи Господа Бога или на худой конец богиню правосудия, — «сколько в другой, более высокой инстанции, толкнувшей меня на безответственность, противную моей натуре. Я слагаю с себя обязанности!». Здесь Кугль-Эггер, вполне еще молодой и весьма упитанный мужчина, с произвольным испугом схватился за сердце. Это побудило Шроера молниеносно подскочить к прокурору и не только в нарушение всех правил обратиться к подсудимому Грулю-старшему на «ты», но и в нарушение порядка выпустить его из зала: «А ну-ка, сгоняй за Лизой!» Действительно, Кугль-Эггер почти безвольно позволил Шроеру отвести себя на кухню. Его чуть тронутое синевой лицо, лицо человека, который любит поесть и не презирает пиво, не выказало ни малейшего неудовольствия, когда Груль-младший, хотя его никто не звал, бросился на подмогу Шроеру и вслед за отцом — опять-таки в нарушение порядка — покинул зал, чтобы проводить Кугль-Эггера на кухню к Шроеру. Там госпожа Шроер уже держала наготове испытанное камфарное масло (она пусть инстинктивно, но справедливо оценила дерматологические данные прокурора и впоследствии в беседе с Агнес Халь заявила: «Ну и кожа, как у лошади»), решительным движением расстегнула прокурорский пиджак, закатала рубашку и начала своими сильными и красивыми руками массировать «область сердца».

А тем временем Бергнольте помчался к Штольфусу, поднялся вместе с ним — Штольфус даже забыл

объявить перерыв — на второй этаж в кабинет и уже схватил телефонную трубку, когда Штольфус высказал мнение, что при всех обстоятельствах, прежде чем ставить в известность Грельбера, надо привлечь к этому разговору Кугль-Эггера, каким бы ни было его душевное и телесное состояние. На лице Бергнольте отразилось чувство, которое можно было бы определить как «неприкрытый страх». Он шепотом спросил Штольфуса — хотя шептать совсем и не требовалось, их при всем желании никто не мог подслушать, — нельзя ли в случае надобности обратиться к находящемуся в отпуске прокурору Германсу, так как известно, что Германс проводит свой отпуск в Биргларе, и попросить его заполнить создавшуюся брешь. Штольфус, раскуривший к этому времени сигару и, судя по всему, не только не огорченный неприятным инцидентом, но даже, можно сказать, довольный, высказал опасение, как бы такая поспешность не встревожила прессу. Бергнольте, беспокойно закуриив сигарету, сказал — все еще шепотом, — что «разбирательство *необходимо* закончить сегодня», и тот, воспользовавшись случаем, позвонил жене и предупредил, что навряд ли вернется домой до полуночи, но пусть она не беспокоится. Жена рассказала, что еще раз звонил Грельбер и с неизменной учтивостью сообщил ей, что Штольфуса ждет высокая награда, «не исключено даже, что на шею». Тем временем Кугль-Эггер с помощью сильных и красивых рук госпожи Шроер и не без помощи рюмки коньяку, которую расторопно подсунул ему обвиняемый Груль-старший, снова пришел в себя и оказался в состоянии подняться по лестнице и провести долгий телефонный разговор из своего кабинета.

В зале суда Гермес беседовал с Агнес Халь, молодым Ауссемом и с подоспевшим к тому времени из шроеровской кухни молодым Грулем по поводу предстоящей свадьбы последнего с красавицей Евой: Груль-младший сказал, что намерен стать самостоятельным, возглавить отцовское дело, а отца взять к себе на службу, положив ему жалованье «в пределах прожиточного минимума». Халь в присутствии своего поверенного сообщила ему, что готова возместить нанесенный ими материальный ущерб, получила от него в награду поцелуй и приглашение на свадьбу. Приглашение получили также Гермес и Ауссем, с которым Груль был на «ты», как с товарищами по футбольному клубу «Биргларские сине-желтые»,

где Груль был защитником, а Ауссем — левым полузащитником. Ауссем признался Грулю, Гермесу и Агнес Халь, как он сожалеет о том, что в качестве протоколиста подлежит закону о сохранении тайны, и еще он заметил, что молодой Груль преоотлично мог с помощью всяких уловок уклониться от воинской повинности, есть вполне доступные способы.

В кухне у Шроеров Груль-старший и Шроер, воспользовавшись случаем, «пропустили по одной» и при этом узнали от взволнованной госпожи Шроер, что сегодня холодный ужин Грулям принесла не Ева, а старый Шмитц собственной персоной, который не слишком дружелюбно говорил о том, как «опозорили его дочь», и даже грозился подать жалобу за сводничество на тюремное начальство. До какой степени недружелюбно воспринял он эту новость, можно судить по качеству ужина, состоявшего лишь из бутербродов с маргарином и ливерной колбасой и бутылки минеральной воды. Мужчины посмеялись над волнением фрау Шроер, заверили ее, что со Шмитцем они справятся в два счета; ни один отец, ни одна мать не смогут легко отнестись к «подобным событиям», волнение Шмитца вполне естественно, вообще же «это случилось» не здесь — что нетрудно доказать, — а после похорон старого Лейфена. Пусть она не волнуется, у Шмитца нет ни малейших оснований разыгрывать из себя праведника. Вот для его жены Гертруды это действительно тяжелый удар, вот ей бы надо все объяснить и даже перед ней извиниться, а у Питера кожа толстая, так что завтра утром может забрать свой маргарин обратно. Но тут Бергнольте нарушил их беседу и от имени Штольфуса сообщил Шроеру, что объявлен перерыв на полчаса и что господин председательствующий желает у себя наверху слегка подкрепиться бульоном, крутым яйцом и салатом. Это сообщение исторгло у госпожи Шроер реплику, что крутые яйца неподходящая пища для мужчин за пятьдесят, при этом она бросила взгляд на Бергнольте и пришла к заключению, что в его возрасте еще можно питаться крутыми яйцами без вреда для здоровья.

Бергнольте, которому, как он поздно ночью докладывал Грельберу, «вся эта атмосфера показалась престранной», тоже попросил дать ему крутое яйцо, чашку бульона и кусок хлеба с маслом. Его проводили в гостиную

Шроеров, где уже был накрыт стол для него, Агнес Халь, молодого Ауссема и Гермеса. Груль-младший и Груль-старший были тем временем, согласно закону, препровождены в камеры. Но даже в подчеркнутой воинственности шагов судебного пристава Шроера, даже в звяканье ключей Бергнольте учуял «именно ту коррупцию, которую мы, господин Грельбер, тщетно пытаемся выкорчевать». При появлении Бергнольте три его сотрапезника — Гермес, Халь и Ауссем — на некоторое время лишились рейнской словоохотливости, что придало им вид не совсем естественный, особенно странно выглядел Гермес, человек молодой, веселый и болтливый. Наконец он не выдержал и спросил свою тетушку Агнес, как поживают ее индейки, такие ли они упитанные, как в прошлом году, и не собирается ли она вновь пожертвовать два особенно крупных экземпляра на бал студентов-католиков для лотереи. Тут и Ауссем не вытерпел и с напускным смирением просил «не забыть, ради Бога, и про либералов», которые дают бал в день св. Варвары. На это Халь отвечала, что даже коммунистам, если бы они надумали давать бал, к примеру, в день св. Фомы, она, если бы ее попросили, подарила бы парочку отборных индеек. Эта шутка разрядила несколько напряженную атмосферу, царившую за несколько маловатым столом шроеровской гостиной, и вызвала всеобщий смех, к которому с кислым видом присоединился Бергнольте, что, впрочем, не помешало ему впоследствии назвать эту шутку Халь «чрезмерной».

Тем временем на кухне госпожа Шроер подсушила ломоть белого хлеба для Кугль-Эггера, приготовила ему «тонкий, как паутинка, омлет», отсоветовала мужу угощать Кугль-Эггера пивом, равно как и бульоном, и порекомендовала отнести вместо этих напитков стакан воды, «хорошенько сдобренной коньяком».

Если бы Ауссем был уполномочен заносить в протокол атмосферу, в которой продолжалось и было закончено заседание, он не нашел бы иного определения, кроме «вялая», а то и «утомленная». Особенно пугающей была торжественность Кугль-Эггера. По мановению руки Штольфуса он поднялся с места и сказал непривычно тихим, почти смиренным голосом, что берет обратно свои слова, сказанные перед самым перерывом, и признает, что пал жертвой мимолетного настроения, не достойного чиновника на таком посту, как его пост, но тем не менее вполне понятного. С согласия господина

председательствующего он готов снова приступить к исполнению своих обязанностей и снова возложить на себя всю полноту ответственности, с ними сопряженной. Все присутствующие, даже Бергнольте, были растроганы при виде такого смирения прокурора, и эта растроганность предопределила дальнейший ход заседания.

С особенным тактом держались обвиняемые, которым, по предложению Штольфуса, было предоставлено последнее слово. Груль-старший — он выступал первым — во время своей речи обращался почти исключительно к прокурору, причем так настойчиво, что Штольфус вынужден был отеческим кивком и соответствующим жестом предложить обвиняемому адресовать свою речь ему, председательствующему. Груль-старший заявил, что должен — чтобы не вводить в заблуждение присутствующих здесь господ и дам — повторить сказанное в самом начале: ему все равно, какой будет приговор, а давал он показания только потому, что в «это дело» оказалось замешано слишком много людей, которых он лично знает и ценит. По поводу самого дела он может сказать лишь следующее: он не художник, и никакого честолюбия в этой области у него нет, ему дано только чувствовать искусство, а не создавать художественные ценности, но у своего сына он обнаружил несомненное дарование и изъявил готовность участвовать в его творческом замысле, он в самом прямом, самом точном значении слова — соучастник, но слово «соучастник» применимо лишь к его участию в создании произведения искусства, а не к участию в преступном деянии, коль скоро оно будет признано таковым. В деянии его ответственность больше, хотя бы потому, что он старший, и потому, что именно он привнес в игру экономическую точку зрения, объяснив своему сыну, когда они вместе обсуждали план и «режиссуру постановки», что стоимость такой машины едва ли составляет четверть той суммы, которую он выплатил за последние годы в виде налогов, и всего лишь одну пятую той суммы, которую ему предстоит еще выплатить. Вообще же, сказал далее Груль-старший, можно бы скостить с суммы налогов стоимость материала, подобно тому как у художника вычитают из налога стоимость холста, красок, подрамника и прочего. Он, Груль, признает себя виновным в том смысле, что «подстрекнул сына сделать этот, пожалуй, насильственный заем у бундесвера». Он хочет, чтобы его правильно поняли, почему перед лицом суда

и в ожидании приговора он не просит ни об оправдании, ни о справедливой каре, а говорит «будь, что будет», как говорят про завтрашнюю погоду. Ни у защитника, ни у прокурора вопросов к Грулю-старшему не оказалось.

Груль-младший тоже держался сдержанно и невозмутимо, «не без снобизма», как впоследствии поддела его Агнес Халь. Он заявил, что его равнодушие носит иной характер, чем равнодушие отца; его равнодушие касается скорее стоимости машины. В таких поездках, о которых здесь было уже переговорено, он за год побывал четыре раза, накрутил почти двадцать тысяч километров, другими словами: «полкругосветки». Почти три тысячи литров бензина и соответственное количество масла он «ухлопал» преимущественно на шоссе Дюрен — Франкфурт, разъезжая туда и обратно. Он был свидетелем бессмысленной траты времени, материалов, сил, терпения и в других областях военной жизни. И наконец, сам он, единственно для того, чтобы отмахать эти двадцать тысяч километров, двадцать пять дней гонял по дорогам «только затем, чтобы щелкал спидометр». Как столяра, его заставляли делать работу, от которой «с души воротит». Несколько месяцев он проработал над стойкой бара сперва для офицерского, а потом для унтер-офицерского казино. Это была со стороны начальства «наглость, и вдобавок плохо оплаченная». Штольфус прервал его и с неожиданной резкостью попросил не излагать неуместную здесь философию военной службы, а говорить по существу дела.

Груль-младший принес свои извинения, затем сказал, что он художник, а произведение искусства, если для такового надо испрашивать дозволения государственных властей или начальства, как это до сих пор имело место со всеми happenings, перестает, с его точки зрения, быть произведением искусства. Выбор материала и места для произведения — это тот неизбежный риск, на который охотно идет любой художник. Он сам задумал это происшествие, сам подобрал для него материал, хотел бы добавить только одно: израсходованный бензин, литров около восьмидесяти, он оплатил из своего кармана, ему показалось «глупее глупого» гонять из-за такой ерунды в казарму, чтобы заправиться на военной колонке, которая обязана его обслуживать. Он согласен только с одним: «объект, то есть машина, и в самом деле был великоват». Не исключено, что такого же результата можно было достичь с меньшим объектом. Ему мыслится взять

только канистры, а в центре соорудить ружейную пирамиду — он уже справлялся через своего приятеля и посредника насчет винтовок, которые можно будет сжечь под «перестук конфет», а из уцелевших металлических частей он сварил бы скульптурную группу. Но Штольфус опять его прервал замечанием, что это к делу не относится. Затем он спросил Груля-младшего, ясно ли ему следующее обстоятельство, которое, без сомнения, ясно его отцу, а именно: в незаконном присвоении столь дорогостоящего материала уже наличествует состав преступления.

Груль-младший отвечал утвердительно, за материал — теперь он вправе сделать такое заявление, — за материал он уплатит по первому же требованию, а в дальнейшем он, конечно, будет создавать произведения искусства, материал для которых сам выберет, сам доставит и сам за него заплатит. Поскольку ни защитник, ни прокурор не имели к обвиняемому никаких вопросов, Кугль-Эггера попросили приступить к заключительной речи. На вопрос, не нужен ли ему для подготовки небольшой перерыв, Кугль-Эггер сказал: нет, не нужен, потом он встал, надел судейскую шапочку и начал говорить. К нему вернулось не только прежнее спокойствие, но и прежнее самообладание; он говорил неторопливо, почти весело, не заглядывая в конспект, при этом вперял взор не в обвиняемых, не в председательствующего, а поверх его головы, в некую точку на стене, с самого утра привлекавшую его внимание: там, на давно выцветшей и, как говорилось в ряде заявлений, «ниже всякой критики» окрашенной стене все еще можно было — если взглядеться попристальней — различить то место, где в свое время, когда этот дом занимала школа, висело распятие. Как утверждал впоследствии тот же Кугль-Эггер, он смог даже разглядеть «ту самую перекладину, которая наподобие семафора наискось поднималась вверх вправо и, по всей вероятности, служила ранее перекладной креста».

Кугль-Эггер говорил тихо, не то чтобы смиренно, а скорее кротко, и сказал он вот что: ему кажется, что здесь уделено слишком много времени прославлению обвиняемого Груля-старшего как «редкого специалиста», а равно и его экономическому положению, защита же и вовсе постаралась изобразить Груля мучеником, пострадавшим от руки общества. Прошедший здесь парад — иначе и не назовешь — свидетелей защиты до-

стиг, применительно к нему, Кугль-Эггеру, цели прямо противоположной, ибо ему думается, что людей, столь достойных, следует судить строже, чем людей менее достойных. Он, Кугль-Эггер, разделяет чувства полицмейстера Кирфеля: слишком откровенное признание повергает его в ужас. Он считает доказанными все пункты обвинения, как-то: нанесение материального ущерба и нарушение общественного спокойствия. Оба эти пункта подтверждаются признанием самих обвиняемых. На его взгляд, здесь слишком много говорилось о холостом ходе бундесвера, тогда как этот холостой ход присущ любой жизненной или хозяйственной сфере. Все еще не спуская глаз со следов распятия на стене, Кугль-Эггер — как он вечером рассказывал жене — обнаружил там четкий отпечаток перекладки, что вызвало на его губах улыбку, ложно истолкованную собравшимися. С этой кроткой и даже, можно сказать, прекрасной улыбкой он продолжал утверждать, что здесь слишком много говорилось об искусстве, об образности и безобразности, и он уверен, что в показаниях свидетеля Бюрена, которого он лично склонен считать экспертом, будет вскрыто множество противоречий, если дело — а этого не миновать — будет передано на вторичное рассмотрение. Лично он не может в своей речи учитывать это якобы принципиальное противоречие между искусством и обществом, равно как не может реагировать на сделанный вызов. Искусство для него есть понятие слишком субъективное, слишком случайное, и говорить о нем следует «не здесь, а в сферах более высоких». Он требует — и Кугль-Эггер снова улыбнулся тому месту, где когда-то висело распятие, — как представитель государства, устои которого под самый корень подсечены поступком обвиняемого, он требует следующей меры наказания: для Иоганна-Генриха-Георга Груля — двух лет, для Георга Груля — двух с половиной лет тюремного заключения, без зачета срока предварительного заключения — поскольку таковое являлось откровенным фарсом, — а также полного возмещения убытков. С той же улыбкой он взглянул на подсудимых, которые бестрепетно выслушали его слова, тогда как даже Бергнольте, сидевший за ними, вздрогнул, услышав требование прокурора.

Штольфус, улыбаясь, дослушал Кугль-Эггера, представил слово Гермесу и с привычной учтивостью сказал:

«Очень вас прошу, дорогой коллега, быть по возможности кратким».

Гермес, чья заключительная речь была впоследствии расценена собравшимися юристами, и прежде всего Берг-нольте, как на редкость удачная и сжатая, встал, с улыбкой обвел взглядом зал, дольше всех задержав его на своей тетке Агнес Халь, выражение лица которой было впоследствии охарактеризовано Шроером как «тихо светящееся изнутри». Затем он сказал, что тоже прекрасно понимает исключительность как проступка, так и дела, сейчас заслушанного, и от души сожалеет, что общественность «из-за ловких манипуляций газетчиков почти ничего не узнает о том, что здесь сегодня происходит». Однако же он будет краток: его подзащитные чистосердечно во всем признались, они не чинили препятствий следствию, они признали, что зашли, быть может, слишком далеко, они не только готовы возместить убытки, но убытки уже возмещены благодаря великодушию одной нашей согражданки, всеми нами уважаемой и любимой, которая вручила ему, адвокату, чек на соответствующую сумму. Данное дело для него, защитника, настолько ясно, что он даже испытывает некоторую досаду, так как предпочитает более запутанные случаи, этот же так прост, что уязвляет его профессиональное достоинство.

Экономист-теоретик д-р Грэйи, продолжал далее Гермес, уже говорил здесь, что современный экономический процесс безжалостен и немилосерден, этот постулат, целиком применимый к финансовому положению Груля, подтвержден, следовательно, ученым специалистом. Не мелькнула ли — и тут Гермес с искренней любезностью взглянул на своего коллегу Кугль-Эггера и с почтительной любезностью — на председательствующего д-ра Штольфуса, — не мелькнула ли у его уважаемых коллег мысль, что оба подсудимых, создавая свое, как это официально засвидетельствовано профессором, произведение искусства, стремились выразить именно эту безжалостность и немилосердность. Он, Гермес, прекрасно понимает, что каждый волен по-своему толковать произведения искусства, но лично он выдвигает именно это толкование. В конце концов, безжалостность нового направления в искусстве, известного под названием *harpening*, была официально признана одной более чем респектабельной центральной газетой, чья репутация стоит выше подозрений, более того, даже в бундестаге

однажды шла речь об участии бундесвера в такого рода творчестве. Он, Гермес, не намерен опровергать неопровержимое и потому не отрицает обоих пунктов обвинения: нанесение материального ущерба и нарушение общественного спокойствия. Но не соприсутствуют ли оба эти фактора, в *любом* проявлении искусства, в силу самой природы такового. Ибо, если руководствоваться враждебной искусству теорией, всякое произведение искусства есть нанесение материального ущерба, поскольку оно видоизменяет материал, преобразует, а порою и разрушает его.

Он сознает, продолжал Гермес, взглядом показав Штольфусу, что речь его близится к концу, он сознает, что государство не может так просто с этим согласиться. Но, быть может, сегодняшнее разбирательство, если оно завершится вынесением оправдательного приговора обоим обвиняемым, в какой-то мере будет содействовать перемене в отношении государства и общественности к искусству, неизменно содержащему в себе, как мы это установили, оба пункта обвинения. Да, он настаивает на оправдательном приговоре и настаивает также, чтобы судебные издержки были отнесены за счет государства. Он должен коснуться еще одного пункта, сказал Гермес, сев было на место, после чего поднялся и добавил, что в связи с требованием бундесвера о возмещении убытков возникает еще один вопрос, о разрешении которого он и ходатайствует перед судом: если бундесвер получит возмещение убытков, то не следует ли из этого, что он обязан выдать Грулям материал, затраченный на производство искусства, то есть остов автомашины, поскольку таковой ими уже оплачен. В противном случае он оставляет за собой по данному пункту свободу действий.

Во время краткого перерыва, объявленного Штольфусом ради того, чтобы соблюсти форму и поддержать достоинство суда и его традиции, ибо он считал, что перед вынесением приговора необходим хотя бы символический перерыв, никто, кроме Бергнольте, не покинул зала. Во время этого перерыва оба Груля без стеснения шушукались с Агнес Халь, а Гермес — с Кугль-Эггером, причем последний с улыбкой говорил, какая хитрюга эта Шроер, он сейчас только разобрался, что воду, которую ему давали, она сдобрила не только коньяком, но под видом коньяка еще и валерьянкой. Вообще же он намерен основательно продумать все дело и, дав себе несколько дней сроку, решить, не лучше ли ему отказаться

от той тактики, которую, как, без сомнения, известно Гермесу, «ему присоветовали в более высокой инстанции», и заявить протест.

Только Ауссем не покидал своего места и возился с протоколом, наводя на него, как он признался позднее, «некоторый литературный глянец». Бергнольте отлучился, но ненадолго, чтобы своевременно рассчитаться с фрау Шроер у нее на кухне и поспеть на последний поезд, которым в ноль часов тридцать минут он намеревался отбыть в близлежащий большой город. Неожиданно для себя он застал на кухне у Шроеров двух дам — госпожу Гермес и госпожу Кугль-Эггер, первая из них при его появлении прижала палец к губам, затем с удовольствием отхлебнула бульон из чашки, вторая, сначала встревожившись, а потом успокоившись, слушала госпожу Шроер, рассказывавшую о сердечном приступе ее мужа и о принятых мерах, причем госпожа Шроер высказала мысль, что это уж «чересчур» — заставить прокурора выступать против Грулей, связав его предварительно по рукам и ногам. Внезапное появление Бергнольте не вызвало ни у одной из дам проявления дружеских чувств: госпожа Гермес не только прижала палец к губам, но вдобавок наморщила лоб и спросила госпожу Шроер — отнюдь не шепотом, — слышала ли та «стук в дверь», на что и получила отрицательный ответ. Госпожа Кугль-Эггер, и без того уже раздосадованная беседой с маляром, который, как ей казалось, хотел с наглой самоуверенностью полуинтеллигента навязать ей «свои колеры», и вдобавок извещенная через госпожу Гермес, мужа госпожи Гермес и своего собственного, что Бергнольте прислан сюда в качестве соглядатая, невольно воскликнула: «Ой!» — словно увидев мышь. И наконец, сама Шроер, точно знавшая и звание Бергнольте, и цель его приезда, ограничилась весьма нелюбезным «что вам угодно».

Бергнольте же, не желавший, как он выразился впоследствии, «уронить себя перед этим бабьем», ограничился вопросом о стоимости «недавно принятой им пищи». И госпожа Шроер, уже извещенная судебным приставом Штерком, что этот господин, «вполне возможно», будет у нас вместо Штольфуса, использовала редкую возможность с самого начала «показать, кто здесь хозяин». Она ответила не слишком любезно, что за все про все с него причитается семьдесят пфеннигов. Бергнольте это показалось «подозрительным, как и все в Биргларе». Неправильно истолковав ехидно сложенные бантиком

губы Шроер, губы, отнюдь не лишённые взрывной эротической силы, подозревая в её ответе «пусть даже ничтожную, но все-таки попытку подкупа» и не догадываясь, что подобные угощения из любезности лучше всего оплачиваются, даже не оплачиваются, а вознаграждаются коробкой конфет или — пусть с опозданием — букетиком цветов, он весьма суровым голосом потребовал, чтобы ему сообщили «истинную и точную цену» угощения. Госпожа Шроер бросила взгляд на обеих дам, которые зажимали рот рукой, чтобы не прыснуть, и, приняв довольно изящную позу, сообщила Бергнольте, что крутому яйцу красная цена — двадцать пять пфеннигов, что бульон, который она, как правило, готовит в больших количествах, тоже стоит не больше двадцати пяти, а двадцать пфеннигов за ломоть хлеба с маслом — это, если хорошенько вдуматься, многовато, итого «с господина судебного советника» причитается шестьдесят пфеннигов; вообще же она просит учесть, что у нее не трактир и что она угощает проходящих к ней «из любезности».

Покуда она последовательно, с кротким, подчеркнутым и, наконец, горьким смирением подсчитывала стоимость закуски, взгляд ее перебежал с Бергнольте на госпожу Гермес, а с нее на госпожу Кугль-Эггер и обратно, потом снова на Бергнольте, принимая разные выражения в зависимости от того, на кого она смотрела. Бергнольте, поколебавшись, как он рассказывал позднее, между «почтительностью и возмущением», избрал почтительность; в последнюю минуту он спохватился, что давать чаевые, к чему его влекло неодолимо, даже на данной стадии переговоров было бы «неуместней неуместного», он достал кошелек, выглядя при этом, если верить характеристике, которую дала госпожа Шроер в беседе с Грулями и мужем, «будто обмаранный», выложил монеты на кухонный стол и был, как он сам признавался впоследствии, «рад-радешенек», что не надо получать сдачу.

Когда он, вконец смешавшись от смущения и забыв даже попрощаться с супругами своих коллег, покинул кухню, у него не было ни малейших сомнений, что сейчас за его спиной раздастся взрыв смеха. Он подождал, прислушался — но напрасно, — затем поспешил в зал, услышав шарканье ног и грохот отодвигаемых стульев, и ни на минуту не заподозрил, что госпожа Гермес, снова приложившая палец к губам, едва за ним закрылась дверь, как раз в эту минуту позволила обеим дамам рассмеяться.

Несколько дней спустя, диктуя на машинку секретарше Штольфуса стенограмму приговора и речь председательствующего, Ауссем, по его собственному признанию, опять невольно вытер почему-то ставшие влажными глаза — не слезы, нет, нет, но, «сами понимаете, что-то вроде». Когда явился Штольфус, была уже почти полночь, и Бергнольте, прибывший секунда в секунду, назвал себя, как он позднее признался жене, «гнусным неисправимым педантом»; поскольку он то и дело смотрел на часы и все думал «о проклятом последнем поезде» и с «болью душевной» — о непомерных расходах на такси, которые тяжким бременем лягут на плечи государства: «ты ведь меня знаешь, я был и есть служака и горжусь этим». Но едва Штольфус заговорил, даже Бергнольте забыл про часы, не говоря уже об Агнес, которая после первых же слов председательствующего вся обратилась в слух.

Свою речь Штольфус начал без судейской шапочки; он посмотрел на Агнес, на Грулей, на Гермеса, на Ауссема и Кугль-Эггера и снова на Агнес, которой он теперь кивал уже без всякого сомнения, потом он улыбнулся, ибо в зал вошли дамы — госпожа Гермес и госпожа Кугль-Эггер, — вошли на цыпочках, как люди, опоздавшие к началу церковной службы и не желающие мешать проповеднику. Без головного убора Штольфус говорил больше о личном: вот, мол, скоро он снимет с себя мантию, сегодняшнее разбирательство, как ему сообщили, не предположительно, а уже наверняка будет для него последним, последним его публичным выступлением, и он от души сожалеет, что в этом зале не присутствуют все жители Бирглара, которых ему приходилось на своем веку осуждать или оправдывать. Получилась бы изрядная цифра, собралась бы «немалая толпа». Не все, конечно, но большинство из этой толпы были на самом деле очень приятные люди, чуть запутавшиеся, порою озлобленные, но в основном — он причисляет сюда даже Хепперле, совершившего преступление против нравственности, — «очень приятные люди». Однако сегодняшний процесс — и он видит в этом особую благосклонность судьбы — самый приятный из всех: и обвиняемые, и свидетели, словом, решительно все — здесь, по мнению Агнес Халь, крылся намек на Зейферт, — и обвинитель, и защитник, и публика, а прежде всего сидящая в этом зале высокочтимая дама, которая присутствовала не почти на всех, а именно на всех открытых заседаниях

под его председательствованием. Его чрезвычайно огорчает случай со старшим финансовым инспектором Кирфелем, он признает себя виновным в этом инциденте и хотел бы еще раз перед ним извиниться. Из-за сложности разбираемого дела — тут он, к своему великому сожалению, расходится с коллегой Гермесом — у него просто не выдержали нервы. Что до самого дела — он все еще говорил без шапочки, — теперь ему ясно, что вынесенный им приговор не может быть окончательным, ибо само дело находится вне компетенции председательствующего, и не только председательствующего, но самых высоких инстанций. Случай с Грулями произошел «буквально в точке пересечения, на перекрестке, так сказать», а он не тот человек, который при данных обстоятельствах может вынести компетентный приговор. Да, он произносит приговор, и, с его точки зрения, это окончательный приговор, но понравится ли он в другой, более высокой инстанции? Этого он не знает, на это — да позволено ему будет сказать — он даже не надеется, ибо то, к чему он постоянно стремился и чего, вероятно, не всегда достигал как судья — то есть справедливости, — он на сей раз достиг меньше, чем во всех предыдущих процессах: справиться с этим проступком, этим происшествием, этим делом, этой затеей — он попросил бы господина Ауссема не заключать в кавычки ни одно из этих слов, — справиться с «таким делом» он не может. Как защитник, так и обвинитель — и тут он надел шапочку — вполне его убедили, однако он, считая доказанным нарушение общественного спокойствия, нанесение материального ущерба не считает доказанным.

Убедили его и обвиняемые, они прямодушно позволили занести в протокол то, с чем он согласен как судья: в этом деле нет и не может быть справедливости, и они на нее не рассчитывают. Самый факт, что он, судья, признает здесь свою полную несостоятельность, самый факт, что в качестве последнего дела ему предложили дело, убедительно доказывающее полную несостоятельность человеческого суда, — это для него лучший прощальный подарок той богини с завязанными глазами, которая являлась ему, Штольфусу, во множестве обличий, порою — блудницей, изредка — сбившейся с пути женщиной, ни разу — святою, но чаще всего — истерзанным стонущим существом, которое обретало голос лишь благодаря ему, судье, и было в одно и то же время животным,

человеком и лишь самую-самую малость богиней. Он приговаривает обвиняемых к полному возмещению убытков, он обязывает бундесвер выдать обвиняемым на руки материал, затраченный на производство искусства, ибо не только показания профессора Бюрена убедили его, что речь идет именно о таком. Но если подобный способ «создавать произведения искусства или насыщенные искусством мгновения» распространится, это приведет к самым разрушительным последствиям, так как может выродиться в халтурное эпигонство, в ремесленничество, к которому нередко приводит чрезмерная популяризация. А потому он вынужден — и делает это без колебаний и раздумий — приговорить обвиняемых к шести неделям тюремного заключения, каковой срок они уже отбыли в предварительном заключении. Обвиняемые наверняка не обидятся на него, если он — тут Штольфус снова снял шапочку,— если он, который годится одному из них в отцы, другому в дедушки, даст им такой совет: им надо стать независимыми от государства, не давая ему возможности — он имеет в виду налоговые недоимки Груля-старшего — ограничивать свою свободу, а когда они выплатят свой долг, им надлежит запастись лисьей хитростью, потому что даже ученый, считающийся высококомпетентным специалистом, подтвердил здесь безжалостность и немилосердность экономического процесса, а в безжалостное и немилосердное общество нельзя вступать без оружия.

Было уже двадцать минут первого — хотя позднее по настоянию Штольфуса в протоколе было указано 23.46, ибо он не хотел «отягощать новый день» этим делом,—когда Штольфус с прежней энергией в голосе попросил обвиняемых встать и сказать, согласны ли они с приговором. Оба коротко и почти безмолвно взглядами посоветовались с Гермесом, своим защитником, тот утвердительно кивнул, после чего они оба встали и заявили, что с приговором согласны. Штольфус поспешно покинул зал. Мало сказать, что он был растроган меньше, чем другие, он вообще не был растроган, когда наверху, в слабо освещенном коридоре вешал на крючок свою мантию; потом он провел рукой по гладкому черепу, протер усталые глаза, чуть подался вперед, чтобы снять с вешалки шляпу, и улыбнулся, завидев, как Бергнольте мчится через темный двор.

Внизу в зале суда усталость и растроганность в течение нескольких минут уравнивали друг друга, но усталость все же перевесила: слезы растроганности остались невыплаканными, зевота подавила вздохи. Даже Грули, отец и сын, обессилели, внезапно ощутив, какой головокружительный темп был заложен в процедуре, поначалу казавшейся им вялым и монотонным повторением давно известных показаний. Слово Шроерши «марш-бросок» ранее представлялось им неуместным, сейчас они поняли, с какой быстротой вершился суд. Краткий срок предварительного заключения они теперь тоже воспринимали как бесконечно долгий, а внезапно обретенную свободу, по выражению Груля-старшего, — «как удар молота». Возвращаться этой же ночью в Хузкирхен, в свой нетопленный и неприбранный дом им очень не хотелось, а просить у госпожи Шмитц пристанища в «Дурских террасах» в такой поздний час они считали неудобным, тем более что качество ужина, отпущенного им господином Шмитцем, явно означало открытие военных действий. Желание Грулей тотчас же вернуться в свои камеры встретило неожиданно резкий отпор Шроера: «Тюрьма как-никак учреждение государственное, у нас, черт подери, не гостиница», вдобавок Грулю следовало бы сообразить, что не стоит привлекать внимание общественности к биргларскому «тюремному раю» и что ему, Шроеру, будет очень даже не с руки красоваться в качестве комического персонажа на «страничках юмора» юридической печати. Но поскольку Штольфус уже ушел и вызывать его к телефону никто не решался, а Кугль-Эггер объявил себя «окончательно выдохшимся» и не способным ни на какие решения, тем более в таком щекотливом вопросе (единственное его желание — это два литра пива и сорок восемь часов сна), Гермес же заявил, что глупо претендовать на гостеприимство суда, вынесшего столь мягкий приговор, Грулям осталось только принять робкое предложение Агнес Халь переночевать в ее доме, к тому же она посулила им суп из бычьих хвостов, спаржу — «к сожалению, из консервной банки» — и итальянский салат, готовить который Агнес была великая мастерица; пива она, конечно, им предложить не может, но бутылка хорошего вина у нее найдется, и еще она считает, что «пора уже обсудить» следующий happening, в котором она готова

принять посильное музыкальное участие. Она считала, что старые рояли самый подходящий инструмент для подобных мероприятий, так вот нельзя ли *новую* машину и *старый* рояль — у нее в подвале, кстати, имеется целых два... Но тут ее ловко прервал Гермес, считавший обсуждение таких планов «в присутствии прокурора уж несколько чрезмерным»; взял свою тетку за плечо и выдворил из здания суда, а вслед за нею и Грулей. Лиза Шроер, которой к часу ночи, как она объясняла позднее, «стало уже невтерпеж», объявила, что прибыло такси за Кугль-Эггерами, они вышли вместе с обоими Гермесами, так что в здании суда остался один Ауссем, еще дописывавший «мелким бисером», как выразилась Шроерша, протокол сегодняшнего заседания.

Единственной, сохранившей бодрость, была госпожа Гермес, она приятно провела послеобеденное время за чашкой кофе со своей приятельницей в беседах на тему, доказывавшую, что ее справедливо прозвали Противозачаточной Эльзой, потом вздремнула часок-другой и пешком, мимо Кюпперова дерева, отправилась в Хузкирхен, где как раз вовремя поспела на квартиру Кугль-Эггеров, чтобы оказать поддержку Марлиз в ее дискуссии с маляром, по мнению обеих дам, не в меру образованным и зазнавшимся парнем. Это ей вполне удалось, так как она понимала, что он лопочет на местном диалекте, «о который можно язык сломать»; за его дерзости она расплатилась с ним той же монетой, то есть, в свою очередь, надерзила ему на местном диалекте. Сейчас Гермес, бледный и сразу постаревший на несколько лет, под руку с женой плелся к дому по тихим улицам спящего Бирглара, но нашел в себе силы решительно запротестовать, когда она, «словно бабочка на огонь», ринулась к единственному освещенному окну в городе — это была типография «Дуртальботе», — намереваясь туда ворваться и «наконец вправить им мозги». Способность Гермеса к сопротивлению вконец истощилась, однако ему удалось пробудить сострадание в своей энергичной супруге, хотя для нее отказ от ночного объяснения с Хольвегом был, видимо, нешуточной жертвой.

Бергнольте добрался до первого пригородного вокзала близлежащего большого города еще до того, как Шроерша заперла наконец дверь за Ауссемом и вместе с мужем села подкрепиться, причем, ни минуты не ко-

леблясь и не испытывая угрызений совести, подала на стол бутерброды с маргарином и ливерной колбасой, оставленные Грулями: она-де так устала, что «на ногах не стоит». Согласно приказу явиться «хоть в три часа ночи» Бергнольте поспешил к ближайшей стоянке такси и поехал в тихое предместье, там — это его несколько успокоило, — в вилле Грельбера, еще горел свет; весь вечер Бергнольте мучила мысль, что он настойчивыми звонками разбудит президента, а это, несмотря на приказ, было бы ему в высшей степени неприятно. Но у Грельбера не только горел свет, он, видимо, дожидался, когда зашуршит гравий под колесами подъехавшей машины; не успел Бергнольте рассчитаться с угрюмым шофером, который пробормотал что-то вроде «после часа ночи на чай больше дают», в ответ на просьбу Бергнольте с явной неохотой оторвал квитанцию и с прямо-таки «вызывающей дерзостью», как позднее рассказывал Бергнольте, протянул ему таковую, — так вот, не успел он покончить с этими неизбежными задержками, как Грельбер не только появился у двери, не только широко распахнул ее, но сбежал вниз по ступенькам, отечески потрепал его по плечу и, когда они вошли в дом, спросил: «Ну что, превосходный обед, а? В этих медвежьих углах еще встречаются настоящие стряпухи, верно я говорю?» Бергнольте погрешил против правды и против собственных вкусовых ощущений, воскликнув: «Да, обед великолепный, я бы даже сказал — эпохальный!»

Войдя в кабинет, где свежий сигарный дым говорил о мужественности в настоящем, а застоявшийся — о былой мужественности, где огромная стоячая лампа под зеленым шелковым абажуром «распространяла вокруг себя блеклое достоинство», как позднее выразился Бергнольте, а полки, заставленные книгами, свидетельствовали о солидной учености, Грельбер, чья доброта была не только написана на его лице, но признавалась всеми его студентами и подчиненными, не считая нескольких смутьянов, сказал, что «сегодня в виде исключения открывает доступ сигарете в сии священные покои», но при этом даже не предложил Бергнольте снять пальто. Он засмеялся, когда Бергнольте рассказал ему о нервном припадке прокурора и о мере наказания, которую тот потребовал, улыбнулся, услышав о приговоре, вынесенном Штольфусом, и записал себе имена: Кольб, Бюрен, Куттке. Самая манера, с какой он время от времени прерывал отчет Бергнольте, когда тот, вместо того чтобы

кратко охарактеризовать поименованных лиц, вдавался в чересчур пространные спекулятивные рассуждения о государстве и праве, была такой же любезной и добродушной, как и жест, которым он дал понять собеседнику, что разговор окончен, и без «дальнейшей канители» — впрочем, Бергнольте был к этому привычен — *собственноручно* снял трубку, набрал номер, *самолично* заказал для него такси и пожелал ему «вполне, вполне заслуженного ночного отдыха». Бергнольте высоко оценил деликатность Грельбера, в *такой* день не заговорившего о должности, не только обещанной ему, Бергнольте, но, можно сказать, за ним уже закрепленной. Зная, что он там никого не разбудит, так как его сообщение будет записано на автоматически включающийся магнитофон, Грельбер сначала убедился, что Бергнольте уехал, потом набрал номер того депутата, которого вчера вечером встретил выходящим из театра вместе с Хольвегом. Он продиктовал на пленку меру наказания, имена: Куттке, майор Трёгер и полковник фон Греблоте, затем произнес еще несколько отчетливо артикулированных фраз, прося депутата получить у министра по делам вероисповеданий, хоть и не товарища по партии, но его, депутата, доброго приятеля, как можно более подробные сведения о некоем профессоре Бюрене. Он положил трубку, несколько мгновений сомневался, стоит ли по такому поводу среди ночи беспокоить прелата, с которым, впрочем, был достаточно близок, чтобы в экстренных случаях будить его по ночам. Потом, уже с телефонной трубкой в руке, вспомнил, что, по словам Бергнольте, показания патера Кольба слышали только *два* посторонних слушателя, и отложил разговор до утра (когда около одиннадцати он и вправду позвонил прелату, тот первым делом спросил, сколько человек присутствовало в это время, и, услышав цифру два, названную Грельбером, весело расхохотался, не по возрасту весело, он даже поперхнулся так, что у него сделался приступ удушья, и вынужден был прервать разговор, не успев сказать Грельберу, что патеру Кольбу случалось по воскресеньям высказывать эти «странные воззрения» двум, а то и трем сотням слушателей из числа своей паствы).

Протоколист Ауссем последним вышел из здания суда, отвергнув предложение Шроерши — она хорошо к нему относилась и, приходясь ему родственницей по матери, требовала, чтобы он во «внеслужбное время» называл ее тетей,— поужинать вместе с нею и ее мужем

шмитцевскими бутербродами; он пересек бывший школьный двор и пошел к мосту через Дур. Ауссем, смывший с себя усталость холодной водой, пребывал в настроении почти эйфорическом и растроганном из-за прощальной речи старика Штольфуса: ему необходимо было отвести душу, и почему-то он решил, что в этот час скорее всего встретит кого-нибудь, если свернет вправо от статуи св. Непомука к дому Агнес Халь, но, к вящему его удивлению, дом был погружен в темноту, а в воротах — этому он уже меньше удивился — стояли, обнявшись, Ева Шмитц и молодой Груль, в позе «почти скульптурной», как он выразился позднее. Ауссем быстро повернул в другую сторону, уже в настроении менее приподнятом: его не только терзала ревность, но и печалило то, что для него был закрыт доступ в заведение Зейферт, так как она грозила, если он не заплатит своих долгов, сообщить его отцу, сапожнику Ауссему, о «шикарной привычке сына угощать шампанским всех встречаемых и поперечных». В своем размягченном и почти лирическом настроении он не надеялся склонить бойкую на язык Зейферт к предоставлению ему дальнейшего кредита и был уже близок «к резиньяции», то есть к смиренной готовности вернуться домой, где запах кожи доставлял ему «хоть и не всегда, но достаточно часто больше неприятностей, чем постоянная меланхолия рано овдовевшего отца». Но тут он заметил — «и я впервые понял, сколько радости и надежды таит в себе выражение «свет во тьме» — свет в окне типографии «Дуртальботе», пошел на него, открыл незапертую дверь, застал своего товарища по партии Хольвега в ожесточенном споре с «близко стоящим» к той же партии Брезелем, причем, как он рассказывал позднее, впервые заметил, «какое глупое выражение может вдруг приобрести симпатичное и красивое лицо Хольвега». Ослабив узел галстука, засучив рукава и «размахивая бутылкой», Хольвег опять уже сидел за наборной машиной (кстати сказать, наборщик «Дуртальботе» считал его работу «бессмысленной и начисто излишней», так как ему приходилось заново все набирать после его пачкотни, а платы за этот свой труд он не получал, так как никто не должен был знать, а Хольвег и подавно, что его, Хольвега, ночные и предрассветные забавы все равно идут псу под хвост) и препирался с рассерженным Брезелем из-за словечка «пухлый», которым тот не воспользовался при описании лица Шевена; он, Хольвег, встретил прилагательное

«пухлый», примененное к губам детоубийцы Шевена тремя разными репортерами в двух ежедневных центральных газетах и в одном центральном еженедельнике, почему же, спрашивается, именно Брезель пренебрег этим словом?

Потому, отвечал Брезель, уже не скрывая своей раздраженности и презрения к недоумку Хольвегу, потому что губы у Шевена нисколько не пухлые, даже «не толстые», а просто губы «без особых примет», он назвал бы их «нормальными», если бы выражение «нормальные губы» не представлялось ему смехотворным; выходит, заметил Хольвег, в котором сквозь облик «рабочего человека», впрочем всегда казавшийся Ауссему «достаточно искусственным», внезапно проглянул «хозяин», выходит, что все другие репортеры люди слепые, глупые или предубежденные, а он, господин Вольфганг Брезель, «единственно зрячий» и ему одному открыта истина о губах Шевена. Нет, сказал Брезель, он не единственно зрячий, никакая истина ему не открыта, да ее и нельзя открыть, потому что губы у Шевена не пухлые, во всяком случае — хоть он и смотрел на Шевена восемь часов подряд — в тот день они пухлыми не были! «Ага!» — воскликнул Хольвег уже менее высокомерно и предложил Ауссему достать себе из ящика бутылку пива, теперь Брезель пошел на попятный и уже пользуется оборотом «не были».

Фото Шевена, добытое из архива, на котором детоубийца был изображен небритым и с сигаретой во рту, Брезель, как доказательство пухлости губ, решительно отверг. Более того, он сунул себе в рот сигарету так, чтобы она торчала кверху, и наглядно показал, что даже его, Брезеля, губы — отнюдь не пухлые, — если в них зажата сигарета, приобретают «известную пухлость»; эта фотография, единственная, которой располагали репортеры до начала процесса, и побудила их прибегнуть к выражению «пухлые», но он, Брезель, решительно отказывается вставить это выражение в свой отчет; вообще же дело Шевена «примечательно неинтересно», и он предлагает с завтрашнего, нет, с сегодняшнего дня — сейчас ведь уже половина второго и он устал как собака — помещать отчеты какого-нибудь агентства, «хотя бы и с пухлыми губами, но я никогда не напишу, что у него пухлые губы». Ауссем, впервые до конца осознавший глупость Хольвега, втайне надеялся, что тот пригласит его в заведение Зейферт, открытое до четырех

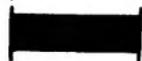
часов утра, и когда Хольвег избрал его арбитром в споре с Брезелем, уже поддался было искушению поддержать первого, по опыту зная, что заработает таким образом два виски с содовой. Позднее, вспоминая, как все это происходило, он, во всем любя точность, пытался уяснить себе, не потому ли он взял сторону Брезеля, что перспектива провести остаток ночи в компании Хольвега вдруг показалась ему «невероятно скучной и утомительной», но потом решил, что действовал не под влиянием настроения, а из приверженности к истине. Ссылаясь на свой, уже довольно значительный, опыт, он сказал, что даже «высокоинтеллигентные» свидетели в большинстве случаев руководствуются не доводами собственного разума, не своими зрительными и слуховыми впечатлениями, а предрассудками; единственный действительно надежный и точный свидетель из всех, с какими он сталкивался, это полицмейстер Кирфель, и Кирфель никогда бы не назвал губы Шевена «пухлыми», если бы не считал их таковыми, даже прочти он в десятке местных и центральных газет, что они пухлые. И вообще Кирфель...

Но тут Хольвег прервал его не менее раздраженно, чем днем в «Дурских террасах», что уже и тогда обидело Ауссема, заявив, что он по горло сыт этим «копанием в вонючих провинциальных помойках», ему надо работать. Ладно, он готов поступиться словечком «пухлый», ибо уважает *свободу*, даже если она оборачивается против его убеждений, но имена: Кирфель, Халь, снова Кирфель и снова Халь,— их он уже слышать не в состоянии. Когда же Ауссем спросил, а в состоянии ли он еще слышать имя Груль, Хольвег, что с ним редко случилось, прямо-таки огрызнулся: *он* не чиновник, которому каждое первое число подносят жалованье, *ему* надо работать. Брезель поспешил ретироваться, предоставив Ауссема еще несколько минут слушать «шарманку» Хольвега: такие газеты, как «Дуртальботе», должны-де оставаться свободными и независимыми, чтобы стоять на страже свободы и демократии, и он не для удовольствия собственноручно набирает свою газету... Ауссем, скорей от усталости, снова овладевшей им после бутылки пива, чем из вежливости, еще несколько минут слушал неожиданно агрессивный монолог Хольвега, потом распрощался и тоже пошел домой. Запах кожи уже давно его не страшил, он даже хотел его почувствовать.

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ

Перевод Е. Михелевич

роман



GRUPPENBILD MIT DAME

Главным действующим лицом первой части является женщина сорока восьми лет, немка; ее рост — один метр семьдесят один сантиметр, вес — шестьдесят восемь восемьсот (в домашнем платье), стало быть, всего на триста — четыреста граммов меньше идеального; цвет ее глаз меняется от темно-синего до черного; прямые, очень густые, светлые с легкой проседью волосы свободно свисают до плеч и обрамляют ее лицо наподобие шлема. Зовут эту женщину Лени Пфайфер, в девичестве — Груйтен; в течение тридцати двух лет — естественно, с перерывами — она была винтиком того странного механизма, который называют трудовым процессом: работала пять лет — без специального образования — помощницей в конторе своего отца и двадцать семь — простой работницей в садоводстве. В годы инфляции легкомысленно отдав в другие руки значительную недвижимость — солидный доходный дом, расположенный в новом районе города и нынче стоящий никак не меньше четырехсот тысяч марок, она, в общем-то, лишила себя средств к существованию с тех пор, как бросила работу без всяких видимых причин — не по болезни и не по старости. Поскольку в 1941 году Лени Пфайфер в течение трех дней была женой кадрового унтер-офицера германского вермахта, она получает, как вдова фронтовика, государственную пенсию, к которой в будущем прибавится еще и пособие из общественных фондов. Можно, пожалуй, утверждать, что в настоящее время дела у Лени обстоят из рук вон плохо — и не только в финансовом отношении, — особенно с тех пор, как ее любимый сын угодил за решетку.

Если бы Лени носила более короткую стрижку и слегка подкрашивала волосы «под седину», она производила бы впечатление хорошо сохранившейся сорока-

летней женщины; а с длинными волосами контраст между молодежной стрижкой и уже слегка увядшим лицом слишком велик, так что на вид Лени можно дать под пятьдесят; это ее подлинный возраст, и все же внешность несколько поблекшей блондинки дает Лени шанс, которым ей не следовало бы пренебрегать: шанс казаться женщиной, которая ведет — или хочет вести — легкую жизнь, что в корне неверно. Лени — одна из редких женщин ее возраста, которая вполне могла бы себе позволить носить мини-юбку: на ее ногах нет ни расширенных вен, ни дряблости. Однако Лени придерживается той длины юбок, какая была в моде примерно в 1942 году, — главным образом потому, что она донашивает старые юбки; блузки и жакеты она предпочитает пуловерам, поскольку считает, и не без основания, что они будут слишком обтягивать ее грудь. Что же касается пальто и обуви, то она все еще обходится запасами хороших или хорошо сохранившихся вещей, которые приобрела в юности, в те годы, когда ее родители были состоятельными людьми. Лени носит пальто из буклированного серо-розового, зеленовато-голубого, черно-белого и светло-голубого (одноцветного) твида, а если считает, что головной убор необходим, повязывает голову платком; туфли у нее такие, какие в 1935—39 годах покупали люди при деньгах, считая, что им «нет сносу».

Поскольку Лени в настоящее время лишена постоянного мужского покровительства и поддержки, она пребывает в глубоком заблуждении относительно своей прически; виновато в этом зеркало, старое зеркало, купленное еще в 1894 году, которое, на ее несчастье, пережило две мировые войны. Лени никогда не ходит ни в парикмахерскую, ни в супермаркет с огромными зеркалами, покупки она делает в небольшом магазинчике, который вскоре неминуемо прикроется из-за сдвигов в структуре торговли; поэтому Лени целиком и полностью полагается на это зеркало, о котором еще ее бабушка Герта Баркель, урожд. Хольм, говорила, что оно слишком уж льстит; Лени пользуется зеркалом очень часто. Прическа Лени — одна из причин постигших ее бед, но сама Лени об этом не подозревает. Зато она в полной мере ощущает, как ухудшается отношение к ней соседей — живущих как в ее доме, так и в близлежащих. За последние месяцы Лени посетило много мужчин; то были: посыльные из кредитных контор, вручившие ей строжайшие предупреждения, поскольку напо-

минания кредиторов она оставляла без внимания; судебные исполнители; курьеры от адвоката и, наконец, помощники судебных исполнителей, забравшие вещи после описи имущества. А так как Лени, кроме того, сдает три меблированные комнаты жильцам, которые время от времени меняются, к ней приходило, естественно, и много молодых мужчин, желавших снять комнату. Некоторые из этих мужчин пытались приставать к ней — разумеется, безуспешно; общеизвестно, однако, что именно неудачливые ухажеры имеют обыкновение хвастаться своими успехами у женщин, так что легко догадаться, как быстро была подорвана репутация Лени.

Авт. не имеет возможности ознакомиться со всеми деталями физиологической, духовной и интимной жизни Лени, однако он сделал все, абсолютно все от него зависящее, дабы выяснить о Лени то, что называется фактической информацией (лица, предоставившие ее в распоряжение авт., будут даже поименно упомянуты в соответствующих местах текста!); таким образом, все, о чем сообщается, можно считать достоверным с вероятностью, граничащей с полной уверенностью. Лени — натура молчаливая и скрытная, и раз уж названы эти две черты ее характера, уместно будет упомянуть еще две: Лени не способна ни таить злобу, ни раскаиваться, она не раскаивается даже в том, что не оплакивала смерть своего первого мужа. Ее полная неспособность к раскаянию исключает употребление степеней сравнения — «больше» или «меньше»; вероятно, она просто не знает, что такое раскаяние; в этом отношении — как и в некоторых других — ее религиозное воспитание оказалось безрезультатным или может быть сочтено таковым, что, вероятно, пошло ей только на пользу.

Из свидетельств осведомленных лиц однозначно вытекает, что Лени больше не понимает этот мир и сомневается, понимала ли она его когда-либо; она не может постичь враждебности окружающих, не понимает, почему люди так против нее настроены и так дурно к ней относятся; она никому не делала и не сделала ничего плохого, в том числе и им; в последнее время, когда она выходит из дома, чтобы купить самое необходимое, над ней открыто смеются, а такие выкрики, как «дрянь» или «рваная подстилка», являются еще самыми безобидными. Не стесняются даже прибегать к ругательствам,

поводом к которым были события тридцатилетней давности: «коммунистическая шлюха» или «русская подстилка». Лени на оскорбления не отвечает. И уже привыкла слышать за своей спиной «дрянь». Поэтому ее считают бесчувственной или даже твердокаменной; и то и другое неверно. Согласно надежным показаниям (свидетельница Мария ван Доорн), Лени часами сидит дома и плачет, ее конъюнктивальные мешочки и протоки слезных желез работают довольно активно. Даже соседских детей, с которыми у нее до последнего времени отношения были вполне дружеские, натравливают против нее, и те кричат ей вслед слова, которых ни они, ни Лени, в сущности, не понимают. При этом, исходя из подробных и исчерпывающих свидетельских показаний, почерпнутых из всех, буквально всех источников, можно утверждать с вероятностью, граничащей с полной уверенностью, что Лени за всю свою жизнь сожительствовала с мужчинами в общем и целом раз двадцать пять: дважды с Алоисом Пфайфером, с которым была обвенчана (один раз до и один раз во время брака, продлившегося всего три дня), а остальные — с человеком, за которого даже вышла бы замуж, если бы обстоятельства того времени позволили ей это сделать. Спустя несколько минут после того, как сама Лени появится в нашем повествовании (это случится еще не скоро), она впервые сделает то, что можно было бы назвать ошибкой: она снизойдет к мольбам одного турецкого рабочего, который, стоя на коленях, будет просить ее на своем непонятном ей языке о благосклонности, и сделает она это лишь потому — надо сразу об этом сказать, — что не выносит, когда кто-то стоит перед ней на коленях (само собой разумеется, что сама она не способна ни о чем просить на коленях). К сказанному следует, вероятно, добавить, что Лени — круглая сирота и имеет несколько свойственников, которые ей неприятны, и несколько менее неприятных кровных или прямых родственников в деревне, а также сына двадцати пяти лет, носящего ее девичью фамилию и в настоящее время находящегося в тюрьме. Стоит упомянуть также одну особенность ее фигуры, — быть может, в какой-то степени объясняющую назойливость мужских притязаний к ней. Грудь у Лени необычайно притягательна, женщину с такой грудью, безусловно, нежно любили, а ее грудь воспевали в стихах. Соседям больше всего хотелось отделаться или избавиться от Лени; ей даже кричали вслед: «Проваливай

отсюда!» — или: «Чтоб ты провалилась!»; из достоверных источников известно также, что иногда раздаются требования отправить ее в душегубку; авт. ручается, что такое желание высказывалось, но не знает, имеется ли возможность его осуществления; он может лишь добавить, что желание это выражалось достаточно энергично.

О повседневных привычках Лени нужно сообщить еще несколько деталей: она любит покушать, но ест немного; главная еда у нее за завтраком: утром она непременно съедает две свежайшие булочки, одно свежее яйцо всмятку, немного масла, одну-две столовые ложки джема (точнее: сливового пюре того сорта, который в других странах называют повидлом), выпивает чашку крепкого кофе с горячим молоком и очень небольшим количеством сахара; к следующему приему пищи, называемому обедом, она испытывает меньший интерес: супа и немного десерта ей вполне достаточно; на ужин она не ест ничего горячего — два-три ломтика хлеба, немного салата и, если средства позволяют, колбасу или холодное мясо. Но главное значение для Лени имеют свежие булочки, которые она, отказавшись от доставки на дом, выбирает собственноручно — естественно, не трогая их руками и оценивая лишь по виду; ничто не внушает ей большего отвращения — во всяком случае, из еды, — чем неаппетитные булочки. И вот ради булочек, а также потому, что завтрак — ее главная трапеза, она и отправляется каждое утро в гущу людей, мирясь с оскорблениями, обидными выкриками и грубыми ругательствами в свой адрес.

Что касается курения, то надо сказать, что Лени курит с семнадцати лет, обычно не больше восьми сигарет в день, чаще даже меньше; в войну она временами воздерживалась от курения, чтобы припасти сигареты для человека, которого любила (не своего мужа!). Лени относится к той категории людей, которые не прочь иногда выпить рюмку-другую вина, но никогда не пьют больше, чем полбутылки; при соответствующей погоде она позволяет себе иногда рюмочку шнапса, а при соответствующем настроении и наличии денег — бокал шерри. Прочие сведения: у Лени имеются водительские права с 1939 года (получены по особому разрешению

при обстоятельствах, о которых подробнее будет сказано ниже), но уже с 1943 года машины у нее нет. Водила она ее охотно, даже можно сказать — со страстью.

Лени все еще живет в том доме, в котором родилась. Ее квартал по необъяснимым причинам не пострадал от бомбежек, — во всяком случае, *не слишком* пострадал; он был разрушен всего на 35%, то есть судьба обошлась с ним милостиво. Недавно с Лени произошло нечто такое, что даже заставило ее разговориться: при первой же возможности она поделилась пережитым со своей закадычной подругой и главным доверенным лицом, которая и для авт. является главным источником информации, причем голос Лени от волнения дрожал: утром, когда она, идя за булочками, переходила улицу, ступня ее правой ноги ощутила небольшую выбоину в брусчатке, которой была вымощена проезжая часть; на эту выбоину ее нога наткнулась в последний раз сорок лет назад, когда Лени прыгала там с другими девочками; вероятно, кусочек брусчатки нечаянно отбил каменщик, когда мостили улицу в 1894 году. Нога Лени тут же передала сигнал в мозг, откуда он проследовал во все органы чувств и эмоциональные центры, а поскольку Лени — человек необычайно чувственный и у нее все, абсолютно все немедленно приобретает эротическую окраску, то от умиления, печали, нахлынувших воспоминаний и общей взволнованности она пережила такое состояние, которое в теологических словарях обозначается термином «абсолютное чувственное удовлетворение», хотя в виду там имеется нечто совсем иное; примитивные эротологи и сексотеологические догматики, огрубляя и схематизируя, называют это состояние оргазмом.

Чтобы не создалось впечатление, будто Лени совсем одинока, надо назвать всех ее друзей, из которых большинство делили с ней радость, а двое — и радость и горе. Причина ее одиночества — только в ее молчаливости и замкнутости; можно назвать ее даже скрытной; она действительно очень редко «изливает душу» даже перед своими давнишними подругами: Маргарет Шлемер, урожд. Цайст, и Лоттой Хойзер, урожд. Бернтген, которые оставались с Лени, когда дела ее были совсем уж плохи. Маргарет — сверстница Лени, как и Лени, она овдовела, однако эта похожесть может привести к неправильному пониманию. У Маргарет было много связей

с мужчинами по причинам, о коих будет сказано ниже, но никогда по расчету, хотя временами — когда ей приходилось особенно туго — она и брала с них деньги; и все же лучше всего Маргарет характеризует тот факт, что ее единственной любовной связью по расчету был брак с человеком, за которого она вышла восемнадцати лет; именно тогда она сказала Лени единственную достойную шлюхи и бесспорную фразу (это случилось в 1940 году): «Я подцепила одного богатого малого, которому приспичило пойти со мной под венец». В настоящее время Маргарет лежит в больнице, в боксе, у нее какая-то страшная венерическая болезнь, вероятно неизлечимая; она сама говорит про себя, что «прогнила насквозь», — вся ее эндокринная система нарушена, разговаривать с ней можно только через стеклянную перегородку, и она рада любой пачке сигарет и бутылочке шнапса, которые ей приносят, даже если это самая маленькая бутылочка, какая только есть в продаже, а шнапс — самый дешевый. Ее эндокринная система разрушена до такой степени, что, по ее словам, «она бы не удивилась, если бы у нее вместо слез из глаз полилась моча». Она рада любому наркотику, будь то морфий, опиум или гашиш.

Больница расположена за городом, на природе, и состоит из разбросанных среди зелени коттеджей. Чтобы попасть к Маргарет, авт. пришлось прибегнуть к различным предосудительным приемам, как-то: подкупу и мошенничеству, выразившемуся в незаконном присвоении функций должностного лица (он выдал себя за доцента по социологии и психологии проституток!).

Несколько забегая вперед, нужно добавить, что Маргарет «сама по себе» куда менее чувственна, чем Лени; Маргарет погубила не жажда страстных любовных ласк, а то обстоятельство, что другие очень жаждали получить от нее эти ласки, кои она по своей натуре была склонна щедро расточать; дальше мы еще вернемся к этому. Ясно, во всяком случае, одно: Лени страдает, Маргарет страдает.

«Сама по себе» не страдает, а страдает только потому, что страдает Лени, которую она действительно очень любит, уже упомянутая выше женщина по имени Мария ван Доорн, семидесяти лет, некогда служанка в доме Груйтенов, родителей Лени: теперь она уединенно живет в деревне, где инвалидная пенсия, огород и несколько фруктовых деревьев, а также десяток кур и оп-

ределенная доля доходов от свиней и телят, которых она помогает откармливать, обеспечивают ей мало-мальски спокойную старость. Мария делила с Лени только радость и отдалилась от нее, когда «горестей навалилось слишком уж много», по причинам — это нужно особо подчеркнуть — отнюдь не морального, а, как это ни странно, национального свойства. У Марии, вероятно, еще пятнадцать — двадцать лет назад «душа была на подобающем месте»; но за истекшие годы этот излишне перевозносимый «орган» если не пропал вовсе, то переместился куда-то значительно ниже, не «в пятки», конечно, трусливой она никогда не была; Мария возмущена тем, что травят ее Лени, которую она в самом деле хорошо знает, наверняка намного лучше, чем ее знал мужчина, фамилию которого та носит. Как-никак, Мария ван Дорн прожила в доме Груйтенов с 1920 по 1960 год, при ней Лени появилась на свет, на ее глазах прошла вся жизнь Лени со всеми ее перипетиями; она готова вновь вернуться к Лени, но покамест еще прилагает всю свою (довольно-таки значительную) энергию к тому, чтобы уговорить Лени переехать к ней в деревню. Она в ужасе от того, что происходит вокруг Лени и что ей угрожает, и даже готова поверить в зверства, некогда совершенные ее соотечественниками, которые доныне не то чтобы вовсе отрицала, но считала маловероятными, принимая во внимание их масштабы.

Особое место среди лиц, снабжающих авт. информацией, занимает музыкальный критик доктор Хервег Ширтенштайн; уже сорок лет он живет в задних комнатах квартиры, которая восемьдесят лет назад считалась бы роскошной, но уже после первой мировой войны утратила свой былой блеск и была поделена; благодаря тому, что его окна в бельэтаже выходят в тот же двор, что и выходящие во двор окна квартиры Лени, расположенной в соседнем доме, он имел возможность в течение десятилетий внимательно следить за тем, как Лени играла на рояле сначала простые упражнения, затем более сложные, а позже достигла даже некоторого мастерства; при этом он так и не узнал, что играет на рояле именно Лени; хотя в лицо он ее и знает — за сорок лет не раз встречался с ней на улице (даже весьма вероятно, что наблюдал за Лени, когда она еще прыгала во дворе вместе с другими девочками, поскольку он очень интере-

суется детскими играми и защитил диссертацию на тему «Музыка в детской игре»); а так как он еще и неравнодушен к женским прелестям, то, конечно же, за эти годы не мог не заметить, как менялся облик Лени, и не раз одобрительно кивал головой ей вслед, а возможно, даже питал насчет нее какие-то тайные надежды; и все же нужно заметить, что он не имел на Лени серьезных видов, поскольку считал ее — по сравнению с другими женщинами, с которыми Ширтенштайн бывал близок, — «чуть-чуть вульгарной». Если бы он знал, что это именно Лени после нескольких лет ученических экзерсисов научилась так мастерски исполнять, правда, всего два опуса, Шуберта, что Ширтенштайну за десять лет не наскучило их слушать, он, скорее всего, изменил бы свое мнение о Лени — он, которого сама Моника Хаас не только боялась, но и уважала. К Ширтенштайну, который позже неумышленно вступит с Лени в эротическую связь не то чтобы телепатического, а скорее всего, лишь телечувственного характера, мы еще вернемся. Справедливости ради следует сказать, что Ширтенштайн готов был бы делить с Лени не только радость, но и горе, однако такой случай ему не представился.

Сообщить о родителях Лени довольно много, о душевных переживаниях Лени весьма мало, о внешней стороне жизни Лени почти все могло еще одно информированное лицо: восьмидесятипятилетний старик Отто Хойзер, бывший главный бухгалтер, двадцать лет назад вышедший на пенсию и проживающий ныне в комфортабельном доме для престарелых, сочетающем в себе преимущества роскошного отеля и дорогого санатория. Он весьма регулярно навещает Лени, или же она сама приносит ему визит.

Кладезем достоверных свидетельств является его невестка Лотта Хойзер, урожд. Бернтген; менее достоверные источники информации — ее сыновья Вернер и Курт, достигшие к настоящему времени тридцати пяти и, соотв., тридцати лет. Лотта Хойзер настолько же надежна, насколько озлобленна, однако ее озлобленность не была направлена на Лени; Лотте пятьдесят семь лет, она, как и Лени, вдова фронтовика, конторская служащая.

Не считаясь ни с чем, в том числе и с кровными узами, связывающими ее со свекром (см. выше) и с младшим сыном Куртом, Лотта Хойзер называет их обоих гангстерами, обвиняя чуть ли не их одних в том,

что Лени теперь оказалась в таком отчаянном положении: «только недавно узнала такие вещи, сообщить которые Лени у меня попросту духу не хватает, потому что я и сама их никак не переварю. Это просто уму непостижимо». Лотта живет в двухкомнатной квартире с кухней и ванной в центре города, за которую платит примерно треть своего месячного жалования. Она подумывает о том, чтобы переехать обратно к Лени,— из симпатии к ней, а также для того, чтобы, как она добавляет с угрозой (кому она грозит, остается нам пока неизвестным), «поглядеть, выбросят ли они на улицу заодно и меня. Боюсь, что с них станется». Лотта служит в каком-то профсоюзе — «не по убеждению (добавляет она по собственной инициативе), а только потому, что надо же что-то жрать и как-то жить».

Кроме упомянутых имеется еще несколько свидетелей,— может быть, не менее важных: ученый-славист доктор Шольсдорф, вошедший в жизнь Лени в результате сплетения или сложного переплетения обстоятельств; это переплетение будет впоследствии объяснено, несмотря на всю его сложность. В результате разномасштабных событий, которые также будут описаны авт. в соответствующем месте, Шольсдорф достиг высоких постов в финансовых органах; он собирается подвести черту под этой карьерой, досрочно уйдя на пенсию.

Еще один ученый-славист, доктор Хенгес, играет, в общем-то, второстепенную роль; как источник информации он весьма сомнителен, и не только сам сознает свою сомнительность в этом качестве, но, я бы сказал, даже подчеркивает ее чуть ли не с радостью. Он называет себя человеком «абсолютно разложившимся», каковой характеристикой авт. не хотел бы воспользоваться именно потому, что она принадлежит самому характеризуемому лицу. Хенгес признался, хотя его об этом никто не просил, что, находясь в Советском Союзе на службе у одного (недавно убитого) дипломата графского происхождения и занимаясь «вербовкой рабочих для военной промышленности Германии», он «предал свой русский язык, мой великолепный русский язык». Хенгес «располагает средствами» (Х. о Х.) и живет неподалеку от Бонна, занимаясь переводами для различных восточнополитических журналов и учреждений.

Мы зашли бы слишком далеко, если бы начали уже сейчас обстоятельно характеризовать всех свидетелей жизни Лени. Они будут представлены читателю в соответственном месте и подробно описаны вместе с их окружением. А здесь следует упомянуть лишь бывшего букиниста, пожелавшего ограничиться инициалами Б. Х. Т. и служащего источником информации не о самой Лени, а лишь об одной католической монахине, сыгравшей важную роль в жизни Лени.

Не очень значительным, зато и поныне здравствующим свидетелем, которого, как лицо заинтересованное, авт. придется игнорировать в тех случаях, когда речь пойдет о нем самом, является деверь Лени, Генрих Пфайфер, сорока четырех лет, женатый на некоей Хетти, урожд. Ирмс, и имеющий двух сыновей, восемнадцати и четырнадцати лет, — Вильгельма и Карла.

В соответствующем месте, с обстоятельностью, соответствующей степени их важности, будут представлены также три высокопоставленных лица мужского пола: один из них — политический деятель муниципального уровня, другой — крупный промышленник, третий — один из высших чиновников министерства вооружений; кроме того, две работницы — обе пенсионерки по инвалидности — и двое или трое советских граждан; еще — хозяйка нескольких цветочных магазинов; старик садовник, бывший владелец садоводства, — еще не очень старый человек, который (его подлинные слова!) «целиком посвятил себя управлению собственной недвижимостью», и некоторые другие. *Важные* информанты будут описаны с точным указанием их роста и веса.

Та обстановка, что осталась в квартире Лени после множества описей за долги, представляет собой мешанину из мебели производства 1885 и 1920/25 годов: благодаря наследству, полученному ее родителями в 1920 и 1922 году, в квартире Лени оказалось несколько предметов обстановки в стиле модерн, а именно — комод, книжный шкаф и два стула, антикварная ценность которых покамест осталась не замеченной судебными исполнителями: вся эта мебель была сочтена «рух-

лядью». Зато конфискованы по описи и вынесены из квартиры восемнадцать полотен кисти местных современных художников, относящиеся к периоду 1918—1935, преимущественно религиозного содержания, ценность которых была завышена судебными исполнителями из-за их подлинности и потеря которых ничуть не огорчила Лени. Стены ее жилища увешаны очень четкими цветными фотографиями, изображающими органы человеческого тела; ими снабжает Лени ее деверь, Генрих Пфайфер; он служит в отделе здравоохранения, и в его обязанности в числе прочего входит также распределение учебного и информационного материала. Он приносит Лени фотоплакаты, которые поблекли и были списаны за негодностью («Хотя это плохо согласуется с моей совестью». Г. Пфайфер). Чтобы не вносить путаницы в учетные документы, Пфайфер приобретает списанные плакаты по минимальной цене; а поскольку «в его ведении» и приобретение новых наглядных пособий, при его посредничестве Лени изредка удается заполучить и новый плакат, который она приобретает прямо у фирмы-изготовителя и оплачивает, естественно, из своего (тощего) кошелька. Поблекшие плакаты Лени сама подновляет: осторожно промывает их мыльным раствором или бензином, восстанавливает выцветшие линии мягким черным карандашом и раскрашивает дешевыми акварельными красками, сохранившимися в доме еще с детских лет ее сына. Любимый плакат Лени — научно точное изображение увеличенного во много раз человеческого глаза — висит над роялем (чтобы сохранить неоднократно заложенный и перезаложенный рояль и спасти от судебных исполнителей, грозивших его вывезти, Лени унижалась, выпрашивая деньги у старинных знакомых ее покойных родителей или у своих жильцов в счет будущей квартирной платы, а также беря займы у своего деверя Генриха, а большей частью — у старика Хойзера, визиты к которому коробят Лени из-за его якобы чисто отеческих прикосновений; по словам трех самых надежных свидетельниц (Маргарет, Марии, Лотты), Лени даже сказала, что ради рояля готова «пойти на панель», — чрезвычайно рискованное высказывание в устах Лени. Стены украшают и менее привлекательные для глаз изображения других человеческих органов, таких как кишечник, и даже увеличенные половые органы с точным описанием всех функций тоже красуются на стенах, причем они висели здесь задолго до того, как

порнотеология позаботилась об их популяризации. В свое время между Лени и Марией происходили бурные ссоры из-за этих изображений, которые Мария называла безнравственными, но Лени не поддавалась и настояла на своем.

Поскольку авт. все равно пришлось бы коснуться отношения Лени к метафизике, лучше сразу же, в самом начале, сообщить: метафизика не представляет для Лени ни малейших трудностей. Она находится с Девой Марией в самых дружеских отношениях, чуть ли не ежедневно общается с ней с помощью телевизора, всякий раз удивляясь, что Дева Мария тоже блондинка и тоже не такая уж юная, какой ее хотелось бы видеть; эти встречи происходят в полной тишине, обычно поздно вечером, когда все соседи спят и по всем телепрограммам — включая голландскую — уже прозвучал сигнал окончания передач; Лени и Дева Мария просто смотрят друг на друга и улыбаются. Не больше и не меньше. Лени ничуть не удивилась бы, а тем более не испугалась, если бы однажды на экране телевизора после окончания передач появился бы Сын Девы Марии. Ожидает ли она именно этого, авт. неизвестно. Но после всего, что он за последнее время узнал, авт. готов в это поверить. Лени знает от начала до конца две молитвы, которые время от времени бормочет про себя: «Отче наш» и «Ave Maria». Кроме того, она знает еще два-три кусочка из обязательных молитв. Молитвенника у нее нет, в церковь она не ходит и верит в то, что в космосе есть «одушевленные существа» (Лени).

Прежде чем более или менее полно описать годы учения Лени, заглянем в ее книжный шкаф; основная масса бесславно пылящихся там книг составляла некогда чью-то библиотеку, оптом купленную ее отцом по случаю. Книги эти того же сорта, что и картины маслом, покуда избежавшие описи; среди них есть несколько полных годовых комплектов старого иллюстрированного ежемесечника церковной (католической) ориентации, в которые Лени время от времени заглядывает; этот журнал — букинистическая редкость — обязан своей сохранностью исключительно невежеству судебного исполнителя, обманутого его неказистым видом. Не усколь-

знули от внимания судебного исполнителя, к сожалению, комплекты журнала «Хохланд» за 1916—1940 годы, а также стихотворения Уильяма Батлера Йейтса, принадлежавшие матери Лени. Более внимательные наблюдатели, такие как Мария ван Доорн, которая, вытирая пыль, волей-неволей рассматривала книги в шкафу, или Лотта Хойзер, которая в годы войны долгое время была второй закадычной подругой Лени, обнаружили в этом книжном шкафу стиля модерн семь-восемь неожиданных здесь авторов: стихотворения Брехта, Гёльдерлина и Тракля, два томика прозы Кафки и Клейста, два романа Толстого («Воскресение» и «Анна Каренина»); все эти семь-восемь книг зачитаны — что, несомненно, делает честь их авторам и не может не льстить их самолюбию — до такой степени, что не рассыпаются только благодаря многочисленным неумело сделанным склейкам с помощью различных клеящих средств и клейких лент, а частично даже просто стянутых кое-как резинкой. На предложения подарить ей новые издания произведений упомянутых авторов (к Рождеству, дню рождения, именинам и т. д.) Лени отвечает отказом столь решительным, что даже обижает потенциальных дарителей. Авт. позволит себе сделать здесь одно замечание, выходящее за рамки его компетенции: он твердо убежден, что Лени поставила бы в шкаф и некоторые прозаические произведения Беккета, если бы в ту пору, когда литературный консультант Лени еще имел возможность оказывать на нее влияние, эти произведения были напечатаны или известны этому консультанту.

К слабостям Лени относятся не только те восемь сигарет, что она выкуривает за день, не только интерес к еде, правда весьма умеренный, не только исполнение на рояле двух вещей Шуберта и умилительное разглядывание изображений человеческих органов, включая кишки; не только нежность, с какой она думает о своем сыне Льве, в настоящее время сидящем за решеткой. Еще она любит танцевать, причем всегда обожала танцы (что однажды привело к роковым для нее последствиям: из-за страсти к танцам она и обречена всю жизнь носить отвратительную ей фамилию Пфайфер). Но куда пойти танцевать одинокой сорокавосемилетней женщине, которую ее соседи осудили на смерть в газовой камере? Разве может она пойти в молодежные кафе, где ее

наверняка примут за секс-старуху и, возможно, надругаются над нею? Заказано ей участвовать и в приходских праздниках с танцами, поскольку она с четырнадцати лет никаких отношений с церковью не имеет. Если бы она разыскала других подруг своей молодости, кроме Маргарет, — которой, весьма вероятно, придется забыть о танцах до конца дней, — то она попала бы на какую-нибудь вечеринку со стриптизом и обменом партнерами, не имея собственного партнера, и покраснела бы в четвертый раз в жизни. Доне Лени краснела всего трижды. Что же остается ей делать? Она танцует в одиночестве, иногда полуодетая, в своей комнате, служащей гостиной и спальней, а в ванной порой и нагишом, перед льстящим ей зеркалом. Время от времени ее видят и даже застают за этим занятием, что отнюдь не способствует улучшению ее репутации. Однажды она потанцевала с одним из своих квартирантов, неким Эрихом Кёпplerом, рано облысевшим судебным заседателем; при этом Лени покраснела бы, не будь назойливые приставания этого господина слишком уж пошлыми: во всяком случае, ей пришлось попросить его съехать с квартиры, поскольку он — человек в общем-то неглупый и отнюдь не лишенный инстинкта — после того «рискованного танца» (Лени), который начался как бы нечаянно — жилец пришел заплатить за комнату и застал Лени за слушанием танцевальной музыки, — понял, что Лени — женщина чрезвычайно чувственная; и стал каждый вечер жалобно скулить у нее под дверь. Лени не пожелала снизойти к его мольбам, потому что он ей не нравился, и с тех пор Кёпpler, снявший комнату по соседству, стал одним из наиболее злобных гонителей Лени; в доверительной беседе с хозяйкой небольшого магазинчика, которому грозит банкротство из-за сдвигов в структуре торговли, он время от времени расписывает подробности своей якобы имевшей место любовной связи с Лени; подробности эти приводят лавочницу, особу смазливую и бессердечную, супруг которой днем обычно не бывает дома (он работает на автозаводе), в такое возбуждение, что она тащит лысого заседателя, ставшего за это время советником, в заднюю комнатку, где и удовлетворяет с ним свою разыгравшуюся похоть. Вот эта-то лавочница, по имени Кэте Першт, двадцати восьми лет от роду, и возводит на Лени самую злобную хулу, обвиняя ту в безнравственности, хотя сама во время ярмарки, когда город наводняют приезжие, главным образом мужчины,

при посредничестве своего мужа нанимается в ночной клуб, где за большие деньги выступает со стриптизом, причем перед ее номером конферансье масляным голосом объявляет, что она готова пойти навстречу тем эмоциям, которые вызовет ее выступление.

В последнее время Лени иногда выпадает случай потанцевать. Приобретя некоторый опыт, она теперь сдает лишние комнаты только супружеским парам и иностранным рабочим: так, она сдала две комнаты с некоторой скидкой — это при ее-то стесненных обстоятельствах! — приятной молодой чете; ради простоты назовем супругов Гансом и Гретой; и вот эти Ганс и Грета, слушая вместе с Лени танцевальную музыку, заметили и правильно поняли ритмичные покачивания Лени, поэтому теперь Лени иногда удается «потанцевать по-честному». Ганс и Грета иногда даже пытаются деликатно обсудить с Лени ее положение, советуют ей обновить гардероб, изменить прическу и найти себе любовника. «Лени, тебе бы только чуть-чуть подчеркнуть твою красоту, надеть нарядное розовое платье, натянуть ажурные чулочки на твои восхитительные ножки — и ты очень скоро заметишь, что ты еще очень и очень привлекательна». Но Лени лишь отрицательно качает головой, она слишком обижена на людей, больше не ходит в лавку за продуктами — покупки делает за нее Грета, а Ганс каждое утро до работы быстренько забегает к булочнику (он служит техником в дорожно-строительном управлении, Грета работает косметичкой и не раз предлагала Лени — пока безуспешно — воспользоваться ее услугами без всякой оплаты) и приносит Лени две свежайшие булочки, без которых Лени не может жить и которые для нее важнее, чем для других людей «святые дары».

Стены в комнате Лени увешаны, конечно, не только учебными пособиями по анатомии человека, висят здесь и фотографии — фотографии людей, которых уже нет; сделанный незадолго до смерти снимок ее матери, которая умерла в 1943 году в возрасте сорока одного года: лицо страдальницы с огромными глазами и редкими седыми волосами, сидящей, закутавшись в плед, на скамье у Рейна под Херзелем рядом с причалом, на вывеске которого можно прочесть название этого местечка; на заднем плане виднеются стены монастыря. Заметно, что

мать Лени зябнет; бросается в глаза также ее потухший взгляд и плотно сжатые губы; видно, что у нее нет желания жить; если бы кого-нибудь попросили назвать ее возраст, тот попал бы в затруднительное положение: то ли это преждевременно состарившаяся из-за какого-то тайного недуга тридцатилетняя женщина, то ли шестидесятилетняя дама хрупкого сложения, сохранившая некоторые приметы молодости. Мать Лени на этой фотографии улыбается — не то чтобы вымученно, но с заметным усилием.

Отец Лени тоже сфотографирован незадолго до смерти, в 1949 году, в возрасте сорока девяти лет. Снимок нечеткий, видно, что сделан он любителем; отец Лени тоже улыбается, но без всяких усилий; он стоит во весь рост в рабочем комбинезоне каменщика, во многих местах аккуратно залатанном, на фоне разрушенного дома и держит в левой руке ломик с раздвоенным концом, который мастера называют гвоздодером, а в правой — большой молоток, называемый ими кувалдой; перед ним, слева и справа от него и сзади лежат стальные балки разной величины, к которым, вероятно, и относится его улыбка — улыбка рыболова, глядящего на свой дневной улов. Но эти балки — как будет подробно объяснено позже — и на самом деле представляют собой его улов, ведь он работал тогда у упомянутого выше бывшего владельца садоводства, который рано учуял шанс «нажиться на развалинах» (свидетельство Лотты Х.). Отец Лени снят с непокрытой головой, волосы у него очень густые, лишь слегка подернутые сединой; к этому росту, статному мужчине, так естественно держащему в руках инструмент, трудно подобрать точное определение его социального статуса. Производит ли он впечатление пролетария или же образованного господина? Выглядит ли он человеком, выполняющим непривычную для него работу, или же этот явно тяжелый физический труд ему хорошо знаком? Авт. склонен считать, что и то и другое верно, причем в обоих случаях. Слова Лотты Х., сказанные об этом снимке, укрепляют его в этом мнении, она называет отца Лени на этом фото «господин пролетарий». По его виду никак не скажешь, будто он утратил вкус к жизни. Он кажется не моложе и не старше своих лет и точно соответствует представлению о «хорошо сохранившемся мужчине под пятьдесят», который вполне мог бы в брач-

ном объявлении обещать «счастье будущей жизнерадостной подруге, желательно не старше сорока».

Еще четыре фотографии запечатлели четырех молодых мужчин; все примерно лет двадцати, трех из них уже давно нет, четвертый (сын Лени) жив. У двоих из молодых мужчин на фото видны некоторые характерные недостатки, правда касающиеся лишь их одежды: хотя сфотографированы только лица, однако видна и часть груди, поэтому не стоит никакого труда установить, что молодые люди облачены в мундир немецкого вермахта, украшенный имперским орлом и свастикой — той двойной эмблемой, которую сведущие люди называют «прогоревшим стервятником». Эти молодые люди — брат Лени Генрих Груйтен и ее кузен Эрхард Швайгерт; их — как и третьего — следует отнести к жертвам второй мировой войны. Генрих и Эрхард производят впечатление «в чем-то типичных немцев» (авт.), «в чем-то типичном» (авт.) они оба сходны со всеми молодыми образованными немцами тех лет, фото которых сохранились; вероятно, мысль автора проясняет слова Лотты Х., назвавшей обоих юношей «Бамбергскими всадниками», — характеристика, как выяснится позже, безусловно, отнюдь не лестная. Объективности ради следует отметить, что Э. — блондин, а Г. — шатен,⁹ что оба они тоже улыбаются, причем Э. «открыто и простодушно» (авт.), и улыбка у него милая и очень добрая. Г. улыбается не так открыто, в уголках губ у него заметен налет того скептицизма, который часто ошибочно принимают за цинизм и который для 1939 года, когда сделаны оба снимка, может считаться довольно провидческим и даже чуть ли не прогрессивным.

На третьем снимке запечатлен советский русский по имени Борис Львович Колтовский; он не улыбается; сам снимок представляет собой сильно увеличенную и благодаря этому уже похожую на графику фотокарточку паспортного формата, сделанную любителем в Москве в 1941 году. Со снимка смотрит бледный серьезный юноша, у которого волосы надо лбом начинаются так высоко, что поначалу кажется, будто это признак раннего облысения, но потом понимаешь, что это просто свойственная Борису особенность, поскольку волосы у него густые, светлые и волнистые. Глаза его, темные и довольно большие, из-за стекол очков в никелированной оправе так блестят, что этот блеск можно принять за графический изыск. Сразу видно, что этот человек, не-

смотря на его серьезность, худобу и чрезвычайно высокий лоб, был очень молод, когда делался снимок. Одет он в штатское — рубашка с отложным воротником «апаш», без пиджака, — из чего можно заключить, что снимок был сделан летом.

На шестом фото запечатлен сын Лени, Лев. Хотя снят он в том же возрасте, что и Э., Г. и Б., он кажется моложе их всех; вероятно, это объясняется лучшим качеством фотоматериалов в 1965 году, когда был сделан снимок, чем в 1939 и 1941. К сожалению, нельзя не отметить, что Лев на снимке не просто улыбается, а смеется во весь рот; любой, не колеблясь, назовет его «веселым парнем»; бросается в глаза явное сходство между ним, отцом Лени и его собственным отцом, Борисом. Волосами он пошел в Груйтенев, а глазами — в Баркелей (мать Лени была урожденная Баркель. Авт.), благодаря чему Лев похож еще и на Эрхарда. Его смеющееся лицо и его глаза наводят на мысль о том, что он наверняка не обладает двумя качествами своей матери: Лев явно не молчалив и не скрытен.

Кроме фотографий, плакатов с изображениями человеческих органов, рояля и свежих булочек есть еще одна вещь, которой Лени также очень дорожит: это ее купальный халат, который она ошибочно и упорно именуется капотом. Это одеяние из «махровой ткани довоенного качества» (Лотта Х.), некогда вишневого цвета, что и сейчас еще заметно на спине и у швов под карманами, за истекшее время — тридцать лет! — вылиняло до цвета сильно разбавленного малинового сиропа. Халат этот во многих местах заштопан оранжевыми нитками, и, надо заметить, весьма искусно. Лени редко расстается с этим халатом, фактически почти его не снимает, и, по слухам, даже сказала, что «хочет в свое время быть похороненной в нем» (Ганс и Грета Хельцен, поставляющие авт. информацию по всем бытовым вопросам).

Вероятно, следует хотя бы вкратце упомянуть людей, ныне населяющих квартиру Лени: две комнаты она сдала Гансу и Грете Хельцен; две — семейству Пинто из Португалии, состоящему из родителей — Иоакима и Анны-Марии — и троих детей — Этельвины, Мануэлы и Жозе; и последнюю комнату — трем уже далеко не молодым рабочим из Турции, которых зовут Кайя Тунч, Али Кылыч и Мехмед Шахан.

Лени, естественно, не всегда было сорок восемь, поэтому придется заглянуть и в ее прошлое.

Со старых фотографий Лени на нас смотрит девчушка, которую каждый назвал бы хорошенькой и жизнерадостной; даже в форме нацистской организации для девочек — в возрасте тринадцати, четырнадцати и пятнадцати лет — Лени очень мила. Ни один мужчина, поглядев на эти снимки, не оценил бы ее физические данные иначе, как только: «а она недурна, черт побери». Ведь стремление к спариванию у людей включает широкий диапазон чувств; это и любовь с первого взгляда, и спонтанное сиюминутное желание просто переспать с лицом другого или даже того же пола — так, мимоходом, не рассчитывая на сколько-нибудь длительную связь, и доходит до глубочайшей, всепоглощающей страсти, не дающей покоя ни душе, ни телу; и все проявления этой страсти, не поддающиеся никаким закономерностям или законам, и каждое в отдельности, от самого поверхностного до самого глубокого, могли быть внушены внешностью Лени и действительно были ею внушены. Когда Лени исполнилось семнадцать, она совершила решающий скачок от хорошенькой девчушки к настоящей красавице, который легче дается темноглазым блондинкам, нежели голубоглазым. На этой стадии любой мужчина оценил бы ее не иначе, как «достойную всяческого внимания».

Необходимо сделать несколько замечаний и касательно образования Лени. В шестнадцать лет она поступила работать в контору своего отца, вероятно заметившего совершенный ею скачок от хорошенькой девчушки к красавице и — главным образом из-за впечатления, производимого ею на мужчин, — привлекавшего ее к участию в важных деловых переговорах (на дворе стоял 1938 год), при которых Лени присутствовала с карандашом в руках и время от времени записывала в блокнот несколько слов. Стенографировать она не умела, да и не стала бы ни за что учиться этому делу. Хотя абстракции и вообще все абстрактное не были ей совершенно чужды, все же «крючки-закорючки», как она называла стенографию, она осваивать не захотела. Годы ее учения были отмечены страданиями — правда, стра-

дали больше учителя, чем она сама. Она закончила четыре класса начальной школы с весьма незавидными и в значительной степени завышенными оценками; за это время она дважды не то чтобы была оставлена на второй год, но «добровольно оставалась для повторного прохождения программы». Один из еще здравствующих свидетелей тех лет, бывший директор начальной школы, а ныне шестидесятипятилетний пенсионер Шлокс, которого удалось разыскать в деревне, куда он удалился на покой, припомнил, что Лени иногда даже собирались перевести в школу для недоразвитых детей и что спасли ее от этого два обстоятельства: во-первых, состоятельность ее отца, которая — как особо подчеркивает Шлокс — играла известную роль, причем не прямо, а лишь косвенно, а во-вторых, тот факт, что в свои одиннадцать — двенадцать лет Лени два года подряд была признана комиссией по расовым вопросам, обследовавшей все школы, «самой истинно немецкой девочкой школы». Однажды Лени даже оказалась претенденткой на звание «самой истинно немецкой девочки города», но была отодвинута на второе место дочкой протестантского священника, глаза у которой были светлее, чем у Лени: к тому времени они уже частично утратили первоначальную голубизну. Разве можно отправить «самую истинно немецкую девочку школы» в школу для недоразвитых? В двенадцать Лени перешла в лицей при монастыре, откуда уже в четырнадцать ее пришлось забрать как не справившуюся с программой; за два года она один раз с треском провалилась на экзаменах и один раз была условно переведена в следующий класс, поскольку ее родители клятвенно обещали не воспользоваться этим переводом. Свое обещание они сдержали.

Во избежание недоразумений необходимо дать объективную информацию, объясняющую те неудачные стечения обстоятельств в годы учения, жертвой которых была или стала Лени. В этой связи речь идет не о чьей-то *вине* — ни в начальной школе, ни в лицее с Лени не возникало никаких серьезных конфликтов, — а лишь о недоразумениях. Лени проявила явные способности к учебе, более того — жажду знаний, и все участники педагогического процесса старались эту жажду утолить. Вот только напитки, которые ей для этого предлагались, не соответствовали складу ее ума, ее задаткам, особенно-

стям ее восприятия. В большинстве, пожалуй, даже во всех случаях предлагаемый ей учебный материал не обладал той чувственной основой, без которой Лени ничего не могла воспринимать. Например, процесс письма не представлял для нее ни малейших трудностей, хотя можно было бы ожидать обратного ввиду сугубой абстрактности этого занятия, однако письмо было для Лени связано со зрительными и осязательными ощущениями, даже с запахами (стоит вспомнить, как по-разному пахнут разные чернила, карандаши, виды бумаги); поэтому ей легко давались даже самые сложные орфографические упражнения и грамматические тонкости; ее почерк, которым она, к сожалению, мало пользуется, был и остается четким и красивым и — как вполне авторитетно заявил бывший директор школы Шлокс (источник информации по всем *основополагающим педагогическим вопросам*) — способным даже «вызывать эротическое или сексуальное возбуждение». Особенно не везло Лени с двумя близкородственными предметами: Законом Божьим и математикой (в частности счетом). Если бы хоть кто-то из ее учителей или учительниц догадался объяснить еще маленькой, шестилетней Лени, что математика и физика могут приблизить к ней звездное небо, которое Лени так любит, она бы не стала отказываться учить таблицу умножения, вызывавшую у нее такое же гадливое чувство, как у некоторых людей пауки. Нарисованные на бумаге орехи, яблоки, коровы и горошинки, с помощью которых авторы учебников пытаются добиться ощущения реальности при обучении счету, не будили ее воображение; она не была прирожденным математиком, зато была одарена необычайным чутьем к естественным наукам, и если бы ей кроме красных, белых и розовых цветков гороха по Менделю, заполнивших учебники и цветные таблицы, дали возможность ознакомиться с более сложными генетическими процессами, она, выражаясь высокопарно, непременно погрузилась бы в эту материю «со всей страстью юности». Из-за скудости знаний по биологии, полученных в школе, она лишилась многих радостей, которые наверстывает лишь теперь, уже в возрасте, раскрашивая дешевенькими акварельными красками плакаты, изображающие сложные органические процессы. Ван Доорн рассказывает, что не может забыть одну странную особенность, проявившуюся у Лени еще в раннем детстве, которая до сих пор кажется ей «дикой» и поныне оттал-

кивает свидетельницу не меньше, чем рисунки половых органов, развешанные по стенам комнаты Лени. Еще ребенком Лени проявила острый интерес к деятельности своего кишечника и ее результатам в виде экскрементов, пытаясь — к сожалению, тщетно! — получить ответ на вопрос: «Глядите, что это из меня вылезает?» Но ни ее мать, ни ван Доорн не удовлетворили ее любопытства!

Только второму из двух мужчин, с которыми Лени была близка за свою жизнь, причем именно иностранцу, да к тому же еще и советскому русскому, выпало на долю обнаружить, что Лени способна на удивительные эмоциональные порывы и очень смышлена. Ему же она рассказала — между концом 1943 и серединой 1945 года она была отнюдь не так молчалива, как нынче,— что к ней, мол, «ощущение полного удовлетворения» впервые пришло в шестнадцать лет, когда она, только что отчисленная из лицея, июньским вечером поехала покататься на велосипеде и, соскочив с него на лугу, легла на землю; «совершенно отрешенно распростершись на траве» (Лени — Маргарет) и глядя на небосвод, где едва проступившие звезды окрашивались последними отблесками вечерней зари, она ощутила в себе такое блаженство, которого молодые люди нынче слишком часто домогаются; у Лени — так, по ее словам, сказанным Маргарет, поведала она об этом Борису,— в этот летний вечер 1938 года распростершейся на теплой траве и «открытой», возникло полное впечатление, что ее «берут», а она «отдается», и потому, как она позже призналась Маргарет, она бы ничуть не удивилась, если бы с этого вечера забеременела. По этой же причине непорочное зачатие Девы Марии отнюдь не кажется ей непостижимым.

Лени покинула лицей с весьма неприглядными оценками, в частности ее успехи по Закону Божьему и математике были аттестованы как «неудовлетворительные». На два с половиной года ее поместили в пансион, где девочек обучали домоводству, немецкому языку, Закону Божьему, начаткам истории (до Реформации), а также музыке (фортепиано).

Прежде чем поставят памятник одной из монахинь, сыгравшей в духовном развитии Лени столь же решающую роль, что и советский русский, о котором впереди

еще не раз пойдет речь, необходимо упомянуть трех других, ныне здравствующих, монахинь, которые смогли дать информацию о Лени, хотя со времени их знакомства с нею прошло тридцать два и, соотв., тридцать четыре года; тем не менее они хорошо ее помнят, и, когда авт. с карандашом и блокнотом разыскал их в трех разных местах и произнес имя Лени, все три одинаково воскликнули: «Ну конечно, Груйтен!» Авт. кажется, что эта одинаковая реакция имеет большое значение, поскольку доказывает, что Лени производила на людей сильное впечатление.

Но так как трех монахинь объединяет не только одинаковое восклицание «Ну конечно, Груйтен!», но и некоторые одинаковые внешние черты, ради экономии места можно свести кое-какие детали воедино. Кожа на лице у всех трех была такая, какую называют пергаментной: желтоватая, слегка морщинистая, обтягивающая скулы; все три угостили авт. чаем (или распорядились угостить). Рискуя показаться неблагодарным, авт. тем не менее должен сказать, что чай у всех трех был не очень крепкий; все три угостили его (или распорядились угостить) черствым пирогом; все три закашлялись, когда авт. закурил (намеренно не попросив разрешения, так как боялся, что получит отказ); все три беседовали с авт. в почти одинаковых комнатах для приема гостей, стены которых были украшены гравюрами на религиозные темы, распятием, портретами здравствующего папы и кардинала соответствующего региона; столы в трех разных комнатах для приема гостей были покрыты плюшевыми скатертями, все стулья как на подбор неудобные; все три монахини были примерно одного возраста — между семьюдесятью и семьюдесятью двумя.

Первая из них, сестра Колумбана, была директрисой лицея, в котором Лени проучилась два года со столь скромными успехами. Это эфирное создание с усталыми, очень умными глазами; почти все время, потребовавшееся для интервью, она сидела, грустно покачивая головой; это покачивание означало, что она упрекала себя за неумение выявить заложенные в Лени способности. Она то и дело повторяла: «В ней было что-то, и даже очень сильное, но мы не сумели это выявить». Будучи доктором математических наук, сестра Колумбана и поныне (с лупой) читает специальную литературу и представляет собой законченный тип женщины начальной поры эман-

сипации, ознаменованной тягой женщин к образованию, который в монашеской рясе, к сожалению, встречает столь мало признания и еще меньше восхищения. В ответ на деликатные вопросы, касавшиеся ее собственной жизни, она рассказала, что уже в 1918 году носила одежду из дерюги и подвергалась насмешкам, презрению и издевательствам больше, чем нынче какой-нибудь хиппи. Узнав от авт. некоторые подробности о жизни Лени, она несколько оживилась, усталые ее глаза слегка заблестели, и она сказала со вздохом, но и с некоторым восхищением: «Крайность, во всем крайность — да, именно так должна была сложиться ее жизнь». Замечание это несколько озадачило авт. Прощаясь, он пристыженно взглянул на четыре окурка, вызывающе вульгарно торчавшие из пепла в керамической пепельнице, изогнутой в форме виноградного листа, — вероятно, редко используемой и лишь от случая к случаю служащей ложем для потухшей сигары какого-нибудь прелата.

Вторая монахиня, сестра Пруденция, в свое время обучала Лени немецкому языку; она показалась авт. менее утонченной, нежели сестра Колумбана, а также более румяной, что отнюдь не означает, будто на ее щеках играл румянец; просто ее прежний розовый цвет лица еще слегка проступал сквозь теперешнюю блеклость, в то время как лицо сестры Колумбаны светилось прозрачной бледностью, явно свойственной ему еще в юности. Сестра Пруденция (смотри выше ее реакцию на имя Лени!) добавила авт. несколько неожиданных штрихов к портрету Лени тех лет. Она сказала: «Я ведь сделала все возможное, чтобы ее не выгнали из школы, но ничего не вышло, хотя по своему предмету я поставила ей хорошую оценку, и сделала это вполне обоснованно: она написала прямо-таки великолепное сочинение о новелле «Маркиза д'О...». Чтение этой новеллы, знаете ли, считалось нежелательным и даже запрещалось, поскольку в ней встречались некоторые, так сказать, неприличные вещи; но я тогда полагала и сейчас полагаю, что четырнадцатилетние девочки могут спокойно об этом читать и думать, а тут эта Груйтен написала нечто воистину великолепное: она выступила пламенной защитницей графа Ф..., выказав такую удивительную способность проникновения в мир — ну, скажем, половых ощущений мужчины, — которая меня поразила... Это было великолепно, и я чуть не поставила ей пятерку, но тут вылезла эта двойка, а в сущности, даже единица по

Закону Божьему — просто пожалели девочку и поставили двойку вместо единицы,— а кроме того, еще и безусловная, наверняка вполне обоснованная двойка по математике, которую ей вынуждена была поставить сестра Колумбана, плача от жалости, но не считая себя вправе кривить душой... Вот Груйтен и вылетела... То есть ушла из лица, ей пришлось уйти».

Из монахинь и учительниц пансиона, в котором Лени продолжала свое образование с четырнадцати до шестнадцати лет, удалось разыскать только третью из представленных здесь монахинь, сестру Цецилию. Именно она в течение двух с половиной лет давала Лени частные уроки игры на фортепиано; сразу же почуяв в Лени музыкальную одаренность и возмущаясь, прямо-таки впадая в отчаяние от ее неспособности читать ноты и даже в уже прочитанных нотах соотносить знак со звуком, она потратила шесть первых месяцев на то, чтобы Лени прослушивала пластинки и потом просто подбирала прослушанное на рояле,— эксперимент, как признала сестра Цецилия, хоть и сомнительный, но в данном случае вполне удавшийся, который — по ее словам — доказал, что «Лени способна схватывать не только мелодии и ритмы, но и разобраться в структуре музыкальных произведений». Но как было научить Лени (бесчисленные вздохи сестры Цецилии!) неизбежному: чтению нот? Ей пришла в голову почти гениальная мысль: попытаться сделать это обходным путем, с помощью географии. Хотя курс географии был весьма скудный и сводился в основном к перечислению, показу на карте и вызубриванию названий притоков Рейна и горных массивов или местностей, по которым они протекают. И что же: Лени научилась-таки читать карту: извилистая черная линия между Хунсрюком и Айфелем, то есть река Мозель, воспринималась Лени не только как черная извилистая линия, а как условное обозначение действительно существующей реки. Вот так-то. Эксперимент удался: Лени научилась читать ноты,— правда, с трудом, преодолевая отвращение, часто даже плача от злости, но научилась. А поскольку сестра Цецилия получала от отца Лени за уроки довольно солидную плату, которая шла в монастырскую кассу, она считала себя обязанной «чему-то научить Лени». Это ей удалось. «Но больше всего меня восхитило в Лени то, что она сразу поняла: Шуберт для нее предел; попытки пойти дальше проваливались так явно, что я даже сама ей посоветова-

ла оставаться в своих границах, хотя ее отец настаивал, чтобы она играла Моцарта, Бетховена и так далее».

Еще одно замечание касательно кожи сестры Цецилии: местами она была еще мягкая и молочно-белая, не такая сухая, как у двух других монахинь: авт. чисто-сердечно признается, что он ощутил — вероятно, фривольное по своей сути — желание увидеть более обширные участки кожи этой необычайно любезной старушки-девственницы, пусть даже это желание вызовет у кого-нибудь подозрение в геронтофилии. Однако, когда авт. спросил сестру Цецилию о другой монахине того же ордена, сыгравшей очень важную роль в жизни Лени, она, к сожалению, сразу замкнулась и приняла неприступный и даже враждебный вид.

Здесь можно лишь намекнуть на то, что потом, в ходе повествования, удастся, может быть, доказать: Лени — непризнанный гений чувственности. К сожалению, на нее длительное время навешивали ярлык, который многих устраивал своим удобством: ее называли «глупой гусыней». Старик Хойзер даже признался, что и нынче числит Лени по этому разряду.

Можно было предположить, что Лени, всю жизнь питавшая большой интерес к еде, прекрасно успевала на уроках кулинарии, а домоводство должно было бы быть ее любимым предметом. Какое там! Кулинарная наука — хотя занятия и проводились у плиты и разделочного стола, а в качестве наглядных пособий использовались материалы, имеющие запах, вкус и осязаемую структуру, — показалась ей абстрактнее математики и такой же нечувственной, как Закон Божий (если авт. правильно понял некоторые реплики сестры Цецилии). Трудно установить, погибла ли в Лени отличная кулинарка, но еще труднее доказать, не считала ли Лени блюда, приготовленные на занятиях кулинарией, «безвкусными» из-за гипертрофированного страха монахинь перед острыми приправами. Бесспорно, к сожалению, одно: хорошей кулинарки из нее *не получилось*. Ей удаются только супы, да и то не всегда, а также десерты; кроме того, она — что отнюдь не само собой разумеется — прекрасно варит кофе и в свое время с большой любовью готовила еду для малыша (засвидетельствовано М. в. Д.), но стряпать нормальную пищу так и не научилась. Подобно тому, как соус может быть загублен одним лишним

движением руки, добавляющей в него приправу, — движением столь же интуитивным, сколь и не поддающимся никаким закономерностям, — так и религиозное воспитание Лени потерпело полный крах (или, лучше сказать: к счастью, не удалось). Когда речь шла о хлебе, вине или благословении наложением рук, то есть если дело касалось чего-то земного и материального, она не испытывала никаких трудностей. И ныне ей не составляет никакого труда поверить, что человека можно излечить, помазав его слюной. Но разве кто-нибудь станет мазать другого слюной? А вот она не только лечила слюной и своего русского друга, и собственного сына, но и простым наложением рук внушала ощущение счастья русскому и успокаивала своего маленького сына (Лотта и Маргарет). Но разве кто-нибудь сейчас прибегает к наложению рук? И что это был за хлеб, который ей дали вкусить во время первого святого причастия (последняя церковная церемония, в которой Лени принимала участие)? И куда, черт побери, подевалось вино? Почему ей его не дали? А вот истории о падших женщинах и прочих, весьма многочисленных, женщинах, с которыми общался Сын Девы Марии, ей чрезвычайно нравились и могли бы привести в экстаз так же, как привел вид звездного неба.

Можно себе представить, что Лени, всю жизнь обожавшая свежие булочки к завтраку и ради них даже сносившая насмешки соседей, ожидала первого причастия с жадным нетерпением. Но в лице ее не допустили к конфирмации — за то, что она во время занятий, приготавливавших учениц к святому таинству, неоднократно теряла терпение, перебивала учителя Закона Божьего, уже тогда довольно пожилого, седовласого и очень аскетичного человека, к сожалению умершего лет двадцать назад, да и после занятий с детским упрямством приставала к нему с просьбами: «Ну пожалуйста, пожалуйста, дайте мне этот хлеб жизни! Почему я должна так долго ждать?» Учитель этот, от которого до нас дошло лишь имя — Эрих Брингс — и несколько публикаций, счел невыдержанность Лени «преступной». Он был возмущен этим требованием, которое для него означало «чувственное желание». Естественно, он резко отклонял ее просьбы и на два года отложил ее участие в церемонии из-за «проявленной незрелости и неспособности постичь значение святых даров». Имеются два свидетеля этого происшествия: старик Хойзер, который

очень хорошо все помнит и имеет все основания сказать, что «тогда еле-еле удалось избежать скандала» и лишь по внутриполитической причине, а именно из-за угрозы, нависшей над монастырями (1934 год!), о которой Лени не имела никакого понятия, было решено «не предавать инцидент широкой огласке». Вторым свидетелем выступает сам старый учитель Закона Божьего, чьим коньком была «теория частиц»; учитель этот мог месяцами, а то и годами рассуждать, что могло бы, должно или обязано было бы случиться с частицами облаток при всех казуистически мыслимых обстоятельствах. И вот этот-то господин, по сию пору пользующийся некоторой известностью как специалист по частицам, позже опубликовал в одном литературно-теологическом журнале статью «Очерки моей жизни» и среди прочего изложил и случай с Лени, которую он весьма неделикатно и прозрачно именуется «некая Л. Г., к тому времени достигшая двенадцати лет». Он описывает ее «горящие глаза», ее «чувственный рот», насмешливо отзывается о ее диалектально окрашенном произношении, характеризует дом ее родителей как «типичный вульгарный дом нуворишей» и заканчивает все это фразой: «В исполнении столь по-пролетарски выраженного конкретного требования вкусить святых даров я был, естественно, вынужден отказать». Родители Лени не отличались большой набожностью и не были ревностными прихожанами, однако разделяли взгляды своей среды и окружения, поэтому сочли тот факт, что «Лени не причащалась, как все», большим упущением и даже позором для своей репутации и заставили Лени «поступить как все», когда ей уже стукнуло четырнадцать и она училась в пансионе. А поскольку Лени к тому времени — по достоверному свидетельству Марии ван Доорн — уже созрела как женщина, то церковное торжество потерпело полную неудачу, равно как и мирское. Лени так жаждала получить эту частичку хлеба, все ее чувства были напряжены ожиданием блаженства. «И вот (так описывала она это событие Марии ван Доорн, выслушавшей ее с возмущением) сунули мне в рот этот белесый, крохотный, сухой, абсолютно безвкусный кусок. Да я его чуть не выплюнула!» Мария несколько раз перекрестилась; она не могла понять, почему столь ощутимые, земные, великолепные вещи, как свечи, ладан, органная музыка, пение хора, не помогли Лени преодолеть разочарование. Даже подобающая для таких случаев праздничная трапеза со спар-

жей, ветчиной, ванильным мороженым и взбитыми сливками не помогла. То, что Лени сама в некотором роде «сторонница теории частиц», она доказывает ежедневно, собирая с тарелки и отправляя в рот все хлебные крошки (Ганс и Грета).

В этом повествовании мы стараемся по возможности избегать скромных тем, однако ради полноты картины нельзя не сообщить, как именно вводил в мир интимных отношений своих выпускниц, молодых девушек от шестнадцати лет (самая младшая) до двадцати одного года (самая старшая), учитель Закона Божьего — молодой еще, но тоже аскетичный человек по фамилии Хорн, который лишь под нажимом директрисы пансиона допустил Лени к первому причастию. Беседы свои он вел елейным голосом и пользовался исключительно кулинарной терминологией; даже намеком не коснувшись точных биологических деталей, он сравнил половой акт, который он назвал «необходимым процессом продолжения рода», с «клубничкой со взбитыми сливками», пустился в импровизированные сравнения, имевшие целью описать позволительные и непозволительные поцелуи, причем «сдобные булочки» играли вполне понятную девушкам роль. Необходимо отметить, что, пока учитель елейным голосом расписывал в немыслимых деталях поцелуи и другие процессы полового акта, прибегая к немыслимой, исключительно кулинарной терминологии, Лени покраснела в первый раз в жизни (Маргарет), а поскольку сама она была не способна к раскаянию и в силу этого обстоятельства воспринимала исповедь как простую формальность и говорила первое, что приходило ей в голову, то очевидно, что объяснения учителя затронули в ней какие-то эмоциональные центры, до сих пор не обнаруженные учеными. И если уж мы пытаемся описать как можно более достоверно естественную, простонародную, почти гениальную чувственность Лени, то нельзя не добавить: она не была циничной. Поэтому тот факт, что она покраснела впервые в жизни, можно считать сенсационным. Во всяком случае, внезапно залившись краской, Лени была потрясена и восприняла это явление, совершенно не поддающееся контролю рассудка, как из ряда вон выходящее, мучительное и ужасное. Не стоит еще раз подчеркивать, что в Лени, видимо, до поры до времени дремало ожидание необычайных эроти-

ческих и сексуальных событий, а тот факт, что учитель Закона Божьего объяснял эти вещи так же, как, расхваливая, выдавал причастие за святые дары, увеличили ее возмущение, а не испытанный ею дотоле прилив крови к голове привел ее в полное смятение. Красная как рак и вне себя от гнева, она попросту убежала с урока, пробормотав нечто нечленораздельное, за что получила еще одну двойку в выпускном свидетельстве, уже по Закону Божьему. Кроме того, на уроках Закона Божьего ей беспрестанно вдалбливали, не пробуждая в ней никакого интереса, названия трех священных гор западного мира — Голгофы, Акрополя и Капитолия, причем к Голгофе она испытывала некоторое любопытство; из Библии она знала, что это не гора, а холм, и расположена не на западе. А если учесть, что Лени все же запомнила на всю жизнь «Отче наш» и «Ave Maria» и даже по сей день прибегает к этим молитвам, что она, кроме того, знает отрывочно еще несколько молитв и запросто общается с Девой Марией, то, вероятно, уместно будет заключить, что люди проглядели религиозный дар Лени точно так же, как и ее необычайную чувственность, и что в ней можно было бы открыть и развить незаурядную мистическую одаренность.

Ну, а теперь пора, наконец, хотя бы набросать проект памятника одной особе женского пола, которую, к величайшему сожалению, нельзя уже ни разыскать, ни пригласить или призвать для дачи показаний: она умерла в конце 1942 года при поныне не выясненных обстоятельствах, не в результате прямого насилия, но в результате угрозы прямого насилия, а также преступного равнодушия окружающих. Упомянутый выше Б. Х. Т. и Лени были, вероятно, единственными людьми, которых любила покойная; ее мирского имени не удалось обнаружить даже путем весьма настойчивых расследований, равно как и места ее рождения и социальной среды, из которой она вышла; известно лишь — для этого у авт. имеется достаточно свидетелей: Лени, Маргарет, Мария и тот самый букинист, в те годы лишь ученик букиниста, который счел для себя лучшим ограничиться лишь упоминанием своих инициалов Б. Х. Т., — ее монашеское имя: сестра Рахиль. Известно, кроме того, и ее прозвище: «Гаруспика». В те годы, когда она общалась с Лени и этим Б. Х. Т. (1937/38), ей было лет сорок

пять. Она была маленькая, жилистая (только Б. Х. Т., даже не Лени, рассказала она о том, что была некогда чемпионкой Германии среди женщин по бегу с барьерами на 80 метров!); не исключено, что и в 1937/38 году у нее были веские основания скрывать подробности своего происхождения и образования — она была, как тогда выражались, «высокообразованной личностью», это отнюдь не исключает возможности того, что она в свое время получила первую и, вполне вероятно, даже и вторую ученую степень, — естественно, под другим именем). Рост ее может быть указан, к сожалению, лишь по свидетельским показаниям: примерно 1 метр шестьдесят сантиметров; вес — приблизительно 50 килограммов; волосы — черные с проседью; глаза — голубые; не исключено, что она была кельтского происхождения, а может быть, и еврейского. Упомянутый выше Б. Х. Т., ныне работающий библиотекарем без диплома в городской библиотеке средней руки над составлением каталогов букинистических книг и оказывающий определенное влияние на пополнение библиотечных фондов, производит впечатление человека плохо сохранившегося для своих лет, приятного в общении, хотя и не очень инициативного и темпераментного; судя по всему, он был влюблен в эту монахиню, несмотря на разницу в возрасте лет этак в двадцать. Тот факт, что ему удалось до 1944 года уклоняться от службы в армии, благодаря чему он и смог стать для авт. missing link — «недостающим звеном» между Лени и сестрой Рахилью, свидетельствует о его упорном и целенаправленном интеллекте (как-никак, когда его на пятый год войны все же призвали, он был, по его словам, двадцатилетним здоровяком).

Во всяком случае, он оживился, даже, можно сказать, воодушевился, когда речь зашла о сестре Рахили. Он не курит, холост и — судя по запахам в его трехкомнатной квартире с ванной — отличный кулинар. Только старинные книги он считает достойными внимания, новые издания презирает: «Новая книга — не книга» (Б. Х. Т.). Он рано облысел, питается, вероятно, хорошо, но не разнообразно, в результате чего склонен к полноте; об этом свидетельствует пористый нос и небольшие припухлости за ушами, которые авт. заметил во время своих неоднократных визитов к Б. Х. Т. По натуре он не слишком разговорчив, но когда речь заходит о Рахили — Гаруспике, тут же начинает изливать душу, а к Лени, которую он знает лишь по рассказам сестры Рахили как «необычай-

но красивую светловолосую девушку, которой предстоит пережить много радостей и много горя», он относится с такой юношеской пылкостью, что авт., будь у него склонность к таким вещам и не будь он сам влюблен в Лени, мог бы поддаваться соблазну свести этих двух людей теперь, с опозданием в тридцать четыре года. Какими бы еще (тайными и явными) странностями ни отличался этот Б. Х. Т., ясно одно: он — человек верный. Возможно, он верен и самому себе.

Можно было бы еще многое рассказать об этом молодом человеке, однако это излишне, так как Б. Х. Т. почти не имеет прямого отношения к Лени и может пролить на интересующие авт. вопросы лишь отраженный свет.

Было бы ошибкой считать, что в этом пансионате Лени пришлось много страдать; отнюдь, ей там отлично жилось, с ней случилось то, что случается лишь с баловнями судьбы: она попала в хорошие руки. На уроках она узнавала более или менее интересные вещи; частные уроки у спокойной и приветливой сестры Цецилии были для нее важны и принесли свои плоды. Но решающим в судьбе Лени, по крайней мере не менее решающим, чем в дальнейшем встреча с советским человеком, стало знакомство с сестрой Рахилью, которую (1936 год!) не допустили к занятиям с ученицами и которая выполняла самые непрестижные для монахини обязанности: она была (по выражению учениц) «коридорной сестрой», что соответствовало социальному статусу самой обыкновенной уборщицы. Ей полагалось вовремя будить девочек утром, следить за тем, чтобы они как следует умылись, объяснять им — что упорно отказывалась делать сестра, преподававшая биологию, — те процессы, которые происходили в них и с ними, когда у них вдруг начиналось то, что бывает у всех женщин; кроме этого, у нее была еще одна обязанность, которую все остальные сестры считали отвратительной и унижительной, а сестра Рахиль выполняла прямо-таки с энтузиазмом, любовью и тщанием, а именно: осмотр и оценка результатов пищеварительного процесса у учениц как в твердом, так и в жидком виде. Девочкам вменялось в обязанность не смывать отработанные шлаки, пока сестра Рахиль не обследует их. Сестра Рахиль производила эту операцию с таким спокойствием и с такой уверенностью в правильности своего диагноза, что ее подопечные, девочки четырнадцати лет, даже терялись.

Нужно ли говорить о том, что Лени, чей интерес к собственному пищеварению до той поры оставался неутоленным, стала прямо-таки восторженной поклонницей Рахили? В большинстве случаев Рахили достаточно было одного взгляда, чтобы дать точную оценку физического и психического состояния той или иной из девочек, а поскольку она предсказывала по стулу и грядущие оценки, то накануне контрольных работ девочки буквально осаждали ее, так что прозвище Гаруспика прочно прилипло к ней (с 1933 года); прозвище это придумала ее бывшая воспитанница, впоследствии пробовавшая свои силы на ниве журналистики. Предполагалось (и Лени, позже ставшая доверенным лицом Рахили, подтвердила это), что сестра ведет журнал точного учета своих наблюдений. Прозвище свое она почитала вполне заслуженным и даже им гордилась. Если исходить из того, что учебный год насчитывает в среднем двести сорок дней, число учениц — двенадцать, а количество лет на посту коридорной сестры (своего рода монастырского унтер-офицера) — пять, то легко подсчитать, что сестра Рахиль занесла в журнал и кратко охарактеризовала около двадцати восьми тысяч восьмисот испражнений; по информативности журнал этот мог бы стать неопценимым подспорьем для специалистов — урологов и копрологов. Но его, вероятно, просто-напросто уничтожили! Анализ поведения и выражений, свойственных сестре Рахили, проведенный авт. по сообщениям из первых рук (Б. Х. Т.), а также из вторых рук (рассказы Лени, со слов Марии) и опять из первых (Маргарет), позволяют предположить, что образованность Рахили складывалась из знаний в трех научных областях: в медицине, биологии и философии — и что все эти знания сильно окрашивались теологией отчетливо мистического направления.

Сестра Рахиль вмешивалась и в те области, за которые никакой ответственности не несла, а именно в косметологию: уход за волосами, кожей, глазами, ушами; она давала также советы по части причесок, обуви, белья, а если учесть, что она рекомендовала черноволосой Маргарет носить бутылочно-зеленый цвет, а блондинке Лени — спокойный красный, что на совместный вечер пансиона с мужским католическим интернатом посоветовала Лени надеть туфли цвета киновари, а для ухода за кожей пользоваться миндальными отрубями, что считала ледяную воду для умывания не безусловно, а лишь

условно полезной, то можно в целом кратко сказать, кем она не была: она не была суровой схимницей. Если еще добавить, что она не только не отговаривала, а, наоборот, уговаривала девушек пользоваться губной помадой — разумеется, в меру и в соответствии с типом лица, — то становится ясно, что сестра Рахиль namного обогнала свое время и свою среду. Особенно требовательна она была к уходу за волосами и прямо-таки настаивала на длительном массаже головы щеткой, особенно по вечерам.

Положение ее в пансионе было весьма неопределенное. Большинство монахинь относились к ней как к чему-то среднему между уборщицей при туалете и просто уборщицей, что было с их стороны более чем гадко, даже если бы она на самом деле и была ею. Некоторые из них ее уважали, другие боялись; с директрисой она находилась в сложных отношениях, характеризующихся как «перманентно напряженное уважение» (Б. Х. Т.). Впрочем, и директриса, строгая, интеллигентная, красивая женщина с пепельными волосами, которая спустя год после ухода Лени из лица сбросила монашескую рясу и вступила в нацистскую женскую организацию, не отвергала советов Рахили по части косметики, хотя это и противоречило самому духу монастыря. Памятуя, что директрису прозвали «Тигрессой», что основным ее предметом была математика, а побочными — французский язык и география, легко понять, что поведение Гаруспики казалось ей «фекальной мистикой», то есть смешным и отнюдь не опасным. Она считала недостойным дамы удаивать свои экскременты (по словам Б. Х. Т.) хотя бы одного-единственного взгляда, и вообще все это было в ее глазах «язычеством», хотя (опять-таки по словам Б. Х. Т.) именно язычество, по всей вероятности, и подтолкнуло ее позже стать членом нацистской женской организации. Справедливости ради надо заметить (опять Б. Х. Т.), что и после ухода из монастыря директриса не предала Рахили. Лени, Маргарет и Б. Х. Т. в один голос характеризуют ее как «гордую особу». Хотя, судя по всем полученным авт. свидетельствам, женщина она была чрезвычайно красивая и наверняка «эротически притягательная» (Маргарет), но и сложив с себя монашеский сан не вышла замуж, вероятнее всего, из гордости: не хотела показаться слабой, обнаружить перед кем-то свои уязвимые места. Она занимала высокий пост, ведая политикой в области культуры и имея чин обер-реги-

рунгсрата, а в конце войны, не дожив до пятидесяти, сгинула где-то между Львовом и Черновцами. Весьма прискорбно. Авт. очень хотелось бы «допросить ее по делу» сестры Рахили.

Рахили в интернате не доверяли сколько-нибудь серьезных педагогических и врачебных функций, тем не менее она выполняла и те и другие; ей вменялось в обязанности лишь сообщать о явных случаях заболеваний — остром поносе или подозрении на опасность инфекции, а также о случаях особой нечистоплотности при отправлении естественных надобностей или нарушениях общепринятых правил нравственности. Последнего она никогда не делала. Зато очень большое значение придавала маленькой лекции о гигиене после отправления естественных надобностей обоих видов, которую она устраивала для учениц в первый же день их пребывания в интернате. Указав, как важно поддерживать эластичность и работоспособность всех мышц, в особенности мышц нижней части живота, и порекомендовав для этой цели легкую атлетику и гимнастику, она быстро переходила к своей излюбленной теме: здоровый и, как она подчеркивала, интеллигентный человек вполне может обходиться при этом отпавлении без единого клочка бумаги. Но поскольку такое идеальное состояние организма недостижимо или редко достижимо, она подробно объясняла, как правильно пользоваться туалетной бумагой.

По словам того же Б. Х. Т.— в данном случае незаменимого свидетеля,— она прочла массу литературы по этим вопросам, почти все, что было о каторге и тюрьмах, и внимательно проштудировала все мемуары заключенных (как уголовных, так и политических). Глупые замечания и хихиканье девочек во время этой лекции она пропускала мимо ушей.

Теперь пора сказать — поскольку это надежно засвидетельствовано Лени и Маргарет,— что сестра Рахиль, обследуя впервые стул Лени, при взгляде на него впала в своего рода экстаз. Обращаясь к Лени, не привыкшей к такому обхождению, она сказала: «Девочка моя, ты родилась под счастливой звездой — как и я».

И когда Лени несколько дней спустя добилась статуса «безбумажницы» — просто потому, что ей нравилось это «мышечное упражнение» (слова Лени, сказанные Марии и подтвержденные Маргарет), между ней и сестрой Рахилью возникла прочная симпатия, которая по-

могла девочке снести все ожидавшие ее впереди неудачи с учебой.

Было бы, однако, неправильно полагать, что гениальная одаренность сестры Рахили проявлялась только в сфере экскрементов. Она получила разностороннее образование — сначала биологическое, затем медицинское, позже еще и философское, приняла католичество и ушла в монастырь, дабы «помочь молодежи разобраться» в сложном комплексе медико-биологических и философско-теологических познаний; но уже в первый год ее педагогической деятельности Генеральный совет католической церкви в Риме заподозрил ее в биологизме и мистическом материализме и лишил ее права преподавать; разжалование в коридорную сестру имело своей истинной целью сделать для Рахили жизнь в монастыре нестерпимой и «с почетом» выставить ее в мир (слова Рахили, сказанные ею Б. Х. Т.); однако она не только приняла, но и внутренне ощутила и расценила свое понижение в должности как повышение, увидев для себя в роли коридорной сестры гораздо больше возможностей применить свои знания, чем при проведении классных занятий. Поскольку ее трения с монастырскими властями пришлись как раз на 1933 год, они решили отказаться от намерения просто-напросто выгнать ее из монастыря, так что она еще пять лет пробыла в интернате «уборщицей при туалете» (Рахиль о Рахили в разговоре с Б. Х. Т.). Чтобы пополнить запасы моющих средств, туалетной бумаги и различной антисептики, а также постельного белья и прочего, ей приходилось время от времени ездить на велосипеде в соседний университетский город средней величины; там она проводила много часов в университетской библиотеке, а позже — в том большом букинистическом магазине, где возникла платоническая и в то же время страстная дружба между ней и Б. Х. Т. Последний разрешил ей вволю рыться в фондах своего хозяина и, нарушая правила, даже предоставлял в ее распоряжение подсобный каталог, предназначенный для внутреннего пользования; он позволял ей сидеть с книгой в разных укромных уголках магазина, угощал ее кофе из своего термоса, а иногда, если она засиживалась слишком долго, даже делился с ней бутербродами. Интересовалась она главным образом книгами по фармакологии, мистике, биологии и травам и за два года стала специалисткой в весьма щекотливой области скатологических нарушений — естественно, в той

мере, в какой они были описаны в мистической литературе, обильно представленной в лавке букиниста.

Несмотря на то, что авт. сделал все, буквально все от него зависящее, чтобы выяснить происхождение сестры Рахили и среду, в которой она выросла, он не смог узнать больше того, что ему сообщили Б. Х. Т., Лени и Маргарет; второй и третий визиты к сестре Цецилии не пролили нового света на образ ее бывшей монастырской сестры; настойчивость авт. привела лишь к тому, что сестра Цецилия покраснела; авт. чистосердечно признается, что зрелище зардевшейся старушки семидесяти с лишним лет с островками молочно-белой кожи доставило ему удовольствие. Четвертая попытка — авт. был, как видите, необычайно настойчив — потерпела крах уже у монастырских ворот: его просто не впустили. Удастся ли ему узнать больше о сестре Рахили в архиве ордена и именной картотеке в Риме, зависит от того, выкроит ли он время и деньги для поездки в Рим, а главное — будет ли ему разрешен доступ к секретным досье ордена. Авт. считает своим долгом напомнить читателю положение сестры Рахили в 1937/38 годах: маленькая дотошная монахиня, помешанная на мистике и биологии, подозреваемая в увлечении скатологией, обвиняемая в биологизме и материалистическом мистицизме, сидит в темном уголке букинистического магазина и берет из рук молодого, в ту пору отнюдь не лысого и не оплывшего жирком молодого человека чашку кофе и бутерброды. Для этой жанровой сценки, достойной кисти голландского художника масштаба Вермеера, потребовался бы ярко-красный фон и кроваво-красные облака, дабы отразить внутри- и внешнеполитическую ситуацию тех лет, ибо надо помнить, что в это время где-то беспрестанно маршировали колонны штурмовиков, а угроза войны в 1938 году была сильнее, чем в следующем, когда она действительно разразилась. И пусть даже страстный интерес Рахили к проблемам пищеварения покажется кому-то излишне мистическим, а изучение ею функций желез внутренней секреции (дошедшее до исступленных попыток выяснить точный химический состав того вещества, которое называют спермой) просто никчемным, в *одном* ей нельзя отказать: именно она, основываясь на собственных (недозволенных) опытах с мочой, дала молодому букинисту совет, который помог тому уклониться от службы в вермахте; прихлебывая его кофе (который Рахиль ухитрилась проливать даже на особо

ценные библиографические редкости — она почти не обращала внимания на внешний вид книг), она подробно объяснила ему, что следует есть и пить, какие микстуры и таблетки принимать, чтобы анализ мочи накануне прохождения медицинской призывной комиссии обеспечил ему не кратковременную отсрочку от призыва, а диагноз «негоден», действующий длительное время; во всяком случае, общие познания Рахили и вычитанные из книг сведения дали ей возможность набросать «поэтапный план» для мочи Б. Х. Т. (точные слова Рахили, приведенные самим Б. Х. Т.), гарантировавший достаточно высокое содержание белка даже при одно-, двух- и трехдневном содержании в госпитале и проведении анализов с самыми различными реагентами. Приводим это сообщение лишь для удовлетворения тех читателей, которым в этой книге не хватает политики. К сожалению, Б. Х. Т. был слишком труслив, чтобы подробно передать «поэтапный план» Рахили другим молодым призывникам. Будучи служащим, он боялся трений с вышестоящим начальством.

Наверное, Рахили доставили бы огромную радость (предположение авт.), если бы добились для нее разрешения хотя бы в течение недели отправлять те же обязанности и провести те же исследования, что и у девочек, в интернате для юношей. Поскольку в те годы было мало литературы о различиях в пищеварении у мужчин и женщин, ей приходилось довольствоваться собственными догадками, вскоре перешедшими в предубежденность: она считала почти всех мужчин «запорниками». Если бы желание Рахили стало известно в Риме или еще где-то, ее наверняка немедленно отлучили бы от церкви и выставили из монастыря.

С тем же страстным интересом, с каким Рахиль всматривалась в содержимое ночных горшков, вглядывалась она по утрам и в глаза своих подопечных и предписывала им промывание, для которого у нее всегда стояли наготове маленькие ванночки и кувшин с родниковой водой: она всегда тотчас обнаруживала любой, самый незначительный симптом воспаления или трахомы и каждый раз объясняла девочкам с жаром, немного превосходящим тот, что пронизывал ее описание процессов пищеварения, что сетчатка наших глаз имеет ту же толщину (или «тонину»), что и папиросная бумага, но состоит из трех слоев клеток — чувствительных, диплолярных и ганглиозных — и что в одном только первом

слое, который в три раза тоньше папиросной бумаги, содержится шесть миллионов колбочек и сто миллионов палочек и что расположены они по поверхности сетчатки отнюдь не равномерно. Она внушала девочкам, что наши глаза — необычайное и незаменяемое сокровище, что сетчатка — один из примерно четырнадцати слоев глаза — сама членится на семь или восемь слоев, что каждый из них отделен от другого; а когда заводила речь о ворсинках, сосочках, ганглиях и ресничных мускулах, время от времени кто-нибудь из учениц произносил шепотом ее второе прозвище: «Ворсинка».

Нужно помнить, что Рахили лишь иногда выпадало время для бесед с ученицами: день у них был расписан по минутам, к тому же в глазах большинства учениц она и впрямь отвечала лишь за туалетную бумагу. Но, конечно, она говорила с ними и о поте, гное, менструальной крови и — особенно подробно — о слюне; авт. полагает почти излишним упоминать, что она была рьяной противницей слишком рьяной чистки зубов, — во всяком случае, терпела яростную чистку зубов сразу после сна, лишь поступившись своими убеждениями после категорических протестов родителей. И осматривала она по утрам не только глаза девочек, но и их кожу — к сожалению, лишь на руках и плечах, — не дотрагиваясь до груди и живота, поскольку родители девиц несколько раз жаловались, что она их бесстыдно ощупывает. Позже она стала говорить девочкам, что если внимательно прислушиваться к собственному организму, то начнешь его понимать, и взглянуть на экскременты нужно, в сущности, лишь для подтверждения того, что сама ощущаешь, проснувшись: вполне ли хорошо себя чувствуешь; и что, приобретя известный опыт, уже не нужно на них и глядеть — разве что в тех случаях, когда человек не вполне уверен в своем состоянии и нуждается в некоем подтверждении (Маргарет и Б. Х. Т.).

Когда Лени прогуливала занятия, сказавшись больной, что с течением времени случалось все чаще, сестра Рахиль даже разрешала ей иногда выкурить у себя в комнатке сигарету, — Рахиль объяснила Лени, что в ее возрасте для женщины вредно курить больше трех — пяти сигарет в день, а когда вырастет, не должна выкуривать больше семи-восьми, во всяком случае — не больше десяти. Как тут не оценить по достоинству эффективность этого воспитания, если вспомнить, что Лени и в сорок восемь лет все еще придерживается этого

правила и что она недавно приступила к осуществлению своей давней мечты, донныне откладывавшемуся за недостатком времени: на листе коричневой оберточной бумаги размером полтора на полтора метра (ватман такого размера при нынешнем состоянии ее финансов для нее недоступен) она рисует анатомически точно поперечный разрез *одного* слоя сетчатки; Лени на самом деле полна решимости изобразить на бумаге шесть миллионов колбочек и сто миллионов палочек с помощью принадлежавшего еще ее сыну детского набора акварельных красок, к которому она время от времени прикупает дешевые разрозненные краски. Если учесть, что за день она не успевает нарисовать больше пятисот колбочек или палочек, а в год, соответственно, — около двухсот тысяч, то нам станет ясно, что этого занятия ей хватит на пять лет, и мы, может быть, поймем, что свою работу в цветоводстве она бросила именно ради того, чтобы иметь возможность рисовать эти колбочки и палочки. Она назвала свою картину «Часть сетчатки левого глаза Девы Марии по имени Рахиль».

Кто удивится, узнав, что, рисуя, Лени поет? К известным ей стихам она недолго думая подбирает мелодии то из Шуберта, то из народных песен, а то и с пластинок, которые слышит «во дворе и в доме» (Ганс), перемежая их ритмами и мелодиями собственного сочинения, которые вызывают у такого ценителя, как Ширтенштайн, «не только умиление, но и почтительное уважение» (Ширтенштайн). Вокальный репертуар Лени намного обширнее, чем фортепианный; в распоряжении авт. имеется магнитофонная лента, записанная для него Гретой Хольцен, при прослушивании которой он (авт.) чуть ли не каждый раз проливает слезы. Поет Лени довольно тихо и бесстрастно, но чувствуется, что голос у нее сильный и что она приглушает его из застенчивости. Она поет как человек, сидящий в застенке. Что же она поет?

Видишь в зеркале свой образ
сумеречно серебристый
и тебе чужой твой образ
страшен этот образ чистый

Живу в нищете и грешу по обету
Лишь грех услаждает невинность мою
Мы все попадаем на эту планету
За то что грешили в небесном раю...¹

¹ Здесь и далее в романе стихи в переводе В. Микушевича.

То голос был чудеснейшей из рек, рожденного свободным Рейна,— но есть ли человек, оставшийся свободным весь свой век, исполнивший души прекрасные порывы,— подобно Рейну, спустившись с высоты и, как и он, родившись в священном лоне?

Поняв уже первой военной весной: надежды на мир пропали, солдаты сделали выбор свой и смертью героев пали.

Но я знал тебя лучше
чем знаю людей
Понимал я молчанье Эфира
не понимая людей никогда...
Любить я учился среди цветов...

Последний из приведенных стихков Лени поет особенно часто, он записан на магнитофонной ленте в четырех различных вариантах, один раз даже в ритме битлов.

Как мы видим, Лени довольно свободно обращается с текстами, слывущими каноническими, и по своей воле комбинирует не только музыкальные фрагменты, но и слова.

Голос вольнорожденного Рейна — Господипомилуй
Любить я учился среди цветов — Господипомилуй
Долой иго тиранов — Господипомилуй
Живу в нищете и грешу по обету — Господипомилуй
Девчонкой любила я с небом лазурным — Господипомилуй
И по-мужски меня небо ласкало — Господипомилуй
Угрюмый мрамор предков сед — Господипомилуй
Пока не выскажется существо мое, тайна души моей — Господипомилуй...

Таким образом, мы видим, что Лени не просто занята делом, но что дело это — творческое.

Лени, пугавшейся каждый раз, как у нее начиналось то, что бывает у всех женщин, Рахиль объяснила, что такое половой акт, во всех деталях и не прибегая к совершенно неуместной символике, так что ни Лени, ни ей самой совершенно не пришлось краснеть; правда, такие объяснения надо было держать в тайне, ибо они, естественно, не входили в круг обязанностей Рахили. Вероятно, именно эти объяснения — причина того, что Лени спустя полтора года так сильно залилась краской от злости, когда во время официальной беседы на ту же тему преподаватель сравнил этот акт с «клубникой со взбитыми сливками». А Рахиль, наоборот, говоря о формах фекалий, не боялась использовать термин «классическая архитектура» (Б. Х. Т.).

Кроме того, уже в первый месяц своего пребывания в пансионе Лени нашла настоящую подругу, а именно — ту самую Маргарет Цайст, которую еще до прибытия в пансион аттестовали как «отпетую дрянью»: это была трудновоспитуемая дочь чрезвычайно набожных родителей, которые «не могли с ней справиться», равно как и все ее предыдущие учителя. Маргарет всегда пребывала в прекрасном расположении духа и считалась «хохотушкой»; темноволосая, маленькая, она по сравнению с Лени казалась прямо-таки болтливой. Через две недели после появления Маргарет в пансионе именно Рахиль при осмотре ее кожи (на плечах и руках) установила, что та имеет дело с мужчинами. Поскольку Маргарет — единственная свидетельница этого события, может быть, стоит отнестись к ее словам с некоторой осторожностью; однако сам авт. склонен считать Маргарет абсолютно заслуживающей доверия. Она полагает, что Рахиль догадалась обо всем не только благодаря своему «почти безошибочному химическому инстинкту», но также и по физическим особенностям кожи Маргарет, о которой Рахиль позже в беседе с ней с глазу на глаз сказала, что ее кожа «как бы излучает ласки — и те, которые она впитала, и те, которые отдала», после чего Маргарет — к ее чести будь сказано — покраснела, не в первый и далеко не в последний раз в своей жизни. Со своей стороны, она призналась Рахили, что ночами удирает из монастыря — как именно, она не скажет — и встречается с деревенскими мальчишками, не с мужчинами. Мужчины ей противны, потому что от них воняет, это она знает по собственному опыту — имела один раз дело с женщиной, а именно — с тем самым учителем, который утверждал, что не может с ней справиться. И добавила своим хрипловатым голосом с рейнскими интонациями: «О-о, уж этот-то еще как со мной справился». Мальчишки-сверстники, сказала она, это как раз то, что надо, а от мужчин воняет. К тому же — добавила она простодушно — так приятно, когда мальчишки радуются, некоторые даже вопят от радости, и тогда она тоже вопит, да и нехорошо, если они «это в одиночку делают»; а ей, Маргарет, доставляет радость доставлять им радость, и здесь нельзя не отметить, что после этих слов Рахиль впервые залилась слезами. «Она так горько плакала, что я даже испугалась, и теперь, лежа здесь, в больнице, с сифилисом и еще бог знает с чем, когда мне уже стукнуло сорок восемь, только теперь я поняла,

почему она так плакала» (Маргарет в больнице). Выплакавшись — а длилось это, по словам Маргарет, довольно долго, — Рахиль поглядела на нее задумчиво, но отнюдь не зло и сказала: «Да, ты девушка легкого поведения». «Выражение это я тогда, конечно, не поняла» (Маргарет). Ей пришлось пообещать — даже торжественно поклясться Рахили, — что она не поведет за собой Лени по той же стезе и не скажет ей, каким путем удирает из пансиона, потому что хоть Лени и написано на роду дарить людям радость, но не в веселом доме. И Маргарет поклялась, и сдержала свою клятву, хотя «вообще-то Лени эта опасность и не грозила, она сама знала, чего хочет». Да, Рахиль была права, именно кожу Маргарет так нежно любили и страстно желали, особенно кожу на груди, — трудно себе даже представить, что вытворяли с ней мальчишки. А когда Рахиль спросила, имеет ли она дело с одним или с несколькими, Маргарет опять покраснела — второй раз за какие-то двадцать минут — и сказала своим хриловатым невыразительным голосом с рейнскими интонациями: «За вечер всегда только с одним». И Рахиль опять заплакала и пробормотала сквозь слезы, что скверно то, чем она занимается, очень скверно и добром не кончится. Маргарет недолго пробыла в пансионе; вся эта история выплыла наружу (большая часть мальчишек прислуживала во время богослужения), родители мальчишек, священник и родители других девочек подняли большой шум, было произведено расследование, во время которого Маргарет и все мальчишки отказались давать показания, и Маргарет пришлось покинуть пансион, не проучившись и года. Но Лени приобрела подругу на всю жизнь, которая потом не раз доказывала свою преданность в щекотливых и даже опасных для жизни ситуациях.

Спустя год, отнюдь не озлобленной, но с неутоленной жадной жаждой знаний, Лени включилась в трудовой процесс — поступила ученицей в контору своего отца (официальное название должности — конторская служащая), по его настоятельной просьбе вступила в нацистскую организацию для девушек, в форме которой (Господи Боже!) даже довольно мило выглядит на снимке. Нужно сказать, что Лени без всякой радости участвовала в сборищах, устраиваемых этой организацией, и — справедливости ради — надо добавить, что Лени даже приблизительно-

но не понимала политической значимости нацизма; ей просто не нравились коричневые мундиры, особенно противными казались штурмовики; и тот, кто способен взглянуть на все это глазами Лени, с ее скатологическими интересами и осведомленностью по этим вопросам благодаря сестре Рахили, тот поймет или, по крайней мере, почувствует, почему этот коричневый цвет вызывал у нее такую неприязнь. Ее прохладное отношение к сборищам, на которые она в конце концов вообще перестала ходить, так как с сентября 1939 года начала работать на фабрике своего отца «на оборонные нужды», имело под собой иные причины: эти сборища казались ей слишком по-монастырски благочестивыми; группа, в которую ее зачислили, «попала под начало» энергичной молодой католички, которая поставила своей целью подорвать изнутри «этот строй» и, после того как поверила — к сожалению, напрасно! — в надежность своих двенадцати подопечных, превратила положенные сборища в посиделки с молитвами и духовными песнопениями в честь Девы Марии и т. д.; Лени, как легко себе представить, не имела ничего против песнопений в честь Девы Марии и молитв, да только после двух с половиной лет вынужденного монашеского благочестия — в это время ей только что минуло семнадцать лет — все это казалось ей не особенно интересным и попросту скучным; удивиться она и не подумала, только заскучала. Конечно, «подрывные действия» молодой католички — некоей Гретель Марайке — не остались незамеченными, на нее донесла одна из девушек — некая Паула Шмиц; Лени даже допрашивали как свидетельницу, но она, подготовленная соответствующим образом отцом Гретель, стояла на своем и не моргнув глазом отрицала факт духовных песнопений (так поступили, впрочем, десять девушек из двенадцати). Таким образом, Гретель Марайке удалось избежать серьезных неприятностей, если не считать двух месяцев заключения в тюрьме гестапо и допросов, которые ей все же пришлось вынести и которых ей «вполне хватило», — больше Грета ничего не сказала обо всей этой истории (краткое резюме авт. после нескольких бесед на эту тему с ван Доорн).

Тем временем мы попадаем уже в лето 1939 года. У Лени начинается самый говорливый период ее жизни, который продлится около двух лет. Она слывет красави-

цей, получает по особому разрешению водительские права, с удовольствием раскатывает на автомобиле, играет в теннис, сопровождает отца на конференции и в деловых поездках. Лени живет в ожидании мужчины, «которого она полюбит и которому отдастся безоглядно», для которого она уже придумывает «смелые ласки, чтобы он радовался мне, а я ему» (Маргарет). Лени не упускает случая потанцевать, в это лето частенько проводит вечера, сидя на открытых террасах кафе за чашечкой кофе с мороженым, и вообще немного изображает «светскую даму». От того времени сохранились потрясающие фотографии Лени: она все еще могла бы претендовать на звание «самой истинно немецкой девушки города», более того, всего округа, а то и провинции или даже всего политическо-историческо-географического образования, которое стало называться германским рейхом. Лени могла бы выступать в роли святой (или Магдалины) в какой-нибудь мистерии и сниматься для рекламы питательного крема, а может быть, даже сыграть роль в кино; глаза ее к этому времени окончательно потемнели и стали почти черными, густые светлые волосы она причесывала так, как описано на стр. 164, и даже небольшой допрос в гестапо и тот факт, что Гретель Марайке пришлось два месяца провести за решеткой, не слишком помешали ей вкушать прелести жизни.

Поскольку Лени считает, что и от Рахили узнала недостаточно о биологической разнице между мужчиной и женщиной, она жаждет найти новые источники информации по этому вопросу. Листает справочники — почти безрезультатно, роется в многочисленных книгах отца и матери — тот же результат; иногда в воскресенье навещает Рахиль, долго гуляет с ней по огромному монастырскому саду и умоляет просветить ее; немного поколебавшись, Рахиль сдается и объясняет ей — причем опять-таки ни той, ни другой не приходится краснеть — такие детали, о которых два года назад умолчала: механизм функционирования мужских половых органов, причины их возбуждения и возбудимости со всеми последствиями и радостями, и поскольку Лени не терпится получить соответствующий иллюстративный материал, а Рахиль отказывается ей его дать, так как считает вредным рассматривать такие картинки, то Лени по совету одного книготорговца, с которым она говорила по телефону, изменив голос (в чем не было никакой необходимости), попадает в городской Медицинский музей, где

в разделе «половая жизнь» представлены в основном экспонаты, иллюстрирующие венерические болезни — от обычного триппера и мягкого шанкра до фимоза и всех стадий люэса; ознакомившись с соответственно раскрашенными гипсовыми моделями, где все это изображено весьма натурально, Лени узнает о существовании целого мира зла — и возмущается; чопорной девицей она никогда не была, и возмутило ее то обстоятельство, что в этом музее, по-видимому, отождествляли половую жизнь с венерическими болезнями; этот пессимистический натурализм возмутил ее точно так же, как в свое время возмутила лицемерная символика, применявшаяся учителем Закона Божьего, и Медицинский музей показался ей вариантом той самой «клубники со взбитыми сливками» (свидетельство Маргарет, которая снова покраснела, сознавшись, что сама-то она отказалась просвещать Лени). Здесь может возникнуть впечатление, что Лени стремилась к здоровой и чистой жизни. Ничего подобного; ее материалистически чувственная тяга к конкретным вещам зашла так далеко, что она перестала категорически отклонять все те многочисленные домогания, которым подвергалась, и в конце концов уступила страстным мольбам одного молодого архитектора из конторы ее отца, показавшегося ей симпатичным, и назначила ему свидание. Субботний вечер, лето, роскошный отель на берегу Рейна, танцы на открытой веранде, она — блондинка, он — блондин, ей — семнадцать, ему — двадцать три, оба здоровы, — казалось бы, все идет к happy end или, по крайней мере, — к happy night¹. Но ничего из всего этого не вышло; уже после второго танца Лени покинула отель, уплатив за неиспользованный (одинарный) номер, где она успела лишь выложить из сумки халатик (купальный) и туалетные принадлежности; она поехала к Маргарет и рассказала, что уже во время первого танца поняла: «У этого парня неласковые руки» — и ее легкая влюбленность моментально улетучилась.

Авт. уже чувствует, что его более или менее терпеливый читатель начинает терять терпение и задается вопросом: «Черт возьми, да что эта Лени — ангел, что ли?» Отвечаем: почти. Другие читатели, с иными идеологическими корнями, поставят вопрос иначе: «Черт возьми,

¹ Счастливым конц; счастливая ночь (англ.).

может, эта Лени, в сущности, большая свинья?» Отвечаем: нет, не свинья. Просто она ждет, когда появится «тот единственный», а его все нет и нет; ее постоянно осаждают мужчины — назначают свидания, приглашают вместе провести за городом week-end¹, она испытывает к ним не отвращение, а скорее досаду, даже самые бесцеремонные предложения «познакомиться поближе», выраженные зачастую в самой вульгарной форме и на ушко, не выводят ее из себя; в ответ она лишь отрицательно качает головой. Она любит носить красивые платья, плавает, гребет, играет в теннис, да и спит спокойно, а «глядеть, как она уписывает за обе щеки свой завтрак, было одно удовольствие — с таким аппетитом она ела, ну просто удовольствие; за завтраком она съедала две свежие булочки, два ломтика черного хлеба, яйцо всмятку, немного меда, иногда еще и кусочек ветчины, потом пила кофе, очень горячий, с горячим молоком и сахаром, — нет, на это стоило поглядеть, потому как это одно удовольствие... И так каждый божий день — получаешь удовольствие, глядя, с каким аппетитом девочка ест» (Мария ван Доорн).

Кроме того, она любит ходить в кино, «чтобы спокойно немного поплакать в темноте» (слова Лени, переданные Марией ван Доорн). Например, после фильма «Освобожденные руки» два носовых платка Лени оказались такими мокрыми, что Мария даже подумала, уж не схватила ли Лени насморк. Зато такие ленты, как «Распутин — демон-соблазнитель», «Лейтенский хорал» или «Горячая кровь», оставили ее совершенно равнодушной. «После таких фильмов (Мария ван Доорн) ее носовые платки были не только абсолютно сухими, но даже казались свежeweыглаженными». Фильм «Девушка из Фане» тоже заставил ее плакать, хотя и не так сильно, как «Освобожденные руки».

В эту пору Лени ближе знакомится со своим братом, которого до сего времени видела весьма редко; брат был на два года старше ее, восьмилетним его отправили в интернат, где он пробыл одиннадцать лет. Каникулы использовались большей частью для пополнения образования — он проводил их в Италии, Франции, Англии, Австрии, Испании, потому что его родители всей душой стремились сделать из него то, что они фактически

¹ Субботний вечер (англ.).

и сделали: «По-настоящему образованного молодого человека». Опять-таки по свидетельству М. в. Д., мать молодого Генриха Груйтена считала «свою среду мещанской», а поскольку сама она воспитывалась и получила образование во французском монастыре и всю жизнь оставалась женщиной «иногда чрезмерно чувствительной и утонченной», можно предположить, что она стремилась привить своему сыну нечто подобное. И это, насколько удалось выяснить, ей удалось. Нам придется ненадолго остановиться на личности этого Генриха Груйтена, который в течение двенадцати лет своей жизни существовал вдали от семьи и был для Лени кумиром, чуть ли не божеством, чем-то средним между молодым Гете и молодым Винкельманом, с некоторыми чертами Новалиса, и появлялся дома лишь изредка — за одиннадцать лет раза четыре; Лени и теперь может о нем сказать только, что он был «такой милый, такой ужасно милый и добрый». Признаться, это не слишком много, да и не слишком выразительно, вроде облатки, к тому же и ван Доорн может сказать о Генрихе лишь немногим больше, чем Лени («Очень образованный, очень тонкий, но совсем не заносчивый, совсем»); а поскольку Маргарет видела его в 1939 году легально лишь дважды, когда была приглашена к Груйтенам на чашку кофе, и еще один раз, уже нелегально, в 1940 году, холодной апрельской ночью накануне отправки его танковой части в Данию, чтобы завоевать эту страну для вышеупомянутого германского рейха, то выходит, что Маргарет — в результате скрытности Лени и неосведомленности М. в. Д.— единственная свидетельница, не принадлежащая к духовному словию. Авт. сознает, что ему неловко описывать обстоятельства своего разговора с Маргарет, женщиной под пятьдесят, венерической больной, — разговора, из которого он узнал кое-что существенное об этом Генрихе. Все ссылки на слова Маргарет — доподлинные, они перепечатывались с магнитофонной ленты, в них не допущено никаких искажений. Итак, приступим: Маргарет необычайно оживилась, на ее лице (уже сильно обезображенном болезнью) появилось выражение прямо-таки детского восторга, когда она сразу и без всяких околичностей заявила: «Да, его я любила. Я любила его». На вопрос, любил ли он ее, она покачала головой, но не отрицательно, а скорее как бы в сомнении, но без всякой обиды, это автор готов подтвердить под присягой. «Знаете, волосы у него были темные, а глаза голубые, и вооб-

ще он был — не знаю, как сказать — какой-то благородный, да, правильное слово, именно благородный. Он и не догадывался, сколько в нем обаяния, ради него я готова была буквально на все, даже пошла бы на панель, чтобы он мог читать свои книжки или еще чем-нибудь таким заниматься, откуда мне знать, чему он выучился, он умел и книжки читать, и осматривать церкви, и разучивать хоралы, и слушать музыку, он знал и латынь, и греческий, и все-все об архитектуре, ну, в общем, он был очень похож на Лени, только темноволосый, и я его любила. Два раза я видела его в их доме — меня приглашали на чашку кофе, это было в августе 1939, а 7 апреля 1940 года он сам позвонил мне по телефону — я была уже замужем, подцепила одного богатого малого, — позвонил из Фленсбурга, и я сразу же помчалась к нему, а когда приехала, оказалось, что увольнительных больше не дают, а на улице было холодно: восьмого апреля дело было. Их часть стояла в здании школы, и все уже было готово, чтобы ночью выступить — а может, вылететь или отплыть, не знаю уж. Значит, увольнительных не дают. Никто тогда не знал и потом не узнал, что я у него была, ни Лени, ни ее родители, вообще ни одна душа. Он все-таки вышел ко мне, без увольнительной. Вылез из окна женского туалета на школьном дворе и перемахнул через стену. Ни номера в гостинице, ни комнаты в частном доме. Открыт был только один бар, мы туда, и одна шлюха уступила нам свою комнату в мансарде. Я отдала ей все, что у меня было, — двести марок и колечко с рубином, и он отдал все — сто двадцать марок и золотой портсигар. Я любила его, он любил меня, и нам было плевать, что кругом нас все шлюхино. Мне и сейчас плевать, в высшей степени плевать. Да... (Авт. дважды внимательно прослушал это место, дабы убедиться, что Маргарет действительно дважды повторила «мне и сейчас плевать, в высшей степени плевать», то есть отнесла этот глагол к настоящему времени. Вывод: да, отнесла.) Ну вот, а вскоре он погиб. Какое безумное, безумное расточительство». На вопрос, как ей пришло в голову употребить слово «расточительство», вроде бы неуместное в данном случае, Маргарет ответила буквально следующее (цитируется по магнитофонной записи): «Ну сами посудите: такой образованный, такой красивый, такой сильный мужчина, ему ведь было всего двадцать лет — сколько еще мы могли бы любить друг друга, сколько бы любили, и не

только в комнатах грязных проституток, но и на природе, если бы было тепло... И все бессмысленно, вот я и говорю — расточительство».

Поскольку Маргарет, Лени и М. в. Д. одинаково фетишизируют Генриха Г., авт. и в этом случае постарался изыскать более объективную информацию; ее можно было получить только от двух отцов иезуитов с пергаментной кожей — обоим за семьдесят, оба сидят в одинаково прокуренных редакционных комнатах, редактируя рукописи, — правда, для двух разных журналов, но касающиеся одной и той же темы («Открытость — налево или направо?»), один из них — француз, другой — немец (а возможно, и швейцарец), первый — поседевший блондин, второй — поседевший брюнет; оба мудрые, доброжелательные, хитрые, человечные, и оба одинаково ответили на вопрос автора, воскликнув: «Ах, Генрих, Генрих Груйтен!» (то есть фразой, точно совпадающей как по лексике, так и по синтаксической структуре, вплоть до мысленно расставляемых знаков препинания, поскольку француз тоже говорил по-немецки), оба положили на стол трубки, откинулись назад, отодвинули в сторону рукописи, покачали головами, потом кивнули, как бы собираясь с мыслями, глубоко вздохнули и заговорили. На этом кончается полное тождество и начинается частичное совпадение; так как одного из патеров авт. разыскал в Риме, а другого — в окрестностях Фрейбурга, неизбежными оказались предварительные телефонные переговоры касательно возможных сроков встречи, а ввиду значительных расстояний возникли и значительные расходы, о которых придется сказать, что они, в общем-то, не оправдали себя, если не считать «общечеловеческой ценности» таких встреч, — но такой цели, вероятно, можно достичь и не входя в столь большие расходы, ибо оба патера лишь внесли дополнительную лепту в фетишизацию покойного Генриха Г. Один из них, француз, сказал: «Он был такой немец, такой истинный немец, и такой благородный». Второй сказал: «Он был такой благородный, такой благородный, и такой истинный немец». Дабы упростить изложение показаний этих двух свидетелей, кратко обозначим первого патера И. (иезуит) I, а второго И. II. Итак, И. I: «В течение двадцати пяти лет у нас больше не было такого интеллигентного и способного ученика». И. II:

«На протяжении двадцати восьми лет у нас не было второго такого способного и интеллигентного питомца». И. I: «Из него мог бы получиться второй Клейст». И. II: «Из него мог бы выйти Гёльдерлин». И. I: «Мы не пытались склонить его к принятию духовного сана». И. II: «Мы не предпринимали попыток склонить его к вступлению в наш орден». И. I: «Мы понимали, что он был выше этого». И. II: «Даже наиболее преданные нашему ордену братья отказались от этого». На вопрос об учебных успехах Генриха И. I ответил: «Он имел высший балл по всем предметам, даже по физкультуре, но получалось это как бы само собой, он не был скучным зубрилой, и у всех его учителей, у всех без исключения, сжималось сердце при мысли, что наступит день, когда Генриху придется выбрать свою будущую профессию. И. II: «Ну, разумеется, по всем дисциплинам у него было только «отлично», а позже специально для него ввели еще одну оценку: «блестяще». Но кем мог он стать? Это нас всех очень беспокоило». И. I: «Он мог бы стать дипломатом, министром, архитектором или правоведом, но в любом случае остался бы поэтом». И. II: «Стал бы он знаменитым педагогом или знаменитым художником, все равно он был и остался бы поэтом». И. I: «Только для одного дела он, бесспорно, не годился, был слишком хорош для него, — для службы в армии». И. II: «Кем угодно, только не солдатом». И. I: «Но из него сделали солдата». И. II: «Но его заставили им стать».

Совершенно очевидно, что этот Генрих между апрелем 1939 и концом августа того же года, получив на руки свидетельство об образовании, называемое аттестатом зрелости, почти не имел возможности, а может быть, и не хотел использовать в полной мере полученные им знания. Вместе со своим двоюродным братом он попал в ведение организации, носившей простое и ясное название «Имперский трудовой фронт», а посему с мая 1939 года его лишь иногда отпускали на побывку домой с тринадцати часов в субботу до двадцати двух часов в воскресенье; из этих милостиво предоставленных ему тридцати пяти часов он проводил восемь часов в поезде, а остальные двадцать семь использовал на то, чтобы пойти на танцы со своей сестрой и двоюродным братом, немного поиграть в теннис, несколько раз поесть в кругу семьи, поспать четыре-пять часов, два-три часа проспо-

ритель с отцом, который хотел сделать все, буквально все — и сделал бы,— чтобы только избавить Генриха от предстоявшего тому тяжкого испытания, которое в Германии называется действительной службой; но Генрих решительно отказался. Есть свидетельства, что за закрытыми дверями гостиной между отцом и сыном происходили яростные стычки, при которых фрау Груйтен тихо плакала, а Лени вынужденно отсутствовала; достоверно лишь одно-единственное высказывание Генриха, засвидетельствованное М. в. Д., которая явственно расслышала следующие слова: «Я тоже хочу быть дерьмом, дерьмом, и только дерьмом». Поскольку Маргарет точно помнит, что дважды пила послеобеденный кофе в доме Груйтенов в присутствии Генриха, и оба раза в августе, а кроме того, известно (в порядке исключения — от Лени), что впервые он приехал домой на побывку в мае, то можно с некоторой долей уверенности предположить, что Генрих был дома всего семь раз и провел там в общем и целом сто восемьдесят девять часов — из них примерно двадцать четыре проспал, а четырнадцать — поспорил с отцом. Здесь авт. предоставляет читателю решить, можно ли считать Г. баловнем судьбы. Как-никак, дважды пил кофе в присутствии Маргарет. А спустя несколько месяцев провел с ней ночь любви. Жаль, конечно, что, кроме слов: «Я тоже хочу быть дерьмом, дерьмом, и только дерьмом», другие его высказывания авт. неизвестны. Но может ли быть, чтобы этот юноша, одинаково отличавшийся как в латыни и греческом, так и в риторике и истории искусств, совсем не писал писем? Писал. М. в. Д., поддавшись на почтительнейшие мольбы авт. и не устояв перед подношениями в виде бесчисленных чашек кофе и нескольких пачек американских сигарет без фильтра (в возрасте шестидесяти восьми лет она пристрастилась к курению и находит это занятие «восхитительным»), на время изъяла из ящика семейного комода Груйтенов, которым Лени редко пользуется, три письма, с которых авт. удалось быстро снять фотокопии.

Первое письмо, датированное 10.10.1939, то есть написанное через два дня после окончания войны в Польше, не имеет ни обращения в начале, ни общепринятых приветов в конце; оно написано не готическим, а латинским шрифтом, четким, легко читаемым, необычайно

красивым и интеллигентным почерком, достойным, так сказать, лучшего применения. Вот его текст: «Основной принцип: не приносить противнику больше вреда, чем это необходимо для достижения военных целей.

Запрещается:

1. Применение ядов и отравленного оружия.
2. Убийство из-за угла.
3. Убийство военнопленных или нанесение им телесных повреждений.
4. Отказ выслушать просьбу о пощаде.
5. Применение огнестрельного или иного оружия, причиняющего ненужные страдания, напр., пули «дум-дум».
6. Злоупотребление парламентерским флагом, а также национальными флагами противника, его военными знаками различия и военной формой, опознавательными знаками Красного Креста (рекомендуется особая бдительность, учитывая возможную военную хитрость противника).
7. Произвольное уничтожение или изъятие имущества противника.
8. Принуждение граждан вражеской страны к участию в военных действиях против их родины (напр., немцы во французском «Иностранном легионе»).

Письмо второе от 13.12.1939. «Образцовый солдат ведет себя по отношению к начальникам непринужденно, отзывчиво, предупредительно и внимательно. *Непринужденность* поведения проявляется в естественности, расторопности и выказываемой радостной готовности исполнить свой долг. Для пояснения того, что понимается под *отзывчивостью, предупредительностью и внимательностью*, приведем следующие примеры: если начальник входит в помещение и спрашивает о лице, которое в данный момент отсутствует, следует не ограничиваться отрицательным ответом на вопрос, а отправиться на поиск искомого лица. Если начальник роняет какой-либо предмет, подчиненному надлежит его поднять (но если он находится в строю, то лишь по прямому приказанию). Если подчиненный видит, что начальник собирает закурить сигару, он протягивает тому зажженную спичку. Если начальник хочет выйти из помещения, следует открыть перед ним дверь и потом

аккуратно закрыть. Когда начальник надевает шинель или портупею, садится в машину или на лошадь, выходит из машины или слезает с лошади, предупредительный и внимательный солдат должен ему помочь. *Чрезмерная предупредительность* и чрезмерная внимательность не подобают солдату (угодничество); такого впечатления солдат не должен производить. Возбраняется преподносить начальнику подарки или приглашать его в гости».

Письмо третье от 14 января 1940. «Перед умыванием верхняя часть тела обнажается. Солдат умывается только холодной водой. Расход мыла является мерилем его чистоплотности. Ежедневно следует мыть: руки (неоднократно!), лицо, шею, уши, грудь и подмышки. Ногти на руках чистить щеткой для ногтей (не ножом). Волосы рекомендуется стричь как можно короче и причесывать на пробор. Длинные кудри не к лицу солдату (см. рисунок). (Рисунка в конверте не оказалось — прим. авт.) При необходимости солдату надлежит бриться ежедневно. Свежевыбритым он обязан являться: в караульное помещение, на смотры, для рапорта начальнику и в особых случаях.

После каждого умывания следует *немедленно* тщательно вытереться (растираясь до покраснения кожи), так как в противном случае можно простудиться, а от холодного воздуха кожа может потрескаться. Для лица и для рук следует иметь отдельные полотенца».

Лени редко говорит о своем брате; она так мало его знала, что и теперь и раньше могла сообщить только, что она «робела перед ним из-за его образованности» и что «потом очень удивилась, увидев, какой он милый, просто поразительно милый» (засвидетельствовано М. в. Д.).

Сама М. в. Д. тоже сознается, что побаивалась Генриха, хотя он и по отношению к ней тоже был «страшно мил». Даже помогал ей носить из подвала уголь и картошку, не стеснялся помогать ей мыть посуду и т. д., «и все же в нем было что-то такое, знаете, — что-то такое — ну, в общем, что-то очень благородное, в этом он даже был похож на Лени». Это «даже» требует подробных комментариев, от которых авт. воздерживается.

«Благородный», «истинно немецкий», «поразительно, поразительно милый», «страшно милый» — много ли из

этого почерпнешь? Ответ может быть только один: нет. Получается набросок, а не картина. И если бы не ночь с Маргарет в каморке над баром во Фленсбурге, не единственное принадлежащее ему и достоверно засвидетельствованное высказывание («дерьмо» и т. д.), если бы не письма и, наконец, его гибель: казнен в двадцать один год вместе со своим кузеном по обвинению в дезертирстве и измене родине (контакты с датчанами), а также в «попытке отчуждения оружия, принадлежащего вермахту» (противотанковой пушки), — если бы не все это, мы ничего не знали бы о Генрихе — кроме того, что содержалось в воспоминаниях двух его учителей-иезуитов, заядлых курильщиков с пожелтевшей от старости пергаментной кожей, «цветка, цветка, что все еще цветет в сердце Маргарет», и этого ужасного года скорби — 1940/41. Поэтому предоставим Маргарет дать о нем самое весомое показание (магнитофонная запись): «Я сказала ему, что надо бежать, просто убежать со мной... Как-нибудь уж выкрутились бы, даже если бы мне пришлось пойти на панель... Но он не захотел оставить кузена, тот без него пропал бы, да и куда было бежать? И потом, вся эта бордельная обстановка в комнате, проклятые красные фонари и плюш, и розовые тряпки, и похабные фотографии на стенах, и вообще, — все-таки все было противно. Но плакать он не плакал... И как все это случилось? Ах, во мне по-прежнему это цветет, по-прежнему, — и если бы он прожил семьдесят, восемьдесят лет, я все равно любила бы его всей душой. А что они ему дали? «Западный мир, западный мир»! Вот с этим западным миром он и погиб — тут тебе и Голгофа, и Акрополь, и Капитолий (безумный смех) — еще и Бамбергский всадник в придачу! Выходит, такой замечательный парень жил на земле ради такой ерунды. Такой ерунды».

Когда Лени спрашивают о ее брате, заметив его фотографию на стене, она обычно напускает на себя вид светской дамы и бесстрастным голосом произносит удивительную в ее устах фразу: «Уже тридцать лет он покоится в датской земле».

Само собой разумеется, мы сохранили тайну Маргарет, ни иезуиты, ни Лени, ни М. в. Д. так ничего и не узнали; авт. лишь раздумывает, не стоит ли уговорить Маргарет при случае самой рассказать обо всем Лени:

быть может, для сестры будет хотя бы слабым утешением знать, что ее брат незадолго до смерти провел ночь с восемнадцатилетней Маргарет. Возможно, Лени улыбнется, и улыбка только пойдет ей на пользу. Авт. не располагает другими доказательствами поэтической одаренности Генриха, кроме вышеприведенных писем, которые, вероятно, можно считать первыми образчиками конкретной поэзии.

III

Чтобы проникнуть за кулисы описываемых событий, нам придется поближе познакомиться с человеком, к рассмотрению которого автор приступает с некоторой нерешительностью, хотя сохранилось большое количество фотографий этого человека и имеется много свидетелей — больше, чем по делу Лени; и все же именно потому — или несмотря на то, что свидетелей так много, у авт. не создается четкой картины. Речь идет об отце Лени, Губерте Груйтене, умершем в 1949 году в возрасте сорока девяти лет. Авт. удалось разыскать помимо непосредственно связанных с ним лиц, таких как М. в. Д., старик Хойзер, Лотта Хойзер, Лени, ее свекор, свекровь и шурин, еще двадцать два свидетеля, знавших Губерта Груйтена на самых разных этапах его жизни; почти все они работали с ним — либо он был их подчиненным, либо они подчинялись ему (таких оказалось гораздо больше); восемнадцать свидетелей — специалисты по строительству, четверо — государственные служащие: трое из них — архитекторы и юристы, один — тюремный служащий, ныне на пенсии. Поскольку все они, кроме одного, работали с Груйтином в качестве его подчиненных — техников, чертежников, сметчиков и плановиков, возраст которых ныне колеблется между сорока пятью и восьмьюдесятью годами, то, вероятно, самым правильным будет выслушать их лишь после того, как мы ознакомимся с голыми фактами из жизни Груйтена. Губерт Груйтен родился в 1899 году, выучился на каменщика, участвовал в первой мировой войне, пробыл год на фронте («не проявив ни рвения, ни честолюбия» — высказывание Хойзера-старшего), после войны ненадолго выдвинулся в бригадиры каменщиков, в 1919 году женился («взял жену не по чину») на будущей матери Лени, дочери архитектора на государствен-

ной службе, занимавшего довольно высокий пост (начальник строительства). Елена Баркель получила в приданое пакет совершенно обесцененных акций турецких железных дорог, но также и солидный доходный дом в престижной части города, тот самый, в котором позже родилась Лени; кроме того, именно Елена Груйтен открыла, «что было заложено в ее муже» (Хойзер-старший), и заставила его выучиться на инженера-строителя; на это ушло три года; сам Груйтен не любил, когда их называли «годами его студенчества», а его жена, говоря о «студенческих годах» мужа, характеризовала их как «трудные, но прекрасные», чем навлекала на себя недовольство мужа: очевидно, ему было неприятно о них вспоминать. По окончании учебы он работал прорабом с 1925 по 1929 год, причем пользовался большим спросом и получал порою крупные объекты (не без содействия тестя); в 1929 году он основал собственную строительную фирму, до 1933 года часто бывал на грани краха, с 1933 года начал смело расширять дело, в начале 1943 года достиг вершины финансового успеха, затем два года, оставшиеся до конца войны, просидел в тюрьме или использовался на принудительных работах, в 1945 году вернулся домой, утратив прежнее честолюбие и ограничив свою деловую активность созданием небольшой бригады штукатуров, с которой вплоть до своей смерти в 1949 году «неплохо держался на плаву» (Лени). Кроме того, подрабатывал еще и «на металлическом ломе из развалин» (Лени).

Когда авт. спрашивает свидетелей, не состоящих в родстве с Груйтенем, о предполагаемых пружинах его предпринимательского честолюбия, некоторые из них вообще оспаривают наличие у Груйтена честолюбия, другие же называют честолюбие «основной чертой его характера», причем двенадцать свидетелей оспаривают наличие честолюбия у Груйтена, а десять, наоборот, считают его «основной чертой». Но *все* они единодушно отрицают то, что отрицает и такой старый человек, как Хойзер, а именно: наличие у Груйтена малейших способностей к архитектуре; они не признают за ним даже способностей к «строительному делу вообще». Но одним талантом он, по единодушному мнению всех, видимо, обладал: талантом организатора, администратора, который даже в ту пору, когда на его предприятии было

занято около десяти тысяч работников, «держал все дела в голове» (Хойзер). Примечательно, что из двадцати двух свидетелей, не состоящих с Груйтеном в родстве, пятеро (из них двое принадлежат к той группе, которая не признает за ним честолюбия, а трое — к группе, считающей честолюбие его основной чертой) независимо друг от друга назвали Груйтена «мечтателем»; на вопрос, что заставляет их дать ему столь неожиданную характеристику, трое просто ответили: «Ну, мечтатель — он и есть мечтатель». И лишь двое удостоили авт. более развернутого ответа на вопрос, о чем бы мог мечтать Груйтен. Бывший обер-директор строительства Хайнкен, ныне пенсионер, проживающий в деревне и занимающийся выращиванием цветов и разведением пчел (он весьма неожиданно для авт. и без всякой связи с темой разговора сразу заявил о своей ненависти к курам, да и потом вставлял фразу «Я ненавижу кур» чуть ли не через каждые два-три слова), — этот Хайнкен сказал, что мечтательность Груйтена, «если уж вы хотите знать мое мнение, — просто угрызения совести: он ведь постоянно пребывал в конфликте с какими-то нравственными принципами, мешавшими его деловой карьере». Второй свидетель, архитектор Керн, лет пятидесяти, еще активно работающий и ставший за истекшее время чиновником федерального правительства, высказал следующее: «Ну, мы все считали его человеком действия, таким он, пожалуй, и был, а так как я сам по природе крайне бездеятелен (самооценка ничем не спровоцированная, но весьма верная — авт.), то я, естественно, его уважал и даже им восхищался, и прежде всего тем, как он, человек весьма простой по происхождению, разговаривал с самыми высокопоставленными лицами; он обращался с ними прямо-таки бесцеремонно и вообще ничуть не терялся; но часто, очень часто, когда я заходил к нему в кабинет, — а мне нередко приходилось бывать у него в кабинете, — он сидел за своим письменным столом, уставясь в одну точку, и мечтал... Да-да, он явно мечтал, если хотите знать, и мысли его были заняты вовсе не делами его фирмы. Он заставил меня задуматься о том, как часто мы, люди бездеятельные, бываем несправедливы к деятельным натурам».

И наконец, старик Хойзер, когда авт. заговорил с ним о том, что Груйтена некоторые считают «мечтателем», удивленно взглянул на авт. и сказал: «Сам бы я никогда до этого не додумался, но теперь, когда вы произнесли

это слово, должен признать: в нем не просто что-то есть, а оно попадает в самую точку. В конце концов, мне ли не знать: ведь это я вынул Губерта из купели, мы с ним двоюродные братья; в первые послевоенные годы (имеются в виду годы после первой мировой войны — авт.) я ему немного помог, а потом он с лихвой отплатил мне добром за добро; когда он основал собственное дело, он меня сразу же взял к себе в фирму, хотя мне уже давно перевалило за тридцать; я был у него главным бухгалтером, вел все делопроизводство, а потом стал его компаньоном; ну, смеялся он редко, это верно, и он был немного игрок,— да что там, игрок до мозга костей. И когда разразилась катастрофа, я никак не мог взять в толк, зачем он это сделал; наверное, слово «мечтатель» — может многое прояснить. Только как он потом поступил с нашей Лоттой (злой смешок), мечтами никак не назовешь».

Ни один из ныне здравствующих двадцати двух бывших сотрудников Г. не отрицает, что он был щедр, «приятен в общении, несколько суховат, но приятен».

Достоверной является одна фраза, поскольку подтверждена двумя свидетелями, опрошенными порознь,— сказанная Г. в 1932 году, когда он был близок к банкротству. Видимо, это произошло спустя несколько недель после падения Брюнинга. М. в. Д. воспроизводит эту фразу следующим образом: «Запахло бетоном, дети мои, запахло миллиардами тонн цемента, бункерами и казармами», в то время как Хойзер цитирует эту же фразу несколько иначе: «Запахло бункерами и казармами, дети мои, казармами минимум на два миллиона солдат. Нам бы только продержаться еще полгода, а там заживем».

Ввиду обширности имеющегося материала о жизни и деятельности Груйтена-старшего не представляется возможным назвать поименно всех предоставивших этот материал в распоряжение авт. Остается лишь заверить, что авт. были приложены все усилия, чтобы получить как можно более достоверную информацию о любом, пусть даже второстепенном персонаже, остающемся на заднем плане событий, но играющем определенную роль.

К показаниям Марии ван Доорн по делу Груйтена-старшего необходимо относиться с известной осторож-

ностью: она была (и есть) примерно одного с ним возраста, родом из той же деревни; не исключено, что она была в него влюблена или, по крайней мере, к нему неравнодушна, и потому суждения ее могут быть предвзятыми. Как-никак, она девятнадцатилетней девушкой поступила в прислуги к Груйтену, только что женившемуся на семнадцатилетней Елене Баркель, с которой он познакомился полгода назад на балу архитекторов, куда Г. пригласил отец Елены; она с первого взгляда пылко полюбила своего суженого; отвечал ли ей Г. столь же пылкой любовью, не представляется возможным установить; поступил ли он правильно, вскоре после свадьбы взяв в дом девятнадцатилетнюю крестьянскую девушку, несокрушимая и неистребимая жизненная сила которой бросается в глаза каждому, тоже кажется авт. сомнительным. Несомненно лишь, что почти все высказывания Марии о матери Лени отдают неприязнью, в то время как отца Лени она видит неизменно в некоем ореоле или, вернее, в таком освещении, какое можно сравнить разве что со светом лампы, восковой или электрической свечи, а то и неоновой лампы, горящей перед изображением сердца Христова или святого Иосифа. Некоторые высказывания Марии позволяют даже предположить, что при известных обстоятельствах она могла бы вступить с Губертом Груйтеном в незаконную связь. Например, когда она говорит, что начиная с 1927 года брак Груйтенов начал «разваливаться» и что она была готова дать Губерту все, чего не могла или не хотела дать жена, то слова эти нельзя расценить иначе, как совершенно прозрачный намек; а когда этот намек еще и подкрепляется замечанием (правда, оно было произнесено смущенным шепотом): «В конце концов, я ведь тогда была еще совсем молодая», — то последние сомнения рассеиваются. На прямой вопрос, не намекает ли ван Доорн, что в отношениях между супругами Груйтеном исчезла та интимная сторона, которая считается основой всякого брака, Мария ответила со свойственной ей обезоруживающей прямоотой: «Да, именно это я и хотела сказать». Причем выражение ее все еще выразительных карих глаз — понятное дело, без слов — позволяет авт. предположить, что она пришла к такому выводу, не только наблюдая вблизи семейную жизнь супругов, но и меняя их постельное белье. На следующий вопрос — не думает ли она, что Груйтенов «искал утешения на стороне», — Мария ответила решительным и бесповоротным «нет»

и добавила — авт. почти уверен, что услышал в ее голосе сдавленные рыдания: «Он жил как монах, а ведь он не был монахом».

Если внимательно рассмотреть фотографии покойного Губерта Груйтена — младенческие снимки сбрасываем со счетов и как первый по времени всерьез изучаем снимок, на котором Груйтен запечатлен с группой выпускников своей школы, — то увидим, что в 1913 году это был рослый, стройный юноша со светлыми волосами, длинноватым носом и темными глазами, глядящий в объектив «решительно», однако не так тупо-напряженно, как его соученики, похожие на новобранцев, и сразу же на память приходит пророческое предсказание, сделанное в свое время его учителем, священником и кем-то из членов семьи, сохранившееся лишь в устной форме и ставшее уже семейным преданием: «Этот парень далеко пойдет». Но куда? На следующей по времени фотографии, сделанной в 1917 году, Губерту восемнадцать; он только что закончил обучение профессии каменщика. Данное ему много позже определение «мечтатель» находит на этом снимке психологическое подтверждение. Г. — парень серьезный, это видно с первого взгляда, а написанная на его лице доброта находится лишь в кажущемся противоречии со столь же явственно выраженной решительностью и силой воли. Поскольку он на всех фотографиях снят в фас — за исключением последних, снятых плохоньким аппаратом в 1949 году деверем Лени, Генрихом Пфайфером, уже упоминавшимся выше, причем нельзя ни увидеть, ни, следовательно, установить соотношение длины его носа и лица, — и так как даже знаменитый художник, написавший в 1941 году его портрет в натуралистической манере (масло, холст; портрет совсем неплохой, хотя и лишен объемности, — авт. разыскал его в частной коллекции у чрезвычайно неприятных людей и потому смог бросить на него лишь беглый взгляд), не воспользовался возможностью изобразить Груйтена вполборота, то остается предполагать, что Груйтен, если лишить его современного антуража, казался бы сошедшим с полотен Иеронима Босха.

На тайны, связанные с постельным бельем супругов Груйтен, Мария лишь намекнула, зато о кухонных секретах говорила вполне открыто. «Она не любила острых

приправ, а он, наоборот, любил острые блюда. Из-за этого у меня сразу же возникли трудности, потому что приходилось почти все дважды солить и перчить: для нее — слабо, для него — сильно. Кончилось тем, что потом он все досаливал и перчил уже на столе; в деревне, когда он еще был мальчишкой, все знали, что он скорее обрадуется соленому огурцу, чем куску сладкого пирога».

Следующий достойный упоминания снимок сделан во время свадебного путешествия Груйтенов в Люцерн. Вне всякого сомнения: госпожа Елена Груйтен, урожд. Баркель, очаровательна — хрупкое, нежное создание, милое и утонченное; по ней сразу видно то, чего не отрицают все знавшие ее люди, даже Мария: что она играла Шумана и Шопена, довольно бегло говорила по-французски, а также умела вязать, вышивать и т. д. И не исключено, это надо признать, что в ней погибла интеллектуальная личность, — быть может, даже левого толка; конечно, она — так ее воспитали — никогда не «заглядывала» в книги Золя, и легко можно себе представить, как она возмутилась, когда восемь лет спустя ее дочь Лени стала интересоваться своим стулом. Наверное, для нее Золя и кал были почти идентичными понятиями. Вероятно, врача бы из нее не вышло, а вот защитить диссертацию по истории искусств ей, несомненно, не составило бы особого труда. Будем к ней справедливы: имей она некоторые возможности, коих была лишена, получи она менее эгегическое и более аналитическое образование, не познакомься она с той жеманной чопорностью, которой была пронизана вся ее жизнь в пансионе, в ней было бы, вероятно, меньше душевности, но зато больше духовности, и она, возможно, все же стала бы хорошим врачом. Ясно лишь одно: окажись у нее под рукой, хотя бы ненароком, такие книги, которые считались недо-зволенными, она увлеклась бы скорее Прустом, чем Джойсом; как-никак, читала же она Энрику фон Хандель-Маццетти и Марию фон Эбнер-Эшенбах, а также многое другое в том католическом иллюстрированном еженедельнике, ставшем ныне библиографической редкостью, который в *ее пору* считался самым современным из всех современных изданий такого рода, особенно если сравнить его с журналом «Публик» за 1914—20 годы; а если еще и учесть, что родители в подарок к шестнадцатилетию выписали ей журнал «Хохланд», то становится

ясно, что она имела доступ не просто к прогрессивной, а к самой что ни на есть прогрессивнейшей литературе того времени. Вероятно, именно благодаря чтению журнала «Хохланд» она была так хорошо информирована относительно прошлого и настоящего Ирландии и ей были известны такие имена, как Пирс, Конноли, и даже такие, как Ларкин и Честертон. Ее сестрой Иреной Швайгерт, урожд. Баркель, семидесятипятилетней старой дамой, которая коротает свой век в комфортабельном доме для престарелых в обществе нежно щебечущих попугайчиков и «спокойно ждет своего смертного часа» (ее слова), засвидетельствовано, что мать Лени, в ту пору еще совсем молоденькая девушка, принадлежала к числу первых, если не самых первых, читательниц немецких переводов прозы Йейтса, «в чем я совершенно уверена, так как сама подарила ей вышедший в 1912 году томик Йейтса и, конечно же, Честертон». Авт. отнюдь не собирается утверждать, что образованность или необразованность персонажа характеризует его положительно или отрицательно, он упоминает о ней лишь для того, чтобы лучше осветить тот фон, который к 1927 году уже омрачили трагические тени. И лишь в одном он уверен целиком и полностью: при взгляде на фотографию молодоженов, снятую во время свадебного путешествия Груйтенов в 1919 году, понимаешь: какие бы там задатки ни были загублены в Елене Груйтен, задатков куртизанки она была начисто лишена; она производит впечатление женщины не очень чувственной и совсем не сексапильной, в то время как ее супруг предельно сексуален; вполне возможно, что они оба — а сомневаться в их взаимной любви у нас нет никаких оснований — ввязались в авантюру, именуемую браком, будучи совершенно неопытными в вопросах пола; вполне вероятно также, что в первые ночи Груйтен вел себя не то чтобы грубо, но недостаточно деликатно.

Что касается *его* знакомства с книгами, то авт. не хотел бы полностью довериться суждению одного из ныне здравствующих конкурентов Груйтена, слывущего «гигантом строительной индустрии» и сказавшего буквально следующее: «Он и книги? Да для него существовала в жизни, пожалуй, только одна книга — книга бухгалтерского учета его фирмы». Это не совсем верно. Правда, доказано, что Груйтен на самом деле мало читал: в годы своего студенчества волей-неволей читал обязательную специальную литературу, а кроме нее —

лишь популярно изложенную биографию Наполеона. И вообще — как засвидетельствовали слово в слово Мария и Хойзер — «ему хватало газет, а позже одного радио».

После того, как удалось разыскать старую госпожу Швайгерт, разъяснилось и одно дотоле совершенно непонятное и никем не понятое выражение Марии, которое авт. не раз слышал из уст ее соседей в деревне и которое так долго оставалось незачеркнутым в его блокноте, что он уже было совсем потерял терпение; дело в том, что Мария сказала как-то про госпожу Груйтен, что «она все время носилась со своими этими... Ну, в общем, на букву «ф»...». Эта «ф» никак не могла означать «фурункулы» (Мария: «Какие еще фурункулы? Кожа у нее была совершенно чистая. Я хотела сказать, что она носилась со своими финнами»). Однако ни в одном из собранных авт. свидетельств о жизни Лени не встретилось ни малейшего намека на существование каких-либо связей матери Лени с Финляндией, и речь идет, видимо, не о финнах, а о фениях — ведь мы теперь знаем, что пристрастие госпожи Груйтен к Ирландии позже приняло романтический и даже до некоторой степени сентиментальный характер. Во всяком случае, Йейтс был и остался ее любимым поэтом.

Поскольку в нашем распоряжении нет писем, которыми обменивались супруги Груйтен, а имеются лишь суждения ван Доорн, в данном случае представляющиеся весьма сомнительными, то авт. приходится опираться на весьма поверхностное впечатление от снимка, сделанного на берегу Люцернского озера во время свадебного путешествия, и впечатление это сводится к чисто негативному утверждению: в этой паре не чувствуется эротической, а тем более сексуальной гармонии. Это бесспорно. На этой ранней фотографии, кроме того, уже ясно проступает то, что подтверждается в дальнейшем более поздними: Лени больше похожа на отца, а Генрих — на мать, хотя Лени по гастрономической части (за исключением булочек) пошла скорее в мать, а уж в своих поэтических и музыкальных вкусах и вовсе была ее духовной сестрой, как было показано выше. На гипотетический вопрос, какие дети родились бы от возможного брака Марии и Губерта Груйтена, легче ответить в негативной, нежели в позитивной, форме: наверняка не

такие, о которых монахини и отцы иезуиты тотчас вспомнили бы спустя не один десяток лет.

Какая бы дисгармония или недопонимание ни омрачали семейную жизнь супругов Груйтен, все без исключения лица, близко знакомые с ними, в том числе и ревнивая ван Доорн, утверждают: никогда он не был с женой невежлив, равнодушен или хотя бы неласков; что же касается ее, то она просто «боготворила» своего мужа, на сей счет не может быть никаких сомнений.

Престарелая госпожа Швайгерт, урожд. Баркель, по которой сразу видно, что для нее имена Йейтса и Честертон — пустой звук, честно призналась, что она «не очень-то горела желанием» общаться со своим шурином, да и с сестрой после их свадьбы: ей было бы куда приятнее, если бы сестра вышла замуж за поэта, художника, скульптора или хотя бы архитектора; она не сказала прямо, что Груйтен казался ей простоватым, она выразилась иначе: «недостаточно тонок». В ответ на вопрос о Лени она лишь коротко обронила: «Ну что ж» — и на настойчивые просьбы автора выразиться яснее только повторила эти же слова. Зато Генриха она сразу же расхвалила и назвала «истинным Баркелем»; даже то обстоятельство, что в смерти ее сына Эрхарда «фактически повинен Генрих, сам по себе Эрхард никогда бы не решился на такое», не уменьшило ее симпатии к Генриху; она заявила, что он «во всем впадал в крайности, буквально во всем, но зато был очень талантлив, почти гениален». В общем, она произвела на авт. какое-то двойственное впечатление; ему показалось, будто она даже не слишком огорчена ранней смертью своего сына, поскольку отделялась какими-то общими фразами вроде «время было такое судьбоносное» и, более того, — говоря о своем сыне и Генрихе, сделала в высшей степени странное замечание, для понимания которого потребовалось много дополнительных расспросов и исторических справок. Дословно она сказала следующее: «Они оба были похожи на тех, что пали смертью храбрых под Лангемарком». Если вспомнить проблематику сражения под Лангемарком, вернее, проблематику легенды Лангемарка, если вспомнить разницу между 1914 и 1940 годами, если вспомнить примерно с полсотни запутанных недоразумений, на которых здесь нет нужды останавливаться, то читатель легко поймет, почему авт. распро-

шался с госпожой Швайгерт вежливо, но прохладно, хотя и не окончательно. И когда он позже от свидетеля Хойзера узнал, что супруг госпожи Швайгерт, до той поры остававшийся для авт. фигурой весьма туманной, был тяжело ранен под Лангемарком — «его там буквально изрешетили» (Хойзер) — и три года провел в госпитале, что он в 1919 году женился на Ирене Баркель, ухаживавшей за ним из чистого милосердия, что от этого брака родился сын Эрхард, но сам Швайгерт «жил на одном морфии и так исхудал, что не мог найти местечко, куда бы всадить шприц» (Хойзер) и в 1923 году в возрасте двадцати семи лет скончался, причем в графе «профессия покойного» было указано «студент», то можно предположить, что госпожа Швайгерт, эта дама до мозга костей, в глубине души предпочла бы, чтобы ее супруг пал смертью храбрых под Лангемарком. На жизнь она зарабатывала посредничеством при продаже земельных участков.

Начиная с 1933 года дела Груйтена идут в гору, поначалу полого, с 1935 года круто, а с 1937 вообще взлетают вверх; судя по высказываниям его бывших сотрудников и некоторых специалистов со стороны, он заработал на Западном вале «кучу денег», но, по словам Хойзера, уже в 1935 году «переманил к себе за бешеные деньги самых лучших специалистов по строительству укреплений и бункеров, каких только мог найти», задолго до того «как появилась возможность их использовать». «Мы все время держались на кредитах таких размеров, что у меня и сейчас дух захватывает». Груйтен просто сделал ставку на то, что он называл «комплексом Мажино» всех государственных деятелей. «Даже когда миф о неприступности линии Мажино рухнет (слова Груйтена, переданные Хойзером), этот комплекс все равно еще надолго останется, — может быть, даже навсегда; только у русских его нет, потому что границы у них слишком длинные и они просто не могут себе такого позволить; а вот во благо это им будет или во вред, мы еще поглядим. У Гитлера, во всяком случае, этот комплекс есть, хоть он и пропагандирует маневренную войну и даже ее ведет, но сам он одержим комплексом бункеров и укреплений, вот увидишь» (начало 1940 года, сказано им до захвата Франции и Дании).

Во всяком случае, уже в 1938 году фирма Груйтена

выросла в шесть раз по сравнению с 1936 годом, когда ее объем в шесть раз превысил объем 1932 года; в 1940 она увеличилась вдвое по сравнению с 1938 годом, а «в 1943 ее уже вообще нельзя было с чем-либо сравнивать» (Хойзер).

Одно качество Груйтена-старшего подтверждается всеми опрошенными, хотя и выражается двумя разными словами: одни называют его «смелым», другие «бесстрашным», и лишь двое-трое считают его «одержимым манией величия». В деловых кругах и сейчас помнят, что он раньше всех догадался заманить или переманить к себе самых лучших специалистов по строительству бункеров, а позже смело взял на работу французских инженеров и техников, участвовавших ранее в сооружении линии Мажино, причем «он точно знал (слова бывшего высокопоставленного чиновника из министерства вооружений, пожелавшего остаться неизвестным), что в периоды намечающейся инфляции глупо экономить на заработках рабочих и окладах специалистов». Груйтен платил хорошо. В то время, о котором идет речь, ему исполнился сорок один год. Костюмы, сшитые на заказ из «дорогой, но не вызывающе дорогой ткани» (Лотта Хойзер), превратили «видного мужчину в импозантного господина»; а он и не стыдился свалившегося на него богатства и даже как-то сказал одному из сотрудников, архитектору Вернеру фон Хофгау, отпрыску старинного дворянского рода: «Всякое богатство когда-то возникло, в том числе и ваше родовое: не было его, а потом стало». Груйтен отказался построить себе виллу в том районе, который в то время считался престижным и в котором селились все недавно разбогатевшие люди (кстати, до самой смерти он, несмотря на все замечания окружающих, произносил вместо «вилла» — «филла»). Было бы необоснованно считать Груйтена примитивным и пошлым выскочкой: к примеру, он обладал одним качеством, которое не отнесешь ни к наследственным, ни к благоприобретенным: он прекрасно разбирался в людях, и все его сотрудники, архитекторы, техники, коммерсанты, уважали его, а большинство даже боготворило. Действительно, он тщательно продумал программу обучения и воспитания своего сына и внимательно следил за ее выполнением, даже лично все контролировал; он часто сам навещал мальчика, но редко привозил его домой, потому что не хотел, чтобы «тот запачкался о его грязные дела» (неожиданное, но надежное свидетелст-

во Хойзера). Он мечтал, чтобы тот сделал научную карьеру и стал профессором — но не «каким-нибудь заштатным, а таким, каким был тот ученый, для которого мы как-то раз построили виллу» (тоже Хойзер. По его словам, речь шла об одном довольно известном филологе-романисте, библиотека которого, а также широта кругозора и «открытое, сердечное отношение к людям», очевидно, произвели на Груйтена большое впечатление). Он огорчился, когда выяснилось, что его пятнадцатилетний сын «еще не так свободно владел испанским языком, как я надеялся».

Груйтен никогда не считал Лени «глупой гусыней». И совсем не рассердился на нее за то, что первое причастие привело ее в ярость, а, наоборот, громко рассмеялся (что, судя по всему, редко с ним случалось) и прокомментировал это событие следующей фразой: «Она хорошо знает, что ей надо» (Лотта Х.).

В то время как его жена постепенно блекла, становилась немного слезливой и даже чуть-чуть ханжой, для него наступил «возраст расцвета». Чего у него никогда не было и не появилось до конца дней, так это комплекса неполноценности. Он мог заблуждаться — и действительно заблуждался — в отношении сына, а уж его требования к степени овладения сыном испанским языком иначе, как заблуждением, и не назовешь. Но и спустя тринадцать лет после того, как (согласно Марии ван Доорн) между ним и его женой прекратились супружеские отношения, он ее не обманывал, — во всяком случае, не обманывал с другими женщинами. Он питал неожиданное для такого человека, как он, отвращение к скабрёзным анекдотам и не стеснялся его высказывать в «холостых компаниях», где ему время от времени приходилось бывать и где часам к двум-трем ночи неизбежно наступает такая стадия, когда кто-нибудь из собутыльников начинает требовать «страстную черкешенку». Сдержанность Груйтена по части сальностей и «черкешенок» вызывала насмешки в его адрес, которые он спокойно пропускал мимо ушей (Вернер фон Хофгау, в течение года иногда сопровождавший Груйтена на такие вечеринки).

Что же это за человек, наверняка уже задается вопросом теряющий терпение читатель, что же это за человек: ведет целомудренную жизнь, гребет день-

ги на военных заказах перед войной и во время войны — оборот его фирмы (согласно Хойзеру) возрос с миллиона в год в 1935 году до миллиона в месяц в 1943 году, а в 1939 году, когда его кварталный оборот, как-никак, тоже составлял миллион, старается сделать все, чтобы только оградить сына от участия в том, на чем сам наживается?

В 1939—40 году между отцом и вернувшимся на родину сыном возникает взаимное раздражение, даже ожесточение; сын спустился с трех священных гор Западного мира и теперь осушает болота где-то в четырех часах езды по железной дороге от родительского дома, хотя за истекшее время — по настоящему желанию отца, заплатившего за это одному испанскому монаху-иезуиту солидную сумму, — и научился читать Сервантеса в оригинале. С июня по сентябрь сын приезжал на побывку в отчий дом примерно семь раз, а с конца сентября до начала апреля 1940 года приблизительно пять; он категорически отказался воспользоваться прямо высказанным предложением отца, у которого «везде есть свои люди» и которому «ничего не стоит» добиться «перевода сына в какое-нибудь более подходящее место» (свидетельства Хойзера-младшего и Лотты) или вообще освободить от службы в армии как сотрудника фирмы, работающего на оборону. Что же за человек его сын, который вместо ответа на расспросы о его самочувствии и условиях армейской жизни, сидя за завтраком в кругу семьи, вытаскивает из кармана книжку: Райберт. «Наставление по службе в сухопутных войсках (для противотанковых частей). Изд. второе, переработанное майором д-ром Альмендигером» — и зачитывает вслух то, что не успел сообщить в письмах, а именно раздел, занимающий почти пять страниц и озаглавленный: «Воинское приветствие», — раздел, в котором подробно рассматриваются все варианты отдания чести — на ходу, лежа, стоя, сидя, на лошади и в машине, а также кто кого и как должен приветствовать. При этом нужно помнить, что отец Генриха отнюдь не принадлежал к разряду тех отцов, которые целыми днями сидят дома и ждут приезда сына; его отец, за истекшее время получивший в свое распоряжение самолет (Лени летала на нем с наслаждением!), человек не просто занятой, а перегруженный чрезвычайно важными делами, который

всякий раз высвобождается с великим трудом, отменяя важные совещания и даже переговоры с министрами (!) под любыми надуманными предложениями (визит к зубному врачу и т. д.), чтобы только не упустить случай повидаться с горячо любимым сыном. Что же ему — сидеть и слушать, как этот сын целыми страницами зачитывает правила воинского приветствия, изложенные каким-то там Райбертом и переработанные д-ром Альмендигером, — любимый сын, которого отец хотел бы видеть директором института истории искусств или, на худой конец, археологического института где-нибудь в Риме или Флоренции?

Надо ли разъяснять, что эти «чашечки кофе», эти завтраки и обеды «были для всех присутствующих не только неприятными, что они становились все более мучительными, изматывающими и наконец превратились в настоящий кошмар» (Лотта Хойзер). Лотта Хойзер, урожд. Бернтген, невестка многократно цитировавшегося Отто Хойзера, главного бухгалтера и заведующего делопроизводством фирмы, в то время двадцатилетняя молодая женщина, служила секретаршей у Груйтена, иногда приглашавшего на временную работу в качестве чертежника также и ее мужа, Вильгельма Хойзера. Поскольку Лотта в решающие месяцы 1939 года уже служила у Груйтена и ее время от времени тоже звали «на чашечку кофе» в дом шефа, когда там гостил приехавший на побывку Генрих, то ее мнение о Груйтене-старшем, которого она считала «просто неотразимым, хотя, по большому счету, его тогдашнюю деятельность можно назвать преступной», мы приводим здесь лишь попутно. Старик Хойзер частенько игриво намекал на «любовные, хотя и чисто платонические, отношения» своей невестки с Груйтеном, «под мужское обаяние которого она — при разнице в возрасте в неполных четырнадцать лет — не могла не подпасть». Высказывалась даже мысль (принадлежавшая якобы Лени, в чем авт. не уверен, поскольку она дошла до него не прямо, а косвенно, через не вполне надежного свидетеля Генриха Пфайфера), что «Лотта, вероятно, была тогда для отца сущим искушением; при этом я вовсе не хочу сказать, что она была *искусительницей*». Во всяком случае, Лотта называет эти семейные трапезы, ради которых Груйтене-старший, как говорят, прилетал домой из Берлина, Мюнхена или даже из Варшавы, «просто ужасными, совершенно невыносимыми». М. в. Д. называла эти трапезы

«ужасными, просто ужасными», в то время как Лени ограничивается трехкратным повторением одного слова: «беда, беда, беда».

Всеми опрошенными, даже такой предубежденной свидетельницей, как М. в. Д., подтверждается, что эти приезды сына «просто-напросто погубили госпожу Груйтен: ей не под силу было вынести то, что происходило на ее глазах». Лотта Хойзер прямо говорит, что тогда имело место своего рода «интеллектуальное отцеубийство», и утверждает, что Груйтен-младший зачитывал длинные цитаты из упомянутой брошюры Райберта со злостной политической целью, потому-то они так больно и задели отца, — ведь тот погряз в политике, был в курсе важнейших политических секретов, в частности знал о предполагаемом строительстве казарм в Рейнской области задолго до того, как в нее вошли войска, знал и о запланированном строительстве огромных бомбоубежищ, — и именно поэтому не хотел слышать о политике у себя дома.

Лени пережила события этих тяжелых девяти месяцев не так мучительно, как другие действующие лица этой истории, и, возможно, даже многого не заметила, потому что как раз в это время — приблизительно в июле 1939 года — вняла мольбам одного молодого человека, вернее, вняла бы, если бы он взмолился его выслушать; правда, она не была уверена, что он и есть тот единственный, которого она так страстно ждала, но знала, что поймет это не раньше, чем услышит его мольбу. Молодой человек этот был ее кузен Эрхард Швайгерт, сын жертвы Лангемарка и той дамы, которая утверждает, что он был похож на павших смертью храбрых под Лангемарком. Эрхард, который «по причине крайне лабильной нервной конституции и повышенной чувствительности» (слова его матери) не смог перевалить через столь трудный барьер, как экзамены на аттестат зрелости, и даже временно был забракован и отослан домой такой безжалостной организацией, как «Имперский трудовой фронт», после чего предпринял попытку получить «отвратительную» для него (слова самого Эрхарда, переданные авт. М. в. Д.) профессию учителя начальной школы и с этой целью — поначалу с помощью частного преподавателя — стал готовиться к «проверке на одаренность», но потом неожиданно был все же призван в дру-

гую, еще более безжалостную организацию, где встретился со своим кузеном Генрихом, который взял его под свое покровительство и во время приездов домой по увольнительным довольно откровенно пытался свести его со своей сестрой Лени. Он покупал билеты в кино и «посылал их туда вдвоем» (М. в. Д.), уславливался с ними о встрече после сеанса, «а сам не приходил» (та же). Поскольку Эрхард в итоге проводил у Груйтенов не только большую часть своего отпуска, но весь отпуск, а к матери навещался лишь изредка и ненадолго, та до сих пор чувствует себя обиженной; она прямо-таки с возмущением отвергла высказанное авт. предположение, что между ее сыном и Лени могла существовать любовная связь «с серьезными намерениями». «Нет, нет и еще раз нет. Связь с этой — с позволения сказать, девушкой, — нет, невозможно». Однако не только возможным, но абсолютно неоспоримым является тот факт, что Эрхард с самого первого своего приезда в отпуск — то есть примерно с мая 1939 года — буквально боготворил Лени; тому есть надежные и авторитетные свидетели, и в первую голову Лотта Хойзер, которая откровенно признает, что «Эрхард был бы, безусловно, лучше тех, которые появились у нее потом, — во всяком случае, лучше того, который был у нее в сорок первом. Но все-таки не лучше того, кто появился в сорок третьем». По ее собственному признанию, она неоднократно пыталась заманить Лени и Эрхарда к себе и оставить их в квартире одних, «чтобы у них, черт побери, наконец-то что-нибудь получилось. Просто зло брало — парню стукнуло двадцать два, здоров как бык, да и внешне привлекателен. А Лени тогда было семнадцать с небольшим, и она — скажу вам откровенно, — она созрела для любви, она была женщиной, уже тогда была женщиной, да еще какой женщиной! Но этот Эрхард был до такой степени рохля, что вы и представить себе не можете».

Тут нам придется, дабы избежать — или в очередной раз избежать — возможных недоразумений, охарактеризовать Лотту Хойзер. Год рожд. — 1913, рост — 1 м 64 см, вес — 60 кг, седеющая шатенка, всегда начеку, склонная к диалектическому мышлению, хотя не слишком образованная, про нее можно сказать, что она человек необычайно прямой, еще более прямой, чем Маргарет. Поскольку при жизни Эрхарда Лотта довольно тес-

но контактировала с Груйтенем-старшим, она представляется авт. немного более надежной свидетельницей, нежели ван Доорн, которая во всем, что касается Лени, склонна к фетишизации. Когда авт. коснулся в разговоре ее отношений с Груйтенем, вызывавших много толков, она и о них высказалась совершенно откровенно: «Ну, тогда у нас с ним могло бы уже что-то получиться, это верно, он уже тогда мог бы стать тем, кем стал позже, в сорок пятом; правда, я не одобряла почти все, что он делал, но сознавала это,— не знаю, ясно ли вам, что я имею в виду. Жена его была женщина робкая, и вся эта гонка вооружений внушала ей такой ужас, что вконец ее запугала и сковала по рукам и ногам; будь она более энергичной и менее созерцательной, она бы запрятала своего сына в какой-нибудь монастырь в той же Испании или уж не знаю где, хотя бы в стране этих фениев, могла бы сама туда съездить и на месте все устроить; разумеется, моего мужа и Эрхарда тоже можно было бы избавить от участия в германской истории. Чтобы не возникло никаких недомолвок, сразу скажу: Елена Груйтен была не просто милая женщина, она была добрая и умная, и ей, если хотите знать, было не под силу вынести все, что творилось во имя этой истории,— не под силу выносить эту политику, эти военные заказы, это ужасное самоуничтожение, на которое сознательно обрек себя ее сын. Все, что другие люди вам о нем сказали,— истинная правда (имя Маргарет не было названо. Авт.). Мальчик забил себе голову культурой Запада,— а что у него от всего этого осталось? Маленькая кучка дерьма, если хотите знать, а столкнуться ему пришлось со всей этой неопишуемой машиной. В нем было слишком много от Бамбергского всадника и слишком мало от героев Крестьянской войны. Я еще четырнадцатилетней девчонкой в 1927 году услышала от школьного учителя истории правду о социально-политической подоплеке Крестьянской войны и все как есть записала. Я, конечно, знаю, что Бамбергский всадник не имеет никакого отношения к крестьянским войнам, но попробуйте-ка остричь ему кудри да побрить — что получится? Что от него останется? Дешевая и грубая подделка под Иосифа Прекрасного. В общем, так: в сыне — слишком много от Бамбергского всадника, а в его матери — слишком много от тепличной розы; она давала мне кое-что почитать, это были действительно прекрасные книги, она вообще была замечательная женщина, тут нет сомнений, наверное, ей

и нужно-то было всего несколько инъекций гормонов; ну, а уж мальчик-то, Генрих, в него просто нельзя было не влюбиться, наверное, не было женщины, лицо которой при виде его не осветилось бы особенной улыбкой; да, только женщины и гомосексуалисты-интеллектуалы чувствуют истинного поэта на расстоянии. Разумеется, то, что он сделал, было чистым самоубийством, это ясно, вот только не могу понять — зачем он втянул в эту историю Эрхарда? А может, тот сам захотел, чтобы его втянули? Мы этого не знаем. В общем, целых два Бамбергских всадника решили умереть вместе и этого добились: их поставили к стенке; и знаете, что крикнул Генрих перед самым залпом? «Насрать на Германию!» Вот чем кончилось все его образование и воспитание, которое иначе, как уникальным, не назовешь; а впрочем, раз уж он попал в этот сраный вермахт, может, и к лучшему, что так кончил: шансов отправиться на тот свет между апрелем сорокового и маем сорок пятого было более чем достаточно. У Груйтена-старшего были большие связи, так что он добыл дело своего сына — ему переслал его один важный генерал, — но сам ни разу в него не заглянул, только попросил меня пересказать ему самое основное; оказалось, что мальчики просто предложили датчанам купить у них зенитную пушку, причем хотели получить за нее как за металлолом, то есть марок пять; и знаете, что сказал этот тихий, стеснительный Эрхард на заседании трибунала? «Мы умираем за почетное дело — за торговлю оружием!»

Авт. счел необходимым еще раз встретиться с Вернером фон Хофгау, господином пятидесяти пяти лет, который «временно работал в бундесвере на штатной должности, требовавшей некоторого опыта в строительстве», а ныне открыл в боковом крыле своего родового замка небольшую архитектурную мастерскую, «которая занимается исключительно мирным делом, а именно — строительством загородных домиков». Чтобы яснее представить себе, как выглядит фон Х., скажем, что это любезный седовласый господин (который на прямой вопрос автора ответил, что считает себя человеком весьма пассивным, и, видимо, имел на это все основания); фон Х. холост, и, по непросвещенному мнению авт., «архитектурная мастерская» для него лишь предлог, чтобы иметь возможность часами созерцать лебедей на

пруду и арендаторов, трудящихся в поте лица в пределах и за пределами его имения, а также совершать прогулки по природным просторам (точнее говоря, по свекловичным полям), с досадой поднимая глаза к небу всякий раз, как по нему пролетает самолет «старфайтер». Фон Х. избегает общаться с братом, живущим в замке, «из-за некоторых махинаций, которые он совершил от моего имени, но без моего ведома в том отделе, который я тогда возглавлял». На лице фон Х. — подвижном, но жирноватом — при этих словах появляется выражение некоторой горечи, не имеющей, однако, персональной направленности и носящей скорее абстрактно-морализаторский характер, которую тот, как показалось авт., заглушает напитком, весьма опасным при неумеренном потреблении: хорошо выдержанным шерри. Во всяком случае, авт. обнаружил поразительно большое количество пустых бутылок из-под шерри в мусорной куче и пугающе большое количество тех же бутылок, но полных, в шкафу для «чертежей». Авт. пришлось несколько раз побывать в деревенской пивной, чтобы получить — хоть и в форме слухов — те сведения, которые фон Х. отказался дать, заявив: «Я нем, как могила».

Нижеследующее представляет собой резюме, составленное авт. в результате бесед, проведенных им во время тех посещений деревенской пивной с десятком жителей Хофгаузена; симпатии всех крестьян, безусловно, были на стороне бездеятельного Вернера, а их уважение — на стороне его брата Арнольда, человека, по-видимому, необычайно деятельного; от явного почтения они говорили о нем почти с дрожью в голосе; очевидно также — исходя из рассказов деревенских жителей, — что Арнольд, работая в центре планирования строительства под началом брата, ведая отделом проектирования аэродромов бундесвера, с помощью депутатов ХДС, банкиров, лоббистов самых разных группировок комитета обороны и даже давления, оказанного на министра обороны, добился того, что «знаменитый в веках Хофгаузенский лес» и большие прилегающие к нему угодья были отведены под площадки для аэродрома НАТО. Это была — по высказываниям жителей деревни — сделка «миллионов на пятьдесят или сорок, самое меньшее — на двадцать», и совершалась она (житель деревни, крестьянин Бернхард Хекер) «его отделом, но *против* его воли, зато с согласия комитета обороны».

«Я навек обязан Груйтену (Хофгау), ведь он спас

меня, тогда еще совсем молодого, от службы в вермахте, взяв к себе личным референтом; позже, когда ему лихо пришлось, я смог хоть как-то отплатить ему добром за добро»; фон Хофгау еще немного помялся, но потом все же дал авт. искомую информацию о загадочной истории Генриха — Эрхарда. «Раз это вам, как я вижу, так важно, я расскажу. Госпожа Хойзер видела не все бумаги и не знакома с проблемой во всем ее объеме. Она получила только бумаги по делу мальчиков, рассматривавшемуся трибуналом, да и то не все, а также рапорт офицера, приводившего приговор в исполнение. В действительности же история эта так запутанна, что мне будет трудно ее воспроизвести с достаточной точностью. Итак, сын Груйтена отказался воспользоваться протекцией отца, однако тот, вопреки желанию сына, пустил в ход свои связи и добился — для него это были сущие пустяки, — чтобы его сына вместе с кузеном перевели для начала в какую-то финчасть в Любеке; это было дня через два после захвата Дании. Однако он — я имею в виду господина Груйтена-старшего — недооценил упрямство своего сына, который хоть и поехал в Любек вместе со своим кузеном, но, поняв, куда попал, тотчас вернулся в Данию — без приказа о переводе, без командировочного предписания; при доброжелательном отношении действия эти могли быть расценены как самовольная отлучка, а при недоброжелательном — как дезертирство; этот проступок, вероятно, еще удалось бы замять, а вот другой замять было уже невозможно: Генрих и Эрхард попытались продать одному датчанину противотанковую пушку, хотя тот и отказался ее купить, — ведь это было бы для него самоубийством, к тому же совершенно бессмысленным; сама попытка считалась уже преступлением, тут никакая протекция не могла помочь, ничего не вышло, и свершилось то, что должно было свершиться. Я хочу быть с вами предельно искренним и потому признаюсь, что, хотя наша фирма строила тогда в Дании большие объекты и мы были знакомы чуть ли не со всем генералитетом, мне, как личному референту Груйтена, стоило большого труда заполучить бумаги по делу мальчиков; прочитав их, я передал папку госпоже Хойзер, секретарше Груйтена, предварительно отредактировав — ну, что ли, почистив ее, отобрав кое-что, если хотите. Дело в том, что там без конца попадались слова «грязная сделка», и мне не хотелось причинять шефу лишнюю боль».

Лотта Х., которая не может удержаться от горестного вздоха при одной мысли о том, что ей, может быть, придется расстаться со своей уютной маленькой квартиркой с садом на крыше и в центре города, говоря с авт. «об этой истории», непрерывно вздыхала, курила одну сигарету за другой, то и дело приглаживая и без того гладкие коротко подстриженные волосы с сильной проседью, и постоянно прихлебывала кофе. «Да, мальчишки погибли, тут уж ничего не попишешь. Какая разница, из-за чего — из-за дезертирства или из-за того, что пытались загнать эту пушку, главное — погибли, и я не знаю, действительно ли они этого хотели. У меня всегда было ощущение, что в их поведении очень многое вычитано из книг, мне даже кажется, что они оба удивились и испугались, когда их на самом деле поставили к стенке и прозвучала команда: «Целься!» Как-никак, у Эрхарда была Лени, а уж Генриху — тому вообще стоило только захотеть, и любая девушка была бы его. По-моему, от поступка этих мальчишек сильно разит немецким духом, ведь устроили они это все не где-нибудь, а именно в Дании, где наша фирма тогда только разворачивала строительство особо крупных объектов. Ну, ладно. Назовем все это, если хотите, символичным, с двумя «л», прошу вас. У моего мужа, которого, по милости наци, угробили несколько дней спустя под Амьеном, никакой такой символики и в мыслях не было. Он бы предпочел остаться живым, и отнюдь не только символически, и не стал бы умирать ради каких-то там символов; он просто боялся смерти, вот и все; а ведь в нем было много хорошего, да только они подавили в нем все это в монастырской школе, где он маялся до шестнадцати лет, готовясь стать священником, пока не понял, что все это бред; но было уже поздно. И у него осталось это чувство неполноценности из-за того, что не получил аттестата зрелости, — это они ему успели внушить; мы с ним познакомились позже, в организации «Свободная молодежь», пели со всеми вместе «Смело, товарищи, в ногу» и знали наизусть ее всю: «Все, чем держатся их троны, дело могучей руки. Сами набьем мы патроны, к ружьям прикрутим штыки». Только нам, конечно, никто не объяснил, что коммунизм 1897 года был другим, нежели коммунизм в 1927/28 году, а мой Вильгельм был совсем не тот человек, который мог бы взять в руки оружие. Да ни за что на свете! Но из-за этих идиотов ему пришлось его все же взять, и они послали его на верную гибель во имя

этого бреда — на фирме даже кое-кто поговаривал, что его собственный отец с согласия Груйтена вычеркнул сына из списка лиц, получавших броню; да и про меня распускали слухи, будто я оказалась чем-то вроде жены Урия, но я ей не была и не могла быть — такого верного человека, как Вильгельм, просто нельзя предать, да я не сразу могла предать даже память о нем, когда его уже не было. Ну, а теперь о патроне. Так вот, уже тогда у нас с ним могло что-то выйти; особенно меня восхищало в нем то, как этот высокий сухопарый деревенский парень с лицом простолюдина превратился в высокого подтянутого господина, в масштабную личность: он был не строитель, не архитектор, он был стратег, если хотите. Вот что восхищало меня в нем помимо подтянутости и высокого роста: талант стратега. С таким же успехом он мог стать банкиром, не имея никакого понятия о финансах, — надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. У него в кабинете на стене висела карта Европы, он втыкал в нее булавки, а иногда и флажки; так ему было одного взгляда на карту достаточно — на мелочи он никогда внимания не обращал. И еще — он владел одним очень важным приемом, который просто-напросто перенял у Наполеона, — сдается, биография Наполеона, причем довольно примитивная, — была единственной книгой, которую он прочел; прием был очень прост, а может, с его стороны то был даже и не прием, а обыкновенное душевное отношение к людям, хотя бы отчасти. Ведь он начал дело в двадцать девятом, и, пожалуй, с чересчур большим замахом — сразу сорок рабочих с бригадирями и так далее, — и ему удалось, несмотря на экономический кризис, их всех сохранить, ни одного не уволил; он шел на всяческие банковские хитрости, раздавал направо и налево векселя, брал кредиты под ростовщические проценты — и вот в тридцать третьем у него работали те же сорок человек, и они никому, буквально никому не дали бы его в обиду; были среди них и коммунисты, и он тоже не давал их в обиду, помогал им во всем и выручал, если они попадали в трудное положение по политическим причинам; сами понимаете, что в последовавшие годы они все пошли в гору — как сержанты у Наполеона; он доверял им строительство крупных объектов и знал их всех, каждого в отдельности знал по имени, знал даже, как зовут их жен и детей, и при встрече подробно расспрашивал про них, был в курсе их жизни — например, знал, если кто-то из детей остался на второй год,

и так далее. А когда он приезжал на стройку и замечал, что у них где-то не хватает рук, то брался за лопату или кирку, а то и садился за баранку и делал срочный рейс — и всегда вмешивался только тогда, когда было действительно необходимо. Все остальное можете легко себе представить. И еще один секрет я вам открою: деньги его не интересовали. Конечно, ему нужны были какие-то деньги для антуража: ну, там, костюмы, машины, вообще свободные суммы для маневра, возможность иногда устраивать званые вечера; но как только у него появлялись большие деньги, он их тут же вкладывал в дело, даже влезал в долги. «Всегда быть в долгу, как в шелку, Лотта,— сказал он мне как-то,— вот единственно правильный путь». А что до его жены — да, это она первая заметила, что в «нем что-то есть», — но что именно в нем было и что потом выплеснулось наружу, вызвало у нее просто ужас; да, она хотела сделать из него большого человека, иметь открытый дом и все такое, но вовсе не хотела быть замужем за начальником генерального штаба. Если позволите, я сейчас скажу нечто неожиданное, и, может быть, вы меня поймете: это он был идеалистом, а она — реалисткой, хотя могло показаться как раз наоборот. Боже мой, я считала преступлением все, что он делал,— ведь он строил им и бункеры, и аэродромы, и штабы, и теперь, бывая в отпуске в Дании или Голландии, я вижу эти бункеры на пляже, которые мы тогда построили, и меня тошнит от их вида; но все же: то было время сильной власти, время сильных и властных, а он был человек властный, хотя власть сама по себе была ему не нужна, так же как и деньги. Во всем этом его привлекала игра,— да, он был игрок, но игрок уязвимый: у него был сын, а сын не захотел, чтобы его выдернули из дерьма».

Попытка вернуть Лотту ко второй теме нашей беседы — отношениям Лени и Эрхарда — поначалу не удалась. «Потом об этом, дайте мне сперва выговориться. Только чтобы вам стало ясно: нас уже тогда тянуло друг к другу, он оказывал мне разные знаки внимания, называйте это как хотите, но для сорокалетнего мужчины, каждодневно имеющего дело с двадцатисемилетней женщиной, они просто трогательны. Разумеется, он дарил мне цветы, два раза поцеловал руку выше локтя, но самым потрясающим был тот случай в Гамбурге, когда он протанцевал со мной полночи в отеле; это было со-

всем на него не похоже. Вы не замечали, что «великие люди», как правило, плохо танцуют? Надо вам сказать, что со всеми мужчинами, кроме собственного мужа, я всегда держалась недотрогой, в моем характере есть одна противная черта, от которой я долго не могла избавиться: я храню верность. Просто какое-то наказанье. И никакая это не добродетель, скорее просто дурь; представьте себе, каково мне было ночью, когда дети спали, лежать одной в постели, после того как моего мужа, моего Вильгельма, ради их бредней уколошили под Амьеном? И ни одному мужчине, ни одному, не позволила я прикоснуться к себе вплоть до сорок пятого года,— и ведь не из-за каких-то там убеждений или взглядов, ведь целомудренность и прочую чепуху я ни в грош не ставлю; а к сорок пятому прошло уже целых пять лет, вот мы с ним и решили сойтись. А теперь, если хотите, поговорим о Лени и Эрхарде; я вам уже, кажется, говорила, что Эрхард был необычайно робок, так вот — Лени была не менее робкой, это вам надо знать. Он боготворил ее с самого начала, она была для него чем-то вроде таинственно воскресшей флорентийской *bionda*¹ или еще чего-то в этом роде, и даже предельно сдержанные рейнские интонации Лени, даже ее прямо-таки чрезмерно сдержанная манера держаться не смогли его охладить. Для него не играло никакой роли, что она оказалась, по его понятиям, совершенно невежественной, а те обрывки секретионной мистики, что застряли у нее в голове и сидят до сих пор, вряд ли могли бы прийти ему по вкусу, если бы она их выложила. Чего только мы не делали — я имею в виду Генриха, Маргарет и себя,— чтобы у этих двоих все сладилось. Вы должны учесть, что времени было в обрез: между маем тридцать девятого и апрелем сорокового он приезжал, наверное, в общей сложности раз восемь. Мы с Генрихом, разумеется, не говорили об этом, только перемигивались, ведь и так было видно, что они влюблены друг в друга. И как приятно было, я подчеркиваю, было приятно смотреть на них, может, и не стоит так уж сокрушаться, что они не спали друг с другом. Я покупала им билеты в кино на всякую пошлятину вроде «Дружба в море» или на такую идиотскую халтуру, как «Осторожно — враг подслушивает»,

¹ Белокурая дама (ит.).

и даже фильм о Бисмарке послала их смотреть, потому что думала: черт побери, сеанс длится три часа, в зале темно и тепло, как в материнском чреве, он, уж конечно, возьмет ее руку в свою, а может, они догадаются и поцеловаться (очень горький смешок! Реплика авт.), а уж если это случится, то дальше все пойдет как по маслу; но ничего этого не было, совершенно очевидно, что не было. Он сводил ее в музей и там объяснил, как отличить подлинную картину Босха от приписываемой ему, пытался убедить, чтобы она перестала брэнчать своего Шуберта и стала играть Моцарта, давал ей почитать стихи — кажется, Рильке, сейчас не помню точно, — а потом сделал нечто, что ее и впрямь проняло: стал сочинять в ее честь стихи и присылать ей. Ну, Лени была очаровательное создание — она и теперь кажется мне очаровательной, — если хотите знать, я и сама была в нее немножко влюблена: поглядели бы вы, как она танцевала с Эрхардом, когда мы все — мой муж, я, Генрих, Маргарет и эта парочка — ходили вечером куда-нибудь посидеть; тут уж просто всей душой желаешь, чтобы они оба оказались на шикарном ложе под балдахином и наслаждались друг другом. Ну вот, значит, он стал сочинять в ее честь стихи, и что самое удивительное: она показывала их мне, хотя стихи — надо сказать — были довольно смелые; например, он довольно откровенно воспевал ее грудь, называя ее «пышным белым цветком сокровенности», с которого он жаждет «оборвать лепестки»; и еще он написал действительно прекрасное стихотворение о ревности, которое, вероятно, даже можно было бы опубликовать: «Я ревную к кофе, который ты пьешь, к маслу, которое намазываешь на хлеб, ревную к зубной щетке и к кровати, на которой ты спишь». Словом, все было сказано довольно однозначно, это так, но только на бумаге, только на бумаге...»

На вопрос, не могло ли случиться, что между Лени и Эрхардом все-таки возникла интимная близость, о которой ничего не знали ни она, ни Генрих, ни все остальные, Лотта совершенно неожиданно для авт. зарделась (авт. признается, что вид зардевшейся Лотты сильно скрасил ему проведение дознаний, зачастую весьма утомительных) и сказала: «Нет, это я знаю почти наверняка, потому что спустя год с небольшим, когда она сошлась с этим Алоисом Пфайфером, за которого потом сдуру выскочила замуж, он похвастался своему брату

Генриху, называя вещи своими именами,— мол, Лени досталась ему нетронутый,— а тот по наивности проболтался мне». Краска на лице Лотты все еще держалась, когда авт. спросил, не мог ли Алоис Пфайфер просто бахвалиться перед братом, приписывая себе, так сказать, трофеи, доставшиеся кому-то другому, Лотта впервые заколебалась и сказала: «Что Алоис был хвостун, это бесспорно. Такая мысль мне как-то не пришла в голову». Но потом, резко тряхнув головой, добавила: «Нет-нет, я считаю, это исключено, хотя возможностей у этой парочки было более чем достаточно. Нет, и еще раз нет»,— повторила она, к удивлению авт. еще раз залившись краской. «Когда Эрхарда не стало, Лени вела себя не как обычная вдова, если вы понимаете, что я имею в виду,— она вела себя как платоническая вдова». Авт. счел это выражение достаточно ясным и был восхищен его недвусмысленной прямоотой, но все же не был убежден до конца в его справедливости, хотя и сожалел, что так поздно обнаружил, сколь убедительными могут быть доводы свидетельницы Лотты Хойзер, урожд. Бернген. Больше всего авт., однако, удивила разговорчивость, чуть ли не болтливость Лени в тот период ее жизни. Лотта и этому дала свое объяснение, но говорила уже спокойнее, подбирая слова, не выпаливая все подряд и время от времени, как бы в раздумье, поглядывая на авт.: «Было ясно как день, что она любила Эрхарда, любила и ждала с нетерпением, если вы представляете себе, что это значит, а иногда у меня даже возникало ощущение, что именно она готова проявить инициативу; ну вот, а сейчас я вам расскажу нечто такое, что, вообще-то, рассказывать не принято: однажды я видела, как Лени прочистила засорившийся унитаз, она меня тогда просто потрясла. Субботним вечером 1940 года мы все собрались у Маргарет, немножко выпили, потанцевали — мой Вильгельм тоже был с нами,— и вдруг выяснилось, что засорился унитаз; неприятная история, скажу я вам. Кто-то бросил туда — как потом оказалось — большое подгнившее яблоко, и оно застряло в стоке. Ну, мужчины вызвались устранить неисправность; первым взялся за неприятное дело Генрих: он поковырял в трубе железным прутом; но ничего не получилось. Потом была очередь Эрхарда; этот поступил довольно разумно: принес снизу из прачечной резиновый шланг и попытался продуть трубу — не смущаясь запахом, сунул один конец шланга в вонючую жижу, а в другой принялся дуть что

есть силы. А поскольку мой муж Вильгельм, который был когда-то водопроводчиком, потом техником и только под конец стал чертежником, оказался на удивление брезгливым, а мы с Маргарет только содрогались от отвращения, то — знаете, кто справился с проблемой? — Лени. Она просто залезла правой рукой в унитаз, — у меня и сейчас еще перед глазами эта сцена, красивая белая рука Лени выше локтя погружается в вонючую желтую гадость, вытаскивает яблоко и швыряет его в помойное ведро, а вся эта отвратительная жижа с урчанием устремляется вниз; ну, а Лени — та, конечно, принялась отмываться, и мылась, надо сказать, основательно, а потом еще и протерла руки выше локтя одеколоном. И тут Лени сказала одну фразу — она только сейчас опять пришла мне на память, — которая тогда поразила меня, как громом: «Наши поэты были самыми смелыми ассенизаторами». Для чего я вам все это рассказываю? Я хочу показать, что, когда было надо, Лени умела энергично взяться за дело; значит, и за Эрхарда в конце концов взялась бы: он-то наверняка не имел бы ничего против. И вот что еще мне вдруг пришло в голову: никто из нас никогда в глаза не видел мужа Маргарет».

Поскольку показания Лотты Хойзер не во всем совпадали с показаниями Маргарет, авт. пришлось еще раз подвергнуть Маргарет допросу. Верно ли, что названные Лоттой лица несколько раз собирались у нее на квартире, чтобы потанцевать? Не было ли у нее с Генрихом более интимных отношений задолго до того, как произошло событие, которое можно назвать «ночь во Фленсбурге»? «Последнее, — сказала Маргарет, отхлебнув порядочный глоток виски и придя в состояние легкой эйфории с некоторым оттенком меланхолии, — последнее предположение я, ясное дело, отвергаю, мне ли этого не знать, да и ни к чему было бы отрицать. Дело в том, что я совершила большую глупость — познакомила Генриха с моим мужем. Шлёмер редко бывал дома, я так толком и не поняла, чем он занимался — то ли вооружениями, то ли шпионажем, — денег у него, во всяком случае, было предостаточно. А от меня требовалось только «быть к его услугам», когда он извещал меня телеграммой о своем приезде. Он был старше меня. Так, лет тридцати пяти. Недурен собой, элегантен и вообще светский лев, как говорится. И они с Генрихом понравились друг другу.

А Генрих, он был замечательным возлюбленным, но вовсе не готов был к прелюбодейству — тогда еще не был готов. Я-то всегда была готова, а он — нет. Потому-то у нас с ним тогда ничего и не вышло: после знакомства с мужем ему просто совесть не позволяла. Но все остальное — это только Лотта могла вам рассказать, — ну, что я видела его больше двух раз, танцевала с ним и что вся их компания собиралась у меня, — все это верно, только больше четырех раз мы с ним все же не виделись».

В ответ на вопрос об отношениях Лени и Эрхарда Маргарет улыбнулась и сказала: «Об этом я ничего в точности не знаю, да и тогда не хотела знать. Какое мне было дело? Тем более до подробностей, они меня совсем не касались. Зачем мне было тогда или зачем мне теперь знать, целовались ли они, ласкали ли друг друга, делили ли постель — все равно, в моей ли квартире, в квартире Лотты или у Груйтенов? Я просто радовалась, глядя на эту пару: чего стоят хотя бы стихи, которые он ей посвящал и присылал, — Лени не смогла удержаться и показала их мне, она вообще эти несколько месяцев была не такая скрытная, как раньше, но потом опять замкнулась в себе. Разве так уж важно знать, кто был у нее первым — Эрхард или этот дурак Алоис, что вам это даст? И хватит вам в этом копать. Она его любила, любила нежно и страстно, и если между ними ничего не было, то в следующий его приезд обязательно было бы, ручаюсь; а чем кончилось дело, вы и сами знаете — в Дании, у кладбищенской стены. Его не стало. Спросите лучше саму Лени».

Спросите саму Лени! Легко сказать. Ее не больно-то спросишь; а если и спросишь, она не ответит. Старик Хойзер называет историю с Эрхардом «трогательной и чисто романтической любовью, которая, правда, плохо кончилась. Только и всего». Рахиль умерла, а этот Б. Х. Т., конечно, ничего не знает об Эрхарде. Поскольку доказано, что Лени часто навещала Рахиль в монастыре, та наверняка что-то знала бы. Пфайферы появились в жизни Лени лишь позже, и уж *им-то* Лени ни за что не стала бы рассказывать о том, что ей «дорого». А «дорого» было ей, по словам М. в. Д., к которой авт. волей-неволей вынужден был обратиться, все, что касалось истории с Эрхардом.

И тут авт. пришлось пересмотреть некоторые излишне поспешные выводы насчет М. в. Д., которые он сделал на основании ее высказываний в адрес госпожи Груйтен. Когда речь идет не о супругах Груйтен, ее суждения оказываются и тонкими, и почти скрупулезно точными. Когда авт. нагрязнул к ней в деревню и застал ее среди астр, герани и бегоний — одной рукой она разбрасывала корм голубям, а другой гладила своего старого пса (не чистопородного пуделя), — она сказала: «Незачем вам касаться того, что Лени так дорого. Ведь все это было как в сказке, просто как в сказке. Они не скрывали свою любовь, их так и тянуло друг к другу; я несколько раз видела, как они сидели вдвоем в гостиной — это та комната, которую теперь Лени сдала португальцам; на столе парадный сервиз, и они без конца пили чай; Лени чая терпеть не могла, а вот с ним пила; он не жаловался впрямую на свою службу в армии, но весь его вид говорил, как ему там тяжело и отвратительно; и вот она положила руку ему на плечо, чтобы его утешить, и было заметно, что одно это прикосновение вызвало в его душе целую бурю чувств или, если хотите, переживаний. Ведь сколько было случаев, когда он мог завоевать ее целиком и полностью, она же ждала этого, изнемогала от ожидания, — если позволите, я выражусь немного грубее — она прямо-таки *заждалась* его; и если уж я заговорила об этом, то скажу: Лени стала немного нетерпеливой, да, нетерпеливой — и в биологическом смысле тоже; не раздражительной, нет, и не злобной; если бы он мог пробыть с ней хотя бы два-три дня кряду, все приняло бы другой оборот. Я ведь осталась старой девой, и у меня нет никакого опыта в этих делах, но на мужчин я нагляделась за свою жизнь достаточно, и вот я вас спрашиваю, что должен чувствовать мужчина, когда он приезжает с обратным билетом в кармане и ни на минуту не может выбросить из головы расписание поездов и казарму или командный пункт, куда он должен явиться точно в назначенный час. Я вам скажу то, что я, старая дева, поняла еще в молодости, в первую мировую войну, и потом, во вторую войну, еще раз убедилась: проезд на побывку — ужасная вещь и для мужа и для жены. Ведь когда он приезжает на побывку, все понимают, чем они там с женой будут заниматься; и получается, что у них каждый раз что-то вроде брачной ночи у всех на виду, а уж люди — во всяком случае, у нас в деревне, да и в городе тоже — не больно-то церемонятся и отпускают

всякие шуточки на их счет; так было и с Лоттиным мужем, он каждый раз краснел до ушей, ведь Вильгельм был очень стеснительный; и думаете, я не понимала, что к чему, когда мой отец приезжал с войны в отпуск?.. Что до Эрхарда, то ему просто *времени* не хватило, чтобы завоевать Лени,— да и как было это сделать при вечной спешке, а так, между делом, он просто не мог. А его стихи? Там ведь все яснее ясного сказано, чуть ли не разжевано. «Ты — та земля, куда вернусь я навсегда», — куда уж яснее? Нет, чего ему не хватило, так это времени, у него просто не было времени. Только подумайте, ведь он пробыл с Лени в общей сложности часов двадцать, не больше, а напористым он не был. Лени на него не обиделась, только погрустнела, она-то была *готова*, она-то *ждала*. Даже мать ее все поняла и *хотела* этого, это я точно знаю. Я же видела: она проследила за тем, чтобы Лени надела самое нарядное платье — шафрановое с круглым вырезом — и шикарные лодочки, сама вдела ей в уши коралловые сережки, похожие на свежие вишни, и дала ей духи — словом, разодела ее, как *невесту*; даже мать все понимала и хотела этого — но времени не хватило, только времени; еще бы единственный денечек, и она бы стала его женой, а не женой этого... Что тут скажешь... Плохо это было для Лени».

Пришлось нанести еще один визит госпоже Швайгерт; привратница справилась по телефону, и та ответила: «Проси!» — тоном не то чтобы раздраженным, но явно не слишком любезным и, попивая чай, но не предлагая его гостю, «позволила ему задать еще несколько вопросов»; да, ее сын как-то познакомил ее с этой девицей; госпожа Швайгерт, видимо, придавала большое значение разнице между «представил» и «познакомил»; представлять, собственно, не было никакой нужды, ведь она давно знала эту девицу, знала также, какое образование и воспитание та получила; конечно, «в их отношениях присутствовал некоторый оттенок влюбленности»; но мысль о возможности между ними длительных уз, называемых браком, то есть таких, как у ее сестры с отцом этой девицы, она вновь отмела как абсурдную. «Кстати,— добавила она,— эта девица однажды навестила меня сама, пила у меня чай и вела себя — надо отдать ей должное — вполне пристойно; единственной темой раз-

говора был — как ни странно это звучит — вереск; девица спросила, не знаю ли я, где и когда цветет вереск и не цветет ли он теперь? Дело было в конце марта, надо вам сказать, так что я уж, грешным делом, подумала, что девица немного не в себе. В военное время — на дворе был сороковой год — спрашивать, не цветет ли вереск в Шлезвиг-Гольштейне в конце марта! Она не имела понятия о разнице между прибрежными и альпийскими лугами, а также о различиях в особенностях почв, существующих между ними. Но в конце концов,— завершила беседу госпожа Швайгерт,— все ведь обошлось». Очевидно, расстрел сына спецкомандой немецкого вермахта казался ей лучшим выходом из положения, чем его возможная женитьба на Лени.

Нельзя не признать, что госпожа Швайгерт своими жесткими и четкими ответами невольно пролила свет на некоторые неясные детали рассматриваемых событий; так, именно она разъяснила или, во всяком случае, помогла выяснить загадочную историю с «финнами»; а если вспомнить ее сообщение о том, что Лени в конце марта сорокового года решила нанести ей визит и начать разговор о вереске в Шлезвиг-Гольштейне, и к этому сообщению присовокупить высказывание ван Доорн о том, что Лени была *готова*, а по мнению Маргарет, даже готова взять инициативу в свои руки, и, наконец, если припомнить, какие переживания были у Лени связаны с вереском в звездную летнюю ночь,— то сам собой напрашивается вполне объективный вывод: Лени овладела мыслью поехать на север к Эрхарду и пережить с ним на вереске ощущения той ночи; правда, если учесть реальные ботанические и климатические условия, такое намерение обречено на провал из-за сырости и холода, хотя авт. по собственному опыту знает, что в марте отдельные поросшие вереском участки земли в Шлезвиг-Гольштейне, хоть и недолго, бывают сухими и теплыми.

Маргарет, измученная настойчивыми расспросами авт., наконец выложила: да, Лени спросила ее, что нужно сделать, если хочешь близости с мужчиной; и когда Маргарет сказала, что лучше всего воспользоваться для этого просторной и временами пустой семикомнатной квартирой ее родителей, покраснела не Лени, а Маргарет: Лени лишь отрицательно покачала головой; когда же

Маргарет подсказала, что у нее, в конце концов, есть собственная комната, которую она может запереть на ключ и никого не впускать, Лени опять покачала головой, и тогда выведенная из терпения Маргарет прямо сказала, что, как-никак, существуют гостиницы, то Лени сослалась на неудачную попытку такого рода с молодым архитектором (она произошла незадолго до этого) и высказала мысль, которую Маргарет воспроизвела не без некоторых колебаний, так как «это было самое откровенное признание Лени за всю ее жизнь»: «это» может и должно произойти не «в постели», а на природе. «Только под открытым небом. Только под небом. Вместе лечь в постель — вовсе не то, что мне надо». Лени согласилась, что в супружеской жизни иногда без постели не обойдешься. Но с Эрхардом она не хотела в первый же раз лечь в постель. Она уже совсем было собралась ехать во Фленсбург, но потом решила отложить поездку до мая; таким образом, ее главное свидание с Эрхардом осталось всего лишь мечтой, не осуществившейся из-за войны. А может, и нет? Точно никто не знает.

Год, прошедший с апреля 1940 по июнь 1941, согласно высказываниям всех свидетелей, родственников и не родственников, можно охарактеризовать одним словом: мрачный. Лени утратила в тот год не только хорошее расположение духа, она вновь утратила разговорчивость, даже потеряла аппетит. Ее страсть к езде на автомобиле временами пропадала, а любовь к полетам — она трижды летала с отцом и Лоттой Хойзер в Берлин — пропадала окончательно. Лишь раз в неделю она садилась за руль и ехала к сестре Рахили — всего несколько километров. Иногда она оставалась у нее довольно долго; об их беседах не у кого узнать; о них ничего не может сообщить и Б. Х. Т.: с мая 1941 года Рахиль больше не заходила в букинистический магазин, а сам он — по лености или недомыслию — не догадался навестить ее в монастыре. Итак: огромный фруктовый сад при женском монастыре летом, осенью, зимой 1940/41 года; молодая девушка восемнадцати с половиной лет, которая носит траур и у которой железы внешней секреции выделяют лишь один сложный продукт: слезы. А когда через несколько недель после смерти Генриха и Эрхарда приходит еще и извещение о гибели Вильгельма Хойзера, мужа Лотты, то круг плачущих увеличивается: в него

входят теперь Хойзер-старший, его жена (тогда она была еще жива), Лотта и ее пятилетний сын; плакал ли также ее младший сын Курт, находившийся в то время в утробе матери, неизвестно.

Ввиду того, что автор считает себя не вправе и не в состоянии рассуждать о слезах, лучше всего почерпнуть сведения о возникновении слез, о химических и физических процессах, обуславливающих их выделение, в первом попавшемся справочнике. Семитомная энциклопедия, выпущенная в 1966 году издательством, пользующимся сомнительной репутацией, дает слезам следующее определение: «Слезы (*лат. lacrimae*) — жидкость, выделяемая с железами; увлажняет конъюнктиву, предохраняет глаз от высыхания и постоянно удаляет попавшие в глаз мелкие инородные тела; она (по-видимому, жидкость. Прим. авт.) стекает во внутренний угол глаза, а оттуда в слезно-носовой канал. При раздражении глаза (воспалительные процессы, инородные тела), а также при душевном волнении выделение с. жидкости увеличивается (Плач)». О *плаче* в той же энциклопедии сообщается следующее: «Плач, как и смех (см. Смех), — выражение острого душевного переживания, т. е. горя, умиления, гнева или радости. С *психологической* точки зрения (курсив не авт.), это попытка душевной разрядки. П. сопровождается выделением слез, рыданиями или судорожными подергиваниями и связан с вегетативной нервной системой и мозговым стволом. Непроизвольный и неуправляемый истерический плач наблюдается при общей депрессии, маниакально-депрессивных заболеваниях и распространенном склерозе».

Весьма возможно, что некоторых читателей это перечисление сухих фактов заставит разразиться тем, что упоминается в ссылке (см. Смех), в силу чего они захотят ознакомиться с научным объяснением и этого рефлекса; поэтому авт. счел необходимым привести здесь и эту словарную статью, — хотя бы для того, чтобы избавить их от необходимости приобретать энциклопедию или хотя бы разыскивать в ней нужную статью.

«Смех с *антропологической* точки зрения (курсив здесь и далее не авт.) — внешнее выражение реакции организма на острое душевное переживание (см. Плач). С *философской* т. зр. С. (ср. улыбка мудреца, улыбка Будды, улыбка Джоконды) — выражение уверенности

в самоценности бытия. С *психологической* т. зр. С. — мимическое выражение радости, реакция на шутку, юмор. С. бывает детский, надменный, иронический, задушевный, импульсивный, отчаянный, злобный, кокетливый и отражает различные состояния психики и черты характера. *Патологический* С. (непроизвольный С., как насильственный, а также сардонический С., сопровождающийся гримасой, и истерический С. с конвульсиями) возникает при заболеваниях нервной системы и психозах. В *социальном* аспекте С. заразителен (идеомоторика под действием зрительного образа)».

Ввиду того, что мы теперь вынуждены приступить к изложению более или менее эмоционально насыщенного, а главное, трагического периода в жизни действующих лиц, вероятно, будет целесообразным дополнить перечень определяемых понятий и попутно заметить, что слово «счастье» в цитируемой энциклопедии отсутствует (за словом «счалка» сразу идет слово «счет»); однако слово «блаженство» нам обнаружить удалось; оно определяется там как «полное и длительное ощущение совершенной удовлетворенности жизнью. Б., естественная цель каждого человека, зависит от того, в чем он ищет этой удовлетворенности, т. е. от его выбора, определяющего весь его жизненный уклад; по христианской религии, истинное Б. тождественно лишь вечному Б. (см. Вечное Б.)».

«*Вечное блаженство*» — лишенное грехов и страданий состояние непрерывного полного счастья, провозглашаемое всеми религиями как смысл и цель человеческой жизни. В *католич.* вероучении главным почитается небесное Б., выражающееся в бесконечном приближении к небесной благодати; засим следует В. Б. людей (и ангелов), т. е. саморастворение в Боге и приобщение к Его милости, которое берет свое начало уже в земной жизни как причащение к страданиям Иисуса Христа (небесная благодать) и завершается В. Б. при воскресении душ (см. Воскресение) и эсхатологическом преображении всего сущего. По *Евангел.* В. Б. — это полное единение с Господней волей, т. е. подлинное предназначение человека, его благо и спасение».

Поскольку слезы и плач, смех и блаженство теперь уже достаточно подробно объяснены и их определениями мы можем в любое время воспользоваться, нам не придется в дальнейшем подробно описывать соответствующие душевные состояния персонажей и мы сможем

лишь время от времени отсылать читателя к их дефинициям, почерпнутым авт. из энциклопедии; вследствие этого он сможет прибегнуть к соответствующим аббревиатурам. Ввиду того, что Сл., С. и П. возникают лишь при острых душевных переживаниях, здесь, вероятно, будет уместно поздравить всех, кто прожил жизнь без чрезвычайно острых, просто острых или даже вообще без переживаний, кто никогда не проливал Сл., не знал, что такое П., ни по ком не горевал и умел подавить смех, если того требовали правила приличия. Слава тому, чей конъюнктивный мешок никогда не исполнял своих прямых функций, кто с сухими глазами преодолел все препоны и не воспользовался своими слезно-носовыми каналами. Слава тому, кто не выпускает из-под контроля свой мозговой столб, кто, неизменно и непреклонно веря в самоценность своего бытия, взирал на жизнь с улыбкой мудреца! Да здравствуют Будда и Джоконда! Да пребудут они в веках воплощением этой непреклонной веры.

В силу того, что авт. необходимо будет употребить и слово «боль», он заодно приведет и ее определение, сформулированное в той же энциклопедии, но приведет не полностью, а лишь в урезанном виде и ограничится одной, но очень важной фразой: «Степень чувствительности к Б. различна у разных индивидуумов, и прежде всего потому, что к физической Б. добавляется Б. душевная. Их сочетание и создает субъективность Б.».

Поскольку Лени и остальные упомянутые выше лица ощущали не только Б., но и *страдание*, следует привести также основную фразу из словарной статьи С., дабы наш набор дефиниций обрел необходимую завершенность. «С. ощущается человеком тем сильнее, чем более важные жизненные ценности им затрагиваются и чем чувствительнее его натура». А так как смех и страдание, боль и блаженство начинаются, соответственно, с одной и той же буквы, мы будем в дальнейшем при описании душевных состояний обозначать смех через С₁, страдание через С₂, боль через Б₁, а блаженство через Б₂.

Одно можно сказать с полной уверенностью: у всех членов семейств Груйтенгов и Хойзеров, включая сюда и Марию ван Доорн, равно связанную как с тем, так и с другим, были затронуты, очевидно, очень важные жизненные ценности. У Лени началось что-то со здоровьем: она исхудала, глаза у нее так часто были на

мокром месте, что посторонние считали ее «плаксой»; ее роскошные волосы не то чтобы поредели, но как-то потускнели, и даже волшебное поварское искусство Марии, которая, правда, тоже колдовала на кухне, заливаясь Сл., — ни богатейший выбор ее знаменитых супов, ни самые наисвежайшие булочки не могли вернуть Лени утраченный аппетит. На фотографиях, тайком сделанных в тот период одним из служащих ее отца и впоследствии перешедших к Марии, Лени выглядит кислой и бледной от Б₁ и С₂, совершенно обессиленной от П. и Сл., без всякого намека на подобие улыбки или С₁ на лице. Была ли Лотта Хойзер все же не права, отрицая подлинность вдовства Лени, и не ощущала ли себя Лени в самой глубине души, в глубине, скрытой от Лотты, вдовой не только в платоническом смысле? Во всяком случае, субъективное С₂ Лени было глубоким и сильным. Не менее сильным было оно и у остальных. Ее отец впадал теперь не только в мечтательность, он начал впадать в тоску и был (по свидетельству всех, кто имел с ним дело) «не совсем в себе». А поскольку и Хойзер-старший был убит горем, и Лотта (по ее словам) «была не та, что прежде», а госпожа Груйтен вообще на глазах угасала в своей спальне и «съедала лишь изредка несколько ложек супа и пол-ломтика поджаренного хлеба» (М. в. Д.), то более или менее убедительным объяснением того факта, что фирма не только продолжала процветать, но и расширялась, можно считать объяснение, предложенное стариком Хойзером: «Дело было так хорошо налажено и поставлено и все ревизоры, плановики и строители, нанятые Губертом, так добросовестно относились к работе, что все шло как бы само собой, во всяком случае — в тот год, когда Губерт практически отошел от дел, да и я тоже. Но главное: для ветеранов фирмы — а их к тому времени набралось несколько сотен — пробил час показать, на что они способны: они-то и взяли все в свои руки!»

Со стороны авт. было бы просто неделикатно привлекать именно Лотту Хойзер для освещения одного пока еще смутного периода в жизни Груйтена-старшего; к сожалению, придется все же обойтись без ее сообщений, столь точных и восхитительно деловых.

Дело в том, что весь следующий год, начиная с апреля 1940 до приблизительно июня 1941, она была, как

теперь стало принято выражаться, «его постоянной спутницей». Возможно, и он был ее постоянным спутником, ибо они оба нуждались в утешении, которого, по-видимому, так до конца и не нашли.

Они везде разъезжали вместе — беременная вдова и убитый горем отец, так и не прочитавший документов, излагавших обстоятельства трагедии, унесшей жизнь его сына и его племянника, и ограничившийся лишь кратким изложением их сути, услышанным от Лотты и Вернера фон Хофгау; отец, который время от времени бормотал себе под нос «насрать на Германию» и который только делал вид, что ездит с одной стройки на другую, а на самом деле лишь менял гостиницы и ни разу даже не заглянул в чертежи, бухгалтерские книги, деловые бумаги или на строительные площадки. Он ездит на поезде или в машине, иногда летает на самолете, грустно балует пятилетнего Вернера Хойзера, которому ныне стукнуло тридцать пять и который живет в шикарной собственной квартире, обставленной элегантной мебелью, восхищается Энди Уорхоллом и готов себе «локти кусать», что не догадался вовремя покупать его работы; Вернер увлекается поп-артом и сексом и владеет тотализатором; он хорошо помнит долгие прогулки по берегу моря в Шевенингене, Мер-ле-Бене и Булони, помнит, как «дедушка Груйтен» пожимал кому-то руки, а мама плакала, помнит стройки, несущие балки, рабочих в «странной одежде» (вероятно — заключенные концлагерей — авт.). Иногда Груйтен, который в ту пору уже не расстается с Лоттой, несколько недель проводит дома, сидит у постели жены, подменяя Лени, и в отчаянии пытается, как и Лени, развлечь жену, читая ей вслух что-нибудь ирландское — сказки, саги, песни,— столь же безуспешно, как и Лени; госпожа Груйтен лишь устало качает головой и улыбается. Хойзер-старший, по-видимому, быстрее преодолевший свою Б₁, уже в сентябре больше не проливает Сл., вновь «погружается в дела» и время от времени слышит странный в устах Груйтена вопрос: «Разве наша лавочка еще не развалилась?» Нет, не развалилась. Наоборот, дела все еще идут в гору: ветераны хранят верность своему шефу, стоят плечом к плечу.

Был ли Груйтен в свои сорок с небольшим уже конченным человеком? Почему он никак не может примириться со смертью сына, когда у тысяч людей вокруг

тоже гибнут сыновья, но те как-то держатся? Может, он начал читать книги? Да. Но только одну книгу. Вытаскивает на свет божий старый молитвенник 1913 года издания, подаренный ему в день конфирмации, и «ищет утешения в религии» («хотя никогда ею не интересовался», Хойзер-ст.). Единственным результатом этого чтения было то, что он начал раздавать деньги — «кучи денег», как выразились Хойзер и его невестка Лотта, а ван Доорн вместо «куч» употребила слово «пачки» («И мне дал целую пачку денег, так что я смогла купить обратно дом моих родителей и небольшой участок земли»); Груйтен заходит в церкви, но «выдерживает там одну-две минуты» (Лотта). «На вид ему можно дать все семьдесят, а его жена, которой как раз исполнилось тридцать девять, выглядит всего на шестьдесят» (ван Доорн). Он целует жену, иногда целует Лени, но никогда не целует Лотту.

Не подорвано ли его здоровье? Бывший домашний врач Груйтен, некий доктор Виндлен, восьмидесятилетний старик, давным-давно переставший считаться с такой условностью, как врачебная тайна, беседа с авт. в своей старомодной квартире, где все еще стоят белые шкафы и белые стулья, напоминая о прежней частной практике своего владельца, ныне посвятившего себя развенчиванию моды на медикаменты как нового идолопоклонства,— так вот, этот Виндлен утверждает, что Груйтен «был совершенно, ну просто совершенно здоров; все у него, абсолютно все было в норме — печень, сердце, почки, кровь, моча; ведь он даже почти не курил, разве что одну сигару в день, да и пил не много — не больше бутылки вина за неделю. Болен? Какое там! Вот что я вам скажу: он понимал, что вокруг творится, и понимал, что делает. Вам сказали, что иногда он выглядел на все семьдесят, так это еще ни о чем не говорит. Конечно, психически и морально он был сломлен, но с органикой у него было все в полном порядке. Из Библии он запомнил одно: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». А это действует на психику».

Уделяла ли тогда Лени продуктам своего пищеварения такое же внимание, как прежде? Вероятно, нет. Она чаще виделась с Рахилью, даже рассказывала об этом. Все было «очень странно», как свидетельствует Маргарет. «Я ничему этому не поверила, как-то раз поехала вместе с ней и убедилась, что все правда. Гаруспику уже

от всего отстранили, даже от должности «сестры при туалете». В церковь ее пускали, только когда не было торжественного богослужения с хором. Даже каморку, в которой она прежде обитала, у нее отобрали, и она ютилась под крышей в крохотном закутке, где раньше держали метлы, швабры, моющие средства и половые тряпки; и знаете, о чем она нас обеих попросила? Дать ей сигарет! Я тогда не курила, а Лени дала ей несколько штук, и она тут же закурила, жадно затянулась, а потом погасила — так, чтобы остался «бычок», — я уже видела, как другие оставляют «бычок», но она сделала это мастерски! Сразу чувствовалось, что она уже набила на этом руку, чистая работа, не хуже, чем в тюрьме или в больничной уборной; она осторожненько срезала ножницами сгоревший кончик сигареты и еще поковырялась в пепле — не осталась ли в нем хоть крошка табака, а окурок спрятала в пустой спичечный коробок. И при этом все время бормотала: «Господь близко, Господь близко, Он тут». Не как безумная и без всякой иронии, а вполне серьезно — с ума она не сошла, только немного опустилась: вид у нее был неряшливый, словно на ней мыло сэкономили. Больше я к ней не ездила, честно говоря, просто боялась, — нервы у меня тогда сильно сдали, после того как Генрих погиб и его двоюродный брат тоже; когда Шлёмер был в отъезде, я шаталась по борделям для солдат и спала с кем попало; уже тогда, в девятнадцать, я поставила на себе крест. Но на то, что творилось с монашкой, я не могла спокойно смотреть: ее держали взаперти, как мышь в мышеловке, это только надо видеть; она совсем ссохлась; жуя хлеб, который ей принесла Лени, она все время повторяла: «Маргарет, брось это, брось». — «Что?» — спросила я. «То, что ты делаешь». У меня просто духу не хватило еще раз к ней съездить, нервы совсем сдали, а Лени навещала ее еще много лет. Рахиль тогда говорила странные вещи: «Почему они меня не убьют, вместо того чтобы держать здесь?» А Лени она без конца повторяла: «Ты должна жить, черт побери, ты должна жить, слышишь?» И Лени плакала. Она любила сестру Рахиль. Ну, а потом, конечно, узнали («Что?»), что она была еврейка и что орден на нее не донес, ее просто вычеркнули из списка монахинь, как будто она пропала при переселении в другой монастырь, выходит, ее просто прятали, но есть мало давали — потому, мол, что продовольственной карточки на нее положено не было; а ведь у них и фруктовый сад

имелся при монастыре, и свиней они откармливали. Нет, мои нервы не могли этого вынести. Она стала похожа на старую высохшую мышь... А Лени к ней пускали только потому, что она очень уж упорно настаивала, а еще потому, что знали, какая она наивная. Ведь она думала, что сестра Рахиль просто за что-то наказана. И до самого конца войны так и не знала, что значило быть евреем или еврейкой. Да если бы и знала — и знала бы, как опасно было связываться с еврейкой, она бы сказала: «Ну и что?» — и продолжала бы ездить к Рахили, могу поклясться. Лени была храбрая, она и сейчас храбрая. У меня сердце сжималось, когда Рахиль повторяла: «Господь близко, Господь близко, Он тут» — и все поглядывала на дверь, как будто ждала — вот Он войдет; меня это пугало, а Лени нет, она только выжидательно глядела на дверь и ничуть бы не удивилась, если бы Господь и вправду вошел. Это было в начале сорок первого, я уже работала в госпитале, Рахиль тогда посмотрела на меня и сказала: «Плохо не только то, что ты делаешь, еще хуже то, что ты принимаешь. И давно ты это принимаешь?» А я ей: «Две недели». И она сказала: «Еще не поздно отвыкнуть». А я ей: «Никогда не отвыкну». Речь шла, конечно, о морфии — разве вы не поняли? И даже не догадывались?»

В утешении не нуждалось, по-видимому, лишь одно лицо — госпожа Швайгерт; в тот год она частенько появлялась в доме Груйтенов — навещала свою умирающую сестру и внушала ей, что «злой рок не может сломить достойного человека, он лишь укрепляет его дух», и что ее муж, Губерт Груйтен, потому и «сломлен», что в нем нет породы; не стеснялась выговаривать своей час от часу слабеющей сестре: «Вспомни о гордых фениях» — и приводила в пример Лангемарк. А спросив у ван Доорн, передавшей авт. все эти высказывания, о причинах столь явной скорби Лени и услышав, что Лени, по всей вероятности, оплакивает ее сына Эрхарда, она почувствовала себя смертельно оскорбленной и считала возмутительным, что «эта вересковая девица» (новый вариант «какой-то там девицы». Авт.) «смеет» оплакивать ее сына, в то время как сама она его не оплакивает. После этой «возмутительной новости» она прекращает свои визиты и покидает дом Груйтенов со словами: «Нет, это уж и впрямь слишком — при чем тут вереск?»

Разумеется, и в тот год в кино шли фильмы, и Лени иногда ходила их смотреть («Дружба в открытом море», «Средь шумного бала», еще раз смотрит «Бисмарка»).

Авт. сильно сомневается, что хотя бы один из них мог хоть немного утешить ее или хотя бы отвлечь от мрачных мыслей.

Могли ли ее утешить популярные в ту пору шлягеры «Храбрая солдатская женка» или «Мы идем на Британию»? Тоже весьма сомнительно.

Временами все трое Груйтенов — отец, мать и дочь — лежат в постелях в своих комнатах с затемненными окнами, не выходят из них и при воздушных тревогах и «целыми днями, а то и неделями, только и делают, что глядят в потолок» (ван Доорн).

А между тем все Хойзеры — то есть Отто, его жена, Лотта, ее сын Вернер — переехали в квартиру Груйтенов, и тут происходит событие, которое хоть и можно было предвидеть и даже точно вычислить дату, тем не менее воспринимается всеми как чудо и даже способствует некоторому оздоровлению обстановки: в ночь с двадцать первого на двадцать второе декабря 1940 года, во время бомбежки, у Лотты рождается ребенок, мальчик, весом в шесть с половиной фунтов, а поскольку роды начинаются немного раньше, чем ожидалось, акушерка не извещена и «занята в другом месте» (позже выяснилось, что она принимала роды, родилась девочка), а энергичная Лотта, равно как и ван Доорн, неожиданно оказываются беспомощными и теряются, происходит еще одно чудо: госпожа Груйтен встает с постели и без всякой паники дает Лени точные, энергичные и в то же время спокойные указания; пока Лотта корчится в последних схватках, в доме кипятят воду, стерилизуют ножницы, прогревают пеленки и одеяла, мелют кофе, достают из буфета коньяк; а ночь за окнами холодная, темная, самая длинная ночь в году; в эту ночь исхудавшая госпожа Груйтен — «кожа да кости, в чем только душа держится» (ван Доорн) — показала, на что способна; в своем небесно-голубом купальном халате она снова и снова проверяет, на месте ли весь необходимый инструмент, протирает лоб Лотты одеколоном, держит ее руки, в нужный момент спокойно разводит в стороны ее ноги, помогает приподняться на постели и принять положенную при родах позу, без всякого намека на испуг принимает

младенца, обтирает Лотту водой с уксусом, перерезает пуповину и следит, чтобы ребенку было «тепло, тепло и еще раз тепло» в корзинке для белья, которую Лени заранее застелила одеялом. Ее ничуть не заботит, что фугаски падают где-то неподалеку, а на уполномоченного по противовоздушной обороне, некоего Хостера, который то и дело приходит и требует, чтобы погасили свет и спустились в бомбоубежище, она так рывкает, что все свидетели этого происшествия (Лотта, Мария ван Доорн, старик Хойзер), не сговариваясь, в один голос заявляют: «Она отшила его, как настоящий жандарм».

Может быть, в госпоже Груйтен все же погиб врач? Во всяком случае, она «промывает область материнского лона» (ее слова, процитированные Хойзером-ст.), наблюдает за выходом последа, потом вместе с Лени и Лоттой подкрепляется кофе и коньяком; все были поражены, что такая деятельная женщина, как ван Доорн, «в этой ситуации струсила (Лотта) и под всякими благовидными предложениями большую часть времени провела на кухне»; там она поит кофе обоих мужчин — Груйтена и Хойзера — и все время говорит и говорит, не закрывая рта, причем почему-то во множественном числе («Мы уж как-нибудь справимся», «Мы благополучно разрешимся», «Мы не поддадимся» и т. д.), в то же время как бы слегка осуждая госпожу Груйтен («Надо надеяться, ее нервы выдержат, боже ты мой, только бы она не переутомилась, бедняжка»), а сама держится подальше от места происшествия, то есть от спальни Лотты, и выступает на передний план, лишь когда самое страшное уже позади. Госпожа Груйтен еще растерянно смотрит по сторонам, словно удивляясь, как это она со всем этим справилась, а Мария уже приводит в спальню Лотты маленького Вернера и шепчет ему так, что все слышат: «Ну-ка, давай поглядим на нашего маленького братика!» И тут Груйтен-старший сказал Хойзеру-старшему таким тоном, как будто хотел кого-то переубедить: «Я всегда знал и говорил, что моя жена — замечательная женщина».

Некоторые сложности возникают несколько дней спустя, когда Лотта начинает настаивать, чтобы госпожа Груйтен стала крестной матерью новорожденного, но отказывается крестить мальчика, которого она хочет назвать Куртом («Таково было желание Вилли — если родится мальчик; если бы родилась девочка, мы назвали бы ее Еленой»). Она всячески нападает на церковь,

в особенности «на эту» (что означает «на эту», так до конца выяснить и не удалось; с известной долей вероятности, граничащей с уверенностью, можно предположить, что Лотта имела в виду римско-католическую церковь, поскольку с другими просто не сталкивалась). Госпожа Груйтен не сердится на нее за эти нападки, просто становится «очень, очень грустной», соглашается быть крестной матерью и выражает желание подарить ребенку что-нибудь существенное, имеющее долговременную ценность, что-нибудь, что пригодится ему в жизни. И дарит ему незастроенный участок земли на окраине города, доставшийся ей в наследство после смерти родителей; она оформляет дарственную по всем правилам, в присутствии нотариуса, а Груйтен-старший обещает сделать для мальчика то, что обязательно сделал бы, если бы успел: «А я построю ему на этом участке дом».

Со временем глубочайшая скорбь, по-видимому, постепенно пошла на убыль. У Груйтена-старшего пассивно-апатичная ее форма сменилась активной: «он с радостью, чуть ли не со злорадством» (Хойзер) встречает известие, что ранним утром 16-го февраля 1941 года в главное здание его фирмы попали две фугасные бомбы. Но поскольку бомбы были не зажигательные, а от взрыва пожара не возникло, его надежда, что «все барахло сгорит», не сбылась: после недели работ по расчистке развалин, в которых и Лени — без особого энтузиазма — принимает участие, выясняется, что все бумаги в целости и сохранности, а еще через месяц здание удастся полностью восстановить. Груйтен в нем никогда больше не появляется, к изумлению всех окружающих, он вдруг становится «таким общительным, каким и в молодости-то никогда не был» (Лотта Хойзер). Она же добавляет: «Он стал необычайно любезным и милым, просто поразительно. Настоял, чтобы мы все между четверьмя и пятью собирались у него дома пить кофе, и Лени обязательно должна была присутствовать, и моя свекровь, и дети, в общем, все. После пяти они со свекром уединялись, он вникал во все детали текущих дел «в лавочке» — и сколько денег на счете, и каков приход-расход, и какие намечаются проекты, и как идет строительство, — в общем, требовал полной картины состояния дел на фирме и подолгу совещался со своими адвокатами и юридическими консультантами министерств, чтобы выяснить, как превратить свою фирму — ведь она была его личной собственностью — в акционерную ком-

панию. Был составлен список «ветеранов». Груйтен прекрасно отдавал себе отчет в том, что в свои сорок два года — да еще при отменном здоровье — может и угодить в армию, а потому хотел оставить за собой должность консультанта в ранге директора. По совету своих заказчиков — сплошь большие шишки, в том числе даже несколько генералов, и все, по-видимому, благоволили к нему, — он несколько видоизменил название своей будущей должности: стал называться «директором по планированию»; я стала начальницей отдела кадров, мой свекор возглавил финансовый отдел; вот только сделать Лени — ей как раз минуло восемнадцать с половиной — тоже какой-нибудь начальницей ему не удалось: она не захотела. Он продумал все, одно упустил: обеспечить Лени материально. Потом, когда разразился скандал, мы все, конечно, поняли, зачем он все это затеял, — но к тому времени и Лени, и ее мать уже оказались на мели. Ну, так вот, Груйтен был очень мил и любезен, но что еще удивительно: он стал говорить о сыне; ведь почти год он даже не упоминал его имени, и все окружающие не смели его упоминать. А теперь вдруг заговорил о сыне. Он был не так глуп, чтобы молоть всякий вздор насчет судьбы и прочего, но сказал: «Хорошо, что Генрих погиб не пассивно, а активно». Я не очень поняла, что он имел в виду, потому что лично мне и год спустя вся эта история казалась сущим безумием и даже немного глупостью — или, лучше сказать: я бы сочла ее просто глупой, если бы мальчишки не погибли ради этой глупости; теперь-то я вообще считаю, что «смерть ради чего-то» не делает эту цель ни возвышеннее, ни значительнее, ни менее глупой. Для меня такая смерть — чистое безумие, и больше мне нечего добавить. В конце концов Груйтен создал эту «новую структуру фирмы» и устроил в июне «праздник» по случаю двенадцатой годовщины со дня основания своего дела, на котором собирался все это объявить. Праздник состоялся пятнадцатого числа, как раз между двумя налетами, — словно он это предчувствовал. А мы, мы ничего не предчувствовали. Ничего».

Лени опять возобновила игру на рояле, причем играла подолгу и с «каким-то упрямым ожесточением» (Хойзер), а упоминавшийся выше Ширтенштайн, слушавший ее игру, стоя в задумчивости у окна (далее с его соб-

ственных слов), «не совсем без интереса, но и не без скуки, в один июньский вечер вдруг весь напрягся: я услышал самую удивительную интерпретацию, какую мне когда-либо доводилось слышать. В исполнении чувствовалась жесткость, почти ледяная жесткость, какой я еще никогда не встречал. И позвольте мне, старику, в свое время раскритиковавшему многих исполнителей, высказать суждение, которое вас, возможно, удивит: я по-новому, как будто впервые, услышал Шуберта, и тот, кто его исполнял, — не знаю уж, мужчина то был или женщина, — не только многое умел, но и многое понял, а ведь это большая редкость, чтобы непрофессионал по-настоящему глубоко понимал музыку. В тот вечер не просто кто-то играл на рояле, в тот вечер кто-то *создавал музыку*. После я часто ловил себя на том, что стою у окна и жду, обычно между шестью и восемью вечера. Но вскоре меня призвали в армию, я отсутствовал долго, очень долго, а когда вернулся — в 1952 году, — моя квартира была занята; да, меня не было здесь одиннадцать лет, я был в плену — у русских; жилось мне там, в общем, сносно — я имел возможность играть, хотя, конечно, не то, совсем не то, что соответствует моему уровню: брэнчал всякую чепуху — танцевальную музыку, шлягеры; вы представляете себе, что значит для «взыскательного музыкального критика» ежедневно по шесть раз в день играть «Лили Марлен»? Только спустя четыре года после возвращения, то есть уже в 1956 году, я наконец снова занял свою старую квартиру — просто я люблю эти высокие деревья во дворе и эти высокие потолки. И что же я слышу спустя более чем пятнадцать лет? То же самое *модерато* из ля-минорной сонаты и *аллегретто* из соль-мажорной, да в таком ясном, таком точном и глубоком исполнении, какого я еще и не слышивал — даже тогда, в 1941 году, когда я внезапно обратил внимание на эту игру. Это был прямо-таки мировой уровень».

IV

Последующие события можно озаглавить так: «Лени совершает глупость»; «Лени покидает стезю добродетели» — или же: «Что же все-таки случилось с Лени?»

На праздник, устроенный фирмой в середине 1941 года, Груйтен пригласил также «всех *бывших* сотрудников

фирмы, призванных в армию и находящихся в данное время в отпуску на родине». Но никто не мог предположить — да это и не вытекало из текста приглашения (Хойзер), «что вообще все *бывшие* сотрудники фирмы могут счесть себя приглашенными. Впрочем, даже и это выражение — «бывшие сотрудники» — лишь с большой натяжкой можно было применить к *этому* молодому человеку — он работал у нас в 1936 году не больше полутора месяцев и называл себя «стажером»: «учеником» он, видите ли, не желал числиться, это было «ниже его достоинства», ну, ладно, стажер так стажер; главное, он не хотел учиться, он желал сам учить нас, как надо строить; ну, мы его и выставили, и он вскоре попал в армию; парень-то он был, в общем, неплохой, только выдумщик, и выдумщик не в хорошем смысле слова, как, например, Эрхард, а в плохом, со склонностью к гигантомании, которая нас всех раздражала; к примеру, придумал, что пора отказаться от железобетона и «восстановить в правах его величество камень»; ну, ладно, может, в его словах и было что-то путное, да только он сам ни на что путное не годился — прежде всего потому, что не умел обращаться с камнем, да и не хотел уметь. Черт его побери совсем, — я шестьдесят лет проработал в строительной фирме, к тому времени — почти сорок, мне ли не знать, что такое «его величество камень»; передо мной прошли сотни каменщиков и их учеников, я видел, как они работают с камнем; обязательно понаблюдайте разок, как настоящий мастер принимается за камень! Ну, ладно, — а парень тот не понимал, не чувствовал камня, болтун он был, вот и весь сказ. Не злой, нет, только без царя в голове, и мы даже знали, откуда в нем это».

Второе непредвиденное обстоятельство, приведшее к столь злосчастным последствиям, состояло вот в чем: Лени сперва наотрез отказалась идти на праздник — страсть к танцам у нее прошла, «она стала очень серьезной, очень молчаливой, сблизилась с матерью, училась у нее французскому и немного английскому и была прямо-таки влюблена в свой рояль» (ван Доорн). А кроме того, «прекрасно зная сотрудников фирмы, она была уверена, что среди них нет никого, кто бы мог возродить в ней былую страсть к танцам» (Лотта Хойзер). Так что лишь из чувства долга, уступив просьбам родителей, Лени пошла на этот праздник.

Здесь нам придется, к сожалению, уделить несколько строк Алоису Пфайферу, столь уничижительно охарактеризованному Хойзером, который играет в нашей истории всего лишь эпизодическую роль, ему самому, его родне и вообще среде, из которой он вышел. Отец Алоиса, Вильгельм Пфайфер, был «школьным и фронтовым товарищем» Губерта Груйтена, оба родом из одной деревни и до женитьбы Груйтена поддерживали приятельские отношения, которые прекратились из-за того, что Вильгельм П. начал «до такой степени действовать Груйтену на нервы, что тот уже не мог его выносить» (X.). Дело в том, что в первую мировую войну они вместе участвовали в одном и том же сражении (битве на Лисе, как потом выяснилось), а возвратившись после войны домой, двадцатилетний Пфайфер «ни с того ни с сего (здесь и далее слова X.) начал волочить правую ногу, как будто ее парализовало. Ну, ладно, мне что, я не против, пускай человек выколачивает себе пенсию по инвалидности. Но Пфайфер явно перебарщивал, он все время говорил только об «осколке снаряда величиной с булавоочную головку», который якобы засел у него в «каком-то очень важном месте»; ну и стервец: оказался таким настырным, таскался со своей ногой три года от врача к врачу, из одного отдела социального обеспечения в другой, так что ему в конце концов назначили пенсию и даже помогли выучиться на учителя начальной школы. Ну, ладно. Ладно. Не хочу возводить на человека напраслину, может, его нога и вправду была — да что я говорю «была», может, она и сейчас парализована; да только его осколочка так никто и не обнаружил; опять же дело, может быть, вовсе не в самом осколочке, и это еще не доказывает, что его не было, ладно; главное, он получил свою пенсию и стал учителем и так далее; но вот что удивительно: Губерт буквально выходил из себя, как только появлялся Пфайфер со своей парализованной ногой; тому было все хуже и хуже, иногда он поговаривал даже об ампутации, и нога потом вроде бы и в самом деле отнялась, да только этого пресловутого «осколочка величиной с булавоочную головку» так никто никогда и не обнаружил, даже на самом совершеннейшем рентгеновском аппарате было его не видеть, и поскольку его никто не видел, Губерт однажды возьми и скажи Вильгельму: «А откуда ты знаешь, что твой осколок похож на булавоочную головку? Ведь его никто не видел». Ну, это был, конечно, ход конем, ничего не скажешь, и Пфайфер навеки обиделся

на Груйтена. А потом он вообще помешался на этом осколке и без конца талдычил ученикам сельской школы в Люссемихе про этот осколок и про битву на Лисе, и так тянулось десять, а потом и двадцать лет. Мы с Губертом были в курсе, потому что в той деревне, откуда мы трое родом, у нас осталось полно родни; вот Губерт и сказал как-то — и опять попал в точку: «Даже если этот осколок и сидит — не знаю, правда, откуда он взялся, — все равно вся эта история, с которой он носится, липа чистой воды. И битва на Лисе тут ни при чем, ведь я там тоже был: мы стояли в третьем или четвертом эшелоне и в самом сражении даже не участвовали. Конечно, снаряды рвались, залетали и туда и все такое... Да только... Ну, в общем, что война — безумие, это мы все знаем, но *таких* ужасов, какие он расписывает, там просто не было, да она и длилась-то для нас с ним всего полтора дня. Нельзя же всю жизнь жить за этот счет. Ну и вот (Хойзер вздыхает), ну и вот, значит, появился на празднике сын этого самого Вильгельма, Алоис».

Пришлось предпринять несколько поездок в деревню Люссемих, чтобы выяснить некоторые важные факты из жизни Алоиса. Опрошены были два трактирщика примерно того же возраста, что и Алоис, а также их жены; все они еще хорошо помнили его; посещение пасторского дома оказалось безрезультатным; священник знал о семействе Пфайферов только то, что значилось в церковно-приходской книге: «проживает в Люссемихе, согласно документам, с 1756 года»; но поскольку Вильгельм Пфайфер в конце концов уехал из деревни — правда, лишь в 1940 году, — и «не по причине своей политической деятельности, достаточно неприятной, а потому, что мы не могли больше его выносить» (трактирщик Циммерман из Люссемиха, пятидесяти четырех лет, человек солидный и достойный всяческого доверия), следы семейства Пфайферов в деревне почти затерялись; все остальные свидетели — ван Доорн, все Хойзеры, Лени (Маргарет о Пфайферах вообще ничего не знает) — относятся к Алоису П., к сожалению, так или иначе предвзято; показания обеих пристрастных групп свидетелей сходятся в фактологии событий из жизни А. П., но расходятся в их толковании. Так, все антипфайферовцы показывают, что Алоису в четырнадцать лет — и в этом пункте его биография схожа с биографией Лени —

пришлось распрощаться со средним учебным заведением из-за неуспеваемости, а Пфайферы утверждают, что «он стал жертвой каких-то интриг». Никто не оспаривает, что А. был «красивым», хотя и об этом говорится с различной степенью иронии. У Лени на стене нет его фотографии, зато у Пфайферов висит с десятков разных снимков, и надо признать: если характеристика «красивый» когда-либо и имела смысл, то к Алоису она подходит в полной мере. У него были голубые глаза, черные, даже иссиня-черные волосы; эти иссиня-черные волосы не раз служили предметом разговоров в связи с бытовавшими в ту пору крайне примитивными расовыми теориями; отец Алоиса был блондин, светловолосыми были и его мать, и все предки, о цвете волос которых сохранились какие-либо сведения или семейные предания (здесь и далее показания родителей Алоиса); поскольку все прослеживаемые по документам предки Пфайферов и Тольцегов (девичья фамилия госпожи Пфайфер) появились на свет в географическом треугольнике Люссемих — Верпен — Тольцем (общая площадь двадцать семь квадратных километров), авт. не пришлось предпринимать дальних поездок. У обеих сестер Алоиса, Берты и Кэте, умерших еще в детстве, равно как и у его ныне здравствующего брата Генриха, волосы также были светлые, если не сказать золотистые. Судя по всему, бесконечное всестороннее и бессмысленное обсасывание вопроса «черные или светлые волосы» было за семейным столом Пфайферов, что называется, темой № 1; они были даже готовы заподозрить в чем-то постыдном своих предков, и чтобы как-то объяснить происхождение черных волос у сына, копались в старых церковно-приходских книгах уже упомянутого географического треугольника (что не требовало особенно больших затрат ввиду незначительности его размеров) и в книгах записей гражданского состояния (соответствующее учреждение находится в Верпене), надеясь выискать среди предков женского пола особу, супружеской измене которой можно было бы приписать появление черных волос в их роду. «Я хорошо помню, — рассказывает Генрих Пфайфер (впрочем, обо всем, что касается его родни, без тени иронии), — что в 1936 году в церковно-приходской книге Тольцема отыскали, наконец, упоминание о женщине, от которой мой брат мог унаследовать неожиданный в нашем роду цвет волос; звали ее Мария, фамилия не указана, а в графе «профессия родителей» значится: «бродяжничество».

Генрих П. и его жена Хетти, урожд. Ирмс, живут в коттедже в поселке, сплошь населенном служащими одного и того же вероисповедания; у него два сына — Вильгельм и Карл. Г. П. собирается вскоре приобрести малолитражку. У него ампутирована голень; неприветливым его назвать нельзя, может быть, лишь немного раздражительным, что сам он объясняет «заботами, связанными с приобретением машины».

Однако в упомянутом географическом треугольнике черные волосы, на первый взгляд, отнюдь не являются редкостью и, может быть, даже преобладают, в чем авт. мог убедиться собственными глазами. Но в семье Пфайферов всячески лелеяли и с гордостью пересказывали семейную легенду, носившую название «знаменитые пфайферовские волосы»; считалось, что женщина с «пфайферовскими волосами» как бы отмечена небесной благодатью, во всяком случае — красотой. Поскольку, согласно сообщению Г. П., изысканиями, проведенными в треугольнике Тольцем — Верпен — Люссемих, были выявлены многочисленные браки между представителями семейств Пфайферов и Груйтенгов (но не Баркелей — это семейство вот уже много поколений как живет в городе), авт. представляется вполне вероятным, что и Лени достались ее роскошные волосы в наследство от каких-то далеких предков по отцовской линии. Однако будем справедливы: волосы у Алоиса — с объективной, так сказать парикмахерской, точки зрения — были и впрямь изумительно красивые: густые, черные, волнистые. Волнистость эта, в свою очередь, давала пищу для всевозможных домыслов и кривотолков, поскольку «истинно пфайферовские волосы» должны быть прямыми и гладкими — как у Лени!

Можно считать объективно доказанным тот факт, что с Алоисом в семье слишком носились с первого дня его появления на свет. Обратив недостаток в добродетель, что было вообще в духе Пфайферов, близкие называли его «наш цыганенок», — но лишь до 1933 года; с этого времени он уже считался «классическим западноевропейцем»; авт. считает необходимым подчеркнуть, что А. отнюдь не принадлежал к кельтскому типу, — такой ошибочный вывод напрашивается из-за того, что у кельтов часто встречаются голубые глаза и черные волосы; однако А. — как позднее выяснится — был совершенно

лишен присущей кельтам фантазии и впечатлительности; если уж задаться целью как-то определить расовую принадлежность А., то точнее всего к нему подойдет определение «нетипичный германец». Итак, ребенком его всем показывали, носили на руках, в первые месяцы, а то и годы, называли «прелестным» и пророчили ему головокружительную карьеру преимущественно в области искусства, хотя он тогда еще и говорить-то как следует не умел. Считалось, что он непременно станет знаменитым скульптором, художником или архитектором (карьера сочинителя попала в круг умозрительных рассуждений семьи значительно позже. Авт.). Все, что он делал, превозносилось ими до небес. А поскольку мальчик, естественно, был «прелестным служкой» в церкви (его имя делает излишним уточнять вероисповедание Пфайферов), то все тетки, кузины и пр. уже вообразили его «монахом-художником», а может, даже и «аббатом-живописцем». Свидетельскими показаниями жены трактирщика Коммера в Люссемихе, 62 лет, и ее свекрови, бабушки Коммер, 81 года, славящейся по всей деревне своей отличной памятью, доказано, что пока А. был служкой, то есть с 1926 по 1933 год, посещаемость церкви в Люссемихе была выше, чем всегда. «Господи, конечно, мы стали чаще ходить в церковь в будни, не только в воскресенье на житкритье (какой именно религиозный обряд имеется в виду под словом «житкритье», выяснить покамест не удалось. Авт.), ведь малыш был чистое загляденье» (бабушка Коммер). Авт. пришлось также не раз беседовать с родителями Алоиса, господином Пфайфером и его женой Марианной (урожд. Тольцем). Если вкратце охарактеризовать материальный достаток родителей П., то можно сказать, что он «на ступень выше», чем у их сына Г.: просторный стандартный дом и машина уже имеются. П.-ст., за истекшее время вышедший на пенсию, все еще волочит ногу. Поскольку П-ы чрезвычайно словоохотливы, авт. не стоило никакого труда получить интересующие его сведения об А.; все, что тот сделал своими руками, хранится под стеклом, как семейная реликвия; среди представленных там четырнадцати рисунков два-три были и впрямь хороши: это цветные наброски окрестностей Люссемиха, которые именно своей удивительной равнинностью — резкие перепады рельефа в 6—8 метров, неизбежные даже в равнинной местности, как, например, вымытые водой овраги, здесь большая редкость, — видимо, и привлекали А.,

заставляя его братья за карандаш. Так как небо здесь как бы лежит на земле — весьма плодородной, кстати сказать, — А. пытался — сознательно или интуитивно, теперь, конечно, не установить — постичь тайну освещения, которой владели нидерландские живописцы, и на двух-трех рисунках действительно к этому приблизился: на этих рисунках он весьма остроумно использовал сахарный заводик в Тольцеме в качестве источника света, расположив его ближе к Люссемиху и спрятав солнце в заводском белесом дыму. Утверждения Пфайферов, что таких рисунков были сотни, не поддаются проверке, а потому могут быть приняты к сведению лишь с некоторой долей скепсиса. Несколько собственноручных поделок А. — скамеечка под кактусы, подставка для отцовских трубок, шкатулка для украшений, а также огромная деревянная лампа (выпилена лобзиком) — произвели на авт., мягко выражаясь, удручающее впечатление; кроме этого, в доме хранились примерно шесть внушительного вида спортивных грамот (легкая атлетика и плавание), выданных футбольным клубом Люссемиха. Начатое, но вскоре прерванное обучение ремеслу каменщика госпожа П. назвала «практикой», а в качестве причины постигшей сына неудачи указала «нетерпимую грубость мастера, не понимавшего начинаний» сына. Короче: родители А. и он сам, очевидно, полагали, что А. «достоин лучшей доли».

Под стеклом было выставлено также несколько десятков стихотворений А., о которых авт. предпочел бы вообще не упоминать; в них нет ни единой строчки, которая хотя бы отдаленно обладала бы той выразительностью, какой обладали стихи Эрхарда Швайгерта. Бросив «практику», А. «со всем пылом творческой натуры» (П.-ст.) обратил свои помыслы к профессии, которая при его слабоволии могла бы стать для него роковой: он решил стать актером. Об успешном исполнении им главной роли в любительском спектакле «Лев из Фландрии» свидетельствуют хранящиеся в семье три газетные вырезки, в которых игра А. удостаивается «необычайных похвал»; а то, что все эти отзывы написаны одним и тем же журналистом, сотрудничавшим в трех местных газетах и подписывавшимся разными инициалами, П-ы до сегодняшнего дня даже не заметили, все три заметки совпадают слово в слово, если не считать незначительных расхождений в эпитетах (вместо «необычайных» в одном случае сказано «безграничных», а

в другом «беспорных»). Заметки подписаны инициалами Б. Г. Б., Б. Б. Г. и Г. Б. Б. Как и следовало ожидать, актерская карьера А. также не состоялась из-за того, что люди не оценили по достоинству его «актерскую интуицию» и завидовали его «красоте» (госпожа П.).

Особо почетное место среди реликвий, хранящихся под стеклом у П-ров, занимают несколько экземпляров *печатной* прозы А.: слегка выцветшие и вставленные в позолоченные рамочки, они украшают собою верхний ряд экспозиции; госпожа П. указала на них авт. со следующим комментарием: «Видите, *напечатано*, — значит, у мальчика был истинный талант; сколько бы он мог этим зарабатывать!» (Эта мешанина из безграничного идеализма и неприкрытого материализма типична для семейства П-ров. Авт.)

І. В ПОХОД!

Вот уже восемь месяцев, как идет война, а мы не произвели еще ни одного выстрела. Долгая и холодная зима ушла на суровую выучку. Но вот пришла весна, и мы уже несколько недель со дня на день ждем приказа фюрера.

В Польше уже шли бои, а мы в это время по-прежнему несли стражу на Рейне. Норвегию и Данию оккупировали, а мы не принимали в этом никакого участия; некоторые поговаривали, что мы вообще всю войну просидим на родине.

Наша часть стоит в маленькой деревушке в Айфеле. И вдруг девятого мая в 16.30 приходит приказ выступать на запад. Тревога! Связные мечутся, солдаты запрягают коней и укладывают походные ранцы, слова прощания и благодарности хозяевам за постой, у девочек красные заплаканные глаза — Германия идет на запад, навстречу заходящему солнцу! Франция, берегись!

Под вечер наш батальон выступает. Перед нами войска, вплотную за нами — тоже, а по левой стороне шоссе нас обгоняют бесконечные моторизованные колонны. Мы маршируем сквозь ночь.

Рассвет еще только брезжит, а воздух уже содрогается от гула немецких самолетов, которые с надрывом гудят над нашими головами, неся утренний

привет нашим западным соседям. Моторизованные части все еще тянутся и тянутся, обгоняя нас. «На рассвете германская армия пересекла границы Голландии, Бельгии и Люксембурга и продолжает продвигаться на запад!» Это экстренное сообщение выкрикнул один мотоциклист, обгоняя нашу колонну. Восторг охватывает всех нас, и мы восторженно машем нашим доблестным товарищам, летчикам, все летящим в небе над нашими головами.

II. МААС, 1940 ГОД

Маас уже не похож на реку. Это сплошной огненный поток. А высокие берега по обе стороны реки — огнедышащие вулканы.

Все естественные укрытия в этой идеальной для обороны местности использованы. А там, где природа не позаботилась, помогла техника. Повсюду пулеметные гнезда, перед скалами, в трещинах скал, глубоко между скалами. Крошечные, скрытые от глаз склепы, выдолбленные в камне, залитые бетоном, а над ними крышей нависает тысячелетний массив горных пород толщиной в пятьдесят метров.

III. ЭН, 1940 ГОД

Сто двадцать моторов во всю мощь поют свою стальную песнь! Сто двадцать бомбардировщиков с ревом кружат над рекой Эн!

Но ни один из них не различает цели.

Сама природа плотным туманом прикрыла линию Вейгана.

Вперед, неизвестный солдат-пехотинец! Сегодня ты, надеясь только на себя, должен доказать превосходство своей суровой выучки. Твоя воля к победе должна сломить упорное сопротивление.

Когда ты спустишься с холмов Шмен-де-Дам, вспомни о крови, пролитой здесь.

Вспомни о том, что тысячи немецких солдат до тебя уже шли этим путем.

Ты — солдат 1940 года — должен пройти его до конца.

Ты видел надпись на обелиске: «Здесь был город

Айет, его разрушили варвары». Каким преступным безумием ослеплены твои враги, называющие варваром и тебя, борющегося за свое право на жизнь!

Ранним утром девятого июня наша дивизия готова к наступлению. Соседний полк получил приказ атаковать на нашем участке. А мы пока в резерве.

Тревога! Все по местам!

Четыре часа утра. Еще не совсем проснувшись, мы один за другим вылезаем из палаток. И сразу включаемся в общий стремительный темп.

IV. ГЕРОЙ

История этого героя — пример бесстрашия, смелости и беззаветной самоотверженности, свойственных всем немецким офицерам. Кто-то сказал, что у немецкого офицера должно хватить мужества умереть раньше своих солдат. Но ведь каждый солдат в тот миг, когда он врывается в боевые порядки противника и хватается за горло, братается со смертью. Он изгоняет страх из своего сердца, напрягает все силы, словно натягивая тетиву лука, все его чувства вдруг обостряются, и, веря свою судьбу изменчивому военному счастью, он каким-то чутьем понимает то, что недоступно разуму: счастье и милость небес всегда на стороне храбреца! Он увлекает своим примером более робких, и, даже если остается совсем один, его бесстрашное мужество помогает ему выжить и зажечь факел бесстрашия в сердцах находящихся с ним солдат. Таким был полковник Гюнтер!

V

Враг сопротивляется упорно и коварно, а попав в окружение, сражается до конца. Он почти никогда не сдается в плен. Это негры-сенегалцы, они здесь в своей стихии, ведь они привыкли к войне в джунглях. Ловко маскируясь за корнями деревьев, за естественной или искусственной листвой, они зарываются в землю там, где тропинка или прогалина в лесу может заманить атакующего. Стреляют они, подпустив противника на минимальную дистанцию, каждый выстрел попадает в цель, и почти каждый убивает наповал. Даже те, кто стреляет

из засады на дереве, обычно невидимы. Часто они пропускают наступающих мимо себя, чтобы потом напасть на них сзади. С ними очень трудно бороться, они изматывают боевые резервы, связных, штабистов, артиллеристов. Отрезанные от своих, полумертвые от голода, они спустя много дней после сражения убивали солдат-одиночек. Обычно в засадах они лежат, стоят или сидят на дереве, плотно прижавшись к стволу, а часто еще и заворачиваются в маскировочную сетку, карауля свою добычу. А если иногда и удастся кого-либо из них обнаружить, то дикарь заранее чует это, кулем падает он с дерева и быстро, как молния, скрывается в чаще леса.

VI

Вперед, только вперед, не останавливаться, — во всяком случае, не здесь. Наш батальон движется по долине без всякого прикрытия. Почему знать, может быть, на холмах слева и справа засел враг. Итак, вперед, только вперед! Какое-то чудо — никто не мешает нашему победоносному маршу. Отступающие французы разграбили и разрушили все деревни на нашем пути.

«Вон там, далеко, видишь? Это Шмен-де-Дам, — тихо произносит товарищ, шагающий рядом со мной в строю; его отец погиб в первой мировой войне. — А у нас под ногами, значит, земля Айета. Здесь отца ранили, когда он вез в свою часть провиант».

Широкая автострада ведет по земле Айета к господствующей над местностью гряде холмов Шмен-де-Дам. Справа и слева от автострады нет ни единого клочка земли, который не был бы перепахан снарядами в первую мировую войну. Вокруг ни одного большого дерева с нормальным стволом. В 1917 году здесь вообще не осталось деревьев, все были срезаны снарядами. Но с той поры корни дали новые побеги, и каждый пенек превратился в куст.

VII

Каждую секунду мы смотрим на часы. Нужно еще раз все учесть и взвесить. Последние распоряжения,

и вот уже выстрел разрывает тишину. Атака! С опушки леса и из-за кустов ведут огонь немецкие орудия. Огненный вал медленно поднимается вверх по склону противоположного берега реки Эн. Долина реки тонет в клубах дыма, так что временами мы теряем обзор. Под шквальным огнем саперы подтаскивают к воде понтонные лодки и переправляют пехоту на тот берег. Начинается бой за форсирование Эн и канала. К двенадцати часам наши войска овладевают высотами на том берегу, хотя враг оказывает отчаянное сопротивление. С нашего наблюдательного пункта вести дальнейшее наблюдение за ходом боя невозможно. Наблюдатель и оба радиста еще утром двинулись вперед вместе с пехотой. После полудня приходит приказ наблюдательному пункту и артиллерии занять новые позиции. Немилосердно палит солнце. Вскоре мы все выходим к берегу реки Эн. Теперь новый наблюдательный пункт должен быть расположен на высоте 163.

Когда дело касается прозы, авт. не чувствует себя достаточно объективным и поэтому воздерживается от каких-либо комментариев.

Если суммировать все *достоверные* сведения об А., а из *недостоверных* выделить некое зерно, которое можно было бы приравнять к достоверным, то выяснится, что из А., вероятно, получился бы хороший учитель физкультуры, который к тому же мог бы преподавать и рисование. Кем он на самом деле стал, переменяв несколько профессий, читатель уже давно знает: он стал военным.

Однако в армии, как известно, жизнь тоже не сахар, уж точно — нет, тем более для того, кто, как А. П., вынужден избрать унтер-офицерскую карьеру — единственно возможную для него, ибо А. так и остался «недоучившимся гимназистом, выгнанным из восьмого класса» (Х.-ст.). Справедливости ради надо заметить, что семнадцатилетний А., который поначалу добровольно пошел отбывать трудовую повинность, а потом попал в армию, начинает понимать, что к чему. В одном из писем к родителям (все письма выставлены под стеклом для всеобщего обозрения) он говорит следующее (приводим дословно): «Теперь я хочу выстоять, выстоять всем опасностям назло, и пусть даже окружающие будут

относиться ко мне враждебно, я, однако, не собираюсь винить во всех своих бедах их одних; и я прошу вас, мамочка и папочка, не считать всякий раз, как я вступаю на новый путь, что я обязательно стану на нем первым из первых». Совсем неплохо сказано и имеет отношение к словам госпожи П., которая, увидев сына в военной форме, впервые приехавшего домой на побывку, тут же заметила, что она уже представляет себе сына «военным атташе в Италии или еще кем-то в этом роде».

В конце концов, если отнестись к А. хотя бы с малой толикой столь желательного во всех случаях милосердия и минимальной долей того, что зовется справедливостью, а также учесть, какое катастрофическое воспитание он получил, то можно сказать, что А. был в общем и целом совсем неплохим парнем, и чем дальше он находился от своей семьи, тем лучше становился, ведь посторонние не смотрели на него как на будущего кардинала или адмирала. Как бы там ни было, за полтора года в армии он дослужился до кандидата на унтер-офицерское звание, и даже если принять во внимание, что надвигающаяся война облегчала продвижение по службе, это не такая уж малость. При вступлении во Францию А. произвели в унтер-офицеры, и вот таким «свежеиспеченным» унтер-офицером он и явился в июне 1941 года на праздник по случаю юбилея груйтеновской фирмы.

Мы не располагаем достоверными сведениями о любви к танцам, вновь проснувшейся в Лени в тот вечер, в нашем распоряжении лишь слухи и сплетни самого различного свойства: доброжелательные, злобные, завистливые, снисходительные; если предположить, что между восемью часами вечера и четырьмя утра оркестр сыграл от двадцати четырех до тридцати танцев, а Лени и Алоис после полуночи покинули зал, то получается, что Лени — если свести все слухи и сплетни к какой-то средней величине — протанцевала, вероятно, всего раз двенадцать; правда, Лени протанцевала с Алоисом не большую часть танцев и даже не *почти* все, — она *все* танцы протанцевала с Алоисом. Даже с отцом не согласилась она сделать, так сказать, круг почета, даже старику Хойзеру отказала, — да, она танцевала только с Алоисом.

На фотографиях, которые красуются у П-ров под стеклом рядом с орденом и фронтовым значком, А. того периода смотрится таким жизнерадостным парнем — похожим на тех, кто в военное время не только украшал собою страницы иллюстрированных журналов, но и публиковал в них прозаические опусы типа цитированных выше, впрочем, в мирное время сегодня бы тоже. Судя по всему, что знали об А. Лотта, Маргарет и Мария (как непосредственно, так и из кратких реплик Лени), а также по высказываниям Хойзера, А. представляется авт. одним из тех парней, которые после тридцатикилометрового марша, с жизнерадостной улыбкой и снятым с предохранителя заряженным автоматом на груди, в расстегнутом кителе, на котором болтается первый орден, входят во французскую деревню во главе своего подразделения в твердой уверенности, что она завоевана навсегда; удостоверившись с помощью своих солдат в том, что в деревне не прячутся ни партизаны, ни прочая нечисть, такой парень тщательно моется, меняет исподнее и носки и уже в полной темноте по своей охоте топает еще двенадцать километров (не сообразив как следует пошарить по деревне в поисках припрятанного где-нибудь велосипеда — а может, и просто испугавшись развешанных повсюду лицемерных объявлений «За мародерство — смерть!») — топает в полном одиночестве, не ведая страха или усталости, — только потому, что кто-то сказал, будто в соседнем городишке водятся женщины; как выясняется при ближайшем рассмотрении, это несколько старых шлюх — жертв первой немецкой секс-волны 1940 года — пьяные, изнуренные повышенным спросом на свое ремесло. Узнав от дежурного санитаря кое-какие цифровые данные и по его совету взглянув «непредвзято» на этих старух, не вызывающих ничего, кроме жалости, наш герой несолоно хлебавши топает те же двенадцать километров в обратном направлении (причем ему *только* теперь приходит в голову, что все-таки стоило бы потратить время на поиски велосипеда, какими бы длительными они ни оказались), полный раскаяния, несколько запоздало вспоминает о тех моральных обязательствах, кои накладывает на него его собственное католическое имя, и, протопав за день в общей сложности пятьдесят четыре километра, погружается сразу в глубокий, но короткий сон; весьма возможно, что на рассвете, еще до подъема, он успевает что-то такое «сочинить», а

потом топает дальше — завоевывать новые французские деревни.

С ним-то и протанцевала Лени приблизительно двенадцать раз («Этого у него не отнимешь: танцевал он великолепно!» Лотта Х.) до того, как около часу ночи дала себя увести в близлежащий парк, разбитый на месте крепостного рва.

Конечно, это событие вызвало уйму домыслов, догадок, дебатов и споров. Это был настоящий скандал, почти сенсация: Лени, слышшая «недотрогой», вдруг уступила, и кому — «этому остолопу» (Лотта Х.). Если и по отношению к этому событию мы выведем некую среднюю величину, как уже поступили при установлении количества танцев, то результатом сопоставления различных мнений и голосов будет следующее: более 80% участвовавших в описываемом событии, лично наблюдавших его или как-то иначе осведомленных о нем лиц уверены, что, соблазняя Лени, Алоис преследовал материальные цели. Преобладающая часть этих лиц даже усматривает некоторую связь между желанием А. получить офицерское звание и его поступком: потому, мол, он и стремился подцепить Лени, что хотел обеспечить себе прочный тыл, то есть деньги (Лотта). Весь клан Пфайферов (включая нескольких теток, но *не* включая Генриха) придерживается того мнения, что, наоборот, Лени соблазнила Алоиса. По всей вероятности, оба предположения неверны. Как бы ни относиться к А., но расчетливым в сугубо материальном смысле он не был, чем выгодно отличался от своего семейства. Можно предположить, что он влюбился в цветущую и заново расцветшую Лени, что ему надоели утомительные и безрадостные похождения во французских борделях и «свежесть» Лени (авт.) буквально вскружила ему голову.

Что касается Лени, то в ее оправдание можно, наверное, сказать, что она просто-напросто «отключилась» (авт.), приняв приглашение прогуляться по бывшему крепостному рву, — ведь ночь, как-никак, была летняя, теплая; а если учесть, что А., безусловно, был с ней нежен и, может быть, даже настойчив, то в худшем случае мы приходим к выводу, что Лени совершила ошибку не морального, а скорее экзистенциального свойства.

Поскольку парк на месте крепостного рва все еще существует и осмотр места происшествия не стоил авт. больших усилий, он этот осмотр произвел: парк превращен в некое подобие ботанического сада, где вереску (прибрежному) отведен небольшой участок примерно в пятьдесят квадратных метров. Правда, администрация сада была «не в состоянии разыскать план насаждений 1941 года».

Единственное дошедшее до авт. высказывание Лени касательно последующих трех дней гласило: «Невыносимо». Именно это слово она сказала троим — Маргарет, Лотте и Марии, — и больше они от нее ничего не услышали. То, что удалось выяснить сверх того, позволяет сделать вывод, что А. оказался не слишком деликатным, а главное, отнюдь не догадливым любовником. Ранним утром он притащил Лени к одной из своих невежественных теток, некоей Фернанде Пфайфер, обязанной своим именем то ли франкофильским, то ли сепаратистским склонностям своего отца, которые семейство Пфайферов, естественно, отрицало; тетка эта проживала в старом доме постройки 1895 года, в однокомнатной квартире не только без ванной, но даже без водопровода, — во всяком случае, раковина находилась не в самой квартире, а в общем коридоре. Эта Фернанда Пфайфер, все еще — или, вернее, опять уже (некоторое время дела ее складывались более благополучно) проживающая в однокомнатной квартире и опять в старом доме (но на этот раз 1902 года постройки), конечно же, прекрасно помнит, «как они оба ко мне явились, и знаете, что я вам скажу, они не производили впечатления воркующих голубков, а были похожи скорее на мокрых куриц. Я считаю, он просто обязан был повести ее в какой-нибудь уютный отель, после того как они оба, ну, развлеклись на лоне природы, — в уютный отель, где оба могли бы помыться, переодеться и вообще привести себя в порядок. Этот дурень не имел никакого представления о хороших манерах». Сама Фернанда Пфайфер показала авт. женщиной (или девушкой), безусловно имевшей представление о «хороших манерах». У нее были знаменитые роскошные «пфайферовские» волосы, и хотя дама она была уже не первой молодости — где-то сильно за пятьдесят — и жила явно в стесненных обстоятельствах, но и у нее тут же нашлась бутылка самого до-

рогого сухого шерри. Тот факт, что все П-ры, включая Генриха, отрещиваются от Фернанды, «потому что она много раз — и к тому же безуспешно — пыталась завести собственную пивную», не делает ее в глазах авт. менее заслуживающей доверия. Ее заключительное замечание звучало так: «Подумайте, в какое положение он поставил эту милую девушку — сидеть день-деньской в моей однокомнатной квартире. А мне что было делать? То ли уйти, чтобы они могли, ну, скажем, опять развлекаться или грешить, то ли остаться и сидеть с ними? Ведь у меня ей было хуже, чем в самой дешевой гостинице сомнительной репутации, где, по крайности, есть раковина и полотенце и можно запереть за собой дверь». Кончилось дело тем, что к вечеру Алоис решил, «что им следует явиться к родителям, рука об руку, с гордо поднятой головой, презрев эту гнилую буржуазную мораль» (Ф. П.); последнее выражение явно не понравилось Лени, хотя она ничего не сказала, только «презрительно подняла брови». Трудно установить с полной объективностью, не наводил ли А. немного тень на плетень, позаимствовав для пущей важности пару оборотов из своего «Льва из Фландрии», или же в нем на самом деле зазвучала струна неподдельного идеализма под влиянием только что пережитого «чистого волнения» (так он назвал в разговоре с тетушкой весь инцидент с Лени, что было крайне бестактно). Очевидно, он все-таки был краснбай и любитель пышных фраз, и легко себе представить, как хмурилась по-земному материалистичная и по-человечески небесная Лени, слушая эту болтовню. Можно верить или не верить одиозной тетушке, но, по ее словам, у нее тогда сложилось впечатление, что Лени отнюдь не заинтересована в том, чтобы провести с Алоисом еще одну ночь в постели или среди вереска. А когда А. вышел из комнаты, чтобы в очередной раз воспользоваться туалетом, находившимся на лестничной площадке одним пролетом ниже, она вынула у него из кармана увольнительную и, увидев, что он еще какое-то время пробудет в отпуске, разочарованно сморщила носик. Лишь одно в этом рассказе, безусловно, не соответствует истине: у Лени не «носик», а прекрасно вылепленный нос безукоризненной формы.

Поскольку Алоис не предпринимал никаких шагов, чтобы похитить Лени, или еще чего-то в этом роде, то

поздно вечером, «просидев молча целый день и выпив весь мой запас кофе», они приняли решение явиться с повинной к родителям, его и ее. Сперва пришлось, что было самое неприятное, ехать к Пфайферам, которые жили где-то на окраине с тех пор, как П.-ст. «перевели» в город. С трудом скрывая ликование, П.-ст. выдавил из себя нечто вроде упрека сыну: «Как ты мог так поступить с дочерью моего старого друга!» Госпожа П. ограничилась вялой репликой: «Так не делают». Генрих Пфайфер, в ту пору пятнадцатилетний юноша, по его словам, точно помнит, что в доме всю ночь просидели за кофе и коньяком (комментарий госпожи П.: «На хорошее дело денег не жалко»), строя подробнейшие планы предстоящей женитьбы, причем Лени сидела молча, — да ее ни о чем и не спрашивали. В конце концов она уснула, а остальные продолжали строить планы, причем детально обсудили даже величину и обстановку квартиры для молодых («Не заставит же он родную дочь ютиться в тесноте; так что не меньше пяти комнат — это просто его долг перед ней» и «мебель, конечно, только из красного дерева». «Может, он наконец-то построит дом для себя или для дочери»).

К утру (все дальнейшее со слов Генриха П.) Лени сделала «явно провокационную попытку выдать себя за женщину легкого поведения. Она выкурила две сигареты подряд, глубоко затягиваясь и выдыхая дым через нос, и ярко покрасила губы». По соседскому телефону было заказано такси (на этот раз уже господин П. сказал: «На хорошее дело денег не жалко») (на что? Авт.), и все поехали к Груйтенам, куда и прибыли — с этой минуты мы вынуждены ссылаться на показания Марии ван Дорн, так как Лени по-прежнему упорно молчит, — прибыли «в несусветную рань», то есть около половины восьмого утра. Госпожа Груйтен в ту ночь мало спала (воздушная тревога и первая простуда у ее крестника Курта) и в этот час еще завтракала в постели («кофе, поджаренный хлеб и апельсиновый джем, — вы не можете себе представить, как трудно было достать апельсиновый джем в 1941 году, — но он готов был все для нее сделать»).

«Вот, значит, Лени заявила домой словно «на третий день воскреснув», такой она мне показалась, сразу же побежала к матери, обняла ее, потом пошла к себе в комнату, попросила меня принести ей завтрак и — что бы вы думали? — села за рояль. А госпожа Груйтен —

надо отдать ей справедливость — через силу поднялась — надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать, — спокойно совершила утренний туалет, набросила на плечи мантилью — чудесная старинная вещь, в семье Баркелей она всегда передавалась по наследству младшей дочери, — вышла в гостиную, где ее ждали Пфайферы, и вежливо так спросила: «Слушаю вас, что вам угодно?» Ну, тут у них возникли препирательства из-за этого «вы»: «Елена, с чего это ты вдруг обращаешься к нам на «вы»?» А госпожа Груйтен им на это: «Что-то не припомню, чтобы мы были на «ты». Тут Пфайфериха и говорит: «Мы просим руки вашей дочери для нашего сына». А госпожа Груйтен на это только: «Гм». И больше ни звука; а потом идет к телефону, звонит в контору мужа и просит выяснить, где он находится, и как только найдут, сказать, чтобы немедленно ехал домой».

Видимо, часа полтора в доме разыгрывался тот идиллический спектакль — смесь из комедии и трагедии, — который обычно происходит в мещанской среде по случаю сватовства. С полсотни раз произносилось слово «честь» (ван Доорн утверждает, что может это доказать, потому что каждый раз ставила черточку на филенке двери). «Если бы речь шла не о Лени, я бы только посмеялась — уж больно круто они повернули разговор, заметив, что госпожа Груйтен вовсе не рвется спасти честь своей дочери браком с этим Алоисом; теперь они стали защищать уже честь своего сына — выставили его таким невинным совращенным агнцем, утверждая, что его честь как кандидата в офицеры — а он им тогда и не был, да и потом не стал — можно спасти только путем женитьбы. И уж совсем смешно стало, когда они начали расхваливать достоинства своего сына: какие, мол, у него красивые волосы и рост — метр восемьдесят пять, а уж мускулатура!»

К счастью, вскоре приехал Груйтен-старший, которого все ожидали со страхом («ведь, бывало, он бушевал как безумный»), но тот держался «необычайно вежливо, спокойно, даже приветливо, к большому облегчению Пфайферов, которые, конечно, здорово его побаивались». Однако он сразу же оборвал Пфайферов, как только они опять заговорили о «честь» («У нас тоже есть своя честь, у нас тоже», — старик Пфайфер и его жена, одновременно и слово в слово), задумчиво поглядел на А., с улыбкой поцеловал в лоб жену и спросил А., в какой

дивизии и в каком полку тот служит; «надолго задумался», потом вызвал Лени из ее комнаты, «не стал ее ни в чем упрекать», только кратко спросил: «Как считаешь, девочка, выходить замуж или нет?» Тут Лени, «наверное, впервые пристально поглядела на А., да так вдумчиво и жалостно, как будто у нее опять возникло какое-то предчувствие (разве у Лени раньше возникали предчувствия? Авт.), — как-никак, она по доброй воле пошла с ним — и сказала: «Выходить».

И тогда Груйтен опять посмотрел на А. и сказал «с какой-то даже теплотой в голосе» (ван Доорн): «Ну что ж, ладно», — и добавил: «Ваша дивизия стоит уже не под Амьеном, она теперь в Шнайдемюле».

Он даже вызвался помочь А. побыстрее получить разрешение на женитьбу: «ведь время не ждет». Теперь, задним числом, конечно, легко установить, что старик Г. знал о значительных перемещениях войск с конца 1940 года и в ночь накануне решения о свадьбе узнал от старых друзей о предстоящем в скором времени нападении на Советский Союз; в своей новой должности «директора по планированию он многое знал» (Хойзерст.). На все возражения против свадьбы, которые в тот день приводили Лотта и Отто Хойзер, он только отмахнулся, пробормотав: «Ах, оставьте... оставьте...»

Нам остается лишь констатировать, что разрешение на женитьбу, полученное А. по телеграфу, содержало также приказ «немедленно прервать отпуск и явиться в свою дивизию в Шнайдемюль 19.6.41».

Стоит ли описывать гражданскую, а затем и церковную церемонию бракосочетания? Важно, пожалуй, лишь отметить, что Лени отказалась надеть белое подвенечное платье, что А. во время свадебного застолья страшно нервничал и едва дождался его конца, что Лени явно ничуть не была огорчена тем, что ее первая официальная брачная ночь не состоится, но все-таки она проводила Алоиса на вокзал и позволила ему себя поцеловать. Как позже — во время особенно сильной бомбежки в 1944 году — Лени призналась Маргарет, сидя с ней в бомбоубежище, что за час до отъезда Алоис принудил Лени отдаться ему в гладильной комнате Груйтенев «на законном основании», особо напирая на ее супружеские обязанности. «И тогда А. для меня умер —

умер раньше, чем его убили» (слова Лени, переданные авт. Маргарет).

Уже вечером 24 июня 1941 года пришло сообщение, что А. «погиб» при взятии Гродно.

Важно в этой связи отметить, что Лени отказалась носить и соблюдать траур; из чувства долга она прикрепила фотографию А. рядом с фотографиями Эрхарда и Генриха, но уже в конце 1942 года сняла ее со стены.

После этого проходит два с половиной тихих года. Лени исполняется девятнадцать, двадцать и, наконец, двадцать один год. Она больше не танцует, хотя Маргарет и Лотта время от времени зовут ее пойти потанцевать. Иногда она ходит в кино, смотрит фильмы «Парни», «Скачи во имя Германии» и «Превыше всего на свете», а также «Дедушка Крюгер» и «Небесные псы» (согл. свидетельству Лотты Х., все еще покупавшей для нее билеты), — но ни один из этих фильмов не заставил ее пролить хоть слезинку. Она играет на рояле, ухаживает за внезапно резко ослабевшей матерью и довольно часто ездит на машине за город. Она все чаще навещает Рахиль, привозит той кофе в термосе, бутерброды и сигареты. Поскольку хозяйственные трудности, вызванные войной, становятся все ощутимее, а работа Лени на фирме отца все более фиктивной, то после тщательной ревизии, проведенной в начале 1942 года, над Лени нависает угроза конфискации принадлежащей ей автомашины; все окружающие в первый и единственный раз в жизни становятся свидетелями того, как Лени о чем-то просит: она просит отца «оставить за ней эту штуку» («штукой» она называет свою машину марки «адлер»), а когда тот объясняет ей, что это не совсем в его власти, она просит все настойчивее и настойчивее, так что он наконец «нажимает на все кнопки и добивается отсрочки на полгода» (Лотта Х.).

Здесь авт. позволяет себе сделать пространное отступление и берет на себя смелость попробовать предугадать судьбу Лени, то есть поразмышлять над тем, что стало бы с Лени, что могло или должно было бы стать, если бы...

Во-первых, если бы из трех молодых людей, играв-

ших до той поры важную роль в жизни Лени, войну пережил бы один Алоис.

Поскольку военная карьера, судя по всему, была его истинным призванием, А. дошел бы не только до Москвы, он пошел бы и дальше и стал бы лейтенантом, капитаном (от попадания в советский плен до 1945 года мы его в порядке гипотезы избавим), к концу войны, возможно, получил бы звание майора и кучу орденов, отсидел бы положенный срок в лагере для военнопленных, волей-неволей утратил бы свойственный ему некоторый идеализм, или же его вытравили бы насильно, вернувшись на родину, отработал бы два года подсобным рабочим, а если бы вернулся позже других, то всего год; не исключено, что он отбывал бы эту повинность вместе со старым Груйтенем, которому униженный А. наверняка пришлось бы больше по сердцу, чем увенчанный славой А., и при первой возможности наверняка вернулся бы в армию, называемую теперь бундесвером, в свои пятьдесят два года он наверняка дослужился бы до генерала. Мог ли бы он вновь стать для Лени спутником жизни или хотя бы любовником? Авт. категорически заявляет: нет. Тот факт, что Лени плохо поддается прогнозированию, разумеется, затрудняет взятую авт. на себя задачу. Испытала бы Лени другое, гораздо более сильное любовное чувство, о котором речь пойдет ниже, если бы... Авт. утверждает: она испытала бы его, даже если бы...

Алоис определенно был бы способен — он ведь и в пятьдесят два был бы еще привлекательным мужчиной и благодаря пфайферовским волосам избежал бы облысения, — попав в стесненные обстоятельства, предложить свои услуги в качестве причетника в Боннском кафедральном или в Кёльнском соборе; а куда еще деваться красавцам генералам, которые так ловко подают церковные книги и так угодливо держат сосуды для омовения рук и кувшины с вином? Куда им деваться? Допустим, Лени все же «осталась бы с ним», хотя и не сохранила верность, но время от времени исполняла бы свои супружеские обязанности. Присутствовала бы она вместе с тремя-четырьмя «прелестными» детками — А. в качестве генерала-причетника — на той первой (но не последней) торжественной мессе, которую служил в честь бундесвера кардинал Фрингс в церкви Гереона в Кёльне? Авт. утверждает: нет. Он просто не *видит* там Лени; А. видит, даже «прелестных» деток видит, а Лени

нет. Еще он видит А. на обложках иллюстрированных журналов или же в обществе солидных господ Наннена и Вейдеманна на каком-нибудь приеме в честь представителей восточного блока. Он — то есть авт. — видит А. военным атташе в Вашингтоне или даже в Мадриде, но при этом нигде не видит Лени, тем более в обществе солидных господ Наннена и Вейдеманна. Может быть, дело в плохом зрении авт. — почему-то он повсюду видит одного А., а Лени не видит; даже деток видит, а саму ее — нет. Разумеется, зрительные возможности авт. весьма ограничены, но почему же тогда он явственно видит А., а Лени абсолютно не видит? Поскольку где-то в космосе наверняка существует еще не обнаруженный неопознанный летающий объект, в который вмонтирован огромный компьютер величиной чуть ли не с Баварию, которому ничего не стоит вычислить судьбу любого земного существа, то нам придется, видимо, подождать, когда наконец этот летающий объект обнаружат. Совершенно ясно, однако, что, если бы Лени заставила себя или кто-то ее заставил жить с А., она от горя растолстела бы — и теперь весила бы не на триста граммов меньше, а на десять килограммов больше своего идеального веса, и понадобился бы еще один гигантский компьютер величиной с Северный Рейн — Вестфалию, который специализировался бы на железах внутренней секреции и мог бы установить, в результате каких внешних и внутренних процессов такое существо, как Лени, могло бы растолстеть. Разве можно представить себе Лени супругой военного атташе в Сайгоне, Вашингтоне или Мадриде, танцующей или играющей в теннис? *Толстую* Лени, вероятно, можно, но такую, какую мы знаем, нет.

Как жаль, что еще не обнаружены эти небесные приборы, которые способны каждую невыплаканную Сл., все B_1 и B_2 , каждый П. и все C_1 и C_2 переводить в перевес или недовес. Ведь так невыразимо трудно высказать о Лени что-то предположительное, а поскольку эти компьютеры наверняка существуют, почему же наука не поможет нам? (Ведь энциклопедии это делают.)

Итак, если гипотетическая карьера А. представляется авт. с почти кристаллической четкостью, то Лени он вообще рядом с ним не видит, — честно говоря, он не видит ее даже при исполнении каких бы то ни было супружеских обязанностей.

Да, жаль, очень жаль, что эти небесные инструменты все еще нам недоступны, они-то смогли бы ответить на почти библейский вопрос: скажи мне, насколько больше или меньше нормы ты вешишь, и я скажу, насколько больше или меньше Сл., П., С., Б₂ и Б₁ из-за твоих ошибочных поступков и ложных чувств обращаются в недостающий или избыточный вес в твоих органах — желудке, кишечнике, мозговом стволе, печени, почках и поджелудочной железе. Кто ответит нам на вопрос, сколько бы весила Лени, если бы вместо одного Алоиса войну пережили бы:

один Эрхард;

Эрхард и Генрих;

Эрхард, Генрих и Алоис;

Эрхард и Алоис;

Генрих и Алоис.

Ясно одно: если бы войну пережил Эрхард, не обнаруженный покамест небесный инструмент пришел бы в восторг от веса Лени (компьютеры тоже могут приходить в восторг) и от поразительной сбалансированности ее органов внутренней секреции. И самый важный вопрос: существуй хоть один из всех этих вариантов, попала бы Лени в садоводство Пельцера? И если бы там возникли какие-то конфликты, справилась бы она с ними?

Во всяком случае, есть все основания скептически отнестись к гипотетической совместной жизни Лени с А., в то время как задуманное Лени свидание на поросших вереском лугах Шлезвиг-Гольштейна наверняка кончилось бы удачно. Ясно также, что сам факт замужества ничуть не помешал бы Лени, если бы она встретила «того единственного». Исходя из имеющихся об Эрхарде данных, мы вполне можем представить себе Лени супругой учителя гимназии (главный предмет — родной язык), супругой (или подругой) редактора радиопередач для полуночников, супругой издателя авангардистского журнала (здесь необходимо заметить, что и Эрхард непременно познакомил бы ее с тем немецкоязычным поэтом, с которым ее позже познакомил другой человек, — с Георгом Траклем). Совершенно ясно, что Эрхард любил бы ее всю жизнь, а вот любила бы и она его все эти двадцать с лишним лет, трудно сказать точно, но ясно, что Эрхард никогда не стал бы настаивать на каких-то своих правах и тем самым заслужил бы до конца своих дней если не любовь и верность, то хотя бы привязанность Лени. Кого еще авт. не *видит* (к своему собственному удивлению),

это Генриха; он его просто-напросто не может себе представить занимающимся какой-либо определенной профессиональной деятельностью — так же, как не могли себе этого представить отцы иезуиты.

В связи с тем, что энциклопедия помогла нам почерпнуть массу полезных сведений, попробуем задаться еще одним вопросом: что такое высшие жизненные ценности? Кто нам скажет, для кого те или иные ценности выше, а для кого ниже? На этот вопрос ни одна энциклопедия не дает ответа, даже самая уважаемая. Жизнь доказывает, что есть люди, для которых две с половиной марки составляют бóльшую ценность, чем любая человеческая жизнь, кроме их собственной, а есть даже такие, кто ради куска кровяной колбасы, не задумываясь, поставят на карту жизненные ценности своей жены и детей — хотя в семье мир и радостная улыбка на лице папаши. А как обстоит дело с такой расхваливаемой на все лады жизненной ценностью, как счастье? Черт возьми, ведь один почти счастлив, если подобрал три-четыре окурка и смог свернуть самокрутку или хлебнул глоток другой вермута из бутылки, выброшенной в урну; другому, чтобы почувствовать себя счастливым — по западному методу скоростной любви, — нужно всего десять минут, — точнее говоря, чтобы быстренько переспать с желанной в данный момент особой, ему нужен собственный реактивный самолет, на котором он, незаметно для другой особы, предназначенной всеми церковными и гражданскими законами составлять его счастье, между завтраком и послеобеденным кофе успеет слетать в Рим или Стокгольм, а то и в Акапулько (в этом случае ему надо располагать временем до следующего завтрака) — и там соединиться с предметом своих вожелений; варианты могут быть самые разные: мужчина с женщиной, женщина с женщиной или попросту — мужчина с женщиной.

Пора подвести итог: имеется еще множество НЛО (неопознанных летающих объектов) с компьютерами на борту, покуда для нас еще недоступных.

А иначе где же регистрируются все наши душевные и телесные Б₁, где деятельность наших конъюнктивных мешочков изображается графически, как на кардиограмме, кто подсчитывает наши Сл., если мы ночью не можем удержаться от П.? И кого, наконец, печалят наши С—С₁

и С₂? Черт побери, неужели одни авторы должны решать все эти проблемы? И для чего вообще существует наука, если она только и может, что посылать в космос дорогостоящие штуковины и собирать на луне пыль или привозить оттуда на землю какие-то никчемные камешки, но не в состоянии даже обнаружить тот НЛО, который мог бы внести ясность в вопрос об относительности жизненных ценностей? Почему, например, одни женщины имеют право получать от мужчины за краткий миг любви две виллы, шесть машин и полтора миллиона наличными, в то время как юные девушки в древнем священном городе с его старинными традициями продажной любви в ту пору, когда нашей Лени было семь-восемь лет, отдавались за чашку кофе, стоившую восемнадцать пфеннигов, а вместе с чаевыми — двадцать, точнее — девятнадцать и восемь десятых пфеннига (просто не существует монеток достоинством в одну или две десятых пфеннига, ведь их понадобилось бы чеканить в пять или десять раз больше, чем однопфенниговых), и за сигарету, стоившую два с половиной пфеннига, — стало быть, в общей сложности за двадцать два с половиной пфеннига (все эти цифры зафиксированы статистикой), — и не только отдавались, но даже выполняли любые прихоти клиента?

Надо думать, стрелки компьютера, определяющего жизненные ценности, все время мечутся из одной стороны в другую, поскольку им приходится регистрировать столь значительную разницу в цене за одну и ту же услугу — между двадцатью двумя с половиной пфеннигами и примерно двумя миллионами.

На каком чувствительном приборе определяют жизненную ценность спички — не целой, даже не половинки, а всего лишь четвертушки спички, с помощью которой арестант вечером закуривает свою сигарету, в то время как у других людей — к тому же некурящих! — на письменном столе стоят абсолютно никчемные, бессмысленные газовые зажигалки величиной с кулак?

Что же это за жизнь? И где тут справедливость?

Авт. лишь набросал общую картину, из которой следует, что многие вопросы остаются открытыми.

О встречах Лени и Рахили нам мало что известно, и прежде всего потому, что монахини, проживающие в этом монастыре, отнюдь не заинтересованы проливать

свет на дружбу Лени с Рахилью по причине планов, на которые намекала Маргарет, но которые еще предстоит прояснить. В этом случае нам также придется полагаться на показания свидетеля, который весьма откровенно беседовал с авт. и за это, должно быть, дорого заплатился; речь идет о садовнике Альфреде Шойкенсе, который в 1941 году после ампутации ноги и руки — ему не было тогда и двадцати пяти — был направлен в монастырь на должность садовника и второго привратника и наверняка многое знал о визитах Лени. Побеседовать с ним удалось, однако, лишь дважды, ибо после второй беседы он был переведен в другую обитель в низовьях Рейна, а когда авт. попытался встретиться с ним там, оказалось, что его и оттуда перевели, и одна из монахинь, весьма энергичная особа сорока пяти лет по имени Сапиенция, довольно недвусмысленно дала понять авт., что орден не обязан ни перед кем отчитываться в своей кадровой политике. Поскольку исчезновение Шойкенса почти точно совпадает по времени с отказом сестры Цецилии принять авт. для четвертой беседы — когда речь должна была пойти исключительно о Рахили, — то авт. подозревает, что тому есть тайные причины, и даже успел выяснить, какие именно: орден пытается создать культ Рахили, а возможно, даже подготовить почву для ее канонизации или причисления к лику святых, и в этой связи появление всяких «шпиков» (имеется в виду авт.), а тем более самой Лени, является крайне нежелательным. Пока Шойкенс еще имел возможность беседовать с авт. — а он ее имел только потому, что монахини не предполагали, о чем идет разговор, — авт. успел записать с его слов следующее: до середины 1942 года он тайком пропускал Лени к Рахили по два или три раза в неделю; она проходила на территорию монастыря через привратницкую, где он и жил, а «уж там она сама знала, где что». Лотта, которая всегда была «не очень-то высокого мнения об этой мистической и таинственной монахине», ничего не может сообщить по этому вопросу, а Маргарет, очевидно, узнала от Лени только уже о смерти Рахили. «Она угасла, — сказала она мне, — умерла от голода, хотя в последнее время я каждый раз приносила ей что-нибудь из еды, и когда она умерла, они закопали ее в саду, просто так, без надгробья и всего остального; придя к ним, я сразу почувствовала, что ее уже нет, а Шойкенс мне сказал: «Уже нет смысла, фройляйн, нет смысла... Не станете же вы раскапывать руками землю?»

Тогда я пошла к настоятельнице и решительно потребовала рассказать, что случилось с Рахилью, но мне ответили, мол, уехала, а когда я спросила, куда, настоятельница вдруг перепугалась и сказала: «Дитя мое, в своем ли вы уме?» «Слава богу,— продолжала Маргарет,— слава богу, что я больше не ездила с Лени в монастырь и что мне удалось удержать ее от объявления в газетах; это могло бы плохо кончиться — для Лени, для монахинь, для всех. Вот этого «Господь близко, Господь близко» мне вполне хватило. Как только подумаю — а вдруг бы Он и в самом деле вошел?..» (Тут даже Маргарет перекрестилась.)

«Ну, я, понятное дело, ломал себе голову (во время последней беседы с авт. Шойкенс еще был словоохотлив), что это за дамочка такая — и сама шикарная, и машина шик-блеск; ну, думаю, не иначе — жена или любовница какого-нибудь партийного бонзы: кто тогда мог раскатывать на собственной машине? Только партийные шишки да промышленные тузы.

Я, конечно, никому ни слова; тайком впускал ее в сад через мой домик и таким же манером выпускал; но все равно дознались, потому как у той монахини, что жила под крышей, нашли чинарики, да и табачным дымом пахло; а один раз уполномоченный по противоздушной обороне поднял шум — мол, видел в одном окне свет. А откуда ему быть? Только от спичек, они же обе курили там, на верхотуре. Когда кругом темно, горящую спичку за много километров видать. Ну, был скандал, и ту доходягу загнали в подвал. (Доходягу?) Ну, ту щуплую старушку монахиню, я ее и видел-то всего раз, когда она вниз перебиралась; только и вещей у нее было что скамеечка для молитвы да кровать, даже распятие не захотела взять с собой, там оставила, еще сказала: «Нет, это не Он, нет, не Он». Жутко мне стало. Но шикарная блондинка все равно к ней приезжала, упорная такая, скажу я вам, все уговаривала меня, чтоб я ей помог тайком умыкнуть старушку. Хотела просто взять и увезти ее на машине. Ну, тут я, конечно, сделал глупость, взял, что она мне совала,— сигареты, масло, кофе — и стал по-прежнему пускать ее в монастырь, и в подвал тоже. Там, по крайности, не видать, когда они курят, окно-то ниже пола часовни. Ну вот, а потом та монахиня умерла, и мы честь-честью похоронили ее на маленьком

кладбище в саду. (То есть и гроб был, и священник, и крест на могиле?) Гроб был, а священника и креста не было. И я сам слышал, как настоятельница сказала: «Теперь, по крайней мере, не будет больше неприятностей из-за этой проклятой карточки на табак».

А теперь о Шойкенсе. Впечатление он производил не очень приятное, но его болтливость внушила авт. надежды, которые, в конечном счете, не оправдались; рассказы болтунов могут быть источником ценной информации, только если их слушаешь подолгу и есть возможность уловить момент, когда они начинают «раскалываться»; и Шойкенс ведь уже начал раскалываться, но тут его насильственно разлучили с авт., и даже приветливая сестра Цецилия — у авт. создалось впечатление, что симпатия у них взаимная — круто изменилась к нему; этот источник информации тоже иссяк.

Совершенно ясно, что на рубеже 1941—42 годов молчаливость и скрытность Лени достигли своего апогея. К Пфайферам она открыто выказывала пренебрежение и просто-напросто выходила из комнаты, как только те появлялись. Эти их визиты, их приторная заботливость по отношению к Лени ввели в заблуждение даже такую трезвую особу, как ван Доорн, и она лишь через полтора месяца поняла, чем была вызвана эта заботливость: они не только проверяли, ведет ли себя Лени как полагается вдове, нет, они загорелись надеждой получить наследника. Только через полтора месяца после смерти А., то есть к тому моменту, когда «величавая скорбь» старого Пфайфера «дошла до того, что от этой самой величавости и скорби он готов был волочить и вторую ногу — уж не помню точно, какая у него была здоровая: левая или правая; да только надо же было иметь хоть одну здоровую, не мог же он волочить обе, верно? Ну и вот, значит, притаскивались без конца с этими своими противными клеклыми пирогами, а никто к ним не выходил — ни госпожа Груйтен, ни Лени или ее отец, ни, тем паче, Лотта, — она вообще всю эту семейку на дух не выносила; вот они и торчали у меня на кухне, и честно вам признаюсь, что думала, будто их расспросы — «не изменилось ли что у Лени» — относятся только к ее вдовству: не завела ли, мол, себе ухажера и прочее; никак до меня не доходило, что им надо, пока не сообразила: им надо порываться в грязном белье Лени. Вот что им надо было

выяснить. Ну, а уж раскусив, я нарочно поводила их за нос — намекнула: мол, да, Лени сильно изменилась; уж тут они накинулись на меня, как ястребы, и стали допытываться — как изменилась, *в чем*, а я им этак спокойно и говорю: душой она изменилась, вот в чем; ну, они и убралась восвояси. А через восемь недель Тольцемша — я ее так называю, потому как мы на «ты», ведь мы все родом из одной деревни — не выдержала и уже готова была прямо спросить, то есть у самой Лени; тут уж у меня терпение лопнуло, и я сказала: «Говорю вам как на духу, наследником и не пахнет». Уж как им хотелось, чтоб у нас в доме завелся отпрыск Пфайферов. Самое смешное, что и Губерт тоже проявлял к этому делу интерес — конечно, не так настырно, скорее с грустью, — ему небось хотелось иметь внука, пускай даже от *этого*. Ну, внука он в конце концов заимел, и мальчик даже носил его фамилию».

Здесь авт. попадает в затруднительное положение и вновь обращается к энциклопедии, пытаясь выяснить, в чем суть расхожего понятия «невинность» — свойства, видимо, присущего Лени. О «вине» довольно подробно говорится, разъясняется, что в юридическом смысле понятие вины включает и умысел, и неосторожность, а иногда также мотив, цель и т. д. Потом идут дефиниции разных других понятий на букву «в», причем слову «винный» (см.— Винный камень, Винная кислота, Винные пары, Винный спирт, Винная ягода) уделено особенно много места, раза в три больше, чем Сл., П., С₁ и С₂, Б₁ и Б₂, вместе взятым. И ни единого слова о невинности, она вообще не упоминается. Проклятье, да что же это такое? Неужели все винное нам, немцам, важнее, чем смех и слезы, боль, страдание и блаженство? Сам факт отсутствия в энциклопедии этого понятия весьма прискорбен, без научного определения нам трудно будет в нем разобраться. Значит, наука опять отказывается нам помочь? Но, может быть, достаточно будет просто сказать, что все, что Лени делала, она делала без всякого злого умысла, невинно, и не пытаться дать научное обоснование этого понятия? А без него невозможно понять, что такое Лени, Лени, к которой авт. питает нежные чувства. К тому же, помимо всего прочего, вскоре — примерно через год, когда Лени исполнится

двадцать один, — у нас будет возможность доказать, что ей отнюдь не чужд и здравый смысл.

Что же представляла собой в описываемую пору эта «шикарная блондинка», которая в разгар войны разъезжает на шикарной машине и подкупает болтливых садовников (которые, вероятно, пытались приставать к ней в темном монастырском саду), чтобы только пронести кофе, хлеб и сигареты некоей отринутой всеми монашке, явно осужденной на угасание, и которая не проявляет ни малейшего испуга, когда та, уставясь на дверь, говорит: «Господь близко, Господь близко», а про распятие — «Это не Он»? Эта блондинка танцует, в то время как другие умирают геройской смертью, ходит в кино, когда кругом падают бомбы, отдается парню, мягко выражаясь, не внушающему особой симпатии, выходит за него замуж, служит в конторе, играет на рояле, не соглашается занять высокую должность в фирме отца и, хотя на фронте гибнет все больше и больше людей, продолжает ходить в кино и смотрит такие фильмы, как «Великий король» и «Небесные псы». Авт. известны лишь несколько ее доподлинных высказываний, относящихся к этим двум годам. Правда, кое-что удалось узнать от других лиц, но можно ли им верить до конца? Так, авт. узнал, что иногда Лени заставляли в ее комнате удивленно разглядывающей свое собственное удостоверение личности, где значилось: «Елена Мария Пфайфер, урожд. Груйтен, род. 17.8.1922». А Мария ван Доорн утверждает, что волосы Лени к этому времени вновь обретают былую красоту и что Лени ненавидела (в числе многого другого, разумеется) войну, как до войны ненавидела воскресенье, потому что по воскресеньям не бывало свежих булочек.

Разве она не замечает странно благодушного настроения своего отца, который теперь, «элегантный с головы до ног» (Лотта), большую часть дня проводит всякие «совещания» у себя в кабинете? Теперь он только «директор по планированию», не владелец, даже не совладелец фирмы и получает всего лишь «довольно высокий твердый оклад плюс расходы на представительство».

Передают, что ничего, кроме презрения, да и то выраженного лишь поджатием губ и движением бровей, не вызвала в Лени весть о том, что ее свекор домогается не только почетного Креста за фронтовые заслуги, но и Железного креста II степени за участие в сражении двадцатитрехлетней давности и что в связи с этим «про-

жужжал все уши» своему другу Груйтену,— дескать, тот встречается по делам и с генералами и мог бы подействовать ему получить желаемые награды. А между тем ни один врач так и не обнаружил осколка снаряда «величиной с булавочную головку», из-за которого Пфайфер все эти годы волочил «пропашную ногу». Разве она не замечает, что Пфайферы подкапываются под нее,— ведь это они составляют от ее имени прошение о вдовьей пенсии, которое она и подписывает, не замечает, что с 1.7.1941 года ей назначена пенсия в шестьдесят шесть марок — разумеется, с выплатой соответствующей суммы за истекшие месяцы — и что эти деньги поступают на ее банковский счет? Для чего Пфайферы это сделали? Только ли для того, чтобы через тридцать лет жестоко отомстить Лени с помощью своего второго сына, Генриха, в общем-то довольно милого парня (он не волочит ногу, ее отняли), который в один прекрасный день попрекнет ее тем, что она за тридцать лет заработала на фамилии Пфайфер круглым счетом сорок, а то и пятьдесят тысяч марок, поскольку все это время «прикарманивала» вдовью пенсию, неоднократно повышавшуюся — правда, и колебавшуюся в зависимости от ее собственного заработка,— а потом, со злости на самого себя за то, что зашел так далеко, а может быть, и из ревности, ибо с первого дня был тайно влюблен в Лени (предположение авт., не подтвержденное ни одним свидетелем), еще и бросит ей в лицо в присутствии свидетелей (Ганса и Греты Хельцен): «А ты-то чем заслужила эти пятьдесят тысяч? Тем, что один раз переспала с ним в кустах, а во второй раз... Ну, да ладно, все равно все про это знают,— во второй раз ему, бедняге, уже пришлось тебя умолять; а через неделю он погиб, оставив тебе незапятнанное имя, в то время как ты... в то время как ты...» Один-единственный взгляд Лени заставляет его умолкнуть.

Считает ли Лени себя шлюхой после того, как ей «бросили в лицо», что она получила пятьдесят тысяч марок за два раза близости с мужчиной, в то время как она... в то время как она... Что — она?

Лени не только избегает ходить на службу, она почти не переступает порога фирмы и признается Лотте Х., что ее «тошнит от одного вида этих куч новеньких банкнотов». Ей удается уберечь машину от опасности новой кон-

фискации, но пользуется она ей лишь для того, чтобы «покататься по окрестностям», правда, теперь все чаще в обществе матери, и они «часами сидят в уютных кафе и ресторанчиках, обычно на берегу Рейна, улыбаются друг другу, любят парходиками, курят». В этот период всех Груйтенов отличает «странно благодушное настроение, от которого окружающих просто жуть брала» (Лотта Х.). Госпоже Груйтен поставлен окончательный диагноз, оставляющий мало надежды на выздоровление: рассеянный склероз, все быстрее приближающий ее к завершающей стадии. Лени на руках носит мать к машине и выносит из машины; госпожа Груйтен уже ничего не читает, даже Йейтса, лишь изредка «перебирает четки» (ван Доорн), но не испытывает никакой потребности в «утешении церкви».

Этот период в жизни Груйтенов — от начала сорок второго до начала сорок третьего — все свидетели в один голос называют «самым роскошным». «Они беззастенчиво, вот именно беззастенчиво — я повторяю это слово, чтобы вы лучше поняли, почему я нынче обращаюсь с Лени не то чтобы жестко, но и не слишком мягко, — пользовались всем, что можно было купить на черном рынке Европы. Ну, а потом раскрылась эта ужасная история; я и теперь не понимаю, зачем Губерт ее затеял. Никакой нужды в этом не было. Действительно никакой» (М. в. Д.).

«История» эта раскрылась благодаря совершенно абсурдной случайности чисто литературного свойства. Груйтен назвал ее позже «блокнотным предприятием»; это означало, что все документы содержались в его бумажнике, а все записи — в блокноте, с которым он никогда не расставался. Почтовым адресом «предприятия» служил адрес его конторы, но он никого из служащих в это дело не посвятил, никого не втянул, даже своего друга и главного бухгалтера Хойзера. Дело было рискованное, ставки в игре высокие, а ведь Груйтена, как уже было показано, интересовали не столько ставки, сколько сама игра; вероятно, до сего дня его «поняла» одна только Лени, а еще раньше — его жена, а также — хоть и с оговорками — Лотта Х., которая понимала многое, почти все, только не эту «чертову игру со смертью, — ведь это же было самоубийство чистой воды, и ради чего? Уж не ради денег — их он раздавал направо

и налево пачками, кучами, кипами! Все это было так бессмысленно, так безумно, что отдавало каким-то абстрактным нигилизмом».

Специально ради этой игры Г. основал в маленьком городке километрах в шестидесяти от дома некую фирму, которую он назвал «Шлемм и сын». Он раздобыл фальшивые документы и фиктивные заказы с поддельными подписями («Достать бланки ему ничего не стоило, а на подписи ему всегда было наплевать: в годы кризиса между двадцать девятым и тридцать третьим он иногда на векселях даже подделывал подпись своей жены, говоря при этом: «Она ведь все поймет, зачем же волновать ее *заранее*» (Хойзер-ст.).

Эта игра, то есть эта «история», продолжалась все же не то восемь, не то девять месяцев и среди строителей прославилась как «афера с мертвыми душами». Ужасающий скандал, который в конце концов разразился, был вызван «блокнотной игрой с абстрактными цифрами» (Лотта Х.). В блокноте Груйтена фигурировали огромные массы цемента, оплаченного, даже полученного, но потом сбытого на черном рынке, числилась целая когорта оплачиваемых, но не существующих «иностранных рабочих», а также множество архитекторов, прорабов, бригадиров, даже обслуживающего персонала столовых, поварих и т. д., существовавших лишь на бумаге, в блокноте Груйтена. Все документы были в наличии — и акты о приемке готовых объектов с подлинными подписями, и банковские счета, и выписки из счетов, в общем, «по бумагам на фирме все было в полном порядке,— вернее, так казалось» (д-р Шольсдорф, выступление на суде).

Этого Шольсдорфа, которому в то время был всего тридцать один год, признали негодным к службе в армии все медкомиссии, даже самые строгие, причем он не прибегал ни к каким хитрым уловкам («Я бы и уловками не побрезговал, просто нужды не было»), хотя никакого органического недуга у него не было; просто он производил впечатление человека до того хилого, чувствительного и нервного, что никто не хотел рисковать, а это само по себе кое-что значит, если вспомнить, что еще в 1965 году члены медкомиссий, немецкие врачи, «с удовольствием прописали бы курс лечения «Сталинград» молодым людям с лишним жирком. Тем не менее, чтобы «закрепить этот успех», один университетский товарищ

Ш., занимавший важное «кресло», направил его на работу в отдел финансов того самого маленького городка, и Ш., как ни странно, так быстро и так досконально освоил эту совершенно новую для него область, что уже через год стал в этом отделе «не просто необходимым, а прямо-таки незаменимым сотрудником» (финансовый советник в отставке д-р Крайпф, бывший начальник Шольсдорфа, которого авт. разыскал в урологическом санатории). Далее Крайпф показал: «Будучи по образованию филологом, он, тем не менее, не только прекрасно умел считать, но и удивительно тонко разбирался в сложнейших финансовых и бухгалтерских операциях и легко обнаруживал всевозможные махинации, причем как бы вопреки его истинному призванию». «Истинным призванием» Шольсдорфа была славистика, которая и по сей день осталась его страстью, в особенности русская литература XIX века. «И хотя мне тогда делали немало заманчивых предложений для работы переводчиком, я предпочел остаться в финансовом отделе — разве лучше было бы переводить на русский язык тот унтер-офицерский или даже генеральский жаргон, на котором тогда все говорили? Неужели профанировать святое для меня дело, составляя краткие разговорники для допросов военнопленных? Нет, ни за что!»

Проводя самую обычную периодическую ревизию финансовых документов фирмы «Шлемм и сын» и не найдя в них никаких, абсолютно никаких нарушений, он лишь случайно заглянул в платежные ведомости — и тут «насторожился — да что я говорю — я просто был возмущен до глубины души, ибо наткнулся на имена, которые были мне не только знакомы, но и дороги». Справедливости ради надо здесь отметить, что в душе Ш. таились кое-какие мстительные чувства — разумеется, не лично к Г., а вообще ко всем строительным бонзам. Дело в том, что еще раньше он работал какое-то время счетоводом в одной строительной фирме, куда его рекомендовал уже упомянутый влиятельный друг; а поскольку там тоже вскоре обнаружили его великий талант по части цифр и чисел, то его похвалили и постарались побыстрее куда-нибудь сплавить, поскольку ни одна строительная фирма не заинтересована в том, чтобы в ее бухгалтерских книгах копались с такой дотошностью, какой от филолога и ожидать-то было нельзя. В своей почти фантастической наивности Ш. полагал, что фирмам на самом деле важно то, чего они в действительности боль-

ше всего боялись: точного учета и обзора своей хозяйственной деятельности. Они взяли на работу какого-то чудака не от мира сего, какого-то одержимого филолога — «и взяли-то из жалости, чтобы только подкормить и спасти от солдатчины (господин Флакс, глава строительной фирмы, носящей его имя и поныне процветающей), а этот задохлик оказался настырнее любого ревизора. Для нас это было слишком рискованно».

И вот Шольсдорф, который мог точно сказать, сколько квадратных метров было в каморке Раскольников и по скольким ступенькам лестницы он спускался, чтобы выйти на улицу, вдруг наткнулся в списке на рабочего по фамилии Раскольников, где-то в Дании месившего бетон для фирмы «Шлемм и сын» и обедавшего в столовой этой фирмы. Ничего еще не заподозрив, но уже «очень разволновавшись», он наткнулся на фамилии Свидригайлова и Разумихина, наконец обнаружил Чичикова, Собакевича и Гончарова, побледнел, а потом и задрожал от возмущения, увидев в числе нищенски оплачиваемых рабов-военнопленных еще и Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Даже Толстого не постеснялись туда вписать. Здесь пора внести некоторую ясность: д-ра Шольсдорфа ничуть не заботила так называемая «незапятнанность германской военной экономики» и прочая чепуха, на такие вещи ему было «в высшей степени наплевать»; его педантизм в финансовых вопросах был всего лишь вариантом того педантизма, с которым он влюбленно изучал и интерпретировал всю русскую литературу XIX века (гипотеза авт., который часто и подолгу беседовал с д-ром Ш. вплоть до недавнего времени и, вероятно, часто будет беседовать с ним и впредь). «Я обнаружил, к примеру, что в этой ведомости начисто отсутствовали Чехов и Тургенев, равно как и все их герои, и я мог бы вам тогда же сказать, кто именно мог составить этот список: это был не кто иной, как мой однокурсник доктор Хенгес, пьяница и вообще опустившийся тип, но страстный поклонник Тургенева и особенно Чехова, хотя у этих авторов, на мой взгляд, не так уж много общего; правда, я сам — должен честно признаться — во время учебы в университете недооценивал Чехова, очень сильно недооценивал». Авт. убедился, что Ш. никогда ни на кого не доносил, также и в этом случае не донес. «Я считал это слишком опасным, хотя ненавижу всякую непорядочность, а жуликов просто презираю; тем не менее, обнаружив какие-то злоупотребления, я никогда

не докладывал по начальству, а просто вызывал к себе обманщиков, брал их в оборот и требовал, чтобы они возместили недостающие суммы; и, поскольку в моем отделе именно у меня оказывалось наибольшее количество таких случаев, я был на хорошем счету у Крайпфа. Только и всего. Но доносить... Ведь я знал, в какую адскую машину юстиции попадут люди по моему доносу, а этого я не желал никому, даже жуликам и махинаторам. Видите ли, в ту пору приговаривали к смерти за пару украденных свитеров, так-то вот; но на этот раз я не выдержал, меня просто взорвало: Лермонтов — подневольный немецкой строительной индустрии в Дании! Пушкин, Толстой, Разумихин и Чичиков месят бетон и хлебают баланду! Гончаров с Обломовым копают землю лопатами!»

Шольсдорфу, который в скором времени собирается уйти на пенсию в чине обер-регирунгсрата и по-прежнему увлекается русской литературой, в том числе и современной, впоследствии даже представился случай не просто извиниться перед Груйтеном, но и щедро возместить невольно нанесенные им убытки: благодаря занятиям с Ш. внук Груйтена Лев, сын Лени, блестяще овладел русским языком, и если теперь у Лени в комнате иногда появляются цветы (которые она по-прежнему любит, хотя в течение двадцати семи лет равнодушно перебирала их, словно горох или крупу), то это — цветы от доктора Шольсдорфа! В настоящее время Шольсдорф увлекается стихами Ахмадулиной. «Само собой, я и в тот раз не стал докладывать по начальству, а сперва написал письмо примерно следующего содержания: «Вынужден просить Вас немедленно явиться ко мне по срочному делу, не терпящему отлагательства». Потом напомнил еще раз, другой, третий, попытался разыскать Хенгеса — все тщетно. «И поскольку у нас в отделе тоже периодически проводились ревизии, у меня нашли эти повестки и тут же произвели дознание по делу фирмы «Шлемм и сын». А потом... Потом колесо закрутилось».

Ш. был главным свидетелем обвинения на судебном процессе, занявшем всего два дня, поскольку Груйтеновский без долгих разговоров признал себя виновным; держался он спокойно и пришел в некоторое замешательство только однажды: когда суд потребовал назвать «источник имен» («Вы только подумайте — «источник имен», — Шольсдорф), ибо и Ш., который отлично знал этот «источник», его не выдал. На второй день судебного

заседания ученый-славист, специально приглашенный из Берлина в качестве эксперта, примерно три часа экзаменовал Груйтена, поскольку тот утверждал, что вычитал эти имена из книг; было доказано, что тот не читал ни одной русской книги и вряд ли прочел хотя бы одну немецкую, даже «Майн Кампф» (Шольсдорф), и «тут выплыл Хенгес». Но выдал его не Груйтен, его наконец разыскал Шольсдорф. «Оказалось, что он в чине зондерфюрера работал на армию: заставлял военнопленных выдавать военные тайны. И этим занимался человек, который вполне мог бы получить мировое признание как выдающийся специалист по Чехову!»

Хенгес добровольно явился в суд в мундире зондерфюрера, который «плохо на нем сидел, да и был не совсем по размеру, он носил его всего месяц» (Ш.). Хенгес признался, что составил для Груйтена по его просьбе список русских имен, только умолчал, что за каждое имя получил по десять марок. Он заранее обсудил этот момент с адвокатом Груйтена и заявил тому: «Сейчас я просто не могу себе этого позволить — понимаете?» После чего и сам Груйтен, и его защитник не стали упоминать на суде об этой неприятной детали, но Хенгес сам сообщил о ней Шольсдорфу в ближайшей закусочной, где они продолжили перепалку, начавшуюся прямо в зале заседаний, в ходе которой выведенный из себя Шольсдорф крикнул в лицо Хенгесу: «Всех, всех ты предал, кроме своих любимцев — Чехова и Тургенева!» Разумеется, прокурор прекратил эти «препирательства насчет русских имен».

Мораль этого вставного эпизода ясна: владельцам строительных предприятий, желающим завести фиктивные платежные ведомости, следует иметь литературное образование, а финансовые служащие с литературным образованием могут оказаться чрезвычайно полезными и незаменимыми для государства.

На этом процессе был только один обвиняемый — Груйтен. Он признал себя виновным решительно во всем, но усугубил свою вину, отказавшись признать в качестве мотива преступления жажду наживы; на вопрос, что же толкнуло его на этот путь, он отказался отвечать; на вопрос, не был ли целью саботаж, ответил отрицательно. Лени, которую впоследствии тоже не раз спрашивали о мотивах отца, бормотала что-то невразумительное

о «мести». (Мести за что? Авт.) Груйтен едва избежал смертной казни, и только благодаря энергичному вмешательству «весьма и весьма влиятельных друзей, которые выдвинули в качестве смягчающего вину обстоятельства бесспорные заслуги Груйтена перед военно-строительной промышленностью Германии» (согласно показаниям Х.-ст.), Груйтена приговорили к пожизненному заключению в тюрьме особо строгого режима с конфискацией всего имущества. Лени тоже дважды вызывали в суд, но ввиду явной непричастности к делу отпустили; непричастными были признаны также Хойзер, Лотта, равно как и все друзья и сотрудники Груйтена. Конфискации не подвергся лишь доходный дом, в котором родилась Лени. Этим она всецело обязана «в остальном весьма безжалостному прокурору», который просил учесть «тяжкий удар судьбы, постигший Лени, вдову фронтовика, а также ее полную невиновность» и в отвратительно высокопарных выражениях еще раз «напомнил» о героических подвигах А. (Лотта Х.); он причислил к моральным достоинствам Лени даже ее членство в нацистской организации для девушек. «Высокий суд, было бы несправедливо лишать последнего достояния смертельно больную мать (имелась в виду госпожа Груйтен), потерявшую на войне сына и зятя, и эту мужественную молодую немецкую женщину, в безупречности морального облика которой мы убедились, тем более что достояние это принесено в семью не обвиняемым, а его супругой».

Госпожа Груйтен не пережила скандала. Поскольку она была не транспортабельна, ее несколько раз допрашивали в постели, но «ей и этого хватило» (ван Доорн). «И она не очень-то горевала, прощаясь с жизнью. В конечном счете, она была все же очень порядочная и мужественная женщина. Ей бы очень хотелось сказать последнее «прости» Губерту, но это было уже невозможно, и мы тихо и скромно похоронили ее. Конечно, по церковному обряду».

Теперь Лени двадцать один год; машины у нее, естественно, нет, она считает необходимым уволиться с фирмы отца, который покамест неизвестно где. Убита она всем случившимся или не очень? Что случилось с «шикарной блондинкой», раскатывавшей в шикарном автомобиле, у которой на третьем году войны, судя по всему, только и дела было, что играть на рояле, читать больной

матери вслух ирландские сказки да навещать умирающую монахиню; которая, можно сказать, дважды овдовела, не выказывая при этом мало-мальской скорби, а потом теряет мать, в то время как отец обретается где-то в неизвестности? Авт. знает лишь несколько откровенных высказываний Лени той поры. Но впечатление, которое она тогда производила на всех, кто поддерживал с ней близкие отношения, для него полная неожиданность. Лотта говорит, что «Лени как будто почувствовала облегчение», ван Доорн утверждает, что у Лени «словно камень с души свалился», а старый Хойзер формулирует свое впечатление так: «Ей как будто стало свободнее дышать». Это «как будто», дважды повторенное в высказываниях свидетелей, само по себе, конечно, маловыразительное, все же приоткрывает для фантазии авт. некоторую щелку, дающую ему возможность заглянуть в скрытый от посторонних мир Лени. Маргарет выразилась на этот счет так: «Подавленной она не казалась, наоборот, у меня было впечатление, что она опять ожилилась или ожила. На нее сильнее подействовало загадочное исчезновение Рахили, чем смерть матери и суд над отцом». Объективно же произошло следующее: Лени обязали отбывать трудовую повинность; однако благодаря вмешательству некоего высокого покровителя, действовавшего «за сценой» и «нажавшего на кое-какие рычаги», Лени попала в садоводство, где ее посадили плести венки; покровитель и теперь пожелал остаться инкогнито. Однако авт. его имя известно.

V

Люди, родившиеся позже, могут спросить: почему в 1942/43 годах венки считались в Германии оборонной продукцией? Отвечу: чтобы похороны происходили по возможности достойно. Конечно, венки тогда не пользовались таким спросом, как сигареты, но тоже относились к разряду дефицита, в этом нет сомнений; кроме того, они были важны и нужны для поддержания бодрости духа в воюющей державе. Даже у государственных учреждений был огромный спрос на венки для жертв бомбежек и для солдат, умерших в госпиталях; а поскольку «иногда люди умирали собственной смертью (Вальтер Пельцер, бывший владелец садоводства и тогдашний шеф Лени, ныне пенсионер, живущий в основ-

ном на доходы от недвижимости) и «за государственный счет по первому и второму разряду хоронили довольно часто высокопоставленных партийных деятелей, крупных промышленников и военных», то все виды венков, «от самого скромного, скупно украшенного, до огромных, как мельничные колеса, и увитых розами» (Вальтер Пельцер), считались оборонной продукцией. Здесь совсем не место отдавать должное государству за его заслуги в организации похорон, однако бесспорным с исторической точки зрения и научно доказанным можно считать тот факт, что похороны случались часто, венков требовалось много, как официальных, так и частных, и что поэтому Пельцеру удалось для своей мастерской по изготовлению венков добиться статуса оборонного предприятия. Чем дальше продвигалась война, то есть чем дольше она продолжалась (авт. намеренно подчеркивает связь между «продвигаться» и «продолжаться»), тем дефицитнее, само собой, становились венки.

Если у «кого-то» существует убеждение, будто плетение венков не бог весть какое искусство, то мы должны будем здесь — хотя бы ради Лени — решительно его опровергнуть. Ведь следует учесть, что различаются мягкие и каркасные формы цветочных венков и что в любом случае должно соблюдаться единство общей конфигурации; что имеются самые разнообразные формы и технологии создания каркасов, что выбор декоративных растений надо увязывать с избранной конфигурацией венка; что существует девять основных видов зелени, идущей в основание венка, и двадцать четыре — для его отделки, сорок два вида растений для отдельных пучков, а еще восемь — для букетиков (те и другие «втыкаются» в венок), а еще двадцать девять видов растений идут на так называемые «римские» венки, всего набирается сто двенадцать видов зелени для венков, и хотя способы использования всех этих видов иногда совпадают, все же остается пять четко очерченных категорий использования и сложная система их частичных совмещений, то есть когда тот или иной вид зелени может использоваться как для скрепления венка, так и для окончательной отделки, как для «втыкания» (эта зелень, в свою очередь, подразделяется на пучки и на букетики), так и для «римских» венков. В общем, и здесь, как и в любом деле, действует общее правило: надо знать — когда, что, куда и как. Разве тот, кто считает плетение венков пустяко-

вым занятием, знает, когда еловый лапник надо вплетать в основание венка, а когда использовать для отделки? Или: где и когда следует использовать тую, исландский мох, яглицу, магонию или тсугу? Разве он знает, что во всех случаях в зелени не должно быть просветов, а темп изготовления венков при любых обстоятельствах должен быть высоким? Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что Лени, которая до тех пор выполняла лишь легкую канцелярскую работу, да и то не систематически, выпала теперь далеко не легкая доля; оказавшись в своего рода художественной мастерской, она занялась нелегко поддающимся освоению ремеслом.

Быть может, не стоит упоминать, что так называемый «римский» венок некоторое время был в загоне, а так называемый «германский», наоборот, выдвинулся на передний план, что споры по этому поводу прекратились, как только образовалась ось Берлин—Рим и Муссолини довольно резко выступил против дискредитации римского венка; что до середины июля сорок третьего года в Германии спокойно плели римские венки, но потом из-за предательства итальянцев окончательно от них отказались (комментарий одного довольного крупного нацистского бонзы: «В нашей стране отныне не будет ничего римского — даже венков»). Вдумчивый читатель, конечно, уже понял, что в экстремальных политических ситуациях даже плетение венков может оказаться небезопасным занятием. А поскольку римский венок возник как подражание высеченным в камне декоративным венкам, украшавшим древнеримские фасады, то категорический запрет на них получил даже идеологическое обоснование: этот венок был объявлен «мертвым», а все остальные виды венков — «живыми». Вальтер Пельцер, важный свидетель жизни Лени в тот период — (несмотря на свою неважную репутацию), — весьма убедительно доказал, что в конце сорок третьего — начале сорок четвертого «завистники и конкуренты» донесли на него в Ремесленную палату и что против его фамилии появилась «опасная для его жизни» пометка: «по-прежнему плетет римские венки» (Пельцер). «Черт возьми, в то время это могло стоить головы» (Пельцер). Конечно, после 1945 года, когда темное прошлое Пельцера стало предметом обсуждения, он постарался выдать себя — и «не только из-за венков» — за «лицо, подвергавшееся

политическим преследованиям при нацизме», что ему и удалось — к сожалению, как авт. вынужден отметить, — не без помощи Лени. «Ведь эти венки, из-за которых тогда разгорелся сыр-бор, изобрела сама Лени — я хочу сказать, Лени Пфайфер. Ее упругие и гладкие вересковые венки казались сделанными из эмали и — можете мне поверить — пользовались большим спросом у заказчиков. С римскими венками они не имели ничего общего, их изобрела Лени Пфайфер. Но мне это дело чуть не стоило головы, потому что их сочли вариантом римского венка».

На лице семидесятилетнего Пельцера, ушедшего на покой и живущего на доходы от недвижимости, проступил неподдельный страх; он даже отложил в сторону сигару, видимо опасаясь приступа кашля. «И вообще — чего я только для нее не делал, как только не покрывал! А ведь это было куда опаснее, чем подозрение в пристрастии к римским венкам!»

Из десяти человек, с которыми Лени в течение долгого времени ежедневно трудилась бок о бок, авт. удалось разыскать пятерых, в том числе самого Пельцера и его старшего садовника Грундча. Если считать Пельцера и Грундча начальниками Лени, что соответствует действительности, то из восьми остальных, находившихся примерно в том же положении, что и Лени, авт. нашел троих.

Собственный дом Пельцера представляет собой некое архитектурное сооружение, которое он сам скромно именуется «коттеджем», но которое на самом деле больше смахивает на роскошную виллу (слово «вилла» он, в отличие от Груйтена, произносит правильно). Дом облицован желтым клинкерным кирпичом и только кажется одноэтажным (в полуподвальном этаже находится шикарный бар, большой зал, где Пельцер устроил своеобразный музей венков, — это его хобби, — комната для гостей и винный погреб с великолепным набором вин). Преобладающим цветом в доме, наряду с желтым (клинкерный кирпич), является черный: в черное выкрашены решетки, двери, ворота гаража, оконные рамы. Невольно возникающая ассоциация с колумбарием кажется авт. не лишенной оснований. Пельцер живет здесь с женой, довольно меланхоличной особой по имени Ева, урожд. Прумтель: ей лет шестьдесят пять, ее миловидное лицо портит выражение какой-то горечи.

Альберт Грундч — ему теперь восемьдесят — все еще живет, «забившись в свою нору на кладбище» (Г. о Г.), в каменном (кирпичном) сарае, оборудованном под квартиру из двух комнат с кухней, откуда рукой подать до принадлежащих ему двух теплиц. Грундч, в отличие от Пельцера, не нажился на расширении кладбища (да и не хотел наживаться, надо добавить) и обеими руками держится за «теплицы площадью в один морген, которые я ему в свое время по глупости подарил» (Пельцер). «Откровенно говоря, городской отдел парков и кладбищ облегченно вздохнет, когда старик заг... пом... Ну, в общем, когда он отправится в мир иной, скажем так».

Посреди кладбища, давно поглотившего не только несколько гектаров пельцеровского садоводства, но и другие садоводства и гранильные мастерские, Грундч живет почти в полной независимости от остального мира: пенсию по инвалидности он получает («Я же ее ему и выбил». П.), за квартиру не платит, табак и овощи для себя выращивает сам, а поскольку он вегетарианец, то ему почти ничего не приходится покупать; проблем с одеждой у него тоже, можно сказать, нет: он все еще донашивает штаны Груйтена, сшитые на заказ еще в 1937 году и подаренные Лени Грундчу в 1944. Теперь он (Г. о Г.) «полностью переключился на продажу цветов в горшках к соответствующим праздникам (гортензии — на Красную горку, цикламены и незабудки — ко Дню матери, маленькие елочки в горшочках, украшенные лентами и свечечками, — к Рождеству; такие елочки ставят на могилах. «Чего только люди не притаскивают на могилы — уму непостижимо»).

У авт. сложилось впечатление, что городскому отделу парков и кладбищ придется еще немного подождать, если он и в самом деле рассчитывает на скорую кончину Г. Он совсем не «сидит безвылазно у себя дома или в теплицах», как о нем говорят (рабочие городского отдела зеленых насаждений), а использует территорию кладбища, сильно расширившуюся за истекшее время, как свой собственный парк: «После закрытия, когда прозвенит звонок, — это происходит довольно рано, — я совершаю далекие прогулки; присаживаюсь где-нибудь на скамейку, выкуриваю трубочку, под настроение иногда привожу в порядок запущенную или вовсе заброшенную могилку, устилаю ее чем-нибудь подходящим — мхом или лапником, иногда кладу сверху цветок, и поверите ли, ни разу еще никого не встретил, если не

считать нескольких воришек, пробравшихся на кладбище за изделиями из цветных металлов; бывает — правда, редко,— что люди от горя теряют голову и никак не могут поверить, что мертвый и впрямь мертв; эти перелезают через ограду, чтобы и ночью плакать на могиле, проклинать все на свете, молиться или просто чего-то ждать. Но за пятьдесят лет таких случаев было два или три, и тут уж я, конечное дело, им не мешал и обходил их стороной. А этак раз в десять лет на кладбище появляется влюбленная парочка, которая понятия не имеет ни о страхе, ни о предрассудках, зато понимает, что вряд ли на всем свете сыщется лучшее местечко для любви, чем кладбище: здесь им никто не помешает. И в этом случае я тоже, конечное дело, удалялся и обходил их стороной. А теперь, честно говоря, я даже не знаю, что происходит в дальних углах кладбища. Но поверьте, здесь и зимой красиво,— падает снежок, и я брожу ночью в валенках и толстой шубе да попыхваю трубочкой, а кругом так тихо-тихо, и покойники все спят себе мирно. Но вот с подружками, едва я, бывало, только заикался о том, чтоб зазвать их в свою халупу, выходили одни неприятности: тут уж ничего не попишешь, скажу я вам. Чем больше я старался их уломать, тем пуще они сволочились, особенно отпетые шлюхи. Никакие деньги не помогали».

Когда авт. заговорил о Лени, Г. даже вроде бы смутился. «Ну как же,— Лени Пфайфер, помню ли я ее? Да разве я мог ее забыть! Наша Лени. Конечно, все мужчины пытались за ней ухлестывать, так или иначе — все, даже наш ловкач Вальтер (имеется в виду Пельцер, которому нынче семьдесят. Авт.), да только всерьез никто не решился. Она была недотрога, к такой на безрогой козе не подъедешь, это я точно знаю; а уж у меня-то, старика,— мне тогда стукнуло пятьдесят с гаком,— тем более никаких шансов не было; из остальных, пожалуй, один только Кремп пытался к ней подступиться — мы его звали «пошляк Гериберт»,— но она его отшила напрочь, обдала таким холодом и презрением, что и он отстал. Какие подзаходы делал Вальтер, не знаю, однако уверен, что и он ничего не добился. А кроме них у нас работали одни женщины — ясное дело, война заставила,— и женщины почти поровну разделились: одни — за, другие — против. Не против нее, а против того русского, про которого мы лишь потом узнали, что он-то и был избранником ее сердца. Вы только поду-

майте: вся эта история длилась почти полтора года, и никто, ни один из нас, ничего такого не заметил: те двое все делали с умом да с оглядкой. Правда, и на карту было поставлено много — две жизни или, уж во всяком случае, полторы. Черт побери, меня даже теперь, задним числом, дрожь пробирает от макушки до задницы, как подумаю, чем эта девушка рисковала. Как она работала? Вы интересуетесь, как она работала? Боюсь, что буду пристрастен, — ведь я ее любил, очень даже любил, как можно любить дочку, которой у тебя никогда не было, а может, и как возлюбленную, которая никогда не будет твоей; все ж таки я был на тридцать три года старше. Ну, так вот. У нее оказался просто врожденный талант, и этим все сказано. Среди нас только двое были садоводами по профессии, а если с Вальтером, то трое, но у того на уме были одни бухгалтерские книги да доходы. Значит, остаются двое: Хёльтхоне — из образованных, в молодости бросалась туда-сюда; романтическая особа, скажу я вам, окончила лицей, училась в университете, а потом вдруг занялась садоводством: дескать, земля, ручной труд и так далее, но и уметь кое-что умела. Вторым был я. А все остальные — садоводству не обучались: и Хойтер, и Кремп, и Шельф, и Кремер, и Ванфт, и Цевен, — почти сплошь женщины, и уже не первой молодости, во всяком случае, ни одну из них не хотелось повалить где-нибудь в укромном уголке между кучей торфа и грудой зелени для венков. Ну, уже за два первых рабочих дня я понял, что эта Пфайфер не сможет делать каркасы, это работа грубая и довольно тяжелая, ее делали три человека — Хойтер, Шельф и Кремп: им просто указывали количество венков, давали кучу веток с листьями в зависимости от наличия, — под конец уже почти ничего не было, кроме дуба, бука и обычной сосны, ну, и размеры венков — обычно стандартные; но для торжественных похорон размеры были особые, мы их сокращенно обозначали буквами B_1 , B_2 и B_3 , что означало: бонза первой, второй и третьей категории. А когда потом выплыло, что у нас для учета в гробу использовались еще и буквы Γ_1 , Γ_2 и Γ_3 , что значило: герои первой, второй и третьей категории, этот дурак Кремп поднял шум, потому как углядел в этом какое-то оскорбление, в том числе и для себя лично, ведь он получился героем второй категории: нога ампутирована, несколько орденов и медалей. Стало быть, Лени в каркасную группу не годилась, это я сразу понял и направил ее в группу

отделки, где она и работала вместе с Кремер и Ванфт. У нее оказался просто-таки природный талант к отделке, скажу я вам, или, если хотите: врожденное мастерство. Вы бы поглядели, как ловко она обращалась с ветками лавровишни или рододендрона, ей можно было доверить самый дорогостоящий материал: у нее ничего не пропало, ничего не ломалось. И она сразу поняла то, чего другие никак не могли взять в толк: главный узел отделки, ее центр, должен находиться в левой верхней четверти венка; тем самым венку придается радостный, можно даже сказать, жизнерадостный вид, он как бы устремлен вверх. Если же поместить центр отделки справа, вид у венка унылый, он как бы валится вниз. И Лени никогда бы не пришло в голову смешивать геометрические формы отделки с растительными, никогда, поверьте. Такая уж она была по натуре: или — или; это было видно даже по тому, как она украшала венки. Правда, от одного пристрастия мне пришлось ее отучать, притом долго и настойчиво: она любила геометрические фигуры — ромбы и треугольники — и однажды, из чистого интереса и наверняка без злого умысла, вплела звезду Давида из маргариток в венок для Б₁! Звезда получилась у нее как бы сама собой, и она, наверное, до сих пор не понимает, почему я так разъярился и прямо-таки набросился на нее: представьте себе, что было бы, если бы никто не заметил и венок в таком виде попал бы на катафалк! А вообще-то заказчики предпочитали причудливые растительные узоры, и Лени прекрасно умела импровизировать: то вплетет маленькую корзиночку, то даже птичку — ну, птичка, конечно, не растение, а все же живое существо; а если для венка какого-нибудь Б₁ требовались розы — наш Вальтер умел доставать и розы, не смотрел, что розы-то благородных сортов и еще все в бутонах,— тут Лени и показывала, на что способна: у нее получались целые жанровые картинки, жаль только, все они были недолговечные; как-то раз изобразила даже крошечный парк с прудом и лебедями. Одно скажу: если бы за украшение венков давали призы, Лени присудили бы их все до одного,— а главное, во всяком случае для Вальтера: с меньшим количеством материала она добивалась большего эффекта, чем другие, расходовавшие много. То есть умела еще и экономить. Потом готовый венок попадал в группу проверки качества, то есть к Хёльтхоне и Цевен, но ни один венок не выходил из мастерской, не пройдя и через мои руки. Хёльтхоне

должна была проверять каркас и отделку и, если надо, кое-что подправлять, а Цевен — мы называли ее «ленточницей» — прикрепляла к венкам ленты, которые присылали заказчики; тут уж, конечно, нужно было глядеть в оба, чтобы, не дай бог, чего не перепутать. К примеру, кто-то заказал венок с надписью «Последний привет Гансу от Генриетты», а получил венок с лентой «Незабвенному Отто от Эмилиии» или наоборот. При том, что венки шли потоком, такая неприятность вполне могла случиться. Ну и, наконец, надо было развезти венки по церквям, госпиталям, военным учреждениям, партийным комитетам и похоронным бюро; для этого у нас был свой транспорт — трехколесная машина-развалюха, и ездил на ней только Вальтер, уж этого удовольствия он не упускал — тут он мог вволю погулять, положить в карман живые денежки и на какое-то время испариться из мастерской.

Поскольку Лени ни Лотте, ни ван Доорн или Маргарет, ни старику Хойзеру или Генриху Пфайферу никогда не жаловалась, что ей трудно работать, следует предположить, что работа и впрямь доставляла ей удовольствие. И тревожили ее, по-видимому, только ссадины, которыми сплошь были покрыты ее пальцы и руки: израсходовав запасы перчаток, оставшихся от отца и матери, она стала спрашивать у всех родственников, нет ли у них «ненужных перчаток».

Возможно, что Лени молча вспоминала покойную мать, вспоминала отца, много думала об Эрхарде и Генрихе, — быть может, даже о покойном Алоисе. Говоря об этом годе, все называют ее «милой, приветливой и очень молчаливой».

Даже Пельцер называет ее молчаливой. «Боже мой, да она вообще рта не открывала! Но все равно была милой, милой и приветливой, и к тому же моей главной опорой в мастерской, если не считать Грундча, этого старого мужлана, и Хельтхоне, этой придиры и заумной задаваки: придет кому-нибудь в голову новая идея — она обязательно обрежет. А Пфайфер, та не только придумывала новые узоры, она и фактуру растений нутром чувствовала, понимала, что с цикламенами можно и нужно обращаться совсем по-другому, чем с розами или пионами. А для меня достать красные розы для венка всякий раз означало выложить из кармана кругленькую

сумму, уверяю вас; дело в том, что в те годы розы продавались из-под полы — кавалеры считали розы самым лучшим подарком даме сердца, и на них можно было прилично заработать, особенно в отелях, где останавливались молодые офицеры со своими подружками. Так портье гостиниц обрывали у меня телефон, предлагая за букет роз не только деньги, но и разные другие вещи — кофе, сигареты, масло; даже материал на костюм — я имею в виду тонкую шерсть — несколько раз предлагали. А ведь и в самом деле — обидно было отдавать все мертвым, когда живым не хватало».

Пока Пельцер крутился со своими розами, Лени чуть было не стала жертвой «отдела по распределению жилой площади»: городские власти сочли, что для семикомнатной квартиры с кухней и ванной семерых жильцов слишком мало (тогда в квартире проживали: старик Хойзер, его жена, Лотта Хойзер с сыновьями Куртом и Вернером, сама Лени и ван Доорн). Как-никак, к тому времени город перенес более пятисот пятидесяти налетов и сто тридцать бомбежек; семейству Хойзеров решено было оставить три комнаты, правда самые большие, Лени и Марии удалось отвоевать по комнате — «для этого пришлось пустить в ход все знакомства и связи, какие только были» (М. в. Д.). Можно предположить, что здесь определенную роль сыграло одно высокопоставленное лицо, ведавшее в ту пору коммунальным хозяйством, а ныне пожелавшее остаться неизвестным и из скромности отрицающее «какое-либо участие в решении этого вопроса». Как бы то ни было, две комнаты все еще оставались в распоряжении «отдела распределения», и «эти невыносимые Пфайферы, изгнанные фугаской из своей халупы (Лотта), нажали на все кнопки, «чтобы только жить под одной крышей с нашей дорогой невестушкой». Тот факт, что его дом разбомбили, старик Пфайфер сумел обратить себе на пользу, так же как в свое время хромоту; у него даже хватило пошлости сказать: «Теперь я пожертвовал отечеству и мое скромное, но добытое честным трудом достояние» (Лотта Х.). Ну, мы все, естественно, до смерти перепугались, но потом Маргарет выведала через своего бонзу (?? Авт.), что старика Пфайфера вместе с его учениками вскоре эвакуируют в сельскую местность; тут мы уступили, и недели три они действительно сидели у нас на голове, но потом старика все же эвакуировали, несмотря на хромоту, с ним уехала и его дурища, и остался только этот симпатичный малый,

Генрих Пфайфер; но он записался добровольцем и со дня на день ждал повестки; все это произошло вскоре после Сталинграда» (Лотта Х.).

Узнать что-либо о главном враге Лени во время ее работы в садоводстве оказалось довольно трудно. Авт. не сразу додумался обратиться в «отдел охраны могил павших воинов» и потратил много времени, безуспешно роаясь в адресных книгах, списках военнослужащих и т. д. На его запрос «отдел охраны могил» ответил, что Гериберт Кремп, двадцати пяти лет, пал смертью храбрых в середине марта недалеко от Рейна и похоронен у автострады Франкфурт—Кёльн. Ну, а узнав, где находится могила Кремпа, авт. уже ничего не стоило выяснить, где живут его родители; правда, разговор с ними произвел на авт. гнетущее впечатление. Они подтвердили, что их сын работал в садоводстве Пельцера, и показали, что «там, как и везде, где он жил и трудился, он боролся за порядок и чистоту во всем. А когда отечество оказалось в опасности, его невозможно было удержать, и в начале марта, несмотря на то что нога у него была ампутирована по бедро, он добровольно записался в фольксштурм. И пал смертью храбрых, именно так он и мечтал умереть». Родители Кремпа, видимо, считали смерть сына совершенно нормальной и ожидали, что авт. разделит их чувства; сделать этого авт. не смог. Не смог он также изобразить неподдельный интерес при виде фотографии молодого Кремпа и поэтому счел за лучшее побыстрее откланяться — как и в случае с госпожой Швайгерт; на фотокарточке был запечатлен не очень симпатичный (авт.) молодой человек с большим ртом, узким лбом, густыми светлыми волосами и глазами-пуговицами.

Чтобы узнать адреса трех еще здравствующих напарниц Лени, работавших вместе с ней в садоводстве во время войны, авт. достаточно было обратиться в адресный стол, где за соответствующую, весьма низкую, мзду, ему выдали необходимую справку. Первой из них, госпоже Лиане Хёльтхоне, возглавлявшей в свое время группу проверки, ныне семьдесят лет, она владелица нескольких цветочных магазинов. Живет госпожа Хёльтхоне в необычайно элегантном маленьком коттедже — четыре ком-

наты, кухня, холл, две ваннные комнаты,— расположенном в пригороде, почти на лоне природы; дом обставлен с безукоризненным вкусом, цветовая гамма и формы предметов согласуются между собой, а книги, которых у хозяйки дома великое множество, делают ее интерьер еще изысканнее. Держалась она суховато, однако достаточно любезно; никто не узнал бы в этой изящной, холеной и красивой седовласой даме ту приземистую, повязанную платком женщину с суровым лицом, которую авт. видел на групповом снимке, сделанном по случаю юбилея пельцеровской мастерской в 1944 году и показанном авт. Пельцером. Теперь госпожа Хельтхоне являла собой сдержанность и достоинство: тонкой работы серьги из серебряного кружева в виде корзиночек, внутри которых дрожали коралловые бусинки, колебались при каждом повороте ее головы; карие глаза, еще совсем не выцветшие, живо перебегали с предмета на предмет; все это вместе создавало довольно беспокойное для глаз зрелище, поскольку в движении было все: сами сережки, коралловые бусинки в них, голова и глаза. Макияж был тщательно нанесен, слегка морщинистая шея и руки выглядели холеными, но не было во всем этом и намек на старания скрыть свой возраст. На столе появились: чай, сдобное печенье, сигареты в серебряном портсигаре (едва вмещающем восемь сигарет), горящая свеча, фарфоровая спичечница с рисунком ручной работы, изображающим небесный свод с одиннадцатью знаками Зодиака по краям и двенадцатым — Стрельцом — посередине; все знаки Зодиака были голубые, и только Стрелец — розовый; очевидно, госпожа Х. родилась под знаком Стрельца. Портьеры в комнате были бледно-розовые, мебель светло-коричневая, орех, ковры белые, в простенках между стеллажами с книгами висели гравюры с видами Рейна, искусно подкрашенные от руки, всего шесть или семь штук (за абсолютную точность авт. не ручается); все гравюры были размером примерно шесть на четыре сантиметра, не больше,— тонкая ювелирная работа. На гравюрах были изображены: Бонн — вид из Бойеля, Кёльн — вид из Дейца, Цонс — вид с правого берега Рейна, примерно между Урденбахом и Баумбергом, затем Обервинтер, Боппард, Реес. Поскольку авт. припоминает, что видел также гравюру с изображением Ксантена, который художник приблизил к Рейну чуть больше, чем это позволяет географическая точность, то, значит, гравюр было все же

семь. «Да-да,— сказала госпожа Хёльтхоне, протягивая авт. серебряный портсигар с таким видом, по которому можно было заключить, будто она надеется, что он им не воспользуется (но авт. ее разочаровал и заметил, что лоб ее чуть-чуть нахмурился).— Да-да, вы совершенно правильно заметили, здесь только виды левого берега,— сказала она (опередив авт. и не дав ему проявить свою наблюдательность, сообразительность и аналитические способности!). Да, я была сепаратисткой и ею остаюсь, причем не только в мыслях: пятнадцатого ноября двадцать третьего года я была ранена у горы Эгидинберг, я боролась не на той стороне, которая прославилась, а на бесславной, хотя сама я до сих пор считаю ее достойной славы. И никто меня не убедит, что мой край относится к Пруссии, он никогда к ней не относился и не входил в так называемую империю, созданную Пруссией. Я и теперь сепаратистка, только я не за французскую, а за немецкую Рейнскую область. Рейн — ее естественная граница, Эльзас и Лотарингия, разумеется, входят в ее состав, а соседствует с этой областью Франция,— конечно, республиканская и не шовинистическая. Ну так вот, в двадцать третьем году я бежала во Францию, там меня вылечили, и потом, в двадцать четвертом, мне пришлось вернуться в Германию, но уже под чужим именем, с чужим паспортом. А в тридцать третьем и вообще было спокойнее носить фамилию Хёльтхоне, а не Элли Маркс. Уезжать во второй раз я не захотела, не хотела жить в эмиграции. И знаете, почему? Я люблю этот край, люблю людей, которые здесь живут: они просто попали в скверную историю. И можете теперь сколько угодно цитировать Гегеля (авт. не собирался цитировать Гегеля!) и говорить, что в скверную историю нельзя попасть просто так. В тридцать третьем я решила, что лучше всего будет закрыть мое бюро садово-парковой архитектуры, хотя дела у меня шли хорошо; и я объявила себя банкротом, это было самым простым ходом и меньше всего бросалось в глаза, хотя тоже было связано с некоторыми трудностями, так как до этого все было в порядке. А потом началась кампания по проверке национальности предков, для меня весьма сложная и опасная, но во Франции у меня еще сохранились друзья, они все и уладили. Подлинная Лиана Хёльтхоне умерла в двадцать четвертом году в одном парижском борделе, а записали, что умерла Элли Маркс из Саарлуиса. Документы на предков устроил по моей просьбе один

парижский адвокат, у которого был знакомый в германском посольстве... Но как мы ни старались хранить все это в тайне, в один прекрасный день мне пришло письмо из какой-то деревни под Оснабрюком, в котором некий Эрхард Хёльтхоне обещал своей Лиане «все простить». «Только вернись на родину, я помогу тебе устроить жизнь». Ну, нам пришлось подождать, пока не собрали всех справок про дедов и прадедов, а потом уже «умервили» эту Лиану Хёльтхоне в Париже, в то время как она продолжала жить в Германии и работала в садоводстве. Ну, в общем, дело выгорело. И покамест все шло гладко, но стопроцентной уверенности не было, поэтому я и решила, что лучше всего будет нырнуть под крылышко такого ярого нациста, как Пельцер».

Чай был отменный, в три раза крепче, чем у монахинь, сдобное печенье тоже выше всяких похвал, но авт. вот уже в третий раз протянул руку к серебряному портсигару, хотя пепельница величиной с ореховую скорлупку вряд ли вместит пепел от трех сигарет и три окурка. Госпожа Хёльтхоне, несомненно, была женщина умная и умеренная, и поскольку авт. не оспаривал ее сепаратистских взглядов, да и не хотел их оспаривать, ее симпатия к нему, несмотря на его неумеренность в курении и питье чая (уже третья чашка!), не улетучилась.

«Вам нетрудно себе представить, как я тряслась, в общем-то, даже без особых причин, поскольку родственники этой Лианы так и не объявились; но у Пельцера в любое время могли устроить какую-нибудь строгую ревизию или проверку личных документов сотрудников, а кроме того, там ведь торчал этот проклятый нацист Кремп, да и Ванфт тоже была нацистка, а Цевен, с которой я работала за одним столом, раньше принадлежала к «Немецкой национальной партии». Нюх у Пельцера всегда был потрясающий; и он, видимо, учуял, что я не совсем уверенно себя чувствую, потому что потом, когда он совсем обнаглел и стал в открытую спекулировать цветами и зеленью, я испугалась, что могу попасться не сама по себе, а из-за него, и решила уволиться. Тут он странно так на меня взглянул и спросил: «Вы хотите уволиться? И можете себе это позволить?» Я уверена, знать он ничего не знал, но что-то учуял; я разнервничалась и взяла заявление об уходе обратно; но он-то заметил, что я разволновалась не на шутку и, значит, на то были причины; с тех пор он при каждом удобном случае произносил мою фамилию таким тоном, как будто со-

мневался, что она настоящая; ну, а про Кремер он, конечно, точно знал, что ее муж был коммунистом и его убили в концлагере; о Пфайфер он тоже кое-что учуял, и чутье навело его на верный след: открылось такое, о чем ни он сам, ни мы все не подозревали. Лени Пфайфер и этот Борис Львович явно симпатизировали друг другу, что само по себе было весьма опасно, но *это...* Такого мужества я от нее не ожидала. Кстати, Пельцер и в 1945 году проявил безошибочный нюх и сразу начал называть цветы *flowers*, только с венками попал впросак: он называл их *circles*¹, и американцы подумали, что он говорит о каких-то тайных кружках».

Пауза. Недолгая. Во время паузы авт. с трудом пристроил в серебряной скорлупке третий окурок и с удовольствием отметил про себя, что в безукоризненном стеллаже с книгами несколько томиков — Пруст, Стендаль, Толстой и Кафка — выделяются своим *весьма* потрепанным видом; они были не грязные, не захватанные, а именно потрепанные, как бывает заношенным старое любимое платье, которое без конца стирают и чинят. На вопрос авт. хозяйка дома ответила: «Да, я люблю читать, особенно книги, уже не раз читанные, Пруста я открыла для себя еще в двадцать девятом в переводах Бенжаминана... И так, вернемся к Лени: конечно, она замечательная девочка, я называю ее девочкой, хотя теперь ей, наверное, где-то под пятьдесят; однако близко она ни с кем не сходилась, ни во время войны, ни после; нельзя сказать, чтобы она всех сторонилась, нет, но была всегда сдержанна и молчалива; приветлива — и в то же время молчалива и своенравна. Надо вам сказать, что у меня было прозвище «Дама»; потом, когда к нам поступила Лени, нас обеих стали называть «эти Дамы», но меньше чем через полгода она перестала быть «Дамой», «Дамой» осталась я одна. Удивительное дело, я лишь много времени спустя догадалась, почему Лени казалась такой странной, почти загадочной: у нее была психология пролетарки — да-да, я на этом настаиваю; ее отношение к деньгам, времени и тому подобному было типично пролетарское. Она могла бы занять какое-то положение в обществе, но не хотела; и не потому, что ей не хватало чувства ответственности или способности брать на себя ответственность, у нее даже был организаторский талант, что она достаточно убедительно доказала: ее роман

¹ Круг, группа (*англ.*).

с Борисом Львовичем длился полтора года, и никто, ни одна живая душа об этом не подозревала, ни разу ни его, ни ее не поймали с поличным, а ведь те же Ванфт и Шельф, да и пошляк Кремп буквально не сводили с них глаз, скажу я вам, так что у меня иногда на душе начинали кошки скрести, и я думала про себя: *если между ними что-то есть, то помилуй их Бог!* Опаснее всего было вначале, когда они — по чисто практическим причинам — *не имели возможности* остаться вдвоем. Временами я вообще сомневалась, в своем ли она... понимает ли она, что делает; ведь она была довольно наивна. И, как я уже говорила, совершенно равнодушна к деньгам, вообще ко всякой собственности. Мы все зарабатывали в неделю от двадцати пяти до сорока марок — в зависимости от надбавок и сверхурочных, позже Пельцер ввел еще и «поголовную премию», как он ее назвал: за каждый венк он доплачивал еще двадцать пфеннигов, их раскладывали на всех, таким образом набегало еще несколько марок; но у Лени в неделю уходило минимум вдвое больше на один только кофе, ни к чему хорошему это привести не могло, хотя в ту пору она еще получала квартирную плату от жильцов. Иногда мне казалось, да и теперь кажется, что эта девушка — загадка природы. Нельзя было понять, какая она на самом деле — очень глубокая или очень поверхностная; и пусть это прозвучит даже не слишком логично, я считаю, что и то и другое верно, она была и очень глубокая, и очень поверхностная, только одного о ней никогда нельзя было сказать и сейчас не скажу: она не была вертихвосткой. Чего не было, того не было.

В сорок пятом мне не выплатили никакой компенсации, потому что не могли установить, скрывалась ли я при нацистах как сепаратистка или как еврейка. Как сепаратистке мне, естественно, никакой компенсации не полагалось, а как еврейке... Попробуй докажи, что ты обанкротилась нарочно, чтобы исчезнуть из поля зрения. Единственное, что я получила, да и то при содействии одного приятеля, служившего во французской армии, это разрешение открыть садоводство и торговлю цветами, и я сразу же, в конце сорок пятого, предложила Лени работать у меня: жилось ей тогда с ребенком хуже некуда; она проработала у меня двадцать четыре года, до семидесятого. Не десять и не двадцать, а больше тридцати раз я предлагала ей заведовать одной из цветочных лавок, предлагала участие в прибылях. И, уж во всяком

случае, она могла бы стоять за прилавком в нарядном платье и обслуживать покупателей; но нет, она предпочла остаться в рабочем халате и в холодной задней комнатке плести венки и составлять букеты. Никакого стремления подняться выше, никакого честолюбия. Иногда мне кажется, она просто не от мира сего; немного «со сдвигом», но очень, очень милая. И, конечно, очень избалованная, в чем я тоже усматриваю нечто пролетарское: знаете ли вы, что она, простая работница, получая в неделю не больше пятидесяти марок, и во время войны держала свою старую прислугу? А знаете, что та ей ежедневно пекла? Несколько свежих булочек, да таких, что у меня иногда слюнки текли, и я, хоть и «Дама» с головы до ног, иногда еле удерживалась, чтобы не попросить: «Детка, дайте и мне откусить кусочек, пожалуйста, дайте откусить». И она, конечно, дала бы, можете быть уверены; ах, если бы я у нее тогда попросила и она смогла бы теперь, когда ей так скверно живется, спокойно обратиться ко мне за помощью... Ведь она, знаете ли, еще и очень гордая. Гордая, как принцесса из сказки. Что же касается ее профессиональных данных, то их сильно переоценивали. Конечно, пальцы у нее ловкие и способности есть, но, на мой вкус, в ее венках и букетах было слишком много филиграни, утонченности, они были похожи на вышивку, а я предпочитаю крупную красивую вязку. Из Лени вышел бы прекрасный ювелир — золотых и серебряных дел мастер, но когда речь идет о цветах — вы, наверное, удивитесь, — нужна грубая и сильная хватка, а этого у нее не было; в ее работе чувствовалась смелость, но не отвага. Но если учесть, что она совсем не училась нашему ремеслу, то можно только поражаться, с какой скоростью она все это освоила».

Поскольку хозяйка дома больше не предлагала гостю чаю, не открывала и не протягивала ему портсигар, авт. решил, что аудиенция, по крайней мере на сегодня, окончена (и был, как потом выяснилось, прав). По мнению авт., госпожа Хёльтхоне дополнила весьма существенными штрихами портрет Лени. Перед уходом гостя госпожа Х. предложила ему заглянуть в ее маленькую мастерскую: она теперь вновь занялась декоративным садоводством. Для городов будущего она проектирует «висячие сады», которые она называет «сады Семи-рамыды»; от такой страстной почитательницы Пруста можно было бы ожидать и более оригинального названия. Прощаясь с хозяйкой, авт. почувствовал, что

этот визит завершен, но что новые встречи не исключены: на лице госпожи Х. было написано искреннее расположение — правда, с некоторым оттенком усталости.

При описании встреч авт. с Мартой Ванфт и Ильзой Кремер можно опять прибегнуть к методу частичного совмещения; обе они получают пенсию по инвалидности, одной семьдесят, другой шестьдесят девять лет, обе седые, обе живут в малогабаритных двухкомнатных квартирах, построенных отделом социального обеспечения муниципалитета, у обеих печное отопление и мебель начала пятидесятых годов, обе квартиры производят впечатление «скудости» и запущенности, обе женщины держат попугаев, хотя здесь уже начинаются различия: у одной (Ванфт) — корелла, у другой (Кремер) — волнистый. На этом сходство кончается. Ванфт — женщина суровая, почти неприступная и крайне неразговорчивая; каждое слово стоит ей больших усилий, и она выплевывает их своим тонкогубым ртом по отдельности, словно вишневые косточки. «Чего о ней говорить, об этой мерзавке. Я же понимала, я же догадывалась, чем дело пахнет. И сегодня себя клянусь, что не дозналась до конца. С удовольствием поглядела бы на нее обритуую, да и высечь такую тоже бы не мешало. Спуталась с русским, когда наши парни сражались на фронте, а у самой муж пал смертью храбрых и папаша оказался мошенником первой руки. И *такой* гадине уже через три месяца передали группу отделки, а у меня забрали. Нет, дрянь баба, и больше ничего. И никакого понятия о чести, вечно выставляла напоказ свои телеса, мужики просто обезумели. Грундч увивался вокруг нее, как кот, Пельцер на нее облизывался и покуда держал в резерве, даже порядочному парню Кремпу, который вкалывал изо всех сил, задурила голову так, что он стал на всех рычать. Да еще разыгрывала из себя благородную; а сама была выскочка, которой хорошенько дали под зад. Как ладно нам работалось до нее. А при ней все время как будто что-то искрилось в воздухе, как будто тучи сгушались и не могли разрядиться; поколотить бы ее как следует — вот и была бы разрядка. А чего стоит эта умильная возня с цветами — словно в пансионе для благородных девиц; все они попались на эту удочку. Не успела она прийти, как я оказалась одна, совсем одна. И этими ее подзаходами — кофе свой всем предлагать и так далее — меня

ей провести не удалось, это мы называем «золотить пилюлю», вот как; а сама она — глупая гусыня, а может, и потаскушка, но уж наверняка вертихвостка». Все это она выложила не так быстро, как кажется в передаче авт. Ванфт выдавливала из себя слово за словом, словно выплевывала косточку за косточкой; потом и вовсе отказалась говорить, но все же кое-что добавила: назвала старого Грундча «фавном-неудачником или Паном, если хотите», а Пельцера «самым отъявленным подлецом и оппортунистом, какого я знала; а я-то за него заступалась, ручалась за него перед партией. Меня, как доверенное лицо нацистской партии, все время о нем спрашивали. (Гестапо? Авт.) А как он себя вел после войны? Что он сделал, когда мне не дали пенсию? Дескать, муж мой погиб не на войне, а во время уличных боев тридцать второго — тридцать третьего. Ничего он не сделал, а ведь был с моим мужем в одном отряде штурмовиков. Пальцем не шевельнул. А сам с помощью этой потаскушки и этой «Дамы»-еврейки выкрутился-таки, когда я увязла по уши в дерьме. Ну, хватит, я о них больше и слышать не хочу. На этом свете нет ни благодарности, ни справедливости, а другого, похоже, тоже не будет».

Госпожа Кремер — ее авт. разыскал в тот же самый день — мало что могла рассказать о Лени, которую она все время называла «бедная милая девочка»: «Эта бедная милая девочка, эта бедная, милая и наивная девочка... А этот русский... Скажу вам откровенно: я тогда относилась к нему с недоверием и так же отнеслась бы и сейчас. Не знаю, не был ли он подослан к нам гестапо. Уж слишком хорошо говорил по-немецки и уж слишком был вежливый. И почему попал именно в наше садоводство, а не работал, как другие пленные, на разборке разбомбленных домов и ремонте железнодорожных путей? Парень он был славный, ничего не скажешь, но я остерегалась с ним разговаривать — скажешь только, что нужно по работе».

Чтобы узнать, как выглядит фрау Кремер, нужно представить себе окончательно поблекшую женщину, бывшую блондинку с голубыми глазами, которые теперь кажутся почти бесцветными. Лицо у нее мягкое, расплывшееся, не злое, только немного кислое и жалостливое, но не жалобное. Она предложила авт. кофе, но сама пить не стала; говорила она много и плавно, но вяло

и как бы без знаков препинания. Авт. не просто удивила, а прямо-таки пронзила неопиcуемая отработанность движений, с какой она сворачивала самокрутки: точное движение пальцев, щепоть сыроватого медово-желтого табака — и сигарета готова, причем безукоризненной формы, без пустых кончиков, никакие ножницы не требуются. «Да, этому я рано выучилась, может, это было первое, чему я выучилась в детстве, — сперва для отца, когда его в 1916 году посадили в крепость, потом для мужа — он сидел в тюрьме, а потом и для себя, я тоже отсидела полгода; ну, во время безработицы и во время войны тоже, конечно, крутили самокрутки, так что и разучиться было некогда». При этих словах она закурила, и авт., увидев ее с белой, только что свернутой горящей сигаретой во рту, вдруг подумал, что в молодости Ильза Кремер была, наверное, очень хорошенькая. Разумеется, она и авт. предложила закурить, причем без всяких церемоний — просто пододвинула к нему одну сигарету и показала на нее пальцем. «Нет-нет, с меня хватит, больше не хочу. Я уже в двадцать девятом не хотела; я и всегда была не очень-то сильная, а сейчас и вовсе без сил; в войну я держалась только ради мальчика, все надеялась, что пока мой Эрих вырастет, война кончится, но он вырос раньше, и его сразу же забрали, не дали даже доучиться на слесаря. Мальчик он был тихий, молчаливый, серьезный такой, и перед тем, как ему уйти, я сказала — в последний раз в жизни — одну опасную фразу про политику. «Перебегай! — сказала я ему. — Немедленно!» А он еще переспросил: «Как это — перебегай?» — и нахмурился, как всегда. И я ему объяснила, что значит перебежать. Он взглянул на меня так странно, я даже испугалась, что он кому-нибудь проболтается, да только он не успел бы, даже если бы захотел. В декабре сорок четвертого его погнали рыть траншеи на границе с Бельгией, и я только в конце сорок пятого узнала, что он погиб. В семнадцать лет. Всегда он был такой серьезный и невеселый, мой мальчик. Знаете, ведь он был незаконнорожденный, отец коммунист, мать тоже. И в школе, и на улице ему тыкали в нос. Отца прикончили в тюрьме в сорок втором, а бабушка с дедушкой сами перебивались кое-как. Ну вот. А с Пельцером я познакомилась еще в двадцать третьем. Угадайте, где? Ни за что не угадаете. В коммунистической ячейке. Потом он посмотрел один пропагандистский фильм нацистов, другого такой фильм мог бы только оттолкнуть,

а Вальтера, наоборот, привлек. Драки и разбой в этом фильме он принял за революцию, клюнул на их удочку, вылетел из «Кампфбунда», записался в «Добровольческий корпус», а потом, уже в двадцать девятом, стал штурмовиком. За что только не брался, даже сутенером одно время был. Ничем не брезговал. Ну, и садоводом, конечно, был, а также спекулянтom на черном рынке, кем хотите. А уж бабник! Теперь посмотрите, кто работал у него в садоводстве: трое — отъявленные нацисты: Кремп, Ванфт и Шельф; двое — ни рыба ни мясо: Фрида Цевен и Хельга Хойтер; я — бывшая коммунистка; «Дама» — республиканка, да еще и еврейка; Лени — в политическом смысле не знаю, куда ее отнести, но все же с подмоченной репутацией из-за отца, а с другой стороны — вдова фронтовика. А потом — этот русский, которого Вальтер и в самом деле обхаживал. Вот теперь и скажите — что могло случиться с Вальтером после войны? Ничего. С ним ничего и не случилось. До тридцать третьего он был со мной на «ты» и, когда мы случайно встречались, всегда говорил: «Ну, Ильза, кто кого обскачет — мы вас или вы нас?» С тридцать третьего по сорок пятый обращался ко мне только на «вы». Но не успели американцы пробыть у нас и пяти дней, как он уже раздобыл лицензию, явился ко мне, опять называл «Ильзой» и уговаривал баллотироваться в муниципалитет. Нет, нет и еще раз нет! Слишком долго я ждала, надо было поставить точку еще тогда, когда забрали мальчика. Не хотела я больше ни в чем участвовать, давно уже не хотела. А Лени в конце сорок четвертого вдруг пришла ко мне домой, села вот здесь, закурила — и все время робко так, с улыбкой на меня поглядывала, как будто хотела что-то сказать; а я уже примерно догадывалась, о чем пойдет речь, но не хотела знать. Не надо знать слишком много. Я вообще ничего не хотела знать. И, так как она все молчала и только робко улыбалась, я наконец не выдержала и сказала ей: «Теперь уже видать, что ты беременна. Кто-кто, а уж я-то знаю, что значит родить внебрачного ребенка». Ну, а потом, после войны, вся эта шумиха насчет участия в Соппротивлении, пенсии и компенсации, и эта новая компартия, куда вошли люди, про которых я точно знаю, что мой Вилли на их совести. Знаете, как я их назвала? Служители культа. Нет-нет, ничего не хочу! И среди них всех — наивная Лени, бедная милая девочка, которую обвели вокруг пальца, чтобы выставлять везде как «члена семьи

храброго воина Красной Армии» — то есть играть для них роль красавицы блондинки с предвыборного плаката. А чего стоит идея дать ее мальчику имя Лев Борисович Груйтен? Небось все родные и знакомые уговаривали ее не делать этого, но она настояла на своем. Потом на нее навесили даже больше грехов, чем в войну. Еще много лет спустя ее называли «советская шлюха». Бедная милая девочка. Нет, ей в жизни трудно пришлось. И сейчас трудно».

VI

Дабы избежать неуместных домыслов и вовремя развеять ложные надежды, авт. считает необходимым уже здесь представить наконец главный мужской персонаж первой части книги. Многие, не только Ильза Кремер, и покамест почти все безрезультатно, ломали себе голову над тем, как могло случиться, что этот советский человек по имени Борис Львович Колтовский оказался в столь благополучных условиях — в 1943 году попал на работу в немецкую мастерскую по изготовлению венков. Поскольку Лени, даже когда речь идет о Борисе, не очень-то разговорчива, но все же время от времени кое-что сообщает, то после трех лет настойчивых расспросов Лотты, Маргарет и Марии она наконец согласилась назвать имена двух людей, которые могли бы дать некоторые сведения о Борисе Львовиче. Первый из них был знаком с Борисом лишь мимолетно, но тем не менее весьма энергично вмешался в его жизнь. Именно он и сделал Колтовского «баловнем судьбы», ибо обладал властью и настойчивостью и даже готов был в случае необходимости пойти на жертвы. Человек этот — лицо чрезвычайно высокопоставленное и имеет некоторое отношение к промышленности; лицо это ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не желает быть названным. Авт. не может позволить себе приоткрыть завесу над этой тайной, дабы не навлечь на себя серьезнейших неприятностей, а поскольку авт. и Лени твердо обещал — конечно, устно — хранить это имя в секрете, то он хочет остаться человеком чести и сдержать свое слово. К сожалению, это лицо узнало о существовании Лени слишком поздно, лишь в 1952 году, когда выяснилось, что Борис был вдвойне баловнем судьбы: не только получил возможность плести венки у Пельцера, но и ока-

зался тем «единственным», которого, как видно, ждала Лени. В чем только Бориса не подозревали: говорили, что он шпик, приставленный немецкими властями следить за Пельцером и его подчиненными всех мастей, кроме того, говорили, конечно, что он советский шпион, засланный к ним в тыл. А зачем заслан? Выведывать военные тайны плетения венков? Или же сообщать об отсутствии морального единства у немецких рабочих? Верно во всем этом лишь одно: Борис действительно был баловнем судьбы. Только и всего. Когда он в конце 1943 года появился среди действующих лиц нашей истории, рост его был примерно 1 м 76 см или 1 м 78 см — здесь нам придется довольствоваться приблизительными данными,— волосы светлые, худой — он весил почти наверняка не больше 54 килограммов — и носил очки. К тому времени, когда он стал играть роль в жизни Лени, ему исполнилось двадцать три. По-немецки он изъяснялся свободно, но с прибалтийским акцентом, по-русски — как все русские. В Германию он впервые приехал в 1941 году, еще до войны, и во второй раз попал в эту странную (а для многих жуткую и непонятную) страну через полтора года, уже военнопленным. Он был сыном русского рабочего, выдвинутого на дипломатическую работу и приехавшего в 1941 году в Берлин в качестве сотрудника советского торгпредства. Борис знал наизусть несколько стихотворений Тракля и даже Гёльдерлина, разумеется, на языке оригинала; как инженера по дорожному строительству — его призвали в советские саперные войска и присвоили звание лейтенанта. Здесь пора уже ответить на законный вопрос: почему так благоприятно сложились разные обстоятельства в судьбе Бориса? Сразу оговоримся: за это авт. никакой ответственности не несет. Разве у всех бывают отцы-дипломаты и высокие покровители, занимающие важные посты в военной промышленности? И почему главное действующее лицо в этой книге не немец? Не Эрхард, не Генрих, не Алоис, не Г.-ст., не старый Х., не молодой Х., даже не столь колоритная фигура, как Пельцер, и не такой в высшей степени порядочный человек, как Шольсдорф, который до конца своих дней будет корить себя за то, что по его милости человек угодил за решетку и даже глядел в лицо смерти только из-за того, что он, Шольсдорф, страстно увлекался славистикой и не мог допустить, чтобы фиктивный Лермонтов строил фиктивные бункера в Дании? Разве справедливо — спрашивает себя Шольс-

дорф,— что человек (пусть даже один-единственный), к тому же такой симпатичный, как Груйтен-старший, чуть было не поплатился жизнью только из-за того, что фиктивный Раскольников таскал фиктивные мешки с цементом и хлебал в фиктивной столовой фиктивную баланду?

Ну так вот: виновата во всем Лени. Это она захотела, чтобы героем книги был не немец. И это — как и многое другое у Лени — надо просто принять к сведению. Между прочим, этот Борис был вполне приличный и даже в какой-то мере образованный молодой человек, даже школьные знания у него были неплохие. Как-никак, он закончил еще и институт и получил диплом инженера-дорожника. Правда, латыни он не изучал, но два латинских слова — «*de profundis*»¹ — все же знал, и знал их благодаря Траклю. Несмотря на то, что школьный аттестат Б. не идет ни в какое сравнение со столь бесценным сокровищем, как немецкий аттестат зрелости, объективности ради следует отметить, что Борис обладал знаниями *почти* в объеме этого аттестата зрелости. Если учесть хотя бы тот достоверно засвидетельствованный факт, что он, будучи еще совсем молодым, уже читал Гегеля по-немецки (он пришел не от Гегеля к Гёльдерлину, а, наоборот, от Гёльдерлина к Гегелю), то даже самые требовательные читатели, вероятно, будут склонны признать, что Борис был не намного ниже Лени по образованности,— во всяком случае, как любовник был ее достоин и — что выяснится впоследствии — вполне ее стоил.

Сам Борис до последнего момента пребывал в полной растерянности от неожиданно свалившихся на него милостей судьбы, как узнал авт. из вполне заслуживающих доверия показаний бывшего солагерника Бориса, Петра Петровича Богакова. Богаков, ныне достигший шестидесятишестилетнего возраста, страдает тяжелым артритом: пальцы его до такой степени скрючены, что его приходится кормить с ложки и даже сигарету подносить ко рту. В свое время Богаков предпочел не возвращаться в Советский Союз. Он откровенно признается, что «не меньше тысячи раз в этом раскаивался и не меньше тысячи раз раскаивался в своем раскаянии». Множество доходивших до него сведений о судьбе бывших военнопленных, вернувшихся на родину, внушили ему страх; он

¹ Из бездны (лат.).

нанялся к американцам, служил у них конвойным, стал жертвой маккартизма и перекинулся к англичанам, где также стоял на часах, но уже в синей английской форме. И хотя много раз подавал заявление о переходе в германское гражданство, в настоящее время гражданских прав не имеет. Ныне Богаков живет в приюте благотворительного церковного общества; свою комнату он делит с усатым и бородатым великаном, бывшим учителем украинской сельской школы по фамилии Беленко, который после смерти жены впал в меланхолию, время от времени прерываемую рыданиями, проводит почти все время в церкви или на кладбище, а в промежутках бродит в поисках простой вещи, которой за все время его пребывания в Германии, то есть за двадцать шесть лет, так ни разу и не нашел: он ищет соленые огурчики — «простые, деревенского засола, а не эти, деликатесные». Второй сосед Богакова, некто Киткин, ленинградец, на вид чрезвычайно болезненный и, по его словам, «изнывающий от тоски по родине»: тощий молчаливый человек, который, опять-таки по его же словам, «никак не может избавиться от тоски по родине». Время от времени между тремя стариками разгораются давние споры: Беленко называет Богакова «безбожником», в ответ получает «фашиста», Киткин бросает им обоим «болтуны», за что Беленко награждает его «старым либералом», а Богаков «реакционером». Так как Беленко переехал к ним в комнату только после смерти жены, то есть полгода назад, он считается «новеньким». Богаков не хотел беседовать с авт. о Борисе и его жизни в лагере в присутствии соседей, поэтому пришлось дожидаться момента, когда Беленко отправится в церковь, на кладбище или на «поиски огурчиков», а Киткин — прогуляться и, конечно, «раздобыть сигарет». Богаков объясняется по-немецки свободно, говорит просто и понятно, если не считать словечка «сносно», которым к месту и не к месту пересыпана его речь. Поскольку пальцы Богакова действительно сильно скрючены «из-за этого вечного стояния на посту, будь оно проклято, и ведь десятки лет, и ночью, и в холод, а последние годы даже с ружьем на плече», авт. вместе с Б. сначала стали прикидывать, как бы облегчить Б. процесс курения. «Что не могу без посторонней помощи закурить, это еще сносно, но и затянуться тоже не могу. А ведь я выкуриваю в день пять-шесть сигарет, а то и все десять, если они у меня есть». Наконец авт. (который здесь в виде исключения

вынужден активно вмешаться в события) пришла в голову мысль попросить у дежурной сестры, сидящей в коридоре, штатив для капельницы; с помощью куска проволоки и трех прищепок для белья авт. вместе с дежурной сестрой (кстати, очаровательной) соорудил некую конструкцию, названную обрадованным Богаковым «сносной куревиселицей». С помощью двух прищепок проволочная петля прикреплялась к штативу, а в третью прищепку, висящую на петле на уровне рта Богакова, засунули сигаретный мундштук, который Богакову оставалось только посасывать, после того как «этот фашист-огуречник или этот сохнувший по родине задохлик с рожей ОГПУшника» зажгут ему сигарету и сунут ее в мундштук. Нет смысла отрицать, что авт. благодаря сооружению «сносной куревиселицы» вызвал симпатию к себе у Б., что, естественно, развязало тому язык, равно как и тот факт, что сигаретными подношениями авт. существенно пополнил скромную сумму карманных расходов Богакова, составлявшую всего 25 марок в месяц; все это авт. сделал — и готов в этом присягнуть — отнюдь не только из эгоистических побуждений. А теперь перейдем к statement¹ Богакова, прерывавшемуся астматическими приступами и сигаретными затяжками, которое будет воспроизведено авт. без пауз и пропусков, в форме протокола.

«Абсолютно сносным наше положение в лагере, конечно, не назовешь! Но относительно сносным оно было. Что касается Бориса Колтовского, то он совершенно, ну совершенно ни о чем не догадывался и просто считал, что ему сказочно повезло с этим переводом в наш лагерь. Наверное, все же подозревал, что кто-то за этим стоит, но узнал, кто именно, только потом, хотя предполагать, конечно, мог бы. Нас всех считали годными только на то, чтобы под строжайшей охраной рушить горящие дома или тушить пожары, ремонтировать после бомбежек шоссе или железнодорожные пути; кто решался стащить хотя бы один гвоздь — да, самый простой гвоздь, а гвоздь для лагерника большая ценность,— тот мог, если застукают, спокойно прощаться с жизнью, а застукать ничего не стоило; значит, пока мы так вкалывали, за этим наивным мальчишкой каждое утро являлся добродушный дядя — немецкий конвоир — и сопровождал его в это очень даже сносное садоводство. Там он

¹ Утверждение, заявление (англ.).

весь день прохлаждался на легкой работе, а позже оставался и до полуночи и даже завел себе там — об этом знал один я, и когда узнал, встревожился за вполне сносную голову этого мальчишки, словно он был моим родным сыном, — завел себе там любимую девушку, возлюбленную! Конечно, такие дела вызывают если не подозрения, то уж наверняка зависть, и то и другое, естественно, случается в лагерях. В Витебске, где я после революции учился в школе, одного нашего однокашника каждое утро привозили в школу на извозчике — ну, как теперь на такси; таким типом был Борис в наших глазах. Потом, когда он стал приносить нам хлеб, даже масло, иногда газеты и время от времени притаскивать шикарные шмотки, явно с плеча какого-то капиталиста, а кроме того, начал каждый день сообщать о положении на фронтах, отношение к нему немного улучшилось, но сносным все равно не стало, потому что Виктор Генрихович, который выдвинулся у нас в комиссары, наотрез отказался поверить, будто эти даже очень сносные дары судьбы сыпались на Бориса «по воле случая». Эту «волю случая» Виктор Генрихович считал выдумкой капиталистов, противоречащей логике истории. Самое страшное, что комиссар в конце концов до всего дознался и оказалось, что он был прав. А как дознался, один Бог ведает. Во всяком случае, месяцев через семь он уже знал, что еще в сорок первом Борис познакомился в Берлине с другом отца, господином (здесь было произнесено имя, которое авт. обязался не разглашать). Но тут началась война, и отца Бориса перевели в разведку, он был одним из связных для советских резидентов в Германии, и когда его сын попал в плен, воспользовался своими многочисленными связями и каналами, чтобы известить об этом того господина и попросить его о помощи. По нынешним понятиям, это выглядит так: отец злоупотребил служебным положением и вступил в преступную связь с крупным немецким промышленником самого враждебного толка, дабы хоть как-то обеспечить сносное существование своему сыну. Только не спрашивайте меня, каким образом Виктор Генрихович до всего этого дознался! Наверное, у этих мерзавцев уже тогда существовала система двойной слежки. Но выяснилось и еще кое-что, о чем Борис так и не узнал: его отца засекли, вывезли из Германии и сделали ему пиф-паф. Так был ли прав Виктор Генрихович, утверждая, что на свете есть только историческая логика, а вовсе никакая

не «воля случая», которую мой набожный сосед и любитель соленых огурчиков Беленко, конечно, назвал бы Божьим Провидением? Итак, для отца Бориса вся эта история кончилась в высшей степени нехорошо, а для Бориса вроде бы все обошлось, потому что Виктор Генрихович учуял и то, чего не было: он решил, что Борис получал те шикарные шмотки *непосредственно* из рук того господина, о котором, между прочим, было известно, что он всегда был против войны с Советским Союзом, выступал за прочный, вечный и нерушимый договор между Гитлером и советской страной и даже позволил себе проводить Бориса, его отца, мать и сестру Лидию на вокзал; на перроне он их всех сердечно обнял, а отцу Бориса на прощанье даже предложил перейти на «ты». Имел ли Борис прямые контакты с этим человеком, когда он сидел в этом своем дурацком садоводстве, где плел венки и придумывал надписи на лентах к венкам для фашистских покойников? Нет, нет и нет, не было у него никаких контактов, разве только с тамошними рабочими и работницами. Ну, тогда, чтобы хоть что-то извлечь из этого проклятого сносного существования, черт бы его побрал, тогда пусть Борис скажет: какое у них настроение, чем дышат немецкие рабочие? Трое — явно за нацистов, двое держатся нейтрально, и, вероятно, еще двое — против, хотя и не могут этого прямо сказать. Это опять-таки противоречило информации Виктора Генриховича, согласно которой немецкие рабочие в 1944 году были готовы взбунтоваться. Черт возьми! Я и говорю, мальчишка попал в сложный переплет и за свое сносное существование заплатил дорогой ценой. Он никак не укладывался в логику истории, и если бы тогда выплыло, что он еще и крутил любовь с немецкой девушкой — писаной красоткой, и что позже ему удавалось — и не раз — срывать с ней цветы удовольствия... Бог знает, что бы произошло. А Борис твердо стоял на своем: мол, все подарки — а они стали потом еще шикарнее — одежда, кофе, чай, сигареты, масло, — все эти подарки прячет для него в куче торфа какой-то таинственный незнакомец, а последние известия, мол, передает ему шепотом хозяин ихней лавочки, торговец венками и цветами. Ну, Виктор Генрихович был неисправим, но не неподкупен: взял-таки в подарок жилетку из настоящего кашемира, сигареты и — всем подаркам подарок — крошечную карту Европы, вырванную из карманного календарика и так ловко сложенную, что она казалась плоской конфеткой. Это

был королевский подарок: мы наконец-то узнали точно, где находимся и что нам светит. Виктор надел кашемировый жилет под изодранную нательную рубашу, а так как жилетка была серая, то и гляделась сквозь дыры, как грязные лохмотья. Такая жилетка могла бы возбудить жадность даже у немца-конвоира и даже ему показалась бы очень хорошей. Наконец, наступило время, когда Борис начал снабжать нас надежной информацией о линии фронта и о наступлении советских и союзнических армий — тут он стал прямо-таки самым что ни на есть хорошим в глазах Виктора Генриховича, которому такие новости срочно требовались, чтобы поднять в нас моральный дух. Ну, а став хорошим для Виктора, Борис потерял доверие остальных — это ясно, как день, всякому, кто знает диалектику «лагерных отношений».

Для того чтобы получить от Петра Петровича Богакова столь обширную информацию, авт. пришлось пять раз беседовать с ним, улучив для этого благоприятный момент, а также приобрести новый штатив для капельницы, поскольку старый иногда все же использовался по прямому назначению, и даже покупать билеты в кино для Беленко и Киткина на цветные экранизации «Анны Карениной» и «Войны и мира», на «Доктора Живаго» и на концерт Мстислава Ростроповича.

Тут уже авт. показалось уместным побеспокоить то самое высокопоставленное лицо; к сказанному о нем достаточно добавить, что речь идет о таком известном имени, при упоминании которого все немцы, жившие в период с 1900 по 1970 год, все русские и советские функционеры того же отрезка истории вставляли навтытяжку и перед которым еще и ныне в любое время открылись бы двери Московского Кремля, а может быть, даже и скромная дверь рабочего кабинета Мао, если она уже не открылась. Повторяем: авт. пообещал Лени то, что сама она еще раньше обещала: никогда, ни при каких обстоятельствах, даже под пыткой, не называть этого имени.

Дабы снискать благосклонность вышеуказанного лица и не слишком униженно, но с подобающим смирением испросить его согласие на встречу для беседы, а может быть, и на несколько подобных встреч, авт. пришлось три четверти часа ехать по железной дороге на северо-северо-восток (эту деталь авт. не считает нужным скрывать), преподнести супруге лица букет цветов, а самому

лицу — подарочное издание «Евгения Онегина» в кожаном переплете, выпить несколько чашек хорошего чая (лучше, чем у монахинь, но хуже, чем у Хёльтхоне), поговорить о погоде и литературе, а также коснуться тяжелого материального положения Лени (по реакции супруги, тут же спросившей: «А это кто такая?», и раздраженному ответу супруга: «Ну, ты же знаешь, это та женщина, которая во время войны была связана с Борисом Львовичем», — авт. предположил, что мадам заподозрила нечто амурное). Потом наступил тот неотвратимый момент, когда разговор о погоде, литературе и Лени стал иссякать, и хозяин дома — надо заметить, довольно резко и бесцеремонно — сказал: «Киска, оставь нас, пожалуйста, одних», после чего «Киска», теперь уже окончательно уверенная, что авт. исполняет роль *Postillon d'amour*¹ вышла из комнаты с явно оскорбленным видом.

Надо ли описывать внешность высокопоставленного лица? На вид ему лет шестьдесят пять, он сед, благообразен, любезен, но сдержан; принимал авт. в чайной гостиной размером всего раза в два меньше, чем актовыв зал школы на шестьсот учеников; окна гостиной выходят в парк: английский газон, немецкие деревья не моложе ста шестидесяти лет, куртины чайных роз... Но на всем, буквально на всем, в том числе и на лице хозяина дома, даже на картинах Пикассо, Шагала, Уорхола и Раушенберга, Вальдмюллера, Пехштайна и Пурмана, на всем лежала — авт. рискует! — печать легкой грусти. И здесь Сл., П., С₂ и Б₁! Но ни следа С₁?

«Итак, вас интересует, стало быть, правдива ли информация этого господина Богакова, — кстати, я готов как-то ему помочь, не забудьте оставить моему секретарю его имя и адрес. Ну что ж, в общем и целом — да. Откуда этот комиссар в лагере Бориса все узнал, как мог добыть эти сведения? (Пожимание плечами.) Но то, что он рассказал, верно. Я познакомился с отцом Бориса в период между тридцать третьим и сорок первым и понастоящему с ним подружился. Это было совсем не безопасно, как для меня, так и для него. Но если посмотреть на вещи с точки зрения международной политики и вообще истории, я и теперь стою за дружбу между Советским Союзом и Германией и придерживаюсь того мнения, что при настоящей, искренней, основанной на взаимном доверии дружбе между ними с географической карты

¹ Посланец любви (фр.).

исчезнет эта... ГДР. Мы, мы та страна, которая нужна Советскому Союзу. Ну, ладно, это все дело далекого будущего. Так вот. В Берлине я тогда считался красным, да, пожалуй, и был им, я и сейчас красный, и восточную политику теперешнего федерального правительства критикую только потому, что она, на мой взгляд, слишком нерешительная, неуверенная. Итак, вернемся к господину Богакову. В моей берлинской конторе я действительно в один прекрасный день получил конверт с запиской, в которой было всего несколько слов: «Лев сообщает, что Б. находится в нем. плену». Я не знаю, кто принес эту записку, да и не стал доискиваться: конверт вручили привратнику, вот и все. Вы, конечно, представляете себе, как я разволновался. Я всегда относился с глубокой симпатией к этому смышленому, серьезному и молчаливому юноше, которого много раз — наверное, больше десяти — встречал в доме его отца. Я подарил ему томик стихотворений Георга Тракля, собрание сочинений Гёльдерлина, посоветовал читать Кафку. Наверное, я имею право считать себя одним из первых, если не самым первым читателем повести «Сельский врач», которую еще в 1920 году, будучи четырнадцатилетним гимназистом, выпросил у матушки в качестве рождественского подарка. Итак, я узнал, что этот юноша, всегда казавшийся мне очень умным, задумчивым и очень далеким от мира сего, находится у нас в плену. Уж не думаете ли вы (здесь в голосе высокопоставленного господина вдруг зазвучали воинственные, даже агрессивные нотки, хотя авт. ничем, даже взглядом, не мог его задеть), — уж не думаете ли вы, будто я не знал, как жилось военнопленным в лагерях? Уж не думаете ли вы, что я был слеп, глух и бессердечен? (Ничего подобного у авт. и в мыслях не было.) Неужели вы полагаете (здесь в его голосе прорвалась даже некоторая озлобленность!), что я все это одобрял? И вот наконец (голос теперь звучит между пиано и пианиссимо) у меня появилась возможность что-то сделать. Но где он, этот юноша? Как его найти среди сотен тысяч или миллионов советских военнопленных, которые в ту пору находились в Германии? А может, его при взятии в плен ранили или даже пристрелили на месте? Попробуйте-ка найти некоего Бориса Львовича Колтовского среди такого множества (в голосе опять появилась агрессивность)! Но я его нашел, и скажу вам, каким образом (угрожающий жест в сторону авт., ни в чем, ну совершенно ни в чем не повинного): я нашел

его с помощью моих друзей из ВКСВ и ВКВ (верховное командование сухопутных войск и верховное командование вермахта.— Авт.). Итак, я нашел его. Где? В каменоломнях; стало быть, все же не в концлагере, но в условиях, близких к нему. Знаете ли вы, что такое работа в каменоломне? (Поскольку авт. как раз однажды работал в каменоломне в течение трех недель, он воспринял подспудно содержащееся в этом вопросе утверждение, что авт. этого, конечно, *не* знает, мягко выражаясь, как несправедливое, тем более что ему даже не было дано возможности на этот вопрос ответить.) Это была верная смерть. А пытались ли вы хоть раз вызволить кого-нибудь из нацистского лагеря для советских военнопленных? (Прозвучавший в голосе упрек тоже ни на чем не основан, поскольку авт. хоть никогда и не пытался и не имел никаких возможностей кого-либо откуда-либо вызволить, но зато неоднократно и успешно пользовался случаем не брать в плен или отпускать пленных на свободу.) Ну, так вот, даже мне понадобилось целых четыре месяца, прежде чем я смог сделать для мальчика что-то существенное. Из ужасного лагеря со смертностью 1:1 его перевели сначала в менее ужасный лагерь со смертностью 1:1,5, из этого менее ужасного в другой, всего лишь страшный, где смертность уже составляла 1:2,5; из этого страшного в менее страшный со смертностью 1:3,5; и хотя смертность в этом лагере уже была намного ниже, чем в среднем по всем лагерям, его удалось и оттуда перевести, и он попал в лагерь, который можно считать более или менее сносным: смертность здесь была чрезвычайно низкая — 1:5,8. Я смог его туда перевести только благодаря тому, что один из моих самых близких друзей и бывший однокашник Эрих фон Кам, потерявший под Сталинградом руку, ногу и глаз, был назначен комендантом этого лагеря. Может быть, вы думаете, что Эрих фон Кам мог единолично уладить это дело? (Авт. ничего такого не думал, его единственным желанием было получить объективную информацию.) Нет, пришлось подключить партийных бонз: одному из них дали взятку — газовую плиту для его любовницы, талоны на пятьсот с лишним литров бензина и триста французских сигарет, если хотите знать точно (авт. только этого и хотел), и уже этот бонза должен был, в свою очередь, подобрать более мелкую партийную сошку; он выбрал этого самого Пельцера, которому можно было намекнуть, что Бориса надо щадить. Но оставал-

ся еще начальник гарнизона лагеря, ведь он должен был выделить для Бориса постоянного конвоира, а этот начальник гарнизона, некий полковник Хуберти, человек старой закалки и консервативных взглядов, человечный, но пуганый, поскольку эсэсовцы уже несколько раз пытались под него подкопаться, обвинив в «неуместной гуманности», — так вот, этот полковник Хуберти требовал письменный документ, подтверждающий, что работа Бориса в садоводстве имеет оборонное значение или является «источником важной информации». И тут нам помогла чистая случайность или везенье либо, если хотите (авт. ничего не хотел. Авт.), перст судьбы. Этот Пельцер был когда-то давно коммунистом и взял на работу свою старую знакомую по партии, муж которой — а может быть, и любовник, кажется, они жили в незарегистрированном браке или еще как, — так вот, муж этой женщины сбежал во Францию с документами чрезвычайной важности. Таким образом, официально Борис был «приставлен» — так это называлось на жаргоне — к этой женщине, но ни он сам, ни Пельцер, ни эта коммунистка ни о чем не подозревали. А официальный документ, все это подтверждающий, я получил опять-таки от старого знакомого, работавшего в отделе «Войсковая разведка. Восток». И самым важным во всей этой операции было сохранить мое участие в тайне, в противном случае я бы добился как раз обратного: навел бы эсэсовцев на Бориса. Как вы думаете (авт. опять ничего не думал. Авт.), легко ли было сделать что-либо реальное для мальчика, попавшего в такое положение? А после двадцатого июля контроль стал намного строже; партийный бонза потребовал новой взятки; все висело на волоске. Кого тогда вообще интересовала судьба советского лейтенанта саперных войск Бориса Львовича Колтовского?»

Получив некоторое представление о том, как трудно было даже этому высокопоставленному лицу сделать что-то для советского военнопленного, авт. снова отправился к Богакову, запасаясь солеными огурцами и двумя билетами в кино на цветной фильм «*Ruans Daughter*»¹. Богаков, за это время получивший еще одно приспособление — резиновую трубку от кальяна, которую он насовывает на мундштук и может «сносно» ку-

¹ «Дочь Раяна» (англ.).

ритель, так как резиновую трубку удобно держать даже скрюченными пальцами («Не приходится теперь вытягивать губы и ловить мундштук»), стал до того словоохотлив, что, рассказывая о Борисе, не удержался и сообщил авт. подробности интимного, даже интимнейшего свойства.

«Ну, так вот, — начал Богаков, — мальчишка сам, без помощи пронизательного Виктора Генриховича, понимал, насколько его судьба не укладывается в рамки исторических закономерностей. И беспокоила его больше всего эта самая невидимая, но явно ощутимая рука, которая переводила его из лагеря в лагерь и в конце концов устроила в это садоводство, которое, помимо всего прочего, обладало еще одним преимуществом: там было тепло, там всегда топили, а зимой сорок третьего — сорок четвертого года это было более чем сносно. И когда я ему наконец шепнул, кто его все время перемещает с места на место, он ничуть не успокоился — и одно время даже стал подозревать эту милую девушку: решил, что она подслана и подкуплена тем господином. Было и еще одно обстоятельство, державшее сверх меры чувствительного мальчика в постоянном нервном напряжении: рядом с его мастерской, во всем остальном довольно сносной, то и дело палили в воздух. Я вовсе не хочу этим сказать, что мальчик не испытывал чувства благодарности, ничего подобного, он был просто счастлив, и все же непрерывная пальба действовала ему на нервы».

Здесь уместно будет напомнить, что в Германии зимой сорок третьего — сорок четвертого года церемониал предания земле покойников всех категорий требовал все больших усилий от его участников: не только от кладбищенских сторожей, изготовителей венков, священников, записных ораторов — бургомистров, не только от ортсгруппенлейтеров, командиров полков, учителей, однополчан и руководителей предприятий, но и от солдат местного гарнизона, которым приходилось непрестанно оглашать воздух пальбой. На центральном кладбище между семью часами утра и шестью вечера шла непрерывная пальба, интенсивность которой зависела от числа покойников, причины их смерти, звания и должности. (Из показаний Грундча, которые далее приводятся дословно): «Иногда казалось, что это не кладбище, а полигон или по меньшей мере тир. По идее-то салют

в честь умершего должен бы звучать как *один* выстрел — мне это дело знакомо, ведь в семнадцатом году я был фельдфебелем ландштурма и сам иногда командовал таким салютом. Но то по идее, а в действительности получался обычно не залп, а длинная очередь, как будто пристреливают новый пулемет. К тому же на кладбище время от времени еще и падали бомбы, и грохотали зенитки — словом, людям, чувствительным к шуму, приходилось несладко, а когда мы открывали окно и высывались наружу, то явственно чуяли запах пороха, хотя стреляли-то, конечно, холостыми».

Если авт. будет позволено в виде исключения прокомментировать вышесказанное, то он хотел бы обратить внимание читателей на то, что для участия в похоронах, вероятно, частенько направляли молодых неопытных стрелков, и что им было, наверно, жутковато стрелять в воздух над головами священников, безутешных родственников, офицеров и партийных деятелей, и что они поэтому нервничали, за что их, надеемся, никто не упрекнет. Разумеется, на кладбище лились Сл., раздавался П., все ощущали Б₁, и ни у кого из родственников усопших не было на лице выражения уверенности в ценности собственного бытия; зато на многих лицах читалось Б₁, а также ожидающая всех перспектива раньше или позже быть преданным земле под грохот залпа; все это вместе вряд ли действовало успокаивающе на молодых солдат. Гордая скорбь отнюдь не всегда была такой уж гордой, на кладбище ежедневно работали с полной нагрузкой сотни, если не тысячи слезных желез, контроль над мозговым стволом у многих утрачивался, — ибо ими были утрачены — так им казалось — главные жизненные ценности.

Богаков: «Недоверие к этой девушке продолжалось, конечно, недолго, день или два, а потом, когда она положила свою ладонь на его руку и с ним случилось то самое (??)... Ну, вы и сами знаете, что бывает с мужчинами, если они долго не имели дело с женщиной и не умели обойтись своими силами... Ну вот, так было и с ним, когда девушка просто взяла и положила свою руку на его, что лежала на столе, куда она клала венки. Да. Вот как все началось. Он сам мне это рассказал, и хотя с ним такое уже случалось — но во сне, а не наяву, — он ужасно растерялся и в то же время испытал

более чем сносное блаженство. Я же и говорю: парень был совсем наивный, воспитанный в пуританском духе, и о том, что такое половая жизнь, понятия не имел. Тут-то и выяснилось нечто такое, о чем я вам расскажу, если вы поклянетесь всеми святыми (что авт. и сделал!), что эта девушка никогда об этом не узнает (авт. уверен, что Лени как раз можно было бы об этом узнать, она бы не смутилась, а, быть может, даже обрадовалась бы. Авт.): мальчишка еще ни разу в жизни не сливался с женщиной. Да (в ответ на недоуменно поднятые брови авт.), я всегда это так называл: слиться с женщиной. Он не спросил у меня, как это делается, потому что все же знал, что в организме мужчины существуют какие-то физиологические предпосылки и ощущения, для него, так сказать, очень даже естественные, и что мужчина, почувствовав известное возбуждение, сам догадывается, что к чему и что куда, если он любит женщину и хочет с ней слиться. В общем, кое-что он все же знал, вот только... была еще одна тонкая деталь... а, проклятье, я полюбил этого мальчишку, если хотите знать (авт. хотел это знать. Авт.), ведь он мне, можно сказать, жизнь спас, без него я бы с голоду помер, подох, ноги протянул... и без его доверия тоже. С кем еще он мог поговорить по душам, черт подери! Я был для него всем — отцом, братом, другом, и я не спал ночами и плакал от страха, когда узнал, что он и вправду крутит любовь с немкой. Я его не раз предостерегал: «Ну, ладно, своей головой ты можешь рисковать, раз уж так безумно любишь эту девушку, но какое ты имеешь право подставлять ее под удар? Ты только подумай, чем она рискует: ведь ей не удастся свалить все на тебя,— дескать, ты ее принудил или взял силком; в нынешних обстоятельствах ей никто не поверит. Будь же благоразумен!» А он мне на это: «Благоразумен?! Если бы ты хоть раз ее увидел, ты бы и не заикнулся о благоразумии. Если бы я заговорил с ней на эту тему, она бы меня просто высмеяла. Она знает, чем я рискую, и знает, что я знаю, чем она рискует; но она и знать не хочет ни о каком благоразумии! Умереть она тоже не хочет, она хочет жить и хочет, чтобы мы пользовались каждой возможностью сливаться друг с другом». Это слово он у меня перенял, признаю. Когда я ее потом увидел и узнал поближе, я понял, что с моей стороны было глупо взывать к благоразумию. Но я сейчас не о том. Там была еще одна деталь, которая ужасно мучила парня. Еще во

время гражданской войны мать для безопасности оставила его, совсем еще крошку, двух-трех лет от роду, у своей подруги, жившей в деревне где-то в Галиции; у этой подруги была бабушка-еврейка, и когда подругу расстреляли, эта бабушка взяла малыша на свое попечение, и он год-два бегал по деревне с еврейскими детьми, а когда и бабушка померла, какая-то другая старушка взяла к себе в дом мальчишку, про которого уже никто толком не знал, чей он и откуда родом. И вот однажды эта старушка обнаруживает, что Борису еще не сделано обрезание, и, естественно, решает, что это упущение покойной бабушки, и недолго думая наверстывает упущенное; в общем, мальчишку обрезали. Я думал, с ума сойду. И спросил его: «Борис, ты меня знаешь и знаешь, что я человек без предрассудков, скажи мне прямо: ты еврей или нет?» И он мне поклялся: «Нет, я не еврей, а если бы был, то не стал бы скрывать». Ну, ни малейшего намека на еврейский выговор у него не было, это так, но все равно эта новость меня без ножа зарезала, потому как у нас в лагере антисемитов хватало, они бы взяли его в оборот, а то и вовсе немцам бы выдали. И я его спросил: «Как же ты выкрутился, я хочу сказать, как же ты прошел все медосмотры и прочее со своей, скажем так, измененной крайней плотью?» И он рассказал мне целую историю: в Москве у него был друг, студент-медик, и тот, понимая, какой опасностью это может обернуться для Бориса, перед призывом в армию временно пришел ему кусочек кошачьей кишки; операция была крайне болезненная, но сделана на совесть. И кусочек этот держался, пока... Ну, в общем, пока Борис не стал непрерывно испытывать это самое возбуждение. Тут пришитый кусочек отвалился, и все. И теперь Борис спросил меня, может ли женщина и так далее. Так у меня появилась еще одна причина плакать и трястись от страха по ночам, но не из-за его вопроса насчет женщин — да я и знать не знаю, может ли женщина это заметить, — а из-за того, что наш Виктор Генрихович был отъявленный антисемит, да и кроме него в лагере было несколько типчиков, которые выдали бы его немцам просто из зависти и недоверия. А уж у немцев-то... Там бы его никакой высокопоставленной персоне не спасти. И всей его сносной житухе пришел бы конец».

Высокопоставленное лицо: «Должен вам признаться, что я всерьез разозлился на Бориса, когда задним числом узнал, что он завел какие-то шашни. Да, разозлился.

Это было уж слишком! Он должен был понимать, какой опасности себя подвергает, и мог сообразить, что мы, его покровители, — а он знал, что у него есть покровители, — попали бы из-за него в пренеприятнейшее положение. Ведь всю эту сложную цепочку связей можно было раскрутить в обратном направлении. И вы, конечно, знаете, что в подобных случаях нечего было ждать пощады. Ну, к счастью, все обошлось, я только задним числом натерпелся страху и не стал скрывать от фройльн Пфайфер — то есть от фрау Пфайфер, — что был задет их неблагодарностью по отношению ко мне. Да, именно неблагодарностью, как я это называю. О боже, ради какой-то любовной интрижки! Разумеется, через посредников я постоянно получал информацию о его состоянии и время от времени меня посещало желание под видом служебной командировки съездить в те места и поглядеть на него; но в конце концов я все же устоял перед соблазном. Он и без того доставлял мне много хлопот. Например, — уж не знаю, сознательно или нет, — он иногда устраивал в трамвае настоящие провокационные вылазки, как мне докладывали; во всяком случае, и на него, и на конвойного в самом деле посыпались жалобы, и фон Каму пришлось их разбирать. Дело в том, что по утрам, в трамвае, он вдруг принимался напевать — большей частью мурлыкал себе под нос, но иногда пел громче, так что можно было разобрать слова. И знаете, что он пел? «Смело, товарищи, в ногу», второй куплет: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. Братский союз и свобода — вот наш девиз боевой». Разве это было умно — петь такую песню ранним утром в переполненном трамвае, битком набитом невыспавшимися немецкими рабочими и работницами, да еще через год после Сталинграда? Как можно было вообще петь в тяжелой ситуации, сложившейся тогда? Представьте себе, что было бы, если бы он спел и третий куплет — а с него бы случилось, ведь он делал это без всякой задней мысли, — если бы спел: «Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил, черные дни миновали, час искупленья пробил». Видите, меня не зря называют красным. В общем, хлопот хватало. Конвойного наказали, а насчет Бориса фон Кам позвонил мне — он это делал в исключительных случаях, обычно мы поддерживали связь через посыльных, — и спросил: «Что за провокатора ты навязал мне на шею?» Ну, в конце концов все удалось замять, однако каких трудов это стоило. Опять пришлось

прибегнуть к взяткам и ссылкам на распоряжение отдела «Войсковая разведка. Восток». Но потом страшно: один рабочий заговорил с Борисом в трамвае и шепнул ему на ухо: «Держись, товарищ, война почти что выиграна». Конвойный это услышал, и нам пришлось преодолеть бог знает какие трудности, чтобы заставить его взять свой рапорт обратно. Рабочему эта история стоила бы головы. Нет, благодарности от Бориса я и впрямь не видел. Одни неприятности».

Авт. счел необходимым еще раз нанести визит тому господину, который оказался столь колоритной личностью, что вполне мог бы оттеснить на задний план Бориса, играющего главную мужскую роль в нашей истории: речь идет о Вальтере Пельцере, семидесятилетнем жизнерадостном господине, проживающем в своей желто-черной вилле на опушке леса. Яркие позолоченные лани украшают одну стену виллы, яркие позолоченные кони — другую. Пельцер держит лошадь для верховой езды, у него есть конюшня для этой лошади, а также машина для себя (высшего класса) и машина для жены (среднего класса). Когда авт. появился у него во второй раз (впоследствии авт. еще не раз у него появится), он нашел хозяина дома в состоянии оборонительной меланхолии чуть ли не с оттенком раскаяния. «Ты из кожи вон лезешь, чтобы дети выучились, стали учеными — вон сын у меня врач, дочка археолог, сейчас она в Турции, — и что получаешь в итоге? Презрение к родителям и их среде. Мол, выскочки, нувориши. Я у них и старый нацист, и конформист, и на войне наживался, — чего только не приходится слышать в свой адрес, вы даже себе не представляете. Дочка еще и поет мне что-то там про третий мир, а я вас спрашиваю: что она о первом-то знает? О мире, в котором сама родилась? У меня сейчас есть время почитать, да и поразмыслить над прожитой жизнью. Возьмите хотя бы Лени: в свое время она уперлась, не захотела продать мне свой дом, потому что мне она, видите ли, не доверяла, а потом продала его Хойзеру. И что же теперь задумал этот Хойзер вместе со своим оборотистым внуком? Он собирается выселить ее из дома, потому что она сдает комнаты иностранным рабочим, давно уже не платит вовремя за квартиру или даже вообще не платит. Разве мне могло бы прийти

в голову вышвырнуть Лени из ее собственной квартиры? Да никогда, ни при каком политическом строе. Никогда. Я ведь не скрываю, что сразу положил на нее глаз, как только она у нас появилась, и что на брачные узы всегда смотрел только как на узы. Разве я скрываю? Нет. Разве скрываю, что был сперва коммунистом, потом нацистом, что не упускал кое-каких экономических шансов, которые благодаря войне открылись перед моим предприятием? Нет. Я всегда старался — извините за грубое выражение — урвать где только можно. Я же все это признаю. Но разве после тридцать третьего я обидел хотя бы одного человека в своем садоводстве или вне его? Нет. Да, до тридцать третьего я был крутоват с людьми, признаю. Но после тридцать третьего? Да я и мухи не обидел. Может ли на меня пожаловаться хоть один из тех, кто работал у меня или со мной? Опять-таки нет. Никто и не жаловался. Единственный человек, который, пожалуй, мог бы пожаловаться, был Кремп; но его уже нет в живых. Да, этого типа, этого безмозглого фанатика, я гонял в хвост и в гриву, сознаюсь, потому что он только и делал, что мучил воду и портил рабочую атмосферу в мастерской. В первый же день, как только у нас появился этот русский, болван Кремп решил заставить всех обращаться с ним как с недочеловеком. Все началось с чашки кофе, которую Лени подала русскому; это было во время перерыва на завтрак, сразу после девяти. День выдался очень холодный — ведь дело было не то в конце декабря сорок третьего, не то в начале января сорок четвертого; а у нас так повелось, что кофе для всех варила Ильза Кремер. Если вы меня спросите, почему, я отвечу: потому что ее все считали самой порядочной; и этому идиоту Кремпу не худо было бы задаться этим же вопросом: почему старую коммунистку все сочли самой порядочной и самым подходящим человеком для этого дела. В те годы каждый из нас приносил с собой из дома пакетик молотого кофе для завтрака, и этот пакетик заключал в себе достаточно поводов для свары. Одни приносили чистый суррогат, другие подмешивали в суррогат натуральный кофе в пропорции один к десяти или один к восьми, Лени — всегда один к трем, я иногда позволял себе роскошь делать смесь один к одному, а изредка даже пил настоящий кофе. Значит, у нас было десять разных пакетиков с кофе и десять разных кофейников. Если учесть, что кофе был острым дефицитом, то эта обязанность являлась высшим

выражением доверия к Ильзе, ибо кто бы мог заметить или что-то заподозрить, если бы она переложила щепотку кофе из хорошего пакетика в свой пакетик с плохим? Да никто! У коммунистов эта честность называлась классовой солидарностью, и наши нацисты — Кремп, Ванфт и Шельф — не преминули этим воспользоваться. Никому не пришло бы в голову возложить эту почетную обязанность на ту же Ванфт или Шельф, а тем более на этого полного кретина Кремпа: они-то уж обязательно подменили бы кофе даже друг другу. К этому надо добавить, что у Кремпа обычно нечем было поживиться, — он был настолько туп и настолько принципиален, что приносил из дому только чистый суррогат. И потом — какие разные ароматы поднимались от кофе, когда его разливали по чашкам! В те годы вы бы сразу учуяли даже самую малую толику натурального кофе. И всегда лучше всего пахло от кофейника Лени. Вы даже представить себе не можете, какая буря чувств поднималась в душах, когда ровно в четверть десятого каждый брал свой кофейник! Тут было все: и зависть, и недоброжелательность, и ревность, даже ненависть и жажда мщенья. Думаете, в начале сорок четвертого органы полиции или партии могли еще разбираться с каждым и каждого притягивать к ответу из-за этого... как это там называлось... из-за «подрыва военной экономики»? Да они были рады, если люди где-то доставали горсточку кофе, и им было все равно, где. Ну, ладно. И что же делает наша Лени в первый же день, как только у нас появился этот русский? Она наливает ему чашку кофе из своего кофейника — между прочим, кофе у нее, как всегда, один к трем, заметьте, а Кремп тем временем дует свою бурду, — наливает, значит, русскому из своего кофейника в свою чашку и несет к столу, за которым он в первый день вместе с Кремпом делал каркасы. Для Лени было совершенно естественно угостить кофе человека, у которого не было ни кофе, ни чашки. Думаете, она понимала, что совершает *политический* акт? Я заметил, что даже Ильза Кремер побледнела: она-то понимала, что это пахнет политикой — угостить русского чашкой кофе один к трем, который своим ароматом перешибает запахи всей прочей бурды. Что же делает Кремп? Обычно во время работы он отстегивал свой протез, потому что тот натирал ему культу, и вешал его на крюк; снимает он, значит, с крюка свой протез (думаете, приятно было весь день глядеть на

искусственную ногу, висящую на стене?) и вышибает чашку с кофе из рук вконец растерявшегося русского. За этим следует то, что, по-моему, называется гробовым молчанием. Однако и гробовое молчание — оно часто встречается в литературе, в книжках, которые я теперь иногда почитываю, — тоже бывает разное: у Ванфт и Шельф оно было одобрительным, у Хойтер и Цевен — нейтральным, у Хёльтхоне и Ильзы — сочувственным. Но до смерти *перепугались*, скажу я вам, мы все, за исключением старика Грундча, который стоял рядом со мной в дверях моей конторы и просто-напросто рассмеялся. Хорошо ему было смеяться, он почти ничем не рисковал, потому что считался невменяемым; но на самом деле Грундч был настоящий пройдоха, другого такого поискать. А что сделал я? Я так разволновался, что, стоя в дверях, плюнул в мастерскую. Если только плевок можно что-то выразить, то мой плевок выражал едкую иронию; и угодил он ближе к Кремпу, чем к Лени. О боже, как объяснить такую политически важную деталь: почему мой плевок упал ближе к Кремпу, чем к Лени? И как доказать, что он выражал иронию? В мастерской все еще царит гробовая тишина. Что же делает Лени, пока все замерли в напряженном молчании, затаив дыхание от страха? Что она делает? Поднимает с пола чашку, благо та не разбилась, так как упала на валявшиеся под ногами кусочки торфа, — значит, поднимает с пола чашку, подходит к крану и начинает тщательно ее мыть; в том, с какой тщательностью она мыла, уже содержался скрытый вызов; мне даже кажется, что, начиная с этой минуты, во всем, что она делала, заключался уже явный, то есть преднамеренный, вызов. О боже, каждому ясно, что такую чашку можно мигом сполоснуть, пускай даже основательно вымыть; но Лени не просто мыла чашку, она совершала некий обряд, и чашка в ее руках была уже не чашка, а священная чаша; потом зачем-то тщательно протерла чашку чистым носовым платком, подошла к своему кофейнику, снова налила ее — знаете, у нас у всех были кофейники на две чашки — и спокойненько подала русскому, даже не взглянув на Кремпа. Причем подала не молча, нет, она еще и сказала при этом: «Прошу вас». Теперь дело было за русским. Уж он-то не мог не понимать, что вся эта ситуация сильно отдавала политикой. Очень нервный, очень ранимый молодой человек, скажу я вам, и такой деликатный, что кое-кому из наших не грех было бы

у него поучиться. Такой бледный он был на вид, в смешных очках; а волосы у него были совсем светлые и такие волнистые, что даже придавали ему некоторое сходство с ангелочками. Так что же делает молодой человек? Тишина все еще стоит гробовая, и каждый чувствует, что наступает решающий момент. Лени свое дело сделала, как теперь поступит он? Он берет чашку и говорит по-немецки громко и четко, с безукоризненным произношением: «Большое спасибо, фройляйн». И отхлебывает из чашки. А на лбу у него капли пота. Вы только подумайте, ведь он, наверное, несколько лет не пил ни капли настоящего кофе или чая, на его истощенный организм кофе подействовал как наркотик. Ну, на этом нестерпимо напряженная гробовая тишина кончилась: Хельтхоне облегченно вздыхает, Кремп бормочет что-то неразборчивое, слышно только «большевики — вдова фронтовика — кофе большевику», Грундч во второй раз хохочет, я во второй раз плюю — да так неловко, что плевков чуть не попал в протез Кремпа; это было бы уже святотатством. Обе нацистки — Ванфт и Шельф — возмущенно сопят, остальные облегченно вздыхают. Но Лени-то осталась без кофе; и что тут делает моя Ильза, то есть Кремерша? Берет свой кофейник, наливает в чашку, подает Лени и даже произносит вполне внятно: «Не жевать же хлеб всухомятку». А у Ильзы в тот день кофе тоже был ничего себе. Дело в том, что у Ильзы был брат, отъявленный нацист, занимавший какой-то высокий пост в Антверпене; он частенько привозил ей кофе в зернах. Да... Вот как было дело. Для Лени это была решающая битва».

Этот решающий демарш Лени в конце сорок третьего — начале сорок четвертого года показался авт. настолько важным, что он решил собрать о нем дополнительную информацию и еще раз посетил всех живых свидетелей этой сцены в мастерской. Прежде всего, ему хотелось уточнить длительность «гробового молчания» — авт. казалось, что таким долгим оно быть не могло. Авт. считает, что показания Пельцера в этом пункте несколько олитературены, ибо здравый смысл и собственный опыт авт. подсказывают, что «гробовое молчание» не может продолжаться дольше тридцати — сорока секунд. Ильза Кремер, которая, кстати сказать, не отрицала наличие брата-нациста, снабжавшего ее

кофе, считает, что «гробовое молчание» длилось «три-четыре» минуты. Ванфт: «Эту сцену я помню во всех подробностях и до сегодняшнего дня не могу себе простить, что мы не вмешались и тем самым вроде бы наперед одобрили все последовавшие затем события. Гробовое молчание? Я бы сказала: презрительное молчание. Сколько оно длилось? Раз вам это так важно, я бы сказала: одну-две минуты. Мы не имели права и не должны были молчать. Наши парни героически сражались на фронте, страдали от мороза и непрерывно гнали большевиков (в сорок четвертом году это не соответствовало действительности, тогда уже, наоборот, большевики «непрерывно гнали наших парней»). Историческая справка авт.), а этот русский сидит себе в тепле, да еще пьет кофе один к трем из рук этой шлюхи». Хельтхоне: «Ну, у меня просто мороз пробежал по коже, уверяю вас, меня затрясло, как в ознобе, а в голове вспыхнул и потом еще долго не давал покоя вопрос: неужели Лени не ведает, что творит? Я восхищалась Лени, ее мужеством, ее естественностью, восхищалась тем дьявольским спокойствием, с каким она при общем гробовом молчании мыла чашку, вытирала ее и так далее, во всем этом была какая-то, я бы сказала, хладнокровная отзывчивость и человечность, черт возьми. А сколько все это длилось? Ну, мне показалось — целую вечность, не важно, что на самом деле прошло, может, три — пять минут или только восемьдесят секунд. Для меня это длилось целую вечность. И тут я впервые в жизни почувствовала что-то вроде симпатии к Пельцеру, ведь он явно был на стороне Лени, а не на стороне Кремпа. А эти его плевки — что ж, это был пусть и вульгарный, но в ту минуту единственно возможный способ выразить свое отношение, и было совершенно ясно, что он выражал: Пельцер с удовольствием плюнул бы Кремпу в лицо, но этого он позволить себе не мог».

Грундч: «Меня так и подмывало при всех похвалить девушку: она оказалась не робкого десятка. Черт подери, да ведь она сходу — может, даже ничего толком не понимая, — дала решающий бой. Но каким-то чутьем, видать, уловила: раз она впервые увидела этого парня всего полтора часа назад, а он все это время довольно беспомощно проторчал за столом каркасников, — то никто, даже эта ищейка Ванфт, не мог бы заподозрить ее в шашнях с русским. Раз уж вы сами меня расспрашиваете, то позвольте выразиться по-военному: Лени расчи-

стила себе обширный сектор обстрела, еще не зная, потребуется ли стрелять. И никто не мог истолковать ее поступок иначе, как чисто наивную человечность; и хотя проявлять ее к недочеловекам запрещалось, а все же тут даже такой типчик, как Кремп, вдруг увидел: Борис — человек, увидел, что и у него есть нос, две ноги и даже очки на носу, и что он не чета всей этой компании, что собралась в нашей мастерской. Благодаря смелому поступку Лени Борис стал в наших глазах человеком, просто-напросто был ею возведен в ранг человека — и им и остался, несмотря на все неприятности, которые произошли потом. А сколько все это длилось? Ну, тогда мне казалось — минут пять, не меньше».

Авт. счел своей обязанностью установить вероятную длительность гробового молчания экспериментальным путем. Поскольку помещение мастерской сохранилось — теперь оно перешло в собственность Грундча, — можно было произвести все необходимые замеры: от стола Лени до стола Бориса — четыре метра; от стола Бориса до крана — три метра; от крана до стола Лени (где стоял кофейник) — два метра; еще раз четыре метра до стола Бориса — итого тринадцать метров. Этот путь Лени прошла на вид совершенно спокойно, но в действительности, надо полагать, довольно быстро. Вышибание чашки из рук Бориса, к сожалению, не удалось экспериментально воспроизвести, так как авт. не располагает ни знакомым с ампутированной ногой, ни, следовательно, протезом. Зато он полностью воспроизвел мытье и вытирание чашки, а также наливание кофе. Авт. проделал весь эксперимент трижды, дабы добиться максимальной точности и получить искомую среднюю величину. Результат: первый эксперимент занял 45 секунд, второй — 58 секунд, третий — 42 секунды. Средняя величина: 48 секунд.

Здесь авт. вынужден — опять-таки в виде исключения — непосредственно вторгнуться в ход повествования, поскольку он расценивает вышеописанное событие как духовное рождение или, вернее, как духовное возрождение Лени, другими словами, как главное событие в ее жизни, а материал, которым он располагает о Лени, довольно скуден, то авт. позволяет себе сделать лишь

следующий предварительный вывод: она, вероятно, несколько ограничена, такая смесь романтики, чувственности и материализма, отдаленное влияние Клейста, игра на рояле, дилетантские, хотя и довольно глубокие или, точнее, прочно усвоенные познания в области внутренней секреции; можно рассматривать ее как несостоявшуюся (из-за гибели Эрхарда) возлюбленную, как мнимую вдову или как почти круглую сироту (мать умерла, отец за решеткой); можно считать ее полуобразованной или даже совсем необразованной. Но все это никак не объясняет ни свойств ее натуры, которые нас интересуют, ни их сочетания, не объясняет естественности ее поведения в те минуты, которые мы назовем обобщенно «эпизодом с чашкой кофе». Конечно, она трогательно и тепло заботилась о Рахили вплоть до того дня, когда старую монахиню закопали в монастырском саду; но ведь Рахиль была для Лени близким и самым любимым существом после Эрхарда и Генриха. Совсем другое дело — подать чашку кофе такому человеку, как Борис Львович, которого она тем самым ставила в невыносимое, смертельно опасное положение, ибо как иначе назвать положение советского военнопленного, которому наивная немка предложила чашку кофе, и он эту чашку с такой же (кажущейся) наивностью принял как нечто *само собой разумеющееся*? Да понимала ли она вообще, что такое коммунист, если, по мнению Маргарет, даже не понимала, что такое еврейка?

Ван Доорн, ничего не зная об «эпизоде с кофе» (очевидно, Лени не считала его столь важным, чтобы ей о нем рассказать), — как выяснилось, Маргарет и Лотта тоже ничего о нем не знают, — предлагает авт. весьма простое объяснение ее поступка: «У Груйтенов, видите ли, было так заведено — каждого, кто приходил в дом, угощали кофе. Все равно, кто — нищий, попрошайка, бродяга, приятный или неприятный компаньон. Просто не бывало так, чтобы пришедшего в дом не угостили чашкой кофе. Даже Пфайферов, а это уже кое-что значит. Хочу быть справедливой: это железное правило ввел не он, а она. И мне это всегда напоминало старинный обычай: раньше каждый проходивший мимо монастырских ворот мог получить свою миску супа; всем казалось естественным, что никто у него не спрашивал, какого он вероисповедания, и не требовал от него никаких благочестивых слов. Думаю, Елена Груйтен пред-

ложила бы чашку кофе и коммунисту... И даже самому отъявленному нацисту тоже. Иначе она просто не могла. В общем, Елена Груйтен была человеком широкой души, этого у нее не отнять. И пусть у нее были свои недостатки, но она была отзывчивая и душевная. Только в одном — вы знаете, что я имею в виду, — только в одном она оказалась не той женщиной, какая ему была нужна».

А теперь авт. считает необходимым со всей решительностью подчеркнуть: впечатление, будто в конце сорок третьего — начале сорок четвертого года в пельцеровской мастерской по изготовлению венков появились или хотя бы наметились какие-то русофильские или просоветские настроения, является в корне неверным. Естественность поведения Лени можно расценить с исторической точки зрения как относительную, — правда, с точки зрения Лени как личности все же как абсолютную. Если вспомнить, что другие немцы (весьма немногие), оказывавшие советским людям куда меньшие знаки внимания, рисковали и зачастую платились тюрьмой, виселицей или концлагерем, то нельзя не признать, что в «эпизоде с чашкой кофе» имело место не сознательное и абсолютное, а лишь относительное проявление человечности, как в объективном, так и в субъективном плане, и что поэтому и рассматривать его надо лишь в связи с личностью Лени и с исторически конкретным местом действия. Если бы Лени была менее наивной (свою наивность она уже доказала в отношении Рахили), она вела бы себя точно так же — последовавшие затем события и поступки Лени позволяют сделать этот вывод. А если бы у нее не было возможности выразить присущую ей естественность в материально-конкретной форме — с помощью той самой чашки кофе, — то эта ее естественность облеклась бы в беспомощные и, вероятно, даже невразумительные слова сочувствия, что могло бы привести к худшим для нее последствиям, чем чашка кофе, поданная, словно священная чаша. Есть все основания предполагать, что ей доставляло чувственное наслаждение тщательно мыть и вытирать чашку: в этом не было ничего демонстративного. Поскольку у Лени действие всегда опережало мысль (Алоис, Эрхард, Генрих, сестра Рахиль, отец, мать, война), причем опережало намного, можно, думается, прямо исходить из того, что

она осознала свои действия лишь спустя какое-то время. Ведь она не просто налила советскому русскому чашку кофе, она подала эту чашку, как священную чашу, и, избавив от унижения русского, унизила немца — инвалида войны. Следовательно, нельзя считать, что Лени духовно родилась или возродилась за те примерно пятьдесят секунд, что длилось гробовое молчание, ее духовное рождение или возрождение было не законченным действием, а длящимся процессом. Короче говоря: только действуя, Лени начинала понимать смысл своих действий. Ей необходимо было все материализовать. Не следует упускать из виду, что ко времени «эпизода с чашкой» ей исполнился двадцать один с половиной год. Она была — придется это еще раз повторить — натурой, чрезвычайно зависящей от своих органов внутренней секреции, а значит, и пищеварения, и вследствие этого совершенно не способна сознательно «переключаться». В ней еще не проснулся талант непосредственного общения, который Алоис не сумел ни распознать, ни разбудить, а Эрхард то ли не имел возможности это сделать, то ли еще не осознал. Те восемнадцать — двадцать пять минут чувственного удовлетворения, которое она, вероятно, пережила во время близости с Алоисом, не раскрыли в ней этот талант, потому что у самого Алоиса не достало таланта понять парадоксальность природы Лени: Лени была чувственной именно потому, что она не была чувственна со всеми.

Существуют всего два свидетеля второго по важности события — «наложения руки»: Богаков, который его нам уже описал вместе с секреторными последствиями, и Пельцер, которого можно считать единственным очевидцем.

Пельцер: «С тех пор она каждое утро относила русскому его чашку кофе. И могу поклясться, что на следующий день — он сидел уже не за столом каркасников, а с Хельтхоне, то есть в группе проверки, — могу поклясться, что на следующий день Лени уже не по наивности или простодушию, как вам сдается, а вполне сознательно — то есть хорошенько оглядевшись и соблюдая осторожность — положила левую руку на его правую; длилось это всего один миг, но пронзило его насквозь, словно молнией. Его прямо-таки подбросило вверх, как при Христовом вознесении. Я видел все это

собственными глазами, клянусь, а она не знала, что я это видел, потому что я стоял в темной конторе и наблюдал за ними через стекло: мне было интересно поглядеть, как пойдут дальше кофейные дела. Знаете, что я подумал? Звучит, может, и грубовато, но мы, садоводы, не любим всяких там ужимок да уловок, как некоторые про нас говорят. Ах ты, черт, да она ему навязывается — вот что я подумал. Ну и дела,— подумал я,— навязывается! И прямо-таки позавидовал русскому и даже приревновал к нему. А Лени по части эротики была передовых взглядов, ее не заботило, что по традиции инициативу должен проявлять мужчина: *она сама* захватила инициативу, положив свою руку на его. И хотя она, конечно, прекрасно знала, что в его положении он просто не мог проявлять инициативу, все равно с ее стороны это был смелый или даже дерзкий поступок в обоих смыслах — и в политическом, и в эротическом».

С той самой минуты в сердцах наших героев, как стало известно авт. (о Лени через Маргарет, о Борисе через Богакова, причем показания свидетелей совпадают слово в слово), «вспыхнула страстная любовь». Из рассказа Богакова мы знаем: с Борисом случилось то, что бывает с каждым нормальным мужчиной; из рассказа Маргарет узнаем, что Лени «испытала блаженство куда более острое, чем то, что однажды охватило меня среди вереска,— я тебе об этом случае рассказывала».

Пельцер о деловых качествах Бориса: «Можете мне поверить, я хорошо разбираюсь в людях, и я в первый же день понял, что этот русский — высокоодаренная личность, к тому же с организаторскими способностями. Неофициально он у меня уже через три дня замещал Грундча в группе проверки и прекрасно ладил с Хёльтхоне и с Цевен, которые фактически оказались у него в подчинении, но, конечно, не должны были этого заметить. По-своему он был художник, тем не менее довольно быстро смекнул, что от него требуется: экономить материал. И никаких тебе эмоций, когда надо было выводить надписи на лентах, а ведь они наверняка были ему не по нутру: «За фюрера, народ и отечество» или «112-й отряд штурмовиков». Целыми днями возился со свастиками и имперскими орлами — и ничего, не терял равновесия. Однажды я его спросил — разговор был

с глазу на глаз у меня в конторе, где стоял шкаф с лентами и учетными книгами по лентам, перешедший к тому времени в его ведение,— я спросил его: «Борис, скажите мне откровенно, что вы чувствуете, имея дело со свастиками, орлами и прочим?» Он ответил мне в ту же секунду. «Господин Пельцер,— сказал он,— я надеюсь, вы не обидитесь — иначе зачем было бы спрашивать,— если я вам скажу: для меня известное утешение не только догадываться и знать, но и собственными глазами видеть, что штурмовики тоже смертны, а что касается свастик и орлов, то я отдаю себе отчет, в какой ситуации нахожусь». Вскоре он и Лени стали просто незаменимыми работниками — я хочу это особо подчеркнуть: если я не причинял ему никакого зла, а, наоборот, делал только добро — то же самое относится и к ней,— то я преследовал и свою выгоду. Я не какой-нибудь чудака-филантроп, и никогда этого не утверждал. У парня была просто фантастическая любовь к порядку, к тому же организаторский талант. И он умел ладить с людьми; даже Ванфт и Шельф сносили его замечания, так мягко он их делал. Уверяю вас, в условиях свободного рынка этот парень далеко бы пошел. Конечно, он был образованный — как-никак, инженер, и в математике, наверное, разбирался; но ведь дело тут совсем в другом: хотя я уже десять лет был хозяином этой мастерской, а Грундч и вовсе чуть ли не сорок лет оттрубил в садоводстве, но никто из нас, даже наша умница-разумница Хёльтхоне, не заметил, а вот он заметил, что каркасники, я хочу сказать, каркасная группа перегружена, не поспевает за отделочницами и сдерживает их производительность; сам он к этому времени вместе с Хёльтхоне занимался проверкой — лучшей группы нельзя было и желать. Значит, нужна перегруппировка сил. Цевен перевели обратно на каркасы, она немного поворчала, но я успокоил ее надбавкой, и вот результат: выход продукции возрос на двенадцать — пятнадцать процентов. Теперь вас уже не удивляет, что я был так заинтересован в этом русском и заботился о том, чтобы с ним чего не случилось? Кроме того, кое-кто из партийных шишек говорил мне — когда прямо, а когда и намеками: проследи, мол, чтобы с ним ничего не случилось, у него, мол, высокий покровитель. Но это было не так просто. Эта гнусная ищейка Кремп в паре с истеричкой Ванфт могли в два счета погубить мою лавочку. И никто не знал, даже Лени, а тем более Грундч, что я выделил Борису шесть

квадратных метров самой удобренной земли в моей личной теплице, чтобы он выращивал там табак, огурцы и помидоры».

Авт. должен признаться, что со свидетелями, работавшими во время войны в цветоводстве вместе с Лени, у него почти не было хлопот, он чаще всего посещал более доброжелательных из них. Поскольку Ванфт при втором визите еще демонстративнее повернулась к нему спиной, он перестал к ней обращаться. А Пельцер, Грундч, Кремер и Хёльтхоне проявляли к автору одинаковую доброжелательность, к тому же они оказались и одинаково словоохотливы — Кремер, правда, немного меньше других; поэтому авт. каждый раз колебался, кого из них выбрать и предпочесть. У Хёльтхоне его привлекал превосходно заваренный чай и сугубо изысканная обстановка ее дома, а также приятная внешность самой хозяйки, хорошо сохранившейся и тщательно ухоженной; привлекала авт. и ее откровенная и неиссякаемая приверженность к сепаратизму, а смущало только одно: ее крошечная пепельница и явная антипатия к заядлым курильщикам.

«Ну, что ж, наша земля (имеется в виду земля Северный Рейн — Вестфалия. Авт.) имеет, стало быть, самые высокие налоговые поступления и поддерживает другие, менее богатые земли федерации; но почему-то никому не приходит в голову пригласить сюда к нам жителей этих бедных земель — к примеру, Шлезвиг-Гольштейна или Баварии, пусть бы они не только жили за счет наших доходов, но подышали еще и нашим задымленным воздухом,— он и задымлен как раз из-за того, что здесь зарабатывают так много денег. А чего стоит наша отвратительная вода! Да ее в рот нельзя взять. Вот пусть бы баварцы, привыкшие к своим прозрачным озерам, и гольштинцы, кичащиеся своим морским побережьем, приехали к нам и искупались разок в Рейне; сами знаете, какими бы вылезли: по уши в мазуте. А возьмите этого Штрауса — ведь вся его карьера сплошь состоит из каких-то неясностей; я говорю «неясностей», но могу выразиться и поточнее: из темных пятен, за неясностями всегда скрывается что-то темное. Как этот Штраус обрушивается на нашу землю (Северный Рейн — Вестфалию. Авт.), чуть ли не с пеной у рта! А почему, собственно? Да просто потому, что порядки у нас чуть-чуть прогрессив-

нее. Заставить бы его пожить годика три с женой и детьми в Дуисбурге, Дормагене или Весселинге, чтобы почувствовал, как нам достаются деньги и откуда они берутся,— те самые деньги, которые он кладет в свой баварский карман и их же еще и оплевывает только из-за того, что правительство нашей земли — тоже не подарок, конечно,— но все же не сравнить с ХДС, а тем более с ХСС. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать? Откуда у меня может взяться это их пресловутое «чувство единства», ну, откуда? Разве это я основала германскую империю или хотя бы выступала за ее основание? Нет. Какое нам, собственно, дело до них всех — на севере, на юге и в центральной части Германии? Вспомните, как мы очутились в этой их империи! Ведь только по милости проклятых пруссаков. А что у нас с ними общего? И кто нас в 1815 году продал? Сами мы, что ли, себя продали? Да разве нас кто-нибудь спросил? Разве они провели хоть какое-то подобие плебисцита? Нет, ничего этого не было, уверяю вас. Так пусть Штраус искупается в Рейне и подышит воздухом Дуисбурга. Какое там! Он предпочитает наслаждаться здоровым баварским климатом, а на «Рейн и Рур» по любому поводу изливать потоки грязи. Что у нас общего с этими тупыми и невежественными провинциалами? У нас и своих тупиц и невежд хватает. Подумайте обо всем этом на досуге! (Авт. пообещал.) Нет, я всегда была и останусь сепаратисткой. Если уж никак нельзя иначе, пускай к нам примкнут вестфальцы, я не против; но что они могут нам дать? Свой клерикализм, свое лицемерие и свой картофель,— впрочем, не знаю точно, что у них там растет, меня это не слишком интересует. А их поля и леса — что мне от них проку? Их же не возьмешь и не унесешь с собой, они останутся там, где были. Ну, ладно, вестфальцы пускай примкнут, так и быть. Но не все. Вестфальцы ведь страшно обидчивы, вечно им мерещится, что их притесняют, вечно они ноют и скандалят из-за того, что им урезают эфирное время, и прочих пустяков. С ними одна морока. Знаете, что меня больше всего привлекало в Лени? Она — типичная женщина с Рейна. И еще должна вам сказать нечто такое, что наверняка покажется вам странным: Борис казался мне более местным, чем все остальные в мастерской,— за исключением, разумеется, Пельцера: такая смесь жуликоватости и отзывчивости встречается только в нашем краю. Истинная правда, что он никому ничего плохого не делал, разве что Крем-

пу, к этому он придирался, как только мог, а поскольку Кремп был ярый нацист, можно было подумать, что Пельцер не был конформистом. Как раз наоборот, он был конформист до мозга костей и всегда примыкал к большинству, а Кремпа у нас никто терпеть не мог, даже обе наши нацистки. Этот Кремп был просто мерзкий тип и грязный бабник. И все-таки, все-таки объективность прежде всего: он ведь был совсем юнец, двадцатилетним мальчишкой, еще в сороковом году, потерял ногу; а кому приятно самому додуматься или от других услышать, что принесенные им жертвы в конечном счете были бессмысленны? И давайте представим себе, как с годами менялась картина: в первые месяцы войны таких, как он, чествовали как героев, и девушки буквально не давали им проходу; но война продолжалась, и одноногие фронтовики мало-помалу становились привычным, даже массовым явлением, а позже парни с двумя ногами вообще стали иметь больше шансов на успех у девушек, чем одноногие или безногие инвалиды. Я считаю себя женщиной просвещенной и передовой — и именно с этих позиций объясняю вам сексуальный и эротический статус этого Кремпа и ту психологическую ситуацию, в которой он оказался. Боже мой, что такое был в начале сорок четвертого одноногий инвалид? Несчастный бедолага с нищенской пенсией. А вообразите себе на минутку, каково было такому в кульминационный момент любовной сцены отстегивать свой протез! Кошмар и для него, и для его партнерши, даже если она шлюха. (О, этот ее восхитительный чай! Должен ли авт. считать проявлением симпатии к своей особе появление на столе другой пепельницы, уже размером с блюдце для чашечки с шоколадом? Авт.) А перед глазами у инвалида все время маячил этот здоровяк Пельцер — типичный образчик древнего изречения — *mens sana in corpore sano*¹. Такой тип встречается только среди уголовников, я хочу сказать — среди людей, совершенно лишенных стыда и совести. Бессовестность — залог здоровья, уверяю вас. Пельцер не упускал случая нажиться, и наживался буквально на всем. С конвойными, которые утром приводили и вечером уводили Бориса, он тоже обделывал свои делишки: эти ребята примерно раз в неделю сопровождали составы во Францию или в Бельгию и привозили коньяк, сигары и кофе ящиками,

¹ В здоровом теле — здоровый дух (лат.).

а также ткани, у них можно было даже *заказать* товар, как в магазине. Один из них — его звали Кольб,— уже пожилой и, кстати, довольно скользкий тип, как-то привез мне из Антверпена целый отрез бархата на платье, а другой — его звали Больдиг — был намного моложе; такой весельчак-циник, каких с начала сорок четвертого развелось видимо-невидимо. Неунывающий парень, ей-богу; один глаз у него был стеклянный, рука ампутирована до запястья и вся грудь в орденах; он совершенно цинично извлекал выгоду из потерянного глаза, потерянной руки и орденов на груди, делая на них ставку, как в игре. И ему было в высшей степени плевать на фюрера, народ и отечество, во всяком случае, больше, чем мне, потому что без фюрера, я, конечно, охотно бы обошлась, но рейнский народ и рейнское отечество мне дороги. Этот Больдиг время от времени уединялся в теплице вместе с Шельф — она была среди нас самая аппетитная после Лени,— якобы для того, чтобы с разрешения Пельцера срезать немного цветов; Больдиг называл это «поиграть в кошки-мышки» или «послушать, как поет синичка». Для него это было левое дело, и он изощрялся, придумывая все новые и новые названия. По-своему он был даже привлекательный парень, только от его цинизма и бесстыдства просто жуть брала. Именно он всегда старался как-то подбодрить Кремпа — то сунет ему пару сигарет, то просто похлопает по плечу и гаркнет лозунг, который тогда только появился: «Бери от войны все, что можешь, мир будет страшен». Другой конвойный, Кольб, был пакостный субъект, всех лапал и тискал. А что касается Пельцера... выражаясь современным языком: в связи с дефицитом похоронных принадлежностей возник, естественно, черный рынок, на котором из-под полы продавалось все — венки, ленты, цветы, гробы. Для изготовления венков, предназначавшихся бонзам, героям-фронтовикам и жертвам бомбежек, Пельцер, разумеется, получал материал от государственных органов. Никому не хочется хоронить своих дорогих покойников без венка. А поскольку военных и даже гражданских хоронили все чаще и чаще, гробы не только стали использоваться многократно, но вообще превратились в бутафорию: в днище гроба открывалась дверца, и очередной покойник, зашитый в парусину, позже просто в дерюгу, а еще позже кое-как обернутый, почти голый, падал на дно ямы; бутафорский гроб для приличия некоторое время не трогали, для вида слегка

забрасывали землей; но как только убитые горем родственники и друзья покойного, солдаты, производившие залп, обер-бургомистр и высокие партийные бонзы завершали обряд погребения и скрывались из виду, бутафорский гроб вытаскивали из ямы, очищали от прилипшей земли и наводили блеск, а могилу меж тем поспешно засыпали, — именно поспешно, как при еврейском погребении. В общем, все происходило почти как в парикмахерской, где мастер говорит: «Кто следующий?» Сама собой напрашивалась мысль — и Пельцеру, которому не удавалось нагреть руки на прокате гробов и прочих весьма доходных похоронных принадлежностей, она, конечно, пришла в голову: ведь и венки тоже можно пустить в оборот и использовать по два, три, а то и по пять раз, для чего, естественно, потребуется подкуп и сговор с кладбищенскими сторожами. Число повторных использований зависело, разумеется, от прочности каркасного материала и качества применявшихся зеленых веток, а кроме того, само по себе давало возможность внимательнее приглядеться к работе конкурентов и уличить их в халтуре. Это дело, конечно, надо было как следует организовать, сколотить группу сообщников и обеспечить соблюдение тайны; положиться Пельцер мог только на Грундча, на Лени, на меня и на Ильзу Кремер. Признаюсь: мы все в этом участвовали. К нам в руки иногда попадали венки из сельской местности, они были прямо-таки довоенного качества. Чтобы остальные ничего не заметили, Пельцер объединил нас в «группу подновления». «Подновлялось» все, включая ленты; Пельцер в конце концов сообразил, что и ленты можно пускать в ход неоднократно, и уже принимая заказ, добивался, чтобы надпись на ленте была как можно менее индивидуальной — стандартная надпись повышала шанс повторного использования. Ленты с надписями «От папы и мамы» во время войны, ясное дело, не залеживались, и даже такая сравнительно индивидуальная надпись, как «Твой Конрад» или «Твоя Ингрид», имели некоторые шансы; для этого ленту надо было отгладить, немного освежить фон и сами буквы и положить в шкаф — до того времени, когда очередной Конрад или очередная Ингрид будет кого-то оплакивать. Любимым изречением Пельцера в те времена — как, впрочем, и во все другие — была пословица: «С паршивой овцы хоть шерсти клок». В конце концов Борис внес еще одно предложение, — кстати, доказывавшее, что он

был знаком с немецкой мещанской литературой; он предложил возродить старинную надпись: «Любимому, единственному, незабвенному». Текст этот оказался сущим кладом или, по-современному, бестселлером: ленту с такой надписью пускали в оборот до тех пор, пока ее еще можно было освежить и прогладить. Даже сугубо индивидуальные надписи типа «Твоя Гудула» Пельцер не выбрасывал».

Показания Кремер на эту тему: «Чистая правда, я тоже во всем этом участвовала. Мы работали сверхурочно, чтобы особо не бросаться в глаза. Пельцер нас всех уверял, что мы вовсе не оскверняем могилы, что венки попадают к нему со свалки. Ну, а мне было все равно. Подновление давало неплохой приработок, да и зазорного в нем ничего не было. Кому будет польза или радость, если венки просто сгниют на свалке? Но потом на Пельцера все же донесли: его обвинили в осквернении могил и ограблении трупов. Нашлись родственники, которые, придя на могилу через три-четыре дня после похорон, обнаружили, что их венок исчез. Пельцер вел себя порядочно, никого из нас не выдал, и на суд пошел один, даже Грундча не стал впутывать; а там, как я узнала от одного знакомого, он очень ловко выкручивался, оправдывая свои действия жупелом тех лет — «разбазариванием народного достояния». Он признался «в некоторых упущениях» и пожертвовал тысячу марок на какой-то санаторий. Суд был не настоящий, его дело разбиралось в комитете ремесленной палаты, а потом в партийном суде чести, и Пельцер заявил, как мне рассказывал тот знакомый: «Господа и товарищи по партии, я сражаюсь на том фронте, который большинству из вас незнаком; но разве на тех фронтах, которые многие из вас знают, не смотрят кое на что сквозь пальцы?» Ну, после этого Пельцер на время прекратил свои махинации, а в конце сорок четвертого началась полная неразбериха, так что уже никто не обращал внимания на такие мелочи, как венки или ленты».

VII

Поскольку старик Грундч с большой сердечностью приглашал авт. навещать его в любое время, то авт. воспользовался приглашением и посетил его несколько раз подряд и вместе с ним наслаждался воистину небесным

покоем, царящим на кладбище в летние теплые вечера после его закрытия; приведенные ниже дословные показания Грундча представляют собой сокращенный результат примерно четырех бесед, начавшихся и закончившихся в сугубо дружеской атмосфере. Во время этих бесед, из которых первая проходила на скамейке под бузиной, вторая — на скамейке под олеандром, третья — на скамейке под кустом жасмина, четвертая — на скамейке под кустом ракитника (старик Грундч любит разнообразие и утверждает, что в его распоряжении много других скамеек под кустами других пород); собеседники курили, потягивали пиво и время от времени прислушивались к далекому уличному шуму, на таком расстоянии казавшемся даже приятным.

Краткое изложение первой беседы (под бузиной): «Смешно слушать, когда наш Вальтерхен утверждает, будто всего лишь воспользовался экономическими шансами. Да он никогда их не упускал, даже девятнадцати лет от роду сумел нажиться на войне, ведь в первую мировую он служил в полевой спецроте. Что такое полевая спецрота? Это рота, которая, скажем, осматривает поле боя, когда бой кончился; ведь там валяется много всякого добра, которое еще может пригодиться войскам: стальные каски, винтовки, пулеметы, боеприпасы, иногда даже пушки; спецрота подбирает все подряд — каждую фляжку, каждую потерянную в бою фуражку или ремень и т. д. Ну, на поле боя, естественно, полно трупов, а у них в карманах обычно кое-что есть: фотографии, письма, а то и бумажники, и не всегда пустые... Один сослуживец Вальтера по спецроте рассказывал, что тот ничем не брезговал, даже золотыми коронками, какой бы они ни были национальности... А под конец на европейском театре боевых действий впервые появились американцы, и тут наш Вальтерхен на их трупах впервые показал, что такое, по его понятиям, деловая хватка. Конечно, все это запрещалось строжайшим образом, но люди — надеюсь, вы не принадлежите к их числу, — обычно ошибочно полагают, что раз запрещено, значит, никто и не нарушает. Сила Вальтера в том и состоит, что он плюет на все запреты и законы и свято блюдет лишь одно правило: не пойман — не вор. Так вот, наш приятель вернулся с войны, имея в кармане небольшой капитал: у девятнадцатилетнего парня оказалась пухлая пачка американских долларов, английских фунтов, бельгийских и французских франков, а также небольшой, но

тяжеленький мешочек с золотом. И тут он снова показал свою деловую хватку, обнаружив недюжинный нюх на недвижимость: он начал скупать земельные участки — как освоенные, так и неосвоенные, причем предпочитал неосвоенные — не в земледельческом, а в строительном смысле, — но не гнушался и застроенными. В то время доллары и фунты ценились очень высоко, а участки на окраинах города шли за бесценок, и Вальтерхен покупал по моргену то тут, то там, стараясь не особо удаляться от шоссе, ведущего из города; но и в центре купил несколько домишек у разорившихся ремесленников и мелких торговцев. Потом бросил это дело и занялся, так сказать, мирным трудом: взялся эксгумировать трупы американских солдат и отправлять их в цинковых гробах в Америку; тут можно было подзаработать и законным, и незаконным путем, ведь у эксгумированных попадались золотые коронки; американцы пуще всего на свете боятся заразы, а потому и платили за эту работу баснословные деньги; так у нашего друга в то бездолларовое время опять завелось много законных и незаконных долларов, и он прикупил еще несколько небольших земельных участков, совсем крохотных, но зато в центре города, где прогорали один за другим хозяева мелких продуктовых лавок и ремесленники».

Краткое изложение беседы под олеандром: «Когда я поступил в обучение к старому Пельцеру, мне было четырнадцать лет, а Вальтеру — четыре годочка, и все мы, в том числе и его родители, называли его Вальтерхен, так оно и повелось и осталось за ним на всю жизнь. А старики его были люди хорошие, правда, мамаша очень уж сильно набожная, день и ночь пропадала в церкви и все такое, зато отец, наоборот, не верил ни в Бога, ни в Дьявола, причем вполне сознательно, если вы понимаете, что это значило в девятьсот четвертом году. Уж конечно, прочел всего Ницше, почитывал и Стефана Георге, психом его не назовешь, просто человек слегка тронулся; делами своего садоводства не больно интересовался и все возился с какими-то непонятными экспериментами: старался вывести уже не «голубой цветок», а другой — «новый». Еще в самом начале он примкнул к левому молодежному движению и меня туда же втянул; я и по сей день помню все куплеты песни «Рабочий люд» и могу хоть сейчас спеть (Грундч запел): «Кто золото копает, кто топь в лесу мостит? Кто ткет шелка и сукна, кто виноград растит? Кто, хлеб скормив свой богачам,

всю жизнь голодает сам? Рабочий люд, пролетариат. Кто дотемна работает и до свету встает? Кто для других всю роскошь создает? Руками вертит шар земной, а сам забыт родной страной? Рабочий люд, пролетариат».

А приехал я к Гейнцу Пельцеру из самой что ни на есть нищей деревушки в Айфеле, и было мне тогда четырнадцать лет. Хозяин отгородил мне в теплице закуток у самой печки, поставил кровать, стол и стул, кормил меня и давал немного денег. Сам он ел то же, что и я, да и денег у него было столько же. Мы с ним были коммунисты, хотя не знали этого слова и не понимали толком, что оно значит. А когда меня призвали — я служил в армии с 1908 по 1910 год, — то жена Пельцера, Адельгейд, посылала мне посылки. И куда меня направили служить? Конечно, в глухомань за Одером, в Бромберг. А куда я ездил, когда меня отпускали на побывку? Не домой, не в эту затхлую дыру, пропахшую попами, я ездил к Пельцеру... Ну, а Вальтерхен вечно вертелся у нас под ногами — и в теплице, и среди грядок с цветами; мальчик он был тихий, смазливый, не очень веселый, но и угрюмым его не назовешь. И знаете, почему он получился совсем не таким, каким был его отец? Я думаю, таким его сделал страх. Да, страх. Ведь в доме то и дело происходили стычки с судебными исполнителями из-за просроченных векселей, доходило до того, что мы, подмастерья, складывались и отдавали хозяину свои жалкие сбережения, чтобы предотвратить беду. Цветоводство в те времена не было прибыльным делом, оно стало приносить барыши только после того, как вся Европа помешалась на цветах. А старик Пельцер к тому же все носился со своей бредовой идеей вывести новый цветок. Дескать, новому времени нужен и цветок новый, вообразил себе невесть что, да только ничего у него не вышло, хотя он годами втайне от всех колдовал над своими цветочными горшками и грядками, что-то там удобрял, что-то обрезал и прививал; а получались лишь выродившиеся тюльпаны и розы, жалкие, уродливые гибриды-ублюдки. Ну вот, и когда Вальтерхен в шесть лет пошел в школу, у него с языка не сходило одно слово — «исполнитель» (так он называл судебного исполнителя): «Мама, сегодня придет исполнитель? Папа, а сегодня к нам опять придет исполнитель?» Это все страх, уверяю вас, именно страх сделал его таким, каким он стал. Ну, гимназию ему, ясное дело, не удалось кончить, из восьмого класса он вылетел и напрямик угодил в подма-

стерья к отцу; на него сразу же нацепили зеленый фартук, так что на дальнейшем образовании можно было поставить крест; а на дворе был четырнадцатый год, так что крест, если хотите знать, можно было поставить не только на этом, но и на всем, буквально на всем. Мне тогда было двадцать четыре, и я знаю, что говорю: крест можно было поставить на самой идее социализма в Германии. Ну почему эти идиоты поверили своему слащавому дерьмуку кайзеру, почему дали ему так себя провести! Гейнц, отец Вальтера, тоже все это понял и наконец-то махнул рукой на свои дилетантские опыты с цветами. Его, как и меня, забрали в армию, и мы оба стали фельдфебелями — от злости, скажу я вам, от злости на весь мир, от ненависти и тоски. Я ненавидел этих лопоухих новобранцев военного призыва, этих благовоспитанных и верноподданных пай-мальчиков, наложивших в штаны в буквальном и переносном смысле. Ненавидел и тиранил нещадно. Да, я стал фельдфебелем, через мои руки прошли тысячи новобранцев, я муштровал их и отправлял на фронт из казармы в Хакетойере, которая как две капли воды была похожа на казарму в Бромберге, похожа до мелочей, так что канцелярию третьей роты я бы мог найти с закрытыми глазами,— всё как в Бромберге. В кармане, в бумажнике, у меня лежала маленькая фотография Розы Люксембург. Я всегда носил ее с собой, как образок, никогда с ней не расставался, она и потерялась со временем, как образок. Ну вот, я не участвовал в Советах солдатских депутатов, нет, не участвовал: для меня в четырнадцатом году германская история кончилась,— конечно, это господа социал-демократы убили Розу Люксембург, это они дали ее убить; а потом и наш Вальтерхен угодил на войну, и, может быть, выдирать золотые коронки и прикарманивать доллары было самым разумным делом на войне. Его мать, Адельгейд, была добрая женщина, в молодости даже слыла хорошенькой, но потом очень рано отцвела, нос покраснел и заострился, губы вечно поджаты, и выражение такое кислое и горестное, какого я терпеть не могу: такое же выражение было у моей бабушки и у моей матери. На красивых лицах наших деревенских женщин всегда было написано *страдание*, они всегда были горестно-кислыми и вечно слушались проклятых попов; ни свет ни заря тащились на раннюю мессу, после обеда, бормоча молитвы, хватались за свои четки, а вечером опять перебирали эти четки и опять молились. Ну, нам с Пель-

цером довольно часто приходилось захаживать в церковь или в часовню при кладбище, потому что мы давали напрокат кадки с пальмами и прочее, так что знакомство Адельгейд с попами пришлось нам очень кстати; впрочем, к праздникам мы обслуживали цветочным прокатом и разные другие организации — ферейны и фирмы... Я-то лично с удовольствием плюнул бы на алтарь, и не делал этого только из-за Адельгейд. Ну, а потом Гейнц еще и запил. В общем, можно понять, почему Вальтерхен старался поменьше бывать дома, то выкапывал мертвых американцев, то подался в Добровольческий корпус — кажется, в Силезию — и исчез на полгода, потом какое-то время жил в городе, занялся профессиональным боксом, но ничего путного из этого не вышло, и он перекапывался в сутенеры — сначала работал с самыми дешевыми шлюхами, готовыми на все за чашку кофе ценой в двадцать пфеннигов, после были у него и подороже... Ну, а потом прибился к коммунистам, вступил в их партию, но и у них пробыл недолго. Откровенничать Вальтерхен никогда не любил, и его вроде не волновало, что недвижимое имущество не приносит ему больших барышей; садоводством он никогда не занимался: эта работа грязная, земля забивается во все поры, а наш Вальтерхен всегда был франтом и очень заботился о своем здоровье: каждое утро — пробежка, потом контрастный душ, завтракать предпочитал не дома — там на завтрак вместо настоящего кофе — суррогат да и повидло из самых дешевых, — а прямым ходом двигал в одно из кафе, где подвизались его шлюхи, и заказывал себе свежие яйца, натуральный кофе и рюмочку коньяку; счет потом оплачивали клиенты девиц. Ну и, конечно, постарался побыстрее обзавестись машиной, — правда, на первых порах всего лишь «ханомагом».

Краткое содержание беседы под жасминовым кустом: «Но к своим старикам он всегда хорошо относился, по-настоящему хорошо, сдается, он их и в самом деле любил. Никогда, бывало, матери грубого слова не скажет, даже не ухмыльнется, а ведь Адельгейд с годами все мрачнела, да и умерла потом не от горя, а от душевного мрака; в общем, засохла женщина на корню, а жаль — в молодости она была очень хорошенькая и цветущая; в девятьсот четвертом, когда я поступил в обучение к Пельцеру, Адельгейд была весела, как птичка, и чистюля, каких мало. Ну вот. А потом, когда

развозили по церквам кадку с пальмой, стали Вальтерхена иногда брать с собой; вы бы поглядели, как он ловко преклонял колена перед алтарем, как опускал пальцы в чашу со святой водой... Видать, всосал с молоком матери. Ну, а в тридцать втором он подался в штурмовики, в начале тридцать третьего участвовал в облавах на известных политиков, но никого не хватал, а только обирал до нитки: за драгоценности и наличные отпуская на все четыре стороны. Наверное, заработал на этом деле кругленькую сумму — сразу появились у него и новая машина, и новые тряпки; а тут подвернулся шанс скупить у евреев за бесценок где земельный участок, где лавчонку или стройплощадку; про все это он потом скажет: «Я был тогда крутоват». Но в один прекрасный день наш Вальтерхен вдруг превратился в эдакого холерного барина с маникюром, в тридцать четвертом женился — само собой, на деньгах; жена его Ева, дочь богача Прумптеля, во девичестве все, бывало, витает в облаках; неплохая, в общем, девица, только немного истеричная. Ее папаша держал нечто вроде ссудной кассы, а потом открыл еще и несколько ломбардов... Ну, а дочка зачитывалась Рильке и играла на флейте. В приданое она принесла Вальтерхену еще несколько земельных участков и солидную сумму наличными. После тридцать четвертого он числился уже почетным штурмовиком, в грязные дела больше не лез, тем паче во всякие жестокости; Вальтерхена вообще жестоким не назовешь, он только норовил нажать побольше землицы. И вот что интересно: чем богаче он становился, тем лучше относился к людям, даже в «хрустальную ночь» не захотел ничего урвать. Теперь он только и делал, что рассиживал в дорогих кафе, ездил в оперу, где абонировал ложу, народил двоих прелестных детишек — сперва Вальтера, а потом и Еву, — которых прямо-таки обожал, в тридцать шестом получил в наследство от отца садоводство, — Гейнц к тому времени превратился в живые мощи, пил горькую и загнулся от беспробудного пьянства. Вальтер взял меня к себе управляющим, садоводство получило от партийных органов заказ на венки, мы оборудовали мастерскую, и Вальтер подарил мне часть садоводства, она и по сей день моя; это был с его стороны широкий жест, ничего не скажешь, и он никогда не был со мной груб или мелочен. В общем, дела садоводства пошли в гору, когда и Гейнц и бедная Адельгейд упокоились в земле».

Краткое содержание беседы под кустом ракитника: «Некоторые считают, что назвать Вальтера нацистом — значит оскорбить даже нацистов. Коренная перемена в нем произошла в середине сорок четвертого, когда случилась вся эта история с Лени и русским. Ему недвусмысленно поручили — и по телефону, и в личных беседах — следить, чтобы с ними обоими ничего не случилось. А состоялась перемена в том, что Вальтерхен стал задумываться. Он не хуже других понимал, что война проиграна и что после войны ему не повредит тот факт, что он хорошо обращался с русским и с дочкой Груйте-на. Однако: сколько война еще продлится? Этот вопрос сводил с ума нас всех! Как выжить в последние месяцы, когда на каждом шагу кого-нибудь вздергивают на виселицу или ставят к стенке? Тут уж никто не чувствовал себя в безопасности — ни нацист со стажем, ни антифашист... Черт подери, ведь сколько времени прошло, почти полгода, пока американцы от Аахена добрались до Рейна. И мне кажется, именно тогда Вальтерхен — цветущий, уверенный в себе и обожающий своих детишек — впервые ощутил то, о чем раньше и понятия не имел: душевный разлад. Он жил в собственной вилле на лоне природы, имел двух прелестных малюток, машину, двух породистых ухоженных псов и много земельных участков, количество которых все возрастало. Купленные ранее участки он продал — не за деньги, нет, наличные его вообще не очень интересовали, все его помыслы всегда были направлены на непреходящие ценности: за свои участки он получил вдвое, втрое больше земли,— правда, подальше от города. Наш Вальтерхен был оптимист. Он по-прежнему ужасно заботился о своем здоровье, неукоснительно совершал утренние пробежки по лесу, принимал душ, съедал обильный завтрак, только теперь уже дома, а оказавшись в церкви, все еще — или, вернее, уже опять — удивительно ловко опускался на одно колено или быстро осеял себя крестным знаменем. А тут на его голову свалилась эта пара — Лени и Борис; оба пришлись ему по душе, оба были лучшими работниками, и обоим покровительствовали какие-то высшие силы, о которых он ничего не знал. Но не дремали и другие высшие силы, которые запросто могли загрести человека, поставить к стенке или отправить в концлагерь. Не следует, однако, впадать в ошибку, предположив, будто Вальтерхен вдруг обнаружил в себе какое-то инородное тело, известное

некоторым людям под названием «совести», или будто он вдруг, дрожа от страха или любопытства, приблизился к странному и для него донныне загадочному континенту, иногда именуемому иностранным словом «мораль». Ничего подобного! Он достиг богатства, пребывая в полном ладу с самим собой, разлад у него бывал время от времени только с окружающим миром (к примеру, внутрипартийные конфликты с нацистскими бонзами или со штурмовиками). За свою жизнь он не раз попадал в неприятные истории, начиная со спецроты в первую мировую и кончая облавами в тридцать третьем, когда он отпускал видных политиков за фамильные драгоценности и деньги. На него писали доносы в партийный суд чести и подавали в обычный суд, особенно в ту пору, когда он перегнул палку, совсем уж нагло пуская в оборот использованные венки и ленты. Неприятностей у него хватало, но он с ними справлялся, преодолевал все препятствия и хладнокровно отметал в сторону все нападки, ссылаясь на важность своей деятельности для национальной экономики и выдавая себя за неутомимого борца против всеобщего жупела тех лет — «разбазаривания народного достояния». Так что неприятности у него случались, но в разладе с самим собой Вальтерхен не бывал, потому как всегда точно знал, что ему выгодно, а что нет. На евреев ему было точно так же наплевать, как на русских, коммунистов, социал-демократов или кого угодно. Но что ему было делать, если одни высшие силы толкали его в одну сторону, а другие — в другую, если Лени и Борис ему, как на грех, нравились, да еще и — это надо же, одно к одному! — приносили барыш. Ему было в высшей степени начхать, что война проиграна, и политика интересовала его так же мало, как «историческая миссия немецкого народа». Но, черт подери, кто мог ему точно сказать в июле сорок четвертого, сколько воды еще утечет, пока война кончится? Он был уверен, что надо перестраиваться на поражение, но когда, наконец, возможно будет это сделать практически?»

Здесь уместно, пожалуй, подвести своего рода итоги и задать несколько вопросов, на которые читателю придется ответить самому. Для начала приведем некоторые цифры и коснемся внешних примет. Тот, кто представляет себе Пельцера неопрятным старикашкой с вонючей сигарой во рту, ошибается. Он всегда был (и оста-

ется) чрезвычайно опрятным человеком, носил (и носит) костюмы от частного портного и модные галстуки, которые ему и в семьдесят лет все еще к лицу. Пельцер курит сигареты, держится (и всегда держался) таким баринoм, и хотя выше был приведен случай, когда Пельцер дважды сплюнул на пол, необходимо сразу же оговориться: Пельцер плюет на пол крайне редко, почти никогда, и в описанном выше случае его плевки выполняли роль исторических знаков препинания, а возможно, и намек на сочувствие одной из сторон. Живет он в собственной вилле, причем слово «вилла» выговаривает правильно. Рост его — 1 м 83 см, весит — по свидетельству его сына, медика, который его пользует, — 78 кг, волосы у него очень густые, некогда темные, а теперь тронутые легкой сединой. Нужно ли считать Пельцера классическим образцом верности древнего изречения *mens sana in corpore sano*? Знал ли он, что такое С₂, Сл. и П.? Хотя ему, по-видимому, свойственна почти полная уверенность в самоценности бытия, ни один из восьми эпитетов, приведенных в статье энциклопедии, посвященной С₁, не применим к его собственному С₁, и если он изредка улыбался, его улыбка походила скорее на улыбку Моны Лизы, чем на улыбку Будды. Если считать его человеком, не боящимся конфликтов с внешним миром и до 1944 года не знавшим, что такое конфликт с самим собой, человеком, который благополучно дожил до сорока четырех лет, ни разу не испытав душевного разлада, в пять раз расширил предприятие своего отца, не упуская ни малейшей возможности нажиться, то нужно ясно представить себе, что он только в сорок четыре года, то есть уже довольно пожилым, впервые утратил абсолютную уверенность в самоценности своего бытия и испытывает известную робость, вступив на неизвестный ему ранее путь.

Если к сказанному о Пельцере добавить, что одной из наиболее ярко выраженных черт его характера является почти уже неприличная в его возрасте чувственность (склонность Пельцера к обильным завтракам аналогична соответствующей склонности Лени), то можно себе представить, какой душевный конфликт пережил Пельцер в середине сорок четвертого года. А если учесть и еще одну ярко выраженную черту его характера, а именно почти уже неуместное в его возрасте жизнелюбие, то можно себе представить, какой душевный конфликт пережил Пельцер после июля сорок четвертого

года. В руки авт. попал важный документ, характеризующий позицию Пельцера в последние месяцы войны. 1 марта 1945 года, за несколько дней до вступления в город американцев, Пельцер написал и послал заказным письмом заявление о выходе из нацистской партии и из штурмовиков: в письме он отмежевывался от преступлений этой организации и характеризовал самого себя как «порядочного человека и гражданина, попавшего на удочку нацистов» (авт. может предоставить для ознакомления заверенную копию этого письма). Очевидно, Пельцер в самый последний вечер перед вступлением в город американских войск разыскал все еще работающее почтовое отделение или хотя бы одного еще облеченного полномочиями почтового чиновника. Ибо существует и соответствующая почтовая квитанция, правда, обезображенная штемпелем с имперским орлом-стервятником. Таким образом, когда американцы вошли в город, Пельцер мог, ничуть не греша против истины, заверить их, что он не член нацистской партии. И тут же получил лицензию на занятие садоводством и плетение венков, поскольку захоронения в городе продолжались, хотя и в значительно меньшем количестве. Пельцер следующим образом прокомментировал жизненную необходимость своего ремесла: «Умирать будут всегда».

Но Пельцеру нужно пережить еще почти целый год войны, сопряженный со все возрастающими трудностями, и когда его сотрудники обращались к нему со всякими просьбами (об отпуске, авансе, надбавке, бесплатных цветах и т. д.), они всякий раз слышали от него одну и ту же фразу: «Я же не изверг какой-то». Все ныне здравствующие свидетели, работавшие тогда в садоводстве Пельцера, которых авт. удалось разыскать, подтверждают, что эту фразу он употреблял постоянно. «Он повторял ее, как молитву (Хёльтхоне), она звучала точно какое-то заклинание, словно он убеждал самого себя в том, что он и впрямь не изверг, и произносил он ее даже совсем не к месту; например, когда я как-то спросила, как здоровье его близких, он ответил: «Я же не изверг какой-то»; в другой раз кто-то (уже не помню, кто именно) спросил у него, какой нынче день — понедельник или вторник, Пельцер тоже сказал: «Я же не изверг какой-то». Все начали передразнивать шефа, даже Борис передразнивал, хотя, понятно, с большой оглядкой; к примеру, беря у меня из рук венки, чтобы прицепить ленту, он говорил: «Я же не изверг какой-то». Уже с точки

зрения психоанализа был очень интересен процесс, происходивший тогда в душе Вальтера Пельцера».

Госпожа Кремер целиком и полностью подтвердила, что эта фраза Пельцера и по частоте употребления, и по содержанию сильно смахивала на заклинание: «Он повторял ее так часто, что мы вообще пропускали ее мимо ушей, как не замечаешь фраз вроде «Господь с вами» или «Господи, помилуй» в церкви. А позже у него появился и второй вариант той же фразы: «Разве я изверг какой-то?»

Грундч (во время одного из более поздних визитов авт., настолько краткого, что авт., к сожалению, не удалось спокойно посидеть со стариком ни под бузиной, ни под каким другим кустом): «Да, все верно. Верно, что Вальтерхен иногда бормотал эту фразу — «Я же не изверг какой-то» или «Разве я изверг какой-то» — себе под нос, даже когда рядом никого не было. Я так часто слышал эти слова, что напрочь про них забыл, потому что он уже не мог обойтись без них, почти как без воздуха. Быть может (злорадный смех Г.), Вальтерхена мучили золотые коронки и ворованные венки, ленты, цветы, а также земельные участки, которые он продолжал скупать и в годы войны. Кстати, подумайте как-нибудь на досуге о том, как две-три, а может, и четыре пригоршни золотых коронок разной национальности превращаются сперва в неприглядный клочок земли, а потом, спустя пятьдесят лет, оборачиваются землевладением, на котором высится очень важное и очень солидное здание, принадлежащее бундесверу и исправно приносящее нашему Вальтерхену кругленькую сумму в виде арендной платы».

Авт. удалось даже напасть на след упоминавшегося выше видного политика Веймарской республики; след этот привел авт. в Швейцарию, где он нашел, однако, лишь вдову означенного политика. Эта очень пожилая и весьма дряхлая дама, живущая в одном из базельских отелей, прекрасно помнила все обстоятельства того события. «Главное во всем этом — мы обязаны ему жизнью. Он на самом деле спас нас, но не забывайте: как высоко надо было подняться в то время — или, вернее, как низко надо было пасть, — чтобы иметь возможность распоряжаться чужой жизнью. Об этой стороне нацистских благодеяний обычно забывают. И если Геринг поз-

же утверждал, что спас жизнь нескольким евреям, то нужно помнить, кто вообще в те времена мог спасти кому-то жизнь и что это были за времена, когда человеческая жизнь зависела от милости какого-то диктатора. Они действительно настигли нас в феврале тридцать третьего на вилле наших друзей в Бад-Годесберге, и этот человек... Его звали Пельцер? Возможно, я никогда не знала его имени; так вот, с хладнокровием опытного грабителя этот человек потребовал отдать ему все мои драгоценности, все наличные деньги, еще и выписать чек, причем, по его словам, это вовсе не было выкупом, — знаете, как он выразился? «Я просто продаю вам свой мотоцикл, вы найдете его у задней калитки сада; а кроме того, я дам вам еще добрый совет: держите курс не в Бельгию или Люксембург, а прямо в Айфель; за Саарбрюкеном поверните к границе и постарайтесь найти кого-нибудь, кто помог бы вам через нее перебраться. Я же не изверг какой-то, — сказал он под конец. — Конечно, остается пока открытым вопрос, не покажется ли вам слишком высокой цена мотоцикла и умеете ли вы его водить. У меня «циндап». К счастью, мой муж в молодости увлекался мотоциклетным спортом, но с той поры минуло уже лет двадцать; не спрашивайте, как мы добрались через Альтенар в Прюм, из Прюма в Трир; я сидела на заднем сиденье... Ну, в Трире у нас, к счастью, нашлись друзья по партии, которые — разумеется, не сами, а с помощью посредников, — доставили нас в Саарскую область. Да, мы обязаны этому человеку жизнью. Но ведь наша жизнь была в его руках. Нет, не заставляйте меня вспоминать обо всем этом, прошу вас. А теперь идите. Нет, я не желаю знать его имени».

Сам Пельцер почти ничего из вышеизложенного не отрицает, только его трактовка сильно отличается от трактовки других лиц. А поскольку он от природы чрезвычайно общителен и испытывает потребность отвести душу, авт. может в любое время позвонить ему по телефону, приехать и беседовать с ним сколько угодно. Авт. считает необходимым еще раз настойчиво подчеркнуть: Пельцер отнюдь не производит впечатления человека сколько-нибудь сомнительной репутации, морально нечистоплотного или подозрительного. Наоборот, вид у него вполне респектабельный: его можно принять за директора банка или председателя наблюдательного со-

вета концерна, и если бы его представили кому-то как министра в отставке, то удивление вызвал бы только сам факт отставки, поскольку Пельцеру никак не дашь его семидесяти лет; он кажется скорее шестидесятичетырехлетним, которому удастся выглядеть еще на три года моложе.

Когда авт. заговорил с ним о его деятельности в полевой спецроте, Пельцер не стал увиливать от разговора или что-то отрицать, но ни в чем и не признался и лишь ударился в философствование по поводу этой деятельности: «Видите ли, я всю жизнь ненавидел и сейчас больше всего на свете ненавижу бессмысленные траты; я подчеркиваю — бессмысленные, ибо тратить деньги занятие само по себе весьма приятное, если деньги тратят с толком и смыслом: то просто раскошелишься, то сделаешь дорогой подарок и тому подобное; но бессмысленные траты выводят меня из себя. И возня, которую устроили американцы вокруг своих мертвецов, с моей точки зрения, относилась именно к «бессмысленным тратам». Сколько денег, труда и материалов расходовалось на то, чтобы перевезти в Висконсин в двадцать третьем или двадцать втором году труп какого-нибудь Джимми из, скажем, Бернкастля, где он умер в госпитале в девятнадцатом году! А для чего, собственно? И зачем было везти вместе с его останками каждую золотую коронку, каждое обручальное кольцо, каждую золотую цепочку с амулетом? А что касается тех долларов, что мы насобирали по бумажникам за несколько лет до этого — после битвы на Лисе или под Камбре... Думаете, не возьми мы эти доллары себе, они ушли бы дальше командного пункта роты или батальона? И потом: цена мотоцикла зависит от конкретной исторической ситуации, а также от содержимого бумажника того лица, который при данной исторической ситуации испытывает нужду в мотоцикле.

Боже, разве я не доказал, что могу быть и щедрым? И что могу жертвовать собственными интересами, когда речь идет о жизненных интересах других людей? Да разве вы вообще можете себе представить, в какой рискованной ситуации я оказался с марта сорок четвертого года? Ведь я по собственной воле и вполне сознательно нарушил свой гражданский долг, чтобы дать возможность этим двум молодым людям наслаждаться их недолгим счастьем. Ведь я видел, как она положила свою ладонь на его руку, а позже не раз наблюдал, как они оба исчезали на две-три-четыре минуты в глубине

теплицы, где хранились торфяные брикеты, солома, вереск и зелень всех сортов... Думаете, я не заметил того, чего остальные, по-видимому, и впрямь не заметили: эта парочка во время воздушных налетов исчезала иногда на час или два? Ради них я не только пренебрег своим гражданским долгом, я пренебрег и собственным мужским интересом, ибо — честно признаюсь, я и раньше никогда не скрывал своих чисто мужских интересов, — я и сам положил глаз на Лени, а точнее — два глаза сразу. Да я и сейчас к ней равнодушен, можете спокойно ей это передать. Мы, бывшие фронтовики, народ вообще грубоватый в любовных делах, и в ту пору то, о чем теперь пишут так деликатно и усложненно, с такой изощренной утонченностью, мы называли просто — «положить на обе лопатки». Я нарочно воспроизвожу тут перед вами свою прежнюю манеру выражаться и свой прежний ход мысли, чтобы доказать, насколько я с вами откровенен. Да, я тогда был очень не прочь положить Лени на обе лопатки. Так что я жертвовал своими интересами не только как гражданин своей страны, не только как владелец предприятия, не только как член нацистской партии, но и как мужчина. В принципе-то я всегда был против всяких там ухаживаний, любовных интрижек или, если хотите, сожителства между хозяином и работницами; но иногда на меня накатывало, и тогда все принципы летели к чертям собачьим, тут уж я отдавался своим чувствам, переходил в наступление и... Ну, в общем, изредка все же «заваливал» какую-нибудь из своих работниц, такое выражение у нас тоже бытовало. Нескольким раз наживал неприятности из-за девиц — когда мелкие, когда крупные; особенно крупные неприятности я имел из-за Адели Кретен, которая меня полюбила, родила от меня ребенка и во что бы то ни стало хотела женить меня на себе, то есть хотела, чтобы я развелся и тому подобное; однако я принципиальный противник разводов, ибо развод отнюдь не решает множества сложных проблем; я приобрел для Адели цветочный магазин на Гогенцоллерн-аллее, всегда заботился о ее сыне, и сегодня Альберт прекрасно устроен — он давно работает учителем в реальном училище, а Адель стала вполне благоразумной и состоятельной женщиной. Из мечтательницы и фантазерки — такой Адель была в молодости: она и садоводством-то занялась в свое время из-за своих романтических бредней насчет зова природы и прочего — она превратилась в порядочную, смелую

и умную деловую женщину. А из-за этой истории с Борисом и Лени я с начала сорок четвертого года достаточно натерпелся страху и натрясся. И теперь попробуйте найти человека, хотя бы одного, который бы доказал вам с фактами в руках, что я вел себя как изверг».

Действительно, ни один из опрошенных авт. свидетелей не утверждал, что Пельцер был некогда извергом. Нужно лишь установить и подтвердить документально, что Пельцер весьма неэкономично растратил свою нервную энергию. Он начал по крайней мере на полгода раньше трястись от страха, пусть читатель сам решит, заслуживают ли его слова доверия. Контора Пельцера в виде застекленной с трех сторон будки (она сохранилась, и Грундч использует ее как кладовую для готовой продукции — выставляет в ней уже оплаченные заказчиками горшки с цветами и рождественские елочки для могил) располагалась в самом центре его заведения: с трех сторон — а если выразаться топографически точно, то с востока, севера и юга — к ней примыкали своими торцами три теплицы; в этой застекленной конторе Пельцер точнейшим образом вел учет всем цветам, выращенным в теплицах (позже это будет делать Борис), после чего часть цветов выдавал на отделку венков, другую — Грундчу, который в одиночку справлялся с заранее оплаченным уходом за могилами — таких клиентов в ту пору было мало, — а остальное шло в более или менее открытую продажу. С западной стороны к конторе Пельцера примыкала — опять-таки во всю ширину торцевой части — мастерская по производству венков, из которой можно было попасть в две из трех теплиц, так что Пельцер, естественно, мог, сидя у себя в конторе, следить за перемещениями каждого работника садоводства. Что же он видел? Он видел, что Лени и Борис временами выходили из мастерской следом друг за другом — либо в туалет (раздельных туалетов для мужчин и женщин не было), либо за материалом для венков в какую-нибудь из двух теплиц. Противовоздушная оборона на предприятии Пельцера, согласно неоднократным заявлениям уполномоченного по противовоздушной обороне фон дер Дриша, находилась «в преступном состоянии», ближайшее более или менее соответствующее инструкции бомбоубежище находилось в двухстах пятидесяти метрах от мастерской, в зда-

нии конторы кладбища; однако, согласно той же инструкции, в это бомбоубежище не допускались евреи, советские люди и поляки. Легко догадаться, что на соблюдении этого пункта инструкции особенно энергично настаивали Кремп, Ванфт и Шельф; куда же девать русского, когда с неба падают английские или американские бомбы, которые, правда, ему не предназначались, но тем не менее могли в него попасть? Эту троицу возможное попадание бомбы в русского не волновало. Кремп выразился так: «Ну, будет одним меньше, почему бы и нет?» (Свидетельница Кремер.) Но в таком случае возникала дополнительная трудность: кто будет охранять советского военнопленного в то время, когда немцы будут спасать свою жизнь под защитой (весьма, кстати, сомнительной) бомбоубежища? Разве можно оставить его одного и тем самым предоставить ему шанс перейти в то состояние, о котором все знают, но мало кто испытал: в состояние свободы? Пельцер решил эту проблему быстро и решительно: он наотрез отказался являться в бомбоубежище, заявив, что «оно не дает никакой защиты. Это же просто готовый гроб»; такого мнения неофициально придерживались и городские власти. Итак, Пельцер во время налетов оставался в своей стекляшке и ручался за то, что русскому не удастся «запросто» перейти в состояние свободы. «В конце концов, я же был солдатом, так что знаю, в чем состоит мой долг». Однако Лени, которая за всю жизнь ни разу не спускалась в бомбоубежище или погреб (и в этом тоже мы видим сходство между Лени и Пельцером), заявила, что «будет просто уходить на кладбище и ждать отбоя тревоги». Кончилось дело тем, что «все мы разбрелись кто куда, и никакие протесты этого жалкого фон дер Дриша не помогали, а его письменные рапорты перехватывал один приятель Вальтерхена и не давал им ходу» (Грундч). «Это конторское бомбоубежище — чистая нелепость, просто душегубка какая-то, одна видимость, а не убежище: обычный погреб залили сверху бетоном пальца на два; да его любая зажигалка могла пробить». В итоге: при воздушных налетах в заведении Пельцера воцарялся хаос: работать не разрешалось, советского военнопленного надо было сторожить, а все остальные разбежались «кто куда». Пельцер оставался в своей конторе — он отвечал за Бориса, то и дело поглядывал на часы и жаловался, что зря уходит рабочее время, — платить-то ему все равно придется, а доход на нуле. И по-

сколько фон дер Дриш все время придирался к шторам затемнения, Пельцер позже стал «просто гасить везде свет — и тьма воцарялась над водами» (Грундч).

Что же происходило в этой тьме?

Удалось ли Борису в начале сорок четвертого года, когда Пельцер, по его словам, уже трясся от страха, по его же выражению — «положить Лени на обе лопатки»?

По высказываниям Маргарет, единственной свидетельницы, посвященной Лени в свою интимную жизнь, можно довольно точно восстановить следующий уровень эротических отношений между Борисом и Лени. Лени теперь, после первого «наложения руки», часто проводила вечера у Маргарет, под конец даже ночевала у нее, и опять вступила в «период разговорчивости» — так же, как и Борис, который, по словам Богакова, «вдруг стал чрезвычайно разговорчивым». Правда, Борис не рассказывал Богакову о своей любовной связи так подробно, как Лени Маргарет, и все же, несколько схематизировав фактическую сторону их рассказов, мы получаем довольно синхронную картину событий. Из нее, во всяком случае, следует, что Пельцер, чье чувство реальности до сих пор казалось нам бесспорным, видимо, утратил его в этот период, начав «трястись от страха» уже в начале сорок четвертого года. Ибо только в феврале сорок четвертого года, то есть спустя полтора месяца после «наложения руки», было произнесено решающее слово! Перед дверью туалета Лени быстро шепнула Борису: «Я тебя люблю», и он так же быстро шепнул в ответ: «Я тоже». Небольшую грамматическую ошибку в этой фразе придется ему простить. Конечно, ему следовало бы сказать: «Я тебя тоже», но, вероятно, это «ты» в ее устах смутило его, напомнив обычный ответ на ругань — «ты меня тоже». Во всяком случае, Лени его поняла, хотя «как раз в этот момент проклятая пальба на кладбище достигла своего апогея» (Лени, по словам Маргарет). Примерно в середине февраля влюбленные обменялись первым поцелуем, который привел обоих в экстаз. Доказано, что впервые они «переспали» (выражение Лени, засвидетельствованное Маргарет), или впервые «слились» (выражение Богакова), только восемнадцатого марта, воспользовавшись дневным налетом, который продолжался с 14.02 до 15.18 и при котором была сброшена одна-единственная бомба.

Пришла пора отвести от Лени подозрение, хоть и на-

прашивающееся, но лишенное всяких оснований,— подозрение в склонности к платонической любви. Лени свойственна ни с чем не сравнимая непосредственность чувств, присущая девушкам с Рейна (ведь Лени — настоящая рейнская девушка, даже госпожа Хёльтхоне признала ее «истинной женщиной с Рейна», а это уже много значит); рейнская девушка, если полюбит и сочтет, что наконец-то встретила своего «единственного», готова на все, вплоть до «самых рискованных ласк», не дожидаясь официального разрешения церковных или светских властей. А Лени и Борис были не просто влюблены друг в друга, они были буквально «охвачены любовью» (Богаков); Борис всем своим существом ощутил необычайную чувственность Лени и сказал Богакову: «Я вижу, что она для меня на все, ну просто на все готова... Это что-то невероятное». Можно с полной уверенностью предположить, что молодые люди хотели «переспать», или — что то же самое — «слиться» друг с другом, как можно скорее и делать это как можно чаще; однако обстоятельства требовали соблюдать осторожность, ибо они оказались в положении влюбленных, которые бегут друг к другу через минное поле длиной в километр, чтобы на трех-четырёх квадратных метрах незаминированной земли ощутить себя наконец единым существом.

Госпожа Хёльтхоне излагает возникшую тогда ситуацию следующим образом: «Эти двое устремились друг к другу со скоростью ракеты, и только инстинкт самосохранения или, вернее, страх потерять другого удержал обоих от явно опрометчивых поступков. В принципе я против всяких «любовных интрижек». Но в тогдашних исторических и политических обстоятельствах я готова была сделать для обоих исключение и, преступив через собственные моральные принципы, молила судьбу дать им возможность побыть вдвоем в какой-нибудь гостинице или хотя бы в парке, а может, и просто в парадном или любом другом закутке — ведь во время войны люди вынуждены прибегать к любым способам уединиться и довольствуются любым укромным местечком, в том числе и довольно вульгарным. Должна сознаться, что *тогда* случайные связи казались мне непорядочными, *сейчас* я придерживаюсь куда более передовых взглядов».

Маргарет (дословно): «Лени сказала мне: «Знаешь, мне повсюду мерещатся таблички с надписью: «Осто-

рожно. Опасно для жизни!» Кроме того, нужно помнить, что возможности для общения у них были крайне ограниченные. Чего стоило безумное — и в то же время единственно правильное — решение Лени до поры до времени удерживать инициативу в своих руках вопреки всем традициям и условностям, которых даже я тогда еще придерживалась. Я бы никогда первая не заговорила с женщиной. А ведь Лени с Борисом нужно было не только шепнуть друг другу нежные слова, но и успеть что-то рассказать о себе и узнать о другом. А им ужасно трудно было выкроить хотя бы полминутки наедине. Позже Лени просто взяла и повесила между туалетом и кучей торфяных брикетов кусок мешковины — само собой, не натянутый; с краю в мешковину был продет согнутый в кольцо гвоздь, который в случае надобности цепляли за другой гвоздь в стене, и получалась занавеска, отделявшая крохотный закуток, где они могли иногда наскоро погладить друг друга по щеке или быстренько поцеловаться; а уж если ей удавалось еще и шепнуть: «Любимый!», то это было целое событие. Ведь сколько им надо было сообщить друг другу! И о своей семье, и о настроении, и о порядках в лагере, о политике, о войне, о продуктах. Разумеется, они имели возможность общаться по работе — к примеру, когда она сдавала ему на проверку готовые венки; длилась эта сдача, наверное, полминуты, за это время они могли урвать не больше десяти секунд, чтобы шепнуть друг другу несколько слов. Кроме того, иногда им случайно — подстроить это они никак не могли — доводилось вместе выполнять какую-нибудь работу в конторе у Пельцера, например, Лени диктовала Борису данные по расходу цветов или искала что-нибудь в шкафу с лентами. Ну, тогда им выпадала еще минутка-другая. Для краткости им часто приходилось объясняться отдельными словами, а для этого ведь тоже нужно было заранее условиться. Если Борис ронял шепотом «два», Лени сразу понимала, что в тот день в лагере умерли двое. Ну и, конечно, они теряли много времени на ненужные вопросы, без которых влюбленные, однако, не могут обойтись, вроде: «Ты меня еще любишь?» — и прочего, но и здесь приходилось обходиться обрывками фраз. Если Борис, к примеру, спрашивал: «Все еще — как и я?», Лени тоже понимала, что он спрашивает: «Ты все еще меня любишь, как и я тебя?», и могла для экономии времени кратко ответить: «Да, да, да». Кроме того, чтобы ублажить одноногого нациста —

не помню уж, как его звали, — ей приходилось время от времени совать тому несколько сигарет, и делать это очень-очень осторожно, чтобы он, не дай бог, не подумал, что Лени с ним заигрывает или пытается его подкупить, а воспринял бы это как вполне естественное среди товарищей по работе желание помочь; и если за месяц нацисту перепало от нее четыре-пять сигарет, она уже могла и Бориса *открыто* угостить сигаретой, а иногда и Пельцер в таких случаях говорил: «А ну, ребятки, выйдите-ка ненадолго из мастерской: перекур на свежем воздухе!» Тогда и Борис мог выйти со всеми, открыто выкурить сигарету и при этом две-три минуты открыто поговорить с Лени, — разумеется, так, чтобы никто ни слова не понял. Случалось также, что тот одноногий нацист не выходил на работу по болезни, и та противная баба-нацистка тоже иногда болела, а то и оба вместе: выпадали и такие счастливые дни, когда одновременно болели трое-четверо и Пельцер куда-нибудь отлучался; тут уж они оба вполне законно сидели вместе в конторе — Борис делал записи в одну бухгалтерскую книгу, Лени — в другую, и минут десять, а то и все двадцать они взахлеб рассказывали друг другу о себе — о своих родителях, о прошлой жизни; Лени рассказала Борису об Алоисе... Так прошло довольно много времени, — кажется, они успели уже переспать друг с другом, как она это называла, а Лени все еще не знала его фамилии. «А зачем мне ее знать? — сказала она мне. — Для чего? Нам надо было сообщить друг другу гораздо более важные вещи. Я сказала ему, что моя фамилия Груйтен, а не Пфайфер, как значится в документах». Лени пришлось вникнуть в ход военных действий, чтобы правильно сообщать своему милому о положении на фронтах: она отмечала на карте все, что мы слышали по английскому радио, и знала назубок все новости: и то, что в начале января сорок четвертого года линия фронта еще проходила у Кривого Рога, а в конце марта немецкие части попали в котел под Каменец-Подольском, и что в середине апреля русские уже подошли ко Львову; она знала также, что с запада в Авранш, Сен-Ло и Кайен вступили американцы; а в ноябре — к тому времени она уже была беременна — она вся кипела от злости на американцев, за то что они, как она говорила, «топчутся на одном месте» и за столько времени не могут от Моншо добраться до Рейна. «Там от силы восемьдесят — девяносто километров, — говорила она, — чего они тянут?» Ну,

мы все тоже рассчитывали, что нас освободят не позже декабря — января, но дело затягивалось, и Лени никак не могла с этим смириться. Потом ее охватило страшное уныние после наступления в Арденнах и нескончаемых боев в Хюртгенвальде. Я объяснила ей — вернее, пыталась объяснить, — что теперь немцы отчаянно сопротивляются, поскольку война пришла на их землю, а наступление американцев задерживается, конечно, из-за суровой зимы. Мы с ней тогда столько раз это обсуждали, что я до сих пор все помню. Поймите, ведь Лени была беременна, и нам необходимо было найти надежного человека, которому мы могли бы довериться и который согласился бы выдать себя за отца ребенка. На запись в метрике «отец неизвестен» Лени готова была пойти только в самом крайнем случае. А Борис еще добавил нам лишних хлопот, я и сейчас считаю — совершенно излишних, потому что голова у нас была занята совсем другим, — так вот, Борис в один прекрасный день шепнул ей такое имя: Георг Тракль. Мы обе совсем растерялись, никак не могли взять в толк, что бы это значило? Может, он предлагал, чтобы этот человек взял на себя отцовство? Но кто он такой и где живет? К тому же Лени не разобрала его фамилию, ей послышалось не Тракль, а Тракель, а поскольку Лени немного знала английский, то решила, что она и пишется, наверное, по-другому. До сих пор не понимаю, зачем Борису в сентябре сорок четвертого вдруг понадобился этот Тракль. Ведь тогда каждому из нас ежеминутно грозила смерть. Я целый вечер висела на телефоне, потому что Лени сгорала от нетерпения: ей хотелось в тот же вечер узнать, кто такой Тракль. Но ничего не вышло: никто из моих знакомых не слышал о таком. В конце концов она уже к ночи отправилась домой и принялась допрашивать с пристрастием всех Хойзеров. Безрезультатно. Мы очень огорчились, ведь на следующий день ей пришлось потратить драгоценные секунды, чтобы спросить Бориса, кто такой этот Тракль. Он ответил: «Поэт, немецкий, Австрия, умер». Тогда Лени прямым ходом отправилась в ближайшую публичную библиотеку и недолго думая написала на формуляре заказа: Тракль, Георг. Пожилая библиотекарьша словами и всем своим видом выразила Лени суровое осуждение, но все же выдала Лени маленький томик стихов, который та благоговейно взяла в руки и начала читать уже в трамвае. Некоторые стихи я запомнила, ведь Лени читала их мне каждый вечер, букваль-

но каждый. Например, мне очень понравилось: «И мрамор предков потускнел». За душу берет. Но еще больше мне понравилось вот это: «У ворот стоят девицы и с надеждою неясной робко смотрят в мир прекрасный. У ворот девицы ждут». На этом месте я каждый раз ревела, и по сей день реву, потому что эти строчки напоминают мне мое собственное детство и юность, и чем старше я становлюсь, тем больше напоминают: для меня жизнь тогда была полна радости и надежд... Да, радости и надежд. А Лени больше трогал другой стих, и мы обе вскоре уже знали его наизусть: «У колодца, лишь стемнеет, вдаль глядят они безмолвно. И ведерца — сами словно — мерно воду подают». Стихи из маленького томика Лени выучила наизусть и в мастерской во время работы тихонько напевала себе под нос, подобрав к ним мелодию; ей хотелось порадовать Бориса. Его-то она порадовала, но и неприятности себе тоже нажила: одноногий нацист вдруг взорвался и наорал на Лени — что, мол, все это значит, а Лени и говорит — пою, дескать, песни одного немецкого поэта. Но тут Борис сглупил: вмешался в их разговор и сказал, что знает этого немецкого поэта, родом он из Остмарка — так и сказал: из Остмарка! — зовут его Георг Тракль, и так далее в том же духе. Ну, нацист опять полез в бутылку: как это большевик лучше знает немецкую поэзию, чем он сам. Кажется, он потом обратился к партийному руководству или еще куда-то, чтобы навести справки: не был ли этот Тракль большевиком? Видимо, ему ответили, что с Траклем все в порядке. Но тот не отставал: мол, разве это порядок, что какой-то советский военнопленный, коммунист и вообще недочеловек, так хорошо знаком с этим Траклем. Ну, тут уж ему ответили как положено: дескать, священное достояние немецкой культуры не должно оскверняться представителями низших рас. После этого заварилась такая каша! Дело осложнилось тем, что Лени — а она иногда вела себя самоуверенно и даже вызывающе, да и выглядела восхитительно, ведь ее любили так, как меня никогда никто не любил, даже Шлёмер; может быть, меня любил бы так только Генрих, — так вот, Лени, как назло, в тот самый день спела стихи о Соне: «В старый сад и в душу Сони входит синий тихий вечер». Имя «Соня» упоминается там четыре раза. Одноногий опять поднял крик: Соня, мол, типично русское имя, и эта песня — вражеская вылазка, или еще что-то в этом роде. Но Лени его отбрила: «А как же Соня Хе-

ни?» А кроме того, она, Лени, всего год назад видела фильм «Почтмейстер», там все действующие лица были русские, в том числе одна девушка. Их перепалку прекратил Пельцер, заявив, что все это чушь собачья, и добавив, что Лени, конечно, имеет право петь во время работы, и если в ее песнях нет ничего подрывного, то и возражать нечего; потом проголосовали, и поскольку голосок у Лени был очень приятный, альт, а настроение у всех отвратное и просто так, от души, петь никому не хотелось, то все, все как один, проголосовали против одноногого, и Лени могла опять петь свои импровизации на слова Тракля».

Хёльтхоне, Кремер и Грундч подтверждают, хотя и в разных выражениях, что считают пение Лени приятным. Хёльтхоне: «Боже, в наше беспросветное время — вдруг такая прелесть: милая девочка поет приятным чистым альтом, причем по собственному почину; было видно, что своего любимого Шуберта она знала вдоль и поперек, и как ловко она переключалась на его мелодии прекрасные трогательные стихи». Кремер: «Ее пение было для нас как луч солнца. Когда Лени принималась напевать, даже Ванфт и Шельф ни слова не возражали; всякому было видно и слышно, да и вообще чувствовалось, что Лени не только любит, но и любима... Но вот кого любит и кем любима, никто из нас не догадывался, потому что русский держался на редкость тихо и только и знал, что работать не разгибаясь».

Грундч: «Да я прямо обхохотался — и вслух, и про себя, — когда этот олух Кремп вдруг взорвался из-за имени Соня. Ух, как он разозлился! Как будто нет на свете сотен, тысяч женщин с этим именем, а Лени здорово его отбрила, напомнив про Соню Хени... Да, когда она пела, казалось, что посреди зимы на поле вдруг вырос и расцвел подсолнечник. Это было как чудо, и каждый из нас чувствовал, что она любит и любима, — как она расцвела в ту пору! Конечно, кроме Вальтерхена, никто не догадывался, кто ее избранник».

Пельцер: «Разумеется, ее пение доставляло мне удовольствие, ведь раньше я и не знал, что у нее такой чудный голос; но если бы я мог хотя бы приблизительно описать вам, каких неприятностей я натерпелся из-за

этого пения. У меня просто оборвали телефон — и так и этак выспрашивали, правда ли, что она поет русские песни, правда ли, что это как-то связано с русским военнопленным, и т. д. Потом, правда, все улеглось, но неприятностей довелось хлебнуть досыта, и безопасной эту историю не назовешь. Я же вам все время говорю: в те годы все было небезопасно!»

Здесь авт. считает необходимым опровергнуть, вероятно, возникшее у читателя ложное впечатление, будто Борис и Лени влачили свои дни в тоске и печали или будто Борис изо всех сил старался обнаружить пробелы в образовании своей любимой или пополнить ее познания в немецкой поэзии и прозе. Ничуть не бывало! Именно в эти месяцы Борис каждый вечер рассказывал Богакову, с какой радостью едет утром в мастерскую и какое счастье дает ему уверенность — если в то время вообще можно было испытывать какую-то уверенность, — что он вновь увидится с Лени и может надеяться, что, несмотря на войну, бомбежки и общую ситуацию, ему опять удастся с ней «слиться». После того, как Борис получил страшную взбучку за пение в трамвае, у него хватило ума подавлять в себе инстинктивное желание петь вслух. Он знал уйму немецких народных и детских песен и хорошо исполнял их на свой грустный лад, из-за чего теперь уже в лагере подвергся нападкам со стороны Виктора Генриховича и других товарищей по несчастью, которых (по вполне понятным причинам. Авт.) не слишком интересовали сокровища немецкого песенного фольклора. В конце концов стороны пришли к соглашению: поскольку песенка «Лили Марлен» не вызывала нареканий и даже пользовалась популярностью среди лагерников, а голос Бориса им всем нравился, ему разрешили после исполнения «Лили Марлен» (по словам Богакова, эта песенка была совсем не в его вкусе. Авт.) спеть любую другую немецкую песню. Любимые песни Бориса, согласно Богакову, были: «У колодца, у ворот», «Мальчик розу увидал» и «На лужке». Есть все основания предположить, что рано утром, в трамвае, битком набитом хмурыми пассажирами, Борису больше всего хотелось бы спеть «Прислушайтесь, что движется сюда оттуда, издалека». Однако после того случая с песней «Смело, товарищи, в ногу», пения, превратно понятого и жестоко подавленного, у Бориса осталось все же некоторое утешение: немецкий рабочий, который в тот раз шепнул ему несколько ободряющих слов, почти

каждое утро ехал в том же вагоне. Конечно, теперь они уже не решались заговаривать друг с другом и только иногда обменивались глубоким и открытым взглядом; только тот, кто хоть раз в жизни оказывался в аналогичной ситуации, может оценить, что значит для человека возможность обменяться с другим глубоким и открытым взглядом. Прежде чем решиться запеть в мастерской, Борис принял весьма мудрые меры предосторожности (Богаков). Поскольку с течением времени почти всем работающим там волей-неволей приходилось иногда *разговаривать* с Борисом, даже Кремпу и Ванфт, хотя их разговор и сводился обычно к оброненным сквозь зубы словам типа «вот», «давай» или «ну», а самому Пельцеру приходилось довольно часто и подолгу беседовать с Борисом о лентах, записях в бухгалтерских книгах по венкам и цветам, о предполагаемом темпе работы и т. д., то Борис однажды обратился к Пельцеру с просьбой разрешить и ему изредка «исполнить какую-нибудь песню».

Пельцер: «Я просто ошалел, клянусь. Петь ему, видите ли, захотелось. Мало ему, что влип в веселенькую историю, когда ему приспичило запеть в трамвае,— на его счастье, никто не понял, что именно он пел, хватило самого факта. Когда я его прямо спросил, с чего это его опять потянуло на песни, и объяснил, что пение советского военнопленного ввиду положения на фронтах будет воспринято не иначе как провокация — учтите, ведь дело было в июне сорок четвертого, Рим уже захватили американцы, а в Севастополь опять вошли русские,— Борис ответил: «Мне это доставляет такую радость». Признаюсь, я был тронут, прямо-таки до глубины души тронут: парню доставляет радость петь немецкие песни. И я ему сказал: «Послушайте, Борис, вы знаете, что я не изверг какой-то; по мне, можете заливаться хоть целый день, как ваш Шаляпин, но вы же сами видели, какую бурю вызвало пение госпожи Пфайфер (при нем я никогда не называл Лени по имени); представляете, что будет, если вы...» Но в конце концов я все же пошел на риск и даже произнес в мастерской небольшую речь в таком духе: «Друзья мои! Наш Борис работает здесь с нами уже полгода. Все мы знаем его как хорошего работника и скромного человека. Так вот, наш Борис любит немецкие песни и вообще немецкое пение. И просит, чтобы ему разрешили изредка во время работы спеть

немецкую песню. Предлагаю поставить этот вопрос на голосование. Кто «за» — поднимите руку». И сам первый поднял руку. И что же? Даже Кремп, хоть он и не поднял руку, буркнул что-то себе под нос в знак согласия. И тогда я сказал еще вот что: «Петь Борис собирается не что попало, а только то, чем гордится немецкая культура, и я лично не вижу ничего плохого в том, что советский человек до такой степени дорожит нашей культурой». Ну, у Бориса достало ума не вылезать со своим пением сразу, несколько дней он выждал, только потом запел; он так исполнил арии из опер Карла Марии Вебера, скажу я вам, почище иных оперных певцов. Потом еще спел «Аделаиду» Бетховена — и спел безукоризненно и в смысле вокала, и в смысле произношения. На мой взгляд, он потом немного переборщил с любовными песнями, зато под конец начал исполнять вот эту: «Вперед же, в Махагони, где воздух свеж и чист, где виски, девки, кони и счастлив покерист». Ее он пел часто, и я только после войны узнал, что автором стихотворения является Брехт. Признаюсь, даже теперь, когда все позади, меня мороз подирает по коже, как вспомню... Сама песня мне очень нравилась, я потом купил такую пластинку и частенько ставлю ее и слушаю с большим удовольствием; а все равно мороз подирает по коже, стоит подумать, что в моей мастерской осенью сорок четвертого года советский военнопленный исполнял Брехта, когда англичане уже стояли под Арнхеймом, русские — в предместьях Варшавы, а американцы — чуть ли не в Болонье... Да тут задним числом поседеть недолго. Но тогда Брехта у нас никто не знал, даже Ильза Кремер понятия о нем не имела. А он, видать, на то и рассчитывал, что ни о Брехте, ни о Тракле у нас никто слыхом не слыхал; только потом я сообразил, что они с Лени исполняли любовный дуэт! Настоящий любовный дуэт, хотя и пели врозь».

Маргарет: «Они оба так осмелели, что я начала дрожать от страха. Лени каждый день, буквально каждый день приносила ему что-нибудь из дома: сигареты, хлеб, сахар, масло, чай, кофе, газеты (их она очень ловко складывала маленькими квадратиками), а кроме того, еще бритвенные лезвия и одежду — ведь дело шло к зиме. Считайте, что начиная с середины марта сорок четвертого не проходило дня, чтобы она не принесла ему что-

нибудь из дому. В нижнем слое торфяных брикетов, сваленных в кучу в одной из теплиц, она устроила тайник — отверстием к стене, разумеется,— и заткнула его куском торфа; Борис потом незаметно доставал то, что там лежало; но ведь надо было еще и умаслить конвойных, чтобы они не стали Бориса обыскивать, причем сделать это как можно осторожнее. Один из них — молодой парень, весельчак и наглец — стал приставать к Лени: приглашал пойти с ним потанцевать и все такое прочее (он называл это «войти с девушкой в клинч»); этот нахал и циник наверняка знал о Борисе и Лени больше, чем хотел показать. Он все настырнее требовал, чтобы Лени провела с ним вечерок, и Лени в конце концов согласилась, но попросила меня составить им компанию. Так мы втроем и сходили пару раз в солдатские кабаки; мне-то они были хорошо знакомы, а Лени не имела о них понятия, и этот нахал сказал нам обоим в лицо, что я больше в его вкусе, чем Лени: она, мол, для него чересчур барышня, а ему нужна бой-баба. Ну, кончилось тем, чего и следовало ожидать, потому что Лени ужасно боялась, как бы этот тип — его звали Болдиг — не докопался до всего и не натворил бед. Не хочу этим сказать, что я — как бы получше выразиться,— что я принесла себя в жертву; просто я взяла его на себя, так, наверное, будет точнее; никакой особой жертвы я в этом не видела,— в конце сорок четвертого года мне было уже все равно — одним больше, одним меньше. Этот молодой нахал жил на широкую ногу: водил меня в самые шикарные гостиницы, когда хотел «послушать вместе пластинку», так он это тоже называл, шампанское, понятно, лилось рекой... Главное, оказалось, что парень был не только нахал, но и хвастун: в подпитии выбалтывал все подряд. Так, выяснилось, что он спекулировал всем, чем только можно: в первую голову, конечно, шнапсом и сигаретами, а также кофе и мясом. Но самым прибыльным делом была торговля справками о ранениях, солдатскими и орденскими книжками,— кучу этих бланков с печатями он прихватил во время какого-то отступления, и вы легко можете себе представить, как я вострепелась, когда услышала про солдатские книжки: я сразу подумала о Борисе и Лени. Ну, я дала ему вволю похвастаться, а потом стала подначивать, он мне все и *показал*: у него на самом деле была с собой картонка величиной с толстый том, полная пустых бланков с печатями и подписями; там были даже уволь-

нительные и водительские права. Ну, ладно. Я сделала вид, что это меня не интересует, но теперь уже *мы* держали его в руках, а он о нас все еще ничего толком не знал. Как бы между прочим, я спросила, как он относится к русским военнопленным; он ответил, что все они бедолаги, но и с них он не прочь содрать несколько марок; однако «бычки» всегда им оставлял — не хотел наживать себе лишних врагов. Болдиг брал за Железный крест первой степени три тысячи марок и считал, что это еще по-божески, а за солдатскую книжку — пять тысяч, потому как «она в иных случаях может спасти человеку жизнь». Справок о ранении у него уже не было, — он их все спустил, когда из Франции хлынули отступающие части и в развалинах у нас попрятались дезертиры; они стреляли друг другу в руку или ногу — разумеется, с надлежащего расстояния, — так что справки о ранении были нужны им, как воздух. К тому времени я уже два года вкалывала в госпитале и знала, что грозит «само-стрелам».

Пельцер: «В ту пору дела моей мастерской временно покатались под гору. Счастье еще, что Кремпу, который вечно мучился со своим протезом, пришлось на несколько месяцев лечь в госпиталь. Я бы мог спокойно обойтись без двух-трех работников. Причина: людей умирало не меньше, но за эвакуацию городского населения взялись теперь круто и всерьез. Да и раненых привозили к нам не в таких количествах, как раньше, большинство сразу переправляли за Рейн. На мое счастье, Шельф и Цевен добровольно эвакуировались в Саксонию. В конце концов мы остались, так сказать, «в своей компании»; но хоть как-то обеспечить работой даже оставшихся было достаточно трудно. Я пытался выкрутиться, загрузив всех работой в теплицах, но дела все равно шли ни шатко ни валко, мне едва удавалось свести концы с концами. В сорок третьем году нам приходилось работать в две смены, иногда даже ночью, а тут наступил спад, который, однако, вскоре опять сменился подъемом из-за участившихся налетов англичан: как-никак, наше дело — похороны, а в городе опять появилось много покойников. Я вернул своих людей из теплиц в мастерскую, вновь ввел работу в две смены, и как раз в это время Лени сделала, можно сказать, открытие, сильно увеличившее производительность мастерской. Где-то она

отыскала несколько разбитых горшков с вереском и недолго думая стала плести из вереска бескаркасные венки — небольшие такие тугие веночки, которые, конечно, вновь могли навлечь на нас подозрение в низкопоклонстве перед Римом; но с середины сорок четвертого года лишь отдельные законченные кретины обращали внимание на такие пустяки. В этом деле Лени достигла подлинного мастерства: ее веночки, небольшие, удобные, казались чуть ли не жестяными; позже мы стали покрывать их лаком, а Лени еще и вплетала в венок инициалы покойного или заказчика; иногда, если имя было не слишком длинное — например, Гейнц или Мария, — оно умещалось полностью; при этом получалось красивое сочетание зеленого с сиреневым, и Лени никогда, ни разу не нарушила основной закон отделки: центр тяжести у нее всегда приходился на левую верхнюю треть венка. Я был в полном восторге, заказчики очарованы, а поскольку в то время мы могли еще без всяких трудностей и не подвергаясь опасности ездить на тот берег Рейна, то и с доставкой вереска не было особых проблем, мы завозили его тачками. Иногда Лени превосходила самое себя — вплетала в венки разные религиозные символы, якоря, сердечки, кресты...»

Маргарет: «Разумеется, Лени начала плести венки из вереска не без задней мысли. Она сама мне сказала, что раз уж некогда ее брачным ложем должен был стать вереск, а теперь им с Борисом волей-неволей приходится встречаться только на кладбище, то и выход напрашивался сам собой: надо было предназначить для свиданий один из просторных фамильных склепов; выбор Лени пал на огромный склеп, принадлежащий Бошанам, к тому времени уже сильно пострадавший от бомбежек. Там были скамьи, небольшой алтарь, за которым она и устроила ложе из вереска; из основания алтаря ничего не стоило вынуть один камень, и получился тайничок для припасов — сигарет и вина, хлеба и сладостей. В то время Лени вела себя очень хитро: перестала ежедневно угощать Бориса кофе и наливала ему чашку кофе не чаще чем раз в четыре-пять дней. Иногда сдавала готовый венок, минуя Бориса, избегала даже подходить к нему близко внутри мастерской, тем более шептаться, а тайник в куче торфа ликвидировала; теперь все ее сокровища хранились в склепе Бошанов. День двадцать

восьмого мая стал для Лени и Бориса счастливым днем: в тот день было два налета, почти подряд один за другим, причем днем, между часом и половиной пятого; бомб было сброшено не так уж много, однако достаточно, чтобы налеты считались довольно тяжелыми. Во всяком случае, в тот день Лени пришла домой сияющая и заявила: «Сегодня была наша свадьба, а восемнадцатого марта — всего лишь помолвка. И знаешь, что мне сказал Борис? «Слушай англичан. Они не лгут». Потом для Лени и Бориса наступило трудное время: больше двух месяцев ни одного дневного налета, бомбили в основном ночью, несколько раз тревогу объявляли еще до полуночи; мы лежали в постели, и Лени сердито бормотала себе под нос: «Почему они не летают днем? Когда же опять прилетят среди дня? Почему американцы топчутся на одном месте? За столько времени никак до нас не дойдут; тут ведь рукой подать». Лени была уже беременна, и мы с ней ломали себе голову — где бы раздобыть отца для ребенка. Наконец, на Вознесение опять случился массированный дневной налет и длился, по-моему, часа два с половиной; было сброшено много бомб — некоторые упали на кладбище, а несколько осколков даже влетели в окна бошановского склепа и просвистели над головами влюбленных. Потом наступило время, которое Лени называла «благословенным месяцем» или «месяцем Божьего благословения»: между вторым и двадцать восьмым октября было девять дневных массированных налетов. И Лени сказала: «Этим я обязана Рахили и Божьей Матери. Они помнят, что я их очень люблю».

Здесь нам пора, так сказать, кратко суммировать некоторые факты: Лени исполнилось двадцать два года, и если воспользоваться общепринятой терминологией, то три месяца, что прошли между Рождеством сорок третьего года и их первым «слиянием» восемнадцатого марта сорок четвертого года, Лени и Борис вполне могут считаться женихом и невестой; после «свадьбы» в праздник Вознесения мы должны именовать их уже молодоженами, поскольку молодые супруги вручили свою общую судьбу неизвестному им тогда маршалу военно-воздушного флота Великобритании Гаррису. Официальная статистика дает нам по этому вопросу достоверные данные, освобождающие нас от необходимости прибегать далее к показаниям Пельцера

и Маргарет. Между 12.9 и 31.11.44 было произведено семнадцать дневных налетов и сброшено приблизительно 150 осколочных, около 14 000 фугасных и примерно 350 000 зажигательных бомб. Совершенно ясно, что неизбежно возникающий в таких случаях хаос был на руку нашим героям: никто уже не следил, кто и куда прячется от бомб, кто с кем выбирается из укрытия, даже если это укрытие — фамильный склеп. Влюбленные парочки, придерживавшиеся правил приличий, в такое время оказывались в безвыходном положении, но Лени и Борис явно не заботились о соблюдении приличий. Теперь-то у них наконец хватало времени, чтобы говорить друг с другом обо всем на свете: о родителях, братьях и сестрах, о детстве и годах учения, а также о положении на фронтах. На основании статистических данных по налетам и бомбежкам можно с почти научной точностью установить, что между августом и декабром сорок четвертого года Лени и Борис провели вместе почти двадцать четыре часа, причем 17.10 находились наедине три часа кряду. Следовательно, если кто-то из читателей ощутил жалость к этой паре, ему следует поскорее подавить в себе это чувство, ибо если вспомнить, сколь немногим любовным парочкам, связанным законными узами или незаконными, находящимся на свободе или за колючей проволокой, удалось провести столько времени в проникновенном единении друг с другом, то придется и в этом отношении счесть наших героев истинными баловнями судьбы: кощунственно призывая на головы немцев дневные налеты английской авиации, они наслаждались любовью в фамильном склепе Бошанов.

Об одном Борис не подозревал и так никогда и не узнал: Лени испытывала значительные финансовые трудности. Если учесть, что на ее месячное жалованье в то время можно было купить не больше полфунта кофе, а на доходы от дома — примерно сотню сигарет, в то время как она расходовала в месяц не меньше двух фунтов кофе и три-четыре сотни сигарет — если прибавить и те, которые ей постоянно приходилось кому-нибудь «совать», — то каждому становится ясно, что на финансовом положении Лени с лавинообразной скоростью начал сказываться один из простейших экономических законов: ее расходы намного превышали доходы, что неминуемо вело к разорению. Если исходить из

биржевого курса марки в 1944 году, можно подсчитать с большой степенью точности, близкой к абсолютной, что Лени требовалось для обеспечения фактического уровня потребления кофе, сахара, вина, сигарет и хлеба от четырех до пяти тысяч марок в месяц. Доходы же, складывавшиеся из жалованья и квартирной платы жильцов дома, составляли примерно тысячу; нетрудно догадаться, к чему это привело: Лени вошла в долги. К этому надо добавить, что в апреле сорок четвертого Лени стало известно местопребывание отца и что ей удавалось иногда весьма кружным путем и ему кое-что переслать, поэтому с июня сорок четвертого ежемесячные расходы Лени возросли почти до шести тысяч марок, а доходы по-прежнему составляли одну тысячу. Сбережений у Лени никогда не было, ведь и ее собственные расходы до того, как ей понадобились дополнительные средства для Бориса и отца, намного превышали доходы. Короче: доказано, что уже в сентябре сорок четвертого года долг Лени составлял двадцать тысяч марок и что ее кредиторы начали проявлять нетерпение. Но как раз в это время расточительность Лени приняла новый размах: ей понадобились такие предметы роскоши, как бритвенные лезвия, мыло, даже шоколад — и, конечно, вино. Вино в первую очередь.

Показания Лотты Х.: «У меня Лени никогда не пыталась стрельнуть денег, — знала, как трудно мне приходится с двумя детьми. Наоборот, она еще сама мне что-нибудь подбрасывала — талоны на хлеб, немного сахара, иногда табак или несколько марок. Нет-нет, она была на высоте. С апреля по октябрь она редко бывала дома, и по ней было видно, что она кого-то полюбила и что тот человек ее любит. Конечно, мы не знали, кто этот человек, и думали, что она встречается с ним в квартире Маргарет. К тому времени я уже год как не работала на фирме Груйтена, а служила сначала на бирже труда, потом в отделе по обеспечению бездомных и получала такое мизерное жалованье, что его едва хватало на продукты по карточкам. Фирму Груйтена реорганизовали, после июня сорок третьего ее возглавил незнакомый нам всем субъект, бравый служака из министерства; мы прозвали его «Новый дух» — фамилия его была Новух и он без конца нам твердил, что «внесет новый дух в наше затхлое болото и уберет всю плесень». К этой «плесе-

ни» относились и мы со свекром. Новух сказал мне прямо в лицо: «Вы оба здесь засиделись, и здорово засиделись, и я не хочу, чтобы вы путались у меня под ногами — особенно теперь, когда нам предстоит строить укрепления на западной границе. И мы не собираемся церемониться с русскими, украинцами и немецкими штрафниками. Это дело не для вас. Так что лучше всего уйти по собственному желанию». Новух был типичный карьерист и циник, хотя и не лишенный обаяния, этот тип часто встречается в жизни. «От всех вас еще так и несет Груйтенем». В общем, мы ушли из фирмы, я — на биржу труда, свекор — бухгалтером на железную дорогу. Не знаю уж, как правильнее будет сказать: то ли Хойзер тогда показал свое истинное нутро, то ли нутро изменилось под влиянием обстоятельств. Во всяком случае, он повел себя как подлец и по сей день таким и остался. Жизнь у нас в доме превратилась в какой-то ад, и это еще мягко сказано. Ведь после ареста Груйтена у нас образовалось нечто вроде коммуны — все жили под одной крышей и питались из одного котла; в свою коммуну мы приняли и Генриха Пфайфера, который в ту пору еще ждал призыва в армию. Поначалу все шло хорошо: Мария со свекровью закупали продукты и заботились о детях, Мария, кроме того, изредка ездила в деревню — в Тольцем или Люссемих, — привозила картошку и другие овощи, иногда даже яичко. Но потом свекор взял обычай приносить домой суп, который получал у себя на работе без карточек; вечером он этот суп разогревал и на наших глазах хлебал, смакуя каждую ложку, — само собой, сверх той доли, которая доставалась ему из общего котла. А потом и свекровь «помешалась на граммах», как выразилась Мария, и начала все подряд перевешивать. Наступила новая стадия, когда каждый запирал свои продукты в ящик с большим висячим замком и обвинял остальных в воровстве. Свекровь взвешивала свой маргарин перед тем, как его запереть в ящик, и еще раз, вынув из ящика, и всякий, буквально всякий раз утверждала, что маргарина стало меньше, что его украли. Что до меня, то я тоже кое-что обнаружила: я обнаружила, что свекровь разбавляла молоко, предназначавшееся моим детям, чтобы отлить часть и испечь себе и старику пудинг. Тогда я договорилась с Марией, и она стала закупать продукты и стряпать для меня и детей, и все вошло в норму, ни Лени, ни Мария никогда не были мелочными; но теперь старики Хойзеры стали

шнырять и разнюхивать, что варится в кастрюлях и что стоит у нас на столе; началась новая стадия: зависть. Я тоже ей поддавалась, я завидовала Лени, ведь она могла удрать из дома и вволю заниматься любовью под крылышком Маргарет,— так я, по крайней мере, думала. А старый Хойзер в это время начал, как он выразился, «налаживать свои связи» на железной дороге. Дело в том, что в его ведении как бухгалтера находилось начисление заработной платы паровозным машинистам, а в сорок третьем году они разъезжали еще чуть ли не по всей Европе: они отвозили *туда* товары, которые были там в дефиците, и привозили *сюда* то, что пользовалось спросом здесь. За мешок соли на оккупированной Украине им давали целую свинью, манную крупу обменивали в изголодавшейся Голландии или в Бельгии на сигареты, из Франции везли, конечно же, вино, вино и еще раз вино — шампанское и коньяк. Словом, Хойзер напал на золотую жилу, а когда на него возложили расписание движения товарных поездов и составление поездных бригад, он вообще стал крупным воротилой: тщательно изучал потребности рынка в любой части Европы и организовывал соответствующие товарные перевозки: голландские сигары в Нормандии обменивались на масло — понятно, до вторжения союзников,— за масло потом в Антверпене или еще где-то получали вдвое больше сигар, чем было заплачено за него в Нормандии, а, да что говорить... А поскольку от него зависело, в какой рейс отправится та или иная поездная бригада, то все кочегары и машинисты были у него в руках, и наиболее покладистых он посылал в самые выгодные рейсы: но и в самой Германии цены на разные товары на черном рынке в разных частях страны сильно отличались. В крупных городах все отрывали с руками — и простую жратву, и деликатесы; кофе выше котировался в сельской местности: там путем обменных операций — кофе на масло или на еще что-то — можно было, по выражению Хойзера, «удвоить свои акции». Как-то само собой получилось, что именно он обычно ссужал Лени деньгами; может, он ее и предостерегал, но, когда она нуждалась в деньгах, он их ей давал. И в конце концов стал не только ее кредитором, но и поставщиком — и, таким образом, дополнительно на ней наживался, завышая цену на каждый товар, чего Лени, конечно, не замечала и только молча подписывала долговые расписки. В довершение всего, именно он выяснил, где находится ста-

рый Груйтен,— сначала тот работал вместе со штрафниками на атлантическом побережье во Франции, обслуживал бетономешалку, потом его отправили в Берлин на расчистку развалин после бомбежек; словом, мы нашли способ время от времени переправлять ему посылки и получать от него весточки: обычно он ограничивался кратким сообщением: «Обо мне не беспокойтесь. Я скоро вернусь». Ну, на посылки опять-таки требовались деньги. И случилось то, что и должно было случиться: в августе сорок четвертого Лени оказалась должна Хойзеру двадцать тысяч марок. И знаете, что он сделал? Начал на нее наседать! Говорил, что все его операции сорвутся, если она не вернет ему деньги. Знаете, к чему это привело? Лени взяла закладную на дом, получила тридцать тысяч марок, отдала Хойзеру его двадцать тысяч, и у нее осталось десять тысяч наличными. Я ее предостерегала, говорила, что во время инфляции глупо закладывать реальные ценности, но она только рассмеялась, подарила что-то моим детям и сунула мне в руку пачку десятимарковых банкнот; в эту минуту к нам заглянул в поисках чего-нибудь съестного вечно голодный Генрих, так она и ему дала денег, схватила совершенно оторопевшего парня и закружилась с ним по комнате. Поразительно, как она вдруг расцвела, какой стала веселой и легкомысленной; я завидовала не только ей, но и тому человеку, которого она полюбила. Вскоре после этого Мария уехала на какое-то время к себе в деревню, Генриха забрали в армию, и я осталась одна со стариками, на которых была вынуждена оставлять детей. А с Лени опять случилось то, что и должно было случиться: она взяла вторую закладную на дом. А потом... Потом... Мне просто стыдно об этом рассказывать... Потом Хойзер и впрямь откупил у нее груйтеневский дом, лишь немного пострадавший от бомбежки; дело было в конце сорок четвертого года, когда за деньги вообще уже почти ничего нельзя было купить: он дал ей еще двадцать тысяч, перевел закладные на свое имя, уплатил по ним и стал тем, кем, видимо, всю жизнь мечтал стать: домовладельцем. Этот дом и теперь принадлежит ему, только нынче стоит уже, худо-бедно, полмиллиона марок. А какое подлое нутро у старика, я впервые по-настоящему поняла, когда он первого января сорок пятого года сразу же начал собирать квартирную плату с жильцов. Всю жизнь, наверное, мечтал первого числа каждого месяца обходить дом и взимать плату за квартиры; да только

в январе сорок пятого года почти не с кого было ее взимать: большинство жильцов эвакуировалось, два верхних этажа пострадали от зажигалок. Я чуть не расхохоталась ему в лицо, увидев, что он и меня включил в список жильцов — и Пфайферов, само собой, тоже, хотя они вернулись из эвакуации только в пятьдесят втором; только отдав ему деньги — как сейчас помню: тридцать две марки шестьдесят за две мои полупустые комнаты, — я вдруг сообразила, что все эти годы мы жили у Лени бесплатно. Раньше я думала, что Лени поступила очень неразумно, я ведь ее предупреждала; но теперь мне кажется, что она была права, пустив все на ветер ради любимого. Ведь с голоду она и после войны не умерла».

Маргарет: «Теперь для Лени наступил срок провести «второй смотр боевых сил», как она выразилась. Первый «смотр» она провела, по ее словам, когда началась история с Борисом; тогда она перебрала в уме всех родственников и знакомых, даже несколько раз специально спускалась в бомбоубежище у себя дома, чтобы посмотреть, «кто на что способен». Она «прикинула» поочередно всех Хойзеров, Марию, Генриха, всех работавших в мастерской; и кто же после этого «смотра» оказался «годным»? Одна я. Я считаю, что в Лени пропал талант ученого-психолога. Подумать только, как она разобралась во всех нас, в каждом из нас... Сперва она наметила в возможные союзницы Лотту, но потом передумала: «слишком ревнива»; старика Хойзера и его жену отвергла, как «консерваторов и русофобов»; Генриха отвела, как лицо «слишком пристрастное». И безошибочно почувствовала, что Кремерша вполне могла бы стать на ее сторону, даже пошла к ней домой; но поняла, что та «слишком запугана, слишком запугана жизнью и слишком ото всего устала: она не хочет больше ни в чем участвовать, и я ее понимаю». Подумывала Лени и о госпоже Хёльтхоне, но потом отказалась от этой мысли «из-за старомодной морали «Дамы», никаких других причин не было». И потом главное для нее было, конечно, «выяснить, у кого хватит душевных сил услышать такое и не дрогнуть». В общем, эту битву Лени твердо решила выиграть, и ей казалось вполне естественным, что для ведения боевых действий ей понадобятся деньги и опорные пункты. Единственным опорным пунктом

в результате «первого смотра» и общего анализа боевой обстановки оказалась я. Это большая честь для меня и в то же время большая ответственность. Итак, Лени сочла, что у меня «хватит сил» на все это. В бомбоубежище и дома Лени систематически проверяла отношение Хойзеров и Марии к интересующему ее вопросу; она вдруг стала общительной и без конца рассказывала им разные истории: сперва про одну немецкую девушку, которая полюбила пленного англичанина, и хотя результат получился самый удручающий — большинство слушателей высказались за расстрел девушки, стерилизацию, изгнание из «народного сообщества» и т. д., она не отступилась и придумала другую историю, героем которой был уже француз: к французу отнеслись более снисходительно и как к «человеку», и как к «любовнику» (вероятно, из-за известной склонности французов к *faire l'amour*¹. Авт.), на лицах появились ухмылки, но потом и француза окончательно и бесповоротно заклеямили как «врага». И все же Лени рискнула вынести на суд публики или, вернее, бросить на растерзание еще и поляка и даже русского; тут уж все были единодушны: самым мягким был приговор «обезглавить». В узком семейном кругу, включая сюда Хойзеров и Марию, высказывания носили более откровенный и искренний характер, не столь сильно окрашенный политикой. Мария неожиданно встала на защиту поляков, объявив их «бравыми офицерами», французы, по ее мнению, были «порченые», англичане «не годились в любовники», а «русские были себе на уме». Лотта придерживалась того же мнения, что я, только назвала все эти разговоры «чепухой», в то время как мне больше нравится выражение «чушь собачья». «Мужчина есть мужчина», — сказала Лотта и отметила, что Мария, как и ее свекор со свекровью, хоть и страдают некоторым национализмом, но зато абсолютно лишены политических предубеждений. Все сошлись на том, что французы чувственны, но эгоистичны, поляки обаятельны и темпераментны, но вероломны, а русские — верны и преданны до гроба. Но, при всем том, общее мнение свелось к тому, что в данной ситуации завести роман с западным европейцем по меньшей мере опасно, а с восточным — чистое самоубийство».

¹ Любовным утехам (фр.).

Лотта Х.: «Однажды, когда Лени пришла домой, чтобы обсудить с моим свекром какие-то денежные дела, я нечаянно застала ее в ванной комнате голой: она стояла перед зеркалом и внимательно разглядывала свое тело; я набросила на нее сзади купальное полотенце, а когда подошла поближе, увидела, что Лени залилась краской — до того я ни разу не видела, чтобы Лени краснела; я положила руку ей на плечо и сказала: «Радуйся, что опять сумела полюбить, если в тот раз вообще любила; болвана Пфайфера можешь и вовсе забыть. А я вот не могу забыть своего Вилли. И люби его, пусть даже он англичанин». Тогда, в феврале сорок четвертого, я была не настолько глупа, чтобы после всего, что она нам наплела — все эти ее истории были явно выдуманы и скроены на один манер,— не догадаться, что у нее любовь, и скорее всего, с иностранцем. Откровенно говоря, от романа с русским, поляком или евреем я бы стала ее отговаривать, да еще как: за это можно было поплатиться жизнью; и сейчас я рада, что она мне так ничего и не рассказала. В то время опасно было знать слишком много».

Маргарет: «При первом «смотре боевых сил» Лени даже Пельцера не исключила из числа возможных союзников. Она и о Грундче подумывала, но тот не умел держать язык за зубами. А теперь речь шла о беременности Лени и обо всем, что из этого следовало, так что пришлось приступить ко второму «смотру», и единственным надежным человеком опять оказалась я. В конце концов Пельцера мы зачислили как бы в стратегический резерв, на пожилом конвоире, обычно сопровождавшем Бориса в мастерскую, окончательно поставили крест, потому что он был жадюга и трепло, а оборотистого Болдига решили пока не сбрасывать со счетов: я все еще изредка с ним встречалась и знала, что он процветает по-прежнему; впрочем, длилось это недолго: Болдиг совсем зарвался, и в ноябре сорок четвертого его схватили со всеми его бланками и формулярами — застучали за вокзалом во время очередной сделки — и тут же на месте пристрелили; значит, Болдиг пропал, а с ним и надежда на солдатскую книжку для Бориса».

Здесь авт. вынужден изложить несколько соображений, важных с точки зрения общепризнанной морали,

дабы избежать несправедливости по отношению к Лени и Маргарет. Строго говоря. Лени нельзя считать вдовой, и горевала она лишь по Эрхарду, которого иногда даже ставила чуть ли не на одну доску с Борисом: «Оба они поэты, если хочешь знать. оба». Двадцатидвухлетней женщине, потерявшей мать, любимого Эрхарда, брата и законного мужа, перенесшей примерно двести воздушных тревог и не меньше сотни бомбежек, женщине, которая не *только* наслаждалась любовью в чужом фамильном склепе, но каждый день вставала в половине шестого утра, закутавшись потеплее, бежала на остановку трамвая и ехала на работу через весь затемненный город, — этой молодой женщине победительная болтовня Алоиса, возможно, все еще глухо звучащая у нее в ушах, наверняка казалась каким-то полузабытым сентиментальным шлягером, под который ей когда-то, почти двадцать лет назад, довелось танцевать всего одну ночь. И тем не менее Лени — вопреки тому, чего следовало от нее ожидать, и вопреки общей ситуации в стране — была вызывающе весела. Окружающие ее люди стали мелочными, угрюмыми, ворчливыми, а Лени, вместо того чтобы с большой выгодой продать на черном рынке дорогие и добротные носильные вещи отца, дарила их не только своему избраннику, но и незнакомым ей погибающим от холода и голода людям, к тому же гражданам страны, официально считавшейся вражеской (комиссар Красной Армии носил кашемировую жилетку ее отца!). Учитывая все вышеизложенное, авт. полагает, что даже самые скептически настроенные читатели сочтут Лени заслуживающей еще одного эпитета: «великодушная».

А теперь несколько слов о Маргарет. Было бы глубоко ошибочным считать ее проституткой. Ведь она не торговала собой и на деньги позарилась только раз, когда вышла из-за них замуж. С 1942 года Маргарет отбывала трудовую повинность в огромном эвакуогоспитале, дни и ночи у нее были заполнены куда более тяжелым трудом, чем у Лени, которая спокойно плела себе венки под крылышком Пельцера и в обществе своего любимого. Если посмотреть на вещи под этим углом зрения, то Лени никак не тянет на *особую* героиню или даже *просто* на героиню, ибо только в сорок восемь лет впервые проявила милосердие к мужчине (к турку по имени Мехмед, которого благосклонный читатель, вероятно, еще не забыл); а Маргарет всю свою жизнь только это и делала, в том числе и работая медсестрой в госпи-

тале: во время дневных или ночных дежурств она «всей душой жалела каждого мужчину с приятной внешностью и грустным взглядом»; с таким нахалом и циником, как Болдиг, Маргарет вступила в связь только для того, чтобы оградить счастье Лени, наслаждавшейся любовью на ложе из вереска в кладбищенском склепе, и отвлечь внимание Болдига от самой Лени. Так что авт. считает своим долгом хоть в какой-то степени восстановить справедливость и засвидетельствовать тот факт, который сама Маргарет признает в конце долгой жизни: из чистого милосердия она уступала почти каждому. «Любили меня многие, но сама я любила лишь одного. Только один раз за всю жизнь я ощутила ту безумную радость, которую так часто видела на лицах других». Нет, Маргарет никак нельзя причислить к баловням судьбы, на ее долю — как, впрочем, и на долю озлобленной Лотты, — досталось гораздо больше горя, чем на долю Лени; и все же у обеих этих женщин авт. не обнаружил и намека на зависть к Лени.

VIII

За истекшее время авт., вполне вошедший в роль следователя (и постоянно подвергавшийся опасности быть принятым за подозрительную ищейку, в то время как им руководило одно-единственное желание: представить в истинном свете столь замкнутую и скрытную, столь гордую, мятущуюся, статичную как статуя личность: Лени Груйтен-Пфайфер), потратил немало усилий, чтобы выяснить и более или менее досконально изучить положение всех действующих лиц в конце войны.

Оказалось, что все персонажи, в той или иной мере охарактеризованные и процитированные выше, были единодушны лишь в одном: никто из них не хотел уезжать из города; даже оба советских военнопленных — Богаков и Борис — не хотели ехать на восток. И когда к городу наконец-то вплотную подошли американцы (Лени в разговоре с Маргарет: «Пора, давно пора, сколько времени потратили понапрасну»), они принесли с собой то главное, чего все жаждали, но во что никак не могли поверить: конец войны. С 1 января 1945 года стало *одной* проблемой меньше; назовем ее для простоты «проблемой слияния» Бориса и Лени. Она была на седьмом месяце

беременности, но держалась «молодцом» (М. в. Д.), хотя и двигалась сообразно своему положению с некоторым трудом; но уж о том, чтобы «слиться» или «переспать» — какое выражение ни возьми, — в это время «не могло быть и речи» (Лени, по словам Маргарет).

Но где и как пережить последние дни? Теперь, конечно, легко говорить, а тогда всем приходилось от чего-то скрываться. Например, Маргарет предписывалось переправиться вместе с госпиталем через Рейн и эвакуироваться на восток, — будучи медсестрой военного госпиталя, она была обязана подчиняться приказам и распоряжениям начальства. Она этого не сделала, но и у себя дома отсидеться не могла — оттуда ее бы выдворили насильно. Лотта Х. находилась в аналогичном положении, она была служащей государственного учреждения, которое тоже перебазировалось на восток. Куда же ей было деться? Если вспомнить, что еще в январе сорок пятого года людей эвакуировали чуть ли не в Силезию, то есть прямо навстречу наступающим частям Красной Армии, то здесь уместно будет привести краткую географическую справку: к середине сорок пятого года неоднократно упоминавшийся выше германский рейх занимал территорию шириной в восемьсот — девятьсот километров и длиной не намного больше. Так что вопрос «куда?» был чрезвычайно актуален для самых разных слоев населения. Куда деваться нацистам? Куда девать военнопленных? Куда — солдат? Куда — согнанных со всей Европы рабов? Конечно, существовали давно апробированные способы — расстрелять и т. д. Но и это осуществить не всегда было просто, поскольку и палачи придерживались уже разных точек зрения и некоторые из них уже готовы были перекантоваться в свою противоположность и выступить в роли спасителей. Иные отъявленные палачи превратились в принципиальных противников насильственных мер; а что было делать, например, их потенциальным жертвам? Все это было отнюдь не так просто. Задним числом кажется, что война кончилась в один прекрасный день, в одночасье, и даже дата этого дня всем известна. Да разве в ту пору человек мог знать, на кого нарвался — на закоренелого злодея или на перестроившегося, а то и вовсе на одного из тех новоявленных «народных мстителей», которые ставили к стенке всех и вся, без разбору, хотя прежде они примыкали, скорее, к противникам насильственных мер.

Появились даже целые подразделения эсэсовцев, старавшихся опровергнуть свою репутацию палачей! До нас дошла переписка между СС и нашим доблестным вермахтом, из которой видно, что те и другие спихивали друг на друга мертвецов, словно гнилую картошку! Уважаемые лица и учреждения обвиняли своих адресатов в массовой «ликвидации» или «устранении», ибо стремились — так же, впрочем, как и их адресаты, — чистенькими выбраться на тот берег, который ошибочно зовется миром, в то время как в действительности это был всего лишь конец войны.

Авт. своими глазами видел, к примеру, следующий документ: «Коменданты концентрационных лагерей выражают недовольство тем, что от 5 до 10% русских военнопленных, направляемых для ликвидации в лагерь, прибывают к месту назначения мертвыми или умирающими. Из-за этого создается впечатление, что концентрационные лагеря таким образом избавляются от этой категории заключенных.

В частности установлено, что при пеших переходах, напр. от станции к лагерю, довольно значительная часть военнопленных умирают или падают от истощения, и их приходится подбирать машине, следующей за колонной.

Не представляется возможным сохранить эти факты в тайне от немецкого населения.

Несмотря на то, что транспортировка заключенных до лагеря производится, как правило, подразделениями вермахта, население приписывает вышеупомянутые факты войскам СС.

Дабы впредь по возможности избежать подобных инцидентов, приказываю принять безотлагательные меры к тому, чтобы вызывающие особые опасения русские военнопленные, т. е. лица, обнаруживающие явные симптомы летального исхода (напр., острая дистрофия) и непригодные даже для короткого пешего перехода, впредь не допускались к транспортировке в концентрационные лагеря для последующей ликвидации. Подпись: Мюллер».

Читателю предоставляется возможность поразмышлять над словосочетанием «значительная часть» применительно к кандидатам на тот свет. Общеизвестно, однако, что еще в 1941 году существовала проблема «ликвидации», а ведь тогда германский рейх был еще

достаточно велик. Четыре года спустя этот самый рейх черт знает до чего уменьшился, а «ликвидировать» или «устранять» приходилось не только советских военнопленных, евреев и т. п., но и весьма значительное число немцев — дезертиров, саботажников и коллаборационистов, а кроме того, надо было еще очистить концентрационные лагеря от заключенных, а города от женщин, детей и стариков, поскольку соответствующему противнику было решено оставить одни развалины.

Разумеется, возникли также проблемы морального или же гигиенического порядка. Например:

«Старосты сельских населенных пунктов, среди которых имеется немало взяточников, нередко поднимали и поднимают ночью с постелей заранее намеченных ими лиц из числа квалифицированных рабочих и держат их в подвалах взаперти вплоть до отправки. Ввиду того, что этим лицам часто не дают времени на сборы, многие из них прибывают на сборные пункты для квалифицированной рабочей силы без надлежащей экипировки (т. е. без обуви, смены одежды, миски и кружки для еды и питья, без одеяла и т. д.). В особо вопиющих случаях вновь прибывших приходится незамедлительно отсылать обратно, дабы они захватили с собой самое необходимое. Угрозы и избиения со стороны местных полицейских, производимые в тех случаях, когда специалисты, рабочие и работницы, задерживаются на сборных пунктах, становятся обычным явлением, о чем сообщают большинство сельских общин; женщин-работниц избивают иногда до такой степени, что лишают их возможности перенести транспортировку. Об одном особо злостном избиении я сообщил начальнику местной полиции (господину полковнику Замеку) и потребовал наложить на виновного строгое взыскание (селение Созолинково, окр. Дергачи). В свое оправдание упомянутые старосты и полицаи обычно ссылаются на германский вермахт и мотивируют свой произвол тем, что действуют якобы по поручению военного командования. В действительности же военнослужащие вермахта повсеместно проявляют по отношению к квалифицированным рабочим, равно как и к украинскому населению вообще, исключительную доброжелательность. К сожалению, нельзя сказать того же о некоторых органах германской администрации. Для иллюстрации вышесказанного остается упомянуть, что

однажды на сборный пункт прибыла женщина, не имевшая на теле почти ничего, кроме нижней сорочки».

«На основе полученной информации обращаем ваше внимание на недопустимость содержания рабочих в закрытых вагонах в течение многих часов, лишая их, таким образом, возможности удовлетворить свои естественные надобности. При транспортировке рабочей силы необходимо через определенные промежутки времени предоставлять людям возможность запастись питьевой водой, мыться и справлять нужду. Нам были продемонстрированы вагоны, в которых рабочими были проделаны отверстия для удовлетворения своих естественных надобностей. Однако при приближении транспорта к крупным железнодорожным узлам рекомендуется делать остановку для этой цели на значительном удалении от вышеозначенных узлов».

«К нам поступили донесения о наличии беспорядков в дезинсекционных пунктах; так, мужской персонал пункта, а также другие посторонние мужчины находятся в помещениях женских душевых (имели место даже случаи, когда женщин мыли!). Такие же нарушения случаются и в мужских душевых, нередко обслуживаемых женским персоналом. Кроме того, поступили сведения о том, что немецкие военнослужащие фотографировали женщин, находившихся в душевых. Поскольку транспортировке в последние месяцы подвергалось в основном украинское население, а женская часть этого населения отличается нравственным здоровьем и воспитана в строгих правилах, такое обращение надо рассматривать как оскорбительное для национального достоинства транспортируемых. Согласно дошедшим до нас донесениям, указанные беспорядки были устранены в результате вмешательства начальника состава. Факт фотографирования имел место в Галле, факты, упомянутые в начале письма,— в Киверце».

Неужели сексуальная революция началась уже в те далекие времена и снимки, которые навязывают нам сейчас, немцы нащелкали в «вошебойках» для восточноевропейских рабов?

Для нас важно понять, что завоевание целых континентов или миров не такое уж простое дело и что у завоевателей возникали свои проблемы, которые они

пытались решить с чисто немецкой основательностью и с чисто немецкой педантичностью фиксировали в соответствующих документах. Только никакой импровизации! Естественные надобности остаются естественными надобностями, и негоже людей, предназначенных на казнь, доставлять к месту назначения уже в виде трупов! Это безобразие, с этим надо кончать! Негоже, чтобы в «вошебойках» мужчины намыливали спину женщинам, а женщины — мужчинам и чтобы все это еще и фотографировалось! Так не делают. И руки, и фотопленка должны оставаться чистыми. Может быть, в процесс «сам по себе» вполне корректный затесались преступники и нравственные уроды?

Поскольку «спор о трупах» за истекшее время стал типичной приметой современной войны с использованием обычных видов вооружений, а преступники и нравственные уроды — к тому же в военной форме! — как всем известно, совершают насилие и измываются над женщинами и даже все это фотографируют, мы не станем больше утомлять читателя ссылками подобного рода.

Итак, где же и каким образом могли пережить это время наши герои — беременная Лени, деликатный Борис, энергичная Лотта, чересчур жалостливая Маргарет, а также Грундч, этот земляной червь, и Пельцер, который «никогда не был извергом»? И что произошло в марте 1945 года с Марией, с Богаковым, с Виктором Генриховичем, со старым Груйтеном и многими другими?

Для начала заметим, что примерно под новый 1945 год Борис обрек Лени на совершенно излишние трудности, о которых Лени не упоминает, Маргарет рассказывает все, а Мария и Лотта ничего не знают. В последнее время за Маргарет установили строжайшее наблюдение, дабы авт. не мог передать ей что-либо недозволенное (лечащий врач в разговоре с авт.: «Понимаете, пациентке сейчас просто необходимо поголодать четыре-пять недель, чтобы мы могли привести ее эндокринную и экзокринную системы хотя бы в относительный порядок: в данный момент они настолько нарушены, что я не удивлюсь, если из грудных желез у нее потекут слезы, а из носа — моча. Итак: разговаривать с ней можно, приносить ничего нельзя»). Маргарет, уже свыкшаяся с полным воздержанием и даже возлагающая на него надежду на исцеление: «Немного денег вы мне все

же оставьте (что авт. и сделал!). Ну вот, в то время я до того разозлилась на Бориса, что готова была его растерзать; только потом, когда мы все вместе сидели в укрытии и познакомились, я поняла, какой он умный и деликатный; но тогда — в конце сорок четвертого или немного раньше, на Рождество, а может, и в самом начале сорок пятого, на Богоявление, но никак не позже — Лени опять озадачила нас новым именем — правда, на этот раз, по крайней мере, знала, что так зовут писателя, к тому же покойного, так что хоть не пришлось висеть на телефоне и узнавать, кто он такой. И опять речь шла о книжке, автором ее был некий Франц Кафка, а книжка называлась «В исправительной колонии». Я потом спросила Бориса, неужели он не понимал, какую беду мог накликать на Лени? Это надо же — в конце сорок четвертого (!) подсказать ей книжку писателя-еврея. Знаете, что он мне ответил? «У меня тогда голова шла кругом, столько всего надо было обдумать. Я совсем об этом забыл». И Лени опять помчалась в библиотеку — во всем городе работала одна, последняя, — и заполнила формуляр; на ее счастье, библиотечаршей оказалась пожилая порядочная женщина, которая тут же порвала формуляр, отвела Лени в сторонку и сказала ей слово в слово то же самое, что ответила ей настоятельница монастыря, когда Лени пристала к той с расспросами о Рахили: «В своем ли вы уме, дитя мое? Кому пришло в голову посылать вас в библиотеку за этой книгой?» Хотите верить, хотите нет, но Лени и тут не отступилась. Пожилая библиотечарша, наверное, сразу сообразила, что Лени никакая не провокаторша, потому-то и отвела ее в сторонку, а там уже четко и ясно растолковала, в чем дело: Кафка этот — еврей, все его книги запрещены, сожжены и так далее, ну а Лени, ясное дело, и ей задала этот свой вопросик наповал: «Ну и что?»; и тогда библиотечарша просветила Лени — поздновато, зато основательно — насчет того, как нацисты вообще относятся к евреям, и дала ей в руки «Штюрмер» — эта газетенка в библиотеке, конечно, имелась — и все еще раз разжевала; так что ко мне Лени явилась, уже кипя от возмущения. Наконец-то до нее дошло, что к чему. Однако она и после этого не сдалась. Вбила себе в голову раздобыть этого Кафку и прочесть; и своего добилась! Взяла и поехала в Бонн: решила разыскать там профессоров, которым ее отец некогда строил виллы; она знала, что у тех дома большие библиотеки; и нашла-таки одного

старичка пенсионера лет под восемьдесят — сидит себе дома, в книжках копается; и знаете, что он ей сказал: «В своем ли вы уме, дитя мое? Именно Кафка вам понадобился? А почему не Гейне?» Все же старичок принял в Лени большое участие, припомнил и Лени, и ее отца, но этой книжки у него самого не было. Ему пришлось обратиться к одному коллеге, потом к другому, пока не нашел такого, который ему доверял, которому он сам мог довериться и у которого к тому же была книжка. Все это оказалось не так просто, скажу я вам, на поиски книжки ушел целый день, и домой она явилась уже за полночь, но с книжкой в сумке. А почему не просто? Потому что надо было не только найти человека, которому старичок профессор мог довериться и который бы ему самому доверял, этот человек должен был еще и довериться Лени, то есть не только иметь книгу, но и согласиться отдать ее в чужие руки! Книгу имели два коллеги старичка профессора, но первый не захотел с ней расстаться. Ну, не бред ли вся эта затея? И что им, Борису и Лени, втемяшилось в голову?! Заниматься такой ерундой, когда речь идет о жизни и смерти, когда гибель грозит на каждом шагу. А тут, на наше несчастье, появился еще и мой благоверный, ведь мы все ютились в его коттедже. В Шлёмере ни следа не осталось от прежнего светского льва, весь его блеск сошел на нет: припелся совершенно обессилевший и почему-то в солдатской форме, но без документов; оказалось — еле удрал от французских партизан, те совсем было собрались пустить его в расход. Не знаю... Я все же как-то была к нему привязана; он всегда относился ко мне по-доброму, ничего для меня не жалел и по-своему тоже был ко мне привязан, может, даже любил. А теперь приполз такой несчастный, такой жалкий и растерянный и сказал мне: «Маргарет, я наворотил за свою жизнь таких дел, что теперь мне каюк, куда ни сунься: и у французов, и у немцев, которые «за», и у тех немногих, что «против», и у англичан, и у голландцев, и у американцев, и у бельгийцев; а уж если попадусь русским и те дознаются, кто я такой, то я и вовсе пропал. Впрочем, попадись я немцам, которые еще у власти, я тоже пропаду со всеми потрохами. Помогите мне, Маргарет». Поглядели бы вы на него раньше! Раскатывал по городу только на такси или на казенной машине, по три раза в год приезжал в отпуск, и, конечно, не с пустыми руками, и всегда был находчив и весел, а теперь дрожал,

как жалкий мышонок, и боялся всех на свете, от немецких патрулей до американцев. И тут мне впервые пришла в голову мысль, до которой нужно было бы раньше додуматься. В госпитале умирало много раненых, их воинские документы, естественно, собирали, складывали в одно место, регистрировали, а потом отсылали либо в их часть, либо еще куда: во всяком случае, я точно знала, где лежат эти документы, и знала, что некоторые раненые их не сдают, а у других, поступивших к нам с тяжелыми ранениями, медперсонал старался побыстрее содрать окровавленные лохмотья, тут уж было не до бумаг, и они, как правило, пропадали. Что же я сделала? В ту же ночь я стащила три солдатские книжки — их там было навалом и можно было выбрать подходящие, то есть чтобы фотографии хоть как-то соответствовали Борису и Шлёмеру по возрасту и приметам. Взяла, значит, двух блондинов в очках лет двадцати четырех — двадцати пяти и одного худощавого брюнета без очков лет под сорок, то есть в возрасте Шлёмера; эту книжку я ему и вручила. Отдала ему также все наличные деньги, собрала на дорогу хлеба, масла и сигарет и проводила его в путь под новым именем — Эрнст Вильгельм Кайпер; это имя, а также домашний адрес этого Кайпера я себе записала — все же хотелось знать, что со Шлёмером станется. Как-никак, мы с ним шесть лет были женаты, хотя и виделись от случая к случаю. Я посоветовала Шлёмеру отправиться прямым ходом в армию, в какой-нибудь фронтовой штаб, это самое безопасное место, раз уж все на него зуб имеют. Он согласился. Когда мы прощались, он плакал, и если вы не видели моего супруга до сорок четвертого года, вам не понять, что это значит: плачущий, скулящий, раздавленный Шлёмер, благодарно целующий мне руку. Поскулил, как собачонка, — и ушел. Никогда его больше не видела. Из любопытства я потом съездила к жене этого Кайпера в угольный район около Буэра, — понимаете, мне все же хотелось узнать, как и что... Оказалось, что она вторично вышла замуж; я ей наплела, мол, выживала ее мужа в госпитале, он умер на моих руках и перед смертью просил меня навеститься к ней. Бабенка она была бедовая и бойкая на язык, скажу я вам. Сразу меня огорошила: «О каком муже вы говорите? Если об Эрнсте Вильгельме, то он умер уже дважды — один раз в госпитале, а второй раз — в какой-то жуткой дыре где-то там у вас в горах, она называется Вюрзелен». Стало быть, Шлёмер умер!

Не скрою, я облегченно вздохнула. Все же лучше умереть в какой-то деревушке, чем быть повешенным нацистами или расстрелянным партизанами. Он оказался самым настоящим военным преступником — вывозил людей из Франции, Бельгии и Голландии на принудительные работы в Германию, и начал этим заниматься еще в тридцать девятом, по образованию-то он был коммерсант. Из-за него меня долго таскали на допросы, а потом забрали у меня дом вместе со всем, что в нем было, разрешили взять только мои личные вещи. Видимо, Шлёмер воровал по-крупному и вообще был здорово нечист на руку — и взятки брал, и еще много всего за ним водилось, а потом погорел... Вот таким манером в сорок девятом году я оказалась на улице, в самом буквальном смысле на улице, где я, пожалуй, в какой-то степени и сейчас нахожусь. Да, у меня и по сей день нет своего угла, хотя Лени и другие старались как-то устроить мою жизнь. С полгода я даже жила у Лени, но дольше там было оставаться нельзя, потому что ко мне ходили мужчины, а малыш, ее сын, подрастал и однажды спросил меня: «Маргарет, скажи, почему дядя Гарри — так звали английского сержанта, с которым я тогда встречалась,— почему дядя Гарри хочет раздавить тебя? Он все время на тебя наваливается» (Маргарет снова покраснела. Авт.).

Читателю уже известно, где Ширтенштайн услышал о конце войны: он наяривал на пианино «Лили Марлен» для советских офицеров где-то между Ленинградом и Витебском,— Ширтенштайн, который некогда был авторитетом для самой Моники Хаас! «Мной тогда владело одно-единственное, но зато лютое желание (Ш. в разговоре с авт.): я постоянно хотел жрать и, значит, выжить. Так что я готов был исполнять «Лили Марлен» даже на губной гармошке».

Доктор Шольсдорф ознаменовал последние дни войны столь незаурядным поступком, что авт. так и подмывает произвести его в герои: «Сначала я укрылся в маленькой деревушке на правом берегу Рейна, где собирался спокойно дожидаться конца войны: документы у меня были в полном порядке, в политике не замешан, так что и со стороны нацистов опасаться мне было

нечего, и американцев не было причин бояться. Дабы полностью обезопасить себя от случайностей, я принял под свою команду отряд фольксштурма численностью в десять человек, из которых трем было за семьдесят, двум еще не исполнилось семнадцати, у двоих нога была ампутирована по бедру, у одного — по голень, предпоследний потерял на войне руку, а последний был слабоумный, попросту говоря — деревенский дурачок; вооружение наше состояло из нескольких палок, но главную надежду мы возлагали на белые простыни, заблаговременно разорванные на четыре части; кроме того, нам выдали несколько ручных гранат и приказали взорвать мост; как только мой отряд выступил, мы привязали к палкам белые лоскуты от простынь, мост, естественно, не тронули и сдали деревню американцам в целости и сохранности. До позапрошлого года я был в этой деревне желанным гостем (речь идет о горной деревушке Ауслер-Мюле. Авт.), меня неизменно приглашали на все церковные и прочие праздники. Однако в последнее время я замечаю некоторую перемену в настроении тамошних жителей, иногда слышу брошенное мне вдогонку «пораженец»; и это через двадцать пять лет после войны и при том, что ведь именно я спас их церковь, жизнью поручившись американскому лейтенанту Эрлу Уитни, что там нет засады и что она не представляет собой военный объект. В деревне, вне всякого сомнения, произошел резкий сдвиг вправо. Во всяком случае, теперь я туда наезжаю без особой охоты».

Алиби Ганса и Греты Хельцен предельно кратко: Ганс родился в июне 1945 года, проявлял ли он уже в утробе матери тягу к «вервольфу», авт. не берется установить. А Грета и вовсе родилась только в 1946 году.

Генрих Пфайфер (возраст — двадцать один год) встретил конец войны в монастыре (стиль барокко) под Бамбергом, переоборудованном в госпиталь; ему только что ампутировали левую ногу. По его словам, едва он очнулся от наркоза, «как к воротам подкатили американцы. К счастью, они не проявили ко мне никакого интереса».

Старик Пфайфер несколько неопределенно указывает место своего пребывания «в день поражения»: «в районе Дрездена»; к тому времени он волочил свою ногу уже двадцать семь лет (в настоящее время он волочит ее все тридцать пять); а между тем отец Лени еще в 1943 году, до того как сесть в тюрьму, назвал эту ногу «липой чистой воды».

Мария ван Доорн: «Я-то думала, что поступаю умнее всех, еще в ноябре сорок четвертого года переселившись в Тольцем: выкупила родительский дом и прикупила еще землицы на те деньги, что Груйтен раздавал пачками. Я и Лени уговаривала переехать ко мне и родить ребеночка в деревне — мы все еще не знали, от кого он; у нас, мол, тихо, спокойно, да и воздух не то что в городе, а еще я ей доказывала, что американцы придут к нам наверняка на две-три недели раньше, чем сюда, в город. Ну а как на самом деле вышло? И как все обернулось? Счастье, что Лени при этом не было. Тольцем сровняли с землей — так это вроде называется; нам дали полчаса на сборы и вывезли на грузовиках за Рейн; а потом мы уже не могли вернуться обратно, потому как на той стороне уже были американцы, а у нас все еще правили немцы. Какое счастье, что Лени меня не послушалась! Вот тебе и тишина, вот тебе и покой, вот тебе свежий воздух и цветики-цветочки. Мы увидели только громадное облако пыли — все, что осталось от Тольцема; теперь-то его опять отстроили, а тогда... Облако пыли, и больше ничего».

Кремер: «После того, как забрали на войну мальчика, я стала думать: куда теперь податься — на восток, на запад или сидеть дома. И решила остаться дома: на запад они никого не пускали, кроме солдат и мобилизованных на рытье окопов. А на восток... Почем знать, может, они еще на пару месяцев, а то и на год растянут войну. В общем, сидела дома, в своей квартире, до второго числа (имеется в виду второе марта 1945 года; люди, оставшиеся в городе, называют тот день просто «второе». Авт). А второго начался тот налет, от которого многие умом тронулись или близко к тому; я кинулась в подвал пивоварни, что против дома, сидела там и думала: Господи Боже, конец света пришел, конец света.

Честно вам признаюсь, ведь я с двенадцати лет, то есть с девятьсот четырнадцатого года, не ходила в церковь и не верила в поповские рассказы, и даже когда нацисты *для виду* (выделено не авт.) нападали на попов, я и тогда не встала на их сторону: к тому времени я уже кое-как разбиралась и в диалектике, и в материалистическом понимании истории, хотя большинство моих товарищей по партии считали меня просто хорошенькой дурочкой... А тут я вдруг начала шептать молитвы, одни молитвы, честное слово. Сразу все вспомнилось: и «Слава тебе, Господи», и «Отче наш», и даже «Спаси, Господи, и помилуй». Молилась, и все тут! Этот налет был самый страшный и тяжкий из всех, какие мы пережили; он длился ровно шесть часов сорок четыре минуты, и перекрытия подвала вздрагивали, а то и ходили ходуном, как крыша палатки на ветру... И ведь бомбили город, где уже и жителей-то почти не осталось, налетали волна за волной, волна за волной, и так без конца; нас в подвале было всего шестеро, две женщины, я и молодая мать с трехлетним малышом; она громко стучала зубами от страха — тут я впервые поняла, что значит «стучать зубами», а раньше только встречала это выражение в книгах; видать, это получалось у нее само собой, она ничего не могла с собой поделать, а может, даже и не замечала... Под конец она закусила губы до крови, и тогда мы сунули ей между зубами деревяшку — маленькую такую гладкую дощечку — наверно, обломок от бочки, их много кругом валялось. Я думала, она сходит с ума, и еще я думала, что тоже сойду с ума... Грохотало не так уж сильно, только все кругом шаталось и дрожало, а потолок над головой прогибался то в одну сторону, то в другую — как дырявый резиновый мячик, когда его мнешь руками. Малыш совсем выбился из сил и уснул; он крепко спал и даже улыбался во сне. Кроме нас в подвале было еще четверо мужчин; один из них, пожилой складской рабочий с пивоварни, почему-то в форме штурмовика — это второго-то! — со страху просто-напросто наложил в штаны, полные штаны наложил, и трясло его, как в лихорадке; а потом он еще и описался и вдруг взял и выбежал из подвала, просто взял и выбежал: заорал не своим голосом и выскочил на улицу. От него, конечно, и мокрого места не осталось, тут и говорить не о чем. А еще в подвале было двое молодых парней, оба в штатском и бледные как полотно; скорее всего, дезертиры — скрывались, наверное, где-нибудь

в развалинах, а когда начался этот ужасный налет, струхнули всерьез. Сперва они оба сидели тише воды ниже травы; но когда тот старик выскочил наружу, они вдруг... Понимаете, мне сейчас шестьдесят восемь лет, я старуха, и неловко мне такое о себе рассказывать, а вам слушать... Хотя все это чистая правда. Мне тогда было сорок три, а той молодой женщине — я потом никогда, ни разу ее не встретила, ни разу никого не встретила из тех, кто сидел тогда вместе со мной в подвале, — ни парней, ни малыша... В общем, ей было под тридцать. А парни — им было по двадцать с небольшим — вдруг... Не знаю уж, как это назвать... Они вдруг посмотрели на нас с ней каким-то таким взглядом... раздевающим, что ли, или, правильнее будет сказать, нагло-откровенным... Нет-нет, все не то... Моего мужа замучили до смерти в концлагере за три года до этого, так я ни на одного мужчину и глядеть не хотела. Ну, в общем, те парни вовсе не набросились на нас и не стали нас насиловать, потому что мы и не сопротивлялись. Вот как все было: один из парней подошел ко мне, облапил, задрал юбку и спустил трусики, другой занялся молодой матерью — вынул торчащую у нее между зубами дощечку и поцеловал в губы... Вот как случилось, что обе пары занялись... назовите это как хотите. А между нами крепко спал малыш... Вам, наверно, противно про все это слушать, потому что вы не можете представить себе весь этот ужас: шесть с половиной часов с неба непрерывно сыплются и взрываются бомбы — одних фугасок сбросили около шести тысяч. Мы четверо просто прибились друг к другу, и между нами — малыш... До сих пор не могу забыть — когда тот парень поцеловал меня, я почувствовала, что у него весь рот забит каменной пылью, а потом оказалось, что она и у меня скрипит на зубах: наверно, валилась на нас сверху, с потолка, он ведь ходил ходуном... А еще я помню, как вдруг перестала обмирать от страха, даже как будто обрадовалась и опять начала тихонько молиться; гляжу — молодая мать тоже вроде успокоилась, отбросила рукой прядь со лба того парня, что был с ней, и улыбнулась ему. Тогда я тоже отбросила волосы со лба своего парня и улыбнулась; а потом мы все оделись, кое-как привели себя в порядок, немного посидели молча и, не сговариваясь, выложили все, что у нас с собой было, — у кого хлеб, у кого сигареты, а молодая женщина вынула из сумки целую банку маринованных огурцов и клубничное ва-

ренье. И мы съели все это вместе, но никто не проронил ни слова, даже имени никто друг у друга не спросил, словно дали обет молчания; только каменная пыль скрипела у нас на зубах — у меня и у моего парня... Примерно к половине пятого налет кончился. Стало тихо. Хотя и не совсем. Где-то еще что-то валилось, рушилось, взрывалось — ведь упало около шести тысяч бомб. И когда я говорю: стало тихо, я имею в виду, что не стало слышно гула моторов. И мы все пошли к выходу из подвала — каждый сам по себе, не сказав друг другу на прощанье ни слова. Снаружи нас со всех сторон охватил огромный, до неба, столб пыли, пыли и дыма, а кругом полыхал огонь. Я упала как подкошенная и очнулась лишь через два дня в больнице; придя в себя, я опять принялась шептать молитвы — но уже в последний раз. Счастье еще, что в общей неразберихе меня не закопали заживо, — вы даже не представляете, сколько народу похоронили вот так, живьем. Хотите знать, что стало с подвалом? Рухнул ровно через два дня после того, как мы из него выбрались. Наверно, свод все прогибался и прогибался, как дырявый резиновый мячик, а потом взял и обвалился. Своими глазами видела — пошла взглянуть, как там моя квартира. От дома ничего не осталось, совсем ничего, даже приличной груды развалин не было. А на следующий день после того, как я выписалась из больницы, в город вошли американцы».

Мы уже знаем, что Ванфт была эвакуирована. По всей видимости, она пережила много бед и обид (сама она ничего не рассказывает, так что авт. не может установить, объективна или субъективна эта ее оценка). Ванфт произнесла лишь одно слово: «Шнайдемюль». О Кремпе мы знаем, что он погиб на шоссе и ради этого шоссе — возможно, со словом «Германия» или чем-то подобным на устах.

Д-р Хенгес «удалился со сцены» (Х. о Х.) вместе со своим бывшим шефом графского происхождения и обосновался в одной из глухих деревушек Баварии. «Мы были уверены, что здешние крестьяне нас не выдадут. Под видом лесников мы поселились в бревенчатом домике посреди чащи, но кормили и обслуживали нас, как

знатных господ; даже в любовных ласках не было у нас недостатка, ибо крестьянки, сохранившие преданность графской семье, не только не отказывали нам в любви, но прямо-таки наперебой предлагали свои услуги. Однако признаюсь вам, как на духу: баварская эротика и баварский секс показались мне грубыми и примитивными, мне не хватало истинно рейнской утонченности — впрочем, не только в этой сфере. Особых грехов за мной не числилось, так что я уже в 1951 году мог вернуться домой. А вот графу пришлось выждать еще два года, чтобы в 1953 добровольно предстать перед судом: к этому времени вся эта возня вокруг военных преступников потихоньку сошла на нет, так что, отсидев три месяца в Верле, он опять поступил на дипломатическую службу. А я счел за лучшее впредь держаться подальше от политики, — хватит с меня и того, что я обслуживаю политику своими обширными филологическими познаниями».

Хойзер-старший: «Будучи домовладельцем, я оказался связанным по рукам и ногам: ведь кроме груйтеновского дома мне удалось в январе и феврале сорок пятого года приобрести еще два дома у лиц, имевших все основания опасаться серьезных политических неприятностей. Можете, если угодно, назвать это антиаризацией или реантиаризацией, поскольку дома, проданные мне нацистами, первоначально принадлежали неарийцам. Сделка была оформлена по всем правилам, с нотариусом и банковским чеком, как полагается. Вполне законная акция: купля-продажа недвижимого имущества; в конце концов, никому ведь не возбранялось продавать и покупать дома, не так ли? Второго марта я как раз на денек уехал за город — Бог миловал, пронесло, но облако пыли видел своими глазами — его было видно за сорок километров, облако и впрямь гигантское; а когда на следующий день я прикатил на велосипеде обратно, то тут же приискал себе в западной части города прекрасную квартиру в безукоризненном состоянии; правда, пришлось ее освободить, когда в город вошли англичане. Они весьма предусмотрительно не бомбили те кварталы, в которых потом собирались сами поселиться. А эти людишки — Лени, Лотта и прочие — бросили меня, старика, — мне тогда стукнуло уже шестьдесят, — на произвол судьбы: ни слова не сказали, что устроили себе в склепе «советский рай». Я им был там ни к чему.

Лотта вообще повела себя довольно подло после того, как в октябре умерла моя жена. Выехала из квартиры вместе с детьми и стала кочевать с места на место — сперва жила у своих родственников, потом у этой проститутки Маргарет, потом у каких-то знакомых — только чтобы не эвакуироваться. А почему, собственно? Потому что хотела пожить, ведь она точно знала, где находятся воинские склады. А милого дедулю и не подумали позвать, когда люди стали грабить склад возле бывшего монастыря кармелиток. Тащили мешками, на тачках, на старых велосипедах, даже на полусгоревших и брошенных у обочин машинах, которые можно было только толкать руками. Хватали все подряд — яйца и масло, сало и сигареты, кофе и одежду; самые жадные прямо на улице жарили себе яичницу в крышках от противогазов; тут тебе и шнапс и что угодно. Настоящие оргии, как во время Французской революции. Причем заводилами были женщины, и наша Лотта распоясалась пуще всех. Сушная мегера! На улице разыгрывались настоящие баталии — ведь в городе еще были немецкие солдаты. Обо всем этом я узнал много позже и подумал: слава богу, что я вовремя выехал из той квартиры, ведь они устроили там форменный бордель, когда из «советского рая» им пришлось убраться, а потом туда же заявился Губерт и спутался с Лоттой. Нашу Лотту тогда было просто не узнать; раньше она была такая желчная и резкая, язвительная и острая на язык, а тут стала совсем на себя не похожа, ее будто подменили. Правда, мы и в военные годы наслушались от нее достаточно социалистических речей, но все сносили, хоть это и было очень опасно, ведь иногда она разводила такую крамолу; и, конечно, нам было не очень-то по вкусу, что она и нашего Вильгельма заразила этими красными бреднями, но мы ей все прощали, как-никак она была преданная жена и заботливая мать. Но пятого марта она, видно, решила, что наступил социализм и пора все имущество делить — и движимое и недвижимое, словом, все. Какое-то время Лотта действительно возглавляла жилищный отдел в магистрате — сначала захватила эту должность явочным порядком, потому что городские власти сбежали, потом была официально назначена на том основании, что она никогда не была нацисткой. Что верно, то верно, нацисткой она не была, но для этой должности недостаточно просто не быть нацисткой. И все же год с небольшим она заправляла у нас жильем и ничтоже сумня-

шеся раздавала пустовавшие особняки людям, которые не умели пользоваться клозетом со смывом, в ваннах стирали белье и разводили карпов или гнали самогон из свекловичной ботвы. Это чистая правда: в некоторых особняках впоследствии обнаружили ванны, заполненные свекловичной ботвой. К счастью, у нас недолго путали демократию с социализмом, и Лотте пришлось тихомирно вернуться на исходные позиции: стать мелкой служащей. Но тогда, в дни всеобщего мародерства, она вместе со всей теплой компанией пряталась в этом ихнем «раю», в склепе, и дети были с ней, и хотя она знала, где я живу, прекрасно знала, ни звука я от нее не услышал. Нет, благодарностью с ее стороны и не пахло. Хотя, если взглянуть фактам в лицо, она обязана нам жизнью. Стоило нам в свое время только заикнуться, только словечком намекнуть о том, что она нам пела про войну и ее цели, привести хотя бы ее любимое выражение «чушь собачья», и ее бы быстренько упекли в тюрьму или концлагерь, а то и вовсе вздернули. И после всего этого — так со мной поступить!»

Вероятно, кое-кому из читателей будет небезынтересно узнать, что манипуляции с мочой, проводившиеся Б. Х. Т. по плану, составленному Рахилью, ни разу не привели к провалу, наоборот, оканчивались вполне благополучно — до тех пор, когда они уже не могли ему помочь: в конце сентября 1944 года Б. Х. Т. был зачислен в батальон «желудочников», невзирая на то, что при язве желудка, к примеру, требуется совсем другая диета, чем при диабете. Б. Х. Т. еще успел принять участие в боях, а именно в арденнском наступлении и в Хюртгенвальдской битве. Поблизости от деревни Вюрзелен Б. Х. Т. попал в плен к американцам, так что не исключено, что он какое-то время «сражался плечом к плечу» со Шлёмером, к тому времени перевоплотившимся в Кайпера. Как бы то ни было, Б. Х. Т. встретил конец войны в американском лагере для военнопленных недалеко от Реймса «в обществе примерно двухсот тысяч немецких вояк всех рангов. Уверяю вас, ничего отрадного в лагерной жизни не было — ни в смысле общения, ни в смысле снабжения. Особенно огорчало полное отсутствие дам — простите за откровенность». (Последнее замечание очень удивило авт. До этого он считал Б. Х. Т. безразличным к сексу.)

Хотя авт. казалось не совсем удобным спрашивать М. в. Д. о дальнейшей судьбе Груйтена-старшего, ради полноты картины он все же предпринял несколько осторожных попыток в этом направлении, вызвавших, однако, лишь поток оскорблений в адрес Лотты, на которой из-за «некоторых обстоятельств» сосредоточилась ее ревность. «Просто он вернулся домой, когда меня там еще не было, а то бы — уж будьте уверены — не у нее, а у меня он искал и нашел бы, чем утешиться, не глядите, что я на тринадцать лет ее старше. Но я-то застряла на том берегу Рейна, чуть ли не за Вуппером, и сидела в этой вестфальской дыре, где нас, рейнцев, честили почем зря — и неженками, и лакомками, и пряничниками, и порченными — и вообще вытирали об нас ноги; а американцы добрались туда только к середине апреля, и вы не представляете, как трудно, можно сказать, невозможно в ту пору было перебраться на западный берег Рейна. Так что пришлось мне там проторчать до середины мая; а Груйтен вернулся домой уже в начале мая и, видать, тут же пристроился под бочок к этой Лотте. И, когда я заявила, ничего поделать уже было нельзя. Я опоздала».

Лотта: «Когда я думаю о том, что произошло между февралем и мартом сорок пятого года и потом между мартом и началом мая, у меня голова идет кругом. Слишком много тогда на нас свалилось, всего не упомнишь, даже если сам во всем этом варился. Когда грабили армейские склады на Шнюрергассе у старого монастыря кармелиток, я, конечно, тоже не осталась в стороне и тоже тащила что могла; уже тогда я понимала, что лучше обратиться за помощью к Пельцеру, чем к собственному свекру. Сколько было у нас тогда проблем! Из старой квартиры мне пришлось выехать, жить там могла только Лени, но Лени оставались считанные дни до родов, и ее нельзя было оставлять одну, так что мы все поселились на кладбище, в склепе, который мой свекор именовал потом «советским раем». Тут, наконец, и выяснилось, что отцом ребенка был русский; раньше-то Лени сдуру назвала отцом другого, чтобы в сентябре или октябре сорок четвертого года получить особые карточки для беременных: это устроила Маргарет — просто взяла и подсказала Лени фамилию одного раненого, умершего у них в госпитале; звали его Ендрички; Маргарет и Лени

мигом все это провернули, а о том не подумали, что покойный Ендрички был женат и с его вдовой, черт возьми, могли возникнуть всякие осложнения, причем весьма щекотливого свойства: нельзя же, в самом деле, спихивать такие штуки на покойника. Ну, потом, когда военные власти поручили мне возглавить жилищный отдел — это было в середине марта, — мне удалось все это уладить. В моем отделе хватало печатей и прочих причиндалов, да и с другими отделами мы общались без помех; в общем, дали ребенку имя его настоящего отца, Бориса Львовича Колтовского. Если вы представите себе, что вся городская власть размещалась в трех комнатах, то поймете, что нам ничего не стоило избавить этого беднягу Ендрички от мнимого отцовства и привести все бумаги в порядок. Но произошло это уже после второго марта и после того, как наши отечественные идиоты окончательно убрались из города — ведь, прежде чем убраться и взорвать за собой мост, они еще шестого марта — еще шестого! — хватали и вешали дезертиров прямо на улицах. Только после этого в город вошли американцы, и мы смогли наконец выбраться из нашего «рая» в склепе и вернуться домой. Но и американцы растерялись и не могли разобраться во всем этом хаосе, а кроме того, и сами ужаснулись, увидев, во что превратился город: некоторые даже плакали — я сама видела двух плачущих американок в форме у дверей гостиницы рядом с собором. Откуда ни возьмись, на свет божий выползла уйма всякого люда: дезертиры из вермахта, прятавшиеся где-то военнопленные — русские, югославы, поляки, русские женщины, угнанные на работу в Германию, немцы, бежавшие из концлагерей, несколько евреев, скрывавшихся долгие годы. Как было американцам разобраться, кто из них сотрудничал с нацистами, кто нет и в какой лагерь кого отправить. Видимо, раньше им все это представлялось куда проще, я бы сказала, слишком просто: с детской наивностью они полагали, что всех людей надо будет поделить на две группы: одни — нацисты, другие — ненацисты. На самом деле все оказалось гораздо сложнее. Вот нам и пришлось наводить порядок и раскладывать все по полочкам. И к началу мая, когда наконец-то вернулся Губерт, более или менее удалось внести в это дело ясность — подчеркиваю: более или менее. Не стану скрывать, с печатями и справками я обращалась весьма вольно и многим людям таким манером помогла; по-моему, печати и справки только для

этого и нужны. Губерт, например, явился домой в итальянской форме — ему подарили ее товарищи по лагерю, с которыми он рыл окопы и разгребал завалы в туннелях берлинского метро. Они рассудили вполне разумно: пробираться на запад в арестантской одежде слишком опасно — между Берлином и Рейном было еще полно нацистских гарнизонов, где его мигом вздернули бы на виселицу; для штатской одежды он в свои сорок пять лет был еще чересчур молод и наверняка угодил бы в лагерь для военнопленных — русский, английский или американский. Вот он и пустился в путь итальянцем; полной безопасности этот мундир, ясно, не гарантировал, но в общем придумано было неплохо: итальянцев нацисты всего лишь презирали, не обязательно сразу вешали или ставили к стенке; а ведь тогда это и было самое главное: чтобы тебя не вздернули или не пустили в расход немедленно. Вот что было тогда главной проблемой. Так что Груйтена этот мундир и фраза «Я не понимать по-немецки» выручили. Только о полной безопасности, повторяю, не могло быть и речи — из-за этого мундира его могли отправить в Италию, а там уж мигом опознали бы как немца! Это тоже была бы верная смерть. Но, как бы то ни было, все обошлось, Губерт добрался-таки и явился к нам такой веселый, такой веселый — да-да, именно веселый, я не оговорила, веселее просто некуда, и сказал нам: «Дети мои, я твердо решил остаток своих дней прожить с улыбкой, да, с улыбкой». И обнял нас всех — Лени, Бориса, ужасно обрадовался внуку, потом обнял Маргарет, моих детей и меня, конечно, тоже. И сказал мне: «Ты же знаешь, Лотта, что я тебя люблю, иногда мне кажется, что и ты меня любишь. Почему бы нам не жить вместе?» И вот мы с ним и мальчиками заняли три комнаты, Лени с Борисом и малышом — тоже три, Маргарет — одну, а кухня была у нас общая; и никаких ссор между нами не возникало, все были люди вполне разумные; еды у нас тоже хватало, ведь нам досталось солидное наследство от победоносного немецкого вермахта со Шнюрергассе, а кроме того, Маргарет в свое время прихватила из госпиталя порядочное количество всяких медикаментов. Мы решили, что Губерту первое время лучше всего оставаться в итальянской форме; вот только итальянских документов я ему достать не могла. Но потом американская военная администрация выдала ему удостоверение личности на фамилию Мандзони; эту фамилию присоветовал ему взять Борис: Мандзони была

единственная итальянская фамилия, которую тот знал — прочитал когда-то книгу этого Мандзони. Открыть карты, то есть сознаться, что Губерт — немец и бывший заключенный, мы тоже не решились, поскольку он был, в сущности, не политический, а уголовный, а американцы в этом вопросе были очень щепетильны. Им вовсе не улыбалось, чтобы уголовники разгуливали на свободе; а как докажешь, что Губерт, в *сущности*-то, был политический. Словом, проще было выдавать себя за Луиджи Мандзони, итальянца и моего сожителя. Но все равно приходилось все время быть начеку, чтобы не угодить в какой-нибудь лагерь, пусть даже в лагерь для репатрируемых. Боже упаси! Никто же точно не знал, куда в конце концов придут составы с репатриантами. Так что до начала сорок шестого года безопаснее всего было числиться итальянцем; потом американцы, правда, перестали кидаться на каждого немца и рассовывать всех по лагерям; вскоре у нас появились англичане, и надо сказать, что я и с теми и с другими, то есть и с американцами и с англичанами, совсем неплохо ладила. Конечно, многие спрашивали, почему мы с Губертом не поженимся официально, ведь оба мы овдовели, а кое-кто даже утверждал, будто все дело в том, что я не хочу лишиться вдовьей пенсии. Только это неправда. Просто мне тогда не хотелось связывать себя, скажем так, на всю жизнь узами брака, мне казалось, что брак чаще всего — тоска зеленая. Теперь-то я раскаиваюсь, потому что потом мои сыновья целиком и полностью подпали под влияние свекра. А вот Лени с радостью вышла бы замуж за своего Бориса, и он бы с радостью женился на ней; но сделать этого они не могли, потому что у Бориса не было никаких документов: сознаться, что он русский, не хотел, хотя мог бы благодаря этому даже занять неплохую должность; но потом большинство русских вопреки их желанию и без предупреждения о том, что их ждет, погрузили в вагоны и отправили на родину к отцу всех народов Сталину. У Бориса была только солдатская книжка, которую добыла для него Маргарет, и по ней он числился Альфредом Бульхорстом; а здоровый, молодой, хоть и отощавший, немец двадцати четырех лет знаете куда мог загреметь? Либо в Зинциг, либо в Викрат! А этого мы тоже не хотели допустить, потому что это тоже не давало никакой гарантии безопасности. Большею частью Борис сидел дома, и стоило поглядеть, с какой любовью они оба обихаживали своего младенца:

ни дать ни взять Святое Семейство; он был убежден, что к женщине нельзя притрагиваться три месяца после родов и три месяца до, значит, полгода они жили как Мария с Иосифом, разве что поцелуются иногда, и ничего на свете для них не существовало, кроме ребенка! Как они его холили и лелеяли, и оба пели ему разные песни; а потом, уже в июне сорок пятого, стали — слишком рано, как оказалось, — выходить с ним вечером погулять на берег Рейна — разумеется, до комендантского часа. Мы все их предупреждали, все — и Губерт, и я, и Маргарет, — но удержать не могли: каждый вечер они ходили на Рейн. Там и в самом деле была благодать, мы с Губертом тоже частенько увязывались с ними; сидели все вместе на берегу и всей душой радовались тому, чего уже двенадцать лет не знали: ощущению мира. На Рейне ни суденышка, одни обломки плавают, и все мосты разрушены — через реку ходят только несколько паромов, да еще американцы навели для себя понтонный мост, — знаете, мне иногда кажется, что, может, и не стоило опять строить мосты через Рейн, а лучше было бы предоставить западную часть Германии самой себе. Ну, все получилось иначе, и с Борисом тоже; однажды вечером — дело было в июне — его задержал американский патруль, а в кармане у него, как назло, лежала та самая солдатская книжка, и тут уж ничего поделывать было нельзя: не помогли Борису ни мои знакомства среди американских офицеров, ни американцы — дружки Маргарет, ни мой визит к военному коменданту города, которому я выложила все сложные перипетии, в которые попал Борис. Бориса все равно забрали, и поначалу нам казалось, что ничего страшного не произошло: он попал в американский лагерь для военнопленных и вскоре вернется домой под именем Альфреда Бульхорста, раз уж не хочет возвращаться в Советский Союз; разумеется, американский лагерь — вовсе не рай земной, но это бы еще полбеды, а беда была в том, что американцы летом начали... ну, скажем, передавать пленных немцев французам; наверное, точнее было бы сказать не «передать», а «продавать», потому что за содержание и питание пленных французы платили им долларами; почему нам было знать, что Бориса в итоге пошлют работать на шахты в Лотарингии, ведь он здорово ослаб за последние годы, правда, благодаря Лени — вернее, благодаря деньгам, полученным ею по закладной на дом, — он не умирал с голоду, но сил у него, конечно, было мало, и вот —

видели бы вы только Лени: она тут же вскочила на старенький велосипед и бросилась разыскивать его. Границы между зонами оккупации, да и государственные, были ей нипочем, она заехала во французскую зону, в Саарскую область, в Бельгию, вернулась опять в Саар, оттуда кинулась в Лотарингию: ездилa от лагеря к лагерю и выспрашивала у комендантов, нет ли у них ее Альфреда Бульхорста; вела себя мужественно и упорно, она не отставала и умоляла дать ей ответ, не понимая, что в Европе тогда насчитывалось не то пятнадцать, не то все двадцать миллионов немецких военнопленных. До самого ноября Лени колесила на своем велосипеде по всем дорогам, только иногда заскакивала домой, чтобы пополнить запас продуктов, и опять в путь. До сих пор не знаю, как ей удавалось пересекать все эти границы туда и обратно, ведь она была немка, никаких других документов у нее не было; она ничего об этом не рассказывала. Только его песни она нам иногда пела и часто, очень часто пела малышу вот эту: «В сочельник мы, бедняки, сидим полны тоски. В доме гуляет мороз. Приди же, наш милый Христос, взгляни на нас, любя, нам тяжело без Тебя». И, когда она так пела, невозможно было удержаться от слез. Она исколесила весь Айфель, пересекла Арденны, потом вернулась, из Зинцига отправилась в Намур, из Намура в Реймс — и опять в Мец, и опять в Саарбрюкен, и еще раз в Саарбрюкен. Тоже отнюдь не безопасное это было дело — мотаться по этой части Европы с немецким удостоверением в кармане. И что вы думаете? В конце концов она все же нашла своего Бориса, своего Ендрички, своего Колтовского, своего Бульхорста — называйте его как хотите. Она нашла его, нашла на кладбище, но не в «советском раю», не в склепе; нет, он лежал мертвый в могиле — попал в катастрофу на шахте и погиб в каком-то глухом углу Лотарингии между Мецем и Саарбрюкеном. Лени тогда как раз исполнилось двадцать три, и овдовела она, если уж быть точными, в третий раз. Но теперь она действительно окаменела и стала как статуя, и вечером, когда она напевала малышу те стихи, которые так любил его отец, нас бросало то в жар, то в холод:

Угрюмый мрамор предков сед...
А мы сидим среди снегов
Как сонм языческих богов.
На кости падает нам снег,

Он просится к нам на ночлег,
Входи же, снег! Тебе, сосед,
Как нам, на небе места нет...

А потом вдруг начинала петь совсем по-другому, этак лихо: «Вперед же в Махагони, где воздух свеж и чист, где виски, девки, кони и счастлив покерист. Сегодня под рубашками забито все бумажками, и пусть луна нам светит и девки нас приветят». А потом переходила на торжественный лад и пела так проникновенно, что у нас внутри все переворачивалось: «Помню, ребенком я был, Бог меня часто спасал, и я беспечно играл среди цветов и дубрав; слабый с небес ветерок тоже меня ласкал. Господи, радуешь Ты душу растений живых, и как их руки в мольбе тянутся вверх, к небесам, так и душа моя, радуясь, Боже, к Тебе рвалась». Эти строчки я буду помнить и через пятьдесят лет, ведь Лени пела их так часто, почти каждый вечер и по нескольку раз на дню. Трудно поверить, но Лени пела эти стихи с безупречным литературным произношением, а ведь обычно она изъяснялась на своем чудесном напевном рейнском диалекте. Уверяю вас, это пение невозможно забыть, невозможно, и ее мальчик не забыл, мы все, даже Маргарет, запомнили его на всю жизнь; а ее английские и американские дружки не могли насмотреться на Лени, не могли послушаться, когда она пела или декламировала мальчику стихи, в особенности стихотворение о Рейне... Да, Лени была замечательная девушка, и женщина она замечательная; я считаю, что и мать она тоже замечательная, и не она виновата, что с ее сыном в конце концов произошло такое несчастье, виновата не она, а эти подонки — «союз Хойзеров», куда входят и мои отбившиеся от рук сыновья, виновата их звериная злость; больше всех кипит от злости старый Хойзер, мой свекор. Губерт доводил его до белого каления каждый раз, как старик являлся к нам взимать квартирную плату — сорок шесть марок пятнадцать пфеннигов за наши три комнаты: Губерт каждый раз встречал его сатанинским хохотом, каждый раз хохотал ему прямо в лицо; кончилось тем, что они стали общаться только по почте. Но сперва Хойзер выставил обычный обывательский довод — мол, не домовладелец обязан взимать плату с жильца, а жилец обязан вносить ее хозяину дома; вот Губерт и стал *приносить* эту плату первого числа каждого месяца на хойзеровскую виллу в западном предместье города, и опять-таки каждый раз раздражался сатанинским хохотом.

том, пока Хойзер наконец не выдержал и потребовал, чтобы деньги посылали ему по почте. Тогда Губерт подал на него в суд, чтобы суд решил, следует плату за квартиру взимать, вносить или посылать по почте; Губерт ссылаясь на то, что лишние десять — двадцать пфеннигов на почтовые расходы или перевод на банковский счет — непосильная трата для него, простого разнорабочего; последнее, кстати, было истинной правдой. Ну, оба они в самом деле явились в суд, и Губерт эту тяжбу выиграл, так что Хойзеру пришлось решать, где ему легче выслушивать сатанинский смех — у нас или у себя дома; этот смех он слышал каждое первое число сорок месяцев подряд, пока не догадался поручить это дело управляющему. Уверяю вас, этот сатанинский смех до сих пор звучит у него в ушах, и Лени теперь приходится за него расплачиваться: Хойзер донимает ее по-страшному, и, если мы не примем мер, он выбросит ее на улицу (вдох, глоток кофе, сигарета — см. выше, — а также нервный жест руки, скользящей по волосам). Для нас с Груйтеном эти годы — до сорок восьмого — были счастливым временем; а в сорок восьмом он погиб, погиб ужасной смертью от несчастного случая. Уму непостижимо! С тех пор я не могу видеть этого Пельцера, не хочу о нем слышать. Не хочу. Слишком тяжело мне тогда пришлось. Вдобавок вскоре после этого у меня забрали детей; уж тут старик Хойзер из кожи вон лез, ничем не брезговал и каждого мужчину, который останавливался у нас на несколько дней или просто приходил к нам в дом, объявлял моим любовником, чтобы только отнять у меня детей, отправить их в приют, а потом забрать к себе; он приписывал мне даже связь с Генрихом Пфайфером, с этим несчастным калекой, который в ту пору еле ковылял без протеза и останавливался у нас, когда ему надо было пораньше попасть в больницу или инвалидный отдел. Ведь нам приходилось сдавать комнаты жильцам, — из-за того и сдавали, что Хойзер повысил квартирную плату и таким манером припер нас к стенке. Тут к нам стала изредка наведываться служащая из отдела социального обеспечения — да что там изредка, чуть ли не каждый день наведывалась, и всегда как снег на голову... Черт их всех побери, думайте обо мне что хотите, но эта баба и впрямь трижды засекала меня с мужчиной, причем дважды — как она выразилась — «в недвусмысленно двусмысленной ситуации», попросту говоря — в постели с этим Богаковым, приятелем Бори-

са, который иногда заходил к нам в гости. А в третий раз она застала меня просто «в двусмысленной ситуации»: Богаков в нижней сорочке стоял у окна и брился, поставив на подоконник мое зеркальце и мисочку с водой. «Данная ситуация, — написала эта баба в своей докладной, — позволяет сделать вывод о наличии интимных отношений, неблагоприятно сказывающихся на воспитании подрастающих детей». Что тут скажешь, Курту тогда было девять, Вернеру четырнадцать, может, с моей стороны и вправду нехорошо было так поступать, тем более что я Богакова вовсе не любила, он мне даже не очень-то нравился; просто нас свело горе. Мальчиков они, ясное дело, тоже исподволь выпрашивали... В общем, я их лишилась, лишилась навсегда. Когда их забирали, оба плакали; но потом, когда переехали от монахинь к деду, они уже и знать меня не желали, я была в их глазах не только падшая женщина, но еще и коммунистка, и бог знает что еще. Но в одном старику нельзя отказать: он дал им возможность получить аттестат зрелости, а потом и окончить университет. Да и тот земельный участок, который госпожа Груйтен подарила Курту при рождении, он очень ловко пустил в дело: теперь, через тридцать лет, когда на нем высятся четыре огромных жилых дома с торговыми помещениями в подвальных этажах, участок стоит добрых три миллиона марок и приносит такой доход, что на него все мы, включая Лени, могли бы жить припеваючи, а ведь тогда, когда Курт получил эту землю в подарок, казалось, что это так, пустычок, вроде позолоченной ложечки, которую дарят младенцу «на зубок»... Куда уж мне с ними тягаться, мне, старой, уставшей, изношенной жизнью женщине, которая по-прежнему каждое утро вынуждена тащиться на службу за тысячу сто двенадцать марок в год. И опять-таки нельзя не признать: так ловко я не сумела бы распорядиться участком, нет, не сумела бы. А история с Богаковым была просто минутной слабостью с моей стороны, просто слабостью; после ужасной гибели Груйтена я была так подавлена, так убита горем, а бедняга Богаков тоже все время плакал и убивался — никак не мог решить, возвращаться ему на матушку Русь или нет, и часто пел свои грустные русские песни — как Борис... О боже, да нас просто несколько раз потянуло друг к другу. Потом, много позже, я случайно узнала, что именно старик Хойзер настучал полиции, что у нас целый склад товаров для черного рынка. Никак не мог

примириться с тем, что в свое время ему не удалось пожить на Шнюрергассе; и вот однажды, где-то в начале сорок шестого года, к нам вдруг нагрянули эти паршивые ищейки из немецкой полиции и, конечно, обнаружили в подвале наши запасы: присоленное масло, копченое сало, сигареты, кофе и целые кипы мужских носков и нижнего белья; все это тут же конфисковали; а ведь на это добро мы могли бы безбедно просуществовать еще два-три года. Только вот спекуляции они не могли нам пришить: на черном рынке мы не продали ни грамма, разве иногда обменивали кое-что, и много добра раздарили, это уж Лениных рук дело. Тут наши связи среди англичан и американцев ничем не могли помочь, черный рынок входил в компетенцию немецкой полиции, а эти ищейки устроили у нас в квартире, ко всему прочему, еще и форменный обыск и нашли у Лени ее дурацкие грамоты — «самой истинно немецкой девочке в школе». Один из этих болванов всерьез собрался было донести на Лени, объявить ее нацисткой — из-за каких-то дерьмовых грамот, которыми ее наградили в десять — двенадцать лет. Но я вспомнила, что в свое время видела этого болвана в форме штурмовика, так что он заткнулся, а то Лени наверняка нарвалась бы на крупные неприятности: подите объясните англичанину или американцу, что эта грамота — «самой истинно немецкой девочке в школе» — пустая бумажка и ни о чем еще не говорит. В ту пору Пельцер повел себя как порядочный человек; свою долю со склада на Шнюрергассе он надежно припрятал, и на него никто не донес; узнав, что у нас все конфисковали, он по собственной воле кое-что нам подкинул — просто так, даром, ничего не требуя взамен; наверное, хотел заслужить благосклонность Лени. Что ни говорите, а этот гангстер вел себя куда пристойнее, чем старый Хойзер. О том, что на нас настучал мой собственный свекор, я узнала позже, намного позже, году этак в пятьдесят четвертом, от одного из полицейских, которые тогда накрыли наш склад».

Хёльтхоне, с которой авт. на этот раз условился встретиться в очень дорогом и очень модном кафе — не только для того, чтобы показать себя кавалером, но и для того, чтобы не подвергать себя никаким ограничениям ни внешнего, ни внутреннего свойства по части курева, — пережила конец войны в том самом упоми-

навшемся выше старом монастыре кармелиток, а именно в подвале под бывшей монастырской церковью, «в сводчатом подвале, который раньше, вероятно, служил монахиням карцером. О разграблении склада по соседству с монастырем я ничего не знала, да и бомбежка второго марта доносилась туда лишь как очень отдаленный, ужасный и долго не смолкавший глухой грохот, хоть и зловещий, но очень-очень далекий. Я никак не решалась покинуть это подземелье, пока окончательно не уверилась, что американцы уже в городе; мне было страшно. Людей в те дни расстреливали и вешали прямо на улицах, и хотя документы у меня были в полном порядке, надежные и не раз проверенные, я все равно боялась нарваться на какой-нибудь патруль, который заподозрит неладное и пустит меня в расход. Я сидела в своей норе, под конец в полном одиночестве, пока другие наверху грабили и пировали. Только убедившись, что американцы и впрямь вошли в город, я вылезла на свет божий, вздохнула полной грудью и заплакала от радости и горя — я радовалась освобождению и горевала по нашему городу, разрушенному так жестоко и так бессмысленно. Потом я увидела, что все, абсолютно все мосты через Рейн тоже разрушены, и опять заплакала, на этот раз уже только от радости: наконец-то Рейн вновь стал границей Германии, наконец-то... Все-таки это был какой-то шанс, и им непременно надо было воспользоваться, то есть попросту не восстанавливать эти мосты, а пустить через Рейн паромы, да и то под строгим контролем. Я немедленно наладила контакт с американскими властями и после ряда телефонных звонков в разные инстанции отыскала своего давнишнего друга, французского полковника, и получила разрешение свободно передвигаться по английской и французской зонам. Так случилось, что мне удалось два или три раза выручить малышку Груйтен — я имею в виду Лени — из весьма неприятных ситуаций: разыскивая своего Бориса, она по наивности нарушала все правила, разъезжая в тех местах. Уже в ноябре я получила лицензию, взяла в аренду земельный участок, кое-как соорудила оранжерею, открыла цветочную лавку и тут же взяла к себе на работу Лени Груйтен. Получение лицензии и нового удостоверения личности было для меня важным этапом жизни: стать ли опять Эллой Маркс из Саарбрюкена или оставаться по-прежнему Лианой Хёльтхоне? Я решила остаться Лианой Хёльтхоне. В паспорте у меня значится:

Хёльтхоне, бывш. Маркс. Кажется, чай у меня дома вкуснее, чем в этом псевдосовременном заведении (с чем авт. галантно и решительно поспешил согласиться). А вот птифуры здесь, действительно, очень хороши, надо будет спросить у них рецепт. Что касается «советского рая» в склепе, о котором вам рассказывали некоторые из наших общих знакомых: мы с Грундчем тоже были приглашены в этот «рай», но мы с ним побоялись там прятаться; боялись мы, конечно, не мертвых, а живых, а еще потому, что кладбище находилось между старым городом и новыми районами, то есть как раз там, где падало больше всего бомб; что касается мертвецов, то они меня вполне устраивали, как-никак, люди веками собирались в катакомбах и отмечали там свои праздники. Подземелье монастыря кармелиток казалось мне безопаснее — пускай бы даже туда и явился патруль и проверил мои документы; а вот склеп на кладбище сразу вызвал бы подозрения; впрочем, тогда никто не знал, что безопаснее: быть еврейкой, скрывающейся от нацистов, или тайной сепаратисткой, немецким солдатом, который дезертировал из армии, или солдатом, который не дезертировал, беглым узником концлагеря или не беглым; в городе полным-полно дезертиров, и находиться в их непосредственной близости было страшно-вато — в любой момент могла начаться стрельба с обеих сторон. Грундч тоже именно этого испугался, а ведь он лет сорок или пятьдесят, можно сказать, считал кладбище своим родным домом; примерно в середине февраля сорок пятого он распростился с ним, на некоторое время уехал в сельскую местность и даже где-то там подался в фольксштурм, что было очень правильно: в то время любая форма легальности являлась лучшей защитой. Но мой девиз тогда был: «Сидеть тихо и не высовываться». Документы у меня вполне приемлемые, значит, надо забиться в какой-нибудь укромный уголок, втянуть голову в плечи и ждать. И я совершенно сознательно не участвовала в разграблении склада, хотя решение это далось мне с трудом, уверяю вас, ведь там хранились такие вкусные вещи, о которых мы и мечтать не смели,— совершенно сознательно, потому что грабеж был противоправным действием, за мародерство полагалась смертная казнь, а грабить начали, когда немецкие власти официально еще были у руля, и я вовсе не хотела оставшиеся несколько дней обмирать от страха, сознавая себя преступницей. Я хотела одного — жить! Мне исполнился

сорок один год, я хотела жить и не желала в последние дни ставить свою жизнь на карту. Поэтому я держалась тише воды ниже травы и даже за три дня до вступления в город американцев не отваживалась вслух сказать, что войне конец, а тем паче — что она проиграна. Ведь начиная с октября на всех плакатах и листовках черным по белому было написано, что весь немецкий народ единодушно и гневно требует покарать паникеров, пораженцев, нытиков, пособников врага — и кара для них одна: смерть. И с каждым днем это безумие росло: где-то пристрелили женщину, которая постирала постельное белье и повесила его сушить, — решили, что она вывесила белый флаг; просто дали пулеметную очередь прямо в окно. Нет, лучше уж еще немного поголодать и дожидаться своего часа, таков был мой девиз. Этот дикий грабеж второго марта после налета казался мне слишком опасным делом, а уж тащить награбленное на кладбище тем более было связано с риском для жизни: как-никак, город все еще был в руках у немцев и полагалось его защищать. А вот когда немцы наконец убрались, я не мешкала ни минуты: тут же обратилась к американцам, тут же связалась с моими друзьями — французами. Мне дали маленькую уютную квартирку и первую лицензию на цветоводство. Пока старик Грундч отсутствовал, я воспользовалась его теплицами и точно в срок вносила арендную плату на его счет, а когда в сорок шестом он вернулся, я передала ему его собственность по всем правилам и в полном порядке и тут же открыла собственное дело; а потом, уже в августе сорок пятого года, ко мне заявился наш проныра Пельцер: как ни быстро он переокрасился сразу после войны, все же теперь ему потребовалась справка о непричастности; и кто же дал ему эту справку? Кто выступил в его защиту на суде по денацификации? Лени и я. Да, мы обе помогли ему выкрутиться, причем я сделала это вопреки своим принципам: во-первых, погрешила против совести, поскольку в глубине души считала его подлецом, а во-вторых, нарушила собственные деловые интересы, поскольку он, естественно, становился моим конкурентом, каковым и оставался до середины пятидесятых годов». В этом месте рассказа свидетельница Хёльтхоне вдруг прямо на глазах постарела, как-то вся осунулась, кожа на ее лице, только что казавшаяся гладкой, сразу обвисла, рука, вертевшая ложечку, мелко задрожала, голос стал ломким, речь — прерывистой. «И по сей день не

знаю, правильно ли я поступила, помогая ему отмыться и выкрутиться на суде... Видите ли, все дело в том, что меня самое преследовали чуть ли не всю жизнь — с девятнадцати лет до сорока двух, то есть начиная с той самой битвы у горы Эгидинберг вплоть до вступления американцев, двадцать два года подряд я подвергалась гонениям — и по политическим мотивам, и по расовым, и по всяким... И к этому Пельцеру я поступила с определенным расчетом; я сказала себе: безопаснее всего тебе будет за спиной нациста, особенно если он продажная шкура и жулик. Ведь я же знала, какая репутация у Пельцера, да и Грундч кое-что порассказал мне о его делишках... А тут он вдруг явился белый, как мел, от страха, причем не один, а с женой, на которой и впрямь никакой вины не было, — она и понятия не имела о том, чем Пельцер занимался до тридцать третьего года; прихватил с собой и своих прелестных детишек — мальчика и девочку лет десяти или двенадцати. И мне стало жалко этих очаровательных ребят, да и жену его — бледную, немного истеричную женщину, которая ни о чем не догадывалась... А он спросил меня, могу ли я доказать или хотя бы просто припомнить, чтобы он хоть раз за те десять лет, что я у него проработала, поступил бесчеловечно или сделал какую-нибудь, пусть даже самую малую, гадость мне или другим людям у нас в мастерской или вне ее. И не пора ли за давностью лет простить человеку грехи его молодости — так он выразился. У него хватило ума не пытаться меня подкупить, он лишь слегка прижал меня, напомнив, что включил меня в группу «подновления», то есть в число доверенных лиц, — этим он, конечно, хотел намекнуть, что и у меня рыльце в пушку: не слишком порядочно подновлять ворованные венки, тем более повторно использовать старые ленты... Кончилось тем, что я уступила и написала Пельцеру требуемую справку о непричастности, указала в качестве своих поручителей моих французских друзей, и все такое прочее. То же самое он проделал и с Лени, — в политическом смысле она тогда котировалась очень высоко, как и ее приятельница Лотта, они обе в то время вполне могли бы сделать карьеру... Но Лени была иначе устроена — карьера ее вообще не интересовала. Пельцер предложил ей войти в дело и стать его компаньонкой — то же самое, что позже предложила Лени и я, — потом сделал такое же предложение отцу Лени, но и тот, как и Лени, наотрез отказался: теперь Груйтен вошел в роль

пролетария и не желал больше слышать о делах; в ответ он только рассмеялся и посоветовал Лени дать Пельцеру эту «бумажку», то есть справку о непричастности, что та и сделала — разумеется, просто так, ничего не потребовав взамен. Произошло все это уже после смерти Бориса, когда Лени окаменела от горя и стала похожа на статую. Итак, Лени дала Пельцеру эту справку — как и я. В общем, мы с ней спасли его — ведь тогда наше свидетельство имело вес. И если вы меня спросите, раскаиваюсь ли я в этом поступке, я не отвечу ни «да», ни «нет», ни даже «может быть», а скажу лишь одно: тошно становится, как подумаешь, что Пельцер был в наших руках, — его судьба зависела от клочка бумаги, от нескольких слов, написанных авторучкой, и телефонных звонков в Баден-Баден и Майнц. То было странное время, когда Лени почему-то связалась с КППГ; а в суде по денацификации, разумеется, сидел коммунист. Итак, мы с Лени выгородили и вызволили Пельцера из беды. И я должна сказать: хотя в делах он по-прежнему вел себя как отъявленный жох и хищник, спекулировал и жульничал почему зря, но фашистом он уже никогда больше не был и не стал выволакивать свое нацистское прошлое и тогда, когда это стало выгодно — вернее, когда это опять стало выгодно. Нет. Этого не было. Это надо признать, надо отдать ему справедливость. И как конкурент он *тоже* вел себя по отношению ко мне вполне корректно, и по отношению к Грундчу *тоже*, что правда, то правда. И все же становится тошно, как подумаешь, что Пельцер тогда был в наших руках. Даже Ильза Кремер и та в конце концов подыграла ему, Пельцер и ее сумел уломать. Кремер считалась лицом, пострадавшим при нацистах, это было легко доказать, и ее голос значил не меньше, чем Лени или мой; и хотя и наших двух свидетельств было вполне достаточно, Пельцер решил и у нее заполучить справку — и своего добился, а ведь Ильзу Кремер *тоже* не интересовала ни карьера, ни выгодное предложение Пельцера, ни мое, не волновало даже, что ее бывшие товарищи по партии опять выплыли на поверхность. У нее уже тогда на все был один ответ: «Ничего больше не хочу, ничего не хочу». Тем более не хотела она иметь ничего общего со своими бывшими товарищами — она называла их не иначе как «тельманистами» и ненавидела за то, что в те полтора года, когда действовал пакт между Сталиным и Гитлером, против которого ее муж — может, и незаконный — с самого начала возражал, они

послали его во Францию на верную гибель. Хотите знать, что с ней стало? Ильза Кремер опять поступила разнорабочей — сперва к Грундчу, потом к Пельцеру, пока я в конце концов не забрала ее к себе, и она вместе с Лени продолжала делать то, что мы делали всю войну: плела и отделявала венки, прикрепляла ленты и связывала букеты, а потом вышла на пенсию по инвалидности. В какой-то степени я видела в них обеих живой укор себе, хотя ни Лени, ни Кремер ничего такого и в мыслях не имели, не говорили вслух и даже не намекали; но их работа не приносила им никаких выгод или преимуществ, все у них шло так же, как в годы войны: Ильза варила себе и Лени кофе, и соотношение натурального кофе и суррогата еще долго, очень долго было даже хуже, чем в войну. И на работу обе приходили, повязавшись платком, с бутербродами и кулечком молотого кофе в сумке,— словом, все как встарь. Ильза Кремер проработала у меня до шестьдесят шестого года, Лени — до шестьдесят девятого. К счастью, Лени больше тридцати лет протрубила на производстве и заработала себе пенсию; одного она не знает и никогда не узнает: я взяла ее пенсионные дела в свои руки и от себя добавила определенную сумму, чтобы она хотя бы теперь могла жить более или менее сносно. Но Лени совершенно здорова,— что же она будет получать, когда эта сумма кончится? Какие-то четыре сотни марок, может, чуть больше или меньше. Теперь вам, наверное, понятно, почему я воспринимаю ее как живой укор себе. Все это, конечно, мои фантазии — Лени никогда ни в чем меня не укоряет, она лишь изредка заходит, чтобы попросить немного денег взаймы,— когда у нее в очередной раз собираются описать особо дорогую ей вещь. А я — энергичная деловая женщина, хороший организатор и даже рационализатор, мне доставляет удовольствие держать в своих руках все нити и расширять сеть моих цветочных магазинов, и все же... Что-то мешает мне радоваться жизни. Точит меня и мысль, что я не сумела помочь Борису и спасти его от этой нелепой судьбы: случайно попасться патрулю, имея в кармане немецкую солдатскую книжку, и погибнуть от случайной катастрофы на шахте. Почему он погиб? Почему я ничего для него не сделала? Ведь у меня *были* близкие друзья среди французов, ради меня они не только что Бориса, они бы и немца-нациста вызволили, если бы я попросила; но когда окончательно выяснилось, что от американцев он

попал к французам, было уже поздно, его уже не было в живых. Вдобавок, никто не помнил его фиктивную фамилию — то ли Бельхорст, то ли Бёльхорст, а может, даже Бульхорст или Бальхорст, этого не знали в точности ни Лени, ни эта Маргарет, ни Лотта. Да и зачем им было знать? Для них он был просто Борис, а в эту его липовую солдатскую книжку они, естественно, и не заглянули, тем паче не позаботились записать его новую фамилию».

Авт. потребовалось провести несколько бесед и тщательных расследований, чтобы получить точные данные о «советском рае» в склепе. Во всяком случае, удалось установить точную датировку этой «райской жизни»: с двадцатого февраля по седьмое марта сорок пятого года Лени, Борис, Лотта, Маргарет, Пельцер и сыновья Лотты Курт и Вернер (в то время одному было пять, другому десять лет) жили на кладбище в некоем подобии катакомб с «целой системой подземных ходов» (Пельцер). Если любовные встречи Бориса и Лени происходили еще на земле, в часовенке фамильного склепа Бошанов, то теперь всем пришлось «уйти под землю» (Лотта). Идея эта, равно как и ее психологическое обоснование, принадлежали Пельцеру. С неизменным радушием тот вновь принял авт. (не в последний раз) в комнате для хобби рядом с «музеем» венков, усадил за встроенный бар с вращающейся стойкой, угостил большой рюмкой виски и предоставил в распоряжение авт. огромную пепельницу размером с лавровый венок средней величины. Авт. удивил меланхолический вид хозяина дома, столь несвойственный этому человеку, сумевшему безбедно пережить в высшей степени контрастные исторические эпохи. В свои семьдесят лет Пельцер, не боясь инфаркта, дважды в неделю играл в теннис, ежедневно и неукоснительно совершал утреннюю пробежку по окрестностям, «в пятьдесят пять начал ездить верхом и, говоря доверительно, как мужчина с женщиной, только понаслышке знал, что такое импотенция» (П. о П. в разговоре с авт.). Меланхолия эта, по мнению авт., усиливается от визита к визиту, а причина ее — если авт. будет дозволено привести собственную психологическую догадку — кроется в, казалось бы, совершенно неожиданной у Пельцера любовной тоске. Пельцер, по-видимому, все еще испытывает к Лени неж-

ные чувства, ради нее он готов «достать луну с неба, но она предпочитает знаться с какими-то грязными турками и не хочет подарить мне даже мимолетной нежности; и все из-за той давней истории, в которой я абсолютно не виноват. Что я такого сделал? Если посмотреть в корень, я, в сущности, спас ее Борису жизнь. Что толку было бы в его немецкой форме и солдатской книжке, если бы ему негде было спрятаться? А кто им подсказал, что американцы как огня боятся покойников, кладбищ и всего, что имеет отношение к смерти? Я. По собственному опыту, приобретенному в первую мировую войну и потом, в годы инфляции, когда я участвовал в эксгумациях, я знал, что американцы — да и наши цепные псы и прочие подонки — будут рыскать везде, только не на кладбище; в склепы, а тем более под землю, они ни за что не сунутся. Лени нельзя было бросить одну, потому что ребенок мог родиться со дня на день, а поскольку и Лотте и этой Маргарет надо было где-то укрыться, Лени не могла оставаться одна в квартире. Что же я сделал? Я, единственный среди них трудоспособный мужчина? Свою семью я загодя отправил в Баварию, да и сам ни в фольксштурм, ни в американский плен угодить не хотел. Что же я сделал? Я соединил штольнями склепы Герригеров и Бошанов с огромной семейной могилой фон дер Цекке; я работал, как завзятый шахтер,— копал, ставил подпорки, опять копал, опять ставил подпорки. Получились четыре совершенно сухие, выложенные камнем комнатки размером два на два с половиной — настоящая четырехкомнатная квартирка. Потом провел туда электричество — протянул провод от мастерской: от нее было всего пятьдесят — шестьдесят метров. Ради детей и беременной Лени я раздобыл обогревательные приборы; а еще в нашем распоряжении оказались — не вижу смысла скрывать — несколько уже выложенных камнем, но пока пустующих могил,— так сказать, резервные места для покойников из рода Бошанов, Герригеров и фон дер Цекке. Это были идеальные кладовые для наших запасов. Мы натаскали в свое убежище соломы, принесли тюфяки и на всякий случай запаслись еще и чугунной печуркой — топить ее, естественно, следовало только ночью, делать это днем, как позже попыталась Маргарет, было чистейшим безумием. Но Маргарет понятия не имела о маскировке. В этих земляных работах Грундч здорово мне помог — ведь все эти фамильные склепы и семейные могилы принадлежали нашим постоянным

клиентам, и старик знал их, как свои пять пальцев. Но жить с нами в убежище Грундч не захотел: еще с первой мировой войны пуще всего боялся, что его завалит землей и похоронит заживо; ни в какой подпол старик никогда не спускался, даже в винный погребок. Так что мне приходилось стоять внизу и подавать ему наверх корзины с землей; сам он ни за что не полез бы в яму и жить с нами в подземелье не захотел. На земле — пожалуйста, тут он покойников не боялся, а под землей он сам боялся стать покойником. И, когда запахло жареным, Грундч двинулся в родные места, на запад, в свою деревню где-то между Моншау и Кроненбургом. И это в конце января сорок пятого года! Ничего удивительного, что он попал в лапы наших орлов, загремел в фольксштурм, а потом еще и посидел некоторое время в лагере для военнопленных. Это в его-то годы! Словом, к середине февраля моя четырехкомнатная квартира под землей была готова; февраль выдался спокойный — одна-единственная тревога на полчаса, да парочка бомб, мы даже взрывов почти не слышали. Так что однажды ночью я с Лоттой и ее детьми въехал в нашу новую квартиру, потом к нам присоединилась Маргарет, и если вам кто-нибудь скажет, что я с ней переспал, я отвечу: и да, и нет. Мы с ней поселились в двух клетушках под склепом фон дер Цекке, Лотта с мальчиками — рядом, под склепом Герригеров, для Лени и Бориса мы оставили их прежнее гнездышко, склеп Бошанов; у нас было достаточно тюфяков, соломы, электрообогревателей, а также сухари, вода, молочный порошок, немного табака, сухой спирт и пиво — не хуже, чем в каком-нибудь бункере. Иногда до нас доносились звуки артиллерийской канонады с линии фронта под Эрфтом — туда еще успели отправить на рытье траншей русских военнопленных; Борис был в их числе. Но у него в вещевом мешке уже лежала форма немецкого солдата со всеми орденами и наградами, которые значились в этой его солдатской книжке, черт бы ее побрал! Стало быть, русские все еще рыли траншеи и готовили огневые позиции, но жили в деревенских сараях и охранялись уже не так строго, как раньше. В один прекрасный день Лени прикатила к нам на краденом велосипеде, а на раме у нее восседал Борис — немецкая форма сидела на нем совсем неплохо, да и повязка на голове была ему даже к лицу: справкой о ранении, оформленной по всем правилам, с подписями и печатями, они обзавелись забла-

говременно; таким манером они благополучно миновали все посты и примерно двадцатого февраля въехали, так сказать, в свое собственное обиталище. И я оказался прав: ни один патруль, ни немецкий, ни американский, не осмелился заглянуть на кладбище; так мы и жили много дней в полной идиллии: ничего не слышали, ничего не видели. Для отвода глаз я работал днем в своей конторе — как-никак, люди по-прежнему умирали и их по-прежнему надо было хоронить, конечно, не с такой помпой, без прощальных залпов и даже без настоящих венков, обходились парой-другой еловых веток, иногда добавляли цветок. Просто абсурд! Вечером я уходил с кладбища — вроде бы домой, потом стал пользоваться краденым велосипедом Лени — по дороге делал небольшой крюк и возвращался. Вот только с этими сорванцами, хойзеровскими отпрысками, хлебнули мы лиха; таких бесстыжих и хитрых проныр я сроду не видывал. Никакого сладу с ними не было, только одним, бывало, и уймешь: начнешь обучать тому, что их интересует. А интерес у них был один: научиться делать деньги. Эти бестии буквально выудили из меня все, что я знал о калькуляции, бухгалтерских книгах и прочих вещах. Они уже тогда свою мать ни в грош не ставили. Была бы в те годы какая-нибудь умственная игра вроде нынешней «монополии», эти нахальные прохвосты наверняка угомонились бы на несколько недель. Они мигом смекнули, что надо сидеть в убежище и наверх не высовываться,— им вовсе не улыбалось принудительно эвакуироваться, на это у них ума хватило; но что они вытворяли у нас внизу! Я считаю, что всему на свете есть границы, и какое-то почтение к покойникам испытывает каждый, даже я... Но эти прохиндеи буквально бредили кладами, хранящимися в могилах, и в поисках этих кладов чуть было не отвинтили металлические пластины, прикрывавшие ниши с гробами. И меня еще люди осуждают за то, что я нажил на золотых коронках, снятых с мертвецов. Да эти паршивцы не побоялись бы нажиться на коронках живых! И если Лотта теперь утверждает, что дети отбились от рук по милости свекра, то я на это скажу: она никогда не держала их в руках. Этих щенков их покойная бабушка и ныне здравствующий дедушка натаскали на одно: преследовать свою выгоду и приумножать свое добро. Вот вам пример: все обитатели подземелья — и Маргарет, и Лени, и Лотта, и даже Борис — из экономики собирали свои окурки; все, кроме меня! Никогда я не

собирал окурков, ни своих, ни, тем более, чужих; мне это просто отвратительно. Я всегда превыше всего ставил чистоту и порядок, и вам кто угодно подтвердит, что я, не глядя на стужу, ночью выходил из убежища, разбивал корку льда в чане с водой для поливки могил — я хочу сказать, для поливки цветов на могилах, — и мылся с головы до ног, и даже в это тяжкое время при малейшей возможности делал свою утреннюю пробежку — правда, теперь ее скорее можно было назвать ночной. В общем, это собирание окурков я презирал. Ну, так вот. Где-то к концу февраля, незадолго до второго марта, когда нам достался грандиозный улов на Шнюрергассе, у нас иссякли кое-какие припасы; мы просто немного просчитались: ожидали, что американцы придут неделей раньше. Туго стало с сухарями, с маслом и даже с суррогатным кофе; но хуже всего дело обстояло с куревом. Тут хойзеровские отпрыски заявляются ко мне с новенькими аккумуляторными самокрутками — мол, сами смастерили на сигаретной машинке матери, а бумагу по доброте души дала Маргарет, — и предлагают мне купить у них эти сигареты, сделанные — как потом выяснилось — из моих собственных окурков! И просят за них по десять марок — мол, это еще по-божески. Ну, женщины посмеялись и даже похвалили щенков за смекалистость, но у меня на душе кошки скребли, когда я торговался с этими смазливymi чертенятами. Не в деньгах было дело — денег у меня хватало, я мог бы заплатить и по пятьдесят марок за штуку, — а в принципе! В принципе неправильно умиляться алчности таких сопляков и добродушно над ними посмеиваться! Лишь один Борис огорченно покачал головой, покачала и Лени, когда мальчишки после второго марта устроили свой собственный маленький склад — ухватили тут банку свиного сала, там пачку сигарет — и назвали его «наш капитал». Ну, нам, конечно, в ту пору было не до них, мы все страшно нервничали. Дело в том, что в тот же день вечером Лени родила, а она, естественно, не хотела произвести ребенка на свет в склепе — тут я ее вполне понимаю, — и ее святой Иосиф тоже этого не хотел. Поэтому мы все двинулись по разбомбленному кладбищу к моей конторе; у Лени уже начались схватки, Маргарет несла нужные медикаменты. Из торфа, старых одеял и соломенных матов мы соорудили ложе для Лени, так что она родила, скорее всего, там же, где зачала. Мальчик оказался вполне доношенный и весил три с половиной кило; если он родился второго марта, значит,

зачат был примерно второго июня... А в то время не было ни одного дневного налета, ни одного! И в тот день — второго июня — в моей мастерской никто не работал в ночную смену, я могу это доказать по платежной ведомости, тем более Борис; значит, они, видимо, нашли способ встретиться среди бела дня. Ну, да ладно, дело прошлое. Только назвать наше житье-бытье в склепе «раем» тоже нельзя. Поглядели бы вы на кладбище после бомбежки второго марта! Кругом валяются отбитые головы ангелов или святых, развороченные могилы с гробами и без — и таких хватало; а мы все совершенно без сил — намучились, с риском для жизни таская нашу добычу со Шнюрергассе, — а тут вечером еще и роды! Впрочем, сами роды прошли быстро и благополучно. Какой уж там «рай»! И знаете, кто нас опять приучил молиться: этот русский! Да-да, он научил нас молиться. Замечательный парень был этот Борис, уверяю вас, и, послушайся меня, был бы жив и сейчас. Это же чистое безумие — переселяться в город сразу же, то есть седьмого марта, с женщинами и детьми, не имея в кармане ничего, кроме этой дерьмовой солдатской книжки. Он мог бы еще месяцами спокойно отсиживаться в склепе, читал бы своего Клейста, своего Гёльдерлина и кого душе угодно, даже Пушкина я бы ему достал, — до того дня, когда ему раздобудут настоящую или липовую справку об освобождении из лагеря. Ведь уже летом из американских лагерей стали выпускать всех, кто был связан с сельским хозяйством; вот Борису и надо было получить такую справку по всей форме от американцев или англичан. А эти бабы ни о чем таком не думали — у них голова кружилась от счастья, что настал мир, — и радовались жизни, как малые дети. Рано было радоваться, как оказалось. А чего стоят эти их ежедневные прогулки по берегу Рейна с младенцем, с хойзеровскими отпрысками и со старым Груйтенем, который только и знал, что улыбаться. Борис и сегодня мог бы любоваться Рейном — или Волгой, коли б захотел. Именно такой справкой я и запасся — справкой об освобождении из лагеря на мое имя, с номером и печатью, — прежде чем открыто объявиться в городе в начале июня: садоводство ведь тоже относится к сельскому хозяйству. Все было сделано разумно и чисто, комар носа не подточит; а дел у нашего брата и впрямь оказалось невпроворот. Я имею в виду не то, что люди по-прежнему умирали, а то, что их уже до черта перемерло, и всех надо было как-то предать

земле. Однако ни Маргарет, ни Лотта с их связями и не подумали достать парню настоящую справку, хотя им обоим это было раз плюнуть: Маргарет стоило разок вильнуть бедрами, а Лотте — пошевелить мозгами, у нее и печатей, и бланков, и разных нужных знакомств хватало. Непростительное легкомыслие — оставить парня после мая — июня без документов, пускай бы хоть на имя Фридриха Круппа. Ради этого я бы никаких денег не пожалел, — ведь я не просто симпатизировал этому юноше, я его полюбил. Вы будете смеяться, но именно Борис открыл мне глаза на все эти расовые теории и прочий бред; настоящие недочеловеки были те, кто их придумал».

Авт. не знает, верить ли слезам Пельцера, но свидетельствует, что бокал виски не был еще допит, когда на глаза Пельцера навернулись слезы, и что он украдкой смахнул их рукой. «И разве я виноват в смерти отца Лени? Разве я виноват? И неужели от меня надо шараться, как от прокаженного? Что я, собственно, сделал? Я просто дал отцу Лени шанс вновь встать на ноги. Даже малому ребенку или полному профану в строительстве было ясно, что он и штукатуричь-то не умел, даже с самым лучшим материалом дело у него не спорилось, и бригаду его люди нанимали просто за неимением лучшего; но потом везде, где они работали, с потолков сыпалось, а стены крошились; он просто не был обучен штукатурному делу, не было у него ни настоящего броска, ни настоящего замаха. А что он не захотел вновь стать предпринимателем и нарочно разыгрывал из себя пролетария, так это от бредовых идей, которых он нахватался в тюрьме или лагере, может, и от коммунистов, с которыми вместе сидел. Должен вам признаться, что Груйтен меня разочаровал: такой крупный строитель в прошлом, вызвавший такой большой скандал, оказался полным неумехой, даже стену как следует сложить не мог. Это ведь тоже своего рода снобизм: ходить по домам со старой тачкой, ведрами, шпателем, мастерком и лопатой и предлагать свои услуги — не надо ли, мол, что поштукатурить; платили ему хлебом, картошкой, иногда перепадала сигара. А вечером сидеть на бережку с дочерью, внуком и зятем, петь песни и любоваться парходиками — разве это дело для человека с его выдающимися организаторскими способностями и смелостью? Я несколько раз делал ему выгодные предложения и говорил: «Груйтен, послушайте меня: у меня сейчас

есть триста — четыреста тысяч марок, которые я при всем желании не могу вложить во что-нибудь мало-мальски надежное и стоящее. Возьмите их у меня, откройте свое дело, а когда инфляция кончится, отдадите, причем не один к одному, даже не один к двум, а один к трем и без всяких процентов. Вы же умный человек и понимаете, что сейчас вкладывать деньги в сигареты — чистое ребячество, и пусть этим занимаются вернувшиеся из лагерей нигилисты, настрадавшиеся без курева, подростки да заядлые курильщицы — шлюхи либо вдовы фронтовиков. Вы не хуже меня знаете, что настанет такой день, когда сигареты опять будут стоить пять пфеннигов, самое большее, десять; и если вы сейчас собираетесь покупать сигареты на одном углу за пять пятьдесят и продавать их на другом за пять шестьдесят, то это просто детская забава, а если вы собираетесь эти сигареты хранить до тех пор, когда деньги опять обретут цену, то могу вам предсказать, что за свои пять пятьдесят вы получите пять пфеннигов, да и то, если сигареты за это время не заплесневеют». Он рассмеялся — решил, видно, что я предлагаю ему торговать сигаретами, а я привел их просто для примера. Я-то, конечно, полагал, что ему стоит открыть строительную фирму; был бы он половчее, запросто мог бы получить статус лица, преследовавшегося при фашизме. Но он не захотел. А мне до зарезу нужно было куда-то вложить свои деньги, с земельными участками в то время было лучше не связываться. Если бы Лени в свое время продала мне дом за полмиллиона, я бы оставил за ней ее квартиру пожизненно и бесплатно и зафиксировал бы это в договоре о купле-продаже. А что дал ей за дом Хойзер? Всего в четыре раза больше номинальной стоимости, какие-то жалкие шестьдесят тысяч,— причем когда? В декабре сорок четвертого года! Уму непостижимо! Так что я попал в тупик со своими деньгами. Конечно, я вкладывал их куда только мог — покупал мебель, картины, ковры, даже книги, а все равно оставались те самые триста — четыреста тысяч, которые я держал дома наличными. И тут мне пришла в голову одна мысль, над которой все смеялись и говорили: «Ну, в Пельцере проснулась душа — впервые в жизни стал бросать деньги на ветер». Что же я затеял? Начал скупать металлолом, притом не всякий, а только стальные балки высшего качества; разумеется, совершенно официально, каждый раз получая у владельца земли, так сказать, право на

разборку развалин; а люди были рады-радешеньки, что таким манером избавляются от завалов. Главным тут был вопрос, куда эти балки складывать; но у меня-то земельных участков, слава богу, хватало. И так, за дело! Знаете, сколько в те времена получала в час простая работница садоводства,— к примеру, Лени или Кремерша? Всего пятьдесят пфеннигов. А разнорабочие на строительстве? Одну марку, а если повезет — одну марку двадцать. И привлекало тут только так называемое «дополнительное питание на тяжелых работах», то есть талоны на жиры, хлеб, сахар и так далее. Чтобы их иметь, надо было, конечно, основать строительную фирму, что я и сделал; моя фирма называлась «Акц. об-во Демонтаж». Полгорода надо мной смеялось, когда я начал вытаскивать из-под развалин стальные балки; этого металлолома везде было до черта, вся Европа была им завалена, и покореженный танк стоил меньше, чем две пачки сигарет... Ну, я решил — пусть смеются. Нанял четыре бригады рабочих, обеспечил их инструментом, получил официальное разрешение на разборку развалин и начал каждый день собирать стальные балки. А про себя думал: ладно, смейтесь на здоровье, а только сталь — это сталь и сталью останется. Время было такое, что вышедшие из строя линкоры, танки и самолеты отдавали задаром, только забирай; я и этим занимался — свозил и сваливал танки в кучу, благо земельных участков у меня хватало, тогда они еще не были застроены. Таким манером я успел до сорок восьмого года вложить весь свой капитал: у меня в руках оказалось сто тысяч погонных метров стальных балок наилучшего качества, аккуратно уложенных штабелями; с самого начала я плевал на тарифы, и мои люди работали не за восемь — десять марок в день. Я платил аккордно: три марки за погонный метр, и некоторые выколачивали в день — в зависимости от местоположения участка — по сто пятьдесят марок, а то и больше. К тому же они все получали талоны за «тяжелые работы». Это было дополнительной льготой. Начали мы с окраин и планомерно продвигались к центру города, где когда-то были расположены большие универмаги и крупные административные здания. Тут дело пошло труднее из-за того, что на балках еще висели целые глыбы бетона и все было опутано железной арматурой, которую приходилось резать автогенном. В таком случае я, естественно, платил за

погонный метр уже пять-шесть, а то и все десять марок: об этом в каждом конкретном случае надо было особо договариваться — как делают в шахтах, где плата всегда зависит от залегания пласта. Ну, так вот. Отец Лени возглавлял одну из моих бригад, но, конечно, и сам вкалывал вместе со всеми. Вечером, подсчитав выработку, я со всеми расплачивался наличными, выдавал каждому на руки живые деньги; иногда все шли домой с тремя сотнями в кармане, в другие дни выходило по восемьдесят на брата, но меньше — никогда. А ведь в то время работавшие в моем садоводстве не получали и шестидесяти марок в неделю. Полгорода все еще смеялось над «коллекцией» стальных балок, ржавевших на моих участках, — ведь в те годы в Германии демонтировали домны! Но я не отступился, хотя бы из упрямства. Работа эта была не всегда безопасной, признаю, но ведь я никого и не неволил, никого не принуждал: хочешь — соглашайся, не хочешь — скатертью дорога, все честно и ясно. И если рабочие находили в развалинах что-нибудь стоящее — мебель или носильные вещи, книги или домашнюю утварь, — меня это не касалось, это был их навар. А город все еще потешался над моей затеей, и люди, проходя мимо моих участков, говорили: «Вон ржавеют деньги Пельцера». Среди моих приятелей из карнавального ферейна «Вечные гуляки» нашлись въедливые шутники — в основном, из числа технарей, — которые не поленились подсчитать, сколько именно денег съела ржавчина: у мостостроителей имеются на этот счет какие-то там формулы для единицы площади. Честно говоря, я и сам уже сомневался, что толково вложил деньги. Но удивительное дело: в пятьдесят третьем году, когда мои балки пролежали уже по пять — восемь лет и я решил от них избавиться, чтобы иметь возможность застроить свои участки — в городе ощущалась большая нужда в жилье, — мне дали за эти ржавые балки полтора миллиона чистыми; тут все на меня напустились и стали кричать, что я подонок и спекулянт, что я наживаюсь на войне, и бог знает что еще. Тут вдруг и ржавые танки оказались в цене, пошли в ход и старые грузовики, и прочий металлолом, который я попутно натаскал — разумеется, на вполне законном основании — к себе на участки только потому, что земля пустовала, а деньги мне девать было некуда. Но еще задолго до этого случилось ужасное несчастье, которое эти женщины не могут мне простить. Отец Лени погиб от несчастного случая

при разборке развалин здания, где раньше помещался отдел здравоохранения. Я и сам знал, что наша работа опасная, иногда даже связана с риском для жизни, потому и выплачивал специальную надбавку за риск или же повышал аккордный тариф за погонный метр, что, в сущности, одно и то же; и я не раз предостерегал Груйтена, когда он начал сам орудовать сварочным аппаратом. Но скажите на милость, как мне было догадаться, что именно Груйтен ничего не смыслит в статике и может сам, так сказать, выбить почву у себя из-под ног и свалиться с восьмиметровой высоты на грудь железного лома? Господи боже, он же сам всю жизнь был связан со строительством, даже имел диплом инженера, его фирма поставила в десять раз больше стальных балок, чем я вытащил из развалин за пять лет, — откуда же мне было знать, что он вырежет автогеном балку у себя из-под ног и, так сказать, сам себя столкнет в пропасть? Разве я мог это предвидеть, разве я виноват в его смерти? Разве не ясно, как божий день, что вырезание автогеном стальных балок из разбомбленных бетонных коробок — рискованное дело? И разве я не доплачивал за этот риск? Откровенно говоря, этот Груйтен, этот великий строитель, о котором ходили легенды, в этом деле — собирании, вытаскивании или вырезании автогеном стальных балок — не проявил ни особой сноровки, ни даже инженерных познаний... Я ему всегда немного переплачивал ради Лени, потому что принял близко к сердцу трагическую историю с Борисом».

Теперь слезы из глаз Пельцера уже струились потоком, так что сомневаться в их физической подлинности было бы просто кощунством; в то же время поручиться за их эмоциональную подлинность авт. не может, поскольку это выходит за рамки его компетенции. И говорил Пельцер уже едва слышно, судорожно обхватив пальцами рюмку и озираясь по сторонам, как будто впервые в жизни видел комнату для хобби, бар и коллекцию венков в соседнем помещении. «Это было ужасное зрелище: Груйтен упал на пучок прутьев железной арматуры, торчавший из бетонной плиты, и прутья проткнули его насквозь, именно проткнули, а не разорвали, причем сразу в четырех местах: шею, низ живота, грудь и правую руку; он как бы висел на вертеле... И самое страшное, прямо-таки чудовищное: он улыбался. Все еще улыбался! Он был похож на безумного, распятого на кресте.

Это был какой-то кошмар! Но почему они винят в этом меня? А сварочный аппарат... (голос П. срывается, в глазах мука, руки дрожат), а сварочный аппарат, которым Груйтен срезал выступавшую из стены балку, висел, зацепившись за ее остаток, и долго еще шипел, хлопал и плевался огнем... Все это был какой-то сплошной кошмар, причем за месяц до денежной реформы, я собирался со дня на день вообще прекратить эти работы — старые деньги у меня как раз кончились. После несчастного случая с Груйтеном я, разумеется, немедленно ликвидировал фирму, и если эти женщины говорят, будто я это сделал не из-за него, а потому, что все равно собирался свернуть дело, то это неправда, вернее, дьявольское извращение правды: уверяю вас, я сделал бы то же самое, если бы несчастье случилось в середине сорок шестого года. Поди теперь докажи... «Сделал бы», «если бы» — этим никому ничего не докажешь. Ведь все это действительно произошло за месяц до денежной реформы, что правда, то правда. И вот мое положение: затылком чувствую ненависть этих женщин, а в лицо мне смеются все кому не лень — ведь горы металлолома все еще ржавеют на моих пустырях и будут ржаветь еще целых пять лет! Поскольку Груйтен не был застрахован — ведь я нанял его не на постоянную работу, и он не числился у меня в штате ни рабочим, ни служащим, а работал, так сказать, по договоренности, — я по своему почину предложил выплачивать Лени и Лотте небольшую пенсию. Куда там! Они и слушать не хотели. Когда я к ним пришел, Лотта закричала: «Кровопийца, палач» — и еще кое-что похуже и даже плюнула мне вслед. А ведь я, в сущности, дважды спас ей жизнь — и когда устроил этот «рай» в склепе, и когда зажал ей рот во время грабежа на Шнюрергассе: она там совсем обезумела и стала выкрикивать разные социалистические лозунги. А кто, как не я, возился в подземелье с ее паршивцами, кто в конце февраля, когда мы все оказались на мели, покупал у этих маленьких пройдох собственные окурки и платил втридорога, как за сигареты? И в день страшной бомбежки второго марта разве мы не сидели все вместе чуть ли не семь часов кряду, сбившись в кучу и клацая зубами от страха? Верите ли, в те часы даже атеистка Лотта шепотом повторяла за Борисом «Отче наш», даже хойзеровские бандиты присмирели и притихли с перепугу, а Маргарет плакала в три ручья, и все мы сидели обнявшись, как братья и сестры в минуту

смертельной опасности. Казалось, мир рушится. И уже не имело значения, что один из нас некогда был нацистом или коммунистом, другой — русским военным, а Маргарет — слишком милосердной сестрой милосердия, важно было лишь одно: жизнь или смерть. И хотя мы все не больно усердно посещали церкви, все мы были к ним по-своему привязаны, церкви составляли часть нашей жизни и всегда были у нас перед глазами; а тут за один день они превратились в каменную пыль, — эта пыль еще много дней скрипела у нас на зубах и забивалась в гортань... А после бомбежки — как мы все сразу бросились в город, чтобы сообщать, — я подчеркиваю это слово, — чтобы сообщать вступить во владение наследством немецкого вермахта... И в тот же день, уже в сумерках, помочь сыночку Лени и Бориса появиться на свет». (Все еще со слезами на глазах и голосом, в котором все больше слышатся мягкие нотки): «Единственный человек, который меня понимал и любил, которого я, как сына, с радостью принял бы в свое сердце и в свою семью, в свое дело и во все что хотите, который был мне ближе, чем жена, и ближе, чем теперь стали собственные дети, — знаете, кто был этот человек? Борис Львович. Да, я его любил, хотя он отбил у меня девушку, к которой я до сих пор привязан всем сердцем. Быть может, только он один по-настоящему знал и понимал мою душу, ведь это он настоял, чтобы я крестил их младенца. Да, это сделал я, вот этими руками... И знаете, что я вам скажу, в ту минуту меня охватил какой-то смертельный страх, и я подумал: за что только не хватались эти руки, чего только не творили с живыми и мертвыми, с женщинами и мужчинами, с чеками и наличными, с венками и лентами и так далее и тому подобное. И вот теперь я, именно я, этими самыми руками должен был крестить его сына. Тут даже Лотта, которая уже готова была опять брякнуть какую-то глупость, сразу прикусила язык и вообще остолбенела, когда Борис мне сказал: «Вальтер, — после второго марта мы все перешли на «ты», — Вальтер, — сказал он мне, — пожалуйста, возьми на себя крещение нашего сына». И я сделал все как надо: пошел в свою контору, открыл кран, подождал, пока сойдет ржавчина и вода станет прозрачной, помыл свой стакан, налил в него воды и честь-честью окрестил младенца — ведь когда-то я был служкой в церкви и много раз видел, как это делается; крестным отцом в этом случае я быть не мог, это я знал, ребенка держали маленький Вернер

и Лотта, и я окрестил его со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, нарекаю тебя именем Лев...» Тут этот плутишка Курт захлюпал носом, да и все остальные прослезились, даже ехидная Лотта, а Маргарет и до этого ревмя ревела... Одна только Лени не плакала и смотрела на всех широко открытыми, воспаленными от пыли глазами, а потом просияла и сразу приложила младенца к груди. Да, вот как все это было. А теперь извините меня, я хотел бы побыть один. Слишком многое во мне всколыхнулось».

Авт. откровенно признается, что и в нем многое всколыхнулось и что, садясь за руль своей машины, он с трудом подавил наверху на глаза слезы. Чтобы не расчувствоваться окончательно, он прямым ходом направился к Богакову, которого застал в приятной обстановке: тот сидел, укутанный в одеяла, в кресле-коляске на застекленной веранде и поверх крыш простиравшегося перед ним дачного поселка задумчиво глядел на скрещение двух железнодорожных путей, между которыми был втиснут гравийный карьер, огород и свалка. Где-то между ними ярким пятном выделялся неожиданный здесь теннисный корт, поблескивавший еще не просохшими лужами на тускло-красном покрытии площадки; высоко в небе рокотал «старфайтер», с объездной дороги глухо доносился шум машин, из дачного поселка — возгласы мальчишек и удары по жести: там играли в хоккей банками из-под молока. Богаков, тоже пребывавший в грустном настроении, сидел на террасе один, без своей «курительной виселицы», отказался от предложенной авт. сигареты и схватил авт. за запястье, словно хотел пощупать у него пульс.

«У меня там остались жена и сын, ему сейчас было бы столько лет, сколько вам, если, конечно, ему удалось избежать тысячи шансов распрощаться с жизнью... Моему Лаврику в сорок четвертом было девятнадцать лет, и его наверняка успели забрать на войну,— кто знает, куда он попал... Иногда я подумываю вернуться на родину и там умереть — все равно, где... Жива ли еще моя Лариса? А я изменял ей, изменял при первой возможности, еще в феврале сорок пятого, когда нас отправили под Эрфт рыть окопы, траншеи и подготавливать огневые позиции для артиллерии. Я тогда впервые за четыре года прикоснулся к женщине и слился с ней... В каком-то

сарая мы лежали вповалку — там были и русские, и немцы, солдаты, военнопленные, женщины; было так темно, что я даже не знаю, молодая она была или старая; она не сопротивлялась, только потом немного поплакала. Наверное, мы с ней были из одного теста — не привыкли спать с кем попало, если так можно выразиться. Но в этом мраке, в этом хаосе, когда никто уже не знал, куда прибиться... Мы лежали в крестьянском сарае, забитом соломой и свеклой, — деревня называлась Гросбюлесхайм, настоящее кулацкое гнездо... Боже мой, мы с ней оба плакали, я тоже не выдержал. В этой непроглядной тьме, в этой грязи, — ноги у всех в налипшей глине, — мы просто вжались друг в друга от страха; может, она приняла меня за немца или американца; американцев там было несколько: молодые парни, раненые и обмороженные, которых немец-конвоир должен был доставить в госпиталь или на сборный пункт; но конвоир дал деру, или, как вы, немцы, выражаетесь, «покинул знамена», и бросил американских парней на произвол судьбы. Бедняги не знали ни слова по-немецки и только все время крепко ругались по-английски. Словом, у нас встреча с американцами произошла не на Эльбе, а на Эрфте: на этой жалкой речушке, которую и переплунуть-то ничего не стоит, они собирались создать «линию фронта» между западной границей и Рейном, — на речушке, где десятилетний мальчишка запросто мог пустить струю с одного берега на другой... Я иногда вспоминаю ту женщину, которая отдала себя мне... Я гладил ее щеку и ее волосы, они были густые и гладкие. Не знаю, какого они были цвета — темные или светлые, не знаю, тридцать ей было или пятьдесят, не знаю, как ее звали. В темноте нас привели туда, в темноте и увели. Я видел только богатые крестьянские дворы и костры, на которых что-то варилось и жарилось, немецких солдат и этих обмороженных американцев, с которыми мы вместе лежали в сарае; Борис тогда еще был с нами. А Лени повсюду следовала за ним, как девочка из сказки с семью парами железных башмаков и семью палками, — надеюсь, вы знаете эту прекрасную сказку... Тьма крошечная, ноги все в глине, кругом эта свекла, щека женщины, ее волосы, ее слезы и... Ну, и ее лоно. Как бы ее ни звали — Мария, Паула или Катарина, — я надеюсь, ей не пришлось в голову рассказать об этом своему мужу или признаться священнику на исповеди... Сядьте ко мне поближе, мой мальчик, не уберите

руку, — так приятно чувствовать пульс другого человека. Любитель соленых огурчиков и меланхолик-ленинградец пошли в кино на советский фильм о Курской битве. Пускай себе смотрят. А я, мой мальчик, попал в плен уже в начале августа сорок первого года — мы угодили в очередной чертов «котел» под Кировоградом. Во всяком случае, тогда этот город назывался Кировоград, кто знает, как он теперь называется, — известно ведь, что они сделали с Кировым. Киров был настоящий человек, я ему верил, мы все верили. Ну, ладно, его не стало, ничего не попишешь... Не очень-то сносно оказалось у вас в плену, мой мальчик, и если ты скажешь, что и у нас в плену было не очень сносно, то я тебе на это замечу: нашему народу жилось не лучше, чем пленным немцам. Ну, так вот: нас, пленных, три или четыре дня гнали без остановки через деревни прямо по полям, и пить хотелось так, что внутри все огнем горело. Когда попадался колодец или речушка, мы только лизали пересохшие губы, а о жратве даже мысли не было. Потом нас, пять тысяч человек, загнали в какой-то колхозный скотный двор, мы лежали там под открытым небом и подыхали от жажды. А если мирные жители, наши соотечественники, приносили нам что-нибудь попить и поесть, их и близко не подпускали — просто пристреливали на месте, и все. А если кто из нас поднимался к ним навстречу — тут же пулеметная очередь, и нет его. Одна женщина подослала к нам девчущку лет пяти, не больше, с хлебом и молоком, — маленькая такая девчущка, хорошенькая... Женщина небось думала, что такой маленькой хорошенькой девочке с кувшином молока и куском хлеба в руке ничего плохого не сделают. А вот и нет: пулеметная очередь, и девчущка падает мертвая, а кусок хлеба валяется на земле в луже молока и крови. Так мы топали от Тарновки к Умани, от Умани к Иван-горе, от Иван-горы к Гайсину, а оттуда к Виннице; на шестой день дотащились до Жмеринки, потом нас погнали в Раково, это недалеко от Проскурова; тут мы застряли до марта сорок второго года. Два раза в день давали жидкий гороховый суп; просто ставили баки с супом на землю, и на каждый набрасывалась толпа в двадцать — тридцать тысяч человек; ложек не было, суп черпали руками и слизывали языком, как собаки, кому что досталось; свекла, капуста или картошка часто были полусырые, от них болел живот, многие страдали дизентерией и подыхали где-нибудь на обочине. Каждый божий день по-

мирало восемьсот — девятьсот пленных. Сплошные побои и издевательства, издевательства и побои, а время от времени еще и пуляли — просто так, в толпу... Пускай им в самом деле нечем было нас кормить, пускай даже только говорили, что нечем, но почему не подпускали к нам мирных жителей, которые хотели как-то нам помочь? Потом я попал в Кёнигсберг, на завод Круппа, который делал гусеницы для танков. Ночью работали по одиннадцать, днем — по двенадцать часов. Подремать удавалось только в сортире, а если повезет — в пустой собачьей конуре, там хоть и тесно, зато ты один. Больше всего мы боялись заболеть или прослыть лодырем — лодырей тут же передавали эсэсовцам, а если заболеешь и не сможешь больше работать, тебя отправляют в один из огромных лазаретов, — практически это были не больницы, а места массового уничтожения, попросту лагеря смерти, забитые и загаженные людьми до предела. Дневной рацион там состоял из двухсот пятидесяти граммов эрзац-хлеба и двух литров баланды; эрзац-хлеб, в свою очередь, состоял в основном из эрзац-муки, а эрзац-мука — это не что иное, как грубо измельченная солома и мякина с волокнами древесины; мякина, солома и солома раздражали кишечник, так что это было не питание, а планомерное истощение организма. Все это дополнялось беспрерывными побоями и издевательствами, дубинка так и гуляла. Потом, очевидно, и мякины стало жалко, и в хлебе попадались уже опилки, иногда до двух третей; баланду варили из гнилой картошки и разных кухонных отбросов, а на приправу шел крысиный помет... В иной день умирало человек сто. Выйти живым из такой «больницы» было почти невозможно, для этого надо было родиться в рубашке, и я оказался именно таким счастливым — попросту перестал есть их жратву, потому как смекнул, что это не еда, а отравка, и мучился от голода, но не разболелся: лучше уж буду опять по двенадцать часов в день собирать гусеницы для господина Круппа. Теперь ты понимаешь, мой мальчик, что у нас верхом везения почиталось подбирать трупы и разгребать развалины в городе и что Борис всем лагерникам казался просто принцем из сказки, который в конце концов становится королем. Сидел себе в теплом помещении и плел венки, причем даже и этому делу не был обучен, особый конвоир каждое утро доставлял его на работу, а вечером — обратно, и его там не били, наоборот, даже осыпали подарками, а главное — правда,

этого никто, кроме меня, не знал,— главное, он был любим и сам любил. Ну, чем не сказочный принц! А мы, остальные лагерники, хоть и не были принцами, но тоже считали себя счастливыми. Хотя русских не удостоивали чести прикасаться к немецким трупам и подбирать их на улицах, но расчищать завалы, складывать обломки в тачки и ремонтировать железнодорожные пути нам все же доверили; а при разборке развалин случалось, что рука русского или лопата, зажатая в руке русского, натыкалась на труп немца, этого никак нельзя было избежать; и тогда — какое счастье — наступал неизбежный перерыв в работе: приходилось дожидаться, пока уберут труп, для которого Борис где-то там плел венки и украшал их цветами и лентами. Иногда в развалинах попадались искореженные кухонные шкафы или буфеты, а в них что-нибудь еще вполне съедобное, выпадали и такие счастливые случаи, что конвойный отвернулся как раз в ту минуту, когда наткнулись на что-то съестное, а винные дни нам везло втройне: и еда нашлась, и часовой ничего не видел, и шмона не было. Но уж если попадешься, тебе каюк; даже немцам не разрешалось ничего тащить из развалин, а уж если ты русский, с тобой поступят так, как поступили с Гаврилой Осиповичем и Алексеем Ивановичем: их передали эсэсовцам, а у тех разговор короткий, пиф-паф — и готово. Если что найдешь, лучше всего сожрать не сходя с места; но и жевать надо было с оглядкой. Правда, жевать во время работы не запрещалось, потому как нужды в таком запрете не было, однако сразу возникает вопрос: откуда у пленного есть что жевать? Вывод один: украл. Нам еще здорово повезло с комендантом лагеря, майором: если на нас поступал рапорт, он сажал в карцер, а эсэсовцам передавал, только если на этом настаивал фельдфебель; и еще он следил, чтобы нас, по крайней мере, кормили по норме. Как-то во время шмона я случайно слышал, как он спорил по телефону со своим начальством и доказывал, что нашу работу можно отнести к разряду «особо важных». При «особо важной» работе пленным полагалось примерно 320 граммов хлеба, 22 грамма мяса, 18,5 граммов жиров и 32 грамма сахара в день, а при «не особо важной» — всего 125 граммов хлеба, 15 граммов жиров и мяса и, кажется, 21 грамм сахара. И спорил до хрипоты с кем-то там в Берлине или Дюссельдорфе — все добивался, чтобы нашу работу признали особо важной. А это означало, мой милый, разницу в 100 граммов

хлеба, 3,5 грамма жиров, 7 граммов мяса и 11 граммов сахара. Энергичный дядя был этот майор, хотя до комплекта ему не хватало одной руки, одной ноги и одного глаза. Пока меня обыскивали, он все спорил и здорово сердился. Ну а потом он спас нам жизнь, в полном смысле слова спас жизнь последним двенадцати пленным, которые еще оставались в лагере. Дело в том, что тридцать лагерников во главе с нашим неутомимым Виктором Генриховичем сбежали во время страшных бомбежек — кто спрятался в развалинах, кто двинул на запад, навстречу американцам,— мы потом больше ничего о них не слышали. Ну а мы, оставшиеся, двенадцать человек, включая Бориса, который, как всегда, радостно предвкушал встречу с Лени в этом своем садоводстве, однажды утром проснулись и обнаружили, что вся наша охрана дружно и сплоченно драпанула, или, по-вашему, «покинула знамена»: ни одного часового не видать, дверь в караулку нараспах, ворота открыты, только колючая проволока на месте. А вид, который оттуда открывался, был точно такой же, как с этой веранды: рельсы, садовые участки, гравийный карьер, свалка на пустыре... И вот мы вроде бы на свободе, а чувствуем, что с этой свободой влипли хуже некуда: говенное чувство, скажу я тебе. Что нам с ней делать, с этой свободой, куда податься? Советским военнопленным просто так разгуливать на свободе — погибнешь, как пить дать. Ведь наша охрана подвела под войной черту не официально, а, так сказать, самовольно, и вполне могло статься, что кое-кого из наших конвойных уже сцапали и вздернули на виселицу или же поставили к стенке. Мы посоветовались между собой и пришли к выводу, что о случившемся надо известить лагерное начальство; если наш майор не дезертировал, он поможет нам освободиться от этой свободы, в данный момент крайне неуместной и смертельно опасной; бежать куда глаза глядят не было никакого смысла: нас схватил бы первый же патруль. А если хотят избавиться от людей, которых слишком хлопотно охранять, сажать за решетку и судить по закону, существует очень простой выход: к стенке, и вся недолга. Но, как ты, вероятно, догадываешься, такой выход нас не очень устраивал. До нас иногда доносился далекий грохот артиллерийской канонады — значит, настоящая свобода была уже не за горами; но действовать на свой страх и риск мы сочли чересчур опасным. Ведь побег наших товарищей Виктор Генрихович основательно подгото-

вил — у них были и карты, и провиант, и несколько явок, адреса которых он получил через надежных людей; и уходили они небольшими группами, чтобы потом встретиться в Гейнсберге на голландской границе, а оттуда уже двинуться всем вместе в Арнхейм. Так бы еще ничего. Но мы... Нас просто огорошила эта свобода, которая нежданно-негаданно свалилась на нашу голову. Но пятеро из нас все же набрались смелости и решили воспользоваться ситуацией; подобрали себе кое-какую одежку, переоделись и пошли через железнодорожное полотно под видом рабочей команды с лопатами и кирками в руках. Неплохая, в общем-то, мысль. Но мы, семеро оставшихся, побоялись идти с ними,— вернее, Борис просто-напросто не хотел расставаться со своей Лени. Понятное дело,— не мог же он один... И вот Борис бросился к телефону, стал названивать и добился-таки, чтобы его соединили с садоводством; он дал сигнал тревоги, и спустя полчаса его девушка уже стояла с велосипедом на перекрестке улиц Неггератштрассе и Вильдердорфштрассе и ждала его. Потом Борис связался по телефону с комендатурой лагеря и сообщил, что охрана разбежалась; не прошло и получаса, как на машине прикатил наш одноногий, однорукий и одноглазый майор с двумя-тремя солдатами. Сперва он молча прошелся по пустому барaku: у него был великолепный, отлично пригнанный протез, так что он и на велосипеде мог ездить; потом зашел в караулку, вышел из нее, подозвал к себе Бориса и поблагодарил его по всем правилам — крепко пожал руку, прямо, по-мужски, глядя в глаза, и все такое. В чисто немецком духе все это сделал, и вовсе не так глупо это выглядело, как кажется, когда я рассказываю. Черт побери, ведь оставалось всего две недели до того дня, когда американцы вошли в город. И что же сделал майор? Послал нас им навстречу! То есть на эрфтские рубежи, которые фактически были уже в их руках. А Борису он сказал: «Колтовский, с вашей работой в садоводстве покончено». Но я заметил, что девушка Бориса успела переговорить с водителем майорской машины, и, значит, выяснила, куда нас отправят. С первого взгляда было видно, что она на сносях и скоро рассыпется, как переспелый подсолнух; ну, тут уж я сразу смекнул, что к чему. Через двадцать минут нас отправили на грузовике сперва в Гросбюлесхайм, потом в Гросферних, ночью отвезли в Балькхаузен; а когда прибыли в Фрехен — опять-таки ночью,— из пленных

в грузовике были только мы двое — Борис и я. Остальные поняли намек майора и ночью, прямо по свекловичным полям, драпанули к американцам. А нашего принца его принцесса обрядила в немецкую форму, перевязала голову бинтом, слегка смоченным в куриной крови, и бодро-весело покатила к себе на кладбище. А я, я решил на такое, что ни в какие ворота не лезет: я вернулся в город. Один, ночью, в конце февраля побрел в город, в этот развороченный, разрушенный город, где я целый год разгребал руины и откапывал трупы, где меня унижали и поносили, но где изредка кто-нибудь из жителей, проходя мимо, бросал мне под ноги окурок или даже целую сигарету, а то и яблоко или кусок хлеба, если конвоир не видел или делал вид, что не видит. Да, я вернулся в город, забрался в какой-то разбомбленный особняк и спрятался в подвале с рухнувшими перекрытиями: они встали дыбом, образовав косую крышу; в этом закутке я засел и приготовился ждать. По дороге я наворовал у крестьян хлеба и яиц, а воду пил дождевую — из лужи на полу бывшей прачечной. Днем я собирал по дому дрова — оказалось, что паркет особенно хорошо горит, — и рылся в обломках мебели, пока не нашел то, что искал: курево. Шесть толстенных сигар из лучших сортов табака в роскошном кожаном портсигаре — под стать какому-нибудь капиталисту — с тисненой надписью: «Люцерн. 1919». Этот портсигар я храню до сих пор, могу показать. Из шести толстых добротнейших сигар, если подойти к делу экономно, можно свернуть тридцать шесть вполне приличных самокруток, а если у тебя и спички имеются, то это уже целое состояние. Помимо спичек у меня была еще и прекрасная папиросная бумага — из карманного молитвенника, который я подобрал в Гросфернихе: пятьсот страниц, и на титульном листе надпись: «Катарина Вермельскирхен. Первое причастие. 1878 год». Конечно, прежде чем вырвать очередной листок, я сперва читал, что на нем написано. «Обратись к совести своей, не оскорбил ли ты Господа в помыслах, в словах и поступках. Я грешен, Отче, я тяжко согрешил против неба и против Тебя, я блуждал, как отбившаяся от стада овца, и я недостойн называться Твоим чадом». Просто я считал своим долгом перед бедным молитвенником прочесть, что написано на его страницах, до того как они обратятся в пепел. Так я и сидел, закутавшись во все тряпки, рваные и целые, которые только нашлись в доме: в занавеси и куски от

скатертей, в нижние юбки и обрывки ковров, а ночью раскладывал костерок из паркетин. Там я пережил и бомбежку второго марта — гром небесный, кромешный ад, светопреставление. А теперь я признаюсь тебе в том, в чем еще никому не признавался, даже самому себе: я полюбил этот город, полюбил его каменную пыль, которой я досыта наглотался, его землю, которая содрогалась у меня под ногами, его церкви, которые рушились у меня на глазах,— и его женщин, которые спасали меня в холодные, ледяные зимы, когда меня ничто не могло согреть, кроме тела женщины, лежащей рядом. Я не мог покинуть этот город, и да простят меня мой Лаврик и моя Лариса, да простят они мне мои грехи. Вот что я прочел еще в том молитвеннике: «Вел ли ты себя в освященном церковью браке, как тебе повелевал твой долг? Не погрешил ли ты против него мыслью, словом или поступком? Не пожелал ли ты злонамеренно и умышленно — пусть даже в помыслах — согрешить с другой женщиной, замужней или незамужней, или с другим мужчиной?» На все эти вопросы, обращенные к Катарине Вермельскирхен, я должен ответить «да», на которые она, надеюсь, могла ответить «нет». Быть может, это и есть лучший способ прийти к молитве — когда ты используешь страницы молитвенника на самокрутки и в душе даешь себе обет сперва внимательно прочитывать все, что на них написано. А теперь помолчи и не убирай свою руку» (что крайне взволнованный авт. и сделал, заметив и на глазах Богакова Сл., ощутив его Б₁ и всей душой поверив в искренность его С₂).

Лишь с целью немного дополнить объективные данные, содержащиеся в показаниях Богакова, авт. позволяет себе привести здесь несколько — не очень много — подлинных цитат из устных высказываний известных высокопоставленных лиц либо выдержек из стенограмм или текстов сообщений известных высокопоставленных лиц, так сказать, в качестве иллюстрации.

Розенберг: «У некоторых из вас создалось впечатление, будто дорога в Германию примерно то же самое, что дорога в Сибирь.

Само собой понятно, что, когда в страну прибывает три с половиной миллиона человек, их нельзя разместить со всеми удобствами. Тысячи из них, понятно,

живут в плохих условиях или подвергаются плохому обращению. Из-за этого не стоит особенно огорчаться. Однако существует другой и практически очень важный вопрос: этих людей привозят в Германию с востока для того, чтобы они работали, причем работали как можно более производительно. Это вполне законное требование. Но для того, чтобы они работали производительно, нельзя привозить три четверти людей обмороженными или простоявшими на ногах десять часов. Кроме того, их надо соответствующим образом кормить, чтобы у них оставались силы для работы...»

«Право применять телесные наказания по отношению к работникам польской национальности предоставляется всем руководителям предприятий... Руководители предприятий не несут ответственности за такого рода действия перед вышестоящими инстанциями...»

Работники польской национальности должны по возможности размещаться не в жилом доме, а в других строениях, как, напр., в конюшнях, коровниках и т. д. Соображения морального порядка не должны препятствовать выполнению этого правила».

Ш п е е р: «Современная конвейерная технология требует одинаковой длительности рабочего дня. Однако из-за воздушных налетов имели место перебои в обеспечении предприятий деталями и сырьем. Вследствие этого длительность рабочего времени колебалась в пределах от 8 до 12 часов в день. В среднем она составляла, по нашим данным, приблизительно 60—64 часа в неделю.

Д - р Ф л е к с н е р: Сколько часов продолжался рабочий день у рабочих, набираемых из числа заключенных в концлагерях?

Ш п е е р: Столько же, сколько и у всех остальных рабочих. Ведь рабочие из концлагерей составляли, как правило, лишь часть занятых на том или ином производстве, и эта часть персонала имела такой же рабочий день, как и остальные рабочие.

Д - р Ф л е к с н е р: Чем это было вызвано?

Ш п е е р: По требованию СС рабочие из концлагерей были сконцентрированы в каком-либо одном из цехов предприятия. Надзор за ними осуществлялся немецкими мастерами и бригадирами. Рабочее время заключен-

ных по производственным причинам должно было соответствовать рабочему времени всего предприятия, поскольку любое предприятие, как известно, может работать только в едином ритме, общем для всего предприятия в целом.

Д - р Ф л е к с н е р: Из двух документов, которые я представляю в свое время по другому поводу, явствует, что на военных заводах, производивших вооружение для сухопутных и военно-морских сил, а также военно-воздушного флота, рабочие из концлагерей работали в среднем 60 часов в неделю.

Почему же, господин Шпеер, при этих заводах создавались особые концлагеря, так называемые «рабочие лагеря»?

Ш п е е р: Эти «рабочие лагеря» создавались для того, чтобы сократить путь до рабочего места и благодаря этому обеспечить, чтобы рабочие приступали к работе *со свежими силами и желанием трудиться*» (курсив авт.).

«Большевизм — смертельный враг национал-социализма в Германии... В связи с этим на большевистских солдат не распространяется Женевская конвенция... Чувство гордости и превосходства, испытываемое немецким солдатом, охраняющим советских военнопленных, должно повсеместно и ежечасно превозноситься... Предписывается решительное и беспощадное пресечение малейших проявлений неповиновения, в особенности по отношению к большевистским подстрекателям... Попытки подорвать дисциплину среди советских военнопленных необходимо немедленно подавлять силой оружия».

«Вермахту необходимо срочно устранить те элементы среди военнопленных, которые можно рассматривать как большевистских агитаторов. Особое положение восточной кампании требует и особых мер, которые должны проводиться, невзирая на любые бюрократические или ведомственные интересы и с полным сознанием взятой на себя ответственности».

«О расстрелах советских военнопленных. (Сов. секр.)

Приказываю: о несчастных случаях со смертельным исходом среди советских военнопленных, а также о расстрелах указанных лиц с сего дня не докладывать по телефону как о ЧП».

«Военнопленным, работающим добросовестно и полный рабочий день, выплачивается вознаграждение за каждый рабочий день в размере:

0,70 марки всем, кроме советских военнопленных
0,35 марки советским военнопленным.

Минимальное вознаграждение за один рабочий день выплачивается в размере:

0,2 марки всем, кроме советских военнопленных
0,1 марки советским военнопленным».

Раз уж мы занялись цитированием различных документов, уместно будет привести здесь еще один документ, обнаруженный неутомимой Марией ван Доорн, так мило пытающейся устоять перед скромными подношениями авт. (сигареты марки «Кэмел» без фильтра!), — документ, находившийся в принадлежащем Лени и давно не используемом ларе и обнаруженный во время генеральной уборки, производившейся М. в. Д. в связи с представляющимся ей столь желательным переселением Лени в деревню. Речь идет о донине неизвестном письме покойного Генриха Груйтена, которое авт. не побоится назвать «образчиком конкретной поэзии» ушедшего поколения.

«План распределения помещений для казарменного размещения подразделений военнослужащих составляется на основе чисто арифметических расчетов. Он должен учитывать, сколько помещений и в особенности какие из имеющихся жилых помещений безусловно необходимы для казарменного размещения подразделений соответствующей численности при строго целесообразном их использовании (см. раздел «Размеры помещений в зависимости от целей их использования» в приказе об использовании помещений воинскими подразделениями). При этом не учитывается, как именно то или иное подразделение использует жилые помещения, предоставляемые ему в пределах норм, предусмотренных вышеупомянутым приказом. Помимо помещений, пригодных по своему размеру для казарменного размещения войсковых подразделений, следует включать в план распределения и другие помещения, меньших размеров, с целью обеспечения необходимой плотности размещения. Помещения же, использование которых не пред-

ставляется необходимым по установленным нормативам, то есть нормативам, предусмотренным приказом об использовании помещений воинскими подразделениями, не включаются в план размещения. Комнаты для ординарцев в квартирах, занимаемых офицерами, а также помещения, предназначенные для казарменного размещения рядового и унтер-офицерского состава в домах для офицерского состава, оплачиваются из средств бюджетного финансирования соответствующей воинской части и вследствие этого должны использоваться неукоснительно.

В случае, если предусмотренные приказом помещения не могут быть предоставлены, вследствие чего казармы оказываются перенаселенными, должны учитываться все имеющиеся в наличии помещения, в том числе и помещения, предусмотренные для хранения годового запаса различных видов довольствия и мелкого инвентаря. В этом случае план распределения помещений составляется уже не на основе нормативов, установленных упомянутым приказом об использовании помещений воинскими подразделениями, а согласно фактическому соотношению.

Если численность подразделения изменяется, план распределения помещений составляется заново.

Предоставление, поддержание в должном порядке и обслуживание зданий и помещений, являющихся собственностью государства, для проведения церковных обрядов в воинских частях (местные и др. церкви), равно как и местных кладбищ, вменяется в обязанность местной администрации. В крупных госпиталях оборудуется молебельный зал.

Для строительства новых церквей или устройства новых кладбищ с прилегающими к ним зелеными насаждениями или для внесения каких-либо изменений в уже существующие, а также для оборудования отдельных помещений с целью проведения в них церковных обрядов, требуется получить разрешение Верховного командования сухопутных сил или Верховного командования военно-морского флота. Проповеди военных епископов предписывается заслушивать заблаговременно. В случае отсутствия в каком-либо населенном пункте помещений, принадлежащих рейху и пригодных для проведения в них церковных служб, следует обеспечить право использования их совместно с гражданским населением или отдельно. *При переговорах по этому вопро-*

су желательно добиваться права пользования церковной утварью, имеющейся в местных церквях. Если такой договоренности достигнуть не удастся, то эта утварь предоставляется местной администрацией (II-113а). Необходимо обеспечить участие в этих переговорах армейского (флотского) священника данного населенного пункта и священника военного округа (стоянки военно-морского флота), а также получить разрешение командира соответствующей воинской части или подразделения военно-морского флота (см. 370 (А. В.) № 29).

Для проведения занятий перед конфирмацией (первым причастием) предоставляется соответствующее помещение в церквях или других зданиях. При необходимости разрешается временно арендовать эти помещения с помощью местной администрации и с согласия командира соответствующей части или подразделения военно-морского флота. В особых случаях можно предоставить снятие помещений самому священнику; для этой цели военным командованием ему выделяется умеренная сумма.

Расходы на содержание местных церквей, больших залов (см. п. 150) и местных кладбищ с прилегающими зелеными насаждениями, а также на содержание и пополнение положенного инвентаря (вкл. церковный — см. II-113 а), равно как и расходы на отопление, освещение и уборку церквей и часовен при кладбищах, стирку и ремонт церковных облачений покрываются из соответствующих статей бюджета (раздел «Размещение войск»).

В случае, если продажа навоза производится воинским подразделением самостоятельно, казначеям этих подразделений следует записывать половину полученной за данный навоз чистой выручки, то есть валового дохода за вычетом налога с оборота (ср. § 69/2) в графу «Прочие доходы», а вторую половину оставлять в распоряжении этих подразделений и записывать (п. 244) в особую книгу (раздел «Доходы от навоза»).

За счет этих средств данные воинские подразделения производят:

- а) Очистку мест хранения навоза — II-408-д.
- б) Текущий ремонт и замену собственных кормофугонов.
- в) Усовершенствование стандартного оснащения конюшен, закрытых манежей (напр., оборудование зерка-

лами), открытых манежей и шпринггартенов (179-е и 246).

г) Увеличение норм раздачи корма и другие мероприятия для улучшения условий содержания лошадей.

Производить какие-либо другие расходы за счет средств раздела «Доходы от навоза» запрещается. Подразделения, занимающиеся сбытом навоза, обязаны производить его по согласованию с местной администрацией и с наибольшей выгодой для себя использовать органы местной администрации в качестве посредников. В случае, если навоз обменивается на корма, необходимо оформить обмен как куплю и продажу, не ставя об этом в известность партнера. Денежное выражение сделки проводится по книгам в разделах «дебет» и «кредит», причем половина денежной стоимости навоза записывается как чистая выручка в графу «Прочие доходы». Навоз, используемый в самом подразделении (напр., для удобрения пастбища), должен оплачиваться. Половина его денежной стоимости записывается в разделе «Прочие доходы».

Самостоятельной продажей навоза надлежит заниматься отдельным воинским частям (напр., кавалерийский полк, батальон и др.), но она может производиться и некоторыми эскадронами, батареями и ротами (записи ведутся в книге «Особые доходы», п. 244 и 261).

Финансовые средства, поступившие от продажи навоза и записанные в книге «Особые доходы», остаются в распоряжении соответствующего воинского подразделения и в том случае, если данное подразделение передислоцируется в другую казарму или другой населенный пункт. В случае потери части личного состава на счет вновь формируемой воинской части может переводиться соответствующая сумма. При роспуске воинской части финансовые средства, полученные от продажи навоза, после погашения текущих платежей записываются в графу «Прочие доходы». В этом случае предметы, приобретенные за счет выручки от продажи навоза, надлежит безвозмездно передать органам местной-администрации под расписку и сделать соответствующую пометку в инвентаризационной книге».

Для того, чтобы получить кое-какую дополнительную информацию, а также уточнить и проверить некоторые сведения, авт. пришлось еще раз побеспокоить упомин-

навшееся выше высокопоставленное лицо. Когда авт. по телефону попросил секретаря передать просьбу об аудиенции, это лицо само взяло трубку и немедленно согласилось на встречу и «на все встречи, какие понадобятся в дальнейшем». На этот раз голос лица звучал приветливо, почти дружески, и авт. пустился в путь — тридцать шесть минут по железной дороге — уже без особой тревоги. Взяв такси, он разминулся с роскошным лимузином «бентли», который лицо по собственному почину послало за ним на станцию. Поскольку авт. не только не рассчитывал на такую любезность, но и ничего о ней не знал, это недоразумение обошлось ему в семнадцать марок семьдесят пфеннигов, а вместе с чаевыми — в девятнадцать с половиной, так как высокопоставленный господин живет довольно далеко за городом. Авт. весьма сожалеет, что таким образом нанес ущерб финансовому ведомству в размере 1,75—2,20 марок. Он счел уместным и на сей раз потратиться на подарки и остановил свой выбор на гравюре с видом на Рейн, похожей на те, что ему так понравились своей филигранной четкостью у госпожи Хельтхоне. Гравюра стоила 42 марки, с рамкой — 51,80. Супруга высокопоставленного лица, в дальнейшем именуемая для краткости «Киска», была «в восторге от этого знака внимания» и выразила свой восторг не только словами. Для самого лица авт. раздобыл факсимильную копию первого издания «Коммунистического манифеста» (на самом деле это была обыкновенная, слегка подретушированная фотокопия, но принята была также с радостной улыбкой).

Во время этого визита атмосфера была куда более непринужденной. Киска, отбросив былые подозрения, сервировала чай — он был примерно такого же качества, как тот, что подавали в кафе и о котором госпожа Хельтхоне отозвалась не слишком одобрительно; на столе было печенье (сухое), шерри (сухое) и сигареты, лица деликатных супругов были подернуты той меланхолической грустью, которая отнюдь не исключает легкой увлажненности глаз, но полностью исключает слезы. Мы провели приятный вечер без всякого намека на скрытую враждебность, но не без прорывавшейся иногда открытой неприязни. Парк уже был описан выше, чайная гостиная тоже, остается описать лишь веранду: она имела выгнутую форму в духе барокко, на торцах заканчивалась увитыми плющом перголами, а в середине плавной

дугой выдавалась в парк; на лужайке — площадка для крокета; кусты роз усеяны первыми бутонами.

Теперь о Киске: брюнетка, выглядит никак не старше сорока шести, хотя на самом деле ей все пятьдесят шесть; ноги у нее длинные, губы тонкие, грудь нормальных размеров, одета в платье джерси красно-бурого цвета; ее искусно подкрашенное лицо казалось бледным, что очень ей шло. «Ваша история о молодой девушке, которая ездит на велосипеде от лагеря к лагерю, разыскивая своего возлюбленного, и наконец находит его на кладбище, просто прелестна. Разумеется, слово «прелестно» относится не к кладбищу и не к гибели молодого человека. Прелестно тут другое: молодая женщина пересекает на велосипеде Айфель и Арденны, доезжает до Намура, добирается до Реймса, возвращается в Мец, заезжает домой, опять пересекает Айфель: ее не останавливают ни зональные, ни государственные границы. Я знакома с этой молодой женщиной, и если бы знала, что в прошлый раз вы говорили о ней, я бы... Я бы... Право, я и сама не знаю, что именно я бы сделала... Но я бы постаралась чем-то ее порадовать, хотя особа она весьма и весьма замкнутая. Ведь мы с мужем еще в пятьдесят втором году, как только он вышел из заключения, сразу же поехали к ней, предварительно разыскав этого садовника и узнав у него ее адрес. Удивительная красавица... Даже мне, женщине, с первого взгляда ясно, какое восхищение она должна внушать мужчинам. (?? Авт.) И этот прелестный ребенок, ее сын, с длинными и гладкими светлыми волосами. Мой муж был очень растроган — мальчик напомнил ему Бориса в юности, хотя тот был худой и носил очки; и все же они были очень похожи, не правда ли? (Высокопоставленное лицо кивнуло. Авт.) Но ее взгляды на воспитание я нашла в корне неправильными. Нельзя было держать сына дома, следовало отдать его в школу. Как-никак, мальчику тогда исполнилось семь с половиной лет... То, чем она с ним занималась, иначе как романтическими выдумками не назовешь: пела ему разные песни и рассказывала сказки. А чего стоит эта пестрая мешанина из Гёльдерлина, Тракля и Брехта... Не знаю, право, можно ли считать «Исправительную колонию» Кафки подходящим чтением для мальчика, которому нет и восьми. Не уверена также, что натуралистические изображения всех, буквально *всех* человеческих органов не могут привести, скажем так, к излишне материалистическому

взгляду на мир. И тем не менее: в этой женщине было что-то необычайно привлекательное, несмотря на полную анархию в ее образе жизни. Признаюсь: эти изображения половых органов на стенах, к тому же увеличенные... Мне кажется, она немного обогнала свое время... Хотя по нынешним меркам — скорее отстала! (Смех обоих супругов. Авт.) Но мальчик был прелестен и держался очень непринужденно... А какая судьба у этой молодой женщины, которой в ту пору, пожалуй, было не больше тридцати: потеряла, можно сказать, трех мужей, а также брата, отца, мать... И такая гордячка! Из-за этой ее гордыни у меня недостало духу навестить ее еще раз. Правда, письмами мы с ней обменялись, это было в пятьдесят пятом году, после того, как мой муж съездил с Аденауэром в Москву; в министерстве иностранных дел ему удалось разыскать одного — буквально одного! — знакомого еще по Берлину, и он смог перекинуться с ним на ходу двумя-тремя словами о семье Колтовских. Оказалось: бабушки и дедушки прелестного мальчика нет в живых, тетя Лидия пропала бесследно».

Высокопоставленное лицо: «Не будет преувеличением сказать, что в смерти Бориса виноваты западные союзники. Я имею в виду не эту злосчастную и дурацкую историю с солдатской книжкой и не гибель Бориса при первой же катастрофе на шахте. Не в этом суть. Вина западных союзников состоит в том, что они меня арестовали и на семь лет изолировали от внешнего мира, иными словами, посадили под замок и за решетку. Правда, замки были не очень прочные, а решетка не очень частая. Дело в том, что между мной и Эрихом фон Камом существовала договоренность, что он немедленно известит меня, как только над Борисом нависнет какая-нибудь опасность. Но из-за бегства охранников лагеря он немного растерялся и тем не менее принял самое верное решение для той ситуации: послал Бориса на Эрфтские рубежи, где тот мог при первом удобном случае с легкостью перебежать на сторону американцев. В свое время мы договаривались иначе: Кам должен был достать для Бориса английскую или американскую форму и определить его в лагерь для английских или американских военнопленных: пока начальство разберется, война кончится. А Бориса втянули в идиотскую авантюру с немецкими документами, немецкой формой, да еще и мнимым ранением! Идиотизм чистой воды! Но ни я, ни

Кам, разумеется, понятия не имели, что во всем этом замешана женщина. И что со дня на день у нее должен родиться ребенок! А тут эти ужасные бомбежки. Ад крошечный! Из девушки я тогда мало что вытянул. Правда, узнав, что это я устроил Бориса в садоводство, она меня поблагодарила. Но как она это сделала! С таким видом мало-мальски воспитанная девица поблагодарила бы за плитку шоколада. Она не поняла, какому риску я подвергался, как мне могло бы помочь свидетельство Бориса на Нюрнбергском процессе и так далее. Я опозорился навеки и перед судьями, и перед моими соседями по скамье подсудимых, заявив, что я спас жизнь некоему Борису Львовичу Колтовскому, такого-то года рождения. Советский обвинитель сказал: «Что ж, мы постараемся отыскать этого Бориса Колтовского, поскольку вы даже указали номер концлагеря». Но прошел год, а его так и не нашли! Я решил, что это подлая уловка с их стороны. Если бы Борис оказался жив и если бы ему разрешили, он мог бы очень мне помочь. На процессе мне приписали чудовищные высказывания,— они действительно имели место на совещаниях, в которых и я участвовал, но сделаны были не мной. Неужели вы поверите, что я мог произнести, к примеру, такое? (Высокопоставленное лицо вытащило из кармана блокнот и прочло вслух): «Даже по отношению к трудолюбивым и послушным военнопленным неуместно проявлять мягкость. Они истолкуют это как слабость и сделают свои выводы». Кроме того, на совещании, которое проводил начальник Управления Вооружений сухопутных сил, я будто бы предложил путем устройства многоэтажных нар в бараках ИТФ (ИТФ — имперский трудовой фронт. Авт.) увеличить количество размещаемых в них военнопленных со ста пятидесяти до восьмисот сорока. На одном из моих предприятий русских будто бы приводили на работу совершенно голодными и без спецодежды, и они выпрашивали еду у немецких рабочих. И будто бы я завел карцеры. А между тем не кто иной, как я, в марте сорок второго года подал докладную в связи с тем, что русские военнопленные, используемые в нашей промышленности, из-за постоянного недоедания в лагерях ослаблены до такой степени, что не в состоянии, к примеру, закрепить как следует токарный резец. А на совещании у генерала Райнеке, ведавшего всеми военнопленными, я открыто выразил свое несогласие с предписываемой рецептурой так называемого «русско-

го хлеба», которому надлежало состоять на 50% из ржаного шрота, на 20% из свекловичного жмыха, на 20% из целлюлозной муки и на 10% из соломенной сечки и ботвы. И я настоял, что доля ржаного шрота была повышена до 55%, жмыха — до 25%, а доля этих ужасных ингредиентов — целлюлозной муки и соломенной сечки — соответственно понижена — правда, только на наших предприятиях и за счет наших предприятий. Люди слишком легко забывают, что в те годы подобные вопросы не так-то просто было ставить. Я доказывал Бакке, заместителю министра продовольствия, и начальнику отдела его министерства Морицу, что работа в военной промышленности не должна быть равносильна смертному приговору, что для работы в этой отрасли требуется здоровая рабочая сила. И наконец, именно я ввел знаменитые «мучные дни», когда заключенные получали болтушку из муки. Из-за этой болтушки Заукель учинил мне форменный разнос, грозил тюрьмой и тыкал носом в бесчисленные инструкции ВКСС, ВКВ и ИУГБ (Верховного командования сухопутных сил, Верховного командования вермахта и Имперского Управления безопасности. Авт.). А поскольку вся эта бесчеловечная система измора голодом должна была скрываться от немецкого населения, я сознательно нарушил правила секретности и, подвергая себя серьезной опасности, нелегально переправил в Швецию соответствующие сведения только для того, чтобы оповестить обо всем этом мировую общественность. И как же меня отблагодарили? Два года лагеря и пять лет тюрьмы — из-за наших филиалов в Кёнигсберге, к которым я фактически не имел никакого отношения. Ну, ладно, дело прошлое, другие поплатились жизнью, кое на кого возвели еще больше напраслины, чем на меня. В конце концов, я здоров и не так уж сильно ущемлен. (?? В чем? Авт.) Забудем обо всем этом, забудем и про подлый удар в спину на суде, когда мне вменили в вину документы, о которых я понятия не имел, и приписали высказывания, которых я не делал... Увы, мне так и не удалось до конца оградить этого юношу от смертельных опасностей военного времени, чего я так желал... Не удалось мне также разыскать его родителей и сестру. Но главное — мне не удалось повлиять на воспитание его сына. Как-никак, я доказал, что мое культурное влияние на Бориса было не так уж плохо. Благодаря кому он познакомился с Траклем и Кафкой, а в известной мере и с Гёльдерлином? И,

в конечном счете, разве не я — пусть и через Бориса — пополнил этими авторами более чем недостаточное образование этой поверхностной женщины и дал ей возможность приобщить к ним и ее сына? Разве с моей стороны было излишне самонадеянно считать своим прямым долгом оказание своего рода покровительства единственному известному мне потомку семьи Колтовских? Уверен, что сам Борис, будь он жив, никогда не отверг бы моего предложения, сделанного от чистого сердца. И неужели было необходимо отклонять его в столь грубой форме? Особенно вызывающе вела себя эта наглая особа — не помню ее имени, — которая жила в той же квартире; эта особа, придерживающаяся вульгарно-социалистических взглядов, осыпала меня самой вульгарной бранью и в конце концов буквально выставила за дверь; сама она, как я слышал, не справилась с воспитанием собственных сыновей и вела жизнь на грани асоциальности, если не сказать прямо — проституции. А разве господин Груйтен, отец этой странно молчаливой женщины, а позже и любовник этой наглой особы с левыми взглядами и сомнительной репутацией, — разве он сам в годы войны был агнцем Божиим? Я хочу этим сказать: у них не было никаких оснований так высокомерно указывать мне на дверь и принимать на веру приговор, сомнительность которого теперь у всех на устах... Нет-нет, благодарности я от них не дождался».

Все это было сказано тихим голосом, скорее с обидой, чем с вызовом, причем Киска, когда на лбу у супруга вспухали вены, брала его руку в свои, чтобы успокоить. «Почтовые переводы возвращались обратно, на письма не отвечали, к моим советам не прислушивались. А в один прекрасный день эта наглая особа — я имею в виду ее подругу — написала мне четко и ясно: «Неужели вы не понимаете, что Лени не желает иметь с вами ничего общего?» Ну что ж... Я отступился. Правда, наладил поступление кое-какой информации, чтобы быть в курсе дела. Естественно, меня интересовал только мальчик. И что же с ним стало? Я не хочу сказать, что он сделался преступником, человеку моего уровня не пристало слепо доверяться решениям любого суда... Я и сам был преступником, и меня вполне могли наказать за то, что я на свой страх и риск повысил содержание ржаного шрота и свекловичного жмыха в «русском хлебе» на пять процентов, соответственно снизил содержание целлюлозной муки и ботвы, дабы сделать этот хлеб более съедоб-

ным: это могло кончиться для меня концлагерем. В преступниках я оказался и за то, что был совладельцем целой сети предприятий и в силу переплетения сложных семейных и не менее сложных экономических связей принадлежал к категории крупных промышленников, чья сфера деятельности — или, лучше сказать, сфера влияния — уже необозрима во всех деталях. Словом, я и сам совершил слишком много поступков, считавшихся в разные периоды нашей истории преступными, чтобы безоговорочно и бездумно назвать этого юношу преступником. Но в моральном отношении он, безусловно, пал, ибо то, что он совершил, иначе, как безумием, назвать нельзя, и спровоцировано оно безумным воспитанием; представьте себе: молодой человек в двадцать три года путем подделки чеков и подчистки векселей решает восстановить утраченные права на собственность, некогда перешедшую в руки другого лица, действовавшего вполне законно, хотя и жестоко, и доставшуюся этому лицу в результате, весьма возможно, недостойных и даже, пожалуй, бесчестных махинаций. То, что завещано, завещано, а что продано, то продано. Выражаясь терминами психоанализа, у юноши проявился опасный эдипов комплекс, усугубленный травмой, связанной с отцом. Мать и не догадывалась, что она натворила своим Кафкой... Она попросту не знала, что таких полярных авторов, как Кафка и Брехт, да еще прочитанных в неумеренных дозах, совершенно невозможно ни переварить, ни совместить. А на это еще наложились Гёльдерлин с его взвинченным пафосом и завораживающая упадочническая лирика Тракля; все это ребенок буквально всосал с молоком матери, это было первое, что он услышал, едва научился лепетать. Ко всему прочему еще и этот вульгарный материализм с оттенком мистики... Я и сам противник всяческих табу, но стоило ли так детально углубляться в биологию человеческого организма и так фетишизировать все его органы и функции? В конце концов, мы всего лишь слабые земные существа, изначально надломленные самой природой. О, как горько на душе, когда тебе не позволяют помочь, как больно, когда тебя отстраняют!»

И тут авт. стал свидетелем того, чего здесь уж никак не ожидал увидеть: Сл. как следствие П., а П., в свою очередь, как следствие С. Но как раз в этот момент на великолепную лужайку выскочили и вбежали на веранду две афганские борзые воистину необычайной красоты.

Наспех обнюхав авт., они сочли его, очевидно, недостойным внимания и, бросившись к милому их сердцу хозяину, принялись слизывать его слезы. Почему это, черт возьми, все стали вдруг такими сентиментальными — и Пельцер, и Богаков, и высокопоставленное лицо? Почему даже у Лотты глаза подозрительно блестели, Мария ван Доорн плакала не таясь, Маргарет редела в три ручья — и только в глазах самой Лени было ровно столько влаги, сколько нужно человеческому глазу, чтобы смотреть на мир открыто и ясно?

Прощание с Киской и высокопоставленным лицом было дружеским, но в голосах хозяев дома все еще слышалась грусть, когда они попросили авт. взять на себя, если можно, роль посредника, ведь они по-прежнему готовы — и всегда будут готовы — «помочь снова встать на ноги» сыну Бориса,— именно потому, что он сын Бориса и внук Льва Колтовского.

Еще не выясненным, если не сказать — темным, оставалось для авт. пока только психофизическое, географическое и политическое положение в конце войны старика Грундча. Визит к нему было легко организовать: стоило авт. позвонить по телефону и договориться, и вот уже Грундч после закрытия кладбища стоит у ржавых железных ворот, которые открываются лишь по случаю вывоза с кладбища сломанных венков и цветов, не пригодных для компоста из-за своей пластмассовой сущности. Как всегда гостеприимный и обрадованный визитом, Грундч взял авт. за руку, дабы уберечь его от опасности упасть «в особо скользких местах». За истекший период бытовые условия Грундча значительно улучшились. Не так давно ему вручили ключи от новой общественной уборной и от душевых кабинок для рабочих кладбища, он приобрел транзисторный приемник и телевизор и уже предвкушал доходы от предстоящей на Красную горку массовой распродажи гортензий (встреча с Грундчем происходила под Пасху. Авт.). В этот прохладный мартовский вечер невозможно было расслаживаться на скамейках, зато можно было спокойно пройти по кладбищу, на сей раз и по главной аллее, которую Грундч называл «главной улицей». «Это наш самый роскошный квартал,— сказал он, хихикнув,— наши самые дорогие участки. И если вы не совсем верите тому, что вам рассказал Вальтерхен, то я вам покажу несколь-

ко вещественных доказательств, подтверждающих его слова. Наш Вальтерхен никогда не врет, — так же, как он никогда не был извергом». (Хихиканье.) Грундч показал авт. остатки той электропроводки, которую они с Пельцером устроили в феврале 1945 года: это были куски дешевого провода с темной изоляцией, тянувшегося от пельцеровского садоводства до обвитого плющом дуба, от дуба к кусту бузины (на котором еще сохранились ржавые скобы) и от бузины через живую изгородь из кустов бирючины к фамильному склепу фон дер Цекке. На стенах этой солидной усыпальницы также еще сохранились отрезки дешевого провода с темной изоляцией и ржавые скобы, и вот авт. уже стоит (что скрывать — не без душевного трепета) перед массивной бронзовой дверью — той самой, которая некогда вела в «советский рай», а ныне, в этот промозглый вечер ранней весны, была, к сожалению, закрыта. «Тут, значит, был вход, — сказал Грундч, — а уже внутри проходили сперва к Герригерам, а потом уже к Бошанам». Могилы фон дер Цекке и Герригеров оказались на редкость ухоженными: горшки с анютиными глазками и розами, кругом мох. Грундч пояснил. «Да, оба эти семейства — наши постоянные клиенты; в свое время Вальтерхен передал их на мое попечение. Проходы между склепами после войны он велел замуровать и заштукатурить, правда, сделано это было старым Груйтеном, а потому довольно халтурно; но трещины, которые вскоре появились, и осыпающуюся штукатурку Вальтерхен свалил на бомбежки, причем даже, наверное, не очень соврал: второго марта, говорят, на кладбище все было перевернуто вверх дном. Вон там все еще стоит каменный ангел с осколком в голове — будто кто рубанул его секирой и кончик обломился и застрял (несмотря на сгущающиеся сумерки авт. разглядел этого ангела и может подтвердить сказанное Грундчем). Ну, какая-то часть всех этих аляповатых украшений в стиле назарейцев и у Герригеров, и у Цекке порушилась, как видите. Герригеры потом реставрировали свой склеп, фон дер Цекке даже модернизировали, а вот Бошаны — вернее, Бошан — совсем забросил свою семейную могилу. Мальчишка, — впрочем, ему сейчас, наверное, лет шестьдесят пять, но я его запомнил таким, каким он был в начале двадцатых годов: видел его здесь в матросском костюмчике, как он плакал и молился на могиле; он уже тогда был немного «с приветом» — матросский костюмчик был ему уже не

по возрасту, но он ни за что не хотел с ним расстаться. Наверное, и по сей день носит свой матросский костюмчик — там, в психбольнице под Мераном. Время от времени его адвокат присылает немного денег, чтобы хоть как-то почистить могилу от сорняков,— этот адвокат настаивает на праве своего клиента, безумного старика в матросском костюмчике, быть похороненным здесь; старик этот все еще получает доходы от фабрики папирозной бумаги, доставшейся ему по наследству. Если бы не адвокат, городские власти наверняка давно бы снесли это сооружение. Ведь из-за каждого места на кладбище дело доходит до суда (хихиканье. Авт.); как будто нельзя с тем же успехом похоронить этого старикашку там, в Тироле. А вот и часовня Бошанов; дверь прогнила насквозь, так что, если хотите, можете заглянуть внутрь и посмотреть, не оставили ли Лени с Борисом немного вереска на память о себе».

И авт. на самом деле вошел в полуразрушенную часовенку и тщательно рассмотрел потрескавшиеся фрески в стиле назарейцев, которыми были расписаны прекрасные в архитектурном отношении полуниши. Внутри было грязно, сыро и холодно, и авт., чтобы оглядеть алтарь, с которого были украдены все украшения из цветных металлов, пришлось много раз чиркать спичками (еще не ясно, вправе ли он рассматривать эти спички как непредвиденные расходы, поскольку авт., заядлый курильщик, и без того расходует большое количество спичек, так что высокооплачиваемым государственным и частным экспертам придется еще решить, можно ли включить эти лишние тринадцать — шестнадцать спичек в не облагаемые налогом профессиональные издержки авт.). За алтарем авт. обнаружил странную розовато-сиреневую глянцевитую труху явно растительного происхождения — скорее всего, рассыпавшийся в прах вереск. А происхождение предмета дамского туалета, который женщины обычно носят под платьем или пуловером на верхней части туловища, объяснил смущенному авт. Грундч, который поджидал авт. снаружи, с наслаждением посасывая трубку. «Что ж тут такого,— наверное, оставила какая-нибудь парочка — из тех, что забредают изредка на кладбище: нет у них ни кола ни двора, денег на гостиницу тоже нет, а покойников они не боятся». Прогулка по кладбищу получилась приятной и долгой, а прохладная погода так и располагала к тому, чтобы завершить вечер вишневой наливкой в домике Грундча.

«Что тут говорить,— начал свой рассказ Грундч,— конечно, у меня нервы сдали, когда я услышал, что у меня на родине идут тяжелые бои; вот я и решил дернуть туда, чтобы хоть мать повидать, а то и помочь. Ей было тогда под восемьдесят, а я ее за двадцать лет ни разу не навестил; и если она всю жизнь смотрела в рот попам, то не ее в том вина, а вина известных порядков (хихиканье). Безумная была затея, но я все же дернул на родину, да здорово опоздал: понадеялся на свое знание местности. В детстве я пас коров и по лесным тропинкам да опушкам доходил иногда аж до белых и красных песчаных наносов. Но эти кретины сцапали меня сразу за Дюреном, сунули мне в руки ружье и на-рукавную повязку и послали в лес с выводком сопляков — так сказать, на разведку, смешно. Что ж, дело знакомое, нанюхался этого дерьма еще в первую мировую. Взял ребятишек и пошел; но мое знание местности не пригодилось — не было ее, этой местности: одни воронки, пни да мины. И если бы американцы не сцапали нас вскорости, от нас бы только мокрое место осталось,— те-то знали, какие дороги не заминированы. По крайности, хоть мои мальчишки уцелели, да и я тоже, хотя, по правде сказать, отпустили меня не сразу, пришлось-таки четыре месяца посидеть у них в лагере — голодал и холодал, валялся в палатке и зарастал грязью; да, хорошего было мало, но зато ревматизм как рукой сняло. А матери я так и не повидал — ее пристрелил какой-то скот немец за то, что белый флаг вывесила. Деревушка некоторое время переходила из рук в руки — то американцы, то *germans*¹, а покидать насиженное гнездо старуха не захотела. И вот эти *germans* прошили мою восьмидесятилетнюю родительницу очередью из автомата — небось те самые сукины дети, которым теперь ставят памятники. А попы и по сей день пикнуть не смеют против этих дерьмовых памятников. Да что там говорить, к июню, когда американцы наконец отпустили меня на все четыре стороны, я совсем уже дошел до ручки. А освобождали тогда одних крестьян. И втереться в их компанию тоже оказалось нелегким делом, хотя мое ремесло фактически и связано с землей. Дело в том, что эту новость — насчет крестьян — сидевшие в лагере кольпинговцы (есть такая христианская организация) держали от всех в секрете и сообщали ее только своим.

¹ Немцы (англ.).

Ну, я сделал ставку на этого Кольпинга, изобразил истово верующего, пробормотал две-три молитвы и таким манером уже в июне вышел на свободу. Дома меня ожидал приятный сюрприз: Хельтхоне все эти месяцы пользовалась моими теплицами и передала мне мое имущество в наилучшем виде — везде порядок лучше некуда, — и аренду выплатила честь честью. Этого я ей никогда не забуду и по сей день продаю ей цветы по себестоимости. А у меня Вальтер не стал просить справку о непричастности — чуял, что я бы заставил его попотеть от страха и пару месяцев посидеть за решеткой, — ведь этот пройдоха за все трудные времена не получил ни единой царапины. Пускай бы немного побарахтался, так сказать, в лечебных целях: ему бы не повредило. Однако и он встретил меня по-хорошему, расширил мой участок земли и дал мне немного взаймы, чтобы я мог наконец открыть собственное дело. Часть постоянных клиентов он тоже передал мне и щедро поделился семенами. Но полгода посидеть в каком-нибудь заведении вроде лагеря пошло бы ему только на пользу».

Авт. побыл у Грундча еще некоторое время (часа полтора) и не заметил у старика ни намёка на желание прослезиться: тот помалкивал с самым благодушным видом. В его комнатке было очень уютно, на столе стояли пиво и вишневая наливка, а главное — здесь можно было курить сколько душе угодно, в то время как на кладбище Грундч пресек попытку авт. закурить («Сигаретку здесь видно за километр»). Провожая авт. по осклизлым дорожкам к выходу с кладбища, Грундч вдруг заговорил — не то чтобы сквозь слезы, но все же очень прочувствованно: «Нужно сделать все, чтобы вызволить из тюрьмы сынишку Лени, этого Льва. Ведь он просто наглупил по молодости лет. Решил, видите ли, лично посчитаться с этими мерзавцами Хойзерами, обидевшими его мать. А парень он что надо, из того же теста, что мать и отец. Как-никак, он и родился там, где я теперь живу, и три года у меня проработал — до того, как перешел сперва в отдел кладбищ, а потом в управление по очистке улиц. Парень что надо и совсем не такой молчальник, как его мать. Надо ему помочь. Помню, он еще ребенком играл тут, когда Лени приходила сюда в горячие месяцы помогать — сперва Пельцеру, потом мне. Если будет надо, я мог бы спрятать мальчика здесь, на кладбище, где прятался и его отец. Тут его ни одна

живая душа не найдет, а склепов и подземелий он, в отличие от меня, не боится».

Авт. тепло попрощался с Грундчем и обещал его еще навестить; обещание это он намерен сдерживать; кроме того, он пообещал «намекнуть насчет кладбища», как выразился Грундч, молодому Груйтену, как только тому удастся выйти из тюрьмы. «Скажите ему, — крикнул Грундч уже вдогонку авт., — что у меня всегда найдется для него чашка кофе, тарелка супа и курица. Всегда!»

Здесь авт. считает уместным свести воедино немногие дошедшие до него доподлинные высказывания Лени: «готова пойти на панель» (чтобы спасти рояль от конфискации за долги)

«одушевленные существа» (в космосе)

«рискованный танец» (с Х. Х.)

«хочу в свое время быть похороненной в нем» (о купальном халате)

«Черт побери, что это из меня вылезает?» (ребенком, глядя на свои экскременты)

«совершенно отрешенно распростершись на траве»; «открыта»; ощущение, что ее «берут»; что она «отдается» (на лужайке, поросшей вереском)

«Ну пожалуйста, пожалуйста, дайте мне этот хлеб жизни! Почему я должна так долго ждать?» (высказывание, приведшее к отстранению от первого причастия)

«И вот сунули мне в рот этот блеклый, крохотный, сухой, абсолютно безвкусный кусок. Да я его чуть не выплюнула» (в связи с состоявшейся конфирмацией)

«мышечное упражнение» (в связи с ее «безбумажностью», то есть способностью обходиться без туалетной бумаги после испражнений)

(мужчина), «которого она полюбит и которому отдастся безоглядно»: «смелые ласки, чтобы он радовался мне, а я ему» (по отношению к ее «единственному»)

«У этого парня неласковые руки» (после первого любовного свидания)

«чтобы спокойно немного поплакать в темноте» (о посещениях кинотеатров)

«такой милый, такой ужасно милый и добрый» (о брате Генрихе)

«робела перед ним из-за его образованности» (о брате Генрихе)

«очень удивилась, потому что он был такой милый, просто ужасно милый» (о брате Генрихе)

«худобедно, держался на плаву», (зарабатывая) «на металлическом ломе из развалин» (о своем отце после 1945 года)

«Лотта, вероятно, была тогда для отца сущим искушением; при этом я вовсе не хочу сказать, что она была *искусительницей*» (о Лотте Х.)

«беда, беда, беда» (о семейном кофе с участием брата Г.)

«Наши поэты были самыми смелыми ассенизаторами» (прочистив *своей рукой* засорившийся унитаз в квартире М. и обращаясь к Г. и Э.)

(Это) «может и должно произойти не в постели». «Только под открытым небом. Только под небом. Вместе лечь в постель — вовсе не то, что мне надо» (рассуждения в присутствии Маргарет о процессе, обычно называемом половым актом)

«И тогда Алоис для меня умер — умер раньше, чем его убили» (о своем муже А. П. в связи с тем, что он принудил ее к вышеупомянутому процессу)

«Она угасла, умерла от голода, хотя в последнее время я каждый раз приносила ей что-нибудь из еды, и когда она умерла, они закопали ее в саду, просто так, без надгробья и прочего; приехав, я сразу почувствовала, что ее уже нет, а Шойкенс мне сказал: «Нет смысла, фройляйн, нет смысла туда ходить... Не станете же вы раскапывать руками землю». Тогда я пошла к настоятельнице и стала упорно ее расспрашивать, что с Рахилью; мне ответили, мол, уехала, а когда я спросила, куда, настоятельница вдруг перепугалась и сказала: «Дитя мое, в своем ли вы уме?» (о смерти Рахили)

«невыносимо» (о близости с А.)

«тошнит от одного вида этих куч новеньких банкнот» (о своей службе в конторе отца во время войны)

«месть» (как предположительный мотив манипуляций отца с мертвыми душами)

«вспыхнула страстная любовь» (о первом наложении руки на руку Бориса)

«испытала блаженство куда более острое, чем то, что однажды охватило меня на вереске, — я тебе об этом случае рассказывала» (см. выше)

«как раз в этот момент проклятая пальба на кладбище достигла своего апогея» (в момент объяснения Бориса в любви)

«переспать» (в разговоре с Маргарет о процессе, обычно обозначаемом более грубым словом)

«Знаешь, мне повсюду мерещатся таблички с надписью: «Осторожно, опасно для жизни!» (о ситуации, в которой она оказалась после первого любовного свидания с Борисом)

«А зачем мне ее знать? (о фамилии Бориса). Для чего? Нам надо было сообщить друг другу гораздо более важные вещи. Я сказала ему, что моя фамилия Груйтен, а не Пфайфер, как значится в документах» (слова Лени, сказанные Маргарет о разговоре с Борисом)

(Американцы) «топчутся на одном месте» (в разговоре с Маргарет)

«Там от силы восемьдесят — девяносто километров, чего они тянут» (см. выше)

«Почему они не прилетают днем? Когда же опять прилетят среди дня? И почему американцы топчутся на одном месте? За столько времени никак до нас не дойдут; тут ведь рукой подать» (о бомбежках американцев и об их слишком медленном, по мнению Лени, продвижении)

«Благословенный месяц» или «месяц Божьего благословения» (в связи с октябрём сорок четвертого года, когда было много дневных налетов, позволивших Лени встретиться с Борисом в часовне склепа)

«Этим я обязана Рахили и Божьей Матери. Они помнят, что я их люблю» (связано с тем же месяцем)

«Оба они поэты, если хочешь знать, оба» (о Борисе и Эрхарде)

«Пора, давно пора, сколько времени потратили понапрасну» (опять о продвижении американцев)

(о том, чтобы переспать) «не могло быть и речи» (Лени в период беременности)

IX

Авт. с удовольствием опустил бы тот эпизод из жизни Лени, о котором уже бегло сообщали некоторые свидетели, а именно: о непродолжительной политической деятельности Лени после 1945 года. В этом пункте авт. теряет не столько силу воображения, сколько просто-напросто способность поверить услышанному. Имеет ли он право усомниться в том, о чем неопровержимо свиде-

тельствуют факты? Столь излюбленная в среде профессиональных и непрофессиональных литераторов дилемма, мучающая любого сочинителя, встает здесь перед авт. со всей остротой. Что Лени не безразлична к политике, засвидетельствовано Гансом и Гретой Хельцен, частенько проводящими вместе с Лени часок-другой перед телевизором, причем засвидетельствовано столь доказательно, что их слова не взялся бы опровергнуть ни юрист, ни репортер. Оба супруга (почти два года вместе с Лени смотревшие передачи по ее черно-белому телевизору) упорно приводят собственные слова Лени: «Больше всего я люблю смотреть на лица людей, которые говорят о политике» (одно из редких дословных высказываний Лени!). Суждения Лени о Барцеле, Кизингере и Штраусе авт. не решается здесь воспроизвести: это могло бы ему дорого обойтись. Он просто не может себе этого позволить и находится по отношению к этим троим в том же положении, что и по отношению к высокопоставленному лицу (см. выше). Он, то есть авт., мог бы свести свою роль к чисто репортерским обязанностям, привести дословные высказывания Лени по их адресу, взвалить на нее всю ответственность, даже поставить ее перед судом; и хотя он уверен, что Лени не подведет ни его, ни Хельценов, он все же предпочитает ограничиться намеками и воздержаться от прямого цитирования. А причина весьма проста: авт. совсем не хочется увидеть Лени на скамье подсудимых. Авт. считает, что у Лени и без того хватает неприятностей: ее единственный и горячо любимый сын в тюрьме, в последнее время над роялем опять нависла угроза конфискации; она боится или нервничает, подозревая, что «понесла» от турка (Лени в разговоре с Гансом и Гретой Х.), из чего явствует, что в физиологическом отношении у Лени до сих пор бывает то самое, что у всех женщин; угроза отправить ее в душегубку (неизвестно, правда, насколько она реальна), высказанная живущим по соседству чиновником-пенсионером, несколько раз тщетно пытавшимся склонить Лени к сожительству (грубые приставания в темном подъезде, заигрывания в булочной, эксгибиционистский акт — также в темном подъезде); обступившие ее со всех сторон судебные исполнители, грозящие немедленной конфискацией всего имущества, сквозь которых «не пробьешься и с помощью мачете» (Лотта Х.). Так что же — заставить ее еще и в суде повторить те уничтожающие, удивительно выразительные (в литературном отно-

шении) характеристики Барцеля, Кизингера и Штрауса? На этот вопрос можно ответить лишь одно: нет, нет и нет.

Ну, а теперь скажем без обиняков: да, Лени «состояла» в Коммунистической партии Германии (подтверждают слово в слово Лотта Х., Маргарет, Хойзер-старший, М. в. Д. и бывший функционер этой партии). Всем известно, что на афишах часто пишется «С участием...» и далее следуют имена знаменитостей, которые никогда не появляются на сцене, которых и не думали приглашать или же они ответили отказом, и упоминают их имена просто для заманивания зрителей. Считалось ли, что Лени послужит приманкой? Очевидно, считалось, хоть и ошибочно. Бывший функционер, ныне арендующий газетный киоск на бойком месте в деловом квартале, человек лет пятидесяти пяти, весьма располагающий к себе — во всяком случае, так показалось авт. — и разочарованный, чтобы не сказать желчный (себя он назвал человеком «68-х» и на просьбу авт. немного пояснить, что это значит, ответил: «С 1968 года я больше не участвую. С меня хватит»). Бывший функционер, так же как и высокопоставленное лицо, пожелал остаться неизвестным, а его рассказ, приведенный ниже в виде связного текста, на самом деле все время прерывался покупателями. Таким образом, авт. невольно стал свидетелем весьма своеобразного стиля торговли бывшего функционера: за каких-нибудь полчаса он минимум раз четырнадцать — пятнадцать возмущенно или даже грубо ронял сквозь зубы: «Порнографию не держим». Даже относительно безобидные печатные издания, например, бульварные листки, серьезные и несерьезные ежедневные газеты, а также иллюстрированные еженедельники почти или среднебезобидные киоскер продавал, как показалось авт., чрезвычайно неохотно. Осторожный вопрос авт., не подорвет ли такой стиль торговли рентабельность киоска, бывший функционер парировал словами: «Как только получу инвалидную пенсию, тут же прикрою эту лавочку. Сейчас-то мне выплачивают лишь мизерную компенсацию, как жертве фашизма; при назначении ее мне ясно дали понять, что они бы предпочли, чтобы я в свое время загнулся и не вводил их в лишние расходы. Ну, эту, с позволения сказать, прессу, это лживое буржуазное словоблудие, эту растленную порноимпериалистическую пропаганду я продавать не стану,

хотя кое-кто и старается меня принудить: дескать, «газетный киоск, расположенный в таком престижном месте, обязан предоставлять своим потенциальным покупателям весь набор периодических изданий, которым в данное время располагает торговля». Это я цитирую запрос депутата городского совета от ХДС. Нет, со мной этот номер не пройдет. Пускай продают это дерьмо там, где ему самое место: на церковной паперти, вкуче с желтыми клерикальными листками и ханжескими журнальчиками, проповедующими чистоту нравов. Нет, со мной у них ничего не выйдет. Ни у Наннена или Киндлера, ни у Паннена или Шиндлера! Пускай бойкотируют, пускай подозревают во всех смертных грехах. Я все равно буду проводить свою собственную цензуру. А их дерьмовую буржуазную демагогию продавать не буду. Лучше сложну». Для полноты характеристики бывшего функционера следовало бы, вероятно, отметить, что он курил одну сигарету за другой, что его цвет лица и глаза свидетельствовали о застарелой болезни печени, что его густые волосы были сильно подернуты сединой, что он носил очки с толстыми стеклами, руки его немного дрожали, а лицо выражало такое яростное презрение ко всему на свете, что авт. никак не мог отделаться от мысли, что это презрение распространялось и на него. «Я бы должен был своим умом дойти до всего еще тогда, когда вишийские фашисты выудили Вернера, мужа Ильзы Кремер, из лагеря во Франции и выдали его нашим гестаповцам, о чем я узнал, правда, позднее. Какой мерой измерить муки, которые нам пришлось пережить в те полтора года, когда действовал пакт между Сталиным и Гитлером! Ну, Вернера они, само собой, расстреляли, а среди нашего брата пустили слух, будто Вернер — предатель, перекинулся к фашистам, а с предателями вполне допустимо расправляться руками фашистов. «Чтобы очистить наши ряды от фашистов, выдавайте их фашистам как шпионов и изменников родины!» Мол, пролетариат не станет марать руки их кровью. Красиво получается! И в эту чушь я верил вплоть до шестьдесят восьмого года. А теперь хватит. Со мной этот номер больше не пройдет. Мне надо было бы послушаться совета Ильзы еще в сорок пятом. Я этого не сделал, я еще двадцать три года продолжал работать в партии, легально и нелегально, при том что меня всячески допекали, арестовывали, выслеживали и высмеивали. Нет, с меня довольно. Как прикрою эту лавочку, уеду

в Италию, где, может, еще остались порядочные люди и хоть горстка не таких лизоблюдов, как мы. А эта история с Лени Пфайфер, вернее — с дочкой Груйтена, мне уже тогда не понравилась, хотя в те годы я еще был догматиком почище любого кардинала. Что мы о ней знали? Что она полюбила офицера Красной Армии, рискуя жизнью, снабжала его провизией, географическими картами, газетами, сведениями о положении на фронтах, что она даже имеет от него ребенка и назвала его русским именем Лев. Мы решили выставить ее в несколько ином свете, сделать из нее идейного борца. Знаете, чему она научилась у этого офицера? Молиться! Просто в голове не укладывалось! Ну, женщина она была привлекательная, просто писаная красавица, и нам выгодно было ее присутствие на наших жалких сборищах, — ведь нам приходилось как-то оправдывать те безобразия, которые творила в Восточной Пруссии и еще кое-где армия государства, считавшегося родиной социализма. Что бы мне было прислушаться к словам Ильзы: «Фриц, пойми же наконец, нельзя больше закрывать на все это глаза, нельзя. Получилось совсем не то, за что мы боролись в двадцать восьмом; тогда по каким-то тактическим соображениям еще приходилось держать сторону Тэдди Тельмана. Имей мужество признаться, что Гинденбург фактически победил и в сорок пятом. И оставьте в покое эту милую женщину, вы только накликаете на нее беду без всякой пользы для себя». Однако соблазн был велик — Лени была простая работница, даже разнорабочая, хотя и из разорившейся буржуазной семьи. И мы таки уговорили ее несколько раз пройти по городу в наших рядах с красным знаменем в руках; правда, для этого ее пришлось чуть ли не подпоить — уж больно робкая она оказалась. И еще несколько раз она очень эффектно сидела в президиуме, когда я выступал с речью. Мне и сейчас тошно вспоминать» (серовато-желтое лицо Фрица вдруг заметно потемнело. Значит ли это, что он покраснел? Авт. не берется ответить на этот вопрос. Кстати, имя «Фриц» — выдуманное; настоящее имя «Фрица» авт. известно). «Натура у Лени была истинно пролетарская: она была совершенно не способна перенять буржуазный образ мыслей, тем паче — блюсти свою выгоду в практических делах. Но Ильза оказалась права: Лени мы навредили и себе никакой пользы не принесли, потому что в те считанные разы, когда она согласилась дать интервью газетчикам,

на все их вопросы о Борисе и о том, чему она научилась у него «в подполье», она неизменно отвечала: «Молиться». Это было единственное слово, которое им удалось из нее вытянуть. Так что для реакционной прессы Лени была просто находкой! Эти писаки, конечно, не удержались и дали заголовок крупным шрифтом: «Учитесь молиться вместе с КПГ! Блондинка в духе Делакруа — троянский конь коммунистов!» Дело в том, что Лени, даже не знаю когда, действительно вступила в КПГ, а потом не удосужилась из нее выйти; когда партию запретили, к ней тут же нагрянули. Ну, тут уж Лени просто из духа противоречия — «тем более», как она выразилась, — не захотела выходить из КПГ, а когда я ее однажды спросил, почему она в свое время помогала нам, она ответила: «Потому что в Советском Союзе бывают такие люди, как Борис». С ума можно сойти, как подумаешь, что она, хоть и очень кружным путем, но действительно пришла к нам, а вот мы... Мы к ней не пришли. Потому-то у меня в голове все и перевернулось вверх тормашками: я понял, что именно по этой причине пролетарское движение в Западной Европе терпит крах. Давайте лучше оставим эту тему. Я вот собираюсь в Италию, и мне больно слышать, что Лени так плохо живет. Обо мне ей, наверное, не очень-то хочется вспоминать, а то я бы попросил вас передать ей привет. Да, мне надо было послушаться Ильзы и старого Груйтена, отца Лени: когда Лени маршировала по городу с красным знаменем, он только смеялся... Смеялся и сокрушенно качал головой».

К сказанному следует, вероятно, еще добавить, что во время беседы Фриц и авт. попеременно угощали друг друга сигаретами и что Фриц прямо-таки упивался нескрываемым презрением к продаваемым им буржуазным газетам. Он швырял их таким жестом и с таким видом, что мало-мальски обидчивый покупатель мог бы счесть все это за личное оскорбление. Сам Фриц прокомментировал свою торговлю так: «Ну вот, теперь пойдут домой хлебать это пойло, эту дешевую реакционную стряпню, в которой — даже при чтении — так и слышишь вполне заслуженное, впрочем, пренебрежение газетчиков к этим всеядным животным. Ведь они жрут все подряд — секс и гашиш — так же, как раньше жрали поповские бредни, и так же послушно носят то мини, то макси, как раньше носили скромные строгие блузки. Я дам вам хороший совет: голосуйте за Барцеля или Кепплера — при них получите либеральное хлебово, по крайней мере, из пер-

вых рук. А я... Я буду изучать итальянский — единственный достойный человека язык. И моим девизом будет: «Гашиш — опиум для народа».

Авт., у которого буквально камень с души свалился, когда ему удалось, хоть и не до конца, уяснить для себя этот неприятный эпизод в жизни Лени, потерпел, однако, полное фиаско, попытавшись обратиться за дальнейшими разъяснениями к другим свидетелям этого эпизода, — уже в дверях дома или квартиры его сразу огорошивали вопросом: «Вы «за» или «против» 1968 года?» Поскольку авт., раздираемый самыми различными мотивами и колеблющийся между самыми различными чувствами, не тотчас, во всяком случае — не с первого раза, сообразил, почему это он должен быть «за» или «против» целого года XX века, он стал прикидывать так и этак и в конце концов решился — в чем чистосердечно признается — просто из духа противоречия ответить «нет». В результате все эти двери закрылись для него навсегда. Однако ему удалось разыскать в одном из архивов ту газету, которую Фриц цитировал, рассказывая о Лени. Это была религиозная газета 1946 года издания, цитата, приведенная Фрицем, оказалась «дословно точной» (авт.). Кроме того, весьма интересными и потому достойными упоминания оказались две вещи: текст самой статьи и фотография к ней, запечатлевшая трибуну, украшенную флагами и эмблемами КПГ; на переднем плане виден Фриц в позе взятого оратора — он поразительно молод, на вид ему лет двадцать пять — тридцать; и без очков; на заднем плане видна Лени, держащая в руке флажок с эмблемой СССР как бы над головой Фрица. В памяти авт. живо всплыла картина церковного ритуала, предписывающего склонять хоругви в наиболее торжественный момент литургии. Лени на этой фотографии произвела на авт. двойственное впечатление: и привлекательна, и неуместна, чтобы не сказать фальшива (у авт. едва поворачивается язык сказать такое). Авт. так бы хотелось силой своего пылающего гневом взгляда, сконцентрированного в одну точку фантастической линзой небывалой силы, выжечь со снимка лицо Лени. К счастью, газетный отпечаток столь нечеток, что узнать Лени можно, только будучи в курсе дела; остается надеяться, что в каком-то другом архиве не хранится негатив этого снимка. Саму же статью стоит, вероятно,

привести здесь целиком. Под уже процитированным выше заголовком следовал такой текст: «Молодая женщина, получившая христианское воспитание, научилась молиться у красного варвара. Трудно поверить, но это факт: молодая женщина, которую не знаешь, как правильнее именовать — то ли фройляйн Г., то ли фрау П., — уверяет, что вновь научилась молиться в результате встречи с солдатом Красной Армии. Она — мать внебрачного ребенка, чьим отцом с гордостью называет этого советского солдата, с которым вступила в столь же тайную, сколь и незаконную половую связь спустя всего два года после гибели ее законного супруга на родине отца ее незаконного ребенка. И эта женщина не стыдится агитировать нас за Сталина! Нет нужды призывать наших читателей не поддаваться на такие провокации. Но, вероятно, никому не покажется неуместным такой вопрос: не следует ли некоторые формы псевдонаивности расценивать как формы политической преступности? Ведь всем известно, где именно учат молиться: на уроках Закона Божьего и в церкви. Всем известно также, за что именно мы молимся: мы молимся за весь христианский мир. И, может быть, кто-то из наших читателей, задумавшись о судьбе этой женщины, вознесет молитву к Всевышнему, дабы ниспослал Он Свою благодать заблудшей фройляйн Г. (она же фрау П.)? Душа ее очень нуждается в Его милости. И все же глубоко верующий доктор Аденауэр для нас куда более убедительный пример благочестия, чем эта обманутая, а возможно, и психически неуравновешенная фрау (фройляйн?), происходящая, как говорят, из порядочной, но совершенно опустившейся семьи». Авт. горячо надеется, что Лени в ту пору столь же нерегулярно читала газеты, как нынче. Ему (авт.) было бы крайне неприятно видеть Лени поруганной в столь возвышенном христианском стиле (слово «возвышенный» авт. употребляет намеренно).

За это же время авт. убедился в достоверности еще одной важной детали: палочки, которыми Мария ван Доорн в свое время вела счет упоминаниям слова «честь» в речи Пфайферов, приехавших к Груйтенам сватать Лени за своего Алоиса, обнаружены на дверной фрамуге Гретой Хельцен: это слово действительно было произнесено шестьдесят раз. Данный факт доказывает сразу две

вещи: во-первых, на показания М. в. Д. вполне можно положиться; во-вторых, двери в квартире Лени не красились в течение тридцати лет.

Авт. удалось также установить значение странного слова «житхристье», затратив для этого немало усилий (оказавшихся, впрочем, бесполезными). Он предпринял несколько (тщетных) попыток выяснить значение этого слова у молодых клириков, ибо слово это, хоть и напоминающее по звучанию «жидкость», упомянуто было, однако, чрезвычайно надежной свидетельницей, бабушкой Коммер, и разговор касался церкви. Итак, первая попытка кончилась неудачей. Многочисленные телефонные переговоры с деятелями церковных учреждений, поначалу (совершенно беспричинно) принимавшими вопрос авт. за розыгрыш и лишь затем весьма неохотно и недоверчиво соглашавшимися выслушать контекст употребления этого слова, проявляли полное безразличие к филологическим изысканиям авт. и попросту вешали трубку (либо клали ее на рычаг). В конце концов авт., окончательно выведенного из себя тщетностью этих попыток, осенила счастливая мысль, которая вполне могла бы прийти ему в голову и раньше: спросить значение непонятого слова у М. в. Д., поскольку услышано оно было им в треугольнике Верпен — Тольцем — Люссемих, то есть в ее родных местах. И Мария без малейшего колебания пояснила, что на местном диалекте это слово означает «Житие Христа»: «Так у нас называют дополнительные уроки Слова Божьего для детей; состоятся они в церкви, и мы, взрослые, тоже их иногда посещали, чтобы освежить свои знания. Но проводились эти уроки обычно по воскресеньям, часа в три, а мы в это время после сытного обеда заваливались спать» (М. в. Д.). Видимо, речь идет о католическом варианте лютеранской «воскресной школы».

Авт. (и без того временно отложивший свои розыски из-за боксерского матча Клей — Фрэйзер) теперь испытывал тяжкие сомнения, вызванные исключительно финансовой стороной его расследований и связанные с этим ущербом, наносимым им финансовому ведомству; другими словами: вправе ли он предпринять поездку в Рим, чтобы попытаться найти какие-то материалы о жизненном пути Гаруспики в главном архиве ее орде-

на? Встречи авт. с отцами иезуитами во Фрейбурге и Риме были хоть и интересными в чисто человеческом отношении, но связанные с этими встречами расходы, включая стоимость телеграмм, телефонных разговоров, почтовых отправок и железнодорожных билетов, с точки зрения проводимых авт. изысканий оказались, безусловно, напрасной тратой средств. Они не дали авт. почти ничего, если не считать подаренного ему лично образка с изображением какого-то святого. В то же время визиты к Маргарет, страдающей расстройством эндокринной и экзокринной системы, стоили авт. какие-то пустяки: он покупал то букетик цветов, то плоскую бутылочку джина, то пачку сигарет; он даже не брал такси, считая, что пройтись пешком будет ему куда полезней,— эти визиты дали авт. возможность выяснить целый ряд весьма существенных и неожиданных подробностей о Генрихе Груйтене. Помимо налоговых соображений авт. смущали и чисто личные: не причинит ли он своим визитом в Рим неприятностей милейшей сестре Цецилии, не поставит ли в неловкое положение сестру Сапиенцию и не повлечет ли этот визит перевод в другое место Альфреда Шойкенса.— правда, не вызывающего у авт. особых симпатий?

Чтобы спокойно обдумать все эти проблемы, авт. отправился на север, в низовья Рейна; ехал он в вагоне второго класса, в поезде без вагона-ресторана и даже без буфета с напитками. Он миновал город паломников Кевелар, миновал родину Зигфрида, вслед за тем город, где Лоэнгрин пережил нервный срыв, потом сел в такси и, отъехав еще пять километров в сторону от железной дороги мимо родных мест Йозефа Бейса, вылез из такси в какой-то деревушке, уже очень похожей на голландскую. Утомленный почти трехчасовой ездой в неудобном поезде и в такси, даже немного раздраженный, авт. решил сперва подкрепиться в закусочной, где весьма приятная блондинка любезно предложила ему жареный картофель из фритюрницы, салат под майонезом и горячие котлеты, а кофе порекомендовала пить в трактире напротив. Окрестности были затянуты плотным туманом, видимость как в парной, и у авт. мелькнула мысль, что Зигфрид во время оно не проскакал в Вормс через этот самый Нифельхайм, а именно отсюда и тронулся. В трактире было тепло и тихо; заспанный хозяин потчевал хлебной водкой двух таких же заспанных посетителей, авт. он тоже налил большую рюмку водки,

заметив: «По такой погоде самое лучшее средство от простуды, да и жареную картошку с салатом лучше всего ею запивать», после чего повернулся к своим полусонным гостям и продолжил беседу с ними на местном гортанном диалекте, похожем на выговор голландских колонистов в Индонезии. Хотя авт. удалился от места отправления на какую-то сотню километров, он показался сам себе уроженцем иных, южных широт. Авт. пришлось по душе, что ни заспанные посетители, ни сам трактирщик, пододвинувший авт. вторую рюмку, не проявляли особого интереса к его особе. Главной темой их беседы была церковь, по-местному «кирка», как в конкретном — архитектурном и организационном смысле, так и в абстрактном, чуть ли не метафизическом. Они часто покачивали головами, что-то невнятное бормотали себе под нос, иногда можно было разобрать загадочное слово «паапен» — по всей видимости, не имевшее никакого отношения к злополучному рейхсканцлеру: эти достойные люди вряд ли сочли бы его достойным упоминания. Не мог ли кто-то из этой теплой компании, удивительным образом не заводившей разговора о войне (как-никак, все трое — немцы и сидят, как-никак, в трактире), случайно знать Альфреда Бульхорста? А вдруг и все трое? Ведь возможно или даже вполне вероятно, что они учились с ним в одном классе, а в субботу, только что выкупавшись, с еще не просохшими прилизанными волосами, вместе спешили в церковь на исповедь, в воскресное утро ходили на церковную службу, а после обеда — на те уроки Слова Божьего, которые чуть южнее называют «житхристье», вместе съезжали в деревянных сабо с ледяных горок, изредка совершали набеги в Кевелар и контрабандой притаскивали из Голландии сигареты? Судя по возрасту, они должны были или могли бы знать того, кто в конце сорок четвертого года после ампутации обеих ног отдал Богу душу в госпитале, где работала Маргарет и чью солдатскую книжку пришлось изъять, дабы — хотя бы на время — узаконить существование некоего советского военнопленного. От третьей рюмки авт. отказался и попросил кофе, опасаясь всерьез уснуть в приятной, усыпляющей атмосфере трактира. Не в такой ли туманный день Лознгрин пережил здесь, в Нифельхайме, нервный срыв, услышав из уст Эльзы злополучный вопрос? Не здесь ли взошел на челн, влекомый лебедем, чье изображение благодарные потомки не постеснялись использовать для этикетки марга-

рина? Кофе был очень хорош; подававшая его женщина лишь просунула в приоткрытую дверь из кухни подносик с кофейником и молочником, так что авт. успел заметить только ее полные розовато-белые руки; хозяин щедро насыпал на блюдце горку сахара, а в молочнике вместо молока оказались сливки. В голосах собеседников, все еще приглушенных, теперь слышались сердитые нотки; слова «кирка» и «паапен» попадались по-прежнему. Почему, ну почему Альфред Бульхорст не родился тремя километрами западнее? А если бы родился западнее — чью солдатскую книжку украла бы в тот день Маргарет для Бориса?

Подкрепившись немного, авт. первым делом направился в церковь: он решил воспользоваться мемориальной доской с именами павших как адресной книгой. В списке павших числились четыре Бульхорста, и только один из них звался Альфредом; смерть этого двадцатидвухлетнего Альфреда была датирована не 1944, а 1945 годом. Что за наваждение! Может, здесь тоже получились двойные похороны — как в случае с Кайпером, вместо которого во второй раз был похоронен уже Шлёмер? Пономарь, который как раз в эту минуту, без смущения попыхивая трубкой, появился на пороге ризницы, чтобы произвести необходимые приготовления к службе, — по полу церкви были разостланы не то зеленые, не то фиолетовые или красные полотнища, — оказался в курсе дела. Поскольку авт. совершенно не способен лгать или присочинять (его мучительную для него самого педантичную приверженность к фактам, читатель, вероятно, уже успел заметить), то он в крайнем смущении пробормотал нечто невразумительное о том, что во время войны встречал некоего Альфреда Бульхорста. Пономарь выслушал все это без особого доверия, но и без тени подозрительности — и тут же поведал авт., что «их» Альфред погиб от несчастного случая на шахте, находясь в плену у французов, и похоронен в Лотарингии; что уход за его могилой родственники покойного поручили садоводству в Сент-Авольде и что невеста Бульхорста — «милое прелестное создание со светлыми волосами, красавица и умница» — приняла постриг, а родители Альфреда до сих пор безутешно оплакивают сына — в особенности из-за того, что он погиб, когда война уже кончилась. До войны Альфред работал на маргариновой фабрике, парень он был добрый и смирный и в солдаты пошел без всякой

охоты. А где, собственно, встречался с ним авт.? Все еще без тени подозрительности, но уже с некоторым любопытством лысый пономарь так пристально взглянул на авт., что тот, быстренько присев на одно колено, наскоро попрощался и поспешил убраться из церкви. Авт. вовсе не по душе было вносить коррективы в дату смерти Альфреда, не по душе ему было и открывать глаза его родителям на то, что они ухаживают за могилой, в которой погребены бранные останки русского, — вовсе не потому, что он, авт., считает эти бранные останки не достойными забот. Отнюдь! Просто он понимает, что людям необходимо думать, что в могиле лежит именно тот, о ком они горюют. Однако больше всего авт. встревожило другое: неужели немецкая бюрократическая машина, ведающая смертями и похоронами, на этот раз дала сбой? Уму непостижимо! Однако ведь и пономарю поведение авт. тоже, наверное, показалось непостижимым.

Не стоит описывать, с каким трудом авт. нашел такси, как долго ждал поезда в Клеве, а потом почти три часа тащился в крайне некомфортабельном поезде, проходившем опять через те же Ксантен и Кевелар.

Маргарет, которую авт. навестил в тот же вечер и попросил уточнить все, что связано со смертью Бульхорста, поклялась «всеми святыми», что этот Бульхорст — белокурый и грустный парень без обеих ног — умер у нее на руках; перед смертью очень просил позвать священника. Но она, прежде чем сообщить о его кончине, помчалась в канцелярию, где уже никого не было, открыла заранее подобранным ключом шкаф, вынула солдатскую книжку умершего, сунула себе в сумочку и лишь после этого сообщила о смерти Альфреда. Да, Бульхорст рассказывал ей о своей невесте, красивой и тихой белокурой девушке, назвал и родную деревню — ту самую, которую авт. посетил ради выяснения истины и претерпел столько неудобств; однако весьма возможно, что в спешке — Бульхорст умер перед самой эвакуацией — не успели выполнить все «формальности», то есть похоронить-то его, конечно, похоронили, но забыли послать родным похоронку.

Здесь сам собой напрашивается вопрос: неужели немецкая бюрократическая машина на сей раз действительно дала сбой? Можно поставить вопрос и по-другому: не следовало ли авт. заявиться к родителям Бульхор-

ста и выложить им всю правду насчет останков, покоящихся в могиле, на которой по их поручению в День всех святых каждый год высаживают вереск или анютины глазки, и спросить, неужели они ни разу не заметили большого букета красных роз, который Лени и ее сын Лев, время от времени наведываясь на кладбище в Сент-Авольде, кладут на могилу? А вдруг старики показали бы ему ту красную, отпечатанную типографским способом открытку, заполненную Борисом, в которой он сообщал, что жив-здоров и находится в плену у американцев? Эти вопросы остаются открытыми. Отнюдь не все на свете можно выяснять. И авт. чистосердечно признается, что под испытующе-недоверчивым взглядом пономаря в нижнерейнской, почти уже нидерландской деревне недалеко от Ньимвегена он — подобно Эльзе Брабантской или Лоэнгрину — испытал нечто вроде нервного срыва.

Совершенно неожиданно для авт. ему удалось выяснить, хоть и не до конца, многие обстоятельства жизни Гаруспики, — правда, связанные не с ее смертью, а с ее прошлым и с планами на будущее — естественно, не ее собственными, а теми, которые намечают на будущее и связывают с ее именем совершенно другие люди. Поездка в Рим, которую авт. все же решил предпринять, нежданно-негаданно оказалась чрезвычайно удачной. Что касается самого города Рима, то здесь авт. отсылает читателя к соответствующим рекламным проспектам и путеводителям, к французским, английским, итальянским, американским и немецким кинофильмам, а также к обширной литературе об Италии; ко всему этому ему нечего добавить. Авт. хочет только сразу признать, что, побывав в одном лишь Риме, он понял желание киоскера Фрица переселиться в Италию; что авт. предоставилась возможность изучить разницу между монастырем иезуитов и женским монастырем и, наконец, что его приняла совершенно очаровательная монахиня не старше сорока лет, которая выслушала его лестные отзывы о сестрах Колумбане, Пруденции, Цецилии и Сапиенции с неподдельно доброй и умной улыбкой без тени снисходительности. Даже о Лени авт. упомянул; и тут вдруг выяснилось, что ее имя известно здесь, в главной резиденции ордена, живописно раскинувшейся на холме в северо-западной части Рима. Подумать только: в Риме знают о Лени! Здесь, под пальмами и пиниями, среди мрамора и бронзы, в прохладном и чрезвычайно элегантном по-

кое, сидя в глубоких черных кожаных креслах у низкого столика и прихлебывая вполне приличный чай, авт. обнаружил, что его собеседнице известно имя Лени! Эта обаятельная монахиня, которая ухитрилась не заметить дымящуюся сигарету авт. на краю блюдечка — не заметить не демонстративно и не по доброте душевной, а *на самом деле* не заметить, — которая защитила докторскую диссертацию о Фонтане и вскоре собиралась защищать вторую о Готфриде Бенне (!) — правда, не в университете, а в высшем учебном заведении своего ордена, эта исключительно образованная германистка в скромном монашеском одеянии (оно ей чрезвычайно шло), для которой даже Гельмут Хайсенбюттель не был пустым звуком, — *эта женщина* знала о существовании Лени!

Постарайтесь себе все это представить: Рим, тени от пиний, цикады, вентиляторы, чай, миндальные пирожные, сигареты, почти шесть часов вечера, женщина, способная любого свести с ума как своей внешностью, так и своим интеллектом, которая при упоминании новеллы «Маркиза д'О...» не проявила ни малейших признаков смущения, а заметив, что авт. закурил вторую сигарету, едва успев загасить первую о блюдечко (неплохая подделка под майсенский фарфор), вдруг шепнула ему с какой-то хрипотцой в голосе: «Черт побери, дайте и мне закурить — не могу устоять перед запахом вирджинского табака» — и затянулась прямо-таки «греховно» (другого выражения авт. не может подобрать), а потом опять прошептала с заговорщицким видом: «Если войдет сестра Софья — сигарета ваша». И эта женщина, здесь, в центре мира, в средоточии католицизма, знала Лени, знала даже под фамилией Пфайфер, а не только как Лени Груйтен... И эта божественная особа, с добросовестностью истинного ученого роясь в зеленом картонном ящичке размером с обычный лист 210×297 мм и высотой в 10 сантиметров и лишь изредка заглядывая для памяти в отдельные бумаги или пачки бумаг, сообщила авт. следующее: «Рахиль Мария Гинцбург, родилась под Ригой в 1891 году, в 1908 году окончила гимназию в Кёнигсберге. Училась в Берлинском, Гёттингенском и Гейдельбергском университетах. Защитила докторскую диссертацию по биологии в Гейдельберге. Во время мировой войны неоднократно подвергалась арестам за принадлежность к пацифистскому крылу социал-демократической партии и еврейское происхождение. В 1918 г. написала еще одну диссертацию»

цию по основам эндокринологии у Клода Бернара, работу было трудно отнести к какой-либо одной отрасли науки, поскольку она затрагивала проблемы медицины, теологии, философии, этики и морали, но в конце концов была признана медицинским трудом. Затем Р. Гинцбург работала врачом в рабочих кварталах Рура. Перешла в христианскую веру в 1922 году. Читала лекции в молодежных организациях. Поступила в монастырь, что было сопряжено с большими трудностями не столько из-за ее псевдоматериалистических взглядов, сколько из-за возраста. Как-никак, в 1932 году ей исполнился сорок один год и за ней числились, мягко выражаясь, не только платонические увлечения. Ходатайство одного кардинала. Пострижение в монахини. Спустя полгода — запрещение заниматься преподаванием. Ну а дальше...» Тут прекрасная сестра Клементина спокойно протянула руку к сигаретам авт. и «лихо выпустила дым из ноздрей» (авт.). «А что с ней было дальше, вы и сами в общих чертах знаете. Мне хотелось только рассеять, вероятно, возникшее у вас подозрение, будто там, в Герзелене, сестру Рахиль притесняли. Как раз наоборот: в этом монастыре ее прятали. А властям сообщили, что она «уехала в неизвестном направлении». Так что филантропическая, а возможно, и слегка лесбозротическая привязанность фройляйн Груйтен, или фрау Пфайфер, и ее заботливость на самом деле означали смертельную опасность для сестры Рахили, для монастыря и для самой фройляйн Груйтен. Да и садовник Шойкенс, впуская фрау Пфайфер в обитель, поступал в высшей степени легкомысленно. Ну, ладно, все это в прошлом, все пережито, хотя и не безболезненно, не без взаимных обид, и, поскольку я предполагаю, что вы обладаете хотя бы минимальной способностью диалектически улавливать причинно-следственные связи, мне нет надобности объяснять вам, почему, желая спасти известную особу от концлагеря, пришлось поместить ее в условия, близкие к лагерным. Это было жестоко; но разве не было бы еще большей жестокостью выдать ее властям? В монастыре Рахиль не пользовалась симпатией, часто происходили стычки, нарастало взаимное озлобление, причем виноваты всегда были обе стороны, ибо сестра Рахиль отличалась довольно неприятным характером. Короче говоря: самого страшного я вам еще не сказала. Поверите ли вы, если я скажу, что наш орден отнюдь не стремится кремировать святую или мученицу, но что по причине некото-

рых... скажем, неких загадочных явлений, которые орден предпочел бы не предавать огласке, он прямо-таки вынужден вступить на путь, явно не способный снискать ему популярность? Так поверите ли?» Вопросительная форма будущего времени глагола «верить» в устах ученой германистки такого уровня, в устах монахини, «греховно» затягивающейся сигаретой из вирджинского табака, наконец, в устах женщины, наверняка любующейся в зеркале классическим рисунком своих круто изогнутых черных бровей, своим чрезвычайно идущим ей белоснежным чепцом, неотразимой линией четко очерченного, откровенно чувственного рта, в устах женщины, несомненно сознающей притягательность своих невообразимо прекрасных рук, женщины, которая, при всей скромности и простоте монашеского одеяния, ухитряется «подчеркнуть» тканью безукоризненную форму своей груди, — в устах такой женщины глагол «верить» в вопросительной форме будущего времени показался авт. ни с чем не сообразной нелепицей. Обычные вопросы с глаголом в будущем времени типа «Пойдете со мной погулять?» или «Будете ли просить моей руки?» не заключают в себе никакой несообразности; но вопрос «*Поверите ли?*» абсолютно нелеп, коль скоро лицу, которому он задан, неизвестно то, к чему этот вопрос относится! Авт. проявил слабость и кивнул в знак согласия, более того, понуждаемый выразиться яснее, прошептал слово «да» — прошептал едва слышно, на выдохе, как шепчут его разве что перед брачным алтарем. Да и что ему — авт. — оставалось? В ту минуту у него уже не вызывало сомнений, что поездка в Рим удалась. Ведь этот выразительный взгляд, заставивший его беззвучно выдохнуть «да», приобщил авт. к утонченнейшей платонической эротике целибата, к той изощреннейшей монастырской эротике, с которой сестра Цецилия смогла познакомить авт. лишь весьма поверхностно. Однако и сестра Клементина, видимо, поняла, что зашла слишком далеко: она решительно пригасила блеск своих прекрасных глаз, кисло поджала свои пухлые сочные губы — авт. вынужден это констатировать — и разразилась длинной тирадой, которую авт. воспринял как намеренно вылитый на него психологический ушат холодной воды. Нельзя сказать, что пустилась она в эти рассуждения не моргнув глазом; как раз наоборот — сестра Клементина моргала, так что ее ресницы — до обидного короткие и жесткие, похожие на щетину —

весьма интенсивно вздрагивали, когда она говорила: «Между прочим, когда мы сегодня обсуждаем с ученицами проблематику «Маркизы д'О...», они нам ничтоже сумняшеся заявляют: «Надо было ей пользоваться пилюлей — ничего, что вдова...» При таком складе ума даже поэзия великого Клейста низводится до уровня дешевого иллюстрированного журнальчика. Однако я вовсе не собираюсь увильнуть в сторону от нашей темы. Самое страшное в случае с Гинцбург состоит вовсе не в том, в чем вы, вероятно, нас подозреваете: что мы инсценируем чудеса! Как раз наоборот: мы не можем от них избавиться! Не можем избавиться от роз, посреди зимы расцветающих на могиле сестры Рахили! Признаюсь, мы постарались не допустить вашей встречи с сестрой Цецилией и с Шойкенсом — кстати, он прекрасно устроен, и вам незачем беспокоиться о его судьбе,— но вовсе не потому, что это чудо подстроено, а потому, что мы из-за него вконец расстроены и стараемся держаться подальше от посторонних лиц с репортерскими склонностями, не потому, что стремимся поднять шумиху вокруг канонизации, а потому, что не хотим поднимать никакого шума! Верите ли вы мне, как обещали?» На этот раз авт., прежде чем ответить, взглянул на свою собеседницу задумчиво и «испытующе»: сестра Клементина вдруг как-то сникла — авт. не подберет другого слова,— сникла и принялась нервно теревить и немного сдвинула набок свой чепец, при этом авт. успел заметить — и это тоже, к сожалению, чистая правда — густую копну ярко-рыжих волос, венчавшую ее голову. Сестра Клементина вновь потянулась за сигаретой, на сей раз привычным жестом заядлой курильщицы,— таким жестом студентка тянется за сигаретой, часа в четыре утра убедившись, что доклад о Кафке, который она должна делать в тот же день, полнейшая чепуха и белиберда. Сестра Клементина предложила авт. еще чаю, причем налила молока и положила сахару ровно столько, сколько любит авт., даже размешала сахар и пододвинула авт. чашку, при этом посмотрела на него взглядом, в котором читалась мольба о помощи,— по-другому это выражение не назовешь. Авт. считает нужным напомнить ситуацию: Рим. Солнечный весенний день клонится к вечеру. Аромат пивных. Замирающий стрекот цикад. И в то же время: колокольный звон, мрамор, черные кожаные кресла, деревянные кадки с распускающимися пионами,— все это прямо-таки источает дух католицизма, тот самый дух,

который иногда приводит в восторг лютеран; Клементина, еще несколько минут назад казавшаяся цветущей красавицей и вдруг как бы увядшая; ее странно практичное замечание о маркизе д'О... Тяжело вздохнув, Клементина начала вынимать из темно-зеленой картонной коробки один лист бумаги за другим, одну пачечку бумаг, скрепленных канцелярскими скрепками или пережатых резинкой, за другой — пять, шесть, десять, восемнадцать, двадцать шесть таких пачечек. «Каждый год сообщают одно и то же: в декабре из-под земли вдруг появляются розы. И отцветают тогда, когда обычные розы только начинают распускаться. Мы прибегли к самым отчаянным мерам, — вам они могут показаться чудовищными: мы эксгумировали тело сестры Рахили — то есть, конечно, ее останки, порядком уже истлевшие, соответственно давности их пребывания в земле, — перезахоронили их на другом кладбище того же монастыря, а когда эти злосчастные розы и там зацвели, опять выкопали останки, вернули их на прежнее место, опять выкопали и, наконец, кремировали. Урну с прахом поставили в часовню, где никакой земли и в помине не было. Опять эти розы! Они вылезли из урны и буквально заполонили всю часовню; закопали прах в землю — опять розы! Уверена: развеяв мы ее прах над пустыней или океаном — и там выросли бы розы! Вот в чем теперь для нас проблема: не популяризировать, а оградить все это от огласки. Вот почему мы не разрешили вам встретиться с сестрой Цецилией, вот почему перевели Шойкенса на должность управляющего одним из наших имений в окрестностях Вюрцбурга, вот почему мы до сих пор не выпускаем из виду фрау Пфайфер: она не станет подвергать сомнению этот... скажем так, этот феномен, наоборот, судя по тому, что я о ней знаю, — особенно теперь, услышав от вас некоторые дополнительные подробности, — она сочтет совершенно естественным, что из праха ее Гаруспики каждый год в середине декабря вырастают розы: огромный усеянный шипами розовый куст, как в сказке о Спящей красавице. Случись все это в Италии, еще куда бы ни шло — здесь нам даже коммунистов нечего было бы опасаться. Но в Германии! Там это расценят как возврат к Бог знает какому средневековью! Что стало бы с реформой литургии, что стало бы с физико-биологическим обоснованием так называемых чудес? И кроме того: кто может поручиться, что розы будут продолжать цвести зимой и после огласки? А если

прекратят — в каком положении мы окажемся? Даже крайне реакционные круги нашего ордена здесь, в Риме, — разумеется, с подобающей корректностью, — рекомендуют нам не раздувать эту историю. А мы попросили ботаников, биологов и теологов ознакомиться с феноменом, — естественно, с сохранением в абсолютной тайне всех связанных с ним обстоятельств. И знаете, кто из них проявил наибольший интерес, кто предположил здесь участие сверхъестественных сил? Не теологи, а ботаники и биологи. А теперь взгляните на эту проблему с политической точки зрения: из праха некоей еврейки, перешедшей в католичество и постригшейся в монахини, но вскоре отстраненной от преподавания в монастырской школе и умершей — не будем бояться назвать вещи своими именами — при весьма прискорбных обстоятельствах, — из ее праха начиная с 1943 года растут розы! Какая-то чертовщина. Черная магия! Мистика! И в довершение всего — препоручают вести это дело мне, именно мне, критически отзывавшейся о биологизме Бенна! Знаете, что сказал мне вчера по телефону один высокопоставленный прелат, ехидно хихикнув в трубку: «Папа Павел являет нам столько чудес, что лучше избавьте нас от новых. Он и сам у нас до некоторой степени *little flower*¹, так что цветов нам хватает». Ну, а вы? Будете ли молчать обо всем услышанном?» Тут авт. и не подумал кивнуть, наоборот, он энергично замотал головой и даже подкрепил этот жест словесно, четко произнеся «нет». Улыбнувшись, Клементина усталым жестом смахнула пустой пачкой из-под сигарет свои окурки на блюдечко авт., встав с кресла, таким же усталым жестом, с помощью той же пустой пачки выбросила все окурки в голубую пластиковую корзинку для бумаг, опять улыбнулась, но не опустилась на прежнее место, давая понять, что аудиенция окончена. Так что авт. остался в сомнении: не собирается ли орден, несмотря на все уверения в обратном, все-таки инсценировать некое чудо?

Клементина проводила авт. до ворот обширнейшего парка (кипарисы, пинии, олеандры и т. д.); идти надо было довольно далеко, метров четыреста, и они в светском тоне беседовали о литературе. Выйдя на шоссе, откуда открывалась желтовато-красная картина Вечного города, авт. сунул в руку Клементине непечатую пачку

¹ Цветочек (англ.).

сигарет, и она с улыбкой спрятала ее в широкий рукав своей необъятной рясы, этого бесформенного одеяния, под складками которого угадывалась возможность спрятать и более крупные предметы. И вот здесь-то, в ожидании автобуса, едущего к центру города, в сторону Ватикана, авт. вдруг счел уместным сбросить платонические путы; он подтолкнул Клементину к просвету между двумя молодыми кипарисами и без всякого смущения поцеловал ее в лоб, в правую щеку, а потом и в губы. Она несколько не сопротивлялась, только вздохнула и сказала: «Ах да...» Потом помолчала и, улыбнувшись, в свою очередь поцеловала авт. в щеку. А услышав звук приближающегося автобуса, сказала: «Заходите еще... Только без роз, пожалуйста».

Без долгих объяснений читателю ясно, что авт. счел поездку в Рим удачной; вероятно, столь же ясно, что он решил не откладывать отъезд, дабы сразу же не поставить в ложное положение некую особу; а поскольку авт. не придерживается пословицы «Тише едешь — дальше будешь», он решил проделать обратный путь на самолете, раздираемый душевными муками, не оставляющими его в покое по сей день и вызванными неразрешимой для него проблемой: должен ли он рассматривать поездку в Рим как сугубо личную или же как профессиональную, а если верно и то и другое, то в какой пропорции расчленишь связанные с ней расходы. Покой, — правда, всего лишь наполовину, — авт. потерял еще и по другому поводу, из-за вопроса, опять-таки мучившего авт. как в личном, так и в профессиональном плане: стремилась ли К. — весьма изощренно — устроить паблисити «розовому чуду» в Герзелене или же, наоборот, столь же изощренно пыталась это паблисити предотвратить? И как авт. вести себя, если удастся разгадать замысел любимого существа: объективно, как повелевает профессиональный долг, или субъективно, как подсказывает ему сердечная склонность к К. и желание быть ей полезным?

Авт., поглощенный решением этой четырехступенчатой задачи, встревоженный и, можно даже сказать, в расстройстве чувств, после благоухающей римской весны попал прямоком в хмурую отечественную зиму:

в Нифельхайме снег, обледенелое шоссе, мрачный таксист, проклинаящий все и вся и то и дело грозящийся кого-то там удушить, пристрелить, прикончить или хотя бы исколошматить, и в довершение всего — жестокое разочарование: весьма нелюбезный прием, оказанный ему в Герзелене угрюмой и неразговорчивой пожилой монахиней, грубо спровадившей его от монастырских ворот со словами, смысл которых авт. даже не сразу уловил: «Газетчиками мы уже сыты по горло!» Чтобы как-то утешиться, авт. прогулялся вдоль монастырских стен (общая длина по периметру примерно пятьсот метров), полюбовался видом на Рейн, запертой на замок деревенской церковкой (здесь в свое время прислуживали мальчишки, вопившие от восторга, лаская кожу Маргарет). Здесь некогда жила Лени, здесь Гаруспика была похоронена, выкопана, опять зарыта, еще раз выкопана и, наконец, сожжена. И ни одной, решительно ни одной лазейки в монастырских стенах! Так что авт. волея-неволей пришлось отправиться в деревенский трактир, где, однако, вовсе не царили тишь да покой, как на родине Альфреда Бульхорста. Наоборот, здесь былолюдно и шумно, и авт. моментально попал в перекрестье подозрительных взглядов со стороны лиц, явно не относящихся к местным жителям и отмеченных несомненными чертами принадлежности к газетной братии: когда авт. спросил хозяина, стоявшего за стойкой, нет ли у того свободной комнаты, насмешливый хор тут же подхватил: «Предоставьте ему номер в Герзелене, причем немедленно и вопреки», а отдельные, особо язвительные, голоса добавили: «А не угодно ли вашей милости получить номер с видом на монастырский сад?» И когда авт. по наивности кивнул в ответ на этот вопрос, одетые по последней моде дамы и господа, заполнившие зал, буквально взвыли от восторга, когда же авт. вновь попался на их удочку и ответил утвердительно на издевательский вопрос, не хочет ли он лично заглянуть в заснеженный монастырский сад, его уже окончательно и бесповоротно зачислили в разряд безнадежных тупиц; но потом, смиростивившись, все принялись просвещать авт. (хозяин трактира в это время едва успевал разливать вино и цедить из бочки пиво): неужели он ничего не слышал про то, о чем кричат на всех углах? Что в здешнем монастырском саду открыли горячий источник, благодаря которому зимой расцвел розовый куст; что монахини, пользуясь правом распоряжаться монастырской

территорией по своему усмотрению, собственноручно огородили щитами соответствующий участок сада; что вход на колокольню закрыт, но что осаждающие уже послали в соседний университетский город (тот самый, где Б. Х. Т. беседовал tête-à-tête с Гаруспикой! Авт.) на фирму по сносу зданий за специальной лестницей, выдвигающейся на высоту двадцать пять метров, чтобы «заглянуть наконец в чертову кухню этих монашек». Все обступили авт., который даже не мог взять в толк, каким простаком он выглядел в глазах всех этих корреспондентов ЮПИ, ДПА и АФП: среди них оказался даже один представитель АПН, который вместе с чешским журналистом из ЧТК был полон решимости «сорвать маску с клерикальных фашистов и разоблачить очередную предвыборную махинацию ХДС». Протягивая авт. кружку пива, в общем весьма доброжелательный журналист из АПН сказал: «Знаете, в Италии мадонны во время выборов вдруг начинают плакать настоящими слезами; а теперь вот и в ФРГ в монастырском саду забил горячий ключ и посреди зимы расцвели розы именно в том месте, где похоронена некая монахиня, которая, как нас пытаются уверить, в свое время была изнасилована при занятии Восточной Пруссии Советской Армией. Во всяком случае, утверждают, что вся эта история как-то связана с коммунистами; а что могут коммунисты сделать монахине, кроме как ее изнасиловать?» Авт., информированный гораздо лучше большинства присутствующих и всего пять часов назад на холме с видом на Рим поцеловавший щечку, которую при всем желании нельзя было бы назвать пергаментной, решил капитулировать и дожидаться газетных сообщений. Заниматься выяснением истины в сложившихся обстоятельствах было делом явно бесперспективным. Неужели Лени и впрямь каким-то замысловатым образом впутали во всю эту story? ¹ Неужели Гаруспика и впрямь превратилась в горячий источник? Выходя из трактира, авт. еще успел услышать, как за его спиной одна из сидевших в зале журналисток нарочито пронзительным голосом запела: «И роза расцвела...»

На следующий день в утреннем выпуске газеты, уже цитировавшейся авт., он прочел «Заключительное со-

¹ История (англ.).

общение о загадке Герзелена»: «Выяснилось, что странное явление, лишь восточной прессой язвительно поименованное «Новоявленное герзеленское чудо — зимние розы», на самом деле имеет под собой вполне реальную почву. Как показывает само название Герзелен, происходящее от древнего Гейзир (в старину Герзелен назывался Гейзиренхайм, что означает «дом гейзеров»), в Герзелене уже в IV в. н. э. били горячие источники. По этой причине здесь, в небольшом замке, находилась резиденция королей, просуществовавшая до той поры, когда источники вновь иссякли. Как заявила настоятельница монастыря сестра Сапиенция в интервью, данном только нашей газете, монахини не поверили в чудо и не распространяли о нем слухов. Вероятно, слово «чудо» каким-то образом попало в газеты усилиями бывшей ученицы с давних пор существующей здесь монастырской школы, женщины, с которой у монастыря сложились обоюдно неприязненные отношения и которая впоследствии сблизилась с КПГ. В действительности же, как подтвердили специалисты, речь идет о внезапной активизации горячих источников, в результате чего расцвело несколько розовых кустов. Однако нет никаких, абсолютно никаких оснований предполагать, как подчеркнула сестра Сапиенция — современная, реально мыслящая, просвещенная монастырская деятельница с широким кругозором, — что здесь замешаны какие-то сверхъестественные силы».

Авт. без всяких колебаний рассказал Маргарет о чуде с розами и горячим источником, а также о закулисной стороне этого чуда (она просияла, поверила каждому слову авт. и настоятельно посоветовала ему поближе познакомиться с Клементиной) и даже Лотту посвятил в эту историю, не убоившись неминуемых насмешек с ее стороны (Лотта, естественно, объявила чудо жульничеством, а авт. тут же зачислила в малоприятную категорию «монастырских прихвостней» — «в буквальном и переносном смысле»); но вот Лени авт. никак не мог решиться рассказать о странном происшествии в Герзелене и хотя бы бегло коснуться результатов своих архивных изысканий в Риме. А ведь и Б. Х. Т., как казалось авт., имел право узнать, какая чудодейственная сила приписывается праху некогда дорогой ему женщины через двадцать семь лет после ее погребения. Тем временем

видные геологи, поддержанные некоторыми деятелями одной нефтяной компании, поспешившей использовать казус с розами в своих рекламных целях, провели компетентную экспертизу, подтвердившую «абсолютно естественную природу данного явления»; и только часть восточноевропейской прессы упорно придерживалась своей первоначальной версии и писала: «Чудо» в Герзелене — предвыборный трюк реакционеров — провалилось под неустанным нажимом социалистических сил. Теперь реакция вынуждена обратиться за поддержкой к псевдоученым природоведам, тем самым еще раз доказав, что наука при капитализме — всего лишь послушная служанка реакционных сил».

Вероятно, авт. в данном инциденте оказался не на высоте; наверное, ему следовало бы как-то вмешаться в ход событий, например, перелезть через монастырскую стену — пусть даже с помощью облысевшего Б. Х. Т., известить о происшедшем Лени, хотя бы сорвать для нее и передать через кого-нибудь несколько роз из монастырского сада; может быть, они достойно украсили бы ее живописное масштабное полотно «Часть сетчатки левого глаза Девы Марии по имени Рахиль». Но тут события начали разворачиваться так стремительно, все так переплелось, что авт. не имел времени прислушаться к голосу собственного сердца, звавшего его в Рим. Авт. призвал долг; долг явился ему в образе Хервега Ширтенштайна, создавшего нечто вроде общества спасения под девизом «Лени в опасности!» и решившего собрать под этим девизом всех, кто мог бы оказать Лени финансовую и моральную поддержку, в крайнем случае — даже прибегнуть к политическим акциям, дабы помочь Лени выстоять перед все усиливающимся нажимом Хойзеров. Голос Ширтенштайна в трубке звучал взволнованно и в то же время твердо, нервные хрипловатые нотки, раньше придававшие его голосу сходство со слабым потрескиванием сухой фанеры, исчезли; теперь в нем звенел металл. Ширтенштайн попросил авт. назвать адреса всех лиц, «которых интересуется судьба этой замечательной женщины», получил их и назначил общий сбор на вечер того же дня, так что у авт. еще оставалось время, чтобы наконец проникнуть в штаб-квартиру противника. Он обязан был сделать это во имя объективности, во имя справедливости и во имя истины, а также для

того, чтобы в будущем избежать чисто эмоционального подхода к проблеме, а также ради полноты информации. Хойзеры, заинтересованные в том, чтобы изложить свою точку зрения на эту злосчастную историю с Лени, а может быть, и просто напуганные таким оборотом событий, выразили готовность ради встречи с авт. «отложить самые срочные дела». Трудность состояла лишь в выборе места встречи. Авт. были предложены: апартаменты старого Хойзера в уже описанном выше заведении, представляющем собой нечто среднее между дорогим отелем, домом для престарелых и санаторием; офис или квартира Вернера, владельца тотализатора, офис или квартира Курта Хойзера, «менеджера по управлению строительством» (так поименовал свою должность сам Курт. Авт.), и, наконец, конференц-зал фирмы «Хойзер ГМБХ КГ», «представляющей общие и индивидуальные интересы членов семьи». (Слова, взятые в кавычки, цитируются по телефонному разговору с Куртом Хойзером.)

Не без задней мысли авт. избрал местом встречи конференц-зал фирмы «Хойзер ГМБХ КГ», расположенный на двенадцатом этаже высотного здания на берегу Рейна, откуда, как давно известно осведомленным лицам, но не было известно авт., открывается великолепный вид на окрестности и на сам город. Авт. отправился к Хойзерам не без душевного трепета: его мелкобуржуазное нутро сжимается от робости при виде изысканной роскоши. По причине своего более чем скромного происхождения он наслаждается окружающим великолепием, но все же чувствует себя там чужаком. С бьющимся сердцем авт. вошел в lobby¹ этого роскошного здания, где имеются и жилые квартиры типа penthouse², пользующиеся прекрасной репутацией. Швейцар не был облачен ни в форму, ни в ливрею, и тем не менее казалось, будто он был облачен и в то и в другое сразу. Он смерил авт. взглядом хоть и не презрительным, а всего лишь испытующим, но так, что авт. понял: его обувь испытания не выдержала. Лифт, само собой разумеется, был бесшумный. В его кабине висела латунная табличка с надписью «Поэтажный указатель». Беглый взгляд на надписи — тщательное изучение исключалось по при-

¹ Вестибюль (англ.).

² Дорогие квартиры (по названию журнала, рекламирующего мебель) (англ.).

чине чрезвычайной скорости бесшумного лифта — показал, что в этом здании работали почти исключительно люди творческого труда: архитекторы, редакции, новомодные агентства. Одна надпись бросилась авт. в глаза благодаря своей длине: «Эрвин Кольф — посредническая контора. Контакты с людьми творческих профессий». Все еще раздумывая о том, какие именно контакты имеются в виду — физические или духовные, а может, и ни к чему не обязывающие чисто светские, либо же это всего лишь вывеска, за которой скрывается сутенерское сообщество для call-man или call-girl¹, — авт. не заметил, как оказался на двенадцатом этаже; дверцы лифта бесшумно раздвинулись, и авт. увидел ожидавшего его молодого человека приятной наружности, который скромно представился: «Курт Хойзер». В манерах Курта не чувствовалось ни намек на заискивание или высокомерие, а тем паче на презрение; с ненавязчивой любезностью, отнюдь не исключавшей, а скорее, даже предполагавшей сердечность, Курт проводил авт. в конференц-зал, живо напомнивший ему ту комнату, в которой он всего два дня назад беседовал с Клементиной. Мрамор, металлические дверные и оконные рамы, глубокие кожаные кресла... Правда, из окон открывался вид не на желто-красный Рим, а всего лишь на Рейн и раскинувшиеся по его берегам поселения как раз в том географическом пункте, где эта все еще величественная река вступает в свою архинаигрязнейшую фазу, то есть в семидесяти — восьмидесяти километрах вверх по течению от того места, где весь этот общегерманский поток грязи изливается на ни в чем не повинные голландские города Арнхейм и Ньимвеген.

Конференц-зал производил удивительно приятное впечатление: он имел форму сектора круга и в нем не было ничего, кроме нескольких столов и уже упомянутых кожаных кресел — родных братьев тех кресел, что стояли в главной резиденции монашеского ордена в Риме. Нетрудно догадаться, что снедавшая авт. сердечная тоска при виде этих кресел вспыхнула с новой силой и что он не сразу справился с охватившим его волнением. Его усадили на самое почетное место у окна: отсюда открывалась далекая перспектива долины Рейна — в поле зрения попадало не меньше полудесятка мостов. Эле-

¹ Мужчина или девица, приходящие к клиенту по телефонному вызову (англ.).

гантно изогнутый столик, повторяющий плавную линию выпуклой наружной стены, был уставлен бутылками с крепкими напитками и соками; там же стоял термос в форме чайника, лежали сигары и сигареты; количество и качество последних свидетельствовали о разумных и в то же время утонченных вкусах хозяев офиса: в них не было ни тени того вульгарного размаха, которым нувориши обычно стараются пустить пыль в глаза. Для общей характеристики первого впечатления, произведенного на авт. конференц-залом, он считает наиболее подходящим слово «изысканность». Старый Хойзер и его внук Вернер на сей раз показались авт. куда более приятными, чем они оба ему помнились; и авт., сообразно взятой им на себя роли, поспешил отбросить всякую предубежденность и отнестись непредвзято к уже одиозному в его прежнем восприятии Курту, которого видел впервые. Курт Хойзер производил впечатление приятного, спокойного, скромного молодого человека; костюм на нем был безукоризненный, и носил он его с той легкой небрежностью, которая наилучшим образом гармонировала с его мягким баритоном. Он был поразительно похож на свою мать Лотту: та же линия лба, те же круглые глаза. Неужели он и впрямь некогда был тем самым младенцем, который появился на свет при столь драматических обстоятельствах и которого по категорическому требованию его матери не стали крестить? И это он родился в той комнате, где теперь живет португальская семья из пяти человек? Неужели он действительно когда-то ютился вместе со всеми в подземном склепе и в компании со своим старшим братом Вернером — тому сейчас тридцать пять, и вид у него более неприступный, чем у Курта, — сбывал Пельцеру новенькие самокрутки из табака, собранного из его же окурков, чего Пельцер им обоим до сих пор не может простить?

Поначалу возникло некоторое замешательство, поскольку авт., очевидно, приняли за парламентаря, так что ему пришлось дать необходимые пояснения, уточняющие цель его визита: он пришел единственно для того, чтобы получить *информацию о фактической* стороне дела. Речь идет — сказал авт. в своем кратком вступительном слове — не о симпатиях или антипатиях, не о пожеланиях, не об аргументах или контраргументах. Его интересует только фактическое положение дел, а не идеологическая подоплека; он — авт. — не собирается

кого-либо защищать, он на это не уполномочен и не стремится ни к каким полномочиям: с «заинтересованным лицом» он даже лично не знаком и видел всего два-три раза на улице, да и то мельком, и ни разу не разговаривал. Его намерения состоят в том, чтобы изучить жизненный путь означенного лица пусть даже фрагментарно, хотя желательно было бы свести эту возможную фрагментарность к минимуму; эта задача не возложена на него — на авт. — ни земными, ни небесными силами, труд его, так сказать, чисто *экзистенциальный*. Тут все три Хойзера, до сих пор слушавшие рассуждения авт., с трудом удерживая на лицах выражение вежливого внимания, вдруг встrepенулись и проявили нечто похожее на подлинный интерес: было видно, что в слове «экзистенциальный» они уловили некую материальную заинтересованность; поэтому авт. счел себя обязанным изложить *все* аспекты понятия «экзистенциализм». После этого Курт Хойзер спросил, не идеалист ли он, и авт. ответил решительным «нет»; столь же решительным «нет» ответил он и на два последовавших вопроса: значит, авт. материалист? Или реалист? И тут авт. вдруг обнаружил, что подвергается настоящему перекрестному допросу со стороны хойзеровской троицы: то один, то другой спрашивали, имеет ли он университетское образование, католик ли он или протестант, уроженец ли Рейн-ланда, социалист ли он или марксист, не либерал ли он, сторонник или противник сексуальной революции, «пилюли», римского папы, Барцеля, общества свободного рынка или плановой экономики. Авт. уже сам себе казался похожим на вращающуюся антенну локатора, потому что беспрерывно вертел головой в разные стороны, чтобы видеть спрашивающего; но отвечал он на все вопросы одинаково — твердым и непреклонным «нет». Кончился этот допрос только тогда, когда из не замеченной авт. двери неожиданно появилась секретарша; она налила гостю чаю, подвинула поближе к нему сырны палочки, распечатала пачку сигарет и нажатием кнопки раздвинула створки встроенного шкафа, идеально подогнанные друг к другу и производившие впечатление сплошной и гладкой стены; из шкафа секретарша вынула три канцелярские папки и положила их на стол перед Куртом. Прежде чем исчезнуть за той же дверью, она положила рядом с папками блокнот, стопку бумаги и трубку. Секретарша — миловидная стандартная блондинка со среднестатистической грудью — своей спокой-

ной деловитостью напомнила авт. фильмы известного пошиба, в которых так же спокойно и деловито обслуживают клиентов в борделях. Воцарившееся молчание первым нарушил старый Хойзер; постучав концом трости по стопке лежавших на столе папок, он заговорил, ударами трости по папкам членя фразы на смысловые отрезки. «Отныне,— сказал он, и в голосе его слышалась неподдельная печаль,— отныне рвутся все нити и все узы, тесно связывавшие меня с Груйтенами в течение семидесяти пяти лет. Как вам известно, мне было пятнадцать, когда я стал крестным отцом Губерта Груйтена... И вот теперь я и вместе со мной мои внуки порываем с Груйтенами, мы порываем с ними все и всяческие отношения». Здесь авт. вынужден в порядке исключения сильно сократить речь старого Хойзера, поскольку старик начал слишком издавело, примерно с 1890 года, когда он, шестилетним мальчишкой, рвал яблоки в саду родителей Губерта Груйтена. Потом он довольно подробно остановился на двух мировых войнах, подчеркнул свои демократические взгляды, охарактеризовал различные (политические, моральные и экономические) просчеты и проступки Лени и описал судьбы чуть ли не всех уже знакомых читателю персонажей; его выступление заняло около полутора часов и сильно утомило авт., поскольку он уже знал почти все, о чем рассказывал старик,— правда, в несколько ином освещении: и о матери Лени, и об ее отце, и о молодом архитекторе, с которым Лени однажды укатила за город на субботний вечерок, и о ее брате, и о ее кузене, и о «мертвых душах» — словом, обо всем, буквально обо всем; авт. показалось, что внуки слушали деда с большим вниманием. Наконец старик выложил и свою трактовку «известной абсолютно законной сделки», причем тон его речи не был однозначно агрессивным, скорее — оборонительно-агрессивным, и очень походил на тональность монолога упоминавшегося ранее высокопоставленного лица. «Квадратный метр земельного участка, который был подарен Курту при рождении,— здесь авт. встрепенулся и превратился в слух,— в 1870 году, когда дед госпожи Груйтен приобрел его у крестьянина, собиравшегося эмигрировать, стоил десять пфеннигов,— это если не торговаться; он вполне мог бы купить этот участок и по цене четыре пфеннига за квадратный метр; но это семейство всегда обожало широкие жесты, а старик от большого ума еще и округлил сумму и вместо пяти тысяч марок выложил

крестьянину две тысячи талеров, так что участок обошелся ему по двенадцать пфеннигов за квадратный метр. Разве наша вина, что теперь квадратный метр этой земли стоит триста пятьдесят марок, а если учесть некоторые, как мне думается, все же временные инфляционные процессы, он потянет на все пятьсот, не считая стоимости зданий, которую можно спокойно приравнять к стоимости участка. Уверяю вас, что если вы завтра же приведете ко мне покупателя, который выложит за все про все пять миллионов, я — то есть мы — не продадим ему нашу собственность. А теперь подойдите-ка сюда и взгляните в окно». С этими словами старик довольно бесцеремонно взял авт. «на бордаж», то есть зацепил набалдашником своей трости за борт застегнутого не на все пуговицы пиджака авт. — а ведь авт. пребывает в вечном страхе потерять кое-как пришитые пуговицы, — и недолго думая резко потянул его к себе; справедливости ради надо отметить, что тут оба внука неодобрительно покачали головами. Авт. волей-неволей пришлось окинуть взглядом восьми-, семи- и шестиэтажные дома, со всех сторон обступавшие центральное двенадцатиэтажное здание. «Знаете, как называется эта часть города? — спросил старик, зловеще понизив голос. (Авт. отрицательно качнул головой, так как знал, что не успевает уследить за всеми топонимическими изменениями.) — Эту часть города называют Хойзеринген, и построены эти дома на земле, которая в течение семидесяти лет пустовала, покуда вот этому молодому человеку (трость качнулась в сторону Курта, а в голосе старика проступили язвительные нотки) не оказали милость — подарили ее младенцу, так сказать, «на зубок»... И именно я, только я, и никто другой, следуя изречению, известному уже нашим праотцам: «И наполняйте землю, и обладайте ею...», позаботился о том, чтобы подарок не пропал втуне».

В этом месте своей речи старик начал дряхлеть прямо на глазах, Впрочем не утратив своей открытой агрессивности: попытку авт. высвободиться, то есть вытащить из-под борта своего пиджака набалдашник трости, державший его как бы на крючке, старик воспринял как акт ответной агрессии, хотя действовал авт. чрезвычайно деликатно и осторожничал еще и потому, что опасался за сохранность своих пуговиц. Внезапно Хойзер-старший покраснел, как рак, и рванул трость на себя с такой силой, что одна пуговица

и впрямь отлетела вместе с довольно большим куском твидовой ткани, а старик угрожающе занес трость над головой авт. И хотя авт. всегда готов подставить левую щеку, когда его бьют по правой, в данном случае счел уместным принять меры самообороны: он прыгнул голову и отклонился в сторону, так что ему лишь с трудом удалось выйти из этой неприятной ситуации, не уронив своего достоинства. Тут уж вмешались Курт и Вернер и, желая все сгладить, нажали, наверное, на какую-то невидимую кнопку, потому что на сцене тут же появилась та роботовидная блондинка с образцовой грудью, которая с неопишваемым и неподражаемым хладнокровием выпроводила старика из конференц-зала, шепнув ему на ухо несколько слов; оба внука одновременно и слаженно прокомментировали ее действия одними и теми же словами: «Ну, Труда, вы у нас на все руки мастерица». Но, прежде чем выйти из конференц-зала (у авт. язык не поворачивается назвать это помещение комнатой из опасения, что его обвинят в оскорблении личного достоинства хозяев дома), старик еще успел выкрикнуть: «Ты дорого поплащешься за свой смех, Губерт!»

Господ Вернера и Курта происшествие с пуговицей обеспокоило, по-видимому, только с точки зрения необходимости возместить авт. нанесенный ему материальный ущерб. Между ними и авт. произошел чрезвычайно неприятный разговор по поводу поврежденного пиджака. Импульсивно сорвавшееся с губ Вернера предложение немедленно и с лихвой возместить авт. наличными понесенный им ущерб было, так сказать, в зародыше подавлено одним взглядом Курта; тем не менее Вернер уже успел сделать достаточно красноречивый жест, то есть сунул руку в карман за бумажником, однако тут же ее вытащил. В ходе разговора были произнесены такие слова: «Разумеется, мы компенсируем вам стоимость нового пиджака, хотя отнюдь не обязаны это делать», а также «возмещение морального ущерба» и «дополнительная сумма за нервное потрясение»; были названы соответствующие страховые агентства и номера страховых полисов их фирмы. Кончилось дело тем, что братья опять призвали на помощь свою знаменитую Труду, которая попросила у авт. визитную карточку, а когда выяснилось, что у него таковой не имеется, с негодующим видом записала его адрес в блокнот, причем все ее существо выражало такое отвращение, как будто

ее заставили выгребать невыносимо вонючие нечистоты.

Здесь авт. хотелось бы сказать несколько слов о себе лично: он вовсе не жаждал получить новый пиджак, пусть и вдвое более дорогой, он желал остаться при своем старом; и даже рискуя прослыть излишне сентиментальным, заявляет, что любит свой старый пиджак. Поэтому он и настаивал на его починке; когда оба Хойзера сразу принялись авт. отговаривать, ссылаясь на упадок портновского ремесла, он, в свою очередь, сослался на знакомую мастерицу художественной штопки, которая уже не раз и вполне успешно приводила его пиджак в божеский вид. Всем знаком сорт людей, восклицających: «Я тоже хотел бы сказать несколько слов!» — или: «Разрешите и мне вставить словечко!», хотя им никто не запрещает говорить и не собирается этого делать. В аналогичной ситуации оказался и авт., который на этой стадии переговоров уже с трудом сохранял самообладание. Не мог же он объяснить этим двоим, что пиджак у него не просто старый, а заслуженный, что он в нем много поездил, что в его карманах хранилось множество записок, а в подкладку не раз заваливались монетки и хлебные крошки, что авт. дорога даже его обтрепанность. Не мог же он, в самом деле, сослаться на то, что к правому лацкану его пиджака всего сорок восемь часов назад, хотя и мимолетно, прижималась щечка Клементины. Неужели он навлекает на себя подозрение в сентиментальности только из-за того, что испытывает свойственное, в общем, каждому западноевропейцу желание, которое Вергилий назвал *lacrimae rerum* ¹?

Атмосфера переговоров давно уже утратила тот дружественный характер, который был присущ ей в самом начале и который мог бы сохраниться, прояви Хойзеры хотя бы начатки понимания того, что старая вещь может быть дороже новой и что не все в этом мире можно рассматривать с точки зрения возмещения материального ущерба. Под конец Вернер Хойзер изрек: «Если кто-нибудь наедет на ваш старый «фольксваген» и предложит вам возместить не фактическую стоимость вашей машины, что он обязан сделать, а стоимость нового «фольксвагена», и вы не согласитесь на такое предложение, я сочту ваш поступок ненормальным». Уже

¹ Букв.: слезы о вещах (лат.).

содержавшийся в этой тираде намек на то, что авт., несомненно, ездит на старой развалюхе, являлось оскорблением, пусть даже непреднамеренным, ибо намекало заодно на скромный достаток авт. и его дурной вкус, а это унижало авт.,— правда, не объективно, а только субъективно. Стоит ли особенно порицать авт. за то, что он на минуту потерял самообладание и употребил резкие выражения, сказав, что он чихать хотел на все «фольксвагены», как новые, так и старые, и жаждет лишь одного: чтобы ему починили пиджак, порванный выжившим из ума старым садистом. Такой разговор, естественно, не мог привести ни к чему хорошему. Но как было объяснить этим людям, что ты на самом деле привязан к старому пиджаку и что ты ни под каким видом не можешь его снять,— а именно этого требовали от авт., чтобы установить фактические размеры повреждений,— не можешь потому, что... да, черт побери, такова жизнь,— потому, что у тебя на рубашке дыра, вернее, не дыра, а просто рубашка порвана в одном месте: в римском автобусе какой-то мальчишка зацепился за рубашку авт. крючком от удочки. А еще потому, что рубашка у авт., черт подери, не первой свежести — из-за того, что в поисках истины он беспрерывно находится в разъездах и беспрерывно что-то записывает карандашом или шариковой ручкой, а поздно вечером, смертельно усталый, валится в постель, не в силах снять рубашку. Неужели слово «починка» так трудно понять? Вероятно, люди, по имени которых называются целые городские районы, люди, строящие эти районы на собственной земле, не могут не впасть в состояние чуть ли не метафизического раздражения, когда им приходится сталкиваться с не постижимым для них фактом: оказывается, в мире существуют какие-то вещи, даже столь незначительные, как пиджак, потерю которых нельзя возместить деньгами. В этом факте им мерещится некая прямо-таки тягостная для них провокация... Но тот читатель, который доселе, хотя бы не до конца, но все же поверил в неизменную приверженность авт. к правде, поверит и тому, что кажется неправдоподобным: в этом конфликте не кто иной, как авт., держался корректно, спокойно и вежливо, хоть и непреклонно, в то время как оба Хойзера начисто утратили прежнюю корректность, их голоса звучали раздраженно, нервно и обиженно, а руки — к концу этой сцены даже рука Курта — все время порывались нырнуть в карманы, где, надо полагать, лежали их бу-

мажники, как будто они могли вытащить из этих карманов старый любимый пиджак авт., верой и правдой служивший своему владельцу целых двенадцать лет,— пиджак, ставший авт. дорожке собственной кожи и менее заменимый, поскольку кожа, как известно, поддается трансплантации, а пиджак нет; к такому пиджаку человек привязывается не из сентиментальности, а просто потому, что он западноевропеец и *lacrimae rerum* всосал с молоком матери.

Когда авт. опустил на корточки и стал шарить по паркету в поисках кусочка материи, вырванного из его пиджака вместе с пуговицей, Хойзеры и это сочли провокацией; но ведь этот клочок понадобится авт., когда он пойдет к своей мастерице по штопке. И когда авт., в довершение всего, отказался от всякой компенсации и заявил, что отремонтирует пиджак за свой счет — вернее, постарается оплатить ремонт окольным путем, включив его стоимость в свои профессиональные издержки, поскольку нанесенный пиджаку ущерб связан с профессиональной деятельностью авт.,— это заявление было тоже воспринято как личная обида: «Мы не позволим себя оскорблять» и т. д. Какая неспособность понять другого! Неужели нельзя поверить, что человек просто хочет сохранить свой пиджак, и ничего больше? Неужели за это надо его сразу же обвинять в сентиментальной фетишизации вещей? И разве не существует, в конце концов, некоей высшей экономической теории, запрещающей выбрасывать пиджак, который после починки еще вполне можно будет носить и получать от этого удовольствие? Разве можно выбрасывать такой пиджак только потому, что владельцы пухлых бумажников не желают считаться с чувствами других людей?

После этого неприятного эпизода, существенно нарушившего начальную гармонию, договаривающиеся стороны наконец приступили к делу, то есть взялись за три папки, представлявшие собой, очевидно, досье Лени. Здесь авт. вновь лишь в сокращенном виде передает то, что было сказано о «халатности тети Лени», об отсутствии у тети Лени «чувства реальности», о неправильном воспитании сына, о дурной компании, которая ее окружает... «Только не подумайте, что мы просто отсталые люди, придерживаемся слишком строгих правил и вообще не идем в ногу со временем, дело тут вовсе не в ее

любовниках — турках, итальянцах или греках, — дело в том, что из-за нее доходы от нашего земельного участка на шестьдесят пять процентов ниже, чем могли бы быть; даже если продать дом и с умом вложить вырученные за него деньги, проценты на них дали бы нам сорок — пятьдесят тысяч марок в год, а то и больше, но мы — люди порядочные и ограничимся минимальными цифрами. А сколько приносит нам дом в настоящее время? Если учесть издержки на ремонт, управленческие расходы и потери от проживания деклассированных элементов в квартире Лени на первом этаже — элементов, буквально отпугивающих более солидных жильцов и тем самым снижающих общую сумму квартирной платы, — если учесть все это, сколько же дает нам дом? Меньше пятнадцати тысяч годовых, всего каких-нибудь тринадцать — четырнадцать тысяч» (слова Вернера Хойзера).

А Курт Хойзер все время твердил (ниже следует лишь краткое изложение его речи, поддающееся проверке по записям авт.), что дело не в иностранных рабочих, они, Хойзеры, лишены расовых предрассудков, просто нужно быть последовательными; согласись Лени *взять* со своих жильцов нормальную плату, можно было бы обсудить и такой вариант: сдать весь дом иностранным рабочим покомнатно или покоечно, назначить тетю Лени управительницей и даже положить ей бесплатную квартиру и месячное жалованье. Однако она берет со своих жильцов ровно столько, сколько платит сама, а это уже чистое безумие и противоречит даже экономической теории социалистов; ведь «именно ради нее, ради тети Лени, мы удерживаем квартирную плату на уровне двух с половиной марок за квадратный метр, а вовсе не для того, чтобы от этого выгадывали посторонние. Так, португальская семья платит за пятьдесят квадратных метров сто двадцать пять марок и еще тринадцать — за пользование ванной и кухней; трое турок (из которых один постоянно ночует у нее, так что, в сущности, турок в комнате всего двое) платят за тридцать пять квадратных метров восемьдесят семь с половиной марок, супруги Хельцен за свои пятьдесят квадратных метров — опять-таки сто двадцать пять плюс те же тринадцать марок. При этом тетя Лени дошла до того, что сама вносит за кухню и ванную двойную плату — на том основании, что сохраняет за собой комнату Льва, который в данное время фактически в квартире не проживает и содержится за казенный счет». Но окончательно пере-

полнило их чашу терпения то обстоятельство, что тетя Лени сдает свои меблированные комнаты за цену, которая существует для немеблированных. Так что это вам не какой-то безобидный эксперимент в анархо-коммунистическом духе, это — серьезная попытка подорвать свободный рынок; за каждую комнату этой квартиры плюс пользование кухней и ванной вполне можно взять триста — четыреста марок, и это будет еще по-божески. И т. д. и т. п. И все же Курту Хойзеру, по всей видимости, было трудно заговорить о следующем пункте обвинения, который он, однако, «не может не затронуть ради полноты освещения фактического положения дел»: из десяти кроватей, находящихся в квартире, лишь семь действительно принадлежат тете Лени: одна все еще является собственностью деда, вторая — Генриха Пфайфера, весьма уязвленного всей этой историей, а третья — его родителей, Пфайферов, «у которых волосы встают дыбом, стоит им подумать, чем на этих кроватях, наверно, занимаются». Следовательно, Лени не только вопиющим образом нарушает экономические законы и права пользователей, но и самое основу основ — право собственности; Пфайферы, которые давно уже не имеют возможности общаться с Лени лично, передали свои права на кровати официальному посреднику — фирме «Хойзер ГМБХ КГ», которая в итоге обязана теперь защищать не только свои права, но и права доверившихся ей лиц; тем самым вся эта история приобретает еще большую весомость, поскольку дело идет уже о принципах. Кровать, принадлежащая Генриху Пфайферу, была подарена ему матерью Лени, когда он жил в их квартире «в ожидании призыва в армию», а подарок есть подарок, и дареная вещь по закону переходит в собственность другого лица окончательно и бесповоротно. Кроме того — авт. может, если ему угодно, использовать этот факт, — все жильцы тети Лени, вернее, все ее квартиранты почему-то работают исключительно на очистке улиц и вывозке мусора. Тут авт. не удержался и заметил, что Хельцены *не* работают на вывозке мусора: господин Хельцен — служащий магистрата, занимающий должность среднего ранга, а госпожа Хельцен — косметичка, и ее профессия является весьма уважаемой в обществе. Что касается португалки Анны-Марии Пинто, то она работает буфетчицей в столовой самообслуживания крупного универмага; авт. и сам не раз получал из ее рук тефтели, сырники и кофе и рассчитывался с ней

лично, причем никогда не имел к ней никаких претензий. Курт кивком головы выразил согласие с внесенной авт. поправкой, однако добавил, что тетя Лени ведет себя некорректно еще в одном экономически важном аспекте: будучи совершенно здоровой женщиной, вполне способной заниматься производительным трудом еще семнадцать лет, недостающих ей до пенсионного возраста, она, по глупому наущению своего непутевого сына, бросила работу, чтобы воспитывать троих детей португальской семьи. Этим детям она поет песенки, учит их немецкому языку, привлекает к участию в той «мазне», которой сама занимается, и — это засвидетельствовано документально — весьма часто препятствует обязательному посещению ими школы, как препятствовала в свое время собственному сыну. Словом, за Лени числится целый «хвост» прегрешений, а жизнь устроена так, что любой человек, нарушающий закон, воспринимается окружающими как подозрительный элемент; кроме того, вывозка мусора и очистка улиц считаются в обществе малочтенным занятием; в результате падает социальный престиж дома, а следовательно, падают и цены на квартиры.

Все это было высказано спокойным тоном, с разумной аргументацией и звучало убедительно. Инцидент с пиджаком был давно забыт всеми, кроме авт., который, машинально ощупывая свой любимый пиджак, обнаружил значительное повреждение подкладки, а кроме того, заподозрил, что и дыра в рубашке, возникшая по вине итальянского мальчишки, увеличилась. И тем не менее, благодаря крепкому чаю, сырным палочкам и сигаретам на столе и великолепному виду, открывавшемуся из изящно изогнутого окна, гармония постепенно восстанавливалась, тем более что Вернер Хойзер сопровождал рассуждения брата ритмичными кивками, как бы расставляя в его речи знаки препинания — точки, запятые, тире и точки с запятой; в результате возникал как бы удвоенный психологическо-джазовый эффект, действовавший в высшей степени успокоительно.

Здесь авт. считает необходимым воздать хвалу проницательности Вернера Хойзера, который, видимо, догадался, что авт. лишь по причине своей врожденной мелкобуржуазной деликатности не затрагивает вопроса, вертевшегося у него на языке: на самом деле ему ужасно хотелось спросить у братьев о Лотте Хойзер, — как-никак, она приходилась матерью этим молодым людям, столь прочно стоящим на ногах.

Именно он, Вернер, заговорил без тени смущения об «огорчительном и, к сожалению, полном разрыве с матерью». Он, Вернер, считает, что следует не тешить себя иллюзиями, а трезво проанализировать фактическое положение дел, так сказать, решиться на весьма болезненную психологическую операцию, поскольку он, Вернер, знает, что между авт. и его матерью существует душевный контакт, может быть, даже взаимная симпатия, в то время как между ним самим, его братом и дедом, с одной стороны, и авт. — с другой, симпатия «нарушена в результате прискорбного, хоть и незначительного по своей сути, происшествия». Ему, Вернеру, важно еще раз подчеркнуть, что он не в силах понять, как человек может предпочесть поношенный твидовый пиджак из третьеразрядной лавки готового платья, по которому сразу видно, что его носят уже двенадцать лет, новому, с иголочки, добротному пиджаку из модного магазина; однако он был воспитан в духе терпимости к чужому мнению и готов ее проявить и в данном случае, хотя бы отдавая дань известной пословице: «По одежке встречают, по уму провожают». Кроме того, он, Вернер, не в силах понять также нескрываемую антипатию авт. к столь популярной и широко распространенной машине, как «фольксваген»; он сам приобрел для своей жены именно «фольксваген», и когда его двенадцатилетний сын Отто через шесть-семь лет сдаст экзамены на аттестат зрелости и поступит в университет или пойдет в армию, он, Вернер, и сыну купит «фольксваген». Все это так, между прочим, к слову пришлось. А теперь пора вернуться к вопросу о матери. Нельзя сказать, что она искадила образ их павшего на фронте отца, нет, главная ее ошибка в том, что она весьма вульгарным образом принижала исторический фон, на котором он погиб, неизменно называя этот фон «чушь собачья». «Даже такие практичные мальчишки, какими, без сомнения, были мы с братом, в один прекрасный день проявили интерес к личности погибшего отца». Им не было отказано; из слов матери вытекало, что их отец был человек добрый, душевный, хотя отчасти — по крайней мере, в профессиональном отношении — неудачник, и вообще у них с братом никогда не возникало сомнений в том, что мать искренне любила их отца; однако его образ был ею искажен из-за постоянно, хотя, вероятно, непреднамеренно употреблявшегося матерью выражения «чушь собачья» в связи с разными историческими событиями; еще более прискорбен тот факт, что

у нее были любовники. Сначала ее любовником был Груйтен, это бы еще куда ни шло, хотя из-за незаконности этой связи им, ее сыновьям, пришлось вынести много насмешек и обид; но потом «она жила даже с одним русским, а иногда в ее постель попадали и американцы, получившие отставку у этой кошмарной Маргарет»; а в-третьих, ее антирелигиозные и антиклерикальные аффекты — что отнюдь не одно и то же, как авт., вероятно, известно, — привели к ужасающим последствиям; у матери оба эти аффекта «объединились самым убийственным образом»: она заставила сыновей ходить в так называемую «свободную школу», то есть ежедневно совершать долгий и трудный путь, а после того, как с дедушкой Груйтеном случилось несчастье, становилась все ворчливее и раздражительней, так что их, мальчиков, некому было утешить и приласкать; утешение и ласку они находили у тети Лени — это он, Вернер, должен признать и до сих пор благодарен тете Лени за это; она всегда была с ним приветлива, ласкова, щедра, пела им песни, рассказывала сказки, и образ ее покойного мужа — пожалуй, его можно назвать мужем, хоть он и был офицером Красной Армии, — этот образ никогда не подвергался какой-либо критике с ее стороны, Лени никогда не участвовала в бесконечных рассуждениях матери о том, как судьбы людей «исковеркала эта чушь собачья»; долгие годы — да, именно годы — тетя Лени вечерами сидела с ними и Львом на берегу Рейна, а «руки у нее были исцарапаны и исколоты в кровь шипами роз». Кстати, Лев был крещеный, а Курт — нет, его крестили уже потом, когда дедушке Отто «слава богу» удалось вытащить их обоих «из этого болота» и они попали к монахиням; и слава богу, что удалось, потому что тетя Лени для маленьких детей — бальзам, а для подростков — яд; она слишком много поет и слишком мало разговаривает, хотя нельзя не признать, что на них с Куртом она оказывала весьма благотворное влияние, потому что тетя Лени «никогда не имела никаких связей с мужчинами», в то время как их собственная мать имела, пусть и не явно, а эта ужасная Маргарет вообще «вела себя как в борделе». С похвалой отозвался Вернер также о Марии ван Доорн, даже для Богакова нашлось у него несколько теплых слов, «хотя и он иногда слишком много пел». Ну, в конце концов они с братом все же встали на правильный путь, подобающий христианам, в них воспитали трудолюбие и чувство ответственности,

оба окончили университет, Вернер изучал юриспруденцию, Курт — экономику, «а дедушка тем временем проводил свою линию на умножение нашего общего достояния, и проводил ее — я не побоюсь этого слова — гениально, что дало нам возможность применить полученные знания сразу же на собственных предприятиях».

Может показаться, что тотализатор, которым он занимается, так сказать, попутно, — дело несерьезное, в действительности же это вполне солидное с деловой точки зрения предприятие, которое заодно является его, Вернера, хобби, ибо он по натуре игрок. Однако он вынужден заявить, что, в конечном счете, тетя Лени опаснее для общества, чем их мать, которую Вернер назвал «всего лишь обманутой псевдосоциалисткой», поскольку никакого вреда обществу она принести не может. Напротив, тетю Лени он, Вернер, считает реакционной личностью в подлинном смысле этого слова, ибо ее поведение нельзя квалифицировать иначе, как негуманное или, попросту говоря, бесчеловечное: она инстинктивно и упорно, без всяких обоснований, зато абсолютно последовательно, отталкивает любые формы мышления, нацеленного на получение прибыли: она его не то чтобы отрицает — отрицание предполагало бы какое-то обоснование, — а просто отталкивает. От нее исходит дух разрушения и саморазрушения; это, видимо, семейная черта Груйтенов, ибо была присуща и ее брату, и — в еще большей степени — отцу. Под конец своей речи Вернер заверил авт., что он, Вернер, — не какое-то «допотопное чудище», он космополит и либерал крайне левых взглядов, — конечно, в тех пределах, какие позволяет полученное им воспитание; например, он, Вернер, открытый сторонник «пилюли» и сексуального взрыва и тем не менее считает себя христианином: он, если угодно, «фанатик свежей струи» и уверен, что с тетей Лени можно и нужно справиться именно таким образом — «развеять ее свежей струей». Это не он, Вернер, а она, Лени, — «допотопное чудище», ибо здоровое стремление к собственности и прибыли заложено в природе человека, это доказано теологами, и даже философы марксистского толка в последнее время все чаще соглашаются с этим тезисом. В конце концов, на совести Лени — и этого он, Вернер, никогда не сможет ей простить — загубленная судьба одного человека, которого он, Вернер, не только любил, но и по сей день любит; этот человек — Лев Борисович Груйтен, крестник Вернера, вверенный его

опеке при весьма драматичных обстоятельствах. «Я рассматриваю эту опеку как свою жизненную задачу, пусть даже какое-то время относился к ней с некоторым цинизмом; но я действительно *являюсь* его крестным отцом, а это накладывает на меня определенные обязанности, причем не только в метафизическом и не только в общественно-религиозном смысле; это — мой юридический статус, и именно из него я намерен в будущем исходить». Люди решили, что они с братом просто из ненависти отдали Льва под суд из-за «каких-то глупостей — правда, весьма сомнительных с точки зрения закона,— в результате чего Лев был осужден и попал за решетку; в действительности же с их стороны это был акт любви, продиктованный желанием заставить Льва образумиться и вытравить из него «самый тяжкий для христианина грех — грех гордыни и высокомерия». Он, Вернер, прекрасно помнит его отца — доброго, мягкого, тихого человека — и уверен, что отец Льва не хотел бы, чтобы его сын после некоторых плутаний по жизни в конце концов стал мусорщиком. Он, Вернер, не собирается оспаривать, что вывозка мусора имеет огромное значение для общества и является его первой обязанностью, но Лев, бесспорно, «достоин лучшей доли». (Кавычки здесь поставлены авт., который по интонации Вернера не совсем уяснил, цитировал ли Вернер намеренно какое-то известное авт. лицо, декламировал строчку из стихов или просто включил чьи-то слова в свою речь; остается неясным, оправданны ли в таком случае кавычки, так что читатель может рассматривать их как гипотетические.)

Надо учесть, что беседа авт. с Хойзерами продолжалась почти три часа, от четырех до семи вечера. За это время произошло немало событий и было сказано немало слов. «Мастерица на все руки» больше не появлялась, чай в термосе слишком настоялся и стал горчить, сырны палочки утратили былую свежесть и покрылись корочкой из-за того, что в помещении было все же чересчур жарко. И хотя Вернер Хойзер назвал себя сторонником свежей струи, он не предпринял никаких шагов, чтобы проветрить конференц-зал, наполненный клубами табачного дыма (Вернер курил трубку, Курт Хойзер — сигары, авт. — сигареты); попытку авт. попросту открыть среднюю часть изогнутого дугой окна — она отличалась от остальных частей плоской металлической рамой и имела металлическую ручку, так что производила впе-

чатление обычного окна,— эту попытку Вернер Хойзер пресек с мягкой улыбкой, но вполне решительно, заметив, что в здании имеется сложная установка для кондиционирования воздуха, которая не позволяет проветривать помещения, так сказать, «стихийно и произвольно», в любое время; это можно будет сделать лишь после того, как загорится специальный сигнал, регулирующий климатологический режим во всем здании. Тут уже Курт добавил весьма доброжелательным тоном, что как раз эти часы — незадолго до закрытия всех контор и редакций — являются часами «пик»; сигнальная лампочка, вмонтированная в раму окна, загорится примерно через полтора часа, тогда можно будет проветрить помещение; в данный момент кондиционер настолько перегружен, что не успевает поставлять достаточное количество свежего воздуха. «Все здание состоит из сорока восьми отдельных секций — двенадцать этажей, по четыре секции на этаж,— и во всех сорока восьми в это время суток диктуются деловые письма, ведутся важные телефонные переговоры, происходят представительные совещания, то есть находится слишком много людей. Если учесть, что в каждой из сорока восьми секций имеются четыре помещения, а в каждом помещении находятся в среднем две с половиной курящих единицы,— согласно статистике, одна из этих единиц потребляет в неумеренном количестве сигареты, половина второй курит трубку, и три четверти единицы, согласно той же статистике, курит сигары. Таким образом, в этом здании сейчас находятся четыреста семьдесят пять курящих единиц... Простите, я перебил брата, да и вообще, как мне кажется, нам всем пора закругляться, ибо и ваше время наверняка ограничено».

Тут вновь заговорил Вернер Хойзер (его слова приводятся сокращенно): речь идет не о деньгах, как может показаться поверхностным людям со стороны,— он отнюдь не имеет в виду авт. Тете Лени они предложили бесплатную квартиру в лучшем районе города, совершенно бесплатную, и вызвались помочь Льву, который вскоре выйдет из заключения, окончить вечернюю школу, получить аттестат зрелости и затем поступить в университет; все эти предложения были отклонены, и, поскольку некоторым людям, видите ли, нравится общество мусорщиков, они не желают даже минимально приспособиться к требованиям жизни; этих людей не соблазняет, не прельщает современный комфорт, они при-

вязаны к своей старомодной плите, к своим печкам, к своим привычкам. В общем, ясно, кто из них реакционер, а кто нет. В данном случае речь идет о прогрессе общества, причем он, Вернер, употребляет слово «прогресс», выступая как бы в двух ипостасях — и как христианин, преданный церкви, и как экономист широких взглядов, а также юрист, знакомый с принципами правового государства; да, речь идет о прогрессе общества, о его движении вперед, а кто «движется вперед, должен через кого-то переступить». «Тут уж не до романтических бредней вроде песни «Когда мы шагаем плечо к плечу», которой нам в детстве надоела мать. Мы не вольны поступать как нам вздумается, вы сами убедились, что нам не дано даже в собственном доме открыть окно, когда пожелаем». Разумеется, в хойзеровских новостройках никто не собирается предоставить тете Лени бесплатную квартиру в двести одиннадцать квадратных метров, ибо это означало бы потерю почти двух тысяч марок, а также обеспечить ей печи и окна, «распахивающиеся в любую минуту». Кроме того, ей пришлось бы, естественно, примириться с известными «весьма незначительными социальными ограничениями» в отношении своих жильцов, квартирантов или любовников. «Черт побери! — впервые злобно взорвался Вернер Хойзер, но тут же взял себя в руки. — Я бы тоже не прочь так уютно устроиться, как тетя Лени». Итак, в силу этой, а также ряда других причин, но в первую голову из соображений высшего порядка, они в настоящий момент вынуждены задействовать механизм выселения, лишь на первый взгляд кажущийся безжалостным.

В этом месте его речи авт. захотелось сказать что-нибудь кроткое и умиротворяющее, он был вполне готов признать ничтожность инцидента с пиджаком по сравнению с тяжкими и мучительными проблемами, с которыми приходится сталкиваться этим людям: даже окно в собственном доме и то не имеют права открыть! Порванный пиджак, в конечном счете, не так уж и важен, как показалось авт. вначале. И помешал авт. произнести эти кроткие слова не кто иной, как Курт Хойзер. Правда, авт. и рассматривал их как способ умиротворения, поскольку никакого конфликта между ним и его собеседниками не было, а просто хотел выразить им сочувствие. Курт с видом отнюдь не угрожающим, а скорее просительным загородил авт. дорогу, когда тот направился

к выходу, держа пальто и шляпу в руках, и произнес нечто вроде заключительной речи.

Что касается самого авт., то ему пришлось в ходе этой встречи расстаться с многими предубеждениями: после всего, что он слышал о Курте, тот представлялся авт. некоей помесью гиены с волком, беспощадным рыцарем наживы; а при ближайшем рассмотрении оказалось, что у Курта очень ласковые глаза, похожие — правда, лишь по форме, а не по выражению — на глаза его матери; язвительная жесткость и слезливая желчность Лотты в этих круглых карих глазах — можно даже сказать «глазах лани» — были смягчены качествами, унаследованными Куртом, очевидно, от его отца Вильгельма или от кого-то еще по отцовской линии, только уж не от деда, то есть отца своего отца. Если вспомнить, что гены многих действующих лиц, непосредственно связанных с Лени, так сказать, берут свое начало в географическом треугольнике Верпен — Тольцем — Люссемих, то можно даже воздать хвалу тамошним свекловичным полям, хоть они и породили попутно и Пфайферов. Курт Хойзер, несомненно, оказался человеком с душой, и поэтому, как ни подпирало время, авт. счел своим долгом дать ему возможность высказаться. Курт запросто положил руки на плечи авт., и в этом жесте не было ни панибратства, ни снисходительности, а лишь какое-то теплое, чисто братское чувство, в выражении которого нельзя никому отказывать. «Послушайте,— приглушенно начал он,— мне не хочется, чтобы у вас сложилось впечатление, будто тетя Лени попала под жернова жестокого социально-исторического процесса, автоматически и неумолимо перемалывающего устаревшие элементы общества; этот процесс распространяется и на нас. Разумеется, это впечатление было бы верным, если бы мы производили ее выселение, не обдумав все, все забыв и сняв с себя всю ответственность. Но это отнюдь не так. Мы делаем это сознательно и вполне ответственно,— во всяком случае, посоветовавшись со своей совестью. Не стану скрывать, что на нас оказывают давление собственники соседних земельных участков и владельцы недвижимости. Но у нас достало бы силы пренебречь этим давлением или хотя бы договориться об отсрочке. Не стану также отрицать, что нашему дедушке свойственна острая эмоциональная неводержанность, но и ее мы в состоянии нейтрализовать; мы могли бы и в дальнейшем погашать задолженность

тети Лени по квартирной плате из собственного кармана, как делали это годами — да, почти десять лет,— и, таким образом, все сглаживать и всех примирять. Ведь мы, в конце концов, любим тетю Лени, многим ей обязаны и относимся к ее причудам скорее с симпатией, чем с неприязнью. Обещаю вам и прошу передать это мое обещание заинтересованным лицам: если завтра выселение состоится и квартира будет освобождена, мы с Вернером немедленно погасим ее задолженность и прекратим судебное преследование; для тети Лени уже приготовлена очень уютная квартирка в одном из наших жилых комплексов,— правда, в ней нет места для ее десяти жильцов. Чего нет, того нет. Однако там достаточно площади для нее самой, ее сына и, надо думать, для ее любовника, с которым мы вовсе не собираемся ее разлучать. Для нас речь идет о другом — о том, что я без тени смущения назвал бы воспитательной мерой или душевным попечительством, которое, к сожалению, вынуждено прибегать к весьма жестким исполнительным органам. Ведь частные лица, как известно, не обладают исполнительной властью. Итак, операция пройдет быстро и безболезненно, однако к середине дня все должно быть кончено, и если тетя Лени не допустит никаких эскапад, чего от нее, к сожалению, можно ожидать, она уже вечером сможет поселиться в приготовленной для нее новой квартире. Мы приняли все меры к тому, чтобы в решающий момент оплатить или выкупить ее старую мебель, столь милую ее сердцу. Наша акция носит скорее воспитательный — вернее, любовно-воспитательный — характер, но, кроме того, продиктована некоторыми принципиальными соображениями. Вы, вероятно, недооцениваете значимость социологических выводов, к которым пришли такие влиятельные общественные круги, как Союз домовладельцев и собственников недвижимости. Можете мне поверить: они уже давно поняли, что именно в больших квартирах старых домов, относительно дешевых, довольно удобных и т. д., возникают те социальные группы, которые объявляют войну нашему обществу, основанному на свободной конкуренции. С точки зрения национальной экономики высокие заработки иностранных рабочих оправданны только в том случае, если значительная часть заработанных ими денег уходит на оплату жилья и, таким образом, не уплывает за пределы страны. Три турка зарабатывают на круг две тысячи марок с небольшим в месяц; ни с чем не сообразно, что

из этих двух тысяч они платят за квартиру, включая пользование кухней и ванной, всего около ста марок. Ведь это составляет пять процентов их заработка, в то время как наши соотечественники отдают за квартиру от двадцати до сорока процентов своего месячного дохода. Из общей суммы заработка Хельценов, равной почти двум тысячам тремстам маркам, они платят за квартиру в общей сложности сто сорок марок, причем комнаты у них *меблированные*. Такая же картина у португальской семьи. Следовательно, мы имеем здесь дело с искажением идеи свободной конкуренции; если оно распространится подобно эпидемии, оно может подорвать, разложить и уничтожить один из основополагающих принципов нашего общества свободного предпринимательства и разрушить устои свободного демократического правового государства. Ведь здесь нарушается принцип равных возможностей, понимаете? Параллельно с этим экономическим антипроцессом протекает другой процесс — духовное разложение. И это, пожалуй, самое важное. Атмосфера, царящая в квартире тети Лени, способствует зарождению социалистических, если не сказать — коммунистических, иллюзий, каковые действуют разлагающе на души людей, принимающих иллюзию за идиллию, а это, в свою очередь, порождает если не промискуитет, то промискуитизм, который медленно, но верно разрушает нравственность и мораль и глумится над нашим индивидуализмом. Я мог бы привести вам еще несколько — наверное, с полдюжины — вполне убедительных доводов. Но буду краток: предпринятая нами мера не направлена лично против тети Лени, нами движет не ненависть, не желание отомстить, — наоборот, мы испытываем к ней симпатию и, откровенно говоря, даже некоторую грусть по ее милому анархизму: признаюсь, мы ей немного завидуем... Но важнее сейчас другое: квартиры такого сорта — этот вывод основывается на объективных исследованиях, проведенных нашим Союзом, — являются рассадниками коллективизма; мы утверждаем это трезво, по-деловому, без эмоций. А коллективизм порождает мечту об утопической идиллии в земном рае. Благодарю вас за терпение, с которым вы все это выслушали. Если у вас возникнут какие-то трудности с жильем, мы всегда к вашим услугам. И не связываем свою готовность с каким-либо условием, она продиктована исключительно симпатией к вам и нашей терпимостью к любому мнению. Итак, всегда к вашим услугам».

В квартире Ширтенштайна царило такое оживление, какое царило, наверное, в октябре семнадцатого года в некоторых непарадных помещениях Смольного в Петербурге. В разных комнатах заседали разные комитеты. Госпожа Хельтхоне, Лотта Хойзер и доктор Шольсдорф образовали «финансовый комитет», который должен был определить размеры финансовой катастрофы Лени по протоколам судебных описей, предписаниям о выселении и т. д. С помощью Хельценов, турка Мехмеда и португальца Пинто комитету удалось заполучить официальные извещения и другие бумаги, которые Лени небрежно совала нераспечатанными в выдвижной ящик тумбочки, а когда там уже не было места — в нижнее отделение той же тумбочки. Пельцер был придан этому «комитету трех» на правах начальника генерального штаба. Ширтенштайн вместе с Гансом Хельценом, Грундчем и Богаковым, которого Лотта привезла на такси, занялись проблемой «связи с общественностью». Питание присутствующих взяла на себя Мария ван Доорн, которой надлежало приготовить бутерброды, картофельный салат, яйца и чай. Как большинство людей, незнакомых с самоваром, Мария полагала, что чай заваривают в нем самом, так что Богакову пришлось просветить ее на этот счет; имевшийся в квартире огромный самовар, по словам Ширтенштайна, прислал ему на дом некто, оставшийся неизвестным и приложивший к нему напечатанную на машинке записку: «В благодарность за тысячекратное исполнение «Лили Марлен». *Ваш знакомый*». Мария ван Доорн, как и все вообще домохозяйки ее возраста, не имела опыта в заваривании чая, так что ее чуть ли не силой заставили насыпать в четыре раза больше заварки, чем она рассчитывала. В остальном Мария проявила блестящие способности; как только ей удалось создать некоторый запас еды, она принялась за пиджак авт. Довольно много времени потратив на поиски иголки и ниток, она с помощью Лотты все же обнаружила то и другое в ширтенштайновском комоде, после чего с исключительной сноровкой и без очков начала устранять уже известные читателю тяжкие внутренние и внешние повреждения в пиджаке авт., то есть практически производить художественную штопку, хотя и не имела соответствующего квалификационного свидетельства. Авт. же отправился в ванную комнату, сразу же

поразившую его своими размерами и гигантской ванной, а также богатейшим ассортиментом ароматических ингредиентов. Из-за нерасторопности авт. Лотта успела обнаружить дыру у него на рубашке, и хозяин дома тут же предложил авт. свою; несмотря на некоторые различия в объеме груди и размере воротничка, рубашка пришлась ему почти впору. Есть все основания назвать квартиру Ширтенштайна идеальной: дом старой постройки, три комнаты с окнами во двор; в одной комнате — концертный рояль, полки с книгами, письменный стол; в другой, поистине огромной и похожей, скорее, на зал (ее площадь, измеренная не рулеткой, а просто шагами, — примерно шесть на семь), находились кровать хозяина дома, платяной шкаф и несколько комодов, на которых в беспорядке валялись папки с рукописями критических статей Ширтенштайна; третьим помещением была кухня, хоть и не слишком большая, но весьма просторная; и наконец — уже упомянутая ванная комната, которая по сравнению с ванными комнатами в новостройках показалась авт. роскошной, чуть ли не королевской как по своим размерам, так и по оборудованию. Окна в ванной были открыты; во дворе авт. увидел несколько старых деревьев лет восьмидесяти с гаком и увитую плющом стену. Пока авт. нежился в ванне, в прилегающих комнатах после энергичного «Тс-с-с! Тс-с-с!» Ширтенштайна внезапно воцарилась мертвая тишина. И тут произошло нечто, временно отвлекшее мысли авт. от Клементины, вернее, значительно углубившее эти мысли и придавшее им, так сказать, оттенок пронзительной тоски. Да, произошло нечто из ряда вон выходящее: запела женщина. И женщиной этой могла быть только Лени. Человеку, который никогда не рисовал в своем воображении юную прекрасную Лилофею, лучше, пожалуй, пропустить последующие строки; но тот, кто посвятил прекрасной Лилофее хотя бы малую толику своей фантазии, пусть знает: именно так могла петь Лилофея. Авт. услышал девичий голос, женский голос, звучавший как музыкальный инструмент. И что же пел этот голос? Что лилось из открытого окна через тихий двор в другие открытые окна?

У меня было покрывало
для песни моей, расшитое
снизу доверху
сказаньями старыми.

Глупцы сорвали его,
чтобы держать его перед глазами
мира, как будто
это их ткань.
Пускай они его носят.
Больше мужества требует
нагота.

Экзистенциальное воздействие этого голоса, разносившегося по двору, где он звучал, неслышимый и неслышанный, наверное, лет сорок, было таково, что авт. с трудом удерживал Сл., пока не спросил себя, почему, собственно, он должен всегда сдерживаться, и тут Сл. полились из его глаз ручьем. Да, авт. позволил себе П., но в то же время ощущал Б., а поскольку мысли его сами собой потекли по профессиональному руслу, он вдруг начал сомневаться в достоверности собранных им сведений о наличествующих у Лени книгах. Быть может, несмотря на то, что судебные исполнители с надлежащим рвением перерыли все лари, ящики и шкафы Лени, они все же пропустили несколько книг из библиотеки ее матери, несколько книг писателя, имя которого они не решились упомянуть просто потому, что не знали, как его правильно произнести? Без сомнения, в книжных завалах у Лени хранилось еще немало сокровищ и забытых шедевров, с которыми ее мать познакомилась еще в юности, году в четырнадцатом или, самое позднее, в шестнадцатом.

В то время как «финансовый комитет» еще не обрел полной ясности, «комитет связи с общественностью» выяснил, что Лени начнут принудительно выселять уже в половине восьмого утра, что в этот час учреждения, которые могли бы приостановить означенные действия, только-только открываются и что — Ширтенштайн успел провести по этому вопросу безрезультатные телефонные переговоры с множеством адвокатов и даже прокуроров — ночью приостановить выселение не представляется возможным. Так возникла почти неразрешимая проблема: как выиграть время? Как отложить принудительное выселение Лени и ее жильцов хотя бы до половины десятого? Пельцер временно предоставил «комитету по связи с общественностью» свои знакомства и связи; он созвонился с несколькими экспедиторами и судебными исполнителями, своими приятелями по карнавальному ферейну «Вечно молодые гуляки»; а поскольку Пельцер, как выяснилось, еще и пел в мужском хоре, где «юристов и прочих крючоктворцов пруд пруди»,

и с кем-то из них переговорил,— то все эти разговоры только еще раз подтвердили, что перенести выселение на другой час законным путем невозможно. Вновь засев за телефон, Пельцер предложил некоему человеку, которого он называл Юпп, устроить автомобильную аварию, а уж он, Пельцер, «за деньгами не постоит». Однако Юпп — по всей вероятности, это и был тот чиновник, который осуществлял выселение жильцов,— не клюнул на предложение Пельцера, и тот прокомментировал его позицию следующим образом: «Все еще не доверяет мне, не верит, что мною движет просто любовь к ближнему». Слова «автомобильная авария» навели Богакова на совершенно гениальную мысль: ведь Лев Борисович работал водителем мусоровоза, такие же машины водят турок Кайя Тунч и португалец Пинто. Так неужели у водителей мусоровозов нет чувства солидарности с их товарищем, сидящим за решеткой, и с матерью их товарища? Ни Пинто, ни Тунча — уж очень оба казались деревенщиной — не ввели ни в «финансовый комитет», ни в «комитет по связи с общественностью», сочтя их непригодными для таких дел; Пинто чистил на кухне картошку в мундире, а Тунч следил за самоваром и разливал чай. Но тут они оба в один голос заявили, что на одной солидарности далеко не уедешь. «Зачем говорить о солидарности? — с обидой и горечью воскликнули Тунч и Пинто.— Какая уж тут солидарность, когда на глазах у всех выбрасывают на улицу десять человек, в том числе троих детей!» (В действительности Пинто и Тунч выразили свою мысль несколько иначе: «Слова, слова, одни слова от обыватель».) В ответ Богаков отрицательно качнул головой и с явным трудом, преодолевая боль, поднял руку, а восстановив тишину, рассказал, что в свое время, еще школьником, видел, как в Минске не дали реакционерам вывезти из города арестованных. За полчаса до отправки забили в набат, якобы где-то пожар, ну, конечно, за рулем пожарных машин сидели надежные товарищи, об этом заранее позаботились. Все машины одновременно съехались к зданию школы, в которой держали арестованных, и перегородили собою всю улицу, так что и по тротуару нельзя было пройти; в общем, устроили искусственную пробку; таким манером выиграли время, чтобы вывести арестантов через черный ход,— там сидели одни солдаты и офицеры по обвинению в дезертирстве и вооруженном бунте, короче говоря — смертники. Поскольку ни Пинто с Тунчем, ни Ширтен-

штайн, ни подошедший к ним Шольсдорф не могли сообразить, к чему Богаков клонит, он выразился яснее. «Мусоровозы,— сказал он,— довольно громоздкие штуковины, для уличного движения так и так не больно-то сносные. Из-за них то и дело пробки; стоит двум таким машинам, а еще лучше — трем, столкнуться на перекрестке, и весь район будет перекрыт, по крайней мере, часов на пять, так что этот Юпп на своем грузовике не сможет подъехать к дому Лени ближе чем на пятьсот метров. Причем ему придется для этого еще и въехать в улицы с односторонним движением. Так вот, если я что-нибудь понимаю в немцах, Юпп заявится к нам, только когда дело будет сделано, то есть когда получим у властей отсрочку. На тот случай, если Юпп запасется разрешением на въезд в улицы с односторонним движением по причине срочности задания, надо, чтобы на другом конце улицы столкнулись еще два мусоровоза». На это Ширтенштайн заметил, что как раз водителям-иностранцам подобные номера даром не пройдут и надо подумать, не лучше ли привлечь к этому делу немцев. С таким заданием и послали Салазара, снабдив его деньгами на дорогу, в то время как Богаков, которому Шольсдорф дал бумагу и карандаш, стал чертить план города, на котором с помощью Хельцена отметил все улицы с односторонним движением. Вскоре присутствующие пришли к выводу, что столкновения даже двух мусоровозов будет вполне достаточно, чтобы возник чудовищный хаос, в котором грузовик Юппа безнадежно застрянет в километре от дома Лени. Поскольку Хельцен был немного знаком со статистикой уличного движения, а кроме того, как служащий отдела дорожного строительства, точно знал габариты и тоннаж мусоровозов, то, набрасывая вместе с Богаковым стратегический план операции, он пришел к выводу, что, «пожалуй, хватит и одного мусоровоза, если он наедет вот на этот фонарный столб или на то дерево. Хотя все же лучше, если в него врежется еще один. «Вмешается полиция, то да се, в общем, уйдет часа четыре или все пять, не меньше». После этих слов Ширтенштайн обнял Богакова и спросил, нет ли у того какого-нибудь желания, которое он, Ширтенштайн, мог бы выполнить, на что Богаков ответил, что его самое заветное, можно даже сказать, последнее желание, поскольку он чувствует себя совсем плохо, это — услышать еще раз «Лили Марлен». Богаков не знал ранее Ширтенштайна, так что в просьбе

его можно усмотреть не злой умысел, а, скорее всего, чисто русскую наивность. Ширтенштайн побледнел, но поступил как джентльмен: немедленно сел за рояль и сыграл «Лили Марлен» — наверное, впервые за последние пятнадцать лет, и сыграл как полагается. Песенка растрогала не только Богакова, который даже прослезился, но и турка Тунча, а также Грундча и Пельцера. Лотта и госпожа Хёльтхоне заткнули уши, а Мария ван Доорн, усмехаясь, появилась в дверях кухни.

Затем Тунч опять заговорил о деле, заявив, что симуляцию наезда он берет на себя; за восемь лет у него не было ни одной аварии — к радости руководителей городского автохозяйства, — поэтому он может позволить себе устроить небольшое уличное происшествие. Правда, придется либо изменить свой маршрут, либо с кем-нибудь поменяться. Для этого надо только кое с кем переговорить, а это хоть и трудно, но выполнимо.

К этому времени и «финансовый комитет» достиг полной ясности. «Однако, — сказала госпожа Хёльтхоне, — обольщаться нам нечем, ибо ясность эта внушает ужас. Хойзеры все взяли в свои руки, скупил долги расписки Лени, выданные другим лицам, даже ее счета за газ и воду. В общей сложности — не пугайтесь! — речь идет о сумме в шесть тысяч семьдесят восемь марок тридцать пфеннигов». Впрочем, эта сумма почти полностью совпадает с заработком Льва, выпавшим из бюджета Лени из-за его ареста; следовательно, Лени вполне в состоянии сводить концы с концами, а значит, ей нужна не безвозвратная ссуда, а просто определенная сумма денег в долг. Госпожа Хёльтхоне вынула чековую книжку, положила на стол, выписала чек и сказала: «На первый случай я даю тысячу двести. Больше сейчас не могу. Я соблазнилась и закупила чересчур большую партию итальянских роз. Вы, Пельцер, знаете, как это бывает». Прежде чем вытащить свою чековую книжку, Пельцер не удержался от морализаторского комментария: «Продай она дом мне, не было бы этих передраг. Но все равно я дам полторы тысячи. — И, бросив взгляд в сторону Лотты, добавил: — Надеюсь, меня не будут больше третировать как парию и в тех случаях, когда не будут позарез нуждаться в деньгах». Лотта, пропустив мимо ушей намек Пельцера, призналась, что она на мели; Ширтенштайн заверил, что при всем желании не может выложить больше ста марок, что прозвучало вполне убедительно; Хельцен отсчитал триста, и Шольс-

дорф — пятьсот наличными, причем Хельцен объявил, что готов помочь погашению задолженности, внося в будущем более высокую плату за квартиру, а Шольсдорф, залившись краской до корней волос, сказал, что просто обязан взять на себя остаток долга, поскольку он в какой-то степени виновен в тяжких финансовых обстоятельствах госпожи Пфайфер, — во всяком случае, виновен изначально. Но за ним водится один грех, из-за которого он постоянно сидит без гроша: он коллекционирует редкие русские издания, в особенности рукописи, и как раз на днях раздобыл несколько очень дорогих его сердцу писем Толстого; однако он готов завтра утром начать переговоры с властями и провести их в ускоренном темпе; он уверен, что при его связях ему удастся добиться отсрочки, в особенности если он, как только откроется касса, возьмет аванс в счет своего жалованья и с этой суммой наличными отправится в соответствующие отделы. Вообще-то будет достаточно утром внести лишь половину долга, остальное он пообещает возместить к середине дня. В конце концов, он и сам государственный служащий, и всем известна его обязательность; но, помимо всего прочего, он ведь после войны неоднократно предлагал отцу Лени частным порядком возместить причиненный тому ущерб, но господин Груйтен всякий раз отказывался; так что теперь ему, Шольсдорфу, представилась возможность искупить свои филологические пристрастия, политическую значимость которых он осознал слишком поздно. Нужно было видеть Шольсдорфа в эти минуты: настоящий ученый муж, чем-то даже похожий на Шопенгауэра; в голосе его явственно слышались Сл. «Единственное, что мне нужно, дамы и господа, это минимум два часа времени. Я не одобряю затею с мусоровозами, но признаю ее необходимость как акта самообороны и, вопреки данной мною присяге, буду молчать. Заверяю вас, что у меня есть друзья и влияние, что за три десятка лет безупречной службы, противоречащей моим склонностям, но не способностям, я приобрел высокопоставленных друзей, которые ускорят отмену принудительного выселения. Я прошу лишь одного: дайте мне время».

Богаков, за это время вместе с Тунчем изучивший план города, объявил, что единственная возможность выиграть время — это заставить весь транспорт ехать кружным путем, то есть подстроить аварию, в крайнем случае — затор, в одном из тихих переулков. Словом,

Шольсдорфу было обещано необходимое время. Ширтенштайн тоже хотел что-то сказать, но только прошипел: «Тс-с-с! Тс-с-с!» — Лени запела опять.

Плодоносная краса,
Зреют гроздья винограда,
Веет над прудом прохлада,
И звенит в полях коса.

Почти благоговейную тишину, воцарившуюся в комнате, нарушил лишь ехидный смешок Лотты, а Пельцер по поводу услышанного заметил: «Значит, это правда — она и впрямь от него понесла». Эти слова показывают, что даже высокая поэзия может содержать доходчивую информацию.

Прежде чем покинуть общество, пребывавшее в приподнятом настроении, авт. впервые нарушил свой нейтралитет, в свою очередь внося скромную лепту в фонд спасения Лени.

Уже на следующий день около половины одиннадцатого утра авт. узнал от Шольсдорфа, что комитету удалось добиться отсрочки, а еще через день прочел описание этого события под заголовком «Неужели опять иностранцы?» в одной из местных газет: «Что это было: саботаж, случайное совпадение, повторение нашумевшей истории с невывозкой мусора или что-то другое? По какой причине вчера, около семи утра, на углу Ольденбургерштрассе и Битцератштрассе мусороуборочная машина, за рулем которой сидел португалец и которая в этот час должна была находиться в трех километрах западнее, на Брукнерштрассе, столкнулась с другой мусороуборочной машиной, которую вел турок и которая должна была находиться в пяти километрах восточнее, на Крекманштрассе? И чем можно объяснить тот факт, что третий мусоровоз — на сей раз водителем был немец, — несмотря на знак одностороннего движения, въехал на ту же Битцератштрассе и врезался в фонарный столб? Финансово-промышленные круги, пользующиеся в нашем городе заслуженным уважением и оказавшие городу значительные услуги, сообщили редакции, что упомянутые несчастные случаи явились результатом заранее запланированной акции. В самом деле, какое странное совпадение! Водители машин, турок и португалец, проживают в одном и том же доме на Битцератштрассе, пользуемся дурной репутацией; с согласия

отдела социального надзора и полиции нравов вчера этот дом решено было очистить от жильцов. Однако покровители некоей дамы — как говорят, щедро раздающей свои милости, — «ссудили» этой даме неслыханно большую сумму денег и, таким образом, предотвратили выселение, задержанное с утра неопишваемым хаосом на улице (см. фото). К обоим водителям-иностранцам, которых посольства их стран характеризуют как «политически неблагонадежных», следовало бы присмотреться повнимательнее. Ведь в последнее время мы уже не раз убеждались, что иностранные рабочие занимаются у нас в стране сутенерством. И мы повторяем свой вопрос как *ceterum censeo*¹: неужели опять иностранцы? Скандальное уличное происшествие в настоящее время расследуется. В «организации» этого происшествия подозревается некое лицо, которое называет себя «экзистенциалистом», под весьма прозрачными предложениями втерлось в упомянутые финансово-промышленные круги и, воспользовавшись доверчивостью некоторых людей, получило кое-какую информацию. Материальный ущерб, причиненный происшествием на Битцератштрассе, оценивается предварительно в шесть тысяч марок. Потери из-за многочасового простоя транспорта вряд ли вообще поддаются подсчету».

Ознакомившись с этим сообщением, авт. улетел из города, — но не из трусости, а по велению сердца. И полетел он не в Рим, а во Франкфурт; из Франкфурта отправился поездом в Вюрцбург, куда перевели Клементину в наказание за предположительное разглашение ею некоторых секретных данных, связанных с делом Рахили Гинцбург. Клементина уже больше не раздумывает, она окончательно решила сбросить монашеский чепец, и теперь ее медно-рыжие волосы предстанут миру во всей своей красе.

Здесь авт. следует, пожалуй, сделать одно весьма тривиальное признание: несмотря на то, что он, авт., старается, по примеру одного небезызвестного доктора, следовать своим извилистым путем «в земной карете, запряженной небесными конями», он чувствует, что сам он — всего лишь слабый земной человек. И посему хорошо понимает героя одного литературного произведения, который «вздыхает рядом с Эффи на берегу Балтийского моря», а поскольку у него нет Эффи, с которой можно

¹ Настойчивое напоминание, неустанный призыв (лат.).

было бы умчаться на Балтийское море, авт. без всяких угрызений совести решает отправиться с Клементиной, ну, скажем, в Вайтсхехгейм и обсудить с ней там ряд экзистенциальных проблем. Авт. не решается назвать эту женщину «своей», поскольку она не решается стать «его»; у Клементины возник ярко выраженный «алтарный комплекс»: проведя почти восемнадцать лет вблизи алтарей, она теперь не хочет идти к алтарю и находит брачное предложение, считающееся честью, на самом деле бесчестным. Кстати, ресницы у Клементины гораздо более длинные и шелковистые, чем показалось авт. в Риме. Много лет Клементина вставала чуть свет, теперь она сладко спит допоздна, завтракает в постели, гуляет, отдыхает после обеда, иногда читает авт. довольно длинные лекции (которые, наверное, можно назвать размышлениями вслух или монологами) о причинах своей боязни перейти вместе с ним через «линию Майна», то есть поехать с ним на север страны. О жизни до Вайтсхехгейма она никогда ничего не говорит. «Представь себе, будто я в разводе или вдова. Ведь не стала бы я рассказывать тебе о первом браке». Подлинный возраст Клементины — сорок один год, подлинное имя — Карола, однако она не возражает, если ее и впредь будут называть Клементиной. При ближайшем рассмотрении и после нескольких бесед выясняется, что Клементина — женщина довольно избалованная: она привыкла жить на всем готовом, не знала забот ни о квартире, ни об одежде, ни о книгах, вообще не должна была себя ничем обеспечивать. Отсюда ее страх перед жизнью: Клементину пугают самые пустяковые траты вроде стоимости чашки кофе где-нибудь в Шветцингене или Нимфенбурге, и каждый раз, когда авт. вынимает бумажник, она испытывает ужас. Неизбежные долгие разговоры авт. по телефону с «севером-за-Майном» — так их именуется Клементина — действуют ей на нервы, ибо все, что она слышит от авт. о деле Лени, кажется ей вымыслом. Она, правда, не подвергает сомнению существование самой Лени, о которой знает из досье ордена. И хотя так и не сумела достать и прочесть знаменитое сочинение Лени «О маркизе д'О...», подробный письменный отчет о форме и содержании этого сочинения от сестры Пруденции она все же получила. Любое напоминание о Рахили Гинцбург выводит Клементину из себя, а на предложение авт. поехать с ним в Герзелен и рвать там розы она только мягко, по-кошачьи, отмахивается.

вается. Клементина не хочет и «слышать о чудесах». Быть может, здесь стоит заметить, что она — инстинктивно — отрицает разницу между верой и знанием. Уже ясно, что перед Герзеленом открывается перспектива стать бальнеологическим курортом: вода в тамошнем источнике достигает 38—39 градусов по Цельсию, что считается идеальной температурой. Ясно также — авт. узнал об этом по телефону, — что Шольсдорф «самым энергичным образом включился в дело Лени» (слова Ширтенштайна) и что на вышеупомянутую газету подано в суд, дабы заставить ее взять обратно такие выражения, как «дом, пользующийся дурной репутацией» и «дама, щедро раздающая свои милости»; причем труднее всего оказалось убедить суд в оскорбительности «вполне вежливого выражения «раздавать милости». И еще новости: Лотта временно поселилась в комнате Льва, оба турка — Тунч и Кылыч — займут, видимо, квартиру Лотты (в случае, если на это согласится домовладелец, «отчаянный враг всех левантинцев»), ибо Лени и Мехмед решили «заклучить сердечный союз» — таково пока название их новых отношений, поскольку Мехмед женат, но, как магометанин, имеет право завести вторую жену — по магометанским законам, но отнюдь не по законам страны, которая его временно приютила; разве что сама Лени примет магометанство, и это не исключено, поскольку и в Коране нашлось место для мадонны. Пока что удалось разрешить и проблему булочек — за ними ходит старшая дочь португальцев, восьмилетняя Мануэла. Начальство Хельцена оказывает на него давление, «покамест не очень сильное» (слова Ширтенштайна). За истекший период Лени встретила с комитетом «Помогите Лени!» и покраснела «от радости и смущения» (наверное, четвертый раз в жизни. Авт.); беременность ее подтверждена гинекологом, и теперь Лени проводит много времени у врачей: «обследуется сверху донизу, вдоль и поперек», потому что хочет, «чтобы беби было хорошо у нее внутри» (слова Лени в пересказе Ширт.). Заключение терапевта, зубного врача, ортопеда и уролога были абсолютно благоприятными, и только психиатр сделал некоторые замечания: он установил у Лени совершенно ни на чем не основанный недостаток уверенности в себе и весьма основательное нарушение контакта с окружающим миром, однако счел, что все эти отклонения пройдут сами по себе, как только Лев выйдет из тюрьмы. Лени должна будет как можно

чаще прогуливаться на виду у всех под руку с Мехмедом Шаханом и Львом — «это надо рассматривать как прописанное врачом лекарство» (слова психиатра в передаче Ширт.). Однако для психиатра, равно как и для Ширтенштайна, остались непонятными мучащие Лени кошмары, в которых ее преследуют то борона, то доска, то чертежник, то офицер, — даже в те ночи, когда она засыпает в объятиях своего утешителя Мехмеда. Кошмары Лени приписываются «вдовьему комплексу», что, как берется доказать авт., является упрощенным и совершенно ошибочным объяснением; так же ошибочно считать, будто причина страшных снов Лени — те обстоятельства, при которых она зачала и родила Льва. Эти кошмары, как может подтвердить и Клементина, ни в коей мере не связаны ни с подземельями, ни с бомбежками, ни с объятиями во время этих бомбежек.

Постепенно, делая остановки сперва в Майнце, потом в Кобленце и, наконец, в Андернахе, то есть намеренно помогая Клементине переступить со ступеньки на ступеньку, авт. без особых осложнений удалось завлечь Клементину на «север-за-Майном». Так же осторожно и постепенно, как с новым для нее ландшафтом, он знакомил ее и с новыми для нее людьми. Первым номером программы шла госпожа Хёльтхоне с ее библиотекой, изысканной атмосферой дома и почти монашеской строгостью ауры: ведь и к образованным дамам тоже нужен подход. Встреча эта вполне удалась, и в завершение ее хозяйка дома шепнула авт. на ухо: «Поздравляю!» (С чем? Авт.) Следующим на очереди был Б. Х. Т., который блеснул вкуснейшим луковым супом, превосходным итальянским салатом и мясом, приготовленным в гриле; он с жадностью ловил каждое, буквально каждое слово Клементины о Рахили Гинцбург, Герзелене и т. д. Поскольку Б. Х. Т. считает ниже своего достоинства читать газеты, он ничего не знал о разразившемся скандале, за истекшее время, наверное, заметно поутихшем; на прощанье он шепнул авт.: «Счастливец!» Грундч, Шольсдорф и Ширтенштайн имели у Клементины безусловный успех; первый из-за своей «природной естественности», а еще потому, что старые кладбища и веющая над ними печаль всегда притягивает людей. Шольсдорф и сам по себе неотразим; кто бы мог перед ним устоять? С тех пор как он обрел реальную возмож-

ность помогать Лени, он стал гораздо раскованнее, а кроме того, он — филолог, стало быть, коллега Клементины, и за чаем с миндальными пирожными между ними очень скоро завязался страстный диспут о том периоде русско-советской культуры, который Клементина называла формализмом, а Шольсдорф — структурализмом. Ширтенштайн, напротив, оказался не на высоте: он долго и нудно жаловался на интриги и вагнерианство каких-то псевдомолодежных композиторов, а бросив горестный взгляд на Клементину и еще более горестный во двор, открыто посетовал, что не связал свою жизнь ни с одной женщиной и что ни одна женщина не связала свою жизнь с ним. Он проклинал рояль и музыку, в приступе мазохизма бросился к инструменту и с какой-то яростью самоотречения забарабанил «Лили Марлен». Потом извинился и, задыхаясь от сдерживаемых рыданий, попросил «оставить его наедине с его болью». Какого рода была эта боль, выяснилось вскоре, во время неизбежного визита к Пельцеру, который за те пять дней, что авт. провёл в Вайтсхехгейме, Швецингере и Нимфенбурге, ужасно исхудал. Его жена Ева, подававшая кофе и пирожные с усталой, но приветливой и меланхолической улыбкой, произнесла несколько пессимистических сентенций; в перепачканном красками рабочем халате художницы она казалась какой-то неестественной и разговор вела тоже в элегическом духе — о таких художниках, как Бойс, Артман, о «бессмысленности осмысленного искусства» и т. д., причем часто цитировала статьи из одной серьезной газеты; потом госпожа Пельцер заторопилась к своему мольберту: «Извините, пожалуйста, просто не могу не писать!» В присутствии своей жены Пельцер сидел молча, с отрешенным видом; после ее ухода он бросил на Клементину испытующий взгляд, как бы прикидывая, чего стоит эта «синица в руках», а когда Клементине пришлось срочно, но ненадолго отлучиться по вполне понятной причине (между тремя и шестью часами она выпила у Шольсдорфа четыре чашки чая, у Ширтенштайна — три, у Пельцера на данный момент — две чашки кофе), Пельцер заговорил, понизив голос: «Поначалу решили, будто у меня диабет, но содержание сахара в крови оказалось в норме, да и в остальном все вроде в порядке. Можете надо мной смеяться, но уверяю вас: я впервые в жизни почувствовал, что у меня есть душа и что эта душа болит; впервые в жизни я чувствую, что излечить меня может не любая женщина,

а одна-единственная. Я готов задушить этого турка своими руками... И что она нашла в этом неотесанном мужлане, провонявшем бараниной с чесноком, который, вдобавок, лет на десять ее моложе? У него есть жена и четверо детей, а теперь он и ей сделал ребенка... А я... Помогите мне...» Авт., проникшийся самым искренним сочувствием к Пельцеру, сослался на то, что в подобных ситуациях посредничество третьих лиц, как правило, не достигает цели и даже приводит к обратному результату. С этим делом пострадавшему приходится справляться самому. «И притом,— опять заговорил Пельцер,— я ведь каждый день ставлю Мадонне по дюжине свечей, ищу утешения у других женщин — говорю это вам как мужчина мужчине — и не нахожу его, я пью, пропадаю в игорных домах, но — rien ne va plus¹. Вот и все, что я могу сказать. Такие дела». Если авт. утверждает, что Пельцер вызвал у него сочувствие, то, пожалуйста, не сочтите это иронией, тем более что сам Пельцер очень точно охарактеризовал свое состояние: «Никогда в жизни я не был влюблен, ни разу; только путался с продажными шлюхами, в общем, распутничал вовсю. Ну, а жена... Я всегда очень хорошо к ней относился, да и сейчас неплохо отношусь и, пока жив, сделаю все, чтобы с ней чего не стряслось... Но влюблен я в нее никогда не был. А что до Лени... Ее я всегда домогался, с самого первого дня, как ее увидел. И всегда мне дорогу перебежали какие-то иностранцы. Но влюблен я и в нее не был, я только теперь влюбился — неделю назад, когда снова с ней встретился. Я... Я ведь совершенно не виноват в смерти ее отца, и я... Я люблю ее! Ни одной женщине я этих слов не говорил». Тут в комнату вернулась Клементина и начала незаметно, но настойчиво торопить авт. закончить визит. Ее мнение о Пельцере свелось к весьма недружелюбному, во всяком случае, холодному и деловому высказыванию: «Называй это как хочешь, но они оба больны одной болезнью — что Пельцер, что Ширтенштайн».

В связи с поездкой в Тольцем — Люссемих авт. получил возможность одним выстрелом убить двух зайцев: приобщить Клементину, называющую себя прирожденной жительницей гор, баваркой, и лишь скрепя сердце

¹ Ничего не выходит (фр.).

допускающую, что севернее Майна тоже попадаются приятные люди,— приобщить ее к прелести и колдовскому очарованию равнин, которые авт. живописал, быть может, чересчур восторженно. В итоге Клементина признала, что действительно никогда не видела таких плоских и таких необъятных пространств. Она «сравнила бы их с равнинами России, если бы не знала, что здешние равнины простираются всего на триста — четыреста километров, тогда как там они тянутся на многие тысячи. И все же это напоминает Россию». Поправку авт.: «Если б не изгороди» — Клементина тут же отвергла, его пространные рассуждения о живых изгородях, заборах и межевых знаках назвала «литературщиной», а ссылку на кельтское происхождение межевых знаков — «расизмом». В конце концов она хоть и неохотно, но все же согласилась, что «здесь засасывают горизонтали», в то время как у них в горах «засасывают вертикали». «Тут все время такое чувство, будто плывешь, и в машине плывешь, наверное, и в поезде тоже. Даже страшно: а вдруг никогда не доберешься до берега? Да и есть ли тут вообще берег?» Указание авт. на хорошо видимые глазом возвышенности в предгорьях и отрогах Айфеля вызвало у Клементины лишь презрительную усмешку.

Колоссальный успех выпал на долю ван Доорн. Сливовый пирог со сливками (комментарий К.: «Вы тут по любому поводу едите взбитые сливки!») и кофе, который Мария сварила «как положено», то есть из только что собственноручно помолотых и пожаренных зерен, произвели на Клементину неотразимое впечатление: «Это какая-то фантастика, я первый раз в жизни пью такой кофе, только теперь я поняла, что значит настоящий кофе» и т. д. и т. п. И под конец: «А вы, здешние, умеете жить в свое удовольствие». На прощанье М. в. Д., в свою очередь, прокомментировала встречу с К.: «Поздновато, но лучше поздно, чем никогда. Да благословит вас Бог!» Потом, уже шепотом, добавила: «Она вас научит... (И, залившись краской, пояснила, опять же шепотом): Я хотела сказать, научит, порядку и вообще...» Тут по ее лицу потекли слезы: «А я как была, так и осталась старой девой».

Оказалось, что Богаков «выбыл» из инвалидного дома, причем, к удивлению авт., «выбыл в неизвестном направлении». Он оставил записку: «Не ищите пока что,

благодарю за все, дам о себе знать». За истекшие четверо суток знать о себе, однако, не дал. Беленко решил, что Богаков опять «впал в распутство». Киткин, напротив, полагал, что Богаков, наверное, «выполняет шпионское задание красных»; приветливая сестра милосердия честно призналась, что скучает по Богакову, и, как бы между прочим, добавила, что он имеет привычку исчезать почти каждую весну. «Весной его, видимо, куда-то тянет, только с каждым годом это ему труднее дается, ведь он живет на уколах. Надеюсь, что ему там хотя бы тепло».

Хотя Клементина уже успела услышать множество самых разнообразных отзывов о Лени — и взволнованных, и прямых, и косвенных (например, от Б. Х. Т., который мог подтвердить сам факт ее существования), она захотела во что бы то ни стало увидеть Лени своими глазами — «реальную, осязаемую, обоняемую, зримую». И авт. не без душевного трепета попросил Хельцена устроить ему это давно назревшее свидание. Поскольку Лени в последнее время «очень нервничает», условились пригласить на эту встречу только Лотту, Мехмеда и еще одно лицо: «То-то вы удивитесь, когда увидите — кого!»

«После первых прогулок с Мехмедом,— сказал Хельцен,— она так взвинчена, что с трудом выносит присутствие более пяти человек. Поэтому мы с женой не придем. Особенно нервно реагирует Лени на флюиды влюбленности и связанные с ней эротические надежды, которые питают Пельцер, Ширтенштайн и даже в какой-то степени Шольсдорф; это создает невыносимую для нее напряженность».

Ошибочно истолковав волнение авт., Клементина приревновала его к Лени; поэтому авт. пришлось объяснить ей, что он знает о Лени все, а о ней, Клементине, почти ничего, что благодаря его интенсивным и длительным изысканиям он посвящен даже в самую интимную сферу личной жизни Лени, так что порой сам себе кажется то предателем, то сообщником. И все же она, Клементина, близка ему, а Лени далека, хоть и вызывает у него симпатию.

Надо честно признаться: авт. был рад, что пойдет на свидание с Лени в сопровождении Клементины, был рад, что у Клементины обнаружились такие филолого-социо-

логические интересы, ибо без нее (а ведь и знакомством с ней он обязан, в конечном счете, той же Лени, а также Гаруспике) ему наверняка грозила бы опасность заболеть той же неизлечимой болезнью, которая поразила Ширтенштайна и Пельцера.

К счастью, напряженная сосредоточенность и нетерпение авт. сразу же рассеяла и отвлекла в другое русло неожиданная встреча: кто бы, вы думали, сидел на тахте, от смущения не улыбаясь, а, скорее, ухмыляясь и у всех на виду держа за руку очаровательно зардевшуюся Лотту? Не кто иной, как Богаков! С первого взгляда было ясно: милейшая сестра из инвалидного дома может не беспокоиться: Богакову было тепло! И если кто-то сомневался, способна ли Лотта излучать тепло, то мог теперь убедиться в ошибочности своих сомнений. Там же сидел и турок; авт. был немало удивлен и даже как бы несколько разочарован, увидев, насколько тот не похож на восточного человека; он казался мужиковатым и не то чтобы смущенным, а, скорее, скованным. На нем был синий костюм, крахмальная рубашка с галстуком скромной (буроватой) расцветки; турок держал руку Лени с таким видом, будто на дворе 1889 год и он позирует перед громоздким фотографическим аппаратом тех лет; казалось, фотограф только что засунул в аппарат светочувствительную пластинку и, прежде чем нажать на резиновую грушу, дающую вспышку, попросил его не двигаться. А Лени? Авт. не сразу решился посмотреть на нее; сначала бросил взгляд искоса и только потом — в упор; как-никак, за время своих бесконечных разъездов и расспросов авт. лишь дважды мельком видел Лени на улице, да и то в профиль, а не анфас, и отметил про себя ее гордую походку. Но теперь отступать было некуда, пришлось взглянуть действительности в лицо, и авт. позволит себе заявить просто и ясно и даже с некоторым *understatement*¹: игра стоила свеч! Как удачно, что при сем присутствовала Клементина, иначе авт. наверняка почувствовал бы ревность к Мехмеду: что-то похожее на ревность все равно в нем шевельнулось, и слегка кольнуло в сердце сожаление по поводу того, что Лени снятся борона, чертежник и офицер не в его объятьях, а в объятьях этого турка. Лени коротко подстриглась и покрасила волосы «под седину», так что

¹ Преуменьшение, сдержанное высказывание (англ.).

вполне могла бы сойти за тридцативосьмилетнюю, темные глаза ее глядели на мир ясно, не без грусти, и хотя ее рост, как было доказано, составляет один метр семьдесят один сантиметр, казалось, что в ней не меньше метра восьмидесяти пяти; в то же время длинные ноги Лени свидетельствовали о том, что она не принадлежит к разряду «сидячих красавиц». С природной грацией она принялась разливать по чашкам кофе; Лотта стала раскладывать по тарелочкам пирожные, а Мехмед — подливать в кофе неизбежные сливки, спрашивая у каждого: «Одну ложечку? Две? Три?» Было совершенно ясно, что Лени не только неразговорчива или немногословна, она просто-напросто неправдоподобно молчалива и настолько застенчива, что с ее лица не сходит «испуганная улыбка». На Клементину Лени поглядывала доброжелательно и с приязнью, что преисполнило авт. гордостью и торжеством; когда Клементина спросила Лени о Гаруспике, та указала рукой на свою висевшую на стене над тахтой картину поистине внушительных размеров — полтора на полтора, казавшуюся не пестрой, а красочной и даже в неоконченном виде излучавшую ни с чем не сравнимую, истинно космическую мощь и нежность... Сетчатка глаза была изображена многослойно, точнее — восьмислойно; из шести миллионов колбочек Лени успела воспроизвести за истекшее время тысяч тридцать, а из ста миллионов палочек — не больше восьмидесяти тысяч. При этом она изобразила глаз не в поперечном разрезе, а в плоскости — как бесконечную равнину, тянущуюся к далекому, ускользающему горизонту. Лени сказала: «Это она. Когда закончу, получится, наверное, тысячная доля ее сетчатки». И добавила еще несколько слов, что было явно не в ее обычае: «Моя прекрасная наставница, мой прекрасный друг». И потом, за те пятьдесят три минуты, которые длился визит, больше не произнесла ни одной связной фразы. Мехмед произвел на авт. впечатление человека, начисто лишеного чувства юмора; даже подливая в кофе сливки, он свободной рукой крепко сжимал руку Лени, так что ей пришлось разливать кофе одной рукой. Это держание за руки оказалось настолько заразительным, что и Клементина в конце концов завладела запястьем авт., как будто собиралась пощупать его пульс. Сомнений не было: Лени тронула сердце Клементины. От ее высокообразованной гордыни не осталось и следа, по всему было видно: хоть она и знала о Лени, но верить в нее не вери-

ла; пусть Лени даже фигурировала в досье ордена, но сделанное ею открытие, что Лени действительно существует, существует реально, во плоти, потрясло Клементину. Она тяжело вздохнула, и ее учащенный пульс тут же передался авт.

Заметил ли нетерпеливый читатель, что у одних персонажей — сплошные «хэппи-энды»: они сидят рука об руку, заключают сердечные союзы, возобновляют старую дружбу (Лотта и Богаков), в то время как другие — к примеру, жаждущие и страждущие Пельцер, Ширтенштайн и Шольсдорф — остаются за бортом? Что турок, смахивающий, скорее, на крестьянина откуда-то из медвежьего угла вроде Рёна или из айфелевской глубинки, заполучил невесту, в то время как дома его ждут жена и четверо детей? И что этот человек так уверен в своем праве на полигамию, о котором он и раньше знал, но не имел возможности им воспользоваться, не испытывает ни малейших угрызений совести и, возможно, даже спокойно известил о случившемся какую-нибудь там Зулейку? Что этот человек по сравнению с Богаковым и авт. так вызывающе опрятен, весь вымыт-вычищен-выглажен, при галстук и складке на брюках? Что его крахмальная рубашка переполняет его блаженством, ибо подчеркивает торжественность момента? Что он сидит неподвижно, как истукан, как будто все еще позирует воображаемому фотографу в широкополой шляпе и галстук-бабочке — несостоявшемуся художнику, сжимающему в руке резиновую грушу вспышки где-нибудь в Анкаре или Стамбуле году этак в 1889? Что этот мусорщик, таскающий, грузящий и опоражнивающий контейнеры с мусором, связан узами любви с женщиной, оплакивающей трех мужчин, читавшей Кафку и знающей наизусть стихи Гёльдерлина, женщиной, которая поет, музицирует, пишет картины, женщиной, испытавшей истинную любовь и материнство и опять готовящейся стать матерью, с женщиной, заставляющей учащенно биться пульс у другой женщины, бывшей монахини, всю жизнь занимавшейся проблемой отражения действительности в литературных произведениях?

Даже языкастая Лотта в тот вечер была необычно молчалива и казалась растроганной, взволнованной и потрясенной; с трудом выдавливая из себя каждую фразу, она сообщила о предстоящем освобождении из тюрьмы

Льва и возникающих в связи с этим жилищных проблемах: ее домовладелец отказался поселить у себя «турков-мусорщиков», а Хельцены не могут лишиться одной из своих комнат, ведь Грета — косметичка и вечерами «немного подрабатывает на дому»; однако и «семью из пяти человек, то есть наших друзей португальцев невозможно заставить ютиться в одной комнате»; в то же время они с Богаковым, которого она без всякого смущения назвала «мой Петр», хотят и должны жить рядом с Лени, чтобы «давать надлежащий отпор Хойзерам». «Сейчас у всех нас лишь передышка, эта история еще не кончилась». Лотта сообщила также, что они с Богаковым решили зарегистрировать свой брак, но что у него нет никаких документов, удостоверяющих его вдовство или развод.

После этого Лени внесла все же некую лепту в общую беседу, пробормотав: «Маргарет, Маргарет, бедная Маргарет»; при этом глаза ее увлажнились и даже всерьез наполнились слезами. В конце концов Мехмед как-то странно дернулся всем телом, в результате чего выпрямил спину так, будто проглотил палку, и тем самым недвусмысленно дал понять, что визит окончен.

После чего состоялась сцена прощания. «Надеюсь, не в последний раз видимся», — сказала Клементина, обращаясь к Лени, которая в ответ лишь мило улыбнулась; гости, как водится, еще некоторое время потоптались в прихожей, похвалили фотографии на стенах, рояль и вообще обстановку квартиры в любезных выражениях, а картину Лени — в восторженных. И тут Лени вдруг произнесла как бы про себя: «Нужно и впредь стараться ехать в земной карете, запряженной небесными конями». Эта аллюзия осталась непонятой даже Клементиной, в образовании которой, как видно, все же существовали некоторые пробелы.

Выйдя из дома на довольно-таки скучную Битцератштрассе, Клементина высказалась в своей обычной манере, отдающей неисправимой страстью к литературе: «Да, она есть, и все же ее нет. Ее нет, и она есть». Авт. считает, что эта манера Клементины подвергать все сомнению не делает ей чести.

Но потом, подумав немного, Клементина все же добавила: «Когда-нибудь она утешит всех этих страдающих из-за нее мужчин и всех их исцелит».

И еще помолчав, промолвила: «Интересно, любит ли Мехмед западные танцы так, как Лени».

Со вздохом облегчения авт. констатирует, что оставшаяся часть его трудов почти целиком сводится к цитированию трех документов: заключения эксперта-психолога, письма одного пожилого санитара и полицейского протокола. Каким образом они попали в руки авт., останется его профессиональной тайной. Авт. сознается, что не всегда действовал вполне законно и не всегда соблюдал чужие секреты, однако считает, что небольшие нарушения закона и этических норм в данном случае оправдываются святой целью: стремлением авт. к объективности. Ну что тут страшного, если молоденькая сотрудница фирмы Хойзеров (не «мастерица на все руки»!) быстренько сняла на ксероксе копию с нескольких машинописных страничек психологической экспертизы, не содержащей никаких сведений, компрометирующих фирму? Хойзерам нанесен ущерб в две с половиной марки, не считая эксплуатационных расходов (вспомните, что одна-единственная пуговица авт. обошлась им в пять миллионов!). Разве этот ущерб не окупается коробкой шоколадных конфет стоимостью в четыре с половиной марки? Письмо санитара (в оригинале, причем на довольно длительный срок) принесла авт. неутомимая М. в. Д., так что авт. успел собственноручно снять с него фотокопию в одном из крупных универмагов, уплатив по пятьдесят пфеннигов за страницу; эта операция (вкл. сигареты для М. в. Д.) обошлась авт. в восемь марок. Полицейский протокол достался ему бесплатно. Хотя этот протокол не содержит ни политических, ни, тем более, политико-полицейских тайн и представляет собой всего лишь любопытный образчик социологического анализа — вынужденного, но тем не менее весьма удачного, — у его обладателя возникли кое-какие сомнения чисто теоретического плана насчет правомерности его огласки, которые удалось рассеять с помощью нескольких кружек пива, впрочем, за них молодой полицейский заплатил сам; желание это было вполне понятно авт. и вызвало у него только уважение; чтобы не обидеть полицейского, авт. воздержался даже от покупки букета цветов для его жены или красивой игрушки для его полуторагодовалого сына («Прелесть!» — засвидетельствовал авт., бросив взгляд на фотографию и ничуть не покривив душой. Фотографию жены авт. не

показали! Да он и не решился бы воскликнуть: «Прелесть!» — при виде чужой жены в присутствии мужа).

Итак, начнем с производственно-психологического акта экспертизы. Образование, социальное происхождение, возраст и т. д. эксперта не упоминаются; молоденькая сотрудница, передавшая авт. листки, сказала только, что он в равной степени высоко котируется как у функционеров Объединенных немецких профсоюзов, так и у судей — специалистов по разбору трудовых конфликтов.

«Эксперт (в дальнейшем кратко именуемый Э.) познакомился со Львом Борисовичем Груйтенем (в дальнейшем именуемым Л. Б. Г.) во время личной ознакомительной беседы, состоявшейся по распоряжению директора по кадрам городского управления по уборке улиц за четыре месяца до ареста Л. Б. Г. Во время этой беседы обсуждалось предполагаемое назначение Л. Б. Г. на две должности (каждая — с половинным рабочим днем): доверенного лица иностранных рабочих, занимающихся очисткой улиц, и консультанта по организации их труда. По итогам беседы Э. рекомендовал Л. Б. Г. на обе должности, однако Л. Б. Г. и от той и от другой отказался. Психологическую динамику Л. Б. Г. на тот момент можно было установить лишь весьма поверхностно, то есть чисто фактологически; однако за истекшее время благодаря любезному содействию тюремной администрации состоялось еще четыре беседы Э. с Л. Б. Г., по часу каждая, во время которых изучение характерологических особенностей указанного лица удалось значительно углубить, но многие детали все еще остаются невыясненными, так что покамест нет достаточных оснований, чтобы вынести научно достоверное суждение о личности со столь сложной нервной организацией. Л. Б. Г., несомненно, заслуживает глубокого и всестороннего исследования. Этот труд, вероятно, возьмет на себя один из студентов Э., которому Э. предложил провести психологическое обследование Л. Б. Г. в качестве темы дипломной работы (в данное время Э. преподает психологию в специальном учебном заведении).

Таким образом, предлагаемый черновой вариант психограммы Л. Б. Г., хоть и дает приблизительно правильную картину, может быть использован в научных целях лишь при наличии некоторых уточнений. Данная психограмма сможет, вероятно, лишь облегчить администрации решение вопроса о возможности его дальнейше-

го использования, а также (с учетом вышеупомянутых уточнений) может рассматриваться и как попытка выяснения причин, приведших Л. Б. Г. к «преступным» действиям.

Л. Б. Г. рос в крайне неблагоприятных внесемейных условиях и в крайне благоприятных семейных; последнее обстоятельство также требует уточнения, ибо слово «благоприятный» в данном случае оказывается тождественным слову «избалованность»; тем не менее именно эта «избалованность» позволяет рассматривать данного двадцатипятилетнего молодого человека, несмотря на совершенные им тяжкие антиобщественные проступки, как в высшей степени полезного и даже многообещающего члена нашего общества.

Крайне неблагоприятным наряду с другими факторами было для Л. Б. Г. то обстоятельство, что он, будучи внебрачным ребенком и воспитываясь без отца, не имел столь важного для психологии растущего существа права, как право считаться сиротой, тем паче — сиротой фронтовика. Внебрачному ребенку погибший отец не дает сиротского алиби. Кроме того, на улице и в школе его постоянно обзывали «русским отродьем», а его мать — «русской подстилкой», то есть хоть и не прямо, но косвенно подчеркивали, что акт его зачатия был особенно позорным и недостойным, поскольку его мать не была изнасилована, а отдалась русскому добровольно, и что за этот акт его отец и мать могли поплатиться головой. Так что Л. Б. Г. приобрел еще и статус «каторжника». Все сверстники Л. Б. Г. и даже другие незаконнорожденные дети, будучи сиротами фронтовиков, имели психологическую возможность считать себя на ступеньку выше него в социальной иерархии. Но еще больше унижений выпало на долю Л. Б. Г. или, попросту говоря, еще больше пришлось ему вынести, когда он стал подвергаться преследованиям со стороны крайне неудачного учебного заведения, именуемого «конфессиональной школой» (Э. критиковал эту школу во многих публикациях!). Хотя Л. Б. Г. был в свое время крещен, причем даже по католическому обряду, и факт этот засвидетельствован неким Пельцером, у которого он позже какое-то время обучался ремеслу садовника, а также другими лицами, церковные власти настаивали на замене «срочного крещения» новым, полноценным. Предпринятое в связи с этим энергичное, скрупулезное и весьма мучительное расследование принесло

Л. Б. Г. еще одно, в высшей степени мрачное, прозвище: его стали обзывать «кладбищенским ублюдком» и «могильным червем», кричали ему в лицо, что «он зачат и родился среди трупов». Короче: мать отказалась заново крестить сына, ибо ей было дорого воспоминание о тех крестинах, в которых участвовал отец Л. Б. Г., и она не хотела, чтобы «какой-то другой обряд» заслонил это воспоминание. Но она не захотела и посылать сына в так называемую «свободную школу», находившуюся в пятнадцати километрах от дома, тем более не хотела отдавать его «лютеранам» («еще неизвестно, не потребовали бы и там нового крещения»). Таким образом, на репутации Л. Б. Г. появилось еще одно, самое темное пятно: кто же он — «христианин», «католик» или вообще никто?

В связи с этим фоном термин «избалованный» приобретает такую относительность, которая, в сущности, сводит его на нет. Так, Л. Б. Г. воспитывало множество «тетей»: тетя Маргарет, тетя Лотта, тетя Лиана, тетя Мария — и, конечно, в первую очередь мать; словом, «баловали» его исключительно женщины; но, кроме них, у него были и «дяди» и «кузены», заменявшие ему отца и брата, — дяди Отто и Петр, кузены Вернер и Курт; Л. Б. Г. хорошо помнит и своего родного дедушку, с которым он «несколько лет сиживал на берегу Рейна». Тот факт, что его мать старалась как можно чаще, иногда под самыми надуманными предлогами, не пускать сына в школу, задним числом можно рассматривать как проявление необычайно здоровой инстинктивной реакции на обстоятельства. И хотя сам Л. Б. Г. проявил поразительную силу характера, по собственной инициативе вырвавшись из «сферы баловства», чтобы играть с детьми на улице, не убоившись связанных с этим физических и моральных травм, все же сомнительно, смог бы он вынести ежедневный гнет школы. Если бы Л. Б. Г. был хотя бы в малой степени неполноценным или болезненным ребенком — допустим это в чисто гипотетическом плане, — он наверняка не смог бы выдержать тяжкого и многостороннего давления окружающей среды и надломился бы уже годам к четырнадцати; следствиями этого надлома были бы мания самоубийства, неизлечимая депрессия или преступная агрессивность. Так что Л. Б. Г. действительно многое перенес и многое переборол. Одного он не смог перенести или перебороть: неожиданного для него поступка «дяди» Отто, ранее относившегося к мальчику очень тепло: этот «дядя» внезапно лишил Л. Б. Г. об-

щества обоих «кузенов» — Вернера и Курта; будучи старше Л. Б. Г. на пять и десять лет, они являлись для него естественной опорой и защитой, на которую он всегда мог положиться. Возникшая между ним и кузенами социальная пропасть и связанные с ней чувство мести и дух противоречия и были, вне всякого сомнения, причинами, толкнувшими Л. Б. Г. на преступное деяние, выразившееся в грубой подделке двух векселей, причем и после пяти бесед с Л. Б. Г. для Э. осталось неясным, намеренно или ненамеренно тот провоцировал дядю и кузенов явной доказуемостью совершенной им подделки. Поскольку подделки повторялись (в общей сложности было подделано четыре векселя), но в трех случаях дело было замято и лишь в четвертом предано огласке и подано в суд, но во всех четырех случаях имела место одна и та же погрешность (неправильно заполнена графа «сумма прописью»), напрашивается вывод, что речь, видимо, идет о сознательной провокации, вызванной полученными Л. Б. Г. сведениями о произошедших во время войны изменениях в имущественном положении Груйтенов и Хойзеров.

Каким образом Л. Б. Г. компенсировал свою ранимость в детском и подростковом возрасте? Очевидно, он инстинктивно почувствовал, что внутрисемейной компенсации, обозначенной здесь обобщающим словом «избалованность», явно недостаточно и что ему — в особенности после того, как он лишился обоих кузенов, — придется проявлять инициативу и не полагаться целиком и полностью на мать и многочисленных «тетей». Видимо, Л. Б. Г. довольно рано осознал, что ввиду явной беспомощности и уязвимости матери именно ему в конце концов надлежит стать «главой семьи».

Необходимо уже здесь ввести термин «отказ от успешной деятельности» (в дальнейшем обозначаемый ОУД). Поначалу симптомы ОУД у Л. Б. Г. проявились еще в школе, где над ним периодически нависала угроза перевода в учебное заведение для умственно отсталых детей. Вопреки своей несомненной одаренности и интеллекту он вел себя так, как, по мнению нашего общества с его автоматикой суждений, должен вести себя подросток с ярко выраженными асоциальными задатками. Учился он намного хуже, чем мог бы, и даже в какой-то степени симулировал слабоумие. Оставления на второй год он избегал только тогда, когда повторное второгодничество угрожало немедленным переводом в школу

для умственно отсталых детей, а перевода туда избегал лишь потому, что его мать опасалась, как бы чего не случилось с ним по дороге в школу или из школы,— путь туда был неблизкий. Л. Б. Г. признался Э., что он «с удовольствием перешел бы в ту школу», но она в то время находилась в далеком пригороде, а поскольку его мать тогда еще работала и мальчик с ранних лет помогал ей по хозяйству, то потеря времени на дорогу «нарушила бы их домашний распорядок».

Параллельно с ОУД в школе у Л. Б. Г. вне школы проявлялась, наоборот, склонность к успешной деятельности (в дальнейшем именуемая СУД), обусловленная, видимо, духом противоречия (в школе СУД не проявлялась). Так, в возрасте тринадцати лет Л. Б. Г. благодаря дружеской помощи одного знакомого матери и дедушки, трижды в неделю дававшего ему уроки русского языка, научился свободно читать и писать по-русски. Отметим, что русский был родным языком его отца! Л. Б. Г.— надо было бы сказать — ошеломил своих школьных учителей чтением наизусть стихов русских поэтов от Пушкина до Блока; однако с сожалением приходится констатировать, что он их этим, скорее, вывел из себя, что объяснялось общим психологическим и образовательным уровнем обычных учителей тогдашней начальной школы; в то же время по знанию немецкой грамматики он оставался на уровне школы для умственно отсталых детей. Еще с большим возмущением были восприняты учителями и расценены как провокация попытки тринадцатилетнего Л. Б. Г., ученика пятого класса,— по собственной инициативе! — ознакомить их с Кафкой, Траклем, Гёльдерлином, Клейстом и Брехтом, а также со стихами какого-то никому не известного англоязычного поэта, ирландца по происхождению.

Но довольно примеров. Э. делает следующий вывод: у Л. Б. Г. наблюдается крайняя поляризация по отношению к обществу: там, где его успехи могут «что-то дать» — скажем, в школе,— действует ОУД, там, где они «ничего не дают», то есть вне школы,— проявляется СУД.

Эта крайняя поляризация остается для Л. Б. Г. доминантой всей его жизни. По мере того, как он взрослеет и в силу здоровых инстинктов высвобождается из «сферы баловства», эта поляризация все заметнее становится источником энергии, питающей его сопротивляемость и жизнестойкость. Модель его поведения почти не меня-

ется до четырнадцатилетнего возраста. Именно в этом возрасте, незадолго до окончания школы, Л. Б. Г. впервые совершает «уголовно наказуемый» проступок, вызванный причинами, которые Э., к сожалению, может лишь перечислить, но не берется анализировать, поскольку не имеет возможности ни извне, ни изнутри изучить приводимый здесь фактический материал; для его детального анализа потребовалось бы провести обширный религиозно-психологический и исторический экскурс. Итак, ниже будут приведены только основные психологические этапы назревавшего конфликта со средой. Л. Б. Г., лишь изредка присутствовавшему на уроках Закона Божьего — его присутствие неизменно приводило к конфликтам, мучительным как для духовных лиц, так и для него самого, — было (привожу его собственные слова) «отказано в приобщении к святым таинствам исповеди и причастия — не столько даже из-за моего неполноценного крещения, сколько из-за того, что меня считали строптивым и высокомерным, во всяком случае, недостаточно смиренным; кроме того, я в ту пору заинтересовался богословием и начал читать религиозные книги — хотя, конечно, по-дилетантски, но зато с большим увлечением и любознательностью. Это раздражало моих духовных наставников, вернее — моих учителей Закона Божьего, которые считали смирение непременным условием для получения права вкушать святых даров». Однако Л. Б. Г. — по его собственному признанию — стал настаивать на допущении его к причастию уже из чисто принципиальных и, скорее, умозрительных соображений; кончилось дело тем, что он завладел освященными областками, святотатственно похитив их из алтаря, и тут же съел, что расценивается как «осквернение алтаря». Разыгрался скандал. Л. Б. Г. уже тогда посадили бы в исправительное заведение для несовершеннолетних преступников, не вступись за него один образованный и сведущий в психологии подросткового возраста священник. «С тех пор, — сказал Л. Б. Г., — я вкушаю святые дары только за завтраком, вместе с мамой».

До четырнадцати лет Л. Б. Г. проявлял СУД и еще в одном направлении: его непреодолимо тянуло к порядку, в силу чего он всегда и всюду старался наводить чистоту; тяга эта, несомненно, была связана с половым созреванием. Он наводит чистоту не только перед домом, в палисаднике и в квартире, но даже во время прогулок «прибирает» опавшие листья; и хотя его окружение,

состоящее преимущественно из женщин, внушает ему, что занятие это «женское» или «девчачье», его любимой игрушкой в возрасте от восьми до тринадцати лет неизменно является метла во всех ее разновидностях. С психологической точки зрения этот феномен объясняется, вероятно, все той же поляризацией: Л. Б. Г. интуитивно противопоставляет враждебному миру, постоянно обливающему его грязью, свое активное стремление к чистоте.

Будучи исключенным из шестого класса школы и получив свидетельство о его окончании с оценками, представленными не слишком доброжелательной рукой, Л. Б. Г. не имел никаких шансов быть принятым в обучение какой-либо стоящей профессии и пошел в подсобные рабочие в садоводство некоего Пельцера, где опять-таки имел дело в основном с метлой! Потом работал в том же качестве в цветоводстве некоего Грундча, позже его наняла на работу контора кладбища, а оттуда его перевели в городское управление по уборке улиц, за счет которого он обучился вождению машины и получил водительские права. В этом управлении он и работал последние шесть лет; начальство довольно его работой и не имеет к нему никаких претензий, если не считать небольших опозданий после отпусков и выходных дней и явного отсутствия у Л. Б. Г. служебного СУД, вызывающего у его начальников вполне понятное огорчительное недоумение. Его СУД за последние шесть лет была направлена исключительно на мать: именно он посоветовал ей бросить работу, хотя мать его — сравнительно молодая и вполне работоспособная женщина; именно он привел к ней квартирантов — иностранных рабочих (некоторых с семьями). Тот факт, что один из этих рабочих стал в конце концов ее сожителем, подозрительно мало травмировал Л. Б. Г., если принять во внимание его чрезвычайную привязанность к матери. Даже достоверное сообщение о том, что его мать беременна от иностранца восточного происхождения, вызвало у Л. Б. Г. всего лишь беспечное — по мнению Э., подозрительно беспечное — восклицание: «Вот и слава богу, значит, у меня появится братик или сестричка!» — восклицание, в котором умеющий слышать уловил бы тревожные нотки.

Было бы ошибочно считать причиной этой тревоги лишь «эдипов комплекс». В ее основе, вне всякого сомнения, лежит вполне понятный страх перед новыми конфликтами с окружающей средой, которые, по мнению

Л. Б. Г., безусловно, распространятся на ожидаемого ребенка и с которыми он хорошо знаком по собственному опыту.

Напрашивающееся подозрение в ревности хоть и не может быть полностью исключено, однако оправданно, видимо, лишь в минимальной степени. Проведенный Э. опрос ровесников Л. Б. Г. и его товарищей по работе показал, что он не только пользуется успехом у женщин и девушек, но и не упускает возможности пожать его плоды.

Мы исходим, естественно, из того, что рабочие, занятые на вывозке мусора, время от времени выполняют личные просьбы жителей, потребности которых городская служба очистки улиц не в состоянии удовлетворить в полной мере; в результате возникают непредусмотренные контакты. Ввиду нехватки транспортных средств администрация смотрит сквозь пальцы на «проступки» такого рода, то есть на вывозку мусора по личным просьбам жителей сверх установленной нормы и получение за это чаевых.

Как ни гармонична нарисованная выше картина душевного состояния Л. Б. Г., им тем не менее были допущены явные нарушения правил общежития, психологически вполне объяснимые необходимостью самообороны и обусловленной этим поляризацией, но все же фактически носящие характер антиобщественных действий.

Даже поверхностный наблюдатель легко обнаружит у Л. Б. Г. следующие психические отклонения: 1) *комплекс солидарности*, выражающийся в перманентном стремлении подчеркивать свое единство с отцом и матерью и теперь, во взрослом состоянии, распространившийся на коллег-иностранцев, а после трех месяцев заключения — и на арестантов, его соседей по тюрьме. Если считать заключенных, как и иностранных рабочих, «чуждыми элементами», то из «комплекса солидарности» закономерно вытекает родственный ему по своей природе 2) *«комплекс ксенофилии»*, который выражается, в частности, в 3) *«ксенофилологии»*, то есть желании изучить язык иностранцев (Л. Б. Г. уже несколько месяцев учится на курсах турецкого языка). Индивидуум типа Л. Б. Г. (в данном случае Э., несмотря на некоторые сомнения, все же, скорее, склонен рассматривать Л. Б. Г. как индивидуальность), будучи поставлен перед выбором: либо приспособиться к реальности и тем са-

мым «предать» и себя как личность, и испытываемое им чувство солидарности, либо, напротив, внутренне самоутвердиться, подчеркивая свое нежелание приспособляться,— в силу свойственной ему крайней чувствительности и врожденного интеллекта пребывал в состоянии постоянного конфликта между социально достижимыми целями и собственными способностями. В итоге этому индивидууму (или индивидуальности?) требовались все новые и новые, позже даже искусственно создаваемые препятствия для самоутверждения в своих собственных глазах и глазах окружающих. Если лишить слово «симулянт» вкладываемого в него обычно (и вполне оправданно) смысла: лицо, стремящееся к получению каких-либо выгод (более продолжительное пребывание в больнице, выпрашивание пенсии или дополнительного отпуска и т. д.), то Л. Б. Г. можно назвать 4) *симулянтом*, ибо он тоже симулирует, но не к выгоде, а — тут мы немного преувеличиваем — к своей невыгоде, удовлетворяя лишь свое стремление к солидарности и склонность к ксенофилии. В этом свете и подделку векселей тоже следует рассматривать как симуляцию, а не как чисто «уголовное деяние». Тот факт, что симуляция в конечном счете иногда приносит Л. Б. Г. какие-то выгоды (например, доверие иностранных рабочих, граничащее с обожанием), лишь подтверждает диалектичность такой жизненной позиции, которая «наглядно демонстрирует определенную модель или определенный принцип общественных отношений», как выразились бы марксистские коллеги Э.

Наконец, необходимо еще разъяснить, каким образом Л. Б. Г. осуществляет на данном этапе свой принцип ОУД. Будучи назначен на должность начальника автоколонны («Выше я не хочу забираться!»), он проявил незаурядные организаторские способности. После ознакомления с условиями вывозки мусора и уличным движением во вверенном ему районе он так удачно спланировал доставку пустых контейнеров и выгрузку мусора, что его автоколонна без всякого напряжения выполняла положенную норму на два, а иногда и на три часа раньше предусмотренного срока. Было доказано, что Л. Б. Г. и его водители позволяли себе среди рабочего дня длительный отдых, не отражавшийся, правда, на их выработке. На просьбу поделиться своим опытом организации труда с плановым отделом Л. Б. Г. ответил отказом и опять начал работать как предписано, то есть по

старинке, поскольку жители города высказывали недовольство длительными перерывами в работе мусорщиков, тем более что те были сплошь иностранцы, и это недовольство даже выплеснулось на страницы прессы. Именно эта позиция Л. Б. Г. и дала повод к его первой беседе с Э., поскольку в тот период администрация намеревалась подать на Л. Б. Г. в суд по трудовым конфликтам, но по совету Э. отказалась от этого намерения (Э. ссылается здесь на дело служащего той же администрации Г. М., к которому он тоже приглашался в качестве Э. и именно тогда впервые применил термин ОУД, употреблявшийся и до него в специальной литературе по трудовому праву. Конторский служащий Г. М., справлявшийся со своей работой, рассчитанной на восемь часов, за два с половиной часа, разработал для своих коллег аналогичную модель организации труда, но — и в этом его отличие от Л. Б. Г.— подвергся ожесточенной критике с их стороны и заболел психическим расстройством; оправившись от болезни и поступив на работу в другое учреждение, где он был вынужден шесть с половиной часов проводить на службе «без дела», он стал требовать, чтобы эти шесть с половиной часов ежедневно теряемого времени «рассматривались как его личное время», которое он мог бы использовать по своему усмотрению. Получив отказ, Г. М. заболел еще более тяжким психическим недугом; но в результате того, что эта история привлекла к себе внимание общественности, Г. М. был приглашен на работу в одну промышленную фирму, где он, полностью выздоровев, вносит значительный вклад в СУД всего предприятия. В случае с Г. М. ОУД сводился лишь к отказу высиживать положенные часы. Но в целом ОУД становится все более распространенным явлением в нашем обществе свободного предпринимательства и в будущем явится для него трудноразрешимой проблемой).

В деле Л. Б. Г. явный ОУД заключается в том, что он, полностью выполняя порученную ему работу, не желает в то же время полностью предоставлять в распоряжение работодателя свой интеллектуальный потенциал и присущие ему организаторские способности — даже за существенно более высокое вознаграждение. В обществе свободного предпринимательства с помощью компьютеров можно вычислить любые максимальные, минимальные или средние величины; однако разработка специфических показателей для объективной оценки труда по

вывозке мусора из-за своей повышенной сложности (необходимости учета непредсказуемых обстоятельств, как-то: транспортных заторов и аварий, а также степени их вероятности в зависимости от конкретных топографических особенностей соответствующего района) под силу лишь опытным и способным к теоретическому мышлению сотрудникам — таким, как Л. Б. Г. Памятуя, кроме того, что с помощью Л. Б. Г. удалось бы значительно усовершенствовать вывозку мусора не только в местном (городском), но и в региональном и даже в надрегиональном масштабе, становится ясно, что ущерб, наносимый Л. Б. Г. всей нашей экономике, вряд ли поддается учету. Таким образом, в данном случае приходится констатировать довольно весомый ОУД.

Поскольку Э. посчитал важным провести общее медицинское обследование Л. Б. Г., тюремный врач по его просьбе произвел замеры роста и веса Л. Б. Г., а также исследование функций всех органов. Результат: полное отсутствие отклонений от нормы. Потребление алкоголя и никотина у Л. Б. Г. также в пределах нормы, во всяком случае, не наблюдается никаких функциональных нарушений, вызванных наркотиками. Органических заболеваний, кроме незначительной близорукости правого глаза (0,5 диоптрии), также не обнаружено. Но, поскольку у Л. Б. Г., с одной стороны, отмечаются значительные нарушения норм общественного поведения и бесспорно неправильные реакции, с другой стороны, почти любое из этих отклонений должно было бы сказаться на состоянии эндокринной системы, Э. объясняет нормальное функционирование организма Л. Б. Г. именно постоянной и ярко выраженной поляризацией, которая играет здесь компенсирующую роль. Если этот сложный механизм компенсации, постоянно работающий с большими перегрузками, откажет, Л. Б. Г. в ближайшем будущем познает диабет и гепатит в тяжелых формах, а вероятнее всего — и почечные колики. В связи с этим не рекомендуется досрочно освобождать Л. Б. Г. из заключения, так как тюрьма создает благоприятные условия для поляризации, а также удовлетворяет его потребность в солидарности и ксенофилию. Возможно даже — во всяком случае, не исключено, — что Л. Б. Г. сам стремился попасть в экстремальные условия, то есть в тюрьму, дабы поддержать на прежнем уровне спадающую социальную напряженность. Как стало известно Э., за последнее время наметилась значительная гармонизация отношений ма-

тери Л. Б. Г. с ее окружением, а следовательно, возможности поляризации для Л. Б. Г. соответственно уменьшились; поэтому в настоящее время самым полезным для него было бы полностью отсидеть свой срок, — тем более что благодаря этому не будет прерван процесс героизации Л. Б. Г. в среде его товарищей по работе.

Э. не решается поддержать новую теорию, выдвинутую профессором Хунксом, и применить ее к Л. Б. Г. Речь идет о так называемой «притворной нормальности»; данное понятие и по сей день многими считается спорным. Проф. Хункс утверждает, что тестируемые им лица скрывают сильные латентные гомосексуальные склонности путем повышенной гетеросексуальной активности, и объясняет это «истерически взвинченным» стремлением к компенсации (Хункс). В результате точного научного анализа старых протоколов инквизиции Хункс приходит к выводу, что «красота ведьм, их плотская привлекательность и очарование», их познания в области внутренней секреции, безусловно опережавшие свое время, и связанная с этим «изошренность в любви» объясняются все тем же «истерически взвинченным стремлением к компенсации», которое скрывало «их подлинную природу».

Э. не видит никаких оснований для того, чтобы говорить о «притворной нормальности» применительно к Л. Б. Г. Скорее, тут имеет место обратное явление — демонстративный отказ от нормальности поведения при полной нормальности задатков. Тот факт, что Л. Б. Г. пожелал избрать для себя профессию мусорщика, доказывает, что он инстинктивно ощущал потребность в поляризации: эта профессия служит чистоте, а считается, наоборот, грязной».

ХИ

Письмо больничного санитаря Б. Е., примерно пятидесяти пяти лет, адресованное Лени.

«Уважаемая госпожа Пфайфер!

Ваше письмо на имя проф. д-ра Кернлиха совершенно случайно попало мне на глаза, когда я в силу своих служебных обязанностей приводил в порядок письменный стол шефа и листки с записями, необходимыми ему для составления медицинских заключений, которые он мне обычно диктует. Отвечая на Ваше письмо, я на-

рушаю доверие шефа, за что могу серьезно поплатиться, если Вы не выполните мою убедительную просьбу: хранить мой ответ в строжайшем секрете от проф. Кернлиха, от санитаров и санитарок — моих товарищей по работе, а также от работающих у нас монахинь — сестер милосердия. Итак, я рассчитываю на Ваше молчание. Больших душевных мук стоило мне решение нарушить свой долг и разгласить профессиональную тайну, соблюдение которой за двенадцать лет работы в дерматологической клинике вошло мне в плоть и кровь. Я решил написать Вам не только из-за Вашего исполненного искренней боли письма, не только из-за Вашей глубокой и неподдельной скорби, которая запечатлелась в моей памяти со времени похорон госпожи Шлёмер; нет, я выполняю сейчас нечто вроде наказа или завета покойной, которая очень страдала из-за того, что в последние две недели жизни к ней не допускали посетителей. Мера эта была продиктована ее состоянием, — считаю своим долгом это подчеркнуть. Вы, наверное, меня помните: раза два или три я сопровождал Вас к покойной госпоже Шлёмер, когда посещения еще не были запрещены. Но поскольку я уже более года почти постоянно работаю в кабинете профессора, помогая ему в подборе материалов для медицинских заключений, экспертиз и т. д., то Вы, вероятно, и не вспомните меня в роли санитаря; но, может быть, Вы вспомните пожилого, полного и лысого мужчину в темно-коричневом непромокаемом пальто, который на похоронах госпожи Шлёмер стоял немного в стороне, неприлично громко рыдая, которого Вы, вероятно, приняли за одного из неизвестных Вам поклонников усопшей. Но это не так, и если я не добавляю здесь искренних, идущих от сердца слов «к сожалению», то прошу Вас не усматривать в этом оскорбления столь дорогой Вам покойницы или желания втереться к Вам в доверие. Увы, мне не дано было найти верную спутницу жизни, и хотя я несколько раз с самыми честными намерениями пытался связать свою судьбу с женщиной, попытки эти неизменно терпели крах — не стану кривить душой перед Вами — не столько из-за черствости моих избранниц, сколько из-за моей профессии, которая вынуждает меня постоянно контактировать с венерическими больными, а также из-за частых ночных дежурств, которые я добровольно брал на себя.

Господин профессор не ответит на Ваше письмо, так как Вы не являетесь родственницей усопшей, и даже

если бы Вы ею были, он не счел бы себя обязанным сообщать Вам «подробности кончины госпожи Шлёмер», о чем Вы просите в своем письме. Это запрещается врачебной этикой, это запрещается и этикой медицинского персонала, которую я тоже не хочу нарушать. Частично я ее все же нарушаю, сообщая Вам некоторые подробности жизни Вашей покойной приятельницы в ее последнюю неделю, и именно поэтому настоятельно прошу Вас ни под каким видом не предавать мое письмо какой-либо огласке. Разумеется, в официальном свидетельстве о смерти указана причина, соответствующая действительности, а именно: острая сердечная недостаточность, полное нарушение кровообращения. Я хочу Вам объяснить, однако, что к этому привело: ведь госпожа Шлёмер — если говорить только о ее основной болезни — находилась на пути к выздоровлению. Но сначала замечу: доказано, что тяжелой инфекционной болезнью, с которой Ваша приятельница поступила к нам в клинику, она заразилась от одного иностранного государственного деятеля. Вы, наверное, лучше меня знаете, что Ваша приятельница за два года до этого покончила с легкомысленным образом жизни, который вела, по-видимому, долгое время, и что она, похоронив родителей, переехала жить в деревню, надеясь там достойно закончить свои дни в созерцании и печали. И Вы, конечно, лучше меня знаете, что по своей натуре она не была ни шлюхой, ни даже женщиной, часто меняющей партнеров, а, скорее всего, была просто жертвой мужского темперамента. У нее язык не поворачивался сказать «нет», если она чувствовала, что может принести кому-то радость. Я считаю себя вправе это утверждать, так как госпожа Шлёмер в ночь накануне своей смерти рассказала мне чуть ли не всю свою жизнь, со всеми подробностями своего «падения», и хотя я — после двенадцати лет работы в дерматологической клинике, тем более после событий, которые опишу ниже, — отнюдь не склонен идеализировать, а тем паче романтизировать профессию проститутки, зато я не понаслышке знаю, что большинство женщин этого сорта умирают в нищете и грязи, страдая от страшных болезней и изрыгая ужасные проклятия, что большинство из них обезображены болезнью до такой степени, что ни один из нынешних веселых порнографических журнальчиков не поместил бы их портрет на обложке. Их смерть — самая ужасная, какую себе только можно представить: они умирают всеми

покинутые, исстрадавшиеся, непросветленные и нищие... Вот почему я обычно присутствую на похоронах этих бедных созданий, которых кроме меня провожают в последний путь всего двое — служащая отдела социального обеспечения и дежурный священник, в чьи обязанности входит отслужить панихиду по усопшей.

Как мне теперь, не кружа более вокруг да около, приступить к крайне неприятной теме, которая не становится для меня менее неприятной от того, что я считаю Вас женщиной вполне современной и свободомыслящей, которая была замужем и, следовательно, не может не иметь представления о некоторых деталях, которых мне предстоит коснуться? В общем, когда-то я тоже учился на медицинском факультете университета, но врачом так и не стал; на медико-санитарной службе я застрял не только из-за войны, но еще и из-за неистребимого страха перед экзаменами, проявившегося во время сдачи начальной физики; однако, приобретя обширные знания и практический опыт в немецких и русских госпиталях, я после освобождения из русского плена в 1950 году в возрасте тридцати пяти лет по легкомыслию выдал себя за дипломированного специалиста и успешно лечил больных в качестве частнопрактикующего врача; но в 1955 году меня разоблачили и приговорили к тюремному заключению за мошенничество и т. д.; несколько лет я провел в тюрьме, из которой, однако, был досрочно освобожден по ходатайству проф. д-ра Кернлиха, с которым работал, будучи еще студентом-медиком, в 1937 году. Он же в 1958 году принял меня на работу к себе в клинику и вообще помог устроиться в жизни. Короче говоря, я по собственному опыту знаю, каково приходится человеку, репутация которого чем-то запятнана. Кстати, за время моей, как-никак, пятилетней «врачебной» практики я не допустил ни одной доказуемой медицинской ошибки. Ну вот, теперь Вы, по крайней мере, знаете, с кем имеете дело, хотя бы это я вам изложил. Как бы мне изложить и остальное? Попытаюсь взять быка за рога! Ваша приятельница Маргарет была настолько близка к выздоровлению, что уже можно было рассчитывать на ее выписку через шесть — восемь недель. Однако каждый визит к ней требовал от нее большого напряжения, в том числе и визиты довольно замкнутого, но тем не менее приятного господина, который в последнее время посещал ее очень часто (!!! — восклицательные знаки авт.) и которого мы сначала принимали за ее

бывшего любовника, потом — за сводника, а еще позже — за чиновника дипломатической службы, познакомившего больную с иностранным государственным деятелем и, следовательно, сыгравшего в ее жизни столь роковую роль; этого государственного деятеля ей надлежало, по ее собственным словам, «привести в договорное настроение», с чем она успешно справилась, в то время как другим дамам до нее сделать его сговорчивее не удалось.

Но незадолго до выписки с Вашей приятельницей случилось весьма странное, прямо-таки парадоксальное событие. Даже у меня — бывшего студента-медика, пять лет занимавшегося «врачебной» практикой и тридцать пять лет общавшегося с венерическими больными, привыкшего к их циничному жаргону, — даже у меня язык не поворачивается не то что устно, но даже письменно изложить такой даме, как Вы, некоторые факты. Итак, уважаемая госпожа Пфайфер, речь пойдет о весьма сложно реагирующем и функционирующем как в физическом и биохимическом, так и в психологическом смысле органе, который в обиходе называется мужским членом (наконец-то слово сказано. Как камень с души свалился!). Вас, конечно, не удивит, что женщины, составляющие основной контингент нашей клиники, именуют этот мужской атрибут не самыми ласкательными словами. Особой популярностью пользуются и испокон веку пользовались различные мужские имена. И хотя явно вульгарные словечки звучат, конечно, достаточно грубо, но они, по крайней мере, соответствуют данной среде и даже носят почти деловой, чуть ли не медицинский характер, что делает их менее вульгарными нежели нарочито «благородные» наименования. И вот как раз в те недели, когда Ваша приятельница начала выздоравливать, в нашей клинике распространилась глупейшая мода называть упомянутый атрибут исключительно мужскими именами. Вы, наверное, знаете, уважаемая госпожа Пфайфер, что в таких клиниках, как наша, иногда возникают волны глупейшей моды, какие бывают, пожалуй, также в интернатах для девочек, причем эта мода обычно передается и обслуживающему персоналу. Как я убедился за три года пребывания в тюрьме, такой «диалектический перескок» существует и между арестантами и надзирателями. Монахини, работающие у нас в качестве сестер милосердия, и сами по себе склонны ко всякого рода глупым проделкам, а уж в дерматологиче-

ских клиниках особенно охотно участвуют в дурацких шутках больных. Такое поведение даже нельзя назвать недостойным, с их стороны это, скорее, своеобразная самооборона. Вообще-то, сестры-монахини относились к Вашей приятельнице в высшей степени приязненно, часто смотрели сквозь пальцы на ее визитеров и приносимые ими подарки — спиртное и сигареты; но поскольку часть этих сестер уже лет тридцать, а то и сорок общаются с венерическими больными, многие из них — в целях самообороны! — усвоили их жаргон и нередко даже сами способствуют его обогащению. А теперь я должен сообщить Вам один поразительный факт, который Вас, однако, скорее всего, не удивит, потому что Вы увидите в нем лишь подтверждение давно Вам известного обстоятельства: госпожа Шлёмер обладала чрезвычайно обостренным чувством стыда. Поначалу ее лишь поддразнивали, говоря в ее присутствии об упомянутом атрибуте и именуя его то «Густав Адольф», то «Эгон» или «Фридрих» и т. д. и всю потешаясь над тем, что она не понимала, о чем речь. Но постепенно эти шутки превратились в жестокие забавы, не прекращавшиеся ни днем, ни ночью, причем сестры-монахини тоже принимали в них участие. Сначала в игру включали лишь типично лютеранские имена: «Тебя, видать, слишком часто посещал Густав Адольф» — или: «Ты слишком любила Эгона» и т. д. и т. п. Но потом, «чтобы помочь ей избавиться от этой идиотской наивности» (пациентка К. Г., профессиональная сводня, шестидесяти с лишним лет), больные перешли от туманных намеков к лобовым, и госпожа Шлёмер поняла, что имеется в виду; тогда она начала заливаться краской всякий раз, как в ее присутствии упоминалось мужское имя. Ее пылающие щеки тут же приписали жеманству и ханжеству, что дало новый повод для насмешек, так что жестокие забавы постепенно превратились в садистские издевательства. Жестокость преследователей дошла до того, что они стали в соответствующем контексте употреблять и женские имена. Причем наибольшим успехом пользовались сочетания типично лютеранских имен с типично католическими, — такие сочетания назывались у них «смешанными браками» (например, Алоис и Луиза и т. д.). Теперь уже госпожа Шлёмер, попросту говоря, все время была красная, как рак, она краснела, даже если в коридоре кто-нибудь без всякого злого умысла громко звал по имени посетителя, сестру или санитарку. Возмущен-

ные такой чувствительностью госпожи Шлёмер и не желая с ней считаться, ставшие на путь жестоких издевательств мучительницы не могли уже остановиться и дошли, наконец, до немислимого святотатства: теперь уже все поминали святого Алоиса, который почитается покровителем непорочных душ, или святую Агату и т. д. Даже человек не столь ранимый, как госпожа Шлёмер, и то бы не выдержал, а уж она-то теперь не только краснела, но просто стонала всякий раз, как слышала имя «Генрих» или «святой Генрих».

Однако прилив крови к лицу, уважаемая госпожа Пфайфер, имеет свои, известные медицине, причины. Он вызывается обычно внезапным усилением кровенаполнения сосудов и капилляров кожного покрова на лице, наблюдаемым при радостном волнении или смущении (последнее как раз и имело место у госпожи Шлёмер), и непосредственно связан с вегетативной нервной системой. Другие причины этого явления, например — перенапряжение и т. д., нас сейчас не интересуют. Однако проницаемость (проницаемость) капиллярных стенок у госпожи Шлёмер и без того была выше нормы. Поэтому у нее вскоре образовались так называемые гематомы (по-народному — «синяки») и ригрига, которые в просторечии можно было бы назвать «красными пятнами». От этого-то, уважаемая госпожа Пфайфер, и скончалась Ваша приятельница. Как показало вскрытие, под конец жизни все ее тело покрылось гематомами и красными пятнами, вегетативная нервная система сдала, кровообращение нарушилось, сердце отказало; постоянный прилив крови к лицу носил у госпожи Шлёмер ярко выраженный невротический характер: в свой последний вечер — ночью она умерла — она залилась краской только оттого, что монахини в больничной часовне запели литанию «Всем святым». Я понимаю, что не сумел бы научно обосновать мое утверждение или диагноз, и все же считаю своим долгом поставить Вас в известность: Ваша приятельница Маргарет Шлёмер умерла от краски стыда.

Когда у нее уже не было сил говорить связно, она только повторяла шепотом: «Генрих, Генрих, Лени, Рахиль, Генрих»; и хотя напрашивалась мысль дать ей возможность собороваться перед смертью, я в последний момент все же отказался от этого намерения: для нее соборование было бы истинной мукой, ибо ее преследователи дошли в своем святотатстве до того, что в упомя-

нута выше значения употребляли и «Спаситель», и «Младенец Иисус», и «Мадонна», и «Святая Дева Мария», и «Пречистая Дева» со всеми ее эпитетами, в том числе и заимствованными из Лоретанской литании, например «Роза Чудесная» и т. д. Так что литургический текст, услышанный ею на смертном одре, наверняка не утешил бы ее, а лишь причинил бы ей новые муки.

Считаю своим долгом добавить, что кроме Генриха, Лени и Рахили госпожа Шлёмер поминала также весьма дружески и даже тепло «того человека, который иногда меня навещает». Очевидно, она имела в виду того посетителя — не столько загадочного, сколько просто оставшегося неизвестным.

Если бы я заключил это письмо словами «С искренним уважением», Вы могли бы принять их за традиционную вежливую концовку. Не решаясь употребить слово «сердечный», поскольку оно имеет оттенок некоторой навязчивости, я позволю себе закончить мое письмо так:

С дружеским приветом, Ваш *Бернгард Эльвайн*».

ХIII

После долгих размышлений К., которая теперь энергично вмешивается в работу авт., решила, что лучше воспроизвести сообщение молодого полицейского в пересказе, чем цитировать дословно. В результате, естественно, произойдет значительное искажение стиля, выпадут кое-какие колоритные детали (например, дама в бигуди, выступившая на авансцену в обществе господина в нижней сорочке, густую растительность на груди которого полицейский назвал «звериной шкурой»; а также жалобно скулившая собачонка, агент по сбору взносов за купленные в рассрочку вещи и т. д.). Все они пали жертвой новаторства К., которое совсем не по душе авт., и, следовательно, точнее было бы назвать их жертвами неспособности авт. к сопротивлению. Пусть остается открытым вопрос: что же присуще авт. — ОУД или только ОС (отказ от сопротивления)? К. вычеркнула все, что показалось ей лишним, при этом широко пользовалась излюбленным ею красным карандашом, а то, что осталось, объявила «самым существенным» (К.).

1. Несколько дней назад к полицейскому Дитеру Вюльфену, находившемуся в патрульной машине на стоянке у ворот Южного кладбища, обратилась некая гос-

пожа Кэте Цвифеллер с просьбой взломать дверь в квартире Ильзы Кремер, ул. Нургхаймер, дом № 5. На вопрос, почему она считает необходимым это сделать, госпожа Цв. заявила, что после очень долгих поисков, длившихся двадцать пять лет (правда, эти годы не были, по ее словам, целиком посвящены поискам), она наконец узнала адрес госпожи Кремер и выкроила время, чтобы приехать к ней и сделать очень важное сообщение. Госпожу Цв. сопровождал ее сын, Генрих Цвифеллер, двадцати пяти лет, крестьянин, как и его мать (собственно, о госпоже Цв. было бы правильнее сказать «крестьянка». Авт.). Оба они приехали с намерением сообщить госпоже Кремер, что ее сын Эрих, погибший в конце сорок четвертого года, находясь в деревне, расположенной между Коммершайдтом и Зиммератом, предпринял попытку перебежать к американцам. Будучи обстрелян как с немецкой, так и с американской стороны, он, ища укрытия, заскочил в дом Цвифеллеров, укрылся там и провел в доме несколько дней, в течение которых между нею, Кэте Цвифеллер, и Эрихом Кремером — ему семнадцать, ей девятнадцать — возникла интимная любовная связь; они «обручились», «поклонились в верности до гроба» и решили не выходить из дома; они не вышли, даже когда бои поблизости достигли такого накала, что над их жизнью нависла прямая угроза: дом Цв. находился «между двумя огневыми линиями». Когда американцы придвинулись совсем близко, Эрих К. попытался вывесить над дверью дома кухонное полотенце в знак капитуляции — полотенце было белое, хотя и с красными полосами по краям. В этот момент он был убит «выстрелом прямо в сердце»; госпожа Цв. своими глазами видела того, кто это сделал: на высоте «между двумя огневыми линиями» сидел немецкий снайпер, направив винтовку не в сторону американцев, а на деревню, где после этого случая уже никто не осмеливался вывесить белый флаг («В деревне оставалось еще человек пять»). Госпожа Цв. показала, что втащила мертвого К. к себе в дом, а ночью, заливаясь слезами, закопала в сарае; позже, когда американцы захватили деревню, она своими руками похоронила его в «освященной земле». Вскоре она поняла, что беременна, «точно в срок», то есть двадцатого сентября сорок пятого года, родила сына и нарекла его при крещении Генрихом; ее родители — в конце сорок четвертого она жила в доме одна — не вернулись из эвакуации, она ничего не знает об их судьбе, они

числятся пропавшими без вести и, наверное, погибли «по дороге» при бомбежке. Ей, матери-одиночке, пришлось самой поднимать небольшое, доставшееся по наследству хозяйство, что далось ей тяжким трудом, но «время лечит раны»; она вырастила сына, в школе он хорошо учился, стал крестьянином. Как-никак, у мальчика было то, чего лишены многие его сверстники: могила отца вблизи от дома. Она, госпожа Цв., «уже» (!!) в 1948 году пыталась разыскать госпожу К., потом, «уже» (!!) в 1952 году, предприняла еще одну попытку и надолго отказалась от своей затеи, сочтя ее безнадежной; однако в 1960 году (!!) все же сделала еще одну попытку, также закончившуюся неудачей. Правда, в ту пору она еще не знала, что Эрих К. тоже был внебрачным ребенком, не знала также ни имени, ни профессии его матери. Лишь с полгода назад, при помощи агента фирмы химических удобрений, который из любезности энергично занялся этим делом, она узнала наконец адрес госпожи К., но еще некоторое время колебалась, не зная, «как встретит госпожа К. эту новость». В конце концов сын настоял, они поехали в город, нашли квартиру госпожи К., но достучаться не могут — дверь не открывают. Расспросы среди соседей (тут-то и выступила на авансцену дама в бигуди, а также скулящая собачонка и т. д., — все это пало жертвой беспощадных новаций, напоминающих своей жестокостью иконоборчество!!) показали, что госпожа К. никак не могла находиться в отъезде, поскольку никогда никуда не уезжала. Короче говоря: она, госпожа Цв., «предполагает самое худшее».

2. Вюльфен попал в трудное положение. Мог ли он исходить из принципа «промедление опасно» как единственного законного основания для взлома квартиры госпожи К.? Прибыв вместе с госпожой Цв. и ее сыном к дому № 5 по улице Нургхаймер, он смог лишь констатировать, что госпожу К. в течение последней недели никто из соседей не видел. Один из них (не тот, что с волосатой грудью, а другой — известный в доме пьяница пенсионер родом с Рейна, называвший госпожу К. «Ильзочкой», — вычеркнут К.!) припомнил, что дня три подряд слышал «жалобный писк ее пичужки». Вюльфен решил взломать дверь квартиры не потому, что счел принцип «промедление опасно» применимым к данному случаю, а просто из жалости. К счастью, среди соседей нашелся молодой человек, который и вскрыл квартиру с подозрительной ловкостью и многозначитель-

ным замечанием: «На этот раз я делаю это для полиции». (Столь бледными словами приходится ограничиться, вместо того, чтобы обрисовать чрезвычайно колоритную личность, имевшую не то четыре, не то пять судимостей за нанесение телесных повреждений, сутенерство и кражи со взломом и известную всей округе под кличкой «Взломщик»; а ведь даже полицейский Вюльфен счел нужным отметить его «давно не стриженную и не мытую, густую темную шевелюру».)

3. Госпожу К. нашли мертвой; она лежала на скамье в кухне, одежда на ней была в полном порядке; смерть наступила в результате отравления снотворным. Тело еще не успело разложиться. На старом зеркале, висевшем над раковиной, покойная написала пальцем, обмакнутом в остатки томатной пасты, только (!! — Авт.) глагол «хотеть» в разных временных формах: «Я больше не хочу. Я больше не хотела. Я уже давно больше не хо...» На последнем слове у нее, очевидно, кончилась паста. Мертвая птичка госпожи К. — волнистый попугайчик — была обнаружена в спальне, под комодом.

4. Дитер Вюльфен признался, что госпожа К. состояла на учете в полиции. Через агента К₁₄ было известно, что в прошлом она была коммунисткой, но с 1932 года не принимала участия в какой-либо политической деятельности, хотя — и это тоже известно полиции — к ней неоднократно наведывался, особенно после запрещения КПГ, и, видимо, уговаривал ее возобновить политическую деятельность некий... (здесь К. написала подлинную фамилию «Фрица», которая тоже пала жертвой красного карандаша, на сей раз — карандаша авт.).

5. Госпожа Цв. и ее сын заявили о своих правах на наследство покойной. Дитер В. установил наличие кошелька, содержащего 15 марок 80 пфеннигов, а также сберегательной книжки на сумму 67 марок 50 пфеннигов. Единственным ценным предметом в квартире был признан почти новый телевизор с черно-белым изображением, к которому госпожой К. была приклеена записка: «Полностью выплачен». На фотографии, висевшей в рамке над кухонной скамьей, госпожа Цв. сразу опознала отца своего сына, Эриха К. На второй фотографии был запечатлен «наверное, его отец. Уж больно похож». В пестрой жестяной коробке из-под кофе с маркой известной фирмы были обнаружены: «исправные мужские часы и стертое золотое кольцо с искусственным рубином (оба предмета не представляют какой-либо

ценности), десятимарковая банкнота 1944 года выпуска, значок «Союза Рот-Фронт», ценность которого подписавшему протокол неизвестна, две ломбардные квитанции — на золотое кольцо, заложенное в 1936 году за 2,5 марки, и на бобровый воротник, заложенный в 1937 году за 2 марки, а также книжка аккуратно оплаченных счетов за квартиру. Из пищевых продуктов было найдено: полбутылки уксуса, почти полная (небольшая) банка растительного масла, пять черствых ломтиков ржаного хлеба, початый пакет молока, 65—80 г какао в жестяной коробке, полстакана растворимого кофе, соль, сахар, рис, картофель (в небольших количествах), а также непочатый пакетик птичьего корма. Кроме того, были еще обнаружены: две пачки папиросной бумаги и початая пачка табака мелкой резки (марка «Радость турка»), шесть романов некоего Эмиля Золя (в дешевом издании, книги не грязные, но зачитанные, — вероятно, не представляют значительной ценности) и сборник «Песни рабочего движения». Соседи, из любопытства набившиеся в квартиру и своевременно призванные к порядку, презрительно назвали принадлежащую покойной мебель «рухлядь». После прибытия на место происшествия полицейского врача квартира была опечатана согласно инструкции. Для решения вопроса о праве наследования госпоже Цв. было рекомендовано обратиться в судебные органы.

6. Ей было предложено также помочь связаться с тем господином («Фрицем»), который, вероятно, сможет сообщить интересующие ее подробности о жизни покойной, а также об отце погибшего Эриха К. Но госпожа Цв. отказалась. «Не желаю иметь ничего общего с коммунистами», — сказала она.

XIV

Когда К. не орудует красным карандашом, она — почти незаменимая помощница авт. Ее бесспорное читательское чутье к художественной литературе, отказывающее ей лишь тогда, когда ее обуревают авторские или редакторские амбиции, и довольно большой опыт практической религиозной деятельности, вполне приложимый к мирским делам, отнюдь не остаются неиспользованными. И может быть, именно потому, что К. — женщина до некоторой степени эмансипированная, она

берется за стирку и другую кухонную работу с рвением, проливающим бальзам на сердце авт., и рыщет по квартире, выискивая, что бы еще помыть. Она хмурится, ознакомившись с ценами на мясо и размером квартирной платы, однако любит разъезжать на такси; К. часто краснеет, когда ей пытаются всучить очередной порнолисток. В литературных делах она обособилась, то есть теперь чиркает красным карандашом не в чужих текстах, а только в своих собственных. По ее словам, смерть Ильзы Кремер «потрясла ее»; в связи с этим событием было пролито немало слез (они льются и по сей день). К. решила написать краткую биографию этой женщины, «которая полвека трудилась не покладая рук, а оставила после себя только под конец жизни выплаченный телевизор, полбутылки уксуса, пачечку папиросной бумаги и книжку с оплаченными счетами за квартиру. Не могу, просто не могу обо всем этом забыть». Что ж, весьма похвальные чувства и намерения.

Кроме того, К. оказала авт. неоценимые услуги благодаря своей наблюдательности; нет, она ни за кем не шпионила, просто у нее оказался острый глаз. В то время как авт. еще не достиг желанного состояния полного ОУД, она уже близка к поставленной самой себе цели: делать только то, что доставляет ей удовольствие. Она с удовольствием наносит визиты Ширтенштайну и Шольсдорфу и отмечает, что оба они стали гораздо спокойнее; причины этого спокойствия ей удастся установить немного позже: «Ширтенштайн сидел в парке на скамейке рядом с Лени, щека к щеке и рука в руке». Шольсдорфа она своими глазами дважды видела в кафе «Шперц» вместе с Лени — и оба раза имела возможность наблюдать сцену «наложения руки». Однажды она встретила в квартире Лени человека, который, судя по описанию К., был не кто иной, как Курт Хойзер. К. почти уверена, что Лени в своем нынешнем состоянии отказывает в интимной близости даже Мехмеду, поэтому считает, что с Пельцером Лени зашла достаточно далеко: «Она поцеловала его в темноте, в машине, недалеко от своего дома». Напроситься в гости к Пельцеру К. побаивается, потому что он «человек грубый и вполне способен распутить руки — это заменяет ему подлинную эротику».

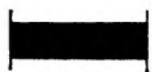
Судьба Льва Груйтена ее ничуть не тревожит: «Ведь он уже скоро выйдет на свободу». С присущей К. энергией она даже участвовала в митинге мусорщиков перед

зданием суда и сочинила для них тексты плакатов, например: «Разве солидарность — преступление?», «Разве чувство локтя наказуемо?» — или более угрожающие: «Если наших товарищей будут сажать за решетку, город потонет в мусоре!» За это одна местная газета посвятила К. крупный заголовок на первой странице: «Рыжекудрая экс-монахиня — якобинка мусорщиков». К. вообще активно занимается разнообразной полезной деятельностью: дает уроки немецкого португальским детям, живущим в квартире Лени, беседует с Богаковым о современном положении дел в Советском Союзе, позволяет Грете Хельцен «ублажать себя косметическими услугами», помогает многочисленным туркам и итальянцам заполнять формуляры заявлений о возврате подоходного налога, ведет телефонные переговоры с прокурором по поводу все еще тянувшегося процесса против водителей мусоровозов, расписывает соответствующему чиновному лицу — также по телефону, — какой хаос возникнет в городе, если мусорщики объявят забастовку. И т. д. и т. п. Само собой разумеется, что, читая «Маркизу д'О...», К. проливает слезы, а читая «Сельского врача» или «В исправительной колонии», рыдает навзрыд; но, несмотря на все эти слезы, она так и не поняла, что означают загадочные слова «в земной карете, запряженной небесными конями». К. очень резко порвала со всем небесным. И не она, а Лени настояла на посещении Герзелена, узнав, что там действительно собираются открыть бальнеологический курорт. Нужно ли гадать, кого прочат на пост «директора курорта» и «менеджера по рекламе»? Конечно же Шойкенса! Это он носится там с чертежами, властным тоном разговаривает по телефону с мастеровыми и архитекторами и лично придумал верное средство «Как надо справиться с этими проклятыми розами силой»: в радиусе пятидесяти метров вокруг «чудотворного источника» он соорудил нечто вроде дренажной системы, по трубам которой непрерывно циркулирует раствор сильнейшего ядохимиката; розы и в самом деле перестали распространяться. Горсть праха, которая некогда была Рахилью Гинцбург, разумеется, не может противостоять ядохимикатам. Богаков уже успел вкушать удовольствие от источника и ощутил «сносное воздействие на проклятый артрит». С тех пор как он уговорил Лотту на ОУД, оба они часто гуляют в монастырском парке.

И, конечно же, К. — единственной из всех упомянутых выше персонажей, включая Мехмеда, — удалось ли-

цезреть Мадонну по телевизору; для этого понадобились такое исступленное упорство и терпение, какие свойственны лишь монахиням — как бывшим, так и ныне состоящим в этом звании: она молча часами просиживала подле Лени, наблюдая, как та пишет свою картину, варила ей кофе, мыла кисточки, не скупилась на комплименты — и добила своего. Ее комментарий к явлению Мадонны был такой бесцветный, что авт. с содроганием вверяет его бумаге: «Это была сама Лени — да-да, это она сама! Она сама себе является! Так получается из-за каких-то там переотражений, природу которых еще надо выяснить». Слава богу, хоть что-то еще остается «невыясненным». Остаются и мрачные, не предвещающие ничего хорошего грозовые тучи на заднем плане: ревнивая натура Мехмеда и его не так давно проявившаяся антипатия к западным танцам.

РАССКАЗЫ



ERZÄHLUNGEN

ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ

Шестая заповедь:
не прелюбодействуй.

Уже осенью тысяча девятьсот сорок девятого года, всего через несколько месяцев после поступления на службу, я получил первую командировку; это было удивительно, но куда удивительнее было то, что мне, казалось, никто не позавидовал; двух сослуживцев я сразу же встретил в коридоре, трое чуть позже подсели ко мне в столовой, все они словно сговорились: «Да, диплом — это вещь»; я был уже достаточно опытен, чтобы отличить интонацию злорадства от обычной зависти.

В голосе фройляйн Герк: «Господин доктор, господин директор просит вас к себе» — звучало сочувствие, и я был готов получить задание на проведение налоговой ревизии в солдатских притонах Брекзена. Теоретически мне было бы интересно выяснить, какова доля государства в доходах от проституции, но для дел такого рода наше управление имело специалиста в лице Штольцена, бывшего сутенера, затем полицейского, ныне внештатного налогового инспектора; говорили, что Штольцен добывал, как для себя, так и для управления, баснословные деньги; и впрямь, когда Штольцен при закрытых дверях отчитывался перед шефом, было слышно, как они хлопали себя по ляжкам, стучали кулаками по столу и хохотали; во всяком случае, стоило появиться Штольцену, фройляйн Герк, краснея, покидала приемную и до его ухода под каким-либо обычным предлогом находила себе работу в архиве.

Теперь же Штольцен, как говорили, «зарвался». Мне его место было еще не по зубам; он считался специалистом по изъятию утаенных доходов; тот, кто знает, где проститутки обычно хранят свои деньги, знает также, как изъять эти доходы.

Наш шеф, управляющий Гребель, принял меня с привычной любезностью. Когда перед моими глазами воз-

никали его неожиданно короткие пальцы, мне всегда приходили на ум либо шулеры, либо поддельватели векселей; эти пальцы по-крысиному быстро шныряли взад и вперед по карманам брюк, жилета и пиджака, словно он что-то искал или хотел что-то спрятать; обычно он переправлял таким способом необычайно замусоленную записку из одного кармана в другой. Он произносил положенное мне «господин доктор» всегда с иронией; мои попытки произнести положенное ему «господин директор» с такой же иронией никогда не удавались. Я слишком хорошо сознавал, каким юнцом я выгляжу. К тому же, если сказать по совести, и само управление налогов, и предмет его деятельности были мне настолько безразличны, что иронии неоткуда было взяться. Гребель еще мог вознегодовать по поводу небрежно отработанного документа или недорасследованного злоупотребления; однако предполагать, что это происходит из моральных соображений или тем более в интересах дела, было ни к чему; он просто совершал обряд негодования, да и то лишь если кто-нибудь из нас «лез со своим уставом в чужой монастырь»; обычно, предаваясь не слишком продолжительным рассуждениям об упадке «нравственности налогоплательщиков», о нашей святой (да, да, говорилось именно так: святой) обязанности ее укреплять и поддерживать, он одновременно перекладывал какую-либо из своих необычайно замусоленных записок по очереди из одного кармана в другой. Однажды, в разговоре, кто-то из моих сослуживцев отозвался о нем как о взяточнике из взяточников, даже продажном цинике; я не согласился с такой оценкой; мне Гребель виделся скорее биржевым спекулянтom, мелким ростовщиком и частным посредником. На мой взгляд, он заслуживал внимания.

— У меня есть для вас кое-что,— сказал он, когда я вошел в кабинет,— надеюсь, это будет вам интересно и принесет признание. Вы когда-нибудь слышали о Броссендорфе?

Я кивнул. Вскоре после войны на черном рынке пользовался большим спросом свекольный шнапс; остряки называли его броссендорфской водкой.

— Нет, нет,— продолжал Гребель, правильно истолковав выражение моего лица,— что было, то былшем поросло. Поражение есть поражение, после драки кулаками не машут. Да и как мы могли победить, если офицер генерального штаба перебежал на сторону врага,

а командующий артиллерией поддержки вел огонь не боевыми, а учебными патронами. (Он имел в виду дело Штольфулера-Меффля, первый был налоговым, второй — таможенным инспектором, которые были заодно с броссендорфцами.) Нет, нет,— сказал Гребель,— речь пойдет о делах нынешних. Нет никаких особых подозрений относительно кого-либо из броссендорфцев; необходимо только, чтобы вы со свойственной вам объективностью и — извините меня — юношеской беспристрастностью провели там несколько обычных проверок. Не имеет смысла ежедневно ездить туда и обратно, лучше всего, если вы для начала поживете с неделю на месте, начнете с абсолютно простых дел, скажем, с проверки сестер Германс; канцелярские товары, подарки, конфеты, табак; здесь,— он приподнял пачку документов и ткнул пальцем в верхний,— здесь их декларация о налогах, чистенькая, как игрушечный домик; не надо напускать страху на милых старых дев, но поищите и выудите несколько симпатичных маленьких неточностей из тех, что мы называем «семечки»; потом медленно начните «братъ выше»,— тут он ухмыльнулся,— после них займитесь сапожником Шверресом, у него уже будет все не так чисто, потом — строителем Германсом и на закуску, когда ваша объективность и неподкупность станут в деревне притчей во языцех, принимайтесь за винокуренный завод Халля. Аванс лежит в кассе, так что вперед, мой молоденький доктор.— Впервые он перешел на уменьшительную форму.— Кстати,— добавил он, когда я уже взялся за ручку двери,— рекомендую вам гостиницу Гребеля. Хозяин гостиницы — один из моих племянников. Охотно избавлю вас от хлопот и сообщу о вашем приезде.

В ведении нашего управления находились очень большие деревни, которым в результате укрупнения общин удалось наскрести искомые сто тысяч жителей, принесшие им статус города. Броссендорф находился на самой границе района, в двадцати километрах от его делового центра Хургенбаха, скучной деревни, протянувшейся вдоль дороги; скуку Хургенбаха увеличивали здания суда, финансового управления, окружного управления, окружной сберегательной кассы, а также уличное освещение и «Ночной трактир». Даже местному учителю Кронелю, неизменному фанатичному блюстителю нравов, не удавалось изобличить «Ночной трактир» в каких-либо нарушениях нравственности, более тяжелых, чем шуточки

галдящих чиновных тузов за столом для завсегдатаев по соседству со стойкой. Барменша, очень хорошенькая, но строгая, не слишком приветливая вдова фронтовика, обычно около половины второго ночи наглухо закрывала трактир и катила на велосипеде за четыре километра в Оберхургенбах, где ее ждали четверо детей.

В течение многих часов я штудировал сложные расписания движений поездов и почтовых автобусов, пытаюсь разобраться в загадочных цифрах, напечатанных мелким шрифтом; в конце концов конкуренция между железной дорогой и почтой предстала передо мной во всей ее полноте: расписания были составлены так, что конкурирующие линии вообще не стыковались друг с другом. Этот вывод привел было меня в ярость; потом, когда хозяйка наконец легла спать, радио умолкло и в доме воцарилась тишина, я, пожалуй, даже восхитился воистину великолепной бессмыслицей этих напечатанных бисером козней. Около полуночи я наконец усвоил, что для прибытия в Броссендорф примерно в восемь часов утра мне придется встать около половины шестого. Раньше, например во время службы в армии, мне иногда доставляло удовлетворение в полной мере прочувствовать великолепную бессмыслицу на собственной шкуре, впрочем, именно желание в полной мере прочувствовать великолепную бессмыслицу привело меня к изучению гражданского права, а затем основ экономики, после чего я защитил диссертацию и добился направления в ведомство финансов. Пока что, удовлетворив свою страсть собирателя великолепных бессмыслиц, я решил полтора часика соснуть и поехать в Броссендорф на велосипеде.

В то сырое темное декабрьское утро, проезжая на велосипеде свекловичными полями, я обнаружил, что на этой равнине не ты приближаешься к деревьям, а наоборот, они приближаются к тебе: несколько желтых огоньков, тускло освещенные церкви, темные дома; казалось, я барахтаюсь на одном месте и каждая лежащая впереди деревня медленно плывет мне навстречу какой-то бесконечно вязкой мыльной массой. Узкие дороги после уборки свеклы были еще сплошь в мокрых комьях земли. Только в самой деревне, когда я проезжал мимо домов и церкви, мне казалось, что я двигаюсь сам. Вблизи Броссендорфа я остановился и примерно с трехсот метров стал смотреть на деревню, появившуюся передо мной на фоне темно-серого предрассветного неба. Массивная

мрачная церковь из красного кирпича, в эту минуту в ней, словно в фонаре, потух свет; приземистые франконские усадьбы: прямоугольники крыш, окружавшие двор каждой усадьбы, казались кратерами. При взгляде на обе трубы винокуренного завода мне вспомнилось изречение профессора Гермейскля, «отца» моей диссертации: «Заработать деньги незаконно легче всего там, где те же самые деньги можно заработать законно». Рядом с трубами в этих нидерландских сумерках еще светилась красно-желто-голубым светом довольно нелепая реклама конфетной фабрики «Возьми меня с собой». Казалось, Броссендорф надвигается на меня с равнины; я сел на велосипед и поехал ему навстречу. До восьми оставалось несколько минут, опаздывающие школьники норовили прошмыгнуть через дорогу к церкви; колокол пробил восемь, через несколько секунд зазвенел школьный звонок. Когда я выехал на деревенскую площадь, появился автобус, сделал круг, развернулся и стал. Из автобуса вышли рабочие, один из них, пожилой, сутулый, приветливо кивнул мне и сказал: «Римская могила и термы находятся справа от церкви, ключ у пастора». В знак благодарности я тоже кивнул и огляделся: сквозь голые ветви липы виднелись две вывески; на той, что побольше, черным по белому свежей краской было выведено «Ф. Гребель — гостиница «У липы», надпись обрамляли две бесхитростно нарисованные светло-зеленые липы; на соседнем доме слева — потускневшая вывеска поменьше: «Сестры Германс — канцелярские товары — табак». Водитель автобуса с бутербродом в руке сидел впереди на своем месте, раскрытая газета лежала на баранке, термос стоял рядом. Я слышал, как пели дети в школе: «Во славу Господа и труд и отдых наш...» В хоре детских голосов я различил низкий красивый голос учительницы. В гостинице Гребеля открылась светло-зеленая средняя дверь, я подошел к ней, прислонил велосипед к стене, снял портфель и чемоданчик с багажника и вошел в темную прихожую. Деревянная вешалка, на верхней полке лежала зеленая шляпа, запах кофе справа, — высокая грузная женщина в бордовом платье приветливо обратилась ко мне на тарабарском местном диалекте: «Надеюсь, молодой человек, вам будет у нас хорошо». Она не назвала меня «господин доктор», я почувствовал себя свободнее, бросил шапку, шарф и перчатки рядом с зеленой шляпой, снял пальто, поставил чемодан и крепко зажал под мышкой портфель. Мой многоопытный колле-

га Кронель, отец учителя из Хургенбаха, поучал меня: «Ни на секунду не выпускайте из рук документы; эти люди способны на все, когда им приходится иметь дело с управлением финансов; и еще: если вам придется разговаривать по телефону, никаких цифр, никаких фамилий; в этих деревнях принято считать телефонные коммутаторы законным источником информации». Госпожа Гребель щелкнула выключателем, открыла дверь в гостиную и распахнула ставни; наконец я смог ее разглядеть: примерно пятидесяти лет, краснощекая, с грубыми чертами лица. «Вы, наверное, сперва подкрепитесь?» — спросила она. Я кивнул и потер руки, не выпуская из-под мышки портфель: на одном из столов стояли кофейник, корзиночка с хлебцами, джем, а на бело-голубом с цветочками блюде лежал сырокопченый окорок. «О,— сказал я,— спасибо. С удовольствием».

У сестер Германс мое появление не вызвало, как я ожидал, нервозности, рассеять которую я был не только готов, но и заранее радовался этому; они, мол, будут подобно испугнутым курам порхать вокруг меня, опасаться и одновременно пробовать задобрить; хриплыми голосами называть ревизию бесчестьем («Уже целых пятьдесят лет, нет, со дня основания прадедушкой нашего магазина, мы всегда соблюдали правила»), а я, словно один из племянников, выполняющий столь неприятные обязанности, обусловленные служебным, вполне очевидным долгом, начну их успокаивать, одновременно и защищая задачи налогового управления, и отгораживаясь от него («Без налогов не обойтись, вы же понимаете, уличное освещение, школы»); будут строить из себя бедняков («Конечно, есть более подходящие жертвы для налоговой ревизии, но так уж повелось: большую рыбу на волю, рыбешку — в неволю»). Ничего похожего не произошло. Бросив беглый взгляд на витрину (школьные тетради, рождественские детские календари, календари для проповедников, несколько авторучек в подарочной упаковке, домино, игра «Не сердись, парень»), я вошел в лавку. Почтенная дама, чуть старше сорока, как обычно, отнюдь не нервозно выравнивала и без того ровные стопки тетрадей и горки коробок с конфетами. Нежное лицо обрамляли густые, темные, чуть тронутые сединой, пожалуй, слишком тяжелые волосы; глаза смотрели скорее с любопытством, чем с недоверием; я видел, что, быстро оглядев меня с ног до головы, она сдержала улыбку, взяла стопку тетрадей,

встряхнула, выровняла края и положила снова на место. Я подошел поближе, представился и так и не понял, было ли ее изумление естественным или наигранным, когда она широко раскрыла глаза и сказала:

— Ах, так это вы налоговый инспектор, а я подумала...— Она замолчала, сложила руки.

— Что же вы подумали, фройляйн Германс? — спросил я.

— О,— сказала она,— к нам время от времени заходят античники и археологи, чтобы купить брошюру.

— Ту самую, что расходуется у вас в количестве примерно ста двадцати штук в год,— сказал я с несвойственным и неприятным мне рвением, сразу переходя к делу.

— Да,— сказала она,— каждые четыре года мы издаем ее заново тиражом пятьсот экземпляров.

Я увидел небольшую стопку брошюр, шесть или семь штук, они лежали передо мной на прилавке, и, смутившись, прочел название вслух:

— «Термы и могила римлянина Себастиануса в Броссендорфе. А. Германс». Простите, автор — ваш отец?

— Нет, это написал еще мой дедушка, мы не стали менять милый старомодный немецкий, в котором некоторые слова писались не так, как это принято теперь.

Я смущенно отвел глаза, не зная, как же мне все-таки перейти к делу. Она явно не имела ни малейшего понятия о предстоящей процедуре и всех ее «прелестях»; о необходимости предъявлять мне не только бухгалтерские книги и документы, но, если у меня возникнут обоснованные подозрения, и личные записи, даже открыть по моему требованию ящики ее письменного стола, стола старой девы.

Я покраснел, хотя не помню, чтобы вообще когда-нибудь краснел, даже давая присягу при поступлении на службу к Гребелю: «Клянусь Богом...» — уж тут-то было отчего покраснеть. Фройляйн Германс пригласила своими тонкими руками края желто-сине-красных коробок с конфетами «Возьми меня с собой», привела в порядок карандаши, выровняла резинки.

Я открыл портфель и вынул налоговые декларации сестер Германс за последние три года. За завтраком я просмотрел их еще раз и обратил внимание на вопиюще маленькие издержки фирмы, обозначенные

в этих декларациях почерком, который постепенно превращался из угловато-девичьего в округлый и твердый.

— Что же,— произнесла она почти сердито, глядя на заполненные декларации,— здесь что-нибудь не так?

Я откашлялся и почувствовал, что краска еще не сошла с моих щек.

— Эти проверки,— сказал я,— отнюдь не акт недоверия, управление не сомневается в правильности ваших деклараций, просто... Знаете ли, мы изучаем таким способом условия труда, издержки предприятий, подобных вашему; к сожалению, мне для этого необходимо знать даже мелкие подробности, я должен просить вас, например...

Она наконец перестала наводить порядок, облокотилась на прилавок, и я увидел в ее серых глазах сочувствие, по моему мнению не заслуженное; управление налогов и его деятельность все еще оставляли меня равнодушным.

— Хорошо,— сказала она,— объясните мне все сами, так будет проще.

Я вздохнул, вынул из папки записную книжку и прочел ей основные положения, определяющие мои права и обязанности применительно к предстоящей ревизии. Мне казалось, что лучше их прочесть, чем пересказывать своими словами, хотя нас к этому приучали; ведь мы обязаны были держать себя «по-человечески». Любимыми словами Гребеля были: «По-человечески» и «Не лезь со своим уставом в чужой монастырь». Читая с профессиональной беспристрастностью разделы руководства, я посматривал в окно на деревенскую площадь, где автобус, стоявший за липами, тронулся с места и открыл для обозрения противоположную сторону дороги; там тоже виднелись две вывески, одна свежевыкрашенная: «Гастрономия — Гребель», другая побледнее: «Е. Шверрес. Пошив и рем. обуви». Церковный колокол ударил три четверти девятого, через несколько секунд зазвенел школьный звонок; пронзительные детские голоса возвестили перемену.

— Ладно,— сказала фройляйн Германс,— с вашими правилами без просторного стола не обойтись! Клара,— крикнула она,— Клара,— и я поразился ее умению говорить очень громко, но не криливо.

Вторая фройляйн Германс, Клара, была немного старше, лет сорока пяти—пятидесяти, потемнее и плотнее; судя по ее виду, кухня, хлев и сад находи-

лись на ее попечении; она выглядела еще большей чистюлей, чем сестра, словно то и дело мылась во дворе у колонки, что было не так, в течение дня я в этом убедился; ее руки как бы свидетельствовали о радости, которую они испытывают, выкапывая картошку или свеклу; широкое лицо могло бы казаться красивым, если бы не жесткий, немного скошенный рот, рот старой девы, хотя не для этой роли появилась она на свет божий. Это у нее был немного крикливый голос, это она, Клара, чуть-чуть придуривалась, когда освобождала для меня стол в соседней комнате, разглаживала на нем в качестве скатерти оберточную бумагу, несла из кухни стакан молока и говорила, хихикая: «Чего никогда не видела, так это чтобы мужчина молоко пил»; а когда я набивал трубку: «Лишь бы все добром кончилось»; когда же все устроилось, скоросшиватели, бухгалтерские книги, журналы учета входящих и исходящих были разложены по годам: «Мария, мне кажется, теперь лучше всего оставить застенчивого молодого человека в одиночестве».

Я проверял, ставил галочки, прихлебывал молоко, приминал большим пальцем табак в трубке, слушал, как Клара разговаривала во дворе с курами, как уже всерьез, ровным голосом хвалила капусту, которую, видимо, шинковала к обеду. В лавке Мария внезапно перешла на тарабарский местный диалект, когда нежно прозвенел колокольчик, — кто-то пришел купить табаку или конфет; она владела самой разной смесью диалекта и городской речи, лишь один раз я услышал настоящий диалект — пришел какой-то мужчина и потребовал, по-видимому, вновь отремонтировать ручку. Мария разговаривала с ним на чистом диалекте, звуки были такими, словно говорящие забрасывали друг друга комьями земли, я разобрал всего два слова: «ручка» и «отремонтировать»; мрачные и увесистые «р» звучали раскатисто, по-иностранному. Я проверял, ставил галочки, проверял; когда я, по сути дела, почти разобрался до конца в этом безупречном соблюдении налоговой морали, во мне затеплилось нечто, заставившее меня покраснеть и вспомнить чувства, испытанные мною при изучении расписаний движения почтовых автобусов и поездов: сначала ярость, потом восхищение прекрасным почерком, которым эта умильная гражданственность сама о себе заявляла. Я не выудил ни малейшей «симпатичной неточности», никаких «семечек», а когда пробило полдень, со вздохом отодвинул в сторону испещренный галочками, завизиро-

ванный мною баланс тысяча девятьсот сорок седьмого года, и мне захотелось, чтобы немедленно пошел снег и весь Броссендорф завернулся в белое. Я отодвинул в сторону декларацию, набил трубку и огляделся; на пюпитре раскрытого фортепьяно стояли сборники песен, в книжном шкафу — четырехтомная всемирная история неизвестного автора в коричневом кожаном переплете, рядом, в пестром, — книга под названием «Функции человеческого организма, изложенные специалистом для детей, с поясняющими иллюстрациями». Затем: «Педагогика», «Психология», «Моби Дик», «Путешествия Гулливера», «Робинзон Крузо», под ними целая полка детских книг. Я встал, посмотрел у некоторых из них год издания и издательство, полистал книгу учета; счета издательств были внесены вместе с названиями книг; я нашел в кассовой книге записи о продаже, в скоросшивателе — кассовый чек, выставленный одной фройляйн Германс другой фройляйн Германс, было очевидно, что одна фройляйн Германс все-таки чувствовала себя обязанной заработать даже на сестре, она продала ей книги всего лишь с десятипроцентной скидкой. Когда я со вздохом хлопнул скоросшиватель, Мария просунула голову в дверь и спросила смеясь:

— Ну, что, все сходится?

— И как еще сходится, — сказал я. Наверное, в моем голосе проскользнула ирония.

Мария закрыла за собой дверь, подошла ближе и спросила:

— Ради бога, в самом деле что-то не сходится?

— Нет, — сказал я, — что-то не сходится, потому... потому что все сходится. Милая госпожа Германс, почему вы так явно стремитесь платить налогов больше, чем положено?

— Я не понимаю, — сказала она, — вы ревизор или ангел?

— Ангел — это вы, и мне уже понятно, почему люди испытывают страх перед ангелами.

Она села на круглый стул фортепиано, повернулась на нем ко мне лицом и снисходительно улыбнулась.

— Например, я не нашел у вас никаких других расходов, кроме почтовых, ни разу не упомянуто ни о дровах для лавки, ни о конфетах для рекламы.

— Конфеты для рекламы?

— Да, будь они неладны, ведь каждый ребенок,

который покупает у вас школьную тетрадь, наверняка получает конфетку?

— Естественно,— сказала она,— как и каждый ребенок, покупающий табак для отца или воскресную газету для матери.

— И сколько же это конфет в год?

— О боже, неужели я в самом деле должна это запоминать и подсчитывать? Мы не нуждаемся, я не приучена считать конфеты, которые дарю. Послушайте, для служащего налогового управления вы делаете мне довольно странные замечания.

Я снова покраснел.

— Простите, но меня возмущает, когда...

Я не договорил; молодая женщина, румяная, разгоряченная, вбежала в комнату, и не берусь объяснить, откуда мне было известно, что ее зовут Анна, и она не могла быть ни крикливой, ни глупенькой. Она остановилась, посмотрела на стол с бухгалтерскими книгами и тетрадями и вздохнула:

— Ах да, конечно!

Я поклонился, назвал себя и впервые еле сдержался, чтобы не представиться по всей форме.

— Это моя сестра Анна,— сказала Мария,— она здешняя учительница. Ее зовут фрау Халль.

Не слишком ли она выделила слово «фрау»? Анна положила портфель на фортепьяно, протянула мне руку, я взял ее и придержал. Глаза у Анны были темно-серые, а волосы — как мокрый шифер с синеватым отливом; я почувствовал обручальное кольцо на ее пальце. Анна убрала руку; из столовой донесся голос Клары: «Вперед, дети, стол накрыт».

В гостинице Гребеля я, вопреки ожиданиям, оказался отнюдь не единственным столующимся гостем. Большой овальный стол справа позади прилавка был накрыт на пятерых; к моему приходу двое уже ели суп. Толстяк с часовой цепочкой на брюхе представился Гребелем, его неловкая любезность выдавала в нем капитана запаса; второй пожал мне руку и положил рядом с тарелкой карточку: «Эрвин Гесс, дипл. химик, конфетная фабрика «Возьми меня с собой». Маленького роста, коренастый, он так сильно дул на суп, что казалось, вот-вот выдует его из ложки.

— На всякий случай, чтобы вы не подумали лишнего, этот господин Гребель не имеет никакого отношения

к гостинице. Вы скоро убедитесь, что у нас каждый второй Гребель, каждый третий — Германс, каждый четвертый — Халль и примерно каждый шестой — Шверрес, но большинство из них не родственники, так что ничего удивительного в этом нет.

Его сосед рассмеялся:

— Вы также скоро убедитесь, что налоговым инспекторам приходится у нас либо очень легко, либо очень тяжело.

Молодая женщина, я узнал в ней дочку хозяйки, принесла мне суп. Привычным жестом я вынул кошелек с продовольственными карточками и протянул ей. Она испуганно посмотрела на меня, оба сотрапезника расхохотались.

— Пожалуйста, не портите здешние порядки, — сказал Гесс, — вы, чего доброго, вгоните нашу милую Марту в краску, если еще раз покажете ей эти безнравственные печатные издания.

Должен ли я был покраснеть в третий раз? Мне удалось рассмеяться, пусть даже несколько неестественно, я спрятал кошелек и принялся с неохотой черпать ложкой суп и выливать его назад в тарелку.

— Не обижайте Марту, ешьте суп — отсутствие аппетита здесь не вознаграждается — за это вечером вам придется поставить всем пиво. Сейчас вы познакомитесь с остальными двумя холостяками из нашей деревни — пастором, от которого сбежала экономка, и всеми уважаемым, весьма суровым обер-винокурор Халлем.

Халль пришел вместе с пастором; последний оказался для деревенского пастора на удивление тощим и робким, после того как я ему представился, он произнес негромко и четко свою фамилию: «Шарф». Халль, детина в охотничьей куртке, был первым, кто отнесся ко мне с явным недоверием. Он прищурился и сказал, взявшись за свою ложку:

— Как видно, господину директору Гребелю Бросендорф еще не осточертел.

Я невольно посмотрел на свой портфель, который поставил на пол рядом с собой, прислонив к ножке стула. Все рассмеялись, и пастор тоже, потом он покачал головой и произнес:

— Кесарю — кесарево.

— Согласен, если ты только объяснишь, сколько же надо кесарю, — сказал Халль. Он со злостью пихнул в мою сторону миску с мясом.

Я взял один кусок, тогда он в бешенстве выхватил у меня вилку и добавил еще два куска.

— Проклятье,— проговорил он,— не стройте из себя барышню. Здесь любят поесть.— Прихлебывая суп, он с недоверием посмотрел, сколько картошки и капусты я положил себе, и покачал головой.— Они уже начали посылать на нашу голову невинных детей, юнцов, которым и рюмку-то не знаешь, можно ли поставить.

— Брось,— сказал пастор,— он только исполняет свои обязанности.

— Хорошенькие обязанности,— проворчал Халль,— проверять девиц Германс, это же все равно... все равно что собирать цветочную пыльцу, взвешивать и продавать на рынке.

— Отлично сказано,— произнес я.— Цветочная пыльца — почему четверть фунта?

Халль поднял взгляд, подозрительно посмотрел на каждого, потом на меня:

— Штольфулер и Меффль стоили меньше, чем четверть фунта цветочной пыльцы, молодой человек. Мне, конечно, хотелось бы называть вас юношей, а еще лучше — милым мальчиком.

Улыбаясь, я занялся шоколадным пудингом, от которого, как мне показалось, пахло сливками.

— По мне, так уж лучше «милый мальчик»,— сказал я,— не каждый выглядит на свои года.

— Мужчина должен всегда выглядеть на свои года,— сказал Халль.

— Но не старше, чем он есть на самом деле,— сказал я,— не на сорок, если ему вчера исполнилось тридцать.

Пастор положил руки на стол. Гребель и Гесс, не спуская глаз с Халля, чуть-чуть отодвинулись от стола. Халль тихо застонал, потом посмотрел на пастора, который примирительно качал головой.

— Следовательно, вам двадцать семь, раз уж вы выглядите на семнадцать,— сказал Халль.

— Точно,— ответил я,— пыль — не цветочная пыльца,— мы с вами почти ровесники, господин Халль, а вообще-то ваше жаркое остынет.

Пастор убрал руки со стола, Гребель и Гесс снова придвинулись к столу.

— Могу ли я предложить господам кофе? — спросил пастор и извлек из тайников черного сюртука банку с растворимым кофе.— Дополнительный доход от по-

хорон американского солдата. Строго говоря, натуральные доходы тоже облагаются налогом. Таким образом, я считаюсь с возможностью вашего визита ко мне.

Даже Халль нехотя, но засмеялся и отодвинул от себя тарелку, он почти ничего не съел; он видел, что я это вижу, а поэтому я решил промолчать.

После обеда я ревизовал у сестер Германс тысяча девятьсот сорок восьмой год; примечательно, что он был убыточным и вклад трех девиц в сберегательной кассе уменьшился с двадцати трех тысяч марок чуть ли не до пятнадцати. Около половины третьего я принялся, выполняя данное мне поручение, выписывать контрольные цифры: счета издателей молитвенников, бумажных и табачных фабрик, фабрик игрушек; их передадут соответствующему финансовому управлению, и они поступят в качестве отправных материалов к тамошнему ревизору. Несмотря на то что в комнате никого, кроме меня, не было, я внезапно покраснел в третий раз. В задумчивости продолжал я свою работу. Постоянно краснеть мне было неприятно, хотя и представляло некоторый интерес. Я должен был, вне всяких сомнений, познать психологические основы этого явления, поехать как-нибудь в город в университетскую библиотеку и попросить старину библиотекаря Кремеля, не раз выручавшего меня во время учебы, подобрать литературу. Я ведь не краснел не только когда произносил «Клянусь Богом», но и тогда, когда приглашал фрау Гербот, барменшу из Хургенбаха, подняться ко мне в комнату или предлагал ей деньги после того, как она мне угрюмо отказала, в результате чего схлопотал оплеуху, причем весьма болезненную. (Какая она хорошенькая, я разглядел потом, когда она, улыбаясь — что было, то прошло,— угостила меня в знак примирения коньяком и сказала: «Вы просто обратились не по тому адресу, это случается».)

Я механически вписывал в отпечатанную таблицу: «Вдова Бергес, Шмаленбах, фирме Германс, Броссендорф. 3.12.1948 — 12,28 марок (пластилин)», «Бохазки и К°, Дролендорф, фирме Германс, Броссендорф. 8.12.1948 — 37,60 марок (рождественские игрушки)».

В доме стояла тишина. Мария сидела в лавке у электрического камина и вязала; иногда я слышал разговоры, в большинстве случаев с женщинами, на смешанном диалекте, из которых я смог разобрать, что Мария давала им советы по поводу рождественских подарков, то и дело отказывалась от заказов, замечая при этом:

— Ты же едешь в город, купи там, обойдется дешевле, нежели я попрошу это прислать.

Она долго беседовала с каким-то брюзгой, по-видимому, об электрических железных дорогах; до меня доносились слова: «стрелки», «сигналы», «поршни»; потом — со звонкоголосой женщиной о куклах. Мне уже начинал нравиться тарабарский диалект.

Клара «ушла в поле» с лопатой и киркой под мышкой, Анны не было ни видно, ни слышно.

Я собрал свои принадлежности, привел в порядок документы сестер Германс и связал их снова по годам тем же самым зеленым шнурком, который развязала и смотала Мария; осторожно извлек перочинным ножом из стола кнопки, сложил коричневую упаковочную бумагу и положил четыре кнопки назад в коробочку, которую Мария принесла из лавки и положила на книжную полку. Я слышал, как вернулась Клара, протопала по двору, прислонила лопату и мотыгу к стене: два коротких удара по подставке для инструментов; она развела в кухне огонь, набрала в котел воды; церковные башенные часы пробили четыре. Я порвал таблицы с контрольными цифрами, открыл маленькую печку в углу комнаты, бросил в нее обрывки, подождал, пока они не вспыхнули от жара брикетов, сел за стол и начал писать отчет. Когда я добрался до третьей фразы: «Мне представляется целесообразным довести до сведения досточтимых господ налогоплательщиков, что *точный* учет расходов выгоден как им самим, так и властям...», в комнату вошла Клара с подносом: на нем стоял кофейник, рядом лежали белый хлеб, масло и джем. Я встал, освободил ей место. Она попросила меня подержать поднос, а сама в это время расстелила скатерть. Я пересчитал чашки, их было четыре. Забрав поднос, она, хихикая, сказала:

— Это будет взятка, если мы предложим вам чашку кофе?

— Нет, — ответил я, — даже если бы вам и надо было дать мне взятку, чашка кофе не являлась бы взяткой. Да это и не помогло бы.

С некоторым раздражением расставила она тарелки, затем чашки.

— Видно, Юпп Гребель себе на уме, раз он присылает к нам такого человека, как вы.

— Он что, здешний? — спросил я.

— Нет, он родом из Хонндорфа, но вырос здесь, по соседству с нами, у дедушки. Я ходила вместе с ним

в школу. Он всегда умел хорошо считать. И петь тоже. И парень он был не промах. Мария! — крикнула она громко.— Мария!

Четвертая чашка осталась пустой. Я выпил кофе, съел кусок белого хлеба без джема и даже послушал Марию, расточавшую мне любезности.

— Мы и не подозревали, что чиновники налогового управления такие приятные люди.

— Я тоже не мог себе представить такими моих первых клиентов.

— Зима, наверное, будет что надо, сухая.

— Было бы неплохо провести здесь зиму.

На что Клара:

— Вот это уж наверняка в ваши планы не входит.

На этом мой запас тем для разговора иссяк, повода задержаться у меня не было, я попрощался.

— Быть может, когда у меня кончатся карандаши, я снова зайду к вам в качестве покупателя.

Мария проводила меня до дверей. Когда я подал ей руку, она на какое-то мгновение задержала ее.

— Я не знаю, должна ли я пожелать вам удачи,— прошептала она и добавила еще тише: — Будьте осторожны, с Фрицем Халлем шутки плохи.

Я кивнул, и она смотрела мне вслед, пока я шел через площадь к Шверресу. Только что пробило четыре, а моя служба кончалась в шесть.

Шверрес оказался лысым, маленьким и тучным человеком с бледным лицом; продувная бестия, подумал я, пока он моргая смотрел на меня поверх очков, запутать отчетность для него пара пустяков. Он долго глядел на мои ботинки, потом снова поднял глаза, посмотрел на меня совсем иначе и проговорил:

— Теперь они делают хорошие протезы — полюбуйтесь-ка на мои! — Он задрал левую штанину, показал мне свой топорный протез, снова разгладил брюки и произнес: — В восемнадцать лет под Верденом.

Я не стал задирать штанину во имя протезной солидарности, сказал только, чтобы не слишком обидеть его:

— Мне тоже было восемнадцать.

— Хуже всего,— продолжал он,— что девочкам это как раз не нравится. Кто жалеет, кто отворачивается — без денег не обойтись, а нашим попам хоть кол на голове теши. Вам налить?

Я покачал головой.

— Но мне-то можно, или налогоплательщикам пить спиртное во время ревизии запрещается? — Он приложился к бутылке, и я сразу увидел, что пить из бутылки ему непривычно; он поперхнулся, закашлялся, снял очки и вытер слезы ветошью.— Будь оно все проклято,— сказал он,— раз уж Юппу Гребелю приходится затевать такое против меня. Мы ведь вместе прислуживали во время мессы. Значит, так: бумаги для вас лежат там.— Он указал на один из ящичков стеллажа, откуда, по всей видимости, выкинул башмаки, после чего набил его доверху черновыми бухгалтерскими книгами и карточками.

Когда я перекладывал документы на узкий откидной прилавок, то заглянул сквозь приоткрытую дверь в соседнюю комнату: неприбранная кровать, картинка на религиозный сюжет, лампадка; позади кровати вытяжная труба от печки и котелок с кипятком.

— Особых удобств тут нет,— сказал Шверрес,— я, молодой человек, всего лишь сапожник, инвалид его величества и налогоплательщик. Я не могу предложить вам даже стула. Войти туда отваживается только два раза в год моя сестра, чтобы навести чистоту.

Все же он разложил документы по годам: продырявленные гвоздями, связанные в пучки счета, черновые бухгалтерские книги с записями, которые никак не соответствовали расходам на кожу. Расписки получателей заработной платы представляли собой удивительные документы, из них следовало, что на ниве сапожного ремесла подвизается еще великое множество странствующих подмастерьев, работающих, по-видимому, всего по несколько дней, а часто и часов, причем их подписи были поразительно схожи. Большинство этих временных подмастерьев были, судя по всему, выходцами из Польши или Силезии: Сикорский, Томарек, Пухвал, Дахулла. Среди бесчисленного количества довольно-таки замаранных расписок, которые Шверрес к тому же пронумеровал, машинописные счета кожевенных фабрик с их аккуратными колонками цифр выглядели почти нереальными. Я ставил галочки и тихо смеялся, натываясь на чересчур благозвучные польские имена. Шверрес стучал молотком, отрезал куски кожи от большой коричневой заготовки, прихлебывал водку, теперь уже из стакана, напевая вполголоса: «Жил-был рубаха-парень...»

Я ставил галочки, визировал, набивал трубку,— казалось, я прожил в Броссендорфе очень много лет и уже

успел набить бесчисленное количество трубок, бесконечно много раз слушал бой церковных часов. Что меня восхищало в шверресовской бухгалтерии, так это поэзия вымышленных убытков для защиты собственных интересов. «Убыток 12.2.47: высококачественная, приобретенная по завышенной цене яловая кожа стоимостью 6000 марок. Причина: кража со взломом». Кража была даже засвидетельствована жандармом Гребелем из Хонндорфа: «...в мастерской Шверреса я обнаружил взломанную входную дверь и полный беспорядок, а также известного мне досточтимого Шверреса, который всю ночь отсутствовал, в сильном возбуждении из-за понесенного убытка».

Внизу печать: «Жандармский пост Хонндорф. Обер-вахмистр Гребель». Почти такими же раскрасными были выписанные им квитанции на приобретенную на черном рынке кожу: «В Кулервеге в ресторане Генриха приобретена у неизвестного яловая кожа на сумму 780 марок. 20.6.47. Шверрес». Филантроп Шверрес, иначе его не назовешь, однако, никоим образом не взимал за ремонт повышенную плату, что соответствовало бы цене кожи, а поэтому закончил тысяча девятьсот сорок седьмой год с большими убытками, о чем даже написал в декларации красными чернилами, которыми для этой цели, вероятно, запасся у сестер Германс.

В начале шестого я почувствовал усталость, начал зевать и решил успокоить Шверреса, который уже давно посматривал на меня со страхом. Я положил просмотренные документы назад в ящик, остальные оставил лежать на откидном прилавке, подошел к Шверресу и сел на подоконник. Неожиданно для себя я стал прихрамывать.

— Господин Шверрес,— произнес я тихо,— скажите мне только: во что вам обходятся женщины?

Когда он наливал водку в стакан, у него дрожала рука; он протянул его мне, и я его взял; он поднес к губам бутылку, а я стакан.

— Будем здоровы!

— Станный вопрос для чиновника налогового управления,— выговорил он (прихлебнув из бутылки, он не закашлялся),— но могу вам сказать, с каждым годом все меньше, человек стареет. Вы что-нибудь нашли? — Он указал на ящик.

— Нет,— сказал я,— я ничего не нашел, но кое-что

могу предположить. Впрочем, предположения чиновника — это уже его личное дело. Хотел бы, однако, дать вам один совет.

— Какой? — спросил он.

— Найдите где-нибудь этой ночью несколько записных книжек или листков из записных книжек, где вы записывали выручку, но забыли ее сообщить, что, скажем, не только могло случиться, но и вполне допустимо.

— На какую сумму? — спросил он.

— За тысяча девятьсот сорок седьмой год на тысячу двести, а за тысяча девятьсот сорок восьмой на шестьсот марок.

— И какой налог я должен буду заплатить?

— Не много, — сказал я, — за сорок седьмой ничего, а за сорок восьмой, наверное, от сорока до пятидесяти марок.

— А сколько стоит ваш совет?

— Нисколько, — сказал я.

— Но ведь так не бывает, — сказал он.

— Нет, — сказал я, — бывает.

Я сунул портфель под мышку и вышел.

Было уже темно, когда я снова пересек маленькую площадь в направлении лавки сестер Германс, где горел свет и виднелся силуэт Марии. Подойдя к окну, я увидел, что она прикрепляет еловые ветки между коробками с игрой «Не сердись, парень» и коробками с домино. Она увидела меня, улыбнулась, и я спросил беззвучно, но с четкой артикуляцией: «Ваша сестра Анна дома?» Она покачала головой, как мне показалось — несколько огорченно, и показала в направлении не то церкви, не то школы. Я кивнул и пошел в гостиницу Гребеля. Длинный тощий малый стоял у стойки, пил пиво и посмотрел на меня так, словно он меня ждал. Мужчина в зеленой вязаной кофте, по-видимому господин Гребель, равнодушный, в меру приветливый, с гладкими черными волосами, подал мне ключ со словами: «Ваш чемодан уже наверху, комната номер два», я поблагодарил, взял ключ и пошел наверх.

Комната оказалась просторной, обставленной мебелью орехового дерева, окна выходили в сад; я видел деревья и слышал, как в темноте хрюкала свинья. По соседству у Германсов Клара пела песню: «Посылает небо праведникам и росу и дождь». У нее был низкий красивый голос, совсем не резкий. Я зажег свет и вымыл

руки в розовой фарфоровой миске. Посмотрел на себя в зеркало и зачесал назад волосы: я все еще не выглядел старше.

В деревне были еще две гостиницы: А. Германс и Б. Халль. Была пекарня: К. Халль, мясная лавка: Шверрес, еще одна продовольственная лавка: Гребель. На улицах было темно и тихо; от многих домов пахло так, словно там уже пекли пироги к Рождеству. Была вторая площадь, голая, без зелени, вокруг нее расположились кузница братьев Германс, склад удобрений и хозяйственного инвентаря (Гребель и Халль), усадьба бургомистра (Шверреса). Церковь стояла посередине деревни, а не на ее западной окраине, как мне показалось утром. Вокруг церкви — третья площадь, пожалуй, самая красивая: высокие платаны, высаженные прямоугольником, аллея, ведущая к каменному мосту, мост через ров с водой в бывший маленький замок, который поделили между собой винокуренный завод и фабрика конфет. Рядом с церковью по одну сторону школа, по другую — дом пастора; и там и там было темно, свет виднелся в церкви; я вошел. До этого я был в церкви дважды, оба раза во время службы в армии, так как иначе мне пришлось бы чистить картошку; я знал, что надо снять шапку и по-особенному сложить ладони; это я и сделал, снял шапку и соединил ею ладони. Я сразу же узнал голос Анны, она смеялась, потом сказала: «Нет, нет, какой же это Иосиф, слишком уж хорош, чересчур даже». Дети засмеялись, я различил сквозь смех голоса двух мужчин; зайдя за колонну, я увидел их всех: Анну, пастора, Халля и группу мальчиков и девочек, Анна примостилась на верхней ступеньке перед алтарем, на пасторе и Халле было надето что-то вроде рясы; я чуть не засмеялся во весь голос, когда увидел Халля: всамделишный монах, да и только. Дети держали в руках разные позолоченные гипсовые символы: ягнят, сердца, якоря; я быстро отступил назад за колонну и тихо вышел из церкви; мне показалось, что я не смог бы с легким сердцем смотреть, как покраснеет Халль. Я встал около двери пасторского дома, набил трубку и принялся ждать; не знаю, сколько прошло времени; я немного замерз, но это было приятно; так же приятно было смотреть на кроны голых деревьев; даже сине-желто-красный свет фабрики конфет не тревожил меня; я уже находился в Броссендорфе больше чем вечность; может быть,

я здесь родился, моя фамилия Гребель, Германс, Халль или Шверрес: завтра я пойду на кладбище и подберу себе имя.

Выбивая вторую трубку, я услышал, как дети выбежали из церкви; дважды, трижды грохнула дверь, крики и стук подбитых гвоздями башмаков рассыпались по деревне и стихли; затихающий по всем направлениям стук детских башмаков словно очертил совершенно отчетливо план деревни: гостиница Германс, гостиница Гребель, кузница, дом, откуда особенно вкусно пахло рождественскими пирогами; только один ребенок, девочка, побежала на ту сторону в замок: сначала я ее только увидел, а потом услышал, как она идет по каменному мосту. В церкви погас свет, я немного испугался, когда пастор, Анна и Халль внезапно очутились передо мной; они вышли из боковой двери, которую я не заметил.

— Пойдите,— сказал пастор,— теперь нам всем надо выпить.— Он подошел ко мне и сказал: — Вы позволите? — открыл дверь и зажег внутри свет.

Я пропустил Анну вперед, она остановилась, показала на Халля и проговорила:

— Это мой деверь, Фриц Халль.

— Мы знакомы,— произнес я.

— Еще как,— подтвердил Халль.

— Мы репетировали рождественское представление,— сказала Анна.

Я протянул руки, чтобы взять у нее пальто, но она покачала головой.

— Нет, спасибо,— печь в доме, наверное, остыла.

Халль тоже остался в пальто. Пастор принес рюмки и большую зеленую бутылку без этикетки; он пошел впереди нас в свой рабочий кабинет. Откуда я заранее представлял себе этот кабинет таким, каким я его увидел: полным книг, неубранным, пропахшим трубочным табаком, уютным, если бы в нем не было так холодно? Из хрестоматий или из жизнеописаний священников? Водка была хороша, холодная и прозрачная; у нее был привкус яблока.

— Лучшая продукция нашей винокурни,— сказал Халль,— ежегодно мы тайком гоним два-три гектолитра, которые вообще не поступают в продажу. Нет,— сказал он нежно, когда я снова протянул пастору рюмку,— ее пьют или одну рюмку, или очень много.

— Может быть, господин доктор хочет выпить с господином пастором очень много,— сказала Анна.

Я не покраснел.

— Тогда я, пожалуй, принесу еще одну-две литровые бутылки,— сказал Халль,— и мне кажется, что наш друг еще ничего не ел. Или я не прав? — Я кивнул.— Может быть, Анна нам что-нибудь приготовит на кухне? — спросил Халль.

— Моей кухне только пойдет на пользу,— сказал пастор,— если в нее разочек войдет женщина и похозяйничает.

Я остался с Халлем наедине. Он включил электрическую печку, стоявшую между письменным столом и красным плюшевым диваном, включил также настольную лампу пастора, выключил верхний свет и сел на ручку дивана, обращенную к окну. Я налил себе полрюмки водки и вдохнул; голые кроны деревьев, холодная церковь, подбитые гвоздями детские башмаки, которые в темноте очертили мне контуры деревни. Голос Анны, почерк Анны, ее волосы и ее глаза.

— Перестаньте засматриваться на Анну,— сказал Халль, не оборачиваясь.— Она замужем за моим братом, он далеко отсюда, скоро вернется. Оставьте ее в покое.— Он продолжал подчеркнуто ровно: — Такой человек, как вы, мог бы здесь очень пригодиться; с моим братом вы легко найдете общий язык; если хотите, приходите ко мне завтра, не дожидаясь пятницы. Так и так вы ничего не найдете.

— Что-нибудь я найду, будет очень глупо, если вы не дадите мне что-нибудь найти,— сказал я.

— Что же вы хотите, например, найти?

— Какой-нибудь корм, только не «семечки». Что-нибудь посущественнее. Посмотрите по таблице, во что вам это обойдется.

— И сколько же мне будет стоить ваш совет?

— Нисколько,— сказал я.

— Но ведь так не бывает,— сказал он.

— Бывает,— сказал я.

Печка раскалилась. Абажур настольной лампы излучал зеленый свет. Я слышал, как на кухне смеялись Анна и пастор.

— Нет,— сказал Халль не оборачиваясь,— не бывает.

Я выпил полрюмки водки и принялся набивать трубку.

ПОЧЕМУ Я ПИШУ КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ, КАК ЯКОБ МАРИЯ ГЕРМЕС И ГЕНРИХ КНЕХТ

Вот уже тридцать два года я пытаюсь дописать до конца историю, начало которой прочел тогда в «Листке новостей общины Бокельмунден», а обещанного продолжения так и не дождался, ибо этот скромный печатный орган по причинам, доподлинно мне не известным, но, надо полагать, политическим — шел 1933 год, — внезапно прекратил свое существование. Имя сочинителя этой истории неизгладимо врезалось мне в память, его звали Якоб Мария Гермес, и все эти тридцать два года я тщетно разыскивал, но так и не нашел каких-либо иных его творений; ни в одном литературном справочнике, ни в одном членском списке всевозможных авторских объединений, ни даже в уцелевшем до наших дней поименном регистре жителей общины Бокельмунден таковое имя не значится, так что, думаю, придется мне окончательно смириться с мыслью, что Якоб Мария Гермес — это псевдоним. Последним «распорядителем», то есть, по-сегодняшнему говоря, редактором, «Листка новостей общины Бокельмунден» был некто Фердинанд Шмиц, пенсионер, а в прошлом директор местной школы, но едва я сей факт обнаружил, меня сверх всякой меры отвлекли и задержали предвоенные, военные и послевоенные события, так что когда я в 1947 году наконец-то снова ступил на родную землю отечества, Фердинанд Шмиц только что мирно скончался в возрасте восьмидесяти восьми лет. Не стану скрывать — я явился незваным гостем на его похороны не только ради того, чтобы отдать последний долг человеку, под началом которого был опубликован, пусть лишь наполовину, лучший из коротких рассказов, читанных мною в жизни, и не только затем, чтобы от родных и близких покойного поподробнее разузнать о Якобе Марии Гермесе, — но и потому, что в 1947 году участие в сельском погребальном обряде наверняка сулило сытное угощение. Бокельмунден — очень славная и пригожая деревушка: старые деревья, тенистые склоны, добротные, еще на франкский манер, крестьянские дворы. В тот летний день посреди одного из таких прямоугольных дворов были накрыты столы с обильной мясной закуской из домашней копильни семейства Шмиц, подавали и пиво, и зелень, и овощи, а потом и кофе с пирожными — всем этим

потчевали гостей две милостивые официантки из местного трактирного заведения некоего Неллесена; церковный хор затянул обязательную на похоронах директора сельской школы песню «С достоинством и мудростью ты школой управлял». Звенели трубы, колыхались над головами флажки певческого ферейна (нелегально, разумеется, в ту пору подобные вольности еще были запрещены); когда шутки стали позабористей и у гостей, как принято это называть в таких случаях, отлегло от души, я начал подсаживаться ко всем подряд и как бы невзначай расспрашивать о редакторском наследии покойного. Ответы были единодушны и убийственны; то ли пять, то ли шесть, то ли семь картонок (лишь относительно их числа сообщения расходились), содержавших весь архив и всю корреспонденцию «Листка новостей общины Бокельмунден», в последние дни войны были сожжены «ввиду приближения неприятеля». Хоть и досыта наевшись и даже слегка под хмельком, но так ничего и не узнав о Якобе Марии Гермесе, я возвращался домой с тем чувством разочарования, которое ведомо всякому, кто хоть раз в жизни пробовал поймать одним сачком сразу двух бабочек, но накрыл лишь одну, гораздо менее ценную, тогда как другая, заветная, ослепительная красавица, коварно упорхнула.

Ничуть не впадая в уныние, я посвятил и последующие восемнадцать лет тому же, чему посвятил четырнадцать предыдущих: пытался дописать до конца лучшую из читанных мною коротких историй, но все мои старания были тщетны, тщетны по одной простой причине: я не мог открыть седьмой чемоданчик!

Тут, к сожалению, мне придется углубиться в еще более отдаленное прошлое: не тридцать два, а целых тридцать пять лет назад я выудил из «грошового ящика» букинистической лавки, что в кёльнском Старом городе, невзрачную брошюрку под названием «Тайна седьмого чемоданчика, или Как я сочиняю короткие рассказы». Удивительная эта публикация была скромна по объему, всего два печатных листа, автора звали Генрих Кнехт, и сам он счел нужным сообщить о себе лишь то, что «в настоящее время несет (недобровольную) службу в кирасирах, что стоят в Дойце». Вышла брошюрка в 1913 году в «издательском и печатном дворе Ульриха Неллесена, Кёльн, угол Тевтобургской и улицы Матернуса». Под выходными данными было помещено мелко

набранное примечание: «Там же можно застать и сочинителя в его (скупое отмеренное) свободное время».

Конечно, вряд ли можно было всерьез рассчитывать, что в 1930 году кто-то все еще «несет недобровольную службу в кирасирах» там же, где он нес ее в 1913 году, ибо хоть я и не знал (да и по сей день не знаю), кто такие кирасиры, но знал зато, что та часть нашей республики, где мне выпало жить, слава Богу, избавлена от военного присутствия (увы, не навсегда, как это в первый раз выяснилось пять, а во второй — двадцать пять лет спустя), но был все же крохотный шанс, что, может, хоть «издательский и печатный двор» на том углу уцелел, — я и по сей день испытываю странное чувство умиления, вспоминая себя, тринадцатилетнего мальчишку, который тут же вскакивает на велосипед и с западной окраины Кёльна мчится в Дойц, на южную окраину, чтобы обнаружить, что обе упомянутые улицы друг с другом не пересекаются и, следовательно, никакого угла не образуют. Я и сегодня восхищаюсь тогдашним моим упорством, которое заставило меня от северного входа в Парк Римлян, где оканчивалась застройка правой стороны улицы Матернуса, доехать до Тевтобургской, что уже на подступах к западному входу в тот же парк самым постыдным образом обрывалась (и поныне обрывается), оттуда — в контору транспортного бюро, где на вывешенном плане города, вооружившись карандашом и воровато озираясь, я продолжил правую сторону улицы Матернуса и левую Тевтобургской, дабы выяснить, что обе эти улицы, имея они общий угол, образовали бы его в водах Рейна, аккуратно на самой его середине. Получалось, что Генрих Кнехт, если он хоть сколько-нибудь честный малый, обитал где-то в пятидесяти метрах севернее прибрежного верстового столба, что отмечает 686-й километр от истоков Рейна, на самом дне, в воздушном колоколе под толщей рейнских вод, и, чтобы добраться до своей кирасирской казармы, ему приходилось каждое утро преодолевать целых два километра вплавь вниз по течению. *Сегодня*, кстати, я вовсе не исключаю, что он и в самом деле там жил, а может, и по сю пору живет — беглый кирасир цвета рейнской волны, с зеленой бородой, в окружении заботливых и нежных русалок, живет, ведать не ведая о том, что тут, наверху, для дезертиров по-прежнему нелегкие времена. Но *тогда* я был до того потрясен этой чудовищной мистификацией, что на последние десять пфеннигов ку-

пил себе первые в жизни три сигареты, и первая же пришлось мне по вкусу — с тех пор я и сделался заядлым курильщиком. Разумеется, о печатном дворе Неллесена тоже никто ничего не слышал. Отыскать же самого Кнехта я поначалу даже и не пытался — хотя, может, и стоило раздобыть лодку, отгresti на полсотни метров к северу от упомянутого верстового столба и, нырнув поглубже, ухватить этого Генриха Кнехта за его зеленый чуб. Тогда подобная мысль как-то не пришла мне в голову, а *сегодня*, боюсь, уже поздно: слишком много я с тех пор выкурил сигарет, чтобы на такой нырок отважиться, а все по вине Кнехта. Полагаю, не стоит особо упоминать, что сочинение Кнехта я уже вскоре знал наизусть, я носил его с собой и на себе, в мирные и в военные годы, но в войну оно у меня пропало вместе с солдатским вещмешком и всем его содержимым, куда входили также (заранее прошу пощады у всех воинствующих атеистов!) Новый Завет, томик стихов Тракля, половина рассказа Гермеса, четыре незаполненных бланка отпускных предписаний, две запасных солдатских книжки, ротная армейская печать, немного хлеба, немного смальца, пачка хорошего табака и папиросная бумага. Причина пропажи: приближение неприятеля.

Сегодня, обогащенный и, можно сказать, почти пресыщенный литературными познаниями и житейским опытом, я стал несколько прозорливей, чем прежде, и для меня не составило бы труда предположить, что Кнехт и Гермес наверняка друг о друге знали или — и это даже более вероятно — что оба эти имени всего лишь псевдонимы Фердинанда Шмица, ведь промелькнувшая в обоих случаях фамилия Неллесен запросто могла бы навести меня на эту догадку. Но эти суетные и даже нечестивые подозрения — всего лишь пагубные плоды навязанного мне образования, а прислушаться к ним — значит предать того милого, доверчивого мальчишку, что, взмокший, катит по летней жаре на велосипеде из одного конца Кёльна в другой, дабы отыскать угол двух улиц, которого нет. Лишь много позже, а по совести — только сейчас, когда я пишу эти строки, мне стало, вернее, становится ясно, что имена, любые имена — Кнехт, Гермес, Неллесен — это пустой звук, а важно лишь одно: кто-то, некто, действительно написал половину той истории, действительно написал и «Седьмой чемоданчик», так что если меня спросить, кто стоит у истоков моего творчества и под чьим влиянием это

творчество развивалось, то пожалуйста, вот имена: Якоб Мария Гермес и Генрих Кнехт. Историю, сочиненную Гермесом, я, к сожалению, дословно воспроизвести не могу. Могу лишь вкратце изложить, что там происходило. Главным действующим лицом была девятилетняя девочка, которую на школьном дворе под сенью раскидистых кленов некая очень милая монахиня, хотя малость не в своем уме, то ли уговорами, то ли хитростью, а может, и силой убеждает или даже принуждает вступить в таинственное братство, члены коего обязались по воскресеньям не один, а целых два раза присутствовать на святой мессе, да еще «с благоговением». Во всем рассказе было одно-единственное слабое место, которое мне — промахи собратьев по перу почему-то удерживаются в памяти лучше всего — запомнилось дословно: «Сестра Адехильда внезапно осознала нелепость своего бытия». Во-первых, я твердо убежден, что тут опечатка: вместо «нелепость» должно стоять совсем другое слово — «телесность» (мне, во всяком случае, стараниями редакторов, корректоров и наборщиков уже трижды переделывали «телесность» то в «нелепость», то в «небесность», а последний раз даже в «нелестность»); во-вторых, подобное сугубо абстрактное, даже метафизическое соображение начисто выпадает из конкретной, точной и строгой гермесовской прозы, сухой, как цветы бессмертника. Строкой раньше у него упоминается пятнышко школьного какао на голубой блузке девочки — так что, конечно, там было написано «телесность». Готов поклясться чем и на чем угодно — человек такого масштаба, как Якоб Мария Гермес, просто не мог считать существование монахинь «нелепостью», а уж монахиня, страдаемая странными психологическими комплексами по поводу целесообразности своего существования, — это и подавно, как говорится, не из его репертуара, тем более что на иссушенных, прямо-таки выжженных, как степь, пространствах его прозы уже тремя абзацами ниже маленькая девчушка вырастает в четырнадцатилетнюю барышню, не испытав при этом ни комплексов, ни внутренних конфликтов, ни душевных срывов, хотя в церковь по воскресным дням она иногда не ходила вовсе, а чаще всего ходила один раз и лишь в одно-единственное воскресенье сходила дважды. В наши дни не нужно даже быть в курсе современных церковных раздоров, достаточно просто каждый вечер смотреть телевизор, чтобы понять: два этих слова — «телесность» и «нелепость» —

применительно к монашескому существованию прямоком приведут нас в самое пекло новомодных теологических диспутов, откуда мы тут же пулей вылетим обратно, ибо одни святые отцы за употребление во внутреннем монологе монахини слова «нелепость» в адрес своего служения немедленно и яростно на нас ополчатся, другие же, напротив, с тем же пылом возьмут нас под защиту, и конечно же, в данном случае вовсе не нападки обвинителей, а как раз рвение непрошенных защитников доставило бы автору куда больше хлопот и неприятностей — пришлось бы объяснять, что его, автора, попутал опечаточный бес, предъявлять нотариально заверенный экземпляр рукописи, но никакие оправдания, никакие ссылки на типографских бесов тут бы не помогли, автора все равно обвинили бы в трусости и лжи, утверждая, что он «всадил нож в спину прогрессу».

Само собой понятно, что Гермес вовсе не имел намерений кому-либо или чему-либо всаживать нож в спину, равно как не горел желанием подставлять кому-либо или чему-либо свою собственную. Я же столь многим ему обязан, что готов хоть сейчас держать ответ за него и вместо него, смело подставив — и не спину, а открытую грудь — всем реакционерам и прогрессистам, ибо прекрасно осознаю: произведение, где фигурирует некое братство, члены которого обязались по воскресеньям не один, а целых два раза ходить к святой мессе, — такое произведение для обеих партий в высшей степени подозрительно.

Развязку этой истории я вынашиваю в себе вот уже тридцать два года, и то, что радует меня как современника, мешает мне как автору: я знаю (нет, я чувствую), что та женщина еще жива, и, наверное, именно поэтому седьмой чемоданчик никак не открывается.

Тут, полагаю, самое время и место наконец-то разъяснить, что это за седьмой чемоданчик, придуманный Кнехтом. Сперва, однако, мне придется наскоро уделить несколько слов другим, весьма многочисленным, произведениям, ни одно из которых, правда, не способно тягаться с кнехтовским, хотя многие, безусловно, заслуживают всяческого уважения. Речь вот о чем: у нас развелось столько пособий по написанию коротких рассказов, что я просто диву даюсь, почему удач в этом жанре в последнее время все меньше и меньше. Взять, к примеру, хотя бы пособия Карла Дорна, Эдуарда фон Гляйхена или Ганса Кибеля, в которых всякому новичку

просто и ясно, без лишних премудростей растолковано, как хорошо и складно сочинить такую историю, чтобы любому выпускающему редактору воскресных приложений она не доставила ни малейших неудобств, то есть объемом не более ста машинописных строк, иначе говоря — но это, разумеется, в переносном смысле — такую же компактную, как самый миниатюрный в мире транзисторный радиоприемник. Таких пособий очень много, во всяком случае, гораздо больше, чем я здесь упомянул, и, если верить тому, что в них говорится, достаточно их прочесть и *потом всего лишь только* (и в этих четырех пустячных словечках спрятана вся тайна рождения короткого рассказа) — и потом всего лишь только *записать*, если бы, да, если бы не самое последнее наставление Кнехта, которое гласит: «А уж из последнего, седьмого чемоданчика, живой и шустрый, как мышь, выскочит готовый рассказ, как только чемоданчик сам откроется». Это последнее наставление всегда напоминало мне о странном поверье, дошедшем до меня от одной из моих прабабок, — сдается мне, ее фамилия тоже была Неллесен, так что она, по-видимому, уже третья в этом союзе однофамильцев. «Брось, — так утверждала моя прабабка, — в картонку или ящик несколько черствых хлебных корок и немного старого тряпья, крепко-накрепко перевяжи веревкой, а потом не позже чем через полтора месяца открой — и оттуда повыскакивают живые мыши».

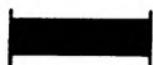
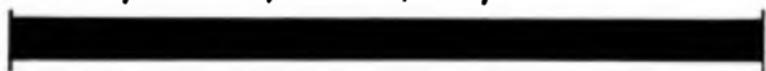
Так что мораль данного сочинения весьма проста: надо изучить брошюрку Кнехта, прочесть *половину* истории Якоба Марии Гермеса и иметь суеверную прабабку, а *потом всего лишь только* записать свой первый в жизни короткий рассказ. Конечно, потребуется еще немножко *материала*, но действительно немного, совсем чуть-чуть: девятилетняя девчушка с пятном школьного какао на голубой блузке, несколько монахинь, милых, но малость не в своем уме, несколько тенистых кленов вокруг школьного двора — и семь чемоданов. Однако, прежде чем пылкий читатель, одержимый идеей писать рассказы, кинется в магазин покупать чемоданы, спешу пояснить, что слово «чемодан», конечно же, не следует понимать буквально: седьмым «чемоданником», к примеру, вполне может послужить столь совершенный по форме предмет, как футляр электробритвы, или коробка из-под сигар, пустая сумочка под косметику для этого тоже сгодится; важно только — Кнехт считал это усло-

вие непременно, — чтобы каждый следующий «чемодан» был меньше предыдущего, потому что первый иногда бывает огромным, просто несусветной величины. И в самом деле, куда прикажете автору на первой стадии, которую Кнехт именовал «заготовочной», упихнуть вокзал или школу, мост через Рейн или целый квартал новостроек? Тут впору арендовать заброшенные фабричные склады, покуда — но на это иной раз уходят годы — от моста не останется только колер покраски, от школы — запахи, и все это автор уложит во второй чемодан, где у него, впрочем, вероятно, уже хранятся лошадь и грузовик, казарма и аббатство, от которых он, когда настанет черед третьего чемодана, возьмет только волосок из гривы и визг тормозов, эхо команд и рефрены литании, поскольку и в третьем чемодане дожидаются своего часа старое шерстяное одеяло и сигаретные «бычки», пустые бутылки и несколько ломбардных квитанций. Эти последние, очевидно, были излюбленными документами Кнехта, ибо я хорошо запомнил такую его фразу: «Зачем, собрат сочинитель, таскать с собою громоздкие предметы, когда есть учреждения, которые не только снимут с тебя заботу об их сохранности, но еще и дадут за это деньги, кои ты даже не обязан возвращать, если по истечении срока залога сам предмет тебе уже несколько не дорог? Так что пользуйся услугами учреждений, облегчающих нам хранение багажа». Об остальном рассказать и вовсе немудрено, ибо остальное гласит: и так далее. Конечно, — ибо я действительно хотел бы избежать любых недоразумений — пятый или шестой чемоданы вам сможет заменить любая компактная емкость — размером, скажем, с упаковку хозяйственных спичек, а седьмой — жестянка, в которой когда-то хранилось печенье, важно одно: седьмой чемоданчик обязательно надо запереть, пусть хотя бы перетянув его обыкновенной аптечной резинкой, а вот открыться он должен сам, без посторонней помощи. Остается еще один вопрос, который, полагаю, не дает покоя доверчивому читателю: как быть с живыми людьми, ежели таковые для короткой истории все же понадобятся? Их ведь нельзя ни запереть — да еще, чего доброго, лет на двадцать, ибо порой именно столько, а то и больше времени рассказ, хороший рассказ вылеживается в седьмом чемоданчике, дожидаясь своего пробуждения, — итак, живых людей нельзя ни запереть, ни сдать в ломбард. Так как же с ними быть? Ответ: а они сами, живьем, и не нужны,

можно ведь выдернуть у них волосок или вытянуть шнурок из ботинка или, к примеру, оставить след их губной помады на листке папиросной бумаги,— этого достаточно, ибо — и тут я вновь вынужден настоятельно сослаться на свою прабабку по фамилии Неллесен: не надо запихивать в картонку или ящик живую жизнь, жизнь сама должна там возникнуть и сама оттуда выскочить. И так далее — ну, а уж *потом всего лишь только* все это записать.

1966

ЭССЕ, РЕЧИ, ЛЕКЦИИ, ИНТЕРВЬЮ



**ESSAYS, VORLESUNGEN, REDEN,
INTERVIEW**

© Перевод. Бунин Н., Вильмонт Е.,
Городинский И., Каган Г., [Ка-
рельский А.], Михелевич Е.,
Фридланд С. 1996 г.

О БАЛЬЗАКЕ

Когда французский писатель Леон Блуа писал рекомендации к карикатурам на знаменитых французов для своего друга художника де Гру, то рядом с именем Бальзака он написал: «Глаз, ничего, кроме глаза». И в самом деле, глаза — самое прекрасное в физиономии Бальзака, большие, темные, сверкающие глаза, так пристально вглядывавшиеся в современность. И этот его жест на знаменитой фотографии, когда он маленькой, немного неловкой рукой хватается за сердце, — только его жест, достойное творца отсутствие предрассудков сквозит в этом жесте, словно он хочет нас заверить: я невиновен.

Книг больше, чем прожитых лет, образов больше, чем у Шекспира, и все как бы походя — неоценимый материал для социологических сравнений. Когда я читаю, что скромный, «по-монастырски простой» завтрак поистине благочестивых людей во время поста был следующим: камбала под белым соусом с картофелем, салат и четыре вазы с фруктами: персики, виноград, клубника и зеленый миндаль; на закуску — сотовый мед, масло, редиска, огурцы и сардины, — я всегда задаюсь вопросом: что, за это время укрепились мораль поста или же оскудело наше меню? Хозяин и администрация, жилищное дело и благотворительная деятельность, жизнь мелкого или крупного торговца, мелкого или крупного банкира, жизнь в деревне, в маленьком городке и, разумеется, в Париже; бесчисленные или, лучше сказать, все социальные сферы; печатники и издатели, уголовники и правоведы; точный социологический анализ проституции, журналистики и сцены — и все это как бы походя, ибо в центре стоят образы, ни один из которых нельзя назвать второстепенным. У каждого изображаемого круга — свой жаргон: у крестьян и куртизанок, юристов

и журналистов, преступников и полицейских, и — опять-таки походя — целая философия тайной полиции, представленная в образах Корантена, папаши Перада, Биби-Люпена; философия денег, расточительства, бережливости и алчности: два миллиона франков барона Нусингена за одну-единственную ночь любви и папаша Гранде, семнадцатикратный миллионер, по-крестьянски хитрый, который жалуется на перерасход сахара и чуть не до смерти доводит свою дочь из-за шести тысяч франков (ей же и принадлежащих). История старьевщичества в «Сельском священнике», где не только затронуты, но и показаны и прогресс и традиции, да вдобавок еще звучит тема помощи развивающимся предприятиям.

Непостижимое богатство, непостижимая страсть в больших сверкающих глазах — и трагедия этой маленькой, почти неловкой руки, так мало ухватившей от этой жизни, от этого мира и ничего почти не удержавшей. Даже если бы он начал в шестнадцать лет, то на каждый год жизни приходится по две книги, и все они поразительно разные, но никогда не скучные. Да, да, он был склонен разбрасываться, уносился в своих вымыслах так далеко, что порой и сам не знал, как связать концы с концами; у него чересчур много слезливых девок, раскаявшихся воров, чересчур много герцогинь, мечтательных газетчиков, но зато как крепости высятся «Евгения Гранде», «Алхимик», «Отец Горио», «Утраченные иллюзии» и «Блеск и нищета куртизанок», «Кузина Бетта», «Кузен Понс» — хотелось бы перечислить почти все, ибо у него даже то, что кажется не совсем удачным, великолепно. Достаточно вспомнить хотя бы мелкого проходимца Бридо из «Жизни холостяка», который «передал сообщение Наполеону при Монтеро» и всю свою пропащую жизнь тянул со своей семьи моральную и финансовую ренту за эту хвастливую болтовню, и тогда слабости «Беатрисы» кажутся мне столь же несущественными, как и длинноты «Сельского священника». А если «Contes Drôlatiques»¹ кому-то покажутся слишком грубыми, тот пусть раскроет книгу мистики. «Публичные женщины, взявшись за перо, упражняются в хорошем слого и возвышенных чувствах, ну а знатные дамы, что всю свою жизнь упражняются в хорошем слого и возвышенных чувствах, пишут точь-в-точь так, как девки действуют». Это говорит король каторжников

¹ «Озорные рассказы» (фр.).

Коллен (Вотрен и аббат Карлос Эррера одновременно) королю правосудия генеральному прокурору Гранвилю.

Я рад признать: вот уже и наши дети открыли для себя Бальзака, и то и дело я нахожу среди школьных учебников, на ночных столиках и возле подушек красивые томики издательства «Ровольт». А недавно кто-то из них спросил: «А где «Блеск и нищета куртизанок»?» Мы слегка всполошились, но потом вспомнили, что в таком случае нам следовало бы прятать от детей даже ежедневные газеты: гомосексуалист, бывший священник, обвиняется в убийстве проституирующего мальчика; и поучительные статистические данные о кельнском преступном мире, что может похвастаться шестью тысячами представительниц той профессии, которой занимались и Торпиль, и госпожа дю Валь-Нобль. В конце концов, я тоже начал читать Бальзака лет в шестнадцать — семнадцать, карманное издание «Ровольт» в холщовом переплете цвета песка, и мне не было еще шестнадцати, когда я прочел «Преступление и наказание» Достоевского.

Безопасные книги — вообще не книги: интенсивная чувственность Мориака, пусть даже насыщенная благочестием, например в «Прокаженном и святой», представляется мне более опасной, нежели «Блеск и нищета куртизанок». Аромат пиний, лето, красивые француженки, пусть даже с молитвенниками в руках: кто же поймет страдания мальчика? А разве ребенок может понять то, чего еще не знает? Я не могу решиться убрать с полки «Блеск и нищету куртизанок», но вот «Contes Drôlatiques»... они не лучшее творение Бальзака, ибо он был широк, он был непостижим, но Рабле он не был.

1964

ФРАНКФУРТСКИЕ ЛЕКЦИИ

I

В отведенные мне часы я попытаюсь на примере отдельных книг, тем и идей изложить эстетику гуманного: речь пойдет о жилье, соседстве и родине, о деньгах и любви, о религии и пище. Я мыслю себе это так: каждый раз на основе одной-двух книг я выдвигаю исходный тезис, а на последующем семинаре мы его обсуждаем

и разворачиваем. Начать я хотел бы, однако, с некоторых предпосылок — как общелитературного, так и сугубо личного свойства, причем об этих последних я просил бы постоянно помнить и в процессе наших семинарских бесед. О себе скажу лишь следующее: хоть я пишу один на один с листом белой бумаги, набором очиненных карандашей и пишущей машинкой, я никогда не чувствую себя одиночкой; напротив, я всегда ощущаю свою связанность с другими, свою сопричастность — сопричастность времени и современникам, всему тому, что было пережито, испытано, видно и слышано моим поколением и что в плане автобиографическом редко и лишь в самой приблизительной степени бывает настолько характерным, чтобы для него нашлись точные слова; сопричастность беспокойству и бесприютности поколения, которое, уже дожив до дедовских седин, вдруг обнаружило, что оно — как это там говорится? — выросло, а ума не вынесло. Что прикажете делать с такими дедами, куда их девать — в психиатрическую лечебницу или в крематорий? В каждом взгляде читаешь мысль об убийстве: лучше б ты умер или был убит. Слишком много убийц открыто и нагло разгуливают по этой стране, и никто не докажет, что они убийцы. Вина, раскаяние, покаяние, прозрение так и не стали категориями общественными, уж тем более — политическими. На этом фоне образовалось и существует нечто, что сейчас — через двадцать лет и с некоторыми оговорками — можно назвать послевоенной немецкой литературой.

Итак, я сопричастен времени и современникам, но союзников у меня нет; есть, конечно, круг близких друзей, есть круг читателей, но союза они не заменяют. Для каждого публикующегося союзник лишь тот, кто, подобно ему, находится на виду у публики. А это очень уязвимая позиция, знакомая всем, кто говорил здесь до меня и будет говорить после меня. Запомним это — чтобы хоть приблизительно стало ясно, в каком качестве мы, писатели, стоим здесь перед вами. Конечно, мы не только уязвимы — при случае мы и сами можем уязвить; но в ответ на каждую стрелу, случайно попавшую в цель, на каждый камень, невзначай задевший висок Голиафа, раздастся залп из сотни, тысячи дробовиков, а дробь, как известно, разит без промаха, и тут-то обнаруживается, что ни у тебя, ни у кого другого союзников нет.

Вы видите, я говорю так, как только и могу говорить: высказываю точку зрения сугубо личную, но не субъек-

тивную; иными словами, быть сопричастным еще не значит быть пристрастным, быть зависимым еще не значит быть поработанным. Наверное, я выражаюсь слишком сложно, но поверьте, проще не скажешь. Я говорю с вами как человек зависимый, но не поймите это как излишнюю скромность, скорее наоборот; просто я не верю в абсолютную независимость, в полную непричастность. Конечно же, существуют клики, кружки, объединения, группировки; но так ли уж трудно представить себе человека, связанного с другими и в то же время не представляющего ничьих интересов — или не рассчитывающего на чей-либо интерес? По-английски «interests» означает также «проценты» — это ближе к сути дела. Как только литература отправляется в общество — или просто ненароком попадает в него, — она сразу становится объектом интересов, даже если это интересы лишь уязвленных либо всего лишь прикидывающихся уязвленными.

В обозначении темы своих лекций я намеренно избежал слова «общество». Оно сейчас стало весьма употребительным, отнюдь не став от этого всем понятным; оно вошло в моду, и его затаскивают прежде, чем начинают понимать. Иное со словами «социальный», «гуманный»; их в нашем обществе избегают, замалчивают, выставляют на посмешище; они признак дурного тона, они асоциальны, если предстают без довеска или без прикрытия — научного прикрытия, каким обладают слова «социология» и «гуманизм», политического прикрытия, каким располагает слово «социализм». А когда кто-нибудь из нас, преступив рамки дозволенной и сверху донизу организованной благотворительности, станет искать и, чего доброго, обнаружит *вне* этих рамок какую-либо гуманную взаимосвязь религиозного и социального, я несколько не удивлюсь, если церковь немедля заключит союз с любым атеистическим обществом, дабы уничтожить человека или группу людей, которые в простодушном уповании на одну лишь волю Господню дерзнули отправиться в сферу не общественного, а гуманного. Может быть, я и преувеличиваю, но скудость моей фантазии замыкает это преувеличение в рамках возможного. Уже были попытки таких исканий, и некоторые даже воплотились в жизнь — потому что получили дозволение, потому что организовались по первому требованию. Знаменательно, что в нашей стране, классической стране фрейнов, уже не создаются фрейны, их заменили об-

щества, которые лишь по необходимости, т. е. из юридических соображений, стыдливо называют себя «зарегистрированными фереями» и автоматически отправляют никому не нужные ритуалы. Эта тяга к общественности лежит также в основе многочисленных заседаний, встреч, дискуссий, публичных и неофициальных, на которые залучаются дежурные ораторы, придающие программе должный блеск. Я не собираюсь высмеивать эту тягу к общественности, я уважаю надежды, возлагаемые на подобные собрания. Удивительно только, что все эти общества, будь то выпускники ремесленных училищ или слушатели курсов для судебных исполнителей, жаждут вовсе не лести, одобрения или поощрения; нет, они ожидают чего-нибудь задиристого, скандального, общественно-критического, жаждут обличений и разоблачений, я бы сказал даже — о ком бы ни шла речь: о самоуверенных промышленниках или о служителях клира, — жаждут оплеух, и с тех пор, как я это понял, у меня пропала охота раздавать оплеухи даже и понарошку.

Своеобразие таких устроений состоит еще и в том, что собственно общественная часть разыгрывается вне рамок официальной программы — во время обеда, за вечерним коктейлем; тут все на удивление самораскрываются, обмениваются доверительными признаниями; как только речь спустится с ходулей публичного тщеславия и обретет раскованность, настает черед оговорок — «да я вовсе не то имел в виду»; все перемешивается, на стиль уже наплевать, и оказывается, что есть язык публичный и язык интимного общения, что каждая вторая фраза требует наводящего вопроса: «А что вы имеете в виду?» — и ты, не успев оглянуться, уже увязаешь в дебрях дефиниций, почерпнутых из неведомо каких глубин, и тут становится ясно, в какую непроглядную темень забрел в ходе своей истории наш язык. Тут-то и обнаруживается в полной мере катастрофическая ущербность нашего образования. Повторю еще раз: я не собираюсь высмеивать эту тягу к общественности, тем более клеймить ее; в ней выражается жажда сопричастности. Нашего общего словарного запаса едва хватает на час, его недостаточно даже для самого обыденного разговора, например, о школах, — на втором часу такой разговор превращается в утомительную болтовню. Нет также и ритуала вежливости, который выручал бы больше чем на час. Языка у нас в запасе немало — при желании было бы немало, — но где у нас язык гуманности, со-

циальности, сопричастности, да еще и отвечающий требованиям хотя бы самой скромной эстетики? А ведь любой автор — пусть он и написал-то всего страницы три мало-мальски пригодной для публикации прозы — предполагает в своих читателях хотя бы самую скромную эстетическую восприимчивость — возьмем наименее скромнейшую: способность подходить с разными мерками к роману и к редакционной статье иллюстрированного журнала.

Я исхожу из убеждения, что человека делают человеком язык, любовь, сопричастность; это они связуют его с самим собой, с другими людьми, с Богом — монолог, диалог, молитва. В мои цели не входит исследование того, какие формы эстетика гуманности могла бы принять в устной речи — в лексиконе политика, продавца, учителя, супругов, профессора, босса — и, разумеется, их собеседников; без участия собеседника вырабатывается обычно только словарь узурпаторов, словарь сильных и всегда правых, — он создается на основе заведомого представления о собеседнике или усваивается в процессе долбежки. Чем неограниченной властью, тем бессодержательней словарь — слов много, а смысла нет; не хочу называть это фразерством — ведь фразу отличает стилистическая красота, образцовость, если угодно, даже и манерность, фраза всегда есть инструмент языковой вежливости; она предполагает знание условностей, она почти как танцевальное па; наш язык еще не научился этой вежливости, с помощью которой так удобно выражать и уважение, и пренебрежение. Тут есть над чем задуматься философам и социологам.

Возможно, кое-какие манеры проникают в наш язык благодаря переводам, пусть подчас и несколько манерным. Мы поистине провинциальны, когда усматриваем в так называемом море переводной литературы угрозу немецкому языку; всякий перевод, даже перевод детективного романа, обогащает родной язык, он оживляет лексические пласты, в родном языке почти вымершие, никогда не существовавшие либо уже не существующие. При переводе одного рассказа, в котором наряду со всем прочим речь шла о нью-йоркском башмачнике, мы с женой вдруг поняли, что забыли многие слова, которые еще тридцать лет назад, в детстве, когда мы носили сапожнику башмаки в починку, были для нас само собой разумеющимися. С неимоверно быстрым развитием механизации исчезают целые группы ремесел, а с ними их сло-

варь, наименования их орудий труда, их платьев, их песен. Сравнить, собирать — для филологов тут работы непочатый край. Политику тоже делают слова — приглядывайтесь к ним, собирайте, сравнивайте. Сейчас слишком увлекаются анализом содержания, я еще буду об этом говорить. Содержание романа или рассказа — это всего лишь условие, оно дается, можно сказать, даром; дареному коню не стоит смотреть в зубы. Собирайте слова, изучайте синтаксис, исследуйте ритмику — вот тогда и станет ясно, каков ритм, каков синтаксис, каков словарь у гуманного и социального в нашей стране. Уже одно выражение «пакет социальных мероприятий» могло бы стать предметом филологической диссертации. Нам нельзя разбрасываться словами, нельзя терять ни единого — их у нас не так уж и много. Культурному государству — не смущаюсь этим эпитетом — надо было бы сейчас спешить спасти то, что еще можно спасти. Не бог весть какая зажиточная страна Ирландия уже несколько десятилетий имеет правительственные комиссии, созданные специально для этой цели, и они осуществляют работу под стать той, что проделали братья Grimm. Правда, Ирландия — страна поэтов, ее первым президентом был Дуглас Хайд, языковед; и он был — в этой почти сплошь католической стране — протестант.

Неприятнь немцев ко всему провинциальному, будничному — а оно-то и есть собственно социальное и гуманное — сама насквозь провинциальна. Провинции становятся литературными центрами мирового значения, когда обретают язык, — достаточно вспомнить Дублин и Прагу. Мы теряем слишком много слов, разбрасываемся ими; мир для нас — это всегда «большой мир», «большой мир» — это великие мира сего, а великим мира сего не хватает величия; политики не умеют говорить либо говорят впустую. Идет своего рода распродажа — заручись языкознание финансовой поддержкой от государства, оно могло бы скупать слова по дешевке — собирать их, сортировать. Это всего лишь случайные мои соображения, размышления по поводу; может быть, я с ними уже опоздал и в них нет нужды — я не знаю, что у вас тут делается, что уже сделано.

Словарь великих мира сего так же бессодержателен, как и словарь политиков. По меркам эстетики устной речи какой-нибудь башмачник или рыночная торговка оказались бы, наверное, королем и королевой в сравне-

нии с пустыми и скучными словами из запаса великих мира сего. Меня часто — и несколько пренебрежительно — называли писателем маленьких людей; я должен сознаться, что всегда воспринимал такие оговорки как комплимент. Может, я и вправду до сих пор только в маленьких людях находил величие?

Едва ли это простая случайность, что у нас нет книг для детей, для юношества, нет детективных романов, — в нашей стране, где преступность отнюдь не меньше, чем в тех странах, с чьих языков мы переводим детективные романы. Похоже, что у нас нет ни доверительного языка, ни сфер жизни, располагающих к доверию; нет доверительных отношений ни с обществом, ни с миром, ни с окружающей средой. И если редко кто из здешних писателей соглашается служить украшением общества, к которому он не принадлежит, — это тоже не случайность и уж тем более не огорчительная — это, по-моему, хороший признак. Писателю не место в обществе, которое свое достоинство мерит — или вынуждено мерить — потреблением, в обществе, лишенном стиля, демонстрирующем не манерность даже, а голый снобизм. Если кто-то в таком обществе публикуется, это еще не значит, что он выражает публичные интересы. Надеюсь, мне не надо здесь вдаваться в объяснение понятия «выразитель публичных интересов». Немцы — без всяких общественных различий — взыскуют сопричастности, доверительности, а находят только общество, компанию; не случайно они — и об этом я тоже еще буду говорить — так много путешествуют, ищут гуманное и социальное в других местах, дивятся будням других стран.

На современную литературу возложена ответственность, которая ей не по плечу. Бессодержательная, пустословная политика, пустословное общество, беспомощная церковь, ищущая социального воздействия и все более робко настаивающая на обязательности своей морали, ищущая для себя научного алиби, которое ей не к лицу, тоже грешащая пустословием, — а иной раз пользуясь, подобно обществу и его политикам, ханжеским лексиконом доносчиков, — все это, как я уже сказал, возлагает на литературу бремя ответственности: ей навязывают эротические, сексуальные, религиозные и социальные проблемы, трактовку которых ей же потом вменяют в вину. Где политика пасует или терпит явное поражение, там сразу не от кого иного, как от писателя, требуют слова, решительного слова, — стоит только

вспомнить об истерических попытках выжать из писателей протесты против сооружения берлинской стены. От нас ждут как можно доходчивей выраженной формулы, которую политики могли бы использовать в своих склоках. Это не случайность — и не всегда злорадство и цинизм, — что писателей вынуждают к высказываниям по политическим, социальным, религиозным вопросам. Это большая — я бы сказал, слишком большая, — честь и в то же время уж слишком непомерное требование: найти в джунглях дефиниций прямое, доходчивое слово. Спрашивают не ученых, не политиков, не священнослужителей — нет, именно писатели должны высказать то, чего другие явно не хотят высказывать: что потерянное потеряно навсегда, что остается разве что объявить вознаграждение нашедшему. Именно писатели должны назвать пропажи своими именами. Политики виляют, церковники в обществе ведут себя с умом — неумного, истинного слова ждут от писателя, а стоит ему его произнести, как машина демагогии взывает подобно сирене воздушной тревоги. Еще бы! Это сигнал опасности — когда произносится слово, выходящее за рамки пустой банальности ходовых публичных формул.

Как более или менее осознанное подтверждение этой ситуации я объясняю для себя появление литературы, которая с непревзойденным совершенством выражает ничего не говорящую пустоту, освобождает человека от всякой гуманности, сопричастности, социальности и с помощью ничего не говорящих слов ставит его в ничего не говорящее окружение; хранить речь внутри себя самой, не давать вырваться наружу ни единому звуку, ни единому слову, ни единому сигналу тревоги; оставаться внутри, в замкнутом кругу — ни единого жеста вовне, лишь биение собственного ритма. Но даже и великим глашатаям поэтического одиночества — Георге, Бенну, Юнгеру — не удалось избежать общества; публика их нашла, и не ирония, а трагедия видится мне в том, что и Музиля она настигла. Написанное, а тем более напечатанное слово в тот самый момент, когда его пишут или печатают, становится социальным фактом, оно существует — независимо от того, ищет или не ищет писатель путей к обществу, к публике, к переделке мира. Жреческое культивирование искусства в тех формах, в каких его осуществляли великие глашатаи одиночества, всегда оборачивалось, пусть и самую малость, конфузом: где начинают стилизовать и священнодейство-

вать, там в священное ремесло неминуемо прокрадывается ремесленничество, там возникает нечто убийственно дилетантское, своего рода художественный промысел; где отрицают общество на языке элиты, там оно воцаряется прочнее всего: возникает атмосфера интимности, приватности, избранности — и меценатства, сопутствующего таким кружкам и распределяющего в них венки.

Кружок и венок — их роднит закрытость, замкнутость; культовые замашки проникают в сферы, для культа менее всего пригодные. Такая претенциозная требовательность свойственна только ремеслам и промыслам; вкус, со вкусом, тонкий вкус и прочее — это все лексикон посвященных жрецов, заимствующих свою терминологию из области кулинарии; и очень скоро посвященные, с грехом пополам подражая тому, что поначалу, быть может, и впрямь было великим, превращают его в моду. Да, конечно, литературе нужны не только читатели, но и истолкователи, она предполагает и публичность, и сопричастность, — но таинство посвящения не входит в ее устав. Даже для Кафки, величайшего из всех, не требуется посвящения — как бы ни пытались интимные кружки им завладеть. Церковь тоже освящается — но посредством этого ритуала ее не закрывают, а открывают, причем для всех. В кружки принимают, из них изгоняют — так возникают понятия «смутьян», «отщепенец». Я давал читать Кафку и Фолкнера своим детям, женщине, помогавшей нам по дому, — и делал это не из самонадеянной претензии, что искусство принадлежит народу, а из уважения к Фолкнеру и Кафке; я не считаю, что они писали для посвященных. А понятие «труднодоступный» относительно — сказки братьев Гримм тоже трудны для понимания; писатель не ограничивает круга своих читателей, и он делает это не из скромности, а из высокомерия. Ограничения налагаются лишь кругом, в который ты себя заключил.

Я высказываю здесь эти соображения, чтобы уяснить для себя, куда, в какое общество отправляются наши письма, как только они становятся социальным фактом, — с какими силами приходится иметь дело автору, когда он не прикрывается щитом «Только для посвященных», а глаголет в самозабвенной незащитности, — когда он переступает круг. И в последнее время меня нет-нет да и осенит прозрение. Тогда наискромнейшее условие — что произведение повествовательной прозы

требует иного инструментария анализа, чем редакционная статья в бульварном листке,— и оно кажется мне еще слишком нескромным. Если я далее поделюсь с вами некоторым опытом, накопленным мною в качестве объекта критики, то это будет лишь такой опыт, который может претендовать на общезначимость, который легко отделяется от объекта. Для начала — всем известный пример.

Если в радиопьесе или в романе трубочист падает с крыши — *должен упасть* из композиционных, драматургических, т. е. эстетических, надобностей,— сразу поступают жалобы от соответствующего профсоюза: трубочисты нынче с крыш не падают. Протесты, обиды, волнения дальше этого не идут, и можно, стало быть, не обращать на них внимания; в обязанности автора не входит давать профсоюзу трубочистов общий обзор европейской эстетики от Аристотеля до Брехта. Отсутствуют минимальные предпосылки взаимопонимания — а они были бы необходимы, даже и в том случае, если автору по какой-либо причине вздумалось бы позлорадствовать над сорвавшимся с крыши трубочистом. Писатель не может в придачу к роману давать еще и эти предпосылки: трубочисты как таковые ему глубоко безразличны. Он никогда полностью не соответствует этикетке, которую на него иной раз и наклеивают: трубочист, марксист, католик, правительственный советник и т. д., — будь он даже на самом деле католически-марксистским правительственным советником, однажды потехи ради сдавшим экзамен на трубочиста. Чем бы он ни был помимо того, что он писатель, это все *помимо*, и его сопричастность лишь тогда сопричастность, когда она по меньшей мере семикратна; он может даже и стремиться найти своего рода середину, но люди внешнего мира — трубочисты, марксисты, католики, правительственные советники и т. д.— при слове «середина» думают сразу о центре круга, т. е. о круглом и, стало быть, эстетически непригодном; но середина, центр есть и у треугольника, и у девятиугольника, и у пятидесятиугольника. У писателя могут быть тысячи настоятельных причин для того, чтобы столкнуть именно этого трубочиста с крыши. К примеру, автору известно, что в сточном желобе вот уже двадцать лет как застрял красивый игрушечный стеклянный шарик, дожидаящийся человеческого общества, и его-то, цепляясь за желоб, должен обнаружить трубочист, пока пожарная команда

стремглав несется ему на помощь. Или автору важно, чтобы трубочист вот таким окольным путем — сначала сорвавшись, потом держась за желоб, потом ухитрившись поставить ногу на подоконник — очутился в комнате, где лежит, хворая, или корпит над книгой юная особа, сгорающая от любви к нему. А может статья, ему, автору, нужен в данный момент тот шорох, который создается кедами, когда они скользят по черепице, — именно такой шорох. Ему, может быть, важно, чтобы сверзшийся бедолага качался в воздухе, цепляясь за желоб, медленно отрывающийся от стены; скажем, автор задумал изобразить человека, парящего между небом и землей, чтобы обосновать таким образом последующий внутренний монолог или лирическое отступление. Все сплошь уважительные причины, равно безобидные и грубо расчетливые, причины, которые могут быть столь же абстрактными, сколь и гуманными, столь же глупыми, сколь и бесчеловечными.

Короче говоря: партии, заинтересованные круги, церковные инстанции почти всегда ищут авторский замысел и умысел не там, где надо: их не интересуют стеклянные игрушки, сгорающие от любви юные дамы или уж тем более возможность того, что незадачливый верхолаз окажется переодетым Казановой или Дон Жуаном, из чего опять-таки вытекают две совершенно разные эстетические перспективы, — все это их не интересует. Это как с авиакомпаниями: они не любят, когда в романах разбиваются самолеты, и сразу подозревают, что автор нанят железнодорожной компанией или подкуплен велосипедной промышленностью. Больше об этих уязвленностях, обидах, протестах и говорить не стоит. Конечно же, у такого автора есть свои планы: может быть, он, приводя желоб в колебательное движение, хочет угодить стеклянным шариком — как из рогатки — в каску жандарма, находящегося в пятистах метрах; возможно, его интересует чисто физический эффект — он хочет испробовать, сможет ли запущенный таким образом шарик пробить картон, стекло, а глядишь, и металл; у него на уме баллистика — а ему приписывают политику, нанесение ущерба. Что об этом говорить! Я только пытаюсь наметить разные аспекты эстетики социального — или религиозного, или эротического; может, конечно, случиться и так, что у автора не свяжутся баллистика с эстетикой и шарик угодит не просто в совсем другую цель, а и в глаз, трубочист же слишком рано ступит на

подоконник, когда юная особа, еще в неглиже, будет проверять в зеркале белизну своей кожи и блеск зрачков.

С возрастом подтверждается одно мое подозрение, над которым я до сих пор в постоянной спешке никогда по-настоящему не задумывался: что читатель — причем я имею в виду также и критика, которого я мыслю себе читателем, умеющим систематизировать наблюдения и формулировать мысли, — жаждет докопаться *до всего*; что он не успокоится, пока не узнает, что писатель *имел в виду*. Вот так и возникают упомянутые дебри дефиниций — и без того темные, но еще пуще затемняемые обидами, раздражениями, протестами и прочими благоглупостями.

Публика явно считает, что мы зарываемся, когда предполагаем у нее знание минимума: чтобы читатель различал избранную автором повествовательную перспективу, принимал его правила игры — внутри же этих правил, конечно, находил закономерности. Короче говоря: даже в более или менее реалистическом романе есть свой потаенный демонизм, способный не одного читателя и критика превратить в произвольного комика, — если те не сумеют распознать намеренного, чисто профессионального комизма предлагаемой повествовательной перспективы. Или скажем по-другому: когда в радиопьесе трубочист свалится с крыши и наивной сердобольной радиослушательнице взбредет в голову вызвать «скорую помощь» и направить ее — куда? — ну, скажем, в студию радиовещания, это будет с эстетической точки зрения реакция более корректная, чем у председателя профсоюза трубочистов, когда он начнет названивать сначала руководителю передачи, а потом представителю трудовых сословий в совете по радиовещанию и выражать решительный протест. Повторю еще раз: в последнее время меня иногда будто осеняет — неужели так уж невозможно предположить, что что-то может быть одновременно и легким и серьезным или как в музыке — серьезным и задорным; что задор — это не глупая ухмылка, что юмор и сатира — это разные понятия, что сатира никогда не бывает издевкой? Не дело автора создавать предпосылки — это дело тех, кто на том же языке, что и он, анализирует им написанное, — уча и участь, интерпретируя и критикуя, короче говоря: создавая предпосылки.

В этом городе Теодором Адорно были сказаны великие слова: после Освенцима уже нельзя писать стихи.

Я хочу продолжить его мысль: после Освенцима уже нельзя дышать, есть, любить, читать; кто сделал первый вдох, кто всего лишь закурил сигарету, тот сознательно решил выжить — читать, писать, есть, любить. И я тоже говорю с вами как один из тех, кто решил выжить, — кто рассчитывал найти гораздо больше привычной среды, языковой среды, чем, очевидно, следовало рассчитывать. С вами говорит человек, который любит читать и писать, женат, выкурил немало сигарет; человек, продливший свое пребывание на этой земле, но не уверенный в том, много ли чего останется после него. Он, как и вы, живет теперь вместе с бомбой, она у каждого из нас в кармане, рядом со спичками и сигаретами, и время приобрело с ней новое измерение, почти исключаящее длительность. Все теперь стало серьезным и легким, ничто не рассчитывает сохраниться, тем более пустить корни, тем более стать монументом со свинцовым основанием; утраченная родина, утраченные связи, странно чужой пейзаж — я еще вернусь к этому на одной из следующих лекций, ибо, как я полагаю, гуманность, социальность, сопричастность невозможны без родины, само слово «родина» включает в себя понятия соседства и доверия; без всего этого даже первичная ячейка общества — семья — превращается лишь в полную ядовитой враждебности цитадель, в узкий круг, кружок, исключаящий и отторгающий непосвященных. Узкие круги, кружки, закрытые общества, тайные союзы — это все явления, характерные для тоталитарного общества; они самым роковым образом напоминают мне первые годы после захвата власти фашистами: тогда тоже появились кружки, группировки, все приватно, тайно, а конспирация чаще всего была дилетантская — многие ли имели опыт обращения и обихода со шпиками и секретными службами? Шпикам и провокаторам было раздолье: начались аресты, допросы — даже если ты, без всякой организации, всего лишь поиграл в футбол с мальчишками во дворе. Иной раз дело кончалось плохо, иной раз ограничивалось предупреждением — у диктатуры случались свои накладки.

А что сегодня? Монолитная власть науки, тайные ложи, которые уже не прикрываются вывесками институтов, университетов, издательств, группировок, радиостанций, а формируются вокруг них, внутри них; сплошь разрозненные, сугубо тактические подразделения без всякой стратегии — или она осуществляется втайне?

И вот литература, всегда выступающая с открытым забралом, оказывается в самой гуще, в мешанине тактических подразделений. В открытости своей она становится предметом всеобщего внимания, на нее возлагают надежды, совершенно неоправданные: она не может заменить собой религию и общество. Тут неизбежны самые противоестественные смещения и смещения фронтов — ибо бессмысленно заключать дружбу или питать вражду над бездной недоразумений.

Дело не в том — и чем дальше, тем меньше оно будет в том, чтобы подлавливать писателя, избравшего религиозную тему (предмет веры, а не знания), на каких-либо ошибках и прегрешениях, — говорю это не *pro do-¹*, а скорее *pro ecclesia*² и совершенно бескорыстно. Что я имею в виду? В нашей стране господствуют странные представления о реализме: как будто слово — это что-то плоское и расхожее, как пятак, в то время как любой ребенок самое позднее в свой первый школьный день узнает, что язык — это вовсе не досконально знакомая и привычная область и что даже Божье слово не следует воспринимать буквально; ни одно из слов, с помощью которых делается политика, изъясняется наука, провозглашается вера, не похоже на плоскую и расхожую монету, пригодную для любого автомата. Все, что мы пишем, подвергается опасности быть изувеченным, расплюснутым с целью сделать слова округлыми и расхожими — ибо все печатается массовым тиражом и для массового потребления; за последние десять лет в нашей стране куплены миллионы карманных изданий. Почти вся современная литература стала в результате массовой — в том числе и литература для посвященных. Книжка в каждом кармане, почти задаром, по цене ниже самого низкого почасового тарифа; даже за рецепт в больничную кассу человек как-никак платит пятьдесят пфеннигов налога — в восемь раз больше, чем авторский гонорар за один экземпляр книжки в карманном издании. Массовая литература нуждается в массовом посреднике, который формулировал бы эстетические предпосылки; университеты тоже массовые учреждения, и их массовость еще будет возрастать. Как писателя меня не пугают массовые публикации, не пугают и квалифицированные истолкования как со стороны противников, так

¹ В защиту своего дома; *здесь*: в свою защиту (лат.).

² В защиту церкви (лат.).

и со стороны приверженцев — меня пугают истолкователи, считающие себя вправе без всяких предпосылок судить о тексте, обусловленном самыми разными предпосылками.

В так называемом восточном мире, несмотря на все довольно неуклюжие, часто в приказном порядке организовывавшиеся попытки создать эстетику социального и гуманного в форме расхожей монеты, у читателей сохранилась редкостная чувствительность, еще позволяющая распознавать в социальном духовное, религиозное. А вот в нашем мире, называющем себя западным, практикуется и пропагандируется самоубийственное пренебрежение к гуманному и социальному.

Нынешняя ультрапрогрессивная техническая мысль услужливо согласилась или вот-вот поневоле согласится рассчитывать срок действия предметов обихода, которым самим по себе сносу нет, настолько точно, чтобы сохранилась постоянная конъюнктура в экономике, основанной на потреблении; вопрос теперь в том, не согласилась ли эта ультрапрогрессивная техническая мысль заодно и человека пустить на износ, создать своего рода гигантский Освенцим, над воротами которого мог бы висеть лозунг «Через расход — к свободе».

Я никогда не мог взять в толк, почему должны существовать сословные интеллектуальные перегородки в социальных сферах, по самому своему статусу и уставу такие перегородки исключают: например, в религиозной общине, говорящей на разных языках с посвященными и непосвященными. Точно так же не мог я уразуметь — хоть и убедился в этом на горьком опыте, необходимости которого все равно не признаю, — как так получается, что там, где провозглашается всеобщее образование, это образование не способствует, а препятствует созданию общности. Почему оно дается лишь немногим — это, возможно, прояснится в ходе наших последующих бесед. До сих пор есть такие родители, которые отказываются посылать своих детей в высшие учебные заведения, даже когда их одаренность и сообразительность засвидетельствованы в официальных бумагах; эти родители боятся отнюдь не материальных жертв и затруднений, а болезненного разрыва, который может произойти, когда их сын или дочь приобретут высшее образование. Тут сказывается не только горький опыт,

но также и снобистское высокомерие образованных слоев. Я привел только один пример, их можно привести и больше.

Немцы — народ с ущербным образованием; эта ущербность создает благодатнейшую почву для демагогии, порождает сословные перегородки, повышенную обидчивость и раздражительность. Посмотрите только, каков был образовательный уровень ведущих национал-социалистов: сплошь ущербные недоучки и неудачники; но если вы поинтересуетесь, каким образом эти недоучки и неудачники сумели прибрать к рукам университеты, вы обнаружите весьма неприглядную картину. Образованные круги в их самом чистом для немцев выражении и воплощении — университетские профессора — не то чтобы оказались бессильными перед этой узурпацией — нет, они вообще не воспользовались своей силой, просто уступили насилию дорогу. Не буду говорить о счастливых исключениях — слишком печальным было правило. Столпам не хватило величия. И нынешние яростные атаки на интеллигенцию, все эти демагогические ярлыки — они от той же образовательной ущербности. А когда к этой ущербности присоединяется еще и недюжинный ум, не нашедший либо образования, либо его применения, то возникает поистине убойная демагогическая сила.

Правда, для университетов новый захват власти уже не представлял бы сейчас опасности. Они обладают собственной свободой, обеспеченной давними, средневековыми привилегиями, они недосыгаемы, неуязвимы — и, помимо всего прочего, совершенно не опасны для государства.

Где наука сегодня выступает как таковая, во всем своем прочно застрахованном всемогуществе, она недосыгаема, а поскольку она теперь — через естественные науки, через медицину, через общественные науки — не только скооперировалась с промышленностью, но и становится иной раз почти уже ее отраслью, ей не грозит больше никакая опасность. Как наука сумеет выбраться из этого своего самого главного — и отныне постоянно — кризиса, да еще так, чтобы ей *поверили*, — это, конечно, и моя забота, но не моя проблема. Новым в судебном процессе против палачей Освенцима, состоявшемся в этом городе, было то, что некоторые обвиняемые ссылались уже не на подчинение приказу, а на ученого, естествоиспытателя, стоявшего за всем этим;

показательно желание одного обвиняемого придать себе с помощью белого халата нимб научности.

Если толковать понятие «эстетика гуманного» еще шире, чем я это делаю, то тут, вероятно, придется вспомнить и про шприц, равно как и про белый халат, чья действенность при рекламе косметики и медикаментов неоспорима. В таких деталях особенно явственно обнаруживается, что образование в наивысшем своем выражении — науке — стало реальной силой, институтом власти. Ее надо беспрекословно слушаться, ей надо подчиняться, и там, где наука консолидирована в особом формировании — в университете, — где она имеет свои законы и свои суды, подкрепляемые еще многочисленными писаными и неписаными кодексами чести, там ей не страшна никакая угроза извне. Подобный статус и авторитет в народе, чье образование ущербно, равнозначен абсолютной монархии. Тем самым науке выпадает роль реакционной силы, а поскольку послушание и подчинение являются единственной общественной реальностью, которую можно обнаружить во всей истории немцев вплоть до сегодняшнего дня, власть становится совсем уж неограниченной.

Лишь сейчас, лишь сегодня Галилей одержал безоговорочную победу и в Германии, настала его власть, его черед показать, на что он эту власть употребит. Конечно, и у церкви в руках еще немало ключей, есть влияние в высоких сферах, при случае его даже и прибавится, — но это все последние бои вроде тех, что вели японские солдаты в джунглях еще и несколько лет спустя после капитуляции.

Исход битвы предрешен, и нас еще ошеломят самые противоестественные смешения и смещения фронтов. Религия как таковая, во всех ее общественных ипостасях, находится уже не в наступлении, а в обороне. Пока она еще в осаде, скоро, возможно, попадет в опалу или в такое положение, в каком она находится в восточной части Европы, — и в осаде и в опале одновременно. Что ж, посмотрим, сумеют ли тогда атеисты сохранить верность тем, кто, не будучи атеистами, вместе с ними сражался за свободу.

На сегодняшнем — мною обрисованном — этапе, в тисках между ущербностью образования и засильем науки, на писателя ложится огромная ответственность, которая одним только общественным его воздействием не исчерпывается и не подкрепляется. А подкрепление

ему нужно. Он человек образованный, даже если он и не прошел ни по одной из привычных троп на пути к образованию, — он должен быть таковым, будь он самое наивное дитя степей или болот, тущоб или джунглей; уметь выразить себя в столь невыразительном мире — эта способность поднимает его, хочет он того или не хочет, на ступень образованности: ведь умение создать образ — это и есть высшая ступень образованности. Но у него как у писателя нет того, чем обладает наука: нет аппарата, нет групп подкрепления; он не может ни контролировать, ни устанавливать правила игры.

II

После первой лекции я счел необходимым прояснить для себя, в какую авантюру я ввязался, и, поскольку единственной наукой, которой я в своей жизни хоть и недолго, но все-таки достаточно интенсивно занимался, была классическая филология, я решил, что надежнее всего будет прибегнуть — после двадцатипятилетнего перерыва — к помощи древнегреческого толкового словаря Кэги и представить себе весь набор значений слова «*poieo*», а также его медия «*poieomai*», который старина Кэги советует употреблять в функции активного залога и смысл которого целиком зависит от прихоти автора. Град значений обрушился на меня, а утверждение, что «*poiein*» означает просто «делать», опроверглось Кэги на трех словарных столбцах. И чего-чего только оно не означает! Создавать, творить, побуждать, подготавливать, основывать, устраивать, совершать, сочинять, выдумывать; делать чем-нибудь, представлять чем-нибудь, объявлять чем-нибудь; действовать, усердствовать, убедительно высказываться, воздействовать, предпринимать, замышлять, учинять, добиваться, производить, строить, сооружать, разворачивать, закладывать, поднимать, обеспечивать, поставлять, добывать, приносить, осуществлять, показывать, судить, нести, пускаться. Есть прелестные формулы вежливости в словосочетаниях с «*poiein*»: например, «*kalos poiein*» может означать «слава богу», «к счастью» — а может обернуться и более наплевательским отношением: «да ради бога», «мне-то что». Наконец, «*poieomai*» означает «сделанное вообще», «труд», «работа»; далее «действие», «событие», «что-либо искусственно созданное»; но также и «орудие»,

«поэтическое сочинение». «стихотворение»; наконец — «произведение письменной словесности», «книга». А вот «poietes» — субъект, делающий все то, что можно натворить с помощью всех этих многочисленных глаголов, — он «творец», «изобретатель», «первозачинатель», «зачинщик», а также «поэт», а также «выдумщик». А в Новом Завете «poietes» означает также «деятель» — осуществитель Слова. Вооружившись этой более чем полсотней значений как основой для гастрольного курса лекций по поэтике, я и продолжу, с вашего позволения, свое благое — или черное? — дело.

Рассуждая о тотальном засилье науки, я обозначил послушание и подчинение как единственную общественную реальность, созданную всей предшествующей историей немцев; говоря проще: немцы подчиняются столь же охотно, сколь охотно требуют подчинения. Самой постыдной сценой, какую мне довелось наблюдать (именно постыдной, другого слова я не нахожу, — тогда только что кончилась война, и я почувствовал себя освобожденным — не просто спасения ради переодетым в штатскую одежду, а настоящим штатским), — самой постыдной сценой была та, когда на первой же поверке в американском лагере для военнопленных некоторые мои бывшие соратники с отменной ретивостью, бодро чеканя шаг, вышли из строя: убийцы, еще несколько часов назад проповедовавшие войну до победного конца, они изъявили готовность обучаться на пропагандистов и распространителей демократического образа мыслей. Чеканя шаг, ретиво, подобострастно — какая уж там эстетика, какая поэтика и поэзия; среди более чем пятидесяти значений слова «poiein» мы не найдем глагола, означающего подчинение, — ни в переходной, ни в возвратной форме.

Поэзию этого лагерного момента моей жизни во всей его отчетливости — как ее передать? Освобожден, но еще в плену; выжил, но на самом волоске; безалаберный американский капитан, от щедрот душевных пообещавший нам пиво и сосиски (он искренне в это верил — как и в то, что обещает нам тем самым мир и покой), — и странное предчувствие, что очень скоро я — все еще не свободный, а только освобожденный — попаду в полон к чеканящим шаг, ретивым, подобострастным, и они захотят сделать из меня то, чем я уже был по рождению и происхождению: демократа... Для всего этого я так пока и не нашел слов. Если говорить о моих собственных

произведениях письменной словесности, поэтических сочинениях, книгах — я твердо держусь старины Кэги, — то мне легче было бы развивать поэтику на материале того, чего я до сих пор так и не смог написать, чем того, что я написал; но для этого нужны бóльшая дистанция, более почтенный возраст. Думается, в возрасте до пятидесяти говорить или писать о собственной поэтической технике можно лишь очень приблизительно — а стало быть, неподобающе; потому я уж лучше займусь толкованием чужих текстов.

Что касается черных дел поэтов, я позволю себе сделать еще несколько замечаний. Когда поэт («poiein» здесь в значении «замышлять»), блуждая по безмолвным ночным улицам, вдруг ощущает неодолимый порыв натворить что-нибудь поэтическое («poiein» здесь в значении «осуществить») и муза нашептывает ему повеление поднять с мостовой три булыжника и запустить в первое попавшееся окно, а он это делает, потому что всегда покорно следует нашептываниям музы, то он едва ли удивится, когда люди, чей ночной покой будет потревожен столь бесцеремонным образом, распахнут окно (при этом осколки стекла посыплются на мостовую, грохоту прибавится, и в результате перебаламутится весь квартал), — когда они распахнут окно, чтобы его по меньшей мере усостыжить или припечатать словом покрепче, типа «хулиган», «подонок», «бандит». Но он по праву удивится, если ему сразу припишут покушение на убийство, попытку изнасилования, кражу со взломом, поджог, а то и, чего доброго, подрыв государственных основ. Если же его еще и приволокут на суд, а он станет утверждать, что, во-первых, покорился нашептываниям музы, а во-вторых, его с музой общее намерение заключалось всего лишь в том, чтобы впустить свежий воздух в означенные спальни, — ни одна душа ему не поверит: муза никому не указ. И возникнет ужасный шум и катавасия — потому что поэт не может сослаться на то, на что другие в любую минуту могут сослаться и что будет им зачтено как смягчающее обстоятельство: они-де не могли послушаться приказа.

Я хочу сказать: общественности следовало бы поэкономней обходиться со своим раздражением и раздражимостью, учитывать пропорции. Много ли какой-нибудь поэт («поэт» здесь в смысле «зачинщик») может натворить? Он даже и камни-то бросает не в витрины и не в церковные витражи, а по большей части всего лишь

в воду — потому что его интересуют круги, ими образуемые, и он с изумлением обнаруживает, что от брошенного в воду камня расходятся не только круги, но и — вопреки всем физическим законам — волны, и в следующую же секунду тихий, сонный пруд приходит в волнение: поднимают галдеж утки, и пытаются кричать даже рыбы. Он-то, поэт и зачинщик, разумеется, не знал, — хоть это и обозначено на предостерегающих табличках, им проигнорированных, — что глубина в пруду всего метр пятьдесят, а из них семьдесят пять сантиметров, т. е. ровно половина, состоят из застойной, болотной массы. И вот стоит он, святая простота, и ссылается на музу, которая нашептала ему повеление создать миг поэзии; он вовсе не хотел мутить воду, да вода-то оказалась мутной — вот беда.

Слушаться — это немцу дозволено, даже велено; он может взламывать двери, рушить стены, стрелять, колоть, бить, грабить, маршировать. Но все это, разумеется, только ради государства, не ради себя, — т. е. грабеж из неестественных побуждений. Но можно ли ему слушаться взбалмошной особы, которая никогда не поддается до конца ни секуляризации, ни канонизации, — которая может повелеть ему осуществлять пятьдесят различных действий сразу?

Не знаю, возможна ли демократия по приказу, — стоит задуматься над этой формулой, задуматься и над самим словом «приказ»: по этому слову тюрьма плачет; стереть бы его с лица земли. Целая армия писателей-нигилистов не могла бы натворить даже и приблизительно столько бед, сколько натворило это слово. Я хочу сказать: все скандалы, вызываемые литературой, самым скандальным образом преувеличены. Настоящие скандалы происходят в тех судах, где разбираются дела о приказах.

Что же касается автора, первоначинателя, поэта — он-то не только хотел бы жить с другими («жить» — глагол, часть речи, обозначающая действие), но и сделать обжитым язык, на котором он пишет. Нехорошо, что человек одинок; он не может из тех ребер, что у него остались, сам сотворить себе родину, соседей, друзей, близких. И не может он, подобно Аврааму, породить себе свой народ; народ ему выпадает, и он в него попадает. Он нуждается не только в друзьях, публике — он нуждается в союзниках, открытых союзниках, которые не просто сердятся и не просто торжествуют, а еще

и понимают. Понимают то, что важнее всего: поиск обжитого языка в обжитой стране.

Перехожу теперь к делу — к вопросу о родине. Вот отрывок из повести Г. Г. Адлера «Путешествие»: ¹

Приходили они обычно поздним вечером, а то и ночью, ибо ужасу приносимого ими извещения противился ошеломленный свет дня. «Не имей дома своего!» — вот что было отпечатано на их повестках. И люди уже ждали беду, ибо знали о ней, и потому дома их рушились еще до того, как их добивал милосердный заряд бомбовоза. Бомбовозы прилетали позже — затем, чтобы разрыхлить в пажити эти опустелые руины, а вовсе не затем, чтобы отомстить за вероломный увоз изгнанных из дома своего, о которых они вряд ли и помышляли, когда намечали участок города, подлежащий уничтожению. С хищным гулом налетали стремительные машины с громоносных ночных небес и низвергали свой гибельный груз на бранные останки, лишь в тот момент и осознававшие свою брэнность, когда взрывалось их нутро. Погибель, стало быть, наступала уже не жилые дома, а заброшенные гнездовья, разграбленные норы, незаконно доставшееся добро, не пошедшее разбойникам впрок. Но это все совершалось уже много позже, и самых первых пострадавших оно миновало — тех, кому давно уже было возвещено: «Ты не имеешь права на дом свой!»

То был приказ: не имей дома своего! Повесть эта многое мне объяснила. Читая ее, я впервые осознал, что в послевоенной немецкой литературе едва ли найдется хоть одно художественное изображение оседлости, хоть одна книга, в которой соседство, родина полагались бы чем-то само собой разумеющимся. Иногда указывается — а дипломаты просто-таки жалуются — на то, что немецкая послевоенная литература представляет за границей совершенно иной образ Федеративной Республики, чем тот, что создается в дипломатических беседах и за столом экономических переговоров. Небезынтересная тема для исследования — сравнить эти разные уровни

¹ Отрывки из произведений даны также в переводе А. Карельского. — *Примеч. ред.*

репрезентации, причем обязательно подкрепить такой анализ глубоким и всесторонним изучением рекламных приложений к нашим крупнейшим газетам, в которых предлагаются и ищутся земельные участки во всех возможных уголках земли. Тут возникает образ прямо-таки целого народа в бегах — бегут кто с востока, кто на запад. А вот с обратными примерами — чтобы кто-то в мире жаждал приобрести земельный участок в Федеративной Республике (я имею в виду участок для жилья, а не для строительства фабрики), — с такими примерами, пожалуй, будет не густо.

Политики — и это не только в нашу эпоху и не только в Германии — слишком много мнят о себе, когда обижаются на современную литературу, которая якобы чинит им помехи в их похвальных начинаниях. Все, что есть в современной литературе политического и социально-критического, всякий раз определяется материалом, с которым она имеет дело. Писатель ищет возможность выражения, ищет стиль, а поскольку перед ним стоит нелегкая задача соединить мораль выразительного приема, стиля, формы с моралью высказываемого, моралью содержания, то его наличным материалом по необходимости становятся политика и общество, их словарь, их ритуалы, мифы, обычаи. И политики и общество, ощущающие обиду или угрозу, не понимают, что речь всегда идет не о них, а о вещах поважней. Они даже не предлог, разве что — изредка — повод, они и в качестве модели едва ли пригодны: литература вершится поверх них, помимо них. Писатель не берет что-то из действительности — он ею обладает, он ее создает, и потаенный демонизм даже какого-нибудь более или менее реалистического романа состоит в том, что для его сути абсолютно неважно, какие стороны действительности попали в него и оказались в нем переплавленными, перегруппированными, преображенными. Важно то, какая действительность выходит из этого тигля и начинает оказывать воздействие вовне. В самых неприятельных формах словесности, в любом письменном тексте, в любом репортаже происходит преображение (транспозиция), совершается перегруппировка (композиция), автор отбирает, отбрасывает, долго ищет «выразительное средство»; уж это-то, по-моему, прописная истина. Даже фотография никогда не бывает верной действительности: для нее избирается ракурс, она проходит обработку химическими препаратами, потом ее размножают. И если кто-то

обнаруживает в романе верность действительности или жизненность, то он обнаруживает *созданную* действительность и *созданную* жизненность.

Для немцев же действительность — это невозможность жить в доме своем, неприкаянность, известная не только из послевоенной литературы; конечно, со статистической точки зрения все где-то и как-то живут (даже бездомные бродяги зарегистрированы статистикой), — но, похоже, живут во временках, всегда готовые сорваться с места. Нигде у нас соседство не изображается как что-то прочное, длительное, внушающее доверие. (Соседство, взаимная выручка, сплоченность, чувство сообщества — все это, похоже, известно только убийцам. Другие не выручают друг друга, не держатся сплоченно, не ощущают чувства сообщества.) Жилища изображаются в послевоенной литературе лишь как потерянные жилища, а имеющиеся жилища — лишь как сколоченные наспех временки. Вот еще один пассаж из повести «Путешествие»:

В своей каморке Пауль часто и подолгу раздумывал над тем, что связь человека с окружающим миром зиждется на вере. Где разрушается эта вера, там рвется вся связь, и последствия тогда непредсказуемы.

Итак, вовсе не случайно, что у нас нет и не может быть любовно описанных городов, что ни одна местность не изображается просто как населенная. Слишком много соседства было разрушено, слишком много доверия растоптано — по приказу, не из ненависти даже и не из фанатизма, а по приказу: разрушенное соседство, разрушенное доверие, разрушенная вера. Каждое убийство, каждая порка, каждый пинок — всё по приказу — создают целые округа разрушенного соседства, обманутого доверия. Есть прекрасный настенный лозунг для немецких школ — вот эти строки из стихотворения Ингеборг Бахман:

Терпение стало униформой дня,
наградой — крохотная звезда
надежды над сердцем...
Ее вручают
за неверность знаменам,
за отвагу перед друзьями,
за выдачу недостойных тайн
и за пренебреженье
любим приказом.

Увековечить бы в наших детских хрестоматиях всех тех — а им несть числа,— кто повинен в почетном преступлении, отказавшись выполнять приказ, кто принял смерть, только чтобы не убивать и не разрушать. Когда на судах заходит речь о приказах, слишком мало говорят о тех, кто *не выполнял* приказов: приказа расстрелять, приказа взорвать. А ведь тем самым были спасены какие-то люди, сохранены города и мосты. Бесчеловечности дано право прикрываться обязательностью приказа, а человечность оказывается под подозрением, если человек в свое время не воспользовался этим правом. Надо бы больше заботиться о хрестоматиях, а не делать сенсации из одного-двух разбитых стекол.

Не случайно единственным городом, завоевавшим себе в послевоенной литературе имя и ранг, оказался потерянный город — Данциг. Берлину тут явно не дотянуть — его в обжитое пространство не превратишь. Этот город бесчисленных трагедий не стал темой ни единой драмы, ни даже, что еще удивительней, детективного романа — а уж этот-то жанр живет реалиями.

По-моему, иные читатели — да и критики — представляют себе дело таким образом, что действительность стоит у автора, как дождевая бочка за окном,— выходи и черпай. Но будь она даже дождевой водой и стой она в бочке за окном, сколько ингредиентов содержится в дождевой воде, в какой смеси они выступают каждый раз? Может быть, пример с Берлином как раз и доказывает, что на таком представлении — действительность за окном — далеко не уедешь. То, что мы ежедневно видим и переживаем, явно не просто воплотить в слова.

Невеселые картины открываются взору: целые составы ответственных лиц отправляются на юг, на север, на запад, а вот поезда на восток пусты — во всяком случае, купе первого класса. На восток летают — из опасения самого минимального, совершенно безобидного соприкосновения с действительностью: хотя бы выглянуть из окна, взглядеться в случайные лица на остановках — скажем, в лицо пограничника, проверяющего документы. Плохо для города, когда в него только летают. О нет, я не о политике — я об эстетике гуманного, об эстетике жилья и домашности. Разве стали обычным чтением Альфред Дёблин и Вальтер Беньямин, Раабе и Фонтане? Господа в скорых поездах читают главным

образом «Бильд», и большинству ее хватает на весь путь от Бонна до Гамбурга или до Мюнхена. Читал бы хоть один из них по крайней мере детективы — там все-таки правилами игры предполагается, что существует закон, общество и уязвимость этого общества! Я уж не говорю о Гёльдерлине, о Ницше, о Марксе, тоже ведь писавших по-немецки (между прочим, их читают — не нуждаясь в специальных культурных соглашениях — студенты в Москве и в Глазго). Невеселые картины, невеселые речи: снова и снова слышишь взаимные упреки в том, что кто-то спихнул ответственность на кого-то, — подсунул ведьму, так сказать. Неужели политика столь же примитивное занятие, как самая примитивная, дурацкая и занудная карточная игра? Судя по всему, так оно и есть.

В нашей литературе нет жилых пространств. Гигантские, зачастую мучительные усилия послевоенной литературы в том и заключались, чтобы снова обрести жилье и соседство. До сих пор едва ли кто понял, что значило в 1945 году написать хотя бы полстраницы немецкой прозы.

Есть и еще одно слово, подвергающееся у нас самым разнообразным демагогическим искажениям, — слово «изгнанный», «лишенный родины». Новая родина, старая родина! В рейнских землях еще и во времена моей юности — да, собственно, вплоть до 1945 года — в связи с Пруссией говорили о «суровой родине». А я вот никогда не воспринимал рейнский склад характера, рейнскую почву как такие уж мягкие. Насколько глупыми я считаю издевки над родиной, настолько провинциальными я считаю пренебрежительные насмешки над провинциализмом. Провинциализм, похоже, на долгое время останется для нас единственной возможностью создать истинно жилое пространство, обзавестись соседством — попросту жить.

В Англии до сих пор продолжаются споры о Диккенсе, начавшиеся еще при его жизни. Диккенс стал для Англии тем, что в нашей стране и представить себе невозможно: всегда живым и всегда оспариваемым классиком; примерно так же обстоит дело у французских писателей с Бальзаком. В таких дискуссиях многое проясняется, каждый раз заново проверяется и уточняется пространство языка, состояние общества; формируется суверенное сознание, всякой современной литературе, будь она традиционной или экспериментальной, идущее

на пользу; создается почва, на которой можно стоять, подбрасывать друг другу аргументы, опровергать их. Где в немецкой литературе города вроде Лондона или Парижа, чью реальность можно было бы сопоставлять с той их реальностью, которая запечатлевалась в повествовательной прозе разных поколений? Здесь не время и не место сетовать на географическое положение Германии и на ее историю. Могут только констатировать, что Берлин всего лишь пятнадцать лет был столицей демократической Германии. То был период головокружительных, пьянящих мечтаний; как резко они были оборваны, всем известно. Ни Раабе и Фонтане, ни Дёблину и Беньямину не удалось сделать Берлин литературной реальностью под стать Лондону и Парижу, Петербургу или Москве. В том, что он все еще не занял в современной литературе подобающего ему места, повинна политизация города, самого этого слова — «Берлин». Это плохо для города, когда ему нельзя быть самим собой, когда он, так сказать, выходит из себя — становится голым понятием, символом, — и ему в повседневной жизни постоянно напоминают об этой его символичности. Как это случилось, не мне вам объяснять.

Так где же столица немцев, где для них обжитое пространство, где они чувствуют себя как дома? Когда политики говорят пустые слова и создают невыносимо выхолощенные понятия, всякое слово, содержащее хоть крупицу истины, становится острополитическим. Когда размахивают лозунгом «Единство в условиях свободы» и кормят им наших детей, а в то же время при каждом удобном случае с обеих сторон подчеркивается невозможность хотя бы приблизительно приспособить общественные и экономические условия одной стороны к условиям другой, то всякий школьник — вот только, может быть, не всякий взрослый — понимает, что это самообман, что в подобных планах для политического будущего взвешиваются две возможности, из которых одна считается неотвратимой, а другая является недосягаемой: война или чудо.

Конечно, невозможность жилья и дома — вовсе не новая тема, она тоже заслуживала бы обстоятельного исследования: Гёте, умевший и жить по-домашнему, и странствовать, и любить; Клейст, не умевший ни жить по-домашнему, ни странствовать, ни любить; Штифтер с его тишиной отчаяния, написавший «Бабье лето», прекраснейший дом немецкой литературы, — но тоже сон.

Великая тема; ее воплощения в литературе носят не только политический, не только исторический, но и религиозный характер — романтическая жажда странствий, голубые дали, голубой цветок; и лишь много позже нашелся еще один, умевший жить по-домашнему, и странствовать, и — что не случайно — снова дерзнувший писать о любви: Фонтане. Удивления достойно, что в Берлине нет ни музея, ни архива Фонтане. Мне пришлось даже приложить усилия, чтобы выяснить, где похоронен писатель...

Да, невозможность жилья и дома — не новая тема. Из бесед Кафки с Яноухом:

Массы спешат, бегут по жизни, будто идут на штурм. Куда спешат? Откуда идут? Никто не знает. Чем ретивей они маршируют, тем недостижимей цель. Они только даром расходуют силы. И думают, что идут. На самом деле они — маршируя на месте — стремглав летят в пустоту. Человек на земле потерял родину, вот и все.

Кафка — это конец. После него — лишь те, кто выжил и ищет себе жилища.

Я думаю о молодых людях, которые устраивают свою жизнь в этой стране и для которых будущее не пустое слово, а ежедневно совершающееся настоящее. Людям моего возраста уже не найти почвы под ногами. За нами нет традиции, для ученья мы слишком нетерпеливы, для накопления слишком недолговечны, для наслаждения нам не хватает засахаренной мудрости цинизма; мои сверстники не мудры, такими они и останутся, они ни в чем не поумнели и во многом даже не наловчились.

Если литературоведение имеет какой-нибудь смысл, то оно должно заполнять пустоты в ртутном столбе — охлаждать искусственно созданный или покоящийся на самообмане жар видимой злободневности, приводить его в верные пропорции. Часть Германии все еще живет в эмиграции, между нею и современной Германией нет никакого взаимопонимания и никакой связи. Молодому поколению надо потрудиться, чтобы эта страна и в литературе стала обитаемой, пригодной для жилья. Страна тогда обитаема и пригодна для жилья, когда человек может тосковать по ней. В мире есть немало людей, мучимых тоской, — но лишь по той Германии, которой уже нет. Можно тосковать и по какому-нибудь городу —

по Берлину или Нюрнбергу, по Гамбургу, Кёльну, Мюнхену. Но не тоска ли это всегда по утраченному или затонувшему Берлину или Кёльну? А тосковать по Федеративной Республике? Не знаю — может быть, кто-то и тоскует.

Станет ли когда-нибудь эта страна такой, чтобы по ней можно было тосковать? Это не случайность и не злой умысел безродных интеллигентов — будь они атеисты, нигилисты или исправные католики-налогоплательщики, — что Федеративная Республика предстает в прозе, лирике и публицистике совсем иной, чем хотелось бы экономическим советникам и пресс-атташе. Политикам не надо сердиться, тем более жаловаться. Им надо спросить себя, почему все-таки нет ни одного послевоенного романа, в котором Федеративная Республика изображена была бы цветущей, веселой страной. Знаменитый вопрос: а где же положительное? — сам по себе вовсе не глуп, но он не так ставится и не туда адресуется. Почему никто не напишет веселого романа об этой цветущей стране? Ведь никому не запрещается, никому не чинят помех. Очевидно, есть такие помехи, лежащие глубже, чем может представить себе поверхностная политическая обидчивость. Печальная страна — но печали она не знает; она ее переадресовала, переправила через границу, на восток, и все еще не удосужилась понять, что сфера политики — это только поверхность, самый верхний, самый тонкий и самый непрочный слой. Везде, где измеряется политическая температура, в ртутном столбе возникают пустоты. Политикам следовало бы подучить эстетику — даже в политическом отношении они не потратили бы времени даром; современность, будучи выражена литературой в словах, убедительно доказывает, сколь бесчеловечно держать целое государство в состоянии полной беспочвенности, а слова «лишенный родины» отдать на откуп «Союзам изгнанных» и сохранять их в постоянной демагогической готовности как резерв, который при случае можно пустить в ход, что называется, «разыграть». Вот еще отрывок из повести Г. Г. Адлера «Путешествие»:

Были запрещены дороги, укорочен день, продлена ночь, но и ночь была запрещена, и день тоже. Запрещены были магазины, врачи, больницы, транспорт и места отдыха — всё, всё под запретом. Запретили прачечные. Запретили музыку. И бо-

тинки. И купанье. И, поскольку еще оставались деньги, запретили и их. Запретили все, что было и что могло быть. Объявили: «Все, что ты можешь купить, тебе запрещено, но тебе и нельзя покупать!» И люди, не имея возможности ничего купить, надумали было продавать, ибо надеялись на вырученные деньги кое-как перебиться, но им сказали: «Все, что ты хочешь продать, тебе запрещено, но тебе и нельзя продавать». И все опечалились еще больше и оплакивали свою жизнь, но лишать ее себя не хотели, ибо это было запрещено...

Повесть Адлера — очень немецкая повесть, описывающая очень немецкое путешествие, и не случайно, конечно, что в этой повести даже и не употребляются слова «немецкий» и «еврейский», равно как и слова «полиция» и «лагерь».

Местности в этой повести называются Руэнталь, Ункенбург, Лейтенберг, Штупарт, а ключ к языку повествования следует искать в треугольнике «Кафка — братья Grimm — Штифтер». Здесь дом этого языка, его родина — но и он изгнан из страны Кафки и Штифтера, из страны братьев Grimm. Как ни одна другая книга, повесть Адлера исключает простой пересказ содержания — в ней каждое предложение, каждое слово говорит за себя.

И к этому ужасу добавляются, перемешиваются с ним слова; ибо язык нам уже не принадлежит, чужими и враждебными вырываются слова из уст того, кто начнет говорить,— мои слова, твои слова; они яростно рушат стены и возводят их снова, скрепляясь в плотный, непроницаемо-прочный состав.

После чтения этой повести мне стало ясно, что вся послевоенная немецкая литература была литературой обретения языка; и я понял также, почему мне часто было приятнее переводить, чем писать самому: когда ты что-то переносишь в пространство собственного языка из чужого, ты имеешь возможность обрести почву под ногами.

Речь в повести Адлера идет почти сплошь о будничных вещах: об электрическом утюге, который нельзя

с собой брать, о собаке, о лютне Церлины, о домашней утвари бюргерского семейства и о столь часто высмеивавшейся гостиной бюргерского дома.

III

Наверное, повесть Адлера потому и осталась почти незамеченной в литературной критике, что передать ее содержание невозможно, что каждое предложение в ней говорит само за себя.

На диван садиться нельзя — помнутся подушки. Ведь только сегодня все было с таким тщанием прибрано! Ида с Каролиной все вычистили и пригладили мягкой щеткой, чтобы не повредить красивую обивку. Они весь день не разгибали спин, благоговейно наводя порядок, даже если и нельзя было с уверенностью рассчитывать на приход гостей.

И вдруг вот такой кусок:

Это все мое! Дом, двор, пес! Это мое добро! Владеть! Владеть! На все это я налагаю свою волю и свое имя. Так я хочу. Таково мое решение. Должны быть дом, двор, пес, должна быть собственность — так возник Лейтенберг.

Коль скоро я пытаюсь давать свое толкование текста, я должен прежде всего пояснить, что я провожу четкое различие между содержанием книги — ее духом, ее смыслом — и той формой выражения, которую автор нашел для этого духа, для этого смысла. Как я уже говорил, содержание дается даром; это не означает, что оно излишне и может быть опущено при истолковании; просто ему обычно придается слишком большое значение — а иногда это значение и приписывается, подсовывается. Великолепие повести Адлера в том, что содержание, смысл здесь неотделимы от формы выражения. Поэтому тут едва ли что можно извратить или втиснуть в рамки идеологических категорий.

Доктору Леопольду Лустигу, практикующему врачу, велено отправляться вместе с семьей в дорогу. До последней минуты доктор Лустиг надеется, что это административное самоуправство не только окажется ошибкой,

но и будет признано таковой. Жизнь его до сих пор протекала в атмосфере доброты, порядка, разумности и старомодной педантичности, сам он был из тех людей, о которых женщины обычно говорят: «Он не от мира сего». Он умирает в Руэнтале, где мир обнаруживает перед ним всю свою бесчеловечность и бессмысленность. У него была жена Каролина, двое детей — Церлина и Пауль, в семье жила еще его свояченица Ида Шварц, урожденная Шмерценсрайх, сестра Каролины. Нормальная бюргерская семья, без каких-либо особых примет. Вот примерно и все содержание; описывается путешествие, к которому принуждено семейство Лустигов, — бессмысленное, мучительное путешествие. Разве не принуждаются многие люди к путешествиям, разве не бессмысленны и не мучительны многие путешествия — и разве не умирают многие в таких бессмысленных, мучительных путешествиях? Итак, повесть о путешествии? Могло же ведь быть так, что этот доктор Лустиг попался на удочку какого-нибудь афериста, обманом навязавшего ему путевку, и вот теперь семейство вынуждено по ней ехать, и поездка оканчивается трагически? Разве не мог доктор Лустиг, пожилой человек, привыкший к домашней обстановке, во время этого вынужденного путешествия умереть в какой-нибудь захолустной гостинице или в кемпинге от пищевого отравления, дизентерии или тифа? Простой пересказ сюжета допускает такое толкование, и, читай мы не то чтобы даже поверхностно, а скажем, не слишком внимательно, мы вполне могли бы пропустить слово, всплывающее однажды в рассказе, — буквально всплывающее, как что-то такое, что все время плыло под поверхностью текста: слово «крематорий». Но и это слово легко поддается объяснению: может быть, доктор Лустиг был членом общества по поощрению ритуала кремации? Еще одна цель путешествия носит странное название «музей». «Остановитесь на минутку, не отвлекайтесь, дорогие дети, и слушайте внимательно, что я вам расскажу. То, что вы здесь видите, было однажды. Эта женщина жила когда-то — вот туфли, которые она носила. Они кожаные. Смотрите, как хорошо они сохранились». Этой женщиной была Ида Шварц, урожденная Шмерценсрайх, сестра Каролины Лустиг. Надо ли мне пояснять, что здесь в сказочном тоне, спроецированном в будущее, рассказывается о музее, чья реальность достовернее всего, что когда-либо измышлялось литературой?

Мы читаем в этой повести о дорожных распоряжениях, приготовлениях, об отъезде, прибытии, о сопровождающих, один из которых говорит:

— Там вовсе не так плохо. Хорошо готовят. Чуть не каждый день дают картофельные клецки с мясом. Но если найдут деньги, или драгоценности, или табак, то в наказание лишают обеда.

— Значит, не так страшно?

— Вы сами увидите, фрау Лустиг. Очень многие выдерживают. И бьют там только изредка. Во всяком случае, еще никого не убили.

— Но били?

Били, я помню, иной раз и в молодежных лагерях, когда находили недозволенное: деньги, ценные вещи, табак. И разве умный турист, путешествующий с группой, не сдает деньги и ценные вещи портье или руководителю группы?

Простой пересказ содержания — как запрещенный прием; так можно убить книгу даже и без всякого пародийного намерения. Попробуйте это на любом романе мировой литературы — и получится бульварный роман.

Три темы, три лейтмотива главенствуют в повести Адлера: это тема родины, тема путешествия — и тема отбросов, отходов; эпизодически возникают и другие мотивы: музей, собственность. Своих вершин повествование достигает тогда, когда оно полностью сливается с описываемой реальностью, — например, когда автор, подробно сравнивая прогрессивную и устарелую технику вывоза отходов, подчеркивает в первой безукоризненную отлаженность и четкость, самым жутким образом соответствующую уже знакомой нам безукоризненной организации всей поездки:

Такой торжественности нынче нет и в помине, потому что освобождению от отходов теперь никто уже не радуется, его не ждут, в него, возможно, даже не верят. Во дворе стоят несколько высоких цинковых контейнеров с задвижками, в них можно в любое время выбросить все, чем ты уже не дорожишь, и раз в неделю, без всякого предварительного оповещения, у ворот с резким скрежетом тормозит мощный грузовик, из него выходят двое в комбинезонах и в резиновых перчатках, похожих

на ласты, деловито и невозмутимо, по-хозяйски, входят во двор, вытаскивают один контейнер за другим, бесстрастно опоражнивают их с помощью технического устройства, предотвращающего поднятие пыли, и, по-прежнему не говоря ни слова, вкатывают пустые контейнеры назад во двор, будто ничего вообще не произошло. Набитый до отказа грузовик, дав полный газ, исчезает за казармой, где с помощью очень простого опрокидывающего устройства опоражнивается одним махом. Со стонами и хрипом валится мусор на землю, и машина мчится назад в город, чтобы нагряться в другие кварталы и поглотить их жертвы в своей гигантской утробе.

Нынче в Лейтенберге стало намного тише, чем прежде, когда вывоз отбросов еще сопровождался людскими благословениями и обставлялся торжественно, со звоном. Идет, бывало, человек с колокольчиком от дома к дому, заходит в подъезд и названивает в свой колокольчик что есть мочи, и все этажи отвечают веселым гулким эхом. Это он оповещает: «Эй, люди добрые, слушайте и радуйтесь, идут за мной мусорщики, хотят избавить вас от всякого праха и хлама!» Многие и без того уже ждали глашатая с превеликим нетерпением, а кто вдруг забыл, тем напоминал шумливый вестник о близком спасении. И из всех домов выбегали хозяйки и служанки с ведрами и ящиками, собиравшись у ворот, весело судачили, выглядывая, не подкатила ли долгожданная повозка. А она уж тут как тут, гроыхает по булыжникам, подъезжает хоть и медленно, хоть и неуклюже, но важно. Запряжены в нее две статные кобылы, и кучеру нет надобности кричать им: «Стой!», потому что они свое дело знают крепко и перед каждым воротами сами останавливаются. А потом кучер весело цокнет языком — и поехали дальше.

Наконец и к твоим воротам подъезжала повозка, все спешили к ней с полными ведрами, а двое мужчин, широко расставив руки, подхватывали их как бы с лету, ловко опрокидывали и еще дважды усердно постукивали по днищу, чтобы уж совсем ничего не застряло. Потом они с любезной улыбкой возвращали порожние посудины в выжидательно простертые руки.

А потом вот такое место:

Никто вас все равно не услышит, и уже потому устроители поступили мудро, запретив с вами разговаривать. Как хозяева в своих домах отделяются от вас, так и вас от всех отделили и распорядились, чтобы вы не выбирали дома по прихоти своей и вообще не имели дома своего. Вы отбросы, вы тот мусор, которому не место под кроватями и столами, между стульями и шкафами. Мусор смешивается с мусором, грех с грехом, и мерзкое это месиво пригодно лишь в пищу червям, ускоряющим его гниение. С вами расстались, в смятении всплескивая руками, но на прощанье вам не махали, нет, руки протягивали, чтобы от вас отстраниться. Перед вами умывали души нечистой водою виновности, когда вас выгружали, и двери перед вами запирали так резко, что замки щелкали, как клыки овчарки, потому что приказано было на вас не оглядываться: впечатлительные мамы заходили еще дальше всех заповедей — они старательно закрывали окна и задергивали занавески, чтобы вас, не дай бог, не увидели детки, когда вы брели мимо. Детки могли бы перепугаться, ваш вид мог их травмировать. «Мамочка, а кто эти грязные дяди?» Нет, такого вопроса сердобольные мамы не выдержали бы, им пришлось бы лгать: «Ах, бедняки!» — но это нельзя, или им пришлось бы говорить правду: «Отбросы, бездомные бедняги!» — а так тоже нельзя.

Если рассматривать эту повесть в качестве иллюстративного материала, то напрашиваются сравнения, гораздо непосредственнее многих современных романов указывающие на современность, на сегодняшний день. Напомню вам о супружеской чете в «Финале игры» Беккета, о горе из человеческих костей в «Собачьей жизни» Грасса. Не писатели отравляют местность — они ее уже находят отравленной. Почему невозможно изобразить никакое путешествие — предпринято ли оно с целью образования, отдыха или любой другой, — чтобы оно не вышло в результате злополучным, в лучшем случае — сатирическим, что тоже является всего лишь нераспознанной формой проявления злополучия? Стоит писателю — скажем, цитированному мною Адлеру — описать

по видимости совершенно безобидную процедуру вроде вывоза мусора,— и сразу получается нечто, внушающее ужас. Я могу тут привести лишь немногие примеры, дать наметки, стимулы. Например, я часто спрашивал себя: почему, когда немцы пишут о дорожных приключениях немцев, эти приключения непременно оборачиваются злоключениями? Наши духовные отцы и матери бранили захолустность существования своих соотечественников, сетовали на его затхлость и неподвижность,— а стоило тем нынче сняться с мест и пуститься в путешествие, чтобы познакомиться с другими странами и обычаями, как их и в качестве туристов тоже начали безбожно окарикатуривать; и что самое странное — иначе не выходит! Язык явно не воспринимает эту страсть к путешествиям как нечто гуманное. Может быть, никем не замеченная книга Адлера уже одним фактом своего существования утверждает эстетику путешествия, родины, даже очищения от мусора,— создает подлинную реальность? А вдруг придет такое время, когда в языке возможно будет воплотить понятия жилья и родины, когда путешествие уже не будет представляться бегством, потому что поэзия обыденности будет снова распознана не только поэтами, но и теми, для кого они пишут? Вот еще отрывок из повести Адлера:

Пошел снег. Тяжелые хлопья опускались на землю. Им не было дела до скопища людей внизу. Они плавным хороводом кружились над медно-зеленой крышей технического музея. Если чуть высунуть язык, можно, наверное, поймать одну из снежинок, но это опасно, это запрещено. Церлина ужасно обрадовалась, когда одна снежинка зацепилась у нее за ресницу и повисла на ней. Ничего не стоило смахнуть ее рукой, даже чуть заметного резкого движения головой было бы достаточно, чтобы стряхнуть ее. Но Церлина замерла, боясь пошевелиться. Снежинка растаяла и нерешительно сползла по щеке.

В присутствии героев запрещено двигаться, Церлина твердо это усвоила, хотя о приказе напоминали не так уж и часто. Запрещено вообще жить, и если это не всегда осознается, то лишь потому, что жизнь не прекратилась. Та же самая снежинка могла бы упасть на одного из героев, могла бы, подхваченная ветром, опуститься где-нибудь за му-

зейным двором, на один из близлежащих домов, на улицу. Исключений из общего жребия современников нет. Различия возможны лишь в том, как распределяется судьба, но не в самой судьбе.

С цитированными отрывками из повести Адлера я хочу сопоставить один пассаж из «Бабьего лета» Штифтера:

Помимо бюро, внимание мое привлечено было еще двумя столами, одинаковыми по величине, да и в остальном схожей выделки, но отличавшимися единственно узорами на их крышках. На каждой изображен был щит, какие бывают у рыцарей и у родовитых семейств, только щиты эти различались рисунком. Но на обоих столах они были обрамлены узорами из перевитых листьев, цветов и знаков, и никогда не доводилось мне видеть более хрупких стеблей былинок, более изящных соцветий и колосьев, чем на этих узорах, а ведь они были сделаны из дерева и вправлены в дерево. Прочую утварь составляли стулья с высокими резными спинками, вязью и инкрустацией, две резные лавки, будто сохранившиеся со времен средневековья, расписные знамена и, наконец, две ширмы, обтянутые тисненой кожей, а на ней цветы, плоды, звери, отроки и ангелы из рисованного серебра, выглядевшего как цветное золото. Пол в комнате, как и прочая мебель, был выложен инкрустированными плитками старинной работы. При входе в эту комнату мы также — вероятно, по причине особой красоты пола — сохранили на ногах войлочные туфли. Любезный хозяин дома и здесь, когда я выразил свое восхищение обстановкой, отвечал столь же немногословно, как и при осмотре мраморной залы; однако же удовольствие явственно читалось на лице его.

Следующая комната также оказалась старинной, и окна снова выходили в сад. Пол тоже был выложен мозаикой, но стояли на нем три платяных шкафа — комната служила гардеробною. Шкафы были огромные, со старинной инкрустацией, с двустворчатыми дверцами. Они показались мне не столь красивыми, как письменные столы в предшествовавшей комнате, но были тоже красоты примечательной, особенно средний, самый высокий,

увенчанный резьбою с позолотой, на его дверцах изображены были щит и узоры из листвы, перевитой лентами. Помимо шкафов, тут стояли только стулья да еще сооружение, предназначенное, по всей видимости, для вешания платьев. Отделка дверей с внутренней стороны соответствовала отделке мебели резьбою и инкрустацией.

Осмотрев комнату, мы спустились по лестнице к выходу, сняли войлочные туфли, и тут хозяин сказал: «Вы, вероятно, удивляетесь тому, что в некоторых частях моего дома приходится терпеть такое неудобство, как эти туфли. Но иначе, право же, нельзя, полы слишком чувствительны к повреждениям, чтобы можно было ходить по ним в повседневной обуви; да и комнаты с такими полами предназначены, собственно, не для жилья, а лишь для осмотра, к тому же, я полагаю, удовольствие от осмотра только повышается, когда оно сопряжено с известными неудобствами».

Я ответил, что эта мера вполне целесообразна и ее следовало бы применять повсюду, где надобно сохранять такие полы, весьма ценные своей искусной отделкою.

Это написано Штифтером в 1857 году; а теперь для сравнения приведу стихи Гюнтера Айха:

опись

Вот моя каска,
моя шинель,
вот моя бритва
в холщовом мешочке.

Консервная банка —
мое блюдо, мой кубок! —
я имя свое
нацарапал на жести.

Нацарапал вот этим
гвоздем драгоценным —
его от завистливых
прячу я глаз.

В вещевом мешке
пара носков,
а что в нем еще —
никому не скажу,

но все это ночью
мне служит подушкой —
лежит картон
между мной и землей.

Карандаш вот этот
всего мне дороже:
днем стихи он запишет,
пришедшие ночью.

Моя плащ-палатка,
записная книжка,
мое полотенце,
ниток моток.

ЛАГЕРЬ № 16

Гляжу сквозь колючую проволоку.
Там Рейн свинцовый течет.
Сжимаюсь в окопе — что толку?
Дождь за шиворот льет.

Укрыться нечем. Шинели
Давно уж простыл и след.
В сырой земляной постели
И друга рядом нет.

Стелю себе на ночь люцерну,
Беседую сам с собой.
Рейна рокот неверный,
Звезды над головой.

Люцерна пожухнет, и снова
Небо затянет покров,
И Рейн ни единым словом
Не навеет мне сладких снов.

Лишь дождь останется плакать —
Ни крыш, ни плотин, ни мостов,—
И будет растоптана в слякоть
Зелень весенних лугов.

Где вы, друзья боевые?
Ах, вас теперь не найдешь.
Мне в эти дни дождевые
Гости лишь червь да вошь.

Наверное, вот в таком сопоставлении текстов, отобранных в исторической последовательности, и просматривается эстетика гуманного. Штифтер отчаянно за-

клинает утопию стабильности, культуры, надежного жилья — Айх в своих стихах не только дает лирическое воплощение темы отбросов, отходов, но и изображает их как единственные оставшиеся человеку жилью и обиход. И мы, в окружении этих текстов — прозы Адлера и Штифтера, стихов Айха, — оглушенные и подавленные ими, как гигантскими резонаторами, начинаем понимать, что нам уже невозможно ни стилистически, ни эстетически воплотить какие-либо предметы сегодняшнего потребительского обихода, даже такой безобидный и полезный предмет, как холодильник, такое относительно скромное и безобидное сооружение, как автомобиль, — они оказываются эстетически невыразимыми, невоплотимыми. Я толкую для себя этот факт как свидетельство негласного, но неумолимо-жесткого соответствия эстетических законов наличествующей моральной системе ценностей. Существует некий почти мистический разрыв между тем, что может описать, реально воссоздать современная литература, не впадая в искажения, и тем, что неоспоримо-реально с точки зрения статистики и национальной экономики. Разве штифтеровское описание бургерского дома не звучит для нас сегодня почти пародией? Войлочные туфли, дом как музей... Вообразите себе, что нынешний автор описывает художественный аукцион, на котором покупаются музейные редкости для обстановки квартир, — разве это не фантасмагорическая затея, если помнить, что уже существуют тексты Айха, Адлера? Конечно, иные ищут выход в снобизме, в цинизме, в нигилизме — или во всем понемногу, или попеременно то в том, то в другом, — но страны, в которой захотелось бы остаться, пожить, из этого не создашь; снобизм ли, цинизм ли — как грань литературы все это очень мило, может быть, даже необходимо, — но почвы под ногами это не дает, как и не создает той атмосферы жилого уюта, которая одна только и позволяет употреблять само слово «будущее».

Я несколько бы не удивился, если бы кто-нибудь в нашей стране написал роман о содержимом первого попавшегося мусорного ведра, — уж не будем говорить о гвозде, куске картона и консервной банке, составивших утварь и жилью для человека в стихотворении Айха. О степени гуманности страны можно судить по тому, что у нее попадает в отходы, сколько повседневных, еще пригодных вещей, сколько поэзии в ней выбрасывается на свалку, считается заслуживающим уничтожения.

Я толкую для себя повесть Адлера как свидетельство окончательного крушения штифтеровской попытки изобразить человеческое жильё — и как продолжающееся путешествие по весям общества, которому угрожает перспектива либо свалки, либо музея,— общества, которое еще не обрело гуманности. Слова «отбросы», «подонки» у нас также слишком легко и скоро употребляются применительно к людям — напомним цитированное мною место из повести Адлера, где людей объявляют отбросами, а их платья — не они сами — оканчивают свое существование в музее. Литературе явно остается избирать предмет своего изображения лишь то, что причисляется к отбросам, предназначается на выброс.

Что было родиной, жильем, соседством, человечностью отходов — все это, наверное, отчетливей всего можно наблюдать на судьбах тех, у кого нет больше родины, хоть их и не изгоняли. Лавину туризма, эту горячку путешествий можно истолковывать и как бегство из страны, утратившей уверенность в себе, ибо ее жители и ее политики не хотят осознать, что в начале было изгнание, когда людей объявляли отбросами и обращались с ними как с таковыми, и что у колыбели этой страны стоял народ, копающийся в отходах. То, что многие изгнанные устроились и сориентировались тут лучше, чем многие не лишавшиеся родины, убедительно доказывает, что слова «изгнанный с родины» нуждаются в новом толковании: если бы наши «изгнанные» в своих сообществах осознали и приняли букву, дух и язык адлеровской повести, еще оставалась бы надежда, что слова «изгнанный с родины» будут очищены от всякой примешиваемой к ним демагогии, что родина для всех — для эмигрантов, изгнанных, неизгнанных, для всех выживших — приобретет свойство гуманности и станет доступной для художественного воплощения. Выражаясь художественным языком, речь идет о таком тонком, таком хрупком образовании, как запрещенная снежинка на щеке Церлины, как тот гвоздь и тот кусок картона, как ломтик хлеба, о котором Борхерт написал один из лучших своих рассказов.

Возрастная группа, к которой я принадлежу, этот с демографической точки зрения опорный элемент данной страны и данного общества, не может без конца повторять азбучные истины. Это не только моральная проблема, то есть нечто такое, чему с помощью поверхностного штампа «преодоление прошлого» можно снис-

ходительно воздать должное (будто панибратски похлопать по плечу) и одновременно не придать серьезного значения, как смешной причуде. Мораль и эстетика взаимосвязаны, связаны неразрывно — вне зависимости от того, насколько запальчиво или спокойно, насколько мягко или ожесточенно, в каком ракурсе или стиле автор описывает или просто изображает сферу гуманности: разрушенное соседство, отравленная атмосфера не позволяют ему укреплять доверие, даровать утешение; единственное утешение, которое могут предложить люди моего возраста, — это сознание того, что все преходяще, — утешение бренности. Слишком много произошло событий, слишком много было пустых слов, слишком мало дел в те времена, когда мы вступали в возраст ответственности. Вокзалы, станции, лагеря, снова станции, вокзалы, лагеря, госпитали, очереди за хлебом, за сигаретами, за выписками; не успеешь оглянуться — и, согласно свидетельству о рождении, ты уже обязан вести себя как взрослый, чувствовать бремя ответственности, которую никогда не сможешь принимать совсем всерьез. То еле тянешься, волоча ноги, то подтягиваешься. Где остановишься и что от тебя останется? Вопрос не представляет интереса, ибо в плане статистики возрастная группа, к которой я принадлежу, совершенно несущественна, к тому же она лишена всяких связей и корней — ситуация в высшей степени поэтическая, и особую пикантность ей придает то обстоятельство, что такая позиция не выбрана искусственно, а навязана самой историей.

При чтении антологии, изданной ныне покойным Карлом Оттенем под названием «Опустелый дом», я вдруг обнаружил, что большинство ее текстов, хоть и опубликованных между 1903 и 1937 годами, были мне внове: кроме Гертруды Кольмар, ни одного имени я не знал. Пробелы в языке, в образовании, в памяти — пробелы, которые могут привести к таким же ложным заключениям, как и пустоты в ртутном столбике термометра, о которых я уже говорил. Встает задача не только наверстать упущенное, но и осознать резкие различия даже в пределах одного и того же поколения: как разнятся между собою пражанин Франц Кафка и уроженец Галиции Йозеф Рот! И в то же время — разве не писали они оба языком нашего столетия, языком, который нам гораздо важнее предложить потомкам, чем любое вино века? Они были почти ровесники, родились не намного

дальше друг от друга, чем Томас Манн и Готфрид Бенн. Можно ли найти более несходные вещи, чем «Сусанна» Гертруды Кольмар и «Слепой» Эрнста Бласса, прочитанные мною в антологии Оттена? А ведь оба были берлинцы, оба евреи, ровесники, оба писали по-немецки: немецкий Гертруды Кольмар парит в стихии грез и преданий, немецкий Эрнста Бласса прозрачен и элегантен. В той же антологии — «Зенобий» Эфраима Фриша; появиись он сейчас — у него были бы все шансы быть воспринятым как сенсация, вознесенным до небес как явление модерна.

В доме нашего прошлого совершенно не только убийство, но и самоубийство; он в самом деле опустел, и попытки снова сделать его жилым или хотя бы проверить его пригодность для жилья были робкими и беспомощными — в силу исторических, но также и статистических причин. Родина? Что за вопрос... И все же я думаю: если уж человек должен жить после Освенцима, жить вместе с бомбой и тем не менее учиться выговаривать слово «будущее», ему надо было бы иметь твердую почву под ногами. И ему следовало бы учиться тому, что так трудно дается человеку, пережившему империю, республику, диктатуру, междуцарствие, вторую республику: верить в государство. Но можно ли вообще научиться осознать этот удивительный долг — быть гражданином государства, а не просто налогоплательщиком, — если ты со своего семнадцатого до своего двадцать восьмого года жил в государстве, которому денно и нощно желал гибели, в государстве, состоявшем из стольких слов, — как темный клубок безнадежно перепутанных, перемешанных нитей? Тогда в церквах молились за победу священнослужители того же вероисповедания, что и их собратья, ежедневно подвергавшиеся истязаниям в лагерях. Многие пытались предотвратить то, что еще можно было предотвратить, а уже сами такие попытки означали вовлеченность в схватку. Было открытое, тайное, активное, пассивное сопротивление — все степени вовлеченности, все разновидности сопротивления в необозримой массе преступного или простодушно-невинного безразличия; люди развращались и развращали — то была зараза, от которой не отмахнуться, как от досадного эпизода; мысль, слова, сам воздух — все с тех пор отравлено, и одними только судами нам от этого не очиститься. Если мы хотим возрождения гуманности, необходимо заняться кропотливой повседневной работой; она скучна,

тягостна; она должна начинаться с хрестоматий, с детских садов.

Это то, что вам предстоит, — вырабатывать эстетику гуманного, развивать формы и стили, соответствующие нашему сегодняшнему моральному состоянию. Опасайтесь громких слов; опасайтесь поминальных торжеств, на которых в музыкальном обрамлении снова возрождается зловещий, мрачный пафос. Помпа таких торжеств заглушает как раз то, во что надо напряженно вслушиваться: молчание мертвых. Поминование умерших — это тоже вопрос стиля, эстетики. Пусть остановятся поезда в открытом поле, пусть оборвется нелепая суতোлка уличного движения, пусть закроются лавки, пусть не продают больше хлеб, и пустите детей приходить на большие кладбища, а еще лучше на какое-нибудь безымянное поле, где бы им рассказали, сколько пригоршней земли и праха, сколько людей уместилось в нем — тех, что не покоятся на кладбищах. Большинство из них умерли молодыми, а молодым умирать нелегко. Есть маленькая казенная неточность в словах «убитый» или «павший»: они создают впечатление внезапности смерти, а умереть мгновенно посчастливилось лишь очень немногим. Умирающие затихают так, как если б они медленно исполнялись презрения, и еще их слегка знобит, ибо грозное величие, осеняющее их, дышит холодом. «Геройская смерть» — слова эти лживы, как памятник героям. «Герой» — вы помните это слово, оно было в повести Адлера: снежинка и герой.

Когда ты — один из выживших в статистически столь несущественной возрастной группе, тебе трудно принимать всерьез, а уж тем более уважать государства и их стиль. Проложены рельсы, расставлены стрелки, распределены посты — свой стиль общество выработало, но это не наш стиль. Может быть, он ваш — стиль молодых? Фрак, цилиндр, хомбург — все это мне напоминает бесконечную рекламу шампанского, но вполне возможно, что этот стиль не так уж и неуместен, когда шампанское становится повседневным напитком. Такие вещи меняются быстро: для моей матери апельсины были в детстве недоступным лакомством, а в пору моего детства их уже можно было купить больше дюжины за марку. Этот странный для нас стиль государства, возрастная пирамида которого — елка весьма шаткая (в середине у нее самое слабое место — больше семидесятилетних, чем сорокалетних), — стиль этот недолговечен, не до-

веряйтесь ему. Случайные бесприютные гости — ненадежный элемент, с каких бы политических, религиозных или литературных позиций они ни выступали. Вольфганг Борхерт был — так распорядилась смерть — старше Аденауэра. Эта возрастная группа не сумела стать ни мудрее, ни умнее, ни даже сообразительней.

После войны мы начали писать в условиях полного равенства, оказавшегося, впрочем, недолговечным; всякий возврат к литературному авангардизму был бы смешным; какой смысл пугать бюргера, которого уже нет? Сейчас, возможно, настало время пугать его снова — но я для этого уже слишком стар, и времени нет, да и будь оно у меня, я не уверен, что стал бы это делать, учитывая, что в результате всех искоренений и сам бюргерский уклад сейчас почти искоренен; так что пускай уж этими шалостями занимаются кто помоложе.

В 1945 году человек был освобожденным и выжившим; с вами, с самыми молодыми из вас, дело другое: вы свободны, и вы живете; очень скоро вы примете это государство на свои плечи — деды вымрут быстро, вы и оглянуться не успеете, а промежуточное поколение так прорежено. Сумеете ли вы сделать это государство страной, по которой можно будет тосковать как по родине, страной, которая предстанет в литературе обиталищем человечности? Может быть, о том, что происходило здесь между 1945 и 1950 годами, однажды действительно будет рассказано — не обрывочно, не в виде разрозненных намеков и деталей, а в панораме большого романа: о том, что существовала однажды эта беспрецедентная ситуация равенства, что все жители этой страны, как это видится задним числом, были неимущими, владея всем, что попадалось под руку, — углем и дровами, мебелью, картинами, книгами. Страна, опустошенная новой Тридцатилетней войной, — только что освобожденная и всеми оставленная. Когда кто-нибудь просил хлеба, его не спрашивали, был ли он в прошлом нацистом или узником лагеря; казалось, что Германии отныне предназначена роль оставаться страной вне политики.

Но вышло все по-другому — конечно же, не случайно и не так уж совсем по своей воле и по собственному желанию, тем более не в силу какого-либо чуда. Причин было много, историки, экономисты и социологи среди вас лучше их знают и могут все лучше объяснить. Может быть, из людей моей возрастной группы вышли бы впол-

не сносные соседи, с которыми можно было бы по-братски ужиться, но на братство спрос был невелик, зато ценился авторитет, ценились приказы — их ожидали и их получали,— и вот выросла новая гвардия чеканящих шаг, ретивых и подобострастных. А литература пошла совсем другим путем — трудным путем обретения языка, поисков гуманного в отбросах и отходах; потерянно плыла она без руля и ветрил, буквально захлестнутая потоком ставшей наконец доступной иностранной литературы.

А потом внезапно наступил момент, когда все надежды, ожидания, внимание воспитателей, церкви, политиков обратились к поколению, готовящемуся сойти со сцены. Неужели они все настолько не знают человека, что вынуждены искать его обходным путем, через литературу? Или они наверстывают упущенные откровения? Пустое это занятие — искать человека лишь в том, что делает из него литература, надеяться, что таким образом его можно обрести. Слова «эпичность», «эпический» звучат так обнадеживающе, успокаивающе, почти как что-то домашнее, как некое уютное место, где можно прижиться или, выражаясь по-современному, «обосноваться». А следовало бы перед современными романами вывесить предупредительные щиты: не обосновываться, место не для заселения, располагаться запрещено. Кто хочет иметь почву под ногами, должен располагать бóльшим, нежели то, что могут дать ему литература и искусство.

Стоит задуматься и над пропорциями. Невероятные вещи происходят в этой стране: каких-нибудь два-три, от силы четыре автора, числящихся еще и католиками, способны взбудоражить всю статистически весьма существенную массу немецких католиков — двадцать шесть миллионов. Это свидетельствует не столько о значительности самих публикаций, сколько о полной зыбкости, неукорененности бытия в условиях, когда религия существует лишь как сугубо общественный, официальный институт. В доказательство того, на каких полых, глиняных ногах стоит колóсс нашего общества, приведу один пример. Когда современный автор дерзнул изобразить в своем романе такую проклятую сферу человеческого существования, как заводской труд, промышленники возбудили против него судебное дело, а профсоюзы сначала его поддержали, но потом, когда кто-то наконец прочел роман и обнаружил, что автор дерзнул также

изобразить и соглашательство профсоюзов, его обвинили в предательстве. Общество это существует поистине над бездной.

IV

По ряду причин эта моя лекция будет последней, и потому, к сожалению, я не смогу испробовать на всех еще остающихся темах метод сопоставления текстов, расположения их как резонаторов, с помощью которых проверяется и испытывается современный словарь. Даже и в затронутых мною темах этот метод был лишь бегло намечен: бесприютность, отходы, путешествия; много чего можно было бы дополнить, друг с другом сопоставить: Жан-Поля с Гете, Гете с Арно Шмидтом (у всех троих — мотивы путешествия и проживания); Гейне со Штифтером, или — еще убедительней — Гейне с самим собой, тоже изгнанником, каким был и Маркс, тоже нераспознанным и неслышанным, какими были и Клейст, и Гёльдерлин, и Ницше. Остается так много тем: брак, семья, дружба, религия, еда, одежда, деньги, работа, время; остается тема любви.

Когда я еще в юности читал Достоевского, Бальзака, Честертона, меня всегда смущало то обстоятельство, что немцев они не просто, как говорится, не жалуют, а еще и представляют шаблонно; мне это казалось прегрешением против эстетики, морали и гуманности сразу (об их взаимосвязи я уже говорил). Все глубже вникая со временем в проблему, я обнаружил, что в иностранных романах иностранцы почти всегда выходят шаблонными: голландцы неловки и ребячливы, англичане сухи и скучны либо слишком обильно spraysнуты духами Оксфорда или лавандой Блумсбери, французы слишком чувственны или слишком духовны, немцы, наконец, кислы, основательны, музыкальны, ирландцы всегда рыжи, венгры — пылкие брюнеты (в то время как в этой стране столько спокойных блондинов!). Простор для исследований, как видите, велик: вочеловечение человека в романе, похоже, еще и не началось. Со мной не раз приключалось, что иностранцы, знавшие немцев только по романам или по пропаганде, спрашивали меня, неужели я и вправду немец, и я ловил себя на безумной мысли, смогу ли я в случае крайней необходимости привести доказательства своего не то чтобы арийского, но тевтонского происхождения. В изображении национальных особенностей между крайностями смешного и благородного, по-

хоже, нет места для просто человеческого. Так что тем для раздумья хватает. Немцам, например, чужое всегда представлялось явно более интересным: свою дверь они находят с трудом. Одна тема особенно ждет своей разработки: образ еврея в немецкой литературе; отравленные источники, отравленные колодцы — либо колодцы, соблазняющие обманчиво чистой водой. Еще темы: образ человека, образ немца в немецкой литературе, описания его трапез. Одно время меня подмывало сопоставить описания трапез у Диккенса, Бальзака, Толстого или гениального прожоры Томаса Вулфа с немецкими текстами, ибо мне казалось: то, как человек в литературе ест, наверняка связано с тем, какое он обрел в литературе жилье; и связь обнаружилась: в немецкой литературе так же мало едят, как и по-настоящему живут. О деньгах почти не говорят, много голодают, а то и питаются одним воздухом; и потом этот жуткий обычай поглощать пищу молча: притихшие дети за столом — съезжившиеся, присмирившие. Вот уже и новая тема: образ ребенка в немецкой литературе. Полцарства за ребенка, которому дозволено быть ребенком, быть свободным!

Жилье и еда, любовь, брак, семья — все это явно друг с другом связано. Не случайно в изображениях места проживания, семьи и жилища все оказывается взаимообусловленным. Одно из немногих подробных описаний трапезы вы найдете в пятой и шестой главах первой части «Будденброков» Томаса Манна:

Последовала новая перемена блюд. На сей раз подали исполинский багровый варено-копченый окорок в сухарях, а к нему кисловатый коричневый шарлотовый соус и такую гору овощей, что из одной-единственной миски могли бы насытиться все сотрапезники. Разрезать взялся Лебрехт Крёгер. Непринужденно вскинув локти, вытянув прямые длинные пальцы вдоль спинок ножа и вилки, он не спеша, с чувством отрезал один за другим сочные ломти. Подали также шедевр кулинарного искусства консульши Будденброк — «русский горшок», смесь из консервированных фруктов с пикантным хмельным привкусом...

Медленно, долго догорали свечи и время от времени, когда язычки их пламени наклонялись в сторону под налетевшим дуновением воздуха, распространяли над столом тонкий аромат воска.

А хозяева и гости сидели на тяжелых стульях с высокими спинками, тяжелыми серебряными вилками и ложками ели тяжелые, добротные яства, запивали их густыми, добротными винами и высказывали свое мнение.

Дамы очень скоро отвлеклись от глубокомысленных тем. Их вниманием завладела мадам Крёгер, чрезвычайно аппетитно излагавшая наилучший способ приготовления карпов в красном вине:

— Разрезаете их, милая, на кусочки — ну, приличные такие куски, — кладете с луком, гвоздикой и сухариками в плоскую кастрюлю, добавляете чуточку сахара, ложку масла — и на огонь... Но только ни в коем случае не промывать, милочка, — боже упаси! Так прямо с кровью и в кастрюлю...

Наконец на стол водружены были две большие хрустальные вазы со знаменитым «слоеным пудингом» — замысловатой смесью из миндального пирожного, малины, бисквита и заварного крема; а на нижнем конце стола замельтешили первые огоньки — дети получили на десерт свое любимое лакомство, пылающий плюм-пудинг.

— Томас, мальчик мой, будь добр, — обратился к сыну Иоганн Будденброк, извлекая из поясного кармана внушительную связку ключей. — Во втором погребе справа, на второй полке за красным бордоским, — там увидишь две бутылки, понял? — И Томас, явно не впервой облакаемый поручением такого рода, проворно выбежал из комнаты и вскоре вернулся с двумя запыленными бутылками в плетеных сетках. А когда из этой неказистой оболочки в миниатюрные десертные рюмки пролились первые капли золотой мальвазии, этого сладостного дара лоз, настал черед пастору Вундерлиху подняться с рюмкой в руке и, секунду выждав тишины, в изысканных выражениях провозгласить тост... «За благоденствие семейства Будденброк со всеми чадами и домочадцами, как присутствующими, так и отсутствующими... Во здравие!»

Подобная детальность в перечислении ингредиентов, блюд, стихия чисто чувственного смакования — очень редкий случай, и она, конечно, коренится в том ганзейском чувстве собственного достоинства, в том ощущении уверенности в себе, которое самим текстом романа, взя-

тым в его целостности, как раз опровергается. Это уже весьма далеко от Штифтера — у того вы обнаружите не столько ингредиенты и наслаждения, сколько общий ритуал и дух совместной трапезы:

За обедом мой радушный хозяин отнесся ко мне: «Вас, вероятно, удивляет, что мы вкушаем наши трапезы в полном одиночестве. В самом деле, достойно сожаления, что совершенно вывелся старинный обычай, согласно коему хозяин садился за трапезу в окружении всех чад и домочадцев. Слуги тем самым тоже причислялись к семье, они ведь часто всю свою жизнь служили в этом доме, хозяин жил с ними совместную жизнь в приятном согласии, и поскольку все, что есть доброго в государстве и в человечестве, происходит от семьи, то они становились не только добрыми челядинцами, любящими свою службу, но вместе и добрыми людьми, в простодушном благочестии привязанными к дому как к незыблемому храму и видящими в хозяине верного и надежного друга...

Я намеревался было,— продолжал он после минутного раздумья,— ввести этот обычай и в здешнем нашем доме; но здешние люди росли в иных условиях, они вращались в самих себя, не умели привязаться душою ни к чему чужому и лишь утратили бы в этом случае свою внутреннюю свободу. Я не сомневался, что постепенно они бы с этим сжились, особенно младшие, на которых еще воздействует воспитание; но я уже так стар, что для осуществления этого намерения остатка моих лет не хватило бы. Потому я освободил своих слуг от этого принуждения; но те, что придут мне на смену и будут помоложе, могут возобновить эту попытку, если они разделяют это мое убеждение».

И может быть, вы помните заключительную сцену брехтовского «Галилея»: при закрытии занавеса мы видим одинокого старого человека, он сидит за столом и ест; едва ли есть что-либо более пронзительное, чем горечь и печаль этой сцены,— одинокий хитрый старик за едой, его предали — и сам он предал,— кончается великая жизнь, великий человек, и занавес опускается над его чавканьем. Я прочитаю вам эту сцену:

Г а л и л е й. Я предал свое ремесло. Человеку, совершившему такое, не место в рядах ученых.

В и р д ж и н и я. Ты принят в ряды верующих. *(Она ставит на стол миску с едой.)*

Г а л и л е й. Да, конечно... Но пора и поесть.

(Андреа протягивает ему руку. Галилей смотрит на нее, оставаясь неподвижным.)

Г а л и л е й. Теперь ты сам учитель. Можешь ли ты позволить себе пожать руку такого человека, как я? *(Идет к столу.)* Вот кто-то прислал мне целых двух гусей.

Что я по-прежнему люблю — так это поесть.

А теперь сопоставьте с этим два стихотворения Айха:

РЕЦЕПТ ОЛАДИЙ

Берете порошковое молоко
фирмы «Гаррисон бразерс», Чикаго,
яичный порошок фирмы «Уокер энд Мерримейкер»,
Кингстон, Алабама,
не уворованную немецким лагерным начальством муку
и трехсуточный паек сахара,
смешиваете все это с хорошо хлорированной
водой дедушки Рейна —
и тесто готово.
Киньте восемь суточных пайков смальца
на крышку консервной банки —
и пеките себе оладью
над костром из сухой травы.
А потом, разделив ее
по-братски на восьмерых,
вы почувствуете, — о, блаженство! —
как она тает во рту,
и на какую-то долю роскошной
секунды к вам вернется
уютное счастье детства, —
как вы прокрадывались на кухню,
чтобы выклянчить щепотку теста
еще до наступления Рождества
или кусочек вафли, остаток
от воскресных гостей, —
и за эту мимолетную секунду
вы вдохнете
аромат всех кушаний детства,
еще раз вцепитесь в фартук
матери, —
о, печное тепло, материнское тепло! —

а потом вы снова очнетесь
с пустыми руками,
посмотрите друг на друга
голодными глазами — и снова
поползете угрюмо в окоп.
Оладью
поделили нечестно,
и вот так всегда
надо следить, чтоб тебя
не обделили.

ПО ПУТИ К ВОКЗАЛУ

Стынут в лунном свете
фабричные камни.
К утренней дрожи
привыкнуть пора мне!

От фляжки с кофе
боку теплее.
Замерзшие руки
в карманах грея,

сонный, брел бы на поезд
шестичасовой,
не зная печали,
доволен судьбой.

Но вот из пекарни теплый дух
повеял мне вслед —
и будто кто сердце мне приласкал,
и покоя мне нет.

«И вот так всегда надо следить, чтоб тебя не обделили», — говорится в последних строчках стихотворения Айха. Может быть, немцы всегда чувствовали себя обделенными? Признаюсь вам, что по мере углубления в перечисленные мною темы, в поисках литературных их воплощений на душе у меня становилось все беспокойней: единственным писателем после Гете, нашедшим связь вещей и времен, был Штифтер; вот на его произведениях, как и на произведениях Жан-Поля, можно демонстрировать эстетику гуманного, которая охватывает все названные мною темы. Занятия Штифтером обогатили меня открытием полноты, запрятанной за его скупым языком, но также и открытием его современности, которая означает для меня современность средств выражения. По-моему, он мог бы стать отцом нового

гуманного реализма, вдохновителем попыток — нет, не уничтожить совсем пропасть между действительностью статистической и действительностью, изображенной в литературе, и даже не перекинуть мост через нее, а хотя бы постепенно ее засыпать.

Трапезы в послевоенной литературе — это всегда бутерброды на бегу; затяжные и утомительно-церемонные сидения за столом кажутся сейчас чем-то бесконечно далеким, жутковато-гротескным, доступным лишь сатирическому изображению. А ведь есть масса ресторанов, в которых люди мирно и дружно сидят и едят, — но для литературы там, похоже, мест нет. Она довольствуется ломтем хлеба и супом, второго ей не подают, она перекусывает стоя. Может быть, Штифтер помог бы ей расположиться поудобней.

Что я еще охотно бы развил — и к чему я подготовлен и, похоже, предназначен этим обществом, производящим столько отходов, — так это эстетика хлеба в литературе; сначала он — реальный хлеб, испеченный пекарем, или хозяйкой, или крестьянином; но и не только это, а нечто большее, много большее — знак не только братства, но и мира, и даже свободы; и еще большее — самый действенный возбудитель любви; а еще он профора, облатка, маца; но вот он магически преобразуется в таблетку, заимствовавшую свою форму от облатки, и таблеткой заменяется все: и братство, и мир, и свобода, и любовный напиток... Но я еще не дожил — и вряд ли доживу — до того возраста, когда человек начинает пережевывать жвачку, интерпретируя самого себя, так что предоставляю другим эту тему, на которую я так много написал. Отвести хлебу должный ранг в системе эстетики — это завело бы нас хоть и далеко, но не в бесконечность; тут надо было бы и дисциплинировать себя, наводить в материале порядок, вести изыскания, но и к мусорным свалкам мы пришли бы неминуемо.

Когда я говорил о том, что у нас нет обжитого пространства, я упомянул и об отсутствии у немцев детских книг, книг для юношества, детективных романов — вообще всего того, что называется развлекательной литературой. На ущерб, наносимый таким положением дел истинной литературе, сетований раздавалось немало: исчезает живая среда, а с нею, разумеется, и сам мир; провинциальная немецкая боязнь провинциальности препятствует установлению доверительных отношений со средой,

а стало быть, и связей с миром. Тут, прежде чем хоть бегло коснуться дальнейших тем, я должен, во избежание недоразумений, сознаться в одном личном изъяне: я никогда не видел разницы между истинной и развлекательной литературой, т. е. при чтении истинной литературы я самым легкомысленным образом развлекался — или, если выразиться яснее в негативной форме: я очень редко скучал при чтении истинной литературы. «Грозовой Перевал» Эмили Бронте, «Братья Карамазовы» Достоевского, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Преступление» Бернаноса, первый роман Алена Роб-Грийе «Резинки» — сплошь детективные романы! «Робинзон Крузо» — отнюдь не только детская книжка, равно как и самая горькая, самая злая из всех сатир — «Путешествия Гулливера», написанная Свифтом, который родился в том же городе, что и Джойс, но в отличие от Джойса в нем же и умер. «Под грушей» Фонтане, «Каменное сердце» Арно Шмидта — всё детективные романы.

Точно так же, как и в случае с литературой истинной и развлекательной, я никогда не понимал — и уж тем более не принимал всерьез — различия между литературой «ангажированной» и «неангажированной». Повторю еще раз: вас обманывают, когда какого-нибудь автора хвалят за его убеждения (всякий раз признаваемые достойными), а форму ему прощают или о ней умалчивают. Анализ содержания без анализа формы допускает возможность любой подтасовки, и если бы достойное убеждение и истинная литература всякий раз находились в прямой зависимости, нечего было бы вообще рассуждать об убеждениях, ибо истинную литературу сразу можно было бы распознать по ее стилю, ее форме, манере выражения. Надо взять за непреложное правило: чем более «ангажированным» считает себя автор, тем лучше он обязан писать. Я, во всяком случае, не понимаю, почему я должен скучать ради какого бы то ни было убеждения. Ничто не должно быть скучным — и религия в том числе; это блестяще доказал Кьеркегор, а до него Августин, а после них и Кафка, и Фолкнер, и Толстой. Мы никогда не поймем ни Джойса, ни Грасса, если не будем знать, что это значит для человека — быть католиком или перестать им быть, какое возникает неимоверное напряжение и какие высвобождаются непредсказуемые силы, когда человек теряет или оплакивает подобную веру, как в случае с названными именами.

Немыслимо, невозможно понять ни того, ни другого, если не понимать этих предпосылок.

Разумеется, ни о каком понимании не может быть и речи, когда мы наблюдаем жалкие потуги церкви на научность, и не случайно столь дьявольское единодушие обнаруживают атеисты и те церковные чины, что позволили унижить себя до роли коммивояжеров. Я уже говорил, что тут неизбежны самые противоестественные смещения и смещения фронтов; и в один прекрасный день церковь свихнется уже настолько, что не сможет понять религиозную проблематику литературы без специальных знаний в области эстетики, ибо в этом сложном мире даже и все самое простое, легкодоступное идет — вынуждено идти — все более сложными путями. Автор, отважившийся придать своему роману напряженность религиозной проблематики, сразу преступает все пределы безопасности, какие ему обеспечивает любая из господствующих литературных мод. Читатели, стоящие вне всякой религиозной проблематики, могут с полным правом ограничиться недоуменным: «Ну и что?» — а убежденные христиане окажутся то ли в завидном, то ли в незавидном положении, когда обнаружат, что у них нет под рукой подходящей и общепонятной эстетики, которая согласовывалась бы с их верой или их моралью; они уж и так развили поразительную расторопность в выборе эстетики на любой вкус: между Аристотелем и Брехтом их ведь есть добрая дюжина — бей какой попало, если унюхал у кого-то излишнюю вольность, а то и, чего доброго, вольности во множественном числе.

Я сказал недавно: вочеловечение человека, похоже, еще не началось; но, похоже, еще не началось и само христианство; наши церкви все еще не понимают, что есть любовь, хотя в их распоряжении достаточно текстов, которые они могли бы сопоставить друг с другом, — великолепных текстов! В итоге осталась только злополучная юридическая изощренность в регулировании любви и брака. А что, если брак становится безлюбивым — или, напротив, любовная связь, не освященная браком, принимает форму брака? Эстетика любви, брака — подразумевает ли она непременно «законную» связь? В качестве материала тут нет ничего более увлекательного, чем твердая, непреклонная мораль, — мне достаточно напомнить вам лишь романы Грэма Грина: «Конец любовной связи», «Тихий американец», «Ценой потери». В них то, что воспринимается как оковы, цепи, образует

форму — а вместе с ней и то сопротивление, без которого литература уже перестает быть литературой. Это та самая проблема внешнего и внутреннего отчуждения от предмета, которая может быть обозначена такими старомодными словами, как «измена», «грех», «обман». Еще один напряженный конфликт — в теологическом плане его легко обозначить тремя именами: Ева, Мария, Магдалина; ни одна из них никогда не обнаруживается в женской натуре в чистом виде — они всегда перемешаны.

Для литературного выражения и воплощения любви я не вижу никакой более подходящей эстетической предпосылки, нежели религиозная. Рутинная практика абсолютно безопасного и абсолютно пресного промискуитета, шаблонный образ водевильной Евы или водевильной Магдалины — если тут и обнаруживаются раны, их легко залечить коробкой конфет или меховым манто. Там, где отпадает проблема внешнего и внутреннего отчуждения, где исчезает святое триединство женственного, где не царит даже голый инстинкт, простодушно согласующий похоть с заповедью продолжения рода, — там путь ведет в тайные палаты гинекологии, где владычествуют лишь кровь и нож, и еще смерть, и опустошение.

О, тут еще нас ожидают противоестественные смешения фронтов: то, что раньше проклиналось как блуд, может однажды обрести статус теологического канона; мать, произведшая на свет внебрачного ребенка, — дитя любви, по прекрасному старинному выражению, — может однажды стать примером для христианских матерей. Надо быть готовым к самым невероятным вещам, если церкви и дальше будут самым жалким образом навязываться наукам или привязываться к ним, кооперироваться с ними. Я уже говорил: западное высокомерие по отношению к Востоку я считаю опасным самообманом; и чистым самоубийством я считаю расхожую иронию по отношению к тому, что изволят называть восточным ханжеством. Признак безнадежного извращения или извращенности я вижу не в том, что, скажем, на Востоке еще сохранилось целомудрие, тогда как на Западе воцарился свальный грех, а в том, что этот самый западный мир все еще смеет называть себя христианским.

Рассуждая хладнокровно — с тем хладнокровием, с которым следует относиться ко всякому материалу, — можно найти такое положение дел и смешным и тогда сделать его предметом не юмористического, а сатириче-

ского осмысления. Разумеется, всякого автора, ищущего стиль и форму выражения для религии и любви, это ставит в парадоксальное положение, и из степенного отца семейства, как предсказал уже Шарль Пеги, может получиться авантюрист, а какой-нибудь любитель эротических приключений, последыш Казановы, в сравнении с таким авантюристом может оказаться всего лишь смертельной занудой. Не существует больше никакого внешнего отчуждения от любимой — ведь нынче все так просто устроить; нет необходимости в алиби — ведь нынче повсюду царит полное взаимопонимание; не существует внутреннего отчуждения — ведь нет больше ни измен, ни греха, ни ревности. В таком обществе и любви как эстетической проблемы больше не существует — ибо она не находит для себя формы, не находит сопротивления.

Мне очень жаль, что я вынужден формулировать все это лишь кратко, тезисно, на многое лишь намекать, большую часть оставляя разве что как побуждение к дальнейшим раздумьям. Я признаю, что тема была задумана слишком широко; я сам не сознавал, за что берусь, и понял это лишь тогда, когда начал глубже вникать в отдельные темы. Обнаруживать, какое выражение что находит, распознавать в содержании форму, в тексте предмет текста — такой метод, возможно, и способствовал бы выработке критериев. Исследовать образ еврея у Штифтера, у Раабе, у Гейне, у Brentano; юмор у Гете, Шиллера, Жан-Поля, Штифтера.

Со времен Готшеда почти все немецкие писатели бились над определением понятия «юмор», которое примерно в Готшедовы времена, в начале XVIII столетия, еще не переключалось из медицинской сферы в литературную, но все же напрашивалось и как литературное понятие. Были самые разные, сменявшие друг друга определения: Готшеда, Лессинга, Виланда, Гердера — и, конечно, единственного из всех немецких писателей, обладавшего юмором, — Жан-Поля, чье творчество является собой завершенную систему эстетики гуманного. Поскольку я, после длительного перерыва, много занимался Жан-Полем, я не перестаю удивляться, что такой писатель не смог стать немецким Диккенсом или Теккереем. Может быть, это связано с ущербностью немецкой образованности, с нежеланием немцев жить в собственном мире, в собственной среде? Вот подумайте над вопросом: может быть, Жан-Поль был для немцев слишком немцем? Когда человека, обладающего чувством юмора, мы

называем юмористом, мне чудится тут некоторая пере-
держка. Обладать чувством юмора — и обладать им как
писатель — это, по-моему, нечто иное, чем просто быть
юмористом. Тут есть разные определения, разные исход-
ные точки: романтическая ирония, Шлегель, Новалис, —
но, к национальному несчастью немцев, судьба распоря-
дилась так, что их представление о юморе определено
было человеком, который, на беду нашу, соединил слово
с образом: Вильгельмом Бушем. На выбор нам пред-
лагался Жан-Поль, гуманный человек, обладавший чув-
ством юмора, а выбран был лишенный гуманности Виль-
гельм Буш, иллюстрировавший сам себя; его юмор — это
юмор злорадства, злобная ухмылка, и я без всяких
колебаний назову этот юмор антисемитским, ибо он
антигуманен. Он спекулирует на самых отвратительных
инстинктах обывателя, для которого нет ничего, решитель-
но ничего святого и у которого не хватает соображе-
ния даже на то, чтобы заметить, что своим ужасным
смехом он засмеивает и самого себя, сам превращаясь
в ничто, в мусор. Это смех и дух свалки.

Юмор долгое время понимали так: стащить с ходулей
возвышенное или то, что себя выдавало за возвышенное.
Но если вообще существует оправдание для юмора в ли-
тературе, то его гуманность, вероятно, заключается вот
в чем: показать возвышенность того, что общество счита-
ет достойным лишь свалки. Различие между немецким
и общеевропейским юмором вытекает из различия меж-
ду Дон Кихотом и Вильгельмом Бушем — убийственный
результат. А разница между возможностями немецкого
юмора и его популярными формами вытекает из разли-
чия между Жан-Полем и тем же Вильгельмом Бушем.
Жан-Поль формулировал это так: «Будучи изнанкою
возвышенного, юмор уничтожает не единичного челове-
ка, а саму преходящность как таковую, показывая ее
противоположность возвышенной идее. Для юмора не
существует единичной глупости и единичных глупцов,
а есть лишь глупость как таковая и безумный мир».
В повести Дж. Д. Сэлинджера «Симор. Интродукция»
я обнаружил эпизод, проникнутый тем же духом. Там
о вымышленном брате рассказчика Симоре говорится:
«Помню также, как однажды ночью — мы были еще
мальчишками — Симор растормошил меня, спавшего
глубоким сном, — стоит ужасно возбужденный, пижама
желтым пятном маячит в темноте, а лицо такое, про
которое мой брат Уолт всегда говорил: «Эврика из глаз

прет». Он жаждал сообщить мне, что наконец-то понял, почему Христос никого не велел называть безумным... Симор считал, что мне это тоже крайне важно узнать: Христос распорядился так потому, что безумных людей вообще не существует».

«Никого не называй безумным» — это дух Жан-Поля. У Буша происходит обратное: уничтожение единичного человека, уничтожение homo, гуманности. К сожалению, немецкое представление о юморе и поныне определяется Бушем — не Жан-Подем, не ироническим принципом романтиков. Это юмор злорадства и злобы, юмор, который не возвышенное делает смешным, а отрицает в человеке возвышенное. Это юмор мусорщика, а не юмор уязвленного, характерный для сатирика.

Уж сколько было попыток дефиниции, а четко разграничить остроумие, юмор и сатиру так и не удалось. В случае с юмором трудность заключается в том, что ему нельзя научиться, — либо он у тебя есть, либо его нет. В иронии — дословно она означает «притворство» — можно натренироваться, сатиру можно изучить — при том условии, конечно, что у вас есть необходимая предпосылка: дар божий. А вот эстетику остроумия, юмора, иронии и сатиры едва ли когда удастся четко обосновать: тут обязательно нужен партнер, публика — нужны резонаторы, — а смех публики — эстетическая реакция очень опасная, потому что очень расплывчатая, особенно в том случае, когда публика тренировалась в юморе на Вильгельме Буше.

Есть великие писатели и мыслители, не обладавшие чувством юмора, — что их величия нисколько не умаляет: совсем не было этого чувства у Гёльдерлина, едва ли много у Толстого, очень мало у Гете, а Гегель его прямо-таки презирал; но были все-таки и Гоголь, и Диккенс, и Жан-Поль, и Клейст. Сейчас я склонен — в противоположность ранним своим убеждениям — не доверять и юмору бравого солдата Швейка: это юмор не то чтобы негуманный, но почти уже растительный, животный, у него нет никакой цели, кроме одной: по окончании войны пить пиво в харчевне. Он пассивен, а его простодушие граничит почти уже с преступностью — но это и исторически обусловленный юмор, такой возможен был только в «императорско-королевской» Австрии. Чувство юмора предполагает наличие некоего минимального оптимизма и печали одновременно (это и делает его столь подозрительным для тех, у кого его нет): поскольку слово «humores»

означает «жидкость» и «соки» и подразумевает, таким образом, все телесные соки — стало быть, и желчь, и слезы, и слюну, и мочу, — оно оказывается связанным с материальной, плотской стихией, сообщая ей в то же время качество гуманности. Как мне кажется, есть только одна гуманная возможность для юмора: утвердить возвышенное в том, что общество объявляет достойным лишь свалки, что оно считает отходами и отбросами.

Я должен тут еще раз вернуться к тому, о чем говорил в своей первой лекции: общество, сбитое с толку эстетически и морально, легко дает себя одурачить, ему не хватает величия, и поэтому достойный объект для своего юмора писатель находит лишь в тех, кто не принадлежит к «большому миру», в тех, кого общество охотно отправило бы на свалку и кому беспрерывно, под треск и канонаду рекламы, великие мира сего навязываются как образец. Сейчас истинно возвышенно то, что асоциально, и, чтобы обнаружить это его величие, надо обладать чувством юмора. Юмор едва ли нужен для того, чтобы показать, сколь мало возвышенны великие мира сего; противопоставлять этот мир, все еще объявляющий себя христианским, его собственным идеалам и притязаниям — это дело сатиры. Напомню вам еще раз определение Жан-Поля: «Для юмора не существует единичной глупости и единичных глупцов, а есть лишь глупость как таковая и безумный мир». Нуждается ли в доказательствах безумие этого мира? Нет, оно нуждается в юморе, сатире, остроумии, иронии — и оно нуждается в печали, без которой юмор не юмор. Смех, в котором нет печали, — смех публики, учившейся юмору у Вильгельма Буша, — придает всем проявлениям юмора привкус неуместности. Стало быть, надо сначала воспитывать в публике способность к смеху — при помощи хотя бы Жан-Поля и без помощи Вильгельма Буша и его традиции злорадного юмора.

Современная литература любой страны — это не только необходимое дополнение к той картине, которая, возникая подобно наспех набросанному автопортрету в дискуссиях, в речах министров на дипломатических приемах, в цифровых показателях экспорта и импорта, так напоминает плакаты туристических фирм. Сравните только Францию Де Голля с литературой, возникшей в период его правления, или все еще хранимое достоин-

ство Англии с литературой ее рассерженных молодых людей, или современную литературу Федеративной Республики с жизнерадостным автопортретом, создаваемым статистическими сводками о жилищном строительстве и проспектами промышленных ярмарок,— вы получите не только картину, что называется, «неуклонного падения», но и вообще нечто зловеще-многозначительное, призрачное. Государственные деятели расточают улыбки, из своих поездок к соседям они непременно привозят домой «полное совпадение взглядов», выходят из салонов самолетов с традиционным подарком: со своей часто несколько натушной, но неколебимо бодрой улыбкой, которая отнюдь не всегда покоится на лицемерии,— нередко она всего лишь форма проявления отчаяния и пустоты, с усилием удерживаемых за стиснутыми белоснежными зубами.

Современная литература любой страны — это не только необходимое дополнение; ее сообщения совсем иного рода, чем сообщения политиков. Государственным мужам — из какой бы части света мы на них ни смотрели, относя их соответственно к Западу или Востоку,— всегда грезится что-то вроде социалистического реализма в его административной форме, литература, славящая достижения, несущая знамя, черпающая веру в статистических цифрах, бодро похлопывающая нас по плечу и в самом деле принимающая самолетную улыбку за знак полного взаимопонимания. Стало быть, если государственные мужи сердятся и позволяют себе глупые высказывания в адрес литературы,— это у них так принято, это в порядке вещей. Но я все-таки не понимаю, в чем тут дело: в конце концов все писатели, с большим или меньшим рвением, платят налоги, как это делали все люди с тех незапамятных времен, когда налоги были введены, они в среднем все платят за квартиру, свет, газ,— и это единственная сфера их соприкосновения с государством. Больше из этих отношений, на мой взгляд, выжать нечего. На сходных основаниях строятся и отношения между писателем и обществом. Как можно меньше дурачеств — пускай этим занимаются записные грешники и грешницы, рассчитывающие на публичный эффект, по возможности скандальный.

Что ж, умолкнем и уйдем на задний план, чтобы образовать для статистически неопровержимой реальности более глубокий фон, то есть сделать ее более реальной; ибо без литературы нет вообще государства как

такового, и общество без нее мертво. Чем была бы историческая ситуация 1945 года без Айха и Целана, Борхерта и Носсака, Кройдера, Айхингер и Шнурре, Рихтера, Кольбенхоффа, Шрёрса, Ланггессер, Кролова, Ленца, Шмидта, Андерша, Иенса и Марии-Луизы Кашниц? Германия 1945—1954 годов давно бы стерлась в людской памяти, не найди она своего выражения в литературе той поры. Когда мы сейчас, по прошествии двадцати лет, смотрим на эту литературу и вновь открываем ее, мы особенно отчетливо осознаем, что каждое ее высказывание стало уже раритетом: во всех этих ранних высказываниях — если все время помнить об исторической ситуации — поражает их удивительный юмор, их гуманный реализм. В историко-литературных трудах о том периоде много говорилось о Кафке; но разве до Кафки не было Штифтера? Может быть, без Штифтера и Кафка немислим — как немислим Штифтер без Жан-Поля?

Пока мы не откроем их заново, мы не обречем обжитого пространства, не найдем пристанища для жилья, для семьи — для всех перечисленных мною проявлений гуманного.

1966

К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ МОРИАКА

В начале и в середине тридцатых годов романы Франсуа Мориака были для нас открытиями почти экзотического свойства: южнофранцузский католицизм, аромат пиний, виноградники, «аристократия бутылочной пробки», супружество как тюрьма, прекрасные, впечатлительные молодые женщины, расшатывающие решетки этой тюрьмы; чуждо и незабываемо, еще более чуждо, нежели баварский вариант той религии и церкви, к которой мы себя причисляем, — католической. Там были, конечно, свои опознавательные знаки: «Которое у нас нынче воскресенье после Троицы?» — и даже явные реликты тех времен, которые семья моей матери почитала за «лучшие времена»: французские молитвенники для молодых дам из «хорошего общества», перевозимые с квартиры на квартиру в картонках и сундучках из сомнительного наследства каких-то тетушек и двоюродных бабушек, молитвенники, полные той тонкой, изящно сплетенной, столь же чувственной, сколь и чувствительной мистики, которая довольно сильно отдает янсениз-

мом. «*Le baiser aux lépreux*», «*Thérèse Desqueyroux*»¹, «*Клубок змей*» — религиозная экзотика, которую как раз и намеревалось искоренить немецкое молодежное движение: последние вздохи, последние крики католицизма, вместе с мучкой коего погибнет и его радость.

Поймет ли кто-нибудь когда-нибудь, что кто-то может быть католиком так же, как негр негром? Тогда не понадобятся ни вопросы, ни разъяснения. Это как бы дано свыше. Зачем задавать вопрос: «Почему вы веруете?» — или отвечать на него. «Почему я верую?» Ведь это ни в коем случае не вопрос совести и не, так сказать, ответ по совести. Это просто заслуживает доверия или нет. А кому это последнее представляется недостоверным, тому и разъяснения не помогут. Для меня некоторые объяснения неверия иной раз так же мучительны, как и объяснения веры. Что отличает думающего, интеллектуального, лево- или правокатолика от какого-нибудь португальского батрака, который не только Тейяра не читал, но, может быть, даже вовсе читать не умеет; в чем разница между ними, когда они погружают руку в чашу со святой водой, крестятся и преклоняют колена? Я полагаю, эта разница не так уж велика.

Я читаю расписание школы, принадлежащей общине Девы Марии, которую Мориак посещал году эдак в 1905-м в Бордо: семь часов — причастие и месса, девять часов — торжественная месса, в половине одиннадцатого — богословие, в половине второго — вечерня; и дальше я читаю у Мориака: «Я прошу прощения у марианистов, воспитывавших меня, но я утверждаю, что году эдак в 1905-м религиозное воспитание у нас было равно нулю. Я утверждаю, что у них ни один ученик моего класса не смог бы даже в самых общих чертах ответить на вопросы, на которые любой католик знает ответ. Зато наши учителя отлично умели погружать нас в религиозную атмосферу, в которой протекали все дни напролет, они формировали у нас не католическое мышление, а католическую чувствительность».

О Господи! Я не верю, что какое-то католическое мышление имеет хоть малейшие шансы «сохранить для церкви» того португальского крестьянина, если ему придет в голову, что его столетиями эксплуатировали, обманывали, предавали, в том числе и церковь со своей корпорацией. Если он задумается, то для него будет существо-

¹ «Поцелуй прокаженным», «Тереза Дескери» (фр.).

вать уже только марксистское мышление. Католическое, христианское *действие*, быть может, и убедило бы его. Между тем со времен детства Мориака, с двадцатых и тридцатых годов, когда мы зачитывались его незабываемыми, казавшимися нам экзотическими романами, католическая среда (аристократическая, буржуазная, мещанская — католический пролетариат я до сих пор обнаружил только в одной-единственной стране — в Ирландии) уже не избавление; тот, кто опускает руку в чашу со святой водою и преклоняет колена, тот — католик, и подобно тому, как браки совершаются на небесах, именно там, а не здесь будет проверена истинность объяснений веры и неверия. Чем больше прогрессирует католическое мышление, тем незначительнее, проще будут его отличительные признаки. Это как бы дано свыше, и единственное, на что мы можем надеяться, так это на милосердие, но не думающих католиков, а милосердие атеистов. Разумеется, есть еще мечты, прекрасные, великие мечты, к примеру, в моей душе еще живет мечта о рыцаре, что своим мечом добывает справедливость для бедняков, мечта о деве, что принимает сторону рыцаря, и другие подобные воспоминания, лотарингские и бургундско-брабантские, так что мне кажется, будто я не только понимаю эту мечту, но и могу счесть ее прекрасной — потому что я не француз. У рыцаря и девы мог найтись лишь один шанс против их собственного общества, их собственного окружения в лице тех, кто отрицал западную культуру в течение девятнадцати столетий.

Грядут тяжелые времена для католиков и негров, как, впрочем, и для белых, и для негров-католиков. Наверное, они должны выйти навстречу друг другу не с кровавыми транспарантами, а со словами Уильяма Батлера Йейтса: «Я беден, и у меня есть лишь моя мечта. Ступай осторожнее, а то наступишь на мою мечту».

1965

НЕ ТАКОЙ УЖ ПЛОХОЙ ИСТОЧНИК

О книге Конрада Аденауэра
«Воспоминания 1945—1953»

Вспоминать — одно искусство, писать — другое; когда оба они счастливо совпадают в одном авторе, тот пускается на «поиски утраченного времени», вскаки-

вает среди ночи из теплой постели, кидается в дрожки и мчится будить герцогиню, дабы удостовериться, какое на ком было платье в достопамятный день двадцать пять лет назад около четырех часов пополудни.

Конрад Аденауэр не из таких, демон воспоминания его не мучит, бесы дотошности не преследуют. Он после 1945 года времени даром не терял и не тратил, потому его и не ищет; то был его час, он это время не потерял, а выиграл, сделал своим, он забрал наше время в свои руки. С 1945 года он неизменно был только со временем, впереди времени, вместе с ним, в нем, на нем и над ним; время было к нему милостиво, и он знаменовал собой эпоху, так что с той поры все мы живем не в своем, мы живем в его времени.

Наверно, именно этим объясняется чувство неуютта, которое так омрачает сейчас жизнь большинства западных немцев — от бундесканцлера Эрхарда до последнего безвестного интеллигента. Федеративная Республика и ее власть, что никчемно валяется сейчас на дороге, как ветошь с трупа,— это ведь одежда, скроенная исключительно по мерке Аденауэра. И подогнать ее на кого-то еще будет делом очень и очень нелегким.

Понять, как дошли мы до жизни такой, дилетанту от истории помогает литературный первенец Конрада Аденауэра — это и впрямь не такой уж плохой источник. Правда, сомневаюсь, что большинство покупателей книги возьмут на себя труд и (добровольную) муку рецензента прочесть сей опус целиком.

Нет, это не захватывающее чтение; добрую треть, если не половину, книги стоило бы сократить, ибо какой смысл сухим, казенным слогом пересказывать результаты конференций, протоколы и прочее, сопровождая их бесконечными «в соответствии», «как значитя», «согласно», когда читателю уже обещан сопроводительный том документов, где со всеми этими протоколами можно будет ознакомиться самому и без посторонней помощи? Так что тут очень кстати пришелся бы энергичный редактор с безжалостным красным карандашом и ножницами. Впрочем, памятники Конраду Аденауэру и так обеспечены, с какой же стати он, чья сила всегда была в этаккой кельнской повадке не лезть за словом в карман, взялся еще и за писательство? Зачем столь непоэтично-му политику, который сумел выразить себя в государстве,

в целой эпохе, теперь пытаться выразить себя еще и средствами языка? Нет, ему не хватило умных советчиков, если у него вообще когда-либо были советчики, кроме господина Глобке.

Так кто же, в самом деле, прочтет эту книгу? Надеюсь, не только историки, у которых, смею полагать, не один волосок от этого чтения встанет дыбом. Ведь даже мне, дилетанту в этой науке, бросаются в глаза вопиющие лакуны, через которые автор перепрыгивает с таким проворством, что дух захватывает: Аленская программа, денежная реформа, блокада Берлина, дебаты о вооружении, скандал вокруг Глобке... Не знаю, какие там еще совершены прыжки, пусть об этом скажут архивы, когда откроются, или ученые, когда начнут спорить. Надеюсь, что и философы вкупе с филологами, а первым делом пастыри и верховные пастыри всех исповеданий во всю прыть устремятся к этому источнику, дабы собственными устами испить и изведать, какого духа, какого языка сей отпрыск человеческий, выбирать, снова выбирать, снова и снова выбирать которого они нас так усердно призывали.

Впрочем, не знаю, волнуют ли еще пастырей различных конфессий вопросы нравственности, но вдруг все-таки волнуют — тогда, может статься, первенец Конрада Аденауэра попадет в разряд литературы, вредной для юношества. Если, разумеется, не случится обратного и это введение в основы материализма и соглашательства, прагматизма и циничности не будет рекомендовано юношеству в качестве обязательного пособия по вопросам морали, ибо в тягостном унынии этой не просто сухой, а насквозь иссушенной, убогой прозы, конечно же, попадаются среди других и словечки вроде «западнохристианский» и «христианские идеалы»; но если юный читатель вздумает вдруг доискиваться, чем все-таки жив этот «христианский Запад», в чем состоят эти «христианские идеалы», то ответами ему будут всего лишь: частная собственность и сильная армия, чтобы эту собственность охранять, а еще — никогда не быть не только коммунистом, но и социалистом. Что ж, допускаю, что кому-то такого жиденького, как снятое молоко, запаса благочестивых мыслей и впрямь будет достаточно.

Как говорится, век живи — век учись, а посему я честно стремился извлечь из этого утомительного чтения хоть что-то для себя поучительное. И кое-что

действительно извлек: оказывается, единственный, кто после 1945 года «дотягивал» до уровня Конрада Аденауэра и вообще к нему «тянулся», был Курт Шумахер — но он умер. Карл Арнольд был слишком мягкотел, Густав Хайнеман — слишком честен и слишком протестант, не ему было тягаться с этой кёльнско-католической левобережно-рейнской шатией. А Герман Элерс тоже умер. Остались только наследники-соратники, о которых я еще скажу, да восхищенные современники-статисты, о которых сказать, пожалуй, нечего, достаточно напомнить, что «восхищать» и «похищать» — слова одного корня, и все станет ясно.

Кто прочтет книгу целиком, усвоит и еще кое-что. Он, например, уже на стр. 13 авторского предисловия обнаружит такую вот замечательную сентенцию: «Опыт может быть провозжатым действия и мысли, которого ничем заменить нельзя, даже прирожденным интеллектом. Особенно это касается области политики».

Сентенция эта не только уязвима в своем, что называется, «содержании», ибо начисто опровергается неким политически абсолютно неискушенным интеллигентом по имени Владимир Ильич Ульянов, который в 1917 году вершил в Петрограде политику и историю, она уязвима еще и по части слога, ибо написана таким убогим немецким языком, что любой словесник еще долго будет колебаться, прежде чем скрепя сердце выставить за такой с позволения сказать «стиль» хотя бы кол с плюсом.

А ведь сентенция эта — одна из краеугольных мудростей авторского предисловия. Потому что когда на стр. 44—45 Аденауэр столь же обстоятельно, сколь и неуклюже пытается свалить в одну — конечно же, материалистическую — кучу марксизм и национал-социализм, когда он пеняет Советскому Союзу за то, что там будто бы нет этики, это уже не мудрость, а просто буржуазная слепота. Ибо как раз социально-этический пафос доставляет немало трудностей советской экономике, безумная же расовая идеология нацистов берет истоки вовсе не в материализме, а в идеализме самого мутного и сумрачного толка.

Получается, что это он, Аденауэр, ничего не смыслит в этике, а для *такого* образцового христианина of the western world¹, согласитесь, все-таки удивительно.

¹ Западного мира (англ.).

Зато уж в политической прагматике, в материализации болезненных этических проблем он знает толк. Не приходится сомневаться — он был для западных союзников чертовски неудобным партнером на переговорах, он ловко сумел воспользоваться их страхом перед Сталиным, тем более что этот их страх был ведь и его страхом. В этих жестких переговорах он действовал не только с нечистой совестью, но и — когда считал это нужным и правильным — без совести вовсе, например, когда уже в 1950 году на вопрос Мак-Клоя и Франсуа-Понсе, вступят ли западногерманские полицейские в случае необходимости в вооруженное столкновение с восточногерманскими, «с полной убежденностью» ответил «да». Этим своим «да» он предвосхитил переход тогдашнего военного положения в длительное состояние гражданской войны, в чем, увы, есть, если смотреть на вещи материалистически, своя дьявольская логика.

Германия, которая никогда не могла сделать окончательный выбор между Востоком и Западом, теперь от этого выбора избавлена посредством раздела. Достаточно вообразить, с одной стороны, вооруженную до зубов Народную армию ГДР и, с другой стороны, вооруженный до зубов бундесвер, и прежде чем произнести слово «объединение», попробуйте-ка себе представить для начала, кто и как сумеет эти армии разоружить, а тем паче захочет их «объединять». Так, длительное вооруженное перемирие в гражданской войне стало уделом страны, которую, кстати, от выбора между социализмом и капитализмом тоже избавили. И вот теперь, наткнувшись на это убежденное аденауэровское «да», любой читатель, уж конечно же, сразу прочувствует, как прекрасно быть солдатом, еще прекрасней — быть немецким солдатом, а уж быть немцем — и вовсе распрекрасно.

Все-таки жаль, что не нашлось добрых друзей, которые отсоветовали бы Аденауэру выставлять себя этой публикацией в таком свете. Ибо его проза, быть может, и хороша для разглагольствований, но для сокрытия потаенных мыслей никак не годится. Вопреки всем авторским умолчаниям мне в этой книге открылось достаточно. Вот на стр. 60 я читаю: «Большая часть моих друзей по партии вместе со мной были против чрезмерного обобществления». Как, однако, способно расцвести скромное словечко «чрезмерный» посреди подобной языковой пустыни — это ведь все равно что в песках Гоби вдруг наткнуться на маргаритку!

Читаю страницей дальше, где приводится цитата из «Нехейм-Хюстенской экономической программы» (что, разве Ален тем временем уже вошел в общину Нехейм-Хюстен?): «Умеренная собственность — существенная гарантия демократического государства. Приобретение умеренной собственности всеми честными тружениками должно всячески поощряться». О, святой Герман Йозеф, что же нам теперь делать с неумеренной собственностью наших нечестных тружеников?! Разумеется, все это легко списать на изрядную долю буржуазной слепоты и наивности Аденауэра в экономических и социально-политических вопросах, но тогда спрашивается, не был ли и тот час, когда определялись судьбы западногерманской экономики, часом буржуазной слепоты и наивности?

Когда я (на стр. 207) читаю, что обобществлению рурской промышленности следовало воспрепятствовать еще и потому, что миллионы мелких акционеров вложили в нее свои сбережения в суммах до четырех-пяти тысяч марок, мне остается только снова просить блаженного Германа Йозефа, которому у нас в Кёльне поставлен такой трогательный памятник, ниспослать мне озарение, ибо до меня, хоть убей, не доходит, почему же тогда были ограблены миллионы вкладчиков сберкасс, владельцы таких же, а то и куда более скромных вкладов, и я прошу его, нашего блаженного Германа Йозефа, все-таки вымолить где надо свое весомое «blessing»¹ для его тезки Абса, чтобы тот, чего доброго, скоропостижно не умер от смеха.

Кому по вкусу определенного сорта юмор, уместный и даже подчас весьма забавный в устной речи, но в письменном слове оборачивающийся плоской и скучной обывательской пошлостью, тот на стр. 228 получит возможность испытать странные приступы смеха, непроизвольно переходящие в приступы тошноты. Итак — место действия: дом Аденауэра в Рёндорфе; время действия — 21 августа 1949 года, день крестин первого западногерманского правительства после еле-еле выигранных выборов в бундестаг, где ХДС/ХСС заполучили 139 мест из 402. «Потом я,— читаем мы на этой странице,— затронул вопрос о том, кто же должен занять посты бундеспрезидента и бундесканцлера. Каково же было мое изумление, когда один из присутствующих прервал мои рассуждения на сей счет и сказал, что

¹ Благословение (англ.).

предлагает бундесканцлером меня. Я оглядел лица собравшихся и сказал: «Если все присутствующие того же мнения, я согласен».

Видимо, изумление нашего повествователя было все же не столь велико, ибо вслед за этим он заявил: «Я уже переговорил с профессором Мартини, моим врачом, дабы узнать, могу ли я в моем возрасте принять этот пост хотя бы на год. У него нет сомнений. Он считает, что я и два года могу этот пост нести». Никто не возразил. На том и порешили.

В этом месте, конечно, очень кстати пришлось бы в скобках пресловутое «ха-ха-ха!», дабы современник-читатель точно знал, где ему следует смеяться; в этом же месте любой учитель-словесник просто обязан схватиться за красный карандаш, ибо несут, как известно, службу, а пост обычно занимают. Но прекращать улыбаться еще рано, остроумие рассказчика поистине неисчерпаемо и удержу не знает: «Я перешел далее к вопросу выборов бундеспрезидента. Поскольку второй по величине фракцией в правительстве должна была стать СДП, я предложил поручить пост бундеспрезидента профессору Хойссу. Кто-то спросил: «А знает ли вообще профессор Хойсс об этой идее?» Пришлось ответить, что я, к сожалению, пока не имел возможности переговорить с профессором Хойссом на сей счет. Как позднее поведал мне сам профессор Хойсс, он узнал о наших намерениях только из сообщений прессы. Кто-то привел против кандидатуры профессора аргумент, что он, как известно, не слишком жалуется церковь. Я ответил этому господину: «Зато у него жена весьма христианского образа мыслей, этого достаточно».

Уже в разнице между выражениями «предложить пост», что в данном случае было бы подобающим оборотом, и «поручить пост» — в этой разнице кроется представление Аденауэра о демократии, которая должна быть скроена исключительно по его меркам. От этой пошловатой несерьезности, которая еще с грехом пополам пристала бы в кегельном клубе при выборах второго письмоводителя, становится совсем уж жутко, когда глянешь на фото, предваряющее этот раздел: из рук того, кому он в подобном стиле «поручил» пост бундеспрезидента, Аденауэр принимает мандат бундесканцлера. Торжественная церемония низведена здесь до жалкой комедии, недостает только мужского хора кёльнского певческого ферейна на заднем плане. Итак,

слава тому, у кого на худой конец хотя бы жена «христианского образа мыслей». Слышите, молодые люди, оглядитесь хорошенько, поищите вокруг — нет ли где избраницы «христианского образа мыслей», вдруг да и пощастливится стать бундеспрезидентом!

И, судя по всему, этот «свойский» стиль шкодливой, плутоватой усмешки сохранился надолго, сохранилась привычка несерьезного обращения с властью, ее милостивой, барской раздачи. Почтенные министры вроде Леммера не из уст главы своего кабинета, а с телеэкрана узнавали о том, что они, оказывается, не министры больше.

Много говорилось о гордыне Аденауэра, о его презрении к людям, причем кое-кто даже склонен видеть в этой черте одно из слагаемых его величия. Но истинно великие люди всегда презирали только тех, кто стоит *выше* них, и никогда — тех, кто стоит *ниже*. Тот же, кто, как Аденауэр, поступает наоборот, способствует изничтожению демократии. Нетрудно увидеть, во что выливается подобное презрение, достаточно взглянуть на нынешних наследников Аденауэра, на четверых наших великих усмешников — Барцеля, Штрауса, Дуфуса и Егера. Это плотоядная усмешка тех, кто вошел во вкус мертвечины, которую под видом власти оставил нам Аденауэр, ухмылка нашей «новой Германии», ухмылка наших политических нуворишей, и свидетельствует она о том, что аппетит приходит во время еды.

Два важных мотива тянутся через всю эту книгу. Первый — это неприятие и дискредитация любых форм социализма, часто даже наперекор «друзьям по партии», которые, как это было уже при образовании первого правительства, все-таки пытались привлечь социал-демократов в коалицию; злонамеренно и упрямо Аденауэр всячески этому препятствовал, чем в конечном счете не только парализовал, обескровил и низвел до полного ничтожества силы оппонентов в рядах собственной партии, но и самым пагубным образом подорвал социал-демократические силы.

Второй мотив — это хитростью и коварством, против воли и помыслов тогда еще миролюбивой Германии проводимое и всячески подгоняемое вооружение. Может, Аденауэр и впрямь такой простачок, что недопонял, как это все так неладно вышло с денежной реформой, зато уж барыши и выгоды от ремилитаризации он распознал прекрасно. Разумеется, проводить свою концепцию всей

мощью своей власти — неотъемлемое право всякого политика; ужасно другое — что на этом пути он совершенно не встретил противников, ни среди профсоюзов, ни в рядах своей партии. Единственный в книге не собственно аденауэровский аргумент в пользу относительной популярности программы вооружения — это результаты весьма тенденциозного, пифического опроса, проведенного институтом общественного мнения.

Не приходится сомневаться: Аденауэр угадал свой час, он выказал мужество — например, в своей бернской речи, — выказал и упрямство, не побоялся ни Черчилля, ни Даллеса, ни Шумана, ни верховных комиссаров, и у него не было ни малейших комплексов. Не они навязали ему свою концепцию, концепция эта точь-в-точь соответствовала его собственной, это была концепция заядлых консерваторов, так что Аденауэр просто был их человеком. Он использовал — а это право политика — любую ситуацию, заставил партнеров дорого заплатить за страх перед Сталиным и в итоге «даром» получил Саар; непопулярное вооружение, которого он так желал, он выторговал за послабления и свободы для крупной индустрии, словом — всегда двух зайцев одним выстрелом. Он вызволил военных преступников и тем самым взял на себя свою долю вины и ответственности за ту моральную гниль, которая грозит теперь охватить все, что творится в этой стране под лозунгом «преодоления прошлого».

Так что молодые немцы могут с чистым сердцем и самыми добрыми побуждениями ездить в Израиль, пока они не знают, что 25 января 1944 года Гиммлер в Позенском театре сообщил 250 генералам вермахта об окончательном решении еврейского вопроса, поведав им, что все евреи, включая детей и женщин, подлежат уничтожению, и только пять генералов из 250 не встретили это сообщение аплодисментами (см.: Кунарт фон Хаммерштайн, «Дозор», стр. 193).

Сколько же из этих 250 соучастников Аденауэр потом шаг за шагом, начиная уже с 1950 года, пытался выторговать, вызволить, вытащить, под конец с помощью циничного совета, который он дал Даллесу и Конанту: «Я заявил, что вряд ли в этом кругу выдам большой секрет, если сообщу, что британский верховный комиссар заверил меня: ни один из тех, кто временно освобожден по состоянию здоровья, не будет возвращен в места заключения. Американцы вполне могли бы примкнуть

к этой системе, освобождая людей по болезни, а потом просто не признавая их выздоровевшими».

То есть совершенно не важно, виновен человек или нет, важно лишь одно: пригоден ли он, достаточно ли — при всей своей вине или невиновности — политически лоялен, и, конечно же, господа Кадук и Клер были политически нелояльны и, следовательно, непригодны. Так что иной раз, выходит, очень даже выгодно зваться не Кадуком или Клером, а просто Глобке.

В этой книге много мерзости, и, видимо, нужно было собрать все до остатка презрение к людям, равно как и все до последнего презрение к нашему языку, чтобы опубликовать ее, не ведая, как много способен выдать язык. Это убийственное чтение, растленное, ибо помрачает ум и парализует волю, и ошарашивающее, потому что акт саморазоблачения, несмотря на все попытки умолчаний, вершится здесь с таким самозабвенным неведением. Что уж после этого удивляться разложению западногерманского общества, тому, что словечко «эмигрант» так и осталось у нас ругательным, или тому, что безмозглый юнец, малюющий в Бамберге свастики на стенах, способен на месяцы поднять на ноги полицию, взявшую под охрану все синагоги страны.

Не забыт в этой книге и материал для будущих легенд — пресловутая граната, что взорвалась в двенадцати метрах от Аденауэра в его рёндорфском саду. Эта история, уж конечно, войдет в хрестоматии подобно вишневой косточке Вашингтона, и все же после Освенцима, после бомбардировок Варшавы, Роттердама и Дрездена, после Сталинграда и Ленинграда она звучит не более как хвастливая болтовня за трактирным столиком.

Не остается обойденной и чудовищная несправедливость, которую претерпел Аденауэр, когда был смещен англичанами с поста бургомистра,— в книге она предстает таким окровавленным кинжалом, который вонзил Аденауэру в спину коварный немецкий социал-демократ Роберт Гёрлингер; и все же хотя бы за это рассказчик должен быть благодарен, ведь это смещение развязало ему потом руки для иных, куда более масштабных, дел. Ему ведь удалось все, что он задумал, плюс к тому и еще одно — травить СДПГ до тех пор, покуда она сама не сдалась, не превратилась в невзрачную «эс-де-пе-ге», которая уже и рада бы избавиться от этого разнесчастного «эс», дабы заправила нашей политики радостно прикрепили к ее названию гордое «ха». Пожалуй, рано

или поздно «женщины христианского образа мыслей» еще до этого доживут.

Что мне совершенно понятно, так это почему у Аденауэра в ФРГ столько приверженцев. Он все поставил на одну (западную) карту, и политика эта пока что оправдывается: выигрыш уже выплачивается, а платить за ставки вроде бы пока никто не требует. Какое-то время это еще будет продолжаться. Как, никто толком не знает, но ведь продолжается же. Все это напоминает мне лозунг последних военных месяцев: «Наслаждайся войной, мир будет ужасен». Для ФРГ тоже можно избрести подобный клич: «Развлекайтесь, детки, кто знает, сколько это еще протянется».

Чего я не понимаю, так это почему у Аденауэра столько приверженцев (тайных, конечно) в ГДР. Какие надежды можно оттуда, из ГДР, возлагать на политику, к которой Восточная Европа совершенно безразлична, на политику, которая так взвинтила цену на германское объединение? Какой прок оттого, что страх Западной Европы перед немцами пытались (притом без особого даже успеха) смягчить за счет раздувания страха перед русскими? Какой прок оттого, что страх Восточной Европы перед немцами объявили «коммунистическим» и потому «нехорошим»? Только безумный слепец — и в этой безумной слепоте я угадываю нечто типично левобережно-кёльнское («По ту сторону Рейна уже Сибирь») — способен утверждать, будто страх Восточной Европы перед немцами — это всего лишь страх кремлевских идеологов. Да нет же, это страх людей, которым известно, как это бывает, когда немцы идут войной на славян. Как же можно, живя в ГДР, ожидать каких-то благих последствий от подобной безумной слепоты?

И чего уж я решительно не понимаю: кто, когда и где сумел обнаружить в мышлении Аденауэра хоть что-то «христианское» и рекомендовать какие-то его мысли в этом качестве? Вот этого я, хоть убей, не пойму — допускаю, что по причине собственной тупости. Допускаю, что есть некий буржуазный вариант христианства, который я просто не в состоянии постичь, хотя никакого иного варианта, кроме этого, вокруг себя не вижу. И, кстати, вполне допускаю, что мы еще будем по Аденауэру тосковать. Ведь он автократ и иногда мог себе позволить быть милостивым. Те, кто рвутся к власти после него, будут не только немилостивы — они будут беспощадны.

Летом прошлого года перед долгим путешествием мы пригласили к себе друзей на чашку кофе; было много всяких рассказов, но одна деталь особенно запала мне в память: нашему другу при посещении одной из частей бундесвера какой-то солдат, вопреки всяким правилам, шепнул, что его, как отличного водителя, иногда посылают в командировки, чтобы накрутить на счетчике километраж, нужный для очередной инспекции, — видимо, молодого солдата мучила абсурдность этих командировок.

Спустя три месяца, осенью, я начал новый роман, а еще через два дошел до места, на котором основательно застрял. Мне вдруг припала охота написать короткую новеллу — я вспомнил этого солдата. Я написал новеллу, в ней было пятнадцать страниц, немногим больше, чем в тощей экспозиции, и не было никаких, да, никаких красот, как если бы я сделал рентгеновский снимок очень красивой женщины. Я написал второй вариант. В нем было уже около сорока страниц — вышла неудачная повесть. Третий вариант содержал около семидесяти страниц — неудачный короткий роман, единственным достоинством которого было то, что в нем не осталось ни одного персонажа из первого и второго вариантов. У меня наступил период, когда материал уже не отпускал меня, ибо интересен был мне уже не сам по себе, а только форма для него необходимая. В это время я много думал над тем, что все общество, столь благорасположенное к искусству, есть не что иное, как своего рода сумасшедший дом. И в это же время прочел о *provos* в Амстердаме, о хеппенинге, а научный вывод о том, что искусство воспринимается этим столь же растерянным, сколь и непостижимым обществом всерьез, навел меня на мысль, что искусство, в том числе и хеппенинг, есть единственная, и, быть может, последняя, надежда взорвать сумасшедший дом бомбой замедленного действия или вывести из строя его директора при помощи отравленной конфеты. Я выбрал комбинацию отравленной конфеты с бомбой замедленного действия. Эта конфета-бомба должна быть маленькой, удобной по форме, легко глотаемой... и вот я начал составлять план, как обычно, в виде абстрактного акварельного эскиза, ибо подобный эскиз дает возможность одним взглядом окинуть всю композицию. Я обдумал, скольким приятным людям

предложу эти конфеты, но сперва их следует красиво упаковать, а для этого мне придется смастерить коробку диаметром не меньше двух метров. И я взялся за дело в четвертый раз, потихоньку готовясь к party¹, и вот возник почти уже годный к употреблению каркас, в котором, правда, бомбы-конфеты были еще слишком заметны.

Между тем настал январь, а я не только не довел до конца роман, но и думать о нем забыл, и когда я взялся за него в пятый раз, то пришел к убеждению — надо пустить эту прозу на самотек, пусть развивается, как хочет, вот тут-то и стали мне являться до ужаса приятные люди в до ужаса приятных ситуациях. Вещь, возникшая в результате, оказалась чересчур длинной. Я начал «черкать» и «подтягивать текст» — это я пишу, чтобы продемонстрировать (людям) кое-какие выражения из нашего прекрасного жаргона; я пользовался добрым десятком мягких карандашей, и вот глядите: шестой вариант почти удался. Тем временем моя жена вернулась из длительного путешествия и взяла на себя правописание и расстановку знаков препинания, на мою же долю оставалось еще выкинуть нескольких до ужаса приятных персонажей. Такая умница, как моя жена, тут же обнаружила бомбы-конфетки и одобрила способ их хранения.

Единственное исследование, которое я проводил, — я справлялся в энциклопедии, где все очень ясно изложено, к примеру, об уголовно-процессуальном кодексе, а потом мне понадобилось еще кое-что — любой живописец меня сразу поймет: мне понадобилась рама, узкая легкая рама из мертвого материала: действительности. Я съездил на машине в два маленьких окружных города неподалеку от Кёльна, где имелся участковый суд, осмотрел там школы, кафе, главные улицы, мосты, речушки, а также несколько патрицианских домов, благо-разумно обходя суды, и смастерил (я чуть не сказал — легировал) раму из этого мертвого материала — действительности.

Между тем пришел май. Я принял приглашение к обеду от своего издателя и после еды, где-то вблизи Кёльнского собора, передал ему рукопись.

1967

¹ Вечеринка (англ.).

СОВРЕМЕННОСТЬ ГЕОРГА БЮХНЕРА

Речь, произнесенная 21 октября 1967 года
в Дармштадте при вручении премии имени Бюхнера

Благодарю от всего сердца, хотя речь моя будет не без горечи, что неизбежно, поскольку премия эта носит имя Георга Бюхнера. Что же до горечи, то рискну предпослать ей вот какое соображение: горечь эта не от снисходительного всезнающе-менторского взгляда сверху вниз, не поднимается она и снизу вверх и уж тем паче не исходит из некоей уравновешенной середины, а рождается, скорее всего, где-то на краю, на той зыбкой и беспокойной грани современничества, которая делает Георга Бюхнера, человека *своего* времени, столь живым и сопричастным времени нашему.

Казалось бы, нет темы более удобной и сподручной, чем жизнь Бюхнера и его творчество. Жизнь его была так коротка, а творчество, фрагментарное и гениальное, уместилось в одном томике, который без труда можно засунуть в карман. В таких случаях всегда велик соблазн впасть в культовое упрощение, увидеть в жизни и творчестве лишь идеальную тему для скорбной поэтической эпитафии. Ранние свершения, ранняя кончина, прости-прощай, покойся с миром. Но жизнь и творчество Бюхнера не дают подобному покою ни повода, ни места, они настолько далеки от кладбищенской умиротворенности, что любой, пусть даже самый изящный, памятный знак как знак некоей окончательности тут неуместен. Непокой и тревога, исходящие от Бюхнера, столь поразительно современны, что присутствуют и здесь, в этом зале. Через пять поколений они подступают к нам, захватывают нас своей необузданной, тронутой предчувствием смерти красотой и таким неистово-мрачным внутренним горением, какое редко встречается в истории нашей литературы. Эта жадность и безошибочность в выборе материала, этот истинно человеческий, гуманный материализм в любом из предметов, за которые он брался, и надо всем — тот самый налет незавершенности и дыхание нетерпения, которые только и делают искусство искусством, но которые невозможно вызвать в себе нарочито; собственно, этим противоречием искусство Бюхнера и определяется, то есть — никакого деланного нетерпения, никакой поддельной незавершенности, они попросту есть, как те люди, о которых говорит Лена в пьесе «Ленонс и Лена»: «Я думаю, есть люди, которые несчастны,

неизлечимо несчастны только потому, что они *существуют*». Назвать его искусство живым было бы чересчур биологично и завело бы нас в мелководье дилетантизма, а Бюхнер дилетантом не был. Передаю ему слово в том месте его лекции о черепных нервах, где о живом он говорит не как биолог, а о препарированном материале — не как патологоанатом: «...таким образом, в рамках философского метода (который он противопоставляет телеологическому) все физическое бытие индивидуума призвано не сохранять его самого, а манифестировать некий исконный закон, закон красоты, который вслед за простейшими очертаниями и линиями являет нам высшие и наиболее чистые формы. Все, форма и материя, подчинено этому закону во имя красоты». В этом высказывании, которое могло бы стать девизом всего творчества Бюхнера, он всецело наш современник — и как естествоиспытатель, и как поэт. Если же я приведу другое его высказывание, на сей раз социального характера, дошедшее до нас лишь в устной форме: «Невелика хитрость быть порядочным человеком, если каждый день можешь есть и суп, и овощи, и мясо», — и еще одно, в том же мрачном духе социального реализма, уже из уст Войцека, первого и едва ли не последнего представителя рабочих в немецкой литературе: «Думаю, если мы попадем на небо, нам придется помогать греметь грому», то в одном лице, одними устами заговорят два писателя, два немца — Бенн и Брехт, те, что столетие спустя составили, казалось бы, две несовместимые противоположности, но оба живы в Бюхнере, который все еще с нами, актуальный и поныне.

В политической и эстетической актуальности Бюхнера убедиться нетрудно. Достаточно провести параллель между тюремными мытарствами друга Бюхнера студента Миннигероде и двумя убийствами, совершенными средь бела дня блюстителями порядка, которые застрелили берлинского студента Онезорга и солдата бундесвера Корстена, и в том и в другом случае — чудовищные примеры того, как государственная машина убивает людей у всех на виду. Или перевести на языки современных бедных народов «Гессенский сельский вестник», а еще лучше — распространять его на немецком, но в виде листовки, с современным комментарием, а не в шикар-ных изданиях из серии классиков, где ореол академической наукообразности лишает его какой бы то ни было политической остроты. В этой листовке не потребовалось

бы даже осовременивать намеки на знать и княжеские дворы, достаточно было бы просто их растолковать. Ибо наша Великая коалиция сама по себе беспримерный оплот власти. Ей нечего больше страшиться, даже зачеркивающего крестика избирателя, с помощью которого нам предоставляется возможность, раз уж другого выбора все равно нет, продемонстрировать только нашу «политическую безграмотность». Имеющий глаза да увидит, не может не увидеть здесь более чем красноречивую соглашательскую ухмылку и сытое улыбочное самодовольство, этот новый феодализм нынешнего маленького человека, который уютно устроился в огромном бюрократическом аппарате обеих уже привыкших к власти, почти всесильных политических партий и чувствует себя под их покровительством куда спокойнее, чем когда-либо чувствовал себя любой лизоблюд при любом княжеском дворе. А для тех, чья совесть принесена в жертву партии — сильная цитата из бюхнеровской «Смерти Дантона»: «Совесть — это зеркало, перед которым кривляется обезьяна; каждый прихорашивается на свой лад и взгляд. Стоит ли препираться из-за такой ерунды». Пожалуй, не лишним оказалось бы в такой листовке и описание неких похорон, той убийственной церемонии, что полгода назад завершила уходящую эру и знаменовала собой начало другой, новой, эры — недаром он почти на неделю заполнил собой все телеэкраны, этот беспримерный парад отечественных и зарубежных, европейских и заокеанских законодателей и премьеров, этот смотр шеренгами выступающих кавалеров рыцарского креста и кардиналов, законников и законодателей, разодетых по последнему крику моды. Да, все было ультрасовременно и в то же время — по крайней мере на мой взгляд — отдавало призрачностью и небытием. Леденящая душу помпезность этой траурной церемонии, которую все восприняли беспрекословно, как нечто само собой разумеющееся; эти застывшие лица, одеяния, шикарные автомобили, все эти несметные полчища ультрасовременных государственных мужей и ультрасовременных прелатов, ультрасовременных политиков и ультрасовременных военных, оккупировавших Кёльнский собор. И вот еще над чем стоило бы поразмыслить: даже в нашем обществе, называющем себя демократическим, два сословия не зависят от диктата моды, два сословия, которые не только не изобрели демократию, но, вне всяких сомнений, настроены по отношению

к ней недружелюбно, — это церковники и военные, чьи одеяния всегда модны и приличествуют любому случаю.

Пора привести еще одну Бюхнеровскую цитату, из «Гессенского сельского вестника», написанного за четырнадцать лет до «Коммунистического манифеста»: «Закон — собственность немногочисленного класса дворян и ученых, которые обеспечивают себе власть своими же измышлениями. Правосудие лишь средство держать вас в узде, чтобы удобнее было обдирать вас. Именем этого правосудия выносятся непонятные вам приговоры согласно законам, которых вы тоже не понимаете, и на основе принципов, о которых вам ничего не известно»¹.

И вот еще над чем стоило бы поразмыслить: и у нас, и у представителей других европейских государств, чье население изрядно поубавилось благодаря немцам, завелась модная привычка — снова носить рыцарский крест, правда модернизированный, приглаженный, так сказать, в демократическом варианте, то есть соскоблив с него свастиковые загогулины: мол, крест — он и есть крест, а кресты всегда были в моде — и в искусстве, и в обществе. Видимо, эта подновленная мода означает примерно вот что: мы все еще несем свой крест; за распятие целых народов в качестве награды тоже присуждались кресты. И разве не ультрасовременна — при всей своей абсурдности — эта ужасающая, много дней тянувшаяся церемония, столь ультрасовременно, столь мастерски организованная — и тем не менее призрачная, отдававшая *небытием*, если бы не чудовищная настойчивость телевидения, благодаря которому она из чисто европейской fiction, из театра и шоу только и обернулась явью, фактом реальной действительности. Воздержусь от дальнейших комментариев, воспользуюсь лишь поводом снова предоставить слово двадцатилетнему Бюхнеру, который пишет невесте: «Я... совершенно раздавлен дьявольским фатализмом истории. В человеческой природе я обнаружил ужасающую одинаковость, в человеческих судьбах — неотвратимость, перед которой ничтожно всё и вся. Отдельная личность — лишь пена на волне, величие — чистый случай, господство гения — кукольный театр, смешная попытка бороться с железным законом; единственное, что в наших силах, — это по-

¹ Перевод О. Михеевой.

знать его; овладеть им невозможно. Теперь я не такой глупец, чтобы преклоняться перед парадными рысками истории, перед ее столпами и остолопами»¹.

Еще мне хотелось бы прочесть в этом новом «Гессенском сельском вестнике» подробный и точный разбор такой очевидной несуразности, как дипломатический протокол в нашей, отечественной, интерпретации: согласно этому таинственному протоколу, зарубежных демократов и социалистов, прибывающих к нам с государственными визитами, встречают с вымученным, зато уж коронованных и княжеских особ — с прямо-таки подбострастным гостеприимством. Стоит ли удивляться, что студенты, в чьей среде и возникает новое общественное сознание, противодействуют этому протоколу единственно возможным способом: беспорядками и однозначно выраженным протестом? Да и как можно требовать от них вежливости, которую этот непостижимый дипломатический протокол навязывает им полицейскими дубинками? В нашей стране и без того большинство затей терпит крах не из-за существенных, а из-за протокольных вопросов. Даже внешне невинная приписка на приглашении — «темный костюм» или «дневной костюм» — таит в себе страшной силы угрозу. Кто мне растолкует, какой костюм можно считать «темным» и что прикажете надевать днем? А уж неприкрытый шантаж в приписке типа «смокинг» вообще не поддается иронии — тут не до шуток. Кто, скажите на милость, так нами распоряжается, кто нами помыкает, требуя неукоснительного повиновения неписаным законам? Стоит ли после этого удивляться, что молодежь выражает свой протест в том числе и экстравагантностью одежды, и длиной волос? Да они и не могут выразить его иначе как уличными волнениями, лозунгами, необычностью одежды и длиной волос, если им мало крестика в избирательном бюллетене, которым делегируется их гражданская ответственность и который все равно не дает им никакого выбора. Цитирую из письма двадцатилетнего Бюхнера родным: «Вот мое мнение: в наше время помочь может только насилие. Мы знаем, чего можно ожидать от наших князей. На все уступки их вынудила лишь необходимость... Молодежь упрекают в применении насилия. Да разве мы не подвергаемся насилию непрестанно?»²

¹ Перевод Ю. Архипова.

² Перевод Ю. Архипова.

Я не рискнул бы отделять эстетическую актуальность Бюхнера от его политической актуальности. Тут стоило бы посетовать на упущенную историей возможность встречи двух немцев. Встречи Бюхнера и Маркса, который лишь несколькими годами моложе его. Мощный, столь же народный, сколь и предметно-доходчивый язык «Гессенского сельского вестника», несомненно, обладает той же силой политического воздействия, что и «Коммунистический манифест»; свою удивительную зоркость в познании и изображении социальных противоречий Бюхнер без малейшего ущерба перенес из «Гессенского сельского вестника» в свои драмы, прозу, письма, и как знать, не таилась ли в этой удивительной социальной зоркости писателя, естествоиспытателя и публициста Бюхнера некая упущенная возможность, которая позволила бы марксизму избежать множества ошибок и околичностей, особенно по части литературы, и тем самым уменьшить страдания будущих марксистских писателей? Может, и стоило бы устроить эту несостоявшуюся встречу, так сказать, «задним числом»: столкнуть, соединить идеалистическую эстетику нынешнего практического марксизма с природным материализмом и предметной доходчивостью Бюхнера, который все же был современником Маркса и мог бы стать ему отнюдь не плохим соратником. В творчестве Бюхнера и во всех его высказываниях о своем творчестве нет ни грана чопорности, как нет и ее противоположности — вульгарности, здесь все подчинено лишь одному стремлению к точности, к соответствию предмету. Вот что он пишет своим — явно перепуганным — родственникам о «Смерти Дантона»: «...Господь создал историю не для чтения молодых девиц, и не следует обвинять и меня в том, что моя драма тоже для этого не годится. Не могу же я сделать из Дантона и из бандитов революции идеальных героев!.. Можно упрекнуть меня разве лишь в том, что я выбрал такой сюжет. Но это возражение давно опровергнуто. С этой точки зрения следовало бы осудить многие шедевры поэтического творчества. Поэт — не моралист, он задумывает и создает образы, оживляет прошедшие времена... Если иначе подходить к делу, то нельзя изучать историю, потому что она рассказывает множество неприличных вещей; на улицу надо выходить с завязанными глазами, а то, чего доброго, увидишь что-нибудь непристойное; остается только кричать «караул», обвиняя Бога в том, что он создал мир, где столько распутства и безоб-

разия. Если же мне скажут, что художник должен показывать мир не таким, каков он есть, а каким он должен быть, то я отвечу, что не собираюсь вступать в соревнование с Господом Богом, который, уж конечно, создал мир таким, как он должен быть»¹.

Имя Георга Бюхнера обязывает меня, уважаемые дамы и господа, выразить мою благодарность именно таким образом, с той беспокойной грани современничества, с той точки отсчета, где уверенность становится шаткой, а самоуверенность и вовсе невозможна, с точки, откуда критическое высказывание может на чей-то слух быть истолковано и как злопыхательство безучастного резонера. В жизни и творчестве Бюхнера можно найти еще много примеров актуальности: проблема эмиграции, какой она предстает в его переписке с друзьями и родными, прежде всего с Гуцковым; актуальность Бюхнера как медика, выразившаяся в его «Войцек» столь отчетливо, как, впрочем, и во всех других проявлениях.

Будь я хотя бы отчасти Бюхнером или Дантоном, вам не пришлось бы выслушивать эту речь. Ведь говорит же Лакруа о Дантоне: «Одна лень и больше ничего. Он скорее пойдет на гильотину, чем произнесет речь». А Бюхнер в письме Вильгельму Бюхнеру признается: «У меня очень хорошо на душе, кроме тех дней, когда у нас тут обложной дождь или северо-западный ветер. Тогда я превращаюсь в человека, который вечером, перед тем как лечь в постель, сняв один носок, размышляет, не повеситься ли ему на собственной двери: уж очень трудно снять второй...»² Так, в связи с ленью, которой Бюхнер явно не был чужд, мы коснулись бы другой большой области — его юмора. Юмор этот мог быть столь же изящным, сколь и мрачным, но главное, он его не покидал даже тогда, когда, казалось бы, чувство юмора не может не отказать, как это, вероятно, и случилось в Цюрихе, где Бюхнер получил письмо от своего эльзасского друга Бёкеля, в котором были такие строки: «В Тевтонии я чувствую себя очень хорошо. Тут совсем не так плохо, как ты полагаешь...»

1967

¹ Перевод Ю. Архипова.

² Перевод Ю. Архипова.

СТУДЕНТАМ СЛЕДОВАЛО БЫ ПОБЫТЬ В ЗАТВОРНИЧЕСТВЕ

Своими демонстрациями студенты преследуют вполне определенную цель: они хотят подорвать могущество формирующего общественное мнение и создающего определенные настроения публикаций Шпрингеровского концерна; они хотят привлечь внимание общественности к этому могуществу и могут сделать это только одним способом — выйдя на улицы. Улица для студентов — единственное средство общения с широкой публикой, если они не хотят — что было бы бессмысленно — замыкаться в рамках университетской жизни.

Мне избранная студентами цель представляется правильной: в методах распространения продукции Шпрингеровского концерна и создания им общественного мнения я опять вижу модель «захвата власти», того, разумеется, легального захвата власти, который, видимо, окажется не только терпимым с точки зрения законов и общества, но и вполне возможным. Поэтому призывы студентов к «изменению общества» не ошибочны и не демагогичны.

Все нешпрингеровские публикации должны информировать общественность о пропагандистской шумихе, которую устраивают шпрингеровские газеты — и прежде всего в Берлине; она заключается в сокрытии и затуманивании причин возникновения трех немецких реальностей: Федеративной Республики, Берлина и ГДР. Эти три немецкие реальности — следствие проигранной захватнической войны, повлекшей за собой наибольшее число жертв именно в тех государствах, с которыми эти три немецкие реальности должны прийти к взаимопониманию. Затуманивание реальностей не спасет Берлин, а, напротив, подвергнет его опасности. Берлин — единственная из этих трех реальностей, чей статус, в результате хладнокровной и ясной информации о причинах этого статуса, может быть исправлен. Что же касается «народного гнева», то он покоится на ложной информации, на предрассудках, на боязни беспорядков, которые были бы единственно возможной реакцией на проводимую политику затуманивания. Антишпрингеровской прессе следовало бы не проклинать студентов и не делать их жертвами преображенного «антисемитизма» (который просматривается в словах типа «меньшинство»).

Кроме того, газеты должны открыть свои полосы внепарламентской оппозиции — тогда ей не потребуется улица. А студентам следовало бы месяц или два побыть в затворничестве и подумать о других, ненасильственных, но действенных методах. Ведь против явно стремящейся к обострению ситуации полиции они бессильны.

Как писатель, я по самой своей природе причисляю себя к внепарламентской оппозиции, как налогоплательщик, я раздумываю, входит ли в задачи полиции гарантировать сбыт газет только *одного* концерна.

P. S.: Впрочем, внепарламентская оппозиция показывает, что она и впрямь умеет «делать политику»: она добилась отставки правящего бургомистра; отставка господина Шютца после того, как была санкционирована демонстрация против войны во Вьетнаме, последовала бы незамедлительно. Вся боннская политическая сцена пришла в движение. Надо надеяться, политики занялись и *причиной* — Шпрингеровским концерном.

1968

ПРЕДИСЛОВИЕ К «РАКОВОМУ КОРПУСУ»

Разговоры о поисках нового реализма, возникшие вокруг «Группы 61», журнала «Кюрбискерн», различных малых издательств и Кёльнской школы, родились не на пустом месте; наша литература до сих пор не открыла для себя мир труда, не говоря уже о мире трудящихся. Правда, литература о войне с известной степенью отстранения представляла нам рабочего как солдата. Сколь деликатно должно быть приобщение литературы к миру рабочих, стало видно в ходе дурацких споров вокруг Макса фон дер Грюна, который неожиданно угодил между двумя блоками, проявляющими некоторую *заинтересованность* в изображении мира рабочих,— между профсоюзами и промышленностью, в качестве же третьего блока надлежит воспринимать тех, кто предпочитает, чтобы их мир, иными словами, мир тех, кто живет в нем, был представлен отстраненно, что также можно назвать *утрированным*. На Западе в течение десятилетий было принято относиться (себя я тоже числю среди тех, у кого это было принято) к со-

циалистическому реализму со снисходительной усмешкой. Отмщение уже дает себя знать, и на этом дело не остановится. Все авторы, режиссеры, графики из Польши, Чехословакии, Югославии, Советского Союза, которые пользуются популярностью здесь, на Западе, самим фактом своего существования как бы доказывают, что социалистический реализм — будь это даже ненавистный догматический антипод — не сковал и не выхолостил авторов в тех странах, где он правит. Единственно неприемлемым в социалистическом реализме является навязанный ему доктринерский догматический оптимизм, который не только отчасти, но почти буквально соответствует тому исступленному требованию целостного мира, которое по сию пору еще не отзвучало у нас. И однако же требование целостного мира, требование христианского искусства и литературы — это всего лишь перевоплощенное желание увидеть греческого *deus ex machina*¹, который играючи, непринужденно разрешает все проблемы. По масштабам своим роль *deus ex machina* в христианской литературе (как, например, у Клоделя) взяла на себя благодать, что производило весьма тягостное впечатление, не менее тягостное, чем вменяемый в обязанность социалистическим реализмом оптимистический финал. Западу, который ничтоже сумняшеся продолжает считать себя христианским, еще предстоит не только пережить крушение, но и (что гораздо важней) увидеть его и открыто в том признаться. Всего лишь на полпоколения хватило периода добропорядочной христианской литературы, и очень может быть, что недалек тот день, когда будут классифицировать того же Грасса как великого «западника».

Возможно, развитие мирового искусства и литературы примет иное направление: Западу наскучат его формалистические игры, и он пустится на поиски нового реализма. Поп, оп и хеппенинг — суть промежуточные станции, где переворачивается с ног на голову вся западная эстетика, мечтой которой неизменно пребудет греческий идеал, впрочем, оно и к лучшему: разрушение есть первейшая задача художника и писателя. Востоку тоже придется проделать все эти «формалистические» трюки, судьба ни от чего его не уберезет (художник или писатель, которого судьба от чего-либо

¹ Бог из машины (лат.).

уберегла или он сам постарался от чего-либо себя уберечь, таковым отнюдь не является), и он все-таки вернется к своей на удивление живучей реалистической традиции. Здесь — равно как и там — еще много будет разного рода метаний. Каждый, без исключения каждый государственный деятель в сердце своем лелеет мечту о мире целостном и невредимом, о поддерживающей его политику литературе, не важно, исполнена ли она западнохристианской благостыни или социалистического реализма, которому вовсе не возбраняется быть критическим, лишь бы в финале он обратился к добру.

«Раковый корпус» Солженицына мог бы стать связующим звеном между старым и обновленным социалистическим реализмом, мог бы стать образцом для в общем-то довольно жалких потуг нового реализма здесь, у нас. Досада, которую вызывает у некоторых западных авторов популярность романа (а вскоре к ним, без сомнения, присоединятся и восточные), проистекает из несоответствия их собственного положения и возможностей: свои стихи они пишут прозой — величественно-астматическая поэзия момента.

При чтении «Ракового корпуса» нельзя ни на секунду забывать, что действие романа происходит в 1955 году — спустя два года после смерти Сталина, когда настало время реабилитаций, время великих надежд. Оба главных героя — Русанов и Костоглотов — противопоставлены друг другу. Первый по природе своей и по характеру — функционер оппортунистического склада, специалист по анкетам и допросам, к тому же еще и доносчик, человек, пользующийся привилегиями, и вот он внезапно для себя — время поджигает, а путь до Москвы долгий — оказывается в совершенно рядовой раковой клинике для пролетариев. О чем же он так сокрушается? О своем отдельном туалете! «Хоть бы уборной пользоваться отдельной от людей! Какая здесь уборная! Кабины не отгорожены! Всё на виду». И как примечание к его lamentациям в скобках слова автора, поскольку пользование общедоступным туалетом и общедоступной ванной неизбежно подрывает авторитет функционера: «По месту службы Русанов всегда ходил на другой этаж, но в уборную не общего доступа». Пораженный раковой опухолью и сам являющийся опухолью на теле общества, он льет еще более горькие слезы: «В то прекрасное честное время, в тридцать седь-

мом — тридцать восьмом году, заметно очищалась общественная атмосфера, так легко стало дышаться. Все лгуны, клеветники, слишком смелые любители самокритики или слишком заумные интеллигентники исчезли, заткнулись, притаились, а люди принципиальные, устойчивые, преданные друзья Русанова и он сам, ходили с достойно поднятой головой». И не случайно в конце романа дочь Русанова, Алла, будущая писательница, которая, о чем нетрудно догадаться, преуспееет на этом поприще, говорит: «При неверных мыслях или чуждых настроениях искренность только усиливает вредное действие произведения. Искренность *вредна*. Субъективная искренность может оказаться против правдивости показа жизни — вот эту диалектику вы понимаете?» Так говорит она Дёмке, соседу по палате ее отца, униженного до уровня пациента-пролетария. И именно в уста этой бодрой, энергичной, самоуверенной юной Аллы Солженицын как бы в насмешку вкладывает заключительные слова романа. Своему измученному раковой опухолью и раковыми ночными кошмарами отцу, которого тревожит возможное возвращение из лагерей тех, кто попал туда по его доносу, она говорит (и это самая последняя фраза первой части романа): «...Ни о чем не беспокойся! Всё-всё-всё будет отлично!»

Костоготов, навечно сосланный в Уш-Терек, забытую богом дыру, как ни странно, не без тепла вспоминает о своей ссылке, о тамошних друзьях — чете врачей Кадминых, об их собаках и кошках, он предается размышлениям о том, о чем, может быть, действительно стоит поразмышлять: что понятия роскошь и потребление относительны. Его, костоготовского возвращения, дожидается, быть может, какой-нибудь новый Русанов, который в свое время донес на него, чтобы сохранить целостность мира.

Роман богат действующими лицами: врачи, медицинские сестры, уборщицы, посетители; достойно удивления все, что роман сообщает о тщательном, добросовестном лечении в Советском Союзе — и это в 1955 году. Книга исполнена горечи — но и бодрости, и вот еще чего я не могу понять: почему эта книга не могла или не должна выйти в Советском Союзе? Тот факт, что на свете существуют раковые больные, казалось бы, не должен смущать даже самых рьяных адептов «лучшего будущего», а признание того, что существуют также

и общественные опухоли и эти опухоли отнюдь не писатели, а «русановы», могло бы лишь раскрепостить социалистический реализм и сделать его литературу конкурентоспособной, как, например, роман Солженицына. В бесчисленных диалогах роман показывает нам также неумную жажду знаний, присущую советскому человеку, который все читает, читает и становится разговорчив до болтливости.

Разве рак нельзя победить также с помощью разрушения?

1969

ГЕРМАНСКОЕ ПЕРВЕНСТВО

Ставить отметки после двадцати лет существования Федеративной Республики Германии? Я не домашний учитель. Я писатель и гражданин Федеративной Республики Германии, иными словами, гражданин государства, не виновного ни в каком преступлении, оно, быть может, виновато лишь в том, что неверно оценивает свои внешнеполитические позиции и отказывается признать неумолимые последствия мировой войны, я гражданин государства, во внутренней политике которого я тоже нахожу кое-какие недостатки, во многом оно почти до отвращения болтливо и верноподданно и, несмотря на высокий экономический потенциал, обычно слишком легко идет на уступки. Как гражданин этого государства я хотел бы сделать несколько замечаний о том, что было и что есть.

В достославном соборе моего родного города Кёльна во время епископской заупокойной службы по Конраду Аденауэру в почетном карауле стояли высшие офицерские чины с рыцарскими крестами без свастики, в присутствии двух кардиналов, при всем дипломатическом корпусе, президентах и премьер-министрах многих стран. Все они были вместе, рядом, а это величайшее общественное событие для Федеративной Республики Германии; эту грандиозную траурную церемонию с ее фантастической режиссурой разработал господин Глобке. Ничто не было забыто, ни многожды опозоренный отец Рейн, ни мать Природа в милой сердцу долине Рейна, и все, все принимали как должное эти шизофренически расковырянные рыцарские кресты нынешней

немецкой действительности, из которой выцарапано прошлое.

Я оставляю за собой право на образное видение истории, и этот образ был образом согласия. Но я представляю себе и другие церемонии, которые никогда не имели и не будут иметь места: вся коллегия кардиналов служит заупокойную мессу над горстью безымянного праха из Треблинки или собирается у могилы умершего с голоду советского военнопленного; или: Социал-демократическая партия Германии приглашается на грандиозный траурный акт покаяния перед той женщиной, труп которой был брошен в канал ландвера.

Я прекрасно сознаю, что с точки зрения политики все эти воображаемые картины абсолютно нереалистичны, ибо они ничего не дают, подобные представления неразумны, поэтичны, ведь тот паровой каток, имя которому — «жизнь продолжается», и на самом деле существует.

Упущение после 1945 года состоит в том, что христиане непоколебимо и, что называется, «с пеной у рта» боятся социализма и всячески поносят это вопиющее к небесам средство устрашения. У Германии был однажды шанс воспользоваться проигранной войной и возникшим в результате бомбежек и всеобщего обнищания почти уже демократическим равенством шансов и условий как «подаренной революцией». Позволили бы Германии союзные державы действительно использовать этот шанс, сегодня вопрос чисто гипотетический, ибо отличия в развитии ФРГ и ГДР неумолимы. Христиане и марксисты, возможно, и могли бы быть заодно, и, не согнись они под давлением интересов тогдашних оккупационных властей, быть может, и возникла бы третья сила, которая в случае необходимости могла бы противостоять тогдашним оккупационным властям. Вместо этого обе части Германии покорились «продиктованным» формам общественного устройства. Молодежь Востока и Запада Европы начинает ощущать этот диктат и восстает против него, чтобы добиться перемен там, где почитает устаревшими, неискренними и фальшивыми прежние формы и содержание.

Перемены в мире и в обществе всегда достигаются меньшинствами, которые проверяют, и без всякого почтения, то, что им предписано свыше.

Не существует никакого «вышестоящего» авторитета.

Авторитет должен еще сам себя создать, утвердиться, должен быть постоянно готов к диалогу, к критике, иными словами, к экзамену. Авторитет может только возникнуть, «предписать» его нельзя. Он может советовать и консультировать, а это всегда проблематично, если одна-единственная личность или институция претендует быть «авторитетом», будь то политик, партийный функционер, профессор, фельдфебель, учитель, судья, священник, партия, политбюро или правительство. Он должен так же подлежать критике и иронии, как и защищаемая им точка зрения или выдвигаемые им требования. Итак, если сегодня «вышестоящие» авторитеты будут критиковаться и оспариваться, то это отрадный знак. Поскольку вовсе не важно, в меньшинстве ли «мятежная» молодежь и будет ли ее выступление по тем или иным поводам «раздуто». Важным и решающим является то, как ведет себя зачастую довольно невнятное большинство; присоединится ли оно к имеющимся авторитетам, станет ли искать у них защиты или — о так называемом среднем пути, по-видимому, и речи быть не может, ибо среднего пути просто не существует! — или же разовьется третья сила, сравнимая с той, что грезится молодым в ЧССР: не капитализм, не скрытоколониальный коммунизм, управляемый из Москвы, а собственный путь к социализму. Вопрос не в «обычности» или «необычности», вопрос в том, действовать или реагировать. До сей поры поведение существующего общества в политическом смысле было только реактивным, что неудержимо ведет к реакции.

По этой же причине и внепарламентская оппозиция в Федеративной Республике для меня естественное следствие прежнего развития. По природе своей всякий художник принадлежит к внепарламентской оппозиции, не всегда будучи готовым принять это звание. Итак, поскольку я не только испытываю большую симпатию к внепарламентской оппозиции, но и очень внимательно слежу за ее деятельностью, то порой я даже вмешиваюсь в ее дела. Что меня тревожит и что я считаю жизнеопасным, так это связь секс-волны с внепарламентской оппозицией. Я полагаю, что здесь речь идет уже не просто о псевдокоммерческом элементе, а о возникновении своего рода секс-фашизма. Я говорю об этом без обиняков. Провозглашаемый промискуитет вовсе не выход, и уж тем паче не демократический выход; собственно говоря, это выход элитарный. Эли-

та всегда могла себе позволить и позволяла промискуитет, не важно, при каких религиозных предпосылках существовала тогдашняя культура. И, по моему, внепарламентская оппозиция, чья декларируемая цель — демократизация общества и упразднение или отстранение любых авторитетов (и тут я целиком и полностью «за», включая упразднение церковного авторитета, так же как и светского), итак, внепарламентская оппозиция, покуда она взлетает на секс-волне или секс-волна захлестывает ее, внепарламентская оппозиция создает так много «violence» (я могу воспользоваться здесь только английским словом), что открывает путь новым репрессиям, хотя теоретически она против так называемых «репрессий». Я полагаю, что секс-волна есть не что иное, как предмет потребления, имеющий хождение во всем буржуазном мире, и даже по происхождению своему он буржуазен. Если внепарламентская оппозиция самым решительным образом не выскажется по этой проблеме, я предвижу ее гибель от промискуитета. Здесь все решает восприятие сексуальности. Бордель и все варианты борделя — типично буржуазные явления. Свободный человек — как идеал, и притом недостижимый, — подавляем и сексуально, а вот проституция как раз и есть — подавление.

Я боюсь, что политические цели будут коррумпированы этими примесями; тут необходимо четко размежеваться. И печатным органам внепарламентской оппозиции следует уяснить себе, что они, по существу, содействуют буржуазному секс-фашизму.

Мы живем в настоящем, которое содержит в себе и все прошлое. Я не знаю, кто несет ответственность за такие варварские выражения, как «преодоление прошлого» и «возмещение ущерба». Я заявляю о своей непричастности к этим словообразованиям и к их употреблению. Я не верю, что между немцем и евреем моего возраста когда-нибудь могут возникнуть непринужденные отношения. Дружба — да, близость — да, но не непринужденность.

Мне было пятнадцать лет, когда благодаря интригам господ фон Паппена, фон Шрёдера и фон Гинденбурга власть была передана в руки человека, который без обиняков заявил, что уничтожение еврейства входит в его программу. Самое позднее в январе 1944 года, года второй несостоявшейся Олимпиады, вряд ли был хоть

один человек из высшего офицерства германского вермахта, который бы не знал, что «окончательное решение» принято и что это словосочетание означает, и, естественно, все они заранее знали, что было, что есть и что может быть с русскими, поляками, чехами и югославами. Я не дипломат и не политик. Я — переживший войну современник, немец и писатель, и мне хотелось бы открыто заявить о том, что всякий молодой немец, отказывающийся от военной службы, мне глубоко симпатичен. Думаю ли я о выковырянном из нашего времени духе прошлого или о сомнительной деятельности нашего тогдашнего канцлера, думаю ли о том самом господине Глобке, с которым не боялся церемониться даже Конрад Аденауэр, или о наших внутривластных заботах, я должен сказать: двусмысленность положения немцев сохранится еще надолго, даже когда ни один чиновный рот уже не откроется, чтобы произнести что-то антисемитское.

Юноше, который пятнадцати лет от роду, в январе 1933 года, стал подданным террористического государства, я должен задним числом признаться в том, в чем не признался в пятнадцать лет: как не поддаться смятению, когда почти все окружение, будь то буржуазия, аристократия или большая часть пролетариата, пришло в смятение. Тогда я считал себя исключением, теперь я уже себя таковым не считаю, ибо я выжил. Быть исключением или считать себя таковым — это роскошь, которую я себе тогда позволил. И я не стыжусь этого, хотя и не вижу оснований бахвалиться этим, — не премию же за это давать!

Спустя девять Олимпиад я считаю такое по-детски роскошное желание — быть в стороне и все-таки хотеть выжить — волнующим частным пустячком. В конце концов, я служил в германском вермахте, и этого достаточно. Кроме того, мне глубоко антипатичен распространенный мужской порок, коему я тоже более или менее подвержен: бахвальство, анекдоты о собственной хитрости, об опасностях, которых ты избегнул, — жалкая мелочь выживших, одновременно стыдящихся себя и хвастающих напропалую.

И между немцами моего возраста тоже нет простоты отношений, если они не прожили в тесном и доверительном общении с 1933 года по 1945-й, не пережили бок о бок и не прочувствовали каждый нюанс истории тех

лет, а это я могу сказать лишь об очень немногих друзьях и родственниках.

Бывали мгновения усталости, которые со стороны могли бы показаться более или менее понятными, как после захвата и оккупации Франции в 1940 году. Ореол славы вдруг пришелся по вкусу многим из тех, кому вовсе не по вкусу были и Гитлер и война. Фанфары, дождь маршалских жезлов, немецкий флаг над Парижем, военные эффекты, а порой и кивки в знак согласия... Это воспоминание для меня мучительнее воспоминания о том, как отец в 1933 году вступил в партию. Я упоминаю эти примеры лишь для того, чтобы показать, как мало простоты может быть в моем общении с немцами моего возраста. Даже самый здоровый немецкий национализм кажется мне до сих пор тяжелой болезнью, и я уже с мукой жду Олимпиады 1972 года в Мюнхене, при условии, что я до нее доживу. Я понимаю, она будет фантастически организована, как и Олимпиада 1936 года в Берлине. Немцев станут превозносить, и они будут очень горды. Я уже теперь отделяю себя от этой рьяно ожидаемой гордости. Я был участником обеих несостоявшихся Олимпиад 1940 и 1944 года, и мне вполне достаточно этих двух. Наконец, в Мюнхене опять, быть может, запоют песню о Германии, а мне, всякий раз как я слышу эту мелодию, чудится совсем другой текст — мне слышатся стихи Пауля Целана: «Смерть — маэстро из Германии».

Разумеется, ни один немецкий политик не может себе позволить критиковать тот факт, что Олимпиада 1972 года состоится на земле Федеративной Республики, неподалеку от бывших лагерей Дахау и Маутхаузен. Будет звучать этот невыносимый национальный гимн, нации всего мира будут маршировать, поднимать флаги... и все это будет отлично подготовлено, хотя по сей день никто не знает, как быть с этим вторым немецким флагом, с этими другими немцами, которые, конечно, тоже будут маршировать. Есть соображения объявить Мюнхен на время Олимпиады экстерриториальным. Сегодня я позволю себе роскошь даже ввиду здорового немецкого национализма счесть подобные смехотворные предложения проявлениями болезни.

Я боюсь всяких немецких первенств. Мне было пятнадцать лет, когда Гитлер пришел к власти, почти двадцать два, когда началась война, и немногим бо-

лее двадцати семи, когда она кончилась. Таким образом, я видел и пережил слишком много немецких первенств.

Послевоенное немецкое первенство состояло в том, чтобы за спиной Конрада Аденауэра, который не только по видимости, но и на самом деле создавал новую честь, вновь вытащить на свет старое бесчестие, безвозвратно утраченную честь и все больше, все явственнее ее обелять. И все это — под защитой немецкого экономического первенства. Год 1969, кажется, станет годом германского бундесвера и массового отказа служить в вооруженных силах, и нам еще покажут, кто первенствует в стране.

1969

БЕЗУПРЕЧНО ВЕРНОПОДДАННЫЙ

О Генрихе Манне

Изображенное в *«Верноподданном»* немецкое общество маленьких и средних городов узнаваемо и по сей день. Понадобились бы лишь небольшие изменения, чтобы из этого по-видимости исторического романа сделать сугубо актуальный: злоупотребление всем «национальным», «церковным», мнимыми идеалами во имя крепкого-земного-материального буржуазного сообщества по интересам, с его ханжеской моралью и безупречной верноподданностью, для которого все гуманитарное, социальный прогресс, освобождение любого рода весьма подозрительны. Я был поражен, недавно перечитав *«Верноподданного»*, поражен и испуган: через пятьдесят лет после выхода романа я все еще узнаю принудительную модель верноподданнического общества.

1969

ПОПЫТКА ПРИБЛИЖЕНИЯ

Послесловие к роману Толстого «Война и мир»

При чтении этого романа, написанного более ста лет назад, легко упустить из виду, что он, едва выйдя в свет, уже принадлежал к категории «Исторический

роман». «Война и мир» написана в 1863—1869 годах, тему романа составили события русской истории между 1805 и 1813 годами, эпилога — примерно 1820 года. Тридцатишестилетний Толстой выступил в этот долгий поход почти через шестьдесят лет после 1805 года; иными словами, его положение можно сравнить с положением автора, вознамерившегося в 1973 году написать роман, действие которого начинается 1914 годом. Если читатели и критики порой бранят авторов, которые спустя двадцать пять лет после 1945 года все еще занимаются второй мировой войной, значит, они до сих пор не осознали, что не тема делает писателя, а писатель — тему. Любой роман, коль скоро он не утопический, является историческим, даже так называемый современный роман. Уже сам неизбежный временной промежуток между написанием и публикацией обращает использованный материал в историю. Временной разрыв есть величина относительная, тем более что даже историческая наука не приходит к «объективным» результатам: все может быть оспорено, все подлежит пересмотру, едва удастся обнаружить новые архивы, раскопать чью-то переписку либо открыть новый «аспект». На заднем плане многожды дискутируемых дат — 3.1.33, 30.6.34, 20.7.44 — накопились целые библиотеки исследований, тем не менее многое остается темным, необъяснимым, и тогда история, психология и литература, каждая сама по себе, предпринимает попытки приближения. Я не верю в конкуренцию между какой-нибудь наукой и литературой; литература предпринимает попытку приближения на свой лад, уснащая исторический материал персонажами, которые «не делали истории».

Пусть даже временной разрыв уменьшается, все равно желание современного читателя «одолеть» историю, признать ее «одоленной», желание, которому соответствует все возрастающий объем пережитой и грядущей истории, нетрудно понять. Тяга к современному и современности велика, антипатия к истории растет, равно как и антипатия к теологии и потребность в мифе и слепой вере, зачастую с трудом распознаваемая, порой вообще скрытая под ложной оболочкой. Вполне возможно, что с подобной пресыщенностью историей связана потребность во все новых формах выражения, в некоем перманентном произведении искусства, которое меняется с каждым прыжком секундной стрелки и, одна-

ко же, продолжает существовать, сохраняя преходящее в непреходящем. Ежедневно — с полдюжины исторических событий, подписанные договоры, расторгнутые договоры, без войны, без гражданской войны, но с непрерывно нарушаемым перемирием; интервенция, военная помощь, вторжения, стратегия доллара — но зато без войны. Войны нет. Мы пребываем в глубоком мире. Демонстрации, расстрел студентов, аресты бастующих рабочих, а время от времени какой-нибудь кинорежиссер, писатель, художник или композитор приподнимает крышку над целым обреченным на молчание континентом: Южная Америка, Центральная Америка, Африка, и мы получаем кой-какие сведения о скрытой, тайной истории целых континентов, чья официальная история определяется и пишется совсем в другом месте. Мы узнаем слишком много и слишком мало, но к тому моменту, когда это выходит из печати, все успело произойти, стало произошедшей историей. Что только у нас не «делало историю»! Вдруг возникает нечто, осязаемый, страшный знак: стена поперек Берлина. Разве стена с точки зрения страстно приверженного своему материалу автора, который считает своим долгом отказываться от того, чтобы поставлять заголовки для «Бильд», уже не есть ответ на прошлое и одновременно — настоящее, на накопленную историю, предположительно начавшуюся с рыцарей немецкого ордена (может быть, и раньше) из векового недоверия, обхаживания, из страха и восхищения, из неудачных попыток приближения Восточной Европы к Западной и наоборот, из попыток покорения с той и с другой стороны, а если к тому же вспомнить, что русская и немецкая история в тот ее период, когда обе страны могли худо-бедно ее «делать», покоилась на двух личностях, двух кузенах, называвших друг друга «Dear Willy» и соответственно «Dear Nicky», на двух донельзя жалких и абсурдных «носителях» европейской истории, что была на свете первая и была вторая мировая война, а мира нет и по сей день, что историю делали люди, для которых Европа кончается на Рейне, ну, в крайнем случае, на Эльбе, тут и затяжные оскорбления, и соблазны в мундире свободы — если все это вспомнить, то и возникает вдруг стена, которая не выпускает и не выпускает; двери на замок, и повернуться спиной. Вот тебе и Dear Willy, вот тебе и Dear Nicky. Один из них безумным образом был слишком «немец», другой безумным же образом слишком «русский», а физиономии

у обоих были «английские». Поистине фантастическая «семейка», а к этому надо прибавить древний страх Западной Европы, что два этих великана, из коих один целиком, а другой наполовину принадлежал востоку, могут сплестись в объятии, страх перед Германией и надежда на Германию, позднее обернувшаяся постоянным непризнанием желаний и политической силы многожды преданного «немецкого рабочего класса». Вдобавок существует не только Россия и не только Советский Союз, но и Польша, и еще Литва, Латвия, Эстония, и еще государство под названием Чехословакия, где воздвигнута страшная, невидимая стена. И на отдельных картах, которыми пользуются в ходе всевозможных конференций, видны на удивление неточные карандашные росчерки, хаотические каракули: непризнаваемая история Восточной Европы. Не подлежит сомнению: *один* человек за столом заседаний знал историю Восточной Европы. И внезапно через много лет полного непризнания возникает стена, преграждающая ток истории, потому что до сих пор не заключен мир. Ни мира, ни войны. А в условном конце почти не поддающейся измерению долгой истории вдоль стены вырастают высотные дома, отель, из которого, с головы до ног облачась в «человеческое достоинство», можно глядеть сверху вниз на тех, на кого тарашатся без зазрения совести; даже люди, прибывшие с государственным визитом, и те не считают для себя зазорным подняться по лесенке, покачать головой, возмутиться и с волнением бросить быстрый взгляд вниз, делая при этом вид, будто не было на свете ни первой, ни второй мировой войны, ни Гитлера, ни Наполеона, ни вечного высокомерия Запада по отношению к Востоку, ни идеологии нелюдей, ни идеологии недочеловека, ни конференций в Ялте и Потсдаме, ни, наконец, наивного убеждения делающих историю вояк, что Берлин — это не так уж и важно. Тем самым и Запад и Восток пали до значения обычной достопримечательности. Лишь безоговорочный поэт может стремиться к неисторичности либо отстаивать ее как некую искусственную позицию. Вдобавок на это способны политики или делающие историю военные, которые силятся решить проблемы легко нарушаемых и многократно нарушенных границ, это столпотворение европейских границ на александрийский лад, не будучи при этом Александрами.

Я не понимаю отсутствия чувства истории у тех, кто

загодя отрицает поэзию (в поисках новой, которая будет носить другое имя) и одновременно осуждает неуклюжие политические и военные попытки, вполне соответствующие аналогичному непризнанию истории. Мне, во всяком случае, чтение «Войны и мира» (и, само собой, подобных книг) лучше объясняет стену в Берлине, чем звучащие по обе ее стороны высокопарные фразы, и я готов признать, что слишком далеко отошел ради подобной защиты вдвойне исторического романа. Но, возможно, то, что находится вблизи, как раз и хорошо объяснять, отойдя для этого подальше.

Что ж это за страна такая, где немцы всегда ощущали себя «более русскими», чем сами русские (так же немцы всегда были бóльшими католиками, чем все римские папы вместе взятые)? Есть много возможностей познакомиться с этой страной: вся литература России, эти продолжительные прогулки, а одной из них, причем одной из самых важных, и будет «Война и мир». Вдвойне исторический роман гигантского объема! Этот роман всегда современен, как его ни рассматривай. Его бесменная и неизменная популярность имеет много причин. Отнюдь не заслуживающая пренебрежения жажда информации является первой причиной, а та, в свою очередь, связана со второй, которую я лучше выражу способом от противного, ибо наше отношение к «развлекательной» литературе нарушено каким-то патологическим образом: книгу *не скучно читать*; спору нет, в ней есть длинноты, есть целые пассажи, в которых автор своевольно и своевольно утверждает свое право изложить собственные взгляды; я предостерегаю читателя от намерения проскочить эти пассажи и тем избавить себя от авторского своеволия. Каждому автору положено свое словопользование, каждому автору — свои длинноты и свое своеволие. Наше восприятие словопользования — надеюсь, не окончательно — изуродовано образованностью. Книга, которая понятна, которая *доступна*, навлекает на себя упрек в журналистской облегченности, а уж книга, которая «развлекает», она и вовсе, господи, как же это называется, она сделана «на газетном уровне». «Настоящий» немецкий язык — это ведь тот псевдомистический жаргон, который в кругу посвященных именуют средневерхнебогемским. Книга должна быть трудночитаемой, почти непонятной, а если она под конец вдруг делается «популярной», тогда ее надо поскорей отбросить, не то испачкаешься, ибо популярная «по сути

говоря» означает вульгарная. Тот, кто читает, чтобы читать, просто чтобы читать, потому что, допустим, это его забавляет, у того ведь и нет никаких запросов. И тяги к образованию, и, возможно, должной подготовки, и наверняка предварительного образования. Как может, например, этот некто судить о толстовском Наполеоне, если он исторически необразован. Что это за человек, который без малейшей подготовки едет в Италию и там, скажем, впервые лицезреет удивительнейший город Сиена? Должен признать свою вину: я из этой породы — и как читатель тоже. Тоже. Тоже. Ну, конечно, я между делом малость «образовался», потому что меня это забавляло, и — отрицать не имеет смысла: я тоже автор, пишу романы, все сплошь попытки приближения к необъяснимостям новейшей немецкой истории. Вдобавок я наделен свойством, не зависящим ни от образования, ни от писательства: я любопытен, любопытен до такой степени, которая порой заставляет меня остановиться лишь на самой границе бестактности. И после третьего прочтения «Войны и мира» мое любопытство не удовлетворено, то самое любопытство, которое способно довести до белого каления литературных критиков, свести с ума читателей, авторам же, не до конца выдавшим свою тайну, доставить огромное удовольствие, вот, в частности, любопытный вопрос: а где же в романе скрывается этот тип, автор, как он замаскировался, где спрятался? Разумеется, его сразу замечают, едва он возденет указательный палец и начнет поучать, но мне-то к чему указательный палец, я желаю получить автора целиком, увидеть его. В силу укоренившегося предрассудка (и кто только дал ему ход?) автор чаще всего прячется за каким-нибудь симпатичным героем или героиней. Я так не думаю, да, да, я так не думаю, потому что наверняка я знаю лишь очень немного.

Вероятно, существует возможность действительно обнаружить автора в его произведении: надо сложить всех, повторяю, всех персонажей, от слуги, который приносит стакан воды, до своего рода исторических личностей, Наполеона и тому подобное, — всех персонажей, которые появляются и исчезают, мужчин и женщин, независимо от того, мужчина или женщина сам автор, а сложив, попытаться извлечь из этой суммы корень седьмой степени.

Признаюсь честно, сам я этим методом не владею и возлагаю все свои надежды на кибернетику, которая

в один прекрасный день выплюнет нам из какой-нибудь машины данные о любом авторе. До тех же пор я, как, впрочем, и любой другой читатель, вынужден отыскивать автора старым, несовершенным способом, перечитывая собрание его сочинений и заглядывая каждому его персонажу в глаза, в рот, а коли понадобится, и под юбку.

Биографии — это обычно и есть неудавшиеся попытки приближения, автобиографии — попытки постыдные, я думаю (опять это чертово: думаю!), что автобиография автора таится в собрании его сочинений. Однако меня интересует не только сам автор, но и нечто другое: вещественное, материальное изображение русского дворянства, его легкомыслие и легковесность, его возможные заслуги, его расточительство, его снобистская жажда удовольствия, да и вопрос о его человеколюбии еще остается открытым.

В «Войне и мире» есть немало «исторических моментов», когда вся тяжесть истории ложится на плечи незначительных персонажей. Наташа Ростова, которой дано множество «выходов», имеет свой величайший «выход» в час бегства из горящей Москвы. Мучительно понятная для миллионов людей в этом мире разница между бегством и переездом, разница, еще не позабытая множеством из нас, особенно мучительная (такова месть истории) для людей состоятельных. Покуда Ростовы готовятся к бегству, причем выясняется, что у них есть специальная гардеробная карета и собственный учитель танцев — немец с семейством, вспыхивает обычный спор на тему, что брать, чего не брать, сверх того, надлежит решить, чему отдать предпочтение, то ли мебели, платью, книгам, то ли раненым. А чтобы уж окончательно переполнить чашу, является немец — зять Берг, у него возникли кой-какие идеи меблировки, ему как раз предложили шифоньерочку и туалет... «Такая прелесть», и главное — почти даром (господи, когда весь город все равно сгорит!), как раз такую, какую он давно уже хотел подарить своей жене. И кто же выносит решение в этом споре, который разрастается как снежный ком всеобщего раздражения? Отнюдь не господин граф и не госпожа графиня и даже не эта посредственность Берг. Тут наступает исторический миг для Наташи, «выход» ее заключается в том, чтобы принять самое естественное решение, каковое она и выражает весьма недвусмысленно: «По-моему, это такая гадость, такая мерзость... Разве

мы немцы какие-нибудь?» Если немца поразить этим прямым попаданием, он огорчится и одновременно возрадуется — возрадуется, будучи немцем, потому что на-чисто лишен самопонятия или как это еще называют, но потом он все-таки огорчится, не может не огорчиться, как представитель той породы, которая называется человек и к которой он, как ни невероятно это может показаться, в конце концов принадлежит. Разумеется, всем нам известна эта фетишизация собственности, типичная для миллионов беженцев, которые судорожно хватались за банку с вареньем, подушку либо цветочный горшок. Скажете, это по-немецки? Разве мать Наташи и ее отец, который не может решиться на само собой понятное, хоть самую малость не немцы? Может, и немцы-то лишь во время второй мировой войны научились ценить ту престранную собственность, которая называется жизнь; их, верно, никогда не учили жить ради жизни, как не учили читать ради чтения, тяготеющее над ними проклятие обернулось для них благословением, вечным поиском «смысла» жизни, пусть даже они обретают этот извращенный до фетишизма смысл в цветочном горшке.

Энергичное решение Наташи в числе прочего имеет следствие — и это делает ее решение столь же энергичным, сколь и «романтическим», — что вместе с другими ранеными под опеку семейства Ростовых и тем самым в непосредственную близость к Наташе попадает ее бывший жених князь Андрей Болконский. Современный роман(ист) презирает подобные сплетения, читающий автор перестает с этого места доверять собственной наивности, непредубежденный же читатель может, отдавшись своим мыслям и чувствам, сказать самому себе: «Это ж надо!» Он должен также, ни в малой мере не приобретя от этого какие-либо комплексы, принять заплетенные таким образом нити романа за «чистую правду» и поверить в хэппи-энд, не тот, которым действительно завершается книга, а в напрашивающийся идеальный хэппи-энд, где Наташа и Андрей Болконский снова «найдут» друг друга. Читателю следует также знать, что Толстой и впрямь какое-то время рассматривал возможность дать роману «Война и мир» банальнейшее из всех названий «Конец — делу венец». Название, пожалуй, отталкивающее для интеллигента, способное привлечь его разве что каким-нибудь окольным путем. В мировой литературе насчитывается немного романов, столь под-

ходящих для того, чтобы научить людей читать. Толстой постоянно идет навстречу своему читателю и постоянно его отпугивает, ибо снова и снова вздымает перст указующий. Но нигде даже намеком не угадывается желание подладиться, которое равно может проявляться как в неизменном «идении» навстречу, так и в неизменном отпугивании.

Уже в первой части романа, на которую падает почти одна десятая его общего объема, совершается выход на сцену действующих лиц, которые в зависимости от времени, истории, обстоятельств и среды предстанут в окружении лиц второстепенных: действующие лица, которых Толстой иногда придавливает целыми главами из философии либо военной истории, они же, стряхнув пыль с волос, вылезают из-под этих глав живыми и невредимыми. Не прошло и ста пятидесяти страниц, как они уже все тут: Курагин, Ростов, Друбецкой и Болконский, появляется вдобавок и тот странный, неуклюжий и тучный человек, тот вечно рассеянный Пьер Безухов, который наделен сомнамбулической способностью оказываться в нужный момент в нужном месте и — как дурень из сказки — получать самую красивую девушку, самые большие деньги, самую интересную историю: огромное наследство отца, на которое он, учитывая толпу в комнате умирающего и его собственную неловкость, едва ли мог рассчитывать. Бородинское сражение, пожар Москвы, нелепость Наполеона да вдобавок еще то событие, которое в подобные дни не следовало бы упускать ни одному современнику: арест и плен, да вдобавок ему достается еще и Наташа Ростова. Пьер Безухов наделен проклятым сходством с тем парнем, который, не имея иного богатства, кроме дохлой вороны в одном кармане и пригоршни уличной грязи в другом, оказался единственным, кто заставил принцессу съесть обед и рассмеяться. В образе Безухова Толстому удалось нечто, едва ли удававшееся другому романисту: удалось изобразить героя, которому читатель вполне симпатизирует, но с которым никоим образом себя не отождествляет. Дурней на свете много, но лишь немногим из них достается принцесса, кто же по доброй воле согласится стать дурнем ради весьма небольших шансов, предлагаемых сказкой? Кто, читая роман в первый раз, посмел бы поручиться, что про историю этого самого Пьера можно будет сказать: «Конец — делу венец»? Этот приятный человек средних способностей, склонный к размышлени-

ям, но отнюдь не мыслитель, однозначно и бесспорно принадлежащий к мужскому полу, но отнюдь не похожий на «настоящего мужчину», этот очкарик, в чью греховность как-то трудно поверить, и все же рядом с ним даже всемогущий фельдмаршал Кутузов предстает шаржем; этот дилетант, чьи реформы в поместьях терпят крах, ибо он слишком ленив, чтобы заниматься нужными науками и подыскивать нужных людей, человек, легко поддающийся на самый старый и глупый из всех трюков, при помощи которого его заставляют жениться на Элен Курагиной, вот он бредет по горящей Москве с ребяческой мыслью убить Наполеона, неудавшийся миллионер, который у солдатского костра обрадуется миске похлебки и ломтю хлеба,— это он — герой романа, и это ему досталась невеста. Наташа принадлежит ему, он же, сам того не ведая, по чистой случайности попадает именно в то место, где решается исход Бородинской битвы, он, едущий в нелепом здесь партикулярном костюме через позиции, окажется «фронтовиком». И не Толстой ли первым из авторов привнес в войну тот компонент, которого мы по-прежнему избегаем, ибо для нас «героизм» и «судьба» по-прежнему священны,— компонент нелепости тех, кто делает войны.

Раскольников Достоевского и его «Идиот» появились почти одновременно с «Войной и миром» (1866 и 1868). Поскольку я не допускаю, чтобы один заглядывал в рукопись к другому либо позволял заглядывать в свою, может показаться случайностью, что Раскольников и князь Мышкин (в «Идиоте») обнаруживают известное сходство с тучным Пьером. Разумеется, ни Раскольникова, ни Мышкина даже в мыслях нельзя себе представить толстым, именно в таких, с виду второстепенных, физиологических деталях скрыта подспудная возможность понять двух великих антиподов русской литературы девятнадцатого века во всем их несходстве, во всем противоречии метода, каким они овеществляют свои представления. Лично я вижу Раскольникова и Мышкина на редкость худыми; единственные из *молодых* героев Достоевского, у кого я готов допустить известную степень полноты, являются, на мой взгляд, злополучный Михаил Карамазов и на удивление симпатичный Разумихин, друг Раскольникова; можно себе также представить, что и Алеша Карамазов в будущем отложит кой-какой жирок. Лишь несколько раз на протяжении более чем полутора тысяч страниц Пьер Безухов окажется в том

состоянии, которое неизменно сопутствует молодым героям Достоевского, лишь несколько раз он выйдет из себя: в ссоре со своей невыносимо злобной женой и после попытки его шурина Анатоля похитить Наташу. В такие минуты Пьер готов сражаться на дуэли, хотя прекрасно знает, как смешны дуэли. И еще в одной детали овеществления разнятся Толстой и Достоевский — в материальном воплощении проституции. Я считаю Сонечку Мармеладову одним из бессмертных женских образов мировой литературы, но я и по сей день не верю, что она была проституткой, а у Масловой в толстовском «Воскресении» я этому верю вполне. Вот как она стала проституткой — это уже другой вопрос.

Возможно, читателю выход всех действующих лиц на первых же ста пятидесяти страницах романа и не покажется столь рискованным, как показался он читающему автору.

Дерзновенны все большие романы Толстого — дерзнул и победил: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». В первой части «Войны и мира» появляется все московское и все петербургское общество, сельская и городская знать, чуть ли не целый полк, целые роды, доброе и злое, болтовня, лицемерие, одиночество, дети, взрослые, старцы, изъясняющиеся на французском диалекте, запоздалые Вольтеры и Руссо; интриги, великодушные, подлость. Какая судьба ожидает их всех и прежде всего этого недотепу Безухова, который что думает, то и говорит?

А через одну тысячу четыреста страниц можно подводить итоги: война, мир, Россия между 1805 и 1813 годами, ее общество, ее страхи, ее зловещее спокойствие, ее крестьяне, ее солдаты, купцы, ее лукавая медлительность по отношению к Наполеону, который неверно истолковал оставление Москвы, а потому и ожидает перед ее воротами, когда бояре начнут воздавать ему почести, ожидает и гневается, что его заставляют так долго ждать, а потом вступает в безмолвный, объятый ледяным молчанием город, в эту ловушку, уже занявшуюся там и сям, чтобы потом полыхнуть ярким пламенем, император, у которого достало авантюризма двинуть свои войска к этому бесконечному горизонту. Кто, читая про год 1812-й, не вспомнил о 1941-м, когда проявилось другое, еще более глупое, бахвальство и непонимание востока европейским западом: вступление немецкой ар-

мии, которая между июнем и июлем возьмет Ленинград, и Сталинград, и Москву, а одновременно за четыре с половиной месяца победит и русскую зиму, не будучи хоть сколько-нибудь к ней подготовлена. Разумеется, стратегические воспоминания уделяют много места теме *если то, если это*. Ответ однозначен: самая холодная зима за последние сто лет не оставила места ни для каких «если». Великие полководцы могут впоследствии размышлять о том, что было бы, если бы, автору это не дозволено. «Березина» Гитлера растянулась на целых три зимы, а кончилось все обугленным трупом перед одним бункером в Берлине и преданным, проданным, покинутым народом, чтобы еще спустя двадцать пять лет с высоты Шпрингера и с крыши отеля «Хилтон» можно было глядеть «сверху вниз» как на обезьян в зоопарке, не замечая при этом, что все явственней проступает наружу собственное обезьянство. Нет, нет, люди, конечно, стремятся к свободе, но что значит получить свое освобождение из рук немцев — это они не так скоро забудут.

Поскольку я наделен (счастливой, может быть) склонностью забывать содержание и вспоминать его лишь в вещественном воплощении, меня при каждом повторном чтении «Войны и мира» в конце первой части, которую можно рассматривать как своего рода экспозицию, охватывает один и тот же страх: как он справится с этим великим выходом героев и проведет их через все времена. Разумеется, мне известно, что существует два главных носителя действия, на которых автор в известной степени может положиться: женского рода — это война, и мужского — это мир; знаю я также, что у Наташи не все будет гладко: идеальная пара, Наташа Ростова и Андрей Болконский, никогда не соединятся, а злой, искусно выполненный замысел старого Курагина при помощи сводничества заграбастать два больших состояния, Болконских и Безухова, из которых удастся только одно, да и то на время,— замысел этот в «Конец — делу венец» пойдет прахом. Автор позаботился даже о финансовой компенсации — разорившиеся из-за своего мотовства Ростовы могут облегченно вздохнуть: Наташа выйдет за Пьера, а Николай женится на Марии Болконской. Ну не сказка ли это? И не удался ли Толстому грандиозный широко задуманный обман с его заурядным будничным Безуховым, которого каждый считает таким «достоверным». А разве на самом-то деле

он не менее достоверен, чем Наполеон и Кутузов, чем весь этот исторически достоверный передний и задний план, эта многослойная, как у добротной картины, грунтовка, которая нужна Толстому, чтобы создать почву под ногами у Безухова.

До хэппи-энда осталось еще восемь лет и одна тысяча четыреста страниц романа, впереди еще четырнадцать частей плюс эпилог и не менее трехсот пятидесяти трех глав. Благосклонному читателю подобные арифметические выкладки могут показаться малозначащими, недостойным расчленением, но для читающего автора они исполнены не меньшей значимости, чем все содержание книги и все действующие лица со всеми их проблемами. В конце концов, и каждый роман подвергается расчленению, вымаркам, расклейке, изменениям — и все это вместе взятое называют композицией; расчленение входит составной частью в процесс, который принято именовать творческим. Подобные цифры и подсчеты доводят до нашего восприятия ритм и дыхание, которое автор должен на столь долгом пути расходовать очень бережно. Средний объем каждой из пятнадцати частей составляет примерно сто пять, каждой главы — четыре-пять страниц. По счастью, ни одна из частей и лишь немногие из глав достигают этого «среднего объема». Поддающееся исчислению оказывается неподдающимся; разумеется, подобный роман нельзя постичь с помощью четырех арифметических действий, и, однако же, в нем есть своя конечность, своя длина и даже длинноты, есть свое предпринятое лично автором деление на книги, главы, подглавки. Не знаю, существуют ли уже кибернетические замеры ритмики романа, я считал бы это очень поучительным, а если они уже существуют, я охотно подверг бы сравнительному анализу «Войну и мир» и Раскольникова, чтобы увидеть друг подле друга две этих пробы дыхания. Возможно, и та и другая, будучи подвергнуты ритмическому просвечиванию и материализованы, явили бы взгляду фантастические графики как побочный продукт литературы. А вот и еще одно сопоставление Толстого и Достоевского, если свести к краткой формуле: у Толстого даже в самом коротком из его рассказов долгое дыхание, у Достоевского — короткое, почти прерывистое. В Раскольникове уже проявляется сенсационное для девятнадцатого века ужимание времени. Никак нельзя узнать, да и незачем, сколько продлится действие романа, то ли три дня, то ли пять, то ли недели, то ли

месяцы,— роман все равно закончится через мгновение. У Толстого словно шагаешь через столетия. В начале романа Наташе едва сровнялось тринадцать, в реальном конце ей двадцать один год, всего восемь лет, но эти восемь кажутся вечностью. Если лишить выражения «долгое дыхание» и «короткое дыхание» того негативно-го оттенка, который присущ им в немецком языке, и воспринять их просто как «техническую характеристику», можно будет распознать различную ритмику. Достоевский, во всяком случае поздний Достоевский, даже в самых объемных своих романах, которые также порой достигают тысячи страниц, поражает своим «коротким дыханием». Разумеется, здесь видна также разница в методах и условиях работы.

В этой попытке приближения я выражаю уверенность, что Россия девятнадцатого столетия хорошо увековечена и выражена благодаря этим двум столь различным авторам. Толстой автор; как ни странно, более *молодой*, хотя и представляется нам более старым, ибо дожил до глубокой старости. Я не могу ввести в ход своих рассуждений такие звезды первой величины, как Пушкин, Гоголь, Чехов, Лермонтов и Гончаров, либо многочисленные звезды второй величины русской литературы девятнадцатого века, что было бы необходимо, дабы хоть в малой степени создать фон для определения «русский». Настолько ли Пьер русский, как Наташины немцы — немецкие, этот человек, который как раз на середине романа думает про себя: «А вместо всего этого — вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке, любящий покушать, выпить и, расстегнувшись, побранить слегка правительство, член московского Английского клуба и всеми любимый член московского общества. Он долго не мог помириться с тою мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад».

Так кто же русский — он или разбитной Долохов, с которым он дерется на дуэли? Или Андрей Болконский, или, наконец, малость ограниченный и не слишком умный Николай Ростов, который обманул Соню? А как насчет Анатоля Курагина либо проныры и преуспевающего карьериста Бориса Друбецкого? Кто же «более русский» или, если угодно, «самый русский» из них всех? Может, следует сделать то, чего делать нельзя,— высказать определение нации, довести его до превосходной

степени, чтобы в результате убедиться, насколько оно сомнительно. Что это за свойство такое, если его нельзя возвести в превосходную степень? И куда прикажете деть образы Достоевского, Пушкина, Гоголя? Можно ли сказать, что князь Мышкин более русский, чем обаятельный маленький Петя Ростов, которому суждено погибнуть в последние минуты войны и которого так легко себе представить в виде добродушного и громогласного дедушки перед камином. Возможно, методы, предложенные мною, чтобы отделить автора от его творений, следует распространить и на целые нации: сложить воедино всех героев ее литературы, ее политики, ее промышленности и сельского хозяйства и т. п., а затем извлечь корень из этой огромной суммы и лишь тогда приобрести право употреблять определение «русский» или «немецкий». Разумеется, нации всячески рекламируют своих героев и ни один русский не захочет отказываться ни от одного из них: ни от Разумихина, который настолько же русский, как и все остальные — и как никто, ни от Левина и ни от Вронского, Курагина или Болконского. Не без зависти я должен признать: в русской литературе существует густонаселенный космос из мужчин и женщин, мы обходимся со своими персонажами более экономно — но что все-таки можно хотя бы приблизительно назвать типично русским, так, чтобы использовать это определение без малейших сомнений? Если точно присмотреться к тому, что в одной «Войне и мире» обозначается как типично немецкое, то и без прямого попадания Наташи остается достаточно пороха в пороховницах. Вот приводят пословицу: «Немец на обушке молотит хлебец», а в штабе полным-полно немецких советников. «Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми бывают только немцы, и потому именно, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки, то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего государства в мире, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и за-

бывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина. Но он был типичнее всех их.

Такого немца-теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще не видал никогда князь Андрей».

Пусть англичане, французы либо итальянцы испытывают неудовольствие от столкновения с характеристикой собственной нации, я пишу это как человек, у которого есть все основания считать себя немцем.

Краснеем ли мы, прочитав эти строки, стыдимся ли или сердимся? Не кажется ли нам, что в них содержится известная доля, к сожалению лишь известная, доля правды? Не есть ли идеологи ГДР своеобразные Пфули восточного блока, которые всегда все знают, знают лучше, чем другие, которые обладают «мнимым знанием», «совершенной истиной»? И не «пфульничают» ли суровые прагматики из ФРГ в западном лагере? Не были ли все великие стратеги завоевательной войны против Советского Союза в большей или меньшей степени Пфулями, которые одержали бы победу, не нагрять — да, да — не нагрять самая суровая из всех зим за последние столет? Но зима нагрязнула, нагрязнула также и для Красной Армии.

Я отнюдь не лъщу себя надеждой хотя бы приблизительно решить проблему национальных характеристик, суждений и предрассудков. Я просто спрашиваю себя, не лучше ли было бы на какое-то время отказаться от характеристик до тех пор, пока компьютеры, которые еще только предстоит изобрести и которые, возможно, будут шириной в два метра, если их напичкать всевозможными данными, не выдадут в ответ карточку, на которой будет стоять четкая формула того, что следует называть «русским» или «немецким». До сих пор ни одна нация, ни один народ, ни одна национальная литература еще не начала подвергать пересмотру те прилагательные, которыми обозначают самих себя и других. Нельзя отбирать приметы той либо иной нации, как нельзя и сократить их до нескольких авторов, а то и вовсе несколь-

ких героев. Экспортируемая литература подвержена опасности случайной оценки. Генрих Гейне стал бы и важней, и отчетливей, если бы его можно было увидеть в противопоставлении Штифтеру. Для некоторых стран Вагнер олицетворяет всю немецкую музыку, а в чем недостаточно вагнеризма, то не считают немецкой музыкой. Когда, на каком этапе немец перестает быть немецким в глазах иностранцев? Кто более русский — Толстой или Достоевский? Какие два автора могут быть более удалены друг от друга? Кто больше американец — По или Джек Лондон, больше немец — Штифтер или Гейне? А Гёльдерлин? Кто способен измерить расстояние между ним и Гейне? Разве Штифтер в своем качестве кроткой нелюди, как обозначил его Арно Шмидт, не наделен угнетающей современностью, разве он с его сосредоточенностью на предметах, камнях, мебели, тогда как люди загадочным образом остаются «под маской», не является перенесенной в девятнадцатое столетие модификацией «нового романа», разве фривольность и злость Гейне не носит скорее рейнский, нежели еврейский характер? Когда, кстати, приступят наконец к исследованию этого словесного континента «еврейский»?

Если еще раз свести к формуле: Толстой — писатель деревни и сельского хозяйства, Достоевский — писатель большого города. Едва ли сыщется более удачное воплощение земли и природы, ее людей, ее зверей, чем вмонтированная в «Войну и мир» волчья охота, невольно думаешь, что это и есть настоящая Россия, но есть и другая — обыватели и интеллигенты Достоевского в больших городах. Земная религиозность Толстого и мистическая — Достоевского. Я решительно отказываюсь — и намерен отказываться впредь — кого-то из них *предпочсть*. Я беру их обоих вместе с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым и еще многими другими, и тогда, до того, как мы установили этот гигантский компьютер, у меня будет в руках нечто, что я смогу назвать приблизительно русским.

Толстой и Достоевский имеют также различное значение и по-разному воспринимаются в Советском Союзе. Пушкин, Гоголь и Толстой, пожалуй, меньше всего идеологически оспариваемы, и кому покажется удивительным, что с позиций идеологических Толстой был из самых любимых и таковым останется всегда. Автор, которого — если это слово вообще еще годится к упот-

реблению — можно назвать величайшим реалистом русской литературы, которого, когда он был еще молодым человеком и собственными глазами наблюдал смерть брата Николая, после похорон осенила мысль написать материалистическое Евангелие «Жизнь Христа как материалиста», автор, о котором не кто иной, как Ленин, сказал: «До этого графа настоящего мужика в русской литературе не было».

Через пятьдесят лет после революции, в год столетия Ленина, наблюдаются признаки того, что — хотя время Толстого, Пушкина или Гоголя и не прошло — приходит время Достоевского. Безграничная благодарность и почтение, с каким относятся в Советском Союзе к литературе, отнюдь не приводят к тому, что один автор сменяет другого,— это выглядит так, как если бы благодаря Достоевскому был наконец-то заполнен давний пробел. Что не всегда зависит от дозволенной высоты тиража. По слухам, многие рукописи Солженицына, не напечатанные, но размноженные подпольно, циркулируют в двадцати — тридцати тысячах экземплярах. Что, в свою очередь, предполагает несколько сот тысяч читателей. Подобный автор, даже если его не печатают, присутствует в литературе, вот так же присутствует в Советском Союзе и Достоевский. Нельзя не заметить, что ренессанс Достоевского тесно связан с возрождением религии. Уж не собираются ли запад и восток поверх всех и всяческих стен обменяться своими позициями? Само собой, не на уровне их администрации. Администрация будет и впредь размахивать на западе флагом христианства, во всяком случае не спустит его, а у востока по-прежнему будет красоваться на флагштоке знамя атеизма. И оба эти флага будут по-прежнему вводить в заблуждение поверхностных наблюдателей. Затем будет отвергнут как дань моде социальный материализм, который сейчас поднимает голову на Западе (для подобных социальных материалистов Толстой, сказавший некогда: «Собственность есть причина всех зол»,— может служить своего рода Библией), и по тем же причинам будет отвергнут религиозный ренессанс в Советском Союзе. А в противостоянии, скорей всего, ничего не изменится: западные прогрессисты отвергнут новое развитие в Советском Союзе как реакционное, а на востоке провозгласят западную точку зрения социальной иллюзией. При исследовании ожидаемых событий важную роль сыграет такое произведение, как «Бесы»: убийство

Шатова, происходящее в тот момент, когда он вознамерился начать «новую жизнь», эта бессмысленная интеллектуальная игра как орудие послушания, устанавливающая одновременно магическую связь через кровавый грех,— эта игра будет повторяться снова и снова. Толстой гораздо более земной, материальный, вещественный. Достоевский — более духовный, более «неудобный» вплоть до вещественных деталей, как, например, отношение его главных героев к еде: если выразить это на современный лад, то все они — завсегдатаи буфетов, забегаловок, поедатели сосисок, тогда как герои Толстого охотно и обильно восседают за столом.

В России девятнадцатого века великие слова Свобода, Равенство и Братство упали на почву совершенно иную, нежели западноевропейская. Отношение России к гуманизму — включая сюда всю спорность, произвольность, все штампы, все фальсификации, которым подвергалось это понятие,— резко отлично от западного. История по-другому ввела эти слова и понятия в Россию, да и по сей день там многое остается по-другому. Вот и понятие «солидарность» имеет до сего дня другую историю и другие привычные способы осуществления. Политическое заключение там выставляли и выставляют напоказ, как на западе выставляют ордена, почтительное отношение к арестанту ослабело и будет слабеть дальше с появлением нового класса людей — советского обывателя, который желает иметь то, чего требует также и обыватель западный: порядок и покой. Политические заключенные в «Воскресении» Толстого отлично видят в несчастной Масловой жертву общественных, а следовательно, и политических обстоятельств, и в конце концов они займутся ею, освободят ее и признают ее политзаключенной.

Преклонение перед писателями, перед интеллигенцией всегда было достаточно велико, поскольку именно они традиционно осуществляли изменение господствующего устройства. «Самиздат», эта неофициально размноженная и распространяемая рукопись, не прошедшая цензуры и в то же время приобретающая популярность (как, например, в наши дни рукописи Солженицына), имеет свою традицию, из которой вытекает совсем иное отношение к популярности, до сих пор вызывающей подозрения у западных интеллектуалов. Мы этого никогда не поймем до конца, а того меньше — сможем дать

точный анализ, хотя бы и потому, что никогда не сможем понять до конца различий, множества оттенков между Советской Россией, остальными советскими республиками и другими социалистическими государствами.

Взяв русскую литературу девятнадцатого века как целое, я получу приблизительное представление о русском, «Войну и мир» — тоже всего лишь приблизительное о Толстом. Существуют еще и необозримые расстояния, которые скрываются в творчестве одного писателя, как напряжение внутри понятия «славянское». Можно ли считать, что Достоевский «Игрока» иной, нежели «Братьев Карамазовых»? Где же тогда то как минимум неизменное, как максимум постоянно наращиваемое качество, которого требуют от автора Пфули литературной критики? Чем романы — и «Анна Каренина», и «Воскресение» — лучше «Войны и мира» с великим множеством указующих перстов, за которыми порой совершенно исчезают многочисленные персонажи, вдобавок многие умные люди указывали на слабость эпилога. И они правы, эпилог разочаровывает: Наташа, едва достигнув тридцати лет, уже превратилась в матрону, более чем заурядная, не чрезмерно, но достаточно ревнивая мать семейства, можно также хорошо себе представить, как Пьер с Николаем и неизменно привлекательным Денисовым, который все-таки дослужился до генерала, сидит в сумерках у огня, водрузив на голову какой-то неопишемый колпак, и похож не то на дряхлого дедушку, не то на бабушку. И еще весьма ограниченный Николай рядом с этой доброй душой, с Марией Болконской, из которой получилась бы отличная настоятельница монастыря. А в один прекрасный день заявится этот непристойный Берг, тоже давно произведенный в генералы, и, насколько я его помню, начнет причитать по поводу утери «прекрасной шифоньерочки», которая осталась в Москве, одновременно почитая эту утерю героическим подвигом.

После таких волнений, суеты, страданий, страстей все кончается до ужаса нормально. Не следует ли из этого, что автор, вооруженный множеством пушек, успешно стрелял по воробьям? Не придется ли после обильной трапезы расстегнуть нижние пуговицы жилета и самую малость побранить правительство? Не утратит ли в конце концов даже и читатель-женщина охоту «идентифицировать» себя с *такой* Наташей. Подобно тому, как читатель-мужчина едва ли позавидует Пьеру. Правда, в конце останется еще Николенька Болконский,

который грезит о своем отце, обожает Пьера и намерен совершать великие дела,— новая надежда, новое начало. Мне же эпилог представляется сознательно нацеленным ударом, своего рода мокрым носовым платком. Будь Толстой способен продуцировать пошлость, он, верно, с умыслом сделал бы все столь же пошлым, как первый вариант заголовка «Конец — делу венец!». Но даже и его эпилог не упрекнешь в пошлости, он сознательно анти-идеалистичен, как мне кажется, и, должно быть, соответствует желанию автора хотя бы в одном произведении воплотить то, чего он никогда не мог найти: обыденность. Для столь малообыденного человека, каким был Толстой, обыденность была недостижимой мечтой, как для обыденного человека — мечта «пожить жизнью художника», и эта нормальная семейная обыденность в конце горчайшим образом подвергнута сомнению в предшествующих эпилогу частях романа. «Плохо дело, а?» — «Что плохо, батюшка?» — «Жена!» — коротко и значительно сказал старый князь. «Я не понимаю»,— сказал князь Андрей. «Да нечего делать, дружок,— сказал старый князь.— Они все такие, не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу, а ты сам знаешь».

Этот намек на отношение Андрея к его жене Лизе саркастичен и бьет в цель. А разве читатель, дойдя до хэппи-энда, уже забыл, что Наташа, будучи невестой Андрея, готова была позволить этому подонку Анатолию Курагину похитить себя? Много есть такого, что мешает поверить в счастливый конец. Может, следует вдобавок упомянуть, что история, все эти большие и малые войны для тех, кто некогда в них участвовал и остался жить, ссохлись до убогой темы для разговоров. Если войны достаточно затягиваются, из капитанов становятся полковники, а то и генералы, и даже неугомонный Денисов, который грабежом добывал провиант для своих голодающих солдат, чуть не погиб в лазарете и время от времени вдруг взрывается,— даже он кончает в полном благодушии. На мой взгляд, этот хэппи-энд вовсе не так хэппи, хотя таков, возможно, был замысел.

За несколько лет до того, как обратиться к «Войне и миру», Толстой в одном письме говорил так:

«Чтобы жить честно, надо рваться, пугаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться, и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Возможно, эта цитата, которую можно бы расширить

за счет множества равнозначащих, и есть единственно мыслимый комментарий к счастливому концу «Войны и мира».

Можно много говорить о личности Толстого, о его отношении к «величию», которое он показывает на примере Наполеона, о его понимании «войны», которая представляется ему кровавой и абсурдной несурaziцей, в свою очередь, воплощенной в несуразности Наполеона, чья активность парализована пассивностью горящей Москвы, о Толстом и о Западе, о католицизме (последняя эскапада Элен Курагиной состоит в том, что она вдобавок ко всему еще и принимает католичество).

Заметны и биографические черты, вечно переживаемое Толстым противоречие между жизнью, творчеством и учением, по этому треугольнику его и мотало из стороны в сторону, и ежели «спокойствие — душевная подлость», то тогда его душа уж никак не отличалась подлостью. Не был он и олимпийцем, хотя его охотно возвели бы на несколько тронов, и умер он, как герой Достоевского, уж никак не мудро, растерзанный противоречивостями своей жизни, да и после смерти чаша его не миновала: были широко распахнуты двери его супружеской спальни, подняты простыни; большего разлада, злосчастного непонимания, недоверия даже, чем между ним и его женой, ним и большей частью его семьи, ним и его учениками, приверженцами, толстовцами, просто вообразить нельзя. Ни от чего судьба не избавила его. Ни следа, ни тени намека на счастливый конец.

Итак, утолили ли мы свое любопытство, обрели писателя, обнаружили его укрытие? Где он, в чем он скрывается? В Болконском, в Пьере, а то и вовсе в Анатоле Курагине, в обоих Нехлюдовых (дважды — в «Маркере» и в «Воскресении» — дает он своим героям это имя), притаился ли он в Левине, который так же счастлив со своей Кити, как Пьер с Наташей? Не притаился ли он за лацканом у Кутузова или в табакерке у Багратиона? В Сперанском, главном идеологе царя? У Наташиного дядюшки, где удачная волчья охота так удачно завершается? Где он, этот автор, этот человек, о котором нам известно, что он испустил последний вздох в постели начальника станции, гонимый собственной славой, убитый отраженным светом этой славы, падавшим на его семью? Могу ли я предложить, чтобы мы оставили его в покое? Чтобы позволили ему просто быть, не только

в жизни, творчестве и учении, чего хватило бы с лихвой, но и *по частям* в Болконском, Безухове, Левине и Облонском, возможно, даже с некоторыми чертами Вронского, некоторым «налетом» Сперанского, двух Нехлюдовых и еще по меньшей мере трех сотен остальных.

И разве справедливости ради не следовало бы предоставить ему возможность скрываться также в некоторых женских образах? Разве нам не достаточно знать, что судьба ни от чего его не избавила — не избавила даже от того, что он, возможно, счел для себя честью — публичного отлучения от русской православной церкви. Во всяком случае, мое любопытство уже удовлетворено, и, прежде чем окончательно опфулиться, я хотел бы предоставить ему последнее слово. Сказанное Толстым применительно к людям, оно, это слово, пожалуй, могло бы помочь нам, если отнести его к нациям.

«Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного, что он добрый или умный, а про другого, что он злой и глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки, вода во всех одинакова и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки» («Воскресение»).

Возможно, в этом и заключается попытка приближения к самому себе, возможно, не самая удачная и — как, пожалуй, подумает кто-нибудь из читателей — слишком «простая». Ну конечно же, Толстой был много, много сложнее, чем эта его попытка приблизиться к определению человеческого. Да он и сам не мог бы себя объяснить.

КОММЕНТАРИЙ К ПРИСУЖДЕНИЮ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ АЛЕКСАНДРУ СОЛЖЕНИЦЫНУ

Это прекрасное решение. Только вот будет плохо, если оно вызовет на Западе бурные овации по мотивам политическим. Такие овации были бы неуместны и неумны. Именно с точки зрения литературы решение совершенно справедливо.

В традиции русской прозы XIX века (Гоголь, Толстой, Достоевский) Солженицын привнес элементы социалистического реализма, создав новый стиль.

Быть может, в Советском Союзе когда-нибудь поймут, чьи интересы представляет писатель Солженицын; увидят, что он, прежде всего в своем «Круге первом», совершил чудо: сделал ясным социалистический реализм, сумев присоединить его к мировой литературе, причем отнюдь не только потому, что разоблачил сталинизм. Что меня сильнее всего изумляет в Солженицыне,— так это спокойствие, которое он излучает,— писатель, о котором больше всего спорят и которому, как никому другому, угрожает опасность. Его спокойствие является поразительным вызовом слабоумным завихрениям в нашем мире, которым мы все более или менее подвержены.

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ

(Магнитофонная запись интервью с Дитером Веллерсхофом 11.6.1971.)

Дитер Веллерсхоф: Господин Бёлль, осенью, после пятилетнего перерыва, выйдет в свет ваш новый роман, причем эта новая книга является вашим самым крупным по объему и по широте охвата произведением. Роман называется «Групповой портрет с дамой». Что было главной причиной, заставившей и вдохновившей вас написать эту книгу?

Генрих Бёлль: Я давно вынашивал замысел этой книги, он вызревал, наверное, уже в процессе написания большинства моих прежних романов и повестей. Я попытался описать или написать жизнь немецкой женщины, которой теперь под пятьдесят и которой выпало пережить и вы-

нести все тяготы немецкой истории между 1922 и 1970 годом.

Д. В.: Но прежде чем вы смогли взяться за этот роман, вы, видимо, долгое время обдумывали его. Или столь длительный перерыв был вызван чем-то другим?

Г. Б.: На этот вопрос очень трудно ответить. Пятилетний перерыв не связан непосредственно только с этим. Я ощущаю каждую свою новую работу как расширение писательского инструментария, набора выразительных средств, способов композиции, а также и определенного жизненного опыта; и в этом смысле мой новый роман, как и вообще все, что я написал — включая и появляющиеся как бы между делом мелкие вещи: статьи, критические заметки и т. д., — своего рода продолжение пройденного пути. Для меня процесс писания всегда продолжение пройденного. И на сегодняшний день последним этапом на этом пути является этот роман, в центре которого, а может, лучше сказать, на переднем — или заднем, это как посмотреть, — плане стоит эта женщина.

Д. В.: Структура романа сильно отличается от композиции других ваших книг. Он строится на длинной череде свидетельских показаний. И образ центрального персонажа, то есть Лени, той самой женщины под пятьдесят, постепенно возникает перед глазами читателя именно из этих свидетельских показаний, якобы лишь документально фиксируемых повествователем — вымышленным лицом.

Г. Б.: Что такая структура повествования встречается у меня впервые, я осознал только теперь, после ваших слов. Вероятно, по-настоящему нов здесь только прием отбора и описания свидетелей. Ведь в прежних моих романах я тоже старался создать образ персонажа, главного персонажа, глядя на него с разных точек зрения, — правда, это всегда была точка зрения повествователя, которая, однако, как мне казалось, не оставалась неизменной. Но теперь явственнее проступили и различные углы зрения, и различные отправные точки, и различные степени близости к главной героине, причем вымышленным здесь является не повествователь: вымышленны свидетели.

Д. В.: В этом-то и заключается главная прелесть этого приема — он предоставляет читателю множество разных позиций и возможностей для оценки главной

героини; а она все равно остается непроясненной до конца, то есть многие вопросы остаются открытыми.

Г. Б.: Но в то же время мне кажется и я надеюсь, что и свидетели остаются непроясненными до конца и что здесь тоже множество вопросов остаются открытыми, ибо повествователь вынужденно характеризует их лишь под одним углом зрения, то есть весьма односторонне. Но я надеюсь, что и в группе персонажей, окружающих главную героиню, каждый в отдельности не до конца ясен и заключает в себе проблему.

Д. В.: Читатель романа сразу чувствует, что вы очень заинтересованно относитесь к своим персонажам. Но давайте сначала разберемся в главной героине. Что можно было бы о ней сказать? Пока мы только успели отметить, что ей под пятьдесят. Чем она привлекла вас, почему завладела вашими мыслями? Что в этой женщине особенного?

Г. Б.: Главная притягательность этой женщины для меня состоит в том — я могу это констатировать задним числом, теперь, когда книга готова и я гляжу на нее с некоторого удаления,— что она за свою жизнь находилась на самых разных ступенях общественной лестницы — и в материальном отношении, и в смысле окружающей среды — и что она пережила очень и очень тяжкие периоды немецкой истории относительно безучастно и почти без ущерба для души.

Д. В.: Ключевые слова здесь «безучастно» и «без ущерба для души»; они указывают на то, что эта женщина отличается от других персонажей и поэтому вызывает к себе особый интерес. Я бы сказал, что здесь мы имеем дело с человеком, инстинктивно понимающим, что для него правильно, а что нет, всегда поступающим соответственно своему инстинкту и именно этим отличающимся от всего остального общества, в котором ему приходится жить. Нельзя ли обобщенно определить эти особенности героини как «особый вид наивности»?

Г. Б.: Да, это тоже в ней есть. О слове «наивность» можно было бы долго рассуждать. Эта женщина, пожалуй, наивна и к тому же, как мне кажется, еще и невинна — не в юридическом или моральном, а чуть ли не в метафизическом смысле. Привлекла меня также и задача изобразить «невинную» в кавычках личность, которая — не знаю уж, чисто ли интуитивно — в этой женщине ведь много всего намешано: тут и весьма специфический вид образования, и самообразование — всякий раз,

как начинает жить по своему разумению, еще в ранней молодости, в семнадцать — восемнадцать лет, тут же отбрасывается к черте, за которой немедленно приобретает статус чуть ли не асоциального элемента, хотя отнюдь не исповедует идеологии отщепенцев общества.

Д. В.: Пожалуй, можно было бы сказать: она не обладает способностью к адаптации, способностью идти навстречу ожиданиям других лиц; она следует лишь своей внутренней потребности делать то, что считает для себя правильным. Это проявляется в самых различных сферах. Вы сделали эту женщину еще и воплощением особой трактовки чувственности. Ведь в книге неоднократно подчеркивается, что Лени необычайно чувственная особа. Но ведь она все же существенно отличается от того, что нынче под этим понимают?

Г. Б.: Да, я действительно попытался на примере этой женщины представить в новом свете понятие «чувственность» и всё связанное или ассоциирующееся с ним. Мне кажется, что чувственность этой женщины связана с определенной формой чувствительности, то есть и физической, и социальной, и эротической чувствительности, и что ее чувственная жизнь благодаря этому становится чрезвычайно сложной; это относится и к чувствительности в бытовом плане, то есть затрагивает еду, питье, одежду, и к чувствительности в области эротических переживаний; меня просто увлекла мысль по-новому взглянуть на эту проблему на примере такой женщины.

Д. В.: Ее чувственность проявляется и в ее совершенно необычном восприятии учебного материала. Она обладает способностью что-то усвоить или интуитивно понять только в том случае, если это, так сказать, затрагивает ее чувства, а от всего остального просто-напросто отворачивается.

Г. Б.: Мне очень трудно это объяснить, потому что, пытаясь выразить это словами или понятиями, мы тут же что-то теряем. Свойственный Лени материализм, ее приверженность к конкретным вещам включает в себя в то же самое время некий духовный компонент, именно благодаря ему и чувственность, и чувствительность Лени выходят за рамки всех существующих шаблонов; я, во всяком случае, на это надеюсь и именно это хотел выразить. Ведь специфична вся ее манера приобщаться к знаниям, приобретать образование, известная интенсивность этих ее занятий, охватывающих даже такие литературные явления, которые порой прямо противо-

стоят друг другу; причем она неожиданно оказывается способной понимать весьма и весьма сложные вещи — только потому, что они преподносятся ей не прямо, а через чувственность в описанном выше смысле. Для меня «Групповой портрет» — еще и «воспитательный роман», разумеется, не в классическом, идеалистическом смысле, но все-таки роман о воспитании и образовании женщины, образовании в двойном смысле: в традиционном, то есть способе получения знаний, и в совершенно ином смысле — образовании как способе становления личности и литературного персонажа.

Д. В.: Я хочу привести еще несколько примеров, чтобы конкретизировать эту мысль. Лени учится музыке — но не по нотам, а слушая и подпевая. Она отлично рисует, потому что проникается личностным отношением к изображаемому.

Г. Б.: Стремясь изобразить, выразить, нарисовать нечто вполне определенное, она начинает писать красками и делает это абсолютно необычным образом.

Д. В.: И секс для нее является не чем-то оторванным от прочей жизни, а просто одной из форм человеческих отношений?

Г. Б.: Да, но только очень интенсивной формой. И здесь мне очень захотелось посмеяться над уничижительным отношением окружающих к образу жизни моей героини, ибо, в сущности, у нее, насколько мне помнится, за всю жизнь был один муж и один любовник; однако окружение считает ее в высшей степени аморальной женщиной. Ее даже подозревают в проституции.

Д. В.: Именно из-за того, что это окружение никак не может составить себе ясное представление о ней, она не укладывается в привычные рамки. В ее воспитании играют известную роль такие вещи, на которые обычно накладывается табу. Большую роль играет, к примеру, все, что связано с пищеварением и экскрементами, все эти процессы, сближающие человека с животными. У Лени свое особое отношение ко всей этой сфере.

Г. Б.: Да, благодаря счастливой случайности, которую, сознаюсь, подстроил автор, Лени попадает в руки — или, вернее, на попечение — монахини-учительницы в монастырском интернате, которая прививает ей как можно более естественное отношение не только к экскрементам и прочим выделениям женского тела, но также к ее коже и волосам.

Д. В.: Все это такие сферы, которые в обществе считаются запретными, а здесь складываются как нечто вполне естественное и само собой разумеющееся в образ человека, которого я пытаюсь втиснуть в понятие «наивность» и «естественность» и который, главное, для всех остальных персонажей романа представляет, очевидно, некую загадку. В противном случае избранная вами форма повествования — опрос свидетелей — оказалась бы ничем не мотивированной. Но она мотивирована — тем, что все эти люди испытывают интерес к главной героине, она их как-то задевает. Благодаря этому роман стал панорамой общества, общественной жизни крупного западногерманского города в течение нескольких десятилетий.

Г. Б.: Думается, в течение семидесяти — восьмидесяти лет. Для этого мне понадобились ретроспективы из жизни людей различного возраста — отца и дяди Лени, а также хозяина садоводства. Поэтому повествование возвращается к 1890—1970 годам, так как каждое лицо, каждый персонаж должны быть материализованы. Этим объясняются скачки в пространстве и времени, причем в показаниях свидетелей я старался исходить из настоящего времени, вводя, где это необходимо, ретроспекции и вновь возвращаясь в сегодняшний день.

Д. В.: В этом романе есть несколько персонажей, даже целый ряд персонажей, судьба и социальная среда которых уже знакомы вашему читателю. К примеру, отец главной героини, владелец строительной фирмы, который поначалу строит укрепления для нацистов, а потом из-за бунтарского поступка своего сына оказывается выбитым из седла.

Г. Б.: Да, этот образ основан на жизненном материале, который, как мне кажется, не слишком подробно разработан в этом романе, но четко и тесно связан с одним из ранее написанных. Мне кажется, однако, что «Групповой портрет» связан и с другими моими романами, в том числе и с моим первым романом о войне, да и с последующими — «И не сказал ни единого слова», «Дом без хозяина» и даже «Глазами клоуна», что в этом романе я вновь возвращаюсь к моим тогдашним попыткам проникнуть в суть происходящего.

Д. В.: Например, к повести «Чем кончилась одна командировка».

Г. Б.: Да, и к ней тоже. Хотя мне эта связь не совсем ясна.

Д. В.: Думается, поступок сына предпринимателя, брата главной героини, пытающегося продать зенитную пушку, очень похож на поджог военного джипа.

Г. Б.: Вероятно, можно и так считать, только тут этот поступок повлек за собой более серьезные последствия — время-то военное. Да, конечно, можно усмотреть здесь известную аналогию. Но если она и есть, то отнюдь не столь преднамеренная, как может показаться. Теперь, оглядываясь назад, отдельные эпизоды и даже чуть ли не весь роман в целом тоже представляются мне как бы обобщением и дальнейшим развитием моих прежних работ.

Д. В.: Вы хотите сказать, что обобщение и дальнейшее развитие прежних мотивов не было сознательным намерением, а получилось как бы само собой?

Г. Б.: Да, так получилось само собой, и мне думается, что и во многих моих прежних романах каждый следующий имел много общего с предыдущим и так далее. Я вовсе не стремлюсь расширять сферу своего жизненного материала до «охвата мировых процессов». Я считаю это бессмысленным. И думаю, что эта особенность моей манеры письма, которую я называю «дописыванием», существовала и раньше, что отдельные мои романы всегда были связаны между собой такими элементами «дописывания» и что этот последний роман — тоже некое «дописывание». Как дела пойдут дальше, пока не знаю.

Д. В.: Для этого романа вам пришлось, очевидно, изучить большой фактический материал, ведь в нем очень достоверно изображено множество реальных ситуаций, например, весь период конца войны. В это время Лени работает в мастерской по изготовлению кладбищенских венков, и вы приводите такие специфические детали, как различие между двумя способами скрепления венков. Оказывается, существовал «германский» способ, при котором венок скреплялся не очень жестко, и «римский», при котором венок крепился так жестко, что казался отлитым из металла. Причем этот второй способ был запрещен нацистами, после того как Италия перестала быть их союзницей.

Г. Б.: Этот запрет на «римские» венки вовсе не выявлен мною в результате исследований, а является логическим выводом после изучения множества других относя-

щихся к делу деталей. Естественно, мне пришлось изучить много материалов и прибегнуть к помощи других людей. Но когда к тебе в руки попадает точная и достоверная историческая деталь, то из нее уже логически вытекает представление о конкретной обстановке в какой-то жизненной сфере — скажем, в лагере для военнопленных, в мастерской при кладбище во время войны; это представление уже ничем не документировано и не основывается на точных данных, связанных с этой сферой деятельности, понимаете? Для меня главное заключается в том, чтобы выискать какую-то достоверную и выразительную деталь, связанную с жизнью того или иного из моих персонажей. И если мне это удалось, она приобретает свое логическое развитие, достоверность которого уже не связана ни с какими документами и целиком основывается на точности логических выводов повествователя; сюда относятся и подробности жизни военнопленных, и быт простой работницы во время войны, и деловые обстоятельства предпринимателя и т. д.

Д. В.: В вашей книге содержится множество описаний самых разных деталей и реалий жизни. В том числе и выдуманных, ничем не документированных, но выпукло характеризующих определенное состояние персонажей или определенную историческую ситуацию. Однако вы ввели в ткань романа и подлинные документы эпохи.

Г. Б.: Но они и подаются как явно документальный материал. Это выдержки из протоколов и судебных дел, и применяются они как коллаж по вполне определенной причине: я боюсь, что при чисто литературном описании, например, условий жизни военнопленных во время войны, у читателя может возникнуть ощущение эйфории, что не соответствует реальному положению дел. Поэтому именно для этой сферы жизни я не стал облекать определенные детали в литературную форму, а прямо включил в текст как вставной документальный материал.

Д. В.: Среди множества введенных в повествование эпох, эпизодов и отрезков исторического времени в романе выделяется один отрезок, который произвел на меня наибольшее впечатление. Это конец войны. Лени работает в садоводстве и там знакомится с русским военнопленным, который становится в конце концов ее мужем и отцом ее ребенка.

Г. Б.: Да, с моей стороны это было преднамеренное и явное заострение ситуации. Поэтому я могу об этом говорить. Поначалу я хотел, в сущности, написать обычную любовную историю, и мне казалось, что она получится более увлекательной, достоверной, точной и соответствующей действительности, если любовь мужчины к женщине или женщины к мужчине поместить в наиболее трудную и опасную в политическом и социальном отношении ситуацию, осложненную еще и внешними обстоятельствами, то есть военным временем. Поэтому мой выбор пал на советского военнопленного, стоящего по нацистской идеологии на предпоследней ступени в их табели о рангах человеческого достоинства. Последней ступенью был бы еврей, но я побоялся, что такой вариант будет попахивать шаблоном, поскольку он уже неоднократно использовался в литературе. Поэтому я выбрал на роль возлюбленного Лени другого «недочеловека» — советского офицера.

Д. В.: Но этот период примечателен для главной героини еще и в другом отношении. Благодаря особому складу своей натуры, благодаря своей полной неспособности меняться Лени является как бы антиподом общества в целом, а в этот период конца войны, когда общество рушится, она становится центральной фигурой, вокруг которой группируется некий микросоциум, некое новое общество, которое живет по совершенно иным канонам, находясь в подполье, можно сказать, в катакомбах.

Г. Б.: Но почти все его члены — асоциальные личности. Тут и отъявленный нацист, наживавшийся на войне и теперь вдруг отрекающийся от своего прошлого, тут и Маргарет, ведущая «легкомысленный» образ жизни, тут и еще одна женщина, Лотта, которая, по господствовавшей в те времена идеологии, считается асоциальным элементом, тут и советский военнопленный; это сообщество, по моей логике, не только символически уходит в подполье, но и в самом подлинном смысле слова спускается в катакомбы, то есть живет в подземелье.

Д. В.: Все они живут в склепах, в больших фамильных склепах на кладбище, и ребенок у Лени родится там же.

Г. Б.: Да, ребенок родится там же во время особенно страшной бомбежки. Это совпадение во времени тоже «подстроено» мною сознательно, поскольку бомбежка в известной степени символизирует конец войны, но еще не конец террора.

Д. В.: С большой образной убедительностью показано, как этот микросоциум начинает жить новой жизнью, в то время как общество в целом рушится. А потом роли меняются. И когда общество вновь встает на ноги, Лени мало-помалу опускается на социальное дно.

Г. Б.: Что ж, может, и так, я не могу этого точно объяснить. Для меня поворот в ее судьбе логичен. Во всяком случае, Лени — не тот человек, который извлекает из чего-либо выгоду для себя. Она не извлекает никакой выгоды ни из своей достаточно рискованной любовной связи, а ведь после сорок пятого года она могла бы составить для нее некий политический капитал, ни из того, что ее отец был арестован при нацизме по мотивам отчасти политического толка, и т. д. Она просто продолжает жить, как жила, остается простой работницей, хотя вокруг нее люди, за плечами которых самое разное прошлое, ухитряются обратить это прошлое к своей выгоде; ибо и нацистское прошлое может оказаться полезным, в чем мы теперь все больше и больше убеждаемся. Оно оказывалось полезным уже в ту пору благодаря старым связям и т. д. Извлекали выгоду из своего прошлого и те, кто преследовался при нацистах. Но Лени не принадлежит ни к тем, ни к другим.

Д. В.: Однако можно сказать, что теперь, когда она вытеснена на обочину жизни и попала в тяжелые социальные обстоятельства, она привлекает к себе людей по-прежнему и не с меньшей, а скорее даже с большей силой. Ее обаяние растет, и Лени становится новым центром притяжения.

Г. Б.: Да, она притягивает к себе людей все сильнее, в сущности, вплоть до конца книги, хотя в социальном смысле она вместе со всем своим окружением и людьми, живущими в ее квартире, принадлежит чуть ли не к отбросам общества.

Д. В.: В какой степени все они — отбросы общества?

Г. Б.: Для меня это было одной из ключевых проблем при написании романа: отбросы общества и само отбрасывающее их общество. У меня сложилось впечатление, что, в сущности, очень многие слои населения общество отторгает, объявляя их отбросами, и к одному из таких слоев относится Лени. Она не имеет своей крыши над головой, не может платить за квартиру, кругом в долгу и т. д.

Д. В.: Но в романе описана ситуация, которая представляется мне явно вымышленной. Мусорщики предот-

вращают выселение Лени из квартиры, перегораживая улицу своими мусоровозами. Отчетливо гротескная форма сопротивления властям.

Г. Б.: Мне она отнюдь не кажется гротескной. Теперь, задним числом, когда я о ней думаю,— но не тогда, когда я все это писал,— она кажется мне некоей неосознанной ассоциацией с повестью «Чем кончилась одна командировка», где благодаря относительно или даже вообще бескровной акции мобилизуется общественная солидарность. Так что акция мусорщиков не кажется мне гротеском, скорее это умозрительный вариант или утопия.

Д. В.: Утопия, которую нельзя принимать всерьез как реальное предложение и которая изображает сопротивление властям как некую игру для взрослых.

Г. Б.: Нет, мне кажется, что это и есть сопротивление — умозрительный ли вариант или утопия, но и то, и другое основано на вполне реальных возможностях. Я действительно считаю реальным то, что эти люди делают, предлагают или планируют сделать. Ведь уличное движение в наших городах до такой степени лабильно. Представьте себе, что на Гогенцоллерринге или на Еренштрассе в Кёльне какая-то машина потеряет управление, загорится и перегородит собой улицу — ведь движение по всему городу будет парализовано на несколько часов.

Д. В.: Значит, эта ситуация — ваш практический совет желающим оказать властям сопротивление?

Г. Б.: Реальный совет. И основывается он на моем собственном вполне реальном опыте: сидя за рулем, я часто слышу по радио, что две-три аварии на автобане практически блокировали движение машин на больших участках дороги. Легко себе представить, что крупное дорожное происшествие на улицах в центре города вызвало бы ужасающий хаос. Так что для акции такого рода — воспрепятствовать выселению Лени — мне кажется вполне реальным воспользоваться лабильностью уличного движения крупных городов.

Д. В.: Вы сказали, что в вашем романе есть некоторые черты «воспитательного романа», поскольку он повествует о становлении личности, а также о влияниях, которые наложили на эту личность определенный отпечаток. Нельзя ли назвать его и «юмористическим романом»? Во всяком случае, ему свойственны некоторые особенно-

сти, позволяющие сделать такой вывод. Ведь именно для юмористического романа характерно, что вокруг некоего идеального персонажа выстраиваются остальные, комичность и гротескность которых выявляются через их отношение к главному герою?

Г. Б.: Об этом я как-то еще не думал... Писать «идеального» героя — дело вообще довольно рискованное, и вполне возможно, что в результате может возникнуть некий юмористический эффект. Да только я стараюсь избегать этого словечка — «юмористический», поскольку в нашей стране за ним стоит дурная традиция, в сущности, почти никакой. Если «юмор» относится к социальным контрастам как к фактору, создающему внутреннее напряжение, я его принимаю и признаю. Думается, нам надо бы поискать другое слово вместо «юмористический».

Д. В.: Когда видишь, как персонажи втягиваются в свои роли, как они терпят неудачи, спотыкаются, как с них сползают социальные маски, это зрелище часто создает комический эффект.

Г. Б.: О да, конечно, если называть этот эффект комическим. Просто я испытываю антипатию к этим двум словечкам — «юмористический» и «комический», поскольку они обычно используются лишь в одном узком смысле. Я имею в виду не то, что за этими словами скрывается, и не то, что ими, вероятно, хотят выразить; эти словечки сразу задвигают юмор в такой угол, где ему, как мне кажется, не место, поскольку еще никто всерьез не задумывался над тем, что такое юмор, тем более — что такое юмор в немецкой литературе. На ум сразу приходят только Вильгельм Буш и прочее в том же роде, а в этот угол мне вовсе не улыбается попасть.

Д. В.: Существует традиция юмористики, которую можно было бы назвать «литература злорадства», литература скрытого садизма. А кроме того, юмористику можно было бы еще упрекнуть и в том, что она предполагает примирение с нищетой, как, например, в известном изречении: «Юмор — это когда смеются несмотря ни на что». Нищета здесь понимается в самом полном смысле слова, и ожидается, что люди должны еще и смеяться.

Г. Б.: Нет-нет, было бы ужасно, если бы юмор являлся отдельным компонентом какого-либо романа и не сопровождался иронией и болью. Ведь существует и так называемый «болевой юмор». Это словосочетание действу-

ет на меня так же, как слово «веселенький» в словосочетании «веселенькая история», где оно имеет прямо противоположный смысл. «Веселенький» здесь отнюдь не синоним слов «радостный» или тем более «забавный», «смешной». Существуют прекрасные дефиниции юмора, например у Теодора Хеккера, о чем я только сейчас вспомнил; с ними я мог бы в какой-то степени согласиться. Но при том, как обстояло дело с юмором у нас до сих пор — и в истории литературы, и в критических статьях, — я все еще воспринимаю эпитет «юмористический» как некое усечение смысла. И уверен: если юмор означает примирение с нищетой, то такого юмора я начисто лишен. Однако не думаю, что эта дефиниция верна — даже в устах противников юмора.

Д. В.: Однако в вашей книге есть и противоположная линия. Вдруг оказывается, что успех людей, добившихся высокого социального положения, людей деловых в общепринятом значении этого слова, на самом деле — успех весьма сомнительного свойства.

Г. Б.: Нет, я с этим не согласен. Это верно не вообще, а только по отношению к некоторым персонажам: выясняется, что социальный успех, связанный с большими деньгами, не в состоянии удовлетворить их потребность в счастье. И в этом смысле в романе, вероятно, действительно содержится некий юмористический эффект или компонент, предполагающий, однако, другую дефиницию юмора. Могу попытаться дать эту дефиницию. Думается, что с социальной точки зрения юмор как социальная черта и черта автора, занимающегося социальными проблемами, означает не примирение с нищетой, а признание относительности богатства. Богатство относительно. Абсолютно лишь самое необходимое: жилище, еда, в нашем климате — еще и кое-какая одежда, чтобы не мерзнуть, а также и для того, чтобы не подвергаться постоянным нападкам. К этим вещам я отношусь без всякого намека на юмор. Но как только начинается богатство — а оно начинается довольно рано, — сразу включается юмор. Тут-то и начинается для меня относительность богатства. Я представляю себе рано разбогатевшего молодого дельца — не важно, издает ли он иллюстрированный журнал или производит шариковые ручки, — который внезапно впадает в глубокую тоску только потому, что не ему достается женщина, которой он хотел бы обладать; не будем пока называть его чувством любовью. Или же его тоска вызвана тем, что он за-

видует людям, для которых — как в знаменитой сказке — гороховый суп — лакомство. Понимаете, эти мысли стары как мир и частично содержатся уже в Библии. С такой дефиницией юмора я согласен, потому что она подчеркивает относительность власти денег. Да, относительность власти денег.

Д. В.: Итак, по-вашему, юмор — это такой строй мышления, который развенчивает фетиши и, следовательно, является своеобразной формой сопротивления. Ведь определенные формы власти и успеха, стремящиеся импонировать обществу, даже их сторонникам уже не представляются безусловно привлекательными.

Г. Б.: Но я ведь не только критикую, я вижу даже известную трагичность в том, что, к примеру, один из главных мужских персонажей, Пельцер, довольно беспардонный делец, не может добиться благосклонности женщины, которой жаждет его душа, понимаете?

Д. В.: Мы бы не исчерпали всей проблематики романа, если бы исходили только из одного тезиса: в центре его находится некая, так сказать, настоящая святая женщина, вокруг которой группируются как-то связанные с ней другие персонажи, играющие свои небольшие социальные роли, имеющие разные представления о жизни, разные характеры и т. д. Нет, в романе присутствует еще и антипод Лени, взрывающий и сводящий на нет ее неприкасаемость и совершенство. У Лени есть душевная подруга, Маргарет, у которой, в противоположность ей, полным-полно грехов.

Г. Б.: Мне кажется, они обе очень даже греховны, только у Лени в конечном счете выявляется какая-то почти эгоистическая неуязвимость. Лени никому не удастся сокрушить, она, в сущности, неистребима — это будет вернее, чем неуязвима, Потому что обижать-то ее обижают, и даже весьма часто; она от этого страдает, но не гибнет, в то время как ее подруга Маргарет, по внешнему рисунку жизни типичная проститутка, гибнет — гибнет в полном смысле этого слова; но именно своей гибелью она обеспечивает сохранность Лени, как можно заключить по многим эпизодам. Вероятно, с моей стороны это попытка подвергнуть сомнению старое понимание святости, когда какая-то личность либо остается до самого конца, либо становится к концу жизни абсолютно безгрешной. Такому пониманию противоречит даже так

называемая история святых мучеников, ибо за спиной святых — как иудейских, так и христианских, — то есть людей, доказавших свою святость, чистых душой и добродетельных, стоит длинная череда других людей, греховных с точки зрения буржуазной морали, без которых они, однако, не могли бы сохранить свою чистоту. Уже в жизнеописании Иисуса из Назарета, в его родословной, полным-полно сходных с Маргарет персонажей. Наверное, это на меня повлияло. Может быть, Маргарет или похожий на нее персонаж станет главным в моей следующей книге. Потому что мне интересно показать, что наше общество, все эти деловые люди, уверенно идущие своим путем, в своей «наивности» и кажущейся чистоте оставляют за собой множество сломанных жизней: ведь у многих нет такой стойкости, как у Лени. И в этом смысле Маргарет для меня — по меньшей мере вторая главная героиня, как, впрочем, и другие женщины в книге; так что вероятно или вполне возможно, что мне захочется вернуться к этому персонажу, «дописать» его.

Д. В.: Итак, Маргарет — проститутка или, вернее, женщина, ведущая жизнь проститутки и кажущаяся легкодоступной, на самом деле питает отвращение к этому образу жизни и в конце книги умирает — не только от венерической болезни, из-за которой попадает в клинику, но и потому, что не может вынести циничного отношения окружающих к жизни, к ее интимным сторонам. Она умирает от краски стыда.

Г. Б.: Да, она умирает от краски стыда в физико-психофизиологическом смысле, но также и в метафизическом смысле, поскольку «краска стыда», то есть прилив крови к лицу, — очень сложное явление, объединяющее психические, душевные и физиологические процессы донны не выясненным образом; вероятно, в дальнейшем я еще займусь этой проблемой. И мне кажется вполне логичным, что женщина, на поверхностный взгляд не знавшая, что такое стыд, а в сущности — натура легко ранимая и стыдливая от природы, несмотря на свой образ жизни умирает от стыда, в то время как Лени это чувство незнакомо. Она его никогда не испытывала. Мне это только сейчас пришло в голову, опять-таки задним числом. Она всегда делала то, что люди, возможно, назвали бы бесстыдством, — например, все, что связано с ее возлюбленным в мастерской, хотя бы то, что она первая сделала шаг к сближению, вынуждена была сделать, поскольку он в его положении такой возможно-

сти не имел. Все это свидетельствует об отсутствии у Лени стыда в общепринятом смысле слова; в то же время ее поступки кажутся нам разумными и чистыми. Ее подруга Маргарет совсем иного склада.

Д. В.: Получается, что эти две героини явно противопоставлены друг другу: крайне положительная, порождающая в качестве противовеса свой антипод. Не означает ли это, что вы тем самым признаете наличие между ними противоречия, которое невозможно снять?

Г. Б.: Противоречие возникает у меня всегда в процессе написания или описания, причем не только главного героя, но и второстепенных персонажей, свидетелей и т. д. Я пытаюсь его выразить через какой-либо второстепенный персонаж; ведь все они, в сущности, являются лишь дополнением, причем необходимым дополнением к Лени, в том числе и эти весьма толковые и хваткие юноши, которые собираются выселить Лени из ее дома. Эти люди нужны как фон, подчеркивающий ее замечательные свойства, и в этом я тоже вижу противоречивый процесс.

Д. В.: Мне как читателю даже кажется, что якобы второстепенные персонажи нарисованы достовернее и реалистичнее, чем главная героиня. После прочтения книги она представляется как бы выходящей за пределы обычных человеческих масштабов и странным образом теряет видимые очертания.

Г. Б.: Да, так вполне может случиться, я не стану тут возражать. Это не входило в мои намерения, но было бы вполне естественно, если бы главная героиня полностью растворилась во второстепенных персонажах, перестала быть необходимой и исчезла из вида, оставшись в сознании читателя лишь как смутный образ, как представление.

Д. В.: В романе есть еще одна линия, едва намеченная. Нельзя ли сказать, что образ Лени написан в русле некоей традиции, в русле определенной архитипической трактовки женской сущности? Можно ли утверждать, что она воплощает в себе черты рейнской Мадонны, рейнской матроны?

Г. Б.: Что ж, может быть. Так получилось неосознанно, но, конечно, все это во мне сидит. Я знаю эти многочисленные культовые изображения Мадонны здесь у нас в Рейнланде. Знаю и рейнских Мадонн в бесформенном плаще до пят и эту странную скульптуру святой Урсулы в окружении девственниц. Может быть, все это и сказа-

лось, не стану отрицать. Может, во мне с детских лет засело это неприятие изображений такого сорта — здесь, в этой провинции, из которой я родом. Это одно из возможных объяснений. Но я скорее склоняюсь к мысли, что сам выбор женщины на роль главного персонажа — не что иное, как попытка слегка потеснить из литературы героя-мужчину — как положительного, так и отрицательного, поскольку они оба, как мне кажется, успели уже превратиться в шаблон. Ведь и я написал множество отрицательных мужских образов, то есть сам способствовал возникновению этого шаблона; поэтому я попытался с помощью этого женского образа — Лени не должна была быть ни положительным, ни отрицательным персонажем — снять эту альтернативу. С моей стороны это лишь попытка, поэтому то, что вы сказали только что насчет матроны и Мадонны в бесформенном плаще до пят, вероятно, тоже сыграло свою роль.

Д. В.: Вы находите, что утопия справедливой жизни может быть представлена женщиной убедительнее, потому что мужчина как литературный персонаж отягощен всевозможными пороками?

Г. Б.: Да, я считаю нынешних мужчин несостоятельными. Конечно, это ограничивается немецкой литературой и немецкими мужчинами, какими я их увидел и вижу до сих пор. До войны, во время войны и после нее возникло, мне кажется, новое понимание мужественности, которое подтверждается даже статистически и которое не соответствует историческим тяготам, исторической боли и страданиям женщин — в том числе и во время войны. Для меня всегда было мучением, надев не по своей воле мундир, играть роль мужественного героя, в то время как в городах — конечно, не только в немецких городах, но и в Голландии, Франции и Англии, а также и в Советском Союзе — истинными страдальцами от этого мужского героизма были женщины и дети, и в моих глазах прямо-таки до абсурда смехотворны потуги мужчин по сей день гордиться своим геройством, своей героической смертью на поле боя и своими орденами.

Д. В.: При этом ваша героиня предстает человеком, который прежде всего озабочен тем, что относится непосредственно к нему, то есть меньше захвачен безумием массовых процессов и общепринятых взглядов. Но ваша героиня не совпадает и с распространенным в современной литературе женским образом: героиня теперь, как правило, молодая девушка. Вы же взяли в качестве

идеального образа, в качестве центра притяжения для всех остальных персонажей женщину, которая по нынешним понятиям считается уже пожилой.

Г. Б.: Конечно, так и было задумано. Постоянно пропагандируемый ныне образец для эротики и секса всегда изображается молодым и красивым, то есть красивым отнюдь не в эстетическом плане: красота просто отождествляется с физической молодостью. Эти молодые люди обычно резвятся где-то на пляжах или сидят в самолетах; а я считаю просто бессмысленным ограничивать возрастом эротическую притягательность женщины. И это я тоже хотел выразить в романе.

1971

КОММЕНТАРИИ



Автором преамбул к комментариям является
М. Л. РУДНИЦКИЙ

В четвертый том Собрания сочинений Генриха Бёлля вошли произведения, опубликованные в 1964—1971 годах. В творческой биографии Бёлля этот период отмечен странной двойственностью: с одной стороны, по всем внешним приметам крепнет и растет его писательская слава, книги его именно в этот период стремительно завоевывают все новых и новых почитателей во всех концах света, и это всемирное международное признание увенчивается в 1972 году, через год после выхода романа «Групповой портрет с дамой», присуждением Нобелевской премии. С другой стороны, именно в это время Бёлль, как никогда прежде, начинает ощущать определенные сложности во взаимоотношениях с читающей публикой и особенно с литературной критикой у себя на родине: его чтут как всемирно признанного автора, но считают его искусство для современной немецкой словесности скорее «нетипичным»; его хвалят за «идейное содержание» его книг, но снисходительно порицают за их «традиционную» форму; ему то и дело противопоставляют других, якобы куда более современных немецких авторов — Грасса и Кёппена, Вальзера и Носсака, Йонзона и даже Зигфрида Ленца. Болезненно накладывается на это и холодное безразличие к Бёллю со стороны «бунтующей молодежи» конца 60-х годов — для этих ниспровергателей «мертвой», «буржуазной» культуры Бёлль давно уже «отрезанный ломоть», «прижизненный классик», ходячее воплощение беспомощности классического гуманизма.

Верный признак того, что Бёлль все чаще чувствовал себя не всеми и не до конца понятым — растущая потребность в автокомментарии. С середины 60-х годов писатель все охотнее соглашался давать интервью, в которых, ничуть не боясь показаться многословным, подробно и обстоятельно рассказывал о себе, рассуждал о своем творчестве, анализировал то или иное свое произведение. Вышедший в 1978 году объемистый том интервью и бесед Генриха Бёлля документирует этот внутренний перелом, это возникновение потребно-

сти объясниться с читателем более чем наглядно: до 1967 года нашлось лишь 3 интервью, которые писатель счел достойными повторной публикации, зато с 1967 по 1978-й их насчитывается уже 54, причем некоторые вышли в свет отдельными книгами. И дело тут, разумеется, было вовсе не в стремлении к саморекламе, Бёллю изначально и начисто чуждом, а в ответственном отношении к своей миссии художника: Бёлль считал себя обязанным дать пояснения там, где они требуются, и оспаривать превратные истолкования своего искусства.

В итоге произошел довольно редкий в истории литературы случай: писатель раньше своих критиков и проницательней исследователей своего творчества сформулировал основные особенности и эстетические принципы своей работы, своего искусства. С программной отчетливостью это сделано уже во «Франкфуртских лекциях», читанных Бёллем в мае — июле 1964 года и опубликованных полутора годами позднее. Здесь впервые были изложены принципы «эстетики гуманного», чрезвычайно важные для понимания искусства Бёлля. Писатель выстроил перед своими слушателями непривычную систему ценностей, в основе которой доминировали не представления о так называемой социальной справедливости или несправедливости, а вопрос о том, насколько современное общество способствует самореализации, самораскрытию личности, насколько оно, говоря выпенненным словом Шиллера, созрело для «полноцветной человечности»? Ничуть не отрекаясь от гордых постулатов классического гуманизма, Бёлль сосредоточился на, казалось бы, куда менее сложном вопросе: что подразумевать под понятиями «гуманность» и «гуманное»? Какие такие особые свойства отличают человека от других созданий Божьих и могут считаться исконными признаками гуманного? Для Бёлля это язык и все элементы простейшего человеческого сообщества (он называет это «эстетикой еды и жилья, оседлости, соседства»), а еще — любовь и сопричастность, то есть вера, религиозное чувство. Это — первоосновы гуманного, опоры человеческого самостоянья. Однако анализ современной общественной жизни показывает, что выработанные обществом институты власти (государство и его орудия: армия и политический аппарат) суть инструменты изничтожения всего истинно человеческого, они вытесняют подлинно гуманное и социальное, подменяя их иерархией подчинения, казенщиной и обезличкой.

Сейчас, когда времена идеологических «проработок» западных писателей, в том числе и Бёлля, надо надеяться, окончательно миновали, можно указать на некоторые уязви-

мые моменты бёллевской «эстетики гуманного», связанные прежде всего с идеализацией патриархальных, по сути — общинных форм социальной жизни, реставрация которых, по-видимому, невозможна в условиях современной цивилизации. Социальный критицизм Бёлля во многом «подпитывается» утопическими представлениями о некоем синтезе раннехристианских и социалистических идей, проявления которого виделись писателю в патриархально-общинных человеческих связях, сохранившихся на периферии общественного развития, в провинции, в захолустье. Отсюда пристальный интерес Бёлля именно к окраинным уголкам современного мира — будь то дорогая его сердцу Ирландия или столь же притягательный для него мир и уклад немецкой провинциальной глуши.

ЧЕМ КОНЧИЛАСЬ ОДНА КОМАНДИРОВКА

Повесть вышла в свет в 1966 году в издательстве «Кипенхойер унд Вич» (Кёльн), в русском переводе опубликована год спустя в журнале «Иностранная литература», 1966, № 11—12.

Эта повесть — одно из немногих произведений Бёлля, которое вообще невозможно понять в отрыве от его «эстетики гуманного». В других вещах эта эстетика существует как бы в контексте, ее можно пропустить, не заметить, здесь же она и тема, и фактура, и смысл. Бёлль как бы задался здесь целью явить читателю все нравственные и эстетические опоры своего художественного мира.

Атмосфера повести напоминает «Разбитый кувшин» Клейста: в заштатном городке идет тяжба, в зале суда все друг друга знают, «чужак» только прокурор, столичный приезжий. Отношение к закону и власти здесь, в провинции, фамильярно-бытовое, это категории «большого мира», воспринимаемые как ненужная и обременительная формальность, которую приходится терпеть и которую всячески стараются обойти: обвиняемых кормят на зависть прокурору.

Существен предмет тяжбы: краснодеревщик Груль и его сын обвиняются в нанесении материального ущерба, ими демонстративно уничтожена типичная принадлежность «большого мира», то есть государственной власти — автомобиль бундесвера. В контексте бёллевских жизненных ценностей это вещь абсолютно бесполезная, ненужность ее подчеркнута характером ее использования: Груль-младший был отпра-

лен на этом джипе в командировку с заданием «нагнать километры» для очередной инспекции.

Повесть источает упоение провинциальным бытом: сонное время Богом забытого городка воспроизведено благоговейно, по минутам, без намека на кощунственную попытку его ускорить. Бёлль как бы разворачивает перед нами панораму «нормального» человеческого существования во всех его радостях: в судебном заседании объявляется перерыв, все его участники расходятся обедать, и подробнейшее описание их трапез, равно как и их жилья и привычек, занимает чуть ли не треть повествования.

Между тем в ходе судебного разбирательства постепенно выявляется картина медленного, но верного разрушения этой провинциальной идиллии под напором современной цивилизации. Столкновения бюрократических, обезличенных государственных интересов с устоями нормального человеческого бытия то и дело возникают в ходе суда и отчетливо обозначают конфликт повести. Совершенно ясно, на чьей стороне в этом конфликте сила и успех, а какие ценности обречены, и тем не менее в повествовании нет горечи, оно, напротив, преисполнено внутреннего веселья и мягкого, даже как бы снисходительного юмора. Дело в том, что сам конфликт, прежде у Бёлля всегда проступавший со всей остротой, на сей раз сглажен и успокоен за счет иронии; именно благодаря ироническому остранению положительные ценности бёллевского мира вдруг обретают неуязвимость, они существуют в условиях современного мира, но как бы отдельно от этого мира и ему неподверженно. Реальное соотношение сил, пожалуй, откровенно искажено, в действительности процесс Грулей вряд ли разыгрывался бы по такому сценарию и с таким милосердным результатом. В повести Бёлля «гуманное» и «естественное» продолжает участвовать в конфликте, но уже не на равных правах, а в явно привилегированном статусе, пожалованном ироническим допущением.

Стр. 13. ...в близлежащем большом городе...— т. е. в Кёльне.

Стр. 23. *Ландтаг* — представительный орган, функционирующий в каждой из земель ФРГ, устанавливающий законы, избирающий правительство и т. п.

Стр. 26. ...называя его «Алоис, ты»... для всех, кто называл его по имени, он был Луи.— Имя Алоис появилось в Германии в XVIII в., после канонизации иезуита Алоизиуса фон Гонзаги. Имя это воспринимается как католическое. Луи — более нейтральный его вариант.

Стр. 28. *Happening* (хеппенинг; от а н г л. to happen — случаться, происходить).— Авангардистские акции, приобретшие популярность в 60-е годы, сначала — в США, затем — в Европе, своеобразное продолжение дадаистских и сюрреалистических «инсценировок». Хеппенинги подразумевали абсурдные, непредсказуемые, часто разрушительные действия, направленные как против традиционного искусства, так и против буржуазности в целом.

Стр. 29. *Волянюк* — один из вариантов искусственного языка.

Стр. 30. *Литургические песнопения* — песнопения, исполняемые во время литургии, т. е. основного богослужения, в процессе которого совершается причастие.

...*ora pro nobis*...— Строка из католической молитвы «Аве Мария». «*Моление всем святым*» — литания, т. е. вид католической молитвы; поется или читается во время торжественных религиозных процессов.

Стр. 31. ...*до св. Агаты и св. Люции*.— Св. Агата-мученица считается защитницей от огня; св. Люция-мученица, по преданию, приносит дары и свет.

Стр. 40. *Пиромания* — страсть к поджигательству.

Стр. 42. ...*столяры не раз подымались до высших государственных постов, а один так даже возглавил государство*.— Имеется в виду Вальтер Ульбрихт, первый секретарь ЦК СЕПГ в 1953—1971 гг., с 1960 г.— председатель Государственного Совета ГДР.

...*Эберт... был шорником*...— Эберт Фридрих (1871—1925) — герм. политический и государственный деятель, один из правых лидеров социал-демократической партии. По профессии — шорник. В 1919—1925 гг.— президент Германии.

Стр. 46. *Сторнирование* (от и т. storno — перевод счета) — бухгалтерская операция, предназначенная, как правило, для исправления ранее ошибочно произведенной записи.

Стр. 55. ...*слышал ли когда-нибудь офицер выражение «vulgata»*...— *Vulgata* (лат.) — распространенная повсюду. Кроме того, *Vulgata* — первая Библия на латинском языке.

Георге Стефан (1868—1933) — немецкий поэт, символист. Стиль Георге отличается изысканной сложностью, обилием архаизмов.

Стр. 64. ...*сажал... дерево свободы*...— Обычай сажать деревья как символы свободы зародился во время войны за независимость в Северной Америке (1775—1783); в 1790 г. яковинцы посадили первое дерево свободы в Париже. Со времен Великой Французской революции обычай распространился по

всей Европе. В Германии был особенно популярен в Рейнской области. Запрещен Наполеоном I.

...ненавидел... пруссаков...— По Венскому договору (1815 г.) Пруссия получила часть территории Саксонии, а также земли по Рейну (Рейнскую область и Вестфалию). Пруссакки резко ужесточили режим в приобретенных областях.

Стр. 67. *Ами* (фр. ami — друг) — в данном случае подразумевается солдат французской армии.

Стр. 71. *Секвестрированное имущество* (от лат. sequestro — отделяю).— Речь идет о запрещении или ограничении, налагаемом государственной властью в интересах государства на пользование каким-либо имуществом.

Стр. 82. ...или чудо, свершившееся с Сарой...— Отсылка к библейскому сюжету о жене Авраама, Саре, которой Бог дал ребенка в глубокой старости.

Стр. 101. ...св. Анны с Марией и младенцем...— Св. Анна — мать Девы Марии.

«Гёц фон Берлихинген» — драма И.-В. Гете об исторических событиях кануна Великой Крестьянской войны; написана в 1773 г.

Стр. 141. *Св. Варвара*-великомученица — в православных и особенно католических верованиях выступает как святая, спасающая христианина от опасности умереть без причащения.

Св. Фома — один из двенадцати апостолов.

Стр. 152. ...той богини с завязанными глазами...— В античной мифологии — богиня правосудия Фемида; изображалась с повязкой на глазах.

Стр. 157. *Резиньяция* (от англ. resignation) — отставка, подчинение, смирение.

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ

Роман вышел в свет в 1971 году в издательстве «Кипенхойер унд Вич» (Кёльн). На русском языке — со значительными сокращениями — в переводе Л. Черной — в журнале «Новый мир» (1973, № 2—6).

По охвату жизненных явлений, по освоенному и художественно переработанному жизненному материалу роман этот, безусловно, самое масштабное произведение писателя. Как и «Бильярд в половине десятого», он охватывает целое столетие немецкой истории, запечатлевшееся и преломившееся на сей раз, однако, в гораздо большем числе воссозданных писателем людских судеб и в ином способе изображения.

Как и всегда у Бёлля, роман повествует об испытаниях и мучениях добра и любви среди разрушительной стихии немецкой истории, однако происходящее в нем по степени жизненного правдоподобия нередко смещено на самую грань возможного, а порой и уведено за эту грань. Так, история любви немки и советского военнопленного в годы фашизма, составляющая стержневую фабулу романа,— это сплошное сцепление фантастических благоприятствований и удач, возможное скорее в сказке или чудесной легенде, нежели наяву. Эта история, пожалуй, напоминает первохристианские жития великомучеников, она и выстроена по канонам такого жития — со всеми необходимыми чудесами и сюжетными «полюбовками» в пользу героев.

Тут, конечно, уместно вспомнить о роли фантастического допущения в художественном мире Бёлля. Естественнейшие проявления человечности, возможные лишь в «ранге» чуда,— очень характерная для Бёлля метафора, обличающая фашизм не через изображение его зверств, а как бы испытывающая его «от противного», проверяющая саму возможность существования в нем добра.

Необходимо вспомнить и о другом — о католицизме как одной из первооснов мирозерцания Бёлля, неизменно присутствующей в художественной ткани его прозы. Герои писателя неспроста, конечно, в решающие минуты жизни идут (или просто ненароком заходят) в церковь, и не случайно им встречаются женщины и девушки с ликами Мадонны, способные одной своей улыбкой, волшебным движением своих непрестанно «легких» рук сотворить чудо, а воспоминания о чьей-то безотказной доброте, граничащей со святостью, то и дело помогают этим героям в их житейских невзгодах. Понятно, что в таком контексте уверения главной героини романа Лени Груйтен о том, что она видит Мадонну по телевизору, приобретают особый смысл. Есть в этом романе, как и в других произведениях Бёлля, и кающиеся блудницы наподобие Марии Магдалины, и кроткие отроки с ангельским взором, претерпевающие скорби земной юдоли, и «обыкновенные» святые монахини, да и сама поэзия простой, библейской еды недвусмысленно сопряжена здесь с таинством причастия.

«Групповой портрет с дамой» вышел в свет в самый разгар литературоведческих споров о том, умер ли роман, и вообще о судьбах реализма. Самим своим появлением, новизной и необычностью формы роман, разумеется, внес в эти споры свои аргументы. Например, он с отчетливостью показал, сколь сомнительным критерием при оценке «реали-

стических произведений» оказывается пресловутая «типичность». Наши критики, к примеру, с некоторым недоумением отмечали, что главная героиня романа «как бы выламывается и из своей среды, и из всех норм художественной типичности». Но то же самое можно сказать и о советском офицере Борисе Колтовском, и о монахине Рахели Гинцбург, и о чудакватом кладбищенском садовнике Грундче, и о сыне Лени Льве,— словом, практически обо всех сколько-нибудь значительных персонажах романа. Все они, каждый на свой лад, выламываются из своей среды и из всех норм художественной типичности, они тем и интересны, что *незаурядны*, каждый из них именно благодаря своей исключительности умеет так или иначе противостоять социальному злу.

Атрибутами типичности, напротив, наделено именно зло, в изображении Бёлля, как обычно, заурядное, скучное, неинтересное; блистательные сатирические портреты Хойзеров, этих нуворишей, нажившихся на «экономическом чуде», подчеркивают прежде всего их беспредельное духовное убожество, атрофию человечности, утраченной в погоне за барышами. В человеческом смысле и Хойзеры, и нацистка Ванфт, и фанатик фашист Кремп пусты, это *нелюди*, вкусившие «причастия буйвола».

Гораздо интереснее с точки зрения внутренней эволюции Бёлля возвращение в его поэтику проблематичных персонажей, людей неоднозначной нравственной ценности, таких, как Груйтен-старший или Пельцер. В судьбе первого явственно угадывается «фемелевский» комплекс из «Бильярда в половине десятого»: тот же альянс с властью предрержащими и столь же горький моральный крах. Куда более необычен в типологии бёллевских персонажей Пельцер, ибо в нем сочетаются свойства, которые прежде в мире «буйволов» и «агнцев» строго разграничивались: патологическая жажда наживы не исключает в нем человечности и даже своеобразной порядочности, приспособленчество не лишает определенной, точно отмеренной дозы нравственного достоинства. Бёлль не случайно говорил о Пельцере как об одном из любимых своих героев, в этом образе ощущается стремление писателя освободиться от морализаторской резкости черно-белых тонов.

Самую важную роль в этом романе сыграл, однако, другой персонаж, укrywшийся за скромным сокращением «Авт.». Этот герой-рассказчик, впервые введенный в бёллевское повествование, радикальным образом изменил привычную поэтику прозы Бёлля, художественно оформленной, «поданной» обычно как внутренний монолог, как исповедь от первого лица. В «Групповом портрете с дамой» применена техника

художественного «дознания»: правда жизни не предлагается читателю в форме готового знания, повествователь не предстает всеведущим демиургом, в руках которого ключи ко всем тайнам и судьбам,— правда эта выявляется постепенно, в долгом, трудном и кропотливом поиске, где автор и читатель сотрудничают рядом, плечом к плечу.

Стр. 171. *Моника Хаас* — известная французская пианистка, интерпретатор классической и романтической фортепьянной музыки.

Стр. 176. *«Хохланд»* — журнал католической ориентации; основан в 1903 г. Противостоял идеологическим тенденциям третьего рейха. Закрыт в 1941 г.

Йейтс Уильям Батлер (1865—1939) — ирландский поэт и драматург, вдохновитель культурного движения 90-х годов «Ирландское возрождение».

Гёльдерлин Фридрих (1770—1843) — немецкий писатель эпохи романтизма.

Тракль Георг (1887—1914) — австрийский поэт-экспрессионист.

Клейст Генрих фон (1777—1811) — немецкий драматург и прозаик эпохи романтизма.

Беккет Сэмюэль (1906—1990) — ирландский драматург, один из основоположников «драмы абсурда».

Стр. 178. *Святые дары* — хлеб и вино, символизирующие тело и кровь Христа; верующие вкушают их во время причащения.

Стр. 180. *«Бамбергские всадники»* — знаменитая скульптура в Бамбергском соборе (1230—1240); символ истинно немецкого благородного юноши.

Стр. 187. *«Маркиза д'О...»* — новелла Г. Клейста.

Чтение этой новеллы... считалось нежелательным... она выступила пламенной защитницей графа Ф. ... — Герой новеллы Клейста, граф Ф., овладевает спящей маркизой д'О. Маркиза ожидает ребенка, не зная, кто его отец. После некоторых злоключений история завершается счастливым браком.

Стр. 190. *Конфирмация* — у католиков и протестантов — первое причастие, обряд приема в церковную общину подростков, достигших определенного возраста.

Стр. 191. *...из-за угрозы, нависшей над монастырями (1934 год!)... — 1933—1934 гг.* были периодом ожесточенных гонений национал-социализма на церковь. Католическая церковь шла в списке идеологических врагов нацизма непосредственно следом за иудеями.

Стр. 193. *Гаруспики* — в Древнем Риме — прорицательни-

цы, предсказывавшие будущее по внутренностям жертвенных животных.

Стр. 197. *Обер-регирунгсрат* — высший правительственный советник.

Стр. 199. *Скатологический* (от греч. и лат. skatoloe) — химическое соединение, содержащееся в экскрементах.

Стр. 200. *Вермеер Ян* (1632—1675) — голландский живописец, мастер жанровых зарисовок городской жизни.

Стр. 203. *Видишь в зеркале...* — Строфа из стихотворения Г. Тракля «Молодая работница» («Die junge Magd»).

Живу в нищете... — Строфа из стихотворения Б. Брехта «Об усилиях» («Über die Anstrengung»).

Стр. 204. *То голос был...* — Цитата из стихотворения Ф. Гёльдерлина «Рейн».

Поняв уже первой военной весной... — Неточная цитата из стихотворения Б. Брехта «Легенда о мертвом солдате». В оригинале речь идет о пятой военной весне. По-видимому, героиня соотносит стихи Брехта с ситуацией из собственной жизни — гибелью брата и возлюбленного.

Но я знал тебя лучше... — Цитата из стихотворения Ф. Гёльдерлина «Когда я был ребенком».

Угрюмый мрамор предков сед... — Строка из стихотворения Г. Тракля «Музыка Мирабелли».

Стр. 210. «*Освобожденные руки*» — фильм режиссера Ганса Швейкарта, пользовавшийся в 30-е годы огромной популярностью; был знаменит, в частности, большой силой эмоционального воздействия. «*Лейтенский хорал*» — фильм, поставленный К. Фрелихом в содружестве с А. фон Черени в 1933 г.; продолжение трилогии фильмов о Фридрихе Великом. В центре фильма — фигура идеального вдохновителя-вождя. «*Распутин — демон-соблазнитель*» и «*Горячая кровь*» — популярные мелодрамы. «*Девушка из Фане*» — один из лучших фильмов режиссера К. Гофмана (р. 1910); вызвал недовольство министерства пропаганды третьего рейха.

Стр. 211. *Винкельман* Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий историк искусства, основоположник эстетики классицизма.

Новалис (Фридрих фон Гарденберг; 1772—1801) — немецкий поэт и философ, представитель иенской школы романтизма.

Стр. 216. *Пули «дум-дум»* — разрывные пули с крестообразным надрезом, причиняющие тяжелые ранения.

Стр. 222. *Брюнинг* Генрих (1885—1970) — германский рейхсканцлер в 1930—1932 гг. Его политика облегчила уста-

новление фашистской диктатуры. В 1934 г. эмигрировал в США.

Стр. 223. *Сердце Христово*.— В католической традиции (примерно с XV в.) изображается сердце Иисуса (часто — окруженное шипами или охваченное пламенем), символизирующее самого Иисуса и жертвенную любовь. *Святой Иосиф* — муж Девы Марии.

Стр. 224. *Босх* Иероним (ок. 1460—1516) — нидерландский живописец, причудливо сочетавший в своем творчестве черты фантастики, фольклора, натурализма и т. п.

Стр. 225. *Хандель-Маццетти* Энрика фон (1871—1955) — австрийская писательница; ее романы проникнуты христианским гуманизмом и отличаются глубиной психологического анализа.

Эбнер-Эшенбах Мария фон (1830—1916) — австрийская писательница, автор стихов, афоризмов и романов, отличающихся глубоким психологизмом.

Джойс Джеймс (1882—1941) — ирландский поэт и писатель, классик модернизма XX в.

Стр. 226. *Пирс* Патрик Генри (1879—1916) — ирландский поэт и политический деятель; командовал республиканской армией во время ирландского восстания 1916 г.

Конноли Джеймс (1868—1916) — ирландский революционер, борец за независимость Ирландии.

Ларкин Джеймс (1876—1947) — деятель ирландского рабочего движения.

Честертон Гилберт Кит (1874—1936) — английский писатель.

Стр. 227. *Фении* — ирландские революционеры-республиканцы второй половины XIX — нач. XX в., члены тайных организаций «Ирландского революционного братства».

Стр. 228. *...пали смертью храбрых под Лангемарком*.— Лангемарк — местность в Бельгии; во время первой мировой войны дважды (в 1914 и 1917 гг.) становилась местом жесточайших сражений. После 1918 г. сражения эти (особенно — 1914 г.) стали предметом постоянных упоминаний и героизации в немецкой военной историографии.

Стр. 229. «*Комплекс Мажино*».— Груйтен имеет в виду идею абсолютной неприступности линии Мажино — системы французских укреплений на границе с Германией. Линия Мажино названа по имени военного министра генерала А. Мажино. В 1940 г. немцы вышли в тыл линии, и ее гарнизон капитулировал.

Стр. 236. *...слишком много от Бамбергского всадника и слишком мало от героев Крестьянской войны*.— Крестьян-

ская война — восстание крестьян и некоторых городов южной и центральной Германии в 1524—1525 гг. Подчеркивается «чрезвычайное» благородство и утонченность героя.

Стр. 238. *Самолет «старфайтер»* — одноместный боевой самолет, производившийся в Германии с 1961 г. по американской лицензии.

Стр. 241. *...вроде жены Урия...* — По библейской легенде, царь Давид, соблазнившись красотой Варсавии, жены верного воина Урия, намеренно послал Урию на гибель и взял Варсавию в наложницы.

Стр. 243. *Bionda* (и т.) — белокурая; собирательный образ красавицы в эстетике итальянского Возрождения.

Стр. 256. *Уорхолл* Энди (р. 1928) — американский художник и режиссер, представитель экспериментального, авангардистского искусства.

Стр. 257. *Приобретайте себе друзей богатством неправедным.* — Цитата из Евангелия от Луки: 16, 9.

Стр. 258. *Господь близко.* — Слова из послания к филиппийцам: 4, 5.

Стр. 264. *«Лили Марлен».* — Речь идет о знаменитой песенке «Лили Марлен», пользовавшейся огромной популярностью не только в Германии, но и в России в 40-х годах.

Стр. 269. *...называли его «наш цыганенок», — но лишь до 1933 года...* — Одним из первых проявлений национальной политики Гитлера были гонения на цыган.

Стр. 270. *...его имя делает излишним уточнять вероисповедание Пфайферов...* — т. е. католическое (см. коммент. к с. 26).

Стр. 273. *Линия Вейгана* — линия французских укреплений, названная по имени Максима Вейгана, главнокомандующего вооруженных сил Франции с мая 1940 г.

Стр. 280. *...Фернанде Пфайфер, обязанной своим именем то ли франкофильским, то ли сепаратистским склонностям своего отца...* — Фернан — французский вариант немецкого имени Фердинанд. Сепаратисты — сторонники отделения Рейнской области от остальной Германии, поддерживаемые некоторыми группами во Франции и Бельгии.

Стр. 285. *«Парни»* — фильм Р. Штеммле (1941). Снимая картину о молодежных проблемах в Восточной Пруссии, режиссер был вынужден ввести в нее пропагандистский материал о руководителях гитлерюгенда. *«Скачи во имя Германии»* — фильм режиссера Ребенальта, сочетающий остроу и увлекательность сюжета с военной и нацистской пропагандой. *«Превыше всего на свете»* — фильм Карла Риттера (1940); картина представляет собой пять не связанных меж-

ду собой эпизодов, каждый из которых демонстрирует непобедимую силу германского духа и священную любовь немцев к родине. *«Небесные псы»* — фильм Нормана, основной темой которого является необходимость безоговорочного подчинения приказу.

Стр. 286. *Фрингс Йозеф* (1887—1978) — нем. теолог, кардинал. В 1942—1969 гг. — архиепископ Кёльнский.

Стр. 287. *Наннен* Генри (р. 1913) — немецкий журналист и издатель; основал в 1948 г. журнал «Штерн» и стал его главным редактором.

Вейдемани Вилли (р. 1933) — немецкий предприниматель-промышленник, коммерческий директор одного из крупнейших рейнских сталелитейных комплексов.

Стр. 290. *...в древнем священном городе с его старинными традициями продажной любви...* — Имеется в виду Кёльн. Следующий за этой фразой абзац описывает тяжелейшую экономическую ситуацию в Веймарской республике.

Стр. 306. *...до середины июля сорок третьего года в Германии спокойно плели римские венки, но потом из-за предательства итальянцев... от них отказались...* — В июле 1943 г. пала диктатура Муссолини. Премьер-министром был назначен маршал Бадольо, ориентировавшийся на англичан и американцев.

Ремесленная палата — нацистская организация, созданная по профессиональному принципу, для контроля и слежки за своими членами. (Существовали палаты писателей, художников и т. п.)

Стр. 316. *...была сепаратисткой... ранена у горы Эгидинберг... мой край... не входил в так называемую империю, созданную Пруссией.* — О сепаратистах см. коммент. к с. 280. Осенью 1923 г. была предпринята решающая попытка отделения. Сепаратисты сформировали в Кобленце «Временное правительство Рейнской республики». Население резко восстало против этого правительства. После ряда локальных сражений (в частности, сражения у горы Эгидинберг) оно было низложено. О территориальном соотношении Рейнской области и Пруссии см. коммент. к с. 64.

Стр. 324. *Кампфбунд* — массовая внепартийная антифашистская организация, созданная в 1930 г. в Берлине по инициативе КПГ.

Добровольческий корпус — контрреволюционные формирования, создававшиеся перед и во время Ноябрьской революции 1919 г. в Германии. Впоследствии послужили основой целого ряда милитаристских организаций. Члены Доброволь-

ческого корпуса неоднократно выступали с оружием в руках против рабочих; их жертвой пали, в частности, Либкнехт и Люксембург.

Стр. 327. ...«*de profundis*»... *знал их благодаря Траклю.*— У Тракля есть два стихотворения под таким названием: «*De profundis I*» и «*De profundis II*». Само выражение «*de profundis*» (лат.) означает «из бездны» и представляет собою начало католической молитвы: «Из бездны взываю к тебе, Господи...»

Стр. 328. *Маккартизм* — крайне реакционное течение в политической жизни США 50-х годов, связанное с именем сенатора Маккарти, выступавшего за принятие антидемократических законов.

Стр. 333. *Раушенберг* Роберт (р. 1925) — американский художник-экспериментатор, разрабатывающий технику монтажа, один из основоположников поп-арта. *Вальдмюллер Фердинанд* (1793—1865) — австрийский художник, мастер точного реалистического изображения. *Пехштайн* Макс (1881—1955) — немецкий художник-экспрессионист. *Пурман* Ганс (1880—1966) — немецкий художник, портретист и пейзажист.

Стр. 334. «*Сельский врач*» — повесть Ф. Кафки, написана в 1919 г.

Стр. 336. ...*после двадцатого июля...*— 20 июля 1944 г. было совершено покушение на Гитлера.

Стр. 338. *Ландштурм* — военная организация, созданная в Пруссии в 1813—1814 гг. В ландштурм могли быть призваны все мужчины в возрасте 17—50 лет, не состоящие на действительной службе и не входящие в армейский резерв. В 1935 г. ландштурм был воссоздан, туда призывались мужчины старше 45 лет.

Стр. 354. *Штраус* Франц Йозеф (1915—1988) — немецкий политический деятель. В 1956—1962 гг. — министр обороны, один из создателей послевоенного бундесвера. Впоследствии — министр финансов (1969). Штраус был замешан в аферах экономического характера; в 1962 г. ему пришлось временно выйти из состава правительства.

Стр. 355. ...*но все же не сравнить с ХДС, а тем более с ХСС.*— В конце 60-х — начале 70-х годов у власти была коалиция СДПГ и СвПГ.

...*по милости проклятых пруссаков... кто нас в 1815 году продал.*— О присоединении рейнских земель к Пруссии см. коммент. к с. 64.

...*пускай к нам примкнут вестфальцы...*— Объединение Рейнской области и Вестфалии произошло в 1946 г. по воле

Великобритании и США; таким образом удалось противостоять требованиям СССР и Франции об интернационализации этой территории.

Стр. 361. *Георге Стефан*.— См. коммент. к с. 55.

«*Голубой цветок*».— В романе немецкого писателя-романтика Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (опубл. в 1802 г.) прекрасный голубой цветок, приснившийся герою перед отправлением в путешествие, символизирует собой романтическую мечту о вселенской гармонии. (См. также коммент. к с. 211.)

Стр. 365. *Рильке Райнер Мария* (1875—1926) — австрийский поэт.

«*Хрустальная ночь*» — ночь с 9 на 10 ноября 1938 г., когда, по инициативе Геббельса, были организованы повсеместные погромы. В «хрустальную ночь» были уничтожены все синагоги в Германии, а также большинство магазинов и предприятий, принадлежавших евреям; около ста человек было убито.

Стр. 372. *...битвы на Лисе или под Камбре...*— Лис — река во Франции и Бельгии, приток реки Шельды. Камбре — город на реке Шельде (северная Франция). В ноябре 1917 г. в этом регионе развернулись ожесточенные бои между немецкими и английскими войсками. Англичане понесли огромные потери; немцы захватили много пленных.

Стр. 376. *...и тьма воцарялась над водами...*— Парафраз цитаты из Псалтири: «И мрак сделал покровом Своим, // Се нию вокруг Себя мрак вод...» (Пс., 17, 12).

Стр. 380. *...после наступления в Арденнах...*— Арденнская операция 1944—1945 гг.— наступление немецко-фашистских войск на Западном фронте в районе Арденн (юго-западная Бельгия). К концу января 1945 г. союзники восстановили положение на Западном фронте.

Стр. 381. *У ворот стоят девицы...*— Цитата из стихотворения Г. Тракля «Прекрасный город».

Остмарк — так нацисты называли оккупированную Австрию.

...стихи о Соне...— Имеется в виду стихотворение Г. Тракля «Соня».

Соня Хени — знаменитая киноактриса и фигуристка 30-х годов.

Стр. 385. *Вебер Карл Мария фон* (1786—1826) — немецкий композитор, дирижер и музыкальный критик, основоположник немецкой романтической оперы.

Стр. 388. *...религиозные символы, якоря, сердечки...*— В католической традиции якорь — символ надежды; сердце

(сердце Христово) символизирует самого Иисуса и жертвенную любовь.

Стр. 405. *«Штюрмер»* — орган национал-социалистской партии.

Стр. 406. *Именно Кафка вам понадобился? А почему не Гейне?* — Гейне, как и Кафка, был по национальности евреем. И тот и другой были в фашистской Германии под строжайшим запретом.

Стр. 409. *Фольксштурм* — последний воинский резерв нацистской Германии; был создан по приказу Гитлера в октябре 1944 г. для поддержки армии при защите немецких территорий. Призывались все мужчины от 16 до 60 лет, не состоявшие на военной службе.

Вервольф — партизанское движение, организованное национал-социалистами весной 1945 г.; не было поддержано населением и не сыграло существенной роли.

Стр. 414. *Верле* — тюрьма, в которой содержались нацистские военные преступники.

Стр. 420. *Мандзони* Алессандро (1785—1873) — итальянский писатель, глава романтической школы.

Зинциг, Викрат — американские лагеря для военнопленных.

Стр. 423. *Вперед же в Махагони...* — Цитата из стихотворения Б. Брехта «Песнь Махагони № 1», входит в музыкальную комедию Брехта «Махагони».

Помню, ребенком я был... — Цитата из стихотворения Ф. Гёльдерлина «Когда я был ребенком».

Стр. 428. *Птифуры* — мелкое печенье, обычно из орехового, миндального или шоколадного теста.

...люди веками собирались в катакомбах и отмечали там свои праздники. — Речь идет о собраниях первых христианских общин, так называемом «катакомбном христианстве».

Стр. 439. *...хоть на имя Фридриха Круппа.* — Крупп Фридрих (1787—1826) основал в 1811 г. фабрику, которая впоследствии выросла до гигантского металлургического концерна.

Стр. 460. *Шпринггартен* — площадка с барьерами.

Стр. 469. *...алаяповатых украшений в стиле назарейцев...* — Назарейцы — ироническое прозвище немецких и австрийских художников, входивших в так называемый «Союз Луки», основанный в 1808 г. в Вене. Назарейцы видели свою задачу в обновлении искусства на религиозной основе.

Стр. 471. *Кольпинговцы* — последователи Адольфа Кольпинга (1813—1865), немецкого теолога, католика. В своих трудах Кольпинг говорил о христианском идеале семьи, о не-

обходимости христианского воспитания юношества, о социальной справедливости и т. п.

Стр. 476. *Барцель* Райнер (р. 1924) — немецкий политический деятель; в 1964 г. — председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге, в 1971 г. — председатель партии ХДС. *Кизингер* Курт Георг (1904—1988) — немецкий политический деятель. В прошлом — член национал-социалистской партии Германии. В 1966—1969 гг. — федеральный канцлер; в 1967—1971 гг. — председатель ХДС. *Штраус* Франц Йозеф. — См. коммент. к с. 354.

Мачете (от и с п. *machete*) — длинный нож для уборки сахарного тростника, в большинстве стран Латинской Америки и для прорубания троп в зарослях. Использовался кубинскими повстанцами как холодное оружие в освободительных войнах против испанских колонизаторов (XIX в.).

Стр. 478. *Наннен* Генри. — См. коммент. к с. 287. *Киндлер* Гельмут — немецкий издатель, издававший в основном мемуары, биографии, работы по психологии.

...вишийские фашисты... — «Виши» — общепринятое название фашистского режима во Франции в 1940—1944 гг., в период ее оккупации фашистскими войсками. Назван по городу Виши, где обосновалось коллаборационистское правительство.

Стр. 480. *Блондинка в духе Делакруа...* — Делакруа Эжен (1798—1863) — французский живописец, глава романтического направления в изобразительном искусстве. Аллегорическая фигура Свободы в виде женщины с развевающимися волосами изображена на картине «Свобода, ведущая народ» (1830).

Стр. 484. *...город паломников Кевелар...* — город в округе Клеве, крупнейшее место паломничества в Северном Рейне-Вестфалии. Цель паломничества — церковь Св. Марии.

...родину Зигфрида... — т. е. город Ксантен. Зигфрид — герой эпоса «Песнь о Нибелунгах».

...город, где Лознгрин пережил нервный срыв... — т. е. город Нифельхайм. По преданию, в этом городе Эльза Брабантская задала рыцарю лебедя Лознгрину запретный вопрос о его происхождении, после чего Лознгрин был вынужден покинуть ее.

...мимо родных мест Йозефа Бейса... — Бейс Йозеф (1921—1986) — скульптор, профессор Дюссельдорфской академии художеств, основатель Немецкой студенческой партии. Место его рождения — г. Клеве.

Стр. 485. *...не имевшее никакого отношения к злополучному рейхсканцлеру...* — Имеется в виду Франц фон Паппен (1879—1969) — один из главных военных преступников фашистской Германии; в 1932 г. возглавлял правительство,

всемерно способствуя укреплению позиций нацистов; вошел в правительство Гитлера в качестве вице-канцлера.

Стр. 489. *Фонтане* Теодор (1819—1898) — немецкий писатель.

Бенн Готфрид (1886—1956) — немецкий писатель.

Хайсенбюттель Гельмут (р. 1921) — немецкий писатель, последовательный сторонник экспериментальной поэзии.

Стр. 490. *Бернар* Клод (1813—1878) — французский физиолог.

Стр. 493. *Реформа литургии* — изменения, внесенные в католическое богослужение Вторым Ватиканским собором.

Стр. 494. «*Папа Павел являет нам столько чудес... Он и сам у нас до некоторой степени little flower*»... — Павел VI — папа римский с 1963 по 1978 г. «*Little flower*» — так называли Св. Терезию из Лизье (1873—1897), кармелитку, умевшую, по преданию, творить чудеса. Ее жизнеописание считается во Франции и в Ирландии наиболее популярным нравоучительным чтением для детей и юношества.

Стр. 497. *ЮПИ, ДПА, АФП* — американское, немецкое и французское информационные агентства.

ЧТК — Чехословацкое Телеграфное Агентство.

Стр. 500. *ГМБХ КГ* — Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kommanditgesellschaft — Общество с ограниченной ответственностью, товарищество на вере (н е м.).

...*жилые квартиры типа penthouse* — дорогие квартиры, расположенные на плоских крышах высотных домов.

Стр. 503. ...*сексуальной революции, «пилюли»*... — Речь идет о спорах вокруг применения противозачаточных средств.

Стр. 505. *И наполняйте землю, и обладайте ею*... — Цитата из Библии: Бытие, 1, 28.

Стр. 507. *Lacrimae rerum* — букв.: «слезы о вещах» (л а т.). У Вергилия: «слезы о судьбе всего сущего».

Стр. 514. *Свободная школа* — внеконфессиональная школа, без преподавания Закона Божьего.

Стр. 518. *Когда мы шагаем плечо к плечу* — революционная песня на слова немецкого писателя-коммуниста Э. Клаудуса (1911—1976).

Стр. 521. *Промискуитет* — термин для обозначения предполагаемой стадии ничем не ограниченных отношений между полами, предшествовавших установлению каких-либо норм брака и форм семьи. В современном обществе термин употребляется для обозначения всевозможных отклонений от принципа моногамии.

Стр. 523. *Лилофея* — героиня одноименной немецкой народной баллады.

«У меня было покрывало...» — стихотворение У.-Б. Йейтса.

Стр. 524. ...не знали, как его правильно произнести? — Речь идет о фамилии Йейтс, имеющей несколько вариантов произношения (напр.: Йиитс и т. п.).

Стр. 529. *Плодоносная краса...* — Цитата из стихотворения Г. Тракля «Благословение женщине».

Стр. 530. ...в земной карете, запряженной небесными конями... — Отсылка к сюжету и цитата из повести Ф. Кафки «Сельский врач» (1919).

...вздыхает рядом с Эффи на берегу Балтийского моря... — Имеется в виду роман немецкого писателя Т. Фонтане «Эффи Брист».

Стр. 532. *Левантинцы* — так называли жителей восточного Средиземноморья.

Стр. 544. *Конфессиональная школа* — школа в ФРГ, где учатся дети одного вероисповедания.

Стр. 550. *Ксенофилия* — любовь к чужому, антоним общепринятого термина «ксенофобия» — ненависть к чужому.

Стр. 560. *Литания «Всем святым»*. — См. коммент. к с. 30.

Стр. 561. *Лоретанская литания* — (по лат. названию знаменитого места паломничества — г. Лорето в Италии) — молитва в честь Девы Марии, известная с XVI в.

РАССКАЗЫ

В жанре малой прозы, особенно рассказа, период 1965—1971 годов отнюдь не самый плодотворный для Бёлля. Работа над романом «Групповой портрет с дамой», произведением небывалого для Бёлля объема, поглощала едва ли не все рабочее время писателя. Из пяти рассказов, опубликованных Бёллем за эти годы, читателю предлагается два. Один из них — «Чужой монастырь», — проблематикой и колоритом примыкает к повести «Чем кончилась одна командировка», второй — «Почему я пишу короткие рассказы, как Якоб Мария Гермес и Генрих Кнехт» — лишний раз дает возможность убедиться в поэтической природе искусства Генриха Бёлля.

ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ

После прочтения на радио в 1965 г. был напечатан в журнале «Меркур», № 12, 1966 г.

Стр. 571. *Шестая заповедь*.— О прелюбодеянии говорится в седьмой заповеди Моисея. Этот же порядок сохранен в православной традиции. Католическая традиция объединяет первую и вторую заповеди в одну, поэтому заповедь о прелюбодеянии становится шестой.

Стр. 573. *...укрупнения общин...*— Община -- областное объединение в Германии с правом самоуправления; укрупнение — образование союзов общин. Процесс этот активизировался после 1945 г.

Стр. 575. *Франконские усадьбы*.— Франкония — историческая область Германии, в средние века — территория расселения части франков. Позднейшее население Франконии занималось в основном сельским хозяйством. Франкские (или франконские) постройки отличаются основательностью, простотой, отсутствием украшений и т. п.

Термы — бани.

Стр. 586. *...под Верденом*.— Речь идет о крупнейшем сражении первой мировой войны. В 1916 г. между германскими и французскими войсками развернулись ожесточенные бои за укрепленный район Вердена.

Стр. 590. *Иосиф* — Св. Иосиф, муж Девы Марии.

...гипсовые символы: ягнят, сердца, якоря...— Ягненок — символ кротости, напоминание о первых днях жизни Иисуса; сердце — Сердце Иисуса, в католической традиции символический объект поклонения; якорь — символ надежды.

ПОЧЕМУ Я ПИШУ КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ, КАК ЯКОБ МАРИЯ ГЕРМЕС И ГЕНРИХ КНЕХТ

Рассказ впервые увидел свет в журнале «Нойе Рундшау», № 1, 1966.

Стр. 593. *...на франкский манер...*— См. коммент. к с. 575.

Стр. 594. *Кирасиры* — род тяжелой кавалерии, всадники которой были защищены кирасой и имели на вооружении палаш, пистолет и карабин. В XVIII — нач. XIX в. кирасирские полки существовали в большинстве европейских армий. К началу XX в. кирасиры были упразднены; название осталось по традиции за отдельными полками в некоторых армиях.

Стр. 595. *...избавлена от военного присутствия (увы, не навсегда, как это в первый раз выяснилось пять, а во второй — двадцать пять лет спустя)...*— После 1918 г. согласно Версальскому договору Германия могла иметь лишь неболь-

шую профессиональную армию. Однако в 1935 г., в нарушение этих условий, была введена всеобщая воинская повинность и началась стремительная милитаризация страны. 1955 г.— год активного формирования бундесвера и вступления ФРГ в НАТО.

Стр. 596. *Тракль*.— См. коммент. к с. 176.

Стр. 597—598. *В наши дни не нужно даже быть в курсе современных церковных раздоров, достаточно просто каждый вечер смотреть телевизор... два этих слова... приведут нас в самое пекло новомодных теологических диспутов...*— Рассказ писался в то время, когда в Риме проходил Второй Ватиканский Собор (1962—1965). Упомянутые Бёллем проблемы были предметом дискуссий священнослужителей.

Э С С Е. Р Е Ч И. Л Е К Ц И И. И Н Т Е Р В Ъ Ю

Как уже было сказано, центральное место в этом разделе занимают «Франкфуртские лекции» — самое, пожалуй, концентрированное высказывание Бёлля о своем творчестве и своих художественных принципах. Там же мы найдем место, где Бёлль внятно разъясняет причины, побуждающие его, человека по натуре скорее аполитичного, то и дело братья за перо политического публициста и высказываться по вопросам, которые не входят в его «профессиональную компетенцию» литератора: «На современную литературу возложена ответственность, которая ей не по плечу. Бессодержательная, пустословная политика, пустословное общество, беспомощная церковь...— все это, как я уже сказал, возлагает на литературу бремя ответственности: ей навязывают эротические, сексуальные, религиозные и социальные проблемы, трактовку которых ей же потом вменяют в вину. Где политика пасует или терпит явное поражение, там сразу не от кого иного, как от писателя, требуют слова, решительного слова...»

Цитата эта, думается, многое разъясняет в мотивах публицистических выступлений Бёлля: мотивы эти почти всегда вынужденные, продиктованные отсутствием должной политической реакции на то или иное событие. Это хорошо видно на примере рецензии Бёлля на том мемуаров Аденауэра («Не такой уж плохой источник»), но о том же свидетельствуют и другие статьи («Германское первенство», «Студентам следовало бы побывать в затворничестве»). За пределами этого тома остались мужественные выступления Бёлля против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора

в августе 1968 года и его первые статьи в защиту советских диссидентов.

Большую часть раздела составили работы Бёлля, посвященные проблемам искусства и литературы, в том числе и своим книгам — повести «Чем кончилась одна командировка» и роману «Групповой портрет с дамой».

О БАЛЬЗАКЕ

Статья увидела свет в газете «Тагесшпигель» за 29.03.64.

Стр. 605. *Блуа Леон* (1846—1917) — французский писатель, автор ряда популярных романов.

Гру Шарль де (1825—1870) — бельгийский живописец, мастер сатирического жанра.

Стр. 606. *Корантен, папаша Перад, Биби-Люпен* — персонажи ряда романов «Человеческой комедии», сотрудники полиции разного ранга.

...два миллиона франков барона Нусингена за одну-единственную ночь любви... — Барон Нусинген — банкир, пэр Франции, персонаж многих романов «Человеческой комедии». В данном случае имеется в виду эпизод из романа «Блеск и нищета куртизанок».

...папаша Гранде... чуть не до смерти доводит свою дочь... — Имеется в виду сюжет романа «Евгения Гранде».

Книга мистики — Каббала, древнееврейский текст, трактующий мистические элементы иудаизма.

Это говорит король каторжников Коллен (Вотрен и аббат Карлос Эррера одновременно) королю правосудия генеральному прокурору Гранвилю. — Коллен Жак — один из самых знаменитых персонажей «Человеческой комедии», выступающий как под собственным именем, так и под рядом псевдонимов (Вотрен, Эррера, Баркер и т. д.). Упомянутая Бёллем беседа между Колленом и прокурором Гранвилем происходит в романе «Блеск и нищета куртизанок».

Стр. 607. *...той профессии, которой занимались и Торпиль и госпожа дю Валь-Нобль.* — Торпиль (она же — Эстер Гобсек) и госпожа дю Валь-Нобль — куртизанки, персонажи ряда романов «Человеческой комедии».

...но Рабле он не был. — Знаменитый французский писатель Франсуа Рабле (1494—1553) традиционно считается величайшим мастером изображения непристойностей.

Бёлль читал свои лекции о поэтике во Франкфуртском университете в зимнем семестре 1963/64 учебного года. Впервые они были опубликованы в 1966 году в кёльнском издательстве «Кипенхойер унд Вич». На русском языке публиковались в сокращении в журнале «Вопросы литературы», 1988, № 5. Полный перевод вышел в издательстве «Прогресс» в 1989 году.

Стр. 609. *Ферейн* (нем., и с т.) — общество, объединение людей, ставящих себе общие задачи; деятельность ферейна регламентируется принятым уставом.

Стр. 612. *...работу под стать той, что проделали братья Гримм.*— Речь идет о первом толковом словаре немецкого языка, основы которого заложили немецкие филологи братья Якоб Гримм (1785—1863) и Вильгельм Гримм (1786—1859), начавшие работу над ним в 1838 г. и успевшие издать (с 1852 г.) первые четыре тома.

Хайд Дуглас (1860—1949) — ирландский поэт и филолог; в 1938—1945 гг. первый президент Ирландской Республики.

Стр. 614. *Георге* Стефан, *Бенн* Готфрид.— См. коммент. к с. 55 и с. 489; *Юнгер* Эрнст (р. 1895) — немецкий прозаик и эссеист, после второй мировой войны живущий в Западной Германии; в разных формах прокламировали идею элитарности искусства.

Музиль Роберт (1880—1942) — австрийский писатель; в данном случае, очевидно, подразумевается философичность прозы Музиля и усложненность ее художественной формы.

Стр. 618. *Адорно* Теодор (1903—1969) — немецкий (ФРГ) философ, социолог, музыковед, представитель Франкфуртской философской школы.

Стр. 621. *«Через расход — к свободе»* — саркастический перифраз лозунга над воротами концлагеря в Освенциме: «Через труд — к свободе».

Стр. 624. *Кэги* Адольф — немецкий филолог-классик XIX в., автор гимназических пособий по древнегреческому языку.

Стр. 628. *Адлер* Ганс Гюнтер (р. 1910) — австрийский писатель, прозаик и эссеист, с 1947 г. живущий в Великобритании; был узником фашистских концлагерей в Терезиенштадте и Освенциме и описал их впоследствии в нескольких документальных книгах. Повесть «Путешествие» вышла в 1962 г.

¹ Комментарии к «Франкфуртским лекциям» написаны А. В. Карельским.

Стр. 630. *Бахман* Ингеборг (1926—1973) — австрийская писательница; Бёлль цитирует строки из ее стихотворения «Изо дня в день».

Стр. 631. ...*потерянный город — Данциг.*— Бёлль имеет в виду трилогию западногерманского писателя Гюнтера Грасса (р. 1927) «Жестяной барабан» (1959), «Кошки-мышки» (1961) и «Собачья жизнь» (1963), значительная часть действия в которой происходит в Данциге (ныне Гданьск, Польша) и прилегающих областях.

Разве стали обычным чтением Альфред Дёблин... Фонтане? — Бёлль называет здесь видных немецких прозаиков и публицистов Альфреда Дёблина (1878—1957), Вальтера Беньямина (1892—1940), Вильгельма Раабе (1831—1910), Теодора Фонтане (1819—1898), в творчестве которых существенную роль играла берлинская тематика.

Стр. 632. «*Бильд*» — бульварная газета крайне правого направления.

Гёльдерлин Фридрих.— См. коммент. к с. 176.

Стр. 633. *Клейст* Генрих фон.— См. коммент. к с. 176.

Штифтер Адальберт (1805—1868) — австрийский прозаик; его роман «Бабье лето» был опубликован в 1857 г.

Стр. 634. ...*голубой цветок...*— См. коммент. к с. 211 и 361.

Яноух Густав (1903—1968) — чешский музыкант и литератор, познакомившийся с Францем Кафкой в Праге в 1920 г. и впоследствии издавший книгу «Разговоры с Кафкой» (1951).

Стр. 635. ...*отдать на откуп «Союзам изгнанных»...*— Имеются в виду землячества реваншистского толка в ФРГ, объединяющие уроженцев земель, возвращенных после второй мировой войны славянским странам.

Стр. 641. *Беккет* Сэмюэл (р. 1906) — ирландский прозаик и драматург, живущий во Франции и пишущий на английском и французском языках; лауреат Нобелевской премии (1969 г.). В его драме «Финал игры» (1957) двое персонажей — старики супруги Нэгг и Нелл — в продолжение всего действия находятся на сцене, сидя в мусорных ящиках.

...в «*Собачьей жизни*» Грасса.— В одном из эпизодов романа Грасса рассказывается о том, как в окрестностях концлагеря Штутгоф постепенно вырастает белая гора из человеческих костей, на которую с безразличием взирают курсанты расположенной по соседству учебной зенитной батареи.

Стр. 644. *Айх* Гюнтер (1907—1972) — немецкий поэт, радиодраматург и прозаик, один из основателей «Группы 47» — демократического объединения писателей-антифашистов Западной Германии, к которому принадлежал и Бёлль.

Стр. 647. *Борхерт* Вольфганг (1921—1947) — немецкий поэт; антифашистское и антимилитаристское творчество Борхерта, сломленного нацистскими застенками и штрафными батальонами, получило широкий резонанс в первые послевоенные годы в Западной Германии. В данном случае Бёлль имеет в виду небольшой рассказ Борхерта «Хлеб».

Стр. 648. *Оттен* Карл (1889—1964) — немецкий прозаик и поэт; антология «Опустелый дом. Проза писателей-евреев» была издана им в ФРГ в 1959 г.

Кольмар Гертруда (1894—1943) — немецкая поэтесса, погибшая в одном из нацистских концлагерей. Упомянутая ниже повесть «Сусанна» впервые была опубликована в антологии Оттена из наследия Кольмар.

Рот Йозеф (1894—1943) — австрийский прозаик и эссеист.

Стр. 649. *Бласс* Эрнст (1890—1939) — немецкий поэт.

Фриш Эфраим (1873—1942) — австрийский писатель и критик; роман «Зенобий» был опубликован в 1928 г.

Стр. 650. *Хомбург* — фасон мужской фетровой шляпы.

Стр. 653. *...его обвинили в предательстве.* — Бёлль рассказывает здесь историю публикации романа писателя из ФРГ Макса фон дер Грюна (р. 1926) «Светляки и пламя» (1962).

Жан-Поль (наст. имя и фамилия Рихтер Иоганн Пауль Фридрих; 1763—1825) — немецкий прозаик и теоретик искусства.

Шмидт Арно (1914—1979) — немецкий прозаик и эссеист (ФРГ); упоминаемый в дальнейшем роман «Каменное сердце» вышел в 1956 г.

Блумсбери — район Лондона, где в первое десятилетие XX в. образовался кружок молодых писателей, художников и критиков, ратовавших за интеллектуальную изысканность художественных форм; с кружком «Блумсбери» связаны имена писателей Вирджинии Вулф (1882—1941), Эдварда Моргана Форстера (1879—1970), философа Бертрана Рассела (1872—1970).

Стр. 654. *Вулф* Томас (1900—1938) — американский писатель.

Стр. 660. *Бронте* Эмилия (1818—1848) — английская писательница; роман «Грозовой перевал» был опубликован в 1847 г.

Бернанос Жорж (1888—1948) — французский прозаик; роман «Преступление» вышел в 1935 г.

Роб-Грийе Ален (р. 1922) — французский прозаик и эссеист; роман «Резинки» вышел в 1953 г.

Кьеркегор Сёрен (1813—1855) — датский писатель и философ.

Августин Аврелий (Блаженный Августин; 354—430) — христианский теолог.

Стр. 661. *Романы Грэма Грина: «Конец любовной связи», «Тихий американец», «Ценой потери».*— Перечисляемые Бёллем романы английского прозаика Г. Грина (1904—1991) выходили соответственно в 1951, 1955, 1961 гг.

Стр. 663. *Пегу Шарль* (1873—1914) — французский писатель.

Брентано Клеменс (1778—1842) — немецкий писатель-романтик.

Готшед Иоганн Кристоф (1700—1766) — немецкий писатель и теоретик искусства, один из зачинателей эпохи Просвещения в Германии.

...еще не перекочевало из медицинской сферы в литературную...— В данном случае подразумевается распространенная с античных времен в медицине теория телесных соков (лат. humor — влага), оказывающих влияние на темперамент и характер человека; несколько ниже Бёлль снова возвращается к этой теории. Сегодняшний общеязыковой и литературный смысл слова «юмор» утвердился в XVIII в.

Виланд Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель эпохи Просвещения.

Стр. 664. *Шлегель Фридрих* (1772—1829) — немецкий писатель и теоретик искусства, один из основоположников романтизма в немецкой литературе; в его теории романтического искусства существенная роль отводилась принципу иронии.

Буш Вильгельм (1832—1908) — популярный немецкий литератор, автор многочисленных стихотворных юморесок, им самим иллюстрированных.

Сэлинджер Джером Дэвид (р. 1919) — американский писатель; повесть «Симор. Интродукция» была опубликована в 1963 г.; на немецкий язык произведения Сэлинджера переводил Бёлль со своей женой Аннемари.

Стр. 665. *...Христос никого не велел называть безумным...*— Подразумеваются слова Христа из Евангелия от Матфея (5, 22): «...а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной».

Стр. 668. *Целан Пауль* (1920—1970) — австрийский поэт.

Носсак Ганс Эрих (1901—1970) — немецкий писатель.
Кройдер Эрнст (1903—1972) — немецкий писатель.
Айхингер Ильзе (р. 1921) — австрийская писательница.
Шнурре Вольфдитрих (1920—1990) — немецкий писатель (Западный Берлин).

Рихтер Ганс Вернер (р. 1908) — немецкий писатель.
Кольбенхофф Вальтер (р. 1908) — немецкий писатель.
Шрёрс Рольф (1919—1981) — немецкий писатель и эссеист.

Ланггессер Элизабет (1899—1950) — немецкая писательница.

Кролов Карл (р. 1915) — немецкий поэт и эссеист.

Ленц Зигфрид (р. 1926) — немецкий писатель.

Андерш Альфред (1914—1980) — немецкий писатель (ФРГ).

Иенс Вальтер (р. 1923) — немецкий критик и писатель.

Кашниц Мария-Луиза (1901—1974) — западногерманская писательница.

К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ МОРИАКА

Бёлль написал статью 11 октября 1965 г. Дата первой публикации неизвестна.

Стр. 668. *...еще более чуждо, нежели баварский вариант той религии и церкви, к которой мы себя причисляем,— католической.*— В силу ряда исторических причин «баварский вариант» католицизма гораздо менее аскетичен, чем «рейнский».

Янсенизм — религиозно-философское течение в католицизме, начало которому положил голландский богослов Янсений (XVII в.). Течение восприняло некоторые черты кальвинизма и носило последовательно антииезуитский характер.

Стр. 669. *Тейяр* де Шарден (1881—1955) — французский палеонтолог, философ и теолог. Труды Тейяра де Шардена сыграли огромную роль в обновлении доктрины католицизма.

Марианисты — члены католического братства Девы Марии. Одно из основных направлений деятельности братства — школьное преподавание.

Стр. 670. *...лотарингские и бургундско-брабантские...*— Лотарингия, Бургундия, Брабант — знаменитые очаги рыцарской культуры.

Я беден...— Цитата из стихотворения Йейтса «Он мечтает о парче небес».

О книге Конрада Аденауэра «Воспоминания 1945—1953»

Эссе опубликовано в журнале «Акценте» в октябре 1969 г.

Стр. 670. *Аденауэр* Конрад (1876—1967) — федеральный канцлер ФРГ в 1949—1963 гг.; в 1946—1966 гг. — председатель Христианско-демократического союза (ХДС).

...на поиски «утраченного времени»... — Отсылка к циклу романов французского писателя М. Пруста (1871—1922) «В поисках утраченного времени». Весь абзац представляет собой шуточный «дайджест» романов Пруста.

Стр. 671. *Эрхард* Людвиг (1897—1977) — федеральный канцлер ФРГ в 1963—1966 гг.; председатель ХДС в 1966—1967 гг., в основном продолжал политический курс Аденауэра.

...власть, что никчемно валяется сейчас на дороге... — В 1965 г., когда было написано эссе, блок ХДС/ХСС получил на парламентских выборах всего 47% голосов. Все более распространенным становилось мнение об «отсталости» партии, необходимости замены ее у власти альтернативным вариантом.

Стр. 672. *Глобке* Ганс — госсекретарь ФРГ, руководил при Аденауэре (в 1953—1963 гг.) государственной канцелярией. В 1929—1945 гг. занимал разные посты в министерствах третьего рейха.

Аленская программа — экономическая и социальная программа реформ, принятая ХДС 3 февраля 1947 г. в г. Ален. Исходным пунктом программы была критика капиталистической экономики, государственного капитализма. Предусматривалось усиление экономических позиций частных предпринимателей, обобществление некоторых отраслей промышленности и т. п.

...денежная реформа... — процедура замены рейхсмарок немецкими марками; была проведена в июле 1948 г. в трех западных оккупационных зонах.

...блокада Берлина... — 24 июня 1948 г. советские оккупационные власти блокировали все наземные и водные пути, ведущие к западным секторам Берлина. Соглашение между советскими и западными властями по поводу Берлина было достигнуто лишь в мае 1949 г. 4 мая 1949 г. блокада была снята.

...дебаты о вооружении... — С конца 40-х годов вопрос о ремилитаризации Германии был постоянно в центре внимания Аденауэра. Бесконечные переговоры о вооружении, как

международные, так и внутренние, завершились к середине 50-х годов созданием бундесвера и вступлением ФРГ в НАТО.

...скандал вокруг Глобке...— Скандал разразился в начале 50-х годов, когда общественности стало известно о нацистском прошлом Глобке (см. коммент. к с. 672).

...какого духа...— Неточная цитата из Евангелия от Луки (там: «...не знаете, какого вы духа». Лк.: 9, 55).

Стр. 673. *Шумахер Курт* (1895—1952) — немецкий политический деятель, антифашист. С 1946 г.— председатель СДПГ. В сентябре 1949 г. возглавил оппозицию в бундестаге.

Арнольд Карл (1901—1958) — один из создателей ХДС; в 1947—1956 гг.— премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия.

Хайнеман Густав (1899—1976) — министр внутренних дел в правительстве Аденауэра. Выступал против ремилитаризации Германии, в 1950 г. ушел в отставку, в 1952 г.— вышел из ХДС; с 1957 г.— член СДПГ; в 1969—1974 гг.— президент ФРГ.

...кёльнско-католической левобережно-рейнской шатией.— ХДС состоял как из католиков, так и из протестантов. Однако в 50-е годы ключевые позиции занимали католики. Определение «левобережно-рейнский» указывает на последовательную «западную» ориентацию.

Элерс Герман (1904—1954) — политический деятель, депутат бундестага. В 1949—1954 гг.— президент бундестага. С 1952 по 1954 год — заместитель председателя ХДС.

Стр. 674. *Мак-Клой Джон* — американский политик; в 1949—1952 гг.— верховный комиссар США в Германии (должность, введенная для контроля за выполнением решений союзников).

Франсуа-Понсе Андре — французский дипломат и политик. В 1949—1952 гг.— верховный комиссар Франции в Германии; в 1953—1955 гг.— посол Франции в ФРГ.

Стр. 675. *...из «Нехейм-Хюстенской экономической программы» (что, разве Ален... уже вошел в общину Нехейм-Хюстен?)...*— В феврале — марте 1946 г. в городе Нехейм-Хюстен собралось руководство ХДС для определения дальнейшей линии экономического и социального развития страны. Собравшиеся категорически отвергли идею обобществления некоторых отраслей промышленности; Нехейм-Хюстенская и Аленская (см. коммент. к с. 672) программы, таким образом, резко отличались друг от друга. Иронический вопрос Бёлля связан с тем, что Аденауэр в своих «Воспоминаниях» подробно излагает Нехейм-Хюстенскую программу, «забывая» об Аленской.

Св. Герман-Йозеф — настоятель монастыря под Кёльном

(конец XII в.); его могила в монастырской церкви — одно из известнейших мест паломничества в Германии; в Кёльне святому поставлен памятник.

Абс Герман Йозеф (р. 1901) — крупнейший специалист банковского дела в Германии, член правления акционерного общества Немецкого банка.

Стр. 676. *Хойсс Теодор* (1884—1963) — писатель и политический деятель. Один из создателей Свободной Партии Германии (СвПГ). В 1949 г. был избран президентом ФРГ.

Стр. 677. *Леммер Эрнст* — при Аденауэре в 1956—1957 гг. возглавлял федеральное министерство связи, впоследствии руководил другими министерствами.

Барцель Райнер (р. 1924) — политический деятель, член ХДС, депутат бундестага; входил в правительство Аденауэра. В 1962—1963 гг. — федеральный министр по общегерманским вопросам.

Штраус Франц Йозеф. — См. коммент. к с. 354.

Дуфус Йозеф-Герман — депутат ландтага, министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии; в 1963—1966 гг. — управляющий делами ХДС.

Егер Рихард — депутат бундестага, в 1953—1965 гг. — вице-президент бундестага, в 1965—1966 гг. — федеральный министр юстиции.

Стр. 678. *...в своей бернской речи...* — Речь, произнесенная Аденауэром 23 марта 1949 г. на конференции Межпарламентского союза в Берне. Федеральный канцлер говорил о том, что водораздел между Западной и Восточной Европой проходит по Германии, поэтому от положения в Германии зависит, станет ли она центром «порядка» или «беспорядка». Все эти рассуждения сводились к мысли о необходимости экономического и военного возрождения Германии.

Даллес Джон (1888—1959) — в 1946—1950 гг. представитель США в ООН, в 1953—1959 гг. — министр иностранных дел США. Один из инициаторов создания СЕАТО и СЕНТО, сторонник вступления ФРГ в военные блоки.

Шуман Роберт (1886—1963) — французский политический деятель. В 1947—1948 гг. — премьер-министр Франции, в 1948—1952 гг. — министр иностранных дел.

...заставил партнеров дорого заплатить за страх перед Сталиным и в итоге «даром» получил Саар... — Речь идет о разгоревшемся после 1945 г. споре между Францией и Германией за Саарскую область. В 1950 г. были подписаны так называемые Саарские конвенции, закреплявшие французское влияние. Именно после этого Аденауэр начал «спекулировать» на страхе перед Сталиным: он потребовал точного

соблюдения условий Потсдамского соглашения, по которому Саарская область являлась частью германской территории и управлялась в порядке опеки Союзным контрольным советом. Последовавшее затем согласие Аденауэра на особый статус Саарской области было ценой, заплаченной им за вступление ФРГ в НАТО. В 1956 г. между ФРГ и Францией было заключено соглашение, по которому Саарская область становилась с 1 января 1957 г. одной из земель в составе ФРГ.

...непопулярное вооружение... за послабления и свободы для крупной индустрии...— Шуман, будучи министром иностранных дел Франции (см. выше), выдвинул план создания Европейского объединения угля и стали. Аденауэр поддержал этот план. Создание Объединения способствовало развитию германской промышленности. Одним из условий участия в Объединении Аденауэр поставил разрешение на вооружение Германии. Это и имеет в виду Бёлль, говоря о способности Аденауэра убивать «двух зайцев одним выстрелом».

Конант Джеймс (1893—1978) — американский ученый, дипломат, деятель культуры. В 1953—1955 гг.— верховный комиссар США в ФРГ, в 1955—1957 гг.— первый посол США в ФРГ.

Стр. 679. *...подобно вишневой косточке Вашингтона...*— В США бытует ряд историй в стихах и прозе о детских шалостях Джорджа Вашингтона; иногда он съедает кусок вишневого пирога с косточкой, иногда обламывает ветку вишневого деревца и т. п.

...смещен англичанами с поста бургомистра,— в книге... *коварный немецкий социал-демократ Роберт Гёрлингер...*— В июне 1945 г. в Кёльн вошли английские войска. Аденауэр был в это время бургомистром Кёльна. Отношения между ним и англичанами не сложились. По словам Аденауэра, англичане доверяли исключительно социал-демократам и не доверяли ХДС. Аденауэр подробно рассказывает о том, как один из лидеров СДПГ, депутат кёльнского городского совета Гёрлингер, написал на него донос английским властям. Там, в частности, говорилось о намерении Аденауэра привлекать к управлению бывших нацистов. В конце сентября 1945 г. Аденауэр отказался выполнить одно из распоряжений англичан, что и послужило формальным поводом для смещения его в октябре с поста бургомистра.

...избавиться от этого... «эс», дабы... прикрепили к ее названию гордое «ха».— То есть заменили «социал-демократическая» на «христианско-демократическая».

ВВЕДЕНИЕ В «КОМАНДИРОВКУ»

Статья вышла в марте 1967 г. в журнале «Werkhefte katholischer Laien».

Стр. 681. *Provos* — (восходит к лат. *provocare* — вызывать, бросать вызов) — участники молодежного движения протеста, развернувшегося в Амстердаме в 1965 г. Протест был направлен против буржуазного конформизма и выражался во всевозможных нарушениях запретов, хеппенингах и т. п.

Хеппенинг. — См. коммент. к с. 28.

Стр. 682. *Участковый суд* — суд низшей инстанции в ФРГ.

...легировал... — от и т. *legare*, лат. *ligare* — связывать, составлять, соединять.

СОВРЕМЕННОСТЬ ГЕОРГА БЮХНЕРА

Речь, произнесенная 21 октября 1967 года в Дармштадте при вручении премии имени Бюхнера. Опубликована в печати в том же году.

Стр. 683. *Бюхнер* Георг (1813—1837) — немецкий драматург, писатель и публицист.

Стр. 684. *...его лекции о черепных нервах...* — Бюхнеру было предложено прочесть курс лекций по философии в Цюрихском университете. Для пробной лекции он выбрал тему по физиологии: «О нервах головного мозга».

...из уст Войцек, первого и едва ли не последнего представителя рабочих в немецкой литературе... — Речь идет о последнем замысле писателя — драме «Войцек», от которой сохранились лишь черновые наброски. Центральный персонаж драмы Войцек — цирюльник.

Бени Готфрид (1886—1956) — немецкий поэт и писатель.

Брехт Бертольт (1898—1956) — немецкий поэт, драматург и театральный деятель.

...тюремными мытарствами друга Бюхнера студента Миннигероде... — Миннигероде Карл (1814—1894), как и Бюхнер, — член революционного тайного общества в Гисене. В 1834 г. был арестован, до 1839 г. пробыл в тюрьме, где подвергался жестоким истязаниям.

...застрелили немецкого студента Онезорга... — Речь идет о событиях, произошедших в Западном Берлине 2 июня 1967 г. во время демонстрации против визита иранского шаха.

«Гессенский сельский вестник» — написанная Бюхнером прокламация, представляющая собой послание гессенским крестьянам.

Стр. 685. *Великая коалиция* — коалиция партий ХДС, ХСС и СДПГ, заключенная в 1966 г.

...описание неких похорон...— Речь идет о похоронах Конрада Аденауэра, федерального канцлера ФРГ в 1949—1963 гг. (ум. 1965).

Кавалеры рыцарского креста — высшие офицерские чины.

Стр. 686. «Я... совершенно раздавлен...» — Письмо написано в ноябре 1833 г. в Гисене. Выпущены слова: «...изучал историю революции и...».

Стр. 687. ...из письма... родным...— Имеется в виду письмо из Страсбурга от 5 апреля 1833 г.

Стр. 688. *Вот что он пишет... родственникам...*— Речь идет о письме от 28 июля 1835 г.

Стр. 689. ...проблема эмиграции...— Бюхнер, подвергавшийся преследованиям за революционную деятельность, вынужден был эмигрировать. Последние годы жизни он провел в Страсбурге и в Цюрихе. Проблема эмиграции — сквозной мотив целого ряда бюхнеровских писем.

Гуцков Карл (1811—1878) — немецкий писатель. В 30-е годы был связан с движением «Молодая Германия», редактировал литературное приложение к газете «Феникс». Гуцков принимал самое деятельное участие в литературной судьбе Бюхнера, опубликовал его драму «Смерть Дантона».

...актуальность Бюхнера как медика, выразившаяся в его «Войцек»...— Имеется в виду детальное описание безумия главного героя.

Лакруа Себастьян — депутат Конвента, сторонник Дантона. Казнен в 1794 г. Здесь: действующее лицо пьесы «Смерть Дантона».

...в письме Вильгельму Бюхнеру...— Имеется в виду письмо из Страсбурга, написанное 2 сентября 1836 г. брату Вильгельму Бюхнеру (1817—1892), фармацевту.

Бёкель Евгений (1811—1896) — один из близких друзей Бюхнера, в 30-е годы — студент-медик.

СТУДЕНТАМ СЛЕДОВАЛО БЫ ПОБЫТЬ В ЗАТВОРНИЧЕСТВЕ

В 1968 году студенческие волнения в Европе достигли апогея. Бёльль неоднократно высказывался по этому поводу.

Публикуемое эссе представляет собой его письмо в газету «Кельнер Штадт-Анцайгер» от 19.04.1968.

Стр. 690. ...формирующих общественное мнение и создающих определенные настроения публикаций Шпрингеровского концерна...— После второй мировой войны издатель Аксель Шпрингер основал гигантский издательский концерн, постепенно поглотивший многие более мелкие издательства. Шпрингеровский концерн издает, помимо всего прочего, ряд газет, имеющих огромное число подписчиков. Газеты эти придерживаются последовательно правой ориентации. Проблема воздействия на умы шпрингеровских публикаций стала особенно актуальна в конце 60-х годов, когда газеты, издаваемые концерном, резко выступили против внепарламентской оппозиции и студенческого движения.

Стр. 691. *Внепарламентская оппозиция* — общественное движение, возникшее в основном из сторонников СДПГ, особенно ее студенческих организаций; в 60-е годы играла существенную роль в политической жизни, особенно в Берлине. Важнейшим полем деятельности внепарламентской оппозиции были берлинские университеты.

...добилась отставки правящего бургомистра...— Правящий бургомистр Берлина Генрих Альбертц (р. 1915) был вынужден уйти в отставку в октябре 1967 г. Одной из основных причин послужили студенческие волнения.

Шютц Клаус (р. 1926) — политический деятель, член СДПГ, правящий бургомистр Берлина с 1967 по 1977 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «РАКОВОМУ КОРПУСУ»

Это Предисловие было предпослано немецкому изданию романа А. Солженицына «Раковый корпус», вышедшему в Нейвиде в 1968—1969 годах.

Стр. 692. *Поп, оп, и хеппинг...*— сокращенные названия авангардистских направлений в американском и западноевропейском искусстве 40—70-х гг. *Поп* (поп-арт, а н г л.) означает популярное, общедоступное искусство. Это неоавангардистское направление возникло в 1950—1960-х гг. как своеобразная реакция на засилие абстрактного искусства с его полным отрывом от реальности. *Оп* (оп-арт, а н г л.) означает оптическое искусство. Это авангардистское течение в изобразительном искусстве 40—60-х гг., для которого характерно использование многократно повторяющихся простых геометрических фигур. *Хеппинг*.— См. коммент. к с. 28.

Статья опубликована в сборнике «Zensuren nach 20 Jahren Bundesrepublik», Кёльн, 1969 г.

Стр. 695 *Глобке*.— См. коммент. к с. 672.

Канал ландвера — канал в Берлине, соединяющий реки Хафель и Шпрее.

Стр. 697. *Внепарламентская оппозиция*.— См. коммент. к с. 691.

Промискуитет.— См. коммент. к с. 521.

Стр. 698. *Паппен Франц фон* (1879—1969) — один из главных военных преступников фашистской Германии; в 1932 г. возглавлял правительство Веймарской республики и всемерно способствовал усилению позиций нацистов. В 1933 г. принимал активное участие в установлении фашистской диктатуры; вошел в правительство Гитлера в качестве вице-канцлера.

Шрёдер Курт фон — кёльнский банкир, уполномоченный промышленных и банковских кругов на совещаниях с Гитлером в 1933 г., во время которых Гитлеру было дано согласие на назначение его главой правительства.

Гинденбург Пауль фон (1847—1934) — военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. В 1925 г. был избран президентом Веймарской республики. Вторично был избран на этот пост в 1932 г. Поддерживал фашистские организации. 30 января 1933 г. передал власть в руки фашистов, поручив Гитлеру формирование правительства.

Стр. 700. *Целан Пауль*.— См. коммент. к с. 668. С 1948 г. жил в Париже. Бёлль цитирует стихотворение Целана «Фуга смерти».

БЕЗУПРЕЧНО ВЕРНОПОДДАННЫЙ

О Генрихе Манне

Опубликована в журнале «Акценте» в октябре 1969 года.

Стр. 701. *Манн Генрих* (1871—1950) — немецкий писатель и общественный деятель.

«*Верноподданный*» — антимилитаристский, антинационалистический роман Г. Манна. Написан в 1914 г., представляет собой первую часть трилогии «Империия».

ПОПЫТКА ПРИБЛИЖЕНИЯ

Послесловие к роману Л. Толстого «Война и мир», Франкфурт-на-Майне, 1970 г.

Стр. 703. «Бильд» — одна из наиболее известных газет, выпускаемых издательством «Шпрингер». Основана в 1952 г.

...что русская и немецкая история в тот ее период, когда обе страны могли худо-бедно ее «делать»...— Речь идет о начале XX в.

...на двух личностях, двух кузенах, называвших друг друга «Dear Willy» и... «Dear Nicky»...— Имеются в виду германский кайзер Вильгельм II и русский император Николай II, приходившиеся друг другу родственниками и свойственниками сразу по нескольким линиям. Так, супруга Николая II, императрица Александра Федоровна, она же — Алиса Гессен-Дармштадтская, приходилась Вильгельму II двоюродной сестрой.

Стр. 703—704. ...а физиономии у обоих были «английские».— Германская и русская императорские династии были связаны родственными узами не только между собой, но и с английским королевским домом. Внешнее сходство Вильгельма II, Николая II и английского короля Георга V было в начале века притчей во языцех.

...многажды преданного «немецкого рабочего класса».— Речь идет о политике Сталина по отношению к немецкой социал-демократии и рабочему движению.

...о д и н человек за столом заседаний знал...— Речь идет об И. В. Сталине и ситуации, сложившейся на Ялтинской и Потсдамской конференциях.

...столпотворение европейских границ на александрийский лад, не будучи при этом Александрями.— Александр Македонский (Великий; 356—323 гг. до н. э.), царь Македонии, один из величайших полководцев и государственных деятелей древнего мира, создал огромную державу, простиравшуюся от Дуная до Инда. Она была лишена прочной внутренней связи и распалась вскоре после смерти ее создателя.

Стр. 706. ...удивительнейший город Сиена? — Сиена — город-музей в Центральной Италии. Основан римлянами в I в. до н. э.; старая часть города сохранила средневековый облик.

Стр. 712. «Березина» Гитлера...— Отсылка к событиям 1812 г. Во время переправы через реку Березину (14—17 ноября 1812 г.) Наполеон потерял ок. 50 тыс. человек, значительную часть артиллерии и обозов, после чего «великая армия» практически перестала существовать.

...с высотки Шпрингера...— Речь идет о высотном здании издательства «Шпрингер» в Западном Берлине.

Стр. 715. *«Пфуль был один из тех... для него есть абсолютная истина».*— См.: «Война и мир», т. 3, ч. I, глава X.

Стр. 717. *Штифтер* Адальберт (1805—1868) — австрийский писатель. В отличие от «романтика» и «бунтаря» Гейне воспевал покой, уют, идиллию.

Гёльдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770—1843) — немецкий писатель эпохи романтизма.

Шмидт Арно (р. 1914) — немецкий писатель. Один из сквозных мотивов его творчества — резкое осуждение позиции невмешательства в борьбу со злом, в частности, с фашизмом. Штифтер для Шмидта — наглядное воплощение идеи самостранения и мещанского благополучия, которое превыше всего. Отсюда — упомянутое Бёллем определение «кроткая нелюдь».

«Новый роман» — экспериментальное литературное движение во Франции в 50—60-е годы XX в. Говоря о сходстве между прозой Штифтера и «новым романом», заключающемся в «сосредоточенности на предметах...», Бёлль скорее всего имеет в виду прозу писателя-экспериментатора Алена Роб-Грийе (р. 1922), построенную именно по такому принципу.

Стр. 721. *...Толстой в одном письме...*— Имеется в виду письмо А. А. Толстой от 18—20 октября 1857 г.

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ

(Магнитофонная запись интервью с Дитером Веллерскофом 11.6.1971.)

Стр. 729. *...этот образ... не слишком подробно разработан в этом романе, но четко и тесно связан с одним из ранее написанных.*— Имеется в виду роман «Где ты был, Адам?».

Стр. 735. *Буш* Вильгельм.— См. коммент. к с. 664.

Стр. 736. *Хеккер* Теодор (1879—1945) — философ, культуролог. Говоря о «дефинициях юмора», Бёлль отсылает читателя к работе Хеккера «Сатира и полемика» (1922).

Стр. 739. *...черты рейнской Мадонны...*— В начале XIV в. сложилась так называемая «Кёльнская школа живописи», просуществовавшая до начала XVI в. В XV в. мастерами «Кёльнской школы» был создан ряд знаменитых изображений Богоматери («Мадонна с фиалкой» Лохнера, «Рождение Христа» Мемлинга и пр.). «Рейнских Мадонн», при всем их разнообразии, объединяет парадоксальное сочетание земного и небесного начал.

...и эту странную скульптуру святой Урсулы в окружении девственниц.— Св. Урсула-мученица, по преданию, совершила в 452 г. паломничество в Рим и на обратном пути, под Кёльном, была зверски убита гуннами. Вместе с нею были замучены десять ее спутниц. Скульптура Св. Урсулы находится в Кёльне, в церкви Св. Урсулы. Св. Урсула стоит со стрелой в руке; девственницы, едва доходящие ей до пояса, прячутся в складках ее плаща.

В. Белоусова, А. Карельский, М. Рудницкий

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕМ КОНЧИЛАСЬ ОДНА КОМАНДИРОВКА. Повесть. <i>Перевод Наталии Ман и С. Фридлянд</i>	7
ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ. Роман. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	163
РАССКАЗЫ	
Чужой монастырь. <i>Перевод И. Городинского</i>	571
Почему я пишу короткие рассказы, как Якоб Мария Гермес и Генрих Кнехт. <i>Перевод М. Рудницкого</i>	593
ЭССЕ. РЕЧИ. ЛЕКЦИИ. ИНТЕРВЬЮ	
О Бальзаке. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	605
Франкфуртские лекции. <i>Перевод А. Карельского</i>	607
К восьмидесятилетию Мориака. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	668
Не такой уж плохой источник. <i>Перевод М. Рудницкого</i>	670
Введение в «Командировку». <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	681
Современность Георга Бюхнера. <i>Перевод Г. Кагана</i>	683
Студентам следовало бы побыть в затворничестве. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	690
Предисловие к «Раковому корпусу». <i>Перевод С. Фридлянд</i>	691
Германское первенство. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	695
Безупречно верноподданный. <i>Перевод Е. Вильмонт</i>	701
Попытка приближения. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	701
Комментарий к присуждению Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну. <i>Перевод Н. Бунина</i>	724
Групповой портрет с дамой. <i>Перевод Е. Михелевич</i>	724
Комментарии В. Белоусовой, А. Карельского и М. Рудницкого	743

Бёлль Г.

Б 43 Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 4. Повесть; Роман; Рассказы; Эссе; Речи; Лекции; Интервью. 1964—1971: Пер. с нем./Редкол.: **А. Карельский**, Н. Павлова, **И. Фрадкин**; Сост. **И. Фрадкина**; Комментар. В. Белоусовой, **А. Карельского** и М. Рудницкого. — М.: Худож. лит., 1996. 783 с.

ISBN 5-280-01219-X (Т. 4)

ISBN 5-280-00825-7

В четвертый том Собрания сочинений Г. Бёлля включены произведения, написанные писателем в период 1964—1971 гг. Это известный роман «Групповой портрет с дамой», повесть «Чем кончилась одна командировка», несколько рассказов, статей, эссе.

Б 4703010100-041
028(01)-96 Подписное

ББК 84.4Г

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Собрание сочинений в пяти томах

Том IV

Редактор

И. Солодунина

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор

В. Нефедова

Корректоры

О. Иванова, И. Шевякова

ИБ № 5897

Изд. лиц. № 010153 от 27.12.91

Сдано в набор 18.02.91. Подписано в печать 02.04.96. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 41,16. Усл. кр.-отт. 41,16. Уч.-изд. л. 44,0. Тираж 20 000 экз. Изд. № VI-3820. Заказ № 1403. «С»—288

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диaposитивы текста изготовлены в типографии № 2 — головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени ГПО «Техническая книга» Мининформпечати РФ. 198052, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29

АООТ «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5



